Федеральное архивное агентство

Российский государственный архив
литературы и искусства

И. С. Шмелев
и
О. А. Бредиус-Субботина

Роман в письмах

В 2-х томах



Москва
РОССПЭН
2005

Федеральное архивное агентство

Российский государственный архив
литературы и искусства

И. С. Шмелев
и
О. А. Бредиус-Субботина

Роман в письмах

Том 2. 1942–1950



Москва
РОССПЭН
2005

ББК 84(2Рос-Рус)6
Ш 72

Издание осуществлено при финансовой поддержке
Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ),
проект № 04-04-16061

Составление Л. В. Хачатурян

Текстологическая подготовка документов
А. А. Голубковой, О. В. Лексиной, Л. В. Хачатурян

Заключительная статья
Г. Ф. Добровольского

Примечания
И. М. Богоявленской, Н. А. Герчиковой, А. А. Голубковой,
О. В. Лексиной, С. А. Мартьяновой, Е. А. Осьмининой,
Л. В. Хачатурян

Научное редактирование
О. Т. Ермишина, Е. А. Осьмининой

Ш 72 **И. С. Шмелев и О. А. Бредиус-Субботина: Роман в письмах**: В 2 т. Т. 2 / Подготовка текста и комментарий: А. А. Голубковой, О. В. Лексиной, С. А. Мартьяновой, Л. В. Хачатурян — М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2004. — 856 с., ил.

Середина 1940-х гг. стала наиболее сложным временем в отношениях корреспондентов, кульминацией «Романа в письмах». Наряду с исповедальными лирическими страницами в переписке отражена работа И. С. Шмелева над его основными произведениями (романы «Лето Господне», «Пути небесные»), жизнь русской эмиграции во время Второй мировой войны, религиозные искания И. С. Шмелева.

Во 2 том включены письма 1942—1950 гг.

ISBN 5 - 8243 - 0424 - 6
ISBN 5 - 8243 - 0541 - 2

Письма

1942–1950



1

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

1.VI.42 2 ч. дня

Светлая, радостная Ольгуночка, серо-голубоглазка, новорОжденка милая, нежка-ласка, Олюна... — еще, и еще, и еще, и еще-еще, — весь к тебе, весь с тобой, весь о тебе, только о тебе... еще пишу, хочу, чтобы ты вся была мной полна, моей нежной-нежной думочкой о тебе, моя детка, цветочек мой заревой, вся весенне-летняя, вся майская, вся душистая жасминка, примаверочка[i] хрупкая, леснушка-полевушка, легкокрылка-чудеска... — весь взят, опять и опять, вновь взят, и как же полно и сильно! «Что ты со мной сделала?..» — это мне говорить счастливо, а не тебе вопрошать меня... — ты со мной все сделала, ты меня ослепила, опоила собой, сердцем своим, очаровала яркостью своей, искрами осверкала, — новое слово, ты его выбила из меня! — о, чистая моя голубка!.. — не нарадуюсь, не надумаюсь о тебе, весь в тебе. Ольга, я так сейчас взбит, так хорошо и светло разволнован тобой, твоим светлым письмом, после твоих томлений и сомнений... — не мог улежать... — я после утреннего кофе читал на кушетке газету, как всегда, и вот — письмо... и от Сережи, — вскочил, заметался, запел... — а когда я пел?! — пью твою любовь, и как же называю тебя, как безумный... — таких и слов язык не знает! — а я тебя ласкаю, я тебя нежно лелею... и сердце бьется, как чумовое, ища тебя, зовя тебя, стучась к тебе... Оля, приди, Оля... не могу... без тебя не могу, не хочу жить, нет без тебя мне жизни! О, Ольгунчик-Ольгунушка, как нежно теплится к тебе, тобой — сердце! Я весел, я весь собран, я радостен тобой... — ты угадала — слышал твое письмо у доктора[1], — я так томился — истомился по тебе, твоими страданиями истерзался, и будто вся сила моя пропала, — я был как приговоренный. Твое выздоровление воскрешало меня медленно, — слишком много нервной силы ушло... но сегодня я воскрешен, радостен, счастлив — почти счастлив, т.к. без тебя не могу быть счаст-

---

[i] Игра слов: primevere — примула, primavera — весна (*лат.*).

ливым вполне. Глупенькая моя, разве могу я когда-нибудь забыть тебя? Небо-то мое забыть? свет мой, солнце мое святое забыть!? Ольга, как томлюсь тобой... — поняла, да? Моя, животворящая, все творящая во мне... Ольга! Радуйся, Оля, живи всем существом... пей солнце, весну, пей от чаши земной, Господняя это чаша, чистая чаша радости... — будь же здорова, будь сильной, — радость дает силы! — и береги себя. Олёночка моя, я страшусь, что ты, от небрежения, можешь заболеть, и опять может начаться прежнее. Берегись же простуды, гриппа! Прошу: не считайся «забронированной» в летнюю пору: теперь же прими антигриппаль, и так — каждые 2 с половиной месяца — и не будет гриппа. Почему ты не можешь до сей поры спать, как любишь, не на спине только? почему? Если бы я был с тобой! Я баюкал бы мою голубку, мою зарянку, нежную мою киску... — о, как дорога ты мне! Я весь — трепет, от нежности к тебе, от светлой, такой святой жалости к тебе, Олюша. Думаю о тебе, и сладко кружится голова, когда так думаю... Так..? Ну, да, о тебе, как о моей... всей моей... прости. Безумец я, но и ты же безумство во мне рождаешь, питаешь... Оля, ты лучше для меня всех, всех, — ты ни с кем не сравнима, ты моя святыня на земле. Откуда ты взяла, что мне могли нравиться спортсменки?! И та, пражская, — К.[2] — нисколько! Напротив, от таких — холодком веет на меня, ослабляет «вкус», — всегда! Я благоговею перед женственностью, а ее у тебя — вся ты. Знаю, чувствую, слышу, осязаю.

Сейчас был у доктора. Говорили о тебе. Ты — удивительная... беспокойка. «Оба хороши», — диагноз доктора. Обещает нажаловаться на меня. М. б. уеду с ним на день—два в один пансион, в субботу, до понедельника. За 30 верст. Там лес, луга. Солнца хочу. И буду грезить тобой. Прочел он мне два письма женщин-врачей из Красного села. Если бы русские эмигранты знали больше! Не было бы колеблющихся: советы создали для народа сплошной ад! Как умирают дети! как чувствуют!! «Обещали тюрьмы превратить в дворцы, а на деле — дворцы даже обратили в тюрьмы». «Благословляйте освобождающих!» Вот как пишут. Немцы спасают народ от голода, отправляя в Германию на работы. Надо знать все. Оля, знай: герои те, кто сейчас едут туда, помогают освободителям! Мне пишут святые женщины. Их мужья едут, и они их благословляют. Это — русские женщины, героини. Академик Любинский М. Б.[3] — из тех же мест молит: помогайте же! Нет такой цены, которой жаль было бы дать за избавление от...

дьявола! Это страдальцы только знают. Не верьте ихним статистикам — все ложь: Россия испепелялась, и теперь приходится спасать «"последние остатки" ее, ее души, ее заветов». Я это сердцем чувствовал, я знаю. Женщина-врач пишет: ее мужа большевики расстреляли за шпионаж, — «по ошибке», — ее замотали по ссылкам, издевался жид-следователь, отобрали детей — двоих! — девочка умерла, другой ребенок «пропал», неизвестно где. «И так творили "со всеми"» — пишет докторша. Теперь она спасает русских детей от голода, устроили приют в Красном селе на семьдесят человек. Как-то сумели эти две женщины остаться в городе, не дали «угнать» себя в большевизию[i]. Как чувствуют дети в с е! какая сознательность у них, и как же они несчастны. Немецкий капитан, которому показали этот приют спасаемых, прослезился, — пишут оттуда. Когда дети видят «знакомого дядю», который им иногда приносит крендельки, поднимается истеричный вопль, пока раздают. Потом — тишина, жеванье. Взрослые зрители — и немцы! — не могут смотреть без слез. Сплошной вопль уцелевших русских интеллигентных людей — «знайте, нет такой цены, которую жаль было бы заплатить за освобождение».

Не расстраивайся, родная моя детка, я знаю, как все это больно тебе. И как все сложно. Ты сохранишь волю, силы, — многое ты дашь родному, придет время. В тебе — огромные возможности — души, сердца, всего существа твоего, — ты, знаю, все готова отдать и ты отдашь, Ей отдашь. О, моя светлая... одно помни: каждый даст с бОльшими результатами, — когда придется ему дать ему присущее. Сделаешь это ты. Бог даст, сделаю — и посильно делаю теперь же — и я. О, милая!.. В тебе — для меня — истинное воплощение — дорогого мне, самого дорогого, — и да поможет Господь нам, укрепляя друг друга, использовать свои силы на благое, достойнейше. Е с т ь, во имя чего жить. Видя вокруг, как выпрямляются души, получаешь укрепление.

Я целовал твой «анютин глазок». Все твои строчки целовал. И слезку твою принял в сердце, мой нежный ангел-Олюша. Ты мой Ангел-Хранитель, мой водитель. Я снова начну писать «Пути». Завтра я соберу все справки о поездке[4], и все сделаю, что в силах, чтобы прийти к тебе, услышать сердце твое, обнять тебя, ненаглядная моя. Единственная моя, п е р в а я моя так сознанная любовь. Полнее

---

[i] В оригинале: бельшевизию.

такой любви — нет другой. Я знаю это, и это святая правда. Это высшее счастье на земле. Оля, ты столько мне дала, даешь... — Господи, я так остро чувствую недостоинство свое. Ты, Оля, — о, поверь, это истинное во мне! — дар чудесный, высшее благо из всех благ на земле... поверь! Ты — прекраснейшая из русских женщин, чистейшая из чистых, глубочайшая из глубоких душ. Ты т а, идеал которой предносился мне в грезах творческих... — полное воплощение его, — о, сбывшийся дивный сон! Ласточка, горлинка, девочка ясная, как я нежно тебя ласкаю, как исступленно молюсь тебе, — стань явью живою, стань моею вечной.

Олька, милочка, не глупи... какие еще у меня могут быть «двигатели к фактам»?! Караимочка эта никак не касается сердца, чувствований даже, тем более — «вожделений». Как я далек от этого! И — уверен — и она тоже. Разве могу я сопоставлять тебя с кем-нибудь?! Я счастлив, что «Мери»[5] — т в о я лошадка. Перестань видеть томящие сны. Ты должна спать без сновидений, — ты теперь вся здорова. — Лермонтова я не сравню с Пушкиным, а прозу его я считаю образцовой по той поре. Чехов ставил его «Тамань»[6] — как образец рассказа[7]. И это верно. Пушкинская точней, четче, — самостоятельней. Стихи Лермонтова страшно перегружены л и ш н и м, у Пушкина — только необходимое, кратче нельзя, предел. Как Слово Божие. У Лермонтова тьма безвкусицы, громкости, красивости, вычурности*. — Арабесок. У Пушкина — чекан, у Лермонтова — расплесканность, часто ходульность... — но ведь и молод же был! И — понимал, к т о такой — в сравнении с ним — Пушкин! И как же из него чер-пал..! Сличи, детка... — увидишь, сколько в «Демоне» — «реминисценций», часто непростительных. Демон — романтически-эффектен, до... «парфюмерии» и «кондитерщины», сладости много. Ты, м. б., не согласишься со мной, но Лермонтов мне напоминает «провинциальных» кокеток, отчасти с приглупью. Очень г р о м о к и многоречив. Была, помню, во Владимире дама-каланча, звали ее «Драцена Грандиоза»[8]. Она, обычно, говорила выкрутасно: «Вчера мы отправились в прогулку для моциона... ну, взять небольшую порцию кислорода... ну, чуть провентилировать дыхательные пути... и подверглись ужасному действию электрического тока». Это означало: попали под грозу. Или: — «вернувшись с прогулки, я сейчас же приняла горизонтальное по-

* вперемежку с совершенно гениальным!

ложение». Ну, помнишь, как у Гоголя, — Маниловы?[9] «Облегчить нос посредством платка»[10].

Детка, хочешь, я перепишу для тебя «Трапезондский коньяк»? Вчера я читал и смеялся — «Веселенькую свадьбу» читал, из «Как я встречался с Чеховым»[11]. Да, встречался, когда был гимназистом 4 кл., — и мой приятель Женька участвует. Это — я тебе, кажется, писал? — три очерка: «За карасями», «Книжники, но... не фарисеи» и «Веселенькая свадьба». Хохотал мой доктор. И Чехов бы посмеялся: он тут живой. Ах, прочитал бы я тебе! Но как это далеко от... «Путей»! Хотя писано тут же, после лежанья — 5 дней! — в американском госпитале, писал в Альпах, в 34 году, летом. А в марте тридцать пятого — начаты «Пути». Тогда я «отдыхал». И — побаловался. Много юмору. Да и нельзя иначе — ведь я давал Чехова, и его отсветы тут — «зернышки» из него, которые он потом — после наших «встреч» — и раскидал в рассказах. И его «Свадьба»[12] — это же вышла из... моей, которую видели мы с Женькой, — и которую он «подглядел»! Вот как странно... — пересеклись пути слагавшегося писателя и... «зародышка» — т.е. — меня. А что я из сего сделал, — ты бы меня обласкала. И тут — тот же я, мальчик Тоник, восторженный, благоговеющий перед Божьим даром. Господи, тогда «писатель» — был для меня — святая святых. Теперь..? Почти — то же. Т.е., когда я сознаю, что — действительно, писатель, не торгаш, не «на заказ», а — служить. Я это выразил в конце «Веселенькой свадьбы» так: ——— «После, мы прочитали на карточке: "Антон Павлович Чехов, врач". Он жил внизу, под вывеской — "для свадеб и балов". Он видел! Может быть, и нас он видел. Многое он видел. Думал ли я тогда, что многое и я увижу — "веселенького" — свадеб, похорон, всего! Думал ли я тогда, что многое узнаю, в душу свою приму, как все, обременяющее душу, — для чего?..»[13]

Ты, Ольгуночка, многое видела, многим обременила душу. И ты знаешь, для чего обременила. Теперь ты должна освободиться от бремени. И ты освободишься и познаешь чудесную легкость... и наградишь этим сладким и горьким бременем многих-многих... О, ты икрянАя девочка... и сроки твои подходят. Ты — истинная, настоящая. Дай же, обойму тебя, родная моя, мое сердечко чудесное... столько несущее чудесно-страшного, светлого, больного, нежного, затаенного, чуемого, благодатного... — «и благословен плод»... сердца твоего![14]

Не могу оторваться, так хочу шептать тебе, уверить тебя, внушить тебе — будь той, какой даровано быть тебе, дано, как долг, который ты обязана вернуть! Ты это сделаешь. Оля моя, сегодня, в день твоего духовного Рождения, в радостный, светлый день, — ты найдешь себя совсем другой, чем три протекших года тому была. Перед тобой не туманные пути, а верная дорога. Не скорби и томления страхами впереди, а радостное сознание твоей назначенности, избранности и... — творческой воли. Ты видишь, — верю! — что так и нужно было, что наша встреча не случайна, что она была дана в Плане. И надо принять ее, эту встречу, как Господне благословение. Для меня — именно так. Мне надо было, дано было — найти тебя и пробудить, родить тебя в новую жизнь. Мою детку духовную, мою красоту живую. Какими словами высказать тебе, все, что во мне к тебе? Все слова в тебе тонут, такая ты неисчерпаемая, все чувства не изопьют тебя, неупиваемую! Люблю неизлюбимую тебя. Всю. Оля, твой День — 27 мая — 9 июня — священный для меня День. Молюсь о тебе. Вспомни — я правлю его, мыслями весь с тобой, весь сердцем. С утра, неотрывно, с тобой, весь с тобой, моя ненаглядка, ягодка, Олюша. Вечером придет доктор, напомню ему, и выпьем за твое здоровье, за твое светлое Рожденье. В 11 часов я сварю доктору шоколад, поднимем стаканы за тебя, за маму, за Сережу. Я вспомню-помяну папочку твоего, он светло живет в сердце нашем. Я позову тебя — Оля моя... жизнь моя!.. И ты почувствуешь мое сердце. Я его так слышу... так оно взмывает во мне. Должно быть ты получила письмо, и думаешь о Ване. Сегодня я просил Арину Родионовну сделать мне «в твою честь» пирог* — она испекла чудесно, с вязигой и яйцами, и сладкий, маленький, с ревеневым вареньем, — мне Юля пять кило прислала! Пир какой... вчера объелся доктор. Ну, Олюночка, радостная будь, светленькая-светленькая, отстрадавшая, теперь здоровенькая, — и всегда, всегда здоровенькая да будешь! Позови меня на Рождение, скажи — «Ваня, любимый, ну, поцелуй меня, малютку, рыбку свою, русскую девочку светлоглазку!» Я тебя поцелую так нежно, и так жарко-жарко... — щечки будут гореть твои, чуть, румянка... о, как дорога ты мне! Люблю, люблю... в сердце баюкаю... Покоен за тебя и радостен тобою. Твое фото обставлю цветами, — мою иконку. Я здоров, болей нет. Твой висмут успокоил раздражение. Почему ты недовольна жеребчиком?

---

* это ты меня — твоим лукулловским обедом..!

Ты хотела «Мери»? Если бы Сережа нашел для тебя гардению! или — апельсиновое дерево. Но м. б., не хватит денег? Я дошлю.

Твой всегда Ваня. Неизменный.

[На полях:] А тебя украшу розами. Ах, если бы Сережа — забыл ему сказать — привез тебе жасмин! Я просил — пионы.

Оля, я не догадался, что тебе подумалось... Ты вскрикнула: «ой, что подумалось..!» (что не спишь без снов).

Спи калачиком, как киска. Круто. В и ж у тебя! и целую.

Ольгушка, пиши «Лик»[15], — да, просто, как бы м н е.

Не смутись: «Пути» будут завершены — я могу скоро написать, созрело.

Олька, если ты не начнешь писать, я не буду тебе писать. Я тоже — и упрямый!

Оля!.. Я хочу писать «Пути»... но... все мне мешает и — тревога — когда же? когда? Но я овладею собой. Увижу тебя и — во-имя твое буду.

Олька, спи утром, не жди почты: она все равно придет!

Как хорошо, что ты видишь рождающееся, новое: от котят до... жеребят! Я бы написал... о, напишу, что Дари видела и к а к принимала.

Какая крупная твоя гортензия![16] Я ее надушил и поцеловал в сердечко.

2

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

4.VI.42 5 вечера

Дорогая моя Ольгуна, пишу наскоро, очень сегодня замотался, с 8 утра и до 4 ч. был в хлопотах, — и в связи с моим чтением, и по поводу моей деловой поездки. А сегодня жарища еще... хоть я и люблю жариться, но лишь при полной беззаботности-неспешке. Эх, хорошо в такую пору в березовой роще — лежать и слушать усыпляющее жужжанье пчел, дремотное бульканье в овражке... — вспоминаю, как в Крыму, бывало, баюкали арЫки!.. Что за воздух в такую пору, в полдень, когда накрепко припекает, и в этом густом припеке — такие пряники, такие струйки, каких и сам твой любимец «Герлен» не выдумает! Ах, Ольгуночка моя далекая, — и какая же близкая-близкая! — вспомнил сейчас эту чудесно-пряную затинь березовых наших рощ в жару... — и глаза сладко щурятся от истомы, и лень мне

думать, и чувствовать даже лень. Помешали, непрестанные посетители сегодня... — только отмахиваюсь. Как мне порой мешают!.. И часто — из пустого в порожнее. До завтра.

5.VI 1 ч. дня Вечером вчера зашла Марина Квартирова с каким-то провожатым[17], — поразился я, до чего она изменилась, исхудала! Лечится здесь от болезни в кишечнике, и врачи не могут определить, ощупью идут. Советовал ей обратиться к нашим врачам, указал на Серова-интуитивиста[18]. Хочет попробовать. Говорил ей о том из нашего, что не поддается решению рассудком, на чем сбивается большинство, — как вести себя перед лицом событий. Для меня в этом нет преткновений: для меня — первейшее — борьба с воплотившимся в большевизме злом, борьба вне всяких исторических, географических и — вообще всех «относительных», земных соображений: мы — и это не впервые в жизни земли, — лицом к лицу с вневременным, а извечным, — в необъяснимой для нашего рассудка тяжбе (так мы, м. б. судим — тяжбе!) — перенесенной из «оттуда» — в земную ограниченность. Подобное проявление «вечного-потустороннего» — да зрят земнородные! — было две тысячи лет тому[19], и лишь избранные это постигали тогда. (Ныне постигают это верующие.) Творящееся ныне для большинства так же темно, и потому много душевной и умственной смуты и разброда. Мир ныне — в «роковых минутах»[20], а зрители и участники действа меряют на свой аршин привычный. Отсюда невероятный хаос непонимания и ошибок, — у всех. Говорю о включенных в «надмирный поединок». Думается мне, что все дано Волею — для испытания, для как бы нового чекана более совершенной земной Души, для углубленнейшего постижения Божественного Плана, — это этап в эволюции мира и драгоценнейшего в мире — человека — Господнего дитяти: приблизься же к познанию твоей сущности! Так чувствуется мне. А почему и зачем, — конечная-то цель! — это невнятно мне, — это еще не открывшаяся божественная тайна. Одно несомненно: — это — для блага, для наполнения человеческо-божественной сущности в нас... — это продолжение тайны Вифлеема и Голгофы. Это новый шаг — к сближению тварного с Творцом. И потому мы все должны быть готовы к возможному новому Откровению. Не о «последних временах» говорю я, а лишь о новом этапе в жизни мира, — о «самораскрывании Бога и его Воли»[21]. Посему и должны как бы со светильниками бодрствовать[22], а не смотреть через муть

близоруких глаз, через ребячью «хронику событий». Тут «божественная трагедия»[23] — для новой выучки нас, маленьких, а мы все еще продолжаем смотреть, как на бесследно проходящий очередной «водевиль» с историко-социальным содержанием. Нет, тут содержание глубочайшего масштаба, тут космическое касается нашего микрокосма, вечное — временности нашей. Если бы жив был Достоевский, Тютчев, Пушкин..! Они нашли бы форму — выразить ныне совершающееся глубинно и... упростить для нашего мелкодушия. Да, э т о может быть внятым только в формах высокого искусства: в образах, — не в словах-понятиях. Я чувствую это чем-то, что за пределами моих пяти чувств. А найду ли способ постичь и в н я т ь... — не знаю. Но я так остро и так — пока — невыражаемо — воспринимаю!

Счего[i] (наречие!) я так расписался?.. Очевидно, стого[i], что это во мне бродит, это меня томит, искушает... Ну, оставлю. К «часу сему» перейду лучше.

Твое сообщение о родственнике-инженере[24], который хотел бы приобрести частично мои литературные права, — права распорядиться моими произведениями, в пределах уступки их возможному издателю будущего русского семейного журнала, — по типу былой «Нивы», — «для приложения к журналу», а не в полную собственность, меня очень заинтересовало. Обсудить условия и, при благоприятных результатах, заключить нотариальную сделку, я готов и постараюсь приехать в Арнхем. Тогда и с тобой встречусь, и мы о многом поговорим, Олюшенька. Обсуди с инженером подробней, выясни степень серьезности его предложения. Если у тебя не возникает сомнений в его доброй воле, тогда мне стоит приезжать, — ты же знаешь, как теперь затруднительны поездки. Но в таком случае мне необходимо представить строго мотивированные соображения при ходатайстве о разрешении поездки в Голландию. Я должен получить предложение об уступке — частичной — моих литературных прав от самого лица, желающего их приобрести, — конечно, лучше на немецком языке, — для представления при просьбе. Мне сказали в эмигрантском комитете, что предпримут шаги в помощь мне, дадут ход моей просьбе, — словом, будут содействовать. Что из этого выйдет, — не знаю. В нынешних условиях моих я, конечно, охотно пойду навстречу предложению, тем более, что мои авторские права при мне и остаются, а приложение моих книг к журналу лишь поспособствует — как это уже не раз оправ-

---

[i] Так в оригинале.

дывалось, — более широкому ходу книг в отдельных изданиях. Вот видишь, как удачно складывается, — т.е., вернее, может сложиться: и с тобой встречусь, хотя бы в Арнхеме. Не представляю себе только, сколько я мог бы получить и в какой валюте. Очевидно — в гульденах? Конечно, эта нотариальная сделка должна получить, для своей юридической силы, какие-то одобрения со стороны экономического контроля... но это, конечно, выяснится на месте. Итак, буду ждать письменного предложения предполагаемого покупателя, а там увидим. Подобное предложение — только на в с е права! — мне уже делалось, года полтора тому, но тогда я отказался обсудить условия, испуганный мыслью — продать в полную собственность мое заветное!.. — это же — совсем осиротить себя. Этого я не мог.

Сегодня очень жарко, а мне сейчас надо к доктору, — впрыскивание ляристина! потом на чай, по приглашению, а в 7 — панихида, 9 день по дорогому кн. А. Н. Волконскому. Слава Богу, болей у меня нет.

4-ый день нет писем от тебя, мне грустно, но я не пеняю, — очевидно, ты ездила на Троицу, а там гости... — ты без гостей, ведь, не можешь, опять вертишься с хозяйством... Я не стану платить той же монетой, — я пишу тебе почти каждый день, хотя меня и очень донимают болтовней... и тревогами. Не знаю, — удастся ли закабалить себя в писание «Путей», как было с 1-ой частью[25], когда я начал печатать, не написав и трех глав: вопрос в том, будет ли в Париже издаваться газета[26]. Это должно решиться на днях.

Родная детка, целую тебя, жду увидеть тебя... ах, если бы устроилось! Тоскую по тебе, сникаю порой... и — борюсь с наплывающим безволием. Особенно ранят дни, когда нет весточки твоей... — и тогда — будто выпал тот день из жизни.

Твой всегда Ваня. Господь с тобой, моя бесценная детка!

3

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

10.VI.42

Бесценный мой Ваня, обнимаю тебя и нежно благодарю за праздник, который ты мне вчера устроил! Я чувствовала, что ты со мной был! Накануне я плакала, думая, что уж письма не будет, — я же его давно получила... И кроме того С. звонил, и я маме велела спросить, получил ли для меня — нет! Но вот с вечерней почтой подали твою заказ-

ную открытку на меня и маме заказное «pour nouveau-née»[i]. Открытку я проглотила тут же, а письмо отдала обратно маме до утра... Томилась, жгла себя терпеньем. Я прочла его 9-го утром, сразу же после того, как умылась и причесалась. В 10 ч., с первым автобусом является шофер и тащит целый ворох цветов. Открываю: огромный букет(ище)[ii] роз чайных. Без карточки, без письма... Кто? Из Утрехта, из магазина рядом с Фасей... Она? Нет...

Сережа приезжает лишь вечером. Мама мне говорит: «Ну, известно от кого, конечно от И. С., я то знаю, Сережа мне говорил...» Мама смотрит розы и... в ужасе, в отчаянии: «Ну, что за болван, ну как же это можно, все испортил, всю радость мне отравил!.. И. С. просил гардению или апельсинчик!» Мама расстроена, чуть не до слез! «Столько просил его И. С.!» Сережа вечером приезжает сам и тоже огорчен, но объясняет, что задолго уже он справлялся, где мог, и для него звонили из магазинов в садоводства. Но оказалось, что гардения (я не знаю, кажется, этого цветка, это беленькие, маленькие цветочки? Да?) почти вся вывелась в Голландии, т.к. за недостатком топлива, это хрупкое растение не перенесло зимы. М. б., они будут к осени, — не требуется тогда угля. А апельсина тоже нигде не сыщешь, и вряд ли будут. Раньше (ему так сказали) будто бы в Голландии была огромная продукция гардении, огромный экспорт. Цветов здесь теперь мало, бери, что есть. Пионы... уж кажется самое то время, — не найти! Их продают бутонами, совсем бутонами, меньше голубиного яйца. Ни красоты, ни уверенности, что распустятся. И за розы не ручались, что найдутся в магазине такие, как хотел ты. Ванечка, транжирка! Что ты делаешь?! Это же безумно! Не смей! Не хочу! Буду злиться! Божественно раскрылись сегодня розы! Аромат чуть чаем! Правда! С каждым часом великолепней! Роскошный букет. Стоит в большой хрустальной вазе, тяжелой, дорогой, — достойный сосуд для твоих цветов. Эту вазу подарил мне один несчастный человек в благодарность за «спасение» его и его семьи. Кавычки, впрочем, можно снять, т.к. это было воистину спасение. Это давно было. И много чего они надарили мне тогда. Готовы были на руках носить, и не только меня.

Вчера меня ужасно все баловали. А мне было грустно... Я нехорошая. Подумай, вчера, когда все были так трога-

---

[i] «Для новорожденной» (*фр.*). Такая помета есть на конверте письма И. С. Шмелева от 1 июня 1942 г. (№ 1).

[ii] Так в оригинале.

тельно-внимательны, — я поддалась припадку вспыльчивости. И мне стыдно... Ужасно было больно. Ну, момент один, но все же! Я должна была встать, и что-то было не так, я боялась встать, приехали поздравители уже, а я не могу никого дозваться. Трамбовка провалилась куда-то, а мама в кухне. Когда пришли, то уже сидел свекор, а ко мне и войти нельзя, и сама выйти не могла. Сил нет, ни белья не принесли мне, ни туфли, ни платья. Ну, как же я встану? И сил нет. Ну, я «покапризничала». Мне так стыдно. Какая я гадкая. «Не хочу вставать, не выйду, забыли, бросили все меня, не дозовусь». А все неправда! Мама-то задергалась! Ваня, побрани меня! Мне стыдно! Я же всем только в тягость! И еще претензии! Я ненавижу себя порой! Ну, за завтраком в 1 ч. дня я была за столом. Пирог мама с ливером делала. С вязигой мы (если живые будем) испечем на мои именины, а то эти гости все равно не понимают толку, а будут только вопросы: «что это?», «откуда?» и т.п. После завтрака рада была добраться до постели. К вечернему чаю Сережа приехал. Тоже массу цветов навез: гвоздик каких-то грандиозных, душистого горошку. Свояк[27] был к обеду и оба с Сережей остались ночевать. Этот привез тоже гвоздик со словами: «Тебе нельзя пить вина, так вот это цветы, с окраской шампанского!» Удивительные какие-то гвоздики, не видела таких, цвета шампанского с розовым отливом в середине... будто живое тело. Притащил (раздобыл эту редкость!) два огромных огурца, знаешь, здешние, длинные. Я обожаю огурцы и мне зелень нужна, а их не найти. И привез еще печенья и... книгу. Ах, Ваня, — чуднО: «флиртуй!» Я никогда с ним не флиртовала. Он меня жалеет, с разными врачами советуется, куда бы меня еще послать на исследование и т.п. Я теперь, поверь, никому не интересна. К обеду я встала опять. А вечерний чай пили у меня в комнате, сидя кто где. Это было от 9—10 ч. Вчера же у второй клушки высиделись цыпки... Но вечером заболел один кролик, не знаю, что такое. Сегодня родился еще бычок. Почему я недовольна жеребчиком? Потому что его изуродуют и продадут как рабочую, ломовую силу. А красота где? Он недостаточно отвечает требованиям, чтобы рискнуть оставить его на племя жеребцом, — значит только для работы. Кобылиц здесь ценят гораздо выше — они остаются на племя. Они все у нас породистые и, таким образом «дочка» тоже бы осталась в книге родословной. Для нашего хозяйства оставлена известная норма на всякий скот, превысить коего мы не смеем, — таким образом невыгодно оставлять кастрированного жеребенка и

отнимать им место у другой лошади, могущей быть матерью. Продавать надо! А жалко! Ты получил с них фото?[27a]

Ну, вот, Ванюша, увлеклась и не продолжаю о самом главном. Вчера вечером я вдруг так заволновалась внутри, так все засветилось во мне... Спрашиваю: «Сколько времени». — «Без 10 мин. 11 ч.», — говорит Сережа. Это ты обо мне думал? Я крепко, крепко подумала о тебе, поцеловала тебя очень нежно и поблагодарила тебя за твою ласку, за твои дивные цветы! Чудесные, стоят они и красуются... До того, что обнять их хочется!.. Спасибо за письмецо твое и за открыточку ласковую, нежную... И за шоколад, который ты доктору за мое здоровье предложишь выпить! Это же ты мое рожденье правишь! И будто я у вас обоих была... Нет, у тебя, конечно, только! Ну, что ты спрашиваешь: «хочешь, перепишу "Трапезондский коньяк"»? Конечно, хочу!! Еще бы не хотела! Но я страшусь просить тебя на это тратить силы, и время, и отдых. Все хочу! Очень! Ты не писал мне о «Веселенькой свадьбе». Как все твое хочу знать! И как же многое не знаю! Это же ужас! Я твои конфеты шоколадные все съела, успокойся, а пчелки[i] еще оставила. И грушку б е р е г у! Духи тоже. На «Голубой час»[ii] только любуюсь — бутылочка похожа на куполок нашей церкви... Куполок... в голубом часе, в чудесном часе, когда вершится тайна! Я мечтаю... Глуплю... Не старайся разгадать, почему я сказала «ой, что подумала!» — Глупости! Я тоже кое-что не поняла из твоего, а м. б., и поняла...

Пишу, а у меня на груди сидит птенчушка, недавно вылупился, слаб еще с другими-то сидеть. Пришел доктор. Вдруг что-то пи-пи... Что это? Цыпленок! Смеялся! Грею вот. Молчит, растет... крепнет. Глупышка. Я жадно думаю о твоем чтении, беснуюсь, что не присутствую. Ах ты, — Дока! Все-то ты догадываешься! Конечно, цветы послала. Но жалко, что тебя о зале спросила, — было бы сюрпризом! Боюсь, что запоздают, пришлось письменно заказывать, больна-то я вот. Я волнуюсь, будет ли красиво и со вкусом. Как на этот счет в Париже? Умеют подавать? Здесь хорошо это дело знают. Я послала тебе красные розы. Не потому, что вкладываю значение в окраску, но потому, что очень люблю бархатистость темных лепестков. И запах красной розы особый, густой какой-то. Ты любишь? Но мне так мало срезанных цветов! Вчера, — вот потому тебе и описала, правда, не из похвальбы, — вот нанесли, а у меня у

---

[i] Имеются в виду медовые конфеты.

[ii] Речь идет о духах «L'heure bleue», подарке И. С. Шмелева.

сердца ныло... сколько их погублено! Живые они все!.. Я всегда, всегда жалею срезанных цветов. Золовка моя пыталась мне витиевато объяснить о каком-то «высшем призвании, служении цветка»... все это хорошо, но сердцу жалко. Сережа мой — другой, — любит размах. Вчера мы об этом толковали, — я его «бранила» нежно: «Ну чего ты сколько цветов притащил, ведь больно, сколько погубили?!» — «Ах, вот не понимаю, красиво! Дарить, так дарить, много цветов, охапки, именно срезанные, для тебя срезанные. Ненавижу горшочки, таскайся с горшочком!» Впрочем он сам иногда присылает «горшочки»... «Сережа, говорю, безумие ведь это, такую массу!» — «Ах, массу, массу, шел мимо витрины, красивые гвоздики, ошеломляющие краски, не видал таких в Берлине, — ну и принес, чего кукситься-то на цветы?!» А мне жаль. Это не мелочность, Ваня, а просто мне думается, что они чувствуют! Я еще девочкой все к учителю привязывалась: «Живое существо цветы?» Он был мечтатель и говорил: «Я думаю, что у них есть своя душа! Они растут, питаются и размножаются... еще одно свойство: движение, но есть цветы-"путешественники", так что и этим свойством живого существа они обладают». С тех пор я их так и взяла в душу... Живут!

Тебе я посылаю срезанные розы без сожаления!

Символически, желая срезанных. Жертву тебе, единственному. Они, трепетные, ароматные бархатушки отдают с восторгом тебе свои жизни! Потому не в корзине, как я думала сперва. Отсветы сердца моего живого, все, все в служении твоему великому Духу!..[i]

Ваня, я поняла теперь многое из твоих писем[28]. Представляю и тех, письма которых тебе читал С[ергей] М[ихеевич]. Я помню, что точно то же самое говорили и нам, в связи с этим браком роднушки. Точно так же думала и чувствовала я и все мы. Я понимаю тебя вполне, но я не могу закрывать глаза на свой опыт. И считала бы это даже преступным. Ты не имел его. Поверь, что горько было мне получить этот опыт. Поверь. И для меня особенно трагично представляется вся эта романтическо-идеалистическая уверенность людей, смотрящих на других из себя и судя по себе. В этой семейной драме брака я проглотила много горьких слез. Не личных. Я не могу тебе в письме все высказать, но, поверь, что я глубже и серьезней смотрю на все, о чем ты думаешь. Когда ты мне пишешь, то мне на многое хочется сказать: «Не надо ломиться в открытую

---

[i] В оригинале абзаца нет.

дверь — все, что ты чувствуешь, переживаю и я». Но невозможно несчастной измученной женщине, измученной подлым мужем-мерзавцем, сознавая всю подлость и низость его, все-таки советовать кинуться «из огня да в полымя!» Если она теперь раба его, убивающего ее дух, то тот, кто якобы любит ее (а на самом деле желает только ее миллионы! Я это знаю), этот сумеет ее так скрутить, как еще никогда ее духу этого и не снилось. Ты знаешь, как я близка к моей Дорогой, верь, что я так же, как ты и прочие судила обо всем. Точно так же. Но нельзя закрывать глаз и убаюкивать себя «авось»-ем[i]. «Полымя» будет еще хуже «огня». Я знаю, что я говорю. Единственный путь несчастной — это самостоятельно выпрямить свой хребет. Только это. Пусть трудно, пусть она непривычна, я верю в то, что она достаточно сильна духом, чтобы теперь, именно теперь взять в руки вожжи своей собственной жизни. Нельзя никогда забывать, что это же два друга давнишних, очень давнишних и что теперешний обольститель очень даже в свое время старался женишка всучить и для чего? Или ты это забыл. И этого нельзя забывать! И если, обессиленная раба, рада хоть какой-нибудь, но перемене, то нельзя же ей подсовывать такой же «хрен». Она не знает его!* И ты не знаешь. И все это относится к такого сорта правде, что понадобься это — можно бы и на костре сгореть. Ты много не знаешь. И то, что знаю я, — знают немногие из родных. И именно только и исключительно чисто душевно-духовного порядка. Все материальное, земное (как ты назвал), все понимаю!! для меня, как и для тебя не играет роли. Я не так мелка в этом вопросе. То, что она флиртует, не является доказательством того, что это правильно. Она его не знает**. Судьба этой несчастной так меня огорчает, что я очень прошу тебя мне ничего не писать, не сыпать, так сказать, соли в раны. Я ночи не сплю иногда. Новый хахаль даже и не думает скрывать перед некоторыми друзьями своими, что ему только капиталы невесты нужны. Нахал! А она верит всей его гнусной болтовне! Нужно знать этого фрукта. Ты не знаешь, иначе ты не так бы относился при твоей требовательности. Не думай, что я оправдываю ее сиденье с подлецом! Откуда у тебя эти сомнения?

---

[i] Так в оригинале.

* и ей простителен поэтому ее флирт.

** Она хочет верить, и в этом особый ее трагизм. Не хочу, однако, себя тревожить сугубыми думами, мне надо поправиться. Силы и духа и тела мне еще надо долго собирать!

Думаю, что есть эти сомнения, иначе чего же тебе доказывать, что он гад? Я же знаю! И вот уже поэтому только судя — каков же новый «претендент»?

[На полях:] Ванечка, родной мой, крепко тебя целую. Обнимаю. Рвусь к тебе, чтобы сердцем сердцу все сказать. Уверена, что и ты тоже. Сейчас письмо от жены «кавказца»[29] и маленькое его. Еще не получил о новой болезни, не хочет на расстоянии делать диагноза, тревожится и просит подробно описать. Я послала. Уверен, что теперь «здорова»!!

Целую, будь здоров, пиши! Оля

11.VI.42 Ванюша, мое солнышко, очень нежно думаю о тебе. Не обидься!

Ах, да, доктор был — доволен мной, крови нет, встаю.

4

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

12.VI.42 7 вечера

Родненькая моя, Олюночка, опять заболела! Вот, моя тоска 29—30! Страдаю тобой, бедная больнушка... но не падай духом: должно все пройти, ты бу-дешь здорова! Оля, ты сама мешаешь болезни пройти: слишком рано начала разъезжать, мотаться в хозяйстве, — и... нервить, конечно. Прошу — молись, Пречистую призывай, Ей душу всю препоручи, молись преп. Серафиму, и благостному нашему Хранителю — преп. Сергию! отдай себя им, светлым, — и веруй, что будешь здорова. И лечись, конечно. Ты права: напиши «кавказскому доктору», — он, м. б., чуткий диагност. Принимаешь ли, что советовал С. М. Серов? Хлористый кальций, и желатин — в соках фруктовых. Во всяком случае, это безвредно. Я каюсь, что затеян «вечер литературный», — очень меня треплет, всячески. Нет органа печати нашего, мои друзья беспрестанно справляются... эти мелочи всякие... я устал. Я не имею часа покойного — забыться в тебе, в своем. Твое письмо 27 мая — ах, какое нежное, насыщенное тобой, твоим чувством. Через скорбные думы о тебе, через горечь всего, тебя отягчившего, пытаюсь отвечать на твои запросы.

Еженедельника[30] я тебе не буду выписывать, но я не виноват, что ты его получаешь. Сами шлют..? Я уже месяца три не вижу его. И на твой вопрос о статье Г[орянского][31] — и охота тебе — о сем! — отвечу: и не буду читать. Сором заполонять остатки света во мне?! Брось... Фася слишком «про-

ста»... вот это — провинциалка! А ты... нет, ты слишком — ты... и никем-ничем не можешь быть, только — ты, Оля — для меня. Всегда — «Оля моя, — всегда — Олюша, Олюночка, единственная, несравненная». Ну, поцелуй. — Да, мы почти — одно. Я это давно вижу. Отлично. Одного «куска». Это-то и дивно, в этом — все. Ты — вся моя, как я сам — мой. Отсюда такая правда любви, такая неразрывность. Отсюда и мука моя о тебе, тобой, — и радость, свет, счастье... — святая, чистая, сверхземная радость. Мы были бы — знаю! — очень счастливы в браке. Но мы и теперь почти счастливы. Когда душа истекает в нежности, в жалении, в любовании, в чуянии нерасторжимости навеки — это чудесное чувство, очень близкое к благоговению, к религиозному восторгу. О, милая девочка, — будь же здорова, вытерпи, вылежись, излечись! Молись же, Оля! До тихих, благостных слез веры! Я хочу, хочу, я верую — ты должна быть здорова. И мы должны встретиться, прильнуть душами, самым чистым и светлым в нас!

Не может быть «жути» в такой общности многого в нас. Словечка «замазыриться» — ть, — нет в словаре Даля[32]. Я не слыхал. Того же смысла — «забельшить»[33]. А есть слово — «мазырничать» — привередничать, размазывать кушанье по тарелке от прихоти. Олёк, остерегайся «областных» словечек в писаньи, они бывают нужны лишь для оттенения лица, для «характера», порой... Говорю, конечно, об очень редкостных словах, мало внятных общему читателю, — их лучше избегать. — Напомни, какое «определение» я дал тебе, в конце лета, которое тебя обожгло? я вспомню смысл его... — напиши, за что извинился. — Твою рубашечку бу-ду носить, ведь ты в ней, твое сердце, свет глаз твоих! О, нежная моя! — Олюночка, я не нашел твоей карточки — «полненькой», и лошадки! Пропала. — Моего портрета художника Калиниченки, я не могу отобрать уже от приятеля, раз отдал! Не отдаст!! Он даже не дал мне на время, а сам для меня переснял. Отдал я в черные дни, когда все разбрасывал из своего... после Оли, — не хотел жить, собирался уходить... Теперь как жалею! Если бы ты подошла ко мне тогда, в Берлине! Но тогда я был чужим твоей душе. А я — бессознательно ждал, — кто же меня приласкает?! укрепит..? И — все чуждое было, все — не для меня! А как за мной ухаживали — в самом светлом смысле! — везде! И — все чужие, -жия... Но ты... ты бы могла отеплить сердце... Ну, прошло. Я все же нашел тебя! Ты... меня... ?! И благодарю Господа: я уже живу... я заставлю себя писать, завершать. Чего

жду? Спокой-ствия. Многое тревожит душу, чего-то жду... — да ведь жизнь-то какая, какие события! А для моей работы — ей надо всего меня, как всегда. Но я себя за-ста-влю. Увидишь. Оля, я ничего не утаиваю от тебя из жизни моей, и из работы моей. 2-я часть «Лета Господня», — это написано до 41 года. У меня двенадцать очерков, надо еще 3—4 — болезнь, кончина отца, похороны, поминки, конец... — тогда будет вся 2-я ч. «Лета». Да, я изменил чуть программу чтения: первым номером пойдет не «Чертов балаган», а... благостное — «Крестный ход»[34], из II ч. «Лета Господня». В литературе такого никто не давал и не даст. Дано мною, и — исчерпано. Возможно, что будут на чтении митрополиты[35], оба, или один... — м. б. и не будут! — но мне дано было дружеское указание... — м. б., кто-нибудь из них и изъявлял желание. Придется поехать и пригласить. Митр. Евлогий не раз меня слышал и — радовался. И начинать — при них — с... «Чертова балагана»... — нет, хоть и ничего непристойного, но... рассказ очень жесткий, «волнующий нашей болью», — это удар по части нашей интеллигенции... — не хочу ворошить. Я дам родную, светлую стихию, нашу «святую силу», — Крестный ход — ан гран![i] Смотр святынь! Встреча Господа и Пречистой, «смотр» земной жизни: «"пойду, погляжу, как на моей земле люди живут" — скажет Господь, и пойдет, и все праведники и преподобные, и все святые с Ним...» — говорит Горкин[36]. И тут читатель увидит... — «земное»... грязь, злобу, недостоинства... и... — при всем этом «беспутстве» — живую душу, порыв к Небу! — да, Оля... кажется, мне удался этот труднейший «опыт». Встанут перед слушателями все храмы Замоскворечья и Кремля — в их «знаменах». И — будет двигаться ход... смотр земного. Остальное без изменения. Из «Няни» беру страницы 113—116 — начиная со слов «А жить уж нам трудно стало...»[37] Чтения на 12 минут. Но «Крестный ход» возьмет почти 30—35 минут. Он труден для чтения, много сил возьмет. Из «Богомолья» беру — знаешь, детка, я задумал, — чего Оля хотела бы? — и раскрыл на удачу: 92 страница! — «Идем самыми страшными местами...[38] Парит. Гроза. Ливень. Розовая колокольня Троицы... Свеча пасхальная — отец — земляника...» — ну, вся наша родная стихия! Ты довольна? Да, да... — ты в ней!! Читать буду — тебе, знай! Воображу тебя — в рядах, и скажу мысленно перед чтением: — «Ольгуна, слу-

[i] Здесь: широко (*от фр. en grand*).

шай девочка, для тебя я». Если бы чу-до..! Увидал бы тебя... — сердце взметнулось бы..!

Читаю — тебя вижу, тебя в сердце держу. Так и знай.

Растяпа доктор бо-ится... сказать два слова[39], при поднесении твоих цветов и карточки! «Я непременно споткнусь!» Я ему внушаю: «скажете "эти розы от вашей преданнейшей читательницы-друга, из Голландии!"» Не мо-жет!.. Придется просить Юлю — чтобы — за доктором — сказала эти слова. Так я хочу: пусть видят, как меня лю-бят! Хочу!! И — поцелую цветы. Это воспитывает читателя. Мне так дорого движение твоего сердца, что не в силах сдерживать (цветы-то!) тебя — сумасбродку милую, нежную мою... — Как меня теребят! А я боюсь — ну, будет полупустой зал: нет, ведь, печати... — а все смеются. Я всегда волнуюсь, — му-ка мне эти чтения! И после — весь разбит. — Милые стрижи — тебе явились! Олюна, должно быть не получишь ты на Рождение «флер д'оранжа»![i] или — гардении... До войны это в Бельгии выводили, «спесьялитэ»[ii], а теперь и в Париже не могу найти, а я так мечтаю — о, чудесный аромат! Хотел тебя порадовать, писал Сереже. Пустяки и получишь. Твоя гортензия все пышная. Твои «мотыльки» снова дают листья. С декабря не покидают меня твои цветы-поцелуи. — Оля, верь мне, себе. Ничего не значит, что пока не чувствуешь, что можешь*. Это мне отлично знакомо. Помни: надо заставлять себя! И — увидишь. Слушай гОлоса в душе... хочу — и работай! Тогда почувствуешь, в процессе работы. Никогда во всех подробностях заранее не рисуй себе содержания: лишь чуть ощути неясное, оно станет главным. Напишешь так, как и не думала. Без усилий! всегда без напряжения! Только подумай мельком — и свободно! — вот, рассказываю, как хочу, любимому... душу открываю, и ничто меня не связывает, никакая форма... а что душа хочет... Это после, когда уже написала все — будешь сжимать, пополнять, — ну, форму давать. Тогда увидишь, что ненужно, что на-до еще... и все — чуть-чуть... Только не медли, не пугай себя, при-нудь! — я и до сей поры должен себя принуждать! Во мне или лень, или... нерешительность, — но это все обманное. Надо начать. Надо почувствовать наплывающую «радость» от чего-то, что ты напишешь... когда в сердце начнет что-то назревать, очень неопределенное... но потом —

---

[i] Здесь: апельсиновое дерево.

[ii] «Специальность» (*от фр. specialite*).

* творить

с а м о прояснится, уже в работе. Да так, что и поразишься. Пришли мне — спиши — из письма об искусстве, о «влияниях». Про-сит приятель[40]. А я не вспомню. — Обмираю от жасмина! Понимаю твое... — сам головой в куст... — не передать. У жасмина есть чуть общее с флердоранж, в запахе, в томлении... Помнишь, в «Богомолье»? Это я, а не Домна Панферовна[41] — так обмирала. В аромате жасмина — есть волнующее, томящее, дразнящее. В оранже — тоньше. Самое страстное, близкое к... секс... — в иных орхидеях. С любкой у меня связана первая влюбленность — в Таню... — когда мне было 12 л. Как услышу любку... — образ ж е н щ и н ы... и — сладострастие... Если бы слить тройку: любку, жасмин, оранж?! — овладела бы страсть, замучила бы!

«Шалая»? Мне это знакомо... я сам такой, порой... был, по крайней мере... — но никогда не грязнился. А — истомлялся... Но если бы ты была со мной... — совсем... — я привлек бы к с ч а с т ь ю... — эти страстные «души» — кремово-бледнушек, страстунь скромных... о, ка-кие!.. Это чудесный аккомпанимент к лю-бовному экстазу. Духи меня очумляют... такой вдруг пожар вспыхнет...

Описался я: конечно, Ирина, в «Дыме», — не хотел бы я, чтобы ты ее повторила. Нет, ты не «гурманка», и не безвольная. Ирина — чтобы «и волки сыты, и овцы целы». — Роман этот «нарочитый», фальшивый. Таня — бледна, божья коровка, ну, какое с ней у Литвинова[42] могло быть счастье! Все белые нитки, нарочитость. Самонатаскивание. Не сумел Тургенев одолеть. Тут от Виардо в нем что-то. Та была жох-баба, практичная... слизывала сливки... Надумана Ирина. И как глуп повод московского «разрыва»! И этот глупый «бал»! Тут Тургенев — никуда. Как романист, он — грош, сильно раздут. Лучшее — повестушки, — самое лучшее — «Первая любовь», — это пережи-то. Чудесны очерки из «Записок охотника». Этот не пройдет «по всей Руси великой»[43] — «Нургет»[44] ты должна бы прочесть не в переводе. Перевод обледнил. И не вишни, а черешни. Ты переоцениваешь «Под горами» — «Любовь в Крыму». Это далеко несовершенное, «проба», шутка. Не бойся «оглядок» и «не полагается». Оставайся собой. Рядиться по моде... — почему не рядиться?! Рядись, глупочка... милка моя... — хоть на голове ходи, — еще прелестней будешь, если можно. Но — всегда собой останься. И не смущай себя — какая ты «провинциалка»? — О караимочке. Она сама захотела и по-немецки прочесть меня. Нет, она некрасива, но — порой — прелестна. И очень неправильные

черты. Скульцы, очень толстые губы, очень большие глаза. Это лучшее, все искупающее. Должно быть она из страстных. Очень идет ей черное. Когда обледнит лицо — глаза живут. Очень хрупкая, совсем миниатюрная, худенькая. Ну, будто артикль д'ар[i]. И только. И внутри — ничего особенного. Это — совсем не ты. С ней приятно посидеть — я охотно бы послушал, если бы она умела играть на рояле. И должно быть горячка, м. б. спорщица. Я ее совсем не знаю, и ничего в ней меня не захватывает. Я с ней очень предупредителен, корректен, ни одного вольного слова, намека. И она — тоже. Любит мое искусство, ценит, и чуть переносит на меня, но именно как «ценящая писателя». Ей 40. Она неглупа, и, м. б. чувствует, как я к тебе. Но это ее не касается, и она знает это. — Ты — воображаешь, что в Париже все как-то особенные. Все слишком не особенное, а штандартное[45] и мало красоты. Ты была бы лучшей парижанкой, — как говорят — фэн-флер[ii] — и будь ты модницей, кокеткой, «игралочкой», о, ты тысячи голов свернула бы! Ты как раз — по характеру — «шик паризьен»[iii]. Есть в тебе эти и-скорки... и ты умела бы шикарно носить платья... — в тебе мно-го вина..! — чувствую. И будь ты воистину такого «пошиба»... — несчастен был бы безумно тебя любящий... — Но в тебе — сдержка, ум, большая и страшно тревожная совесть... и еще — ты вся «для песен и молитв»[46]. Но любовницей ты была бы сверхочаровательной, до головокружения. Скажу — была бы прелестнейшей из супруг, — полней и выдумать нельзя. Ты же и в страсти была бы необычайна: эта сфера огромна в тебе, и очень высока, и освящённа... — не шарж или любовь-страсть, а страсть-поэзия, музыка... Никакого у меня особенного глаза... — я, напротив, многого не вижу, что видят самые заурядные... я вижу, что мне нужно... Я никогда не помню, как были одеты те и те... — я иное беру, должно быть. Твой мир — и мой он. И я в «ином» мире живу, как и ты, в твоем—своем. Но будь я молод, и будь ты моя... — я бы очень толкал тебя к пределу «моды», хотел бы испить все в тебе! Это и есть — шалое во мне. Мы жили бы — играли, как дети, — временами, «пока не требует поэта»[47] и т.д. — безумствовали бы, азартничали... были бы «малодушно погружены в заботы суетного света». Словом, — пили бы жизнь... не пропиваясь.

---

[i] Предмет искусства (*от фр. article d'art*).

[ii] Изящный цветок (*от фр. fin-fleur*).

[iii] «Шикарная парижанка» (*от фр. chic Parisiene*).

Да, слава Богу, что ты — О-ля. Только такая, ты и дорога мне — умная, — сердцем и рассудком! — чуткая, нервная, даже «трепыхалочка»... — но — главное — твое душевное сверх-богатство взяло меня всего и навсегда. Увы, как же поздно взяло! Оля, ты не все во мне знаешь. Я не люблю интеллигентов, их стертых разговоров... их кривизны... я предпочту день проговорить с серым мужиком, со старухой, с бойким пареньком, чем час с человеком нашего круга. Я люблю все простое. Я ценю комфорт, хороший стол, красивую обстановку... — но это лишь дополнения. Я выше всех экзотических цветов люблю цветущий лужок усадьбы, рощицу конопли, — и как же люблю — воздух хлебных полей, мягкий проселок во ржи, — неповторимый дух нагрева в хлебах, к закату, после жаркого дня конца июня! Ты же понимаешь... я все сказал в своих книгах! Мои «Росстани»... — это куда же — природа-то! — захватней для меня, чем все черешневые сады Крыма... — пасеки люблю, пчел гуд... — Вот в этом-то я всегда был готов полюбить русскую простую девушку, Таню, Дашутку... — но у-мных! — с ручьистыми глазами, с запахом здоровья их девичьего тела, их простоты прелестной. М. б., на месяц-другой..? — Но вот от такой простой девушки я хотел бы иметь ребенка. Но это — в прошлом, в беглых думах-чувствах... — а м. б. и никогда такой мысли не было, м. б., это «натекает» в меня — для «Путей». ОлЮшка, гадкая моя девчонка, капризница, нетерпеливка... — опять себя в постель уложила. Но ты будешь здорова, и тогда я вложусь весь в «Пути». Клянусь тебе, я скоро весь уйду в них, только бы мне не хворать, не чувствовать болей. Пока я их иногда слышу, — сегодня почти часа четыре вертелся... — должно быть потому, что были спазмы желудка, — были вчера гости, а я постеснялся есть при них, не ел часов 7—8, а лег — уже не хотелось есть. Ну, меня и крутило. Пришлось встать, принять твоего висмута, половину чайной ложки — и через четверть часа я заснул. Но вот теперь, растревожив себя запахами поля, хочу писать «Пути». Читаю про оптинского старца Амвросия. Это он, — а не о. Варнава! — говорил сказочку о бабе. Но это обще-русская сказка. Такая: Упал из чела печи кирпич на шесток. Старуха завела — да если бы у нашего сынка сыночек был, внучек, да сидел здесь, да его бы кирпичом... ну, в го-лос... и старик за ней — в го-лос. А сын и говорит, узнав, о чем... — «Пойду от вас по свету, ежели встречу глупей вас — ворочусь». Пошел и видит — мужики корову на крышу втаскивают. Чего это? Да трава выросла, вот по-

пасти хотим, и т.д. несколько случаев. Пришел сын домой. «И глупей вас нашел». Вот как. Если бы ты была здесь! Не унывай, ничто еще для тебя не утрачено. Не думай о приемыше. Кто что знает? Выздоравливай. Мы должны — друг для друга в с е выполнить, что укажет жизнь, Господь. Что мы знаем?! Я рвусь к тебе. И ты должна быть здорова, если я приеду. Оля, не дошла карточка «здоровенькой» Оли[48]. У тебя красивые ноги, в купальном видел, 33 г.?[49] Немножко «макаронки», а красивые. И стан хороший. Что же — чулочки? размер? Брось глупости. Какого цвета? Пока еще есть, настоящие. Если найдешь висмут — удержи, но не плати сама. Н е хочу!!! Вышлю или приеду — сам уплачу. Здесь нет. У меня висмута осталось четвертая часть. Теперь экономлю.

Не на все ответил. Но спешу отправить, чтобы ты не томилась ожиданием. Не читай меня*, Пу-шкина читай, как писал. Оля, не читай и глупых книг, — хотя в болезни «глупость» облегчает. По-знай Пушкина! И — Евангелие. Ты не представляешь себе, сколько внутренних «толчков» дают тот и О н о. Это — насыщение. А мое... разве «Богомолье» порой... — в нем я, лучший, пожалуй, и — в е с ь. Дитя. Ничего из моего творчества никогда не таил от тебя! Моя душа вся тебе открыта.

Целую, всю целую. Как меня теребят!

Твой Ваня

[На полях:] Нет, я люблю тебя, пополневшую, но... не видел!

Напиши № чулочка.

С Серовым буду говорить о тебе, — я уверен, что все дело в свойстве сосудов и крови.

Ни в каком случае — университетские клиники!!! Ты там будешь только препарат для опытов! Умоляю!! И не помышляй!

Как я целую тебя..! Как я томлюсь твоей болезнью!

Олюша, оставь все, только лежи и ешь!

Попробуй еще послать себя с лошадкой!

5

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

23.VI.42 3 ч. дня

Родная моя Ольгуночка, — я вчера весь день был разбит, как всегда после чтения для народа, хотел писать тебе и не мог. Поднялись еще боли — это след волнений и воз-

---

* если расстраивает покой.

буждения, и сегодня ночью вертелся до 2 ч., нестерпимые были боли. Сегодня — прошло два с половиной часа после кофе и сухарей с маслом, и вот, чуть позывают боли, а то совсем не было, и спал хорошо, чуть ли не после двух недель нервной бессонницы. Ты со мной, всегда. Мое чтение увенчалось определенным успехом, захватило, и я чувствовал все время, как установились токи между мною и людьми. Зал был совершенно полон, голос мне не изменил до конца, — в конце самое-то громкое! — иные плакали, слушая «Крестный ход», «Богомолье»... приходили ко мне и высказывались, и сколько же трогательного! У меня устала рука от пожатий. Были артисты, -ки, танцовщицы, профессора, военные, собратья... — эти на эстраде. Достаточно тебе сказать, что на эстраде было не меньше 30 человек — негде было стула поставить.

Твои цветы — о, родная, я в сердце принял твои — «я здесь душой и сердцем». Доктор, конечно, «испугался», передавала цветы твои племянница, громко, четко: «по срочному приказу из Голландии, от самой горячей твоей почитательницы...» — и я их... на глазах всех поцеловал! — потом последовали другие цветы... еще три подношения, не считая мелких. Племянница купила чудесный торт, — редкость ныне! — но, по наивности, посоветовалась с кем-то, и ей представилось, что «неловко» подносить «хлеб-соль». Ну, мы его дома съели, без «подношения». Словом, был как бы триумф... — Пишут мне — «было захватывающе», «изумительная дикция», «чувствовалось веяние "Духа России"...», «все время в зале была такая теплота к Вам, ласка и любовь», «всем Вы были родным, дорогим...» Правда, все были в светлом очаровании, — это я видел, чувствовал, Слава Богу. Удивлялись голосу, выдержке... — одна дама шепнула мне — «вы все такой же... стройный, живой, молодой...» Да, Олёк, мне самому удивительно, что голос так звучал... и не сдал даже к концу второго часа чтения..! «Орел» был прочитан с полной силой! И еще так говорила одна артистка: «никуда не годятся знаменитейшие чтецы-артисты... а я всех слыхала!» Ну, перед тобой мне не стыдно говорить так: это — правда, Господь дал сил. Словом, это был «мой праздник...» — последний..? Несмотря на очень высокие цены, — для Парижа! — первый ряд по сто франков, последних цена — 20, — сверх-полный сбор. Требовали иные дорогие билеты... но их уже не было. И это почти без публикаций! Не было митрополитов, — убоялись взаимно «встречи» и сиденья рядом. Ну, кума с воза — куму легче. Присутствовали все писатели нашей

зоны[50]. — Ты довольна? Борис Зайцев[51] говорит: «Ну, и силища же у вас!» Он моложе меня на шесть лет, ему свыше 59. Голосок его сла-бый... Если бы ты слышала, как мой матрос Бебешин[52] гвоздил! От «Небывалого обеда» — по-катывался весь зал. Гроза из «Богомолья» удалась... «Слышали гром и ливень»... — говорили. Зал чувствовал запах земляники... видел ее! Мой доктор, всегда молчальник, был у меня вечером, ел торт... и, прощаясь, сказал: — «ну, и здо-рово Вы..!» Все. Ирина[53] продавала мои книги, — почти на тысячу франков, — но была только горсть книг, т.к. многих нет. Я мог дать лишь несколько экземпляров (авторских) «Путей» — разобрали все. Офис рюс[54] был полностью, после чтения поднялся на эстраду и приветствовал. А я... я держал только тебя в сердце, и — моих светлых, отшедших. Это был канун 22, кончины Оли. В субботу я не рискнул поехать на могилку, надо было беречь силы. В понедельник, 22, — я был разбит, и еще посетители дергали. Я решил с друзьями ехать 27, в субботу, — день поминовений. — Твои цветы были поданы после 1-го отделения, перед концом было бы мало заметно, т.к. утомились бы, а в самом конце — совсем бы неудачно, — движенье. И вышло хорошо, внушительно. Когда я вернулся на эстраду для II отделения — цветы уже снова лежали передо мною. Твои, еще.., и — огромный сноп васильков! Это — жест караимочки, он шел к «русской стихии». Твою карточку я открыл, стоя перед столиком, внимательно прочел, и — положил в левый боковой карман. Ольгунка, от тебя мне дорого — все твое. Если бы ты прислала пучок незабудок, ромашки... или даже — милые бубенцы, все было бы — твое сердце! Розы были хороши... — но цветочники, конечно, тебя обманывают, уверен. Розы были не длинностебельные, не одного сорта, иные были похожи на махровый... шиповник! Зал этого не мог видеть — «прекрасные розы», говорили. Пусть тебя это не удручает, я же не могу даже в этом сказать тебе неправду. Ты тратишься, твое сердечко рвется — дать Ване твоему — самое отборное, редкостное... — я знаю. Но торгаши наживаются заглазно, — и утрехтский, и парижский. Они завяли на другой день. Я их храню бережно, но они сыплются и «горят» по краям лепестков. Между тем как розы, поданные другими, — в смеси с гляйоль[1] и др. — почти и сейчас свежи. Воскресенья для цветочных магазинов — самый торг, и

---

* Я сознательно составил нетрудную программу — для восприятия, но для чтения она — трудная.

[1] Гладиолусы (*от фр. glaîeul*).

они открыты. Доктор получил в субботу. Он в цветах ни бельмеса не смыслит, для него — «чудесные»! Нет, обманули тебя — и меня. Но не могли украсть моего «счастья» — счастья о т тебя, через тебя! Для меня были — только твои цветы. Была и Марина с родными, были и от них цветы, — сборные. Когда я читал — я для тебя читал... — и потому так сильно вышло. — Олёчек, я очень устал. Сегодня ночью, — продолжаю 24-го, были острые боли, до 3 ч. Потом и до сего часу — 2 ч. дня — ни-чего! А после утреннего кофе и еды — прошло почти 3 часа! Что со мной — не знаю. Сегодня иду к другому доктору[55], который мне сразу помог прошлым летом от болей у сердца и груди, во время ходьбы: сказал, что это давит воздух в желудке... через 2 недели все прошло от «спазмоседина». Но такие боли, как теперь — новость для меня! И продолжается почти два месяца! И что еще странного! Серов толкует, — это, м. б., нехватка витаминов, от крови, а не от печени, печень и не прощупывается даже, — у меня на коже местами — полосами — буроватая пигментация, попадаются прямо белые «местечки»... Бывало это — лет десять тому — будто «мятежные пятна», потом проходили*. У глаз, на скульцах, тоже белые пятна. Будто я рысь! Черт знает что... Если боли не пройдут, я не смогу поехать в Арнхем. Я получил письмо инженера о литературных правах. Я не чувствую себя слабым, но я все же похудел, — это, конечно, от волнения, от теребенья, от несрочного приема пищи. Сейчас, в 5 ч., пойду к доктору, — это серьезнейший, караим он, — и завтра уезжает на отдых. Что он скажет? ... ?! Странная вещь: сегодня утром я не принимал «каолен», — глинку, и если бы было это от «язвы», были бы и боли, после еды прошло 3 часа... — а ни изжоги, ни малейших болей. Но к вечеру, особенно когда лягу... начинается сверленье... болевые токи к груди — даже к левой стороне! Я верчусь, и нахожу положение, на боку, стихают... массирую от «язвы» по животу... — легче, стихают. Знаю, что волнения усиливают боли. А я всегда задолго перед чтением — весь в трепете. Ду-рак... Ем очень режимно. Ну, надоел тебе болями... — оба хороши! Да еще пришлось волноваться: от меня требуют «советов» по острым вопросам, пишу письма, мои письма ходят по рукам... попадают, куда не следует... от меня требуют разрешения их печатать... а я «связан»: у меня в Москве три сестры, племянники... — не могу же я их отдать на пытку! Раньше

---

* Скучно об этом, но я не могу ничего скрывать от тебя.

бесы[56] еще стеснялись Европы... носили маску... — и тогда тревожили и мою мать престарелую, и сестру... — мне они через «третьи руки» давали знать: «потише, ради Бога... нас таскают в "че-ка"...» Я сдерживался в выступлениях, мне грозили, и Господь не раз сохранил меня. Теперь — бесы в союзе с англо-саксами и американцами, Германия их разит, и им уже не страшна «дурная слава»! Они могут испепелить моих, мне нанести раны. И вот, пришлось отказать — опрометчиво обещал! — местной газете русской — вышло два №№, — в праве печатать мои «письма» по больному, очень важному вопросу! М. б., поймут мое положение, не осерчают. Это я говорю об «Управлении делами русской эмиграции». Оно мне могло бы помочь и в поездке[57]... — и как все будет — не знаю. Олюшечка, не пиши мне о «семейных делах»[58], — ты и себя волнуешь, и мне нового, все равно, не скажешь. У меня свой взгляд, и его не изменю. Ты не знаешь моей оценки всего. Я смотрю на вещи и события не только в земном, — историческом, — аспекте... нет: для меня существенное — главное! — в «божественном предопределении», и моя теория «событий» все больше и больше подтверждается временем. Мир должен будет выполнить назначенный ему План. Хочешь, не хочешь, — вы-полнишь! И моя душа спокойна. Все идет так, как я предчувствовал. Много было совершено ошибок... Если бы мне дали возможность сказать все, все... Умные же люди, даже почти-гении творят историю, и они правы, — с ихней точки зрения... да, да. Но если бы взяли для многих сокрытую — или, вернее, мало-понятную — иную точку... — совсем по-иному многое показалось бы, и так бы просто стало решать, и сколько бы сил и жизней было бы сбережено! Силы русской эмиграции дремлют втуне, не привлечены к великому делу всеобщего освобождения и обновления. Их, просто, не знают. И в этом — главное. Я не мог добиться права ехать[59] к близким мне по крови, духу и сердцу... — а я мог бы — знаю! — влиять... я, м. б., чудо сделал бы, сколько сердец отомкнул бы... — одним своим «Богомольем»! И как бы мы, своим знанием родной души, могли бы облегчить великий и страшный подвиг — мирового очищения! Больше бы взаимного доверия... — и случилось бы чудо, Чудо!!! Оно и случится, только... с большим запозданием, с излишней — и великой! — затратой сил. Я глубоко верю в предназначение Божие, карающий и очистительный «меч» был вложен в руку Германии... так дано в историческом течении, Высшею Волею, избран достойный сего. Но... мы-то — только свидете-

2 — 11249

ли..! А если бы была полная вера в нас, в наше предопределение... — если бы был братский союз двух великих народов..! — о, что было бы!! Я держусь точки зрения Бисмарка[60], но не иного течения, когда-то возглавлявшегося фон дер Гольцем... — не недавним[61], а его, должно быть, предком[62]. Верно сказал знаменитый Кляузевиц[63]... разбирая «поход наполеоновский», — почему нельзя было Наполеону завоевать Россию! Ты должна мне поверить, Оля... я не с потолка списываю выводы... — и если я говорю и мыслю так, я имею основание в вере и в знании. Поверь, что не скудные. Право такое признал за мною и строгий мыслитель, твой посажёный — и так бессмысленно! — отец[64]: я бы не допустил того, что допустил он*. Запахло гарью: поставил варить картофель, а он спекся! Сколько я кастрюль испортил, за эти годы, а их теперь не достать. Сколько посуды перебил! Ухитрись вот — и думать, и творить, жить где-то... и помнить о мелочах... добывать пищу, стряпать... только два—три раза в неделю приходит моя Арина Родионовна. Сделала мне ватрушку — на три дня. Я порой забываю пообедать... а когда, ночами, один... в пустой квартире... и — бо-ли... ох, какие иногда бывают! — так горько станет, и вскипают слезы... Это лишь я знаю... И вот, мысль... больная: «скорей бы, устал я... ото всего устал... так вот жить устал». — Ну, пройдет.

Вчера снова поднят вопрос о покупке экранного воспроизведения «Неупиваемой». Приедет крупный деятель, двоюродный брат караимочки, Дуван... — сын артиста Дуван-Торцова...[65] Он захвачен «Чашей», только что прочитал. Будут искать большую артистку... называли — какую-то — я же невежда! — Паулу..?[66] Если дам право, возьмусь за сценарий, то только лишь для заграницы, не для России! Придет время, там найдется большой ансамбль. — Олюшонок милый, нежный... — почему ты не прислала письма — а я так его ждал после моего чтения, как бы освежило оно меня! Ты не была и ты даже в письме не пришла ко мне после моего напряженнейшего труда! Именно — напряженнейшего! Мне все говорят — «так, с такой силой читать — жить! — в продолжение двух часов, в таких разных темах, тонах, темпах... это и сильно молодому таланту не выдержать!» Говорили и артисты, и просто понимающие, что такое художественное напряжение... — адвокаты, врачи! Я, Оля, выдержал, держа в сердце... тебя! А ты знаешь, как иные ко мне..? Были понимающие

* не благословил бы тебя на такой брак.

труд люди... они за 100 франковый билет давали... 1000. Но я распорядился, чтобы с неимущих не брали, и были, слава Богу, такие, приводили детей — «ведь детки родного языка, настоящего... не знают!» Ты знаешь, в набитой публикой зале после моего «Богомолья» — «пахло земляникой»! многие заявляли (ах, я уже писал!) — передалось въявь. И пережили грозу и освежающий ливень... — о, сколько тут надо было найти темпов! — игры в голосе, — а эта последняя тирада монахини под сараем[67]... — ее надо было особым говорком дать, без останова! — би-серкОм... — и не задохнуться. Я мог, потому что у меня воздушные мешки особенные, — мои легкие закрывают почки, — запас «духа» изрядный. Знаешь, голос ни-как не сдал, ни дребезгу, ни дрожи, ни запала. Все и в конце оказалось так же свежо и сильно, как в начале. А «Крестный ход»... — его у в и д е л и, и блеск его, — говорили, — ослеплял. Благодарю Господа. Но если бы была ты... — кажется, я еще лучше мог бы воплотить в звуках в с е. — 24-го VI, 7 вечера. Сейчас от доктора, одного из наших лу-чших! Диагноз: «язвы» дуодэни — н е т. Он сжимал эту кишку, и никакого ощущения боли. Печень — вполне, будто бы, здорова. И ее достал, и ее мял, — ни-чего. Сердце, легкие — все в порядке. Ни расширений, ни... Давление хорошее — 13 с половиной и 8. Безусловно — малокровие. На этой почве «окраска» — это «грибок» кожный, который пропадет, — дал какое-то растирание. Надо лучше питаться. Дал средства усилительные. Вес мой... — 49 кило!! За год — я был у него же в июле прошлого года — я потерял 2 кило. Объяснимо это: письма мои к тебе сколько-нибудь да весят? а мои чувства... не из легковесных, правда? А то, что даешь мне ты... разве не обжигает порой, и жгучим, и сладостно опаляющим огнем?.. ну, дай же губки, моя красавка... Что за чудеса! Вчера... у стола — ! — вдруг увидал молодку, ядреную молодку, да... Это ты п р и ш л а! чуть даже пышную, пушистую, сквозящую чуть, — ветром пообтянуло на ногах платьишко легкое... да и вообще... — только бы ей носиться по лугам, показывая ноги в ветре... чудесную лошадку — ушки!.. узнаю — по-ро-да!! — и «мальчика»... Как, откуда? Не постигаю, — к т о положил?! Я же не нашел в письме... прошли недели... — откуда выпала? Помечено 24 мая. Браво! Я поцеловал молодку... в с ю...

25.VI Олёк, вчера, с десятого часа вечера — боли... до часу ночи, но легче. Проснулся опять рано — 6! Начинаю новое лечение. Да, «недоедание», говорит доктор. Думаю — волнения. Ем достаточно. — Ну, на письмо твое от 27 мая —

оно чудесно! — я тебе писал. На что еще ответить — скажи. А теперь повеселю тебя свежим анекдотом. Я не люблю их, но этот — тон-кий, юмор — от контрастов. — На Шан-з' Элизей[i] два еврея без «украшений»[68]: «А ви видите, Яков Соломонич, эти два евгея, там, со звездАми...» «Ну, и сто? Ну..?» — «Они говогут... И... цего вам напоминается с русской литегатугы..?» — «Ну, и почему с литегатугы..? ну..?» — «Ви не знаете с гусской литегатугы!.. ви зе не знаете насего Пускина..?» — (примечание: Лермонтова, конечно,) — «Ну, и сто?» — «Ну, и самое лутцее ис Пускина». — «И сто..?» — «И звэзда с звэздою говогит!»[69] Я хохотал. — Если бы ты знала, как меня теребят! Я бросил отвечать на письма, но — посетители..! Я хочу воздуху, покоя... мне мешают думать, а тут еще — о себе думать... Я получил твой укроп, розу... — то и другое быстро теряет аромат, но укроп я стравил в суп, все равно... трава, но — твоя. Здорова ли ты? Ты меня забыла. Ты не пришла* и после моего чтения, хотя бы положить руку на мою усталую голову. Я — одинок, хоть и много людей кругом меня. Сейчас нет одиннадцати утра, а я сонлив, я едва заставлю себя идти за молоком. Лечь бы — под березами, и чтобы все — ти-хо... не думать, не ждать... не двигаться. Я так устал... Оля. Мне плакать хочется... неужели не увижу тебя, родная моя девуличка?! Когда, когда я смогу уйти в свои «Пути», в полном покое, в полной свободе ото всего теребящего? Никогда..? Какая горечь... Твое последнее письмо — от 16. Сегодня 25. Ты молчишь. Почему ты не подарила мне хотя бы отсвета твоего чувства, сердца... — к 22.VI? Этот день — черный, страшный день мне: День кончины Оли... — 6 лет прошло. Я... так одинок... — и в этот день, весь разбитый, я был — один. Я не упрекаю тебя, и лишь оплакиваю... себя. После моего «праздника» общения с читателями, цветов, высказываний любви к писателю... такая разбитость, такая... пустота... и тревога за тебя — больна?! ...

[На полях:] Насилу дописал письмо! (3 дня!!) — о, какая [нервная] усталость! Целую, милая. Твой Ваня

Мне, кажется, ни-че-го не надо. В таком состоянии, должно быть, умирают. А я живу!

Хоть в снах приди, О-ля..!

Как же я в Arnhem, когда инженер Субботин скоро оттуда выезжает?! Как все спутывается...

---

[i] Елисейские поля (*от фр. Champs Elisees*).

* и все же пришла... в чу-дом явившейся карточке!!!!!

Напиши — всю правду — о твоем здоровье.

Не знаю, найду ли силы поехать 27-го на кладбище: с 7 утра до 7 вечера — и все на ногах! И — горько.

Гулинька моя светлая, 4 1/2 дня (25) с 1 часа ночи нет никаких болей, а я и глинки не принимал утром.

6

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

26.VI.42 4 ч. дня
27-го 5 ч.

Ах, какое твое письмо (19.VI)[70], девочка моя полевая, нежная, Ольгунка родная, такая вся близкая, чувствую тебя живую, трепетную, жгучую, рвущуюся, вольную, всю — обвеянную родимыми ветрами, всю свою! Весь я взбудоражен тобой, впиваюсь взглядом в «скульптурность» твою, — о, баловливый ветер, нескромник! — и ты не стыдишь меня, не смущена такой близостью твоего глупца... Ты же вся моя, ненаглядка, я это чувствую, я — весь, весь твой, — но что я..? — могу ли с тобой ровняться? Я же — увы! — далеко не полевой, далеко не безоглядный: если бы лет 15—20 долой.

Ольгушоночек мой душистый, пушистый, — тепленькая какая ты в этой картинке, чудом ко мне явившейся! Никак не могу объяснить, как она объявилась?! Я тогда все, все обыскал... двадцать раз мели, все перебиралось на столе, все конверты я вывернул... — я же помню! Ну, явилась... сама пришла... захотела... — и я тебя пью, и целую твои ножки, — ах, ты, вы-пуклая красавка-молодка! Ольга, чудеса со мной... надолго ли? — все боли кончились, ночь спал, — и это от одного, умно найденного доктором Очаном, средства! Какой же пустяк — «карбатропин»! Т.е. — уголь с ничтожной дозой атропина..! Значит, и Серов был прав, говоря, что не язва, а... «спазмы» интестинальные[i]. Только по лени своей он не выбирал средства, а Очан... он не менее получаса комбинировал! Хорошо, что захватил его, накануне отъезда его к дочери и внучкам — в неоккупированную зону! В исключение только — принял меня, уже укладывались. Какой удивительный человек, какая выдержка! Знаешь, он точно знает, что приговорен: у него страшная болезнь, — злокачественная опухоль прямой кишки! Две операции. В прошлом году он помог мне... за

---

[i] Внутренние *(от лат. intestinus)*.

три дня до оперирования его, — операция продолжалась два часа! Делал самый известный хирург Франции. Рецидив парализовал. Взял в с е ножом. Очан должен каждый день делать сложнейшую «гигиену», т.к. ему необходимо механически закупоривать «выход». Новый рецидив возможен. И он ровен, по виду не узнать... а в душе — о, какая тоска, должно быть! Единственная радость — он женатый — внучка или две... — светлая его радость, последняя... В прошлом году, придя к нему по совету друзей, я и не предполагал, что он как бы «перед приговором». А он знал. И теперь... ласков, вдумчив, сосредоточен на пациенте, не на своем, трагическом! Ладно. Я отдохнул после чтения, после бессонных ночей, болей... Завтра еду в Сен-Женевьев, с Радуницы[71] не был на могилке.

Ольгулька, я спешу опередить вчерашнее письмо, — оно могло опечалить тебя. Веришь? Я для тебя читал, тебя нес в душе, тобой жил... — и цветы твои — поцелуем твоим мне были, тобой мне были! И при всех я поцеловал... тебя. Усыхающие, вот они... но они для меня тобой живы, тобой прекрасны. Я не мог говорить тебе неправды, и я сказал тебе бытовую правду, — только тебе! — не страшась, что тебя обижу, — ведь ты моя... — ты — я, как я могу себя обманывать?! И я сказал, как тебя купчишки обводят. Конечно, они не сумели и обрамить... — все кой-как... — спаржевая зеленца, сойдет! Но я был счастлив моей чудеской, моей неизменной, моей переполненной чувствами, мыслями, — жизнью, образами живущей... Олькой моей бесценной... — не знаю, что бы со мной сталось, если бы ты сейчас была тут... — подумала бы — безумец!? Ну, да, от тебя безумец. — Ты не знаешь, как хочу быть вместе с тобой, жить тобой, для тебя, — только подумать..! Хоть месяц с тобой, у моря, на Юге... какие утра, в Крыму! Ах, какие... — Олёлька-девуленька... измазал бы земляникой твои щечки, любками отуманил бы тебя... всю, всю... до беспамятства... Ольгунка, верхом в горы бы... на заре... утро на высоте Демерджи[72]... полдень... черешневые сады... в солнце раннем... в звоне ручьев, в цикадах... жар палящий, зной — от каменных глыб, с белых дорог... от седла конем пахнет, жаром пышит... от щек твоих, от твоего дыхания... от голубого блеска... в глазах и в небе. Я хотел бы с тобой дремать на стогу, в пряном его дыханьи... в твоем дыханьи!.. Ольга, это же тебя я воображал, говоря о «простой молодке», родной, полевой... — нет, никого для меня нет больше... — и все, мечтаю о чем, что влечет, манит и искушает сладко... — все ты, и во всем ты... Ты,

душевной и страстной переполненностью своей — в с е для меня включила, в себе таишь. Разве ты не почувствовала это? «Простила бы»... ах, милая моя глупка... — конечно, простила бы... — ведь все — только с т о б о й бы было, и ты все отдала бы мне, и я все взял бы от тебя. Сегодня я, прямо, взбудоражен, дивлюсь остатком здравого смысла во мне, к а к о й я еще... п о ж а р! Будь ты сейчас тут, побежали бы есть мороженое! — и ты, как девчонка, облизывала бы бочки стаканчика... — помнишь, облизывала..? — и я смотрел бы, как ты ловко умеешь это, вку-сно! Я тебя в с ю вижу, всю могу воссоздать, как хочу, и к а к о й хочу... — так во мне ярко воображение... так живо, будто на заре бытия. В с е воображу... — а иные этого не постигают, до чего это легко, захватывающе дивно! Я же твое дыханье слышу... слышу, как вкусно ты ешь горстями землянику, и чувствую, как зернышки хрустят на твоих белых зубках... и что ты чувствуешь... Я тепло кожурки твоей слышу, загар чутошный, его дыханье... — загар, ведь, дает тончайший запах, чуть-чуть от него паленым и горчит чуть, а какая в загаре неуловимая сладость-страстность! Вот такую, летнюю, июльскую, жаркую... чуть сомлевшую... чуть-чуть влажную тебя... я чувствую! Я страстно люблю запахи... Ты помнишь, как пахнет в полуденную жару цветущая лужайка, новый ситец на молодайке... — это, кажется, только Толстой мог слышать, это смешение... не в его ли «Дьяволе» это..?[73] Я всегда смущался показывать в работах этот сверх-нюх. А сколько в жизни, для многих, неуловимого «дыханья»! А как опята пахнут в мае—июне? а в апреле — голые еще луга в ветре? А первая сыроежка, найденная ребенком, тобою найденная?! Не забуду — масляток, как я их впервые п о н я л... — молоденькие — совсем-то сливошные... склизкие-липкие... и как же пахнут! Ольга, я хотел бы забраться с тобой в густой малинник, в его цапкую чащу зелени. Какая алость, густо лиловость даже ягодной сочной зрели... такой зрели... каждая ягода налита, будто душистые икринки слиплись! страстно дрожит-горит сладкий сок... в ней особая, таящаяся страстность созрева, нагрева, сгущенной сладости... — будто в зрелой, познавшей страстность объятий женщине... У, как я расписался, раскрылся перед Ольгулькой милой... — ведь это ты, з н а ю щ а я... ты — зрель, и недозрель, — все в тебе смешано, всем ты влечешь, все з н а е ш ь... от бездонной глубины-высоты небесной... до — самого чудесного земного, до страстного пения тела, в истомном стоне... — огромнейший твой размах, я это чувст-

вую. Русская душа — великолепно-богата, а ты — сверхрусская! Ты в любви высоко-духовно одарена, до недоступной гармонии херувимов... и так близка-созвучна земному, так всеохватна в томлении, в страстности-жажде — создать, жизнь дать, слить пределы небесного с чудесно-тленным. В тебе для меня слились — и дитя, и женщина, их сущности живые... их души, их желания... Ты страшно чиста... и свята, и ты... — вся земная, но какая единственная чудесная земная! Что Творец дал в радость живущему... — это в тебе сгущено вложено, и ты еще и сама этого не сознаешь, и как бы я был счастлив раскрыть все это! Оля, ты не сочтешь меня за какого-то тонкого страстника? Нет, конечно... — это же миг такой раскрыл меня тебе... это же сдавленное во мне, не находящее исхода... Я отравлен будто... тобой, да. И без тебя... не тебя — не надо мне, все так безвкусно, пресно, не поет для меня. Если твои слова-письма, вылившиеся в них чувства могут так действовать на меня, — что же было бы, если бы я их слышал..! Если бы я видел тебя, твои глаза... — о, в них — все — кричит безмолвно, все обнажается без смущенья. И когда это все — живое, все перед глазами, все поет... — представляешь ты, как это слушается, вбирается, творит..? Отдаленно лишь равное сему — в музыке только разве... Творчество взглядов — искусство тоже, тончайшее — музыка! «Взгляд» — тот же «акт», сила, деяние. Вспомни: «если кто взглянет на... жену ——— в сердце своем»[74]. Какая правда! Я сегодня вот именно так — о, прости же! — глядел на тебя... Я смущен, но как же я могу от тебя скрывать? Ты помнишь мои «буковки»... в открытке?[75] Ты простила, да? Я смутился, когда... отправил. Бывают минуты отчаяния — без тебя!

Ольгулёчек мой, ластушечка, птичка, стрекозочка июльская... трстррр... — я так слышу! — я глажу твои щечки, твои губки... пахнут они малиной... такой жаркой, такой сочной... — сладкой... — дурман какой-то во мне. Ты мне все «сказала бы в глаза»? Да, да, да... — в сумерках бы сказала... и в ярком солнце. Ольга, тобой я смог бы вполне написать Дари. Ты же — неясно! — мне предносилась, желанная, новая... тобой я грешил, творя? воображая? уже любя? Ибо не полюбив, — но это как-то неопределимо! — нельзя так чувственно вообразить. Значит, и Нургет любил, и Анастасию... и всех... — но ты-то не взревнуешь, зная, кого я любил-искал. Стало быть я искал... мне было нужно? Да, конечно. При всем — уже моем счастье, к которому я привык. Надо было... пополнение: значит, чего-то надо было еще. И я нашел тебя, столько

исканную, так жданную! Да как же так... — не взять?! не увидеть, не встретить? Не... влить в себя?! Ольгуша, мне мало воображать, метаться в бессилии, — ну, Ольгуна... я не могу без тебя... — хоть мне и страшно порой, — «отбоя». Ну... я обезумел... ты все поймешь. Оля, милка, здорова ты? Ах, как досадую, что Очан уехал. Он м. б. и твою болезнь понял бы... Я все сказал бы ему. В письме это будет трудно все объяснить. Он нашел бы средство, что-то мне говорит. — Оль моя, радость и боль моя... — как я порой хочу всей твоей открытости... не только «Лавры», а и... томящего «герлен'а», тонкого-тонкого... — до помрачения. Я не знаю, чего бы я хотел... перечти Пушкина — «Нет, я не дорожу мятежным наслажденьем...» Какое «открытое» стихотворение! Конечно, я... выбрал бы — второе[76], но... с некоторой поправкой. Вакхическое... так же оно правдиво, и так ярко! Гармоническое слияние есть между этими «двумя». Ну, да, оно и дано Пушкиным! «И делишь, наконец», и т.д. Только одну поправку: не «поневоле»! Нет, а... смиренница разгорается и переплавляется чуть в вакханку. Как тебе кажется? Ответь. Ты — потупилась? Но ты же меня всего знаешь, ты могла бы «в глаза» сказать.

Олюночка, ни-когда не поминай обо мне высокими словами. Я — Ваня, твой нежный, твой весь, всегда перед тобой покорный Ваня. Пусть другие оценивают, как хотят. Ты — мне — Оля. Моя Оля. Без условий, без ограничений. И если я тебе писал: привожу выдержку, «чтобы тебя приманить», что ли... — то вовсе не для того, чтобы набивать себе цену, со-всем нет: чтобы разгорячить тебя к творческому, — дескать, смотри, как о достижениях пишут, это — награда за труд... милая, возьмись же, я верю в тебя, как в себя верю. Но я не принуждаю, нет, Олёль, детка моя нежная, нет-нет... не принуждаю... лишь — соблазняю... как детку пряничком! Ну, поняла, глупенькая моя, близкая-близкая моя... ведь ты у меня под сердцем... всегда... все, всю пустоту мне заполнила! И будь же моей, далекая-близкая, роднушка, единственная. — Висмуту мне не надо. Думаю, что так. Преп. Серафим благословил[77]. Что Он даровал — должно быть прочным. Все можно испортить, но я буду стараться, беречься. А, надоело. Я жить хочу, тобой, с тобой. Всей тебя хочу, жду... и жить хочу, потому что ты живешь, ты можешь быть моею. И все может быть, до чуда. Это было бы такое счастье... — Оля, ты будешь здорова, ты здорова, в тебе лучшая кровь, чистая... — и она хочет чуда. Оля, да совершится же оно! хоти, хоти, зови... моли!

Ты мне когда-то писала, еще не разглядев в с е во мне, что ты мне якобы нужна только для творчества, не ты сама, а лишь твой «образ»... Как это неверно! Именно т ы, в с я, и всей твоей сущностью... всей полнотой души и тела. Для меня, и для того, что во мне живет, что возникает и облекается словесно-живою тканью. Это как раз нужный з а р я д, в з р ы в общий, возбудитель неизъяснимый... страшную силу дающий... — э т и м всегда и у всех настоящих деятелей в области искусства — живет их сила, обновляет, окрыляет, возносит. Да, да. Ч у в с т в а — возбудители, родители воображения, — то же чувство! — питатели творческого действия. Ибо ведь и любовь, и — главное — завершение ее — наполнение ее — то же творчество, действие. Она освежает телесную структуру, она и возносит душу, крепит, целит, — открывает все «пробки», дает, подлинно, ж и з н ь. Тут «физиология» — и, кажется, в этом одном, главное, — служить духу. Конечно, не из беф-стексов родятся поэмы, симфонии, трагедии, романы... «рафаэли»... — они питаются все же «беф-стексами», и, главное, крайним выражением их, — страстью, восторгом, покойной гармонией формы, дух носящей. Все это, — понятно, — лишь «леса» на стройке: но есть та разница, что «венец счастья» для масс — увенчанная земным «творчеством» любовь... — детьми! — для некоторых только — и еще — самым главным — выражением их духовной сущности в н е, и внешними, будто, средствами: словами, подбором красок, звуков, линий... — тайна же творчества — невидимая никем «жизнь Духа».

[На полях:] Только сегодня, 27.VI посылаю: вернулся из Сен-Женевьев. Вчера была Марина, принесла нежные цветы, будто махровые полевые астры.

Целую. Твой глупый Ваня. Целую.

Сейчас письмо от Сережи, но он не пишет, получил ли деньги (на цветы) (10—11 [гульденов]) от моих знакомых (Russel).

Духи[i].

7

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

5.VII.42

Здравствуй, гений мой чудесный!

Вчера писала тебе как пьяная, безумное письмо[78]. Смущаюсь. Не буду больше. Забыла все на свете, забыла даже

---

[i] Приписка карандашом.

тебя поздравить с твоим успехом. Для меня это было совершенно ясно: не могло быть иначе. Я рада, что тебя так тепло чествовали. Милые дамы, они сумели тебе дать радость! Ну, теперь отдохни! Хоть караимочку попроси, чтобы тебя не дергали пока, — м. б. она скажет другим, что тебе покой нужен. Как горько мне, что я только испортила, м. б. своими дрянными розами твой п а р а д.

Мне несказанно больно это. Я поссорюсь с магазином. Это — наглость. Так и скажу. А мы их давнишние клиенты. Не могу сказать тебе, какой это нож мне в сердце! Ну, не подносила бы их «Юля». Лучше бы было! Ты утонул бы в васильках чудесных. Кстати, скажи, «Юля» что-нибудь про меня знает? Скажи! Меня очень удручает твое здоровье. Я думаю, я почти что уверена, что нервы твои тут главное. На почве усталости, недоедания, вернее — п о х у д а н и я. Я помню, как болел мой папа (молодым): боли в груди не давали шагу ступить. Думал angina pectoralis[1]. Был в Москве у знаменитостей. Ничего! Велено было усилить питание и прибавить в весе на 20 фунтов minimum. Он ел до 6 желтков яичных (во всяких видах, просто глотая сырыми часто) и пил молоко и сливки, много лежал, спал. Прибавил за лето пуд!! И все как рукой сняло! Папа мой был нервный клубок. Я уверена, что у тебя м. б. тоже. Если тебе дорога не очень трудна, Ваня, то сделай все, чтобы приехать! Я постараюсь тебе устроить отдых. Каждый час буду тебя пичкать всем, что тебе полезно. Увидишь! Никаких глупостей не говори. Я люблю тебя и буду любить всегда. А не приедешь если, — скорее м. б. наступит у меня отчаяние, а от него упадок и любви. Не знаю. Но думаю, что так вытягивать нервы у любви нельзя долго. Это ничего не значит, что я не ценю достаточно все то, что и на расстоянии не теряет силу! — Нет. Но и это все: дружба, поклонение, духовное родство — все это требует встречи и личного обмена мысли. Не думай, что вчерашний дурман меня толкает и требует своего. Нет, Ванёчек. Я повторяю, что, если так угодно, я останусь «рыбкой». И моя любовь к тебе не остынет от этого. Другие силы зовут тебя. Силы духа, души, мысли. Мне так тебя не достает. Так много надо сказать, знать. А... вчерашнее? Мне это не первично-необходимо. Это на втором, на десятом месте! Я сдержусь. Я всю жизнь такая. Приезжай, дружок. Тебе отдохнуть необходимо. И не надо трепать себя и жечь. Я хочу, чтобы ты запасся силами. Не будем заранее грустить разлукой. Дружочек, при-

[1] Воспаление легких (*лат.*).

едь! Подай прошение. Увидишь, чтО будет! Как мне хочется походить за тобой! Не буду «дерг-дерг», — обещаю! Буду «пай». Мамой твоей буду. Хорошо? Мы обо всем поговорим. Много о творчестве я от тебя услышу. Замираю в счастье, когда подумаю, чтО ты мне открыл бы! И как! Мы поговорили бы о твоих планах для фильмования «Чаши», — Ванёк, я в ужас пришла, узнав, что тебе подсовывают в героини «Paul'у». Ты непременно посмотри ее, прежде, чем согласишься! Если тебе интересно мое мнение, и если оно что-нибудь весит, то я тебе его скажу: Это, конечно, Паула Вессели? Да? Тогда болван тот, кто ее подсказывает. Безвкусный и нечуткий к т в о е м у! П. В[ессели] — хорошая актриса, но совершенно иного жанра. Это, я бы сказала, — добродетельная девушка, крепышка, хороший друг-жена, порядочная, очень вся реальная, очень «здравосмысленная», «ein guter Kerl»[i]. Но в ней совсем нет, не завязалось даже, того, чем полна Анастасия, — этой таинственно-женственной загадочности, прелести... Ни-чуть! И внешне: она женщина-репка, крепышка. Хороша в тирольском костюме, — это вот ее роль: здоровая девушка в горах, спортивная. Она не красива, никак. Косит слегка даже. В ней — н и к а к о й Т а й н ы! Я вижу Анастасию высокой, а эта — коротышка! Анастасия? и на... коротких ногах? П. В[ессели] — в хороших пропорциях, но именно «р е п к а»... И этот огонь священный Анастасии, эту, м. б. только русским женщинам свойственную природу: хранить под внешним льдом пожар чувства, — этого никогда ей не воплотить! Уродство будет. Эта сцена у дверей лачужки Ильи, зимой...[79] А это ведь не выбросишь. Это — сущность. Вижу Анастасию... Как живую.

Трудно, трудно найти среди иностранок. Никого не знаю, кто бы подошел. Из всех, пожалуй, могла бы дать что-то... одна, не знаю имени ее[80]. Француженка. Помню фильм один ее «Элен»[81]. Фильмовщики, конечно, знают. Она хороша. Она... с «ароматом женщины». И... вся хороша. Играет тонко. Масса шарма. Божественно играет. М. б. чуть «зрела», — о, не стара, не «тяжела», но именно слишком уже женщина, а у Анастасии мне видится еще и «девушка». Но хороша. Посмотри. — И еще: очень подошла бы, совсем не «огромная», а даже очень мало-известная, но очень подходящая — одна наша: Ал. Ал. Зорина[82]. Знаешь? Она очень скромна была, и потому не сделала, дающуюся ей карьеру. Ей даже бы и «играть» не пришлось.

---

[i] «Хороший парень» (*нем.*).

Она — вся тут! Огромные ее, небесно-голубые глаза, лучистые, невиданные глаза, «плещущие» чем-то... И вся она. Вся «укрытая», «затаившая»[i], как сфинкс. Но, поздно. Она не играет. И м. б., постарела. Я ее не видела лет 10[83]. И это только к слову. Я считаю полным фиаско дать эту роль П. В[ессели]!

Даже ненавистная мне хищница Ольга Чехова[84], смогла бы, пожалуй, «сыграть» («выломать») лучше. Думаю, что любая простая русская девушка вернее могла бы ее изобразить.

Я боялась бы пустить на чужом экране эту вещь. Ну, а кто же Илья? Кто — ты? Ибо ведь Илья — ты! И думается мне, что вышвырнет твою «Чашу» модный экран европейский плоско и пошло. Расплещут ее по базару. Где же «Неупиваемая»? Да и поймут ли? И можно ли ждать и требовать от актрисы верной роли, когда ей и перевести-то не сумели? Неупиваемая? Разве это то, как переводят здесь: «никогда не опоражниваемая»..? И разве можно перевести, найти слова и определения тому, таким понятиям, которых в своем языке, в своей душе нет?? Как переводится наше: обаяние? нега? упоение? И много, много? Как переведено наше «Иван Грозный»? «Грозный» — вовсе не «страшный», не «ужасный». «Грозный» — м. б. царь. А «страшный» — пьяница может быть. И так все! Не знаю хорошо французского языка. Но можно ли передать?

Вспомни и другое: как понимают они тут все? Сельма Лагерлёф не поняла же, почему Илья от воли отказался! И что покажут они? Русское крепостничество? «Дикость» русскую? Сумасброда-барина (пикантно!)? Или красоты Италии? Душу Ильи и Анастасии Павловны никто не даст. У себя, да! Не сомневаюсь. Когда время придет! А здесь? Очень будь осторожен. Предостерегаю тебя, т.к. боюсь горя твоего от искалечения детища твоего родного. Ты же не перенесешь. Посмотри Паулу в фильмах. Увидишь, что я права. Ты часто не считаешься с моим мнением, я для тебя — ребенок, но тогда спроси других, твое чтущих. Да посмотри же сам! И вообще, для оценки экранщиков на будущее, тебе полезно увидеть то, что тебе предлагают. Я люблю Паулу В[ессели] в ее жанре. Были чудные картины с ней: «Maskerade»[85], «Episode»[86], «Der Spiegel des Lebens»[87] и т.д. Она хороша. Свежа. Не ломака, как Леандер[88] или Гарбо. Очень проста, естественна, мила. Но не Анастасия Павловна! Никак! Прошу, посмотри и скажи, прав ли Олёк. Очень прошу! — Как я жалею, что не учи-

[i] Так в оригинале.

лась, не красива, не могу теперь. Я бы дала Анастасию Павловну. Я ее всю чувствую. Ты знаешь, мне часто советовали идти на экран. Но я уродом себя считала-таю, и потому не пошла. Поищи сам актрису. Походи в кино. Как вспомнишь, какое уродство дала Гарбо в Анне Карениной! — Ужас. Я ей писать хотела, чтобы она стыдилась себя художницей считать. Я топотала в бешенстве. А за твое глаза выдеру. Спроси же хоть «Юлю». Ну, кому ты веришь? Да посмотри сам! Очень прошу! Скажешь тогда, права ли я. Ну, Ванёк, кончаю. Я здорова. Кровь не совсем в порядке, но я не худею и не температурю. Вырвала зубы (2). Ну, их к шуту! Советовалась с дантистом не рвать ли и 3-ий (рядом), но он не нашел нужным. А по первому «зубодеру» надо было! Никаких гранулем не нашел. Вырвали корень от зуба мудрости и рядом, чуть стал чувствителен, без нерва он. Еще опухлая щека капельку. Боль была от 3 ч. дня до 5 утра. Но ничего! Еще достаточно зубов. Пусть дерут, что надо, потерплю. Так хочу быть здоровой! Ванечка, берегись! Не кури, родной. От курения и худеют. Я в ужасе от твоих 49 кило! А я — 62 1/4! Подумай! Прибавила.

Против зимы — не узнать! — Фасин муж все еще здесь.

[На полях:] Ну, Христос с тобой! Будь здоров! Собирайся тихонько! Приезжай. Беречь тебя буду. Ванюшенька, я все время с тобой.

Целую нежно. Оля

О «семейных делах» не писать лучше. Дружок, ты часто так увлекаешься, что забываешь в отношении меня то, что все же принимаешь во внимание касательно твоих сестер и племянников. Не надо лучше. У меня тоже свое крепко!

Пиши «Пути» — как чудесно все будет!

Я тоже хочу работать. Буду! Но и ты пиши! Дай же Дари нам! Напиши: Марина обо мне что-нибудь говорила? Поняла, от кого эти несчастные розы?

8

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

Письмо первое

Ужасно мне послать тебе это, Ваня, — будто признаться в чем-нибудь очень стыдном. Не суди! Прости, забудь эту мазню. Мне физически больно!

Целую. Оля

Мой первый пост

По календарю завтра начало поста. Ни служб церковных, ни благовеста грустнозовущего, ни, даже, талого

снежку, ни почерневшей дороги весенней, ни капелей... Грустно стало, и вспомнился другой, далекий, мой первый пост.

— Не шали, говорит мне няня, — сегодня уже готовиться к посту надо, друг у дружки прощенья все просить станем. И ты уже — отроковица и за всякой грех ответ несешь.

И правда, мне кажется, что сегодня особенное какое-то воскресенье, серьезное. И ждешь торжественного чего-то, необычайного.

Когда после вечерни в гостиной просят все друг у друга прощенья, а муж Александрушки-кухарки бухается даже всем в ноги, то мне становится так странно-тесно в груди, точно вот: — возьми и полети! С запинкой (совестно-неловко чего-то) я повторяю за прочими: «прости, Христа ради» и «Бог простит!»

— Ну, прости меня! — берет мама меня за ушки, — и я вдруг нежданно для себя заливаюсь слезами какого-то неописуемого чувства. Обхватываю колени ее и шепчу:

— Мамочка, за что же?

— А ты скажи «Бог простит!», дурашка, — наклоняется она ко мне, — а плакать-то нечего... Ну! Говельщица ты этакая!

И от этого «говельщица» что-то новое, такое радостное заливает сердце. Я вспоминаю, что мама обещала брать меня за все, за все службы в церковь, и даже на рассвете, на погребение Христа и за Светлую Утреню в Пасху.

— Мамочка, мама, — могу я только шепнуть ей в шейку и швыркаю еще сильнее носом.

— Простите, барышня, Христа ради, — берет мою ручку Василий...

— «Барышня», — думаю я, — как вдруг сразу можно стать взрослой! Нас рано ведут спать.

«Бог простит» — слышится мне сквозь дрему. На другой день — «чистый понедельник», и мы едем в баню. Уроков нет, а только мама читает нам жития Святых, и так это все удивительно и такое все совсем другое. И няня Соня наша совсем уже не та, что прежде. Она не шалит, не выдумывает новые игры, не возит на себе братишку, не смеется. Только вот по дороге в баню не утерпела и рассказала, как вчера за ужином «баба Лиза», доедая рыбу пожадничала и подавилась костью.

— Посинела, глаза выкатила, ну прямо страсти! Долго ли кончиться! — ни туда — ни сюда кость-то. Да кто-то догадался свечкой ей протолкнуть... Ну и... прошло. А то уж

мы подумали, что и по-делом, может, ей! Нам-то все не доверяет, — мамочка ее оставит домовничать, как на дачу уедете, а она все-то баночки с вареньем ниткой перетянет, да заметит, до каких пор съедено. Да... вот, мы только бывало с Катюшкой, возьмем да ложкой все и переболтаем, стенки-то обмажем, а она-то, жадина такая! бесится.

Мы до смерти жалели, что спали и не видели, как «баба Лиза» давилась костью. Хоть и страшно, а любопытно, — как это свечкой протыкали? Соня обещалась показать и свечку. Но когда мы вернулись, она совсем притихла и не велит нам поминать больше про бабу Лизу, а сама собирается к ней просить прощенья. Соня и с виду стала совсем другая, и волосы у нее блестят, пахнут лампадным маслом, и кажется, что она похожа на гладенькую репку. Соня не пьет в пост чаю, а только кипяток с сушеной земляничкой, которую ей мать привезла из деревни. И сахару Соня не берет, а покупает на копейку каких-то пестрых, душистых «крошек».

И я тоже не пью чаю, и кажется, будто кипяток куда вкуснее, а кро-шки... Чудо — эти крошки!

Соня после чаю читает Евангелие и объясняет нам, а потом много рассказывает об Иисусе Христе, и как Его мучили люди, и об Иуде-предателе и много-много... Нам делается так жалко Иисуса Христа, что мы плачем, и Соня тоже сморкается все...

Сказок не говорит больше Соня, и даже про барсука, что жил в лесу у их деревни, ничего не рассказывает. — «Празднословия не даждь ми!»[89] — объясняет она. Когда мы хотим гулять теперь, то она водит нас на паперть церкви, где нарисована большая картина Страшного Суда, и показывает всякие грехи и муки.

И я уже знаю, что на каждом-то шагу стерегут человека бесы, и когда согрешишь, то радуются они, а Ангел-Хранитель[i] отходит и тихонько плачет. Такой красивый.., милый ангел. Знаю тоже, что только до 7 лет детки чисты, и когда умирают, то ангелочками у Бога. А кто старше — должен «ответ нести», и потому вот каяться нужно.

И все бы слушал и слушал...

Ах, какие удивительные дни настали. Вся наша жизнь как-то вдруг переменилась. Даже вот, никто не заставляет пить молоко и яйца есть. А новое... — все такое вкусное! И грибки, и разные ягоды, молоко миндальное, яблочки моченые и этот душистый постный сахар! Баранки теплые,

---

[i] В рассказе сохранено написание оригинала.

позвякивают на мочалочке — прямо из курени! Чудесный какой о н, — пост!

День за днем уходит он, и вот уж скоро пойдем мы к исповеди с мамой. Мы ходим в церковь... и там все иное: грустно как-то, заунывно, и люди-то будто другие, — в темном, в платочках, вздыхают по уголкам. Таинственно и страшно подумать: и с п о в е д ь, и замирает сердце!

Соня говорит, что так и надо — трепетать и страшиться, потому что Сам Господь стоит невидимо и грехи принимает.

И все-то, все сказать Ему надо, а коли что утаишь, то вдвойне зачтется... Если забудешь, то — ничего, а утаить вот никак нельзя.

И я молюсь, усердно молюсь Богу, чтобы Он мне все простил и чтобы не было страшно.

Знакомые молитвы мне кажутся другими, и будто это для меня именно сказано: «и не осуждати брата моего»[90]... А этот «брат мой», с челочкой и светлыми кудряшками, только что вот плакал: расцапались опять с ним! И засыпая, я думаю, что завтра ни за что, ни за что не буду спорить с Сережей. Хочется быть послушной, доброй, чтобы не плакал милый Ангел-Хранитель...

И вот... все, все пропало, в один-единственный, ужасный день! Вспомнишь, — сожмется сердце, и нет уже радости от поста.

Вижу вот все, как было: и детскую, и Сережу перед образом, вот как он ёжится усталый, спать хочет, а все-таки с а м читает молитвы. Раньше нарочно встал молиться, чтоб одному, чтоб «не мешали». Так он любит. А помешай ему, — собьется, забудет, заплачет, но не даст себе подсказать. И будет плакать, что не дали ему помолиться и долго еще во сне будет всхлипывать...

Я знаю все это. Знаю. А вот забыла т о г д а, должно быть!? И... пирог с соленьем несчастный этот вижу в руке своей,.. вкусный, самый любимый мой пирог, с желтенькими капельками масла. Нажмешь пухлое тесто — и выступят!..

И как подскочила к Сереже, вижу!

— Посмотри, посмотри, — как губка! Пожми-ка!

— Не мешай!.. «Утешителю[91]... утешителю...» — Сережа беспомощно оборачивается на Соню.

— «Душе истинный», — подсказывает та, но он сбит... Я вижу его, как собирает он носик...

— Не могу, забыл, — плачет он... — Зачем ты меня соблазнила?! Зачем соблазнила?!

Он трет глаза кулачками и не может закончить молитву. Соня бьется с ним, уговаривает сегодня уж так идти в кроватку, — смотрит на меня с укоризной.

Вот, вот... все так и было... И от воспоминания этого мне становится так невыносимо, так сжимает сердце, подступает ком к горлу... Но т о г д а, тогда я не поняла, не знала, что я сделала.

А вчера вот, — все открылось! Вдруг открылось!

9

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

Письмо второе

Я уныло брожу, мне не найти себе места. И когда мама утром сказала, чтобы мы недолго гуляли, а то устану я, что за вечерню мы пойдем в кладбищенскую церковь, а не в нашу, и что останемся там исповедоваться, — то у меня сдавило сердце. Гулять не хотелось, но тянуло посмотреть страшную картину на паперти... Не повела Соня, — торопиться к обеду надо.

— Ну, что же ты не ешь? Не любишь горох, а вот и съешь его, и будь умница!

— Ах, не от того, что не люблю, а просто не глотается чего-то. Еще несколько часов до исповеди...

Я бегу в «учебную» комнату и достаю маленькое Евангелие. Тихонько (Соня отвернулась) я вчера зернышками канарейкиными заметила местечко, где читала Соня, чтобы еще перечитать. Вот оно: «И кто примет одно таковое дитя во имя Мое, тот Меня примет. А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня; тому лучше было бы, если бы мельничный жернов повесить ему на шею, и бросить его в глубину морскую. Горе миру от соблазнов: ибо надобно прийти и соблазнам: но горе тому человеку, через которого соблазн приходит»[92].

Тоскливо заныло во мне и потянуло в животе даже...

«Соблазнила»... Так и сказал: «соблазнила». Не было сомнений... — Господи, что же я сделала?!

Тихо в комнате, — только «кенка» скачет с жердочки на жердочку, сыплет зернышки. — Пи-и, пи-и, позывает она грустно. И от этого еще тоскливей. Со стены смотрят любимые картины... Вот, Христос и дети, и надпись... «Таковых есть Царствие Божие»[93]. Я взбираюсь на стул, чтобы лучше увидеть все, и стараюсь угадать: к а к и е детки? Маленькие? Меньше меня?

Вот, маленькие, совсем маленькие, на руках, а вот побольше... Но сколько лет им? Семь? Меньше?

— Господи, — горестно шепчу я, складывая на груди ладошку на ладошку, — отчего же не умерла я до 7-ми лет?!

И жалко и себя, и ангелочка, который плачет, и страшно ужасных жерновов. Мерещится страшная картина на паперти. Я смотрю на доброго Христа с детками, и так мне хочется, чтобы и меня Он погладил и пожалел...

Меня одевают впервые в драповое пальтецо, и маленькие калошки. Полегче стоять, да и тепло очень.

Снег в саду сильно стаял и осел, а по дорожкам уже кое-где видно глинку. За день нагрело так, что льет, журчит ручейками, и так приятно было бы пошлепать по лужам!.. Но не радуют ни пальтецо, ни калошки, ни лужи...

— Свадьба, свадьба! — орут мальчишки вслед перелетающей с альтистым цоканьем стае галок.

— Им весело! — думается, и я вздыхаю.

Мы идем мимо лавчонки, где Соня покупает «крошки», мимо аптекарского магазина, где дают в премию какую-нибудь игрушку. Обезьянки, вагончики, куколки.

А вот и вокзал, а там, за полотном и кладбище[93а]. Мне хочется вздохнуть еще, и еще, и все поглубже.

— Что ты? — спрашивает мама и притягивает к себе мою руку. В один миг мне хочется рассказать ей все, выплакать свое горе и узнать, «простится» ли?

Но я не могу, не могу и отвечаю: «так!»

— Ты не бойся, отца Константина ведь знаешь, — ну и поговори с ним!

Я и не боюсь отца Константина. Старенький, седенький, он все качает головой, будто поддакивает, так похоже на китайскую куколку у мамы на этажерке.

Нет, его я не боюсь.

На кладбище очень тихо, только галки гомозятся в березах. В церкви полутемно и тоже тихо. Мы становимся вперед, за каким-то образом. Я помню, стоял там стулик, а около него сухонькая юрконькая старушка. Она оглядела нас, чужих, подергалась плечиками и что-то сказала маме. Видно было, что это — ее место, потому что она меня все уставляла: то подвигая вперед, то оттягивая назад, то в сторонку. То и дело оправляла мне косички, разглаживала ленточку на *шапочке-матроске*. Мне не *молилось*. Мурашки бегали в ногах и ныло чем-то тоскливым в сердце.

«Боже, помилуй мя грешного!»[94] — прорывался порой шепот о. Константина. И он, размашисто крестясь, клал

немые поклоны. Крепко сжимая щепоть, я врезывалась ногтями в лобик, шептала и тоже кланялась.

«Господи, Владыко живота моего...» — раздавалось снова громко... и, повторяя шепотком, я так старалась вникнуть в смысл этих малопонятных, малознакомых слов.

Старушка рядом чего-то вдруг засуетилась и что-то стала шептать маме.

— Я уж, матушка, сейчас пройду, дело-то немолодое —, устала. Я всегда уж так, первая иду. А коли деушка-то Ваша устала, дак пускай со мной вместе идет, какие у ней грехи-то, — да и у меня-то ей нечего наслушаться.

— Пойдешь с баушкой? А? — дышит она мне в ухо.

— Господи, что же это? — думаю, заливаясь румянцем. — Кто она? Зачем она должна все обо мне услышать?

И мое горе, мое первое горе давит меня всей своей тяжестью. Я смотрю умоляюще и на нее, и на маму, и ничего не могу сказать.

— Нет, зачем же, идите Вы первая с Богом, она не устала. Говорит за меня мама.

Господи, — думаю, — м. б., мама догадывается о моем грехе, м. б., она что-нибудь знает?

Я не замечаю конца вечерни, даже молитву перед исповедью, вся я в думах о моем грехе.

И когда о. Константин вышел в ряске и епитрахили на клирос, не поняла даже, что исповедь уже началась. Казалось, что вечность прошла с тех пор, как двинулась к клиросу старушка, еще в последний раз переставив меня и отдернув мое пальтецо.

Я ничего не могу думать, и кажется, что все, все забыла. Все, кроме того, страшного, ужасного греха. Старушка кувыркается как-то на колени, и потом, сокрушенно вздыхая и крестясь, направляется к своему стулу.

— Ну, поди ты теперь, Господь с тобой! — слышу я, и мягкие руки тихонько толкают меня вперед. — Поди к батюшке, не бойся.

Холодком каким-то, будто ветерком понесло мои ноги, и я, сама не знаю как, очутилась перед о. Константином.

— В первый раз пришла к исповеди? — подергивает его рука на моей головке. — Ну, что же, вот и расскажи, чем ты Господа огорчила.

— Ну! —

Молчу я, начать не знаю как, щиплю до крови пальчик.

— Ну, папу-маму сердила? Не слу-шалась? Ленилась?

— Да, — повторяю я чуть слышно и чувствую как мне трудно и говорить, и смотреть.

(13.VII) Ванечка мой родной, я в отчаянии от твоего письма (7.VII). Твоя болезнь, я уверена, от издерганности и недоедания. Умоляю, ради меня хоть:

1. отмени посетителей!!
2. ложись рано спать!!
3. не бери сонное!!*
4. лучше нет валерианового [чая].

Целую. Пишу скоро!

Приезжай! Я тебя поправлю! Оля

10

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

Письмо третье

Светящиеся кружочки теснятся в глазах, сталкиваются друг с другом, застилают, струятся лучиками. Я мигаю, потом таращу глаза и все-таки не вижу больше золотого крестика на епитрахили о. Константина. Он растекается, плывет куда-то, и вот, — исчезает вовсе... Батюшка покрывает чем-то мою голову.

— Господи, как же! — проносится молнией в голове, — не сказала! Нельзя, невозможно! Но что же делать?

Я выползаю из-под епитрахили и отчаянно шепчу, глотая слезы:

— Не все еще, не все, у меня... еще грех.

И не слыша, что ответил священник, я рассказываю ему все так, как случилось, как врезалось в память за эти последние два дня.

— Я соблазнила одного из «малых сих», — докончила я, с горестным отчаянием, выговаривая всю суть беды моей...

Добрая рука гладит мою голову и тихий голос говорит что-то. Но я ничего не слышу, ничего не думаю больше. Слезы застилают глаза, растекаются по щекам, и нет сил удержать их. Я отдаюсь им, и мне легче.

Но мысль «простится ли?» снова пронзает меня и снова щемит сердце. Я хочу спросить батюшку обо всем, и о страшных жерновах, и о плачущем ангеле, — хочу дотянуться на цыпочках и спросить тихонько... Но в этот момент тяжелая епитрахиль накрывает мою голову и глухо доносятся ласковые слова... Воском, медом, ладаном струится от епитрахили, горят щечки, стукает сердце.

---

* у меня всегда после снотворных боли ужасные в желудке, без всякой язвы. В больнице прямо всю ночь мучилась.

— Ну, потом спрошу, — замирает во мне что-то, а в душе уже н е т муки.

И вдруг... «И аз, недостойный иерей, прощаю и разрешаю»[95]... Неземным счастьем ликует сердце.

Когда мы вышли из церкви, слегка морозило и стемнело. В чистом небе светился молодой тонкий месяц. «Прощаю и разрешаю»... звучало в ушах, пело в сердце, мерцало в звездах, хрусталем звенело в тонком рожке высоко в синем небе.

— Дай-ка подниму воротник тебе, не простуди горло, разогрелась как! — Я не могу ничего говорить и только крепче сжимаю теплую, родную руку. Мы идем задним крыльцом, через кухню.

— С очищением совести Вас... — ласково поет Александрушка и подхватывает меня подмышки.

Дрожит что-то в сердце, рвется, смеется и плачет... Я утыкаюсь Александрушке в платочек, у ушка и тихонько ее целую.

— Как это ты придумала так? «С очищением совести?..» Почему это ты т а к?

— Да не придумала, а уж так водится, завсегда так! Устала чай?

— Н-нет, — весело кричу я, — нисколечко не устала...

— Она у нас настоящая говельщица, — перемигивается мама с ней смеющимися глазами.

Я стою на широкой кухонной лавке вровень с Александрушкой. Она обсуждает стряпню на завтра и мерно гладит мне спину широкой шершавой рукой, цепляет шелк ленточек.

Сережа уже уложен спать, и Соня чего-то деловито бегает из детской в «учебную». — Что это она там делает?

— Уж не будем разговаривать-то, — говорит она тихо, а то... от греха поди-ка сразу спать!

В детской тоже горит лампадка, как и по всему дому, а сквозь стекло в двери проходит свет из «учебной», и потому не темно, а как-то особенно покойно.

Вот тихонечко открылась дверь, и Соня осторожно несет что-то, кладет на стул, развешивает на спинку... Что это?

— Что это, Соня?

— Не спишь все еще? Ну, ладно, скажу уж, — это платьице тебе новое выгладила к Причастию. Мамочка сделала. Пре-лесть! Белое, на голубом чехле, и ленточки голубые. Завтра увидишь. А сейчас спи!

Ровно-покойно мерцает лампадка, плавно колышутся на потолке порой какие-то тени... Тихо... плывешь куда-то будто...

...Мне видится свежее утро, холодок.., а подмороженная дорога под льдистой корочкой так напоминает бо-ольшой, бо-ольшой залитой орех... Лужицы затянуты тонким ледком звонким, как стеклышко, а под ним пузыриками ходит водичка. Ах, как весело... и в носиках калошек яркое солнышко шалит зайчиками. Радостно шуршит шелковый чехольчик под новым платьем. Какое оно дивное... все будто в птичках?.. в бабочках? Или это ангелочки? И будто и у самой вырастают крылышки и... вот-вот и полетишь. Оторвалась вот, дрогнула... и... полетела, все выше, выше... «Шу-шу-шу» — свистит как воздух? «Ши-ши-ши» — слышу я, хочу еще выше, выше, вздрагиваю всем телом... и открываю глаза, проснувшись. Темно, — нет ни солнышка, ни лужиц звонких, ни ангелочков...

— Спи, спи!.. — Я узнаю склонившегося над кроваткой отца и, вскакивая, обвиваю его шею.

— Папочка, как хорошо, — лепечу, не находя слов, — папочка, ангелочек не плачет, и жерновов не будет... — выдаю я со сна свою тайну.

— Каких жерновов? — спи-ка, тебе чего-то снится!

Тонкая, холодная рука ложится на глаза мои, и я, накрыв ее своей ладошкой, нащупываю знакомые жилки, перебираю их пальцами и стараюсь дотянуться, хоть до мизинчика, губами.

И кажется, что нет счастливее меня на земле человека, и нет ничего прекрасней, как вот жить так безгрешно и ждать чудесного завтра, полного Света, Радости и любви.

Все!!

1942 год. Февраль

Я многое выбросила и сократила, т.к. показалось, что от тебя. Например, описание домашнего быта. Прогулка перед исповедью была первоначально тоже длиннее. Я правила сегодня, переписывая. У себя ничего не оставлю, никакой копии. Если ты уничтожишь, то и хорошо. Это только из великой любви к тебе я шлю, но не как произведение, а как доказательство, что перед тобой я не ломаюсь. И еще: чтобы ты увидел, что я не могу!

Мне легче знать, что ты мне ничего не скажешь об этом рассказе, а то я измучаюсь. Ты не захочешь меня огорчить, — будешь, м. б. хвалить. Я же никаким похвалам не поверю. Знаю, что — бездарь. И все тут! Мне даже цензора стыдно.

Целую тебя, Ванёк! Оля

Ради Бога не думай, что я заделываюсь в писательницы! Ничуть, ничуть! Никому, никогда не дам. Не покажу. И молю тебя: сожги!!!!

Цепенею, когда подумаю, что всю эту ерунду будешь ты читать! У меня н е т копии!

Я все время с тобой и о тебе! Лечись п о к о е м! Ваня, умоляю, отставь пока хоть посетителей! Если ты этого не сделаешь, то вечно будут боли. И я заболею. Мне нужно много сделать анализов — Шахбагов требует. М. б. я сама сделаю, если найду лабораторию и согласие. Тогда будет точно!

13.VII.42 Вчера были Фася с дочкой (приемыш) и один инженер русский из Утрехта с дочкой, деверь и Сережа. А сегодня не явилась моя «дульцинея»[96], и потому масса дела. Но скоро пишу! Я очень тревожна твоей тревогой, но не болезнью, т.к. уверена, что все это нервы твои. Мой отчим всегда сваливался после выступлений и всяких волнений. Приезжай к именинам моим! Дорога не длинная, а здесь отдохнешь! Или боишься разочароваться в твоей «мечте»? Мама так думает, что ты боишься увидеть, т.к. создал идеал. Так это?

Фася увлечена «Путями».

Целую, люблю. Оля!

13.VII.42 Ванюша, ты не хочешь приехать. Это я сразу чувствовала. Я знаю это. Поверь, я умею понимать твое «между строк». Ты болен, но еще больше ты не хочешь, ты потому и нервничаешь при думах о поездке. Я не неволю: Бог с тобой! Не требую жертвы твоей. Но я просто говорю тебе: приедешь — поправишься. Я откормлю тебя и обласкаю, согрею. Получила письмо от Шахбагова очень обстоятельное. Зовет меня в Берлин для лечения.

Жду! Но не неволю, как хочешь. Тогда я, м. б. уеду в Берлин, если ты не хочешь ко мне! Вот тебе! «Кавказец» очень трогательно меня утешает и возмущен как мало меня исследовали. Обещает, что в самый короткий срок распутает мою болезнь. Верю.

11

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

[Середина июля 1942]

Милый Ванюша, пишу тебе из салона моего парикмахера, хочу сама отправить письмо из Utrecht'а. Давно от тебя опять нет весточки. Ты здоров? Я постоянно за тебя волну-

юсь. Получил ли ты мой «рассказ»? Я страшусь о нем подумать — такая бездарь. Ну, уж послала! Ванюша, я много буду думать о тебе 27-го июля[i]. Этот твой когда-то светлый день, проведи в мире и тишине. Я молюсь всегда за О. А. Не грусти очень сильно. Будь тих и кроток! Я не забуду никогда, как ты писал мне в прошлом году... обо всем этом. И как я плакала, и как тебя любила, не знала этого, но уже таила от самой себя. И потом моя прогулка, дорога в поле, вся в ячменях и... солнце... Помнишь? И письмо тебе... Ах, помню, как его писала. Горело сердце! Чудное было время! Какая тоска, что нет солнца, нет лета... У вас как? Здесь от сырости все гибнет. И люди тоже страдают. Мама себя чувствует разбитой от этой гнетущей погоды. Заболел и А. Что-то с пузырем. Сырость, холод, — он вечно в поле, на ветру, промокший. Удивительно, как часты здесь именно эти заболевания. Сегодня, кажется, чуть лучше. Он не лежит никогда. Мне казалось, что тоже была кровь, пошлю к доктору. Я пока здорова. Пополнела. Вес самый мой большой, даже стыдно. Скоро опять все анализы повторять будут. Вчера, вдруг получили письмо из Гааги, адресовано: O. Bredius, S. Subbotin, A. Owtschinnikova. Смотрю на имя отправителя и глазам не верю: один наш самый лучший друг из Берлина[97]. Читаю — верно, в Гааге по делам. Умоляет отозваться и увидеться. Только вечером смогли найти телефоном друг друга и условились, что в пятницу, 24-го увидимся в Гааге. Если твоя Олька не заболеет, то мы проведем именины совершенно необыкновенным образом. И я сама буду гостьей. Я так жду твоих писем, так тревожусь о тебе, что ничего не могу сама писать. Что ты? Как ты? Как дела с поездкой? Ты ничего об этом не пишешь. Я уж не пристаю к тебе. Ты не хочешь? А порой мне страшно: не случилось бы чего?! Я видела недавно страшный-страшный сон. На Сергеев день. Когда именинник твой Сережик? В сентябре?[98]

Меня мучает «роман», который я задумала. Или: не задумала, а сам задумался. Порой я ночью даже и в полусне мысленно пишу целые картины. Иногда так ярко, так сложно-жизненно, что мне страшно — можно ли воплотить? Я где-то в себе ощущаю, живу, дышу этим, но смогу ли передать другим? Будет ли это легко, правдиво, тонко? Какая масса ощущений, чувств, переживаний затопляют моих героев, все мое, из жизни, пережитое. И как же трудно. Порой я так увлекаюсь, что сердце начинает биться, я

---

[i] Описка, имеется в виду 24 июля.

и ревную, и люблю, и отчаиваюсь вместе с ними. Ну, да... душа-то романа — не вымысел. Это — сама жизнь. И пусть это не хроника моей жизни, но именно, в большом и узком — это — душа того, что когда-то пережилось. Это не биография, никак, но я знаю, что я все буду там сама, подлинная, хоть и не хочу этого рассудком. Я не знаю названия, оно даже не приходило мне в голову, — м. б. просто назову именем героини, героя. Какие они? Тоже еще не знаю. Не знаю ее имени... А какие-то дать надо. Подскажи!? Как ее назвать. Похожую на Олю? Не хочу Ольгой. Но как же? Елена? И почему-то напрашивается Вера? И вовсе это не самое любимое мое имя. Он — Владимир, хотя в жизни возьму многое от одного «Евгения». Не люблю «Евгений». Владимир мне поет о чем-то. Знаешь, бабушка меня благословила деревянным резным образком при отъезде с Родины и сказала: «возьми, этот маленький — его удобно брать с собой. — Это, кажется, св. Феодосий, надпись не разберу». Я молилась тогда как Феодосию. Но однажды я нашла и разглядела надпись: «Св. Владимир». Я была очень тогда рада. «Владимир и Ольга» были для меня всегда связаны. Равноапостольные, российские Князья. Но это — отступление. М. б. попробовать писать? А? Ну, — гадость мой рассказ, но это — первый. «Первый блин комом!» Утешаю себя! Или начать с рассказов? У меня есть темы. У меня иногда бывают состояния, когда я буквально осязаю все. Шла однажды: сырь, муть, ветер, вода стальная, холодная. Облака серые, а в просветах, [воющий] какой-то, желтоватый отсвет, холодный, колющий. И так я все это ощутила, что родилась картина целая к моему роману. Будто у меня в руках все это, — только возьми, и вставь в рамку! Ну, довольно! Целую, Ванёчек. Оля

[На полях:] Очень уж неловко писать на коленях. Пиши же, Ванюша, я так жду! Я подумаю о тебе в 12 ч. дня, 27-го. Услышь!

В 11 ч. вечера думай обо мне всегда!

Прости кляксы.

12

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

3.VIII.42 4 дня

Ну вот, снова «зигзаг», Олюша...[99] — и сама, будто, не хотела, и я как просил, а таки вырвала зубы! Что это? зачем?! Грустно. И ко Дню ангела как нагромоздила, чтобы почувствовать себя обиженной. За-чем это?! И так все по-

прежнему, хоть и каялась. Чего же стоит такое раскаяние! Как рвалась «определить все в себе», «уяснить себя»... кинулась в Гаагу... — и разве это было серьезно? Зигзаг — и только. И сама знала, что только мелькнет зигзагом. И многое. Когда ты кончишь о «розах за чтение»? Или не надо говорить тебе правды?.. Поздно мне лгать учиться. И эта «агава» к твоему Дню...[100] — или это мне з а розы?! Почему в таком случае не поднесли тебе кочан в горшке, куст картошки или мозольное дерево — столетник? Знаю эту отвратительную агавку, — на базарах у нас глаза мозолила мне эта розово-голубая ёжистая шишка. И это — на День ангела! Вместо благородной гардении... чистой розы... — а-га-ва... безжизненное. Грустно. Безвкусие, пошлость, вроде коллекции кактусиков, как старые девы или французские монашки заводят, — что-то мелко-мертво-колючее. Я расстроен.

Кажется, недомогание проходит, уже неделя, как нет тошнотности и прочего. Но сплю плохо. Нарастает душевная разбитость. Ты спрашиваешь, почему не пишу «Пути». Погляди на мои письма... — томы написал за год, и сколько там сил положено, отдано души сколько, се-рдца, Оля..! А ты еще удивляешься. Да разве одни эти письма? А сколько люди теребят, и сколько текущей переписки!.. И за собой ходить... Спасибо верным друзьям... — где бы я без них был теперь! Их заботами и любовью жив.

О твоем блестящем письме о «Чаше», экране, об исполнительницах... я писал тебе. Почему не получила письма, от 30.VI, заказного, на маму?![101] Писал еще — 30 июля заказное, на маму[102]. Там о твоем рассказе. Да, он хорош. Не пишу подробно, надо десяток страниц. Если свидимся — докажу, и почему, и какая нужна правка. В живом обмене за полчаса получишь больше, чем от сотни книг по технике искусства. Олюша, говорю правду: не «комом», а для начала — дала отлично. Ты мо-жешь, ты д о л ж н а работать. Вот тебе моя правда. По-мни. Целую, детулька, та-ак целую... о, как я эту ночь тобой жил... до страсти! Если бы ты была..! Ах, Оля... если бы ты явилась..! Я не знаю, достану ли разрешение, — меня заверяют, что с е й ч а с это почти безнадежно. Но я не положу рук, пока не получу точного ответа. Еще два—три дня, окрепну, — и все сделаю. Если бы ты попыталась получить — для совета с парижской знаменитостью, о болезни! Оля моя... молю тебя, ты мне так необходима..! — Твое проникновение в Анастасию — глубоко-тонко. Ты в с е бы дала. Я ничего не знаю в экране, никаких артисток... — был в синема за последние

15 лет — 5—6 раз. Помни, Ольгунка... твой рассказ очень удался. Как поцеловал бы тебя за него, и как ты меня поцеловала бы, когда я все в нем разобрал бы для тебя... — я терпеть не могу «разбирать»! — но для тебя, раскрыть «приемы»... а ты бы все поняла... — в е с ь для тебя. Оля, я хочу видеть тебя, познавать тебя, всю тихую, открытую, прямую, нежную, всю тебя — правду. Просветленье любовью для меня только в душевной открытости, как сам с собой. Не чинись со мной, будь вся — пряма... — и не смущайся, что надо учиться искусству. Я всегда учусь, до сегодня. Искусство — искус, всегда. Раскрывание тайн его. Они бездонны. Искусство неисчерпаемо, «неупиваемо». В нем — искание и обретение к р а с о т ы. Красота... — это неопределимо словом, это дается особым чувством — проникновенно. Что такое — красота? Лучшее определение дал, по-моему, Н. Я. Данилевский, автор знаменитой книги[103] — как современна, хоть писалась 70 лет тому! Шпенглер[104] воспринял идею его «смен» и «циклов». Данилевский определяет красоту: «Красота есть единственная духовная сторона материи, — следовательно, Красота есть единственная связь этих двух основных начал мира...»[105] — т.е., материи и духа. Вот почему люблю тебя, твою душу богатую и твое «земное». Вижу в тебе чудесную гармонию, чувствую. И вот почему для полноты любви необходимо сближение земное... и вот почему в «огнях», в страсти любви не чувствуется дурного, противного ч и с т о т е любви. Это единственное выражение любви на земле, ее полноты. В этом сближении любовь получает оболочку, осязаемую чувствами, материальное выражение Красоты.

Сколько и к а к бы говорил я тебе о Красоте, любви, — во мне столько бьется, но писать у меня нет терпенья, да и не в письмах об этом можно. Олёнок мой, какими бы чудесными огнями зажег я твое сердце, и как осветилось бы в тебе, и нежно, и страстно, и во всей глубине и высоте познание любви-Красоты! Это так во мне бродит, так волнует, такую дает с и л у! Ночью мечтал о тебе, и осязал всю твою к р а с о т у — в с ю... и — как..! До вскрика, до изнеможенья. Только в 6-м часу мог успокоиться... и как же любил тебя! Ты не поймешь из слов... — и какую силу познал в себе, и не только мысли-чувства... но и — земного, слишком даже земного... т в о р ч е с т в а в любви... до неуловимого ощущения... до сознания, — вот так вот, вот в этот миг, вот... э т и м — д а е т с я, создается новая жизнь... — в другом, в дру-гой... Я был в пожаре... — может быть это было близко к тому, что ты передала мне в

письме от 4 июля, когда воскликнула... — «о, из... чай..!» Я слышал, как все во мне кричало — звало — тебя! только — тебя! И вдруг выплыло... почти темное... вспомнилась ночь в Капбретоне... когда я увидал «огни» в глазах, в «повадке» женщины... — которая хотела любви... и так все повела, что... один взгляд, только... мое «навстречу» ей... — и... я проклинал бы потом себя. Но она была замужняя, жена одного очень видного человека[106], и я глубоко уважал этого человека... и я — сковал себя. Но то было бы мигом, фейерверком... и все бы исчерпалось этим мигом, и очень грубо исчерпалось бы... — тут не было ни-чего от высшего в любви... а просто — крик животного... но именно этого-то и хотела она... При встрече расскажу. Я никогда не шел на этот «вскрик саморастерзания», на это — «эвое!» — обезумевшей вакханки. До того раз дошло с ней, от нее, от ее намеков заставить меня понять, чего ей надо... что как-то нашел в кармане пиджака... два цветочка фуксии... — ты помнишь этих бело-тонко-ногих (как ниточки) балерин в бело-ало-фиолетовых юбочках..? так я нашел их у себя с «ножками», — несвободными, а связанными петелькой, ножка за ножку, в узелок... — очень тонкая была работа! и какой же ясный намек. И я его не понял! — для нее не понял. Тогда-то она выбрала иной прием, более ясный «для глупца», — или уж слишком определенный, и... голый.

Ты все загадками мне пишешь: почему ты была «потрясена», — говорю о встрече в Гааге в День ангела. Что это за друг семьи? Получила духи? Не понравились? Ты ни слова о них, — м. б. не дошли? Серов говорит: «вы меня напугали... я уже хотел вас показать рентгенологу... но вы совсем здоровы теперь!» — это было вчера. Ну, не совсем, конечно, я не спал недели две нормальным сном. Я ослабел. Скучно о сем. Голова пуста, напряжение, должно быть, исчерпалось ночью — жгучим воображением... Ольга, я зову тебя, я мучаюсь, страдаю... Я мог бы сделать мою жизнь легкой, наполнить радостью преходящей... но у меня — «запреты» повелевающие. Тебя полюбил — и все обречено на запрет. Караимочка мне умно-косвенно призналась, как нежна она ко мне... нашла такую форму... — и я благодарственно склонился, «не принимая всерьез», будто. Так мне во всех смыслах легко. Но всего не напишешь. Знаешь, Олюночка... как радостно чувствовать, что силен волею, что есть си-ла, которая помогает этой воле... — это — глубокая любовь, ты это!

Устал, никнут мысли. На многое не ответил. Чем обидела тебя мама? И за-чем Сережа привез тебе этот пошлый

«дар от меня»? Для меня даже слово «агава» — отвратительно! Не хочу думать, что т а к ты заплатила мне, повинному лишь в правде, за «розы на чтении». Сегодня письмо от Земмеринг, я ей не ответил на ее пасхальное даже! Пишет, что же вы, не хотите ответить издательству относительно — немецкого нового издания «Солнца мертвых»? А я... за-был! А мне же аванс предлагали... Отвечу. Возможно, что выйдет в Швеции еще... — придется написать издательству в Стокгольм. Очень я ленив насчет своих книг, всегда они с а м и издавались, переводились. Зато т а к п р о ч н е й. Я попытаюсь достать для тебя подлинник «Под горами». М. б. найдется где или отдельным изданием, или в сборнике «Знания»[107]. И ты увидишь, насколько все неизмеримо лучше, чем перевод. И глупое дали же название — «Любовь в Крыму». Для заманки? Идиоты. Оля, я думал, что болезнь моя — роковая. Господь смилостивился, я опять — я. Не хотел тебя тревожить, а был момент, когда я был почти уверен, что свезут в госпиталь.

Целую. Твой Ваня

13

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

16.VIII.42 6 вечера

Милый мой, бесценный мой Ольгуньчик, Ольгушоночек, Ольгунок-ангелок... — и зачем только я тебя тревожу! Голубка моя, радость моя ненаглядка, все у меня приходит в порядок, уверяю тебя, — я-то уверен! — и никакой даже язвы нет. Вот уже неделя, как нет тошнот, а все это от нервного столпотворения. Я сегодня даже опыт над собой проделал, — люблю о-пыты! — нарочно придумал самый ядовитый обед: глаза бы вылезли, если бы язва была, — ну, суди, чудесная моя Гиппократочка! Суп на телятине и костях оной, крепчайший бульон-лапша, от одного духу все бы панкреатические[i] гланды заиграли и открыли бы все краны-соки... второе — рыба тон[ii], — не «Тоник», не «Тоничка»... а самый жирный тон, — с угрем поспорит! — а я еще его маслом полил постным, для «ожирения»... и на третье — кисель из варенья, кислых — английских — вишен... — и вот, прошло 4 часа, и не только нет болей, нет даже изжоги и прочего, и легко, будто я миндального

---

[i] Поджелудочная железа (*от фр. pancréas*).

[ii] Тунец (*от фр. thon*).

молока попил с сухариком! Я-то знаю, что такое «бульон» — в былое время я от курицына супа корчился, как угорь, кричать впору, — знаю я биологическую химию, знаю, чтО там и отчего происходит. И вот, ни-чего. А вчера пришла Маринина тетка[108], сказал ей, что со мною творится — творилось! — а она — «и со мной точь-в-точь... это же "гюпер-асидитэ"[i], ужасная вещь...» Ну, бром мне, очевидно, помогает, да еще новое лечение — сам решил! — стал принимать — 3-й день — крепящее нервную систему, и еще хлористую магнезию. Милка моя, ведь у меня нервы вниз головой, но теперь принимают горизонтальный вид, а вскоре и вертикаль правильную примут. Я все эти недели не чувствовал усталости, только похудел немного, но и это минет, уверен. И уже стали бока гладкие! Аппетит сильный, а доктор говорит — «благодарите Бога за... крепкое здоровье». Я его выругал, — «какое кре-пкое!? — не глазьте!» — а он свое. «С вашими "опытами" другой давно бы "на сани сел"», — помнишь, как Владимир Мономах писал завещание? — «Седя на санех»...[109] и т.д. В старину возили усопших только на санях, хоть бы тебе июль! — образное выражение взял Мономахово. Сегодняшний «опыт» удался. А завтра хотел бы взять холодящую ванну и мокрым лечь на сквозняке, — для закалки. Я это, могу делать, для «нервов». Но ты не беспокойся, я теперь этого не сделаю, потому что, потому что... ну, ты знаешь — почему. Я хочу видеть Олю, капризку-мнитку, мою роднушку, мою царевну, мою больнушку. Я тебе пришлю и книгу, и лекарства, только бы была оказия! Нервы мои приходят в порядок, я это слышу. И вот, еще проверив с неделю, возьмусь за поездку. Хочу, о-чень хочу писать, а это — вернейший у меня знак «волнующего покоя». Чуть сегодня не сел, но стал писать тебе. Даю слово, если буду чувствовать себя хорошо: до октября закончу «Лето Господне» — 4—5 очерков. А там — «Пути Небесные» — которые должен кончить к Пасхе, если буду жив. Поцелуй Ваньку! — Хорошо я сделал, что не поехал в усадьбу тортов, ватрушек, пирожков, брюнеток, красивых глаз... Глаза... да, у караимочки и у Ани стопудовой очень красивые глаза, но я знаю одну чудеску, у которой глаза несравненные, глаза... — о, милая жасминка! глаза... — умная моя, девочка нежная, свет мой, — о, как ты дорога мне, Ольгуна! Все на воздухе, пуст Париж, даже доктор куда-то ссунулся... а я один, но ты со мной «в уме», — и я не один.

---

[i] Повышенная кислотность (*от фр. hyper-acidité*).

У меня все есть, о-чень даже все. А как я сегодня утренний кофе пил! Два яйца полу-сырых... и ма-сла... с сухарями... — даже стыдно! Кто-то прислал отличных яиц, я их очень люблю, отлично переношу, хоть по пятку в день, — и через два часа — захотел снова есть, обедал, а сейчас хочу ужинать, хоть и семи нет. Курю... — воля! — только четыре раза в день, — ночью ни-когда! — по... трети папироски! Видишь? Знаю, что мне вредно. Все старцы предостерегали матушку — писал тебе. Теперь в и ж у, как они верно понимали, что меня будет мучить. Ольгушка, я сейчас в романическом настроении, т.е. не рома́н у меня, а тянет к роману... — к «Путям». Вспомнилось: одна мещаночка исповедывалсь старцу: «и вся я в рО-ма-нах...» А он ей — «а, — в рОманах... так правь целый год молебен ежедень муч. Роману...[110] не Сладкопевцу[111], а му-ченику... — вот тебе и но-вый "рОман", самый разантересный. Умучишься, и кончатся твои роО-маны!» — Пришел неуютный посетитель... — вчера тоже, два неуютных. Я отгымкиваюсь в таких случаях, но только редко кто учует. Ушел. Ужинал легко: блинчик с вишневым вареньем, белый сухарь с миндальным молоком. Все. Сейчас легко, болей нет, прошло полтора часа. — Олюночка, боюсь даже поверить, что, м. б., и дальше хорошо будет. Да, Марина, говорит, — ужасный вид, а не хочет из упрямства брать отпуск. Лечение не помогло. Алеша совершенно обескровлен, до обмороков, — сильный геморрой. Должны оперировать, хочет приехать сюда, тут тетя его будет укреплять. Наталья Яковлевна от горя с ног валится. Жаль мне бедняг. Напишу Марине увещевание. Ах, Ольгунка... ох, не соглашайся на операцию... все вывери! Попробуй это новое лечение, — не знаю, как доставить тебе книгу. И лекарства. Метод удивительно простой, разумный, до чудесного! Берлинский доктор нелогично говорит. Ну, что такое, что из одной и той же почки? Просто: эта почка чем-то слабей другой. А чем..? Почему, непременно, «песочек»? Олюна, помни: и ты, и я, мы оба подвергли себя, нашу нервную организацию, огромному испытанию. Правда, твое заболевание — весна 40 г. — явилось не следствием «потрясения любовью» — прости, детка, это я позволяю сказать главным образом о себе, — но, ведь, и другие потрясения переживала ты тогда! — а дальше уж... что и говорить: весна да и зима 41—42 гг. несомненно трясли и шатали нервную твою организацию. И потому я ухватился — и для тебя, особенно — для тебя!! — за новый метод: вернуть «нервам» сил, пополнить растрату, обрести «равновесие» и устойчивость. Дорогулинька, ты бу-

дешь здорова, ты должна быть здорова. Ты нужна Жизни, верь в это. Ты мне нужна, всему моему, что ты ценишь-любишь во мне, в моем. Тебя Господь послал мне, ты мой ангел-хранитель земной, ты примешь бережно мое наследство — духовное, ты его пополнишь — да, да! — ты его сохранишь в достойном виде, — и тогда мое будет жить, через тебя. Только ты, только одна ты так можешь. Это не мое себялюбие говорит, ты знаешь: я знаю, что не плохое семя я дал жизни, людям, родному. Олёк мой, свет мой, опора моя, моя надежа... ты должна быть здоровой, сильной, — ты призвана. Не допускай себя до заболеваний. Пока ты не укрепишь нервы — нашу «защиту» от болезней — я верю так теперь! — ты должна хоть от гриппа предохранять себя, а потому мой вечный лейтмотив — антигриппал! Изволь застраховаться!! Если у тебя нет, напиши: ты получишь. И должна попробовать новый метод лечения. Он совершенно невинный, абсолютно безвредный.

Олёк, не думай, что, посылая шоколад, я лишаю себя пайка. Шоколадного пайка у меня нет, я еще не дожил до категории, которая получает его. Я покупаю конфеты, они внетикеточны, и я могу и для себя купить, когда захочу. Вот сейчас — взял конфету, — вот и след ее, мазну... — —[i] очень вкусный шоколад! И я хотел бы твой ротик... на, Олёк, правда, вкусно?.. Ах, как хотел бы много-много свежего воздуха, раздолья, солнца, цветов, леса... — с тобой, с тобой. И как же родного воздуха хотел бы! Я его слышу, я все вижу, — так ярко создает воображение! — Завтра буду писать вторую главу «Именин», оставленную — два слишком года тому! — продолжение очерка «Крендель»[112], — именины отца. Затем его болезнь — иконы чудотворные, доктора, знахари... сбившаяся с ног жизнь... страдания, мои переживания, много-много... всего. Кончина отца. Бытовое, панихиды, отпевания, люди... грустное и смешное... похороны... пустота... — и новая жизнь и горе, горе... такое острое, хоть и не вполне сознаваемое. И будет закончено «Лето Господне». 11 часов, я с тобой, в тебе, весь, твой Ванёк. Поздно, до завтра, чтобы не докучать французам стуком. Покойной ночи, ласточка, голубка, гу-лька... любимка... спи спокойно, светлая моя, Олю... на..!

Не могу отстать от тебя, пером — твоим драгоценным даром! — пишу. Смотри, как кто-то промышляет о

---

[i] На письме пятно.

3 — 11249

твоем Ванечке! В 10-м вечера смотрю — сахару два куска осталось! А достать... до 1-го сент. 2 недели! Думаю — ну, на варенье отыграюсь. Бу-дет сахар... Звонок. Юля! Ездила с мужем на 2 дня за город. — «Ах, я тебе достану сахару...» (а я и не поминал!) «а пока — вот...» — и высыпает из дорожной сумки... кусков 15!!! — Ну, видишь? Кто-то заботится. Знаю — Она, святая, Оля. Послала. Знаю, верую. «Все эти два дня думала о тебе... бедный, один, в духоте...» А я — в чудной прохладной своей квартире! Читаю, лежу, покоен. — «Вы должны проехать, совсем близко... по metro, — и такая природа!» Решил — в субботу поеду на целый день. С ними. Ночевать не люблю, вернусь, — и так просто, по metro, загородное, верст 15. Если буду здоров, возьму еду, книгу... буду лежать в затени, дышать! Поездка — дальняя... ты знаешь... — должна быть! Сентябрь хорошо, люблю «бабье лето». И — Бог даст, — исцелую все пальчики на ручках... услышу твое сердечко. Хо-чу! Я — спокоен. Я даже удивлен, что нет тошноты, что я силен, что нет и боли, нет «вздутий», ни-чего... Будто я совсем здоров! Господи, продли это «!» — И я... я найду силу, дар пропеть Его! О, милая! Благословляю тебя, неназываемая моя! За-чем я не сдержался? Написал о недугах?! Но я не мог не сказать тебе о тревогах. Верь мне. Я ничего не скрываю. От тебя ни-чего не скрою: Бог даст, все будет хорошо.

До завтра. Сейчас без 10 мин. 12 ночи. Послушаю последнюю информацию. И — спать. Ольга моя, как люблю..! Как нежно, чисто, глубоко!.. Будь покойна. Будь здоровенькая, — дай, перекрещу... Господь с тобой. Это — твои молитвы меня крепят, — и... ЕЕ молитвы. — Завтра возвращается Елизавета Семеновна («караимочка»), и я опять должен завтракать у них... но только по моей диете. Не думай, я так ничего не принимаю... Это не от тебя, и потому так — не принимаю. Я — все же — так или иначе нахожу способы — возмещать. Ну, спи, бессонка... бывшая бессонка... — теперь ты должна спать крепко, — я всегда с тобой. Знай это, Ольгушоночек мой... всегда. На душе мне легко, — ты думаешь обо мне, ты вся — ласка, вся — думочка моя, вся — вечная! Так есть мне хочется... !! — но — воздержусь до утра. Легкость во мне — дороже насыщенья. А, кажется, — три ужина съел бы!!! И еще хочется — *писать*. И еще... — но ты знаешь, что еще. Мы оба знаем. Да. Да будет.

17.VIII.42 9-30 утра Олёк чудесный, — от возбуждения ли, или это от пустоты в желудке, не мог и не мог заснуть.

Спал не больше 2 ч., ра-а-но проснулся, и — едово на уме. Татарин вспомнился: помнишь — видел татарин во сне кисель, да ложки не было... Чу-дак... да лапой-то зачерпнул бы! Пару яиц полусырых, кофе две чашки, с маслом замешал... молока не осталось... ветчины ломтик... а есть все хочется. А переесть боюсь. Смешно на себя. И писать хочу, и плясать хочу... Бывало, в таком «движении» я крокодилом по квартире, — большая была зала в Москве, ляжешь набок, потом плечи повернешь, на ладони обопрешься и — помчишься так, «хвост» — ноги-то! — помчишь... — что я проделывал! Я сейчас помчался бы верхом на казацком седле верст двадцать бы отмахал, на заре, в Крыму... — воздух какой, какой простор! Я всю ночь с тобой, в мечтах жгучих, по горам катал, заезжал в кафейни, ел жгучие чебуреки... знаешь? — пирожки татар, на бараньем сале, пузырчатые... — а виноград... кисти-грозди какие, со-чные, теплые... сладкие... и ты такая яркая, свежая, летняя — утренняя, гроздь спелая... и в глазах, синих-синих, от моря, от неба, заревые облачка в них, дымкой плывут, и как все молодо, как все свеже-сильно, как бьется-играет жизнью! — Пишешь о чем-то в моем письме: «ошеломляюще-неожиданно... слишком ты там — не ты!» Не пойму. Почему для меня «дама» определяется... миллионами..! Отку-да это ты..? Да ты вчитайся, милка... ты ли не поняла, я ли неясно что выразил..? Что ты мне навязываешь?! Я, именно, этих «дам» ни-как не беру... ну, ни-как... потому-то и вскипело во мне, что ты с ними считаешься, для них «прибираешь», для них — «показ»! За тебя зло разобрало. С больной головы на здоровую?.. Я за тебя страшусь, ты опять напрягаешься, и для всякой др . . . влоск ложишься! Сама писала же, «сама вожусь все чищу...» — Иверскую, что ли, встречаешь?! Да я бы плюнул на все — смотри не смотри... какое мне дело до тебя, ба-рыня... ?! «Смотрины»...[112a] — с усмешкой, а все таки — «чтобы ни сучка ни задоринки»! Нашла — для кого! Ну, конечно — «за свою честь». Значит, считаешься с такими барынями... а они ничто для тебя. Не пойму. Олька, не задирайся со мной, я вовсе не через свою болезнь смотрю, а... взволновался, как ты себя укатываешь. Ох, горда ты, так горда и настойна на своем, что и меня не пощадила... выговор мне, с объяснениями «прописных истин». Ну, не надо, умница, будь кроткой... ах, как я тебя ти-хую люблю... «женское» для меня особенно в тихости, ровности... плавности! Ведь твой — и всех! — идеал — О Н А, Пречистая! А какая Она?! Ты ее видела, образ носишь в себе.

3*

Оля, я отныне ни-как не стану твоим — часто налетным — цепляться. Не надо, Олёчек... ох, не надо. Я тебе ответил, и не раз! — о твоем зорком разборе «Чаши» экранной, и о дивах. Меня поранило твое — «как кончится война — уеду... сперва в Швейцарию...»[112б] и т.д. А я где же? Будто забыт, будто и не было меня... в н е жизни, в н е тебя! Разве я что имею против — и моего друга — И. А.?! Но почему ты меня «обошла», будто похоронила? Почему пишешь — «совершенно ненужно и н е у м е с т н о — ! — твое замечание о Швейцарии» — ? Перечти же... — увидишь. Почему «неуместно», что «неуместно»? Не пойму. Но не буду... я так тих к тебе, так нежен, так весь — с тобой. Хоть раз бы вгляделась в меня, в мое к тебе! И поняла, как только ты умеешь п о н я т ь!!

[На полях:] Правда, Оля, я совсем не без ухода. Никому не навязывай заботу обо мне в Париже. Я — обережен.

Представь: я и не заметил, как от 17 кусков сахара к утру осталось — 8! Ночью ел? Нет, кажется.

Оля, что «еще не все в порядке...» (о твоем здоровье!) Все скажи.

Оля. А ты меня считаешь «пустым» в сравнении с И. А. Я тебе ни-чего не могу дать от... духа? М. б. и так. Я никогда не жил «от ума». Да у меня и нет его, — я всегда ч у в с т в а м и жил, искал, создавал. М. б. я даже, просто г л у п ы й. Мне всегда не по себе от «умных». Я от образов — не от схем, не от «диалектики». И всегда отмахивался, когда И. А. — в письмах называл меня м ы с л и-телем, чудак. Ну, какой я «философ»!?

Все во мне вскипает через края... если бы доспать недоспанное — и писать!.. Кажется, все могу, все превозмогу! Как ярко все вижу! Вот, — это я г о т о в работать.

Если описался, неудачно сорвался — прости кротко, ну, про-сти-и... — не помню, чем погрешил. Одно знаю — безмерно, безоглядно люблю тебя. Твой Ваня. Оля моя!!!

Оля, не принижай, не темни с в е т в нас, не укоряй!

Спи, покойной ночи, детка.

14

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

20.VIII.42

Как горько мне, что ты болен. Сказать не могу! Но меня тревожит не столько сама болезнь, как твое самочувствие. Откуда такой «упадок»? Что такое с тобой вдруг случилось? Какие думы? Какие «тревожные» мысли? (Ты как-то

мне так сказал)? Я тоже думаю, что твой ulcus duodeny не спал, а только притих. Ты же все еще слишком молод, — я тебе как-то писала, что со старостью это проходит, а у кипучих, молодых это — самая им присущая болезнь. Чего ты все кипишь-то? А? И сам себя навинчиваешь тоже часто. Ванёк, мне очень больно, что и меня, или: главным образом меня ставишь виной болезни и усталости... Разве я тебе тО дать хотела?! Знаешь, Ванюра, если бы ты лично смог поговорить со мной, то никогда бы не мучился так, как теперь это бывает. В письме не скажешь, а при личном свидании... все бы ты во мне увидел. Да, я детка твоя. Больше детка и сестра, чем что-либо другое. Или вернее: все, все, и то, другое, но только какого-то иного «вида», не похожее на «фуксии»! Этого у меня в том нет. Никогда мне не знакомо было. И вообще я в жизни очень «детка». Это правда. Я не знаю почему. Многие очень удивляются, что я не по годам молодо выгляжу; это оттого, что у меня и внутри какое-то все еще детство... Я не могу выразить. Правда, когда я пишу о детстве, то будто сейчас все переживаю. Ванюша, какое счастье было бы тебя услышать об искусстве, о творчестве. Я даже из 2—3 строк твоих так много черпаю. Я знаю, что ты действительно бы «зажег» меня. Ты лишь коснулся, сказал, что Александрушку «не видишь», и... я чувствую, что хочу и смогу тебе ее показать. Я до радости, до восторга ее сама вижу, через тебя вижу! Вот она:

На продолговатом лице ее, милой моей Яйюшки, лучились всегда радостные, всегда ласковые глаза. Небольшие, серо-голубые, в светлых ресничках, под таким же светлыми, какими-то пушистыми, бровями, они никогда не бывали хмурыми. И оттого, что лицо ее всегда как бы было готово светиться приветливой улыбкой, — масса, масса расходилось смеющихся морщин и морщинок, особенно у глаз. Я помню ее загорелой, и оттого губы ее красивого рта казались бледными, а там, где щеки и виски закрывались обычно платочком — была белая, белая кожа, — какая-то особенная эта белизна. И ушки бледненькие. Я их часто целовала. Она носила сережки — маленькие колечки с бирюзинкой, а из одной выпал камушек, и Яйюшка туда вставляла кусочек синего «мраморного» мыла. Мне это всегда было очень занятно, как это она «драгоценный» камень сама делает так просто. Яйюшка была стройна и высока, держалась прямо, «статно». Русая, конечно. Когда ее отец умер, то у тетки Лукерьи осталась куча ребят мал-мала меньше. Александрушке шел 9-ый год. Молодой, красивый

мужик был ее отец. Умер — сгорел. Схоронили его. Притряслись на пустых дрогах, на кляче домой с погоста Лукерья с детками постарше, а дома еще: один на печке, другая в зыбке. Крепилась Лукерья на погосте, а как ехали полем — завыла. Воет и в доме, хнычут ребятишки. Есть нечего. Не хочет и грудь давать меньшой девчонке — «а, пущай хошь все подохнем!» — «Мамонька, не вой, я тоже буду работать». — «Чего ты, дура, будешь работать, кому нас нужно, за что взяться?» — «Мамонька, я в люди пойду.., право мамонька, пусти меня в люди, я на всех потрафлю...»

И «трафила» на всех Александрушка. И ушла в люди, сперва в няньки (сама ребенок) к ругателю-самодуру. «Уж он-то ли не колотил, не бил все, что под руку попадало, а меня ни разу не тронул», — говорила она. Алешка-живодер, пьяница, ямщик, то богат, то нищий. Няньчилась она там с младенцем, а сама всюду поспевала: и жене его чахоточной печку топит, и старухе голову вычешет, и «самому» огурешнаго рассолу принесет с похмелья выпить. «Тот» матерщиной кроет, а я ему: «Да, Алексей Григорьевич, батюшка, может Вам принести из погребка огурчиков?» А у самой запятки дрожат. Много она служила «в людях» и всюду поспевала. Бывало придет мать к ней на праздник, больше для того, чтобы деньжонок домой взять от нее, а ей все не нахвалятся: «Ну и девка, она допреж всех и ягоды-то оберет, все обрыщет. Печку топить стану, а она уж тут, как бес под ногами опять вертится». Грубая похвала, но всем стало известно, что «Сашка Лукерьина — золото». В 17 лет она нанялась работницей к моей бабушке. Пригожая, чистенькая была девчонка. Свечкой стояла в церкви. И платок-то даже как-то особенно, всей красотой распускался сзади по ее прямой спине. «Выговорила» мать ее за нее жалование, да столько-то платьев, да сак (тогда были в моде). У бабушки тогда работала старая служанка — Ульяна. Всех молодых да новых не жаловала. Даже бабушка иной раз прислушивалась, в каком настроении «Ульянушка». А коли молодую работницу «жаловали», то сейчас же следовало: «ну и давайте это своей "хорошавице", где уж мне? — нет, нет, мы уж стары стали, отслужили...» — Пришла Саша свеженькая, «стромкая», как про нее говорили. «Ну, Саша, с Ульяной Егорьевной уживайся, слушайся ее» — сказала ей бабушка. А Ульяна Саше еще и родня была.

Туго ей приходилось под началом у сварливой тетки. Но лаской все она брала, все преграды. Та ворчит на нее, а она

будто не слышит, делает свое дело. А вечером скажет: «Ульяна Егорьевна, хочешь голову тебе почешу?» В бане спину ей трет, незаметно тяжелую работу из-под рук вынимает. Полюбила ее и Ульяна. «Ну уж Сашку-то оставляйте, востра больно на роботу девка». К Преображенью работницам дают подарки: платья. Приходит раз Саша к бабушке: «Матушка, я чего просить у Вас желаю: платье-то кашемировое мне не шейте, сак-то тоже не надо уж». — «Чего это ты?» — «Да, матушка, куды мне? Я и так прохожу». Бабушка видела ее полные слез глаза при последних словах, пылающие щеки и не поверила. «Ты мне лучше правду говори, Саша, чего это тебе на ум пошло?» «Мне, матушка, не надо, а может Вы деньгами мамоньке отдадите». Оказалось, что брат один промотался, на промысел ушел в город, пропился, что ли, там? Все она отдать в дом хотела, уж не говоря о жаловании. То все целиком туда шло. Бабушка ей сшила и сак, и платья, и еще в руку денег сунула, и наказала про всякий случай у себя беречь. «Схоронила я это матушкино в платочек, да и берегу вот по сей день. Не могу истратить-то» — говаривала она уже пожилой, а мне тогда казалась, даже старой, моей няней. Скоро взяли Сашу домой. «Ломить-то некому было, братья в город ушли, а мамоньке не под силу. Пошла за сохой, за бороной ходить. С мужиками и лес делить ходила, огород городила, подсеки жгла. Сперва смеялись, да отстали. На сенокосе-то «в головах» ходила. Никто, бывало, не угонится. А еще и с покоса бывало приеду, да ягод принесу, кусты-то все обегаю. «Девка — хоть куда!» Знали, что это — Саша. А женихов нет. Голь-то кому нужна? У дедушки много бывало разных свадеб на приход. Однажды женился богатый парень, единственный сын, складный дом, хорошие люди, а невесту брали «неделуху». — «Ой, Иван, чего ты нашел своему Алешутке, куда глядел, чего он с этой «беспелюхой» делать станет, она ребятам носа утереть не сумеет». «Да, де, батюшко, невест-то взять, а эта богатая». — «Богатая, богатая, не гляди на отцов-то карман, гляди на руки да сердце, а чего у Натальи взять? Вот взяли бы Сашутку Лукерьину, чего лучше?» «Так-то оно так... да... выезду-то у их никакого нету». — «Какого тебе выезду понадобилось?» — «Да как же вот, ежели родня приедет, али бо што, а тут и поглядеть-то не на что, одна дрань». — «Ну, твое дело».

Стояла у всех в глазах «дрань» да нищета Лукерьи, женились парни, любились, а Саша все одна да одна. Ломит работу с мужиками, одна на все руки. Всякую копейку отдаст мамоньке да пьяницам-братьям. Вот однажды прихо-

дит Саша к деду — тихая, одета чисто, будто прифрантилась, даже. — «Батюшка, я письмо пришла просить у Вас (это метрику, значит) — замуж я собралась». — «Ну? За кого, Саша?» — «Да за Василья Зуева, плотника». — «Так-себе мужичонка. — "Ни с чем пирожок", ведь это, Саша, неужели-то его ты полюбила?» — «Да не знаю, батюшка, а только все дома-то попрекают, что девка сижу, братья жениться хотят. Делиться надо». Вздохнула. Ничего не скажешь... «Вот что, Саша, подумай ты, девушка ты молодая, еще кто получше найдется, а из дома-то уходи, не бойся, приходи служить к матушке, коли хочешь. Подумай сперва!»

Ну, думала... Отказала «Ваське-Зую». Письмо ему написала, что, дескать, мало его знает, а без любви перед Господом не встанет. А у того случись несчастье — порубил себе ногу... Саша-то в письме ему деньги обратно послала, 30 руб. «выкупу» он матери дал. Ну а тот, как порубил ногу, пишет ей, что «дескать, это воля Ваша, Александра Андреевна, а деньги я не приму обратно, а еще прошу я Вас меня нещастного хоть в больнице навестить». Саша пошла. Лежит, плачет. Пожалела. Сговор был. «Приехал на сговор мой Вася, а от него ни песен, ни басен, смотрят все, изба полнехонька набилась, а я то заливаюсь-говорю, выгородить хочу его. Так и просидел ровно рыба». Васька-Зуй без гроша, жить-то надо было у его родителей. Как у его родни жили... и не описать. Бедные, да жадные... У Машутки-то, у меньшой-то его сестренки, всего один сарафан был, и в пир, и в мир, и в добрые люди. На них же еще работала опять Саша. Хотелось ей повылезти из нужды, стала Васю подбивать взять и ее с собой в город, в прислуги. А свекровь уцепилась: не пущу. Еще бы: такие-то золотые руки. Саша твердо решила: в город, а там и Манютку еще вытяну из бедноты. По себе знала, каково бедной-то невестой сидеть. Свекор со свекровью сперва паспорта не давали. Обещали по скольку-то им присылать в месяц. А на прощанье сказали: «Подумайте, да кабы вам на обратный-то путь хватило, да на котомку милостыню собирать». Саша сказала себе: «Нет, не бывать этому, всякому мурлу сноровляла, а в городе да не сумею!» Тянула из сил последних, все почти что отсылать должны были в деревню, а все-таки справила она Васе «тройку»* и часы купила, сама оделась на диво и приехали домой на сенокос, не на кляче, а на почтовой паре. Взяла Саша Машутку с

* Это костюм так деревенские зовут.

собой. Потом она у меня была няней, а Яйюшка в кухне работала и ночью спала в детской со мной и... Манюшкой (она тоже была очень еще молода). Маню я звала «Макулька». — Много связано у меня с ней. А Яйюшка, до нас (я забежала вперед) жила у многих. Васька пил. Когда мама моя вышла замуж, то взяли их обоих. Много чего было. Яйюшка жизнь свою на меня полагала. Помню: ездила она на свадьбу (много после) моей Макульки в деревню и простудилась под дождем едучи. Ревматизм схватил ее, скрючило пальцы, а в то время были случаи холеры. Плачет наша А[лександрушка] — что такое? Гостил тогда у нас дядя — доктор, а когда уехал, — призналась: «Боялась, что "Митинька"-то отправит в бараки, крючит меня, видно холера...» Лечили ее от ревматизма. А Васька пил. Деток не было. После «Макульки» А[лександрушка] взяла еще одну сиротку, Варюшку. Трудно ей стало работать у нас с ревматизмом, а без дела, как ее не убеждали, сидеть не хотела. Уехали они с Васькой-Зуем и Варей за Волгу, зажили чистенько, хозяевами. Она ходила торговать селедками. Его-то заработка не хватало. Много чего было. И как Васька — ничтожество, опускался, на один день когда без нее оставался, когда она была в больнице. Как она за него же еще страдала. Во время революции А[лександрушка] ходила промышлять дрова на топливо, ловила какие-то бревна в Волге. А потом мы узнали: умерла от столбняка! Она своими трудами скопила кое-что для Варюшки, и та ходила уже полубарышней. Тоже — пустышка, кажется. Сколько бы рассказала тебе об этой исключительной женщине. Она никогда не жила для себя. Нас любила больше своей родни. А сколько у нее было прибауток, песен... Когда ее еще девчонкой шпыняли «в людях», спьяна, — она песни пела. Сама рассказывала. Прости, что так увлеклась. Но м. б. тебя отвлечет это немного от дум о болезни?!

Целую тебя Ванёк. Боженька тебя поправит! Не сомневайся! Будь тих, покоен. Ольгуля с тобой душой! Обнимаю тебя сердцем. Оля

[На полях:] Я расписала тебе жизнь Яйи, но, увы, — ее портрет опять не вышел! В чем же дело? Скажи!

А Ульяна — тоже своего рода героиня. Чудесная тоже. Но я ее не знаю. Много у наших перебывало разных людей... Макульку я видала уже... здоровой, очень красивой бабой, с 3-мя детьми и в ожидании 4-го. Я была уже девушкой, лет 16-ти. Мы неловко смотрели друг на друга, — она не смела сказать «Олинька», а я — «Макулька». Она ждала приема больных у моего дяди. Его всегда осаж-

дали из всего округа, стоило ему приехать, хоть на день. Болел ее сынишка чем-то. Я любовалась на эту красавицу, ничем не похожую на брата Ваську. Она богато вышла замуж и была счастлива. Александрушка вывела-таки ее в люди!

Напиши, к а к ко мне «Юля»?

[Поверх текста:] Обратно![112в]

15

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

28.VIII.42 9 ч. утра

Бесценная Ольгунка, еще раз — об Александрушке[113] — дивно! Ты не сознавала, что писала «рассказ», не «озиралась» и была с в о б о д н а! Дивный образ! И ка-кой народный язык! Какая святость русской души! Вот, милочка, и после этого ты еще дерзнешь говорить о никчемности и бесцельности?! «Никому, ничему не нужна?!» Вдумайся: сколько людей вот т а к а я «Яйюшка» за свою огромную жизнь — не зная! — направила! Она и не сознавала, как не сознаешь ты, что изобразила! Твой «Грех» — прекрасен. Изволь его переписывать, править, «насыщать» значительными «м е л о ч а м и»! Дай несколько черточек внешнего лика няни, и проч. Сама увидишь, чем дополнить: о пьянице Василии, об Александрушке, о весне (не бойся в е с н ы нашей, которая в тебе, такой ни у кого нельзя заимствовать, — все будет ч е р е з тебя). Какое счастье, что ты видела Александрушку! — это же — Она, Россия. Какое счастье что мы оба — из о д н о г о, и что мы нашли друг-друга! Ты мне понятна, как я тебе. О, милая! Эта Александрушка святей Лукерьи из «Живых мощей». Оля, а у тебя сколько же о бабушке! Изволь все писать. И подойдешь и к «Лику». Как я тебя целую! О, двояшка моя! Вся — родная, вся. Счастлив тобой. Ваня

[На полях:] Я п р и е д у, все сделаю.

Я здоров, только сплю плохо.

16

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

28.VIII.42 9-30 утра Успение Прсв. Богородицы

Вместо депеши, про-няло меня!!

Утренняя моя (в и ж у, в солнце!), прекрасная!

Олюлька-свет, ты захотела меня развлечь «в болезни» — и раскрыла еще раз свои «подвалы». И я так развлекся, что вчера не долепил марок на открытку тебе. Только бы дослали!

Чудеска! Я взволнован, до чего ты ярко дала (и не думая о сем!) — твою «Яйюшку»! Я страшно рад, как ты слышишь ушками (чуть кусаю их, как ты целовала ушки Александрушки!). Одна бирюзинка из... голубого мыла (зна-ю!) че-го же стоит! Не выдумать. Ты дала свет в лике «Яйюшки». Вот это и о «мыльном камешке» — добавь-вставь в «Первый грех» («Говенье»). И о Василии — два—три словца о «никчемности» его (Я таких знаю — мягкие они, безвольные, лени-вые!) — най-дешь, будто мимоходом. О... весне!!! Не бойся моего, умоляю: весна — всеобщая! Радость свою дай, слепящее солнце... дорога горит вся, — «заливной орех» (браво!) бо-о... бо-о-льшо-ой... — Добавь «бугристая» дорога где — там кажется, б-ольшой — бо-ольш... Ведь это — детское сравнение, через твою душонку — ! — ты заливные орехи любишь! В этом-то — все!! Что это — пирог «с соленьем»? Ягодным или — грибным (грузди)!? Скажи ясней. Скажи об «Яйюшке», [продолговатом] лике... — что *может* ребенок увидеть и полюбить. — Очевидно, не рост... не статность, а глаза — свет — ласку, продолговатость, — губы... (очень кратко) и, конец о сережках (мыльце). Скажи, что ты в ней знала от бабушки (такая *Богу* угодна!) ну — как ребенок, и все будет ясно читателю. Найдешь! Очень хорошо — впросонках отец — и... *нащупываешь знакомые жилки*!!! (тут — *вся* любовь твоя, этим дана! (При-ем дивный!!)

Ольга, душу тебя! Не могу без тебя. Рвусь! Хочу тебя видеть, двояшка моя. Оля, и ты, ты, ты... рвись! Не знаю, кому из нас удастся — до-рваться. Сейчас вернули вчерашнюю открытку, недостаточно оплачена. Очень хорошо, справлюсь сейчас на почте, можно ли доплатить — и все же брошу. Олюночка-юночка, я весь словно взволнован, — тогда, в тошнотности, я не мог всего сказать о «Говеньи», — одно: хорошо! Это — «5» у меня. Пополнишь — будет с плюсом — отлично. А дар большой — все дар, — ясный сразу. Изволь быть собой, а не нытиком. Ольга, я тебя очень люблю, до... боли, до безумной ласки. И как мне хочется писать! Ты меня до-жгла. Душу тебя, зарылся в тебя, я слышу тебя, твое тепло. Если бы ты сейчас была здесь! Жизнь бы тебе отдал! — в миг. Твой Ваня, нежно целую, и дольше.

17

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

31.VIII.42 1 ч. дня

Любимка, Олюночка-ю-ночка... твое письмо 25—26[114], ми-лая! Отвечу ниже, а вот... — в субботу ездил дышать. Чудесный день, и все чудесно. Юля встретила «дядю-Ваничку» на вокзале... — ви-згнула даже! Прошлой субботой не дождались. Сытно завтракали в ресторане, долго гуляли. «Маленькая Швейцария», и да-ли..! — три долины там и холмы-горы. Рябиной восхитился..! — вся горела, сочными кистями глаза ласкала-целовала — в темной перистой зелени. Под раскидистыми кривыми яблонями — стадо вдали! лежало. — Заметила ты, как яблони похожи — своим «станом» — на дебелых, отяжелевших, важных гранд-дам? — очень покойно-увесистых и со спокойной совестью..? И вот ответ тебе — «как ко мне "Юля"»? Я нарочно захватил твое письмо об «Яйюшке», — читая, изменял, конечно, местоимения личные... и прочее. Она была поражена..! Она знает народный говор, выступала по фольклору в радио, но большей частью напоминает мне оперных пейзан, в новых лапотках, пахнущих лачком игрушечным... но это не значит, что она не чувствует живого говора. Рассказом она была захвачена, как и ее муж — между прочим, отличный, своеобразный поэт, только недавно мною открытый и — мною же признанный! Как-нибудь выпишу какие-нибудь его стихи, — все крайний Север. Вот как — к тебе! Очень сердечно, раз лю-бят «Дядю-Ваничку». Теперь — с восторгом. «Ка-кой язык!!» Олька моя, ты — бо-о-о-ольшая! у тебя все в этюде говорят своим языком. У меня ухо строгое, я-то все слышу. Да, необычайно. Как... — это отметил Толстой, сам мастер, — (но не всегда) — в языке народном. Он отлично знал деревенский, хорошо — мещанско-уездный, слабо — купеческий, губернский... — как у Эртеля[115], — несправедливо мало-знаемого! — «Семья Гардениных»[116], например... Там девчонка дворовая свой язык-тон имеет, старик-кучер — свой, баба, приказчики, конюха, повара, нищие... — все — свой. Это — чудо «языка». Так вот, в твоей передаче, — и это после 20 лет «европы»..! — все — свои. Это — такой дар твой, — граничит с чудесным. Да, мы с тобой одного теста, одной души и дара. Я признан — в частности — в «языкочуткостиметкости», ты — будешь признана. Солнышко мое золотое, жаркое... — не налюбуюсь на тебя. Ка-ак твой дедушка говорит... ка-ак... «отец жениха»..! ка-ак «Яйюшка»-девочка,

девушка, женщина, пожилая... — все — разные оттенки! Все в передаче — метко! Достигнут предел качественности, сжатости, то-чности... — образы! Вижу, все вижу. Потому что была свободна, не озиралась, не старалась лучше дать. Это по-сле... когда написалось — делается отбор, вымарка, вставка-наполнение, «чистка», словом — отделка-обдумка. Пушкин сделал 18 вариантов «Жил на свете...»![117] Ну, будя... захвалишь еще. Юля не знает, как я к тебе... ни как ты ко мне: писатель — глубокий-чуткий; художественно-чуткий, «влюбленный» читатель, — и все. Это ей близко-понятно. Ну, какое тебе дело до нее! — нам — до нее! То, что переживаешь ты, когда я в сердце у тебя... — самое то, точь-в-точь, и со мной. Все эти дни сердце играло, взмывало, несло тебя на крыльях трепетно-игривого стучанья, поющего биенья. Везде, во всем — ты, ты только. И в яблонях ты, и в далях, и в силуэте напоминающей тебя фигуры женской, и в облачке, и в самом воздухе раздольном, легком... и в березке на откосе, — везде твое виденье, — для меня. Ты все собой наполнила, — сейчас нашел духи, маленький флакон фирмы «Буржуа», «Жасмин»... не знаю, дадут ли они — жасминное, тебя? Купил. Кажется, розовым маслом и... апельсинным духом, — только. Мне у Герлен сказали правду: нет больше «настоящих» — «Жасмен»! Но... я наполню и их тобой. — Были в детском лагере[118] — чудесно! 165, разного возраста — был унесен! Все сделали три священника, бывшие офицеры белой армии. И что сделали! Французский ревизор-доктор, — часть на содержание добыли от «национальной помощи» — был обескуражен: «как, почему у вас все — чисты, все чисто и красиво одеты, все обуты даже... и все — так здоровы, и все почти... бедные, иные совсем сироты?! Разве только вашей более высокой, чем... — интеллигентностью могу объяснять?» — Вырвалась правда у — француза! Я был восхищен. Чудо. И в таком «чудесном», и весь в тебе, с тобой, — вернулся в Париж. Какие глаза, какие умные, вдумчивые и — счастливые! — сильные ли-чики у детей... и — какие надежды, как это крепит веру в наше! Я спокоен. И как же радостен... то-бой, моя подружка, моя дружка, сестренка, моя на-вечная, моя — суженая мне! Оля, меня порой бросает в ужас, мертвит, при мысли — если бы не встретил... !? не узнал... ?! — кажется, не было бы меня теперь, да. Все — дано, даровано — в крайний миг полного отчаяния моего. Вспомни, Люночка... вспомни, как проходил тот день, 9 июня... ты плакала... одна... перед

пустотой. Вот такое же, — вероятно, куда безнадежней было со мной в первые дни июня 39 г., когда я воззвал криком к ней... — и ты услышала! Ты должна была услышать. И — воззвала ко мне. Ведь... я тогда, в самый тот день, пришел к тебе, я-сам... в книге... подумай! вду-майся, Олёчек, Олька моя. Юнка моя, Люночка нежная... милое дитя чистое, вся чи-стая моя... вся — Божие Дитя, прелестная... Господи, благодарю тебя за милость Твою! за посланную Тобой — жизнь в свете! Я могу, я хочу работать, я слышу силы в себе, я хочу воспевать Тебя! Оля, я чутко берегу, лелею мое высокое чувство, рожденное во мне тобою. Какое чи-стое..! какое нежное... и при всем этом — какое чувство близости, и очень земной близости — любви опаляющей! Но и это земное, — как высокое произведение искусства, — оно не режет, не оскорбляет чувство душевной красоты, песни, изящества душевного, этого полета в чувстве предельной любви... подлинно-земной, требующей содержания, творческого акта... увенчания! Ни-как не оттеняет, не мрачит, не дает и намека на «привкус» чего-то, вызывающего стыд... нет. Будто мы давно — друг дружку знаем... спознались. Ну, тебе все с полслова ясно: ведь ты чувствуешь созвучно, такой-другой нет на свете. Ты — я. Так вот и созданы были, — игра случая? — пусть, но эта «случайность» стала «знамением» для меня. Это светло-благостная случайность стала — важнейшим событием жизни, властно-неотвратимой, живой, необходимой, — о себе говорю. Тобой буду дышать духовно, тобой влечься в творчестве. А ты... ты помни: ты — назначена для высшего проявления сил твоих в искусстве, ты — родилась 9.VI. И не замирай. Прошу, молю, тре-бую! А ты... тонешь в «гостях»! Не надо крайностей: гости — тоже маленькие радости, но и — омут, вериги. — Об И. А. свойствах твой больной, друг семьи, — правильно сделал вывод. В И. А. почти все, всегда — рассудочность, диалектика, схема. Он понимает искусство, но сам творить его н е может. Он не полоняет, а та-щит читателя, втаскивает. Он о-чень умен, мудр, образован страшно широко и глубоко... он пылок в мыслях, и в чувствах, остроумен, шутлив умно, даже с огромным, — не всегда со вкусом, — юморе, скорей в мальчишничестве, — как, например, Владимир Соловьев[119], но сам он не творец. Ну, как, например — видишь, на тарелке чудесные сочные груши, тают во рту, даже через кожицу слышно, как они сладки, как они нежны-сочны, в комнате слышно — дюшес! Это художественное произведение Жизни. Это

один из ее «очерков». Еще, видишь? Вон, на стене «натюрморт», чудесные груши, почти т е ж е... — но ж и з н и нет, лишь ее отражение. Это «мысль», чувственная даже, о... о... о г р у ш а х-дюшес. Красочкой пахнет. И еще — видишь, на картоне — без расцветки — тушью — нанесена «проекция» груш, «штрихи» их, схе-ма... — это «схематизация» груш, все стерилизовано, у них в с е отнято: лишь «идея груши». Может быть, о-чень четкая, но — это только «диалектические груши». Вот как «рай» и «лекция о рае». Иван Александрович ч е г о-то лишен... — знай, я его люблю, чту, и ни-чего тут не примешано, клянусь! Он может в с е понимать, чувствовать, но... сам н е может дать так, — он лишь теоретик, эстетик, мыслитель... вдохновенный даже, пророк даже, но не... художник. Он «диалектик» и в любви, но... н е л ю б о в н и к, н е муж, н е о т е ц! Он может любить возвышенно и тонко, но... ни «жасмина», ни «черемухи», ни «малины» не даст, и сам н е услышит — полностью. Он бурен, м. б. даже стра-стен... но он — «холодный кипяток», как метко выразился о Мережковском не то Бальмонт, не то Амфитеатров. Он себя «натаскивает». И без-оглядным, самозабвенным не сможет быть. Глу-постей никогда не совершит. Он давно н а ш е л — строго логично и безупречно-диалектически, что он си-ла, гениальный мыслитель и политик, непогрешим... — все это правильно с формальной стороны — и м. б. не совсем правильно по сущности, — ну, кажется же, что камбала однобока-одноглаза, а на самом деле... только вы-вихнута! — не то! Так и тут — кажется е м у, что и т.д. — и — в сущности — неверно. Он себя «определил», и отсюда — самоценение, «приидите-поклонимся», противоречить? — ни-ни!!! — он — яркая «самость», — «я-я-я-Я..!» — ради Бога, не подумай, что я разношу, хватаю через край, л и ч н о, пристрастно... нет-же! — я очень хочу н а й т и его сущность — и посильно — только! — нахожу. Олюнка моя, — скажу-шепну тебе: я имею д а н н ы е. Я знаю его «опыты в художественном творчестве»[120]. Подробно — при встрече. Не хочу доверить бумаге. Он — очень великий талант, разнообразный, но в нем 9 частей — от Ума, одна — от — сферы чувств, души. Я предпочту простую грушовку-спелку, даже с червоточинкой-зрелью, чем... — даже того греческого живописца, который изобразил на полотне фрукты, которые клевали слетавшиеся птицы. Птиц-то, глаз-то можно обмануть, но прочие чувства — между ними чувство я в и — нет, не обмануть! Большинство обманется; пожалуй, 99 из слушателей «рассказа» — скажут — хорошо! а сотый —

нет, фальшиво, наду-мано... из папье-маше. Ты... ты сотворена двойственно, и потому необычайна! — ты и художник, подлинный и большой! — и духовная сторона в тебе сильна: ты — о т Х р а м а... девушка от Церкви, от Духа Свята, и потому так многогранна. Это не акафист: это мое в и д е н и е, мой ощуп тебя, — и потому я растаю, сгорю в миг, если не увижу тебя, если потеряю, утрачу тебя... твоею волею — еще убийственней! Я — полная противоположность И. А. — по-люсы, хоть он и настаивает, что я — мыслитель, бо-льшой даже! Нет, «мысли» мои — воплощены в ж и в о е, живущее, — это мысли-чувства, в них ходит-бьется ж и в а я кровь. Мне не надо исписывать сотни страниц, чтобы дока-зать и д е ю, внушить осмысливание вещей и соотношений их: это дается искусством и я в н о! — в миг один, жестом, словом ж и в ы м, действием принятого в сердце лица... словцом, ибо этот «эссенс»[i] вытекает из сущности характера, положения... Можно дать об искусстве, о жертве во имя его, о любви... — целые томы... — и все будет забыто, останется труха с редкими зернами, и это все; ну «развития» прибавится — уму. Но вот кто-то написал «Неупиваемую...» — она в с я останется в сердце, наполнит его и обогатит в с е г о человека... как-то (??) — да еще и в расцветке, в разнообразных дозах, по слову: «могий вместити...»[121] Не думай — какое «я»-канье! Нет, у меня тоже «вывод» о себе, только не... «диалектический», а... «от образа»: это вся моя сущность в «Неупиваемой» — и мой «ум» — м. б. очень малый! — и мои «чувства», страстные и укрощенные, мое сердце, моя любовь... — и все эти «силы» — очень в большой дозе, в огромном потенциале: ну, раскрывай сам, читатель, копайся... да и не надо тебе копаться, а вы-пьешь... в с е, и — опьянишься ли, или освежишься — зависит от твоего «аппетита», уменья смаковать, опробовать до... последнего, самого потаенного движения сердца-тела-души-духа Анастасии и Ильи. Почти уверен, что И. А. в м о е м воспринимает большой дозой — что — от участия в творческом — от и д е и, и меньшей — от «образа», воплощения. Но он очень умен, и умственно очень глубок, и — в «чувствах» теоретически умело может разбираться, и потому ему п о ч т и все в творческом доступно, только... через телескоп или микроскоп у м с т в о в а н и я.

Ну, ты меня знаешь, мне веришь, любишь меня, и потому верю, не обиделась за И. А.

---

[i] «Сущность» (*от фр. essence*).

О «Лике»... Пиши, как тебе легче, твоему «дыханью»... мне было бы легче без «подмостков», без подставных лиц... а от себя. Тут какая свобода-то! Не надо обходить, условности по-боку: «ему показалось», «он подумал»... а открытой душой п о е ш ь, что в сердце накопила, — свободно, широко, и как же откровенно, искренно... всю душку свою покажешь, девочка моя, детка милая... Люночка, юночка... — увидишь сама. Ты отлично и в третьем лице даешь... — вот же, «Яйюшка»! Но тут, про «Лик»... Ну, испробуй, не торопись, работа трудная, возьмет сил... береги себя от изнурительной работы, готовленья для гостей... — мой дедушка, как надоедят гости, говорил: «гости гостите, а поедете... — простите». И уходил спать. Олька, сколько у тебя в кладовых-то укрыто! Как ты упомнила... — к а к и я! Дивятся, а я только помалкиваю. Это же н е запомнилось, это же... само-строится, когда н а д о: это «память сердца и... Божья дара»*. Он — в тебе. Ты — КрЕзуха, от Креза! — ты — в с я, как я. «И мне даже страшно, как мы похожи...» — твои слова! И вот почему я не могу уже в твоем д а р е обмануться. Тогда я должен буду и себя, и все свое — охулить и отказаться от себя. Это невозможно. Ты — я=ты — вся подлинная, мой алмаз.

Сейчас увидел тебя под деревом, баварской крестьянкой — летняя! «Притупиться» к тебе н е л ь з я, — ты слишком многоцветна, р а з л и ч н а, — на тебя го-ды надо, чтобы... при-гля-де-ться только! Да и то... слишком у меня глаз «фасеточный», в с е и-щет! А ему помогает пыл воображения. Золотистая ты была? О т к р ы т а я. Ну, дочь солнца. Ты понимаешь, когда «играет сердце». Ты всегда со мной. И — как это ма-ло! Ольга, неправда, последние месяцы я всегда з в а л тебя. И если бы чудо, — смогла ты быть здесь! Утонула бы в Лувре. Где бы ни побывали! Вчера проходил мимо ресторана «Корнилов», — если бы с н е й! В с е представил. Опера. Музей человеческой культуры. Скачки-бега. Версаль, Трианон, Гран-Палэ. Тюйильри. Жарден де Плянт[i]. Булонский лес. Покатались бы на лошадке, в кабриолете, как до авто. Ели бы мороженое на террасе Шанз-Элизе, и ты бы зорко оценивала «моды». И была бы прелестней всех парижанок в свете. З н а ю. Поехали бы в Сен-Женевьев. Всенощную стояли бы в тихой церковке[122], и потом — слушали бы хор Афонского. Я бы не пустил тебя — просил бы! — на Эйфелеву башню. А

---

* Огромная у тебя «память слуха», ушки-то твои не спали! — ж и л и!! и на-жили.

[i] Ботанический сад (*от фр. Jardin des Plantes*).

Нотр-Дам!! — Олюнок мой, м о я... — а тихие вечера, ты в кресле у стола..! Ты на кушетке, а я тебе читаю, сколько говорили бы, в-полслова... в с е ловя..! — «Села на "тетиву"», — пишешь... — на «ти-ну»?! — м. б.? так говорят про ботву картофельную. Можно и — ботва, только не «тетива», тетива — это все натянутое, до палок легкой лесенки, в которую вставлены ступеньки. Или на Севере так. — Нет, я не ожидал «лучше» — про рассказ. Напротив, я ожидал некоторой «неуверенности»... — ты — молодец, умка, взял бы нежно тебя за розовые ушки и поцеловал бы — дружку. Но про «Яйюшку» — поразила главным — в этом — в с е! — чутким с л у х о м, богатством р е ч и, ее оттенками и — «музыкой родного». Ты — мастер, моя красавка, у, ка-кая ты..! Оль, я зову, зову, я жду-жду тебя... Зачем я страшился... ?!! Утратить тебя страшился... — меня увидишь... Теперь мне все равно, — я хочу видеть тебя, ты лишь дыханье вина мне дала, я хочу пить... — пусть даже не касаясь стакана. Я хочу в и д е т ь твое в и н о, дышать им, видеть игру его в луче солнца, в зеленоватости месяца, и в хладе ночи предосенней... — в яблонях тебя увидеть, «баварочкой», «пушистой молодкой»... — слы-шать тебя хочу... у м твой осязать... — я же знаю, какой я стану робкий, закроюсь, как тебя увижу, и потом, стану чуть приоткрываться... не знаю... порой я бываю, становлюсь очень живым, как загорюсь... а ты... ты в с я закроешься, мимозочка... ракушечка на воздухе. Только бы была здорова! О тебе молятся. Селюкрин... принимала? Он чудеса творит, говорит Алеша. Возьмет мно-го с собой, для родных наших. Да, это или воробьята или скворчата, скоро будут «сетками» носиться над толокой, у коров. Старые скворцы припускают детвору в стайки воробьят. Не называй — «Иван Сергеевич» — ре-жет! холодно мне. Ты так хорошо — уме-ешь... по-другому! А как хорошо — «Вань!» — так б л и з к о. Оль... — чего только не найду, как ласковей... но н е пишу. Как пьяный... о, мое вино! Оль, — мне, без тебя — н е л ь з я. И не было часа — знай! — даже ночью, в болях! — без думы о тебе. Оль, нет, нет... пиши, часто-часто... этим живу, н е могу... часы считаю... как Тоник я... смешно и стыдно бы... а — как дорога ты мне! Оль, так глубоко... — ни-когда..! В ужас прихожу от мысли... если бы вдруг... утратил... тебя не стало бы... — и — тут же — и меня не стало бы. Да. — Мамочка чем больна? Надеюсь, мне разрешат, этим и живу. И не стану вплотную работать, пока не увижу тебя. Оль, а после — ты..? да? Здесь найдем «светил» — проверят и без опера-

ции, не мучая, помогут. За тебя жизнь отдам, Олёк. Как хочу радовать тебя! Жду подлинника «Под горами». Что-то ты решишь о «Солнце мертвых»? О «Лике»... писать от «мужчины»[123] ты совладала бы, да... но пиши собой! свободней, вся откройся, этим — захватишь, дыши=живи в работе. Вот, ты привыкла к длинным письмам моим, но пишу тебе — весь с тобой, живу... — а после — письма... не гожусь для моей работы, трудно перестроиться, отрешиться, «охладиться», да и отдача нервной силы, — ведь это некая растрата. В работе, я буду писать короче, но ты-то не лишай меня — себя. Ты моя Муза, мой свет, солнце мое! Данная, воистину — Дар. Люблю тебя не жадно, не алчно, — люблю светло, нежно — ведь ты моя детка-Оля, мой Оль, Олюна. Господь с тобой.

[На полях:] Ребенком сажал подсолнушки, горошинки, лимонные и апельсиновые косточки, финички, «рожки». Лю-блю и по сию пору сажать, ростИть. А ты? Да, знаю.

Знаешь, еще в 5 классе гимназии я в комнате, в горшке выращивал огромные огурцы, назывались Рытовские, сам опылял.

Гимназистом — я свои огурцы Оле привозил. Какие тыквы!

Оль, я тоже люблю огород. Особенно — начало июля... огурцы когда, укроп, — к сентябрю морковь, репа, баклажаны, томаты...

1 сент. — 19 авг. Донской Божией Матери Крестный ход у нас. Пришлю тебе его.

О нервах я не понял: «я от vagus'а... а ты?»[124] Объясни глупому. Vagus — блуждающий нерв, знаю. Ты пишешь «betont — ударяемый»? Не пойму.

Сколько для тебя в сердце! Завтра еще тебе пишу. Только бы здорова! Тебя бе-р-еч-ь надо!!!

Я пишу, Оль... на этой неделе закончу «Именины»[125]. Куличи, пирог. Сюприз-подарок Горкина — папашеньке, и ночью — соловей, в октябре! Поет соловей в октябре!

Милая пучеглазочка!

О «набросках» И. А. напишу, и о моем плане, но моих «мелочей» совсем иной был бы подход, прием.

Тут духи «Жасмин». Но какой же это «Jasmin»?![i]

Отель?.. Ну, тебе видней. Почему мне тесновато у Сережи? Простор..? Нет, ты мой простор, ты, Оль! Я люблю простоту, на любителей. Но ты сама решай. Мне тесно, что я должен быть твоим гостем... смущает. Я всегда сам.

---

[i] Письмо надушено.

Правда, Оль. Ливень с грозой помешал бежать на почту, оставалось 10 мин. Завтра пошлю. Твой, детка милая, Вань, Ванёк, Ваня

18

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

21.IX.42 вечер

Милуша мой, Ваньчик!

Пишу тебе еще... Все думаю, думаю... сердцем как-то думаю о тебе. Ты, Ваньчик, только сожги эти письма, а то я бояться буду, что свою болезнь тебе еще передам. Но мне самой-то совсем хорошо: t° — вечером 35,8°. Это у меня всегда так после жара. Что было — не знаю. Как скучно лежать. Если бы встать завтра!

А знаешь о чем я думаю?.. Я вспоминаю год назад. Это был чудный, ясный день, тепло, как летом. Я писала тебе письмо. Я помню к а к я тебе писала. Найди от 21-го. Наверное я не ошибаюсь. И во время моего писанья, кажется, принесли твое... Ах, как красиво расцветало чувство любви нашей, Ванечка! Мне так хорошо — тихо сейчас... Я лежу в своей «келейке», маленькой, но такой уютной... Хочешь, схему дам?[i] Она миленькая. Большое окно с желтым стеклом наверху, и оттого кажется всегда, будто солнце. На стенах немного, но милое сердцу — фото, картинки. Летом всегда цветы. Она светленькая, цвета — крем. А над диваном мягкий ковер, уютно. Мягкий свет лампы. Я только и стремилась к своему уголку. Мне радостно работать в ней. Тебе бы понравилось. Иконки — мои самые заветные. Лампадочку я тоже добыла. Твои пасхалики радость вносят. Как войду, — их и увижу сразу, в красном углу. Я люблю уйти в этот, хоть только маленький твой, но все же и твой уют. Тут ты в книгах, тут письма твои, твои розы сухие, твои конфеты, ты — сам.

А, если бы к тебе перелететь чудом! Я часто себе это рисую. И вот осенью опять иначе: я приезжаю вечером в Париж... еще не совсем темно, а сумерки, тоскливые, дождь, ветер, сыро, стальное небо... Трепетно шумит отливающая листва, трепетно стучит сердце. Мне страшновато, как перед экзаменом. Сдаю багаж, бегу налегке. Не зная улиц, кручусь-кручусь. Вечностью кажется мне это искание тебя. И вот: rue Boileau. И тут уже только дом... О, как

---

[i] В письме рисунок О. А. Бредиус-Субботиной.

бьется сердце! И вот нашла. Дома ли? А если нет? И этот дом, и безнадежный ветер, и темнота... И я звоню. Я не угадываю за затемненными окнами, есть ли у тебя свет. Я звоню в темноту... И вот — шаги. Молнией несется: м. б. не один? м. б. гости? М. б. даже выйдет открыть дверь услужливый посетитель? Но это миги... Дверь открыта, и я ничего не вижу, не понимаю, я вся волнение... И... это — ты передо мной. Я в миг тебя узнала.. Я не могу идти мыслью дальше... Как тепло, как уютно, как чудесно-родно у тебя... И как это чувствуешь еще в сто раз ярче с дождя и ветра, и исканий, и волнений.... Ты, конечно, суетишься, ты взбит весь, ты хлопочешь. Мы хватаемся то за одну тему, то за другую. Потом бросаем и ту и другую — просто смотрим друг на друга, смеемся, плачем. И наконец с грехом пополам устраиваем чай и сидим уютно у твоей лампы. И я уж знаю твое кресло, я в нем тону, блаженно отдыхая и от пути и от волнений. Шумит сентябрь (?) октябрь (?) дождем и ветром, а у нас так дивно тихо, тепло, уютно, радостно и... светло-светло в сердце. Ах, я так все вижу, так ярко, что у меня сердце и вправду бьется. Потом ты помогаешь мне устроиться где-то, и мы прощаемся до завтра... А ночь так длинна... не спится, город спит, все тихо, а не спится, кипят думы, все нервы по-своему проснулись. И утро... какое ясное, умытое какое-то, и тихо... Ни следа дождя и ветра. Холодновато, золотятся клены. Как радует меня все это. И Париж своей новизной мне, и этот холодок осенний, все радостно гармонизует с... этой давно желанной встречей. И я бегу, не позавтракав (не глоталось) к... rue Boileau... Не доходя еще... вижу... ты... Ты тоже не спал, конечно (плохо это, Ваня!) и тоже не мог один кушать. Мы смеемся. Мы всему рады. У тебя столько света, как чудесно, как радостно... какое счастье мне!

Ну, писать ли дальше?! Я не могу. Мне так тоскливо, что ты далёко! И все это так возможно... и т а а к <u>не</u>возможно! Я иногда так воображу, что будто и впрямь у тебя побывала... Вот и сейчас. И как грустно расстаться с этой мечтой, с этим свиданием на бумаге. Сколько бы сказали мы всего друг другу, Ваня! Как ты быстро предаешься тоске, отчаянию. Нельзя так! Береги себя. Помни, что такие провалы массу уносят сил. Ты же так много должен сделать! Я не смотрю как ты, не говорю «завершить», — нет, ты должен <u>и</u> завершить, но и <u>новое</u> творить. Ты же призван на это! Ты должен это перед тебя призвавшим! Мне очень хочется писать. Окрепну, Бог даст и буду. Поуправиться с делами надо. Ну, не ворчи.

Я не утопаю в хозяйстве, но есть дела неотложные. Осенью их много. И для почки моей тоже надо. О витаминах подумать было надо. Не ворчи. Я не могу заматывать маму, а посторонние руки не сделают. Это не те времена. Всюду самим надо. Не ворчи. Я надеюсь, что выберу себе время. У меня много тем. Еще есть одна «из народа». Ну, хоть не героиня на манер Яйюшки, но тоже — мать удивительная. Молодая баба-вдова, с кучей ребят. За 12 верст на себе (на закорках)[i] носила мальчонку в школу, т.к. у того воспаление колена было. Нога срослась, не сгибалась, его дразнили. И что только эта женщина не делала, чтобы Пашутку в люди вывести. Вывела таки. Первый стал сапожник. А дразнить бросили, «уважали даже очень, особливо за то, что на гармоньи умел складно». Она ему и «тальянку» купила. Ходил баринком, парень хоть куда. Пашутке 12 лет было, а мать его все на себе таскала. Мой дед взял его к себе жить на все время школы. Красавица была баба, чистой русской красоты: круглолица, черноброва, румяная «что яблоко», как говорили про нее. Глаза — искры мечут, а голос певучий, но бисерком. Ходила, как пава. Несчастье с ней случилось, на большой дороге кто-то поймал ее... Руки наложить хотела, старший сынишка 14 лет Мишутка прибегал к нашим сказать, что «мамонька дурное в голову взяла». Отговорила ее бабушка, «со всяким, де, может попритчится несчастье такое, а она не гулящая какая, все знают, не корят ее, а коли руки наложить, так знала бы, что себе заготовить...» Ну утешилась, ей главное было, чтобы у батюшки-то ее не оттолкнули. И родила Машутку. Вся жизнь их тоже шла на глазах. Дочки работали у наших, а одна, Катя была моей няней, самой последней, собственно, горничной даже. Вышла замуж за очень интересного типа, в... Казани. Тоже достойно писания. Все, поездка матери («Сашоны») к Кате в Казань, все очень интересно. Завяла только Катя. Не знаю, что с ней, жива ли? Не по такому она мужу. Сын родился, какой-то «гнилой» весь. А Катя-то — кровь с молоком была. А другого... не родившегося, спьяна «вытоптал» ей супруг. А как увидел, чтО сделал (не знали они, что ждать бы надо), весь хмель соскочил, ревел, как баба. Неплохой был мужик, делец, самородок своего рода. На все руки. А вот случалось. Много бы можно написать. Катя барыней ходила в шляпках. Иван Иванович так хотел. Но была ли счастлива?

---

i В оригинале: на зарошках.

[На полях:] Ну, будет про разных няней! Скучно тебе? Иван Иванович — стоит, чтобы мы такой тип запечатали. Кабы да такому образование. Сам мыло варил. Научился, дошел. Барин был. Нас подкармливал в голод. Ну, целую тебя, солнышко. Вся в думах о тебе. Оля

Нет, 21-го/8-го Куликовская битва?!

22.IX Сегодня снилось, будто я в пустом партере «Малого» (что ли?) и кто-то объясняет постановку, я смотрю — это ты. Ты ставишь что-то из своего. Я вся взметнулась к тебе, а передо мной ряды стульев, а ты вот-вот уйдешь. И я кричу: «Иван...», не договариваю Сергеевич, зная, что это тебя «захолодит». Ты узнаешь меня, но на протянутые руки, не отвечаешь, а в проходе упрекаешь: «Нельзя же так, надо чуть больше творческой идеи, чутья искусства... культуры... нельзя же кричать... да еще "Иван"». И я отхлестана. Проснулась. Сегодня встала, t° — 36,0°. Целую.

Сережин telefон: 21367 (Arnhem). На всякий случай — вдруг приедешь [нежданно].

19

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

26.X.42 11 ч. утра

Светлая моя Олюночка, пишу в постели, не хочется вставать. Сейчас твое письмо, от 18.X, заказное (в субботу получил простое, от 17-го[126]). О, благодарю, — я задумал: получу сегодня — добрый знак. 15-го в открытке[127], писал о диагнозе Antoine'а. Страшного нет, верно. Но вот, после 16 дней без — почти! — тошнот (когда мне делали впрыскивания женатропина) 23-го и вчера в желудке набралось чуть ли не 2 литра кислой жидкости — и меня выхлестало. Вчера я терпел тошноту до 12 ч. ночи, наконец непроизвольно выкинуло! Я поразился: чуть ли не 2 литра! Первую половину дня я чувствую большой аппетит, утром ем овсянку, яйцо, жидкое кофе. Через 3 ч. — завтрак — все пропущено через машинку, пюре картофельное, телячьи котлетки (через машинку!), тыквенную кашу. Это — часа в 2—3. Вторую половину дня уже ничего не хочу. В 6-м начинается тошнота. Терплю, страдаю. Что делать?! Болей от язвы нет, или почти нет. Теперь мне делают впрыскивания «histropa» — это 1 раз в 3 дня. 12 впрыскиваний. Этот состав «Hisbs» — atropine, histidine, scopolamine et l'ion brome. Сделано пока 3. Тошноты с последствиями меня ослабляют. Остатков пищи нет, одна очень кислая жидкость, даже обжигает гортань! Я, кажется, опять худею. На ноги страшно смотреть. И при всем этом — очень хочу писать!

Да, тяжелый висмут мне достанут. Но, думаю, он мне не так уж нужен. Только бы избыть эти тошноты-рвоты! Желудок *очень* расширен и вял. Сейчас написал Елизавете Семеновне, чтобы запросила доктора: я должен быть у него только через месяц! Еще 9 впрыскиваний по 3 дня = 27 дней. М. б. опять назначит женатропин? — Все о себе я. Милая Олюночка, опять больна! Господи, помоги ей — светику моему! Помоги, Пречистая! Олюна, зачем ты к знахарке хочешь? Я верю, что есть особенные люди, которые могут влиять на кровотечение (Гр. Распутин[128]), но у тебя не постоянное это, — влияние [может] сказываться во время кровотечения — какое-то воздействие на сосуды. Не утомляй себя хозяйством. Возобновление болезни — от усиленных хозяйственных хлопот, уверен. Олюша, когда ты мне поверишь, что я люблю тебя всей силой моих чувств? что ты в с е для меня? Предельным счастьем было бы — увидеть тебя. Если бы ты приехала — вот награда за все, за все. И если я «с ужасом» — как ты пишешь, — «отмахиваюсь», так это от страха за тебя: вдруг ты заболеешь!? Что, что я могу сделать, т а к о й, *сам больной?! Сердце разо*рвется. — Мои писанья н и к о г д а не закрывали тебя. Напротив: ты даешь мне душевные силы, я хочу как бы для тебя писать. Никто, никогда не закроет тебя для меня. До — конца жизни! Пусть я не видел тебя... но я з н а ю тебя, я чувствую тебя, — ты мне самая родная душа в мире. — *А я испугался: 14 дней нет письма! Или больна,* или — отвернулась, негодуя, что я согласился печатать свои статьи[129]. Ах, я все сам знаю, газета не блещет выдержкой, но вдумайся: читают т а м, до дыр... оголодавшие 2—3 миллиона! Это м о и читатели! Вот это меня в з я л о. Я попытаюсь сказать доброе и нужное, сколько в силах. Но ты не укоришь меня? Видишь, как я ценю твое — ко мне. Я все хотел бы делать в полном с тобой согласии. И знаю — мы ни в чем не расходимся. Разве с разных точек смотрим. На происходящее в мире я смотрю ныне, как на выполняющийся Божий План. Тогда ничто не удручит. Погоди, я м. б. выскажусь с полнотой, возможной. Лишь бы быть здоровым. Сто-лько надо сказать! И сто-лько изобразить! Я — переполнен, несмотря на недуг мой. Олюша, я просил в письме 29-го IX — выбери сама главы из «Солнца мертвых». Я пока взял и вчера переписывал (сокращая) главу «Чудесное ожерелье»[130]. Берлинское издательство (немецкое) хочет новую книгу — «Чертов балаган»*, — а я

* и русское издательство просит еще.

не в силах приготовить ее к переводу. Как на грех. Мне надо бы в 4 руки работать. Вот, мое онемение-то... я весь год этот как бы ожидал чего-то... болезни? Твой сон в канун решения Antoine'а... — Покров Пресвятой Богородицы! Может быть это ко мне имеет отношение? Через любимую, через святое для меня. Дай же, Господи, немного последней Милости нам обоим! Олюша, я пошлю тебе твой рассказ чудесный «Яйюшку» отдельно. Доктору скажу — написать тебе. Он — бедняга, умучен жизнью. Как он постарел за этот год! Не томи себя: твой Ванёк почти здоров, — надо лишь на нервы повлиять, чтобы как-то стянули желудок. Конечно, у меня высокая кислотность, пилор не пропускает кислую жидкость дальше, она скопляется и... сама выбрасывается. Есть же средства против нее? Я читал, что один германский врач нашел лучшее средство, излечивающее hyper aciditi в неделю. Это сок молодого картофеля, розовых его сортов, главным образом. Но м. б. впрыскивания «histropa» помогут. D-r Antoine очень большой доктор, лауреат медицинской академии, мне очень приятен, мой читатель. «Солнце мертвых» его покорило. Я посылаю к нему Ивика, — не может спать. Переутомление от усиленных занятий. Светлая девочка моя, будь же здорова!! — потерпи, лежи — лежи. Я все готов перенести, только бы ты была! Как хочу видеть тебя! Хоть миг один! И как боюсь — поехала бы и заболела! Верь, Олёк, возможностью своего выздоровления клянусь, — начаты и оставлены два рассказа для газет (парижской и берлинской). Один очень страшный — и я не доволен заглавием[131] — изменю! — «Гадёныш». В основе действительный случай, как сын Троцкого[132] — мальчишка 14 лет — доказывал деревенским мальчишкам, что нет Бога: топил икону Божьей Матери в пруду, а она выплыла! Это мне рассказал в Москве, в 22 г. писатель Вересаев[133], свойственник которого Петр Гермогенович Смидович[134] (правая рука Ленина) был в селе Ильинском, где это случилось. После чуда была драка, избил один мальчишка «пархатого гаденыша». А потом создалась легенда... — ночью один старик принял икону, взял ее с поверхности пруда и — спрятали ее, до времени. Я написал 2 страницы только, — Серов восторгался. Правда, мягко выходило. Но я задумался... — о последствиях — там. Я страшусь... я не могу, чтобы мое искусство стало поводом к пролитию крови. Ведь виновники-то всегда в недосягаемости. А — гаденыш — умер уже. И я — при всей моей страстности, при всем моем сознании, сколько страданий России *причинено еврейством*, — *я не могу*

«бить лежачего»[135]. Это-то и удерживает меня от печатания «Восточного мотива». Только это. Я слишком повидал..! Другой очерк — из серии «Крымских былей» — «Читатель». Как твой Ваня был сохранен Господом — через одного читателя[136]. Надо было Ване написать все. А гибель была неминуема: от смерти меня отделяло лишь время на проход от Алушты до Ялты. Я был уже приговорен к расстрелу, это делалось автоматически. — Как странно, теперь у меня, кажется все возможности писать: Анна Васильевна бывает каждый день, средства у меня есть на все, жажда писать, — и — болен. Я достаточно силен, я могу писать у стола, болей нет, но... этот страх надвигающейся тошноты! — Нет, Олюнка моя, никто-никто-никто не может закрыть тебя! И не хочет, — я для «дам» — лишь чтимый писатель, любимый: меня жалеют. И мои отношения ко всем — самые светлые, к чутким читательницам. А ты... — ты вся, как читательница, как дружка, как женщина — но в каком-то очень высоком значении! — безгранично дорога, нужна мне. Ты дарована мне, как чудесная замена отшедшей. Пусть даже заочно. Ты оживила меня, усыпавшего. Ты вернула меня к работе. — Сейчас письмо из Берлина. Какой-то д-р Аксенов[137], — пишет мне Милочка Земмеринг — мой восторженный читатель, даст лекарство от — кислотности. Его перешлют мне. Была на бегах?[138] Почему — неприятно? Азарт — азартом, но бег красив, и можно, с билетом, любоваться. Хотя... бег хорош зимой... ах, в Москве..! Какие лошади были! Преломленно я дал в «Путях Небесных», в «Мери»... Рассказал бы тебе и об азарте... Азарт — всегда в состязании, скверно только, что при азарте — часто обман — сговор наездников, — обманывают самих лошадей! И это — видишь. Твоя интуиция — частое явление в играх. «Младенцам — всегда везет». Сам не раз видал. И — в рулетке. — Ты писала: будто я не отозвался на твои письма, в которых всю душу отдавала. Нет, Олёк: я все принял в сердце, и все сохранил, но пойми же: меня таскали по исследованиям, я был умучен и — подавлен. Я ждал конца... Я думаю, что я буду знать о конце. Оля покойная это скажет. Она явится мне — особенной и скажет. Пока — я ее не видел. К выздоровлению она является в светлом одеянии, — и этого не видел. — Бегония красива, но не праздничное это. Не смущайся. У меня не было праздника — Дня ангела. День рождения — да, я твою фуфайку надел, — и был бодрый! И розы твои, чудесные, уже увядшие — были для меня живым приветом. Олюночка,

не хлопочи о висмуте, он мне м. б. и не нужен. Болей нет. В больших дозах он хорош, как laxative[i]. Как ты чудесно описала тишину осеннего склоняющегося дня — эту вечернюю зорю в яблоневых садах! И к а к я хотел бы быть возле тебя! Оля, я так хочу любоваться красотой творенья Его — с тобой! Мы вместе нашли бы, находили бы в с е, чего одному и не приметить. Ты чудесно чутка. Оля, пиши, что и как хочешь. Лежа п и ш и хоть. И не надрывайся в хозяйстве. Да, и в хозяйстве есть красота... ах, когда рубят капусту! снимают яблоки! мочат антоновку!! когда хлеб пекут! когда веют! — все, все дал бы во 2 ч. «Путей». — Оля, снова возобновляются монастыри т а м! Какой это с в е т! Оля, мне скоро пришлют «Под горами». Я тебе пошлю как-нибудь найду путь. О, милая, нежная, ласковая... Не забывай своего Ваника. Жив — тобой. Целую мою девочку родную. Господь с тобой, Он вернет тебе здоровье. Молюсь. Благословляю тебя. Твой всегда-всегда Ваня

[На полях:] Как я люблю тебя, Олюночка! Как это сильно во мне и светло.

Умоляю тебя, не вздумай принимать, если знахарка что даст!

6 ч. вечера должен встать и идти на почту.

20

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

10.XI.42 8-30 вечера

Олюночка-золотая, только из твоего сердца могла родиться эта открытка[139],— вот она, — ласточка залетная, целую ее, — ж и в о е сердце твое в ней. В с е в ней: и великая любовь твоя, и мучительная тоска-тревога. Так мне понятно все это, — это же и во мне, м о е. Оля, мне лучше — и б у д е т лучше. Я — спокойней. Вчера немного гулял. Дни — золотые, крепкие, но мороза еще не было. В такие-то вот дни — быть бы у тебя, дышать в садах, пить крепкий настой осенний, — легкое, холодящее вино! Оно всегда бодрит меня, влечет к работе. Болей нет, но к вечеру чувствуется кислотность. Уколы «histropa» кажется, полезны, но они «о двух концах»: если делать их близко — по времени — от приемов пищи, можно остановить пищеварение — и тогда — тошнота с последствиями. Это я точно установил, и велел сестре милосердия брать не 3/4 centimètre

[i] Слабительное (*фр.*).

cube[i], а 1/2 — для последних 4-х уколов. Аппетит хороший — утром и в 2 ч. — к вечеру — я довольствуюсь горячей водой с молоком и 2 сухарями с маслом. Думаю, что вес мой — во всяком случае, не падает — м. б. даже «обрастаю»... Самочувствие лучше. Крепко возьму себя в руки, буду соблюдать диету, — м. б. от мяса на время откажусь. Надо дать отдохнуть estomac[ii] и проч.! — Пишу тебе в постели, поленился — не вставал сегодня. Мне покойней так. Родная моя, в целом мире — единственная! Кляну себя, что писал 29-го X[140], — встревожил тебя своей «панихидой»... Но, Оля, не могу и таить от тебя — открываюсь тебе в тоске, — будто ищу у тебя защиты, света... Прости, голубка. Я целовал, глазами-ресницами ласкал письмецо твое. Ско-лько в нем..! — слышу я за этими строчками..! И как понятно это горькое — быть на чужом веселье со своим горестным сердцем[141]. Олюночка, пойми же меня! Дождись меня — я должен к тебе приехать! И, Бог поможет, — приеду. Что мне говорить — о счастье несбыточном — увидеть тебя здесь? Но не жалким хотел бы встретить тебя... — и — о, как страшусь! — если ты заболеешь здесь, это будет ударом мне, — боюсь и думать, — каким! Я всегда мог бы лечь в клинику-лечебницу, хорошую, частную, — боюсь госпиталей! — но не хочу, это меня придавит. Ведь все в моей болезни — кажется, определилось, — надо: терпение — и волю. Моя «Арина Родионовна» приходит в 8 ч. утра, уходит — часа в 3. Все мне сготовит, подаст. Стучит, возится в другой комнате, (на зиму моя огромная — «студия»? — разделена, мой «заломчикальков» вместе с кабинетом) — и мне не так одиноко, если нет захожих. Я не умею совсем рисовать (бездарен!), но попробую дать тебе некоторое представление о моей квартире. Вот как (окна на Boileau) на запад-юго-запад[iii]. Нет, как бездарно нацарапал. Будут топить, а пока — малый радиатор, есть и еще два, в запасе, на случай морозов.

Олёчек, в сердце схоронил твой порыв — приехать и все мне устроить, меня устроить! Как я слышу твое сердце! Как вижу — знаю всю тебя, несравненная! Знаю: ты можешь сделать, и как же ценно!! Как пью нежность-любовь твою! Она меня исцелит, — только одно твое движение! На коленях перед тобой, целую твои ножки. Но, Олёчек, не

---

[i] Кубический сантиметр (*фр.*).

[ii] Желудок (*фр.*).

[iii] В письме рисунок И. С. Шмелева.

делай этого... за тебя в тревоге! И все равно, ничего нельзя провезти, все отбирает или голландская, или французская таможня. Анна Семеновна не раз убедилась. Ну, что ты можешь мне привезти, чего я — при известных усилиях, — не мог бы найти здесь? И даю тебе слово: если бы мне стало вдруг хуже — я сам попросился бы в клинику. Теперь я хоть за тебя спокоен: ты дома, всегда возле тебя дорогое твое — мамочка, Сережа, и будут приняты все меры.

Глухая осень, — холода, пойдет непогодь, — и в такую пору, в современных условиях, — тебе, — всегда под угрозой болезни! — быть в трудной дороге (в поездах битком, нельзя тебе!!), на-юру, в чужом Париже, (пусть и в удобном отеле). Когда твой Ванёк «скрипит». Ну, случись с тобой... — я... что я-то буду... ?! Изведусь. А ты — будешь беспомощна. Знаю, о тебе будут заботиться, да, — и как еще! Юля все сделает, по моим указаниям... все!! Но мы с тобой — источим последние силы — в тревогах смертных. Не надо делать такого сильного опыта. Светик мой, — о, чудесная-призрачная моя! — в иные миги мне так представится... — будто сон мне снится, сон о тебе! — так для меня это несбыточно — щедрая Милость Господня..! — Ты, явленная мне! Я молю Господа — ущедрить Милость — дать мне увидеть тебя, поклониться тебе, душа родная, моей дружка.

На днях А. С. Будо едет по делам в Голландию, возьмет мою книгу для тебя. Это — забытый мною! — II-й том моих сочинений, выпущенный Петербургским союзом писателей в 1912 г.[142] (после был переиздан, причем я исключил рассказ «Иван Кузьмич»[143]. Почему — не знаю). Перечитал теперь и вижу — для того Ив. Шмелева — рассказ приличный, психологически выписан удовлетворительно — и — по характеру — мой! — Не знаю, дам ли еще что газете. Печально, что не пришлось изложить мои взгляды на жизнь и мир... а без повода (если негде печатать!) я теряю «толчки» к писанью. А как я горел! И как бы мно-гое выперло из души! — В ночь на понедельник — 9-го XI — видел покойную матушку! Не помню, ко-гда еще видал! Она, похудевшая, в белесом платьице, хочет, словно, меня увидеть... и вот, кто-то слева, м. б. Оля покойная, показывает на меня, а я где-то на 3-м — заднем плане[i].

Матушка, кажется ничего не сказала, смотрела, как бы жалея меня. А я что-то сказал, — я не помню. Просил..?

---

[i] В письме рисунок И. С. Шмелева.

или — приветствовал... Мне было радостно — увидеть старенькую, и я почувствовал, что она — родная моя, и я люблю ее, и мне жалко ее... почему? Теперь мне больно, как мало был я с ней ласков, как не умел быть ласковым с ней! Надо было хотя бы переломить, для нее, перестроить что-то в душе. Она не умела — или очень редко умела, и так неуклюже! — ласкать детей. Что же, она не виновата, не умели воспитать в ней ласковость, суровая семья была у ней, училась и жила в институте (Елизаветинский институт в Москве)[144], очень хорошо училась, с наградами, почти из института — замуж, не по любви, но жили с отцом хорошо, у него был такой ясный характер, мирный, — чуткий душевно был он, даже (в то-то время!) служащих не мог обидеть или прижать... Да вот: иной раз воротится домой часам к 11 вечера. Кухарка спит. Все спят. Осторожно разбудит — «Татьянушка, сделай-ка яишенку... прости уж... есть хочу...» — не любил ресторанничать или по трактирам, — она на таганке, на лучине, изготовит — в 5 шт. глазунью... — подаст тихо в столовую, (снизу из кухни) — валенки всегда, чтобы не стучать. Отец — помню! — калач так вкусно над яичницей разломит, (крупные золотые запонки сверкнут на чистых крутых манжетах, — он без жилетки, ночной...) — «Погоди-ка, — скажет шепотком, на-ка... не серчай, что побудил...» — и — двугривенный. Та — «да что вы, Сергей Иванович... да я всегда рада... как же так голодным спать...» Всегда любил наградить. А если кого обидел... погорячился... весь день сам не свой... О, как это ценил народ! И как я, я, маленький, чувствовал... до слез!! Я всегда страдал, и ка-ак! — если кого увольняли. И очень не любил увольнять. Как любили его, и как ходили за ним, когда он заболел смертно... и как же страдал! Вот мне и жутко писать последние очерки «Лета Господня». Но надо. Дал бы Господь войти в силу. Одиннадцатый час. Тошноты нет, но небольшая renvoi[i]. Завтра заставлю себя пойти пройтись. Почти бросил курить: два раза в день по 1/3 папироски.

[На полях:] 11.XI — Утром твое письмо 5.XI[144а]. Целую. Да, сердцем страшусь за тебя — пойми! И хочу видеть тебя в Париже, но разум говорит: нельзя, нет. Страшусь за тебя — пойми!

Я — старовер, — больница для меня — ужас, не верю во французское лечение, и — французским сестрам.

---

[i] Отрыжка (*фр.*).

Процесс моего пищеварения, — вполне хороший, только вот отрыжка дрожжами — очевидно, залеживается.

Желудок очень расширен и опущен.

Не заметил — как кончил 2 лист. Целую, деточка, Оля моя. Пиши. Твой Ванёк

21

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

12.XI.42

Милое мое солнышко, родной Ванюша!

Письмо твое сегодня, — и как я счастлива, что тебе получше. Видишь мой дорогой, — ты, как я и думала, перепринимал лекарств. Господи, что же мне сделать, чтобы попитать тебя?! Анна Семеновна д о л ж н а (!) обязательно взять от меня все, что я ей соберу. Я сама стесняюсь многим ее отяготить, но хоть немного-то!

Я ей на Rusell пишу, чтобы заранее мне она сообщила, а не в день отъезда, а письмо пришло 2 дня после ее отбытия. Я хлопочу о своей поездке в Париж, но из-за вчерашних событий м. б. еще новые затруднения встретятся. Мой друг, могущий мне помочь, уехал как назло до сегодня или завтра в Париж, а без него нечего и пробовать. Мне доктор мой сказал, что, если van Capellen мне не мог помочь в болезни, то в Голландии не к кому обращаться больше, что помощь парижского врача можно только приветствовать. Дал и бумажку. Напиши же еще и адрес и имя urolog'a, знаменитого у вас. Есть же!? Пока что я собираюсь только к Марининому и твоему Antoine. Посмотрю, что выйдет из моей просьбы. Я только и живу этой мечтой. Я извожусь думами о тебе, Ванёк, ночи не сплю, воображая тебя одиноким в болезни. И этот холод! Эту ночь у нас был о. Д[ионисий], — ночью страдал желудком — язва, операция была уже у него. А я, слыша его муки, о тебе думала. Господи, что же мне для тебя сделать. Я грешу досадой на то, что вот Анна Семеновна, Елизавета Семеновна, «Юля» и прочие тебе помочь могут, а я только бессмысленно развожу руками...

О статьях... чего же мне добавить? Я этого ждала, ...если Ваня со мной одинаково чувствует. Иначе же не могло и быть. Я их слишком хорошо знаю. Не год и не два, а целый большой отрезок сознательной жизни. Правда только хронологически, не внутренне. Не горюй, — значит так надо. Но каковы они-то, видишь? Ну, будет. Ты обо мне не волнуйся, я здорова, хотя эти дни простужена была

адски. Прошло. Крови нет пока что. Берегусь, конечно. Боли в груди было начинались вчера ночью, но я приняла твое против спазм. Помогло. Спала плохо, т.к. о. Д[ионисий] страдал, а я слышала, — он с голодовки-то попал (как он выразился) в «землю обетования». Молоко не снятое и прочее его и «угробили». *Но ему помогла моя микстура*, которую мне дал 4 года тому проф. Руднев[144б] в Берлине. Магнезия. Утром бледный встал, но говорит все прошло. Я виновата, — заугощала его. Уху сварила, чудную, жирную, щуку ему дала, с соусом из масла с желтком стертыми, потом еще старых времен была у меня такая индийская «история» для вегетерианцев — котлетку ему сделала из нее, груши вареные, теплые, яблочный мусс, а на ночь простокваши, вот после нее-то и взяло его. Хлеб ему пекла сама из своей муки, чтобы не было суррогатов. С хлебом будет трудно, в этом году у нас плохая пшеница, прибило дождем ее. Дают строго по пайку, тоже что и на карточки, только как премию за поднятие целины под злаки, дали немного добавочного. Молотьба еще была эти недели. Было 14—15 человек рабочих около молотилки, контролер (бывший сыщик полиции), чтобы мужики не утянули чего сверх пайка. А над этим контролером еще 2 контролера, чтобы он не вошел в стачку.

Одного засадили в тюрьму, что плохо глядел. Мне надо было 11 человек кормить по 5 раз в день! Подумай, сколько работы. Под конец они сказали, что такого приема они ни в одном доме не встречали и долго будут помнить mevronw[i], о которой их предупреждали, что «она вероятно и слова одного по-голландски сказать не сможет, т.к. ее слышат говор на каком-то странном языке». Я выслушала массу комплиментов и моему голландскому языку, и хозяйственным заботам, и гостеприимству. На все сие я только сказала: «...Ничего нет особенного, это тот minimum, который вы встретите в каждой русской семье. Гостеприимство — наш приятный долг». Из неприятной процедуры молотьбы сделался праздник, несмотря на всю возню, работу и грязь. А кончилось еще и романом: моя миленькая служанка (не трамбовка, ту я отпустила) приглянулась одному мотористу, тоже редко очаровательному, — обаятельная какая красота и симпатичность. Мне радостно было на них смотреть. Мило, просто, чисто. Я ее посылала подавать к столу, а она малиной заливалась и глаза опускала. Хорошенькая девочка, кокетливая кошечка от природы. Ну, Бог с ними.

---

[i] Госпожа (*голл.*).

Ванёчек, золотко, поправляйся, не томи себя мыслями. Может быть лучше тебя в больницу направить? Попытайся же, м. б. и не так там плохо. Тепло там будет. Мне очень хочется приехать в Париж. А тебе? Нет... не совсем... Чую. И иногда боюсь, что оказалась бы «татарином» или хуже. Ведь правда? Голубочек, прости, что я не переписала до сих пор «Яйюшку», я ужасно заверчена в хозяйстве. Теперь надо все убрать: маис сушить, а то гниет, курам есть нечего, капусту рубить. Еще здешнюю травку — андивию солить и массу всего другого. Яблоки и груши чистить для сушки... Ящиками. Вот бы тебе привезла. У меня мозоль на пальце от чистки. Дней не хватает. И все — это несчастное, презренное и такое нужное «едово». Кур старых колоть надо, стерилизовать. Вот тебе бы! Корнеплоды приводить в порядок... А еще целая куча других дел. Шить надо: платья зимние пересмотреть, пижаму фланелевую, кофточку верхнюю сшить — начато — не кончено. Еще кое-что. Платья все мне узки... особенно парадные. Взять хоть одно с собой, если поеду? Или только то, в чем поеду? А в чем? Трудно остановиться. Что тебе лучше всего приглянется? Не нарядное хочется, а свое, что лучше гармонирует. Но что? Я никогда не знаю. На свадьбе у соседей я королевски выглядела... до... 5 часов, до письма твоего[145], а потом... жалкая была, с опухшими глазами. Не смогу тебе такой показаться... вся прелесть была в камнях — золотых топазах — старинное колье из топазов и жемчугов, на открытой шее, платье — черный бархат без всяких прикрас, только золотой поясок. Короной волосы. Колье — бабушки, прабабушки. Но его в дорогу не возьмешь. Осталась одна только серьга, длинная, веткой, чудно мне идет, дивно. Но второй, увы, нет. Мне дарит мама имитацию к рождеству, тоже хороши. Мне нравятся эти побрякушки. Негритянка? Для торжества, мама мне еще приколола очень красивые кружева, широкие, настоящие... Был вид, как со старинной картины. Оригинально. Мне идут такие «воротники», как крылья. Одно вечернее, еще девичье, платье: узкое до полу, черное, атласное, только в самом низу клеш, ничего, никаких «штук», а у декольте огромный белый тафтовый, как крылья «воротник», особенно сработанный. Декольте: спереди не большое, а спина до пояса остроконечно открыта. И кончалось бриллиантовой пряжкой (имитация, конечно, но эффектно). Такого 2-го ни у кого не было. А все мама. Какая дура, все о тряпках. Но я тебя нарочно хочу вырвать из твоих дум. Вот изволь слушать, как твой Олёк бывает тут! Вот твоя «умница»-то! Я люблю «стройные» платья.

4 — 11249

Но не строгие. Я женственное люблю и в туалетах. Бантики, кружева, цветы, камни... очень люблю. Кольца, серьги. Не люблю полумужественных мод, английских костюмов. У меня были, — гадко. Не по себе. Амазонка — другое было. В костюме наездницы (имею в виду модный, с галифе) много может быть шарма. Ты согласен? На свадьбе у мужиков была такая масса бриллиантов, золота... и каких! Сами то часто бегемоты, а грудь и руки и уши... горят, горят. Чудно! Я глаз не могла оторвать от одной старушки 85 лет, всю увешанную драгоценностями и какой работы! Игра какая! Только бы хоть раз примерить! Таких вещей, смело уверяю, не снилось ни одной фильмовой диве. Богаты крестьяне здесь, что и говорить. Но скучно все это. Ах, много бы можно написать, да не хватит времени. Ванёчек, душенька, я все время с тобой, все, все время.

Крещу тебя. Молюсь, целую. Будь здоров, солнышко.

[На полях:] Целую нежно и обнимаю. Твоя О.

Стыжусь такого глупого письма... Простишь? Так счастлива, что лучше тебе. Так мечтаю о свидании и потому о женской ерунде пишу, как бы уже выбирая для тебя туалет. Но это мне не важно. Это все — совсем, совсем между прочим. Ванечка, если бы удалось встретиться!! Будь здоров!

Это птичка грызла, летать ее пустила![i]

22

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

18.XI.42 4 дня

Милая, нежная моя Олюночка, как успокоительны, как хороши, как ласковы твои письма! Это мне такое укрепление! И знаешь, твои хозяйственные заботы так почему-то и мне близки, — да потому, что т ы здесь, вся в них, и в них страстная, пылкая, вся — р у с с к а я. Ну, как же чужакам и еще голландцам, привыкшим копить копейку, не удивляться на гостеприимство твое! Но ведь это же какой труд и какая же брешь в хозяйстве — кормить несколько дней целую ораву и каких едоков — молотильщиков! Что же это у вас, с подвижными молотилками — артели? Это в богатой-то стране. От хозяйства — к хозяйству? Да сколько же у вас запашки-посева, если надо чуть ли не неделю молотить? Или у тебя — русское имение? Яблочные сады — на

[i] Бумага повреждена.

километр? И ты — владетельная особа?.. имение — маркиза Фортинбраса? (помнишь — «Кот в сапогах»?[146]) Ах, много красоты в жизни помещика, хотя бы и голландского. Я люблю хозяйство, всегда мечтал... — Тоника помнишь? Какая чистая, какая нужная, какая справедливая жизнь — землею! Ах, потому-то я и кинул мою Дариню к Мценску, и вот, жду-не дождусь, когда окунусь в хозяйство, в эти чудесные мелочи повседневщины... — в захват красотой труда. Я вижу поля хлебов, огороды в расцвете, сады... — их цветение и налив, их созревание... парники, грунтовые сараи... скотный двор, птичник, — эти смены времен года, — и во всем этом жизненном ходе, под небом, в Боге... — даже холодный, мрачный, в полудожде-полуснегу октябрь... — все дар Божий, все красота. Холодные месяцы — декабрь — январь, когда в разгаре отел коров, — ночью телятся! — таинственные огоньки скотников, наблюдающих... — у нас кухарка Татьяна, бывало, в первой половине декабря радовала нас известием, что «телочка у нас», — и я не мог дождаться морозного, часто метельного утра, бежал в кухню, где за печкой, в огороже, сохла, — уже на ногах стояла! — телочка. У нас так подгадывали отел, чтобы к Рождеству и длинному мясоеду было хорошее и обильное молоко. Ах, какие сливки... и как я любил, когда заливали ими клюквенный кисель! Это такой чудесный «мусс»... когда смешается, и какой же удивительный вкус! Эйнем выпускал такую карамель, похожую... Ах, Олюночка! как прекрасна жизнь, во всем... когда она идет в ладу с природой. Сказывается во мне от предков, от крестьян — государственных — Гуслицкой волости, Богородского уезда, Московской губернии... — эта страсть к земле. Редко приходилось мне живать в больших хозяйствах. Перед войной, когда я уже получил «имя», начинались приглашения гостить... помню, один витебский русский помещик[147], — и сам малость писатель, — как звал..! Все предлагалось: верховые лошади, охота, рыбная ловля, — и какая! Я большой рыболов... — обилие ягод и грибов, кормление до-отвалу... — тогда я мог все есть! — полное хозяйство, богатейшее гощенье, — хоть целый год! — и чудесное же имение, по рассказам Бунина, — и я собирался в конце июля, война помешала. Как я мечтал о яблочных садах!.. — ах, какие сады видел я в Малоярославце у Ильи Львовича Толстого[148], — и опять — за два—три дня до объявления войны! Олюночка, не судил Бог мне насладиться тем, что мне так дорого, в чем я вижу высокий смысл жизни... — трудами от земли, на земле... — под Гос-

подним небом! Город всегда был мне невыносим... с детских лет. Это — «на дачу!» — в этих двух словах — ско-лько для меня было... в с е г о... еще неясного! Оля... как любил я сойти на маленькой станции... за вокзальчиком ждет тарантас, уже вечер... знакомый кучерок... и мы катим небыстро проселками, в хлебах... — в этом духе полей ржаных... — с последними песенками птиц по перелескам... — с девочкой на опушке, разбирающей кузовок с грибами... (у меня сушатся белые грибы на радиаторе! хочу пирожка с грибами... мо-жно? —) — или — в июне, только-только спеет земляника... — и белоголовая девчушка протягивает букетик земляничек... — ягодок-огоньков... — какая красота, душистость сладостная... — какое... дыхание Господне — во всем! Дали, деревни в рябинах... а вон и усадебка... — матушкино именьице, маленькое... и какие же яблоки там, клубника, малина.., как жирно трещат дрозды... — Господи, как хорошо было, п о л н о удивительно ясной простоты и — чистоты! Помню, как я, студент уже, устроил сам разборный улей... и как трепетно следил за первой работой пчел! Как я люблю все живое: цыплят, птичьи голоса-гомоны... конный завод... охоту... тихие заводинки, где берут лещи... — но особенно почему-то — омуточки, где ерши и окуни! Днями просиживал, вставал до солнца, любовался, как пруд дымится — парит от него... и в этом — каком-то первозданном «куреньи» вод... — всплески рыбьи... — лещи, что ли, купаются? И как таинственна глубина там... — куда забросишь удочку. Первый сбор ранних яблок... — и к осени глубокой — последний добор крепких... — и как, бывало, ищешь по верхушкам — золотистое, антоновское... с наклёвом — сла-дкое! Все это, кусочками, раскидано у меня по книгам, в «Лете Господнем», в «На пеньках», — но главное — кратко! — в «Ростанях»! Ты чувствуешь, как во всем этом — чуть и твой Ванюрка... Я всегда влюблялся в заброшенные уголки, в глухие поместья... — и так хотел бы остаться совсем..! Я так люблю следить, как все растет, меняется, зреет, д а е т с я человеку! Я поездил по России... — и все же мало! Я не посетил больших рыбных промыслов в разгаре труда, не видал большого сплава леса, не знаю, как снетков ловят. Ах, снетки эти..! Я часто теперь их вспоминаю... а был на Белом озере, где самые лучшие, белозерские... — помнишь — «Марево»?[149] Я люблю этот рассказ... Ах, как было жарко в Белозерске, в августе 13 года! Тогда я — осенью — написал рассказ «Волчий перекат»[150]... — по Северной Двине ездил. Снетки... — их запах, их вкус... на сково-

родке... — это неповторимое... — сколько же Господь дал людям, и сколько же — русскому человеку, который умеет видеть, принять!

Ну, я увлекся. А теперь — к грустному текущему...

Вчера А[нна] В[асильевна] отнесла посылочку Елизавете Семеновне. После я сам зашел и застал ее ломающей голову, как это все навязать сестре. Через полчаса она должна была ехать к ней, помочь уложиться. Сказала мне: боюсь — не возьмет всего, при всем желании — а я еще письмо написал просительное А[нне] С[еменовне], суля по книге ей и дочке Ниночке. Духи будто бы отбирают, таможенники. Носильщиков нет, она — дама сырая, тучная, везет много торговых всяких бумаг для своих отделений модных вещей в Бельгии и Голландии. Я сказал — ну, что можно. Так что, Олюша, прости, если перечисленное мною в прежнем письме не все доставят тебе*. Тройку акулек клюквенных, конфетки... и антигриппал, жасмин, книгу, золотистую медовую карамель, душистый горошек... — что получишь? Если бы ты с ней повидалась! — ты бы ее очаровала. Она очень приятная, «мягкая», — и у-мная! — красивы голубые глаза. Но полнота... Елизавета Семеновна — совсем миньятюрка, как бы не доразвилась в женщину, совершенно резко-другой тип! Ну, да ты умница, сделаешь, как нужным найдешь. Уповаю — что-нибудь дойдет, м. б. Ваня — кисти Калиниченко, — помнишь, художник — небольшой! — его картина — «Перед обыском» — студент жжет в печке нелегальщину, Румянцевский музей.

Сейчас был Ивик, принес от Юли... Кстати, почему ты всегда берешь Юлю в кавычки?! Так звала ее О. А., я, все. Это — Юлия, почему же кавычки, — не ирония же тут?.. Она этого никак не заслуживает. Она так чутко старается меня беречь. Был Ивик и принес горестное письмо. Боже мой... Мой родной племянник, сын старшей сестры, сверстник Сережечки моего, не мог оставить семью в Москве в 18 г. — офицер вел войны, и остался — со всеми последствиями. Он чистый человек, а семья недавно осталась без кормильца, мой зять помер. И вот, прошло 25 лет. Недавно я получил письмо от неизвестной дамы, спрашивает — «Сергеевич» ли я по отчеству, и есть ли у меня племянник Любимов[151]. После ответа она переслала мне письмо... племянника! помеченное 30.X.41 г.!! Оказывается, ее муж был

* Как бы хотел исправить непринятое тобою, горькое мое прошлогоднее Рождество! Я от всего сердца тогда сам посылал тебе, как горел!

переводчиком в одном из лагерей советских пленных, — кажется, в Эстонии. Ему-то, разговорившись, Норя — Никанор — и передал письмо — доставить мне. Тот м. б. не решился тотчас переслать, — запрещено сноситься о пленных, — заболел тифом и умер. Его жена — дама-то! — нашла в бумагах и переслала мне, — очевидно, переписала на машинке?? Письмо не рукописное, даже и подпись. Вот оно:

Пари, Ивану Сергеевичу Шмелеву, — латинский шрифт. Дальше — русский. «Милый, родной дядя Ваня. Примите мой сердечный привет», — нет, должно быть это его текст, советская орфография, боялся писать своей рукой? — «и пожелание...» — буду уж старой орфографией! — «хорошего здоровья. Пережил много горя и может быть близок к таким же тяжелым утратам, которые перенесли Вы». — Очевидно, о моих о т н я т ы х! — «Сын за три дня до начала войны ушел в артиллерийское училище, жена осталась в Москве. Я после сорока дней — ежедневного соседства смерти — в руках германской армии. Мое единственное утешение вижу в том, что разящий германский меч — меч священный*, направляемый рукою Всевышнего, веру в которого я сохранил и буду хранить до конца дней моих. Целую крепко. Любимов. P.S. Мама жива. Если будет возможность, пришлите нательный крестик. В партии никогда не был. 30.X.1941». — Вот... Больше года тому... Я знал, что где-то в Эстонии — Норя мой, полковник артиллерии, в плену. С прошлого года не мог добиться, где он. Единственная возможность была — к «Новому слову» — к его редактору, но я уже отклонил тогда сотрудничество и не мог обратиться. Теперь я повелительно д о л ж е н его просить. У меня болит душа за родного. Они с Сережечкой были дружны, вместе и в поход вышли в 15—16 гг., из Серпухова. Помочь бы чем ему... Крестик нательный..! Я плачу сердцем. Буду умолять — разыскать его, снестись. Я ручаюсь за него, он прямой, честный, — и, конечно, ненавидит большевиков. Это — жертва. Не мог бросить семью, надо было кормить мать, неподросших детей, учившихся. — Пятеро! И вот — рабство в когтях у дьявола. Представляю, что он вынес! И как мучился, когда мы вернулись с Олей в Москву, в 22 г., без Сережечки, и он пришел к нам... — бледный, в слезах... в стыду... — что не ушел с Сережечкой и не разделил его судьбу — ? Ему было тяжело смотреть нам в глаза. Но разве я м о г его укорить? М. б. ему дума-

---

* Вот как и подсоветские видят! Правильно.

лось, что мы его презираем... — ? Не знаю. Я тогда был убит. И вот, теперь, спустя четверть века... Не получая отзвука от меня на это письмо, что он мог подумать? Презираю? не прощаю?.. Я его не обвиняю ни в чем. Таких было много, взятых жизнью, прикованных. Ну, буду хлопотать, добиваться... Боже мой... если бы русские люди здесь воображением представили пытки, в каких томился народ..! Бог с ним, с нашим великим имперским прошлым... будущего никто не знает... а ныне... ныне приносится страшная жертва кровью... во искупление грехов мира... — и молюсь — да дарует Господь истребления большевистской чумы! Я делаю поправку на «лежачего не бьют» — это, помнишь, о чем? о «гонимом народе». Нет «лежачего»! Этот «лежачий» точит смертоносный яд, там, где может еще... и этот «лежачий», если бы его дело выиграло, до последней капли выпьет и русскую, и немецкую кровь. Да, да, да! Отплатит тысячерицею, не как в книге «Эсфирь», Пурим-то... Отдельных, неповинных можно жалеть... но, когда подумаешь... больше 30 миллионов русских людей истреблено, и кааак истреблено..! Боже, Боже правый... даруй просветления сердцу... не могу, ненавижу, проклинаю! Оля, не суди меня, ты — добрая душа, ты — вся со мной, и ты болеешь сердцем за родное. Я не жестокий, — я только — весь в страдании. Не осуди, родная. Ты сама ненавидишь дьяволов.

Весь режим нарушил. После обеда не лежал, тебе пишу. Я сыт. Ел курицу, кисель с молоком, творожок хороший. Буду писать завтра Деспотули[152], молить его. И вот, придется послать газете рассказ, что ли. О, сколько «проклятых» вопросов надо разрешать нам! Сейчас канонада над Парижем... жуть...

Пора в постель. Холодно. Радиатор рядом. Буду Толстого читать «Утро помещика»[153] для оттяжки. Целую. О, родная! Ваню не забывай. Один я, один... Твой Ваня. Увидеть тебя!! Ты — вся яркая, я... о, какой я, стыдно.

[На полях:] Если бы был здоровым!!!

Да, А. Н. Меркулов все исхлопотал мне: продовольственные карточки, газ, carte d'identité[i], не в мэрии, а в префектуре. Это огромное бремя снял с меня! сделал чудо! Вот — друг!

Совсем, было, забыл: отличный уролог Dr. (professor) H. Marion, 74, Avenue La Bourdolais, Paris, VII, bl. Inwalides, 14-02, sur rendez-vous.

---

[i] Удостоверение личности (*фр.*).

Как жалею, что 1-ая статья не прошла. Я бы всю систему изложил! Я буду добиваться. Важно напечатать. Два народа: германский и русский.

Отбой тревоги!

Уже другой месяц не могу вымыться как следует. Противно. Такой холод. Не топят. Велю нагреть кухню газом.

23

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

25.XI.42

Милый, дорогой Ванюша!

Вчерашнее твое письмо на машинке! Я так рада, что тебе лучше. На многое хочу ответить и не знаю с чего начать... Понимаю твои чувства относительно племянника. Ах, и многое все-таки не высказать, что давит сердце! — И трудно же писать: я лежу и лежу, с 14-го... На этот раз какое-то окаянное кровотечение, — только позволит доктор сесть, как начинается снова, но не от сиденья, т.к. я еще не успеваю исполнить это[i]. [...] Обиднее всего лишь то, что я не смогу увидеть Анну Семеновну... Ах, Ваня, ты огорчаешь меня такими посылками! Ну, зачем!? И что сказать А[нне] С[еменовне] про меня, такую баловницу *духами в этакое время*!? Конфет у нас найти можно. И в доказательство я посылаю тебе пьяную вишню. От А[нны] С[еменовны] я не получила до сих пор никакого известия, а 23-го, как только пришло твое письмо, я просила маму все, что хотелось тебе послать, притащить мне на кровать, и мы вместе упаковывали. Прости, что яички не выслали. Мне то это невозможно, а маму то уж очень загоняла своей болезнью. И маленькие они очень, т.к. это от молодок нынешних, они начали нестись 1-го ноября, будучи 5 месяцев. Мамины выкормыши. Мужики завидуют, ни у кого еще не несутся, а у нас — самые свежие яички. Как бы хотела, чтобы до тебя дошли! — Ну, вот думали, думали к а к отправить в Гаагу? У нас автобус только 4 раза в день ходит и последний из Утрехта к нам в 5 1/2 часов, так что можно было только на другой день. Маме меня оставить невозможно, а девчонка моя — дитя, говорит: «Не найду я пожалуй, я никогда на поезде не ездила». Но все-таки решили, что, если не будет крови у меня, то мама поедет. У Фаси еще несколько пакетов Bisma-Rex *были*, я просила ее захватить, т.к. в одни-то

[i] Описание болезни О. А. Бредиус-Субботиной не публикуется.

руки не дают. Мама звонит ей вечером, а она и говорит: «А[лександра] А[лександровна], так я их сама отвезу, у нас 9-ый день по папочке, мы с мамой в церковь завтра едем». И подумай, все захватила. Она мила, Фасёк, тащила еще одежу для русских после папы.

Я Анне Семеновне письмо написала, объяснила, что сама больна, что пользуюсь оказией в Гаагу, и решаюсь без предварительного разговора с ней послать кое-что для тебя. И послала. Теперь, после твоего письма, я стыжусь, что она «клянет» и меня... Но мне таак хотелось тебе все это послать. Я просила ее взять с собой: 20 шт. яиц (свежих, за последние 5 дней нанесенных, хорошо упакованных), 2 фунта сливочного масла, 2 банки сгущенного сладкого молока, сушеных яблок сладких, висмут и Bisma-Rex, коробочку пьяной вишни и носки шерстяные. Они очень не элегантны, но еще хорошей чистой шерсти. Дикий цвет, но я думаю, что ты их сможешь надевать на ночь, когда холодно. Я рада была хоть такое достать, т.к. — прежней выработки еще. Безумно хотела послать тебе жареного петушка из наших молодых, но для этого должна знать точно день отъезда А[нны] С[еменовны]. Очень прося прощения, я об этом ей написала, сказав, что это только на случай, если бы ей было возможно. От нее же я не имею еще никаких сведений.

Заказное мое письмо было отправлено 17-го XI, значит она его получила. Фасенька вчера звонила (как раз когда я плакала от новой (?) крови) и сказала, что она была в магазине, где и узнала, что m-me Boudo здесь, передала пакет и письмо, и лекарство (Bisma-Rex) и просила, что если что у m-me Будо (я об этом же писала А[нне] С[еменовне] кроме того) есть для О. А. Б.-С., то чтобы это было передано в магазин, а оттуда кто-нибудь возьмет. Клянет меня она? Я очень хотела бы ей хоть цветов послать, хоть торт, но не лично, это как-то неловко, да и балованная она, думаю. Что любит? Ломала голову, как бы ее поблагодарить... и не придумала. И все это меня очень угнетает, а еще пуще, что не увижу ее, живой твой привет, что она меня не увидит и не перескажет тебе обо мне. Ехать в Париж теперь — безумие, — Бог знает, когда я опять поправлюсь! А на днях уезжает B[oudo] обратно в Берлин и уже совсем. Так что никакой протекции... Ну разве можно не досадовать!? Нет, мой приезд к тебе... не угрожает тебе, Ванюша! Еще, скорее хочу сказать: «Юлю» я беру в кавычки только потому, что я стесняюсь называть ее просто «Юля», ибо какая же мне она Юля? И только оттого, что я не знаю как могу ее

назвать иначе, беру это, твое для нее имя. Почему ты хочешь видеть иронию? Разве я сумасшедшая? Я именно очень рада, что она около тебя есть, родная тебе душа, заботливая и берегущая. Откуда ты, Ванюша, такое выводишь? Ивика я Ивиком зову только потому, что это — мальчик, сколько ему? 20 лет? Елизавету Семеновну я тоже беру в кавычки, когда пишу т в о е — «караимочка». Как это ты самое простое объяснение не нашел?! За что же бы мне твою племянницу обижать? Напиши лучше ее отчество. Это почти то же самое, как если бы вдруг размахнулась писать «Оля» об О. А.! Ну, понял? По-моему ты всегда так скоро обидное обо мне думаешь?! Не знаю.

Я очень томлюсь тем, что лежу беспомощно и... тягуче-долго. И не могу поискать для тебя гречки. У нас, впрочем, здесь настоящей крупы не было, или очень редко (как куриный корм!), а все только мелко-размолотая, но и она была вкусная. Она давно пропала. Я бы хотела ее посеять, но: 1) низка почва; 2) нельзя сеять то, что хочешь, но то, и столько, как укажет правительство. Вообще, Ванюша, хозяйство теперь совсем нельзя сравнивать ни с прежде здесь, ни с прежде у нас. Я расскажу тебе, если ты этим заинтересовался. Ты спросил, почему хозяева не молотят единолично. После капитуляции Голландии были образованы специальные учреждения для ведения учета урожая и т.п., ведающие сельским хозяйством. Они регулируют норму скота, всякого, даже кур. Мы не имеем права сами по себе держать скота столько, сколько хотим, но нам дается строгая норма. Также лошади. Мы не имеем права больше 2 взрослых лошадей держать. Пашем вместе с — соседом, на — четверке, т.к. на паре — земля тяжела, не поднять. Пахоту же мы обязаны были увеличить и засеять тем, что предписано. Картофель, горох, фасоль и т.п. мы должны только определенное количество для себя оставлять, а остальное сдавать. Хлеба, т.е. пшеницы, мы получаем то количество, которое полагается на хлебную карточку по пайку и сдаем все, что сверх нормы, т.е. большую часть, печа хлеб сами. Как премию за поднятую целину дают на душу лишних 25 кило на год. На кур мы ничего не получаем. Мясные карточки сдаем тоже, и за это имеем право убить свою 1 свинью, по весу того пайка, который был бы на мясную карту. Ели весь год солонину. Колоть свинью мы можем лишь тогда, когда сдадим одну свинью, определенного веса государству, и когда нам разрешат. Тогда приходит контролер и весит тушу, штемпелюет и дает нам нашу часть. С молотьбой не так, как ты думаешь: н и к а к и х

единоличных обмолотов нельзя устраивать. И очень понятно отчего: все должно быть учтено. За личный обмолот можно бы было сесть на порядочное время в тюрьму.

Нет, но по всей стране, из деревни в деревню ездят доверенные молотильные артели. При каждой такой молотилке есть свой контролер, который и следит за тем, чтобы крестьяне не утянули себе зерна свыше пайка. И это так строго, что над этим контролером еще 2 контролера. И были случаи, когда молотилочных контролеров за недостаточный дозор арестовывали. После молотьбы в ближайшие же дни бывает обыск, на дому и в угодьях. У заподозренных ищут даже в кроватях. Это же очень важный момент — хлебозаготовка, ты поймешь, что молотить единолично, собственной машиной дозволено быть не может. «Казенных» людей при молотилке 3-ое: моторист, хозяин, — тоже моторист, и контролер, а остальных, рабочих можно брать своих. Но т.к. надо очень много людей, около 15 человек, то обычно «сколачиваются» несколько дворов. У нас сама молотьба шла 3 дня*, но это не все, т.к. остальное жито будут молотить в январе—феврале, т.к. жито у нас признали (по высшей категории) годным для семян и его лучше сохранить в скирдах немолоченным. Тут такие уж порядки. Нам-то казалось бы в амбарах хранить лучше. Ну, маленькую частичку тебе рассказала и то только на твое удивление, почему же мы с а м и, единолично, не молотили. Нет, все должно быть строго учтено, а как же это провести, коли каждый бы тянул свое? И то, при этих нормах даже, постоянный нужен контроль, — у нас чуть не каждую неделю проверяют, все ли в порядке. И если хочешь быть без забот, то — исполняй то, что говорят.

Конечно, артель молотильщиков задала дела мне, но было и весело. Мы днями, все три женщины, стояли у плиты. Прощаясь, они меня очень благодарили! Контролер — пожилой человек, даже растрогался... даже просил разрешения бывать у нас, конечно после его обязанностей. И еще... смотря на меня, как на какую-то деточку, спросил: «У вас, кажется, нет детей?.. Какая же это несправедливость... нет, я не понимаю... какая же жалость!» Но как контролер был «дюже» строгий. Бывший следователь, всякого насквозь видит. — Господи, у соседей напротив пожар. Все бегут... Горят стога сена и... обмолоченной ли? — соломы. Приехали пожарные. Мама тоже туда пошла на минутку.

---

* *3 дня — сама молотьба, и почти неделю с ней связанной работы.*

А 18-го у нее тоже было событие: привезли свеклу к нам на баркасике из «майоратного»* имения В.[154] (там есть часть Арнольда) по каналу, остановились против наших окон. Стали натягивать мачту, а она да и задень за провод высокого напряжения. Масса искр, пламя и... как потом выяснилось удар в матроса, натягивавшего кабель. Стоявший около дома А., увидя пламя, пошел узнать в чем дело. И видит, что на поверхности канала плавают лишь 2 деревянных башмака, да кепка. Он бросился наугад, и в чем был, в воду и вытащил хлопца. Головой ткнулся в ил, без чувств упал, сраженный электрическим током. Ну, доктор, полиция, толпа. У нас во дворе его искусственным дыханием в себя привели и принесли в дом. Я-то — больная... День пролежал, отогрели его, кормили, поили, — очухался. Домой уехал. Ну, не чудо ли? От 2-х смертей ушел?! Доктор не понимает, как он такое электрическое напряжение мог вынести. Единственный сын... Все на пожаре. Что-то там?! У мужика этого одна беда за другой, — 2 жеребенка пали в эту весну (оба — кобылки кровные). Ужас! Слышу все за окном: бегут-бегут... Ах, Ванечка, да, красива жизнь на земле... А особенно та, наша, которая не вернется! Здесь нет романтики. Уж слишком все научно, а сердца-то мало... Ах, как жду, жду Ваню. Неужели не получу книжку и тебя? Только это и жду, а за духи и конфеты бранюсь... Бранюсь, Ванюша, и строго... Ну, целую, тебя, милый. Молюсь, чтобы был здоровым. Берегись! Лежи больше! Брось Д[еспотули]! Целую. Оля

Не успела запечатать письмо — *m-me* Boudo звонит и говорит, что ничего не может тебе взять. А твое — мне у нее отняли. Я плачу! Что ты не получишь.

24

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

15.XII.42 г.

Милый мой Ванечка, я писала тебе наскоро, что мои 2 письма к тебе вернули[155] и ты м. б. (?) ждешь писем? Так трудно теперь все снова восстановить, о чем писала, что спрашивала... Не люблю читать свои старые письма. Прежде всего — благодарю тебя за присланное: духи (мне они очень нравятся, и я тебе ими те письма душила), конфеты (чудные!), коробочку antigrippal'а, клюквенную «Матрешку»! Я очень огорчена была, что не получила книгу и, глав-

* Оно — не майоратное в строгом смысле, но вроде того.

ное, тебя! Но совершенно убита была тем, что А[нна] С[еменовна] н и ч е г о не взяла из моего для тебя! Она даже не взяла висмута, который с таким трудом удалось достать, обегав весь Утрехт, а из Bisma-Rex она взяла тоже не все, оставила еще 3 коробочки в магазине. Я ничего от тебя не имею уже бесконечно долго и, если бы не письмо А. Н. Меркулова[156], то я потеряла бы и сон и аппетит от заботы о твоем здоровье. Но ты почему-то другому не пишешь, и я... не докучаю вопросами. Молчу. Мне давно, м. б., следовало бы себе кое-что уяснить... Я не знаю, передала ли А[нна] С[еменовна] тебе хоть что-нибудь, хоть одну коробочку Bisma-Rex, т.к. от тебя об этом ни звука. Очевидно, не передала, т.к., судя по письму А[лександра] Н[иколаевича], о приезде А[нны] С[еменовны] уже и тебе, и, даже, ему известно. Мне очень жаль, что я так наивно положилась на любезность А[нны] С[еменовны] и просила ее еще об одной мелочи. Теперь, благодаря этому, очень возможно, что ты не получишь того, что я всем сердцем тебе хотела дать к Рождеству Христову. Но тогда пеняй на нее. Мне уже исправить теперь поздно... Ванечка, я не смею и не хочу касаться твоих таких близких, но скажу все же, что: умоляю тебя н и к о г д а, н и к о г д а не просить ни о чем для меня M-me B[oudo]. Все поведение ее было таково, что я могла сделать лишь этот вывод. Кроме того, всю мою посылку она оставила в магазине (на протухание, т.к. там жарко было): 2 фунта сливочного масла, 2 банки сгущенного молока, 20 яиц, сухие яблоки, коробку пьяных вишен, пару шерстяных носок и лекарства. И еще одну мелочь, от которой она и то «переломилась», хотя сунуть могла в сумочку, не ощутив никакого веса. Ну, Бог с ней... Я сама не имела удовольствия с ней говорить. Была у телефона мама. Я лежала с новым кровоизлиянием. А я-то, дура, еще думала душегрейку для Анны Васильевны послать, чтобы Вы оба у елочки обо мне подумали, чтобы она лучше за тобой ходила! — Ты м. б. скажешь, что я очень многого от нее ждала.., но нет же! Если вспомнить, что мы возили для других! А по твоей же теории ответственности одного за всех и всех за одного, — что выходит? Ну, будет! Будет! Прости, что выразила свое мнение о дорогих тебе людях, но я не виновата, что от нее в отношении себя видела только такое.., на основании него не могу составить хорошего мнения. — Из твоего письма (давным-давно) вижу, что у тебя появился оптимизм относительно моей болезни и как будто даже на основании каких-то моих замечаний. Оснований к этому — н е т. Наоборот — все так же неясно, как и было.

Доктор энергично отклонил всякую мысль о камне в почке, произведя анализы. Я опять сильно ослабла и очень побледнела. Кроме того, осталось осложнение, которого прежде не бывало, и хотя я не больна в полном смысле этого слова, но чувствую себя не хорошо. Лекарства мои все (витамины «С» и «К») отменили за очевидной их бесполезностью. И я живу на авось. Сам понимаешь, что не очень-то весело от всего этого. Последнее кровоизлияние пришло во время моего 2-х-недельного лежания, — значит никакой внешней причины тоже не было. Я и плюнула теперь на это «беречься» — делаю все, что хочу, что могу. Никакое «беречься» меня не спасало. Я не делаю безрассудностей, не езжу верхом и т.д., но живу обычно, как если бы была здорова. Скоро и на боку попробую спать. И это не оттого, что я верю в здоровье, а... от отчаяния. Но, впрочем, хватит о болезни. Это надоедает.

А теперь настоятельная к тебе просьба: ответь же мне Бога ради (на этот хоть раз только!!) — как пишется фамилия Елизаветы Семеновны? Ты писал, и я поняла Ghelelovich, а А[лександр] Н[иколаевич] пишет по-русски «Габрилович». Мне это очень нужно, и *скорей*. Если тебе трудно писать мне много, то хоть открытку напиши. Это мне надо! И затем, если вздумаешь писать и больше, то я давно уже спрашивала тебя твое мнение о Жорж-Санд[157]..

Я тебе в возвратных письмах писала, почему не отозвалась на твой вопрос о выборе глав из «Солнца мертвых» для печатания. Не могу (не люблю) повторяться. Да ты м. б. и знаешь почему. Эти новые твои «собратья по литературе» — мне не хотелось тебя видеть на ряду с ними.

Семейные дела[158] меня, конечно, очень расстраивают, всякий раз, когда ты все это затрагиваешь в письмах, я так разгораюсь, что могу забыться и наговорить такого, что прямо погублю свое положение в доме. Я же очень несдержанна могу быть в таком. Я не могу примириться с мачехой[159]... ни в чем, — ты это знаешь и не надо этого касаться.

М. б. в этих же вернувшихся письмах было и мое объяснение тебе, почему я «Юля» пишу в кавычках... Не знаю, на всякий случай, еще скажу: конечно, не по неуважению (откуда бы оно могло взяться?), но только потому, что я не имею основания ее звать Юля, как не смела бы покойную О. А. назвать Оля. Ведь то, что ты ее так зовешь, не дало мне права на это. По крайней мере ты мне об этом не сказал. — Ну, «отчетная» сторона письмА кончена. Что же хочешь ты знать обо мне еще? И хочешь ли вообще? Меня лечит все еще магнетизерка. И я тоже ничему не

верю. Она мне в последний раз сказала, что ощутила при входе к нам тяжесть в груди, до обморока почти и тотчас же увидела молодого мужчину с бородой — призрак. Спросила меня, не носил ли папа бороду. Сказала, что папа умер рано очень, но что всякий раз, как она приходит, она его у нас чувствует. И это ощущение в груди передалось ей — его предсмертное состояние. Не знаю... Так странно. Она лечит так: встав на колени перед больным, молится, держа за руки больного. Потом легко прикасается и гладит все тело. И тогда чувствуешь сильный холод, а внутри жар. Очень странное чувство. Потом опять молится. Она мне сразу сказала, что болит у меня левая почка, — этого ей никто не говорил. Маме она сказала про сердце, — тоже верно. Все это, конечно, странно очень, но я не делаю никаких суждений, пока что.

Удастся ли мне поехать на Рождество в церковь — не знаю. Сегодня получила письмо от о. Д[ионисия] с сообщением разных церковных служб. Но я не смогу. Рада бы была, если бы удалось, хоть на Рождество Христово. Но, что я о себе знаю? Сегодня здорова, а завтра в лежку могу. А поехать в храм очень хочу, т.к., Бог знает, долго ли он просуществует. Церковь и дом находится в 3-ей зоне для эвакуации, а 2 первые зоны уже выселены, и дома многие срыты до основания[160]. А мне так бы хотелось помолиться. Ты не можешь себе представить моего состояния: этот вечный респект перед почкой! Только на миг я поверила в камень, вообразив себя уже здоровой, и тогда-то вот, почувствовав себя как бы вне болезни, поняла всю тяготу моего жития с этим страхом рецидива.

Но не стоит, не стоит об этом. Я и так наскучила тебе. — Мой друг[161], узнав от мамы (она 4-го дек. была в церкви — Введение, и виделась с ним) о таком тяжелом рецидиве на этот раз, страшно всполошился и заметался. Под конец он пристал к маме: «Но, А[лександра] А[лександровна], что же делать? Что же делать-то? Так нельзя ведь оставлять! Господи, Господи...» И потом вспомнив, говорит: «Знаете, О. А. меня летом просила посодействовать ей поехать к специалисту в Париж, я завтра же постараюсь все устроить, и когда ей будет возможность, то пусть, даже если и меня не будет, спросит разрешение». Я не знаю, что он делал, — я отклонила.

М. б. мне и в самом деле надо бы поверить Шахбагову и ехать в Берлин на операцию? В Берлине в медицинском мире у меня много знакомых. А также знаю и прекрасные клиники там. Но тут меня отговаривают от операции. И не

знаю, что делать. Я сама, конечно, не хочу. Магнетизерка велит пить молока больше. Но его скоро у нас не будет, т.к. за неимением корма (мучного — его отпускало государство) предписывается возможно скорее коров сделать «сухими», т.е. не доить, чтобы они остались достаточно сильными ко времени теленья. Я не люблю молоко, и это мне не лишение, но вот говорят, что мне оно необходимо.

Как у тебя с продовольствием и топливом? Мы сыты и в тепле. Хотелось бы знать, что ты делаешь... Но я не хочу быть нескромной, если ты сам не пишешь так долго. А[лександр] Н[иколаевич] пишет, что ты работать начал. Мне же ты ни словечком не обмолвился о том, что ты делаешь. Пишешь? Что? Мне больно, что я от тебя только и слышала, что все общение твое со мной принесло тебе расстройство нервов, парализовало твой заряд к творчеству. Ты так часто это говорил! И это вместо вдохновения-то, которое дается любимой! Перечитывая все твои письма (с июня—июля и до теперь) я вижу с болью, сколько там твоих упреков.

И, правда, за наше знакомство ты не писал.

Что же мне сделать? Скажи, и я послушаюсь.

Не прими это письмо, как упрек и да не раздражит оно тебя. Я сама не люблю скулящих оставленных. Я не знаю, не о с т а в и л ли ты уже меня?* Я ничего не знаю. Не знаю, как кончить. Нужны ли тебе и моя любовь, и моя молитва за тебя и мой, тем более, поцелуй. Оля

P.S. Надеюсь, что написала отчетливей, я старалась для цензора исправить свой мерзкий почерк.

[На полях:] 16.XII Подождала еще отсылать, не получу ли от тебя. Ничего нет. Ты забыл меня?

Фасенька родная обещала, что ее муж возьмет для тебя посылочку, только когда?..

Если любишь еще, то целую крепко!

Если можно, то м. б. пришлешь мне № парижской газеты, где ты пишешь.

25

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

22.XII.42 по 29.XII 12 ч. дня

Олюночка-дорогушка, сегодня твое письмо от 15.XII. Благодарю, дружок. Забудь упреки: ты знаешь, к т о ты

* У меня такое странное чувство — будто ты оторвался от меня, я не могу уловить твоей души. Но, м. б. я ошибаюсь, и ты все тот же?

для меня, Светик! Ты мне дала счастья — пусть в письмах! — света, жизни... — не измерить! Ты для меня единственная. Довольно. Упустить тебя?! ... Я... я, волей своей, не могу. Я могу цепенеть, замирать... — как было эти 3 недели... Я был в ужасе, что тебя уже нет на свете! После радости-веры, что камень вышел, что ты здорова, — твое письмо 25.XI повергло меня в... анабиоз — обмирание. И потом — пойми же — моя болезнь все продолжается. Я думал, что здоров, расширил режим пищевой — и наказал себя. Я еще, болен. Теперь я взял себя в руки. Пусть буду полуголоден (кстати, — нет аппетита), но до приступа себя не доведу. Вчера меня стошнило в metro. Пища переваривается, а это — жидкости. Пилор делает спазму, а жидкости болтаются в желудке — до 2—3 литров! Вчера я был в банке, потом у цветочника, устал. Кстати: correspondent a Paris[i] вашего утрехтского[162] не ручается, что ты получишь ландыши или живую сирень белую. Хотя я внес достаточно (для Парижа?). А посему я просил, чтобы утрехтский цветочник известил твою маму (пусть она меня простит!) — м. б. она — приедет же в Утрехт за предпраздничными покупками? — зайдет и сама выберет для... Олюнки! Олюшечка, не лишай меня последней радости... м. б. это мои последние цветы тебе! — чистая ласка Ванина его Олюне. Денег у меня довольно. И это — мои, — Юле я и Оля дали в 10 раз больше, м. б. — чем она дает мне. Да у меня есть запас в Швейцарии. И пишу я не для денег. Тебе непонятно, как мне дорого, но я общаюсь с русским читателем! А что я рядом печатаюсь с [НТСами][163] — мне плевать. Ты в трамвае со всякими ездишь. Мне важно давать *мое*. Довольно о сем. Меня это начинает злить, это упорство. Я всегда в работе был и останусь собой. И в писательских путях я останусь свободным, нет силы меня ломать. — Фамилия Елизаветы Семеновны — Guelelovitch (Гелелович, караимка, я тебе ясно писал) 108, rue Michel-Ange, Paris, 16e.

Анна Семеновна для меня никак не дорога, — не выдумывай! — напротив: я всегда видел, какая она сухая, эгоистичная. Такого же мнения о ней и муж Елизаветы Семеновны. Эта — вся другая. Я глубоко возмущен, что она не распорядилась немедленно вернуть тебе твою посылку. Просто, мой вывод: она — злая, обжора, слова с ней не скажу! Мне больно, что книга не дошла, с Ваней, — должно быть она ее и не брала с собой, (вернула мне ее!) — У меня

---

[i] Парижский корреспондент (*фр.*).

топят, тепло. Мучают жуткие сны, — болезнь. Тошноты пройдут. Ну, буду на хлебе-воде, выдержусь. А как работает воображение в... кулинарной области! — Парижская газета не дойдет, запрет печатное посылать. Фасин муж возьмет. Посылаю тебе «Михайлов день»[164]. Я его переписал для тебя, урывками от болезни. — Мне было очень неважно, (тошноты и проч.) я лежал эти дни, без воли. —

Продолжаю 29-го. 2-ой день, как встал, мне лучше, вернулся аппетит. Сегодня у меня п и р: уха, печеная рыбка, картофель вареный, политый сливками (!) (обещают каждую неделю!) и молочный кисель со сливками. Утром — яйца, крекер и кофе. Я уже написал рассказ «Рождество в Москве» — для России. И кончаю «Именины» — 2-ю ч. — для Франции. — Умер Бальмонт, за 3 дня до смерти читал мое «Лето Господне» (слова жены его)[165]. Это не впервые: за день до смерти митр. Антоний просил читать ему «Богомолье». Василий Иванович Немирович-Данченко в утро дня кончины — читал «Богомолье». И так — вроде «отпускной» молитвы. Боже мой, ты все больна! Олюночка, тебе необходимо показаться большому специалисту. М. б. в Париже. D-r. H. Marion — считается самым лучшим.

Нашелся племянник. Он — в Германии. Судя по письму, играет очень важную роль. Бывает в Берлине. М. б. будет (*с кем-то?!*) в Париже. Он был профессором Артиллерийской академии. Пишет: «Мы (?) в России примем Вас с исключительным почетом, Ваши великие заслуги перед Россией — будут особо отмечены». Он вполне м о е й ориентации, — страстная любовь к Родине и преклонение перед народом, ее освобождающим от красного дьявола. Он — «вполне обеспечен» — «как солдат». У него всегда была светлая голова. О-чень тонкий аналитик и — сильной воли. Много вынес в лапах у красных. Другого племянника моего[166], его среднего брата — убили большевики в 36 г. Теперь он сам м. б. потеряет сына, единственного, и жену[167]. Жду его, с нетерпением. Ему уже 49 лет! Сереженьке было бы 45. Они были друзья, вместе вышли на великую войну, в 15—16 г.

Олюша, прилагаю письмо к маме[168]. Прими мои рождественские ч и с т ы е цветы. С ними пусть войдут в сердце твое — свет, вера, надежда! Извести, когда поедет в Париж Фасин муж: я пошлю с ним духи, книгу, себя и пакетик конфет — ждет 2-й год. Шоколад запрещен здесь, увы. Вернули ли тебе твои-мои — «гостинцы» из магазина Roussel? Яиц не могу достать. Но все остальное есть, кроме чаю, — не пью его больше месяца. Это для меня огромное

лишение. Рассказ «Рождество в Москве» — написал за 4 часа, начисто. Должно быть плохо..? Прочтешь? Я сердит на тебя, за отказ выбрать из «Солнца мертвых». Ты что... блюдешь чистоту риз своих?[168а] Это уже 2 раз — отказ мне. 1 раз — с «Восточным мотивом». Ну, я не могу тебя неволить. Я все, все знаю, — и — пребываю в том же плане. М. б. и напечатаю в с е.

Целую, родная. Твой Ванёк. Меня задергали. Но — пишу все же.

26

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

31.XII.42

Дорогая моя Олюшенька, светик ты мой тихий — и, порой, какой же буйный! — обнимаю тебя, целую любящие твои глазки, — я их так чувствую, чувствую тепло их на себе! Письмо это получишь в канун или в самый день Рождества Христова. Да светит Свет Христов в сердце твоем, родная моя, — и оно будет нежно светиться любовью, лаской, нежностью к твоему Ване. Молю Бога, сколько есть во мне молитвенной силы, исцелить и укрепить тебя. Елочку ты зажжешь, — м. б. алые свечки затеплишь, думая обо мне. Мне передастся тепло твоего сердца, Олюночка, милая... вот уже четвертое Рождество идет, как мы в с т р е т и л и с ь... — и нет еще встречи полной, когда можно будет открыть наши сердца настежь — друг-другу. И будет ли эта, подлинная встреча, когда-нибудь..? Как все эти последние годы, Праздники не принесут мне ни легкости, ни полной радости. Но твои чувства ко мне смягчат мое одиночество. Знаешь, Олюна... я всегда чувствовал грусть одиночества, даже во дни тихого моего семейного счастья, с мальчиком и Олей. Мне все ч е г о - т о недоставало! Как часто покойная Оля пеняла мне: «Ты вечно недоволен жизнью, какой это большой грех!» Да, верно... грех. Но что я мог с собой поделать?! Недовольство это можно, пожалуй, объяснить суровой оценкой моих художественных работ, м о е й личной оценкой. Ни одна работа моя не удовлетворяла меня: я всегда хотел лучшего, совершенней. Теперь — тем более, я еще суровей к себе. Я все жду от себя — большего. А в личной жизни... — я счастлив тобой, твоим чудесным чувством, скажу — да, твоею любовью, твоими заботами обо мне, твоим устремлением, ко мне... твоею лаской. О, милая... я люблю тебя сильно. И мне горько было

читать в твоей открытке[169]: «это же — лицемерие — твое письмо к маме». Ты неправа, ты здесь сугубо жестка. Меня ни-когда, ни-кто не назвал лицемером: это совсем чуждо мне. Я — скорей — слишком открыт, слишком правдиво искренен. Бог с тобой... не буду упрекать. Я был все дни в обмирании, в безволии... мне казалось — что все кончается... В такие полосы дней я часами сижу, уставясь в одну точку, без дум, без слов, без желаний... я сознаю, что на-до то и то... и не могу двинуться, пока не столкнет что-то с мертвой точки. А теперь, такой ослабевший от 6 мес. недугов, я все чаще впадаю в эту душевную пустоту. Ну, оставлю.

Буду о тебе си-льно думать, душой стремиться к тебе в эти святые дни. Подумай и ты, сильно... Скажем же друг дружке — «приди, сердцем, духом своим при-ди..! шепни, поцелуй нежно, крепко-сердечно-чисто поцелуй меня..! И да будет мир в душе нашей!» Я помолюсь о тебе в канун Рождества, в 9 часов вечера, придя ото всенощной. Зажгу лампадку и свечку — и помолюсь. Никого у меня не будет, я — в одиночестве буду, чувствую. А м. б. Юля забежит, — вряд ли. Да и неуверен, смогу ли пойти в церковь, так хрупко мое здоровье, так изменчиво душевное состояние... Я все еще болею, во 2 половине дня, начинаются эти «ранвуа»[i], это застаивание, брожение... — очевидно, так и не пройдет, хоть я и стараюсь строго держать диету, следовать предписаниям. Я бросил, или — почти бросил — есть мясное. Что-то будет... увижу. Курю — одну папиросу за день! И как все это надоело..! — оглядка эта. Главное — мне надо хотя бы «Лето Господне» закончить. Чтобы написать тебе сейчас, я оставил срочную работу — над 2-ой ч. «Именин». Мне ведь и зарабатывать надо, не могу же я, — имея некоторые сбережения, которые не могу достать полноценно, — они в Швейцарии, — гонорары мои за «Няню» и проч. — не могу я — и не хочу — брать у Юли... — я еще в силах работать! Я дважды уже отклонил предложения — купить у меня авторские права. Все это также отзывается на душевном состоянии. Я ни в чем не нуждаюсь, слава Богу, и всегда отклоняю излишки, которые мне предлагают. Эти дни у меня тепло, 18 градусов, топят, и еще я топлю железную печурку в камин труба. Я так люблю тепло, так оно мне необходимо.

Олёк мой, напиши о себе, я в тревоге за тебя, и бессилен помочь... — да что же это с тобой. Тебя губит голландский сырой климат, — столько работы почкам! Должно быть по-

---

[i] Отрыжка (*от фр. renvoi*).

чечные болезни — чаще всех других и опасней — в Голландии. Уверен, перемена климата или места — твое спасение. Если бы ты пожила с год хотя бы в сухом климате, — ты оправилась бы. Здесь же ты не можешь вылечиться, надо дать отдых почкам. — Не смей же есть все, оправдываясь «луженым желудком». Не от желудка зависит, а и... от переваренного им и — вредного почкам. Ты ешь много соли, острого, пряного... пьешь крепкое что-нибудь — и выделения в почку — ее возбуждают, воспламеняют. Помни, ты же все знаешь сама... Ты посади себя на молочное и легкое, и оставь пока мясное и жирное. Назначь режим для больных почками и сосудами. И — увидишь. Я попробую найти для тебя таблетки «Виши», а теперь и в Париже нет вод Виши — все нет, где ни спросишь. Пишу в большую лабораторию, друзьям. Не шути с настоями из березы, можжевеловых ягод и проч. — могут быть и обратные результаты. Напиши мне, куда ты уезжала, «приготовив всем им праздник». Что это? Ты снова себя ухлопываешь трудом? да? Или твои этого н е понимают?! — ты так уж сама поставила, приносить жертву?! — На днях закончу переписывать для тебя «Михайлов день», первую часть послал дня два тому, и еще письмо. «Парижский вестник» нельзя послать, печатное не принимают на почте. Я уже напечатал два подвала «Именин», I ч. — «Преддверие», сейчас кончаю и пойдет 9 янв. II ч. — «Торжество»[169а]. Потом дам «Черствые именины»[170], и... начну с болезни отца и до конца. — Эти посетители! Сейчас один отнял у меня полчаса... му-ка это моя! Я урываю час-другой, чтобы уйти в себя, в работу... пока не мешают отрыжки, томленья... да еще часами надо лежать, после еды... Не сетуй, если мало тебе пишу — ну, нет сил, воли, времени...

Целую твои глазки, детка... да смилуется Господь над нами, незадачливыми. Вот, уже чувствую, как крутит в желудке, будто там пружины развертываются. А надо нести на почту, а потом до глубокой ночи писать — закончить ко 2 янв., чтобы поспело к рождественскому парижскому №. «Новому слову» я дал — «Рождество в Москве» — новое мое. Кажется, ч т о - т о вышло... а м. б. и ошибаюсь. Ну, м. б. прочтешь... хотя не уверен. Жду встречи с племянником. Узнаю кое-что мне нужное и — беспристрастное. Нет, я все еще болен... и будет ли улучшение?! ... — я ото всего откажусь, стану полным аскетом, только бы окрепнуть и закончить работы. Мои «Именины» — слышу — захватывают читателей, будят р о д н о е в душах. Когда-то появится вся книга «Лета Господня»?!

Увижу ли..? Она будет ярче I-ой. З н а ю. Ее считают — I-ую-то — «классической», все чаще слышу, а в одном из №№ парижской газеты она так и названа. Нет ее в продаже, мне надоели запросами, где достать. Н е г д е и нигде.

С Новым годом, светлая моя, дружка моя, — о, не во всем, н е всегда. Это мне больно. И не я в этом виноват...

Все жду миндаля, — мне помогает миндальное молоко. Нет миндаля! Разослал письма друзьям в ту зону — там есть.

Поцелуй маму и Сережу. Прими мой поцелуй в цветах, прими нежно, не как в прошлом году!

Я так был бы счастлив, если бы они тебя порадовали. Найдут ли то, чего я хотел — ландыши или белую *ж и в у ю* сирень.

Жду приезда Фасиной «дубины». М. б. он возьмет книгу мою — тебе и духи.

Целую. Твой Ваня

Как нежно, как глубоко люблю тебя, моя радость... как *ж д у т е б я! Если бы я поправился, я поехал бы к тебе,* детка!

Дни стали п р и б ы в а т ь... Тепло у тебя? Для почек это так нужно! И — ванны, ванны. Ищу «Виши» для тебя. Ванёк

27

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

7.I.43
25.XII

Мой дорогой, мой милый Ваня!

Так я полна сегодня тишины и мира, какой-то растроганности душевной, что хочу вот сейчас же поделиться всем этим и с тобой, хотя устала до крайности, глаза слипаются, — я спала всего 3—4 ч. сегодня, не больше. Ванюшечка, оставь мрак и увидь меня той, какою прежде видел. Нельзя, Ванюша, не поговорив точно обо всем лично, делать выводы, *что будто я уж и другая стала. Я не люблю* выражения о «ризах», дружок, — оно совсем ко мне не применимо. Все-таки ты не представляешь меня себе ясно. Если бы лично знал, то не сказал бы так. Ну, оставлю. Я только хочу сказать тебе, что всей душой хочу тебе света и тепла и ласки. Твои праздничные письма мне — не праздничные. И, — прости голубок, но это верно, — ты там сам себе противоречишь. Ты, прости, раздосадовался на меня за что-то и.. не мог писать, а м. б. работа? Но не страх того,

что я уже умерла, ибо не могу себе представить у тебя такой холодной, леденящей реакции на подобное «событие». Согласись! Если мне поверить целиком этим письмам, то следует прийти к печальнейшим выводам. А я этого не могу и не хочу!

А потому: дай ушко, я выдеру тебя за него и поцелую красную раковинку и шепну что-то нежное и ласковое. И... будет! Сегодня я причащалась... Вчера выехала из дома в 2 ч., а приехала лишь около 6 ч. вечера в Гаагу. Всенощная уже кончалась. Убого пели, т.к. регента взяли на работы в Днепропетровск. Но все же пели. Как я люблю это дивное «...днесь воспреемлет Вифлеем...» — «...днесь ангели младенца рожденного боголепно славословят...»[171] приводило меня ребенка в умиление, и казалось, что «Христосик» миленький, чуть ли не товарищ по играм детским. Казался близким, родным, доступным и... Великим Богом! Слушала, и сжималось сердце. Ночевать ушла к одной армяночке, звавшей меня давно. Болтушка... «кавалеры», флирт и т.п. темы. Томилась у нее. Устала. Отказалась от кофе, чтобы заснуть. Придя, однако, к ней, установила, что потеряла мою дивную серьгу (подарок мамы). По дороге от церкви до нее... Хоть плачь! Как они мне шли! Сегодня, как назло, одна дама (тоже причастница и тоже Ольга)[172] говорит: «Тезка милая, хочу сказать, что Вы не только интересны, но — красавица* (прости, что так пишу, но это буквально), носите эти чудесные серьги всегда и вуальку...» Увы, серег уже нет! Но это — искушение, не надо красоваться. Надо проще. И я принимаю с благодарностью урок. Ну, конечно, мы выбежали уж при первом свете искать, но... столько выпало снегу за ночь!.. Так надо, значит.

Хотела тебе писать с себя портрет в этих серьгах. Значит и это нельзя... Но все это не важно. Иванушка, горлинка, я не получила «Михайлов день». Неужели пропало? Ванюша, сейчас, как вернулась домой, — приносят твой цветок... Обнимаю тебя и цветы. Поцеловала их. Конечно, приняла в сердце, но браню тебя, растратчик! Прислали очень красивую азалийку, густо-розовую. Буду ее холить. У меня на них легкая рука. Свекор упрашивает взять и его, которые все гибнут, на «лечение». Получил ли ты мое?? Теперь открою: я просила А[нну] С[еменовну] взять для Е[лизаветы] С[еменовны] 20 марок для елочки тебе или хороших цветов. Она тогда, когда я истекала кровью, звонила

---

* Я не красива, но привожу ее слова как иллюстрацию к красивым серьгам и тому.., что могут безделушки сделать!

маме и сказала, что ничего взять не может, но мы надеялись, что марки то хоть взяла. Когда мама, наконец, смогла от меня урваться в Гаагу за посылкой, то спросили и о деньгах. Не для того, что мне их надо, но чтобы знать, получишь ли ты елочку. Чтобы не терять времени, я 5-го же декабря писала Елизавете Семеновне, умоляя ее купить тебе от меня и то, и другое, а если мол, деньги не взяла А[нна] С[еменовна], то поскорее ответьте, чтобы я успела И. С. Ш. еще через магазин хоть послать. В магазине «Roussel» сказали, что о деньгах ничего им не известно, и я была счастлива, что, значит, взяла, мол!

От Елизаветы Семеновны никакого сообщения... Как вдруг дней через 10 письмо заказное от Руссель, а в нем 20 марок с сообщением, что M-me B[oudo] их не взяла. Я, конечно подумала, что, получив мое письмо, Е[лизавета] С[еменовна] спросила сестру, а та распорядилась мне вернуть деньги. Я горько была обижена... обеими. Ты поймешь?! Послала тотчас же тебе цветы через магазин, но там ни за что не ручались. Но вот вчера... пришел ко мне праздник: письмо (написанное 14-го XII!) от Елизаветы Семеновны[172a] чудеса! — Пишет мило, что с удовольствием устроит все, как я прошу, и что, хотя сестра и не взяла денег, «но это не важно и не спешно с отдачей» и т.д... Я ей несказанно благодарна... М. б. у тебя благодаря этому будет праздник! М. б. и меня вспомнишь с улыбкой, т.к. это мое вечное желание — елочка тебе. Как бы я ее украсила! Она обещала фрукты м. б. достать, т.к. я просила «что-нибудь и под елочку положить, что достать можно». Я ей тотчас же напишу, от всего сердца. Искала уже вчера и ищу, и буду искать оказии отдать ей «забытое» ее сестрой. Был ли ты в церкви? Здоров ли? У тебя все нервы, Вань! Утиши себя! Ох, меня вчера Марианна[173] паприкой угощала. И такая досада, — полила этим соусом из пущей гостеприимности сугубо всю картошку и прочее. Ну, ковыряла вилкой: не могу обидеть, не могу и себе вредить. Кажется, прошло. Я никогда острого не ем и ни капли вина! Я знаю... Я очень берегусь. О. Дионисий[i] был очень ласков, нежен, — церковь была с начала обедни пуста, тихо, мерцали свечи сквозь елки, лампадки, и я рада была, что никто не видел моих заплаканных глаз. Плакала легко и благостно... И пришел мир! Я думала о тебе... Но звезд не было.

[На полях:] Где-то столкнулись 2 поезда. В пути разговорилась с какой-то девушкой, и та меня на трамвай в тем-

---

[i] В оригинале: Dionisy.

ноте отвела, с чисто юной восторженностью. Обожает музыку, Чайковского и вообще наших композиторов и ласку перенесла, видимо, и на меня.

Обнимаю тебя радостно и нежно, ласково, тепло, от всей души! Ответь мне! Не оставляй мое движение сердца без ответа!

Оля

Посылаю цветок твоей азалии. Она очень хороша!

28

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

Второй день Рождества Христова,
8 января 1943 1 ч. дня

Олюночка моя, свет жизни, цветенье моей души, благословляю тебя, радость моя! Такого с в е т л о г о, умиротворяющего, возносящего Праздника Рождества я не переживал, таким Праздником мира и благоволения, — несмотря ни на какие бури вселенские, — не жил годы, годы... — как это Рождество! И это ты, моя чудесная, даровала мне! О, какая ты удивительная!!! — какая несказанная... моя Олюнка. Как осветила, согрела, приласкала, утишила, утешила, зачаровала нежно. Ну, слушай, моя девочка, свет мой негасимый, целящий душу и все во мне. — Олёль моя... ведь, правда это, чу-до со мной сотворилось. Вот уже 4-й день — я здоров, я не верю, но это так. С первого дня Нового года, когда приехал инженер Пастак, товарищ по оружию в белой борьбе моего Сержика, и сказал: «вот привез... — хмуро так! — пустяков вам... морковь... сейчас натру, жмите и пейте... у Вас нехватка всех витаминов, Вы все едите вареным, так нельзя... и позвоню двоюродной сестре[174], она, кажется — ! — хороший врач...» На следующий день утром она является... — и — «у Вас нет никакой язвы! бы-ла... да... но больны Вы гастритом, оголоданием, нервное предельное истощение... я вас вылечу в месяц! Вы — здоровы». И... — с 5-го кончилось все. Ни ощущений болей, ни отрыжки, ни тошноты... Мне сделали три вливания под кожу «серум глюкозе», она — радостно! — схватилась за твой «Бисма-Рекс» (если найдешь еще — удержи для меня!), режим пока, недели две — без мяса, — но больше свежего творога! — да, найди-ка! — молока, масла, сливок, — словом, у меня большой аппетит, я ем сытно, — яйца, и слышу, как силы вливаются. Велела «Гемостил» или — «Селюкрин», больше, и я бешено хочу пи-

сать! Я уже много написал. Олюночка, Бог дал мне отсрочку, я напишу «Пути», з н а ю!!! И все. Боже мой, какой чудный был вчерашний день! Рождество. Отправив тебе 6-го письмо, — говорил, что принесли чудный девственный белый твой цветок — любовь, я зашел к Елизавете Семеновне. Она — «Вот Ваша елка, от О. А.! Сюрприз». Я не поверил глазам, словам... Елка..! И — какая!!! Елизавета Семеновна нарочно ездила в «Лувр», чтобы найти, выбрать... и как же художественно убрала! Я такой — высокого искусства — елки не видел... такой ч и с т ы й серебристый нежный тон, во всем... тихий блеск, девственность, нити, звезды, самые конфеты в таких тонах... — она п е л а, твоя Елочка! — пела молитву! — Елизавета Семеновна хотела сама с сыном нести ее ко мне... Пого-да..! — темень, ливень, болото — улицы... — я не позволил. И мы с юношей пришли ко мне, нес он. Поставили на стол, — у меня было все убрано, стояла кутья, взвар... — а сколько лет не было этого! — но в этом году я п о ч е м у-то — ? — захотел!! Цветы, — твои — вне сравнений, это ты сама, твоя душа впорхнула ко мне белыми крупными мотыльками в европейской зиме — грязи! — и принесла сердцу покой и свет. Я взмолился к тебе... я молился за тебя, я молил исцеления тебе, детка! — и, умиротворенный, зная, что теперь я буду вполне здоров, в полноте сил, пошел ко всенощной, в ливень, во тьме. Чудесно. Я слышал Рождество, «Слава в вышних Богу...»[175] — я молился за тебя. Олюнка моя... ка-ак молился!!! Вернулся, со свечками. Но на елочке были свечки, в с е было в ней, на ней, — и — главное — т ы была в этой елке, ты была в с я у меня. Такой тихий светлый восторг пел нежно в сердце! И я решил тут же... — завтра я сзываю друзей, и будет полная елка, и я скажу краткое слово о мире в моей душе, и я прочту им новый рассказ — «Рождество в Москве», (рассказ делового человека). Разослал экстренно приглашения. Моя старушка не приходила два дня, но я сам все сделал, сварил себе (по режиму)... был сыт, согрет, — это все ты, ты, мой Ангел! Такого Рождественского вечера давно не помню. Были Юля — а-катр[i], Елизавета Семеновна — ан-труа[ii], инженер Пастак (брат его на юге, у дяди удар!) — докторша не могла, хоть и рвалась, очень важное у нее было прощание с друзьями! Меркуловы — а дэ[iii]... — других не мог за крат-

---

[i] Вчетвером (*от фр. a quatre*).
[ii] Втроем (*от фр. en trios*).
[iii] Вдвоем (*от фр. a deux*).

кое время вызвать, человек 5—6 не явились, м. б. были уже отозваны? — человек десять. Серова почему-то не было. Я просил пропеть тропарь Рождественский. Пели все. Зажег лампадку. Угощала Юля чаем, конфетами, кутьей, взваром, лепешками, зажгли елку после молитвы. И я сказал, кратко, — почему Елка и от кого. Я знал, что сказать, и если бы ты слышала — поцеловала бы меня. Потом я прочитал несколько стихов Ивана Ивановича мужа Юли, — все были поражены, ка-кой это Поэт! Я сумел его подать. И я напишу статью в парижскую газету о его поэзии. Это — но-вое! Вклад!! «Певец стихий и ледяной пустыни»[176]. Потом... — я прочел свой рассказ[177]. Ну, я с тобой всегда откровенен... — слушатели были взяты... Я сам был ошеломлен, как я мог дать так..? Вдумываясь, понял: чутьем, настроением душевным я выразил, кажется, гибель жизни, после ее плавного течения в дореволюционный период, — она «сломалась», «рухнула»... — это в самом конце рассказа передалось резким снижением тона, как бы — срывом в провал... — ну, представь — даровитый солист дает на скрипке что-то такое... чудесно уносящее, баюкающее, — «полноту жизни» закономерной и страшно яркой, и сильной, и вдруг — ло-пнула струна! Мое «сниженье тона» тупые критики-читатели могут принять за технически-психологически-ошибочный «срыв»... — не поняв! «Рассказ-то не вы-держан!..» Вот... — и этот диссонанс — все! Читатель этого никак не ожидает. Как мы — от революции... — и вдруг, по голове, по душе, — до оглушения, до удушения. «С нами Бог...»[178] — чудесное в Рождество. Теперь — нет, Бог не с нами. С нами — тьма, дьявол. Он испепелил знамение Рождества в Москве — Храм Спасителя[179]. Тогда, до... — звезды пели. Теперь... они поют... пустому месту, а душа наша — в страдании и тьме. У нас нет Рождества. Но — придет срок... Я не предаюсь и не предаю читателя отчаянию... Чтение произвело на всех потрясающее впечатление. В одиннадцать разошлись. А я остался с Господом, с твоей исцеляющей Елочкой — с тобой, Олёчек! Так мне уютно... так легко. Весь день — и особенно вечер я так ярко чувствовал тебя! Как благодарю безмолвно, целую твои глаза, ручки, склоняюсь к твоим ножкам, моя деточка. Ты меня озарила, сделала радостным — легким... — так мне тихо, хорошо... — не могу определить — как мне... Ты будешь здорова. Я скажу Кларе Абрамовне о твоей болезни. Если бы ты могла с ней видеться. Напиши ей... — а? — пока? Ее адрес — 17, rue Saint-Saens, Paris, 15-e Docteur Claire Krymm. Я совсем здо-

ров! Вот — 4-й день. Мне сделали три подкожных вливания «серум глюкозе», по 250 куб. см — для питания. И я... стал быстро — за 3 дня! — набирать вес! Вижу, как толще стали ноги... — чудеса!

Олёлька моя, я так хочу увидеть тебя! Я приеду, если ты не сможешь. Мне надо подписать с инженером запродажу литературных прав — части их! — буду хлопотать, хочу тебя видеть, и мы все скажем друг другу и — главное! — о «Путях Небесных» — роман я на-пи-шу! Как пахнет елкой, — тобой, — о, святая душа! Да... этот «жасмин» Пиверовский, неужели пахнет — жасмином?! Ждет тебя «Душистый горошек» — это — ты, мой душистый горошек! Пакетик золотистой карамели на меду, книга, «я»... и еще достал для тебя пакетики настоящих, из Виши — Государственных минеральных вод — «пастилль-Виши» — с вкусом ситрон[1], мяты и — хочешь, если любишь, — я — нет! — аниса?! При случае ты получишь. Я с удовольствием сосу одну—две, на ночь. Видишь, ты напрасно пеняла на Елизавету Семеновну. Сестра ее — та вся — «для себя», но все-таки она тебе кое-что доставила, при всей своей ленивой толщенности! (Она — 120 пудов весом!) — и мне, — лекарство, очень важное — «Бисма-Рекс»! А Елизавета Семеновна (в 1/2 фунта весу!) — в такую погоду, грязь, ливни, — моталась по Парижу, с Рустемом своим — сын, 19 лет! — очень милый, огромные глаза, е е... — Рустиком (как его зовут в семье, и я) И — все приложила, чтобы угодить мне — тебе, чтобы исполнить т в о е горячее желание. Ты понимаешь, к а к э т о — н е д л я ж е н щ и н ы... а она все сделала. Олюша, конечно, она лишь самые чистые чувства, — приязни, дружбы — ко мне, м. б. несет в себе, — и только. Вчера она меня угостила булочкой, испеченной ее веской сестрой — та — объедала. Это — волшебство. Воздушная, чуть в ней масла, легкость, аромат... — самая лучшая «венская» булочка-румянка! Если бы моя старушка научилась! Но нужна высокая мука... и духовка... а у моей маленькой газовой печурки... нет. Я заказал в комиссионный магазин... оставить за мной, если будет. В Газовом обществе нет ничего теперь. А я так люблю булочки... ведь, я хочу отдать мясную карточку, взять на молоко, дополнительную — тогда мне дадут лишних в месяц 6 кило картофеля, 750 г сахара, столько же макарон и проч. мучного, и четверть литра молока в день. А возьмут — 600—700 г мяса за месяц и 120 г — сыру, который я не ем, — я

---

[1] Лимон (*от фр. citron*).

держу режим: я ем только свежий творог, свежий сырок пти-сюис, — сливки. Тогда я могу из добавочного молока сделать в месяц 5—6 фунтов свежего творога! Прости за это «пищевое»... но — для меня теперь в с е от этого зависит, — вся моя литературная работа, мой покой, моя радость тобою. Да, не так ничтожно и «низко», как болтали лицемеры — интеллигенты, — пища, «разговоры о пирогах». Я хочу об этом писать, и дам такие «блины»... такой «гимн»..! Увидишь. Ну, не насмотрюсь на тебя-елочку! Дышу ею, счастлив, как не помню — когда. И это ты сделала так со мною! А я — что я тебе *послал*?! Я уже обеспокоил Александру Александровну, прося выбрать цветы... боюсь, что не смог дать тебе радости Рождества. Но что-то мне говорит, что мое сердце тебе передалось, и бьется для тебя, в тебе! Чувствую, как ты слышишь меня... — ты покойна? Скажи, здоровье твое как? не утаивай, все скажи мне, я так тобой болел... — тебе странно, как я мог не писать тебе... но меня ударил ужас — тебя уже нет! Это обман, конечно... но я так поддался... «писать в пустоту... земную!»... И я написал маме. Предел отчаяния, итог моей разбитости от моей болезни. Теперь я у себя в руках. Я всякий суровый приказ врача выполню, лишь бы жить и писать. И тобой жить, тебя ждать. Не узнав тебя, не поглядев так глубоко и полно в твои глаза, я н е м о г у у й т и!
Твой Ваня

Я подарил Елизавете Семеновне в Рождество — белые цветы, — сирень от меня ей на память за тебя — срезанные ветки, нарциссы и «вербы» — и это было ей доставлено в красивой — очень хорошей работы стеклянной вазе, в матовом рисунке и маленькой золотой арабеске. Она за хлопоты получила достойную награду. Очень ей приятно. Целую.
Ваня

[На полях:] Олёк — ты для меня — в с ё! Ты послана мне Промыслом.

Дочего белоснежны твои рождественские «мотыльки» — цикламен, и как крупны! я их каждый вечер опрыскиваю и уношу в ванную комнату, — у меня хорошо топят, сухо.

Олюлька, в Рождество я надел твою синюю «крутую» фуфайку! Я был счастлив. Я не трону елочку до... до последней упавшей иголочки! Она — святая для меня!

Окончил «Именины»[1] — буду писать! Бешено хочу писать! Я — будто мне 30 лет! Сегодня выйдут «Именины» — вторая часть.

---

[1] В оригинале: оконч. «Именин».

9.I.43 3-ий день Рождества. Я встал в 7 утра и пел, пел, пел... под Елочкой! Я — п о ю. И сейчас сяду переписывать для тебя «Михайлов день» — все оставлю.

Олюленька, ты своим сердцем все Рождество мне вернула, озарила!

Оль, сейчас 8 1/2 ч. утра (9-го января), я съел 1/2 большой тарелки молочной овсянки с маслом, 1 яйцо всмятку, 1 — крутое, 3 сухаря, 2 чашки кофе со сливками и сливочным маслом, желе яблочное — и уже думаю о завтраке!

29

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

17.I.43 г.

Ванюша миленький, вчера твоя открытка от 11-го[180]. Ну, брось об «укоризнах». Я не хочу вспоминать о том провале, о том ужасном молчании твоем. Все хорошо теперь, все, дивно!!!! Это мне дорого стоило. Если бы ты тогда мою душу мог видеть!! Я поборола все свои решения одной только любовью к тебе, желанием беречь тебя, страхом напортить тебе в нездоровье. Но, довольно, довольно... Прошу тебя, однако, если можно, — не надо таких повторений. Это все от темного. Ванюша, как удивительно: в 1-ый или во 2-ой день Р. Х. я тебе писала, или в прошлое воскресенье (?), что мне легко, особенно тихо, гармонично на душе. И спрашивала себя, не оттого ли, что ты снова ко мне светел?! Помнишь? И верно ведь! Как это дивно! Ничто не радует меня так сильно, как то, что ты был в свете Рождества, здоров что, что хочешь работать. Как это дивно! И ты был радостным у всенощной... и гости были... И так это славно, мило, так тепло. Я очень, очень рада! И я тебе писала, что и мне казалось, будто у меня гости, а никого не было... А это я у тебя была! Конечно! У н а с с тобой были гости! Как это прекрасно, Вань! Досадно, что Анна Васильевна больна, что с ней? Опять ты замотаешься?! Береги себя, не воображай, что ты деревья можешь корчить![i] Будь осторожен с приходящим выздоровлением! Хорошо? Ваня, ну, а теперь расскажи о гостях. Все, все. Мне так хочется знать, будто и я была... И что ты про меня сказал? Расскажи же! Елизавете Семеновне я писала, но сегодня же еще напишу, ибо это я ей обязана, и только ей, тем, что ты был так радостен. И, Ванёчек, не хвали елочку, как нечто моего

---

[i] Так в оригинале.

вкуса, т.к. всю ее красоту создала ведь не я. Это она — твоя Елизавета Семеновна. Но я радуюсь, потому что через это ты был светел. Я хотела только, это мысль моя, но и труды, и вкус — это она. Так что не приписывай мне больше того, что я заслужила, т.е. — ничего не заслужила! Только обременила Елизавету Семеновну просьбой. Нет, твой цветок чудесный, — конечно, принес мне Праздник! Да если бы даже пучок крапивы был от тебя, я бы и то была счастлива! Между прочим, мне подарили на это Рождество в числе прочих вещей, — картинку-акварель: репей, цветы репея, только знаешь, такого колючего, — дивно![i] Извинялись, что такие цветы, но я в таком восторге. И у художницы, и у дарящей (не Фася!) — масса вкуса. Висит в моей комнате. Что может талант извлечь и из колючки! Но удивительней всего то, что однажды я, идя с почты (отправила тебе), мокрым таким сумеречным вечером, вся в думах о тебе, о солнце, вдруг увидала на дороге куст этих колючек. Не было уже ни одного цветка, ни одной зеленой травки (в прошлую зиму) и только этот куст стоял не померзшим. То был день не холодный, мокрый, весь в тумане. Туман пронизывал все, и с тополей над каналом капал в воду тяжелыми слезами. Ни души по дороге. Ни звука, только это шлепанье капель и мои шаги по асфальту. Встреча с кустом репейника... была именно встречей. И я нагнулась и сорвала его цветки. Они были мокры и свежи, эти ярко-лиловые нежные кисточки в сухой коричневой чашечке. Они дивно пахли медом и были очень красивы, оторванные от колючего, невидного такого куста. У меня тогда роились мысли... что-то будто напрашивалось (написать...), какие-то сравнения... Но так и осталось в тумане... Но я принесла их домой, более бережно, нежели несла бы розы летом... И вот, как ответ, эта картина... Кто-то еще, м. б. точно то же почувствовал, как и я и... воплотил. Так просто, так очаровательно... Ах, если бы я могла! У меня много мыслей. Мне тебя так недостает. Но я знаю, что ты очень занят. Я не могу тебя отвлекать. И лишь иногда, т.е. почти всегда, кажется, что я никогда, ничего не сделаю... Ты понимаешь, вся эта суетня меня съедает. Я хочу вставать рано, чтобы утром хоть работать. Я должна работать так, чтобы никто об этом не знал. Мне мешает иначе сознание, что они знают. Это м. б. глупо, но это так. Я должна быть совсем одна. М. б. взять мне «отпуск». Но мама измучается. А на прислугу нельзя оставить. Все теперь так

---

[i] В письме рисунок О. А. Бредиус-Субботиной.

сложно. Скоро опять молотьба: горох и овес, остатки, то, что на семена. Из всего Shalkwijk'а только у Арнольда комиссия признала их годными для семян, отвечающими всем требованиям государственной комиссии. Опять эта возня. Я не могу рано вставать: плохо сплю, часам к 3 ночи лишь засыпаю, тревожно и очень чутко. Утром разбита. Сердце меня беспокоит — опять нет воздуха... М. б. малокровие. Все делаю через силу, и нет желания куда-нибудь пойти или что-нибудь предпринять. Сережа зовет к себе, а мне прямо страшно подумать о поездке... Старею? Чудесный твой «Михайлов день»! Все у меня от него в восторге. Несколько раз прочла и маме и С. Ах, все хочу тебя спросить: где же муж твоей племянницы — поэт? Я думала, что отец Ивика — француз? Иначе, почему он Ives? Или она 2 раза замужем? Как жаль, что я не могу получить парижскую газету, — там столько твоего! Ах, если бы не было войны! Ванёчек, я не смогу приехать к тебе: не дают виз, ни по каким причинам, личного свойства. Я отклонила возможность, тогда, через друга, а теперь никак нельзя. Не верю, чтобы и ты смог. Очень все трудно, да и беспокойно. Ну, надо терпеть! М. б. недолго будет так. М. б. и сможем еще повидаться. Я, для себя знаю, что, если бы я на что-нибудь была в искусстве способна, то от этой встречи *все* зависит. Я должна тебя увидеть. У меня так много вопросов, полу-вопросов, оттенков, о которых невозможно спрашивать письмами. Ты одним словом зажег бы во мне то, что сейчас тянет, не давая ни света, ни тепла... —

Ах, проглотила «Madame Bovary»[181]... Ужасно быстро прочла, хоть и на голландском... Но не жила. А «Войну и мир» оставила, не могла, вся душа изорвалась, я плакала вроде того, как над «Путями». Какая прелесть, как из сердца, как в каждом сердце должно быть есть, бывает такое... Ах, вот так же, как у тебя у Тоника... Я теперь ни одну твою вещь не могу читать, вот так же: оставляю, оттого что рвется душа. Я должна почти стонать от переполнения чувствами. Оттого, что я живу, живу всем этим, и все же... не могу жить, т.к. я — другое, в другом мире... И это мучительно... Не эти ли чувства будут владеть нашими душами и после смерти, когда вечный Свет будет манить нас, будет отвечать чему-то в нас, и все же, мы грешные не сможем вполне слиться в этом блаженстве со Светом, ибо мы темные. И м. б. оттого и есть так, что кому много дано, с того больше и спросится? Надо понимать, что чем больше у человека искры Божьей, тем сильней его тяга к Свету, и тем ужаснее разъединение с Ним из-за внешних пут, страс-

тей ли, или чего другого, что мешает соединиться. Это думы мои вот в эту минуту, м. б. глупые, — они не продуманы, еще совсем «сырые». Прости, тогда, глупость! — Когда я читаю твое, то захлебываюсь в слезах. Ничего точно не пойму. Но это дивно. И еще — я обожаю Родину. И все, что о ней, о Ней — так берет душу. — Мне не понравилась героиня Флобера. Написано прекрасно, мне очень нравится его стиль, хоть, опять-таки — это не оригинал еще. Но она... Нет, непонятна. Т.е. Флобер делает ее нам понятной, «события» развиваются очень последовательно, и психологически она очень выдержана. Но мне непонятно вообще: откуда такой тип женщины? Могут ли и у нас быть такие? Понимаешь, без любви даже к ребенку... Без единого укора совести... И ради чего? Нет, не ради любви, но ради колоссального эгоизма. В конце концов, это только эгоизм. Что должны были иметь в себе ее любовники? Ничего, кроме отвечающей ее вкусу внешности и уменья давать ей наслаждения. Я поняла бы все: и преступления даже, во имя любви, настоящей любви. А тут? Рудольф ли, Леон ли — все равно... Это чередование тоже очень характерно... Впервые в жизни — не почувствовала ни малейшей жалости к ней, уже загнанной жизнью. Читала и думала: «так тебе и надо»! Права я или нет? Ответь! Если бы она хоть кого-нибудь любила! Ведь это не любовь, когда она подыскивает обстановку для того, чтобы быть «счастливой», и даже ее любовник отвечает: «Но зачем же нам роскошь Парижа, — разве мы и здесь несчастливы?» Эта алчность к наслаждению, без всякого внутреннего содержания. У нее нет ничего, что освещает и освящает женщину в любви. И этот несчастный ребенок! Но я все же остаюсь под впечатлением книги. Хочу очень освежить французский и хочу много читать. Напиши же мне отзыв твой о Жорж-Санд! Ах, кончать надо, а еще так много надо сказать! Вань, мне не для желудка надо Виши. Или у тебя тоже почки? Почему ты их тоже принимаешь. Или это другое? Я пью Ersatz[i]— Vichy.

[На полях:] Думаю о Дариньке, о всем, что пережила она в эти дни.

Обнимаю тебя, солнышко родное. Оля

---

[i] Заменитель, суррогат (*нем.*).

5 — 11249

30

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

28.I.43 10-30 утра

Ольгуночка, ми-лая, что я сделал..! Я закончил «Именины»! Если бы прочитал тебе... — а тебе так, как ни-кому другому! — ты меня о-чень поцеловала бы!.. Ладно. Подождем. Сегодня хочу написать статью о стихах нового поэта — Ив. Новгород-Северского. А там — «Масленица в Москве»[182]. Юля была замужем за подлецом-французом mr. Gentilhomme (!?), скряга, весь мир — для него только. Долго рассказывать. Получилось путного — Yves, от матери это, а от отца что было — тетя Оля выкурила. 2-й брак (сперва, до совершившегося по закону (о, французские законы) развода) с этим Новгород-Северским, это фамилия литературная![183] Мы с Олей были против. Я и не подозревал, что этот (запои и полусумасшествие: 3 раза в сумасшедшем доме!) это талант! Долго рассказывать: случайность открыла мне глаза, (я пересилил себя и раскрыл его тонкую «книжонку»...) и — нашел! — Брось укоры. Знай, что я — Ваня, твой. Не пишу — весь в работе, вот. Но сегодня, отрываясь от запала, пишу, хочу с тобой. О елке, гостях — все написал. О тебе сказал... — самое чуткое сердце, которое отозвалось мне в горькую и жуткую минуту тоски смертной. Дар Божий. Та-лант. И вот эти цветы, эта елка. Мои мысли — устремлены к ней, я чувствую, что и ее ко мне — и сердца. Все. Словом, я был счастлив и светел. Да, ты была со мной. От того и читал я так, — тебе читал! (Я напишу «Пути» — знаю!! Во имя твое. Теперь. То — во имя Её!)

О репейнике-татарнике! — все понимаю. Возьми «Хаджи-Мурат» Толстого[184] — с него и начинается: эта «встреча» Т[олстого] с татарником на прогулке подарила нам чудо — «Хаджи-Мурата»! Вот — и тебе. Разберись в сем. И — пиши. Ты — дурёха! Ты — готовая, все можешь. Так дивно дала «встречу» с этим шершавцем и — все, туман, шорох капель, — за-ме-чательно. А потому, что не думала, как писать. Брось, забудь думать, «как выйдет», не смей «оглядываться» — в соляной столб обратишься[185]. Это — закон. Понимаю, — трудно, это легко дается годами труда. Я тебе много рассказал бы — про свое. Забудь о форме! — Но, после, когда написано, вот... тут другая забота. А сначала — одно удовольствие — лететь душой, жить с тем, о чем пишешь. Форма — ва-жно! Но — после. Надо говорить об этом. Нигде не найдешь — в тео-

рии словесности... — это дает личный опыт. Твой Ванька у себя учился. Для работы надо быть свободным, до-суг! Твоя бессонница меня тревожит — нервы надо приводить в порядок. У меня со сном неважно, но это потому, что — горю. — «Именины» — очень большой рассказ. Около 1600 строк. —

Поездка твоя в Париж, для совета со специалистами может быть разрешена, хлопотами того вашего друга семьи и на расстоянии! Добейся. На будущее рассчитывать, — а кто что знает?! Это меня ныне заботит, о-чень. О Бовари — долго надо. Ну да, страстная, жадная... — сказалось и чтение... Жорж Санд! Об этой... ну, на 3 с плюсом. Лучшее — ее деревенские романы[186]. Об их диком романе с А. Мюссе — у ней в «Elle et lui»[187]. У Мюссе — в «La Confession on d'un enfant du siècle»[188]. Оба врали по-своему. Вся в страстности, Жорж Санд (это псевдоним) разнуздала все «женское» в себе и отсюда ее гимн свободной любви, что ж... по крайней мере искренно. Но влияние ее было преходящим, хотя и очень губительным. Прочти «Историю моей жизни»[189]. Романы о «любви» (вернее — о страсти) — «Индиана», «Валентина», «Жак»[190]... Интересны мне были ее письма к А. Мюссе. Она меняла «со-ложников», очень часто. У талантливых брала и сюжеты, и — [выражения]. Часто жила отраженным светом. Она далеко не мастер. Не умела (не могла!) очищать вещи свои от мусора. Я бы послал тебе «Histoire illustré de la litterature France» (E. Abry — C. Audig) edition Henri Didier, Paris, 4-b rue de la Sorbonne. 275-e mille!! 386 illustrations[i], — но нельзя теперь не пропускают. И книга веская. Постарайся найти в Голландии. Или выпиши через Берлин. Тебе будет полезна очень. Это пособие для старшего класса лицея. Очень сжато и — исчерпывающе. Кажется без тенденций. Зато все возьмешь и обновишь французский язык. Чи-тай, без словаря даже — вчитаешься! Через месяц все вберешь. Закажи достать книжному комиссионному торговцу. Я недавно видел эту книгу, перелистал — главным образом интересовался иллюстрациями. В общем, это шари-вари[ii]... всякого жита по лопате. Я люблю монографическое изложение, углубленное изучение автора. Бовари по природе своей — гетера (грошовая), такие всегда являются жертвами общественного «темперамента». Конечно, что такой мог предло-

---

[i] «Иллюстрированная история французской литературы» (Е. Абру — С. Аудиг), издательство Анри Дидье, Париж, ул. Сорбонны 4-б. 275 тысяч!! 386 иллюстраций (*фр.*).

[ii] Кавардак (*от фр. charivari*).

жить — аптечный пузырек, клистирная трубка?! Ну, и больная фантазия, и — индульгенция от Ж. Санд, пожалуй. Все.

Лепешечки Vichy сосу — не лечусь, а — приятно, чистый сахар и вкус или мятный, или — лимонный. Они еще и улучшают пищеварение. Я почти *здоров*, почти — говорю потому, что порой чувствую в желудке тяжесть, порой — легкие отрыжки, но они уже — без тяжелого отвратительного запаха-вкуса. Язвы *н е т*. Докторша чудесна. Привезла мне бисквитный пирог — легкости небывалой. Творожок обеспечен... был у меня русский фермер-миллионер, читатель, привез... чудо! Ем с вареньем густым, как творожные сливки, — лечусь!! Зовет к себе — как потеплее будет — «выкупаю Вас в сливках, в сметане». Оль, «Именины»... — ах, как удались! — з н а ю. Послезавтра появятся. Все ждут, только и слышу, — как чудесно! Но что же скажут про последнюю часть?! Оля, целуй Ваньку! Стоит!! ей-ей стою твоего поцелуя, это же мой лавровый венок! — ты, моя красавица, моя жен-на, м о — ж — н к а[i]. Оля, я так жду тебя! Напиши о здоровье! было обычное, нет?? ... Правда?.. Все. —

Сейчас посажу 4 гиацинта, твои. Они дали ростки — сильные. Не знаю, как надо с ними. Напиши. Глубоко садить или чтобы 1/3 луковицы наружу? Кажется — так. Твои белые мотыльки — поцелуи мои, твои. Мой вес, должно быть за 50 кило. А было 43! — 4 мес. тому. Я — жру! Иначе нельзя выразить. И такой аппетит! Все есть. Ем мясо, черный хлеб. Желудок работает как часовой механизм (вот уже 2-ю неделю). Приняла ли перед Рождеством antigrippal? Непременно! Я сегодня делал 2-ой прием. У Вас февраль — губителен. И — все. Почки... вся работа на них, кожа не испаряет в голландской тине — сырости! Нельзя тебе так жить. Пойми! Тебе бы — со мной — в горы, месяца на 2—3. Ах, если бы в Швейцарию! Хлопочу о визе. На — ура! М. б. ты..? О, если бы. Мы исходили бы, с палками, — всю! И — учились бы друг у друга искусству и проч. Оль, су-нитрат висмута меня отравил. Сохрани мне Bisma-Rex, этот можно. Целую, прижимаю, сжима-ю!..

Твой Тонька — Ваня

[На полях:] Пиши безоглядно, будто себе самой. Стареешь? ох ты — дурочка! Я бы омолодил тебя — одним словом!

Оля, пиши мне нежно. Я хочу... твоего сердечка и... в с е г о твоего, и души... и... глаз! — умница!!

---

[i] Так в оригинале.

Закажу найти «Иллюстрированную историю французской литературы» (Abri) — для тебя. Да в ней, должно быть больше 2 кило!

У меня топят. Т +18—19. Солнце. На воле + 10—12. Не ючусь в ателье, а гуляю. Прыгаю! Пою. Говорят — глаза яркие. Оля, мне сделали чудесное фото с фотографии 26 года. Очевидно — самая удачная. Но как дать тебе. Она была приложена к французскому изданию моего «Человека из ресторана»[190a].

31

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

26.II.43

Милый Ванечка! Спешу сказать тебе, что чудесно, удивительно ты создал «Именины»[191] (наконец-то я их получила!). Так трудно было удержать себя от чтения конца и начала... но выдержала все-таки. Как тонко, как дивно тонко даешь ты почувствовать всю атмосферу, дух, насыщенное богатство... всего! Как ясно вижу преосвященного, откинувшегося в глубь коляски, утомленно заведшего глаза... Читатель не может не плакать от этого «писка» Василия Васильевича...[192] И как неподражаем твой конец: видишь и образ с догорающей лампадой, и отца твоего, уставшего от всего дня, полного живыми впечатлениями от славословия ему его народом, грустного чуть-чуть тихой грустью, кто знает, м. б. ему и больно где-то в сердце от слов «живоглотов»[193] и непонятно и горько...

Все чудесно, и не могу я всего коснуться. Не может профан хвалить мастера... Но и молчать не могу, не разбор твоему делаю, а только чуточку завесу души приподнимаю.

Ванюшечка, я тебе хотела бы тоже один «сюрприз» послать, маленький этюдик, но думаю, что не выйдет. Ванечка, я опять ведь в горе: опять, кажется, была кровь! —

Все это время была давящая тоска, так что я маме даже сказала, что: «или перед болезнью, или что случится». Была очень мутная жидкость — судя по осадку — коричневатая кровь. Послали исследовать. Жду ответа. Дрожу, боюсь. И... уверена, что кровь. Что же? Ничто не помогает! И какое безынтересное отношение к пациентам — даже не потрудятся поискать дальше, углубиться в этот «загадочный случай». Я не знаю, что мне еще делать! Я в отчаянии! Ну, хоть бы знать, что такое! Это же невозможно часто. Я и так стала страшно малокровна, хотя и прибавила в весе от

ничего неделания (физического), от вечного «упитывания» почки. А завтра собирались к Сереже, — ждал нас с января к себе в гости. Все, все пропадает, что ни наметишь! Тогда хоть 2 года перерыв был, а теперь что!? Пью регулярно Виши-соль. Ну, что еще надо? **Ничего** пряного в рот не беру. Сплю на спине. Живу как в вате! Тоска была ужасная все это время. Сколько раз писала тебе, и все это было так гнетуще, что не хотелось тебя омрачать, — не посылала. Ты не сердись и не надумывай обид. Ванюша, я очень подавлена. Болей не было ни вчера, ни сегодня. Не думаю, чтобы камни. Маму жалко. Утихла и бросила радостные сборы к сыну, а как она этой поездки ждала! Ах! Всегда так вот со мной: все всем порчу! Еще 2 часа до звонка доктору... Не знаю, что еще делать с собой. Ехать в Париж к докторше теперь и думать нечего. Все равно не разрешат. Друг наш даже и не советовал. Кстати: его адрес не надо давать. Неудобно. Да и пример с Fr. Zömmering очень красноречив. М. б. Фасин муж соберется, тогда попрошу его, если буду здорова, отвезти тебе чего-нибудь. Вчера я была в одном имении, где ковром цветут подснежники. Посылаю тебе цветочек. Целую тебя и благословляю. Помолись за меня. Оля

[*На полях*:] 27.II утро

Доктор вчера звонил поздно; — это кровь и довольно много. Говорил, что белок есть. *Только ли от крови* (*кровь* содержит много белка) или и помимо? Спала плохо. Чувствую себя плохо. Больше крови не было. Лежу смирно, затаившись мышкой. Но что же делать? Домашние все ходят понурые... И какой чудесный день! Целую тебя. Оля

32

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

10.III.43

Олёчек, миленькая моя бедняжка... перечитывал твое письмо (26—27.II), и как же мне больно, за тебя, тобой больно, страдалица неповинная! Докторша то же сказала, что и я: с больной почкой жить в сыром климате — это ядом себя травить. Возьми голландскую медицинскую статистику: уверен, что болезни почек и крови (сосудов) — ревматизмы, как и туберкулез — на 1-м месте. Это — заколдованный круг — в таких условиях леченье — безнадежно. Обрати внимание — самые сырые месяцы — ухудшение. С того и слабость, — не только тут малокровие, но

и ослабленность сердца. К искусственным [выпотам] — нельзя прибегать. М. б. и травы тут вредят. По-моему (прости неуча!), какой-то ничтожный дефект в почке, ослабленность какой-то точки тканей ее и сосудов не могут вернуться к здоровью, т.к. все время «в работе чрезвычайной». Мудрая природа дала живому существу исход — отдых: испарение порами. (При болях почки обыкновенно горячие ванны, но это в нормальных условиях, в клинической обстановке, а не на ферме, хоть и в благоустроенном доме: у вас же все пропитано влагой!) Возможно, что и не всю работу выполняют почки, — м. б. ничтожные следы мочевины — в крови... — отсюда и слабость, и подавленное состояние, и приступы внезапной лихорадки... Олюночка, умоляю: добейся, заставь своих родных и друзей добиться, чтобы тебя перевезли куда-нибудь в более сухой климат, м. б. в вашей гнилой Голландии есть и холмы, более сухой воздух?.. Или — в Швейцарию, Германию... Пусть я не смогу встретиться с тобой, — не для себя же я это, — только бы ты оправилась, стала прежней певуньей-птичкой! Пришли скорей историю болезни (anamnesis!), я покажу, попрошу докторшу посоветоваться со специалистами. Все она сделает, я упрошу ее. Она для меня — предел внимания! Молюсь, всем сердцем взываю — да исцелишься!

Третий день я без старухи. Отпустил. Зажилась и стала дерзкой. Я этого не терплю, чтобы мне садились на голову. Она повадилась, выбивая время, приходить все раньше. Недавно в нашем доме обокрали квартиру (уехали на несколько дней жильцы), отперли отмычкой, что ли... С того дня я стал накладывать цепочку. У А[нны] В[асильевны] был ключ, но при цепочке мне надо ей отворять. Раз сказал: позднее приходите: не мо-жет... надо работать. Она — жадная, работает с 8 утра до 11 ночи! У меня 6 дней в неделю с 8 до 3 до 4. Я ей платил много (болезнь заставила), не усчитывал, а дела-то у меня — мало для нее. Ну, сидит — ковыряется, штопает. Молчу. Она мне становилась в месяц до 1400 фр. — это по здешнему масштабу — огромная плата (за легкую работу: ни стирки (все отдаю), ни полов не натирает (я не позволял, не по ее годам, да и чисто у меня)). Ничтожную посуду помыть, что-то состряпать: я ведь живу спартанцем, разносолы редки, а то все — овсянка, картошка... [молочный кисель]... — сам все легко могу. И вот стала, как нарочно, являться раньше и раньше: в пятницу — в 7 3/4, субботу в 7-35, понедельник 7-25. Меня взорвало, что она неумолчно звонит: я не слыхал, крепко спал, после плохой ночи, — от длительного звона проснул-

ся, и у меня сразу — головная боль! Решил ждать, долго ли будет звонить. Наконец, оделся. — Говорю — то и то. «Ну да, вам спать, а мне надо работать». Терпение мое лопалось, но я сдержался. Слышу — ворчание: «могу и совсем не приходить». Ну, довольно... «Да, уходите и больше не приходите». Тем и кончилось. Будто черт ее накалил. Сказал ей на прощание: «ну, святой человек... хорошо Вы начали Великий Пост!» И, вообще, стала «выбивать часы», но я жалел и — наплевать. Но всему есть предел. Просил друзей — поискать новую слугу, русскую, пожилую, честную.

Переговоры о «Неупиваемой чаше» и «Путях Небесных» с фильмовским представителем. Предложил — на-смех!? — 125 тыс. фр.! — аванс в 50 тыс. Я посмеялся. Новые условия, обсудят, мои: непременное участие в определенном % в прибыли (валовых поступлений). Я делаю сценарий (во всяком случае я даю «диалог», за особое, конечно, вознаграждение). Постановка — под моим контролем, — аванс 20 тыс. марок. «Лучше, говорю, стряпайте веселый (и при этом содержательный) фильм "Трапезондский коньяк", будете огребать лопатами, з н а ю. Только и на эту роль "турчанки" — нужна бо-ольшущая актриса, хоть роль и без слов, почти: все — и г р а — мимика — лицом, глазами... — п л а с т и к а». Предприниматель предполагает из «Путей Небесных» создать «большой» фильм, как «Анна Каренина». Смех! Талантливый, говорят, с художественным даром. Словом — я не дамся. Не мне деньги нужны, а моему труду — оценка, а она чему-то должна послужить.

Рад, что «Именины» тебе нравятся, — ты их чувствуешь. А чувствуешь, что самая та жизнь — творчество? устремленность?.. искание «расцветки»?.. У отца был несомненный залог «художественности». А восторг народа перед «рыком»! А — восторг «кренделю» (до трезвона!) А «соловей-то»... ты его поняла?! Ну, конечно. Ведь он тоже — т в о р е ц и его песни — т в о р ч е с т в о. И вот, как это «творчество» действует даже на... «живоглотов» и закостеневших! Я испытал р а д о с т ь, когда писал «Именины», особенно 2-ую часть. Грусть-усталость отца, в углу под иконой... — его, м. б. и грусть-предчувствие..? Нет, конечно не «живоглота» слова... они потонули в «торжестве»... Это — усталость переполненной души... Но я не могу же об этом говорить, я лишь даю о б р а з ы. М. б. что все — от ребенка сказ, через его сердце-глазки гляжу и вижу... — Я никогда себя дешево не отдавал, свое-то... а теперь — и подавно. Если даст Господь дней, увижу родину, там создастся фильм... Надо воспитывать народ ч и с т ы м

и высоким экраном, без крови и бандитов, без пошлости-похабства. Будут силы, об этом я позабочусь.

Скоро, в 20-х числах марта приезжает племянник, наверное. Так пишет. Пишет: «дорогой дядя Ваня! Вы нужны России и мне...». Еще пишет. Я жду с нетерпением. Узнать о судьбе моих родных, обо всем. Его последнее письмо из Sudetenland'a[i]. Был в Германии у Земмеринг. Пролетело 12 часов незаметно в интересной беседе. Из его письма узнал, что и Милочка хотела в это же время быть в Париже. Это было бы хорошо: вот и побегали бы по Луврам, мне покойней. Пишет еще очень важное, — т.е. — я догадываюсь. Приедет — потолкуем, почему я ему нужен. Это время он очень много работал (и не писал мне больше 2 мес.!). Пишет — «Людмила Гербертовна (Милочка!) — прелестна, несмотря на ее радикализм и критику всех и вся». Какой там радикализм, она вся-то — правая, а это «юный задор», она горячка-спорщица. А со мной всегда — благонравна (была, в 36-м г.!). Но тогда ей было 18 лет. Теперь — юрист, готовится должно быть к трибуне говорителя. Ярая жидоедка, и, должно быть, дразнила Норю. Но он только «вежливо и изящно отсмеивался» (это от отца!), а от матери у него до-брая душа. Но склад ума — математик, логик (о-о-о!), волевой. С огромным жизненным опытом! (еще бы: 25 лет под пятой дьявола был, закалился). Всего хлебнул. И — сохранился. 49 лет. Самая пора — строить родину. Глубоко верит в это. Дай Бог. Приехав в Берлин, он позвонил к Земмеринг, а они приехали и увезли к себе. «Угостили по-русски». 12 часов! А Милочка еще хорохорится над ним, в письме ко мне! Наставляла его на путь истины, а ему — как стене горох. Он и юным то был — уппо-о-р! И от меня отшучивался, бывало, — как отец его. Но тогда это был «юный задор». Теперь — благоговение, судя по письмам. Посмотрим. Что-то из него выкраивается... дай Бог! Ученый, (артиллерийские науки, — баллистика и проч.) умный от природы, думаю — сильный. Повезу его в St-Geneviève — поклониться тете Оле, которая «была для него идеалом женщины». Он был «по-гимназически влюблен в нее». А кто не был в нее влюблен?! Благоговейно, чисто! Никто, никогда, не осмелился — знаю! — переступить, даже взглядом, эту неопределимую грань благостного созерцания. Это было, поистине, почитание, как — божества! О, как мало я уделял ей себя, весь в работе! И скольким пожертвовала она — для меня, для моего, во-имя моего ис-

---

[i] Судетская область (*нем.*).

кусства! — вообще, во-имя, м. б. даже и бессознательно порой. И я всегда говорю близким читателям — меня, мое любите, чтите... знайте же, что многим обязаны ей. Ах, Ольгуна, это нельзя учесть. И тут — я оказался таким эгоистом, таким безоглядно-жестким, и — бессознательно. Господи, прости... Ты все знаешь, Ты все зришь.

Ольгуна, милая, попроси г. Толена взять для тебя пакеты! Иначе — что же мне делать-то?! ...

Целую. Господь с тобой. Молю Бога — дай исцеления!

Поцелуй мамочку и братика. Я, невежа, [должно быть] и не поздравлял их с праздником Рождества Христова. Да простят мне: ведь я болел, был не в себе. Пока снова в форме, эти 2 дня чуть «понывало», м. б. газы. Сегодня ни-чего!

Твой Ваня

[На полях:] Прилагаю фото-паспортное, этот портрет дан во французском издании «Человека».

Цветут твои пасхальные гиацинты, слабенькие. Странная (именинная) бегония (декоративная), дает новые листья.

В пятницу надо быть у Великого Князя[194] — отдать «долг», он проявил ко мне особое внимание в болезни. Может быть прочту ему «Орла».

33

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

10/23.III.43

Дорогая детка, как вчера писал[195] — так и сделал: портрет акварельный[196] у меня. Я его достал путем византийской дипломатии, — иначе не отдал бы «любитель»: ему, хоть он и очень небогат, и тысяч не надо за него! — ибо — любитель и — благоговеет. Я сказал, что беру на время, снять копию, — есть знаменитый художник за границей. Есть, следовательно, доля истины. Ну, вот: пошлю, а ты — как хочешь: хочешь — оставь, я как-нибудь опять «свизантийствую»; хочешь — я был бы рад! — сработай с него по сердцу. Вот тебе и занятие-отвлечение. Ты же, по существу, почти здорова, ты будешь совсем здорова: превозмоги «страхи», цени каждый миг жизни! Я теряюсь перед таким беспричинным отчаянием. На 90% — здесь неврастения в остром виде. Надо скорей переменить обстановку. Если ты станешь умницей, я буду посылать тебе «Пути» по мере того, как примусь переписывать их (частями). И у тебя соберется полная «рукопись» II-й ч. романа. —

Но как же переслать портрет? Он застеклен, на обороте обрамления наклеена моя подпись-даренье нынешнему собственнику, и тот сказал, что художнику нет надобности разрушать застекленное — ?! Тогда, конечно, тот кто повезет тебе, может уложить его в чемоданчик с бельем. Размер обрамления: 25 на 34 сантиметра. Размер самого портрета — 24 на 30. Ты его отлично воспроизведешь, — м. б. даже внесешь с в о е. Дан он чуть акварелью, пастелью, тушью(?). Тонов — красной очень мало: синеватая — для блузы, для губ — красноватая, для волос — brun[i], для лица — крем-petit-rose[ii]. Напомню: я не хотел писаться. Болела голова, да и не люблю «сидеть смирно». — «Ну, ладно: пишите, а я буду читать газету». Я сел, нагнувшись, — а Калиниченко за 1/4 ч. намалевал. После моего отъезда из имения (Рязанской губернии) он домалевывал, потом дослал. Писался портрет 21.I.1917 г., за несколько дней до проклятой революции. Сейчас разобрал: подпись-то я, осел, сделал на самом тылу портрета! на этой... ватмановской, что ли, или — «слоновой» бумаге! Так что ты сними копию для себя, и я верю, что она будет лучше подлинника. Ты и для меня напиши. Это тебе — раз плюнуть. Да встряхнись же, родинка-уродинка моя, не поддавайся, н и ч е г о не бойся! Смерть от тебя — на десятки голов! Будешь здорова, не казни сама себя. Отдайся весне. Но *для сего*: надо помочь лечением. Скажи дураку-доктору, местному, чтобы дал для «bien-être»[iii]! — впрыскивание, что ли. Это же д о л ж н о быть. Если нет, ты должна приехать сюда: здесь мы тебя **сразу вылечим**! Добейся. Если захочешь — добьешься[iiii]. Немецкие власти — знаю! — пойдут навстречу тебе, ты сумеешь обосновать поездку. Это же для тебя вопрос жизни = жизни-жизни, а не жизни-обмирания. Если хочешь написать И. А. — пришли мне, я ему передам. Живу 3-ю неделю без упрямой старушенции, и пока отдыхаю от нее: она перебила у меня всю посуду! Питаюсь хорошо. Суп варю на 2—3 дня, раза два в неделю. Завтракаю у Елизаветинки! Узнай у попа-плута, когда кто к нему приедет, или он двинется, мне хочется послать тебе пасхалики, — поищу. Одно, с незабудками, есть. Что делать с шоколадными конфетами?! Они ждут 3 месяца! Это же разрешенный «рождественский» шоколад, я его достал с боль-

---

[i] Коричневый (*фр.*).

[ii] Кремовый, бледнорозовый (*от фр. crème petit rose*).

[iii] «Хорошее самочувствие» (*фр.*).

[iiii] В оригинале подчеркнуто волнистой линией.

шим трудом, «византийски», — и это очень большая коробка, золотая — для Ольгунки. Только для нее. Так и лежит завязанная лентой (?), кажется — лентой. Дубина Т[олен] может отказаться. Ибо — еще «душистый горошек», pastilles Vichy, коробка в 200 шт., cellucrine, antigrippal, книга, портрет, пасхалики... Нет, ты сама «приедь»!.. заставь себя, и увидишь, как ты сразу выздоровеешь. К Корнилову завтракать поедем! Да встряхнись же!!! Ты себя убедила, что безнадежно все. Все — поправимо, все — твое, все — ты, ж и в а я, творящая, моя Олюша, ОлЮшка, Олюшка, Олёнка, Оленька, Оль-Оль, Оля, О — — о — ля — — я... ... — о, приди! Хоть поглядеть на тебя, хоть к сердцу сердце приложить.

Переписать «Трапезондский коньяк»? Нажалуюсь на тебя сегодня «посажёному отцу». Ивик с Лучинушкой[197] скоро поженятся. Утренники довольно крепки, хоть и без мороза. Дни яркие, дождя не было больше месяца. Нет и «жибулэ-де-маре»[i], — дождик с солнцем, в ветре. Скоро були[ii] [1 сл. нрзб.] — запоздали что-то.

Россия вступает в фазу «прославленья». Это я сказал еще год тому. Всяческого: и мученического, и — историко-государственно-культурного. Только теперь близорукий мир начинает узнавать, что такое эта полу-азиятка. Наша культура! Ломоносов за 17 лет до Лавуазье[198] открыл закон сохранения «материи»![199] Создал первую в мире научно поставленную лабораторию[200]. Открыл атмосферу на Венере[201]. И все это — с какими средствами, на гроши! А что потом-то было!.. Не будь этой окаянной войны [19]14—[19]18 гг. — где бы мы были..! Если бы не обожралось русское общество «западной кулинарии» — а применяло малыми дозами в свою п о х л е б к у, где бы мы были!

Да встряхнись же! Не упусти весны! Вливай ее в себя, пей, пой Господа!

Целую тебя, во все в тебе.

Твой Ванёк

Привет маме. Скажи ей, чтобы она тебя выдрала святой вербой. И по этому месту, и по тому, и по сему... Твой Ваня

---

i «Короткий и внезапный весенний дождь с градом» (*от фр. giboulée*).

ii Березы (*от фр. bouleau*).

34

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

8.IV.43

Милый Ванечка,

вчера не удалось мне ни причаститься, ни даже побывать в церкви, — ужасно это! А как я собиралась. Какое-то прямо будто издевательство. Мы не могли дождаться автобуса, а когда он пришел, то было уже 10 ч., да еще к тому же он не мог хорошо идти, т.к. поломался. Стали его чинить. Кусочек, который он делает в 10 мин., ехали ровно час!! Мы вышли из него, когда шофер сказал, что не уверен, попадем ли мы на поезд в 11 ч. Ехать до Гааги от Утрехта 1 ч. да еще трамваем 1/2 часа. Обедня 10 3/4... Пришли домой... Так горько. До слез! И вот начался сумасшедший день: поднялся шторм с дождем. Сперва просто сильный ветер, а затем перешло в бурю. Делалось Бог знает что. Все ломилось и рвалось, неслось куда-то. Дуло со всех концов. Около 6 ч. вечера было так ужасно, что жуть брала. У соседа раскрыло крышу. Только что согнали мы телят, надо было их привести домой, Арнольда дома не было. Я распорядилась работнику, — он пошел, но пропал и пропал, а я пошла вокруг дома и угодий, посмотреть, все ли в порядке. Ветер был NW[i], а у кухни SO[ii] — задрало крышу, побежала к соседу, а там уж целая толпа мужиков собралась — чинят ему крышу. Ну и мне сделали, а пока возились над кухней, смотрю: со стороны NW начало вихрить солому*, чуть-чуть, но уже видно. Полезли туда на лестницах, все, что нашлось, взвалили на крышу. Слава Богу, что мы весь дом перестраивали, а то бы беда. У других так прямо пораскрывало. Кирпичные крыши сыпались прямо за милую душу. Буря идет все хуже и хуже, а работник с телятами не идет. Около 7 ч. приходит А., пошел за телятами и тоже пропал. Я пошла, уже темнело... и что же? — Вижу, Арнольд <u>один</u> гоняется за ними, а те идти против ветра не могут, так и валит. А загнать надо, т.к. они были в самом конце нашей земли, м. б. за 1 квартал от дома. И у нас-то дух захватило. А где — кричу — работник? Понятия не имеет. Вот, думаю, хорош гусь, обещал и удрал. Ругаюсь про себя, т.к. слова то ветром так и давились, — не крик-

---

[i] Северо-западный.

[ii] Юго-восточный.

* Не солома это собственно, а камыш вроде.

нешь. Только подходим к домам, — бежит работник: «а у меня дома пожар случился, жена прислала...» Слава Богу, что не успел за телятами запропаститься! Погасил, т.к. только в трубе началось. А что бы это было в такой ветер! Спалили бы всю деревню!

Один стог сена у нас разнесло, хорошо, что трава уже зеленая! Кругом, у кого ни глянь — беда. Перебило окна. У нас от ветра звонок сам звонил на «парадном». Чтобы войти в комнату со стороны ветра, надо было с силой навалиться на дверь, чтобы открыть ее, такой был напор и в доме. Вот какое Благовещенье! Всю ночь так вот бушевало. Где уж тут спать! Сегодня шел снег и град, и дождь, ветер тоже. Печки воют, не успевают нагреться, как все летит в трубу. Как дьявол с цепи сорвался. А вот сейчас солнце! Петушок на церкви качался так, будто клевать собрался. Как мы телятишек загнали, сама не понимаю. Каблук у ботинка сломала, так и потеряла, не заметила. Ну, довольно.

А ты теперь мне долго писать не станешь... Я знаю. Я хорошо тебя знаю. Во-первых[i], будешь мстить мне, а во-вторых, ты уже давно обещался не писать «д о - л - г о». И знаю уж: недаром ты мне и про палец написал[202]. А разве машинка тебе помочь не может? Но, как хочешь. Я ведь все, все понимаю... Наконец-то Фася раскачалась достать у своей родни «Человека из ресторана», что ты ее мужу подарил. Я прочла. Нет, неважно перевели. Да и можно ли перевести? Ну, все равно, если бы кто взялся переводить «По небу полуночи ангел летел...»[203] и сказали бы: «в 12 ч. ночи летел по небу ангел»... Все точно передано, и читатель знает в чем дело, но... но искусства-то, искры-то и нету! Ну да, «Человек из ресторана» — конечно «кельнер» — кто же иной? И все-таки вот уже для начала, хотя бы и название-то — не то! Ведь не то? Совсем не то! Даже французский «гарсон» и то, по-моему, лучше. Все не то. И это «Liebe in der Krim» — ну разве это можно?! «Под горами»... сколько это дает, рассказывает укрыто, сулит какую-то тайну... Там, под горами, своя жизнь, под горами, там, под теми большими, которые мы видим... маленькие люди, мы их не замечаем, их жизнь под этими горами разве заметна? А вот художник дает ее... И мы видим еще что-то, не только этим горы, но и... «Под горами»... А что говорит «Liebe in der Krim»? А ничего. Заранее предвозвещает, что дело идет о любви. Ну, в Крыму, на лоне прекрасной природы. А мне, непрочитавшей, может по загла-

[i] В оригинале: во 1.). Далее исправление не оговаривается.

вию подуматься: «интрижка, должно быть скучающих курортников...» Вот что дает нечуткий перевод заглавия. Это же не твое, ты бы никогда не сказал так! Как досадно. Разве трудно было перевести «Под горами» точно? Нет, это я знаю что. Хотели нетерпеливой публике сразу пообещать бублик, дескать, «нате, о любви! Не подумайте, что описание ландшафтов». Как жаль. Переводчик должен быть тоже ведь художник, должен понять творца вещи, переводимой им. Как переводят «Солнце мертвых» г-жи Хааз? Теперь тебе удобно это — они у тебя под боком? Напиши. Я очень хочу заняться французским языком. Хотела бы что-нибудь из твоего перевести на немецкий, но так, как должно. «Конечно с Вашего согласия, многоуважаемый Иван Сергеевич! Не бойтесь, я не свольничаю». «Твои вещи в фильмах смогут играть только свои. Не я, нет, но молодые, свои!» Они есть! Я помогала бы, если бы в чем была нужна моя помощь. Дашеньку я вижу. Какая она! А Анастасию... тоже... но трудно, трудно дать ее, без слов ведь почти. Выразить силу ее без действия. Актриса должна ее вполне понять, быть ею, иначе получится ломака. А если справится, то потрясет. Актриса та — А. А. Зорина. Она, по-моему, просто без игры, по природе подошла бы. Она ультраскромна при своей красоте была. Говорили, что не сделала карьеры благодаря тому, что «строга» была. Понимаешь? Я, конечно, ничего не знаю. Она была красива. Очень. Теперь она не может играть, т.к., конечно, стара для этой роли, да и сошла с экрана. Не называй ее имени как претендентки, т.к. она действительно стара должно быть для Анастасии. Я ее дала, как пример лишь. Огромные синие глаза, прямо как фарфор. Какие-то особенные. Ее хотели «купить» американцы, кажется, но она не далась. Это все слухи. Я лично ничего не знаю. Видала ее на балах благотворительных, она была очаровательна. А где она? Не знаю. Сказала о ней, чтобы сравнить ее с той Паулой-коровой.

О стихах Новгород-Северского я тебе писала. Что же, не получил разве? Или это было в серии сожженных писем? Так странно: пишешь, а сожжешь, не пошлешь, и все думаешь, что написано уже. Мне понравилось особенно его об олене[204]. Но я не очень «взята» им. Не знаю почему. Мне кажется, что его «простота» не рисовка ли чуть-чуть? М. б. я ошибаюсь. Надо больше читать, чтобы критиковать. Но какого-то крючочка нету, которым бы он мою душу зацепил. Мне нравятся его стихи, я согласна, что это — талант, но... лично моей душе чего-то м. б. не хватает. Нет того

волнующего, от чего долго-долго не хочется ничего другого. Хочется плакать, не хочется ни о чем думать, и отчего-то становится сладко-грустно и поднимается тоска?.. Нет, не тоска, а то чувство, которое испытываешь вдруг, почуяв, что в этот день, именно в этот, наступила весна. Когда торопишься на службу, работу, бежишь по бульвару, а солнце светит, террасы дорогих Café открыты, под маркизами столики... вуальки, фиалки, духи, сигары дым... Смех особенный, весенний... Глаза какие-то особенные... И этот ветер, и вуальки... На каждом углу фиалки, фиалки... Они надушены, но это ничего... это всегда так, в городе весной... И ты бежишь, одна с своей заботой... да, на работу... И мне, конечно, бросаются весенние улыбки... Торгуют мороженым. Толпа идет колышущейся рекой неторопливой... в ветре... в флирте... И сумерки фиолетовые, особые весенние... И вот тогда у тебя, спешащей, вне весенней толпы, может подняться тоска... О, нет, не о café и прочем, а той истиной весне, которой в городе мы видим только слабое отображенье, подобное отображенью в зеркале нарядившейся кокетки, запудрившей, замазавшей свои небесные черты... Тоска..? Нет, не тоска, а что-то неописуемое это.

Ванюша, если преломишь гнев на милость, то ответь мне на это письмо, я тебе много дум своих тут сказала. Бывает ли так и у тебя? Оля

Вот такую тоску я не испытала, читая его стихи. Ну, до свиданья. Обнимаю. Оля

35

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

8.IV.43
26.III

Что с тобой, дорогая моя Ольгуночка? Вот уже 17-й день (с 22.III, когда я получил последнее твое письмо)[205], я не знаю о тебе. Впервые за эти годы такая неизвестность. Что мне думать?! ... Ты меня забыла? Я уже вне твоего мира душевного? Не нужен? Тебе уже безразлично, жив ли я, здоров ли, страдаю ли... Ты отрешилась от всего, что связывало тебя со мной? Нет воли на это — даже? Но что же это? Болезнь? Боже мой, я так подавлен. Я старался вернуть тебя к жизни, пусть полупризрачной. Я бессилен? Не писать? В таком состоянии, как у тебя, и мои письма — ничто для тебя. Я писал тебе, переписывал для тебя рассказы, посылал фото, достал акварельный порт-

рет, — как его тебе послать — не знаю! — я сохранил для тебя и «Чашу», и «Пути», отказался отдать другим, хотел, чтобы ты, когда наступит (скоро, м. б.!) время воспроизведения на экран, могла сама дать любимые тобой образы... — все напрасно. Ты не ответила мне даже. Нет, я не обижен, я знаю, что ты не владеешь собой. Но н а д о же сделать усилие! Вернуться к жизни. У тебя idée fixe[i], что болезнь твоя неизлечима. Надо бороться с этой мыслью. Ты болезненно сделала себя как бы центром вселенной. Вся — о себе, все — свое, твой недуг! Так закрыть все (и меня, конечно,) с о б о й... — это же страшно, это — болезнь воли, это — полная неврастения. Т а к предавать себя, так все забыть — во имя с т р а х а и боли за с е б я!? А когда-то писала: Я за свою идею готова хоть на костер! Значит б ы л о для тебя что-то дороже жизни? дороже тебя самой? Ты плюс твоя и д е я? Вернее: и д е я. Неужели ты так опустошена таким ничтожным, как временное заболевание? Я теряюсь в выводах, причинах, — в итоге. Думай о других — сколько горя! Вспомни, как переносил свою болезнь Паскаль[206]. Как работал!! А ты — какая слабость! Ты не находишь сил представить себе даже, (только на миг п о н я т ь!), как мне все это больно. Мои-то страдания для тебя — н и ч т о?! Забыть тебя, как ты меня забыла? Это мне очень трудно, очень больно. Я снова в черном одиночестве, как в июне 39-го. И не знаю, чем оно кончится. У меня уже нет желания б ы т ь. Тебе и это безразлично?.. М. б. я скоро свалюсь, — так мне ч у е т с я. Я — как пятак: пока к а т и л с я — не падал. Я чудом преодолел болезнь. Да, чудом. Врачи были поражены. Теперь — я махнул рукой на себя: меня уже ничто не связывает с жизнью. Да и жизнь-то... какая она — жизнь наша?! Если бы ты знала. Я бросил «Пути» свои... к чему? Они не будут закончены. Мне это не нужно. Теперь — не нужно. Без тебя — мне ничего не нужно. Я тебя узнал — так чудесно! — и полюбил сильно и так чисто! Ты у меня — единственное дорогое в этой жизни. И т ы — у ш л а от меня. Меня — вот при этом-то — не пронизало болью даже известие, что любимая моя сестра, младшенькая, сестренка моя, Катюша моя... умерла... в 38-м году! А я только в субботу (3 апр. 1943 г.) узнал от племянника. Я только перекрестился. Было скорбно, пусто-скорбно. Теперь я плачу... — вот сейчас, плачу... — как пусто кругом. За что все?! за что, Оля... ?! Дать столько, пусть в письмах, (мое воображение

---

[i] Навязчивая мысль (*фр.*).

все это оживляло, переводило в близкое), и — так оборвать, мОлча, угасить неслышно, погасить, — как уже не нужную свечу. Господь с тобой. Я бессилен оживить тебя. И я не стану ни ранить укором, ни призывать лаской. Тебе безразлично в с е. Но, Господи, что же делать?! Оля, найди последнее усилие, сделай, верни себя себе, — не мне, пусть только себе. Живи. И скажи мне — я живу. Довольно и этого. Целую. Твой Ваня

Или надо, как всегда с больными неврозом, приказывать тебе, кричать на тебя?! Приказать? Я не могу так. Мне так жалко тебя, такая боль во мне о тебе... — я могу только шептать — Оля, опомнись... вспомни все, чем мы обменивались эти годы... как я раскрывал тебе всю душу... отдал тебе все мое, с е б я!.. — пусть в письмах, но я о т д а л себя — тебе. И ты забыла? ты не сознаешь? Ничего не было? — Оля... нет, я не могу больше. Я — м. б. так легче тебе... — не буду больше тебе напоминать о себе. М. б. это уже мучительно для тебя?

Какой тяжелый конец моего пути! Какой [темный] итог.

И. Ш.

Да хранит тебя Бог, Оля моя, светлая моя подруга, несбывшаяся. Но тогда... зачем же все это было?!

Сделай же последнее усилие, уезжай на время, перемени обстановку... — найди себя. Сбрось волей этот недуг душевный. Помоги тебе Господь!

Ваня

Ивик повенчается в по-пасхальное воскресенье, 2-го V. А мне и это — в с е равно. Я полумертвый.

Вот сейчас, я увидал твой портрет, большой, — «Девушка с цветами»... — метнулось сердце, и — заплакал. Ты, светлая, но где же ты — девушка моя с цветами?! Как хотел бы вспомнить «Свете тихий»... — но у меня нет его. Вот это... — все же н а ш а жизнь была! Пусть т а к а я только, но — была, жизнь! А теперь — ты обратила ее, эту скудную (и какую же богатую!) жизнь — в — пустоту, в ничто, в не-бытие. За-чем?! Верни же мне хоть призрак девушки с цветами, мой текучий образ — милый образ — девушки в церкви, в хлебах, теплым, июльским вечером... верни... верни... я так беден, у меня ничего не осталось... верни, Оля! Последним усилием верни мне призрак жизни, мой бедный отсвет неживого с ч а с т ь я-призрака... — этим ответь мне на все, что от меня брала душой, что я мог отдать тебе... верни... не могу, не вижу ничего от слез, все застлано... но мне легче... Они и на письмо упали, эти

слезы... последние. Больше не будет и их, иссякло. И ты — знаю — ты ни в чем не повинна, не смею укорить, знаю... боль твою знаю, родная Оля моя... знаю. И — бессилие. Ну, Господь с тобой, родная детка... м. б. Он услышит. И пошлет сил, и выход из этого чуждого нам мрака. Ваня

Христос Воскресе! Целую. Глаза мои милые целую. Не знаю, смогу ли писать больше, не знаю. У меня не будет Св. Дня...

И вот, в такой подавленности, мне приходится публично читать (я выбрал только «Рождество в Москве» — последний рассказ, на 1/2 часа) в помощь престарелым, забытым жизнью, лишенным крова, — не мог отказать, в воскресенье 11-го IV. Последнее усилие, во-имя... во-имя тебя, Олюша.

Больше я не смею писать: м. б. это еще хуже молчания? Скажу последнее: Оля, Христос Воскресе! Воскресни!

36

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

17.IV.43[i]

Христос Воскресе!

Ванюшечка мой, родная душенька, солнышко мое, крепко целую тебя, мое счастье, и по-пасхальному, и еще просто «не в счет» много, много раз.

Милунчик ты мой, будь радостен и светел ты в этот Великий день. «И ничто же земное в себе да помышляет...»[207] поется в скорбные дни страданий Христа, а я скажу, что и в светлой радости Воскресения Христова грешно нам иное помышлять. Ванюшеночек мой, мне не хочется в этом пасхальном письме касаться того мрака... Но ты не думай, что я увертываюсь. Я все, все тебе объясню и скажу, и ты увидишь, солнышко, что тебе не надо так унывать. И ты м. б. и меня поймешь и увидишь, что это все совсем не то, что ты думаешь.

Ванечка, не потому что ты мне «безразличен» (ты так пишешь), но именно наоборот: я не писала, т.к. тебя жалела огорчить. А о себе я тебе тоже все скажу, — откуда это взялось. Ты поймешь, мой Ваня, я знаю это. Ванюша, зачем ты так себя мучаешь и терзаешь? Ты заболеешь

---

[i] На конверте помета И. С. Шмелева: Слава Богу — светлое письмо! — к Светлому Дню.

снова... Ах, и чтение это! Ну, не гори уж ты так, пожалуйста. Ведь горе с тобой! Я понимаю, понимаю, что ты не можешь иначе, а то бы это был не ты. Ну напиши мне о Юле, о Ивике. Как прошла их свадьба. Ты не напишешь мне к Светлому дню? Не верю, Ванюша мой. Ты ведь получил мои письма и увидишь, как ты мне дорог! Я все, все тебе, счастье мое, скажу, и ты увидишь. Я послала тебе ландыши, т.е. просила магазин послать. Обещали. Просила, чтобы устроили хорошо и красиво. Ну, кто их знает... То, что я здесь заказала, было чудесно-нежно-ласково, а уж как выполнят у Вас — не знаю. Чудный «садик» из белых колокольчиков — большая корзиночка. И так хотела послать тебе еще другие ландыши... Угадай! Я пошлю их, но позже, — не успела... Пустячок. Увидишь. Только для тебя! И ты увидишь, как я живу твоим сердцем. Именно сердцем твоим, Ваня. И не надо вдвигать между нами ничего иного. Твое сердце — и мое, а твоя душа — и моя. И разве не достойно это самой бережливой сохранности? Не надо засорять ничем! Я не имею в виду какие-либо наши чувства, т.к. все, что исходит из любви, не может быть диссонансом. Но все иное, внешнее. Я пошлю тебе ландыши и те. Скоро постараюсь. Я тебе яичко нарисовала к Пасхе — Кремль ночной в огнях. Хорошо удалось. Но не едет Фасин муж! Как мне это досадно. Ему отказали в визе. Хлопотал 2-ой раз, — ответа нет.

Ванечка, не бросай «Пути»! Ты убьешь меня этим... Я не шучу. Я в холод впадаю, когда подумаю об этом.

Пиши же, Ангелок. И тогда я тоже буду. Мне хочется очень много написать. Если бы я тебя видала! Я бы все тебе сказала, все темы. Ты объяснил бы многое и указал бы мне путь. И та-а-ак хочется рисовать. Не знаю, что больше. И плохо, плохо умею. Хочу учиться. У Фасиной сестры муж художник — преподаватель в школе искусства. Дивные у него акварели. А я влюблена в акварели теперь. Те «ерунды», которые я сделала на днях, сравнила с прошлогодними — и странно: без украшений, без школы — отчего-то большой шаг вперед. Как будто я душой что-то поняла. М. б. это так же и в слове?! Хочу, Ванечка, для тебя хочу писать. Только силенки-то у меня... так себе! Не оправдаю твоих надежд!? После той пробы пера («Пост») знаю, что мало могу. Знаю, что и ты был разочарован. Ванёк, я не поняла, что ты для меня отказался от экранных «Путей» и «Чаши». Миленький, пусть же возьмут их достойные большие актрисы наши. Я — урод. Правда. Это не скромность. И стара я для них.

Весна буйно идет. Жара стоит. У нас много горя и забот со скотом. Ваня, какая трагедия, когда они дохнут от голода! Я не могу порой этого выносить. МукИ нет для них, и вот они дохнут с телятами в животе! Ужас! [Одры]! На луг пустили не сразу, т.к. иначе травы не хватит и придется пускать в сенокосные луга, а это грозит новым голодом на зиму. Сухо очень, трава плохо растет. Сегодня ночью родился жеребенок, — очень трудно, но благополучно. Три ночи не спал никто — караулили. Пишу тебе все это, т.к. знаю, что любишь ты природу.

[На полях:] Так трудно с тобой «расстаться», хоть бы и в письме... Долго обнимаю тебя. Будь счастлив! Ты все выдумал. Я все та же Оля. Но много страдала.

Целую тебя, глажу височки, лобик. Ну, дай, я обниму тебя ласково и нежно! Оля

Не знаю, празднует ли Елизавета Семеновна Пасху нашу, если да, то поздравь ее от меня.

37

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

9/22.IV.43

Великий Святой Четверг

Христос Воскресе, родная моя Олюша, Олюшка... и еще, и еще, и еще, в е ч н о — «Христос Воскресе!» И — «Воистину Воскресе!» — дорогая, бесценная, неизъяснимая, полная чудесно-дивных «противоречий», вечно меняющаяся женственно-чутко-зыбкая, — о, мимозная, вся — огонь и свет, и боль, и счастье! Многое мне в тебе невнятно порой, и все — объяснимо, хоть и невыразимо словом. Сердцем — да, — будто и объясню. Конечно, много тут и болезненного, но как-то — свято-болезненного для меня в тебе. Как я тебя люблю..! Вдруг — почувствую так ярко, так остро, к а к — люблю! И это не передается словом... И сильно, здорОво, открыто, п о н я т н о... — и болезненно чуть — люблю. Ну, что тут слова, тут замираньем сердца только знаешь, неуловимо это счастье, оно — в нем, в сердце, в т а й н е, которую и сам-то не разгадаешь, не раскроешь... Нежно целую, свято, бережно, чисто, тихо, как с в я т у ю! Олюша, твое письмо пасхальное сегодня (от 17.IV), — свет какой! Я уже шел к двери — идти в церковь — к исповеди и причастию, — почтальон! Я только вскрыл, только пробежал, и — осветило... — оставил. Нет, не то, чтобы боялся, идя к Таинству, разбиться мыслями, духом, — нет: это та же Свя-

тыня для меня, ты, моя Олюша, ты — Божья весна во мне! — дар. А — сберечь, раздвинуть радость, продлить...

Я преодолел себя, заставил себя говеть. Взял в руки. День — теплый, чуть облачно, капли... Поспел лишь к «Иже Херувимы...»[208]. Был покоен, но возбуждения-подъема-трепета — не было. И все же был миг — искренней мольбы к Нему... — прими, не отринь... недостоин, знаю — недостоин... но — не отринь! Ты — Все. И все — примешь. Ты — Благий, безмерно. И мера — не Твое: Твое — Все, и в этом ВСЕМ — я, пылинка. К Тебе несемся неведомым дуновением, — и Ты — и пылинку примешь. Вот это было. И это — счастье и облегчение.

Ольгуночка, я достал «пасхалики». Немножко они другие. Один — с государственным российским гербом. Но когда, когда пошлю?! ... Все, все у меня ждет встречи с тобой. Какое испытание..! О, дивно письмо твое. Ты — живая нежность, люба моя. Как ты умеешь сказать, — я слышу тебя в милых, незабвенных строчках. Пиши, голубка, рисуй, все, что хочешь, — я буду счастлив. Я в прошлом письме попросил тебя — ну, пришли мне твою картинку... (17-го, кажется, или — 19-го?[209]). А ты — пишешь. Я понял сердцем. О, пришли! Ольга моя, ты дивно пишешь. Пиши — жизнь имения, историю фермы, о скотиках... о чем — угодно. О жизни сада, о свинушках, о кошках, птицах... о смородине... — все будет чудесно! Не думай, что для печати пишешь, что — п-и-ш-ешь... — самое главное! А — живи в этом. И — уви-дишь! Потом — это уже 2-ой акт творчества — будешь чистить. А будто мне пишешь, будто родному сердцу открываешь мир Божий — он же — все! Ты как бурю в пяти строчках дала — а я ее увидел (прошлое письмо!) Колокольчик у ворот, что ли — сам звенит... дверь — надо навалиться... задрало крышу... — и ты, угорелая, бешеная... до — «каблучишко отлетел!» Кажется, схватил бы тебя — такую — и задушил-сжал... — удержал! Как же глаза горели — и страхом, и «радостью», и — безоглядностью! Ты тут — сама Дари, вся — страстность. Но чистая, детски-безудержная страстность — нового познаванья [мира] Божьего. Вот ты какая. —

В субботу 24-го Люсьен крестят: она ведь — язычница была, никакой религии: из мелкой буржуазной (мещанской) семейки — «либрпансёры»![i] — ха-ха! Сознательно

---

[i] «Свободомыслящие» (*от фр. libre penseur*).

идет к Церкви. Я — за крестного отца (я же и за посажёного, 2-го мая). Ну, хлопотно это для меня, да чего же делать! Ухватились. После крестин (в маленькой церкви, у Сорбонны!) потороплюсь к себе — попасть к Велико-Субботней литургии. Я так люблю свет Ее. Это — «Воскресни, Боже..! ...»[210] Лучшей службы, кажется, для меня нет. Ну, Светлую Утреню, — что же говорить, нельзя сравнивать, но тут уж явь. А в Субботу Великую — предъявье, вся душа ждет... тут ты как Мария — в пути ко Гробу[211]... тут — уже свершилось, но не-явлено. Тут как бы — рождение Воскресения, ну, девочка! — помнишь чувство, когда держала яичко, а в нем — тук-тук-тук... и ты вся — трепет и ожидание, и вся — радость. — Как одарила ты лаской — пасхальным письмом твоим! Ножки твои мысленно целую, а ручки..! А глаза... а — сердце твое! Олёк, далекая... Христос Воскресе!

Досада: m-lles de Haas вернули деньги, были вчера: их брат тяжело болел, в больнице (воспаление легких) — его нельзя беспокоить поручением. Я устроил. Я передал, что надо Елизавете Семеновне — и тебе не надо пересылать ей. Я — выдрал у нее [чисто звон] — получила ли за елочку? Ведь ее сестрица не взяла тогда, и тебе вернули деньги. Идиоты! Она была смущена. Но я объяснил ей, что это мне необходимо. Она приняла только 250 фр. А я маме писал о 300. Напиши мне. André Baumann[i] — я уже писал маме — не принимает поручений цветочных на Голландию (с 8 марта!) Как ты могла устроить с посылом мне — не знаю. Если не получу — не огорчайся. Ты меня засыпала цветами — сердца, сегодня, в милом письме пасхальном. И я — в свете. Это чудесно, что ты хочешь пройти «школу» живописи. Ты все уже в себе несешь, но школа сможет дать «приемы», (технику). Тебе — важно. Бездарным школа (любая) ничего не даст, лишь оттенит бездарность. Тебя — еще ярче проявит (не вЫ-явит: терпеть не могу этого «одесского» словечка). (Вот еще не выношу идиотско-жидовского — «осознать»! Это — «о»!! Сознать — вот, познать, узнать.) —

Нет, ты не можешь состариться ни для «Чаши», ни для «Путей». Я хочу, я буду ждать. Я знаю, какая ты артистка. У вас это в крови. Вон, и Сережа... — есть. Ты — истинно-художник, от природы. Олюша, пиши, рисуй... прошу! (Конечно, ты созрела — для творчества, оттого и лучше, легче берешь. Так и в слове. Свободней!) Не упускай дней. Ну, пиши историю твоей жизни — на

[i] В оригинале описка: Baukian.

ферме... Так и начни... с любого дня (любое время года) и — рассказывая, как живет имение и все в нем, в с е и о себе (главно это будет) расскажешь, душу свою изобразишь... да, с отступлениями, это технически удобно можно, — всю жизнь свою расскажешь, все ч у в с т в а, и — э т а п ы. Будто — «отраженья» это, текущее, пустяк — могут давать толчки, вызывать минувшее в жизни. (Ну, будто, отрываясь от жизни фермы, от хозяйничанья, заносишь в дневник... Все дать, все голландское, и все — р о д н о е (душу-то!) Ах, будь я с тобой..! з а п и с а л а бы... Рисуй... — но не уходи «в себя»). «Пост» твой был хорош, хоть и «проба». «Яйюшка» — отлична, хоть в трудном роде. Ты — можешь. Твои письма (иные!) — у н о с я т. Ты сама не сознаешь, ч т о ты даешь. Это самое лучшее. Не думай, что — для печати: для меня, себя, ну... будто говорим. Понимаю твою боль о ж и в о м в хозяйстве. Милая, п и ш и мне о н и х, живых. Как ты чудесно о кощёнке, о котишке... даже о м ы ш а х! Меня всегда захватывает живое. Я все люблю. Я радовался эти дни, когда лимонные зернышки (два) проросли. Это — навязчивость моя. Ищу, привить бы со временем. Написал Нарсесяну, нашел бы апельсинчик. Его адрес (не знаю, можно ли из Голландии писать) W. Narcessian, 142 Cr. Lafayette, Lyon (R.) (Департамент Роны) France. Целую, всю, всю. Крещу. Христос Воскресе! Милая, птичка моя, Олю-ша-а-а..! Твой, радостный, Ваня

[На полях:] «Чай» с моим чтением, назначенный на 11.IV, был отложен из-за тревожного времени (налеты вражеские пугали, после памятного, 4-го числа апреля!). Будет поздней, в Париже.

Напиши о почке, о здоровье. Пасхальный привет маме и Сереже.

Почему не пишешь на обороте конверта имени и адреса? Надо же. Всегда писала! Забываешь.

Ландышки, я их целовал. Христос Воскресе!

38

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

11/24.IV.43
Великая Суббота 5-й час

Сейчас много солнца!

Еще, еще и еще раз — Христос Воскресе! — дорогая моя Ольгуночка, Олюша, Олюшка моя, Олёньчик, Олюнчик!

Сегодня я рано поднялся. День был холодный, чуть крапал дождик. Надо было ехать далеко, к Сорбонне, но от меня удобно на metro (подземная дорога), без пересадок: крестили мы «бебе» двадцати двух лет, Ивкину невесту. Я был крестным отцом, Юля — крестной матерью. Церковка катакомбная, убогая. «Бебе» было далеко — в другую, она чего-то недомогает, и докторша велела ей неделю лежать. Должно быть (между нами) — «вже угу!» Ну, это их дело. Свадьба — 2-го мая, в соборе на Daru. Крещенье было «походное», как теперь для взрослых у нас, — без крестильной сорочки, в полном одеянии, даже в пальто, — «символическое»: склоняется над «купелью» (эмалированный таз, в каком, обычно, посуду моют), коснется воды ликом, чуть, а священник (в данном случае — иеромонах, учившийся в Сорбонне), чуть мочит голову. А остальное — обычно. «Бебе» прочитал «Верую»[212] по-французски. Малое слово иеромонах сказал по-французски, хотя и «бебе» понимает и по-русски довольно много. Было просто и даже внутренно-содержательно. Ну, дули и плевали на н е г о (сатану), и постриг был — во Христово воинство. Одну овечку ввели во Христово стадо. Я подарил «бебе» — ей дали имя — Лукина — Лукиана, созвучное с ее «языческим» — Lucienne. Она была, как я тебе писал — никакая. Тут же, спеша по другим делам, я подарил ей духи — «Apres l'ondée». Затем — был на вокзале (близко), узнал, какие поезда в St-Geneviève. Теперь раписание меняют часто (у меня столько дел! Все веду сам!).

На 2-й день Пасхи — иду на кладбище. Оттуда (из St-Geneviève), по пути, звали к обеду пасхальному (завтрак). Не знаю — смогу ли, слишком утомительно. С вокзала заехал в свою церковь, на Michel-Ange[213], захватил часть литургии, как раз кончали последнюю паримию, и чтец возгласил — «Воскресни Боже, Судия земли... яко Ты наследиши...» Перемена риз — на светлые. «Ангел вопия сие...» Евангелие от Матфея — о Воскресении[214]. Затем я дошел до дому, много домашних дел. Был уже 3-ий час. Подали, родная, твое «Христос Воскресе» — горшочек ландышей, — чудесно! Их 9, крупные, во мху, и обсажены спаржевой зеленцей. Да, маленький садик. О, радость моя! Благодарю, светик. Чудесно. Пока я — один. Анна Васильевна стала приходить пока 1 раз в неделю, только. Вдова полковника, которую мне рекомендовали, не могла оставить больного, за которым ходила: он стал в ы т ь, когда узнал, что она его хочет оставить. Она рекомендовала какую-то (тоже интеллигентную вдову), но я не возьму: я стесняюсь

с этими, не рабочего класса. М. б. уломаю «Арину Родионовну» — приходить 2—3 раза в неделю. Она у меня очень хорошо получала, работая (сидя почти) по 7 ч. в день. Становилась мне в 1400—1500 в мес. — при моей «безработице»! Это болезнь моя все, а после я и не менял — пусть чинит белье. Купить же ничего нельзя... все рвется, дырявеет.

Чушь. А вот — от миллионов отказывается чудак-писатель. «Впервые вижу автора, оговаривающего свои шедевры», — сказал посетитель-торговец. «Смотрите, раз впервые... [интересно]?» — ответил я. Чудаки. Но это все — маленькое.

Большое — ты для меня. Твое сердце, твоя любовь. Я целую твои «пасхальные». Чудесно дышат. О, как целую тебя-их! Свет мой, Олюша-цветик, дай губки, глазки...

Христос Воскресе! — еще, еще, еще. Сейчас 5. Почта скоро закроется до понедельника. Иду-бегу. Юля прислала кулич. Я сделал пасху, сам. Сейчас выкрасил 6 яичек. Одно — тебе, лучшее какое выйдет. Заутреня — в 7 1/2 ч. А я еще не ел, я здоров, слава Богу. Целую, пасхальная моя девочка — весенняя! Твой Ваня

[На полях:] Сколько для тебя — ждет! Сделал такую пасху — вот задивятся! Вот бы поглядела на меня в кухне! А думал о тебе, о «Путях».

Расцелуй себя (в зеркале), маму, Сережу. О, пришли ландыши — твою картинку-акварель!

Как странно: цветы твои от Andre Baumann, а от меня он не принял на Голландию: с 8 марта — прекращено, запрещено! Удачно — ты!.. Должно быть раньше?..

Завтра Юля приедет с мужем и будем завтракать.

39

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

25.IV.43 г.
Св. Пасха

Мой милый Ванечка!

Сегодня, в первый день Св. Пасхи, — еще и еще «Христос Воскресе»! Где ты и что ты сейчас? Здоров ли? И как у тебя на душе, дружок мой? Я только что вернулась из Гааги, где была с пятницы и говела. Меня было опять начала мучить тоска, я не чувствовала даже себя достойной приобщиться, но, приехав в Гаагу, я все забыла. Были дивные службы, и меня всю очень согрели. Исповедь была не-

обычайна, я только тебе это скажу. Отец Дионисий меня так чутко понял и принял. Он так и сказал: «Да, я понимаю». Всю тоску мою безымянную понял и перед Плащаницей вместе со мной (я на коленях стоя исповедовалась) стал на колени и преклонившись головой до земли за меня и со мной молился. И потом взял голову мою и поцеловал в макушку. Утешал меня, и я всю тоску свою излила слезами у Христова Гроба. И стало легко. Я тебе это свое «Святое Святых» открываю. Лучше больше этого не касаться в письмах. Заутреня была у нас в 7 ч. вечера субботы, а обедня в 9 утра. Было дивно... Всю церковь украсили мы цветами, мама и я плели гирлянды, масса была цветов. Был подъем большой, несмотря на раннюю утреню. За обедней все, приобщавшиеся в Субботу, были допущены даже без разрешительной молитвы к Св. Причащению, так что я сегодня опять Причастница. Чудно было. А сколько у нас голландцев переходят в Православие или даже крестятся, т.к. были до сих пор не крещеные. Подумай, даже не крещены!

Какой был Пир Веры!.. Чудно! Ванечка, как горько мне, что опять перерыв был в письмах, не написала тебе тотчас о том, что я соскорблю тебе в утрате Катюши. Мне хочется ее именно Катюша назвать. Я не хотела в пасхальном поздравлении писать об этом, но все время думала о ней, о твоей скорби. Да, это очень тяжело. У мамы вот также, умер брат любимый[215]. И узнали тоже позже. Она и теперь еще не верит, что ее Митенька не жив, а был он сама жизнь. Известный московский хирург. Горько, Ванечка, горько узнавать о таких утратах... Но Господь знает, для чего это все нужно, и м. б. для усопших это лучше. Я помолюсь о ее душе, о душе твоей сестреночки, о твоей Катюше... Милый ты мой, Ваня! Меня очень огорчило письмо твое к маме (шло оно 17 дней!), — ты, Ванёк, меня не понял, нет, я не центром мира себя делаю, где же этому быть! — я слишком себя чувствую ничтожной и от того страдаю. И не моя болезнь тому причиной, не прямой причиной. Но ты пойми: болезнь эта лишает меня всякой самой минимальной свободы. Вдумайся и пойми, больше я ничего не буду разжевывать. Я вся в зависимости, в самой крайней... когда больна. О том, что горя масса в мире, я ни на минутку не забываю, и меня оно осязательно давит. И свое бессилие усугубляет боль. Нет, моя идея, о которой ты упоминаешь, и готовность на костер идти, ничуть не угасли, и меня мучает только то, что эта моя жертва (если бы ее было нужно осуществить на деле) ничего бы не измени-

ла. Вот, очень схематичное изображение моих состояний. Ты за последние полгода, или даже дольше, все время раздражался мною, и муки этой моей я не могла тебе высказать. Ты (вспомни!) за все меня журил, даже за мелочи. У меня не было никакой даже малой уверенности в твоей дружбе ко мне[i]. Ты как-то *злобно*[i] меня отпихивал. И больно колол часто[i]. И разно: то как любящую женщину, то как друга. Я это не в упрек, но в пояснение моего упадка. Это у меня было чувство, что мои письма тебе не нужны больше, и я сама тоже. Но не это было единственной причиной моей тоски, — это только довело ее до предела, закрыло отдушину души, взяло возможность с тобой делиться. Ты пишешь маме, что мне не дорога «озаряющая душу переписка с другом...» Но вспомни, к а к ты все это время писал мне! Какая же тут открытость. Ты за все меня корил. И часто не объясняя причин. Я с год уже страдаю от твоего чего-то нового в твоих письмах[i]. И раньше прямо тебе об этом писала. Ты запретил писать и «накручивать». И какое-то чувство меры мне подсказало больше об этом не писать. И так один за другим закрывались клапаны открытости. Я страдала от этого больше, думаю, тебя. Но я не могу быть счастливой, если я не могу быть открытой. И не умею притворяться. Боялась касаться некоторых вопросов, т.к. у тебя они вызывали только злобу. Даже бытовую сторону своей жизни я боялась тебе описывать, т.к. ты и тут сердился. И получилось: пишу и думаю: «что рассердит, что не рассердит?» Ну а разве так можно? Но не хочу об этом сегодня! Скажу лишь, что самой счастливой моей минутой была бы та, если бы я сознала, что я могу кому-то послужить, другим облегчить долю, увидеть цель своего бытия. Пойми. Не приписывай мне «центра мира». В этом ты не прав. Как раз обратное!

Послезавтра приедут ко мне гостить надолго одна несчастная мать с девочкой. А вскоре я позову (уже позвала) еще 3-х детей из прихода, откормиться. Я не люблю расписывать всякие «доблести», но скажу тебе, что никогда в жизни чужое горе не закрывалось от меня своими состояниями. Я не для себя живу. О, если бы все ты знал, что у меня в душе!.. И как можно превратно понять страдания другого. Ну, довольно. Как мне горько было узнать о смерти С. В. Рахманинова[216]... Еще один уход!.. Так всегда это больно. Ну, и об сем довольно! Получил ли ты, Ванёчек, мои цветы? Я просила их доставить тебе в субботу. И хоро-

---

[i] Подчеркнуто И. С. Шмелевым.

ши ли они? Ты в мамином письме просишь ее о цветах мне, — (зачем, зачем?), но она не могла, т.к. письмо пришло в пятницу, и мы уже собирались в Гаагу, а тогда дома столпотворение бывает и надо мчаться к поезду. Меня огорчило, что нет от тебя письмеца, — его я ждала и жду... Ты опять неправ, утверждая, что мне они не интересны. Как ты так можешь?! Ах, да, гиацинтов действительно в продаже нет, но моя девочка добыла мне от своего отца — садовника-любителя, 5 гиацинтов и сюрпризом поставила в столовой к моему приезду. Меня это очень тронуло. Она очень мила. У меня мечта ее вытянуть в люди. Мы будем учить языки и машинку, а стенографию она пусть на вечерних курсах учит. Хорошенькая она стала, выросла, и скромница, краснеет и глазенки опускает, и так вдруг мило их взметнет!.. Я ее одела всю, шью ей иногда то то, то другое. Велю ей у нас и купаться. Она и растет полубарышней. Масса вкуса у нее и любви к красоте. Но гиацинты, гиацинты... Вся комната благоухает... Пасхой... ими? Это у меня с детства. Ах, как хороши были тогда Пасхи!

Но как же я опять устала... За меня и в Гааге-то уже все боялись, просили отдыхать, чтобы не случилось заболеть на праздник. Чужие даже и то заботились. Даже надоело. Матушка, как родная. И Валя — чудесна. Были у нее на минуточку. Фаси не было. Мужья язычески проводят Пасху и сестры в церковь не попали. От Фаси только получила сегодня блюдо с чайными розами, укрепленными стебельками в целом море незабудок вместо мха. Очень красиво. Фаська с ума сошла, цветами дарится. Знаю почему. Она за каждую мелочь благодарит... Ее муж, увы, не едет... Мне это очень больно. Уж не говоря о прочей, полезной посылке, так хотела тебе подарить яичко с Кремлем пасхальным. Твои пасхалики радуют меня, а свечечку красную я не зажгла... берегу. Я ее в сердце теплила. О тебе думала в Заутреню. Сказала тебе «Христос Воскресе». А ты? Неужели у тебя темно на душе? Это мне больно было бы! Что же, Ивик-жених? Чего это люди женятся, выходят замуж?! Мне их всех жаль! Почему мечта всякой «девы» — замужество? И как редко оправдываются ожидания, — или м. б. надо очень молодым венчаться? — (вот как ты с Ольгой Александровной), не подумай, что я проповедую распутство, — совсем нет. Ты знаешь, у меня отродился твой ландыш, один из высаженных мною корешков от рождественских, прошлогодних. Цвести будет в саду. Я так рада. Хотела этого очень. Азалия этого Рождества, цвела так пышно, что истощилась и не дала новых листьев, но

потеряла и старые. Я ее усиленно питаю, и она кое-где пускает листочки, именинный цветок хорошо растет. Но чудесно растет мой апельсинчик, который я года 3 тому сама вырастила из зерна. Уже маленькое деревцо и стволик в корочке. Подарила бы его тебе, — ты так о нем мечтаешь. Я не знаю, что мне делать, — откуда взять время. Столько у меня планов писать и рисовать. Надо тотчас же, пока ярко, т.к. я замечала, что от откладывания стираются образы и картины. Я тебе хотела кое-что послать. У меня совсем готова одна вещь для тебя, только занести, записать, а вот, стыжусь, до сей поры все не послала. А в душе уже совсем созрело. И даже в церкви сегодня еще все в душе звучало, так что я даже усилие над собой делала, чтобы не отвлекаться от службы. Но ты получишь скоро. Я напишу, как только уедут гости. Как хочу покоя. Ах, еще Оля[217] собирается с мужем. Теперь пойдет! В Гааге все бы хотели погостить, прямо спрашивают: «а меня пригласите»?

[На полях:] Ванечка, кончаю, т.к. 2 листа уже вышли. Под конец обнимаю тебя ласково и нежно и тихо, тихо прошу: «Голубчик, будь мил ко мне, не казни меня, мне так не достает тепла, — если бы ты знал!..» Целую. Оля

Стало очень поздно, ночь, пора спать. Устала.

Посылаю тебе гиацинтик — символ Пасхи, и примулку.

Целую. М. б. пришлю фото, если хорошо вышла, снимал один знакомый из Гааги меня с отцом Дионисием и мамой, когда он был здесь в Shalkwijk'е.

40

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

3.V.43[i]

Ванечка, Ванюша, Царевичек, дорогунчик!

Тоже: еще и еще «Воистину Воскресе Христос»!

Мне столько тебе сказать надо, а не знаю, с чего приняться. Твои письма от Великого Четверга, Великой Субботы... чудные, а после них... от Великого Понедельника[218] и маме... Ну, не коснусь их... За первые целую, а таких, как от Великого Понедельника... не хочу!

Поздравляю тебя с новопросвещенной, с новокрещенной и с новобрачными. (Находятся же чудаки и женятся еще!!) Но это именно — примечание в скобках!

---

[i] В оригинале описка: 3.I.43.

Жаль, что убого крестили Люси. Почему не потрудятся наши батюшки устроить как можно более богато впечатлением?! О. Дионисий делает это все же гораздо лучше. Он нанимает (пусть даже очень дорого) «бассейн для спортивных состязаний» и в день крещения взрослых велит спустить всю воду, «вымыть» (т.е. пропустить много воды) бассейн и наполнить его чистой водой. В 5 ч. утра с причтом и «бебе» совершает Таинство Крещения, погружая «бебе» совершенно в воду в длинной специальной сорочке. Сам о. Д[ионисий] стоит на сходнях и только рукой, кладя ее на голову «бебе», погружает последнее в воду. Таких крещений у нас очень много. Последнее Крещение было в виде исключения в церковном доме, в... ванне. Но чудно устроено. Я была в церкви уже в 8 ч. утра (обедня началась в 10 3/4), т.к. хотела побыть в тишине, и как раз было присоединение «язычницы». О. Д[ионисий] хороший миссионер, видимо. Стекаются к нему отовсюду. Большинство присоединенных — ученики русского языка. Через нашу литературу приходят к Православию. Ах, как жаль, жаль, что опять вот Пасха прошла, а мы врозь друг от друга ее встретили. Как радостно было бы вместе разговеться, ну хоть на 1—2 дня бы увидаться!

Мы были в церковном доме у матушки Розановой, навезли опять туда снеди, а дочки матушкины тоже навезли и получилось очень торжественно. Рядом в зале было другое разговение, устроенное с «ломом и переломом» г-жой Пустошкиной, так сказать официальное. Но супруг ее, староста церковный и не подумал там быть, а прикатил тоже к матушке. Ужасно противно-лощеный тип с его «светскостью». Например: вместо того, чтобы просто взять колбасы, которую я только что отрекомендовала, кривляясь, заявил: «О. А., каким Вы голосом это сказали... "чудная колбаса"... каждой ноткой дышит у Вас голос, и я вот захотел этой самой колбасы...» Дурень, ему просто давно колбасы не хватало. Были и у Вали, ели торт «его». А потом и сам явился. За то, что он любит такую Валю, сам в глазах моих поднимается. Валя — дивное созданье.

Но как же я убита этими убогими ландышами, которые ты получил. Ванечка, я не хотела и никогда бы [не] сказала тебе этого, но теперь я хочу, чтобы ты знал, какие они жулики у Andre: я перевела 15 1/2 гульденов. Что же, по 1.50 что ли один ландыш? Это же дико. Они скоро в природе будут. Не за расходы же такой процент?! Здесь мне показали дивную корзиночку в лентах и с растеньицами папоротника. Ну, и Париж! Кроме спаржи видимо гарнитура

не знают? Наш магазин до такой степени не жулит, я много раз там заказывала. М. б. не то посылают, но не крадут. Тогда на твое чтение я тоже послала заказ на большой букет. Это же хамство. Ну, что это... получается только символ цветов. Мне очень больно. И ты мне еще больнее сделал тем, что рассчитался с Елизаветой Семеновной. Как будто ты «отплатить» торопишься. Я Толену уже отдала деньги для перевода через его магазин, он думал, что это удалось бы. Или тебе за меня было неловко перед Е[лизаветой] С[еменовной], думал, что я «забуду»? Мне так обидно... Никогда я такого не забываю, и я не хотела Елизавету Семеновну эксплуатировать. Они с сестрой сами устроили недоразумение. Никогда я не люблю никому обязываться. Ты у меня отнял всю радость. К чему это?! Я плакала из-за этой обиды. И еще одну радость ты взял у меня... отнял единственность «Après l'ondée». Когда я душилась ими, я знала, что это только твое, только мне. Я ни от кого бы не взяла их больше... А теперь еще у Люси ты их будешь слышать. Но м. б. ты не поймешь меня в этом... Как не понял во многом.

Нет, я не знаю, живу ли я «во-имя», т.к. я не знаю хорошо, что это значит. Я поступаю просто по движению сердца, и если мне кого жалко, то я не спрашиваю себя, во имя чего это, а просто помогаю. И все равно, люди ли или даже телята, кошка.

А о болезни моей я уже писала, что она на 2, 3, 5, 10-ом месте, а тоска была безымянна. Болезнь же я свою никогда не считала смертной, не думала, что все кончено. У меня были другого сорта душевные муки. Нет, не я центр мира, а совсем, совсем иное. И я по-прежнему, нет, больше прежнего, готова «на костер».

Сама же я себе казалась ничтожной, до отчаяния. Очень много всего у меня было. Устно бы все тебе сказала. Ты бы меня понял. Но если тебе проще, приятней думать, что я — «центр мира», то все равно — думай. Но ты не прав. И ты, кто знает, отчего я страдаю, знает, что это не то. Но мне все равно, какая я. Всякое мое я — просто ничто. Я должна сделать максимум в жизни, что допустят силы, чтобы оправдать свое бесцельное бытие. По мере я стараюсь. Оставлю это... Когда твое чтение? Обязательно напиши. Не надорвись опять. Ах, то чтение! Оно тебя взяло от меня. Как я томилась от твоих писем. Ты, Ванёк, меня вот коришь, а сам у себя не видишь. Почти год, как ты меня «цукаешь». И кого-кого мне в пример не ставил!? Ну-ка подумай. Ведь я не дубина, и сквозь строки читать умею.

Какая бурная весна. Зловещая... Ветры, сушь. Эту неделю гостила у меня бывшая соседка наша с дочкой (4 лет). Я устала. Девочка очень умна и развита, но в глупых руках матери донельзя избалована. Никому не давала спать: колотила головой в подушку (!!) сотни раз, да так, что сломала кровать. Будто бы это очень забавно... говорила мамаша. Дура! А у ребенка коклюш. Заходится до рвоты. И такое биение головой! До 4 ч. утра однажды колотила. Ну, все, все это неважно. Ты, ты, мое солнышко, будь со мной, думай обо мне, пиши же мне! Люби меня! Я не буду тебе ничего говорить в упрек! Ну, ничего, что духи тоже Люси подарил, ничего, что с Елизаветой Семеновной «сговорился» (мне больно это!)... ты только будь светел! Я очень, очень хочу писать. Ах, время, время! Мне нужно еще как бы оправдать себя, что не «пустяками занимаюсь», если пишу, меня же, кроме тебя, никто всерьез не берет, как (хотя бы малюсенького) творца. Знаешь, у нас теперь нельзя выходить из дома с 8 ч. вечера до 6 утра. Никуда не пойдешь, а я хотела брать уроки живописи у Фальк'а[218а]. Бегу, телефон.

Опять гость. Я устала. До 1/2 8-го еще есть время, поговорить с тобой, уйти от суеты, а там опять: готовить, угощать, занимать... Устала я от этой суеты. Как радостно мне, что ты в субботу тоже причащался. Смотрю в окно... какие краски, как много солнца и ветер, ветер. А у нас опять корова больна, тяжелые были роды, по кускам вынули телку (!), а мать хворает. А та, умерла. Я ее через 1/2 часа кормила, все, что было повкуснее. Резала ей свекловицу. Она ее только и ела. Стонать потом стала. Думали, что от голодовки, и ветеринар сказал, а я думала, что она еще хворает. Однажды, вижу у нее — кровавая моча. Позвонила врачу. Нашли, что у нее болезнь почки. Не встала. И теленок погиб за 3 недели до теленья. Цыплят вышло только 5 из 15-ти (!). Остальных клока передавила. Полудохлыми выкинула я их. Никогда так не бывало. Все жалуются, что в этом году незадача. Я себя чувствую прилично. Боли в области сердца стали реже. Я тебе об них ведь писала? Почка пока что не шалила. 1-го мая приняла antigrippal и осталась еще 1 коробочка. У Арнольда был сильный грипп, да еще и есть, от него осталась тень, так он исхудал. Была кошмарная температура[i] и при том еще гости! Он только 3 последних дня с 39,5 слег, а кризис перенес на ногах... по упрямству, видимо. Я тотчас принимать стала antigrip-

---

[i] В оригинале: t-ra.

6 — 11249

pal. М. б. пронесет. Сожги письмо, не передалось бы и тебе... — Я твои ландышки поцеловала (в письме). В саду у меня взошли твои ландышки и будут цвести. Я так рада... Спасибо за адрес Вигена. Мы ему напишем. Ценный человек. Что же ты ничего мне не скажешь о твоем племяннике, как они у тебя с Frl. Zömmering гостили. Ты напрасно обиделся за конфеты[2186]: я серьезно это — они же испортятся. Дай скушать гостям и сам полакомься. А так они — никому. Ведь не долежат до меня. Это я не во зле! Я совсем, вся теперь нисколечко не во зле. А вот хочу тебя подразнить, подурачиться, пощенятить, пошалить. И обнять тебя. Забросать тебя этими летучими бело-розовыми лепесточками, что всю траву засевают теперь в саду, незабудками на тебя швырнуть, как конфетти, за ворот тебе их насыпать. У меня их много, много... садишка голубой, нежный. В ладошки бы хлопала, от смеха бы прыгала, глядя как ты их отряхаешь. Живые конфетти. Ах, тополи какие чудесные, золото-бронзовые на солнце, ходят плавно в небе, по голубой эмали. До того красиво. Такие клейкие, лакированные листочки... пахнут как ладан. Как хороши твои пасхалики, передо мной стоят... Ванечка, пиши мне нежно, — мне так не хватает ласки! Я не могу жить, когда ты уходишь, сердишься, раздражен. Я всегда страдаю. Пиши мне, не забывай... А «Пути»? Ты же их не бросил? А письма мои... они «постылые»? Не верю. Ты меня манил «Трапезондским коньяком» — пришлешь? Если не трудно... А «Рождество в Москве»? Твои вещи, написанные «при мне», мне ведь особенно интересны. А я их и не знаю. Я ошиблась, предположив, что ты написал «мне» «Михайлов день» — он уже *до* меня был? Это из прежнего? И это не то, что моя современность. Хотя я и рада, рада безмерно, польщена, удостоена, но... все-таки я, помню, огорчилась, узнав, что «Михайлов день» «уже был», не со мной родился. Что ты пишешь сейчас? Досадно, что А[нна] В[асильевна] не работает у тебя. Кроме всего прочего, очень дорого она тебе стоила, по-моему, — я тоже так платила поденно, но гораздо выгоднее взять по-недельно кого-нибудь, по крайней мере здесь так.

4.V.43 Ветрище окаянный сегодня. Целую, Ванечка, тебя нежно. Оля

Бестолковое вышло письмо.

[На полях:] Молюсь о Катюше.

Прости карандаш!

41

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

14.V.43

Милая Олюша, давно не писал тебе: был в хлопотах, и — подавленность от письма 25 апр. Последние письма, 5-го и 6-го[219] — из подлинно «Олиных» писем, и это меня разрядило. Вчера, пользуясь первым, почти жарким, днем, ездил в Сен-Женевьев, где не был с... июля! И болезнь, и холода — мешали. И этим был подавлен. Ты всегда писала — будь со мной прям, открыт. Я всегда прям и открыт, слишком даже раскрывался, — мое свойство, много тяжелого мне приносившее в жизни, — я плохой политик. Этой чистоте в слове-мысли-образе благодарны читатели: даже творческим вымыслом я не обманывал: он рождался «внутренним вИдением». И вот, открытый в письмах к тебе, я всегда получал — «не казни», «злые письма», «злишься». Конечно, не безгрешен я, не свят я. Но я всегда говорил сердцем. Ты вон и мой больной палец сочла за «византийство»! Это когда я был без прислуги и должен был все для себя делать! Твои письма последних месяцев были, поистине, «от гололеди», хуже: они были — пу-сты-ми, бесплодными. Ты же писала: «даже твои ласковые письма меня не согревают». Просто, они были уже не нужны. Вот, что такое — «гололедь»! И я старался ее растопить: смотри письма! Если ты еще не утратила чуткости, они скажут тебе, казнил ли я или — был в тревоге за тебя. Редко пишу..? Беру, что под рукой, — от 10-го окт. прошлого года. За это время по 24 апр. ты получила 39 закрытых и 10 открытых. От тебя за этот отрезок — 30 и 6. Об объеме и не говорю. Как и — о содержании. Я не гололедь. Я не писал тебе, что твои письма мне безразличны, а тебя даже начатая работа над продолжением заветного труда — никак не обрадовала. Ты даже не отвечала на повторный запрос, получила ли фото в письме от 11.III[220], профиль с бородой. Вот как тебе мое стало безразлично. Ты, должно быть невнимательно и читаешь. Не раз просил я передать привет и похристосоваться с мамой и братом. Безответно. Ну, ко мне привыкли, примелькалось. Пусть так и останется. Про-шу: пусть так и остается, я не живу внешне. До сего дня, — до последнего твоего письма! — так и не захотели принять цветов. Конечно, они уже не интересны: примелькалось. Я писал 7.IV[221], заказную открытку 10-го IV[222], — она-то во время попала! Заплатил твой долг — 250 фр. — не ради тебя, не за тебя, а дознался у Елизаветы Семе-

новны, сколько и — еще не дошли, и свободно мог просить купить для тебя цветы. И до 6.V — впустую мое движенье сердца! Хорошо. Я прошу — больше не посылать ни-когда. Поверь, что мне приятней, — ближе! — твои сухие цветочки — в искреннюю минуту вложенные в письмо. Кстати, парижские цветочники не принимают уже комиссии, с 8 марта, и мне некому переслать просьбу о цветах. Некому! Я лучше буду сам себе во имя твое покупать себе — как бы от тебя! — что приятно душе. И ты, если хочешь, так поступай. Про-шу. Я узнал о твоем возмущении жадностью парижского цветочника, показал специалистам-цветоводам тот голый горшочек, который прислал Андре Боман[1], на Пасху. Они определили — самое бо-льшее — ну, сто франков. Ты же внесла «Авроре» в Утрехте — 15 с половиной гульденов! Значит, помимо комиссионных, помимо торговой нормальной прибыли, парижский глот положил твои 9—10 гульденов, как недоборосовестную наживу. Нечего им потакать. Я перед Рождеством внес А. Боману — 300 фр. и 60 фр. комиссионных. Что тебе доставили! А твой «большой букет» лучших роз к моему чтению! И это — в июне! Меня всегда раздражает недобросовестность, и я не хочу и не могу этому помогать. Мне некого просить о содействии, опыт сделан.

Да, ты невнимательно читаешь письма: я причащался в четверг, а не в субботу. В субботу я крестил невесту Ивика. Кстати, о твоем восторге «пиром веры». Я не разделяю, я возмущен. Это — «постановка», а не таинство. Вести к таинству в... спортивный бассейн! Туда, где всегда «свидания», похабство, где сами стены пропитаны плотскими испарениями и прочим... — как ни сменяй воду — места не сменишь. Это — «самолюбование» и «бумм»! Тут и другое: лю-бо-ва-ние! Молодой нарочитый «монах» доставляет себе щекотное — о, о-чень сокрытое, может быть даже от сознания его — «сладострастие», нечто подпольное... может быть. Во всяком случае это — реклама! — столь чуждое духу православия. Уверен: ни один здравый иерей этого не допустил бы. Это — позор православия, а не «пир веры». Это скорей — в духе католичества, такая шумиха. Почему, непременно, надо «погружение»? нагота в сорочке? — в мокрой-то — сквозится сокровенное! — тут, при крещении взрослого, довольно и «символического» освящения водой и Духом. И сколь же чисто и благодатно было креще-

[1] В оригинале: Андрю Бауман. Далее исправление не оговаривается.

ние Лукианы в бедной церковке, без «зевак», поливанием на главу, батюшкой, — монахом строгим, уже немолодым, глубоким человеком — познавшим и науки, и — веру! «Базар-крик» не свойствен Православию, как выстрелы из ружей — петарды, пускание голубей, и прочее у римских католиков. Меня отталкивает такая «труба». И — глупо, да, глу-по! Ты не вообрази, что я чем-то тут раздражен, не припиши еще мне мелкого чувствишка, в отношении к нарочитому монаху! Смешно и — тоже глупо. Но вот что не смешно и не «глупо»: это твое краткое поведание о «Святая Святых», о твоей исповеди у Святого Гроба Распятого за ны. Вот что отняло у меня волю писать тебе, пока я не переломил себя, хотя бы и после твоих ласковых двух последних писем. Вдумайся! Ты была в состоянии явной истерии. Ты не смогла почувствовать святотатственную сущность совершенного при твоем невольном участии. Но ты, повторю, была — жертвой недуга. А нарочитый, — может быть и сам недужный — совершил гадкое, страшное даже. Знаешь, тут — в с е — от надрыва и — у нарочитого — от выпирающей... похоти. По-разному это проявляется! Я не стану вдаваться в глубины сего: это — из сферы, присущей иным героям Достоевского, самым-то гадостным больным. Может быть и Достоевскому, который, описав, выплевывал из себя мучившее его. Тут — на народный аршин — голое хлыстовство — радение, тут — Гр-распутинство[223]. Может быть и бессознательное. Но у меня е с т ь «ключ» к объяснению. Не первый раз эти «духовные» — !! — «поцелуи-касания». Ты писала мне. Значит, эти «прикладывания» обращали твое внимание, были тебе, как бы, отличительными, ты с ними считалась. Иначе — зачем бы и сообщать?! Ты еще писала: никто (и ничто) не может тебя п о н я т ь и успокоить: только «нарочитый» — твое словцо! — мо-жет. Он в с е понимает. Вот какой умница, какой понятливый! Ты знаешь: опыт подвижников — за многие века — и всюду!! — ни-когда не позволяет — не допускает! — молодым монахам — пусть и иереям — ранее чуть ли не 45—50-ти лет! — быть духовниками, «старцами». Они руководствуются и учениями Св. Отец, между прочим — особенно — Иоанна Лествичника[224]. Там очень все глубоко и сложно. Монахам молодым не дозволено читать в с ю Библию, например. А тут — все дозволено, сверх-дозволено, без подготовки. Крестить в спортивном бассейне, в «публичном доме» почти... — девиц в рубашечках, мокрых, сквозных... а тут на духу выслушивает нарочитый интимные признания, для него-то раздражающего, подчас, содер-

жания, — не о тебе речь, я не знаю, как ты раскрываешься на духу, — м. б. в состоянии нервного распада, истерии — до-гола! — а нарочитому — при всей его напряженности остаться «духовником» — разжигающе-опаляюще сладостно-больно... некий духовный блуд. Ты можешь быть — бесспорно, — очаровательна. Ну, как же быть бедному голодному монашку-сластолюбцу! А он-то ведь сластолюбец, я в и ж у! И многое я знаю... да! Сластолюбец... и до сладенького пирожка охочь, маменька пичкает, з н а я слабость своего нЕщечка[i]. И до «мясца» запретного охочь. А тут вдруг молодка, от которой вон кружились и более изведавшие «сластей» головы. И вот, произошло величайшее непотребство. У Плащаницы, в Великий Пяток. И, конечно, ночью, или поздно вечером, в пустой, понятно церковке... ибо на людях сей нарочитый не отважился бы на «жест с макушкой» — молодой женщине. Вдуматься только!.. Никогда ни один старец, истинный, ни один Святой не мог бы отважиться, дерзнуть на такое. Ни-когда. Это м. б. бывало в исповедальнях у «аббэ»[ii], в парижских и прочих модных «Мадлен» с «глубоковерующими дамами света и полусвета»... — но это не могло быть и не бывало с русскими женщинами и у православных пастырей. Русская женщина целомудренна... как ты... — ты тут ни при чем, — я говорю это твердо! — ты была — н е т ы, ты н е сознавала! Но «нарочитый» обязан сознавать. Мне уже и раньше многое в нем казалось странным и «укрытым», вплоть до его «стояния ночью у Св. Гроба». Тут тоже некое «уклонение». Тут «натаскивание себя», как это делается у хлыстов. И этот «хлыст» мог бы тебя посвятить в «хлыстову богородицу»[225], при твоем омертвении и разъятости. Берегись. То, что совершил нарочный, отвратно, неповторимо. У меня такое чувство, будто я проглотил такое гадкое... такое... — ты не подумала об этом? Ведь это «моленье вместе», голова к голове, может быть даже с «касанием», для нарочитого-то было верхом сладострастного упоения... — иначе как же принять этот «пригробный поцелуй в макушку»?!! Ты когда-нибудь видела, что духовники целовали своих — чад духовных, особенно молодых женщин?! слыхала ты?! Ну, так спроси у более опытных. Когда я одному духовному отцу (не моему!) рассказал о твоем случае, заменив лиц жизни — выдумкой — и дурной — оголтелого беллетриста, — *«читал где-то, давно»*! — он возмутился духом и

---

i Сокровище, любимое существо (*рус., диал.*).
ii «Аббат» (*от фр. abbé*).

крикнул — «ах, мерзавец!! какую ложь, какой пасквиль на духовенство!! должно быть этот сочиняка из жидов!» Позор, и гнусный позор. В страшные часы воспоминаний Страстей Христовых, после «плача Богоматери»[226], тут, у *умученного за ны* — такая гнусная идиллия... слияние слез и — поцелуй! На людях дерзнул бы?! кто дерзнул бы?! Никто и никогда. А сей — дерзнул. Ибо — одержим «бунтом плоти», похоти, сладострастием. И все это выпирает из-под покровов «духовной любви духовного отца к духовной дщери», из сокрушения за несчастную, из глубочайшей жалости! Так-таки и нельзя без «поцелуя в макушку»? Никак нельзя? Или — признаная — это была «эмоция»? Но, ведь, где же предел таким «эмоциям»?!! Это подлое воровство «сластишек», без риска ответа: ночью, втайне, при такой «разъятости» исповедницы, при такой ее наивной искренности и чистоте! Да, я тебя ни пылинкой не коснусь в этом, ты — в н е сего. Иначе ты не сказала бы мне. Хотя... — ты тут ч т о - т о чувствовала, (очень глубоко, где-то в подсознании) что-то... «необычайное»! Воистину — необычайное — ибо это величайшее святотатственное кощунство и надругание над Святым — *ты тут же и написала* — *«лучше* больше не говорить об этом»: ты как бы предчувствовала мои «раскопки». Да, я всегда вглядываюсь в слова и дела людские, привык так. А раз в игре ты, кого я люблю в е р н о, как же тут-то мне скользить поверх? Ну, теперь оставим.

Хорошо, что приняла, наконец, антигриппаль. Если бы была точна раньше — не было бы последствий гриппа. А ты болела им. Последствия гриппа, нераспознанного, небрежение себя, когда он оставил следы в бронхах и легком, для многих были печальны, вплоть до ползучего воспаления легких. Будь же осторожней. Я тебе пошлю, если будет оказия: заказал. При гриппе на исходе необходима проверка врача, нет ли «залежей» в легких. Иначе — возобновление и — по-жар! У тебя же еще и кровотечения. Пришлю, если ты не болела брюшным тифом — и против тифа, тоже глотанием, без температуры! Страховка на 1 год, надо повторять каждый год. Но это *лучше, чем обычная прививка:* жар сильный, а у тебя «последствия».

Не упрекай меня в охлаждении: ты надумываешь, этого нет, я-то знаю, и я прям с тобой. Я не всегда могу писать лирические письма и жить «вскриками». Мое чувство к тебе стало глубже и сильней. А тебе нужно — внешнее выражение? Вдумайся. 2 года «вскриков» — а дальше..? — «Вампука»[227] словно — «бежим-спешим», на месте. Ты

меня мало знаешь. Разбирая архив, нашел статью Бальмонта: «Шмелев, кого никто не знает»[228]. Т.е. — внутренний, «устный». Он узнал — и написал. По его словам я — живой — непередаваемо. Моя речь и движения, по его мнению, дают то, перед чем отступают все мои писания. Ну, ему судить. Статья была напечатана.

Олюша, я тебя люблю, я — твой, в е с ь. И жалею тебя. Прости мне мою прямоту, но я не могу иначе, — ты для меня — свет, моя бесценная. Люблю. О-сень... о-сень-осень. Сережечка так говорил. О, как мне грустно, как горько — не увидеть тебя. Господь видит.

Твой Ваня

[На полях:] О частном — Напишу через 2 дня. На маму я не обижаюсь — понятно, замотана, как ты — и вот вы.

Получил жасмин — и думаю о тебе, вдыхая.

Анна Васильевна снова приходит (2 раза в неделю), ем я сытно, привык все для себя делать, здоров. Но очень все же мешает работе моей.

Уже написал письмо — подали (в 5 ч. дня) твою открытку![229] Опять больна?! Ну, вот... Не смей вставать до срока! Это последствия гриппа (хорошо, что приняла antigrippal!) У твоего А. или брюшной тиф, или верней — «залежи» в легких. Банки!!! Дурак ваш врач. Банки — подряд три дня, на-ночь!!!

42

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

25.V.43 г.

Дорогой Иван!

Твое письмо от 14-го я получила 20-го и не могла, не имела ни слов, ни духа, ни сил, чтобы на него ответить. Но теперь делаю все же это, ибо случилось одно обстоятельство, показавшее мне всю ненадежность и тщетность дней наших и еще, что есть вещи, которые мы о б я з а н ы выполнить «пока еще с ближним своим на пути»[230]. Скажу коротко: в эту субботу я случайно наткнулась на опухоль в правой груди и подмышкой[231], в воскресенье местный, домашний доктор посмотрел и, т.к. я сама многое понимаю, не стал лукавить, а без обиняков высказал свое мнение, утешая впрочем успехами в области хирургии рака за последние годы. Он не совсем исключал возможность и чего-нибудь другого и для подтверждения диагноза послал меня тотчас же, рекомендуя сделать пробную вырезку опухоли,

к известному хирургу-специалисту в Утрехт. Мы на лошади туда и ездили в праздник же. Но это все не важно. Но за этот день пытки я многое взвесила и продумала, будучи одна в своей комнате. И, конечно, это твое письмо... Мне жутко от таких плодов твоего воображения. Но не о произведенном впечатлении им на меня я хочу тут говорить, ибо об этом можно сказать одной строкой: ты говоришь, что у тебя «чувство, будто ты что-то отвратительное проглотил», ну так вот — это ты плоды своей собственной фантазии проглотил и заставил меня это же отвратительное проглотить.

За обязанность же я свою почитаю (и положила это сделать в незабываемое это воскресенье) сказать тебе, что все, решительно в с е — твой вымысел.

Страшная, воистину страшная к л е в е т а.

Поверишь ли ты мне, или твоему болезненному воображению — дело твое. Духовной и интимной стороны всей истории я не хочу и не смею больше касаться, тем более, что д о к а з а т е л ь с т в тебе, кроме в е р ы никаких дать не могу. Если ты мое отношение ко всему, как к Святая Святых, объяснил моей боязнью перед «твоими раскопками», то ч т о я могла бы тебе сказать?

Из фактов могу тебе сказать, что никакой «укрытости» не было и никакой «пустой церковки», а наоборот — стояли исповедники, ожидающие очереди и слушали громко читавшееся правило. О.Д[ионисий] совершенно открыто себя вел. Можешь об этом факте спросить Сережу, который исповедовался много спустя еще и меня и стоял с прочими. Как можешь ты толковать о какой-то моей «разъятости», не имея никакого понятия ни о моей исповеди, ни о состоянии моем?

Эти чудовищные и страшные слова твои объясню себе твоим незнанием меня лично. И пока что вообще не хочу касаться никаких моих чувств и переживаний.

Я знаю, что ни в чем никого нельзя переубедить, и если ты т а к все видишь и т а к веришь, то Бог с тобой, но я утверждаю, что все от начала до конца *вымысел*. Страшный, какой нашептать мог только сам дьявол. Для меня не нужно ни извинений, ни объяснений, ибо не я здесь главное. Но если ты не захочешь увидеть правды, то я верю, что если не передо мной, и не здесь, то Там, перед Н и м, за подобное ты понесешь ответ и из этого ответа увидишь, где Правда. Больше мне нечего сказать. И трудно. — Завтра я назначена снова к хирургу, а эти дни была дома, чтобы мерить температуру и беречь руку (я ей собственно

н и ч е г о не должна бы делать и писать), чтобы проверить опухоль. Хирург склонен думать не инфекционного ли характера эта опухоль, от ранки, бывшей на моей руке[i]. Узнаю все завтра, если ему все будет ясно, а м. б. меня-то и обманет?! Пока что он очень утешал, склоняясь к инфекции. «Домашний же врач» очень переполошился и поставил мою почку тоже в зависимость, ибо хирургу уже было все обо мне известно, когда пришла. Рано утром вчера звонил мне, чтобы узнать, что и как.

Ну, на все воля Божия. Будь здоров. Оля

26.V.43 г.

Только что вернулась от доктора и «не стала от того умнее», как здесь говорят.

Сегодня у него и речи нет о возможном воспалении. Он предложил завтра утром оперировать грудь, будто бы[ii] дело получаса, под местным наркозом. Я ему теперь мало верю, т.к. не могу объяснить себе его оптимизма в воскресенье, а теперь он его будто бы забыл... Опухоль он отдаст на исследование гистолога, — тогда, где же его уверенность в незлокачественности[iii]. Ну, увидим. Ничего не поделаешь. Что уж есть, того не изменить мне. После операции обещает отпустить меня тотчас домой. Но, когда я спросила, будет ли резать и под рукой, то сказал, что «ну для этого надо будет лечь в клинику»... Не пойму ничего: собирается что ли все-таки резать после? И тут же сказал: м. б. под рукой само собой пройдет.

Но вот другое: в воскресенье следующее (30.V), едет Фасин муж, совершенно неожиданное получил разрешение. Я в субботу хотела все ей послать, но теперь не знаю, смогу ли все так устроить, как бы хотела, м. б. все-таки нездоровиться будет*. Вряд ли смогу завтра рукой работать и писать. И письмо тороплюсь отправить сейчас же, т.к. самим надо являться, а смогу ли я завтра путешествовать.

Ну, всего доброго. Будь здоров.

Помолись. Оля

---

[i] Подчеркнуто И.С. Шмелевым, его помета: ?

[ii] С начала абзаца и до этих слов фрагмент письма выделен И. С. Шмелевым. Его помета: !! Господи.

[iii] Подчеркнуто И. С. Шмелевым. Его помета: ?!

* *Но я пошлю все, что смогу. Пошлю, хоть Тилли.*

43

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

2.VI.[1943]

Свет мой, Олюшенька моя дорогая, я так подавлен твоим душевным состоянием, — вместе с тобой в тревоге, понимаю это т в о е, все твое, все сам не раз переживал — и ско-лько! — за все эти годы, когда болезнь моя вспыхивала, и врачи чуть ли не приговаривали меня... — я-то видел, хоть они и не говорили ясно. Сколько раз грозило мне, — и Бог миловал. Мне больно знать, что ты опять (это же не раз было!) считаешь себя чуть ли не обреченной. Родная, детка моя, не томись, веруй! — тысячи врачей тысячи раз ошибались и будут ошибаться. Как смел ваш уездный врач тебя встревожить?! — это или дурак, или — паникер, нервяк и неуч. Не знает, что во всей болезни главное — самочувствие больного, а он, ничтожный, не имея твердых данных, ошеломил тебя! Не врач, а — ничтожество, полоумный. Всякие бывают опухоли, — особливо у женщин, — а у тебя и особенно, ибо ты в с я — необычайна, со всей твоей «физикой» и психикой. Возможно, (я же не доктор и, понятно, могу лишь предполагать!) что и вся «опухоль» — какой-то преходящий воспалительный процесс, — м. б. в области лимфатической системы, — область внутренне-грудная так связана с мышечной! — причем и t^o не показатель, может и не проявляться. Очевидно, это как-то сразу проявилось (м. б. даже и на почве нарушения обмена веществ, ненормального питания... (ты, думаю, постилась!)), — теперь всякие опухоли — очень частое явление! Уверяю тебя, ибо знаю случаи. А ты вот слишком много знаешь из медицины и анатомии и, как студенты-медики, проходящие курс терапии, находят у себя тьму всяких (и самых страшных!) заболеваний, так и ты, нервка, чутка и — суеверка милая! — сейчас же за страшное. Где основания? Выводы из слов и жестов врачей?.. Умница, да ты же отлично (когда разумна) опрокинешь сама свои набеглые предположения. Помни и повторяй: «Господь мя пасет и никто же мя лишит»![232] Недавно был случай, переполошили семью — скорей, скорей... резать... (была опухоль в груди у молодой женщины, лет 37—38). Сделали, удачно. И... — после гистологического исследования — нашли совсем не злокачественное. Студент 2—3 курса медик мог бы по одному присутствию подмышечной опухоли найти у себя «признаки» бубонной чумы! Я молюсь за тебя (и на тебя молюсь, Оля!), я болею т в о и м душевным состояни-

ем — и что-то мне говорит внутри, что Господь будет милостив к тебе... — и ко мне! — хоть я-то и недостоин Его Милости. Твои тревоги-боли — мои же! Да... Знаешь, я все эти недели был сам не свой, как и ты была — сама не своя. Были и светлые промежутки, но большей частью я был «не у себя». С 16-го мая я был болен (простуда), и 10 дней валялся дома, потеряв вкус к еде и делу. Недомогание, вроде инфлюенции. И погода была серая, с ветрами. Я привел лишь в некоторый порядок свой литературный багаж, собрал напечатанное, но еще не изданное книгами, и увидал — почти 5 новых книг! (с неоконченными оставленными романами — «Солдаты»[233], «Иностранец»[234]...) Все эти дни твои душевные волнения мне передавались, знаю... — о, тоска какая! —

Сейчас я, несмотря на твое письмо, я куда светлее... Оля, одно верное у нас — Господь, Святое. Ты счастливей меня: о, как трудно мне полной душой молиться! Как я говел... ?! Стыдно мне. Теперь скажу тебе, детка: я был так душевно опустошен, что не нашел сил пойти к Светлой Утрене! Да. Так одинок был, так — оставлен. Твои милые ландышки... — одни они светили мне. Я их — 15-го мая — отвез на дачу племянницы[235] и там посадил в зАтени. А через день заболел. Я мучился гадким письмом своим, клял себя... — за-чем я так?! Ты права: это дьявол распалил мое дикое воображение. Прости, родимочка Олюша, прости. Чистая, светлая моя, святая... Прости безумца. И не поминай. Я все зачеркнул. Дивлюсь на себя, какой я пламенный и безоглядный, «несущийся» (по Достоевскому)... — до сей поры, до подлинного «склона дней»[236]. Не укаталась Сивка. А пора бы. Оставим, забудем, гуля моя, голубочка. Я с тобой, чутко, близко, нежно, весь, весь с тобой, — моя непостижимка, — о, какая ты сложная, какая насЫщенная знаемым и незнаемым. Да, ты права: я и до сей поры не постиг всей тебя. И потому — срываюсь. А ты снизойди от сложности своей, от загадки в тебе — к моему подчас восторженному недоумению перед тобой — и прости. Теперь многое отошло, теперь ты — часа сего Оля, и только тревогой твоей пронизан, только и живу — тревогой твоей и твоей надеждой. Надеждой — сильней. Ты должна быть, ты будешь здорова! И ты скоро напишешь мне, что ты успокоилась. И я успокоюсь. Я эти дни все порывался вложиться в «Пути Небесные»... — и все чего-то ждал. Да, я ждал твоего письма, и когда сегодня, в 6 вечера, получил, — боялся открыть его. И потом, прочитав и перечитав... — сидел, оглушенный... болью твоей пришиб-

ленный. И вот, к ночи мне стало легче... а теперь еще легче... — я же с тобой, и ты — со мной, вот здесь, так близко, так тепло со мной, так ласково, так светло-тихо, — со мной, во мне. Олюночка моя, дай твою головку, усталую, истомленную, я прижму ее к сердцу... я глажу твои косы, твои височки... свет глаз твоих вбираю, и мне тепло, и свет мне — твой, Оля, свет, — вечный свет твой, пресветлая моя! Прости твоего безумца. Я тебя ни в чем не винил, не смел, не мог, — ты вся для меня во святой броне. И всегда была, как открылось мне твое сердце. А если я загорался, так это от дурного во мне, — во мне! — Прости, голубонька. Со слезами пишу тебе: прости.

Не поддавайся, не теряй воли, не шатай веру в себя — веру в свое чудесное.

Письмо это придет м. б. ко дню рождения твоего. Господи, помоги же, чтобы день этот был светел в душе-сердце моей Олюши, Ольгунки милой. Господи, пошли ей здоровья и радости и счастья — славить Тебя, Тобою дарованными ей силами! Да будет. Целую тебя, Ольгуночка, нежно, свято, благостно, чистоту твою целую, боль твою снимаю... крещу тебя, всей силой, во мне живущей. Если ты почему-либо не будешь иметь возможность написать, пусть мама хоть открыточку мне пошлет. А я с тобой, всегда, — всегда ты будешь меня слышать, я буду неотрывно — возле. Буду чаще писать, не ожидая от тебя. А за все дурное во мне — прости. Ведь ты чутка, и не обманет тебя сердце: твой Ваня тебя любит и безмерно ценит. Только он все еще взрывается, глупец, неуемный, — горько и смешно мне — за себя. Но ты понимаешь, ты — простишь. И не могу послать цветочков тебе. И не знаю, будет ли завтра открыта почта (Вознесение и у иноверцев). Да хранит тебя Господь и Пречистая... о, милая, светлая моя... если бы Господь дал мне сил молиться за тебя!

Целую, крещу сердцем, весь с тобой.

Ваня

Утро 3.VI Сейчас посылка от mr. Tholen. Спасибо, милая Олюша, но я же все, все достаю! А лекарств никаких не принимаю. Сейчас хочу поехать к Т[олену] и попытаться передать духи, яички, лекарства, книгу и pastilles Vichy — для тебя. Возьмет ли?!

[На полях:] Был у Толена и, как всегда, не застал. Просил передать ему посылочку.

Почта закрыта, пошлю завтра.

44
О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

[19.VI.1943]

Милый Ваня! Мне очень трудно писать, но все же, хоть строчку сама. Операция была очень большая: ампутация груди, удаление железы под рукой (правой) и маленькая операция выше локтя.

О том, что я изуродована, что больно все, (даже правая сторона лица), говорить не приходится, — это все «нормально». Надо благодарить Бога за очень многое:

1) чудом открыла я опухоль рано;

2) операцию делал удивительный доктор[237], когда-нибудь опишу; — коротко о нем нельзя;

3) все условия, при которых была операция и та легкость у меня, с какой я пошла;

4) наконец то, что я была последней им оперирована, а потом он должен был уехать, а теперь болен. Он — знаменитый хирург тут, и точно, что ему подсказывало: очень торопил *до* отъезда своего. Вчера через ассистента передал мне, что первое, что сделает, как сможет выходить, это навестит меня, — надеется через несколько дней, даже если еще не в состоянии будет работать.

Что будут со мной делать дальше — не знаю, не спрашиваю. Кажется, рентгеном лечить.

Не задаюсь также больше и вопросом о том, ч т о было... К чему?

Доктор хороший психолог. Изъял из всей истории нашего «домашнего врача», сказав Ару, что тот меня только навинтит и ему работу отягчит. И домашний врач исключен. Он только был у меня как частный посетитель.

Невозможно писать левой рукой и устала.

Коротко: по-немножку встаю. Маленькое осложнение: вода собралась на месте, где была грудь (будто маленькая [грудка]) а так даже до углубления выскоблил.

И ранка выше локтя плохо затянулась. Но все это тоже почти «нормально».

Забыла самое главное-то!! Doctor после операции позвонил Ару и сказал: «операция прошла так, как я только мог желать». И еще похвалил меня за храбрость.

Вот и все.

А теперь надо поправляться, хоть и не легко: — не могу есть.

Спасибо тебе за все доброе.

Будь здоров! Крещу. Целую.

Оля

P.S. А я знала, что заболею. Маме сказала незадолго.

P.P.S. Ах, да, — Толен не взял еще 2-х пакетов масла, 4 пакета лекарства, банку меда, kilo ветчины, очень хорошей, сама коптила и солила (наш мясной паек, — на целый год дают, что полагается, так что я научилась хорошо солить) и яичко с картиной Кремля *не* взял, несмотря на скандал его жены. Говорит, что не пропустили бы. Твое последнее мне тоже не взял. Но я благодарю тебя за желание.

О.

45

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

25.VI.43 12 ч. дня

Дорогая моя Ольгуночка, как я рад — от тебя письмо вчера вечером! С 9.VI — открытка мамы от 2-го, — я был в томительной неизвестности, намучивая себя, не мог места найти, думать уже не мог здраво — в томительной тревоге. И потому, с 10—11-го, когда послал тебе письма с рассказом «Трапезондский коньяк»[238], — получила? — не был в силах писать. Эти жгучие думы, как прошла операция... Господи! Боялся осложнений, лезло все в голову... не недуг твой, — он миновал уже и не вернется, верю, верую... а как ты перенесла все, как ты — вся, вся... — все лезло в душу. Как сердце, как душа твоя... — ну, что говорить: ты, чуткая, знаешь меня — себя (мы так похожи внутренним своим!) — и представляешь, что переживал я. Да, как и ты, я верю, что Господь был с тобой — во всем. Ты будешь жить, ты будешь радостная, здоровая, ты найдешь волю — и жизнь обернется для тебя светом! Помогай же выздоровлению, укрепляйся: спа-семся! Так, верю, дано. Пройти через муки, сомнения, тревоги, — и укрепиться, омолодиться духовно и душевно. Свет мой ясный... ты — многим-многим — свет, тихая моя звездочка, далекая. Если можно только это... — я тебя еще сильней люблю, чище, глубже, дорогая Ольгунка. Когда будешь сильней, напиши мне все, что скажет сердце, меня все, все за эти дни с 31 мая, что было с тобой, томит — все знать хочу, все твои чувствования, — будто это мои, и так все мне дорого, до последней черточки, — это мне даст как бы отшедшее, как бы тебя самое, как бы я сам все эти дни был с тобой.

Меня до боли прожгло, когда я узнал, что этот закостенелый Толен отказался взять мой пакетик для тебя, — только из твоего письма вчера узнал. Меня не известила та дама, у которой я оставил посылочку для передачи Толену! А как я просил ее! И я был почти уверен, что ты все получила, и был рад твоей маленькой радостью. И вот... что за люди! Все — только для себя!! Ничто не изменит этих господ «европейцев». Они лишены сердца, способности вживаться в чувства — не ихние. «Каждый для себя» — вот вечный девиз их. И отзовется (и отзывается!) такое предельное шкурничество! Не будет счастья г-ну «Толену» — в самом широком значении. Посылка — для больного человека, — знал же он! — хотя бы и сквозь толщу-шкурность свою! — для доброй знакомой его жены, — и так поступить. Хотя бы что-нибудь мог взять! Хотя бы только лекарства, пасхальное яичко! Отобрали бы... Пусть, надо было пойти и на это. Это лишь отговорка. Для своей Фаси он, конечно, забрал все, что хотел. Милые духи для тебя... сколько я их добывал, хранил, ждал случая! Он мог бы открыть их, как свои. Не захотел. Шкура. Он получит воздаяние, — и ско-ро. Я это чувствую. И я хочу этого, х о - ч у. Мало им, толстокожим... — будет больше. Ах, Олёк... все возмерится. И уже возмеряется. Прочуй, как только ты умеешь читать меня... — прочти «Чудесный билет»... — из «Про одну старуху». Вчера почему-то попалось мне на глаза... — «Губить пойдут — а мы спасемся!»[239] Там ни одного лишнего, пустого, слова нет, — так ясно я увидел. И сам, себе, вслух, о д и н, прочитал вчера, — перед получением твоего письма. Прочти. К сему идет. Я — во многом (за эти месяцы) сделал пересмотр — из моего душевного склада. Да, я, как всегда, брал не рассудком, а чувством... — не — «как должно быть», а... — как хотелось, чтобы было. И — поплатился томлением тягчайшим. Плачусь. Но меня не оставляет в е р а, то что-то, что во мне «шепчет». Ну, как мой рассказчик перед группой фонтана Святого Михаила-Архангела на парижской площади. А ОН — «спасемся»! Вопреки всем толстомясым «голландцам» и прочим г л у х и м и слепым. — Ах, скот этот Тюлень-Толен! Ну, отобрали бы... Подумать, какая важность. Но для них — вещи — все. А сердце ч е л о в е ч е с к о е — они его не видят, не могут представить, они слишком узки и сухостойны, слишком лишены воображения-чувства.

Завтра я напишу тебе, а сейчас надо ехать по «злобу дня сего», для пропитания, по пятницам я получаю особый творог, ехать далеко, заеду за моим пакетом к этой «H o l e r'e»[240] —

приятелю той «холеры-остолопа». Так ты и не получила «Под горами»! Теперь я вложусь в «Пути Небесные», буду писать гОном. Я спокоен за тебя. Не оставляй меня без писем. Не сможешь если — пусть мама, хоть две строчки. Господь с тобой, моя светлая. Целую. Ваня

Дари погребена в Шамордино[241]. Вчера была у меня пожилая дама[242], которая в и д е л а могилку Дари и ее посмертное фото.

25.VI.43 10 ч. вечера

Не пришлось послать, и вот, дописываю. Волнения за эти дни томлений сказались разбитостью, слабостью. Вернулся домой вареный. Не заходил и за посылкой незадачливой моей. Боже, как я убит этой незадачей, — как думалось — вот моя бедняжка будет читать мое, еще нечитанное, будет вдыхать «Душистый горошек», любоваться новым «пасхаликом», так запоздавшим... и Vichy-pastilles будет хрупать... а «cellucrine» так нужен тебе, для укрепления... — и вот! Сердце сладко, до щемящей боли, понывает, как представляю себе тебя, всю затерзанную тоской, тревогой неопределенности — до операции-то! — и ты, в эти часы, ду-мала обо мне, в заботе обо мне, ничтожном! Родная, ласточка, свет вечный мой, святая детка... Да что обо мне... — этот дикарь-жестянка, этот голландец Т[олен] л и ш и л тебя, — сознательно, не желая утруждать себя, тревожась за свой покой в дороге, не взял..! Последний наш мужик этого не сделал бы, — перед страданием, перед ч и с т о т о й! Ведь не слепец же этот бесчеловечный!? — ведь он хотя бы от своей жены знал о тебе!.. — к т о ты, к а к а я — ты! О, пустышки, формы человечьи, набитые черным мясом, напитые черной кровью, салом налитые! — о, ско-лько их повсюду здесь!.. — таких!! Забудем.

Оля, не думай о болезни. Помни: ты — в Руце Божией. Пречистая с тобою, все святое — тут, около, — светло молись — и будешь жить, вернешь и волю творческую, и радость перед всем чудесным в Божьем мире! Ты д о л ж н а быть — и бу-дешь! Все Господне — тебе опора, укрепление, исцеление. Не ослабляй себя. Надо петь, надо заставить себя петь. Не волнуй себя накручиваньем дум. Как пришла слабость духа — шепчи умно: «Господь мя пасет, и никтоже мя лишит!» Не мне тебе советовать, знаю... — ты духовно сколь же полней меня, полуопустошенного. — Бог даст и н а ш е прояснится. Все я жду этого, все жду. Что-то должно произойти... — не знаю, но — во мне тревога-нетревожная. Все думается — вот пройдет [боль]... — и

вдруг... — и так воспрянет сердце, так всполохнется... — сам не знаю, — какие у меня надежды?.. А вот... не знаю.

Вчера зашла незнакомая пожилая дама, — газету мне носила, оставляла всегда у консьержки. И вот, зашла. Оказалась москвичкой, внучкой Сергея Васильевича Перлова[243], известного чаеторговца. Знала о. Амвросия, с 7 л. бывала каждый год в Оптиной пустыни, в Шамордине[244] (женский монастырь, созданный о. Амвросием, помог Перлов). Любила очень Шамординский монастырь. Как-то сокрушалась, что хотела бы часто-часто бывать, да все не удается. Одна слепая монахиня (игуменья?)[245], слывшая за прозорливицу, сказала ей лет за 10 до войны 14 года: «что же поделаешь... а случится и так, что мно-го годов, мно-го-много... и совсем не увидишь Шамордина... а перед концом жизни зачастишь, все тут наезжать и будешь, дело тебе будет до Шамордина нашего... вот и наглядишься напоследок». Ей теперь 64 г. И она верит, что увидит, и будет дело — восстановлять обитель, оби-те-ли... Она теперь без гроша, в труде копеечном... — и верит, что Господь поможет, — и она будет нужна не только новому Шамордину. — Недалеко от Шамордина монастырская «дача» Руднево. Там маленькая церковь. И там погребена у стены алтаря Дарья Ивановна. В. А. Вейденгаммер (о нем она много слыхала в Оптиной) перевез прах Д[арьи] И[вановны] из Ташкента, где она погибла на железной дороге в Руднево, которое та очень любила. Дама видела посмертное фото усопшей — «удиви-тельное лицо!» — не может забыть. А видела лет 35 тому, впервые: «светлое, такое небесно-покойное... в белом кружевном чепце... — лилия-лик...»

Олюша, тебе бы отдохнуть в том старинном замке — Витонбург? — как в 41 году. Сделай так, чтобы удалось там жить, дышать. Тебе нельзя кружиться в хозяйстве, окрепнуть надо. Там станешь рисовать, писать. Голубка, на коленях молю тебя!..

Как я беспомощен перед этими «force-majeure»[i] — грозовой эпохи нашей... — полетел бы к тебе, завтра был бы у твоей постели, держал бы руку... о, как нежно глядел бы в тебя!.. Целую. Ваня

Молюсь за тебя, как могу. Я не смею просить — пиши, не утруди ручку, пусть посильнеет, тогда! Но два слова, только.

---

[i] «Непреодолимая сила» *(фр.)*.

46

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

17.VII.43

Дорогая моя именинница, светлая моя, — и какая недосягаемая! — Ольгуночка, Олюша! Будь здорова, мой чистый Ангел, будь покойна душой, — никаких дум смутных и тревожных пусть не будет в твоем сердечке, в твоей милой головке! С ангелом тебя, моя голубка, моя Олюночка, моя Ольга — далекая! И не могу сделать ничего, чтобы ты и моими цветами любовалась, чтобы я так легко-светло прислал в них свое сердце — живое сердце тебе. Но оно тобой бьется-бьется... пусть эти дни и мучительно, замирая и тоскуя порой. Я вот уж 15 дней не получаю о тебе ни строчки. Не могу ничего думать, делать. Господи, когда же, наконец, разрешится это томление?! Я переписываю для тебя «Под горами», и в понедельник, м. б. пошлю часть — первые главки. Но вот, какая незадача... болит правая рука, у большого пальца, и в кисти, сводит при усилии, и острая боль. Это — писательская болезнь, знаю. Проходит, и опять. Бывало не раз последние годы. И на машинке трудно. Все эти дни не знаю, куда деть себя, к чему приложиться, — так все не радует, не берет! А в таком состоянии я не могу работать. Читаю, бросаю... вожусь с разными пустяками... И хозяйство — о, как это скучно! — требует усилий, беготни. Да еще события... особенно эти «открытия» разных «ям»[246] — следы кровавого большевистского разгула. Кипел, хотел писать статью, — о, громовую! — и вижу, что нельзя, как надо. Ибо, кто, кто содействовал всему этому кошмару — вот эти 25 лет?! Сама Европа. Она укрепила бесов, признала их, давала кредиты, укрепляла змеиное гнездо. Теперь — расхлебывает эту кровавую кашу, омывает кровью. Все, все, все... — за одним исключением — святого убиенного короля — Александра![247] И веймарцы[248] тоже, и вот через все это ныне приходится лить кровь. Новая Германия в этом не повинна: но ей приходится расплачиваться за грехи старой. А главные-то питатели — англичане и американцы. И — все жиды. Это они, они помогли [развести] эти «фрукты» (Винница и проч.) А сколько таких «charriers»[i] по всему российскому простору!?! Ужас, ужас. Мы, эмиграция, все эти 25 лет кричали во весь [мир], — всячески! — приводили данные,

---

[i] «Каменоломни» (*фр.*).

пугали страшной правдой, остерегали, оберегали... Сотни книг — и ка-ких! — хотя бы мое «Солнце мертвых» — и др. — были даны миллионам европейцев. Тысячи обращений, воззваний — (Национальный комитет в Париже)[249] доходили до власть имущих, до членов парламентов (знали они, читали!!), тысячи связей были использованы. Да и лучшие, понимавшие, тогда, из влиятельных иностранцев подтверждали наши предостережения... Ничего! Корысть, жадность, радость, что Россия, наконец, скинута со счетов в мире, — все это покрывали русский вопль. И вот — расплата пришла. Если бы в свое время помогли белой армии стереть большевиков, свободная сильная Россия, новая, (!) была бы в совете держав, и не было бы допущено этой бойни. Ибо, по всей вероятности, Россия была бы судьей и сдержкой в грозивших мировых сполохах. Мы свою миссию выполнили честно, полно, во всей мере наших возможностей. Все было сделано нами. Ты знаешь и мое усилие — писателя: пусть меня судят! Я все сделал. И все, на своем посту. Неисчислима наша пролитая кровь, в неравной борьбе! Легли лучшие! А мир... плясал. И доплясался. И обратился против — пусть несколько запоздавших — провидевших, понявших грозящий ужас — молодых сил Германии и Италии. Я все, все знаю. На все кладу поправки. Но я знаю, — и кто главный виновник всего: алчба и злоба мира, его ненависть к нам. Мы заплатили за свои грехи, но мир пьет и — все выпьет.

Прости эти строки, так неидущие к именинному письму. Но столько накипело в сердце! И вот, я нигде не могу сказать печатно о всей правде... Это меня давит, убивает.

Родная, дай же мне весточку о себе, о здоровье... — я так исстрадался. Голубка, — через свои скорби-боли — подумай о твоем одиноком Ване!

Сейчас (9 ч. утра) я должен выехать из Парижа на дачу к Юле. Она меня упросила поехать на эти дни — на дачу, остаться ночевать там с ними. Ходят слухи о возможном налете на Рено (заводы), а это рядом со мной. Будто бы было предупреждение. (?!) Болтовня, но это нервит. И для моих я это делаю. «Камо пойду от Духа Твоего...»?[250] Но чувствую, что мои нервы, моя подавленность... требуют воздуха, перемены места. Жара. Все разъехались. Я почти безвыходно сижу дома, не знаю, без сил душевных — за что взяться...

Завтра или в понедельник пошлю письмо и в нем начало «Под горами»[251]. Пусть это будет моим тебе приношением — тебе, Ангел! Вместо цветов. Но это — мои цветы.

Целую тебя, дорогая именинница, Олюша моя. Да будет с тобой Господь-Христос, и его Пречистая. Твой Ваня

Поцелуй от меня маму. Привет Сереже.

И. Шмелев

47

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

[10.VII.1943]

Милый Ванюша!

Пишу тебе из дома и правой рукой (хоть еще и с трудом). Спасибо тебе за последнее письмо от 25-го, я его только что получила. Ты просишь описать тебе все мое состояние перед операцией, все страдания и трепыхания... И знаешь, как это ни странно, все, что было тяжелого у меня, куда-то все ушло, скрылось за то удивительное состояние духа, в котором я пребываю. Просто говоря — я блаженствую от ясности и необычайного покоя души, у меня такое чувство, точно случилось со мной что-то необычайно светлое, какой-то душевный праздник. Это даже неописуемо. Это какой-то душевный или духовный о п ы т, о котором я прежде только слыхала.

Не думаю, что этому способствовала обстановка: из моего выздоровления сделали окружающие (и некоторые даже издалёка, даже с фронта) какое-то торжество, какой-то, я бы сказала, бенефис жизненный вызвала моя болезнь. Мне было дано увидеть людей и чувства их открытыми и ясными. Многие, м. б. впервые, стали откровенны и говорили и писали не то, что «модно», «красиво» и т.д., но то, чем они живут где-то в глубине. Не в отношении меня, но в отношении главных вопросов жизни.

Ценнейшим вкладом в духовный опыт было для меня знакомство с хирургом и старшей сестрой*, — это святые люди. И как же много чудесного в жизни. Как многое я теперь иначе вижу, сколько надо было в себе изменить.

Где-то я читала, что есть такое наблюдение, что с утратой какого-нибудь физического члена, человек утрачивает и какую-нибудь соответствующую сторону души. Может быть. Не знаю в связи ли с утратой моей физической или по другой причине, но во мне, конечно, что-то изменилось.

---

* Эта женщина неустанно и уравновешеннейшим образом служит ближнему и дает пример истинно-христианского смирения и покорности Воле Божией. Тонкий и чуткий подход, редкое сердце и юмор, несмотря на ее положение.

Как много надо, однако, говорить и как же трудно! — Ну, сначала: «трепыхалась» и очень страдала я, собственно, одни сутки, до визита к врачу. То воскресенье; я думала «незабываемое», но я его уже забыла.

В приемной доктора, до его прихода, произошло уже «нечто», что дало мне уверенность в «укрытости». Конечно, я не была еще совершенно спокойна, но где-то глубоко, жила уверенность и вера. Мне Ар не смог, (не хватило духу ему) сказать*, как поручил ему доктор, что операция необходима неотложно и радикально (ампутация), с мамой и Сережей они решили мне сказать лишь часть, т.е. только об операции под рукой и сослались на то, что доктор уходит в отпуск (что так и было), потому и срочно, а сообщить об ампутации Ар письмом просил самого доктора. 30-го мая (воскресенье) меня отвезли в лечебницу, где хирург уже сам заказал мне комнату, чудную, и назначил час операции. Формальность требует согласия пациента на всякую ампутацию, потому доктор был у меня в воскресенье вечером «поговорить о том — о сем». Болтал обо всем, а потом исследовал сердце, легкие, вены, почку, т.к. этого хотел Арнольд. Объяснил мне, какой наркоз даст и, вообще, говорил как с коллегой.

И тут что-то нашло на меня, ту, которая обычно все хочет выведать: смотрю на него и говорю: «Знаете, доктор, я не хочу ничего больше знать, что Вы будете завтра со мной делать, не хочу из Вас выматывать...» — а он подхватил и говорит: «Чудесно, это самое разумное, но давайте условимся: позвольте мне завтра помочь Вам так, как только я умею хорошо, как мне поможет мое знание, мое желание и мои силы?» Я была тронута и дала согласие на все. Уходя, он наказал сестрам дать maximum забот обо мне, т.к. де она заслужила. Произнес даже маленькую речь. Я дивно спала ту ночь, которая из-за приготовления к операции была не очень длинной. Утром тиха. Мне было бы стыдно не быть такой. Почему? Не знаю. Помню, что мне неприятно было, что и так моей соседке по комнате мешают спать приготовлениями. Наркоз приняла легко, без «провалов», а просто ушла в «небытие». Ты знаешь, что во время операции проснулась, не сказав ни звука, кроме «да я проснулась». Я много передумала (но как-то не головой) перед операцией и к чему-то пришла, сама не зная точно к

* После гистологического исследования, в субботу А. был у хирурга (чтобы узнать результат), но мне не сказал, а доктор это очень одобрил и даже домашнего врача исключил, чтобы никаким путем меня не волновать раньше воскресного утра.

чему. И вот когда проснулась, то и находилась именно в этом состоянии обретенного покоя. Это было что-то новое, не мое. И всех это как-то поразило. Три минуты были ко мне допущены мама, Арнольд и Сережа, говорить я, конечно, не могла. А они смотрели с каким-то благоговейным изумлением, потом, приложив губы к руке, лежавшей поверх одеяла, и вышли. Пришел доктор и то же выражение, подошел к изголовью и сказал: «Я помог Вам на всю жизнь и очень рад, поражаюсь Вашей храбростью... все очень хорошо». Боли были адские, давали шприцы[i], но ночью я сама сократила на 1 шприц, — не люблю. Мучительны были всякие звуки. Вечером опять был доктор, меня тошнило. Долго не работали почки — почти сутки. Шли дни... физически мучительные ужасно. Перевязка была очень тугая, так что трудно дышать. Поты. Жар. Но я все еще не знала об ампутации. Доктор уехал, а Арнольд сказал, что он сам не знает точно. На 7-ой день сменили бинт, и я услыхала слова сестры одной, что нет груди. Но это была чужая сестра, и мне сказали, что она ничего не знает. Т.к. я лежала в клинической рубашке-распашонке, то не могла видеть себя спереди, а рукой боялась коснуться боли. Накануне моего рожденья сняли швы, и тогда я спросила и узнала все. И тут настали тяжелые дни. Я утратила на время мой покой и пережила нечто очень тяжелое. Но через это нашла еще лучшее и светлейшее. Сестры говорили, что всю 1-ую неделю удивлялись на покой мой, т.к. обычно такие пациентки жестоко страдают. Я же даже на боли не пожаловалась ни разу, только боялась, когда меня неумело поднимали и прямо пытку устраивали. «Утрату» физическую же свою я пережила бурно и тягостно, но затем в несколько дней сломила себя решительно и окончательно. Это было удивительно. В Троицу я была светла и радостна. Не то что кое-как утешена, но просветлена. Это особое что-то.

Не хочу говорить о всех и всяких физических муках, — их было много. Вставанья первые на 5 мин. были мучительны. Я же очень беспомощна. И проблема одеванья? Платье надеть нельзя, рука то не поднимается. Фигура? И все это прошло. В дни моего упадка меня много поддержали люди. И свои, и чужие. Тогда я ничего не ела. Ничего. Не могла. Какой-то шок. У меня и теперь все время боли и днем и ночью, при всяком движении, но это меня ничуть не смущает. Я и к почке своей отношусь иначе как-то. Это

---

[i] Здесь: делали уколы.

м. б. дико, но у меня прямо какое-то постоянное радование, точно не опасная болезнь была со мной, а что-то удивительно приятное. Такое мое состояние не прошло незамеченным и другими, вот что пишет доктор в одном письме к Арнольду и мне: «...Я должен еще раз сердечно поблагодарить "mevronw" за ее прекрасное поведение в дни ее пребывания в лечебнице. Она дала сестрам и всем нам исключительный пример своей верой в Бога — воистину она держала доброе имя и честь своих предков высоко. Она была милая и симпатичная пациентка, и я для нее особенно рад, что все так хорошо удалось, и что ей не следует иметь ни единой заботы в будущем, и что теперь все снова в порядке». Этот доктор очень верующий, идеалист, живет только для больных, не имея от жизни ничего. Когда мы прощались, то он сказал мне: «Я перенесся в Вас и почувствовал, что сделаю все так, как хотел бы себе получить помощь от той науки, которой отдаю все свои силы. Вы тоже ей служили, и я знаю, что много служили... Я Вас лечил так, как бы лечил члена моей семьи». Глаза его были закрыты тогда, но когда он их открыл, они блестели влагой. Я плакала. Старшая сестра, стоявшая тут же, сказала: «Вот я не люблю в глаза хвалить, но спросите кого хотите, что я говорила всем о Вас... я рада, что случай меня столкнул с Вами, а доктор то же самое говорил, он всех людей сразу видит и Вас он всю понял... Так осторожен он еще ни с кем не был, хотя славится своей мягкостью». Сестре этой около 70 л. Она монахиня. Я, конечно, протестовала и говорила, что я похвал их недостойна, благодарила их и доктора за его поддержку, а тот сказал: «не меня, нет, нет, но Того, Кто Там», — и показал вверх. «А покой Ваш изумительный Вы получили через Вашу веру». Он говорил, что поражен был той мной, которую ему вкатили в операционный зал и после. И все это видели. И это неизреченная милость Божия, а не моя заслуга, дающая такую поддержку в жизни, такую радость. Сережа и Арнольд, каждый порознь, сказали, что они потрясены видом моим в день после операции были, небывалым. А мама сказала... «Ну знаешь, помнишь то выражение у умершего Александра Александровича (отчима) торжественности и покоя, — так вот что-то от этого было и у тебя. Ты была так красива, но не обычной красотой, а какой-то строгостью, почти как судья». Мне было очень тихо. И знаешь, я все думала: «Как рада буду, когда проснусь, узнаю, что жива осталась». А случилось, что когда проснулась, то вспомнила эти думы и... ничего не ощутила. Ничего, кроме покоя. Ну, будь здоров, целую, Оля

[На полях:] А ты меня не балуешь письмами!

Сейчас я простужена слегка, но чувствую себя и выгляжу хорошо. Свежа на вид. Но делать ничего не могу и очень трудно писать. А это жаль, т.к. времени у меня много. Но м. б. и лучше пока, т.к. очень устаю. Велено больше лежать и отдыхать.

48

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

21.VII.43

Олюночка, еще не отправил тебе продолжение рассказа «Под горами», уже готовое к почте, как в 11 ч. утра — твое чудесное письмо, удивительное, так оно меня осияло, так усилило! Рухнула с меня гора, давившая эти дни, вдруг свалилась! О, как благодарю тебя, как я весь закружен счастьем, радостью... — о, как это слабо — «радость» тут! — ты — живая, ты — полна чудесной Жизнью, моя — необычайная. Такой-то вот я и чувствовал тебя всегда. Ты не можешь уйти с земли, не выполнив тебе назначенного, а оно — бо-льшое, оно — огромное светом и плодом. Такое во мне чувство. Творчество — ? Да, и оно, и оно, во многих видах, — в слове, мысли, в красках, в чем угодно, что зовет сердце твое и дар твой, но не в этом только, не этим наполнишь свою требовательную душу, все существо свое: а жизнью в высоком и чарующем этой высотой — деле, так близком тебе, требовательной в жизни духа, души, всего существа твоего — всей тебя. Олюша милая, как я рад, как ты меня подняла, слабенькая еще... еще «бинтушка». Ибо ты — си-льная! Письмо твое — исключительно насыщено мыслью и тонким ее светом. Я все вобрал, все влил, что смог учувствовать в неполноте строк. Понимаю, — обо всем, что тронуто в письме, или ничего не надо писать — не выразят в полноте слова-образы, или уж сказывать сердце к сердцу, и до-лго, долго, — но мне, говорю, все сказалось — несказанное и несказуемое. Ты будешь жить и делать, долго и полно будешь. Сему — назначена. Ты вся — родная, связанная с родным и живой кровью, и жарким сердцем, и духом служения в любви, и — ДУШОЙ! Вот все это, и все возможности и преизбытки твои нравственные и творческие, и горенье любви чудесное — к родимому и так истерзанному всем, всем... — я все это давно чувствовал и видел в тебе, но теперь, после всего, теперь, когда ты так выросла

духом и душевно, — и вырастешь всей полнотой твоей, и телесно укрепишься, — и будешь в цветеньи полном, — забудь — и ты забыла! — о болезни, ампутации, о болях,.. — так это мало в сравнении с тем, — какая ты, кто ты, и ЧТО ты будешь выполнять в назначенном тебе от Бога пути. Ты — редкая... я знаю это. Ты из того рода Родины нашей, откуда выходили в жизнь те, кем жива жизнь: наши святые-я, наши подвижники, наши трудники Руси, наши «добрые люди древней Руси», как называл Ключевский[252], наши чистые деятели на путях воспитания, очищения, примера, помощи, просветления, про-све-ще-ния в полном-глубоком смысле. Какое поле беспредельное! и что ты, такая, с таким богатством ума и сердца и даров Божиих — сделать можешь!!! ... — Олюна, я столько вобрал и столько в себе уместил и постиг — из твоего письма! И почувствовал, чуть ли не осязаемо, как ты вся в руце Господа, в Его Лоне, — в Его Путях! И радостно мне, и так легко дышать стало! Знаешь, голубка... одно явление твое людям делает их лучшими! Так это во всем видно, и сколько раз я сознавал это, выхватывая из твоих писем. Ты и не думаешь об этом, ты лишь свою жизнь набрасываешь, — порой, просто, мимоходом, словечком, образом, и не думая, что из этого я увижу, — и я вижу самое главное, как ты делаешь людей лучшими. Какая сила дара Господня в тебе! И как же несчастен я, что не дано мне — пока? — увидеть тебя земными глазами, но я вижу душой и сердцем... и — рассудком..? Я не умею, я не люблю, как-то не по мне брать рассудком. Так — только вообразить, что и как можешь ты делать среди людей, среди своих... — примером, словом, взглядом, вздохом, укором, лаской, — о, больше всего лаской, тихим сердцем. Но ты властна и на гнев, я знаю... — и будут гореть стыдом, будут неметь и трепетать, будут грехи и неправды свои больно слышать, когда увидят властный твой взгляд укора, раздраженья, негодованья, сердца! Я всегда говорил тебе, что ты из особого состава, сложного... — и на земле не-слу-чай-но явлена. Таких я еще не встречал... не мыслил. Твой хирург лишь чуть постиг — из твоего мира! — многое было бы ему невнятно: он взял очень «запросто», рассудком, — что ж, иначе и не мог, иной лепки, хотя и достойнейший человек, пошли ему, Господи, здоровья и радости. Милая, ведь и д-р Га-аз, тюремного замка в Москве, и врач Гинденбург из Минска, о котором говорит Достоевский в «Дневнике писателя»[253] — высоких качеств люди; но они... «от разумного делания», из какой-то своей логики духа, но не — ес-

тество, не песня души, не сущность во Христе духа, — это у них — нажитое, воспитанное, выхоженное, — не взлет, не сущность, не — свободное дыханье, без чего нельзя жить, как тебе, и тебе подобным святым, редкостям в человечестве! Это у них выработалось в хорошую «привычку». У тебя — рождено с тобой. Но оставлю, а то посмеешься над «размягченностью» всегда унылого — последнее время! — Вани и скажешь — «не пой ты мне, милый, акафиста». — Ах, Олюночка, ну это в следующем письме... я хочу сказать тебе, какие мысли родились во мне от безумной бомбардировки Рима[254]... — как бы вариация-дополнение «Легенды о Великом Инквизиторе»[255]. Кипел я — бесплодно горя — эти дни, уходя от себя, — страдал, разглядывая в газетах фотографии «Винницк[ого] фр[онта]» — и проч. Написал бы... но... — «крылья связаны». А тебе напишу о «римском действе» бесов. Роднуша, родимочка, как я рад, что ты так написала мне, что ты — воскресаешь! Твое письмо — от 10.VII на штемпеле, заказом, шло... — одиннадцать дней, и я горько думаю, что мои письма тебе — Ангелу — посланные 17-го, придут позже! Целую твои глазки, деточка, мудрица святая... ручки твои целую, боль всю твою чувствую и целую... — да минет все. И минет! ми-нет!! ми---нет!!! ... Снова хочу вложиться в «Пути» — «Ныне отпущаеши...» А пока хочу послать тебе продолжение «сада» из «Под горами»[i].

[На полях:] Господь с тобой. Крепни, набирай сил. Питайся, заставляй себя. Целую. Ваня

(Закончу эту сцену завтра.)

49

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

20.VII.43 г.

Милый Ванюша!

Очень волнуюсь за тебя. Как твое здоровье?

Вышел промежуток в моих письмах[256]. Много всего. На глазах наших разыгрывается ужасная драма: между нами строго: умирает Валя Розанова от рака позвоночного столба. Накануне моей операции я была в Гааге и причащалась Св. Тайн, видела Валю, которая меня ободряла «по опыту»,

---

[i] Далее в оригинале перепечатан фрагмент рассказа И. С. Шмелева «Под горами».

т.к. самой ей 2 года тому отняли грудь (рак!), а потом «как товарищ по несчастью» писала в клинику мне, будучи уже немного больной. Потом слегла, а вот теперь уж быстро приближается к развязке. Валю я особенно люблю и прямо убита этим горем. Очень много развилось трагизма, представь: ей стало *все*, до мельчайших подробностей известно. Вся безнадежность ее. Ей сказали!!!! Ужас! Отнять всякую надежду! А она.., чтобы не тревожить мать и Пустошкина, таила эту истину в себе, пока тот, кто сказал, сам не открыл это ее сестре. Она ломает комедию перед матерью, не смея даже плакать. Розановы все очень сильны духом, но Валя — особенная. Хотела я в Ольгин день ехать в храм, но прямо не могу. Да и слаба еще я. Здесь был один доктор, лечивший рак очень успешно. Его затравили коллеги и не дали его теории ходу. Я звонила ему, но не получив ответа, просто позвонила кому-то, проживающим на той же улице. Оказалось, что он умер! А та дама сказала по телефону, что он сущие чудеса творил, массами исцелял. Я-то о нем из русских газет заграничных давным-давно еще читала. Вчера звонила еще одной докторше. Та дала как будто луч надежды, выразив предположение, не инфекционное ли это заболевание, т.к. отсутствие параличей, а по телу появляются затвердения и красные пятна. Кто их знает. Валю исследовали как раз тогда, когда производились аресты врачей[256а], м. б. плохо были сделаны снимки. Хочется верить, но так мало надежды. Прости мне, что ни о чем ином не могу писать, — я в большой печали.

Лучше Вали я никого из женщин не встречала. Ни на Родине, ни за рубежом. Она — вся обаяние и женственность, очаровательная, светлая Валя.

Днем и ночью думаю я о ней, а помочь вот никто не может. Христиански говоря: все мы в руке Божией и надо, конечно, всю жизнь свою направлять к достойному ожиданию конца, но все же так тяжело это переживать на близких людях.

Мое здоровье пока слава Богу. Начинаю втягиваться в жизнь. Пишу тебе кратко, но не сердись, скоро напишу больше. Сейчас же тороплюсь, чтобы дать о себе знать и не томить тебя. Это письмо не в счет!

Обнимаю тебя! Будь здоров!

Оля

50

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

12/25.VII.43

Милый Ванюша!

Спасибо тебе за именинное письмо и за вчерашнее, от 12-го[257] (простое!). И еще большое, пребольшое спасибо за переписку «Под горами». Наслажусь ими. Отчего же ты так утомлен? Почему не поедешь на дачу? Вероятно Юля тебя звала? Я не все понимаю в отношении твоего племянника... А ты скуп на описания вашей встречи. Ничего не сказал, кроме сообщения о смерти Кати. Оценку твою дяди В.[258] я тоже не знаю с какой стороны понимать, ибо не знаю точно, каков он и как себя проявляет, а также не знаю точно и твоих взглядов, т.е. вернее всех оттенков.

Мои именины мы будем праздновать собственно сегодня, т.к. вчера я безумно устала: ездила в Гаагу в церковь, еще накануне уехала в Утрехт, где и ночевала, чтобы с ранним поездом попасть в церковь. В $7^{\underline{54}}$ села в вагон, а вдруг по микрофону сообщают, что путь испорчен и нас повезут через Амстердам. Результат: приехала только к «Милость мира»[259]... Но все же причастилась, т.к. очень этого хотела. Из храма сразу же поехала навестить Валю. Там меня накормили ее сестра и мать, как на убой, но все наспех, наспех. Еле удалось поговорить с Валей. А дома нахожу письма: ее, ее сестры Оли и Пустошкина[259а] (сожженного горем), из коих вижу, как Валя меня ждала, но т.к. я сперва не собиралась в Гаагу, то очень огорчилась. Пустошкин пишет: «Она собирается с Вами отвести душу». А я-то, негодная, быстро укатила. Боялась опоздать к автобусу.

Еле доехала: с билетом 2-го класса еле втиснулась в 3-й, но когда огляделась, то увидала, что он, собственно, для *Wermacht* и вот перед самым отходом нас стали выбрасывать, но т.к. все было забито и можно было только выйти через окно, то случилась задержка и поезд тронулся.

Кое-как доехали. Но при посадке (я еще с чемоданчиком и зеленью из города, т.к. у нас даже шпината не найти, не говоря о салате) так меня толкали и все по больной-то руке и груди. Я чуть не плакала в невыносимой жаре и давке. Какая-то тетя так меня двинула, что даже устыдила ее. Долго не могла отдохнуть. Болит рука, все мускулы. Погода стоит чудная, а до этих дней был холодище, так что я не понимаю, что у тебя жара и завидую. Свидание с Валей меня очень потрясло. Очень жаль бедного Пустошкина. В ней вся его жизнь и радость. И как тонок и чуток он с ней.

Говорит: «Не думал, что так будет. Надеялся, что Валя закроет мои глаза». Она лежит вся в цветах, люди ее любят и все балуют. Она роскошно обставлена, чудно питаться могла бы, но... ничего не кушает. Я отвезла ей собственного печенья, умоляла хоть отведать. Нет. Ах, Валя, Валя, какая это огромная сила духа. И как жестока к ней судьба. К чему было рассказывать людям (да еще как!!) о ее безнадежности? Я м. б. грешу, но думаю, что это сделано под косвенным влиянием Натальи, узаконенной цепи жизненной Пустошкина. Я грешница, не могу одолеть отвращения к этой мартышке. Все в ней ломанье и притворство.

26.VII Кончаю сегодня. Вышли очень удачные именины: приехал в 1/2 8 ч. вечера мой хирург и было очень уютно. Сперва все «пугал», что ему к пациентам спешить надо, но засиделся до 11 ч. и только-только мог домой добраться. Страшно меня чествовали. Доктор сперва, увидя, что попал на семейное торжество, смутился, — не помешал ли. Всех он очаровал. Угощенье вышло чудное. Меня мучает, что тебе по хозяйству трудно. И что у тебя с рукой? От писанья? Пишешь ли ты «Пути»? Отдохни летом, постарайся уехать к Юле. Ах, Ваня, спроси при случае Елизавету Семеновну, получила ли она деньги. Меня смущает, т.к. до сих пор от нее нет ни строки об этом, а Фася уверяет, что ее муж переслал. М. б. он поручил той же «холере», а та и забыла. Я послала 20 гульденов и просила указать мое имя. У нас стоит тоже жара, пышет как из печки. Цветов в саду у меня масса, дом утопает в цветах. У меня много порывов и писать и рисовать, но все не соберусь. Руку больно. У меня многие буквы не выходят как-то, и до сих пор слаб мускул подбородка и нижней губы. Для посторонних это не видно, но мне трудно, например, плевать или полоскать рот. Со временем стало лучше, но не прошло. Рот был чуточку как-то атрофирован после операции. И все еще болит правое лицо, особенно губы. Причесываться больно, вся кожа передает ток какой-то. Но это все пустое. Жаль, что правая рука. Ваня, меня очень интересует то, что ты писал будто я ушибла когда-то грудь. Я забыла. Ты это хорошо знаешь? Ответь на этот вопрос.

[На полях:] Целую тебя и благословляю. Будь здоров. Оля

Конечно, Валю разуверяют близкие, но это очень трудно, «отрава» дана. Уже и она не верит.

51

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

Это те «ландыши», символ коих я послала тебе к Пасхе. А не акварель, как понял ты.

Продолжение и окончание следуют одновременно.

Ландыши
Старая легенда

Давным-давно, в ту пору, когда солнце еще ярче в небе горело, а на земле водились разные диковинные звери, по лугам цвели лазоревые цветочки, а в лесах еще певали райские птицы; — в далеком заморском государстве жил-был Король. Славно жил Король со своей молодой красавицей-Королевой[i], всего было у него вволю, и народ любил его крепко и верно, хоть и был он правитель строгий. Одна лишь была у Короля кручина, злой змеей она ему легла на сердце, высосала всю из жизни радость: уже седые нити выбиваются у Короля из-под короны, а все нет у него наследника-сына, кому бы передал он все свое славное государство, все свое богатство, славу, величанье. Не оставит он отпрыска славного своего королевского рода. Так кручинился Король втихомолку, становился он все строже, все седее да угрюмей.

Кручинилась и молодая Королева, — так она молилась, поднимая дивные свои очи к небу: «Ты, Пречистая Матерь Божья, услышь мою грешную к Тебе молитву, дай и мне Ты счастье материнства, дай дитя мне с сердцем добрым, чистым». Дивные смотрели в небо очи, трепетной душой внимала королева пенью райской птички. Сердцем всем своим любила Божий мир и всякое Его творенье. И молила она Творца снова: «Боже, Ты не дашь моему сердцу, полному любви к Твоему великому творенью, отойти в сырую землю и из мира Твоего пропасть бесследно... допусти меня, великий Боже, чистому дитяти передать любовь мою большую, чтоб младенец после нес перед Тобой свой любви светильник». И когда молилась Королева, все лицо ее светилось счастьем, знала, что Господь ее услышит.

И родился у нее сыночек, красотой своей был всем на диво. Сорок дней палили пушки, сорок дней пировали в Королевстве. Не нарадуется Король на своего наследного сына, планы строит про то, как тот будет править королев-

---

[i] В оригинале описка: Королевной.

ством. Не отходит от сына Королева, сама поет ему колыбельные песни, тихие слова ему шепчет: «Ты, дитя мое родное, малое созданье Божье, полюби ты мир Его прекрасный, пожалей ты всякую тварь земную. Сердцем ты своим увидь премудрость Божью, угадай святую тайну в мире и поведай ее ты людям». Прижимала мать дитятю к груди, будто сердце ему свое отдать хотела.

Вырастал Королевич родителям на радость, людям все на удивленье. А как стал он юношей разумным, стал учить его Король разной мудрости королевской, стал сажать его с собой рядом в высоких своих хоромах.

Ярко блещет солнышко красное в небе, да не пробиться ему сквозь толстые цветистые стекла в королевских хоромах... звонко птицы поют на ветках, да не слышно их Королевичу в пышных отцовских палатах: звонче их гремят казначеи, золотом пересыпают.

И затомилась душа Королевича по Божьему дивному миру, заныло его чистое сердце, затуманились его ясные очи. И запросился он у отца своего на волю, с матушкой своей выйти в лес-дубраву, в поле-чистое, в долы дальние, чтобы ветры буйные приносили им песни моря шумного, птицы райские голосисто пели чтобы, и над всем чтобы солнце яркое в небе плавилось.

Люда бедного Королевич сам разыскивал, по дорогам-тропам, по полям-лугам ходючи. И у каждого Королевич знал нужду-жалобу. И для каждого Королевич был ласковым. Полюбил народ Королевича крепче старого Короля сурового. Отзывался сердцем он на нужду-беду и на радость людскую, забывал тогда он про хоромы отцовы пышные. А Король-отец на сына стал хмуриться, Королеве стал выговаривать: «Не хочу я, чтобы ты мне бабью куклу из сына сделала, сам воспитаю я своего Королевича». И услал он сына в земли заморские, чтобы научился он уму-разуму. А когда вернулся домой Королевич, узнал он, что не стало его родимой. Умерла она тоскуя, его, сына своего призывая. Стало тесно Королевичу в отцовских высоких хоромах, ушел он в поле выплакать свое горе. И как глянул он в синее небо, будто очи родимой ему улыбнулись; речка ласковые слова ее, будто, прожурчала, птичка песенку сердца ее спела, а как кинулся он на траву шелкову, — будто кудри ее золотые рук его коснулись. И узнала его душа в миг тот, что жива душа его матушки любимой, что со всем она Божьим миром слитна. И наполнилось сердце Королевича несказанным светом, — будто матушку он свою увидел. И от полноты своей сердечной сыграл он на свирели

песню. Песню, какой доселе не слыхали люди. С той поры стало ему сладко одному встречать-провожать ясные зори, ночью темной глядеть на высокие звезды, в быстрой речке умываться утром. Не вернулся Королевич в замок, а пошел он по велику свету. Вот приходит раз он в чужую землю, там народ весь готовит великий праздник, — выдает царь земли той свою дочку замуж. Проходил однажды Королевич мимо царева сада и увидел он там красавицу-царевну. То не радостная была невеста, не веселья песни она распевала, а кручинилась царевна сердцем, слезы горькие проливая. За немилого выдавал ее отец замуж. Так она была прекрасна в своей скорби, что пожалел ее Королевич от всего сердца. Полюбилась душе его царевна, полюбилась, хоть даже и до смерти.

И сказал в себе Королевич: «Как скажу ей про то, что во мне родилось, как всю душу ей мою открою, мало слов мне в языке нашем богатом, чтобы выразить любовь мою к прекрасной... любовь мою больше жизни...» И сыграл тогда юноша царевич песню, песню лучше всех песен в мире... Затаили буйны ветры свое дыханье, быстра речка замерла-затихла, птичка райская умолкла, потому что слушали они, как пело сердце человека. А когда окончил Королевич, подняла на него Царевна свои небесные очи и тихо-тихо ему сказала: «Кто ты, юноша неизвестный, и откуда ты сюда явился?» Как увидел Королевич те ясные очи, будто светом его озарило, краше матушки его родимой стояла перед ним Царевна, всю бы душу он за нее отдал... И ответил он ей так же тихо: «Я пришел сюда из стран далеких, странник я, простой прохожий в мире, твой слуга, царевна, до могилы, а зовут меня люди Ланом». Встрепенулась тут царевна-Елена, дивное слово ему сказала: «Я не знаю тебя Лан милый, но когда играл ты свою песню, вспомнила душа моя ее напевы, будто я сама ее давно играла, будто уж давно тебя я знаю, будто душенька у нас с тобой едина, только живет она у двух разных человек». Изумился такому слову Королевич, потому что сам свою в ней почуял душу. И сказал он Елене: «Нет у меня ни богатства, ни славы, царевна, есть в груди лишь сердце полное любви и песен, и его отдать тебе почту за счастье. Прости мне безумное слово, но коль хочешь, будь мне подругой-спутницей в жизни... приходи ко мне моя голубка, буду ждать твоего я решенья три дня и три ночи». Посмотрела в глаза ему царевна и увидела в них свое отраженье, не сказала ему ни слова и ушла в свои хоромы... День прождал Королевич в роще и другой уж вот на исходе. Ночью тем-

7 — 11249

ной Королевич томится, про Елену ничего не знает. А на третье утро пошел он к царевым хоромам. Под окном притаился, горькие речи слышит. Пред отцом стоит его Царевна, милости у родителя просит. «Милости твоей просить пришла я, дорогой родитель, не прогневайся, вели слово молвить!» — «Что ты, дочка, и в уме ль ты, что ведешь такие речи, в чем тебе я отказывал прежде? Али мало я тебя холил? Али слуги тебе плохи, — дочка служат, али гусляры плохо играют песни, аль каменьев у тебя мало самоцветных?.. Жениха ли я тебе сыскал плохого, дочка? Иль полцарства тебе моего мало?? — Нет, родимый, всего у меня довольно, только нету у меня воли, — отпусти ты меня, батюшка по белу-свету, тесно мне в моем терему высоком...»

Улыбнулся царь боком, бороду в кулаке крутит.

«— Погоди, голубка, скоро ты пойдешь в просторные хоромы, сама ты будешь царицей державной, через 3 дня сыграем мы на славу твою свадьбу, царство мы с зятем наше удвоим, заживем мы на славу...» Упала Царевна отцу в ноги, и в слезах она его просит-молит: «Ты, родитель мой, батюшка родимый, не губи меня, не отдай за постылого замуж, отпусти ты меня на волю, а царицей[1] сделай мою сестру меньшую, завидует она моей доле. Не нужные мне, батюшка, царские хоромы — чисто поле краше их и шире, самоцветных камней ярче звезды, гуслярам твоим не спеть той песни, что слыхала я у юноши-Лана».

Тут нахмурился царь черной тучей, крепче бороду ухватил рукою и сказал-отрезал слово: вот что, дочка, как скажу я, так и будет, — за тебя я дал свое царское слово, жениху твоему обещал я тебя дочка, невозможно мне идти на попятный, невозможно мне опорочить свое слово, все равно, что в лик дать себя холопу ударить. Не проси у меня, чего ты не разумеешь. Через 3 дня будешь ты царицей!.. стерпится и... гляди... полюбишь!

А когда ушла к себе в терем Елена, приказал ее старухемамке запереть ее ключом тяжелым.

Третий день тоскует Королевич, нет у него никакой надежды. На заре собрался снова к царевым хоромам, захотелось ему, хоть издали повидать Царевну... Вот идет он полем, — в поле цветики цветут один краше другого, а все нет такого, что достоин был бы украсить Красавицу-Елену. А как выйти ему на дорогу, увидал он лазоревый цветок — волшебный, красоты он был необычайной, и сорвал его Лан

---

[1] В оригинале описка: царевной.

для своей любы. К сердцу прижимает он цветочек, а на сердце у него черная кручина. Ночью пришел он под окно царевны, не видать в нем милой тени. Песню он хотел сложить ей, да не смог от горя. От кручины онемело сердце... так и ушел Лан один обратно.

А идет одиноко прижимая он к груди своей тот лазоревый цветочек, прижимая его к своему сердцу, душенька в нем тоской черной тосковала. Высохли-иссякли у Лана с горя слезы, показалась жизнь ему горше полыни. Переполнилось его ретивое сердце скорбью-печалью, не могла из него выйти ни едина песня. Задыхался Лан-Королевич, захлебнулся горем, сперлась в сердце тоска, и не выйти ей ни слезьми, ни песней. И случилось тут великое диво: почернел у Лана тот цветочек, что холодными руками к жаркой груди прижимал он. Посмотрел на него Королевич, пожалел творенье Божье,.. отогрелось жалостью этой его сердце, и тогда услышал Лан тихо пенье, будто на груди у него кто-то плакал. А в руках у него шевелился цветочек, распускал свои лепесточки, словно перья пестик вырос в тонкую головку, птичкой малой обернулся лазоревый цветочек.

Продолжение и окончание[260]

И за песней той рыдать начал Королевич — горьки были его слезы, горьки были они и сладки — выплакал до дна он свое сердце, сердце, что само уже петь не умело. А к утру завял цветочек-птичка, — к утру же не стало и Лана. Вот Елена в тереме тужит, в двери напрасно она стучится. А как заснул отец ее в своей опочивальне, порвала она свое покрывало, крепкие жгуты из него скрутила и сползла по ним через окошко. Темной ночью искала она пути-дороги, к милому спешила через рощи. Только к утру нашла она Лана, — он лежал под дубом бездыханен. На груди у него птичка — лазоревый цветочек засох перышками-лепестками. А где падали Лановы слезы ключиком вода из земли пробивалась. Шел от ключика того дух прекрасный, были в нем и сладость-горечь жизни, любви и смерти. Сердцем своим Елена слезы Лановы в нем угадала. Бросилась она к нему на сердце, руками голову его обнимает. Вот взяла она из ключика водицы, брызгает в лицо Лана. — «Оживи, встань мой любимый, Лан — дыши же! Лан — дыши же!» Но не встал Королевич-Лан к жизни этой, не ожил он для разлуки с милой. Плачет Елена над Ланом, а Царь-отец выслал уж за ней погоню, приказал связать, как пленницу свою дочку.

Слышит топот коней Елена, зовет она, кличет друга... «Лан — дыши же!.. а коль нет, возьми меня с собой, люби-

мый». Брызжет Елена из ключика водицей, дышит ее ароматом, а куда падали те капли, вырастали там белые цветочки. Слезами на стебельках они повисли, сладкой горечью напоили воздух, сладкой горечью жизни, любви и смерти. Дышит-пьет Елена этот воздух, будто милого ловит она дыханье... а когда прискакали царевы слуги, лежала сама бездыханна.

И с тех пор каждую вёсну расцветают в рощах те цветы-слезы. Лечат люди ими больное сердце, девушки-невесты несут к алтарю их букеты, духом дивным манят те цветы, чаруют — томят они и старого и молодого, только кто дышит ими много, засыпает сладко навеки. «Лан-дыши» зовут их люди.

Оля

Май—июль 1943

29.VII.43

Ванечка, вот моя тебе безделка. Помнишь, я тебе еще к Пасхе хотела послать? Ты понял, что акварель ландышей. Но у меня эта сказка уже была в думах. Только всяческие дела, суета и болезни меня отвлекли.

Собственно, она вся была написана в мае, а теперь я ее лишь выправила. Вчера читала маме, сказав, что я ее нашла в старом журнале. Не решилась выдать свое. Прочла потому свободней. Маме, кажется, понравилось.

А тебе? Распуши меня в пух и прах. Эта тема — мой сон. Помнишь? Только я стилизовала. У меня много снов — тем. Еще один есть — дивный. Собственно скорее тема для картины, но... «слово все может охватить»! Твои слова! Хочу писать. Безумно жаль, что правая рука болит, сегодня спать не могла от боли, т.к. вчера переписывала тебе. Как бы машинку! У нас только латинская. Целую тебя, мой критик! Будь милостив. Но больше всего: справедлив. Не жалей! Ругай, коли надо.

Оля

P.S. У меня копии нет; то с чего переписала — *не* исправлено. Очень скучно переправлять в 2-х экземплярах.

52

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

4.VIII.43

Милая моя Олюша, ты опять ходишь на голове! Двух месяцев не прошло с тяжелой операции, а ты скачешь, подвергаешь себя непосильным и для здорового человека под-

вигам! Чего ты добиваешься? Свалиться снова?.. К чему это?! Я понимаю — у тебя потребность причаститься, но нельзя же себя убивать для этого. Надо набираться сил, а ты и остаток их мечешь на тормохню и давку в пути. Безумие. Как близкие не удержали тебя?! Не подвиг это, а какое-то подрывное самоистязание. Ничего не понимаю, очень этим подавлен.

Да, Валя Розанова — Боже, какая она несчастная! И что за подлец-доктор, как он смел бросить ее в отчаяние, сказав ей — хотя бы — правду о ее болезни! Таких судить надо и лишать права лечить. Вот то, что она не принимает пищи, это плод этой п р а в д ы: она каждый миг теперь знает-думает — казнь моя приближается. У нервных людей при этом совсем пропадает желание принимать пищу. Она убивает себя голодовкой. Ах, подлец — подлец!

А ты, ты-то хороша! — не могу отделаться от видений, как тебя толкали в дороге, давили, а ты еще с этими пожитками! Тебе — пойми же! — еще неделями надо бы лежать, (у тебя, ведь, почка больная!) а ты скачешь, как одержимая! Я раздражен, и у меня пропадает воля писать тебе.

Да, я отлично помню, что ты мне писала (с год тому) что «сильно» («больно» или «очень больно») ушибла грудь. Я тебя не раз спрашивал, как ушиб, прошла боль... — но ты мне, кажется (?) так и не ответила. Постараюсь отыскать в письмах, когда это было, но это нелегко при твоем мелком почерке — надо перечитать груду. А мне иные письма твои и тяжело читать. Но я постараюсь.

Елизавета Семеновна — на даче (не у сестры, там очень сыро), и я ее запрошу, получила ли она твой должок. Почему ты так много послала (поручила послать этому дубине!), Е[лизавета] С[еменовна] сказала мне, когда я отдавал деньги, что все стоило (елка с украшениями) 250 фр. Я еще ее переспросил — и она сказала — 250! Думаю, что она не получила через дубину или его знакомого Holer, (холеру!), иначе бы она мне сказала и вернула деньги: она очень в этом отношении щепетильна, знаю. Спрошу.

Жара (с неделю) меня извела, охота есть пропала совсем. Сегодня, после большой грозы, свежей стало, и спал я лучше. Не люблю «гостить», привык к своему укладу, а его нарушение действует на все во мне. Юля все зовет, но я, переночевав у них две ночи, поразбился. М. б. одноденкой побываю. Мне не хватает той или другой книги, тогосего... Да и пищевой режим не тот, при всем ее попечении

о моих удобствах. Да и события мешают, всячески. Отдыхаю я — когда в работе.

О племяннике нечего писать мне. Много говорили, но этого не упишешь. Существенного и не коснулись, как всегда, когда встречаешься после годов (20!) отсутствия. Главное — я написал тебе. Жду чего-то определенного. С 18-го апреля я не получил от него ни строчки. Где он — не знаю. Знаю одно: 10-го мая был он в Берлине, у моих знакомых. 11-го должен был видеться с кем-то крупным. Вот и все.

Мне очень хочется послать тебе «Душистый горошек» хотя бы. Подумай, нельзя ли мне переслать его в Берлин (бывают оказии). Почему ты не дашь имя-адрес друга вашей семьи, который бывает у вас? Или его нет теперь в Берлине? Он мог бы найти случай переслать тебе духи. Ты же — больная, он это охотно сделает.

Рука моя почти прошла. Временами опять чувствую «намеки» давней болезни, — тогда принимаюсь за «покрышку» глинкой или вроде. Болей нет. Пищеварение нормальное. Нет ни изжоги, ни отрыжки, ни — кислотности.

Кажется, ответил на все — второстепенное.

Теперь о твоей сказочке. Работа меня не удовлетворила. Дарование твое ясно, оно и здесь бесспорно, но... — ты не умеешь работать, ты — торопишься, ты делаешь с запалом. Нельзя так. Все это — сырьё. Во-первых, — надуманность, — режет ухо! — с этим «Лан-дыши!..» — режет. 2-ое, сказка, как сказка, должна быть проста, без нагромождений. 3-ье, положения очень избиты, захватаны. 4-ое, ты связала себя «стилизованием», лишив себя свободы; не выдерживаешь (очень часто!) размера, получается «хромание». Помни: в художественном произведении каждое слово должно быть на месте, — его появление должно быть оправдано. У тебя слишком многословно, растянуто, — в конце концов, наскучивает. Я читал безо всякого захвата, лениво, хоть это и твое. Но «ты» — для меня — в искусстве — уже не «ты», а автор. Отдельные места, слова, абзацы — хороши, удачны. Можно сделать сказку, но... не стоит труда. Нарочитость темы — охлаждает. А аксессуары — истрепаны, ходячи, — все эти «лазоревые цветики» и проч. Сказка — сама простота. Возьми Пушкина — «Сказка о рыбаке и рыбке»[261]. Или — по сжатости — «Песни западных славян». Или — русские народные сказки. Там встречаются иногда «сложности», но одёжка сказки, словесная ткань — посмотри, как проста, как мало «украшений» и «завитков» словесных. Этим недостатком страдает наш «мудрователь словечками» Ремизов[262]. Я

почти уверен, что эти «Ландыши» скоро надоедят тебе. Увидишь! Олюша, не полагайся на «сны»: они сложный продукт хаоса подсознания: искусство — сон особого рода, где все время бодрствующее око мастера, его ухо, его — мера, его весы (всякие!). Не удручайся. Я искренно говорю: и в этой работе ты обнаруживаешь дар свой. Но — недостаток уменья, надзора, суда. «Говенье» — куда лучше. «Айюшка» — отлично, если ее выправить местами (она — тоже наскоро дана!). Лучше всего (по простоте-совершенству) это твоя пол-странички, как высиживала цыпленка, ужин, ссора (толкались) с двоюродным братом, дядя, его «преступление», твое горе... Это — для хрестоматии! Видишь, какие в тебе возможности. Видишь, как врезалось во мне! Значит — сильно дано. И раньше — в золоте ячменя, вечер, ты ходила за ягодами. И как шла..! Олюнка, я душу тебя, обнимаю, от радости, как ты можешь делать! когда не надумываешь, а — даешь — как сердце поет. Но — обработка — после, всегда, — и самая строгая, но только и тут нельзя пересолить! Боже упаси! — Можно засушить, или — как у художников кисти — «записать», «замучить» полотно. Вергилий[263] хорошо сказал: пахнет (от манускрипта) светильником (маслом лампы!) — слишком значит, много поту, старания... Повторю: не исходи из снов. Исходи из солнца, жизни, сердца живого... — из дыхания... из близкого. И читатель найдет далекое, глубокое, — и свое. Трудно объяснить все в письме. Два—три разговора — и ты столько бы узнала, при-няла! Друг-друга поправляя, спрашивая, мы многому бы учились. Я никогда не считал и не буду считать себя неопровергаемым. Я всегда готов узнать еще, — и верю — через тебя — узнал бы. Ты — талант Божией Милостию, и я не боюсь говорить тебе правду, как ее понимаю: я люблю тебя — и Олю, и — товарку. Матерьялу... его — го-ры!.. Одна трагедия бедной Вали (как я жалею ее, болею ею!)... а еще эта твоя Фася... — ро-ман! Ничего о ней не знаю, а вижу — драма... Кстати, чем она «опять больна...» — и плачет, — писала ты — ?.. Она, кажется, умственно не-сложна, но, думаю, у ней свой душевный склад, «мирок»... и — вопросы, желания, идеалы... А тебе я указываю — тему — дай историю, хотя бы, фермы, ее жизни... фермы — как существа очень сложного: всех ее частей — общей жизни. Как ты все насытишь!.. И как это будет тебе легко и — сладко! Ты среди всего дашь — челове-ка!.. И [не заметил], а начинал письмо-бумагу.

[На полях:] Милка, целую твои глазки. Как здоровье? — Напиши, и — полней! Твой Ваня

Я случайно написал очерк в 5 1/2 стр. «Свет во тьме»[263a] — для инвалидов. У меня план: м. б. они из этого сделают для себя что-то, в помощь — ну, тысяч на 100.

В следующем письме напишу все. И м. б. пришлю очерк. Работал с неделю.

53

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

9.VIII.43 г.

Милый Ваня!

Получила я твое письмо, и мне очень горько: за что ты все продолжаешь злобствовать на меня? Ведь у тебя неудержная, беспрерывная раздраженность на меня. Уж высказался бы лучше, чем пилить деревянной пилой. Ты не подумай, что я «мимозничаю» из-за критики твоей моего глупого* писанья. Я всякую критику принимаю благодарно, уже хоть только потому, что ты время у себя нашел для такой дряни. Но все твое письмо и эта самая критика дышат злостью. Можно разбранить за дурное писанье и можно «исколоть».

Ведь странно было бы матери бить ребенка, учащегося ходить и делающего ошибки в движеньях. Впрочем м. б. и бить бы можно, если этого требует педагогика, а не диктует личная раздраженность.

Ну, будет... Хочу только еще сказать, что странно мне это, как ты не ценишь то, что нам дается. А много ли будет еще даваться? И долги ли наши дни? И что значат эти наши дни? Да, конечно, трагедия одной Вали исчерпывает много тем... Но, прости меня, если я снова откажусь от этой твоей данной темы. И без копанья в ней, я достаточно страдаю утратой Вали, а тут «вживаться» в эту кошмарность, да еще... проводя параллели. Ведь я человек, и моим силам бывает тоже конец. Фасина «драма»..? Да, конечно драма, и таких много, но самой Фасей воспринимается не в тех пунктах, которые являются как бы кардинальными. Но это все не то. Я не могу писать о Вале. Это же и моя боль. Это какое-то «палачество» было бы. Да пока вообще ничего не могу делать: я опять больна. Опять почка сильно кровоточит. Не бранись, пожалуйста: я ничего не делала. О Гааге

---

* Ты сам знаешь, что я никогда не обольщалась своими способностями. Ну брошу!

тоже напрасно ты, — на другой день поездки был у меня мой хирург и одобрил поездку. Он учитывает психологически это — «то нельзя и другое нельзя». Моего уролога нет больше, не знаю, что с ним, м. б. в отпуске?! Ну, лежу на спине и не шевелясь, как обычно. Господи, если бы не эта ужасная война! Хоть бы на воды куда-нибудь попробовать поехать. Ваня, прошу тебя, оставь злобу. Я не могу больше выносить твоей скрытой со мной борьбы. Надо беречь доброе в нас — это самое ценное, и все внешнее — ничто. Я в субботу была сражена опять ею. И как часто так бывало (почти всегда), что я сваливаюсь после этого. Если я раздражаю тебя, то скажи просто, я лучше подожду писать тебе. Какой толк в письмах, если только злят. А пишу я их тихо и благостно. Значит, это не во мне. Меня задавила жизнь своей серьезностью, и разве вправе мы тратить свои силы на... что? На уколы. Да, странная вещь жизнь. И почему мы утешаем больных: «будете здоровы, будете жить»! Сто лет, 10 лет — миг только в жизни, а сама жизнь — это болезнь с определенным исходом. И не разумнее ли воспитывать в себе примиренность с этим, а не укрепляться в бегстве от неизбежного? Рано или поздно... Я слаба и боюсь, я не герой, я не то что Валя, но разве жизнь спрашивает о том, что мы можем. Прости, что так пишу, но я много думаю так. Не сочти за паникерство, — о, нет, я совсем спокойна. Конечно, убита рецидивом почки, — это понятно, но надо нести.

Ну, будь здоров. И возьми себе на сердце то, о чем прошу: оставь зло на меня. А если не можешь, то не лучше ли переждать это время и не писать. У меня не хватает душевных сил на это. Благословляю тебя. Оля

[На полях:] Прошу тебя, Ванюша, будь благостен. Это все, о чем тебя прошу.

Я опять ослабла. Хочется сохранять и дальше мир души, а потому прошу, побереги меня. 11.VIII.43

54

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

18.VIII.43

Дорогая моя Ольгунка, прочел твое письмо — и сердце упало. Опять ты больна... Это, должно быть, последствия твоей поездки, как я и опасался, не злясь, — такой черты нет в нраве моем! — а тревожась за тебя. А ты, родная, все повторяешь — «злишься», «злобствуешь», «пилишь»... и т.д. Хирург одобрил? Но м. б. он не посчитался

с болезнью почки... Переезды теперь и для сильного человека тяжелы и связаны с риском, а ты — ты же описала ярко! — ехала в таких условиях, в тревоге, в давке, сдавленная до боли, под толчками спутников и чемоданов! Это двоякое воздействие — на нервы и тело — вот и дало итоги. — И моя «критика», поверь, была лишь беглая, — просто — этот род писания — стилизованность — никогда не был по душе мне. Вдумайся: твой рассказ нельзя перевести на любой язык, он про-па-дает: «Лан» и «дыши» — только русское одеяние мысли, и раз это так, то и «стиль» пропадает, и нет «некоторого царства», все распадается, остается «придуманность», нарочитость, не-простота. Я писал — не умеешь работать. Ты — спешишь, загораешься, выполняешь порывисто. Нет, искусство иного отношения требует от художника: точности, огромной оглядки, — м е р ы. Для чего сто-лько слов брошено, чтобы свести все к некоему словесному ребусу?! — да и то — узкому и условному, — случайному, — игре слов. Ты сама испортила свой замысел: отдельные места были недурны, чувствовалась душа автора, чуткость... Повторяю: с карандашом, я сделал бы наглядно пробег по всему писанию, и ты убедилась бы, как много надо выправлять..! Стилизация — это рогатки, которые сам автор себе же ставит, лишает себя д ы х а н и я. Я не стану больше касаться ни твоей опрометчивости — поездка еще неоправившейся, — ни твоей работы. Но повторю: мне горько было слышать, что я злобствую, пилю... — этого я не заслуживаю.

Не знаю, дошли ли мои письма с первыми главами «Под горами». Ты мне не написала ни слова. Я оборвал на сцене «в саду». Ты хотела узнать по-русски именно это. Я отлично вижу теперь мою ошибку в этой повести: т е п е р ь я не дал бы ненужной сцены «поездки Ганема и барыни», — эта была дань моей молодости писательской: эта сцена ничего не дает, так — сама по себе. И — чуть обнажённа, резка. Ее было надо оборвать на половине... когда сворачивают с шоссе, и точка. Она не входит в п л а н, н е н у ж н а для сути работы, — она ранит общий тон рассказа. А дураки-дельцы за нее-то и ухватились — , «универсальная библиотека Реклама»[264], — по-чтили меня честью! — болваны. Теперь я, пожалуй, половину своих работ или выправил бы, или выбросил бы... — я уже и раньше это делал, не включая в «томики» иных вещей... — Я колебался над «Голос зари»[265]... — мне этот певучий тон м е ш а л... — но я оставил, т.к. этот рассказ, я, страдая глазами в Алуште, диктовал моему Сережечке[266]... был болен, страдал и за его судь-

бу... — и все это вызвало этот ритм... эту скрытую в нем тоску-боль... эта рукопись — его почерк! — хранится у меня, единственная... — вот и включил этот рассказ в книгу. Многое бы вымарал-выправил я в своих писаниях. Видишь, я «злюсь» и на себя. А к тебе... я всей душой нежно тянусь, я болею тобой, ми-лая... если бы ты видела мое сердце!.. И как же бессилен я...

Со мной творится что-то... я весь в тоске неизбывной, я не могу собрать мысли, писать... Вчера начал про болезнь отца... — бросил, тяжело. Все жду чего-то, от событий. И все чаще — мысли о смерти... А тут еще попала под руку книжка «О смерти» — адвоката Андреевского[267]: он всю жизнь, буквально, этим томился, и собрал о «смерти» множество всего... стал, так сказать, «спец» смерти. Все только об упокойниках и кончинах, и запахах, и... даже «любовная встреча» у него, — личная! — на... кладбище! И все — сама правда, до описания «своей» любви — верх счастья! — с указанием имени е е... — она сошла с ума. Книга тяжелая и — ненужная, ни-чего не дает для уяснения. Всю жизнь отдать разгадке этой «загадки» и — свести к зеро![i] В этом ладане погребальном пребывал я дня три, — книжка-то — очень редкая! — страниц 600! Когда-то о ней хвалебно писала Гиппиус Зина[268], — старушка ныне, лет за 70! вдова Мережковского хвалила... — приятельница Андреевского была. Поверил ее «критике»... — а-а-а... — все ненужно. Лучше всего — отлично! — дана любовь его к сестре, мальчиком... бессознательное влечение, очень трепетное-благоговейное... и ее — к нему... Она умерла лет 17, от последствий коклюша... — вот ее кончина, и все, что за ней... очень тонко... глубоко... — это чудесно! Но... тяжело. Чтение прибавило моей тоске невыносимость... А вокруг — одни кончины... если бы ты знала — сколько! Какой-то «данс макабр»[ii]. Вчера сожгли приятельницу Юли...[269] была на свадьбе Ивика, 2 мая, здорова, ехал я с ней из церкви в карете, она еще на мои слова — «да, стареем, милая Шарлотта, стареем...» — я ее знаю 20 лет. Ей 60 или около. Она — «нет, я не чувствую себя стареющей... "онкль[iii] Ванья", и вы — молодцом, много еще должны писать...» — Она знала все мои «французские книги» и, кажется, ценила. Очень культурная, — учительница она, вдова, — «либр-пэнсёрка». Через две недели... болезнь...

---

[i] Ноль (*от фр. zéro*).

[ii] «Пляска смерти» (*от фр. danse macabre*).

[iii] «Дядя» (*от фр. oncle*).

стала пухнуть... что-то с ганглиями[i] лимфатической системы... — кажется, оказалось, саркома... Получил от ее «сёр спиритуэль»[ii] — она была совсем одинока, — грустное извещение... — «о фур крематуар, дэман марди, 10-30, о Колюмбариум вер 11-30»[iii]. Не поехал... получить такой заряд «кухни» «либр-пансёров»... — говорят, если смотреть в слюдяное окошечко, — пускает сторож, за взятку! — так увидишь, как о н и там, на противне, корчатся, изворачиваются... — по физико-химическим законам, от жару. Один рассказывал, — он убежал в ужасе! — как «жаркое» вдруг встало «раком»!.. Это, конечно, действие газов, — ведь сожжение, обычно, из-за формальностей, происходит на 4-й день кончины! Не поехал... Говорят, музыка бывает, под-сурдинку... «реквиемы» пущают... на пластинке!? А «либр-пансёры» — в большинстве жиды и масоны, конечно, — внушительно присутствуют...

Словом, я эти недели — в мортельной[iiii] анемии, анабиозе... — многие мои сверстники — у ш л и. Был в Сен-Женевьев на днях. Приказал выбросить безвкусно насаженные цветы, — розо-грязные хризантэмы! — не выношу! — цветов нет, нашел только несколько крупных бегоний, огненных-оранжевых — их взял. А, ведь, писал кладбищенскому садовнику, полковнику — «идите до любой цифры в расходах на цветы!» — Правда, в прошлое посещение я достал белые лилии, и воткнул их в землю — украсил. Но за то, в этот приезд, на кладбищенской поповке оказалась экскурсия русских девушек... я их приветствовал после ихних аплодисментов, — поп сказал им, кто это, — и они пели стройно панихиду на могилке, голосов 10, и было сразу три бати, — двое с экскурсией. Чудесная была погода, я принес букет «глайёлей» — знаешь, гладиолусы? — белых и пунцовых, — береза... — могучая. И ско-лько же новых могил!.. — го-род. Так валится эмиграция... Из Ниццы писал врач: за месяц ушло его клиентов только — 28. И все больше в молодых годах. Недоедание... — сводит легкое заболевание к летальному исходу — «улетают», как переводил один чудак. Видел памятник Мережковскому. Ну, понятно, выкрутасный, с претензией... как и все в авторе

---

i Лимфатическими железами (*от фр. ganglion limphatique*).

ii «Духовная сестра» (*от фр. soeur spirituel*).

iii «Или печь крематория, завтра, во вторник, 10-30, или Колумбарий строго в 11-30» (*от фр. «ou four crematoire, demain mardi, 10-30, ou Columbarium vert 11-30»*).

iiii Смертельный (*от фр. mortel*).

этом. Ну, и, конечно, по вкусу ломаки Зины, и по проекту... понятно, Бенуа. Всегда они были мне чужды, эти Бенуа, Баксты, Грабари... и прочие «мутные». Потуги много, притязательности, манерности... — много и фанфар, ибо все они мазаны масонским миром, все — рука в руку, все в ладах с жидовской клакой, все напористые, все в окруженьи снобов и снобесс, все «либр-пансёры», и все попадают в «колюмбарии», пройдя через противень... — сатане на жаркое. Накрутил А. Бенуа Мережковскому «мавзолей»: крестик, главка, — золотенькие, венчают наполеонову треуголку, которая, под белый камень, изображает якобы кровлю — храмик, под ней ниша, в нише, очень глубокой, «Троица», под рублевскую, под ней, «папертка» — из трех белых каменных брусков, как порожек, спереди прямоугольник — собственно «могила», а в нем — окруженная прямоугольной канавкой, белая плита с надписанием фамилии и даты. Под «Троицей» — «Да приидет Царствие Твое». Словом, — «под Мережковского». В канавке будет, понятно, буксус... — «вечно-зеленое». Зато казаки нагромоздили над своим — малопризнанным — атаманом гр. Граббе[270] такой «музолей», что... ахнул: откуда столько цементу натащили?! Пудов на тыщу. И получилось потрясающее диво: будто над могилкой — «вся тяга земная», сразу мне в башку — «лежит на нем камень тяжелый, чтоб встать он из гроба не мог»*[271]. Ну, видишь, какое настроение мое — эсхатоло-гичное, — и надо бы в *таком* — ахнуть в Монтекарло, встряхнуться, закружиться... забыть про «склон», втряхнуться. Благодарение Богу, болей нет, физически не слабею, — не сравнить, чтобы не сглазить, с прошлым годом, — тогда было полное умирание. И все-таки — старею, старею... — скоро без 4 — 70! Бунину уже 72. Говорят, живут они на чемоданах... — над Каннами, в Грассе, — где центр духов! — т.к. каждую минуту ждут распоряжения об эвакуации — прибрежная зона! — Да, он воистину на склоне: былая его пассия, писательница Галина — имя![i] — Галина Кузнецова[272], с которой у него было нечто марьяжное, — при жене! — *вместе* жили!! — его оставила деликатно, отъехав с сестрой публициста-философа Степуна[273], — была такой, из «невыразимых»! — сперва в Канны, и там — в Германию. А еще в 38-м, в сентябре, помню, был я у него в Монтекарло, — он там тогда жил и ни-когда не был в казино, т.е. не ставил! ску-по-ой!! — я не

* И уже осел этот гнёт боком, — вот-вот завалится музолей.
[i] Игра слов: galina (*лат.*) — курица.

понимаю! — как это можно н е игрануть!? ... — я тогда поиграл маленько, франков пятьсот процедил... не знал еще «системы», — теперь знаю, да... доскачи-ка! — так вот, был у него. Он был, как серебряный шар в цветнике, окружен девицами, молодыми женщинами... морщинистый, пергаментный, как старый патриций времен упадка... — одна была — разводка! — совсем голая... только чуть «драпировка». Терпеть не могу «жарких телес», в жару-то монтекарловскую! — потные, липкие. А они, видишь ли, так от жары спасались. Тогда и Галина-заика была там. И стареющая бедная «Ве-ра-а..!»[274] — как он, бывало, всегда орал, призывая жену, не обращала ни на что внимания, ленивая, — все, кажется, ей прискучило, даже безобразничанье. Тогда еще Б[унин] был сравнительно живой... теперь — не знаю, я с ним не переписываюсь. Ну, Бог с ним, пусть доживает...

Узнал: денег Елизавета Семеновна не получала, точно. Или забыл Толен послать и врал, что послал, или поручил Холере — или кому-то еще, и те не послали. Не думаю, понятно, что присвоили... такой пустяк, и француз на это не покусится, какие-то пятьсот франчков, когда, говорят, кило сливочного масла стоит в жульнической продаже те же пятьсот! А, просто, забыли... Так что я правильно сделал, вернув Елизавете Семеновне ее расходы и тем избавив тебя, мнитку, от лишней заботы: надейся на дубин и холер! Ты-то волновалась, а для Е[лизаветы] С[еменовны] эти 250 фр. — грош, когда она каждый день тратит, живя с сыном в пансионе где-то, те же 400—500.

Милая Ольгуночка, ты, кажется, меня поняла неточно: я не предлагал тебе темой — Валю с ее страданием, я лишь указывал, ско-лько тем дает жизнь, но творчество по-своему их выковывает. «Валя» — лишь мотив, исходное... — основа — страдание или томление любовью, но любовью сложной, тонкой, трагической. И это лишь, между прочим, я... — я почему-то останавливаюсь на близком душе твоей — с чем ты сжилась от рожденья, — на ж и в о й жизни, на природе, которую ты умеешь чувствовать... и потому я говорил — возьми, например, ж и з н ь, повседневную жизнь именьица, жизнь в с е х в нем, — ты чудесно описывала мне, как творилась новая, ж и в а я жизнь на ферме, — коровы, кобылки, овцы, кошки, куры... — но это лишь рамка, фон для основного, что ты вложила бы в работу. А свето-тени твои..! коровы... будто на картине, — или — во сне. Небо, освещение, тучи... грозы и бури... —

но все это фон лишь, ты дашь главное... — и я лишь примеры приводил.

Мой рассказик — «Свет во тьме» — знаю я, — суховат. Вот пример тебе — я последовал «заданию», так просили инвалиды. Я себя заставил. Видишь, я не отмахиваюсь от «заданий», от «урока». Было трудно, да... — надо было вживаться... — вначале я с раздражением делал, потом... втянулся. Рассказик пустяковый, — хоть и очень трудный! толстовский, ведь, как бы его серии — учительных, я это отлично понимаю, и думаю — старик от него не отмахнулся бы. Надо инвалидам собрать денег, как-то подействовать на сердце читателей... — и я не в силах был отклонить просьбу: ведь больше никто не мог бы им помочь. Из этого «этюда» можно было бы сделать нечто, рассказ развить, но... к чему? Дано все существенное — для избранного читателя; для простого же — самый факт. Самое трудное — «раскаяние» воскресшего. И это мотивировано всяческим потрясением: размягченность души — «а здорово тебе нервы потрепало!» — дана: если перенести себя в такую обстановку, вжиться в физическое и душевное состояние, станет понятно: в таких случаях люди ревут, впадают в откровенность — радость-то, что уцелел, жив у! — готовы всю душу излить и чуть ли не все отдать. Испуг... «что-то страшное видел», — испуг совсем детский, — «вы... вы здесь, г-н капитан?..» — так дети вдруг проснутся ночью и кричат — «нянь, здесь ты..? ...» Вот в таком состоянии и раскроется душа. И так естественно выходит, что дальше Антонов уже не может быть без «няньки»... его спасшей. Он уже не мыслит, как же можно теперь без капитана-то... — ведь целое «откровение» получено, хоть и скуп капитан на слова. Но несложный Антонов учувствовал, конечно, душу и сердце этого нераскрытого мною человека: да, теперь, встретив такое, уже нельзя, уже тяжело потерять, — даже заскорузлая душа поймет это. А что такого необыкновенного сделал капитан? Ничего... а вот поди же... — уже — нельзя. Чем-то сумел капитан сделать себя необходимым. Чем же?.. — да всем тем, на что мною прикровенно даны намеки, черточки... — в этом-то и была вся трудность рассказа: не навязывать, не выпирать, а дать родиться естественно. Надо было мне и душевное состояние «спасенного» передать читателю, его галлюцинации, его «радость» — радость от пустяка, от такого проявления жизни, как, м. б. аляповатая этикетка на консервной жестянке... от запаха картошки... вина — конечно, скверного вина. Но кто был близок к гибели... о, как должен ра-

доваться и пустяку — самой пылинке в жизни, пылинке, кружащейся в солнечном луче! Выздоравливающие после тяжелой болезни, после трудной операции... когда они чувствуют, что уже снова начинают жить... какое чудо видят даже в дольке апельсина, сквозного на огоньке больничной лампочки! А тут, в жарком, душном подвале, один звук воды из крана — уже солнечный дождь весенний, картинка на жестянке — уже Божий мир, солнечный огород, как там, в станице где-то, далекой, родной станице... зеленая стена живого гороха под кубанским солнцем... баштаны, кавуны... степи... — все бы это я мог дать, но надо было — сжато, и я все же дал существенное. А коли размахнуться... — легко бы было.

Повторяю: будь мы с тобой вместе, мы бы по глазам друг дружку понимали, и я передал бы тебе, моя голубка, все самое едва ощутимое... — и как бы ты все это взяла бы!.. — умница моя чуткая, — я же повторяю тебе, что ты — живое, истинное дарованье, и бо-льшое дарованье! А «стилизация»... — я раз написал рассказ «Под небом», он в той книге, которую отказался взять этот деревянный голландец, — и там привел рассказ охотника — на трясинах — легенду, вот с приблизительно таким напевом, как ты даешь... и почувствовал, что — н е л ь з я, режет... а — увлекся, как ты! — и — переработал, дал естественный пересказ, и куда лучше вышло. Рассказ был напечатан в «Русском богатстве»[275] Короленко[276], нравился. Но лучшее в нем — не эта легенда. А в общем он мог бы быть и ненаписан, как многое мое.

Еще раз прошу: не усматривай во мне этой поганой черты — «злобы»: я могу вспыхивать, загораться, раздражаться... и быстро остываю: «злиться» не могу, это было бы мучительно, а я нетерпелив. Хоть этим объясню тебе, почему не могу злиться и пилить деревянной — ! — пилой.

Да, этот дубина еще и врун... не пойму. Вот, отказался взять твои, от тебя-то! — мне подарочки... — какая же засушь душонки! Ну, чем он рисковал? Отберут? А м. б. и не отобрали бы. А я... как бы я был счастлив! От тебя, твоего изготовления ветчинка... а я не помню, когда и ел-то ее. А от меня не взял... — яички мог бы в жилетный кармашек вложить... малюсенькие коробочки лекарства, духи мог раскрыть... — для своего туалета... ну, книгу потерять жаль... эх, потому не взял, что никак не касается его выгод... — и — точка.

И опять скажу: гад тот, кто посмел сказать Вале... и она перестала есть. Как же я чувствую всю безнадежность ее, бездонность..! Дай ей, Господи, сил.

Ольгушоночка моя, целую глазки твои, губки и щечки — розовые, блеклые... все едино — т в о и щечки. Ты мне любая дорога, ты — душа моя живая. Оля, верь мне — все мое сердце в тебе, с тобой. Ну, Господь да восстановит тебя! Веруй, молись. Твой всегда Ваня, — пусть и старый, а душа моя ни-как не стареет — помнишь, сказала? — для нее нет годов. Но это не у всех, да.

[На полях:] Пересаженные мною твои пасхальные ландыши у Юли — живы, весной, думаю, зацветут. А мои — цвели? Ты не забыла их? Но тогда ты была в клинике.

Твоя бегония — именинная — дает 7-ой лист. Мои лимончики — молодцы, а всего 6 мес. от посадки зерен, — а ростом в 1/4 аршин.

Ольгунка, как я хочу видеть тебя! Слы-шать тебя!! руку твою целовать!.. сердце твое услышать...

Ты должна жить, и я тебе писал, в письме от 23 июля[277] для чего еще, помимо творчества в искусстве: такое твое сердце! Ты получила это письмо?

Вспомнила ли ты, когда и как ушиблась? Я постараюсь найти в письмах.

Я твое письмо, от 11.VIII — (штемпель[278]) получил днем — 14-го — всегда грустное придет досрочно!!! — только что послал тебе (14-го же) два с рассказом[279].

Тебе всего 39 л. — детка еще! Должна жить! Напиши о здоровье, что почка? Тебе нужен полный покой, да, терпенье, покой на время, и — пройдет.

55

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

16.VIII/29.VIII.43

3-ий Спас, наш рыбинский праздник[280]

Ванечка милый, отвечаю на твое письмо от 18-го, такое грустное, на какие-то «крематорские» мотивы. Конечно, тягостны эти «уходы», я очень ими всегда болею, кто бы ни «уходил». Это всегда напоминание о неизбежном для каждого из нас. И кто что о себе и о другом знает? Кто «на склоне» может запросто проводить не одного из близких совсем не «на склоне». Вот на днях через Красный Крест получили известие от 89-летнего дядюшки о смерти его родственника (брата моего свекра), «трагически погибшего в Лондоне» — ? Ничего не известно, т.к. сообщение очень краткое. Этого умершего я помню совсем свежим и бодрым

(нет 60—62 годов), а [вот] это 89 летний, давно собирался уходить.., правда необыкновенно живой и юный духом. Это я имею ввиду известного Dr. A. A. Bredius'a[281], знатока Рембрандта[282], отдавшего Гааге свой дом-музей с ценнейшими собраниями произведений искусства и подарившего массу картин Рембрандта ван Рейна музеям Голландии, — одним словом, тот самый богатый магнат, который широко покровительствовал и покровительствует эмигрантам нашим. Ты вероятно о нем слыхал. Во Франции его очень многие знают. Он живет в Монако. Теперь у него «в дочках» кн. Багратион с дочерью[283] и много еще кого-то. А до того было много всяких. К сожалению, часто его обманывали, т.к. часто бывает, что не те, кто бы заслуживали, (например, стипендия Рахманинова была дана прямо подлецу) получают поддержку (это его впрочем не останавливало от его благотворительности, и он мне как-то сказал: «эти милый люди, полные совсем особого шарма и жизни духа мне близки и это моя пассия, а за пассию должна быть и плата, это маленькие разочарования меня не смущают». Меня очень полюбил за короткое свидание и был галантнейший кавалер). Но разочарования-то были чувствительные... десятками тысяч. Говорят, что в молодости он был влюблен в одну русскую, бывшую замужем (за каким-то бароном) и с тех пор эта тяга осталась. Он не женился, но был всегда вблизи ее... и не близок. Это тутошние из колоний знают. На голландцев он не похож и ценности ценит не сребрениками. Массу интересного слышала я у него об искусстве, о художниках.. И постоянно у него молодежь, богема... да еще не только сами, но и своих приятелей-льниц приглашали (за его счет). Война 1939 г.[284] его застала здесь, и если бы ты видел, как он, уже 85-летний старик, метался, что его «милая принцесса» (Багратион) одна в замке, м. б. боится, м. б. без денег?.. И при первой возможности уехал. Причем никакой, конечно, грязи, — но сильная жалость к ней, испытавшей большевиков. Ну, довольно. Г-жи Haas его, вероятно, знают, если не чуждались культурных кругов Голландии.

Этот старец представитель категории людей, противоположной Толенам. Такие тоже есть. А Толена я через Фасю спрашивала: он деньги поручил переслать своему приятелю. Видимо, тот забыл. Теперь они ему напомнили. Надеюсь очень, что Елизавета Семеновна их скоро получит. Дело не в том, что это «какие-то несчастные 500 франчиков», как ты сказал и не в том, что они являются «грошом» для богатой Елизаветы Семеновны, — но только в

том, что это не в моем принципе оставлять неоплаченные долги (как бы ничтожны они ни были). Что же мне было делать с этим господином? Ведь если Анна Семеновна при всем ее поклонении и преклонении перед тобой, не исполнила просьбы сестры своей и насвинила, то чего же ждать мне-то, от людей совершенно ко мне равнодушных? Конечно, эта сумма ничтожна, но и для этого ничтожества я еле его уломала, а Анна Семеновна просто отказалась.

Такое уж время, что во всем и всем ограничены, и надо мириться, хоть это и неудобно. Обидно только, что ни на кого нельзя даже в мелочах положиться.

Теперь отвечу на твои вопросы, чтобы не забыть: твой рассказ «Свет во тьме» я получила, — «суховат» — ты пишешь? М. б. потому что короток, кажется, будто «суховат», но я не чувствую его сухим. Он все-таки истинно твой. Разве я тебе не писала о «Под горами»? Я же в восторге от них была и в переводе... ты знаешь. А оригинал?.. Что же я бы могла добавить! Сам знаешь. Мне только было жаль, что оборвалось... Но я не смогла бы и ждать дальше... И то это огромный труд — переписать сцены в саду! Спасибо!

Цветочки твои ландышки учились цвести весной, и я сорвала самую «пышную» веточку (в 4 колокольчика) для тебя, но тогда так горько мне было на душе, что не послала, ни письма, ни веточку. Но не хочу больше вспоминать. Рада, что у тебя лимончики растут. Мой апельсин огромный, но ему уже 3 года, а годовалым то он карликом был. Твои молодцы! То, что ты называешь бегонией, — думаю я, какой-то особый вид бегонии, если она без цветов...

Нет, я не могу припомнить, что в этом году я ушибала грудь. М. б. ты помнишь случай в Wickenbourgh'e, когда я упала в ров с велосипедом и ушиблась? Но это было в 1941 г. С почкой не знаю как. Была в Arnhem'e и ездила с Сережей к одному доктору, какому-то особенному. Его Сережа раскопал. Обещает вылечить; будто бы у меня что-то с кровью не в порядке. Ночевала в Arnhem'e, брат нежил и берег меня; — до Сережи проводил Арнольд, а домой отвез Сережа, охраняя и оберегая, но устала я дико. Сегодня отдыхаю, больше лежу (вчера вернулась), хотя чувствую себя хорошо, ни капельки не похудела и розовая, даже загорела. Мама опять «персиком» зовет, — значит, все в порядке! Буду теперь принимать новое лекарство, посмотрю, что будет. Этот доктор помогает (говорят!!) в тех случаях, когда специалисты бессильны найти причину страданий того или иного органа, не учитывая (как специалисты) общего состояния организма. Сказал мне, что очень важно сохранять

внутреннее равновесие, что нервность будто тоже способствует. Кажется, писала тебе, что мой хирург предлагал меня еще раз переисследовать? Он заезжал к нам на той неделе в четверг, совсем неожиданно вечером. Я была *очень* бледна и «вытянута». 1) После 2-х дневной сильнейшей мигрени, с остатками ее еще, 2) волосы были зачесаны наверх, а не в локонах по плечам (как обычно), что делало длинную тонкую шею, 3) т.к. была в постели уже (было $9^{\underline{45}}$ вечера), то накинула на себя поскорее пеньюар — синий, длинный-д л и -нный и сама стала синей и тянутой. Да еще пессимистическое настроение, сказала, что хоть к знахарю пойти готова. Ну, он и предложил исследовать еще, исходя из: «одна голова хороша, а 2 лучше». Он неохотно берет пациентов других коллег, но тут было исключение, — он по-человечеству, «частным» образом пожалел меня. Я ему доставила удовольствие ко дню рожденья: послала цветы (какие-то прямо грандиозные гладиоли удалось достать, где каждый цветок был с лилию), торт сделала и написала маленькие наброски-эскизы, так, совсем пустяки...

Его интересует <u>все</u> наше, просил рекомендовать книги, просил именно меня, т.к. много есть «клюквы». И т.к. этот человек интересуется иначе, чем большинство «тутошних», интересуется Верой нашей, видя в ней начало наше, то я серьезно отношусь к этим исканиям и с удовольствием знакомлю его с истинной нашей сущностью. Я записала собственно для тебя эти воспоминания из нашего села, а для него перевела на немецкий язык, вернее, заново написала, считаясь с иностранным читателем... Сделала обложку в стиле деревенском, нашем (сознаюсь тебе — взяла много у Билибина[285], не потому, что поленилась <u>сама</u> <u>свое</u> дать, но потому, что считаю Билибина на редкость стильным, по крайней мере на мой вкус), оживила красками. В последний момент кончала переписку на машинке, лежа в постели, оправляясь после почки. У меня есть такой больничный столик — с пюпитром, можно его через постель перекидывать. Ну, вот понравилось ему очень все это, страшно благодарил. И особенно был счастлив, что в то время мать его, старушка[286] 86 л., гостила и могла и торта попробовать и почитать. Эти «воспоминания» я совсем собралась тебе послать (*до* подарка доктору), да испугалась, что попадет мне от тебя за них, как и за сказку. Не решалась было и доктору послать, но рискнула, — ведь он не критик. Хотела бы тебе послать все же, — но до того они в тон твоему письму, что м. б. погодить, — совсем тогда ладаном запахнет. Не знаю, как-то так вот вспомнилось именно такое.

Хотелось показать и ему как они, эти простые и иногда неграмотные люди умеют уйти из жизни. Ведь совсем иначе, чем здешние-то!! Вспомнить только!* Ах, а Валя! О ней лучше и не писать тебе. Это такая мука мне! Она теперь заметно уходит! Вчера письмо Пустошкина ко мне — пытается облегчить сердце, ищет видимо тепла и тут же стыдится «докучать своими горестями», стыдится «быть здоровым, когда мы молодые больны». Мне жаль его. Просится приехать ко мне, чтобы хоть чуточку вздохнуть, но не имеет сил оторваться от Вали хоть на минутку. Пишет, что она уходит, ничем не интересуется, дремлет больше и неслышно говорит. Утешает меня, что в глазах моих масса жизни и энергии, что это верный знак, что все в порядке будет, а вот у Вали будто его давно отсутствие этого смущало, давно пугали ее глаза, уже нездешние. Он весь убит. Сестра Оля тоже, а бедная матушка начинает уже бояться быть с Валей ночью, — это не зная-то о правде! Предчувствует? Да, да, вот жизнь. Читали с С. Соломона и вообще Библию... «Суета сует, все суета...»[287] верно, верно. И чем мы себя наполняем, чем и на что тратим силы? Господи, как ничтожно мы живем! И как трудно найти и встать на путь истинный и прямой. Как трудно изменить себя!

31.VIII Ванюша, сейчас твое письмо от 22-го[288], — как мне от него радостно и тепло. Счастлива, что ты работаешь, Господь с тобой! Да будет тебе легко и отрадно! Все это мое письмо бы я выбросила и написала новое, — т.к. мое состояние совсем другое, — но тогда опять отложится. Шлю его, но сама вся радостная за тебя. Спасибо тебе за него (за письмо). Не могу вспомнить, о какой своей поездке в гости я тебе писала?? (Ты советуешь описать.) Напиши! Я забыла. Ах, как я снова живу твоим «Летом Господним»! «Радуницу» я знаю, но ее у меня нет. О, пришли, Ваня, все, все о твоем отце. Я же его так люблю. Каак я «Радуницу» читала!!

Крещу тебя и обнимаю. Оля

56

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

5.IX.43 7 ч. вечера

Дорогая Ольгуночка, пишу тебе с Юлиной дачки, куда меня вышибло из Парижа бомбами. 3 сентября, в 9-45 утра, когда я еще был в постели, — последние три ночи я

---

* 1.IX.43 Ну, не странно ли, что мы оба — об одном и том же!?

почему-то спал очень плохо, прерывисто, — после сигнала тревоги тотчас началась стрельба Д.С.А. — «дефанз контр авион»[1], и тут же ахнула бомба. С постели, сквозь досчатые шторы и драпри, я как-будто увидал взрыв огня — и одновременно оглушительный взрыв, будто тысяча пушек ахнула в мои окна. Не помню, успел ли я спрятать голову под одеяло... вряд ли. Все вылетело внутрь квартиры: огромные окна, драпри, железная палка их, обшивка над окнами, за которой — механизм для поднятия штор, огромный кусок толстой штукатурки, фунтов 20, из-под окна, что перед письменным столом. Доски переломало, и — молниеносный ливень стекол — толщиной вдвое больше пятака — засыпал все... Перед кроватью висела толстая раздвижная занавесь на кольцах, но не сплошь. Я минуты две лежал, ощупывая лицо... потом высыпал из туфель, возле, стекла, — коврик был покрыт сплошь, как бы льдышками, — встал... взрывы еще слышались, а на моей улице — крики, стоны, и началась уже работа по спасению. Накинув что-то я поднял — рукой уже — край шторы, во многих местах пробитой, и увидал... — уже не было дома в 3 этажа напротив моих окон, — а ширина улицы не больше 11—12 м, — только груда мусора, и остатки 1-го этажа. Оттуда выходили, через полузасыпанный вход крыльца женщины с чемпопало, выносили ребятишек, уцелевших чудом... Слева, на высоте бывшего 2-го этажа, спускали по откосу мусора носилки с обнаженным телом конвульсивно двигавшейся женщины, м. б. уже отходившей... убили мою визави, горбунью, часто глазевшую на небо. Стену соседнего 4-этажного дома, слева от меня, напротив же, срезало, и я увидел оставшуюся внутренность, пустую... — впрочем, на стене висели круглые часы, показывющие без 10 десять, и четыре кастрюли, рядышком. Сплошной вопль-стон, грохот, стуки... остатки чада от взрыва. Справа от меня, и от разрушенного дома, рухнул брандмауэр, и левое крыло крепкого 3-х этажного здания, в глубине двора, под каштанами, которыми я, бывало, любовался, — их посбивало частью, — оказалось оторванным... Моя квартира... — сравнительно мало пострадала. Выбиты все окна, сорвана надоконная деревянная обшивка, железная палка, в 2 с половиной метра, упала на занавесь перед моей постелью, сбило лампу с письменного стола, и кусок штукатурки весом фунта в 3 лежал на рукописях, на столе. И лампа не разбилась, я тут же ее попробовал — го-рит! В правой части моего ате-

[1] «Противовоздушная оборона» (*от фр. défense contre avion*).

лье, где *столовая*, все, конечно, засыпано, как тонким льдом. Широкая кушетка, у задней стены, параллельно моей постели, вся сплошь подо «льдом». Пробита картина — копия кустодиевской «Купчихи» — внизу, и стеклянная стрела осталась в ней. Погиб один из двух моих лимончиков, *лучший*, и срезало шесть листьев твоей бегонии, но седьмой жив, будет, значит, расти... Баночки с вареньем на столе — напудрены стеклом... Но что о пустяках..! Да, за моим изголовьем, на полу, грядка стеклянных кусков и стрел: все это промчалось над головой, — я, будто, слышал, ветер от них... часть стекла оказалась под одеялом: у меня — после увидал, — оцарапана правая нога в пяти местах и спина... — увидал лишь потому, что заметил после кровь на полу, капли... — ну, первым, минут через 20 прибежал Серов, помазал йодом. Кусочек стекла я после вынул из мякоти левой части левой ладони. Уже не было воды, но газ шел. Я из уцелевшей в кувшине воды все же сварил кофе, чуть подкрепился, собрал наскоро, что пришло в голову, — последнее, что написал, — а я еще написал 3-й рассказ для «Лета Господня» — «Москва», после «Живой воды», — и поехал на дачу. Там уже были извещены. Юля накануне уехала туда. Да, мой «святой» угол — два вершка его край от окна, и оттуда все сорвало в тайфуне взрыва — остался, как был: даже бумажные иконки, прислоненные к образам, не слетели. Ни одного портрета не затронуто! Ни одной книги... — а они у самого окна, ну, в 2—3 вершках их корешки. Все мое одеяло было покрыто стеклом. В кухне, в задней части квартиры, вырвало тяжелую раму, она упала на кухонный бассейн под кранами, белый, и оторвала переднюю часть его. Но вторая половина рамы оказалась нетронутой, стекла не треснули даже, хотя замок окна сорван. Моя входная, толстая дверь, запертая накрепко, с наложенной цепью, была открыта, скоба запора вырвана с мясом, а цепь... как-то вылетев с обоих концов, мирно свернулась калачиком и спала в уголке. И на комоде, перед занавеской постели, ни один пузырек не сбит, лишь все запудрено беловатой пылью и засыпано стеклами. Оказалось, что и позади нашего дома, рухнула бомба и натворила... Я, следовательно, попал как бы «в вилку». А что натворило дальше..! Почты, куда я так часто заходил, уже нет... Где жила Елизавета Семеновна — верхние три этажа снесены, а их крыльцо стало непроходимым. У них, говорят, — я не заходил, туда не пропускают, так как по дороге тушат пожар в переулке (разворочено кладбище)[289], которым я каждый день ходил за молоком, — выбиты все окна и сорваны

двери, они перебрались куда-то. После я узнал, — многие справлялись, что со мной, — вернувшись вчера к себе, чтобы захватить рукописи, белье и из запасцев пищи, я нашел несколько записок и карточек. А. Н. Меркулов дает сведения обо мне. Моя Анна Васильевна как раз должна была прийти в пятницу в половине 2-го, она меня застала, ахала, понятно, крестилась и слезилась... и начала наводить порядок. Когда я вчера вернулся на час-другой, все было в порядке, сравнительно чисто, только надо мыть полы да вставлять стекла... — но когда вставят — не знает никто. Кругом все вылетело! — Гг. англо-американцы, метя якобы в заводы, а кругом меня их довольно, били по мирным зданиям. Бомба упала в католическую церковь на площади Порт де Сен-Клу... Знаешь, я нисколько не огорошен, ни следа волнения, ни оторопи, ни дрожи, ни-чего. Уехал только потому, что не могу спать без окон, — еще, слава Богу, отличная погода! Главное, чем — в отношении себя — удручен, — перерыв в работе. Я хочу писать. Потому и уехал, забрал и машинку. Буду пока продолжать здесь. Здесь — ти-ши-на! Удобно мне, отличная комната, на солнце, мой подсолнух — под крышу! — «Дядя-Ваня». Две ночи отлично спал, как давно не спал. И мог километры тащить багаж, — не меньше 25—30 кило. Здесь яблочное царство. У меня на полу — яблоки, и впереди, и на деревьях, и даже когда выйдешь из примитивной уборной, висят-краснеют — чудесные! Конечно, я буду сыт, но многого не найду здесь, — но — неважно. Сейчас Юля достала мне молока, по моей карточке, — хоть я и не прописан здесь у молочного торговца. Если потянет в Париж, я могу пока поселиться у Юли, где когда-то жили с Олей, несколько лет, приехав в Париж, — это возле Инвалидов. Все зависит, когда застеклят. Юля хочет снять большую квартиру, ищет. Тогда устроюсь у ней, но мне надо или одна большая комната, или две небольших. Я за свою квартиру плачу 9 тыс. И это только потому, старая цена, что запрещено пока набавлять. Меня тревожит другое — н а ш е. Но здесь нет ни радио, ни в-радио, ни — «одна дама слышала» и проч. Здесь небо, цветы, яблоки, груши, собирается снова цвести малина. Перед окном, в железной сквозной беседке, завитой розами, готовят в печурке, на кострике, ужин. Переезд до Парижа берет, с ходьбой, полтора часа, и дешевый, 10 фр. Завтра поеду в Париж, получить по переводу и забрать кое-что. Квартал меня не пугает, хоть он и облюбованный «бомбистами», но ведь не может же быть «удачи» сряду... это все равно, что выиграть два раза сряду

по миллиону, — попасть еще раз под бомбы. Хотя ныне и законы «теории вероятностей» шатаются, слишком много не-вероятностей! И «теория» часто в разладе с практикой.

Я давно не получал от тебя — с 20-го авг.![290] Напиши о здоровье!! Последнее мое письмо было — от 23 авг. и еще, 26, наскоро, простая открытка[291], что написал 2-й рассказ. Теперь уже — и третий написан. М. б. послезавтра начну «Серебряный сундучок». Надо завершать дело всей жизни. Будущее — *темно*.

Голубка моя, твои письма запакованы, и я сдам их в более верное место[291a]. На днях составлю — снова! — завещание. Н а д о. Это только разумно. Так шатко ныне в жизни. Везет русским писателям. Так или иначе, бомбами затронуты: Ремизов, года три тому, Зайцев[292] — в прошлом году, Брешко-Брешковский[293] — погиб, и меня — «вышибло»-таки из гнезда. Жаль уезжать, если придется. Столько связано с ним... — здесь ты нашла меня, я тебя. Родная, детка милая... была бы ты, ты здорова. А я... — «пора, мой друг, пора...»[294] Господь с тобой. Так и не свидимся..? Но тогда... — нет, все так, как надо. Но где логика вот в этом? В 7 утра молодая женщина родила первенького... а в 10 — их не было в живых, — вот, где тут логика и смысл?! Целую твои глаза. Милая, обнимаю! Твой Ванюша

[На полях:] Отличная погода! Утро было — блеск солнца, росы, зелени и неба.

Напиши, миленькая, писала ли ты мне в последних числах августа: боюсь, не погибло ли письмо? Наше (№ 100) почтовое отделение разрушено, письмо могло пропасть. Последнее твое было от 21.VIII[295].

57

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

9.IX.43

Господи, — какая милость Его над тобой, дорогой мой Ваня! Ванюшечка!

Сию секунду твое письмо от 5-го сент. Нет, как же ты можешь писать «пора, мой друг, пора!» — Ведь это твое спасение доказывает как раз обратное: ты остался, ты н у ж е н, ты д о р о г! Как горячо надо поблагодарить Бога за это! Ужасны эти налеты. Я страдаю невыразимо от этих зверств войны. Боже, Боже, что иной раз видишь и слышишь!.. Нет, не выразить словами. При каждом извещении: «столько-то сбито, убито, потоплено», — встают в уме

и сердце картины. Господи, все ведь люди и всё люди, все, что живет и дышит. Я физически страдаю иной раз. И как же теперь с тобой? Неужели ты покинешь гнездышко? Мне жаль его. Я у тебя ведь уже «гостила» там, на Boileau 91. И сколько раз! Помнишь, ты писал мне, как я твоя гостья? Да, давно. Теперь все так преходяще. Я понимаю твое спокойствие. Это всегда перед большим так: проходит трепыханье, барахтанье нервов. Какое счастье, что ты был в постели, — сиди ты за столом — Бог знает, что бы случилось.

Поживи пока на даче, отдохнешь, — это тебе указуется м. б. тоже. Тебя ведь давно звали, а ты брыкался. Мне жаль всего: и почты твоей, где отсылал мне, — куда приносили мое тебе, и каштанов, и лимончика.

А та визави твоя, — помнишь, — «Мадонна»? Неужели и ее нет? Ты пишешь о горбунье, я ее не знаю... Да, вот ответ на то, кто «на склоне» и кто нет. Ты это мое письмо м. б. и не получил (оно было в последних числах августа[296]), я там писала о том, как все неверно, неизвестно, что вот знаменитый дядюшка Bredius (рембрандщик, — его знаток и собиратель, большой магнат, — ты наверное слыхал, — живет князьком в Monaco, много помогает эмигрантам нашим) — ему 89 лет, собирался все «на покой», а вот пишет через Красный Крест о кончине своего молодого родственника, погибшего от налетов в Лондоне, — застрял в Англии. И вот новорожденного нет, матери его нет, а сколько иных больных, и м. б. безнадежных, переживут. Много можно об этом... А толку что?! —

И странно: у меня в ночь на 3-ье тоска была и я плакала. Этого давным-давно не бывало. Утром встала с камнем на сердце, глаза резало как песком. В 1/2 10-го пошла на огород пощипать зелени и бобов и в 10 была дома, все с той же тоской. Я сжалась вся под ней, ожидая чего-то, т.к. тоска моя всегда почти что предшествует тяжелому. И вот подумала, что она к болезни, т.к. в 1 ч. дня слегла. Ты получил письмо об этом?[297] Опять почка. Да, да, тоже 3-го!

Ну, вот лежу еще. Потом читаю в газете: «бомбы на Париж», — без подробностей. Ну, сколько же раз писали так, а почему-то сжалось сердце. И тут же успокоилась: — тоски не было уже, — значит, ничего.

Вдруг прошла тоска. Объяснила почкой. Потом все рвалась писать тебе, — думалось, «мало ли что может быть». Но в болезни я такая бываю... не знаю какая, другая какая-то. Но и ты хорош: «пиши», — а куда! Хоть бы

адрес-то дал! Неужели толстокожий приятель Толена не послал денег Елизавете Семеновне?

Ах, Ванюша, как грудь болит, и рука и бок, и грудная клетка... К дождю, так хоть плачь! Режет как ножом. Тягостно лежать, — жарко, темно кажется в комнате, когда на улице такой свет. Но сейчас-то вечер, у кровати лампа для чтения, стоячая со столиком, очень удобная. М. б. скоро встану. Моя проблема с хирургом (идти с почкой к нему или нет. Я тебе писала, почему) разрешилась очень просто: вчера приехал вдруг нежданно проведать — был в деревне у кого-то. Ну и застал меня в постели, а я от него таилась, что больна. Я ему честно все сказала, как есть, — что устала душой еще и еще исследоваться, а что пока попробую еще одно лечение. И он сказал: «Конечно, я понимаю, я сам это проделал в жизни, и потом нет никакой опасности для жизни, а природа очень может помочь. Будьте покойны. Но если участятся припадки, то лучше посмотреть». М. б. нужно оперировать? Ну, что Бог даст! Милый этот доктор, — он не настаивает, не честолюбив, он прежде всего человек. Я не видала таких за границей.

И еще, под конец, когда уходить, вдруг говорит: «А ведь у Вас талант писательский... правда, Вы знаете, я был захвачен этими "набросками"...* и содержанием, и формой. И если бы я был издатель и мне принесли такой материал, то не задумываясь бы напечатал. У меня их на разрыв читать брали и даже увезли в Zust (городок), но я получу обратно...» Ты поймешь, как я краснела и бледнела.

Написано-то было по-немецки даже, как бы перевод. И все спрашивал, знаю ли я об этих данных, — я сказала, что мне «один писатель» советовал работать. «А-а-а, вот видите! Я прав, очень рад. У меня брат писатель, так что я не совсем невежественное мнение высказывал. А я вот не умею, я только оперировать умею». Только! А это известнейший хирург. И это не из ложного смирения, не фразы, не рисовка, а совсем искренне. С ним так легко, и все ему можно сказать, даже если бы я у знахаря предпочла лечиться. Он ко мне относится как к ребенку, но не снисходительно свысока, а внимательно и заботливо. Недавно была у меня невеста (или что-то вроде) Кеса[298] и рассказала, что ее отец умирает от рака. Оперировать нельзя, т.к. склероз сердца. Рак легкого. Мой хирург оперирует легкие — его специальный «секрет». Она все-таки пошла к

---

* Я о них тебе писала. Собственно, они для тебя по-русски сперва написаны были.

нему и просила посмотреть еще раз отца. Он сказал ей, что никогда не перенимает у коллег, тем более случаи внутренних заболеваний, — другое дело, если к нему на операцию пришлют. Тогда проверит и просмотрит все точно. Значит верно то, что и мне говорил, что не в его принципе брать пациентов от коллег. Но, несмотря на это, хочет меня переисследовать. Но так и сказал: «как бы своей сестре я хотел помочь, так и Вам, я сам напишу v. Cappellen, если найду что-либо, и вместе с ним обсудим». Как это надо ценить! Хвалил еще вчера за мою «храбрость», говорит, что редко это, чтобы так перенести операцию такого сорта. Обратился к Арнольду: «Не забудьте, подобного рода сдерживания нервов стоят очень дорого, она же слабенькая еще, — почка могла и на это реагировать». Еще не исключает возможность особенности моего организма, ибо, будто бы такие случаи бывают. Был доволен и пульсом, и видом, и настроением. Выгляжу я хорошо, Ванюша. Только томительно это лежание. Ведь только что встала! Ну, будет о себе! Как я рада, что ты пишешь! Открыточку твою не получила. Хоть бы постояла хорошая погода, хоть бы ты отдохнул. М. б. и вставят стекла скоро у тебя? Как бы жаль было твоей квартиры! Ванечка, мысленно шлю тебе цветы к твоему спасенью и за неимением возможности осуществить этого, прикладываю маленький цветочек в письме. Обнимаю. Оля

[На полях:] За эти дни перечла «Божественную комедию», — по-немецки, — другой нет, кроме итальянского оригинала. Действительно, — божественно.

Горю прочесть твои новые рассказы. Как же я обкрадена, что не имею возможности этой. И не могу поговорить с тобой!

Всегда, утром и вечером молюсь за тебя. А помнишь, бывало, в 11 ч. вечера ты думал обо мне?! ... Крещу тебя. Будь здоров.

58

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

9.IX.43

Здравствуй, дорогая Ольгуночка-персик... так ты не вишенька, а персик! Удачно мама окрестила. Очевидно, похожа. Я рад. Самое главное, чтобы «спела». Новый врач, кажется, точней определяет недуг твой почечный.

Помнишь, писал я — не только со слов Серова... — м. б. дело в сосудистой системе, в свойствах — физических и химических — крови и сосудов-тканей. Ни в коем случае — мучительных исследований — цистоскопии! После специалиста — лишне, положение не изменилось. Верю в честность хирурга и объясняю его предложение — желанием искренним — помочь, но здравый смысл говорит — не надо.

Главное — больше покоя, щади же хрупкость — пока! — свою, ослабленность после испытаний. Ты же — умна, как сотня попов-Семенов.

Пустошкин, — м. б., лучше через «ы» после «т»? — определенный вид «лизунов», ищущих «тепла» возле юбки. Чуть фатоват, чуть «разочарован», с большим самомнением, любит «загадочных»... — и при всем таком я не сомневаюсь, что ему было холодно в жизни, и он грелся любовью без накальца. Так... но..! — когда Валя «уходит»... — искать с е б е облегчения... ?! — у тебя..? — что-то во мне не вмещается. Тут — «отдай все», «забудь все свое»... и — стереги каждый миг, а не — «отдых». Ну, впрочем, ты, ведь, «медоносная»... — издалека слышат чарующий аромат зрелого «персика»... — поверь, говорю не в пошлом смысле, а в самом «уносящем», неопределимом, как духи «после ливня». И главным образом имею в виду твои умственные и душевные качества, эта чудесная «сдоба» творит чудеса с «тестом» даже незадавшимся, а ты... «телесная», — очень и так сложна и заманна, — и не видал тебя, а в и ж у. В тебе та «прелесть», какая может метнуть в прелесть четьи-минейную. Имей ты даже косящий глаз, даже будь долгоносиком. Ты — ультра-женская, вся — женственная сугубо, ты же — «апре л'онди», хоть я и по сию пору не знаю этих духов! — но предузнаЮ!

За эти 6 дней с бомбардировки я три раза смотался в Париж, надо было то-другое взять, о том-сем распорядиться. Большой вопрос — где буду жить. Когда все исправят..? Управляющий домом объявил, что если жильцы сами что поправят, он ни гроша не заплатит. Чистопробно французский подход. Ремонт на крупную сумму, — ныне, — один механизм жалюзи сложен по нынешним временам непостижимо. Ветер гуляет в квартире, а скоро загуляет осень. Из Сен-Реми у меня есть, куда съехать... но мне так хочется своего уюта. Опять жаться-тулиться, в одной комнате..! Не знаю пока... что решу. Дни были солнечные, сегодня — чуть дождит. Сейчас я только что полол запущенную малину, окучивал капусту, цапал у роз. И — съел чудесное

сырое яблоко... — сколько лет не ел! — ничего. Так хочу яблок, их нежной кисло-сладости душистой. За эти поездки узнал-повидал мно-го..! О, какое зрелище безумия... — будто нарочно англо-американцы выбирали, как бы больней поразить мирное население. Мое место оказалось как бы в центре опустошения. Мне сказали, что я был на краю гибели. Но я и сам сознавал... Но оказалось, что имели основание говорить так. Моя постель у наружной стены в 6 этажей. Самая крупная бомба пала на пустырь, куда выходит стена. Бомба сделала воронку во весь пустырек, в 3—4 м от стены. Воронка все поглотила, от камиона[1] не осталось ни винтика, но его шасси, через стену, убили продавщицу в магазине, позади нашего дома. Если бы не крепкая кладка, — дом, хоть и новый, построен прочно, — эту часть его раскрошило бы с удара. А я лежал у самой стены, во 2-м этаже. Ну, что разгадывать... Господь уберег, — чьими молитвами?

...Приезд Карташевых помешал письму. Продолжаю 10-го.

Хочу писать, очень. М. б. и буду продолжать здесь пока последние главы «Лета Господня». Здоров. Вчера съел даже два яблочища. Сегодня утром, после завтрака — опять пояблочился. Часок-другой — огородику. Люблю, — уводит ото всего. Но — не от моей чудесной. Она — ты! — всегда во мне. О «гостях» писал тебе... — ты же писала, как, бывало, приезжала к бабушке, вез мужичок, ребятишки у околицы кричали — «дай конфетку» — ? Ты колебалась, надо ли все подробно... А, милая... пиши так, как душа хочет, вольно... всегда можно сжать. Но в том — ты только — в зародышке. Теперь — зрелая, плодоносящая. Вот почему мне навертывалось — дала бы жизнь «фермы»... но это лишь обрамление: главное — человек, женщина... вокруг которой все кружится — живет. Можно взять форму «записей», дневника. Полная здесь свобода. В отрывках дней — развертывается в раме и жизни фермы требовательная — и какая же глубокая и тонкая душа женщины! Тут — о всем... о любви, о вьющихся, чуящих «медоносящее»... о надеждах, тревогах, устремлениях, — о жизни и ее тайнах, — тут ты в таком просторе..! — обо всем... до свето-теней, до получения писем от интересных людей, конечно, и наряду с огромным внутри... — маленькие жизни — самой, неодушевленной фермы, — строений, и

[1] Грузовик (*от фр. camion*).

прочего... котята, жеребята, свинки, цветы, яблони, вихри, мороз, мыши... зерна... поленья... ну... — я слышу аромат этой вещи. Ведь «ферма» тоже имеет — сама в себе! — свои — глухие — цели... глаза, уши, сердце... свои боли и здоровье, свое дыхание... Ах, Ольгунка, ты умна-чутка, ты схватываешь невысказанное мною, оно может проглянуть, родиться только в процессе работы творческой, о нем нельзя сказать словами письма... оно вылепливается, вылупливается, как цыпленок. Главное, не смущаться, не бояться, что так писалось... — ни-когда т а к не писалось, как будет написано.

Если удастся, отыщу в твоих письмах, где писала о сильном ушибе груди: нет, это вовсе не падение с велосипеда, это случилось гораздо позже, уверен. Но письма запакованы, и не со мной.

Сейчас солнце, после вчерашнего дождичка-туманца. Тепло. Солнце шпарит прямо в лицо, чуть слева, сейчас 2 с половиной, а по солнцу — половина 1-го. Иван Иванович готовит обед на костре в печурке, под трельяжем уже отцветших роз. Они осыпаны крупными зреющими ягодами, коралловыми яичками. Под верандой распустилась крупная темнопунцовая роза приятной формы. Цветет еще поздний картофель. Помидоры, по запозданию посадки, лишь наливаются зеленью. Мой подсолнух — в 3 метра, только дня три как растрепал свою головку, увеличивает ее, она пушится, сеет «цвет», кипят на нем пчелы и шмели, больше 40 листьев на нем. По ночам здесь мирная «бомбардировка» по крыше: изредка падает яблоко, на черепицу. Нежатся груши, глинистого тона, твердая кожура, — не знаю им имени. У калитки две густые липы, пью их цвет вечером. Ем охотно грудинку, когда есть. Иван Иванович ходит для меня на ферму за молоком. Местами летние побеги малины дают цветущие почки. Из Сен-Женевьев прислали мне чудесного меду, поделюсь еще кой с кем. Привез с собой баночку отличного — настоящего! — мармеладу, моя самодель, — осы прогрызли бумагу и набились, грабят, как... в буфет мальчишки и девчонки на даровой спектакль в императорском театре в царские дни, — за ночь ссосали больше сантиметра! Так хочу твоей ветчинки..! Видел караимочку, она извелась... У ней пил кофе со... сметаной, вернулась на пепелище без окон. В их доме десять убито. Против меня — 7. Кругом... — ну, нечего тут описывать. Пока — промчалось. За день до «утра с бомбами» видел во сне Олю... ясно не помню, одно: ноги мои голые и забрызганные будто чернилами. Вспомнился и зимний сон: писал

тебе: выползла из печки змея и обвила правую ногу, но не ужалила, я взял газету и через газету снял ее и бросил. Помнишь, я описывал осенью 41-го как вечерами, в сумерках вижу «мадонну» напротив, молодую женщину с ребенком и как она целует дитя... Вот, этого окна нет, и ничего нет... но «мадонна» была приезжая, ее не было в то утро... а горбунью, всегда маячившую у окна, с н е с л о... а накануне я видел, как она ела виноград, вечером, когда там зажгли свет... в т о т миг она стояла у окна, — рассказывала моя консьержка, — и только сказала ей — «вуоля лэ англэ...»[i] — и — пропала на глазах консьержки. Все так просто и страшно. Только я успел свой «Свет во тьме» написать, а о н а — вот она! — легка на помине, — бомба-то. А, ты обо мне... ну, так гляди, как я... Да я и без нее м о г все увидеть, на то и воображение. Н о в о г о мне ничего не дало, в с е мог бы сам... ну, подробности не лишни, понятно. Запах, например... — как вот мальчишки когда из пистолетиков красными пистончиками палят, только... куда же острей и гуще. И эти «стуки» раскапывающих..! Эти «кузнецы» меня оглушали, когда я наезжал к себе. Не знаю, смогу ли продолжать для тебя «Под горами», очень я загружен. Пришли, что перевела врачу. Почему не прислала, раз — «для меня»? Испугалась... — ты что же, хочешь, чтобы тебя только хвалили? какое малодушие! Вспомни: Шмелев тебя куда чаще ободрял-хвалил, чем... корил. И помни: Шмелев, а не Ванюша. Ванюша и за «Ландыши» расцеловал бы до обморока, — м. б. и обоюдного. О, как же мне не достает тебя, мой ангел, Олюнка... ягодина ты сладкая! О, куда неимоверно сложней и слаще, чем ягодка. Ты из чудесно-таинственных «обольстительниц», в самом чистом смысле... чаровниц — лучше э т о! Чарующая... — такое уж в тебе, во всей тебе неуловимое и неповторимое сочетание... — на дурацких языках называть можно «комплекс», «комбинасьон»[ii]... — сочетание всего до... той «волны», «волн», — от тебя, и неуловимой никаким снарядом, и очень уловимой обоняньем. Ты «пахнешь» куда тоньчей ландыша, — это я с л ы ш у порой... до замиранья. Я — на склоне, но... все чувства так ярки во мне, так восприимчивы. М. б. отупел для «страхов»? Эта канонада в мои окна тысячи пушек — 3 сент. — ну, ни-как меня не потрясла, даже от этого стало страшно, что н е потрясла. Тут же сварил себе кофе и с аппетитом пил. А потом стал щеткой

---

i «Вот и англичане» (*от фр. voilà l'Anglais*).

ii «Сочетание» (*от фр. combinaison*).

стекла отгребать, чтобы было где ходить по квартире. Вспомни Архимеда — воину, пришедшему его посечь мечом: «э-э... не затопчи моих чертежей»... — на песке в саду. А у меня: «ах, только бы дописать "Лето Господне" и "Пути". Ну, своего рода «инстинкт» пчелы, которой ни до чего дела нет, когда лепит свой сот и набирает мед. Но только... во мне-то ведь в с е сознается! — Ну, чего ты выдумала «упадочным» наполнять душу??? Эта «премудрость» о суете сует — дешевка же! Подумаешь — «возвращается ветер на круги своя»![299] Ни-когда не возвращается!!! Всегда — д р у г о е. Это типично — дурацкое иностранное словечко, но сейчас не могу точно заместить своим, — еврейская упадочность, истерическая, надрывная... но, вернее, «философия от сыта брюха». Когда этот Соломон Давыдыч[300] объелся всего, и уже кончилась вся «слюнка», всякая и всяческая в нем, тогда — записал. Гляди на дело, как говорится, — юные любятся и х о т я т, юные безобразят в очертиголовстве в полетах, — в с е х к р о в е й! — и ни думки о «ветре». Ты вон мне писала — в случайный миг «упадка» в тебе — «странно, как это люди же-нятся!»... Ну, да будет тебя спрашивать подсолнух, цвести ему или свянуть... и слизняк на огороде, — обнять ли липко — «прекрасную»! тьфу... а правда. И охваченный творческим порывом, всяческим, вплоть до... «объятий», будет рассуждать о «суете всяческой»! Как же... А вот другое дело, когда ты говоришь дальше: «чем себя наполняем, на что тратим силы?» Да, верно: «Господи, как ничтожно мы живем! и как трудно найти путь...» и т.д. Вот. Так от нас же и зависит чаще всего этот «путь» и «на что» тратим силы. Сколько тебе писал я: Оль, цени каждый миг! т в о р и, как можешь. Это — личное. А сколько у нас н е-личного! особенно в такие эпохи! Наполняй каждый миг — желанным, и — прями волю в себе! Трудно порой, да... А я знаю людей, сознающих себя «на краю» и — ...о других, з а других!!! Это выковывается и верой, и... самовнушением. И — меньше, меньше — «соломонов»! Они уже исцеловали тысячи-тьмы дев и сожрали миллионы порций всего, и — общее несварение, и — суета. Об этом вдруг открывающемся радостном миге жизни я написал, — до бомбы! — об отце, в рассказе «Святая радость». М. б. «бомбы» не бесследны для меня, м. б. я получил некий «заряд»... но я всегда хотел быть плодоносящим, только и «лень», и... недомогания, «нервы»... Ольгуночка, постараюсь послать тебе этот рассказ и другие... но — когда?! По тону моего письма ты почувствуешь, что я «в форме». Если бы я был «у себя»,

8 — 11249

я знаю, что закончил бы — а надо еще — вижу теперь! — очерков 6—7!! — II часть «Лета Господня». А теперь приходится отписывать на «сочувствия» и встречать того—другого, кто и сюда завертывает. Вот, завтра Пастаки приедут, инженеры, товарищи моего Сережечки. А накануне бомбы был у меня из Симферополя, привез первый № «толстого» журнала, от редакции. Говорит — «ско-лько же у Вас читателей!» Перепечатали — откуда добыли? — три главы из «Солнца мертвых». Просят «что-нибудь». Дал — «Чертов балаган», дал «Свет во тьме». Предлагали гонорар..! Нет — отдайте там... там слишком много «безгонорарных». Думает 20-го — назад, но... удастся ли? А у Пастаков сестры пропали там, в Евпатории, три! в дни временного «ухода» оккупационных войск[301]. А матушка жива и не знает ничего. Уж из Берлина племянница написала — «пропали». Одна была химик, заведывала курортом «Саки», под немецкой оккупацией. И теперь — нет следа, очевидно, «товарищи»... порешили. Так какая же тут «суета сует»? Тут — трагедия, а не «суета». Соломон-то на солнышке грел лысину, икал, рыгал, — соды тогда еще не было, а катарры всякие уже были... и «язвы» были, и не было «бисма-рексов» — о, милка, как ты мне помогла этим «рексом», думаю! Но как же хочу твоей ветчинки — в прямом смысле, понятно! — т.е. твоего засола!

Недавно махонький и верткий чудесный Нарсесян прислал письмо: на днях будет у меня — а я вон где! — и приложил хвостик письма к нему от посажёного отца. И. А. приписывает «с построениями и настроениями Ивана Сергеевича я совершенно несогласен». Логик философ, а откуда же он о моих «построениях» и «настроениях» знает?! Несколько скороспелый вывод. Надо знать точность и полноту моих «построений» и — эволюцию их. А он ни-как не мог знать. Догадывался? Но — как это «совершенно» несогласен, как-будто он в совершенстве знает. Ты-то и то — уверяю! — не знаешь. Слишком все мое и во мне и кругом — сложно и переплетено! О свадьбе — была, м. б.! — Марины я ему Н[арсесяну], конечно, ни гу-гу! нельзя ранить. Я ему хотел подарить «Пути» за его заботы обо мне. Увижу ли его..?

Сейчас обедал. Меню: салат помидорный, хороший овощной суп со сметаной, яйцо всмятку, яблочный мармелад. Дописываю — спешу, не выправляю опечатки, исправь сама, милая. 5 с половиной, а почта здесь четверть часа, ходу. Хорошее было твое письмо, напиши лучшее, потеплей, если душа дышит. Все бы ничего, терпимо, да беспоко-

ит квартира, когда смогу опять угнездиться. А что в районе — излюбленном — обстрела, это неизбежно: как знать, какой район станет «любимым» теперь. У Карташевых, правда, тихо, нет никаких заводов, и огромный парк рядом, и подворье недалеко[302], и комната есть... да «у себя» люблю. Ну, Господь да сохранит тебя, моя Ольгуночка. Только бы ты была здорова. Пиши о здоровье, и берегись простуды и физических напряжений, «скачек» по железной дороге — н е л ь з я. Твое дело, конечно, я бессилен тебя сдержать, но... — говорю тебе при-казно! А там твое дело. Крещу тебя и целую «персика».

Твой Ваня

Пиши лучше на парижский адрес.

59

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

15.IX.43

Голубка моя родненькая, Ольгуночка грешная, — я скажу, почему называю так, — целую тебя, «персик». Вчера был в Париже и получил от Меркулова твое письмо[303]. Пиши на него лучше, можно и на меня, по старому адресу, но мне будут оставлять почтальоны повестку, и я должен буду идти на временную почту, а я пока налетцами в Париже и много хлопот с квартирой опустошенной. Почему ты «грешница»? А вот: все пеняешь, коришь кого-то и что-то, все стонешь — «нет мне места в жизни»! Идиоточка ты милая... как смеешь так?! Так всеполно одарена — меньше бы если — лучше! — и так ныть!! В с е, о чем стонешь, в с е — от тебя и зависит, и через тебя н е проявляется в ж и з н ь... а только про-тискивается, да ты сама его оттираешь. Нечего сжиматься и страшиться, ложно стыдиться своих возможностей. Почему, спрашиваешь, т о г д а не поддержали тебя в искусстве кисти? Почему это люди, и десятой доли не постигающие всего того, что ты з н а е ш ь, непременно должны были тебя... ободрять?! Я по себе знаю, меня-то уж ни-кто не мог ободрять, окружающие все были совсем в н е этого, до женитьбы люди очень мало образованны. Я, шатаясь, все же н е с свое в себе, и... с а м донес, и сам все вы-нес. Не в похвальбу говорю, а потому что так именно и было, и т а к, и только так и надо делать. Тебе сто раз сказано было, — и мною! — что ты настоящая, м о ж е ш ь и д о л ж н а. Слушай, глупка: я — с болью —

рассмеялся, как прочел — и какой уже раз! — «теперь поздно». Это в твои-то 39 лет — п о з д н о?! Ты что... дурачишь себя? Ну, себя-то дурачь, а меня не одурачишь. Не поздно, а как раз в самую-то пору. Ты туго-зрелка, как и твой дурачок Ванющечка. Туго-зрелки, но зато и не [скоро ото]-зреваем[i], а с доброй выдержкой. Есть яблоки-скороспелки — грушевка! Но есть и иные — антоновка, черное дерево, кальвиль, ранет... Знатоки предпочитают вот такие. Ты еще дитя, — так к тебе многие тянутся — как к детке [1 сл. нрзб.] — ты именно этим и чаруешь, — и еще — чем-то... но — ч е м? — не [определить] заглазно. Лишь предношу себе... Ты в 39 — как двадцатилетка и юная [козочка], скверная девчонка. Получи! Почему это для мастера кисти нужна цыплячья лапка, а не длань красивой молодой женщины? почему для той же кисти — и — и — и еще раз — и — п е р а! — необходим глаз цыпленка, а не глубокое око всеведающей, в с е — проникающей красавицы полноглазой, в с е м переполненной, чего иным «мудрым девам» и не снилось? Учиться надо? Для «пера» ты давно научёна так, что из тебя прет, как из беременной, полной соков, зрелой бабы — девятимесячник в 12 кило! Ты сама этого не знаешь, но это так... — ну, на трудные случаи может понадобиться и акушер, — к вашим услугам, всегда готов. А «указаний» вам сей акушер для ожидаемых родов дал, кажется достаточно, — «хватит» как говорят у вас в Рыбинске. Для живописи — другое дело — это связано с законами «света», «тени», «окраски», «планов» — р е - м е - сла... — тут «учеба» нужна... но, во-первых, ты не новочка-девочка, ты многое и в сем познала, как девица на следующий день после венца. Но «остатки» и «новые откровения» — можно брать хоть до 80 лет. Пока кисть держится в руке. Для живописи, как и для «слова», — самое главное — зрелость и крепкая свежесть чувств. Говорю — «крепкая» — т.е. уже вы-держанная, опытом наставленная. В искусстве, как и в чувственной «любови» никогда «ученица» ни сама не испытает, ни любовнику не даст т а к и столько, как «мастерица», зрелая, сильная всячески: у первой лишь теплотца и искорки, у второй — жар и пламя, и «букет» — этого не определишь, как... у выдержанного вина, чая, табака, ванили, ды-ни... п е р с и к а, гру-ши... муската. Чувствам женщины твоих лет — по-твоему — уже «старушки»... — ха-ха!! — чучелка-персик, ты рассуждаешь, как 16-летка, для которой мужчина в 35 лет —

---

[i] Здесь и далее письмо повреждено.

«почти старик», это — очень часто... Я хохотал, перечитывая как-то последнюю главу «Дворянского гнезда», когда Лаврецкий сидит в калитинском саду... а ему тогда и сорока не было! — и уже считает себя — и юнцы считают его! — «стариком» и «отшибком»[304]! Ну, что за шуточка! Тогда все было «скороспело», в те 40-ые годы... и все умели плакать горькими слезами «дружбы», «разлуки», «негодования»... — о, милая романтика! — ты вот прихватила как-то в себя этот воздух от прошлого... и спеешь не по дням, а по часам... немудрено, что ты — тебе кажется! — давно созрела, отцвела и... роняешь лепестки... а они только еще вылезают! — так вот, — прости этот — необходимый — прерыв начатой мысли!.. — Так вот, женщина твоих лет — в чувствах и подчувствах — всесильна и всеохватна, а ты особенно! Ты увидишь и почувствуешь так, как никогда не увидит и не почувствует 20-летка. Перестань же носить ее масочку, она для тебя узка и мнет твои «персики». Дарами не шути, даров не копти, не закапывай зря, не б о й с я, моя буйная-кроткая, не кажись себе «гадким утенком», когда все видят в тебе прекрасную «царевну-Лебедь». И не страшись никакого рока на себе, — нет его, а есть лишь призрак-самообман. Вспомни, как и сколько я писал тебе — о тебе! Теперь пишу снова и — хватит! Изволь, заставь себя выздоравливать и телом, и душой. И — не теряй зрелости. Не бойся времени. И — работай в меру. Изволь прислать мне «воспоминания», кои для меня писала, а послала доктору. Не будь ты — ты, я бы, м. б. и хвалил твою сказочку. Но ты ее «выпалила», не остыв. Помни: искусство — искус, великий и сладкий труд, на 3 четверти — т р у д. Справься у Пушкина. Бывают полосы, когда творят очень обильно и очень быстро... — «болдинский» период у Пушкина[305], к примеру. Но бывает, что и по двадцать раз перерабатывают... годами пишут... — его же «Евгений Онегин»[306], «Жил на свете рыцарь бедный...» и многое. Достоевский — другое дело: там не искусство, а... хаос с к в о з ь видимость искусства. Там не нужна «форма», а «извержения»... хотя и у него «форма», но та бесформенная на глаз и меру — не на дух! — форма, которую можно назвать хаотической. Ты — от с в е т а, и тебе нужна форма, и в ней ты можешь показать непоказуемое вообще. Ну, довольно.

Думается мне, что операции тебе не должны бы делать: все ван Капеллен дознал. Ты особенная и по крови. М. б. тебе нужно что-то вносить в кровь твою... м. б., как говорит Серов, принимать [желатин]. Попробуй есть больше желе, яблоки с

кожей, непременно, ягоды-[1 сл. нрзб.] чего-то, что дает крови более густую вязкость. Не обращайся к знахарям, где порука, что после операции над почкой, не начнется то же — с другой?.. Будь осмотрительна. Опасности, — ясно же! нет и нет. Ведь эти «кровотеки» — не впервые! И твой дядя прав был.

Я, кажется, все твои письма получил — от 29—31 авг. — пришло, кажется, 3-го же, но к счастью, м. б. часом позже бомбы в почту, и попало в почтовом мешке уже на рю Пусэн, где я его и получил 6-го, по повестке от 4-го. Второе, от 4—6 сент., удачно получено без повестки, выдал почтальон консьержке. 3-е — вчера от Меркулова, оно помечено тобой 9-го сент., штемпель 10-го. — Я думаю о тебе не только в 11 ч. вечера — а всегда. Ты со мной.

Был на своей квартире. Чудеса! Уже навесили рамы и выправили и поставили запоры-замки к ним. Сегодня вечером будут вставлять стекла, сам видел их кипы в сенях: уже вставляют, где дети. Дал консьержке на резвость. Вот с механизмом жалюзи, довольно сложным, и с самими — новыми, конечно, — жалюзи будут тянуть, но и то слава Богу, можно жить. А пока я на даче, — сегодня солнце и особенная свежесть, цветут розы, прилагаю лепесток — не целую, ибо м. б. на здешней почте не пропустят, тут барышня любопы-тная, — шельма: 10-го, так и не заклеила при мне письма к тебе, *а надеялась почитать* «заграничное», думая, верно, что по-ихнему, а нака, почитай филькину грамоту! — 11-го начал, а 13 кончил 4-й рассказ для II ч. «Лета Господня» — «Серебряный сундучок» — мощи св. вмч. Пантелеимона. В субботу были инженеры Пастаки, ходил их прогулять и первым нашел белый гриб. Ел впервые за 10 лет — грибы жареные! Ем яблоки и помидоры, сырые. Есть аппетит. Многие в Париже нашли, что «очень поправился». Весь — в воздухе. Олька, я за этот месяц — а в сущности в 12—15 дней написал четыре рассказа — 50 страниц! Осталось еще, кажется, три, и «Лето Господне» будет закончено. Рвусь на «Пути Небесные», целюсь вот как, как на... тебя. Ты чувствуешь, как во мне бунтует? А? Годы... Милка... да, «куда на склоне»... а для писания, кажется, весь в форме, и могу кипеть... не знаю, как — в другом-прочем... Но тебя обнял бы горячо, если бы получил на то дозволение. Даже и без оного.

Очень дышал тобой, читая вчера твое письмо. Ольгунка, я только здесь увидал — после Капбретона, тому лет 10! — какое небо по вечерам, какая и голубизна, и синь, впере-

межку, и какое жидкое золото и оранж, и перламутр в облаках, и какие сами облака... и заливы сини и золотые берега, и еще краски — невероятные! Понимаю твои восторги. Липы начали убираться в осеннюю золотистую прозрачность. Обнимаю тебя, моя милая, слабенькая Ольгуночка. Твой Ваня

16.IX.43 2 ч. дня

Вчера не успел послать. Сегодня не поехал в Париж, — вчера в 7 вечера снова бомбили Париж, мы отсюда видели, как Д.-С.-А. била по налетчикам, и на наших глазах загорелся хищник, пламя было видно минуты две. Сегодня утром узнали — опять наш квартал, и, говорит парижское радио, сильней, чем 3-го сент. М. б. завтра съезжу узнать о квартире, — вчера должны были вставить стекла. У нас нет радио, и приходится довольствоваться устным, т.к. мои газеты приходят на парижскую квартиру. Сейчас Юля поехала по делам, а я утром, на солнышке, пропалывал морковку. Валятся яблоки, — вот веселая бомбежка, даже и по ночам — по крыше! Это — благодать с неба падает, — яблоки зрелые, сладкие, — «святая радость».

Вот еще, слушай. Следовало бы тебе проверить, не связаны ли почечные припадки у тебя с давлением — и в кровеносных сосудах и — атмосферным. Пришло мне в голову. Известно, что при падении барометра, с подъемом на высоты или в связи с непогодой, у большинства — говорю о горной высоте — бывают шумы в голове, разлаживается работа сердца, бывают — при сильной высоте — и кровотечения из носа, из «ослабленных пунктов» в тканях, — ранения! — даже из ушей. Это тебе известно. Не совпадают ли твои почечные припадки с понижениями барометра? с увеличением кровяного давления? Припомни-ка... в какие времена года чаще всего наблюдалось недомогание. Мне помнится — весной и осенью, в февральские непогоды... Но важно з н а т ь, какое давление было в сосудах — перед припадком и после — и во время его. Тогда многое уясняется. Смотри: в сильно ненастные полосы — раны — и оперативного характера, их места, — дают себя знать. Бывает даже, что у военных инвалидов «открываются» раны: и в прямом смысле, и в косвенном: боли, колотье, «ожоги». Проверь на себе. Мне больно было читать твое письмо — о болях в груди, в боку, в руке... Мой, раненый еще в детстве, указательный палец правой руки — оторвало захлопнутой дверью часть фаланги и ногтя, я писал тебе

как-то, — всегда, несчастный, мерзнет зимой — первым, раньше и на нем отзывалась непогода, — а сегодня утром, когда очищал яблоко, шельма-оса ужалила как раз «бедного Макарку», вспухло, и сейчас — 2 ч. — больно еще. Но это м. б. она сочла полезным, из почтения ко мне, полечить меня... кажется, ее яд действует благотворно при каких-то недугах, в малой, конечно, дозе. Я знаю, как раз, в деревне — где «Росстани»! — лошадь повалила плетень и забралась на пасеку, к сочной травке... — и задом, что ли, повалила «дуплянку». Весь рой ее облепил, она каталась по траве и валяла еще дуплянки... и... — к вечеру околела. Ос у нас — сила, но, в общем, мирная, только сосут фрукты. У меня прогрызли бумагу на баночке и ввалились туда роем — на состряпанный еще в Париже м о й яблочный мармелад. Понятно, — «алэ-ву-з'ан, силь-ву-плэ!»[1] Вдвое закрыл, и, поскорей, в себя *спрятал*. *Не тянет* в Париж... — ч т о и н а ч т о смотреть?! После нескольких дней дождей — вчера и особенно сегодня здесь ослепительное солнце, тишь, ясньн... но где же вы, милые синицы, где посвист ваш осенне-грустный? Какие росы! И как давно, с Капбретона, в 33 г., я не видал ни неба, ни земли вольной! Выгнало из Парижа — и — вот, налюбовывайся! «Не бывать бы счастью, да несчастье помогло!» — От племянника нет известий с конца апреля! Не понимаю... где он, что с ним. — Ивик, кажется, где-то на работах, его жена у родителей. А точно не вем, нет писем. — Твои нежные цветочки, — и как нежно пахнут! — я поцеловал, — на них будто написано твое сердце. Целую глазки, их углядевшие, ручки, пославшие... Мои цветочки — сиротки — как их немного! — отданы на полный пансион Меркулову. Не везет мне с «оранжами»! Я писал тебе о моей «идэ фикс» о них... ну, н е везет — и на! Так, должно быть никогда и не выхожу ни до цвета, ни до плодика. Лучший экземпляр погиб при бомбардировке — и глупо же! Угораздило меня оставить их на карнизе окна! Чудом уцелел один лимончик, и твоя кровянолистая бегония, потеряв 6 листьев и сохранив бутончик 7-го! Ведь под прямым ударом циклона торчали, дурачки, за окном! И в каком же жалком виде нашел я их утром! как их не стерло в порошок?! не сбило жалюзи? Но лучший экземпляр, — как любовался я! — должно быть слетел вниз, и его затоптали, понятно, засыпал щебень. Да что тут... — ч т о и к о г о теряют! — а тут... —

[1] «Убирайтесь, пожалуйста» (*от фр. allez-vous-en s'il vous plaît*).

пылинка. Страшно рад за твою бегонию. Ж и в е т..! моя Ольгунка — ж и в е т, и будет жить! Ты здесь со мной, и в душе, и *на карточке. И мои дорогие* — со мной. Расцветшие розы обмокли, их забило, и я выдрал один лепесток из развертывающегося бутона — и посылаю тебе с поцелуем. Я его грел у губ. Хоть и горячий он, от буйного солнца. Совсем юный, душистый. Как бы ты сочно хрупкала яблочки!

Миленькая, не утруждай себя, вылежись. Наблюдай за собой. Твой хирург тобой залюбовался, чувствую. Да и как не... ..? Для них наше, многое — «нечто экзотическое», а ты... — за-экзотическая. Что ж ты мне... «для тебя писала»! — а не попало мне... — эххххх! У тебя — большое сердце... ты можешь творить. Вот, твой посажёный отец — а мой добрый друг — Иван Александрович... — ведь как тонко может «внять» произведению искусства! и говорит умно и — в е р н о... — а творить не может. Знаю. По его одной—двум «сказочкам» — притчам, мне когда-то посланным[307], чтобы напечатать в газете, под псевдонимом... — ч т о-то его сдерживало «показаться». Я не дерзнул их провести... как-то опасался... — п р а в д ы е м у не сказал[308]: знал — ко-нец дружбе и — враг по гроб! Ну, представь, если бы... ну, медведь надел «пачки» балерины... и — на пуантах! И-менно. Не только «вытянуто из себя», вымучено, но... и явное «несварение»... — «притча» так и прет, «учебушка» для читателя. Это удел литераторов головных, пусть и страстных, но идейно страстных, логиков тонких подчас, очень — уж слишком! — нагруженных «ученостью». Вот, например Герцен, Чернышевский. Понимали, что искусство куда могучей «статей» и речей... и написали по роману. Но даже самые заглавия-то их выдали с головой: у Герцена — «Некуда»...[309] — вот уж поистине «дальше некуда», а у Чернышевского — «Что делать?»[310] — взять и — в печку! Читать их — смотреть балерину-медведя, — и глупо, и живот надорвешь. Все это пишу, чтобы еще раз сказать тебе — «валяй!» — *как отец — в рассказе* «Живая вода», — его любимое словечко. Ивану Александровичу не мог сказать правды, — к чему бы это повело? все равно, из него н и ч е г о *путного выйти* — для произведения искусства не могло бы, при всей его мыслительной силе, яркости, поразительной одаренности... а лишь уколет, и — дружба врозь, хоть и умница он великая. Но тут — «заскок» его, обидцы даже не может простить. А тебе сказал, потому что ценю тебя — незаурядную для искусства, не убоялся и что может быть тебе чуть больно, ибо

важней заставить тебя — б ы т ь. Как матери тоже больно рожать, а... зато и — радость же! Ну, когда же ты мне-то хоть поверишь? Для тебя вон и мнение хирурга, «у которого... брат писатель» — мнение! Разве тебе оно нужно, *после* моего? Не будь ты — т ы... стал бы я тебе в сотый раз писать об этом?! Да будь ты расхерувим, рас-Клеопатра и рас-Венера... и утони я в тебе до отупения... — уж поверь — не стал бы петь хвалу пустому месту! С т ы д н о... как стыдно каждому, неверу даже, — перед святым совершать грязное. Ну, больше я к сему, клянусь, ни за что не вернусь. Так и знай. Мне, просто, н е к о г д а пестовать и агукать... — как вот ребеночка забавляют и утишают, когда разревется. Что это за танцованье, перед такой «дитей»! У меня, наконец, и терпенье лопнуло. А я все долблю... потому что мне жаль «алмаза», из которого можно сделать хотя бы бриллиантик.

Ну, голубка Олюночка, нежно целую тебя, крещу — во здравие! — и прошу помнить: не утомлять себя, вылеживаться, обратить внимание на «давление крови»... и — верить моей оценке, строго относиться к дару, и, «горя», н е с п е ш и т ь, а вдумываться, ра-бо-тать и работать, не страшась, не думая, что... ах, что-то скажут, будут критиковать... — нет, пиши, как дышишь, беззаботно.

Твой Ваня

Не забывай писать: твои письма — свет мне, и сладость. Такая горькая жизнь... но я не поддаюсь, ухожу в работу, в думы о тебе, в — дары Господни... и на земле, и в небе. Твой В.

60

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

3.X.43

Милый Ванюшечка! Все это время непрестанно думаю о тебе, живя всем тем, что заполняет, конечно, тебя в эти сентябрьские дни, и порывалась сколько раз писать тебе, но вот до сегодня не собралась. Простужена я чуть-чуть, но главное то... Валю хоронили. Меня эта смерть, эта утрата очень выбила из душевного равновесия. Правда, с половины сентября ежедневно ждали ее конца, и самый уход ее из жизни не придавил меня так, как самое знание неизбежности такой именно развязки. Смерть для Вали была избав-

лением от нечеловеческих страданий: вся спина ее была сплошная язва раковая, по телу масса очагов того же свойства. Боли были адские, да еще и легкие стали плохо работать в связи с слабостью сердца. Я не видела ее с 24-го июля, и была поражена ее видом в гробу. Но ее милое, обаятельное выражение, которым она приковывала к себе каждого, осталось в лице и после кончины. Где-то вокруг рта, что-то вроде улыбки. Скончалась она во время отходной, окруженная сестрами, ее матушкой и П[устошкиным], в 5 ч. утра. Последние слова: «как я устала», но это был шепот, чуть внятный, — она не говорила уже недели. Сама закрыла плотно глаза и так тихо ушла, что в первый момент никто не знал, заснула она или ушла навсегда. Оля, сестра ее, заболела сама (диарея с кровью), но молодцом, матушка — истинная христианка. Превосходно держались. Она (матушка) только сказала: «Бог дал, — Бог и взял...» Мучительно было прощание, тут бедная не выдержала, села-упала на стул и горько заплакала. Плакали, впрочем, все, вся церковь, набитая битком... Гроб утопал в венках и цветах, голландцы высовывались из окон поглазеть на эту колесницу цветов. Валю все любили, хотя... какова была ей жизнь? И много ли ласки при жизни? Бедная, бедная Валюша... Думаю, что была она одинока и верно нелегко и дома. Ведь с 17 л. этот ее роман. Могу себе атмосферу представить. Ведь если теперь с ней считались, то в 17-то лет что было?.. Ах, Ваня, какие прекрасные похороны нашей церкви, но и какие терзающие душу... Ваня, скажи мне, ты легко можешь вот это «последнее целование» дать? Для меня это пытка. Не думай, я не брезгую, и ничего такого тут не примешано. Но я вся бываю пронизана окаменевающим ужасом в тот момент. И мне стыдно за это. Отчего это. Я помню, когда умер папа, я ничего не боялась, и когда нас привела квартирная хозяйка (у которой мы ночевали) в залу, где лежал «одетый» папа на столе, я, невидевшая его из-за карантина целую неделю, бросилась, чтобы наглядеться на него, обнять, поцеловать. Я в порыве этом даже как бы упустила из вида, что он уже у ш е л, что его н е т. Я любила его ручки, живые такие, в синих жилках (у меня точно такие же жилы, даже в тот же рисунок), схватила эти руки и прижалась губами. И вот не забуду до смерти этого ужаса... этот холод, особый холод мертвых рук. Я помню, что меня это пронзило, я закричала и выбежала вон, дрожа всем телом. С той минуты я вся переменилась и долгие годы была остро боль-

на «страхом смерти» — не за себя, а за... всех и вся. Как будто бы я попала во *власть этой силы, заслонившей передо мной* все другое. Я до сих пор от многого не отделалась. Думаю, что и не отделаюсь. Я видела, как многие гладили Валю, трогали руки ее... А я содрогалась. И я ее любила и люблю... А это тело... это же ужасное подтверждение тому, что она ушла, что ее нет. Это не она, нет, нет, не она, это уродливо-безжизненное нечто. Эту тень ее милого лица разве сравню с нею... полной жизни и глубины?! Я воспитываю себя однако, и заставила себя тоже поцеловать умершую, но если бы ты знал, чего это мне стоило. И главное, я знаю, что цели не достигну — не привыкну и не перевоспитаю себя. Ты можешь мне объяснить это? Когда мой отчим скончался, почти что при мне (доктор на минуту просил нас выйти и как раз он умер), то я его сразу же поцеловала в лоб, он был еще горячий от жара, но при погребении я также страдала от этой необходимости. Но довольно, довольно. Я получила от доктора извещение, что меня он примет так, как было условлено, т.е. 11 окт. Посмотрю, что он еще пропишет. Недавно получила письмо от Шахбагова[311], — удивительно переменился видно, пишет о Боге много, а прежде предоставлял этот вопрос дамам. Ну, да жизнь-то многому научит. Ванечка, я очень рада за тебя, что «Лето Господне» завершается. Очень, очень рада. Дай Бог тебе сил! Будь здоров, не переутомляйся! Напиши, как провел свое рожденье? Где ты? Все на даче? У нас осень, осень. Так жаль лета. Я раньше любила осень, а теперь чего-то нет. Холодно. На днях должна идти к д-ру Klinkenbergh'у на проверку. Боюсь. Вдруг найдет что? Рана очень болезненна, и вообще я калека. Но выгляжу хорошо. Толстею от сиденья и лежанья. А как хочется свободно пожить, побегать. А то все сиди и сиди. О простуде моей не волнуйся. Doctor сказал, что после операции к ней очень восприимчивы. А у нас же такая сырь. Ну, кончаю. Напишу другое. Это такое похоронное. Обнимаю тебя.

Оля

Неужели Елизавета Семеновна до сих пор не получила денег? Толен тому скоту писал.

61

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

9.X.43

Здравствуй, дорогой именинник мой, милый Ванюша!

Какой светлый, какой благостно-лучезарный день сегодня. Какие дали — блистающе-туманны... Тихо и тепло... Как рада я, что тебе такой денек выпал. От тебя давно нет писем, что с тобой? Работаешь? Или подавлен? Хочу думать первое. Мне радостно на душе и певуче. Так легко и светло. Отчего? Вчера, в день преподобного Сергия, я должна была идти на последнюю поверку к хирургу. Он все посмотрел хорошо и заявил: «объявляю Вас совершенно выздоровевшей»! Какой дар это! Перед операцией я все время обращалась к преп. Сергию, а вот ответ-то и пришел в Его День. В понедельник идем (если все будет благополучно) с мамой к доктору из-за почки и для мамы. Ну, довольно о болезни! Доктор вчера много говорил со мной о постороннем, спрашивал меня о многом нашем, а я, конечно, оживилась. Вдруг он меня прерывает и говорит: «в Вас погибает огромный писатель; — такая пластичность рассказа, такое воображение, — я даже, не имеющий понятия обо всем этом, вижу, ясно вижу. Вы не работаете? Но после войны вы обязаны сделать что-то хорошее и большое... Хорошо?» Я привожу тебе это не потому, что (как ты когда-то заметил) мне для подтверждения твоих слов еще какие-то мнения нужны, но только потому, что все-таки мне это приятно. Понимаешь, с двух-трех строк и нескольких минут разговоров... Но не бойся, я не возгоржусь. Я хочу работать. У меня масса, масса всего. Только бы время. И если я не пишу пером пока, то все время у меня в голове варится. Я даже стала рассеяна. Живу в ином. Как прекрасна жизнь хорошими людьми! Как мы сами можем ее сделать раем?! —

10.X.43 Прервали, приехал Сережа. Сегодня такой же лучезарный день. Wickenbourgh в дымке сизой, синеет вдали... Отчего ты не пишешь? Здоров ли ты? Тут масса заболевают желудком снова, открываются зажившие язвы. На той неделе приедет матушка бедная поотогреться в ее горе. Ее провожатым будет Пустошкин, давно хотел побывать. Он очень убит. Но, конечно, маску держит. Матушка не обременит, т.к. она своя, уютная, будет [1 сл. нрзб.] на кухне. Поставлю ее шинковать капусту, — не трудно и она мастерица на капусту. Все, все она хочет делать, знаю по прежним разам, все из рук берет.

Не знаю отчего, но мне так стало светло и радостно на душе. Если завтра будем здоровы и будет хорошая погода, то насладимся поездкой в Velp, там наша почти природа, холмы, песчаные косогоры, березы-березы-березы, белоствольные, Рейн оживляет картину. Еще цветет вереск, лиловые ковры. Но я не большая любительница его, — он для меня слишком мертв. Лучше бы колокольчики наши! Как я люблю их. Ах, как чудесен твой «Свете тихий»... Как мы там встретились. И какая всенощная... И жасмины... Я часто переживаю так, будто это было наяву.

Если бы ты «Пути» писал... и вложил что-нибудь в них из пережитого нами! У тебя еще не было такой вещи, с отсветом моего, правда?

Будут «Пути»? Когда от тебя долго нет писем, то я себя тешу этой надеждой и не хочу думать, что что-нибудь плохое мешает тебе писать. Где ты сейчас? У Юли? Смотрю в окно и наслаждаюсь светом, ласковым теплом. Скоро начнется у нас опять «страда» — молотьба. А зимой опять. Целая артель будет опять.

Какое чудное было твое письмо последнее... Ванюша, пиши «Пути»! Не тревожься обо мне: я поправилась — толстушка стала и розовая опять. Доктор был в восторге и очень удивлен. Получила письмо от Шахбагова, который, между прочим, говорит, что почки, хоть и очень неприятный казус, но не опасно. Ну, не буду страшиться тогда, потерплю. А м. б. новый «дядя-доктор» и поможет. Ах, какой дивный человек мой хирург. Ты знаешь, он в год делает 3000 операций (конечно, считая и малые), а оперирует он уже 20 лет. И при такой занятости находит массу времени для благотворительности... и какой! Живет только для других. Признался, что часто ночи не спит, думая об оперированных своих, особенно о тяжелых. К нему едут и везут со всей Голландии. И при такой знаменитости, ни малейшей важности. Наша Tilly мне заявила: «Так это и есть известный Dr. Klinkenbergh? Но он не похож на такого...» — «Почему?» — «Ну, такой простой, он со мной минут 10 разговаривал, и так ласково». Я посылала ее однажды с поручением, когда лежала. Но это редкое исключение... Обычно здесь — сухари, а не люди. Вот Валю тоже такой знаменитый сухарь-мясник резал. Очень известный хирург, но и все. Барбосом она его звала. И еще недавно встретила чудесную чету, пожилые супруги.., ну, прямо свет любви от них исходит, любви к ближнему. Мне стало как-то радостнее жить после вот этой встречи. Все бы тебе рассказала. Кристальные души, какая вера в Бога и в чело-

века! Как раз я заболела при нем, когда он впервые был у нас. Как потом они меня поддерживали. Да, сколько красоты могут дать люди в жизни и сколько гадости тоже.

[На полях:] Прилагаю карточку с нашей кошачьей семьи (и с себя — заодно), после операции[311].

Ванечка, целую тебя, именинника дорогого (хороший именинник 3 дня!). Будь здоров. Оля

62

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

16.X.43 Суббота 8 ч. вечера

Сегодня получил, дорогулька-Ольгунка, твое светлое письмо — и так я счастлив, родная!.. Ты здорова! Ты будешь — должна быть! — вся, вся здоровенькая и бодрая. Для светлого, благостного творчества — на любом поприще — искусства — жизни, во имя Господа и Пречистой. Милая, ты же ви-дишь... сколько я старался укрепить тебя, веру твою — в дарованные тебе духовные и душевные силы! Нет, я никак не укорю тебя, — я лишь подчеркну: милый твой хирург, — дай же ему Бог сил и светлого душе его! — слушая тебя, «райскую птицу», на чужом для тебя языке, (вероятно, немецком?) почувствовал силу образности в твоей беседе, и у него непринужденно вырвалось: «Какой дар!» Ну, видишь? Ваня твой — в э-том-то уж не может обмануться. И так: с молитвой в сердце, де-лай, что и как можешь, — в жизни ли, в творчестве ли... — тебе ни-когда не поздно! При-дешь — увидишь. Только не робей, не стыдись себя. Верь. Я счастлив, что все благостное, что было и есть в наших отношениях, — письмах! — этой беседе близких-близких на отдалении, — в частности, — мой тебе «Свете тихий», — живет снова. Я это пережил, читая твое письмо. Да, если суждено мне написать — до-писать «Пути Небесные», многое вольется, отзовется — из нашего. И я буду глубоко и светло счастлив. Как я рад! так нежно осияло меня, будто ты приласкала меня, одинокого. Да, я одинок... о-чень одинок, несмотря на добрые чувства ко мне Ивика — Юли — и друзей. Вот, я, один в своей квартире, среди руин. Всегда — под угрозой. И был сегодня момент, (было предупреждение о возможной «тревоге») когда я подумал: не уехать ли из Парижа — ну, хоть к Юле на дачку, хоть и холодно там (дача не зимняя), писать там, и со мной, м. б. оставался бы муж Юли, а она наезжала бы... Но столько там неудобств..! — и доктор дале-

ко. А у меня снова боли... менее острые, правда, чем в прошлом году... но они м. б. утихнут. Сегодня я почувствовал желание есть. И лекарства привезла мне моя докторша. Но вряд ли уеду. И вот, почему еще. Ты пишешь: (10-го!) «мне стало так радостно и светло на душе...» Голубка! 10-го я сделал (писал тебе) чудесное открытие: именно — 10-го я — случайно! чуть-было не выкинул эти листки календаря Инвалидов за 37 дней — нашел на листке от 3-го сент. (день ужаса, чуть было не испепелившего меня, теперь-то я это вижу, и все именно так и говорят, ибо против меня, в 9 метрах упало две бомбы и разбило два дома, 3-ья упала за капитальной стеной, в 2 метрах! а 4 — где-то сзади, отчего сорвало входную дверь с замков) нашел м о е — «Царица Небесная». Я писал тебе[313]. Но вот что еще, что я открыл только вчера (15-го) при свидетелях. Я писал тебе, что 3-го сент. Анна Васильевна как всегда пришла убирать квартиру в 2 ч. Я только что вернулся от Серова, завтракал у него. И вот, она что-то бормотала мне об «образке». Я не вслушался. Но в одну из поездок с дачи на квартиру я нашел на столе в столовой как бы гравюрку темно-коричневой туши (я плохо разбираюсь в этих определениях), словом, хорошо отпечатанную фототипию с картины Alessio Baldovinetti (1427—1499) — École Florentine — «La Vierge et L'Enfant Jesus»[i]. Размер 23—17. Подлинник в Лувре. Богоматерь удивительно чистый Лик! — над Младенцем, сложив ладони. Глава ее накрыта кружевным платом, а сверху шляпочка-коронка, как и у Младенца. Необыкновенно девственно-чистый Лик! Младенец в опояске. Так об этом «образке» говорила А[нна] В[асильевна]?! Я его положил на стол — справлюсь. И вот, вчера, когда у меня был один старый журналист С. В. Яблоновский-Потресов[313а] (писал в «Русском слове», в Москве), я вызвал А[нну] В[асильевну] и спросил: где Вы нашли этот «образок» — на улице, в парадном, на лестнице... и 3-го сент.? Она: «Здесь, на полу, у стола, к окну, 3-го сент. И подумала, что это слетело со стола, что это ваш «образок». Я был изумлен! Как это могло случиться?! ... У меня никогда не было этой фототипии. Я ее видел, м. б., впервые в жизни. Ну, м. б. видел мельком в Лувре, в альбомах по искусству... Этого «образа», думается мне, я не знал. Никто не мог принести мне его. Ив? Не думаю. Я его видел бы... На столе в столовой он быть не мог, хотя там и лежали некоторые мои аль-

---

[i] Алессио Бальдовинетти (1427—1499) — флорентийская школа — «Дева и Младенец Иисус» (*фр.*).

бомы о России: Киев, Москва... Печеры... Лежал огромный альбом коллекции марок Ивика, но он тяжеленный и закрытый. Этого не могло быть. Юля з н а л а бы. Но и она не знает. Как он мог попасть ко мне?! Залетел во время взрыва бомб?! ... Но вот что: деревянные жалюзи-шторы были опущены. Да, они были местами пробиты, но щели-то узкие, и только (у стола) в правом уголке можно просунуть два—три пальца! *Остаются щелки между планками жалюзи*, нормальные, но они... едва в миллиметр, чуть-чуть сквозят. А тут — влетел листок 23—17, он надломлен чуть наискось посредине, и с правой стороны надорван, надрыв в 8—9 см от средины влево-вниз. Я его склею. Затем: явно, что он где-то висел на стенке, без рамочки: в левом нижнем углу явный след круглой кнопки, крупной: так и осталось[i], и уголок вырван. Ясно: его сорвало! оторвало уголки справа — верх и низ, а в левом верхнем три дырки от гвоздиков или кнопок. Ясно: висел где-то в небогатой квартирке верующей католички. На оборотной стороне какие-то цифровые выкладки (французская манера цифр). Как он попал ко мне (в утро (?!)) 3-го сент.?! Чудесно, только. Его внесло ко мне с к в о з ь жалюзи! Не доктор же мне его занес, прибежавший через 3/4 ч. после взрыва? Мадонна на фоне холмов и извивающейся речки. Облачка. Ты найди этот снимок. Уверен: найдешь. Словом, и я, и С. В. Яблоновский были изумлены. А моя А[нна] В[асильевна] — нисколько! Будто так и надо. Но ты теперь сопоставь: слева, в моем кабинете, слева от стола, у библиотечных полок, над аппаратом radio — листок календаря (в то, 3-ье сентября), еще скрывающий отрывок моей «Царица Небесная»... а справа, в правой части огромной комнаты, где столовая, за аркой прямоугольной (без дверей) у стола на полу, вблизи окна (со спущенными жалюзи) — «Царица Небесная» — Св. Дева, о, Ц а - р и - ц а! — Царица Света! — Странно, такое сочетание! Но я не достоин знамения, я смущен. Я верю — и не верю. Изумлен — и страшусь. «Не мне, не мне..! о, Господи!» И не смею отвергнуть... и н е смею — принять. Да будет Воля Твоя!

Хочу пойти в Лувр... Этот «образок» я вставил в рамку и повешу в святой угол. Как отнестись к сему? Чудесным представляется мне «явление» моего отрывка... в календаре 3-го сент. Еще более чудесным — и таинственным — это «явление» через Анну Васильевну. Вот эти оборванные уголки... — это же ясное указание на... «сорванность»..! Не

---

[i] В письме рисунок И. С. Шмелева.

будь этого... — ну, откуда-то выпало... у меня же? Но у меня же не было!.. Не видал!.. Принесли, занесло... вихрем! Ее, Пречистую... ко мне, недостойнейшему. Оля, смотри в мое сердце, — так оно чувствует — не — достоин сего! Не могу принять, и — приемлю, не смея, страшась глядеть на Лик. Чистыми молитвами чистой души — допущен до сего?..

Олюночка, больше, после сего, не могу уже писать. Этим и кончаю письмо. Сейчас 9 ч. 15 мин. Лягу спать. Болей нет. Сейчас выпил чашку чаю, съел две лепешечки и яйцо всмятку. А днем — пюре картофельное и манную кашку. Видишь — держу диету. Только бы снова за работу. Выправить «Лето Господне» и за «Пути Небесные». Во Имя Господа. Дал бы сил воспеть творение Его. Нежно-светло целую тебя, моя радость, моя воскресающая птичка! Будь сильная, веруй и надейся. Лучше согревайся! Берегись простуды! Носи шерстяные чулки. Я тоже люблю тепло! Все слишком нервные трудно выносят холод. О, Голубка! Светик! Солнце мое. Твой Ваня. Привет маме и Сереже.

[На полях:] 13-го — под Покров был в церкви и служил благодарственный молебен Пресвятой Богородице и панихиду по родителям и моим дорогим отшедшим, было легко.

Оля, пиши всю свою жизнь, будто себе рассказываешь, и не думай, будь свободна!

Если бы ты хоть в ватке приложила духи «После ливня»! Я так и не знаю их.

Олюша, вырази сочувствие Александру Николаевичу Меркулову и его жене. У него в квартире разбило стекла, они были в подвале. Ему будет приятно! (сочувствие — его слабость).

Прошу отличную иконописицу нашу, Светлану Рышкову-Офросимову[314], мою горячую читательницу, написать мне образ Царицы Небесной.

Напиши мне «Царицу Небесную»! Ты — мо-жешь.

Побывай в Wickenburgh'e!

63

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

25.X.43

Милый мой, дорогой Ванюша!

Как радостно мне стало и как же грустно, при чтении твоих последних светлых писем. Они так светлы, так (опять) сердечны, что я отогрела у них свое сердце. И

грустно стало, оттого, что грустишь ты... Это «одинок я» и многое другое. И самое главное: твой желудок. Что же ты не берегся, мой глупышка? Яблоки Юлины тебя сгубили. Поберегись, дружок. Ты ничего не написал о том, что получил мою карточку с котятами (мама, С. и я). Или не понравилось? Там я вскоре после клиники. Пиши, Ванюша, как ты. Я волнуюсь. Все эти дни рвалась тебе писать, но не могла по чисто внешним причинам: был у нас Пустошкин с матушкой, привез ее погостить и отдохнуть от черного одиночества после похорон Вали. Ах, конечно, Валя его невыразимо была выше. И стоил ли он ее? Конечно, убит... но имеет глаза на красоты природы, толкует о том и о сем, ест и, главное, замечает, что ест.

После смерти моего папочки для меня перестал существовать мир, и я не знала, что я ем, и не разбирала, вкусно или нет. Я только жевала. Ну, да каждый сам по себе. Оказался он твоим горячим поклонником и читал Вале самую последнюю книгу вслух, твою «Няню». Взял у меня «Лето Господне», «Человека» и «Про одну старуху». Автографы я храню отдельно. Эти книги — безличны. Тебя он очень чтит. Теперь гостит матушка.

А вот комнатка моя занята, присесть-то писать и негде. Как бы мне хотелось с тобой поговорить о том, что на душе, в голове и в сердце. Тогда бы м. б. и писала. Нет, ты будь строг. Ты, конечно прав в «ландышах». Ну их, к сорному ведру! Я ленива, мне нужно работать. Как прекрасна любая из твоих книг! Как все легко и «само-собой»! Вчера читала «Мери» и всякий раз новое. Новая простота и прелесть. Сейчас, Ванюша, так красиво: туман-дымка, небо серовато, но светло и такие же какие-то будто туманные, стоят золотые тополя. Прозрачные стали, поредели, сквозят... видна через них церковь, но не видно красок, она вся туманна, будто призрак. За тополями краснеет какое-то дерево и червонится дуб. Ревет корова. Протяжно и будто скучно. Мама и матушка пьют чай, топится печка, чуть надымила, напоминает наш запах, осенний, овинами, банями в субботу. На кресле кот лижет себя со всем усердием и чмокает. Вот тебе наша картинка. А у Ольги твоей рука стала лучше, только сегодня спина чего-то болит, м. б. оттого, что стала рукой больше упражняться. Грудь тоже лучше. Настроение мое тихое. Вчера проснулась от тоски, но прошла. Такой тоски, как, помнишь, одно время, не знаю больше. Это у меня перед болезнью было. Была я на днях в Wickenbourgh'e. Хорошо. Дом только очень облинял

чего-то. Ободранный. В саду листопад. Не устала пройти 4 km туда и 4 обратно, за един дух без передышки.

Ах, Ванюша, как удивительно это у тебя с образком. Я верю в то, что его именно занесло к тебе откуда-то для утверждения тебя в убеждении, что ты под Ее Покровом, что ты — Ее певец, этого достоин. Ведь ты именно Ее певец, ты славословишь Ее Чистоту и Ее образ во всех тех, кому ты отдавал свою душу в твоих творениях. Ты отсвета Ее искал в каждой женской душе, созданной тобою.

И вот Она пришла к тебе и успокоила.

И у меня такое же дивное было. Я не писала тебе, кажется, подробно. В тот день, когда я вся в страхе пошла к хирургу, чтобы узнать, что такое у меня за шишка в груди, я всю дорогу молилась Божией Матери. И вот мы вошли в приемную. Как только я огляделась, глаза мои встретились со взором Пречистой... На стене, противоположной двери, висел образ Богоматери, не какое-нибудь изображение Мадонны, но наш, подлинный православный образ. Я не знала точно, какой. Она была прекрасна. Вся чарующая кротость и чистота. Она такая, перед какой может умолкнуть всякая тварь. Особенные — глаза. Я бросилась тут же на колени и поцеловала потом образ. И тут же сошел на меня мир. Я была уверена, что все сойдет хорошо, и стыдилась поддаваться нервам. Доктору я сказала: «это православная икона». — «Ах, я не знаю, мне принес ее один доминиканец». После операции был момент, когда светлое мое состояние снизилось, омрачилось, и я упала духом.

Однако в Троицу, и особенно в Духов день я поборола себя и получила мир еще лучший. С 15-го июня я бодро вошла в жизнь, стала сама одеваться, причесываться и стала весела. 15-го же я начала для сестры кое-что работать: резать марлю, вату и т.д.* Домой возвратилась в радости. Тебе писала об этом «радовании». Ощутила я какое-то удивительное «укрытие». А вот теперь, когда была в последний раз у хирурга, он вдруг убегает куда-то и потом говорит: «Вот, разбираясь у себя, нашел это, я уже читал, хочу, чтобы познакомились Вы с освещением Вам знакомого с другой стороны». Смотрю — книжка по-голландски

---

* 15-го пришел ко мне ассистент Doctor'а и сказал, что то, что считали сестры припухлостью — просто часть груди. Помнишь, я писала, что это вода? Оказалось, что они много оставили грудной ткани, а я и не знала. Грудь моя не безобразна поэтому. Это был тоже сюрприз, т.к. я думала, что все выскоблили с углублением, судя по верхнему мускулу, который, действительно, углублением вынули. И 15-го же сказал, что это не был еще рак. Я с 15-го начала радоваться.

«Святые иконы». — «*Могу взять домой?*» — «*Это* Вам навсегда, пожалуйста, примите». Дома смотрю и столбенею: Та, Она, Та самая, которая и была в приемной. Читаю «Notre-Dame de Kazan». Казанская. А на обороте стоит — по-голландски: «сестре Лидии в день Св. Тайн 15-го июня 1933 г., и снова тебе милая мама в воспоминание всего. Храни Ее всегда и помни обо всем. Сестра Л.». Кто это и кому? И почему не сохранили, несмотря на просьбу. Почему *дал мне это доктор*. И так странно, что это Она, Та. 15-го июня 33 г., за 10 лет до моего 15-го июня, когда случился во мне такой сдвиг. М. б. я ошибаюсь. И я, конечно, очень недостойна. Но я так счастлива иметь это Божественное изображение. И тоже, как у тебя: сперва какая-то католичка, а потом мы, грешные, можем иметь Ее Лик. Я не могу тебе описать всего*, но рассказать могла бы много о тех переживаниях, которые я тогда в приемной испытала. И дальше, в дни страданий и после. Это образ не старинного письма Казанской Богоматери, но такой м и л ы й. Такая Она вся своя, близкая, Чистая Дева!

Молись Ей, Ванюша, да покроет Она тебя честным Своим омофором. Благословляю тебя и целую. Оля

[На полях:] Меня злит Фасин муж. Конечно, Елизавета Семеновна ничего не получила. Пошлю тебе ее письмо ко мне, где она сообщает, что деньги пошлют. Мама и Сережа тебе сердечно кланяются.

Посылаю Меркулову, как ты хотел.

Будь здоров!

64

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

5.XI.43

Олюночка милая, последнее твое — радостное — письмо, от 9—10 окт. я получил 16-го, написал тебе 18-го[315] и с той поры, до 3 ноября[316], не было от тебя. А я писал 8, 13[317] и 18-го. Вот почему это письмо с таким промежутком: я был как бы связан твоим длительным молчанием, не знал, что и думать: опять заболела?! А при таких мыслях я как бы в анабиозе. Но я все же работал, много, — и правил главы «Лета Господня», и читал, — для работы над «Путя-

* Я даже страшусь писать о таком. Это слишком глубоко. Похорони в себе и никому не говори, чтобы не метать бисера. М. б. не все это поймут так, как я чувствую. Это так свято.

ми». Ты и не представляешь себе, сколько надо «заряду»! Я все читаю, ощупью, интуитивно, мне кажется, что надо то, другое... — уйти от всего бедлама современности, когда «варится» новый мир, — если только он варится, а не бродит, чтобы во что-то сотвориться, — может быть слишком бродильное... Я уходил в иной воздух — и это надо! — читал об отлете и прилете к нам птиц, о родной природе... читал об ап. Павле, — и это надо мне для «апологетики» Дари... ну, словом, нащупывал. Читатель мой и не представляет себе, как складывается ткань во мне... Да и сам я не сознаю — как: а вот, нужно мне что-то, а там само проявится. — Ура, у меня отопление, началось с 30 окт.! В комнатах — до 20 градусов! Ку-паюсь в тепле! — Тошноты кончились еще 13 окт., бывают иногда болевые ощущения, но есть аппетит, а это мне главное. Вчера я сам — иногда вот люблю и в это уходить! — сделал себе пирог на масле, — не умею ставить тесто! — с рисом, а сегодня Анна Васильевна делает с черносмородинным вареньем. Видишь — ку-чу! На обед сегодня — вареная баранина, молочный кисель с ванилевым сахаром — остатки! — и сладкий пирог. — Чудесное лекарство прописала мне Клер Крым! — очень похоже на «Бисма-рекс», только без висмута. Съем ложку в воде после обеда, — и никаких изжог и броженья. Магнезия, и что-то еще, штук пять входящих. Называется — «Паке Ведэ». — Твой случай с образом «Казанския» — знаменателен, и никак это не «случайно»! — все это по плану твоей жизни, от Высшего Плана Господня. Так и прими, и не смущайся. И напрасно ты таишь в себе: надо, надо о сем — дабы всех захватывало, на-до учить людей. И выбран твой хирург для сего. Да, «Казанская», это так важно! Папочка твой скончался в Казани, и это его молитвами — все!!! Так и принимай. Я ни от кого не таю, что со мной было, дабы уверовали и уповали. Не надо держать светильник в укрытии, да светит всем! Так и скажи твоему хирургу: он был выбран — для твоего целения! Такого «случая» нельзя придумать! И доминиканец, и голландская семья с заветом «хранить» образ или книжку, и — православная икона, и кальвинист избирается — передать православной, крепко-православной, и он же — творит целение! Сим каждый сверх-безбожник будет ошеломлен. Кстати, вчера прочитал самую бездарную книжонку, самую глу-пую... профессора — !!!? — Даршкевича[318], «Апостол Павел», — живая бездарность, взялся доказывать — «истерию» Павла! Я смеялся: профессор-то лишен совершенно понятия, что такое ло-ги-ка! Все, бук-

вально, — отсебятина!! Второклассник мог бы его оспорить и устыдить. И подумать: такие книжки издава-лись. Правда, «на чемоданах», в 23 году, заграничный «Дамасский» эпизод[319] — важнейший! — объяснен, без малейшего основания, здорово живешь, — припадком истерии!! Профессор — невропатолог!!! — хоть бы привел какой-нибудь доводишко! Хоть бы потрудился прочесть «послания»! В «Деяниях» много «легендарного», да... но послания-то, большинство, признаны — и неверами! — по-длинными! и там ни малейшего намека на «истеричность»! Много «темного», да, но «вывихов» — ни единого! Чем, чем объяснить такой «напор» проповеди, такую страстность, — на протяжении десятков лет, — это при «истеричности»-то, когда на дню семь пятниц у больных таких! — и это после такой я-ро-сти чекизма Савлова, когда он ломает свою блестящую карьеру на службе у Синедриона![320] — чтобы пойти на — смерть?! Дураку ясно: да, видел Воскресшего!!! и уже — не мог остаться прежним чекистом! не мог. Мне это о-чень надо, для Дари, в ее страшной борьбе с некиим Кузюмовым... — перед которым все циники и атеисты, до Павла Федорыча Карамазова[321]... — мальчишки и щенята! — Слава Богу, что твоей руке лучше, и все наладится. Рад, что побывала в Викенбурге. Что испытала — напиши. Только берегись простуды. Почему ни слова о поездке к новому доктору, 11 окт.? Что — о почке? Все напиши, глупая моя ясочка! Уповай — и свидимся. Не умирай каждый день. Це-ни каждый миг. Даже — грязную осень — сколько и в ней чудесного! У нас осень на-диво. Каштаны позолотились и облетают. Ско-лько красоты в жизни твоей фермы! каждый час — что-то творится, каждый миг. Не утомляйся. Не тормошись с хозяйством, хотя и в этом — своя красота: рубить капусту!!! ... А запахи, а свет, зари, потемки, жваканье грязи... — все — живое! а как дрова горят! Об этом петь можно! — Да, Елизавета Семеновна не получила денег. Тюлень и Холера — ну, и..! У Елизаветы Семеновны великая скорбь, ее сын Рустем — кандидат на чахотку, везут его, и она едет — в санаторий в Шамони. Очень он долгий и худой, потемнение в легких, температура на пол-десятую по вечерам. Она — вся — трепет. А у самой сердце — никуда. На высоту в 1000 метров! Хорошо еще — деньги есть. — У меня примулы продолжают цвести. Лимончик, должно быть, погибнет. Твоя именинная бегония... — отрождается, чуть лезет листочек, а то совсем было скончалась! Что-то ядовитое в воздухе от бомбардировки было... — все мои растения отравились. — Скоро и

дня прибудет, считаю деньки, как в детстве. Как я, маленьким, любил вставать при свечах, умываться — корчась! — ледяной водой! Выбежишь во двор — синее все, ночное! — А — утро! Ох, не простужайся! И... — ми-лая моя детулька, — пи-ши! Уйди в работу, потребуй, чтобы тебя избавили от хозяйства! Лежи дольше и пиши в постельке, не вылезай на холодину! И чай пей, — или какао? — в тепле! — нежься. Я сегодня довалялся до — одиннадцати! Скорей промахнет короткий день, и приблизится — Рождество! Как маленький... — ах, скорей бы!.. Скоро Михайлов день, а там Филипповки, а там... Сушу на зиму... морковь! Сжег, дурак. Ах, какими «глупостями» иногда занимаюсь! А мне все — любопытно: а что выйдет? Мне бы химиком быть! Пахнет пирогом с черносмородинным, и — вареной бараниной. Уходишь — пусть в «глупостях» — от удушающего, всего... от потопа человеческой — нечеловеческой! — ярости, лжи, этих «радио», где потонула «правда жизни». Мне тяжело — писателю, давно не видел новых своих книг, и вообще, новых книг. Не печатаюсь, и нет побудителя — писать. Но... стараюсь все же преодолеть пустоту безвременья. Что поделать, мы все — в стихийном, и надо уметь обманываться. Все чаще мучает дума — на склоне... не увидишь родного... ну, так хоть в снах увидь! уйди в «Пути»... И вот, хочу утонуть в них.

«Кошачий» снимок — очень хорош, ты — самое лучшее в нем, особенно твои стройные ножки — прости! И все — разная, но — радостная. Спасибо. Это черная курочка снимала? Будто: «смирно, снимаю... мерси». Ну, кошек я люблю... издали. А так — не привязываюсь. Ну, белоножка, что же ты мне не дашь понять, что такое духи — «после ливня»? Я прошу-прошу... Что мне с «Душистым горошком» делать? как послать тебе?.. На «тюленя» нет надежды. Что делать с твоими 20 гульденами, если паче чаяния Холера пошлет их Елизавете Семеновне? — Отыскала ли мою «Владычицу»? Найди и оцени. Я вставил в серебристую рамочку, поместил в святой угол. Отлично, если ты написала Меркулову, — он очень заботлив ко мне, и так ценит всякий знак внимания. Без него я никогда бы не видел рыбки на столе, потому что не хожу по базару, а без этого не получить. А ему и на меня дают, — т.к. он снабжает торговцев мелкой монетой, — меняет в церкви. Удиви-тельный человек! Без него — не было бы благолепия на Дарю, — ско-лько отдает труда! И — от себя отрывая!! и это — чистейший, честнейший человек. Такими-то вот жизнь и стоит. Дивлюсь ему — и — высоко чту.

Целую тебя, дружок, Ольгунка... «падам до ног» — до... белых лапочек. Господь да сохранит тебя! Не оттягивай писем, всегда твое длительное молчание меня каменит, тревожит, — знай это. Я деревенею, томлюсь, надумываю ужасов.

Сейчас была одна отличная иконописица, Рышкова, моя читательница, мечтавшая дать «Неупиваемую». Уже, говорит, написала для меня «Царицу Небесную» (в связи с бомбардировкой) — я ей писал — сделайте! Вот, принесет. И еще — будет писать «триптих» семейный образ: (писал должно быть тебе?) св. Ольга, Иоанн Богослов, преп. Сергий. Все обдумывает. И потом — просил — Св. Троицу — благословение отца. Достал для нее (через Меркулова) 1 флакон лака, — это все равно, что — «птичье молоко» теперь. У ней бомбардировкой все флаконы с лаком побило, и нельзя работать. Теперь все трудно достать. Меркулов мне и ленту для пишущей машинки достал. Как бы мой хранитель.

Целую тебя, моя девочка, будь тихая, прелестная, ласковая, — и — здоровенькая. Бог соизволит — и свидимся.

Твой всегда — и — навсегда! — Ваня

65

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

29.XI.43

Милый Ванюша, несколько дней тому назад приплыло наконец-то твое долгожданное письмо[322] (слава Богу — ты здоров, а молчал, наказывая меня), а сегодня и еще одно от 23-го, с приложением Вигена[323].

Я писала тебе на днях, но не решилась послать всю ту мрачность, которая сама-собой вылилась в строчках. Жалко мне стало тебя. Ах, не рассказать всего. Многое, многое и кружится и вихрем проносится в голове, и тяжелым камнем порой давит днями и днями. Ну, и все же не стоит других еще втягивать в это. Мне только иной раз тяжело быть совсем без друзей, но это тоже уж нечто общее, — в жизни одинок человек, как и в смерти, как и в час прихода его в мир. В молодости все это легче как-то бывает. Ну, довольно. Я рада, что ты здоров — это самое главное. И очень хорошо, что работаешь, что все тебя занимает, вплоть до кухни. Ты любишь жизнь, ты хозяин в ней и это тоже очень, очень хорошо. А плохо вот, когда начнет казаться, будто роль твоя сыграна, а что еще хуже, — что

даже и не сыграна, а так, ушла, просто не удалась. Тогда уж, пожалуй, и не удивительно, что люди сметаются из мира, как пыль. Вот даже родные Вали и те что-то вроде таких мыслей высказывали, — что, де, ей уж лучше т а м, тут-то, де, ей и места не было. Но довольно, довольно же наконец! —

Твою Мадонну я не видела еще, не была в городе, — у меня нарыв под ногтем большого пальца ноги и не могу туфли надеть, бегаю в домашних. Теперь лучше, и я собираюсь на Введение в Гаагу, конечно, если все благополучно. Обязательно отыщу эту копию, вероятно найду ее в Художественно-историческом институте[324]. Ты очень полно дал ее — не трудно будет искать. И, вот пока не забыла, — посылаю тут же тебе «после ливня» на ватке, но ты напрасно меня упрекаешь, — *я несколько* раз тебе эти духи слала, в первый раз — тотчас после их получения и затем часто душила письма, тогда, в период моих «огней», как ты выразился. Но думаю, что они улетучились, они очень летучи. В последний раз, когда я ими душилась (гости были), — Сережа спросил даже: «а ты почему не надушилась?» (У Фаси все разнюхивали ее парижские духи). И были все удивлены, что эти духи совсем не чувствовались. А м. б. я их почему-либо тогда не приняла, как следует? Во всем ведь должна быть гармония и даже у человека с духами. Т.е. не «даже», а именно. Я не удивилась, узнав о Ивикиной дочке[325], по твоим сообщениям так и должно было быть. Но что меня удивляет, так это ее двухименность — Екатерина-Ольга. Почему? Это западно-европейская манера навертывать сотни имен. Но зачем же, если и мать стала православной, это офранцуживание? Моя одна приятельница (из давних, юных лет), желая лучше приспособиться к окружающей обстановке тоже подобное устроила: она вышла замуж за некоего Бориса, ну а по ее качествам кому же мог сей Борис уподобиться, как не царю Борису? Ее мамаша так и болтала в простоте, что «Олечка (тоже Ольга) сынка, если будет, назовет Феденькой, чтобы, как у Бориса Годунова». А когда родился сын, то мамаше показалось имя Федор слишком кучерским, а идея-то заманчива, да кроме того, еще до появления сына на свет, все готовилось и шилось для неведомого Феденьки. Ну, как быть? И решила: назвала по метрикам Manfred'ом, а в купели Федором. Я удивлялась, какое же это православное имя Manfred? «Ах, какие глупости, не может же он чудищем в школе быть, ему немцем надо расти». У Ивика тоже видимо: Ольга слишком уж французам чуждо, а Екатерина — у всех есть.

Ну, а чтобы память тети Оли почтить... вот и Ольгу еще приклеили. Я не люблю такую смятку.

Кстати, мой хирург не кальвинист, а католик. У кальвиниста немыслима какая-либо икона, а тем паче Богоматерь. Они же прямо гонят Пречистую. Так дико. Нет, мой хирург католик и очень верующий. И, как это обычно бывает, именно потому что истинно-верующий, смотрит на все широко и не душит своим вероисповеданием. Слышала на днях, что будто он решил жениться на своей бывшей пациентке (ампутировал грудь — рак), Shalkwijk'ской приходской сестре милосердия, простой крестьянке, очень не молодой и весьма некрасивой, но доброй.

Он в моих глазах еще больше вырос. В Голландии чувство ранга и происхождения доведено до болезненной точки, а тут.... очень известный доктор, сын тоже очень известного врача из очень хорошей семьи. Он совсем не молод, думаю далеко за 50, не женат — не сумел урвать себя от работы, от пациентов, да и теперь-то говорит: «Моя личная жизнь не должна ни в коем случае отзываться на моих больных». Он в год делает 3000 операций, а практикует уже 20 лет. Если не сплетни, то желаю ему счастья. Подумай — берет больную, неизвестно еще с какой перспективой, полу-инвалида, не беря в расчет вообще ее внешность. Говорят, что постоянно у нее бывает. Не знаю.

Рука моя болит опять невыносимо, теперь погода. Сегодня гроза. Грудь иной раз так сверлит, что еле удерживаешь крик. Ну, это-то ничего. Недавно опустила я сухую Розу Иерихона в воду и она 2 дня «цвела». Чудная вещь это у Бунина[326]. Я все вспоминала, глядя на этот серый клубочек. Где Бунин? Жив ли? Вот этот цветок уверяет меня в мысли, что у цветов есть душа. Будут ли цветы там? И животные? О. Дионисий говорит, что что-то такое будет преображенное. У меня масса цветов. Люблю их. Садик засадили с Тилли на днях тюльпанами, гиацинтами и нарциссами всяких видов. Крокусы разбросали по лужку. Были как-то гости*, навезли тоже цветов, вся комната была полна: и розы, и цикламены, и гвоздики чудные, хризантемы. Очаровательно, но мне всякий раз больно за срезанные цветы, жаль их. А сколько людей убивают! Мне так это жутко. Сил не хватит на восстановление и залечивание ран потом. Если бы Господь мне дал здоровье, — сколько работы каждому после войны! Я только и жду и жажду быть полезной. Счастлива за тебя, что «Неупиваемая чаша»

* После похорон Вали звала я ее родных отдохнуть и заодно Фасю.

нашла путь к сердцам. Дай Господь! Милый, как я понимаю твое состояние при последних главах «Лета Господня», как горько должно быть тебе все это снова оживлять. Когда же все это напечатается?! Как жду прочесть! Кончаю. Прости за бесформенное, «не мое», письмо. Я вся какая-то стала с болезни иная. Мне часто трудно бывает писать. Шахбагову на его замечательное письмо не могу месяцами ответить. На днях писала и бросила в печку и теперь уж знаю, что вообще не напишу. Крещу тебя. Оля

[На полях:] Пришиваю ватку с духами.

Ну, Ванечка, будь здоров! Господь да сохранит тебя, благословляю тебя. Оля

66

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

25 ноября / 8 декабря 43 8—9 ч. вечера

Твое письмо от 29.XI, почтовый штемпель — 1.XII — получил 7-го XII, вчера. Сегодня же отвечаю.

Вот, дорогая моя «волынка», опять затянула — «со святыми... да к такой!» — это из последних глав «Лета Господня», из ругани «известного ци-мика...» — по словам тети Любы, моего «крёсенького», в начале болезни отца, когда отец «вдруг выздоровел», на день—два... Да, у-падочное твое письмо... но ты меня уж приучила к таким, волынка. Да не умирай же пять раз на дню! Принимай для — «бьян-этр'а»[i] чего-нибудь, вроде того впрыскивания, что мне, как раз год тому, прописал французский врач[326а]. Я тебе писал и состав. Помню, шел 7 дек. заказывать тебе цветы к Рождеству, — от ворот поворот, кон-чено, объявили мне в магазине Боман... — и вот, помню... иду-плетусь, — был очень слаб! — по коридорам метро, и то-шни-ит... раза два «срыгнул» в уголки, как пьяные... а сам все — ну, не во все горло, понятно, а то в «приют» посадят, — все пою, пою... эдакий подъем, и на все плевать! Самому смешно на себя: тошнит, а пою! А это какая-то ничтожная капелька какого-то сока африканского растения... и меня, «мыслящий тростник»[327] заста-вля-ет орать и чуть ли не плясать! Тут же и вывод: «сколько же еще тайн вокруг!.. и, м. б., есть "тайна": принял капельку какого-нибудь австралийского лопуха... — и — продлил жизнь на 50 лет!» А посему — плюнь на все «суеты сует» и на ветер, который — ду-

---

i «Хорошего самочувствия» (*от фр. bien-être*).

рак! — все «возвращается на круги своя» — чушь, никогда не возвращается, а все кружится с пересечкой своих орбит! — не знал идиот-соломоныч метеорологии! — плюнь — и... пи-ши! При-казываю!!! Приказываю, милая ты моя волыночка. От твоих «прыжков» вверх и вниз ничто ровно в мире не изменится, а разве ежедень оторвешь от своей жизни по несколько минут, если не часов. Вот что, сделай для меня, мне это очень любопытно: опиши мне хотя бы один только день твоей жизни на «схалквейской» ферме. Но — с полнотой, с подробностями... — как бы малы ни были... и со своими — о-чень важно! — ощу-ще-ни-я-ми... мыслями... хотя бы, смотря, как подмывают зад поросеночку, вдруг бы ты думала о... Шопене, заливном, треклятом Черчилле[328]... о Рубенсе[329], о сапогах в смятку... Чтобы я видел тебя всю, в хозяйстве и внутри... Ну, про-шу!!! Ты трусиха, гордячка, и скверная пороcеночка... так, после «Лан, дыши!», — и не посылаешь ничего. Написала для меня, а послала хирургу. М. б. потому, что и этот очерк о детстве нуждался в его ноже?! Напиши! А то я брошу тебе писать... Что за удовольствие все время читать тысячное издание «Премудрости» Соломоныча! С меня и своей «суеты» довольно. В самый день отправки последнего письма, 24 ноября[330], я свалился. Пожаловали два неприятнейших посетителя: М-м Грипп и Мсье Бронхит. И проторчали у меня 12 дней, очень серьезно и назойливо. М-ль Крым опасалась... но — вытянула-таки... аховыми горчичниками и банками. Я, вообще, боли не выношу, нетерпелив, но горчичники, даже «аховые» осиливаю даже до 20 минут. У-х!.. Раз так взодрало... вскочил... и минут пятнадцать, согнувшись, покачивался от боли, и ныл, как больнющий зуб. И — выстоял! Один, ночью... Попросил случайно зашедшего поставить мне на спину 4 штуки... тот ушел, а я... — все и качался. И — оборвал «самое главное». Так вот, за эти 12 дней... — Юля свалилась сама, — я был в этой «эсхатологичности», столько передумал!.. дошел до полного... «отрицания всего!» — ну, зови некоторого человечка с «мерочкой»..! — а тут еще вот-вот черти в небесах... вот-вот мои «помпеи» раздвинутся... — я же в таком... «пристреленном» местечке живу... кругом все «объекты», хотя для «чертей» англо-американских существуют лишь «ковры» и «площади» для чертовой игры, так что... жди и жди... — и часто начинают петь «сирены», — если бы гомеровские! — с ними бы пошутить можно, любезный там и остроумный экспромт-комплимент сказать... эдаким бесом мелким рассыпать — «м-лль... как

вы прекрасно-страстны, как страстно-прекрасны... лепестки райских роз слетают с ваших губок... в ваших глазах неупиваемая бездна обещаний...» — и прочее... А то ведь одна и одна речитатива: «мементо мори!» И тут... держи горчичник... еще минут десять! а уж вся кожа содрана. За эти 12 дней я растерял весь «заряд» рабочий... только теперь, на 4—5 день нормальной температуры я прихожу в себя, и пишу тебе. Лопаты, какими я перерыл многое в себе за эти 12 дней, настолько сильно-страшны и безнадежны, что... конечно, не стану разглядывать, что в себе наковырял в тайниках... — это, в сущности, — мертвящий НУЛЬ! Я его смахнул. Ладно, пусть все — «беллетристика», пусть все «ловко приспособлено» хитрым человёнковым умишком, вплоть до величайших за-здешних построений в религиозных системах... пусть! Но я ведь и «неприспособленное» ощущаю, хотя бы «Царицу Небесную» 3-го сент., «Мадонну», св. Серафима в 34 году, слова — во сне! моего Сережечки, на 2—3 окт. с. г. — «папа, я пришел побыть с тобой!» — я же и это, такое... вписал в книгу моего о-пыта!.. куда ж я это-то пристрою, как объясню? А посему... — не думать, не рыть лопатами, тем более в состояниях упадка... с температурой, в одиночестве неисповедимом! Говоришь — «друзей нет»... А я себе, когда бы такие два словечка навернулись... сказал бы: есть у меня, далёко, но есть, не дотянусь — а есть... — и там... и тут, в Схалквейке, я не один! не одинок... ведь ты же мне сама внушала это, в письме — первом! — июнь, 39.

МАШИНКА ИСПОРТИЛАСЬ, ПОДЛЯЧКА! ВСЕ НАОБОРОТ!!!

Ну, выпрямилась, стервозочка! И тебе не стыдно? — не машинке, а тебе, тебе!!? — так волынить? М-ль Крым прописала мне впрыскиванье — два раза делал (до болезни)... — очень хорошо. Нечто гормонное. Не органическое, а синтетическое. Удивительно живит. Я — может быть через это и «нахожу себя». Какая-то тоже «капелька»... Скажи хорошему врачу... пусть тебе пропишут! надо бороться с «упадочными припадками». Они же так яв-ны! Письмо твое, после 8 окт., — день преп. Сергия! — и... — эти последние!![331] Какой слет вниз! Ведь голову так можно сломить. А мне-то каково принимать такие дозы... в моем-то полнейшем, здесь, одиночестве! Не подумала..? Я из кожи лезу — заставить тебя быть просветленной, уповать, верить в себя, я столько сил положил на это... я же на тебя себя растрачивал... — и все впустую!? Хорошо же ты меня... не говорю, что любишь... а — чувствуешь! и так

мне платишь за мою веру в тебя, за мое любование тобою! «Роль сыграна»? и еще отчаянней — «и никакой роли-то не было!» Тьфу! тьфу!! тьфу!!! «Окстись! отплюнься!!!» — кричал на меня Горкин — в последних главах[332]. Чего твой дурак Денис знает о том, как там с животными?! — «будут преображенными» — это ты и у ап. Павла найдешь, его перечитай. Это ты к нему-то, к бледноглавому-скорбному за — этим прибегаешь?! Как же, он разъяснит... Ты — к Нему обратись! к Нему — в его Слове! а не к бедному истеричному попику. Он пусть «темным» расписывает, а ты себя не темни. Ты в мильон раз глубже и умней попиков. Не смей в кликуши, в юродцы... — не отрекайся от данного тебе Господом, отцом и матерью, и всеми твоими чистыми предками, наследства! Ты — умна, ты — наполнена... ты не нахваталась, а на-копи-ла! Пойми и — владей... и собой владей, также. Смотри на жизнь свою и вообще на жизнь не как раба биемая, а как хозяйка в дарованном тебе хозяйстве! Как мудрая хозяйка. Мудрая хозяйка во всем и со всем — найдется, а не станет волынить и метаться за советами к хозяйчёнкам полоумным... она и их-то обязана «призвать к порядку»! Ты не ценишь, что еще можешь дать голодному ребенку кусок, — а это — великое счастье! Вду-майся! И правь жизнь, а не ползай под ней. Несчастненькими, загнанными, слабенькими, биемыми, страждущими... — стараться видеть себя, и даже тон голоса несчастненький принимать, и клониться всячески... — усладительно-больно, о сем много у Достоевского, есть и у психиатров... Но это не Жизнь, а — клиника. Если бывают эпохи, когда жизнь обращается как бы в бойню и кладбище... — так это все оттого, что «плохо хозяйничали» в ней. Но оазисы остаются, жизнь жи-тельствует... Так помогай же ей «жительствовать», а не добавляй еще от «кладбища» и от «бойни» — хотя бы «самобойни»! Я так киплю сейчас на тебя, что... изругал бы тебя, словами бы затерзал... Но мне тебя жаль, я же люблю тебя, мою Ольгуну! Голубка, умирись и совладай с «духом угнетающим, духом уныния». Накатило..? К светлому Сергию, Серафиму..! А Она, Благостная, — к Ней-то ты... ?! Хотя бы в праздник «Покрова» вдумайся, прочти песнопения его! Когда-то я написал «Покров»... знаешь? После Оли... — для «Лета Господня». Иначе — все растеряется, если мы так недостойно откажемся от «наследства»! Пущена в Жизнь... — твори, и творись в ней. Во имя лучшего, что есть у нас... — во Имя Господне! Ну, дай поцелую плачущие твои глаза... пусть не плачут. Дай мне милые губки твои... поцелую, — пусть

не кривятся горечью... ручки дай... — исцелую все пальчики... — пусть творят! О, если бы я был близко, с тобой!.. Две головни в поле... — о, мы поддерживали бы друг друга... Гори, пока не догоришь, не сгоришь вся, но — пусть горенье это будет давать и тепло, и свет. Голубка... Олюночка...

——— Духи вдыхаю... они тонки, напитали бумагу даже... я их чутко слышу... и в них твое дыхание... Ах, Олёк, если бы ты знала духи «Грепэпль»! — Блосона (Blosson). Это — старые английские духи. Я покупал в Москве. Только их и держала Оля. Этот «Цвет яблони» — изумительно нежен... «После ливня» — жестковаты в сравнении с ними. Те... — «душа духов», их мысль, их — идея. Ландыш — мужик перед ними. А «После ливня» — ну... виолончель Брандукова[333] перед едва ощутимым дыханьем арфы под вдохновенной рукой покойной Айхенвальд[334] (матери певицы Большого театра), в оркестре Большого театра. Парижские духи после старинных английских — это джаз-банд после шопеновского вальса № 3 — самого глубочайшего, тончайшего, неуловимейшего его! Недавно Юля мне играла — а меня тогда тошнило! — когда я жил у нее в парижской квартире несколько дней. Меня унесло.

Я не «наказывал» тебя, посылая после письма от 6-го XI — только 24-го, а потому так, что — работал и — не было от тебя очень долго: ты мне после 3.X (твоя дата) написала только... 25.X — 22 дня!! Получив 3 ноября — написал 6-го, потом 23. Целую. Ваня

Ты совсем не считаешься, ско-лько и как я писал и пишу тебе! Я знаю: если бы я писал кому так и хоть — 1/10 часть... — почли бы себя счастливыми. Очевидно, мои письма тебе — как «летом... лимонад».

Я говорю сознательно, если нет желания — не пиши, не силься, «через себя»! Я слушаю музыку... люблю ее... и всегда чувствую, когда по-игрывают, не-играют, а... наигрывают, по-игрывают. Я не виню тебя — я болею этим. Не можешь — не пиши. Не надо через силу... Но знай: для себя, в пустоту — я писать не могу. Не старь себя: в сравнении со мной, ты — младенец. Если б я был твоих лет!!! ... Ведь это — 1916![335] До — «Неупиваемой чаши». Прости, родная Ольгуночка, м. б. ты жесткость уловишь в приписке на 3 стр.[i] Я считаюсь с потрясением после операции твоей, не виню тебя... но я и не могу не воздействовать

[i] Имеется в виду предыдущий абзац.

на тебя: надо владеть собой и — надо принимать меры против подавленности.

Ватка с духами «Lilas Persan». Вот — весна тебе! Будь ею!!

67

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

10.XII.43 8-40 вечера

Сегодня я как-то остро беспричален, но борюсь с этим — и пишу тебе, — устало, правда.

Дорогая моя Олюночка, в прошлом письме, вчера, я не на все отозвался... Самое главное — «Ты живешь», говоришь ты мне... — «ты — в жизни», «все тебя захватывает»... — или вроде того. Ну, что ты из себя ба-ушку делаешь, которая, будто, отжила?! В тебе все данные, чтобы любить «жизнь», и ты ее о-чень любишь... но нет в тебе воли или... навыка? — чтобы не отшибаться от жизни. Мне думается, что не надо отворачиваться от нее или идти-влачиться против нее. Как в игре — особенно в рулетке — нельзя идти против «талии», а норовить — «в ногу», пусть даже это и очень тревожно, и неприятно. Опытные игроки говорят: «нельзя дразнить богиню игры!» — т.е. ее «ветер»: с ног свалит! А... — крутись в том же ветре... куда-нибудь и принесет, а с ног не свалит. Я наблюдал в Монте-Карло, как «сваливало». Опытный игрок примечает, откуда и как дует... и старается подставить, в игре-то, свой парусок: авось и черпнет... — так сказать, расшаркивается перед М-ль Рулеткой: «дамам покорный поклон». Это не значит быть покладливым, нисколько, или — «с волками жить — по-волчьи выть». А вот что значит: не дуться на жизнь, а принимать ее — бестолково-сложнейшую — с улыбкой. А она — необъяснимо это! — очень улыбки любит. Есть поговорка: «она те — щёлк, а ты — как шелк...» — и незаметно скользнет удар. Я только стараюсь разобраться, говоря так: сам я никогда не живу по заданию, «принимая меры»... я всегда спохватываюсь уж вдолге после... но разбираться необходимо. Чаще всего действую «по вдохновенью». Так и действовал, когда — и не раз! — писал тебе: «пиши хотя бы о ферме». А теперь вижу, что пра-вильно, и надо выкинуть это — «хотя бы». Если вдумаешься — увидишь, какая важная и исключительная эта задача-тема. Вдумайся в мое «Солнце мертвых». Я начал его «ощупью», не зная — что и зачем дам... — и дал, что надо. Подумай, в какую эпоху

9 — 11249

живем, как и чем живем..! Это больше не повторится. М. б. и вообще ничто не повторится, ибо и повторяться-то будет уже нечему! Но это другой вопрос. Жизнь как бы на голову поставлена. Так вот, дать «жизнь фермы» — в такую эпоху — о, это заманчиво! Ведь под «фермой»-то разумею я не только скотный двор, птичник, огород, бидоны и прочее... — лю-дей разумею! всех и всяких. И — как сердце — разумею... разумеющую, что вытворяет ставшая на голову жизнь. Твою душу, твои глаза, сердце, разум... — все чувства. Видишь, как поднимается, как вырастает «смысл» работы? Тут все м. б. захвачено в творческую сеть — и выловит сеть эта улов необычайный. Средненькие возьмут из твоего «романа» — что по силенкам им, а чуткие — раскроют все богатство сердца и духа творящей. И — понесут, насытятся. Другой вопрос — чего больше черпнут: сладкого или — горчайшего. Но тебе-то какое дело до сего? «Ты — сам: живи один...»[336] Уверен, что мое «Солнце мертвых» не раскопано даже и с поверхности... — это не похвальба, а горькое убеждение... Но оно мне-то дало такое большое поле, что я мог и клясть, и обжигать, и пророчествовать... говоря о — по видимости — таком пустынном и обглоданном. Многое я высказал — выплюнул... из себя. Для чего? Не знаю. Так дышалось... жилось в работе. И когда я думаю о ферме, получая краткие толчки от тебя же, о ней кое-что — мелочи! — мне писавшей, я вижу ясно, какая это захватывающая работа. Недаром я не раз подталкивал — интуитивно! — тебя — возьми, начни... Да, как жила ферма, и все, что в ней и вокруг... — ка-кое же великое поле! И люди, и зверюшки... и даже «мертвый инвентарь». И как все это протащится через «живую душу», и как это скажет «живой душе». Сколько «пуповин» перервано... у всего! А сколько положений и творческой свободы — говорить о многом... до песен и плача ветра. А «романов» и «драм»-то сколько! Вспомни «Холстомера»... вспомни мою курочку «Торпедку»... — сколько всего — наводит, о чем и не помышлялось. И все это совершенно безоглядно, и ненарочито, беспристрастно. Страсть скажется... почувствуется. Когда я начинал свои «Суровые дни» в 14 году, я и не помышлял, что дам. А оказалось вон, что — захватило, и Леонид Андреев приезжал ко мне, как просил... — только продолжайте, давайте нам, в новую газету... — печаталось в журнале толстом, кажется, «Русские записки»[337]. Простая задача: как отражалась война в «глубине России» — деревне. Революция все оборвала, я успел дать очерков 10—12,

только на одну книжку, — а ско-лько можно было бы дать, чего и как коснуться! Завершилось это — ты знаешь — «Солнцем мертвых» и его продолжением — рядом книжек, где я все вывалил из души. И когда вывалил — с передышкой для «Неупиваемой», писанной в 18-м г. — я мог прийти в себя — и дал «Лето Господне», «Богомолье», «Пути Небесные»... Ольгуна, в жизни творчества есть известная закономерность: оно дает «искру» от ударов, и художник часто о сем и не помышляет... по-сле уж разбирается. Дает и «контр-удары»... — думаю, что «Неупиваемая» была защитительной попыткой такого «контр-удара»... — криком из души, Кому-то: «спаси, погибаю!.. дай тишины, забытья... дай укрытия..!» — Ну, оставлю о себе, не до себя. И, конечно, не до рисовки собой. Ты понимаешь. Мне хочется тебя убедить, тебе представить ясно, чем и как, — и с полным правом! — можешь быть ты взята... и тогда не подымется в душе горького упрека «судьбе»... Или ты малым сочтешь те чувства, которыми наполнялась, когда слышала, как голодный рот девочки, пришедшей издалека, или мальчугана... слюняво хлюпал забытое молоко... жевал-глодал хлеб, обжигался картошкой..? Вспомника... А это — доро-гого стоит... — это цветение души, от сострадания, жалости, сознания бессилия и — силы! — дать голодающему ребенку кусок! Это страшная и светлая поэма! Начни — и распишешься. С самого «адама». Жила-была ферма... и жила-была Оля... — и как они по-няли... поняли друг друга... — да, ферма имеет много «нервов» и «проводов»: голоса животных, трепет ветвей, звон бидонов, мэканье телят... вздохи кобылки, потерявшей... и — «романчики», порванные... и — люди, люди... разные! И — стихи и... — сколько тут матерьялу! Свето-тени... А тихие яблоневые сады..! И все это пронизывается... радиовестями... и музыкой, и кровью. А картина «налета» на ферму! Ну, на твою не налетали пока, слава Богу... но ведь на сотни, тысячи «ферм» уже налетали... и — тихий ужас животных... и их глаза... Если бы мне было сейчас лет 50—55, я дал бы сам «ферму», не зная ее... я ее создал бы... из ничего, внутренним зрением своим! И тебя, и себя, и сотню неведомых мне голландцев. Как, не видя еще Германии, я когда-то, в 22 г., написал «Чужой крови»[338]... — Знающие заявляли: вы прожили лет 10 в Германии! Ты обладаешь этим «шестым» чувством пылкого ви-дения воображением, и ты — можешь! Подумай над моим «толчком»... или — так и отпишешься: «не могу... я устала... нет цели, нет смысла... ты все преувеличил...» и проч. Кля-

нусь, я тебе т а к пишу в последний раз! Терпение мое истощилось, я замолчу. Ну, будем писать, не касаясь «творческих» процессов, а... ну, умная молодая дама переписывается с несовсем безынтересным старым писателем... — так, «легкая музыка», от нечего делать. Ты удлиняй промежутки между письмами, я стану делать то же... и — сойдет на-нет... «переписка друзей». Повторю, как писал когда-то: «не отмахивайся от лучшего в тебе... а то я, под внушением такого отмахивания, — и для облегчения души, — и впрямь стану себя убеждать, что ты, просто, «приятный силуэт мелькнувшей незнакомки»... Да так и лучше, пожалуй, а то надоем тебе с этими уговорами — и скажешь — про себя, пока, — раздраженно: «вот навязался-то... эти уж ста-рые писа-тели!..» — Твои письма снова и снова — и в который раз! — становятся... чуждающимися, дале-кими... — отпиской.

Я не хочу тебя обижать, прости мне некоторую жесткость: я лишь хочу привести тебя к тебе, тебя — в те-бя! Не беги же от себя. Что мне от тебя надо? мы же, по всей вероятности, и не встретимся... я не так уж глуп, чтобы бесплодно и безданно обольщать себя розовыми видениями...

А теперь — к мелочам. Меня все еще изводит навязавшийся бронхит и насморк. Ночами — бухаю и давлюсь. Помнишь Тургенева... — «кто это старчески кашляет там, за стеной?»[339] Куда моложе меня был, пиша это! Днем — каждые пять минут вставай и иди к баночке... скучно и отвратительно. Правда, все туманы, и мразно-хладно. Сдаю, милая... а если еще и шучу и искрюсь слегка... так это я «делаю приятное лицо» г-же Жизни, что мне, дескать, ничего, терпимо... — продолжайте и не серчайте. А мне, порой до сквозьтыкофейности отвратно. А смерти боюсь, и хочется видеть, «чем же в с е э т о кончится». Твои отчаянно-«беспричальные» письма еще сильней осложняют мое пустынное душе-состояние...

Ну, да укрепит тебя и твоя воля, и — Божья. Не падай духом! Стыдно... в пору расцвета! рас-с в е т а, твоего, душевного. Ты мне так и не написала, что же сказал новый доктор, у которого была ты 11 окт.! что — с почкой твоей?..

Господь с тобой, дорогая. Целую твои пальчики и болеющую ручку. Ваня

[На полях:] Напиши, тепло ли у тебя, тебе тепло — самое лучшее лекарство! Берегись охлаждений, о, берегись, О-ля!.. Все возможное сделай, не будь б е с п е ч н а!

Самое правильное: давать имя святого дня рождения или близкого к нему. Касьян — будь Касьяном. Со мной поступили правильно. А тебя бы — Феодосия! И писал бы я тебе, — милая моя Фео! А бранил бы — Доська!

О двойных и даже 3-ных, даваемых детям на Западе — я твоего мнения вполне. И — дам Ивику нагоняй.

68

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

17.XII.43

Милый Ванюша!

Я беспокоилась, что так долго опять не было от тебя вестей и вот и верно — ты болен был! Остерегайся же простуды! Как у тебя в квартире? Топят? Как рано в этом году завернули холода, не дай Бог вся такая зима будет, боюсь, что к Рождеству еще холоднее будет. Топлива не так много. В спальне у меня +5°C, страшно высунуться из-под одеяла, а вчера еще такой грех случился: выскочила пробка из здешней «бомбы-грелки» и всю мою кровать залило водой. Кошмар. Я после операции вообще очень страдаю зябкостью — это еще довольно долго должно по словам хирурга продержаться. Но боли, боли... изводят меня. Все эти дни пронзает будто каленым прутом и сверлит. Судя по этому м. б. погода изменится?! Барометр упал, — надеюсь, что тогда полегчает. Надоела вечная боль и ночью и днем. Уже больше 1/2 года... Ну, однако, не хочу ныть, — только бы Бог миловал и еще не возвратилось то, что весной вырезали. Да и вообще-то прошу Бога только бы пережить войну и быть в состоянии что-нибудь сделать и смягчить горькую долю несчастных, которых множество. Я иногда физически ощущаю боль за все эти несчастья. И куда все идет?

Какое безумие война! А наряду с этой бойней наука тратит миллионы на открытие той или иной болезни и борьбы с ней, доктора и сестры торчат ночи напролет у какого-нибудь выживающего из ума больного, а тут падают миллионы молодых жизней. Нечего резонерствовать — это каждому известно, но больно, больно, что все красивые фразы о размножении рода человеческого и, кроме того, более комфортабельного, сводятся к тому, чтобы через несколько лет явилась необходимость такой вот бойни. Если отбросить все «одежки», то правда именно такой и покажется в своей наготе. Эпидемии, землетрясения и войны... «необходимы». Ужас, ужас. Иначе нас слишком много!!

Но сколько зла при этом. Какую гнусь выявляет это самое человечество. Правда же мои животные много лучше! Вся техника пошла на истребление себе подобных. Поистине дьявольские руки приложились к науке. Мне много приходилось слышать о вечных зверствах и прямо холодеешь от этого и не веришь, что такое делают люди. Больно мне думать, что, вероятно, многие из близких и уж никак не причастных людей, живущих в Берлине, пострадали. Почти все они жили в районе, теперь очень пострадавшем. На мое заказное письмо еще нет ответа, но и оно не возвратилось. Есть еще надежда, следовательно. Как я рада, что мои со мной. О, если бы дожить до конца войны! А кто и в этом уверен?! Мы тоже можем быть подмятыми и смешаны с глиной. Ну, довольно! —

Сегодня ночью странный был со мной случай — просыпаюсь и в полном мраке (ибо ставни закрыты) ясно вижу все предметы. У меня это бывало уже, но не так ясно, как в этот раз. Немного жутко.

Закрыла глаза — открыла снова — темно и ничего не видно. Причем, это не воображение, т.к., например, я видела что-то круглое, и не могла понять, что это. А утром, когда через стекло у двери проходить стал свет и образовался именно такой же полумрак — то вижу опять этот круг и силюсь понять, что это, зажигаю свет и вижу ясно, — это лампа над туалетным столиком, вернее ее диск, на котором она укреплена. Что это за явление? Ты не слыхал? Ванюша, ты не серчай на меня и не раздражайся. Моя вина в том, что не имея возможности всем с тобой поделиться, я кое-что высказываю, и из-за этого разные недоумения. То, что я не могу систематически работать меня самою гнетет. Мы толчемся в повседневной суете и спим все в одной комнате, согнанные холодом в одну кучу. Я не могу тогда работать. А дела масса. Вот привезли коров из другого имения — почти все больные, простыли так без ухода. Свинью надо перед заколом откармливать — ни на кого положиться нельзя, вместо жирения, — тощают. Вчера было целое сооружение на двери дома для окуривания коров против чесотки, т.к. в деревне эта эпидемия. Потом их брили (это обязательно для Stammbuch[i]), всюду нужно приглянуть, рабочих покормить, кофе дать. Маленькие две телки, одна-то моя болезная Ольгушка (помнишь, я писала?)... «как с гвоздя», на диету посадили, отстранив работника, как я его зову, Фавна. Старик, быстрый, быстрый, живет со всеми

[i] Племенная книга (*нем.*).

животными, как с братьями, из той же канавы и воду пьет, что они, только сперва рукой головастиков отшугнет. Ольгушке даю вареный корм, для этого целый день вожусь с чугунами свекловицы и картошки. Мама тоже.

Как будто бы ей лучше. Все на нее напало, захудалая, костышка, это с лугов-то! Гнать надо бы подлеца надзирателя оттуда, да нет людей. А вот другая телочка плоха. Той муку давать надо, не берет. Ах, да ничего и нету! Горе и беда со скотом... А утро какое чудесное было... Слышу у стогов стучит что-то, взглянула сверху, ослепило солнце, ярким снопом брызнуло в глаза из-за золотой соломы... а стукача все не вижу. И вдруг совсем над головой тук-тук — пестренький дятел, но не похож на наших, а с красненьким задком и белой головкой. Каждое утро у нас стучит. Земля замерзла — ноги по буграм прямо исковеркаешь, куры жмутся кучкой под навесом и ищут местечка на солнце, а как шаги услышат, выскочат и бегут навстречу: тяжелые рыжие вперевалку, наклонившись передом, а пестренькие — совкие, — суетливой рысцой добегут, увидят, что для них ничего нету и тихонько назад. Уже с полей доносится пиу-пиу — так похожее на чибисов — м. б. они? И отчего-то кажется, что и правда весна придет. Небо голубое и в морозной дали розово-фиолетовы кажутся деревья и кусты. У гусей стынет корм, несу воду им — замерзла, которая у них стояла. Важно отошли, вытягивая шеи, и гогочут, точно возмущаются, что им помешали. И чудно смотреть на них, как в такую стужу полощутся носами в холодной воде. Они очень симпатичны, ходят неслышно, и все торятся к дому. Одного отделили от них для Рождества... и кормим, кормим. Подойдешь к нему — шипит. А я думаю: прав ты, дурак, что злишься, кормим-то мы тебя для себя же, вот свинья глупая слушается нас и доставляет нам удовольствие, отъедается и тем сокращает свой век. И даже стыдно станет за свою «подлость» перед ними. Да, много боли переживаешь со своими четвероногими и пернатыми друзьями всякий день. Вот курочка почему-то стонет, ну совсем человеческим стоном, — принесли в тепло, дала я ей масла, так почему-то подумалось. Полегчало. А сегодня другая. М. б. им холодно. Телятишки озоруют... бычок, если ему есть захочется вне очереди, прямо ногами передними в лоток и стоит дыбом. Они ручные, знают нас с мамой, а мужиков боятся, от них-то и палки видимо попробовать успели. Вечером люблю выйти на двор и тебя встречают столько пар глаз, покорные, непрестанные работницы. Что-то трогательное есть в существе коровы, терпели-

вое и покорное. Когда я выхожу, — они знают и все начинают вставать, гремят цепями и все устремляются в одну сторону... к свеклорезке. Знаю, хитрячки! Олюнку мою кормлю лакомым кусочком, так она прямо дрожит, когда ведро видит. Она — заморышек, но как у нас говорили — солощая. Знаешь это слово? Ванечка, письмо очень спешно пишу — тороплюсь к зубному врачу. — Была у зубного врача, — увы, из-за моей разнеженности послеоперационной, пропустила срок и теперь придется убить один нерв. Положил мышьяк, — болит сейчас. Ну, Ванюша, будь здоров и Богом храним. Благословляю тебя. Ты не сердись, будь благостен, — я не хочу входить в твои уколы, — не надо, жизнь без этого лучше. Оля

[На полях:] Я опишу тебе когда-нибудь день фермы. Теперь масса дела. По нужде я занялась прикладным искусством — из ничего себе делаю нарядный туалет... Опишу, когда удастся, — хитро и оригинально — к лицу.

Мама шлет тебе привет сердечный.

69

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

[30.XII.1943][i]

Дорогой мой Ванюша,

Вот и не верится, что подошло время и к нашему празднику писать, — до чего же быстро летят дни и недели — вся жизнь...

Хочу верить, что ты в добром здоровье с легкостью в душе и сердце встретишь день Св. Рождества Христова. Поздравляю тебя родной и обнимаю, желаю всего доброго, мира душевного и спорой работы, радостной и легкой!

Прости меня, что сделала некоторый перерыв в письмах, — я жестоко простужена и, кроме того, нарывает палец, как-то тоже дико: вся поверхность первого сустава — сплошной гнойный пузырь. Надо бы дать разрезать, и доктор велел прийти, но я не могу из-за простуды высунуть носа, — погода гадкая... сырой липкий туман, и холодно. Привязываю всякие домашние средства, бабушкины еще — м. б. вытянет. Тут почти в каждом доме страдают нарывами. Берегись ты, ради Бога, простуды! Как я волнуюсь, когда ты с каким-то озорством сообщаешь о твоем бронхите и гриппе. Очень я жалею, что не могу тебе никак устроить

---

i На конверте помета И. С. Шмелева: Чудесное, рождественское!

Рождество. М. б. после праздников сумею устроить деньги для Елизаветы Семеновны, но до Рождества никак. А мне было бы стыдно ее просить, не заплатив старый долг. На Фасю я просто зла, — рабья натура, рабья и постановка дела. Трепещет перед своим мужем и лепечет еще: «он очень добрый...», это значит, что от своего переизбытка кидает сколько-то на ее родных. Я его органически не выношу. Фася сама преисполнена хороших качеств, но ни одно из них никак не может проявиться — она просто не личность. Да кажется, я уже тебе писала. Не буду «жабить» (от жабы) перед Рождеством-то хоть. Много у меня сейчас заботы с телушками. За 2 дня праздников (они были не на моем попечении, т.к. я уезжала) «Жанну» так испортили, что опять водой стала делать. Теперь я ее отхаживаю и, сама еле дыша от разбухшей головы, — то и дело торчу у нее. Глазенки провалились и ушли глубоко, ушки только у корня теплые, но носишка стал опять мокренький, как гриб — масленок. Тянется мордочкой ко мне, водит ушонками и встает — м. б. и встанет?! Этот нарыв изводит...

Ах, Ванюша, Ванюша, твое последнее письмо![339a] Как это ты? — «мелькнувший силуэт прекрасной незнакомки!»? Зачем ты делаешь больно? Я не хочу останавливаться на этом. У тебя уже почти 2 года желание меня уколоть, то тем, то другим. Не надо этого. Сколько хорошего разрушают подобные уколы. Но я не хочу этого и надеваю броню.

Мне хочется уйти в далекое прошедшее, когда такой таинственный и трепетный бывал Сочельник! Помнишь ты? У вас, конечно, тоже.

А я, бывало, с утра уже бродила в ожидании сумерек, первой звезды. Разве хоть кто-нибудь или что-нибудь могло поколебать тогда мою веру, что именно вот эта-то первая звезда и есть вестник совершившегося великого торжества. Как я понимала тогда это событие или вернее, — как объясняла себе то, что каждый год его празднуют, — я не знаю, но помню, что сердцем своим я не воспоминание Рождества Христова встречала, но самое подлинное Рождество. В тот дивный вечер сочельника, когда замечалась первая звезда, я и знала, что — вот, родился Христос! Говеть до звезды... какая это была радость! Лишение?? Как бы дико это показалась Оле-8-летке такое утверждение. Счастье было для рожденного Младенца сделать что-то необычайное. Какое приподнятое чувство было тогда, когда бегала по большим комнатам, устланным новыми дорожками. С ручек дверных снимали газетные обертки и чехлы с кресел. И запах ели из-за таинственной запертой двери гостиной...

холодком тянуло оттуда, не топили до первого дня. И в кухне ароматы куличом и окороком, и телячьей ножкой. Какая-нибудь тетушка мастерски вырезывает манжету для окороков, расставляют стол, перетирают бокалы и рюмки. И эти огоньки у икон. И такое все радостное, ожидающее... вот-вот явится что-то, Кто-то. А в животе подводит... и тоже как-то радостно от этого чувства и легко. После вечери папа усталый идет чуточку отдохнуть до всенощной, — и помню бывало, что как раз начинало темнеть и где-нибудь уже мерцала первая звездочка. Выходило все само собой — ели освященный хлеб из церкви и затем кисель или еще что-нибудь постное и ждали всенощной. Но был один год... последний папин год... Сумеречно... Папа уже пришел, — я слышу из детской, а я у окошка до ломоты напрягаю глаза и все смотрю, смотрю в синюю высь... Ничего... Ни единой светлой точки. Слышу, как зажигают лампы, в соседней комнате с особенным звуком дрыгает длинный зеленый абажур на «молнии»... совсем уже стало сумеречно... снег синий, в комнате сине... и в зеркалах и в ножах и вилках, которые для праздничного стола начистили и положили пока в «учебной». В коленках ямочками врезались кнопки стула и затекают ручонки от напряженного облокачивания о подоконник. А их все нет и нет... Зовут обедать-ужинать, — как же это возможно? Помню ужас свой, когда для убедительности мне сообщают, что «даже папа поел»! Какая бездна открылась в моем сердце. Папа, мой кумир и пример во всем — поел... Как все не вязалось вместе. И где же звезда, чудесная звезда, возвещающая о чудесном Рождении? И помню как меня заставили поесть. Как ненавидела я этот несчастный овсяный кисель, который должен был скользкими лягушками глотаться и казалось, что конца ему не будет на тарелке. И потом поездка в церковь... без звезд и с укорами в душе. И потом храм... в огнях, полон людей праздничных, нарядных, и дивный концерт... «Слава в Вышних Богу!»... И все червячок в сердце... не было звезды сегодня... Почему же не открыли ангелы своих окошечек в небо? Ты помнишь, я тебе писала о своем представлении о звездах — окошечках в небе. Небо закрыто осталось сегодня людям? И потом... Обратно... холодный воздух в вестибюле университета (университетская церковь)[339б] обдал разгоряченные лица; — живой волной выбрасывает меня с двоюродными братом и сестрой из дверей и мы стоим, пронизанные морозным ветром. А ночь горела мириадами звезд... «Точно чудо», — сказал мой двоюродный брат, показывая на звезды. Но для

меня не было то чудом, — иного и не ждала душа моя. Как могло остаться в такую ночь закрытым небо?! И на извозчике потом... знаешь, как липнут на морозе ноздри? Пушатся белые ресницы и тоже слипаются, когда сожмутся веки? И в этих длинных белых ресницах... сколько виделось и х... и горящих, и мерцающих, плавящихся в морозной дали, и ровно-светящих, и искрящихся миллионом лучей... Они растекались в кружочках и разбегались стрелками и снова собирались в чудесное одно... А я, сидя в платках и одеялах, и надышав целый «сугроб» снега, чуть-чуть только могла выглядывать из-под укутки и все любовалась ими. И снег веселый... хруп-хруп... под тяжелыми шагами взрослых и чвик-чвик под маленькими ножками нас — детей. А как звонко скрипели полозья и как блестела накатанная дорога... каток! А дома... как благостно-тихо... как все пристойно и свято в этот великий день. И сколько радостей на утро! Мы славили Христа, все вместе стоя в «большой столовой», конечно, верно отчаянно врозь и кто в лес, кто по дрова. Тут был и Сережа 4 лет, и я, и няня Соня. И потом получали по монетке, светленькой, обязательно новой. Их копили. Наше золото! И подарки!.. Ах, золотое время.

В этот год у меня нет свечей для елки, только есть 3 красных толстых, я их поставлю под елкой в больших яблоках. И зажгу, думая о т о й... чудесной... далекой елке. И, конечно, о тебе! Целую тебя и ищу с тобой звезду! Оля

[На полях:] Очень плохо и очень косо — Оля 8-ми лет, смотрящая в окно и ищущая Рождественскую звезду[i]. Палец паршивый мешает.

Посылаю веточку елки.

Как это ты: «не будь беспечна» — это без печки? И... бойся «охлаждений»... Ты очень остроумен, — я это всегда знала!

70

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

31.XII.43

Дорогая моя, поздравляю тебя с Праздником Рождества Христова от всего сердца моего, от всей моей крепкой любви к тебе, светлянка. Да будет радость во всей тебе. Здорова будь, вся, вся — на долгие и лучшие годы твоей

---

[i] В письме рисунок О. А. Бредиус-Субботиной.

жизни. Милая, родная!.. У меня очень болит правая рука в кисти, я с усилиями пишу, а машинка испортилась, заедает и путает, — нет хорошей ленты. Да и машинкой трудно, чуть не плачу. Давно это — сперва можжило, и вот, острые, летучие боли. Растираю какой-то дрянью, жжет, а не лучше. Связанность в руке и колет иглами в пальцы.

Душевно нелегко, тоже. Какая-то придавленность... — но я перемогу это. Писать не могу — читаю, что нужно. Кажется, на последней главе «Кончина» и закончу «Лето Господне». Не буду писать «Похороны», — тяжело, не могу! К «Путям Небесным»! Очень плохо сплю, не больше 4—5 часов. А сегодня до [4-х] не спал, — рука болела.

Сережино письмо, в твоем, получил 25.XII, через час после ухода Вигена: он нежданно заявился из Лиона. Он заедет перед отъездом, — передам. Они тебе... — нет, я спутал: Сережино письмо было самостоятельное, я его получил 25-го, а твое — 23[340]. С той поры не было от тебя. Я тебе послал последнее — 15.XII[341]. А [потом] рука помешала писать еще.

Милая, родная деточка... — очень хорошо ты даешь о зверушках твоих, о ферме, о ее песнях. Пиши мне больше... О, завыла сирена!.. Я не спускаюсь в подвал, а если начнет DCA (защита) становлюсь в уголок, между дверями, — от возможных осколков. Сейчас 11 ч. 40 утра. Впервые это прерывает письмо к тебе... Вчера было 2 сирены, без пальбы. Так вот и живем — ждем... Маляр у меня мажет, все еще подправляют квартиру. У меня тепло, слава Богу, — эти дни (не морозно) до +20°С. Темно будущее — и, кажется, нерадостно. Вот, и новый год входит, високосный... — тяжелый, люди говорят, у нас-то... А вдруг и... ?! Да будет! Виген, впервые его вижу, производит приятное впечатление, — только очень стремителен, «с запалом». Очень открытый, чистый. И — умен. Горит. Добрый, российский... хорошей закваски, но... увлекается. Лелеемое принимает за действительное уже. Милая моя, Ольгуночка, да будет тебе светло и благостно в этом году — и дальше, дальше! Господь с тобой, дружка моя, голубка. Целую твои ручки, глазки. О, дорогая, да хранит тебя Господь и Пречистая. Невеселое пишет мне Земмеринг. Квартира о. Иоанна Шаховского сгорела. Их, бывшая, — они месяца 2 — уехали близко, в деревню, — тоже. — Поздравляю маму и Сережу. Твой — и здесь, пока — и там... — Ваня

Мой бронхит чуть лучше, но ночами — бьет. Если бы сон, а то все думы... Твой Ванёк

12 ч. 45 мин. Еще нет отбоя тревоге, но бешеная канонада и рычанье моторов над головой затихли — смолкли вот уже минут 10. Должно быть мои нервы сильно сдали: я был очень неспокоен. Слава Богу, Анна Васильевна нынче (пятница) у меня. Она все время вычитывала свои молитвы, псалмы — и возилась в кухне. День — в блеске. Должно быть бросали бомбы хищники, были слышны «раскаты». Рука поднялась... — Вот, сирена, — отбой. «Тогда считать мы стали раны...»[342] Где? что? кто?! ... Это они прилетали поздравить с Новым годом своих бывших друзей. Час от часу не легче! Не успела замолкнуть отбой-сирена, как снова завыла «тревога»! Впервые такое... Вот, уже 10 мин «alerte»[i], но пока тихо. М. б. опрометчиво дали отбой раньше времени?.. Массаж нервам... Ну, и «сиренное» же я тебе письмо к Новому году! — не сиреневое, хоть и на сиреневой бумаге. 1/4 ч. протекло — тихо. А день блещет, и потому еще томительней. Вспоминаю такие же блестящие дни в Крыму, под дьяволами. 16 минут... Ну, опять отбой! Слава Богу. А[нна] В[асильевна] печет мне пирожок, приняла новую тревогу за «особенный отбой». Теперь убедилась. Сердце мое поослабло, принял solucamphre, 10 капель, — это замена впрыскиванья, только более слабая. Докторша прописала, после гриппа, 2 раза в день. Говорит, что сердце — «хорошее». Очевидно, Слава Богу, иначе я после всего, пережитого за эти 1/4 века, — давно бы успокоился... Книги мои хорошо понятны — и влекут — не только эмиграцию, а и, вообще, родных. А их очень много теперь. Скоро они прочтут «Рождество в Москве»[343], только в парижской газете. Колебался — все же дал. Тираж очень увеличился, и газета должна была перейти на новую орфографию[344]. Да, сознаю, долг писателя, его назначение ныне особенно ответственно, молекулярно перестраивать душу, очищать ее от грязи и яда большевизма. Мои книги этому должны послужить.

Ми-лая Ольгуночка! Нельзя — никак — послать тебе цветы — цветение моей души — тебе. Но ты почувствуешь — в этих хотя бы двух лоскутках, как я весь с тобой. И пою — «Рождество Твое, Христе...»[345] — с тобой. Ваня

[На полях:] Напиши о здоровье, что сказал о — почке доктор 11 окт.?

Целую тебя, голубонька.

Сейчас должен поехать за нужными книгами. О Палестине... О — многом, для работы.

---

[i] Тревога (*фр.*).

71

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

1.I.44[i]

Дорогой Ванюша,

Вот и Новый год... Как жутко всегда стоять на этом рубеже. Особенно же в наше время. Нечего говорить о том, что я горячо желаю тебе всякого блага в этот новый период времени. Ты знаешь это. Хочется помолиться, чтобы Господь сохранил по возможности больше жизней в людской бойне. Хочется почувствовать тебя, и близких, и себя под Покровом Всевышнего. Я давно ничего от тебя не получала опять. Как ты со здоровьем, Ванечка? Наверху письма стояло: «сегодня я как-то особенно беспричален». Что это? И почему? Ах, мне больно такие вещи читать у тебя, дружок. Ты тоже легко предаешься чувству одиночества, ты тоже иногда с трудом «улыбаешься жизни». Ты очень интересно и хорошо это мне описал. Но как мало ты теперь пишешь мне... Зачем ты угадываешь с моей стороны нечто нехорошее, если долго от меня не получаешь писем. Я не знаю, Ванюша, отчего это, давай не будем делать предположений друг о друге. Почему же так мало доверия? И разве не друзья мы больше? Как это больно... «мелькнувший силуэт прекрасной незнакомки»... Нет, все не верно: мелькнувший?.. Да мы почти 5 лет уже знакомы. И сколько сказано, и как открыто! Подумай! Силуэт? — какой же это силуэт, когда я всю душу перед тобой открыла?

Прекрасной?.. Нет, и не прекрасной, ни в каком смысле. Все далеко во мне от прекрасного.

А что касается незнакомки... Ну, да, в обычном смысле, внешне, конечно, м. б. и незнакомка, но ты когда-то сам говорил иное. Ты был видимо в таком настроении, что так подумал. И все же это не то, что нужно в жизни. Не надо отыскивать чего-нибудь против другого. Я сама этим грешу. Но разве я совершенна? Мне иногда страшно от того, насколько я несовершенна и далека от сего. Ты прав, когда говоришь о жизни и об отношении к ней, но я не провожу это в жизнь. Я не чувствую себя хозяйкой ее, никогда не чувствовала. И м. б. это наша русская отчасти черта? Ты не думаешь? Разве мы по-хозяйски себя ведем. Великие-то наши люди и те стоят у стенки прислонившись, робко, не по-хозяйски. Я не сильный человек. Понимаешь?

---

[i] В оригинале описка: 1.I.43.

Я часто чувствовала — лучше было бы, если бы я не рождалась, что впрочем никак не исключает страха смерти. Никак.

Но не хочу сегодня писать в таком духе. Мне мало было с кем можно высказаться в жизни, и всегда была какая-то горечь. Сейчас у меня нет совершенно ни одной подруги. И сейчас я бы не смогла уже больше высказываться. Как бы я хотела говорить с тобой. Ну, да ты это тоже знаешь. И как трудно обо всем писать. Мне очень хочется сесть за работу. Какой я чувствую заряд для работы в каждом твоем даже мимолетном касании искусства. А иногда даже какая-нибудь мелодия в граммофоне затеплить может тоску по творчеству. Это неизъяснимое чудесное чувство. Не говорю уже о тебе, но вообще о людях искусства, — я думаю, что общение с ними очень благотворно.

Ах, Ваня, мне иногда хочется просто день записывать... Вот бывают дни, — не события, — а сами дни, в их освещении, шумах, ветре или тишине, в тенях и свете.. такие разные, с такими оттенками настроений природы, что так и хочется запечатлеть. И думаешь: «вот, т а к о й, а не иной день должен быть, когда мол «она» то-то и то-то переживает»... И страшно забыть. Вот, когда я только чуть-чуть стала на 10 мин. вставать в клинике, однажды был день, такой странный, какой-то солнечно-стальной, какой-то весь противоречивый... то солнце, то стальные тучи. То тихо, а то порывы и так, знаешь, вот как-то снизу завывает ветер и задирает тяжеловесные кусты, а они запрокидываются назад и так похожи делаются на тучных гостей за тучным обедом, отваливающихся в сытом смехе на спинку стула. И даже когда первый порыв ветра стихал, то долго еще качали ветками, точно так, как эти же сытые гости еще долго колыхаются в беззвучном смехе. И вот такой день (его не выдумать, не видав) как раз именно и должен быть, когда моя, загнанная теткой, Вера[348] убегает в отчаянии и тоске к парому, и холодно, и ветра порывы, и стальное негреющее солнце и это запрокидывание кустов, так напомнивших ей сытых плотью гостей тетки, обжиравшихся и могших хохотать над показанным пальцем в то время, как она, Вера сгладывалась оскорблением и обидой. Мне так было досадно тогда, что рука не давала писать. Я так некоторые картины ясно вижу, что мне иногда кажется, что все это со мной было. И я просто начинаю вспоминать: «ах, это вот то, отчего Вера сделала так-то и то-то». Но прежде этого у меня еще есть нечто на сердце, что хочется написать первым. Только когда и как?? Вот 12 и 13 опять

молотьба, — слава Богу последняя, семенных уже злаков. А 11-го должна к doctor'у в Velp. А 7-го собираюсь в Гаагу, если буду здорова. У меня простуда не может пройти и палец нарывал катастрофально — вся поверхность сустава и под ногтем — сплошной пузырь с гноем. И теперь отодрался край, но одновременно с выходом материи, надирает дальше. Надоело, вся эта «куколка» тычется. Надеюсь, что к празднику-то попройдет.

Телушке моей опять лучше стало — тычется мордашкой, будто поцеловать хочет. Только мой голос услышит — отзывается. Молоко научилась пить из бутылки, так что не надо ей и пасть раздирать, а подхожу и показываю бутыль, она тихонько берет ее и я вливаю. Глупая, не хочет ни за что пить из ведра молоко, а только чистую воду, без муки. Молоко для питания стали ей вливать, а теперь — дрожит, когда бутыль видит, но из ведра не будет пить. Она и в детстве не пила, а сосала у матки, а пить никогда не хотела, все бились с ней. Правда тогда еще я или не занималась сама, а работники-то ведь нетерпеливы. Из новостей — пропала кошечка у нас. Гусей завели. Писала? Не знаешь ли ты, как у них отличить дам от кавалеров? Все они одинаковы. Напиши, пожалуйста. Кончаю, Ванёк. Обнимаю и благословляю. Оля

[На полях:] Да хранит тебя Господь и Царица Небесная! Я не получила от тебя привета к Новому году.

72

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

8.I.44
вечер

Дорогой Ванюша, только что вот приехала от С. и принесли твое письмо, — тотчас отвечаю.

Спасибо тебе за все твои добрые пожелания мне! Как мне больно, что ты все нездоров — что это с рукой? Что говорит доктор? И почему не лечишь бронхит? Зачем выходишь на улицу? Неужели никого нет, кто бы исполнил твои поручения? Мы с мамой были в Гааге в церкви вчера, выехали еще в темноте, прибыли в 11 ч. и только что вышли из вокзала и направились к трамваю, как завыла сирена... Мы рвали и метали, думая, как отходит обедня... Пойми, что уже за 2 дня накануне мы все готовили к отъезду: варили кормовую сахарную свеклу для скота мелкого (маленьких поросят), чтобы прислуге было чем кормить, а

то ведь заголодают, пекли для Сережи кое-что, для церковного дома, для Сережиной хозяйки, т.к. мама еще там остается гостить. Я готовила еду для Арнольда и Тилли на эти дни: супы разные, зелень и сладкое, частью картофель (пюре). Все расписала и «разжевала» Тилли... Сами-то прямо уж собираючись измучились, а тут... пожалуйте, — приехали, чтобы услышать сирену и прийти к шапошному разбору. Не могу сказать, как горько было. А собирались причаститься, — ничего не ели.

Наконец, отбой. Приходим в церковь... и что слышим... часы![347] О. Дионисий оказывается ждал, пока кончится тревога и начнут приходить богомольцы. Начало тревоги было в 11, а служба обычно начинается $10^{\underline{45}}$. Ну, как рукой, заботу сняло. Потом проехали к С., — у него было очень хорошо — елку добыл (сестра Арнольда сама срубила в лесу и, отпраздновав (с русским мужем)[i] западное Рождество, передарила Сереже). Хозяйка дала свечей и игрушки и украсила ему. Лампадочку зажег он, цветов купил. Сидели сперва одни, а потом позвал и хозяйку и еще одного жильца и пили «Apricot brandy». Даже мне понравилось, — я не люблю пить. Достал С. конфет, а пили настоящий китайский чай. А утром сегодня были с мамой у доктора. Я с удовольствием тебе, дружок, опишу все, что он сказал. Как раз он сегодня был разговорчив и все мне впервые объяснил. Он находит, что у меня не почка первопричина страданий, но железы внутренней секреции. А эти последние в зависимости от нервов.

Он дает (гомеопатическое) лекарство, действующее на эти железы, и интересно: спрашивал о разных явлениях, которые меня уже начинали тревожить, а он обрадовался, сказав, что они-то и уверяют его в правильном пути, по которому он пошел в лечении меня. Например, у меня с некоторого времени начались боли в правом боку. Меня уже посылали к хирургу моему, но он в отпуску был. Я только было собралась спросить, а доктор сам говорит: «а желчный пузырь как?» Я показываю ему, где болит, а тот сияет. Успокоил, что еще даже сыпь может показаться по телу и головокружение быть. Теперь сбавил дозу лекарств до minimum'а: 5 зернышек[ii] в 4 недели и прийти к нему в мае. Сказал: «если будете у д-ра v. Cappellen, то изложите ему все, что я Вам объяснил». Ну, посмотрим. У меня определенно явились некоторые признаки улучшения общего

---

[i] В оригинале фраза взята в квадратные скобки.
[ii] В письме рисунок О. А. Бредиус-Субботиной.

10 — 11249

состояния, как например, сон и многое другое. Он очень доволен.

А хирург мой отличился... после нескольких раз напоминания Арнольда прислать счет за операцию, он разразился... ну сколько бы ты думал? У нас считают за среднюю операцию 300—400 гульденов, некоторые предполагали, что моя стоила бы 700—750, м. б. до 1000. А он... 125 гульденов. Это дико! Мы тотчас же хотели спросить его, не описка ли это; — потому что, подумай, 2 раза операционный зал по 30 [гульденов], пробная операция с ассистентом, гистологический срезок у известного профессора патологии (в его же счет!) и операция с ассистентом и еще специально для наркоза приглашенным врачом, плюс сам наркоз. Этих 125 не хватило, конечно, на покрытие его «себестоимости». Собрались писать ему, а вечером того же дня письмо от него, в котором он объявляет, что, собственно, он вообще не хотел никакого счета посылать за мою операцию, ввиду тех дружественных отношений, которые создались потом и благодаря которым он кое-что летом имеет для своей кухни. Ерунда и пустяки! Глупости ему посылали, зелень и фрукты с огорода, больше даже тихонько от него, прямо его экономке. Да, и послал этот счет в 125 только потому, что Арнольд ему сообщил, что мы в частном страховании состоим, причем добавил: «Если это общество Вам не выплатит всей суммы, то очень прошу выслать мне только то, что Вы сами получите». Я написала ему на это то, что я думаю и сказала, что этим он лишает меня возможности лечиться у хорошего хирурга. Послала ему перед его отъездом на Рождество цветок. И вот за 20 мин. до своего отъезда он еще позвонил... «Mevronw, как мне благодарить Вас?» А я ему сказала... «Вы письмо мое получите Doctor... Вы уничтожили меня своим письмом». «Ах, ах... это Вы преувеличиваете, это Ваша русская душа скромничает, наши бы тут были очень довольны...» И еще не все! «Я могу заехать к Вам на минуту после каникул? Я привезу тогда и книгу». — «Какую книгу?» — «Ах, я и забыл сказать, я достал, смог еще достать одну книгу о русской живописи и хотел ее подарить Вам. Это интересовало бы Вас?» Ну, это же прямо ужас! Закрывает мне двери для консультаций. Арнольд ему писал, что он не согласен так это оставить и постарается иначе доказать свою признательность. Но я чувствую, что будет очень трудно: за каждый пустяк он вымышляет тоже что-нибудь. Не похож на тутошних!

11.I.44 Ванечка, в субботу вечером не успела отнести на почту, а тут разразилась простуда — не могу из нее выйти, — сегодня чуточку легче. Целую, дружок. Оля

73

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

11.I.44

Дорогая моя Ольгуночка, чудесно твое письмо рождественское (и ты чудесно дала 8-летку Олю у окошка — «за звездочкой»). Этот твой рассказик о Сочельнике и «грехе» (новом для меня, после твоего «соблазна единого от малых сих»[348] в «Говеньи») — прекрасен. И подробности очень хороши: и «сугроб» у глаз, и о ресницах, и о — звездной игре, и — «кисель»... (тут — в с е!) Я почувствовал мороз, рождественскую ночь... — значит — д а л а искусно! Спасибо за этот подарок. Дай, поцелую твои глаза, такие з о р к и е, твое сердце — такое чуткое. Еще раз: п и — ш и!!! Это — завет мой.

Мне не по себе. Все эти «святки». Но «святки» тут ни при чем. У меня как бы и не было Рождества. О, разве сравнить, ч т о было на душе в прошлое Рождество! Твоя елка, — ты, явившаяся мне в ней. Тогда я, полубольной, ж и л. Теперь — вот, сведу: «жить — тошно, а умирать — страшно». Словом — все в окраске, в про-траве эсхатологическим, пусть и не вовсе логическим. Теперь гибнут повсюду, мириадами. Это — д о х о д и т и томит. Но валятся, как сухостой в бурю, — рядом, кого знал, и так скоропостижно, и, порой, так — жутко. А впереди... — если порой заглянешь предположительно, — жуткая темень, и, порой, очень ощутимая «внутренним провидением» каким-то. Все это — и фон, и ткань жизни моей изо дня в день. И уже не дает бодрости — ничто. На Рождество я напечатал здесь свой последний (по работе, дай Боже) рассказ — «Рождество в Москве». Меня благодарят, радуются... — но мне — в с е равно. Я не живу. Я — отмираю, от-жи-ва-ю...

6-го я, наконец, снял одну из тягот своих, мучивших меня: написал-таки, — и окончательно — завещание. Это стало необходимостью. Я не могу бросить в неопределенность труды всей жизни. И я дал и м — назначение. Зная, что ты не откажешь мне в своем содействии — друга, дружки, души, [которая] лучше всех чувствует д у ш у моих работ, (нет, не «мелькнувший силуэт»... это так, к слову пришлось, и надо это понять так и не вменять мне) я

позволил себе привлечь тебя к заботе о судьбе моего литературного наследства, — как и раньше, предполагая, писал тебе: я позволил себе назначить тебя «распорядителем», в сотрудничестве с другим лицом, с тем, чтобы твой голос имел решающее значение в издании (во всех смыслах) и в устроении. На это дело — труд не малый — я определил 20% с валового дохода от использования (в том числе и фильмового, и театрального, и «приложениями»). Я не могу допустить, чтобы — хотя бы и ты даже! — помимо душевного-нервного труда, еще была в затруднениях материальных — в заботах о моем литературном наследстве. Я и сердцем, и умом обязан был озаботиться о самом дорогом у меня. Иначе судьба моих книг была бы непростительно-преступно беспризорна. Иначе — я предал бы все самое совестливое, и самое чистое, что было во мне. Не кори, не сетуй, а — похвали за это. Скажи: «да, так надо, и хорошо».

Моей руке немного легче, но ночью ее жгло, у кисти.

Я опять теряю вес, нет никакой охоты есть. Заставляю себя. И жить — нет охоты. У меня сдали нервы. И все — черно.

Я приветствовал тебя с наступлением Нового года. Я — старовер, Новый год — мой у меня, старинный. Тяжелый год. В 20-м (високосном) мы потеряли Сережечку. В 36 (високосном) я потерял Олю. В этом — остается — все потерять, что еще остается, — жизнь... Нет, я не напишу конец «Путей Небесных». Некогда... Я не могу написать «Похороны — поминки» для II ч. «Лета Господня» и кончаю главой, — «Кончина». Мне тяжело. Написал бы, — м. б. и успею — ? — один рассказ — на тему: «воспоминание безмолвно предо мной свой длинный развивает свиток...» (Пушкин, «Воспоминание»)[349]. Хочу исчерпать все, кратко, в беседе-сне-кошмаре г-на N. N. (русского интеллигента) — беседе как бы с чертом[350]. (Помнишь, в «Карамазовых», «Кошмар Ивана»?[351]) Не устрашусь параллели: у меня — другой подход: пересмотр всего. И суд — всему. Форма: злой диалог, верней — монолог. Трудно, но — захватно, и мне, мне — нужно...

Прости мне это — такое не — «приветственное» письмо. Жить мне — тошно. Влачусь...

Господь с тобой, ты молода, ты — обязана жить. Я ни разу не был в церкви. И бронхит, и — безразличие. Твой Ваня

74

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

2/15.I.44

Дорогой ты мой Ванюша!

Горькое твое письмо застало меня тоже в тягостном состоянии: — после нашей поездки к С. мы с мамой дико простудились, — я — неизвестно где, а мама, кажется, в нахолодавшей постели. Она и слегла с страшными болями в спине, руке, плече, ногах, с насморком, хрипотой и температурой; это было во вторник. Я перемогалась без t°, крутилась, но в среду в урине показались сгусточки крови. Я не могла лечь, — не стану все тебе перечислять, но ты поверь, что, если бы я легла, то полуживая мама выкарабкалась бы из последних сил на все дела, ибо Tilly не могла бы одна. Принимать стала капли, которые от крови, и береглась, не наклонялась, не ходила, только, так сказать, порядок глазом и словом вести старалась. Вечером в среду сделала чай и иду к маме попить уютно и собиралась для горла сбить гоголь-моголь, думаю: «вот вытянусь удобно в кресле, отдохну». А мама: «Оля, у меня в груди опухоль». Не хотелось верить. Но это так. При этой простуде нельзя ехать к хирургу, позвонила ему тотчас. Обещал быть у нас или сегодня, или завтра, а коли не сможет, позвонит и тогда мы должны к нему в понедельник. Ну вот и ждем приговора. Понимаешь состояньице!.. Я крепилась все дни, приучая Tilly к самостоятельности в нашем многосуетном хозяйстве. И хорошо делала, т.к. сегодня крови показалось больше, и я должна была к ужасу моему открыться маме и лечь. Лежу. Пока не сильно. Были сегодня сильные боли, м. б. после них хуже будет? Результат еще не известен этих болей. Но мне на себя наплевать! Я извелась за маму. И, подумай, она часто после моего казуса себя «щупала». Ей кажется, что это образование за самые последние дни, но кто это знает? Ждем doctor'а. Не думала, что т а к о е его у нас будет «гощенье». И развалилась еще я! А на той неделе молотьба... Tilly разрывается на хозяйстве и у больных. Я перешла лежать в столовую, чтобы быть в поле деятельности и не утруждать еще ходьбой к себе. Да и тепло. Сегодня день преп. Серафима, — верю в Его милость! Что мы за горемычные, — все-то на нас валится! Ванечка, до того мне горько — эти «завещания»: твое и... мама вроде этого говорит... Душа болит. Пишу тебе дружок немного, чтобы только ты не оставался долго без весточки и привета ласкового. Не могу длиннее, очень уж «на угольях», так

тревожно на сердце. Но как только поотляжет (Господи, дай же!), — напишу, родной, подробней. Не унывай! Молись, Ваня, молись и молись; — за больше, чем 2 года получила от И. А. письмо на эту тему. Перепишу тебе — оно очень четко и верно. Пришло в горькую минуту, когда опухоль оказалась очевидностью (у мамы). Что-то еще нам предстоит?! Помолись за нас, Ванечка! Благословляю тебя и обнимаю душевно и хочу успокоить и согреть. И сама вся застыла в горе и тревоге. Господи, помоги всем нам! Твоя Оля

[На полях:] 17.I.44 Ванюша, доктор ни вчера, ни в субботу не был — сломался его автомобиль. Опять томиться — ждать до среды—четверга. Пойми страхи мои... Умоляю тебя: помолись горячо со мной вместе за маму, т.к. «если двое или трое попросят во Имя Его.., то дает им Отец Его на небеси»[352]. Помолись за мамочку, чтобы выздоровела. Твоя Оля

Если у мамы что-нибудь злокачественное, то и для меня скверные виды. Доктор так и говорил: «иное дело, если бы у Вас была т а к а я наследственность». Но на меня — плевать! Господи, помоги!

75

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

21.I.44[i]

Миленький Ванюша, наконец-то был у нас доктор и кончил мучительное неведение и это трепыханье между надеждой и отчаянием. У мамы пока что он ничего страшного не нашел и хочет выждать еще недели 3, — тогда окончательно скажет. Это очень поверхностная, подкожная опухоль, будто бы не похожая на мою. Я его при случае спросила, давно ли моя у меня образовалась по его мнению, на что он высказал предположение, что она сидела г о д ы, — м. б. 2 или 3. Тогда м. б. и Wickenbourgh'ское падение имело значение. Ну, это все равно теперь. Ну, Ванюша, а ты-то как? Все это время я думала о тебе... Ты не тоскуй! Посмотри, как хорошо уже становится теперь небо — предвесеннее оно. Голубое... и в нем уже не сухими тычками-палками сучья дерев, а сочными, гибкими, хлесткими плавно ходят. И гуси наши как кричат... задирают головы в лазурь и машутся крыльями. Радуются солнцу, купаются, брызжутся.

---

[i] На конверте помета И. С. Шмелева: очень насыщенное письмо!

Но только я их сейчас пока не вижу... слышу только издали. Я лежу, Ванечка. Опять кровь... Не пугайся, не сильно, но все повторяется, каждый день, хотя и лежу.

Я исстрадалась за маму, м. б. и нервы причинили свое.

А доктор не мог быть раньше — его ассистент заболел в свадебном путешествии и теперь лежит, а хирург один разрывается. Был мне вчера. Привез мне подарок — книгу о русской иконописи и гордился, что смог хоть что-то такое достать. Ничего теперь не найти. Часок посидел и улетел. Сегодня трудная операция — вынет легкое у девочки. Рассказывал мне и сознавался, что волнуется, как перед первой. Но он любит трудности преодолевать и массу работает. Такой живой человек. И не похож на европейца. Мной был недоволен — давно не видел и нашел, что я очень похудела и бледна. Ну понятно — и «эмоции», и столько дней кровь теряю... Читаю в постели и очень хочу, как только смогу сидеть, писать... одно, самое заветное. Помолись, чтобы Господь дал мне помощь. Ибо это д о л ж н о. Если и ничего другого не будет, то э т о должно быть! —

Какие дикие иногда бывают сны! При таком моем состоянии тоски... снится маскарад и такие все безвкусные костюмы. А я говорю: «Я в один день устрою себе из имеющегося у меня старья, костюм... чего бы ты думал? — бутылки шампанского»! И вижу себя: в темно-зеленом платье (есть такое, очень удачное, длинное) и в золото-брокатовом тюрбане — в виде пробки! Башка моя — пробка! Забавно? Оля — бутылка! Все чушь! Давно хочу тебя спросить — знаешь ты писания Никифорова-Волгина?[353] Не знаю почему, но он мне прямо все нервы вытягивает, м о т о р И т (от мОторно, как у нас няньки говорили вместо тОшно, тошнит). В календаре его отрывки помещают около тебя (например, Пасха) и как же это его убивает! По-моему он тужится быть на тебя похожим, а выходит до того грубо. Как он пасхальный звон изображает... не река звуков чудится, а учебник арифметики Малинина-Буренина с задачей: сколько человек требуется раскачать колокол, если он весит столько и столько-то...

И все в этом духе. Все равно, как и о постном рынке, будто он говорит: «Я вот расскажу вам, как грибами на рынке пахнет и, что вот то-то и то-то стоит там...», — а ты и не чувствуешь ничего, т.к. этими словами <u>все</u> исчерпано. Как анекдотчики неумелые, начинают анекдот с раскрывания его тонкой пикантности и еще сами первые начнут хохотать... «не правда ли, смешно?» А тебе и не смешно и нудно. Слышала я много восторгов от Никифорова-Волги-

на, особенно в Берлине у русских, но не могу понять их. А ты что скажешь. Меня рвет с него, хуже еще чем с Гиппиус и Мережковского... И еще считаю святотатством тебя имитировать, да так грубо. Болван!! «...Березы — белые виденья... спят в них галки...»[354] Какая прелесть... Именно спят в них галки... А м. б. и замерзли?.. И чувствуешь нашу чарующую зиму... Как я люблю все твое!.. И как чудно у тебя «...вспыхнуло крестом...» на куполе, в Пасху[355]. Не «вспыхнул», а «-ло». Как много в этом. Там было бы — просто, физически — электричество ли, масло ли?.. Что-то из физики... а тут... из... сказки, из тайны — «вспыхнуло», что-то. То, что поразило и удивило чудом малыша Ваню. Разве это не откровение в темном небе? Я все, все это чувствую и так же (думаю, как ты) переживаю.

Недавно, делая мысленные наброски, поймала себя на том же, что именно так надо было записать... «...неестественно тонко и отрывисто у него это сказалось». А не... «неестественно тонко и отрывисто он это сказал». И многое. По Никифорову-Волгину надо учиться как не надо писать. По-моему. Скажи твое суждение. Мне не достает образования. Я это чувствую. Хотелось бы прочитать всех философов мира. Читаю сейчас книгу о нас, на философской подкладке. Я — неуч, но... О, если бы знания! Я часто оппонирую автору, в общем восторгаясь им. Как надо много читать! Как мало я знаю. Если бы нам вместе работать с тобой! Только, Ванюша, не унывай! Все хорошо будет! Ходи в церковь. Меня огорчает, что ты не ходишь! — Сержусь на минор твой! И это «завещание». Ванёк, больно! Ты знаешь, что я все для твоих работ сделаю. Твои книги... ты же знаешь их для меня цену, значение! И к чему эти рассуждения дельца? Ты — делец? Мне больше хочется узнать, кто это «другое лицо», с кем ты связал меня твоей волей? Скажешь? Оно, конечно, первое, а Оля... «пришей к козе хвост»., чтобы не обиделась... Да? Как когда-то с предложением перевода? Но я не обижаюсь. Мне только горько, что ты опять за эту песню... Береги здоровье — ибо в нем все благополучие. От бывших друзей, почти от всех грустное слышим, то, что и об отце Иоанне[356]. Вероятно, тоже самое было бы и с моими. Но кто поручится хоть за один день?

Какая странная наша жизнь. Вы — старшие, хоть начало-то ее видели радостным, лучшую половину прожили хорошо. А вот я? С 10 лет ничего не вижу. И еще останемся ли живы? Сегодня письмо от И. А. для мамы — ему лучше стало жить, «ноги окрепли», пишет. Читает лекции и изда-

ет книги (4-ую собирается), имеет чудную квартиру уже, по вкусу. Слава Богу. От тебя давно ничего не имеет, пишет... Ванёчек, улыбнись и не тоскуй! Хорошо? Ох, как надоело и больно все лежать. А сегодня от окна дует, где я лежу, на притыке.

[На полях:] Извини каракули — трудно лежа.

22.I У меня опять горло начинает болеть. Дует в окна шторм.

Но все не беда. До свиданья, Ванёк! Будь здоров и Богом храним, целую тебя. Оля

76

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

24.I.44

Дорогая Ольгуночка, очень удручен твоей болезнью и тревогой за маму. Рок какой-то... одно за одним! Передай Александре Александровне, как я горячо хочу, чтобы все мучительно-тревожное разрешилось благодатно, и верится мне, что — м. б. — будет так. А[лександра] А[лександровна] и верующая, и сильна волей и упованием, — это очень поможет благому исходу. Твоя болезнь... — опять итог «напряжений», ты не хочешь хранить себя, ты скачешь, будто совсем здоровая, да еще в такие времена, когда и здоровым людям поездки вот-как обходятся! Или ты не можешь молиться душой, непременно нужна «праздничная» обстановка? Ты и туда, и сюда мечешься, и это при работе по сложному хозяйству! Нет, мои слова втуне, и всегда были втуне для тебя. Доктор сказал тебе — нарушена работа «секретивных» элементов... Возможно, что, именно, в этом все. Подобное и я тебе высказывал, по «выводам», правда, для невежды в том, очень смутно. Но эти «скачки», в теперешних условиях, такое усилие, которое только способствует болезни: и простуды, и «нервы»... — все. Поверь, не мой эгоизм говорит тут... но верно, что эти страдания твои — и за маму! — лишь увеличивают тягостное во мне. Мое состояние «тревоги», подавленности, думы о конце... — конечно, следствие пережитого, 3-го сентября, вот когда отозвалось! Кто сам не испытал такого, посвистывает. Разве я не вижу это на наших «парижанах»! Жители нашего испытавшего столько округа, когда каждый день на глазах — разбитость, — «помпеи» — совсем особливо живут и несут, чем сторонние. А у меня перед глазами каждый миг — вот, за окнами, — ка-кие следы! И это зажигает

вновь и вновь во мне «утро 3-го сент.» И вот, все же, стараясь, что ль, подавить это, я писал... и, на час-другой, забывал... 16-го, в воскресенье я начал новую работу, представшую передо мной еще в декабре прошлого года, во время болей и рвот, ночью... Я писал, кажется, тебе... разговор с «чертом»! Рискованная работа, тем более, что «ситуация»-то такая у Достоевского в «Карамазовых» — Кошмар Ивана Карамазова, черт. Это меня не остановило. И я преодолел сомнения. Я написал большой рассказ, в 13 моих страниц. — «Почему так случилось». Юля была ошеломлена, знаю. Я работал 2 дня, и правил, пройдя — три! — редакции, вновь переписывая, еще 5 дней. Закончено. Столько затронуто... такой «склад всего»... — на полсотню бы рассказов кому хватило... и — каких! Думаю, тебя бы захватило... — все острое, самое страшное... тронуто... — «чертом». Это не галлюцинации, как у Достоевского, а сон. И надо было все обосновать. Мой вышел ку-да злей-ехидней, чем у Достоевского... О, ско-лько грязи! сколько правды в неправде! Эта работа меня хлестнула и... повергла. Я ее не напечатаю... теперь: половина читателей не совладает, в другой... — отведут «воду» на свои «мельницы»... — и только смутишь... а та масса, оттуда, — а ее здесь есть, много, — просто, или не поймет — сколь же все другое и непонятное... — надо быть в курсе русской «общественности» и даже истории русской литературы, знать хоть немного музыку... — у меня и «симфонии»! — или злорадно станет потирать руки, — а, что? у нас-то не то, мы-то... и проч. Я не хочу — для глупцов — «добивать» уже поверженное. Мой собеседник — профессор, старик... ни дурной, ни чистый, а... «замешан на водичке». Между прочим, у Трубецкого Евгения[357], в его работе, очень интересной об «иконе»[358] — упоминается о Страшном Суде, где иконописец привязал кого-то к дереву[359], посередине, — ни туда, ни сюда... Так «черт» издевается над этим — «похожим-вы-литым»... — «привязал, как вот кобелька мужик, ве-ревкой, драть способней». — Похихикают дурачки, а всей «сути» не поймут. Нет, не напечатаю, не таков час теперь... До чего несчастны, все, все люди, до аннамитов и китайцев! Все в «петле». И эту петлю сплел «черт», это итог всей человеческой «чертовщины». Найди-ка правых и виноватых! Шли по такой дорожке... и до-шли, дошлые! — И так дошли, что выбраться нельзя. Как ни суди, отчего, почему, все это «частное» будет... временное-условно-историческое. Тут — неизмеримо глубоко, в этом — все! Тут не Иовово «испытание», тут — уже

подлинный Суд за — все. И русская литература... — ждала и предупреждала: Достоевский! И Толстой, пу-таясь. И... — святые наши. Близорукие и ныне будут повторять зады: в итоге вот таких вот «политических-эгоистических и прочих фактов» — вот это случилось. Пусть их... — мы-то знаем, как и отчего мир сошел с ума. Маленькие глаза видят маленькое... что поделать! И этим маленьким дано было затянуть петлю. И не кончится это «удавление», пока не будут глаза — и ум, и душа! — большими! Все было дано... — и это все — легкомысленно кинуто на ветер. Ну, будя. Можешь — пришли, что пишет — и между прочим о молитве, — И. А.[i] А я, если найду силы, — может быть... перепишу для тебя, — и только для тебя! — «Почему так случилось». Я так устал. — Твой хирург — белая голландская ворона, и не только — голландская. Скажи ему, я, с твоих слов, любуюсь им. Такими стоит жизнь. Не потому так пишу, что он «задаром» работал... нет, вовсе нет. Тут он был даже и неправ: за счет состоятельных он может делать добро для неимущих... Нет, он «доброго теста». Какая радость... ныне-то! И не от рассудка — так. Помилуй его, Господь. — Александра Александровна — года два тому — ? — упала с лестницы... — вот — и-тог! Это не наследственное... чего ты мнишь?! И ты... «остро ушибла грудь». Это я помню, но не могу установить времени, трудно искать в пачках писем, да и упакована часть. Хотел бы уехать из Парижа, но — куда?! Так это сложно с моим режимом... с моей работой... а для «Путей» — сколько спра-вок надо, столько тащить... и — на что поедешь! Не в смысле денег, это — второстепенное, и у меня нашлось бы... а — на какое неизвестное?! Когда изо всего условного покоя-тиши, теперь, кажется, лишь одно Монте-Карло еще — по чертовой думке — ?! — крутит шарик... вот где бесы-то крутятся! Я бы хоть на денек желал очутиться там, чтобы... поглядеть... «пир чумный». Ах, какие были дни в Ментоне, когда мы с доктором... — я почти больной, в 38 г. полеживали под эвкалиптами на солнечной поляне в парке герцогского имения — живала сама Виктория![360] и наша императрица М[ария] Ф[едоровна][361] — а под моими окнами тёмно зеленели купы мандариновых деревьев... с дождем [бутонов], ярких... И было... скучновато! Ослы!! И как ели мороженое на набережной... перед уже осенней голубизной средиземной! Мало было в кармане, — хоть я и угощал компа-

[i] В оригинале описка: А. А.

нию, — в пути на автокаре завтраками... и меня выдавали за американского «короля». По каким стремнинам мчались, по Эстерелю... над Каннами и проч. ... дух занимало, и было — мне-то! — все равно: уйти бы от пустоты... Я был опустошен. И где-то уже томилась — снова и снова, после мытарств! — ты, моя [светлая]. И я... не знал. Но... все так, как предуказано... Отвратительная лента, крутится!.. Другой день топят скверно, радиаторы холодные, не ладится у истопника с угольной пылью... а то было 20—21. Зябнут ноги и пальцы, руке легче, почти прошло. И не знаю, что буду есть... никуда не хочу идти добывать, а А[нна] В[асильевна] лишь завтра. Так, яичко сварю... молоко. Принес Меркулов, милый. Не было у меня радости Рождества, из-за бронхита и темноты не был в храме, и елочки не было... Юяя привезла цветочков, конфет... еще... От одной читательницы, обрадованной «Рождеством в Москве», получил ли-мон!! — и банку американского какао, ее мужу[362] — чужеподданному, Красный Крест дает, она ездит проведывать. Он интернирован: ду-рак! когда-то стал подданным какой-то микроскопической респу-бли-ки! — втюрившейся в... войну против — !!! — Германии. Ну, и сиди у моря, и жди... че-го?! Русский дурак, м. б. и не русский даже. Одним словом, — от синема предприниматель. И русская... дура... — о, у-мная! — старообрядка... имела неосторожность — в безумные дни 17-го, связать с ним судьбу! Масло и вода. Теперь, из-за своей «святости» — несет некий подвиг... ездит навещать с посылочками. И каждое воскресенье причащается. Лет 45. А знаешь, наши «демокрытики» убили бы меня одной ненавистью за мой — «Почему так случилось»! Да ведь мой «человек из ресторана» ко-гда еще их высек! но там было смягчающее... некий запашок. А теперь... Между прочим, «черт» так говорит по поводу пушкинского «Демона». «Х-ха... ох, жале-тели эти... "...и дар невольный умиленья..."»![363] Ну, что я могу к... пятнадцатилетней невинности, с душком просвирки!.. Нет, я люблю с горчи-чкой...» Рассказ идет в мажор... и разряжается... ударом. Откуда я нашел в душе столько «чертова яда»?! Мне мерзко стало... Ну, выплюнул... все. Холодею, думая, как ты теперь... Боже, вся израненная! и на-до крутиться... надрываться. Бедная... Олюнка горевая моя... чем тебя утешу, чем обогрею, приголублю?! Вот этим, сердцем, которое бьется так далеко от тебя... — бессилен. Унестись бы на ковре-самолете... но эти «сказочные экипажи» заняты иным. Все в голове смешалось... о чем бы приятном написать?.. И не поворачивается язык сказать —

работай! Ты — в с я — на каторге. Поцелуй бедную маму, и благослови... — вся — вера! Целую тебя, голубка, Господь с тобой. Твой Иван-Ваня

77

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

4.II.44

Милая Олюночка, я очень тревожусь, — нет известий. Не могу писать... — жду от тебя. Что у вас? и твое состояние, и что с А[лександрой] А[лександровной] — ? Сегодня 14 дней, как получил твое тревожное... — от 15.I (получено 21.I).

За эти дни я еще раз — в 4-й — ! — переработал рассказ, который ты получила, думаю[364]. Стало полней и глубже, (вместо 12 стр. — 17—18!) Но этого мало: я переборол свое чувство «отмахиванья» от последней главы «Лета Господня» и — написал — «Похороны». И таким образом з а в е р ш и л «Лето Господне» — вполне. Удалось! Кончил я т а к, как — единственно — только и могла завершиться эта большая — р о д н а я — работа, — на особенной — и единственной! — н о т е! Этого-то я страшился, что не удастся. И вышло как-то н е з а в и с и м о от меня... с а м о — и — неожиданно. Последние слова... — и представить не можешь... — как это подходит ко в с е м у в кни-ге...— «Святый... Бессмертный... Помилуй... н а - а - а с!..» Это надо читать самой или слышать в моем чтении. Заключительный аккорд! Я написал этот (10 стр.) очерк — в два дня. И проработал.

Теперь — в с е. В книге будет около 25 (!!) глав.

Теперь я с в о б о д е н... — Душой... (а то — в и с е л о тяжестью и я не мог отдаться другому) — и сегодня, благословясь, начну вплотную, без отрыва, — уже начатые «Пути Небесные» — ч. II. Оглядываюсь... — ско-лько же я всего д а - а л! Серов — почти единственный слушатель, — вскричал-было... — о «Почему так случилось»... — «это... это... ... ..!» Очевидно — я понял — он хотел выпустить словечко, начинающееся с буквы — «г»... Ну, я знаю, что кррепко дано. Бог помог! Да! — Ну, сомневаться можно, но что с помощью Божией, только! — я мог дать последнюю главу «Лета Господня» — для меня это несомненно. Только т а к м. б. написать, в д р у г вышла у меня такая «п о з и ц и я» — все облегчившая, все разрешившая, осветившая и — ...завершившая... — знаю: будешь плакать.

Целую. Твой Ваня. Господи, пошли им (вам!) — покой и облегчение скорбей. Ваня

[На полях:] Да... вчера муж Елизаветы Семеновны передал мне деньги — получено за 30 твоих гульденов за вычетом «ёлки» — 250 фр. у меня на руках твоих 530 [фр.]. Что я с ними буду делать?!! ... За-да-ча!!

Ольгунка, твоя бегония — на именины к 42 году, что-ли... вдруг ожила!!! А то погибала, хотел бросить. И, кажется, мой лимончик, пораженный антоновым огнем — вдруг дает глазки!!

78

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

5.II.44 2 ч. дня

Дорогая Олюша, вчера, только что понесла А[нна] В[асильевна] письмо тебе, принесли твои два, от 22.I[365]. Отвечаю на твои вопросы. Никифоров-Волгин... — ты его так разделала, что ничего мне не оставила. Конечно, — «влияние», доходит до прямого подражания. Но что ты хочешь?! И мне отвратно читать, будто меня корежат, пародируют. Думаю — без умысла. Ах, милая... есть Лувр — и есть «панель», парижская, есть стены около Одеона, и бедняги «рембрандты» и «рафаэли» выставляют... — порой не сплошь бездарные, как и Никифоров. Незнанием «моего» прикрыться он не может, он даже — вижу, вот, — еще в 37 году прислал мне свою книжку с надписанием — «Любимому русскому писателю» и проч., — «Земля-Именинница»... (это мое — из «Троицына дня») ну, я поглядел, — оглавление! — прочел на-выдержку два-три места и поставил в отделение — «ненужного». Настолько, значит, «любимый», что — «не могу не...» списывать, марая! Довольно с сим. — От Ивана Александровича — есть почтовое сообщение? Напиши, у меня к тебе просьба — в следующем письме. У нас нет, жаль. Пришли же его — о молитве. Думаю, что он и тут — «фи-ло-со-фи-чески»! Для молитвы не может быть правил, определений — так-то и так-то... «мозговых». И все, что даже отцы говорили, если не лишне, то — из-лишне! Единый наставник и водитель — сердце. И. А. чрез меру — во многом — правило-установщик. В нем есть порядком — склонность «учительствовать» и «ре-гла-мен-тировать» — теоретик! Даже и в «молитвенном» — дидактик и методик. О молитве... — он может хорошо сказать, но не для молитвы*. Впрочем, иногда даже

* У него и лампадка-то на электричестве: трык... — возжег! Чисто, удобно — и легко! но удручает [спускотня] французская! Легкомыслие.

у «безразличных», но даровитых, и о сем выскочит недурно. У Герцена, к примеру, хорошо об «Иверской», почему она стала «чудотворной». Сила напряжения прибегающих — сотворило чудо сие! Немножко от... фи-зики, правда... как бы нагружение аккумулятора или лейденской банки. Но — любопытно... Кстати, достань-ка Евгения Трубецкого, две статьи, писанные в 916 г., «Два мира в русской иконе» и... — заглавия не помню — «Смысл русской иконописи»[366]. Основное положение: в эпохи «страшного» — повышенное чувствование «миров иных», — не ново, правда, но у него это показано на примерах иконописцев русских, живших и в монгольском иге, и при Грозном... Затем... — «в покое» и в «довольстве» — упадок, власть — тела!

Ну, и мастерски же ты дала «сказочку о двух братьях!»[367] И о «мебели»!! Кошмарное. Ми-лая, про-шу... нежней-любовней относись к этим стульям из «дохлого дома»: они же... — му-че-ники..! ты вглядись в них!! Или вели гостям вальсировать с ними или — их время! — плясать польки. Мажь их кремами, гусиным жиром, поливай супом, плюхай на них паштетом, если есть, вином обливай и... пригласи «влюбленных» и... пусть посидят на них, пошепчутся. В заключение — когда будет мороз — пусти на топливо, — и им будет утешение — «мы пригодились, пригодились!» — и тебе теплей. А рассказ про ведьму с газовым счетом..! ... — да «Плюшкины», просто, простачки, и «сухарь» его — потрясающая любезность! доброта! — Передай маме мои — тревогу и надежду на благое. Томит меня твое нездоровье, бедненькая... да, тут причинны нервы, нарушенное равновесие, разнобой в управляющих в сем нервных центрах. Думаю, что надо следовать последнему лечению. Простуды, грипп — так влияют на «эквилибр»[i], знаю по себе. — Сегодня — дважды «вой». Первый перебыл у себя, продолжался 2 часа! Второй, через 40 мин. — не выдержал, прошел через 5—7 домов, и перебыл в подвале, с Меркуловыми. Там — почти комфорт. Но если ночью... вряд ли заставлю себя. Я писал тебе, что раздвинул рассказ «Почему так случилось»... он стал полней, сильней. Я должен был «выплюнуть» его из себя, мучил. Зародился в ноябре-декабре 43, когда тяжело болел... и это мешало мне уйти в тихое — в «Пути». Кстати, не прими «грехи» за мои! Меня, правда, тащили к церкви на корде, но — никогда не покупали «коврижками»! Я пре-

---

[i] «Равновесие» (*от фр. équilibre*).

ступлением считал бы т а к о е, тем более — матушка! Я «сеивал» по глупости «истину», я певал «Волгу»... да... но никогда не «татьянил» — поверь! ч т о-то — что?! — мера?! — претило. Я же эн-когда все это казнил — в «Человеке из ресторана». Да, мера, некая «здравость», что ли, — «пушкинская» — прости, Господи! и — благодарю, Господи! Но мне н а д о было — поздновато, да... — ожечь нашу — поганую и — во многом чудесную — «образованную часть» общества! Я не беру огульно в рассказе ты-то поймешь... недаром там — чертом даже! — выделены «Пушкины», «Менделеевы», «Чайковские», «Трубецкие», «Феты»... и — Ми-ки-ты... и даже «воробей», ушедший от «разрешенного вопроса»! Так у Достоевского... Смердяков вешается, а «умник»-то... — «по-середке» остался. Ах, как все это дико-сложно! Одно знаю: т е п е р ь получен з а к а л, надо только, чтобы для чудесного т е с т а будущего сохранились ж и в ы е дрожжи! Чтобы лучшее от лучшей части нашей преемственно было принято... — «дрожжи закала»! После в с е г о — и культурного расцвета и — нашего поганейшего и страшного погрома в большевизме, этого потопа нечистоты... верю: не может быть, что все — впустую. А... в с е — во-имя приведения к Цели, — т.е. в ы с ш е м у, на что может быть способна страна. Она должна пережечь всю «нечистоту», в тугах изжить... и — донести врученный ей Крест — хотя бы до земного н е б а! Согласна, детка? У, какая ты му-дрица! О, дорогая... руку, руку!.. Если бы с тобой суждено было что-то еще делать, немного, немножко... ж и з н и! О, не «для себя»!.. «для себя» — это — «в м е с т е»... только. Ну, ты понимаешь, ты со взгляда одного понимаешь — в с е. Мой «рассказ» поймут, п о ч т и, лишь — 5 на сто. Потому и не хочу печатать. Да еще в газе-тке! да еще половинками! — велик! Жаль. Но мать станет ли показывать ребенка, если могут увидеть одну «пятку»?! — или — через кривое зеркало! Жаль, что нет у тебя окончательной, п о л н о й редакции. Я еще помучил себя и всякими «вводами» раздвинул на 35 процентов! «Дураки» будут только хихикать на «черта» и на раскромсанного «профессора». А «дураки» оттуда — будут тупо тупиться... — ни-чего не поймут. А теперь, хоть последнюю главку «Лета Господня» пошлю тебе. У меня нет времени — в с е переписать. Мне нужно уйти к «Путям Небесным», торопиться их одолеть. Тогда я успокоюсь. Да, *опять ты... ежишься и «сама себя обижаешь»*, по поводу моего распоряжения «правами литературными». Как раз наоборот. За тобой-то и признано «руководство», *ты* —

все решаешь. Но я, — и во избежание «кривотолков», и по другим соображениям, ввел еще лицо, связанное с Ивом и памятью покойной Оли: Юлю. Ты многого не ведаешь. За эти последние годы — войны! — я ей мно-гим обязан... — правда, Оля[i] слишком всю себя отдавала... — это ее душевное право. Но я и указал, что ты, как никто, знаешь «душу» моего творчества и я заповедую руководиться повелительно твоим суждением. Так сказала мне совесть, когда распоряжался. И мне грустно, что и в этом ты почувствовала какую-то мою недооценку, недоверие! Нет, как это неверно..! Ив не в силах тут, знаю... и Юля... — куда ей... но она, ради благоговения к светлой памяти «теть-Оли» — уделит от своего досуга. Она куда старше тебя, ей 51—2 г. Видишь, как я тебя знаю... как я тебе верю, как высоко чту тебя. И как дела у меня — тут-то хоть — не разойдутся со словами... Я просил тебя не раз — и ты хорошо отвечала мне. И потому, думаю, тут с моей стороны нет дерзкой нагрузки... на тебя. Да?

А теперь — вот, последняя глава «Лета Господня», на этой неделе — 2—3 дня — дал Бог — написанная, свежая... — Да-ааа, пояснение: тут ты встретишь новое лицо — Анну Ивановну. Она дана в предыдущих главах, начиная с главы «Горькие дни»: еще — «благословение», «Соборование», «Кончина»... Ее, лучшего и полнейшего, что в русской простой женщине есть, — и не хватало «Лету Господню». Она как-то сама вросла в него. Случайно, вспоминал я... *и вростил ее!* Она сама пришла и сказала: «хочу потрудиться... дозвольте, голубчик Вы наш, Сергей Иваныч, походить за Вами, больным...» Она влекла к себе... чем-то... своею всякою «Хорошестью». Такими держалась земля! Вот ее «пачпорт», как дан сжато в «Горьких днях», чтобы ты видела ее и «снаружи»[ii].

В следующем письме. Ваня

79

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

21.II.1944

Дорогая Олюша, я все еще у Юли. И здесь не слишком тепло, но все же терпимо. С едой — вполне сыт. Переписы-

---

[i] Вероятно описка И. С. Шмелева, имеется в виду Ю. А. Кутырина.

[ii] Далее в оригинале текст глав III части романа «Лето Господне»: «Горькие дни» и «Похороны».

ваю для копий — и прорабатываю 9 глав «Лета Господня» и посылаю тебе кусочками, — сохрани. Ответь мне, имеется ли у тебя «Крестный ход», или — подзаголовок — «Донская»? У тебя, знаю, есть из 2-й части «Лета Господня» — «Вербное воскресенье», «Михайлов день», «Именины» — в двух частях: 1 — «Преддверие» и — 2 — «Торжество». Что же еще должен тебе послать? — кроме оставшегося из 9 новых глав? Состав 2-ой части книги «Лето Господне» — определился так: 1 — «Ледоколье», — март, колка льда на реке. 2 — «Петровками», 3 — «Крестный ход», 4 — «Покров», 5—6 — «Именины», 7 — «Михайлов день», 8 — «Филиповки», 9 — «Рождество», 10 — «Ледяной дом», 11 — «Крестопоклонная», 12 — «Говенье», 13 — «Вербное воскресенье», 14 — «На Святой». 15 — «Егорьев день», 16 — «Радуница» (есть у тебя?), 17 — «Святая радость», 18 — «Живая вода», 19 — «Москва», 20 — «Серебряный сундучок», 21 — «Горькие дни», 22 — «Благословение детей», 23 — «Соборование», 24 — «Кончина», 25 — «Похороны».

Дивлюсь, сколько же преодолено! Сколько труда положено! Ответь, что из этого имеешь. В книгу должно войти в законченной редакции, именно в том виде, в каком посылал и посылаю тебе. Имей это в виду, на случай издания.

Как ты мне редко пишешь! Чем больше тебе шлю — реже отвечаешь. «Мышь сыта — так и мука горька»? Ты уже зарылась в *моем*, оскомину набьешь? И гложет мысль — да посылать ли? И не подходи к моим трудам только «сердцем». Я, кажется, *не* однотонен! мне, думается, и воображение доступно, и «перевоплощение». «Пушкин» — новая грань... — как и другое, немалое. Ну, ладно.

Я уже объяснял, что «детское словечко» — это — «жёлтики», первые — желтые цветочки, — одуванчики, куриная слепота, свербика? А вот, о «просьбе»... Это, м. б. шалая мысль и — пожалуй, безнадежная. Я чувствую, что не найду здесь достаточно сносных условий для работы над «Путями Небесными». И... — если бы, месяца на три — 4 — уехать хотя бы в Швейцарию?! Там у меня есть некоторые, конечно, очень небольшие, — средства, мой гонорар, за «Няню» на немецком языке, изданную во Фрауэнфельде[368]. С... 1938 года! Выписывать их сюда пар «Оффис де шанж»[i] мне не рука. Дело в визе и — разрешении французских и оккупационных властей. Но лишь получив визу, могу хлопотать о разрешении. У меня в Швейцарии доста-

---

[i] Через «меняльную контору» (*от фр. par «Office de change»*).

точно читателей. Как и в Германии — 10—11 книг переведено! В 38 году мне дали визу, не потребовав залога в 30 тыс. французских франков. Благодаря ходатайству мужа моей переводчицы г. Кандрейя. Это почтенный человек, швейцарец, судебный следователь. У него есть влияние в Берне. Если бы наш друг профессор снесся с ним — адрес ему известен — на предмет визы для меня? С Иваном Александровичем у меня сношений нет. Я из твоего письма понял, что он тебе пишет, как и ты ему. А м. б. я ошибся, и дело идет о другом? Вот в этом и моя просьба, — о визе мне. Иначе я не смогу уйти весь в работу над 2 частью романа «Пути Небесные». Можешь — посодействуй. Этим и кончу тебя тревожить, не заикнусь. Думаю, что Иван Александрович пальцем не шевельнет. Скрепя сердце пишу тебе. В Швейцарии я бременем не был бы никому. Но сложность еще в другом: если бы и получилась виза и позволение выехать, то смогу ли повезти с собой черновики, собранный материал для романа? Очевидно, надо будет все представить в цензуру. Очень это громоздко. И, вообще, план мой кажется мне утопическим.

Еще раз скажу, что твои письма интересны, и твоя чуткость в понимании моего творчества — очень ярка.

Мне остается переписать для копий только две главы, работы на 3—4 дня. И тогда — как только удастся вернуться к себе — отопление и по сей день не починили, у меня в квартире почти на ноле, — хотел бы приняться за «Пути». Очень тревожит сохранность твоих писем... — куда мне их поместить? так все непрочно в наши стремительные дни! — Измучился жить без мытья, без частой смены белья... — на самочувствие действует давяще! А на-юру, в холоду... — какая ванна! А то, когда было тепло у меня, бронхит мешал мыться, докторша моя запрещала. Теперь, слава Богу — нет бронхита, — вымыться бы — и — чистым — пи-сать, пи-сать... А я вот 10 дней калош не снимаю, кутаюсь, как самоед... Здесь — температура — градусов 12—13, ну — у печурки греюсь, оторвавшись от работы... курю, думаю... Все невеселые мои думки... Да-а... что же мне делать с твоими 530 франками?! Изволь написать.

Передай маме мою радость и надежду, что все будет благополучно, что серьезного нет в ее недомоганиях. Ты так и не говоришь, что же ты-то? Опять лежала, и — опять скакала! Понимаю, — на-до, с мамой... — но, милая, может случиться наоборот — ты будешь — не дай Бог! — валяться, а маме скакать придется. Сегодня надеюсь отправить

тебе конец «Живой воды» и «Москву» с началом следующей главы — «Серебряный сундучок».

Твой Ваня[i]

Напиши, что я посылал тебе в окончательной редакции. Знаю — «Куликово поле», — еще?

Переписка этих 9 глав меня расстроила. Это — очень мучительно — уйти в тяжелое своей жизни. А мое воображение — пронзает. Не думай, что я «вспоминаю — вижу»: я многое и в о - о - бражаю. Разве можно все запомнить?! Я — как бы в н о в ь творю.

Храни тебя Господь! Ваня

80

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

10.III.44

Дорогая моя, Ольгушонок ты мой далекий! Сегодня от тебя письмо, от 29, что ли, февраля, без даты (?!) твоей. А еще 7-го получил датированное 2-м марта![369] Так что пока не знаю, получила ли все главы «Лета Господня». Последние две главы — «Соборование» и «Кончина» послал 1-го марта, вернувшись к себе. Но после двух неуютных ночей, [1 сл. нрзб.][ii], «в нервах», ночь на 2-ое, спускался в «абри»[iii], но на 3-ье, в сильную пальбу, не ушел, зато испытал сильный-таки «массаж», очень у нас палили по «убийцам» — детоубийцам! Снова уехал на Юлину квартиру, на 3 дня. Там уютней. 6-го опять вернулся, и опять — «массаж»! Приходится теперь с собой таскать [рукописи]-уники. А посему решил отдать в печать и «Почему так случилось», м. б. в субботу появится, в 2 приема, т.к. новая редакция этого рассказа аж в полтора раза расширена! Напечатаю, надеюсь, и все новые главы «Лета Господня» — таким образом вернее сбережется, что-нибудь да уцелеет от всех «возможностей». Представь: мы как сговорились! 3-го марта я запаковал все твои письма [1 сл. нрзб.] в 4 пачки, — 270 писем! На каждой надписал: «Может быть опубликовано т о л ь к о с разрешения автора писем и т о л ь к о в м е с т е с моими к О. А. Бредиус-Субботиной». И отвез к проф. Карташеву, в восточном квартале Парижа, 3, рю Манэн,

---

[i] Далее в оригинале текст главы III части романа «Лето Господне» «Живая вода».

[ii] Здесь и далее в письме текст поврежден.

[iii] «Убежище» (*от фр. abri*).

Manin, Пари, 19-е. Там надежней. Вынул лишь твои [пробы] обложек на «Куликово поле» и приложил их к этому рассказу. Туда же [1 сл. нрзб.] и материал для пяти неизданных книг! Но 8-го забрал у профессора — «Лето», II ч. — для печатания в газете. Вот теперь — как из дома — беру с собой, ну, нанесла курочка яичек и носится с ними...

Благодарю маму — пишу [1 сл. нрзб.] за очень ласковое ее письмо! Да, если бы..! Знаю, приехал бы к вам — как [1 сл. нрзб.], если бы не эта бойня! И наговорились бы, и напелись бы мы с тобой, и [упились] бы беседой и глазами! О, как хочу тебя видеть, детка моя, ласкунчик... Ми-лая... наша переписка — изумительное явление — общественно-литературно-психологическое! Позавидуешь — !! — будущему читателю... Как тебе не грех так говорить о своих письмах! — ничтожно. Ты или притворяешься, или... неужели не разумеешь, что это — твои письма! Ну, тогда ты... дурища, больше ничего не могу сказать. Бьюсь об заклад: твоими куда больше будут захлебываться, чем моими. И как бы хотел я, чтобы доход с издания переписки — а он был бы о-гром-ный! — пошел на сиротский приют! Хватило бы... — ведь не одну сотню тысяч золотых рублей даст эта «переписка»! Она — томиков на 15! [Плохонько] — по 10 тыс. с томика! Это — как «Робинзон Крузо», или почти, тираж был бы... И какое же всяческое «насыщение» для будущих читателей! И сколько там [1 сл. нрзб.] понимания «искусства»! и — души. И быта. И «дня сего». И — «занимательного чтения». Вот что мы с тобой сотворили. Народили кучу детей душевных. А все ты, ты... «цепкая», до жизни жадная... Кто ты? Давно знаю — самая-то русско-русская душа! самая-то родная сущность, а? И все это — как бы предуказано нам было, предопределено. Этот день... 9 июня — 27 мая 1939 г.! Когда ты писала, в день рождения твоего, обиженная жизнью. И — моя книга, тут, упала в твое сердце, и ты написала мне, одинокому, недавно взывавшему в тоске неизмеримой! И вот, мы начали любиться... за тысячу верст, не видя друг дружки. И — полюбили, крепко, не распаять. Для кого бы я стал переписывать свое я, ленивец?! кому бы так раскрылся?! А вот тебе — весь я, весь отдался, и как безоглядно, зная, кто ты. Родной стихии открыл душу... как открывал ее, творя свое. Как же ты смеешь говорить так небрежно о своих письмах ко мне!? Я успокоился, когда отвез их. Сердце свое укрыл. Надо хранить сокровища подлинные, а это, именно, сокровища!

«Марево»... будто и так себе рассказик, но я люблю его... он мне так легко и светло дался! Я его в два дня сотворил. Да, я был в Белозерске, в 12-м кажется, году, один. Ходил по навозным «пуховикам»... вдыхал запахи старины, со-льцы?.. — ух, какая там си-ла старины, в самом воздухе! в кулях, в щепных коробах, в церквах, в просоленой-просмоленой жарище! — жаркое было лето, начало августа. И я, вглядываясь в бель озерной воды, в валуны... увидал — Пашу Разгуляеву[370], сердцем увидал... — и как же преломилась она у меня... в интернациональное... всесветное... — нераскрывшаяся русская душа, так идиотски-глупо упущенная «бродягой»! Но не сгинувшая, а временно блуждающая в мире и — манящая своею нераскрытостью... Ты поняла рассказ... такой, на взгляд, пустяковый... но я-то чувствовал, что не пустяк тут... Так вот, милка моя... в тебе — от Паши. О, так много... только «бродяга»-то тут не ошибся, нашел-таки, хоть и — в далях! Ах, приехать бы нам с тобой на Белозеро!... — И... черт возьми! — хоть бы слушать... как кошек раздирает! Напиши мне все ли получила из «Лета»? Я беспокоюсь.

О плане моей поездки, «утопическом»... Сам не верю возможностям. Адрес моей переводчицы: Шлёсс Хальденштейн, Куар, или — Хур, Мосье-Мадам Кандрейя. M-me R. Candreia. Schlöss Haldenstein, Coire (Chür) M-r F. Candreia. Candreia — от (сокращенного) Casa Andreia (итал. — хижина Андрея). Оба отлично знают по-немецки, на нем и говорят. Она же меня на немецкий переводила. Кончила гимназию в Риге, училась в Германии, Швейцарии, она — доктор медицины и, кажется, философии еще. Ей — лет 56. По отчеству Бернгардовна, по имени... как жена одного из «праотцев»[371], — помнишь, насчет «чечевичной»-то похлебки?[372] Ну, ты умная, понимаешь, что хочу сказать. Она меня о-чень почитает, и очень проникновенные письма писала. В 38 году я прожил у них 3 месяца и много писал, там-то и «Вербное воскресенье» написал. Да, ты вняла: удачный, кажется, рассказ... — верба-то на луже, вешним утром! Жил, платя очень дешево. Но я не у них бы пристал... во всяком случае, не сел бы никому на шею: у меня там есть сколько-то. Кстати, чего, думаю, мне от 25—30 тыс. фр. отказываться, солить главы «Лета Господня»!? По крайней мере, лучше сбережется напечатанное. Напиши, ты — у-мница! М. б. с легкой твоей руки..? А на посажёного папашу не надеюсь, хоть и люблю его искренно и чту. Его слова, что теперь «больше верует» — потуги, фи-

лософия, не — вера! Потуги верить через мысль, через эстетическое восприятие... Ну, какая это «божья ткань»!!! Сила Божия — совсем не ткань. А где же... — все?! Христос-то?! Ведь так говорит — ну, чистый это «пантеизм», а не христианство! Сбивается на «монизм» Геккеля![373] И мне ничего не говорит. О, тут что-то... такое простое быть должно... как у... Микиты. Бога ни постичь, ни объяснить: Его надо найти в сердце, как самое любимое из любимого! У Карташева есть статья «Русское христианство»[374] — есть эллинское, римское, западное... есть и «русское». Я силюсь заставить его написать труд о русском христианстве...[375] Он сможет, он, кстати, из мужиков, вятский, что ли. И — несколько художник. Только ученый-художник может об этом. У И. А. все потонет в его «диалектике», в до-мысле, в анализе... — он не того теста, хоть и отлично разбирается в искусстве: «Основы искусства» — книжка его![376]

Ивик с Лучинкой растят дочку... Катюшу ли, Ольгу ли... — все равно. Я его не вижу, он где-то далеко. — Юля недавно устраивала свой «фольклорный» вечер, под гусли, распевала «Плач Ярославны»[377], я не был, болел бронхитом, слышал — очень успешно. Не в финансовом смысле, она не для сего и устраивала. Елизавета Семеновна в Фонтенбло, в тишине, будто, сын прибавил за 3 мес. — 13 кило! Никакого туберкулеза. Хорошо, что они выкатились — через 3 дня! — с Савойи, там гнездо убийц-либераторов[378], их выжигают, как клопов. Елизавета Семеновна пишет редко. Сейчас заболела гриппом, муж мечется из Парижа в Фонтенбло. У меня — нет-нет — боли, вчера была рвота, спазмы пилора, нервы... да и весна, а она плоха для моей язвы. Эта вечная осторожность! Надоело. Жду — вот-вот сяду за «Пути». Читаю, как оттяжка, Забелина — «Быт русских царей»[379]. Ищу кой-каких материалов для «Путей». Статья Карташева о русском христианстве — очень пригодилась. Такой-то и разумею Дари — у нас все — обмоленое. Достань в библиотеке «Путь», журнал под редакцией Бердяева[380], там статья эта. Но Бердяев печатал «скрепя сердце». Не терплю «бердяевщины». Чудесна твоя обложка Троицы!!! Целую ее — тебя, не вырвешься, дочего целую и пью. Вино ты мое хмельное... — пьяно-трезв с тебя, и... как женщину люблю, страстно, страстью... бабочка ты моя... ситцевенькая! — в мои-то годы! Всю — пью... вот как... без остатка! досуха!!! Прости, весь вошел в тебя, слился, влился... ... — о, Олюнка... безумствую... — сколько же еще огня! Ну, и насмешили меня твои

«гуси»! Нет не знали, что и без гусака несутся?! Правда, я тоже недавно — лет 15—20 тому — недавно!!! аЦ! — узнал, что без петуха курица может и даже о-чень! Только яйца-то без «изюминки»! Но петухи необходимы: это — толкает лучше нестись, охотней, будит материнский инстинкт. Правило: самцы, большей частью меньше и тоньше [самок]. И как же ты, любопытная ко всему, не разберешься?! ... Полюбопытствуй. С [1 сл. нрзб.] птичками это сложней. К весне самцы надевают всякие «украшения» [1 сл. нрзб.]. Ну, петуха возьми!.. — что за налив гребня! И в ногах — зуд... — и стать. Хороши особенно селезни! А глухари-то! Уж мы бы с тобой разобрали бы. Ах, тополя твои... помню, как писала о каплях с них в канал! Да [1 сл. нрзб.] тут тополя, когда..! Когда только конец сему безумию, в котором, одинолично, виновны, англичане-американцы... масонство... да, да! — и уж никак не немцы! Сколько раз немецкий фюрер предлагал, остерегал!.. Проклятье версальское — вот причина[381]. И... — не помогли русским добровольцам во-время поразить большевизм. Мы 20 лет, бились в эту европейскую дверь, все кулаки и сердца отбили... — все напрасно! Вы-кормили кобру, и она отравила и отравляет все. Мировое [еврейство] не могло упустить такого случая, — это не детский вывод! — и все [вылилось] в разрушении! Во-имя чего?! Из-за... «польского коридора»?[382] Как бы не так! Это лишь — предлог. Куда глубже. — Помнишь того адвоката...[383] что женщину сравнивал с... «котлетой»?! так голо-вещно! Он уличен в иудейском происхождении — а я считал, что это его далекие предки из сего племени. Его теперь нет в Париже...[384] — но он был искренно сторонник монархического направления. Не глуп — талантливый защитник когда-то. Но... избегал говорить об... еврейском «вопросе». [Они] крепко несут-хранят свою «идею». Вот, Алданов[385], писатель... кажись — ну, [чи-стый] европеец! хорошо-отлакированный «русский интеллигент»! А как тронуло... — сразу сказалось. Теперь он в Америке. И там, понятно, ведет свою линию... думаю так. Никогда мы не были с ним друзьями... он очень был предупредителен, как он восхищался «Богомольем» моим!..[386] — что это, [из] снобизма? Нет, он понимает искусство, но... все они — «от головы».

Написала мне иконописица «Троицу» — плохо. Это — неуловимо — дать Троицу. Сидят три девицы с крыльями, одна даже «подмигивает», и в прическах! Рублеву удалось... Но я как-то иначе представляю, и проще, и глубже... — неуловимо это. Я бы пейзаж дал...[387] необходим

дуб мамврийский... «Яблочки»... и Три Ипостаси — в ликах Ангелов... но как же это сделать?!! Чтобы и маститость, и вечная юность, и вечный Дух. И сила, и искупление... — нет, нельзя. А посему — лучше просто: три странника. Ну, как дать — «Т а й н у»?!

Очень хорошо, что решилась положить в [1 сл. нрзб.] сейф мои письма в тихом городке. Твои, как сказал, — у проф. Карташева. Одни без других — не могут получить жизни. Мы — почти одновременно: я — 3-го марта отвез... Интересно, сколько всего моих у тебя? Твоих — 270 да еще у меня на столе штук 7[388]. Сейчас полюбовался на Троицкую Лавру, на розовую свечу, пасхальную... Олёк милый, и не думай об обложке на «Лето Господне», — н е л ь з я дать ее. Ничего не скажет, не даст г л а в н о г о. Горкин тут — частность. И вышло бы как неудачная попытка «детских книжек». Если пытаться — что-то иное надо... что?! Что-то простое. Как писал тебе, кажется, эпиграфом для обеих частей хочу — пушкинское — «Два чувства дивно близки нам...»[389] и т.д. Можно, конечно, и без эпиграфа. Обложка белая, по ней «вязью» — заглавие, как было. Только. Просто и хорошо.

Так ел у вас блинки-то хирург? Эх, угостила бы ты меня блинками! Люблю. Этой масленой без блинков остался. Юля испекла какую-то рвань — блинцы, я съел-пожевал на-холостую два, на-юру. Сегодня А[нна] В[асильевна] испекла мне блинчиков, поел с малиновым сиропом. Да кашицы гречневой поел, все. Сыт.

Я люблю масленицу — обрядную, во всей полноте. И заливное, и навага. А опосля блинов-то — непременно чайку с апельсинчиком. Вот поди ж ты... как крепко во мне коренное-в-обиходное! И опять лезет Белозерск, озеро, валуны, глушь... и ты, Оля Разгуляева! И спели бы с тобой дуэтец... н е в п у с т у ю.

Сколько и как по-разному — вижу тебя в мечтах! И весной, и летом, и зимой, и — осенней порой. Я так люблю осеннюю рябину! Будь живописцем — дал бы тебя — в рябине, в темно-синем корсаже, золотистую, рябинной искрой играло бы в глазах... — рефлексы-то какие! И синь, и ярь... А воздух крепкий, стылый, и так по-осеннему-пустынно [1 сл. нрзб.] кричат... и ночь скоро. Уже зажгли лампу в надворной кухне, а в доме... — яблоками так густо, и печь изразцовая затоплена. Щечки твои — упругие-холодные, на них играет отсвет печки... и огоньки в глазах, я их целую... — и сколько бы — о чем мы говорим! А тишина какая... ночь идет... и... никаких «вибраций» с

неба! Но... все это будет — должно быть, будет в... «Путях»... — уйти в них, в глубь восьмидесятых, тихих, [1 сл. нрзб.]! Знай: буду писать — с тобой буду всегда, чувствовать тебя, голубка моя Дари.

Грелочка твоя чудесная, «теплушка» синяя, — я ее надевал эти холодные дни, как был у Юли. Отлично в ней, вся облегает, круто. Стараюсь уловить тебя, твое дыханье... Она — согревает, и снутри, до сердца. А сейчас, — не в ней — озяб, топят неровно, к вечеру получше, до 14—15.

На твои не буду покупать цветов, не то... Встречался, — в метро — с дальними нашими... в новой форме. Попадались чудеснейшие лица, и... — однажды, молодой совсем, мой читатель... читывал «Человека из ресторана», — там, ведь, его переиздавали. И здесь новое мое читают — и как же жадно! Писали мне друзья не раз. «Неупиваемая» — захватила! Но мне важно знать, как на них — «Богомолье»! Думаю — увело бы... что-то приоткрыло бы... — чую. Да все пролетцем они, «встречные», — куда-то дальше. Давал им адресок свой, хотели, очень... «если чуть задержимся». Как жадно слушают, глядят в глаза... — «наш, русский!» Им должно быть, за диво, что больше 20 годов здесь, а не разучился говорить... ах, чудаки! Зовут — «папаша». И в дедушки годился бы. Есть по госпиталям... наши навещают, приносят... — Мне доктор говорил: у них в госпитале Ляонек — двое очаровали всех... даже главный врач-сушка и тот — отмяк. Что это? [Новый] мир? Не постигаю... Один, мальчик, обреченный, чахотка... сознает свое положение... молчит... ушел в свое.

Поездка — неизвестность... м. б. лучше, если не поеду.

Завтра постараюсь написать маме. Было в газетах, что сильно поврежден городок Нигем? так пишу? Далеко от тебя? И про Арнхейм было две строчки.

Так тяжко жить перед развалинами! Вот пишу — и вижу, в 9 метрах... — не забыться. У Юли — хоть этого не видно. Если будешь писать переводчице, помяни ей, я всегда был доволен ее работой, и ее заботами обо мне. Помню, как зима была там, наша, прямо, и как тепло топили огромнейшую печь-часовню! как гулял вдоль Рейна! там почти верховье. Покупали мы с ней вместе галоши... и как же они пригодились, сейчас на мне. И стоили они — что-то 3 швейцарских франка или 4. Без них — плохо было бы зимой мне. Стынут пальцы. Сегодня оплатил счет за электричество — не перешел нормы, а посему сейчас поставил сбоку радиатор, — благодать. Слышу в radio — третий день

сряду бомбят Рим! Что это? какая цель? Чем виноват Рим? И — какая военная польза?! Это — гнусное издевательство над людьми — ни в чем не повинными. Бессилие взять — отсюда — злость — народ бьют, ге-ро-и! Когда, как отольются им слезы — и кровь?! ... Целую всю тебя, голубонька. Напиши, как здоровье? боли? почка? Твой Ваня

Что же с мамой? Когда день ее ангела? Как провели день 24-го II?

[На полях:] Старушка испекла мне настоящую сдобную баранку! По-постному, с чаем, — чудесно!

Привет Сереже.

Угостил бы Вас ликером — коньяком — оранж. Сам — ни-ни, а люблю.

81

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

16.III.44

Дорогая моя Олюша, вот, на случай утраты рукописи моей «Лето Господне», II-ая часть, посылаю некоторые справки о времени и месте напечатания отдельных глав. Перед этим письмом послал тебе 10 марта и одновременно Александре Александровне. И еще, тебе 13-го[390].

На рукописи моей такие пометки, мои: «В книге посвящения некоторых глав должны быть устранены». Все — I и II части — посвящается мною... (на отдельном листе, за титульным, в траурной рамке должно быть напечатано): «Блаженной памяти моих Светлых — на следующей строке: — Сергия и Ольги». Эпиграфом беру к обеим частям: — «Два чувства дивно близки нам — В них обретает сердце пищу: Любовь к родному пепелищу, — Любовь к отеческим гробам. А. Пушкин». При издании, в конце текста II ч. дата: Март 1934 — Февраль 1944. Париж. В конце каждой главы остается ее дата и место написания[i].

Продолжу в следующем письме, которое пошлю одновременно. Господь с тобой! Ваня

---

[i] Далее в оригинале перечислены главы III части романа «Лето Господне» с указанием приблизительной даты написания и первой публикации. Затем перепечатан фрагмент главы «Петровками» II части романа.

82

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

14.IV.1944 Святой и Великий Пяток

Христос Воскресе! — дорогая моя Олюночка, так влечет быть ближе к тебе, — с тобой! в эти предпасхальные — и светлые, несмотря на внешнюю тьму, дни Страстной. Я ничего не знаю, что с тобой, но по твоему пасхальному — и, увы, грустному, горькому письму, которое я получил в среду и открыл, зная, что оно к Великодню. Милая, бедная моя девулинька! Если бы только мои слова из сердца могли озарить тебя! Ты не говоришь, но слышно, что в тебе скорбь, тоска... — и мне больно, больно. Получил-прочел — и пошел к исповеди. Но не дождался, много исповедников — исповедался рано утром в четверг. Приобщался за литургией, в 1-м ч. дня. Сегодня был на выносе Св. Плащаницы, принес букет незабудок, от тебя и за себя — Христу. Выносил Плащаницу, а посему был одет парадно — тёмно, как всегда, когда публично читаю. Пришел с облегченным сердцем. На церковном дворе (это у Знамения[391], рядом) накупил пасхальных открыток и хрустальных граненых яичек на цветных ленточках. Украсил всех дорогих моих — и тебя, детка моя, — вставил в рамки — пасхальные открытки и повесил яички. Любуюсь, какой свет! К тебе — в большой твой портрет — «Девушка с цветами, в ветре» — поставил — яркую, на ней много крашеных яичек — и пышный пасхальный [стих], в левом углу солнце. Сережке вставил кулич с пасхой на ручнике вышитом, то же и Оле. На тебя (другой портрет) где ты напоминаешь Царицу (привет «Дубине»), повесил яичко <u>чистого</u> хрусталя на лиловой ленточке (очень красиво!). Моим дорогим по палевому яичку, на алой — Сереже и зеленой — Оле. Вот и пасхальный <u>мой</u> «стол». Мне прислала Юля кулич и пасху. Да я купил кулич — за <u>550</u> fr.! Да творогу сливочного прислал приятель, да Анна Васильевна отнесла сейчас Ирине С[еровой] — испечь кулич, — у меня трудно, газовая плита маленькая, по мне. Но что мне все это! — нет тебя, прежней, просветленной, радостной... Да что же ты таишь, — что с тобой. Я уверен, что ты надумываешь, сгибаешься под необоснованной тревогой. Или — боли? — Скажи, мне легче будет — знать, что с тобой. Тогда — маме напишу! Как я рад, что поговел, мне светлей. И хочется писать. Боли, слава Богу, кончились, я много ем, нагоняю потерю. 3-ья глава вчера потрясла доктора. Он кинулся обнимать меня, с криком: «Вы все томились... но Вы

в это время — росли!..» О, если бы знали, что я вижу в романе... дальше! Только вот, судил ли Господь мне — закончить?.. Вчера, за обедней я подал просвирку... и написал только одно имя — тебя. И во здравие твое принял ее в церкви же, после Св. Тайн, думая о тебе, молясь о тебе. Вот, на память, прилагаю листик церковный[392]. Олюночка, улыбнись Ване своему, мы так духовно-крепко обручены! Так наши души близки — единой духовной кровью бьются наши сердца земные!

Христос Воскресе, дорогая моя, женушка духовная! Улыбнись, осветись... мы вместе, и всегда будем вместе, и Там — все, все, все, если Господь удостоит меня. Во имя твое — выберу себе цветов, — твой дарок. Христос Воскресе.

Твой всегда, Ваня

[На полях:] Завтра, после Св. Заутрени (в 8 ч. вечера кончится, в 9 — поеду к Юле разговляться, ночую, а утром на дачу к ней, до 5—6 вечера. Св. День буду на воздухе.

Напиши о себе, молю!!!

Теперь, с Господом Иисусом Христом мне ни-чего не страшно! На все Его Воля!

Господи, дай мне пропеть о Тебе, прославить Тебя в «Путях Твоих».

5 ч. дня Солнце! Мно-го!

Погребение Христа. М. б. поеду к утрене — в 6 ч. вечера.

83

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

24.III.44 г.

Я получила твои письма от 20.III[393] с рассказом «Петровками»[394] и распоряжениями, касающимися издания «Лета Господня»*. Относительно других глав, посланных тобою мне, уже писала подробно, дав перечень их. Все 9 глав последних у меня, — «Серебряный сундучок» тоже позже дошел.

А теперь о деле моем: вчера я писала тебе о переписке нашей, — что очень довольна твоей надписью относительно издания ее, была в восторге и, — главное — находила ее романом жизни, редчайшим в силу того, что родился он

* Все эти данные будут также мною сохранены в сейфе и проведены в жизнь.

прямо из сердца, — дышит, — бьется в нем правда — Правда — ею, этой Правдой — этот роман переписка и был бы ценен. Это я вчера писала.

Теперь же я решительно клонюсь к другому. И очень прошу тебя не отказать мне в просьбе сделать следующее распоряжение: «Все ко мне О. А. Бредиус-Субботиной возвратить при первой возможности заказной посылкой отправителю, т.е. О. А. Бредиус-Субботиной». Твоя подпись.

Это ты должен для меня сделать.

Опубликование (когда бы оно ни случилось) сих писем — твоих и моих, этот «Роман» — как оказалось, не имеет того, что я ему приписывала. А в просто занятное чтение мне жаль отдавать свою душу*. Не считай мои слова незрелыми, слишком поспешными — я говорю совершенно сознательно, личное исключая. Не мне тебе разжевывать об истинной ценности произведений. Если ты, при твоем чутье, подумаешь повнимательней, то сам поймешь, что я права.

Но как бы там ни было, я верю, что ты мою, кажется первую, за все наше «знакомство», просьбу — уважишь. Мне очень грустно, что ты так сумрачно пишешь, — что одиноко себя чувствуешь, что болен от времени до времени, что так неприветлива и трудна жизнь, в которой большой человек как ты хочет творить и... связан повседневной мукой.

В Швейцарию я напишу сегодня—завтра, — задержала, т.к. жестоко почти простудилась, голова была так тяжела. Всего доброго! Да сохранит тебя Бог! Оля

84

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

[Не ранее 18 — не позднее 28 апреля 1944]

Спрашивая меня «что» со мной и тревожась за меня, ты тщательно и упорно обходишь причину того некоего нового, что видимо тебя во мне смутило.

Меня убивает, как это ты именно, такой чуткий ко всему в жизни, оказываешься таким непонятливым в данном вопросе. Совсем не хочу «таиться», и потому скажу тебе все, что думаю. После твоего административного письма относительно II ч. «Лета Господня» (с отменой всех посвящений отдельных глав этой книги) я писала тебе о моей

* Встань на точку зрения постороннего читателя и оцени сам, посмотрев на все глазами 3-го и посчитайся с логикой.

«убедительной просьбе» — распорядиться — мои письма к тебе переслать мне, т.к. ни о каком издании нашей корреспонденции не может быть речи. Ты счел возможным никак на это не реагировать, будто этого письма не было.

Не знаю, какие были еще посвящения, но ты, конечно, помнишь как осенью 42-го года, когда болела я почкой и вышел у меня камень, как ты восторженно светло это принял, писал, что провидишь мое выздоровление и в залог сего послал мне «Михайлов день» с посвящением «Оле, урожденной Субботиной». Ты видел особый в этом даре смысл, ибо мой «казус» по дням приходился около Михайлова дня, и ты благословил меня твоим трудом, желая, чтобы этот дар был «памяткой, залогом выздоровления» и был «так рад это сделать».

Не затрагивая пока чувств, я покажу тебе только деловую сторону вопроса.

Да что же и сможет сказать читатель, прочитав сперва 1-е это мистическо-трогательное уверение в особом смысле посвящения больной «Михайлова дня» и затем твое циркулярно-декретное письмо, ставящее меня в известность, что подарок отнят.

Выпущенная в свет наша переписка знакомила бы читателя между прочим (а наряду с другим и со многим сему подобным) с одной стороны с мистически-трогательными уверениями в особом смысле посвящения больной «Михайлова дня» и — затем с твоим циркулярно-декретным письмом, ставящим меня лишь в известность о том, что подарок снят. (Я не говорю уже о раннейших письмах, тех, где ты все хотел бы отдать моему имени, из того, что еще не отдано другим.)

Либо ты устрашился исповедания твоих чувств ко мне перед читателем, если они (чувства) были, — либо, честно не имея их — серьезных, воздержался.

Вот какой вывод сделает каждый третий.

Ты м. б. возразишь, что в письмах достаточно сказано о чувствах... Но, Ваня, не слова ведь, а поступки определяют сущность!

И не усопшим твоим понадобилось это, но тебе, перед читателем, — тебе — однолюбу.

Ты должен бы понять, что это уже minimum моих желаний не дать, по крайней мере, хоть всему огласки, если ты сам не смущаешься выставить меня в невыгодном даже свете перед толпой. О чувствах моих и переживаниях говорить не приходится, — ты, если захочешь, [их] сам отлично поймешь, — а не захочешь, так от всего отгородишь

себя моими «надумываниями» или какими-нибудь невропатологическими изысканиями.

Ведь ты и сам должно быть хорошо помнишь все твои посулы, клятвы и также то, что ни одно из них не вошло в жизнь.

Как могу я, да и любой 3-й, отнестись к твоим письмам мне, когда поступки твои заставляют хорошенько все просеять?

«Только тобою и тебе и во имя твое будут написаны «Пути Небесные» и это тебе поклонится читатель», — писал ты мне, но разве могу я теперь к этому отнестись серьезно?

«Куликово поле» тоже возьмешь, конечно? А м. б. уже и взял?

Ты не знаешь меня разве, если так воровски (прости слово) только отнял мою драгоценность? Разве нельзя было дружески об этом сказать? Большевистским декретом отнял.

Почему же ты с другими твоими знакомыми так поступить не решаешься? Вспомни, свой акварельный портрет! И не стал бы ты снимать у других публично данных посвящений (ни у Бальмонта, ни у Бунина), а ведь при оглашении переписки оказалось бы посвящений, мне тоже публично данных, [много][i]. Бог с тобой, однако, говорить теперь об этом все равно поздно.

Я не сержусь, — мы живем в слишком тяжелое время, чтобы закрывать немногое светлое злобой, но мне больно, что жизнь снова наказала меня за мою детскую доверчивость, позволившую открыть душу свою до отказа. Душевно рада, что ты светло встретил Св. Пасху, — я тоже хорошо провела эти Святые дни, но вчера слегла — опять почка.

Только бы не залежаться долго, — теперь [страшно] быть лежачей.

Ну, будь здоров!

Оля

[На полях:] Неужели ты не поймешь, как больно это? И то, чего я лишилась — огромно. Не только о «Михайловом дне» я говорю. Я-то ведь каждой запятой твоей верила у тебя. Свою какую-то жизнь на этом строила — мираж... Глупая, «Пути Небесные» как трепетно любила...

---

[i] В оригинале слово пропущено.

85

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

28.IV.44

Твое письмо, Олюша, меня и огорчило, и оскорбило. Такой отметки, что я делаю что-то «воровски», я не знал еще в моей жизни. Надо было сперва подумать, проверить свой «вывод», чтобы иметь духу — сказать так. Все — неверно, все недодумано, хоть и болезненно перечувствовано. Буду краток, спешу. Сегодня не спал до 6 — тревоги! И так уже много дней. Но голова моя еще не отказалась соображать. Хоть и притупилась в восприятиях...

Я сделал на пачке глав II ч. «Лета Господня» пометку — «не печатать посвящений, сделанных на газетных оттисках». Тебе не было в них посвящений, и «снятие» тебя не затронуло. Напротив: о «Михайловом дне» мною оговорено важнейшее: «этот рассказ должен быть заменен новой редакцией, которая имеется у ...» — твой адрес. «Только в этой редакции его поместить, она полнейшая». «Посвящается этот рассказ — "Оле — по роду Субботиной". Это посвящение должно быть напечатано в правом углу начала главы, "вверху"». Вот что — правда: Почему я так сделал? Снятие «посвящений» случается — по разным причинам. Это — право автора. Я — в данном случае — посвящал н е навсегда, — это бывает, а лишь — в газетном виде, как бы — «приветствие», поклон. И это практикуется. Пример: Бунин посвятил мне рассказ «Нотр Дам де ля Гард»[395] — в «Возрождении». В книге его — это посвящение отсутствует. Это так называемые «преходящие посвящения». Мне это не особо приятно... но расхождений у меня с Б[униным] явных не было. И разговоров я не поднимал.

Отдавая книгу п а м я т и моих дорогих усопших, я отдавал — <u>душу книги</u> — их памяти. И имел полное право один рассказ посвятить — живому лицу. Признаёшь это мое право? Я ничего — в области литературной — не делаю безоглядно. Я тут как бы захотел с в я з а т ь тебя с моим дорогим — увы — отнятым у меня. И знал, что делаю. И <u>мои</u> — души их — знают это. Я считал откликом светлым — в отношении к ним, — помещение т в о е г о рассказа. Ты — отозвалась, как н и к т о, на мое горе, на мое сиротство, на мое отчаяние. Я чувствовал, что явление тебя в моей горькой жизни — согласно с их волей. Я писал тебе об этом... Что же я совершил, чтобы получить такую оценку — «воровски смог отнять у меня...»?! Пусть это судится твоей совестью.

12 — 11249

У Зеелера нет моего акварельного портрета. Он — у меня, я взял его, объяснив, что он должен быть у меня, он был любимым портретом покойной. Ты по книгам можешь видеть, как я не щедр на посвящения. Хотя бы — для моих. Это лишь — «памяти», что я отдаю свое. Оле посвящен «Человек из ресторана». Сережечке — «Лик скрытый» и «Голос зари»... Да «Богомолье» — памяти Короля Александра Сербского, столько сделавшего для русских писателей. И — «Пути Небесные» — покойной моей. Только. Какие основания говорить, что и «Куликово поле»? На «Куликовом поле» отметка у меня для издания: «по варианту у О. А. Бредиус-Субботиной. Отдельной книжкой, с ее обложкой[396]. Посвящение — ей»[397]. Все.

Вот мои объяснения. Вот почему ты писала о переписке, требовала вернуть! Я не отвечал, т.к. ты уже знала, что переписка «забронирована» моей отметкой: «не печатать без согласия автора писем, О. А. Бредиус-Субботиной». Я писал тебе об этом, и таким образом косвенно уже ответил на твой запрет. При такой моей оговорке — решительной — твои письма не могли бы появиться: мои правопреемники — знаю — свято отнеслись бы к моей воле. Я никогда не кривил душой, мыслью, сердцем. Ты должна знать это — хотя бы по моим книгам — мое сердце и мое отношение к кривизне и прочей мерзости. Плохого же ты мнения обо мне! Мало же ты меня знаешь. Я могу вспылить... да! но — гадить кому бы то ни было, лгать, «воровски» поступать — мне га-дко! Я бы сгорел от этого, я не посмел бы — писать. Я — грешный, я — часто — опрометчиво-страстный, но, думаю, неспособен быть гадом и подлецом. Да будет это тебе уроком — надо быть осмотрительней, надо бережней относиться к человеку, не замещать все — собой и своим больным и мучительным воображением, — «все против МЕНЯ!».

Твое письмо лишило меня последнего спокойствия, я не могу писать... Сегодня я уезжаю на несколько дней. Я устал, измочален — всем. И ты нанесла мне последний удар, но не «ку-дэ-грас»![i] Лучше бы — этот «ку»! Искренно говорю — хочу, чтобы ты была здорова, успокоилась. Хочу... И не нахожу в себе нужного чувства, сейчас... — писать дальше... Жаль, что так и не дошлю 3 глав «Путей».

Иван Шмелев

---

i «Удар милосердия», «удар, которым добивают, чтобы прекратить страдания» (*от фр. coup de grâce*).

[На полях:] Я смиряюсь, я все больше смиряюсь, зная, как несчастны люди! — все и эта мысль — кажется получит ответ в «Путях Небесных».

Я столько переписывал для тебя! И — получил за все боли-тревоги!

86

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

12.VII.1944[i]

Дорогая моя именинница Ольгуночка, поздравляю тебя, роднуша, с твоим светлым Днем ангела, — да будет он весь и во всем светел для тебя. Будь здорова и душой успокоена, не вдумывайся в текущее, а живи высшим в тебе и вечным. Милая моя, друг ты мой явленный... — не было ничего случайно, а так, как надо быть. И что пишешь — было, прошло, какое дивное!.. — лето 41 года, твой День ангела, твой путь в золоте ячменя... — все это не прошло, никак! — а есть, ибо это — непреходящее, а в нашей душе. Не было, а есть. Смотри, разве оно не звучит в твоем сердце? разве оно не слышно в моих строках «Путей Небесных»! И потому это, (в тебе и во мне) что оно не ушло, а было — и есть в душе. «Путям Небесным» — если суждено мне завершить их! — жить, и долго, м. б. жить... — вливаться в сердца. И наше — неведомое никому, — будет как-то звучать — светлою радостностью. Так и внуши себе. Ты мне много силы дала и воли, много радости и счастливых — и чувств, и дум.

Было бы неестественно, если бы все то так и повторялось, — износилось бы, утратило свежесть и свою песню... Но оно втайне живо, — и не пройдет, пока... что *пока*?! А ты знаешь? Можно лишь верить, что — будет живо, в нас, каких-то иных. Я не жалею, не сожалею, не грущу, — я живу всем этим. И — воскрешаю — даю, как-то, в творчестве.

Дай мне глаза твои и твой лобик светлый... — целую их. Господь с тобой, свет мой.

Вчера усмотрел, какую же я оплошность допустил, в главе 9-ой «Аллилуиа»![398] В шестопсалмие включил... 50-й псалом![399] Снова все переработал, — и посылаю. Теперь все — уставно, и не укорят меня знатоки «обихода»! И по-

[i] Письма за май—июнь 1944 г. не сохранились (см. примечание 365 к письму № 78, см. также письмо от 10 марта 1944 г. (№ 80)).

лучилось, кажется, лучше... я нашел новое и ввел — дивное место из Евангелия от Иоанна на праздник апостолов... 21 гл. ст. 15—25[400]. Увидишь. Посылаю[401]. Замени, — там все указано, откуда «новое» и — до-кУда. И все это (оплошность и ее досмотр!) было нужно: теперь — куда полней. Особенно — от Иоанна! Я очень люблю это...

Милая, друг мой, пью, — если Бог даст жизни, — за твое здоровье. В твой День!

Весь и до-всегда твой Ваня

Ив. Шмелев

[На полях:] Сегодня часа 4 проработал над «ошибкой».

Мои духи![i]

Поздравляю с дорогой именинницей маму и Сережу.

87

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

23 мая 45 г.

Милый мой Ванюша,

С трепетом пишу тебе эти строки, — хочу скорей узнать, что и как с тобой, как прошли эти месяцы нашей разлуки[402], здоров ли? Как перенес ты все лишения, бывшие в Париже и как прошла война? Ради Бога, скорее напиши. У меня замирает сердце при мысли и воображении всего того, что тебя могло постичь.

Хочу сказать тебе такое, что мы все живы, а потому уже только можно Господа Бога благодарить, что пережили наконец-то все, все...

С сентября месяца[403] жизнь у нас стала очень трудной, а под конец невыносимой. Конечно, особенно страдали города, — там вымирали с голода, — но и в деревне нельзя было терпеть дальше. Нельзя было поручиться ни за один день. Почти все население мужского пола жило нелегально[404], т.к. их тысячами угоняли. Погоня за скотом, отборы всего и постоянные вселения войск. На одном дне бывало по несколько раз целые дома то выселят (в 10 минут), то снова вселят. Затем при приближении фронта (от нас всю зиму он был в 20 километрах) начался наплыв беженцев, которых чуть не голыми насильно перегоняли с места на место. У меня жило 38 человек эвакуированных плюс нас 7 (Сережа с сентября у нас тоже жил полу-подпольно, двое эвакуированных постоянных и прислуга). Из них было

---

[i] Письмо надушено.

2 младенца моложе году и штук 10 постарше ребят. Все это больное, измученное, ограбленное, обовшивевшее в пути и зараженное всякими болезнями. Готовить мне приходилось на железной печурке с 6 утра до ночи, чтобы всех обмыть и обстирать. Дети «опрели» и орали благим матом. Надо их было всех [перекупать]. На улице был холодище, люди умирали в пути, выбрасывали новорожденных в снег, родили на пароме при всем честном народе... Кошмар. Приходилось кроме всего этого варить суп гороховый на 150 человек. У нас в котле. Я еще днем ходила в школу, где кишели люди и оттуда забирала беременных и рожениц передохнуть у меня на диване*. И при всем этом еще без конца тянулся «обоз» на велосипедах (без шин) горожан за едой. За день перебывало их у дверей за 100. Одного молока отпускали на 30—40 человек утром и вечером. Из Гааги, Амстердама и т.д. шли и ехали знакомые за снедью, оставаясь по неделе, чтобы пооткормиться**. И постоянно наплыв войск, вквартировывающихся тут же, не считаясь с кашей беженцев. У крестьян тоже почти что кончились запасы. Мы лично рассовали знакомым еще с осени все так, что только на нас троих в обрез оставили, а тут пришлось жить всемером да беженство.

Стали есть кормовую свеклу. Изощрялись и выходило «вкусно». Ни света, ни телефона, ни газеты, вода очень скудно. Даже врачам нельзя было выходить после 8 ч. вечера на улицу. Никакого передвижения. Почти все велосипеды отбирались, лошади тоже. Я пишу только в общих чертах, но за всем этим столько было переживаний. За С. ни минуты покоя. Было ему сделано убежище тайное в доме, но иногда при обысках бросали гранаты, чтобы выгнать прячущегося, сжигали дома. Напротив нас сожгли виллу (ни за что) в 15 минут. Но потом стало еще хуже: нас затопили 17-го апреля водой[405] и вот мы целый месяц сами были беженцы. В доме вода стояла по колено, в кухне до живота, а в хлевах еще выше. Погибли все решительно посевы, огород, плодовый сад, покос, одним словом, <u>все</u>. С картофелем мы особенно торопились, т.к. в феврале у меня SS отобрали *весь* запас картофеля, грозя ружьем. Кое у кого понасобирали за дикую цену и ждали своего нового урожая. Скот тоже пострадал. Не говорю уже о доме. Он собственно <u>не</u> жилой. Но мы не гневили Бога, — остались живы и целы, и слава Богу. Жутко было под бомбежами возить для немцев муницию[i], а

---

* Через Shalkwijk прошли 20000 беженцев.

** Измучилась я, Ваня, до отказа тогда.

[i] Боеприпасы (*от нем. munition*).

не поедешь — так еще хуже. Shalkwijk несколько раз бомбили, рядом с нами. Но всего не расскажешь... Слава Богу, что мы серьезно не болели, — а то ведь и доктора бы не дозваться.

Ни одной больницы почти не осталось населению. Голод еще сильный, но уже не смертельный, т.к. выдают бисквит и мясо, и шоколад, и сахар. Ну, мой дорогой Ванюша, обнимаю тебя, дружок. Пиши! Твоя Оля

[Приписка карандашом:] Погиб мой садик, погибла и голубая птичка.

88

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

12.VI.45

Осияли меня и освятили милые твои, родные строки, светлая моя Олюша-голубка, — не высказать! Сегодня, утром, солнце мое вернулось! — и я живу. Слава Господу! Ты — жива. Господи, — жива! Сердце мне шептало, что ты хранима, и вот, вижу и благодарю — пою сердцем Милость Господню. Все понимаю, что вынесла ты. В тяжелые минуты сих бесконечных дней... — сколько их! — мысли о тебе давали мне силу жить и терпеть. А много-много было, всего! Но, с твоими муками и сравнивать нельзя. Все эти долгие месяцы[406], с половины августа 44-го, как смутный, тяжелый сон-кошмар. Только работа — и молитва — закрывали творившееся. 24 авг., когда начали по улице моей визжать пули, (на углу, близко, была баррикада), я прервал работу над «Путями Небесными» (на 200 странице) и вернулся к ней недели через 2—3. Много страшного было. Материальные лишения — пустяк. Недели 3—4 не давали света, или — на 1—2 ч. Не было и газа, — ничего, устраивался. С половины декабря, месяца 2—3 болел глубоким бронхитом, опасались пневмонии. Но я все же писал. 28 апреля я закончил 2-ю книгу «Путей Небесных». Она оказалась объемом больше страниц на 80—100 — первой. И захватила лишь... 40 дней жития моих героев! 3-ья книга, к которой хочу приступить должна дать уже часть жизни их... а дальше... — не ведаю. Надо было — во 2-ой — преодолеть великие трудности (Дарья сформировалась, уже ведет, уже — в силе,) — и дать это — было самое трудное. Весь май я был в срочной работе, по просьбе одного швейцарского издательства[407] — выбрать для одного — 1-го тома, из Чехова, (серия мировых писате-

лей) рассказы и написать «введение». Я радостно это сделал и воспользовался этим случаем — дал, «раскрывая» Чехова иностранным читателям, сжато о духовной сущности, о — «âme slave»[i], о особых свойствах и о сущности русской большой литературы. Осенью в Швейцарии выходит моя книжка — «На морском берегу»[408], и — для серии мировой литературы — 1-ая книга «Путей». В Париже, в ноябре, должна появиться та же книга «Путей». Французский аванс дал мне возможность не нуждаться материально. Но нет русского органа, ни издательств, а у меня — 7 книг новых для издания, да 5 — для переиздания. Там меня любят, читают, — ряд свидетельств. Ни в какие Каноссы, слава Богу, не ходил и не пойду[409]. Да что обо мне!.. Ночами — думы о тебе, молитвы... о тебе и присных твоих. С сентября чутко ловил все — о твоих местах, но — глухо было все. Вспыхнет надежда — и угаснет. Слава Богу, Ив уцелел, был в бегах от принудительных и неоднократных вызовов — ехать в рабство. В начале апреля письмо от посажёного отца[410]. Узнал, что 24 февр. ты была жива, и твои. И это было мне — лучом во мраке. И. А. трогательно заботлив. Его друзья, богатые американцы в Цюрихе[411] — мои читатели, — по их письму был у меня их друг из посольства[412], спрашивал, в чем я нуждаюсь. Я сказал — только — в свободе! Поблагодарил и побеседовал. И. А. зовет в Швейцарию[413]. За-чем я туда поеду?! Разве уйдешь — и там — от тяжкого сознания — тупика? Правда, там у меня гонорары есть... Candreia прислала, в их счет, две посылки. Если бы и поехал куда, — так только в... Канаду. Родная, воз-духу мне нет!.. Где, где могу я говорить и писать все, что велит душа?! Ты все понимаешь, умница, единственный свет мой здесь. Сжимается сердце за тебя, чтО пришлось — и приходится еще — выносить тебе. Вот, и конец письму... а что сказал?! Самого главного и не сказать здесь. Только в глаза, сердцу твоему могу поведать... — ты все поймешь. А пока — скажем всей душой: Господи, благодарю, за все, за в с е... Я тебя хранил и храню в сердце. Надеждой о тебе и жил — и пока дотерпел... Господь с тобой. Целую. Поцелуй твоих. Ваня

[На полях:] Как раз в твой день — родилась пальмочка из костяшки. Как твое здоровье? — прошу, скажи.

Олюша, напиши что можешь, мне в с е — важно. Ты — подвижница.

---

[i] «Славянская душа» (*фр.*).

89

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

10.VI.45

Дорогой Иван Сергеевич!

Где-то промелькнуло, что будто бы почта с заграницей тоже возможна открытками, но никто наверное ничего не знает. Не знаю и я, попадет ли эта весточка к Ване или где-нибудь застрянет, в чьи руки дастся?.. Но все же хочу хоть самое главное скорее сказать, что мы все живы и невредимы. Ради Бога сообщите скорее о себе. Все это время я очень волновалась о Вас. Мы снова у себя дома, хотя жить в нем почти нельзя из-за сырости. 17-го апреля, как раз в Сережино рожденье, вечером взорвали немцы шлюзы около нас и нас залило водой. Земля стояла 1 1/2—2 метра под водой, в доме доходило до живота. Только 16-го мая мы рискнули вернуться, чтобы начать мыть те полы, которые освободились от воды, т.к. всю тину, грязь и дохлых червей и прочее надо отмывать было очень быстро, а то все это присыхало. В кухне еще стояла вода и уборная не действовала, когда приехали. В открытке ничего не скажешь, но только коротко: оглядываясь назад, не знаешь, откуда были силы перенести эти 8 месяцев. Я уже послала с оказией одно письмо[414], где более подробно все описала. У нас зимой просто кошмар был.

Голод был страшный в городах, и мы не принадлежали больше сами себе. Одних эвакуированных у меня было 38 человек, из коих 10 детей. Все это больное, раздетое, голодное и вшивое. Горожане осаждали до 100 человек в день. Одного молока отпускали 30—35 человек утром и вечером. Конечно, мы были в гораздо лучших условиях нежели город, но 2 зимних месяца сидели без молока и масла. Если и была какая капля молока, ее я отдавала детям эвакуированных. Ко всему этому еще эпидемия дифтерита. Ни света, ни воды, ни телефона, ни газеты, ни доктора после 8 ч. вечера за последнее время. Бог хранил меня, и я всю зиму не болела. Свалилась вот уже теперь, 30.V, но сейчас опять встала. У нас все погибло от воды, все решительно произрастания, а мы, раздав в голодовку все, что могли, очень рассчитывали на раннюю молотьбу. Не знаю, как провернем. Ну, Бог поможет. С. все потерял в Arnhem'e. Туда все еще с трудом пускают. Но все это ничто по сравнению с залитием водой морской, залили немцы почти накануне капитуляции морской водой 3—4 метра высоты!

Ну, кончаю. Да хранит Вас Господь! Пишите же! С самым душевным приветом. О.

90

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

[16.VI.1945]

Мой дорогой, милый, родной Ванюша!

Сегодня отдание Пасхи, — а потому еще:

Христос Воскресе!

Ванюша, от тебя все нет весточки. Умоляю поскорее написать. Я так о тебе тревожусь. О себе я писала тебе дважды: одно письмо с оказией до Бельгии, надеясь, что оттуда почта уже давно ходила, и затем открытку прямо на Париж, — там я, конечно, очень «официальна». Не знаю, получил ли ты их, потому быть может повторяюсь, говоря о себе.

Мы многое перетерпели с сентября, всякого. Всю зиму себе не принадлежали. Был какой-то голодный ад. Последнее время, сидя под водой, думали, что больше уже нельзя терпеть. Каждый день падал невероятной тяжестью на весы терпения.

Мы материально, конечно, получили урон огромный, но я счастлива, что хоть живы остались, ибо многие не пережили. Сережа уехал сейчас на свое пепелище — в Arnhem. С очень большим трудом ему дали пропуск в Apeldoorn, а там будет проситься и в Arnhem. Он, по описанию его хозяйки, уже побывавшей в доме, почти все потерял. Солдаты немецкие бросали мебель со 2-го этажа прямо на тротуар с балкона.

Соседи напротив оставались некоторое время в городе и видели. Скверно, что пропала одежда. Деньги в банке тоже наверное, т.к. их все (банки) перед уходом немцы взорвали динамитом. У С. был сейф, так что наверное погибло. Пропуск ему до 17-го, так что скоро узнаем. Ванюша, представь, вчера принесли твое заказное письмо от августа 44 года[415]. Оно в пути застряло видимо. Мое мне вернули тогда же, в августе...[416] Я писала тебе из отпуска своего из чудесного местечка в Gelderland'а, где я прекрасно отдохнула среди леса и вереска. Нашла белый вереск, послала тебе его, но письмо уже не прошло. Сумасшедшие дни ложной сентябрьской тревоги застали меня не дома. Я с великими трудностями добралась до Shalkwijk'а. Тут и начались перипетии. Но об этом всем и не напишешь. Только когда ог-

лядываешься назад, то не понимаешь сама, как хватало сил и душевных и телесных все пережить. Войну мы познали только именно за эти 8 месяцев. Фронт проходил от нас так близко, что окопная дуэль была слышна и день и ночь, тогда такой грохот, что рамы и двери ходуном ходили. Эта близость фронта в течение 8 месяцев была ужасна во всех смыслах. Провинции Zuid-Holland, Nord-Holland[1] и Utrecht были самые голодные к тому же. И потом эти несчастные беженцы, перегоняемые как скот. Я писала уже тебе, что через Shalkwijk их прогнали 20 000 человек, у меня стояло 38 человек, из них 10 детей. Все в чесотке, вшах, болячках, женщины (2) от ходьбы «выкинули», а у одного мальчика больного желудком, открылось кровоизлияние, это из моих только постояльцев. Т.к. им давалось иногда 10 минут на сборы (никакой спешки не было, все зависело от личности, которая приказывала), то эвакуация их захватила врасплох в полном смысле. Были случаи родов на пароме, умирали прямо в пути. Мертворожденных детей выкидывали в снег. А доктор предполагает, что даже и немертворожденных. Ужас был неописуемый. Последние мои 2 эвакуированных, оставили нас только при затоплении, т.к. у нас просто некуда было идти. Мы сами жили у одного мужика, пятеро разнополых в одной большой комнате 4 недели. Ну, прошло.

[На полях:] Не знаю, кажется нельзя писать больше одного листа, — кончаю. Ванюша, как «Пути Небесные»? Мой сейф сохранился, значит, и письма твои целы. 30-го мая у меня почка за весь год впервые «пошалила», но очень мало. Да и чудо бы было.

Сырища в доме невообразимая. Подумай: в кухне до живота вода дошла, а земля стояла 2 метра под водой. Все, все погибло. А если бы ты знал, с каким трудом сеяли! — Только чудом лошаденок спасли. Но какие клячи стали. Из уцелевших 13 коров надо 7 отдать тем, у кого еще хуже. Не думаю, чтобы возместили убытки — нужды уж слишком здесь много.

Обнимаю тебя, мой родной Ванюша. Твоя Оля

Посылаю цветочки с поцелуем.

---

[1] Южная Голландия, Северная Голландия (*голл.*).

91

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

26.VI.45

Дорогая моя Олюша-страдалица, золотое сердечко! Наконец, разрешено писать в Голландию. Сегодня твое, от 16.VI. С милыми — какие же они чистые! — полевыми скромнушками (и жасмин за полевой считаю!). Поцеловал не раз. И в них — твой образ. Получил твое письмо из Anvers, открытку из Schalkwijk'a[417]. Это, сегодня, 3-ье. Тебе послал 12.VI[418] — как только получил из Anvers — письмо и открытку — на Anvers, не зная, что можно прямо на Pays-Bas. Радость-свет осияла меня: ты есть! Хотя на сердце было не-тревожное, — только томился неизвестностью, тебя лишенный. О, это было почти непереносимо, до немого вскрика. Утратить тебя — родную душу, свет мой живоносный, — было бы так неправосудно! так жестоко!! — Еще в сентябре 44 вспыхнула надежда (наступление англичан!)[419] — вот, освободят район, где ты... — и — тщетно: еще надо было ждать во-семь месяцев. Ото всего тяжкого и болезненного спасала вера в тебя, работа. Да, II кн. «Путей Небесных» завершена, — она страниц на 80 больше I-ой. Но надо III, м. б. и IV. Эта, II-ая, была очень трудная. — Что было страшного? Да все... стоит ли ворошить! Можно было ждать всего. Это было чудо, что уцелел Париж. У немцев был м. б. адский план. Многое было минировано[420]. Словом — Чудо Парижа. Как, в нашем, — Чудо России. Есть, есть чудеса! Оставим благоговейно — касаться сего, уяснять. И над тобой было — Чудо. Ясно. Ибо возможно было все. Не место здесь писать о многом. Этого не упишешь: можно лишь о сем говорить сердцем к сердцу. Лишения... — ну, были. Да что — материальные лишения! Ну, не будем о страшном, о непостигаемом звере в людях. В такого зверя я не верил. Чище о человеке думал. Мы еще и не постигаем, чему — свидетели. Не подходят мерки привычные. М. б. зреет для Мира — проявление Божества: откровение. Ибо бессильно человечество найти верную дорогу. На мою оценку, ровно ничего не распутано. Я тщетно ищу намеков на провидчески-углубленное отношение к сущему, — и — в текущей печати — не слышу звука. Где властный призыв к нравственному очищению?! к следованию вечным Законам? Без сего — строить на песке. Для меня всегда было ясно, что национал-социализм, безбожный, — провал, рано ли, поздно ли. Это — посадка дерева без корней. Несколько дней оно про-

стоит, будто и живое. Для итога в делах человеческого строительства жизни — сроки — в десятилетия, больше. Что б там ни было в видимости, для меня пока одно непоколебимо: свет с Востока, или его не будет. Помню, писал я тебе года 2 тому: (в 1943?) «Россия вступает в стадию своего мирового прославления... не знаю только: путем ли Голгофы или в государственно-политическом смысле?» Да. Она ныне — на виду. Позиция занята. Ее глас не может быть не услышан, это — новое Слово — миру. Скажет ли? И — что?! «Да будет воля Твоя»![421] — О себе писал, болел месяца 3, глубокий бронхит. Ослабел. И все-таки писал. Иначе — погиб бы от тоски неизбывной. Заметил в себе некую перемену: стал терпимей к людям, м. б. и благостней. Стараюсь никого не винить, не питать дурного чувства к кому бы то ни было: все поражены болезнью, все — во грехе. Стараюсь делать, но куда же мне до тебя! Ты — мне — идеальное мерило. Вся ты. Чудесное творение Господне. — Особых лишений не испытал, а о нехватках что говорить. Но страшных ожиданий было густо. Давило. Находил смягчение в молитве. — Напиши, неужели и сад погиб? навсегда? Морской водой залило? Какие меры приняты? Какое счастье, что твой сейф цел, и письма, и копии рукописей, да? Видишь: это — надо, для чего-то. Скажи, неужели тебе теперь предстоит нужда? Оля, я тебе тогда последнее отдам, что у меня найдется. Правда, теперь, — когда еще нет речи о продаже авторских прав, — у меня совсем немного, да и то — не здесь. Юле трудно, ее нет в Париже. Ив уцелел, девочка — прелестна! Напиши о судьбе животных, птиц, — меня всегда интересует живое. Твоя грудь как? Как с глотаньем? Все напиши. Что — с доктором-хирургом? Были вести по газетам, что в Голландии много расстрелянных (забастовка железнодорожников) немцами. Как ты питаешься? 9 июня — весь был с тобой. Я уже писал о французском и швейцарском издании «Путей» (к зиме) и еще «На морском берегу» — в Швейцарии. О Чехове — тоже. Видишь, — я не гулял. Но сильно похудел, — куда же еще? Бывали боли мои. Старею. Негде печататься, издаваться. Наша печать — горевая, м. б. и вовсе ее нет. Не касаюсь сего.

Родненькая моя, нежно тебя целую и — склоняюсь перед тобой. Горячий привет присным. Я — когда мог — молился.

Твой Ваня

[На полях:] А «Душистый горошек» Guerlain — все ждет отсылки. На нем грустная подпись от 10.VIII. Прошу отослать тебе: не верилось, что могу быть живым.

92

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

20.VII.45 г.

Милый мой дорогой Ванюша,

получила наконец-то от тебя письма и через Смирнова[422], и по почте. Несказанно рада узнать, что ты цел и что не так уже вас там потрепала война. Все время стремилась тебе, дружок, писать, но болею и препротивно — будто бы дизентерия. Уже несколько раз были странные припадки сильного жара (на 1 сутки) и тошноты, и проходило. А вот теперь очень сильно схватило. Жарище был ужасный, 39,2° я еще хорошо себя чувствовала, а уж ночью и не знаю, сколько было, потому что когда пришлось встать, то чуть не упала, перестала слышать звуки, будто в воду канула. На другой день уже 38°, дальше 37°, а вот сейчас 35,7°, слаба ужасно. Боюсь за свою почку. Это будто какой-то вид дизентерии, не знаю, я что-то сомневаюсь. Вчера каталась от боли в желудке. Всю грудь рвало на части. А сильных спазм в кишечнике нет, и вообще я под дизентерией представляла себе нечто иное. Но все же я всюду держу в доме раствор лизоля (единственную дезинфекцию, которая была), и тебе не писала, чтобы не занести. Но я сейчас руки хорошо вымыла лизолем и потом мылом, и вся кровать только что переменена. Ну, скучная тема. Масса здесь этой болезни. Думаю с голодовки, да еще, вода помогла расплодиться всякой нечисти. Масса комаров, мух... С 9-го июля дали нам электричество, даже не верится, что можно им пользоваться. Ведь с 2 ноября мы в потемках, а многие мебель зимой топили. Лежу и грелка электрическая мои кишки греет. Это ли не роскошь?! Но на зиму смотрю все же с опаской, очень уж нас всех тут ограбили и высосали. Урожай этого года во всех отраслях погиб. Опасаются, что плодовый сад (1 1/2—2 гектара) тоже навсегда погибнет.

Сидим без огорода. Большой чудесный малинник погиб начисто. Мой садик-цветничок погиб, только розы цветут пребуйно. Сена нет, травы нет. На залитой земле ничего не растет, кроме сорных трав. Скот еще уцелевший, из довоенных 20 коров 13, должны поделить с теми, у кого все погибло. Из 13 этих коров мы 4 отдаем для пострадавших и

3 на мясо, итого 7 штук! В прежнее бы время за голову только схватиться, т.к. это банкротство для такого типа фермы, как наша, но теперь это даже некоторый выход из положения, т.к. кормить их нечем. Все равно, наверное, будет все очень дорого, если покупать на вольном (черном) рынке. Арнольд никогда ни одного фунта жита не продал по черной цене за эти годы, вся нищая округа питалась тут им, мы рассовывали «взятки», чтобы кой-что удержать из жита, но не для черной торговли, а для голодных. Бывало в убыток.

А когда самим что приходится теперь покупать, то все рады драть, что могут. Но я не знаю, мы как-то не унываем. М. б. потому, что все еще испытываем чувство отдыха от тех ужасов, которые испытывали с сентября до мая. Трудно себе представить, до чего выкачана и изувечена Голландия. Во всяких смыслах. Иногда не веришь, думаешь, преувеличено, но вот очевидцами были свои, и приходится верить. Еще мы дешево «откупились», а вот [Wiringenweer-polder] залили морской водой (за пару дней до капитуляции!), он до сих пор 6 метров под водой, размыты кладбища и гробы плавают с своим содержимым вокруг затопленных домов. Этот «polder»[1] голландцы отвоевали у моря, осушили его и 2 года тому назад собрали первый урожай. Теперь все испорчено. Для чего? Те места, откуда у нас были беженцы, начисто разворованы. 13-го июля был праздничный день сбора вещей первой необходимости в пользу пострадавших. Вся деревня была украшена флагами, фуры и лошади цветами. Массу собрали. Давали радостно, делили, собственно, тоже необходимое. В Arnhem'е Сережа видел тоже многое. Немцы крали все, что можно было взять. Перерыли даже садики у домов, проткнули стены, взломали полы. Вытащили из потайных мест и радио его, и машинку, и т.д., а что нельзя было взять, вроде массивных часов, так переломали оси. Во всем Arnhem'е нет ни одних часов. Выбрасывали продукты из консервных банок в постели, которые почему-либо нельзя было взять. Швыряли яйца в дорогие картины, массу вырезали из рам и увезли. Фарфор разбили. Гардины изодрали. Нет ни одной печки. Сегодня моя прислуга со всей семьей назначены на врачебный осмотр, т.к. к ним вернулись из немецких лагерей 2 сына (ее братья). У одного отбиты при зверских избиениях в лагере легкое и почка, и он еле выжил все мытарства. Сам он не рассказывает ничего, т.к. душевных сил

---

[1] «Польдер, запруженная низина» (*нем.*).

нет для подобных воспоминаний. Но я знаю от доктора, который сам сидел заложником. «Все правда, что рассказывают, и еще не рассказать всего», — сказал он. Он сам видал, как морили 1000-чи людей газом и сжигали, как все было устроено инженерами, конечно. У некоторых лагерников срезали кожу с рук и пришивали ладони куда-нибудь в другое место, часто у женщин на место груди. И это делали доктора... Академики!! —

Dr. Klinkenbergh жив, слава Богу, его пассия тоже еще жива, но очень плоха. М. б. Dr. K[linkenbergh] поедет в Швейцарию. Вернувшиеся из лагерей (я их много видала) все говорят, что к русским и полякам ужасно относились немцы. А наших все любят. Зимой бывали у меня русские солдаты, военнопленные, принужденные служить у немцев. Сперва боялись откровенничать, но потом прямо говорили все. Из 40 000 человек осталось их 200 живых в плену и, если бы не одели форму, то и они бы умерли. Массу рассказывали. Сейчас негде писать, но напомни написать мне о разговоре с немецкими солдатами из разбомбленного в Shalkwijk'е поезда... Очень интересно. Да, нас бомбили. А то однажды жгли немецкие SS. Пришли в одну виллу, спрашивают: «Не говорите по-английски? Мы английские офицеры, помогите нам». Девушка побежала позвать господина, а те ему: «Никакие мы не англичане, а пришли сжечь Вашу виллу, т.к. на территории Shalkwijk'ского округа была найдена бомба». А за то, что приветливо отнеслись к вести об англичанах, запретили девушке и ее вещи вынести. Сожгли дотла в 15 минут maximum, все залив бензином. Совсем рядом с нами, к счастью, был противный ветер. Первоначально было решено 6 человек расстрелять или 6 домов сжечь.

[На полях:] Ну, Бог им судья. Я боялась, что изможденный народ начнет самосуды, тогда бы кошмар был. Но к счастью все проходит очень спокойно. Ванечка, целую тебя и благословляю. Твоя Оля

Поздравляю с «Путями Небесными»!

Преклоняюсь пред трудом твоим — это почти невероятно, что закончил «Пути» II ч.

93

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

3.VIII.1945

Голубонька, светлая моя Олюшенька, наконец-то пришло от тебя письмо, дня три тому, писано 20 июля, а поч-

товый штемпель — 23, — шло 8 дней, это еще довольно быстро! Из Швейцарии идут 10—13 дней. Бедная ты, все болеешь! Что-то вроде «тифоида», — конечно, итог всего. Нельзя пить сырую воду, овощи и фрукты надо тщательно промывать. Питание твое, должно быть, плохое, да и отвычка. Сегодня напишу переводчице Кандрейа, в Цюрих, чтобы послала тебе два «коли сюисс»[i], да чтобы был сахар, — а ты не брыкайся: все равно я не могу получить оттуда гонорар, нет расчета, а у ней на руках есть, и будет. Изволь мне отписать, прошла ли дизентерия. Принимай «салол», хорошо это. Я, кажется, посылал тебе прививку — прием внутрь! — от брюшного тифа? — приготовления лаборатории «Биотерапия». Надо. Действует на год. Напоминаю тебе: обещалась написать о разговоре с солдатами из эшелона, который был под бомбами. Страшно подавлен всеми ужасами, что ныне обнаружилось в «подвигах» проклятых наци-социалистов, — «обновителей»-то! Конечно, — дьяволово действо! Не обольщаюсь и «национальной гордостью», и все же — душа моя — там, в родном. Да и всегда была... — ты знаешь каждую мою строчку, где моя душа! Нет, не пиши мне о зверствах, — переполнен, и как это мешает равновесию в духе, для творческой работы! Дивлюсь, как я нашел силы одолеть 2-ю кн. «Путей Небесных»! Но надо еще 3-ю, — и, кажется, — 4-ую! У меня не хватит сил. Не зная, что с тобой, в течение целого месяца, больше, — я написал тебе по-французски открытку[423] недавно. Ты не томи, не забывай меня... мне очень тяжко. Почему?.. — по всему. Этого не выскажешь. Да, затопили твою округу... речной водой? Если розы буйно цветут, почему же плодовый сад должен погибнуть?! ... В России, бывало, в разлив весной вода держалась порой около месяца, местами, и это давало — хотя бы в будущем году — сильный урожай. Морская вода — дело иное. Почему погибла птичка твоя... та птичка, о которой узнал я в начале нашей переписки, из твоей открытки: «никого... я да птичка». Бедная птичка! Но... сколько же «птичек», куда ценней и незаменимей, ушло, и как ушло! Удалось ли спасти мои книжки тебе? Сырость у вас ужасная, и могут быть страшные ревматизмы. На сей случай, поведаю тебе средство редкостное, народное, усовершенствованное земской врачихой, да-вно! Недавно узнал, и сообщил Ивану Чудесному в Цюрих[424]: у него продолжаются невыносимые боли в голове, а это и от «головы» средство, т.к., уверен, что боли —

---

[i] «Швейцарская посылка» (*от фр. colis suisse*).

ревматическо-невралгического характера... — простудил голову когда-то, уверен. Слушай и — запиши: (наложить в бутылку средне-густо) настоять на спирту — алкоолъ[i] в 90 или в — лучше! — 95 градусов в бутылке листья ясеня — frêne[ii], лучше, конечно, свежие, в период силы, но можно и у гербариста взять высушенные, — они собирают все в период силы, — чтобы получился экстракт хорошего темно-изумрудного тона, — настаивать 4—5 дней. Втирать каждый день на ночь в продолжение четверти часа, и кроме сего — 15 капель экстракта в рюмке воды — прием внутрь. Терпение, м. б. и 3—4 мес. возьмет леченье, но... имею точные сведения: излечивались «ломОты» и адские боли ревматические — такие, каким не помогали ни грязи, ни лиманы, ни «Даксы» — горячие ванны в городе французском — Дакс (Dax), горячие ванны со времен Цезаря, прославленные. Чудеса делает «ясень»! Попомни. В Голландии много таких калечных от сырости, а теперь еще больше будет. Есть электрический ток, теперь же осушай радиаторами все, не страшись нарушить «норму». Берегись сырого помещения! Уверен, что и твои пертурбации кишечника — от сырости, от неизвестной пакости, *которая* завелась от вод потопных. Смело применяй настой-экстракт (если боли-ломоты), спирт Сережа достанет, или ты, через хирурга. И — теперь же, пусть жары, — изволь носить шерстяное белье! Ты ведь — опрометчивая — «стремига-опрометь», — чую тебя! — и... люблю, за это, между прочим, — ты, знаю, вылетаешь на сквозняки с мокрой головенкой — дурацкой! — с невытертым досуха лицом, — это же, прямо, к тебе относится: «скачет, лая впопыхах»[425]. Это средство излечило мужика, просидевшего 2 часа, — вдрызг пьяный был, — пО-пояс в зажоре... знаешь слово? — ну, в водяно-снеговой каше, — у него несколько месяцев был паралич нижней части тела, иглЫ не слышал, доктора рукой махнули, а мой агроном, ныне старец 82 лет, здесь, за Парижем, — в 3 мес. его совершенно вылечил! Другой случай: шапошник-еврей в Туле, — 5 лет лечился от дикого «ревматизма», был на всех грязях-рассолах-лиманах, был и за границей, пролечил «больше 5 тысяч рублей», — в 80-х-то годах! — и агроном его исцелил в 3—4 мес.! — начисто, прыгать стал, франтить, в начищенных штиблетах, а то ходил в июльские жары в валенках, чуть двигался! Вот. Запомни. Если бы профЕссора

---

[i] Спирт (*от фр. alcool*).
[ii] Ясень (*фр.*).

излечить! головушка-то его ценна больно!! — у-мница, чистый! «Боли — особенно невыносимы, когда дует «фэн» — ветер с гор», — писал мне. Недавно послал ему рецепт-наставление: может быть и... воссияет! Олюночка, всегда возносил молитвы за тебя и присных твоих. Ночью проснусь — помолюсь втайне. О, какая была тоска и пустота! И теперь еще... вдруг навалится... до отчаяния. Молюсь... Зверства раздавили мою душу... о, если бы заглушить все — в работе! Я не вижу углубленности духа, после всего, что было, что длится в мире... Какие искры из духа человеческого должны бы брызнуть и опалить-очистить?! Но я не вижу. Зло сеет зло, чертополох разрастается... и что бы там ни пытались делать очищающего... если не отыщут в себе «главы угла», — все на песке, все шатко, и обрушится. И оторопь берет — для кого, к чему пишу я свои — такие «старомодные» — «Пути»?.. Да, «Тоничка» договорен французским издательством, в переводе. И еще — переиздается «Человек из ресторана». «Пути», I книга — должна выйти в ноябре—декабре. В Цюрихе ищут отменного переводчика для «Богомолья», — это благодаря Ивану Александровичу, одна богатая американка дала слово, что перевод будет под досмотром профессора. В Швейцарии, следовательно, должны выйти три книжки... Теперь немецкий издательский рынок переходит к Швейцарии, ибо — «пусто место». Не знаю, где нежный Эрнст Вихерт[426], писатель, меня понимавший и любивший — противник наци! Его уже до войны арестовывали... — был под сильным моральным влиянием Достоевского. Погиб..? Если бы мог всю душу тебе открыть!.. Тебе, только. Ослабление сердца... — как-будто прошло, но чувствую, как же я устал! Состояние «эсхатологическое» — как бы перед «концом всего». По-гречески «эсхатос» — крайний, последний, в смысле «конца». Нечто — жуткомистическое. Эти «шамбр-а-газ»![i] Это — «баба-яга»: «покатаюсь-поваляюсь на косточках»... — повалялась-покаталась, усладилась, проклятая! И это при соучастии «Науки»!? Садизм, психоз, отупение... откуда такое каменно-сердие?!! — опустошение? Мое «Солнце мертвых», мое «На пеньках»... — лишь предвещания. Нашел в своем рассказе «Чудесный билет», в книге «Про одну старуху», — вначале почти — «губить пойдут, а мы спасемся»... — писано в 25 году! Но я все еще не вижу путей... «спасения» полного, желанного, в свободе. Свобода — бывает разная.

---

[i] «Газовые камеры» (*от фр. chambre a gas*).

Нам нужна не только «внутренняя», — «Я сделаю вас свободными»[427], но и внешняя, наружная, обиходная... — она как компост для первой. Человечество — в трагическом тупике. Обилие «вещей мира сего», следствие материального изобильного прогресса, создало предпосылки для буйного расцвета алчбы, зависти, безоглядности, душевно-духовного отупения, сверх-дерзости... до возведенного в государственный масштаб принципа — «грабь, обдирай, сдирай, пакости, круши, дави, кровь точи, смейся над стонами, стирай жалость, милосердие, любовь, нежность, ласку»... — чудесную песню Бытия! «Древо познания» заглушило «древо Жизни»[427а]. Вчитайся в чеховский «Дом с мезонином»![428] У целого мира отнята чудесная, нежная «Мисюсь», куда-то увезена, упрятана... Думается, Чехов сам не постигал, что можно вывести из его рассказа. Упрятали «Мисюсь»... — сердце, чуткость, душу глубокую...

Неужели ни одна яблонька не цвела? Малинник должен отойти... если это не морская вода! Или... даже деревья отказываются жить... ?! Завела хоть цыплят-то? Ты же не можешь без «живого»! Запиши все, что видели глаза, что взято сердцем, с болью... — надо! О, сколько ты видела! Священный долг твой — не дать пропасть сему! Вспоминай, вызывай воображением, заноси. Какая же в мире — засуха! Не чувствуешь ли ты, где «корень» сего? Чувствуешь, «почему так случилось»? где — гнойник..? доппинг — откуда?.. эти «крематории», эти «Фос комюн»?![i] этот... эта — «чертова механика»?! — все в человеке вытравившая, все оголившая?! Давно, издалека — сия зараза... эти «потемки»... Чудесное письмо, историко-философское написал мне профессор милый. И оно принято мною без единого «но»! Олюночка, дай же мне света и тепла, — темно мне и холодно, — лишь ласковое твое словечко — жизнь мне. Господь с тобой, родная, чистая, вся — для других. Ах, какое это укрепление — ты, такая! Давно не был на могилке, — слабость, и трудности в дороге. Служил панихиду здесь, 22.VI и 24.VII. Родная моя, в глазки твои гляжу, душу хочу увидеть и — окрепнуть. В материальном нужды не знаю, хоть и все трудно. Но если бы жить в свободе! — все высказывать! Не знаю ваших «общественных условий». Рад, когда достаю «Gazette de Lausanne»[ii]. Целую тебя и крещу. Твой Ваня

---

[i] «Братская могила» (*от фр. fosse commune*).
[ii] «Лозаннскую газету» (*фр.*).

94

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

13.VIII.44[i]

Мой милый, дорогой Ванюша, это письмо шлю с оказией, — едет в Париж одна девушка, Беатрис (Ирина) Шлюссер[429]. Конечно, по почте бы пришло оно м. б. и скорее, но все же не упускаю случая и такого, а, кроме того, хочется, чтобы ты поговорил с ней, видевший и знающей меня и всю нашу обстановку. Приголубь ее, пригрей. Хотя и знаю, что ты и без моих слов ласков и добр к людям. Она, если ты захочешь, расскажет о себе и о том, как она ко мне попала и т.д. В письме же не пишу. Мне бы хотелось, чтобы она «привилась» к русскому побольше, что уже и началось теперь. Она очень хочет побольше узнать всего о нашем. Думаю, что ты будешь рад содействовать этому. — Была очень рада узнать, что твоя сердечная слабость поулеглась. Ванечка, береги себя!

Да, ты прав, — жутко в мире.

Я всю ночь не спала, узнав из радио об атомной бомбе[430]. Какой кошмар. Какой дьявольский хохот слышу в этом... Вот что люди выпекали из чудесных тайн природы. Я надеюсь, что контроль над этим открытием предостережет от несчастий. Да и вообще-то, какой звеняще-пустой мир... И как много любви необходимо для залечивания страшных ран. Как хочу быть полезной хоть кому-нибудь. И не знаю, куда толкнуться. Горю нетерпением встретиться с людьми с родины. Все те, что были здесь у нас (довольно много) оказывались очень милыми, а главное, с в о и м и. И это отрадно, т.к. я боялась отчужденности. Почти все верующие. Был однажды у меня один очень славный парень, которого из лагеря военнопленных немцы силой упрятали в армию (между прочим, из 40 000 пленных осталось 200 человек, — остальные умучены были). Он говорил: «Я защищал Севастополь[430а], 7 мес. сидели под землей и готовы были умереть всякую минуту, — что же он (т.е. немец) думает меня переделать? заставить на <u>него</u> воевать? Я 20 лет коммунистом был, 20 лет говорил, что Бога никакого нету, потому что сам себе говорил — если мои глаза чего не видят, так и нету того, — а вот теперь я Вам скажу, что Бог-то есть»! Спрашиваю, что же его заставило поверить. «А то, что Он правду показал, справедливость. Немец нас

---

[i] Письмо было получено И. С. Шмелевым только 5 декабря 1945 г.

совсем забрал, а вот Бог и повернул, потому что невозможно это было допустить, чтобы немец взял нас. Все эти муки Бог увидел и показал правду. Вэрю в Бога тэпэрь, вэрю»*. Это армянин был. Главное то, что я с ними не начинала о религии, но почти все сами начинали. Были и бывшие белые. Все они дружны между собой. Посидят 5 минут, и уже чувствуешь, что пришло что-то родное. Никакой грубости. Чудесное отношение к женщине. После пребывания у западников даже забылось, какие наши. Хорошая молодежь, Ваня. Достойны они твоих трудов, оценят! Заговорили как-то о том, как наши будут относиться к немцам... «Да как? Пожалеют, конечно, мы ведь жальливы...» Живу только желанием и мечтой быть полезной. А как? Пока не знаю. Писать ты советуешь... Я сама хочу. Очень хочу. Но, ах, — если бы сутки имели 48 часов! Беатрис расскажет тебе о суете нашей. И все же я писала, вела дневник ежедневно. При всей-то сутолоке. Один рассказ написала. Рисовала тем летом. Играю все-таки на рояле[431], — но плохо еще. Не хватает времени. Пишу в письме по почте (чтобы скорей дошло) о рисовании и о моем отдыхе в прошлом августе—сентябре вплоть до ужасных дней войны. Хотелось бы уехать куда-нибудь и поработать. Хочу писать очень. Масса материала. Если только сумею!.. Ах, если бы люди увидеть смогли прекрасное в жизни и забыли вражду. Природа рассыпает перед нами каждый миг свои красоты и богатства... какие звезды, какую тишину... а мы?? Если бы ей, этой красавице-природе дать нрав людской, то она бы не выходила из обиды на то пренебреженье, каким обходим мы ее. И много, много оскорбляем и Создателя. И думается: «с чего же начать, чтобы улучшить»? Видимо каждому с себя самого. Ванечка, хотела бы послать тебе что-нибудь, но Беатрис едет неизвестно когда... Не знаю, что бы послать? Хотела испечь печенья, но испортится до ее отъезда. Ванёчек, родной мой, не посылай через Кандрейя ничего, у меня все есть. Зимой не так хорошо было, но теперь *все* есть. А сахар тоже стали понемногу давать и соли чуточку, и мыла. От сахара мы отвыкли, так что то, что дают, уже является роскошью. Обнимаю тебя, родной мой. Будь здоров. Твоя Оля

[На полях:] На почте у нас ничего не знают: ни сколько страниц писать можно, ни на каких языках. Несколько

* разговор этот был в марте или феврале, до капитуляции

писем на русском мне вернули. Твои письма не контролировали.

Ничего пусть не посылают мне из Швейцарии!!!! Прошу!

95

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

18.VIII.45

Мой милый Ванюшечка,

Вот опять случился долгий перерыв, — я писала тебе письмо сразу после немецкой открытки[432], предназначая его послать с оказией, но видимо оно не скоро попадет к тебе, таким образом ты опять будешь думать, что я пишу редко. А я все время думаю о тебе. Последние 3—4 недели не принадлежу себе. Сестра моего мужа переживает очень тяжелое время — идет целая трагедия, а я явилась единственным лицом, могущим ей и ее мужу хоть кое-как помочь. В настоящий момент я у нее, — приехала, чтобы вытащить ее из нездоровой обстановки, из-под вредного влияния, сделавшего ее совершенно нервнобольной. Она тоже человек с очень уязвимой психикой. Их семейная жизнь летит к черту, а сама она угодит, пожалуй, в больницу. Муж ее гостил у меня неделю и хоть немного отогрелся, а потом случились вещи, заставившие меня к ним броситься. Она очень милый, добрый человек, но на всяком шагу сама себе строит проблему и вопросы, а теперь вздумала уйти от мужа (русского)... Ну, да не разъяснить в письме. В прошлом году я как раз с 18-го VIII у них гостила в чудесной обстановке до самых тревожных военных дней.

И наслаждалась очень. Теперь все натянуто и томительно, мучительно. А все-таки, Ваня, какие все они западные эгоисты. Пробуду, наверное, до вторника, а там собираюсь везти обоих к отцу Elisabeth, который по моему ходатайству, после 6-ти летнего непризнавания их брака, теперь хочет принять Юрия. Он не знает об их драме. Боюсь, что это признание зятя будет уже поздно. В общем, чуть-чуть не по Достоевскому идут деньки. Ездить еще очень трудно, т.к. поезда идут не по всей стране. Приходится проситься на автомобили проезжающие, что очень и неприятно, и трудно. Сюда-то добралась все же, а отсюда, кажется, удастся с автомобилем, сговориться. Ни за какие деньги не возят по найму, только если попутчики есть (какой-нибудь деловой автомобиль). Жизнь налаживается, в общем. Ванёчек, ты не думай из Швейцарии присылать мне сахар.

Его понемногу стали давать, а нам, отвыкшим уже от сладкого, все кажется сладким, даже кислые яблоки.

Плодовый сад, кстати, еще стоит, но думают, что пропадет к весне. Розы стояли гораздо короче под водой и не так глубоко, как сад. Там доходило до 2-х метров. Но это все ничего по сравнению с тем, что немцы с людьми сделали. Этого нельзя забыть.

20.VIII.45 Но этого и не рассказать, все новые открытия. Весь народ целиком сгнил, когда дети по 8—9 лет, жаждая крови, аплодируют отцам при убивании младенцев. А это факты. Жить жутко стало. После атомной бомбы мне прямо страшно. Пожалуй, люди сами себя взорвать готовы. Не к концу ли все идет? И не чувствуешь, как-то истинно-христианского духа нигде. А ведь запад-то думает, что они, культурные люди, слишком высоки для «таких примитивных» истин, что дает им Евангелие. Выдумывают свои религии и... угождают в сумасшедший дом. Сейчас взволнована очень, только что изложила своей золовке всю правду, т.к. терпение у нас лопнуло. Не здоровым же людям в угоду ей делаться психопатами. Я устала. Пишу даже гадко.

Ванёчек, очень бы хотела тебе написать обстоятельное письмо, но так меня истрепали тут. Завтра (сегодня уже 20-ое) едем, кажется. Погода тоже скверная, дождь и ветер. Надеюсь, что удастся устроиться с автомобилем Толенов, которые тоже уезжают.

Фася опять больна. Вот за эти дни 3 припадка. Я чувствую себя физически хорошо, но вся эта «каша» надоела.

Выдрать бы надо было, кого следует, а не носиться с ними. Между прочим я ошиблась о «вредном» влиянии, т.к. вчера убедилась, что та дама, куда моя золовка пропадает дни и ночи, оставляя дом и мужа на произвол судьбы, той тоже уже надоела. Вчера я туда ходила и массу всего узнала. А ее муж, с отчаяния, что его жена меня там застанет (ибо она, вернувшись из города, тотчас туда хотела ехать), брякнул ей, что я там. А мы хотели секретно, т.к. ее только хитростью еще можно спасти. Я задержалась слишком долго. Иду к дому, а они оба навстречу. Я сказала, что заснула в лесу и потому запоздала к обеду, а Юрий мне прямо: «но ты же у m-me N. была». Я отрицала, т.к. мы с той условились для сохранения авторитета и доверия не делать для ее сознания «комплота»[i], иначе ее не увезти. А Elisabeth пошла сама к даме. Придя домой, она стала

[i] «Заговор» (*от фр. complot*).

провоцировать меня на сознание, что я была, но к счастью я все же отрицала. Эти «допросы» были несколько раз на разные манеры, наконец, она мне созналась, что и ее приятельница тоже отрицает, но все же ей подозрительно. Я объяснила это тем, что ее муж не расслышал, когда я на ходу и в ветре ему крикнула, что иду в лес, в сторону m-me N. Мне это стоило много напряжения, т.к. от этого многое зависело бы, и Elisabeth уже мужу сказала, что ей это вмешательство претит. Ну, прости, что занимаю всем этим.

Хотелось бы взять «Пути Небесные» и уйти из этой карамазовщины. Ванюша, что же ты мне ничего не скажешь, как дальше развернулась жизнь Дариньки и что будет? Я не спрашивала нарочно, ожидая, что сам скажешь. Горю узнать. Напиши. Твои письма я уже вынула из сейфа, — они совершенно сохранны. Как я рада, что Иван Александрович о тебе заботился. И как же досадно, что его боли вернулись. М. б. ты и прав, что ревматического свойства. Как поживает Dr. Серов, Меркулов, Елизавета Семеновна и т.д. Ты ничего не написал. За эти сумасшедшие дни я все же еще одну картинку нарисовала. Но вереск плохо цветет в этом году. Обнимаю тебя, мой хороший. Пиши же мне о «Путях Небесных». Ты знаешь, как я их люблю и как они мне близки. Твоя Оля

[На полях:] 23.VIII Только сегодня удосужилась достать конверт и марку уже дома, т.к. у золовки был полный сумасшедший дом. Целую. Оля

96

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

25.VIII.45

Дорогая Олюша, друг мой далекий, незримый... все жду твоего письма, ответов на мои вопросы, — как живешь, здоровье, чем занята, как душа принимает «вселенское»?.. Все ли письма дошли? Вот, мои: на Смирнова, 12 июня — письмо и открытка; 26, июня — письмо; 10, июля — ко Дню ангела[433]; 27, июля французская открытка когда лежал, от сердечной слабости; и — 2—3 авг. — письмо. От тебя: 12, июня, из Антверпена; разумею числа получения, — открытое, 23, июня; 26, июня — письмо; 31, июля письмо и 14, августа немецкая открытка[434]. Я понимаю, как ты задавлена и разбитым хозяйством, и недомоганиями, — итог в с е г о! — м. б. и оглушена свершающимся. Может быть все же найдешь силы ответить мне. Удалось ли спасти мои книги — твои! — письма... Как будто письма

целы, писала ты... По себе знаю, как трудно овладеть собой, — столько испытаний сверх сил человеческих! У нас не было затопления, но остальное — все было, много и лишений... да в моем-то полном *одиночестве! Не смею* роптать: был под незримым, но чуемым Покровом, да и добрые люди не совсем забывали... порой — отягощали даже. Зимой долго болел, тяжелым бронхитом, безвыходно 3 мес. — вот *это было трудно*. Обо всем нет воли и сил писать. Бывали миги — и полосы — безысходности... Нашел себя в работе над «Путями Небесными», и дивлюсь, как мог закончить хотя бы 2-ю книгу! Отброшу все газеты — а читал и заграничные, — тогда только, разве, смогу отдаться работе над 3-ьей. «Внутренняя» работа, конечно, продолжалась, но столько всего ранило ее!.. Видишь... потому ранило, что смотришь на все не с временной точки, а в общем и как бы — в надземном плане. Ведь никогда в нашей жизни не раскрывалась так видимо Книга Судеб[435]. По крайней мере, — для меня... И то, что вижу — лишь укрепляет основное моей последней работы — «Путей Небесных». До... осязаемости. И последнее «явление» — «атомное» — потрясает и подавляет, и... возносит! (но не «открытие», а — другое!) Как-будто, вот «на глазах» произошло... вторичное... «грехопадение»! От века Хаос был скован, и были даны условия — быть. Ныне... Но о сем надо бы писать томы, говорить днями-ночами, чтобы все сказать. Завоевание науки? Да. Но и... невольный — или вольный? — срыв... в неизвестное. Газетчики, конечно, пустомелят, они духовно-бездарны... и городят груды несуразностей. Дело не в «использовании» беспредельных сил «для жизни»... надо хоть немного понимать в последнем слове науки, чтобы не болтать чуши. Конечно, ни-когда на раскованном Хаосе ни поедешь, ни для обихода его не приспособишь. Даны для сего иные силы, и будут найдены еще и еще, но не «хаотические». Силы Хаоса годны лишь для разрушения и утоления темного в человеке, и тут ничего нет похожего на утоление «духовной жажды». Назначение, от века, — раскрывание духовных атомов в человеке и освобождение творческих сил их. Указание-намек дан: «если имеешь веру с зерно горчичное...»[436] и т.д. Вот. И возможность сего подтверждена: «будьте совершенны, как Отец ваш небесный совершен есть»[437]. О темных, «скованных» силах люди высоко-духовные знали давно-давно, куда раньше всех «атомистов». Много сего найдешь в Евангелии и творениях св. отец. Наш Феофан-Затворник, (человек глубоко образованный и большого ума)[438] больше чуть ли не

столетия тому, писал: «в одном когте беса такая безмерная сила, что, если бы было ему дозволено, он одним чирканьем когтя мог бы испепелить весь мир»[439]. Но ему это не дозволено. Не дано сего и людям науки, если их планы выходят за предел Науки — Наука — милость Всевышнего человеку! — и за пределы душевной выносливости человека — и во вред Жизни! Такие опыты могут, конечно, сделать много вреда, — вот что вне жизни-то производятся, — но, конечно, земные «прометеи» планеты не погубят до назначенного ей в удел. Ведь элементы, доступные для современных прометеев, даны в ограниченном количестве и пространстве, и могут, вследствие своей крайней неустойчивости, освобождать лишь ча-стич-ки скованного Хаоса и вредить жизни лишь частично. И, кажется, сами прометеи станут жертвами своей неосмотрительности скорей, чем «похитят с неба огонь». И все же, это — для меня-то — «попытка вторичного грехопадения — искушения» — морально тяжка, особенно в связи со всеми ужасами войны и, особенно, в связи с тем, что открылось нашим глазам и сердцам в бесовских деяниях насильников в захваченных ими странах, — во Франции, Голландии... — неохватный душою бесовский в человеке инстинкт разрушения, злобы и истязаний. Что особенно горестно, — не улавливаешь в органах печати даже попыток посмотреть на все — с нравственной высоты, от общего, от «основ Бытия». Все — блуждание по мелководью, оглядыванье со своей крыши, а не с высоты... Растерянность, запуганность, — оскудение?.. Ведь в бытии-то нашем не только политика-экономика, этим хлебом не будет жив человек! И вот, жизни-то и не вижу, а так, — мельканье. Причина — одна из нескольких — духовная бездарность — это как бы органический порок XX века! — и отсутствие посему... воображения. При возможностях ныне покрывать в полете все горизонты, стали мелки-близки и горизонты Мысли и тонких чувствований. Это плата человечества — расплата? — за гипертрофию прикладных наук, техники всяческой и, вообще, «мяса» в человеке. Что ж, логично и справедливо: «сама себя раба бьет... коли не чисто жнет». Но оставим это, — это не для письма.

Увы, «коли сюис» пока не разрешены для Голландии, писали мне из Цюриха, а я так мечтал — хоть маленьким чем тебя обласкать. «Душистый горошек» все ждет, сколько лет — тебя овеять.

Ответь мне на все вопросы, что писал раньше тебе. Где же ты жила во время наводнения? Как питаешься, чего не

хватает? Как «отходят» растения, деревья? Не могла же речная вода, — а в Схалквейке ведь затопили речной? — так повредить. Ну, картошка погнила, ясно, но малина должна оправиться, как и яблонный сад. Напиши мне, как идет твой день, какая твоя работа-забота, и целы ли многие твои знакомые и приятели-цы?.. Меня все интересует, что тебя затрагивает. Главное — здоровье твое как, и осушают ли — техника это успешно может — дом. Тем более, что лето было сухое. Лето... ушло, и не видал!

Ты так скупа на письма! Или — распад душевный и тебя коснулся, и уже не парИт душа? Нет, ты не из таких. Что же... истомлена? Да, конечно. Да сохранит тебя Господь, ты Его Волю исполняешь, — и Пречистая. Крещу тебя, родная моя. Ваня

97

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

5/6.IX.45

Твое письмо, дорогая Олюша, — 18 авг., с припиской от 23, — опечалило меня, за тебя. Я не знаю людей, о ком ты пишешь, и их «семейная история», так тебя захватившая «трагичностью», для меня невнятна, особенно в наши дни общечеловеческой трагичности, м. б. даже и безысходности. Большинство жизненных явлений меряется мерою относительною, и, конечно, после всего, нами испытанного, нами познанного, частный случай семейного недоразумения, м. б. и трагичный для самих виновников его, для дальнего, как я, меряется *лишь* тревогой за непосильное бремя, тобою принятое. В семейных драмах третьему лицу, хотя бы и тебе, с широким сердцем, трудно и бесплодно погашать огонь, сжигающий семейную ткань-основу: из твоих усилий, кроме тревог и неприятностей для тебя, ничего не выйдет, а если что и выйдет, так — непрочно. Тем более, что тут и нечто от душевного недуга. Да, притом, ты так неясно, так — даже — тёмно сообщаешь, что я ничего ровно трагического не ощутил, и причины развала семьи мне совершенно неведомы... Да ты и сама признаешься, что — «пишу даже гадко», — так все это, после всего страшного, действует на тебя.

Я, в тупом каком-то унынии, смотрю на «человеческое действо». Для меня так ясно, что на «экзамене провалились...» — все! И продолжают прежнюю канитель «провалов», не прозрев даже и ныне, когда так ясно даны «знаки и знамения»! Ходить по кладбищу и — лелеять жизнь! а

в душе встает пушкинское 13-строчное... отчаяние: «Свободы сеятель пустынный, — Я вышел рано, до звезды...»[440] Дочего ж был у-мен! это 25-летний-то!..

Вот почему отпадает для меня — во мне! — все случайное, текущее, незначительное, и не пишу тебе о лицах, близких, и — так-себе. Ну, раз хочешь знать... Елизавета Семеновна тяжко болела воспалением легких, месяца 3, и едва выжила, с помощью Божией, конечно; в частности, благодаря применению пенициллина и проч. — свыше 500 всяких впрыскиваний! Теперь отдыхает в Фонтенбло. Меркулов — все тот же добрый человек... побывавший... очевидно, в виду связанности с «Дарю»[441], как помощник старосты, и, вообще, с церковным... на рауте в по-со-льстве... хотя, конечно, мог бы и не побывать, как поступили два профессора Богословского института — Карташев и Зеньковский[442] (принявший священство), тоже получивший пригласительные карточки от «амбассадов»[i] на собрание в честь прилетевшего — на самолете — из Москвы митрополита Николая[443]. Остальное, пока, слава Богу, бытийственно-благополучно. Доктор на отдыхе, не видал его больше месяца. Болел он той осенью, довольно серьезно. Там, сколько могу судить, ничего не пременилось... к лучшему. Компрэнэ-ву?[ii] Словом — «действие продолжается». Дорогой наш профессор, умница, — все на той же твердой позиции. Не буду углубляться и бередить...

Хорошо, что хоть ты могла немного отдыхать, — пишешь — «и наслаждалась очень», — в прошлом году с 18 авг., перед тяжкими испытаниями. А у нас с этого самого дня-то и началось: мучительное и опасное освобождение от «захватчиков»... много пережито, мно-го... — не хочу ворошить. Конечно, было чудо. Париж висел на волоске, все главное в нем было минировано немцами, но приказанный Сатаной «апофеоз» не свершился чудом. Для «смотрящих в глубину» это ясно, до осязаемости. Ничего удивительного, что дети «аплодировали» убийствам, — немецкие дети, как ты пишешь. Такова была система воспитания, да еще народа, удивительно узкого, привыкшего к «пунктам», «шорам» и проч. Удивительно, дочего разболтана душа у другого, дорогого нам народа... душа с глубинами..! Невесело, дорогая моя Олюша... — и верь мне: ох, невесело! И вот, валится из рук работа...

---

[i] Здесь: «из посольства» (*от фр. ambassade*).

[ii] Вы понимаете (*от фр. comprené vous*).

Почему не написал тебе о продолжении «Путей Небесных»? Трудно передать содержание. Довольно сказать, что 2-ая книга романа, размером больше на 100 почти (если в печати) страниц — 1-ой, захватывает лишь 5 недель жизни моих лиц! Все — внутри: формировка Даріньки и ее сила. Ответь, цела ли копия первых 200 страниц романа? и — точно! — какие последние страницы получила? Как только будет разрешено посылать заказом печатное, я тебе вышлю: я делал копию. Последняя глава этой книги — «Пути в небе», — картина падения астероидов — 30 июля ст. ст., так называется «поток (ливень) "персеидов"», — кажется глазу, что он истекает из созвездия Персея. Пришлось почитать астрономию. Вот, неизвестные тебе главы: XVI — Свет из тьмы. XVII — Побеждающая. XVIII — Постижение. XIX — Признание. XX — Радости и соблазны. XXI — Испытание рассудком. XXII — Неосторожность. XXIII — Открытия. XXIV — Светлое новоселье. XXV — Чудесный образ. XXVI — «Благословляю вас, леса...» и XXVII — Пути в небе. Эти главы занимают со 193 по 294 страницу рукописи, что соответствует приблизительно 400 с чем-то печатным страницам, как в 1-м томе.

М. б. эта вторая книга романа — труднейшая: надо было образно дать, как формировалась Даринька душевно-духовно, откуда в ней ее сила, ее обаяние, что влечет к ней и влияет на окружающих. Все это в связи с «событиями», ибо в этих страницах мно-го событий, большей частью внутренних. М. б. читателям, — и неглубоким, — не будет «ску-шно». Надо было показать, что творилось с «чувством» Виктора Алексеевича, как он внедрялся в Даринькин «мир». Тут уже оба они «скреплены» на-крепко. Не могу судить, удалось ли мне все это. Доктор говорит — но на его суждения я не могу полагаться, ибо он, порой, — странно-ограничен, — «о, это еще глубже 1-ой части!» Надежней куда суждение умной Юли: она — в восторге... но тут надо считаться с пиететом к «дяде-Ване». А я, повторю, не судья себе. Да и писалось-то... в ка-ких условиях! Как бы — страда. Кузюмов странно-нежданно преломился! Предстоит теперь эпизодическое явление Вагаева... проходит «как тень». Многое в романе преломилось... Теперь надо бы писать уже широкими мазками, захватывая большие куски времени... но для сего мне необходим взлет и размах. Но где я найду этот «размах духа»?! Надо знать условия жизни... милая моя Олюша. Надо мне близкое, любящее сердце... духовную опору. Надо, чтобы передо мной был свободный простор... для чувств и

воображения. Где он?.. Надо найти силу совсем забыться. Можно ли? Надо знать современность нашу, ми-лая..! Она цепляет, она ранит. Открывшиеся мне ужасы «падений» в мире — давят душу. Не стану касаться. Надо знать и житейские условия...

Твоя малина должна выжить, как и сад. Он дышал, хотя бы верхушками. Затоплен был пресной водой. И не надолго. Я живу как бы в пустоте. Ты знаешь, как я любил и ценил жизнь, до мелочей в ней, много говоривших душе. Теперь... я недоумеваю... я растерялся... так все в ней шатко и так жестко. Около меня — мои бедные цветочки, одна скамеечка... и снова — ! — навязчивость моя, необъяснимая: я снова воспитываю лимонное деревцо... взамен погибшего в бомбардировке. Видишь, какой «упрямец». Нашел зернышко, и вот уже 9-й листик растет. Смешно и — трогательно, не правда ли?.. Снова я на диете... что-то вдруг вызвало боли... осень идет, острое время для ульсэр[1]... Скажи, прошу, что тебе послать: кажется, можно что-то посылать, мне прислали проспекты «коли сюис». Но сахара дают в них 200 грамм! У меня есть, чем питаться, да и много ли надо мне?!

Иван Александрович очень чутко отозвался[444] и показал себя верным другом. Только редко пишет. И ты — редко... Чувствую себя очень одиноким, — порой — до страшной тоски. Ив мой у родных на севере, девочка чудесно умна и жадно знакомится с миром. Юля чутка и трогательна, но редко видишь ее, — она вне Парижа. Современности не хочу и не могу касаться... — я как бы вне жизни, это мое усилие — для ухода всем духом в работу... в «Пути» мои... но часто бессилен отойти. О, как я вчувствовался в это пушкинское — «покой и воля»![445] О, какой рай утрачен!.. — и как же мало ценился он, «творческие возможности» в нем, в минувшем и невозвратимом. Я никогда не был «реакционером», ни политиком, и вот ныне я так остро чувствую, чтО утрачено, даже в таком несовершенном, каким, во многом, было прошлое! Как «шумы жизни» лишают силы творческий дух, воображение! А ныне не только «шумы»... а — непрестанный подземный гул, на смену как-будто умолкшего наземного грохота разрывов. Мне горько, уныло, холодно.

Я, как мой «герой» из повести «Это было»... — вышедший из «гроба» засыпанного окопа и отдыхавший —

---

[1] Язва (*от фр. ulcère*).

чуть — в тиши, среди цветов и птиц... — ты помнишь? Но разве можно сравнить то — с этим!

Господь с тобой! Как мало пишешь мне о жизни! Почему погибла твоя птичка? — правда, какой несовременный вопрос, когда... Но все, касающееся тебя, мне дорого. Какие же твои планы? Но, главное, как здоровье? Пиши же!.. Или — и тебя забыть, как многое?.. Целую тебя нежно, умные глаза твои. Ваня

Чудесна веточка вереска! Спасибо. «Цветы пустынных мест...» Помнишь — «Вереск» — в «Сидя на берегу»[446]..?

98

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

6.IX.45

Мой милый Ванёчек, наконец-то могу тебе написать. Все это время как в колесе: были национальные праздники. Нам неловко выделяться от крестьян — сочтут гордецами. Потому вовлеклись таки. Были 2 дня торжеств: 4—5 сент. 4-го началось все торжественным аллегорическим шествием. Я с еще одной семьей составили тоже частицу этого шествия. На большой платформе, запряженной парой здоровых лошадей, установили, сделанную мной (в нормальную величину) корову (!!), корову-автомат. Надписи объясняли, что за последнюю голодную зиму никаких обычных коров не хватало для питания голодных. Под выменем стояло ведро, а из сосков... текло «молоко», — как думали зрители, на самом же деле толстая нитка, промазанная кальком[i]. В ведре лежали бутылочки с молоком, а кругом коровы и меня толпились дети — горожане с пустыми бутылочками, прося молока. Я брала их и ставила в ведро под вымя, качала помпой — хвостом и вынимала бутылочки с молоком.

Эффект был полный. Корова сделана идеально, до мелочей, все кости видны, хребет, возвышение у хвоста, рога настоящие. Некоторые думали издали, что мы телку везем. По углам платформы стояли и сидели в национальных костюмах крестьянки и делали сыр и масло (по-настоящему), мололи на кофейной мельнице муку и пряли шерсть: делали все то, что было запрещено и так, как только можно было делать, таясь, т.е. очень самодельно, как все это зимой делали, по-домашнему, т.к. опечатаны были маслобойки.

---

[i] Известь (*от нем. Kalk*).

Над всем этим деланием был в стихах «лозунг» «C.C.D. (центральная служба контроля, — т.е. просто контролеры-сыщики) в постель, — у мужиков начинается потеха». Этот плакат писала я и снабдила его карикатурой из жизни: [кландестинная[i]] колка поросенка и прятание последнего в постель хозяина. Вышло очень хорошо. Платформа была украшена гирляндой и цветами, флагами и т.п. Все в костюмах. У меня прекрасный есть костюм свой, только взяла голландский чепчик данной местности (т.е. Shalkwijk'ский). Всего было 36 платформ, очень хороших. По программе должны были изображать недалекое прошлое, настоящее, будущее. Оригинально и метко было изображено: немецкий солдат целуется с девчонкой, за ним канадец с двумя в обнимку, за этим голландец в национальных лентах... один. Как у Вас, не знаю, но у нас это так. Бабы с ума сошли. Шествие было очень красиво. Мы получили II приз. Мне кричали по пути: «это корова получила»! Я была так увлечена шествием, как таковым, солнцем, музыкой, что и не думала о призе. Днем были игры детей и всякие забавы. Вечером все праздновали в «местном собрании», был куплетист, юморист и т.п. Все танцевали полонез. Я хотела «смыться», но меня заметил здешний врач уходящей и остановил остаться до полонеза. Я была с Сережей. Арнольд не любит подобных торжеств. Я же считаю, что уклоняться от общей жизни нельзя. Вчера утром раздача призов и спорт. Чудесно было с лошадьми. Ч у - д е - с н о! 64 коляски состязались в бегах. Все лошади почти премированные, породистые. Я жалела, что Арнольд не устроил для меня коляску. Могла бы ехать в русском костюме. Было много в костюмах. Только вечером пришли домой с «ипподрома». Был уже гость — один верный наш клиент из Утрехта, русский. Около 12 ночи вздумали пойти посмотреть, как веселится Shalkwijk. Обошли все «кабачки» по 5 минут. Забавно, что всюду сталкивались с комиссией по устройству празднеств — все-таки интеллигенция. Ходили потом вместе «любовались», как могут веселиться. Сегодня все нормально, даже урок музыки был. Играю теперь сонатины, м. б. скоро начну легкие вещицы Моцарта, Шуберта, Чайковского из сборника для детей. Знай наших!

Я закружилась в делах. Приехав от золовки (она совсем больна!) попала сразу на груши и сливы, которые прислали нам. Надо все это стерилизовать. Потом еще другое стерилизовать. Стирку огромную сделала, больше 150 шт. Отда-

---

[i] Тайная, скрытая (*от англ. klandestine*).

вать еще нельзя, мыла нет. Из Америки мне выслали посылку, среди вещей и 6 кусков туалетного мыла. Но я бы лучше хотела простого для стирки. Еды нам совершенно достаточно, только нет сахару, его тоже пришлют из Америки. Дают очень мало, но все же дают. Соли совсем не дают. А надо овощи солить. Беда. Покупать, даже за бешеные деньги, тоже негде. Кило соли 40—45 гульденов или 17 яиц. Последнее было бы мне приятней, но теперь у нас мор на куриц, какую-то болезнь получили во время нашей эвакуации. Ванюша, затопление водой по-разному отразилось на растениях в зависимости от глубины и срока залития. 2 метра глубины в продолжение 7—8 недель не столько сыростью испортили дело, сколько «раздавили» тяжестью все растущее. Когда мы в резиновых сапогах ходили по глубине в 1 м, то чувствовали, как давила вода сапог. Например, жасмин: куст впереди дома стоял 1/2 м под водой недели 4 и только чуточку поболел. Сирень погибла.

Жасмин подальше 1 м — долго был голый и сухой, только теперь несколько листочков, еще дальше 1 м — погиб. Малина была 2 м под водой — вся погибла. Но это все ничего. Я не страдаю. Я в хорошем состоянии, хотя впереди неизвестность. Я рада как-то органически, что кончилась бойня и счастлива каждую минутку. Атомная бомба — жуть. Я боюсь о ней думать. Это что-то от... «Силы небесные поколеблются»[447]. И вообще, ты, конечно, прав: очень немногие поняли то, для чего нужен был чистительный огонь. Все совершенно так же скользит по поверхности, как и до него. И вот у меня тоже все суета, суета. С самого начала тяжелых дней сентября прошлого года, я вела дневник до 1-го мая 1945. Могу все воспроизвести. Могу написать, если бы *только села за писание*. Хочу вот еще в газету написать кое-что в защиту крестьянства, которое очень уж клеймят горожане, разжигают страсти. Любовь надо и единодушие для отстройки развалин, а не злопыхание. Все-таки думаю поехать на родину, хоть на несколько недель. Уверена, что я-то смогу. Вообще, у меня никакой вялости. Хочу дела, *только бы время*! Мой хирург еще в Цюрихе. Очень бы хотела, чтобы он повидал И. А., и привез его книги, но просить стеснялась. Он сам по себе И. А. боготворит по одной его книге. Dr. Klinkenbergh хотел меня тоже устроить от Красного Креста за границу поехать, но это оказалось очень трудно. Сам он массу работал и работает. Врачи держали себя на высоте при немцах, очень решительно отклонили предъявленные им требования, по которым предписывалось бы «выводить в расход»

13 — 11249

стариков и безнадежно больных, равно как дефективных детей и т.п. Dr. Klinkenbergh был герой, не боявшийся за себя лично. Когда в ответ на протест врачей их стали арестовывать и хватать (1943 г. июль), — он сперва было, послушался советов директора больницы и уехал в Shalkwijk к сестре, провел часа 4 и вернулся обратно. Мне он потом говорил: «Я не смею оставить больных, есть же срочные операции, пусть меня берут, сажают, но добровольно я не ретируюсь». Только «на всякий случай» тогда просил сестру зайти к нам и сказать, какое положение врачей создалось. Я предложила ему во всякое время наш дом для укрытия. Но он остался на посту. Массу людей спас. Работал и нелегально, спасал людей от уводов на работы. Сереже тоже выдал свидетельство, что он болел и дал нам возможность более спокойно ожидать облав и обысков. Сережа был в страшно опасной «переделке». К счастью, мы ничего не знали. Немцы бы его прямо застрелили, если бы поймали. Но мне не хочется ни о чем больше вспоминать. Я так рада, что война кончилась. Жутко подумать только, как обнищал мир. И ради чего? Голландия нищая стала. Ничего здесь нет.

Но что такое Голландия, если из Америки пишут, что там 1 фунт масла на месяц дают и почти что никакого мяса, кроме консервных сосисок и рубленого мяса в банках. Но хоть бы люди образумились и получше стали.

Ванечка, как у вас с продовольствием? Как же у тебя дела, если печататься негде? Я о тебе волнуюсь. Толен собирался, собирался в Париж. Письмо мое к тебе у него давным-давно. Теперь, кажется, поедет. Хоть бы что-нибудь послать тебе! Ехать должна была еще Беатрис в Париж, одна девушка русская, я ей дала тебе письмо. Сегодня получаю от нее... все еще здесь. Не может отлипнуть от «дружка» своего. Это целая история о ней. Она тебе сама расскажет. Много я с ней чего напереживалась, она совсем как-то без всякого направления в жизни, но сама неплохая. Дала ей «Пути Небесные» читать, но она по складам порусски то читает. Не кончила. А мне книгу ни за что не хотелось ей давать. Я твои книги берегу, как зеницу ока. Они все целы. Письма [у нас] дома из сейфа. Все цело. А вот в Arnhem'е в одном банке пришли немцы, потребовали директора, взяли у него ключи от сейфа, вскрыли, ценности взяли, а бумаги разорвали. Один из самых крупных банков. Сережа туда случайно только не положил свои деньжонки. Это же боялся и банк W. в Dnurshed'е, там, где были твои письма. Грабеж был вообще ужасный. Даже есть фильм — снят грабеж Arnhem'a, когда немцы тащили все

от дорогого фарфора до ночных горшков. Но это все ерунда, а вот люди... У нас в Shalkwijk'е была чета, мастер деревянных башмаков. В 1943 г. укрыли евреев, без корысти, себе в убыток, не за деньги, а за то, что еврейка родить должна была, а сама хозяйка была бездетна и мечтала хоть этого малютку понянчить. Потом еще еврея немецкого приняли, хозяйка стала всем говорить, что она сама беременна. Никто кроме врача не знал тайны, вся родня радовалась, что после 15 лет замужества, вот вдруг ребенок. А та по мере надобности все подвязывала подушечки к животу... Все верили. Ребенок родился у еврейки трудно... А когда родился, его записали на имя башмачника, и хозяйка лежала в постели, принимая поздравления родни. Играла свою роль чудесно, вела исподтишка хозяйство, ходила за больной роженицей (та 7 мес. была между жизнью и смертью), а как кто идет, так прыг в постель с младенцем. И вот в один день все открылось. 5 жандармов всех их оцепили и увели. Башмачник сам больной, еле живой. Жена его молила, плакала, в ногах валялась: «Оставьте мужа, он не виноват, это я, я хотела из-за ребенка, я виновата»..! Их угнали. В Shalkwijk'е все старались освободить их, но кто мог вызволить кого-нибудь от военной немецкой власти? И вот теперь она вернулась, жена, а муж? Никто не знает, ни где он был, ни жив ли он, ничего. Все думают, что умер, т.к. те муки, что ей выпало перенести, тому больному было верно не под силу. Младенца тоже взяли. Евреи никто не вернулись. Башмачница получила свой домик снова, но не живет, не ночует, уходит к матери. Вся сломана, сожжена жизнью. За что? И сколько такого... А это вот под боком, всякий день видим заколоченный домик. В Arnhem'е забирали евреев несмотря ни на больных, ни на умирающих. Одну роженицу во время родов взвалили на фуру. Она там и родила. Ребенка тут же взяли, как котенка. Куда? Не будут же его немецкие жандармы из рожка выкармливать. Убили, конечно. Я у кошки котят выкидывать даю с мукой. Нет, плохо, плохо обстоит с людской совестью. Чего же удивляться, что атомы разложились... Да все разложилось.

Ну, Ванёк, целую и благословляю. Оля

Пиши! Жду о «Путях»!

Прости кляксы — перо течет.

99

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

17.IX.45

Дорогой мой Ванюша, спешу ответить на твое письмо, которое пришло в субботу (15-го)[448], чтобы ты не чувствовал себя «забытым» мною, чтобы не тосковал ненужно. Как твоя язва? Неужели опять начнется? Я часто тебе писала, но письма *должны были идти с оказией, а те люди все не* уехали. Скоро собирается Толен. Еще одна девица хотела к тебе зайти. С Толеном так бы хотела что-нибудь послать тебе. Мы из Америки получили посылочку (от одной семьи русских евреев, берлинских, которых я с 1938 г. — 1940 вытягивала и... вытянула таки от немцев, правда, внеся за них большую сумму; которую мне дал, видя мои старания и разочарования сперва мой свекор, а остальную сумму еще один тип и мы сами). Это очень хорошая семья, по духу почти что христиане, особенно она. За меня она в Ольгин день *посылает ставить* свечку, и чего только не делали, чтобы отблагодарить. Теперь шлют посылки: первая с чаем (!), кофе (!!), какао, рыбные консервы, сардины, нитки, булавки, вторая еще не пришла, но там и сахар, и спагетти (!!!) и соль (!!!) и рис (ура!) и чего только нет. Они всегда очень все делают к моменту. Сахару у них тоже дают мало, по 1/2 фунта на неделю, — тем трогательней. Теперь я могла бы тебе что-нибудь испечь! Как бы я хотела послать тебе песочничков, или еще что-нибудь. Мне ничего не надо, все теперь есть. Даже вот чай и кофе прислали, а сестра Арнольда предлагает вещевые посылки. Я открою на их конто счет здесь и тогда свободно буду просить о всем, что надо. Так что ты не волнуйся — у меня все будет. Сегодня пошел первый автобус, а то мы сидели отрезанные от всего мира. Ванюша, как горько, что ты так безрадостен... Это мучительно, — я так это понимаю. Ты прав — провал полный, но меня это не сразило <u>теперь</u> так сильно, как тебя, т.к. я этот провал уже давно перестрадала, это же давно видно было. «Разболтавшаяся душа» как ты пишешь — это большая для меня загадка, и <u>ее</u>, и только ее, стоило бы еще во всем этом хаосе узнать и изучить. Я смотрю на эту душу светлей, чем ты, верю, что она ж и в а я.

Я тоже прихожу в ужас, видя все такое скользящее по поверхности, <u>играющее</u> в Бога и религию. Чувствую цинизм какой-то во многом, но я <u>не</u> унываю. Я чувствую себя хорошо, как-то, без особых причин, <u>радостно</u> и это мне опора, потому что интуиция меня редко обманывает. Среди

легкомыслия, ошибок и зла, которых очень, очень много, нельзя затеряться голосу добра. Добро и правда живут, и вот именно теперь должны быть активны и бодры. В унынии ничего нельзя создать. Как много теперь работы. Для каждого, для всякого. Я это чувствую. Пусть на весы будут собраны все крупички добра. Нельзя ретироваться. Я только не знаю, где и как я могу быть полезней, но знаю, что в нужный момент все станет ясно. Надо быть готовой к действу добра. Иногда, вот зимой этой, простое ласковое слово так могло помочь. Я не знаю, что несет будущее, но в каждый данный момент надо непрестанно творить хорошее. Ах, чего я философствую...

Как я завидую моему хирургу, что он в Цюрихе и мог бы, если бы захотел увидаться с И. А. ... Как бы я его хотела увидеть. Я не сомневалась, что он все такой же, как был. Из всей его переписки было видно, как он мыслит. Никаких писем после мира я еще от него не имела, м. б. с доктором что пришлет. Он не щедр на письма. Здесь все потихоньку приходит в норму. Если подумать, что в конце мая мы счастливы были, что получили воду, а теперь уже автобус ездит, и свет, и радио, и уголь обещают, хлеба достаточно, мыло стали давать, масло, немного сахару, электрический гейзер могу для ванны греть! Керосин давали... Поезда ходят, телефон есть, можно всю ночь на улицу, почта есть и телеграф даже, а ведь всего этого мы не имели 9 месяцев. И главное, нет сознания, что где-то рядом идет б о й н я, голод... Бойни нет! Вот отчего я радостна. Я ночи не могла спать порой от этих представлений бойни. И жили каждый своей заботой, не зная о близких и не имея возможности дать знать о себе. Ни почты, ни газеты, ни телефона... Как только все это влачилось. Но все, все надо забыть, набраться новых сил и работать. Нет, Ванечка, моя малина не встанет — корни сгнили, я смотрела.

И не только малина. Вчера вечером умерла одна из наших лучших коров (породистая), та самая, которая, будучи телушкой болела, и я ее выходила. Помнишь? Чудная была корова... У нас почти что не растет трава после воды (одна сорная), и столько всякой нечисти завелось после воды. На траве появился грибок, который проник в легкие «Жанны» и она задохлась. Ничто не помогло. Арнольд не согласился ее отдавать на колку и решил лучше материальный убыток (тысячи теперь) понести, чем самому ее дать убить. Ах, это страдание... так вот терять! Моя птичка умерла 16-го дек., когда у меня стояли солдаты. В единственной отопляемой комнате толклись 4 солдата и все мы

вместе, тут же и птичка. Иногда мы, чтобы почувствовать себя на момент «дома», уходили в холодную комнату от них всех, но нельзя было там жить. Дверь не стояла на петлях, курили какой-то табак, как зелье, птичку дразнили пальцем, хватали... И один солдат утром мне ее мертвую и дал. Что они ей сделали? Ах, не знаю. Она была здорова. В комнате тогда не я была хозяйка. К ним приваливали еще другие солдаты. А Сережа так не очень-то и показывался. И сидели мы очень смирно, где уж расспрашивать о птичке. Ах, больно мне все это. Не дом был тогда у нас, а — извини — бардак. Девок с собой таскали, а маму хотели выбросить из кровати. В общем, я все лизолем потом мыла. Не забывай, что у нас под боком стоял всю осень и зиму фронт. Не знаю, как бы я все вынесла, если бы не запаслась силами в прошлом сентябре. Была дивная погода. Я поставила условием не жить «в семье», быть совсем свободной. Много рисовала. Написала один рассказик... будто мне его пчелки напели.. Их там были тучи... милые, добрые, не жалили. Странный был случай... Когда я первые дни гостила, то часто слышала разговоры золовки о какой-то больной старой русской даме, проживающей в «Rysthuis» (дом отдыха, — только не в том смысле, как в Советской России). Я не вникала, не хотела вникать, ибо умышленно отходила от всяких забот, болестей и т.п. Я скверно себя чувствовала душевно. И вот однажды золовка прибегает и говорит: «она умирает, доктор местный говорит, что у нее рак...» рассказывает симптомы... Я говорю: «Не может быть рака, у такой старой, ей 75 лет было, не мог рак проявиться так "akut"[1] и, вообще, все как-то непохоже...» Решили вызвать ее сына из Амстердама. И вот лежу ночью и думаю: «У нее ведь желчный пузырь был всю жизнь не в порядке... Это перфорация желчного пузыря...» Меня томило, что ночь, что ничего нельзя предпринять, да и все бы меня сочли за сумашедшую, если бы я с своими заявлениями разбудила кого. Скажу кратко, что пансион, где жила больная, — чистое гнездо разбойников. Хозяин был, по общему мнению, чуть не разбойник и похоже, что в заговоре с доктором... Да, да... Черт знает что было! Целый роман! К утру заснула я... и снится... доктор Klinkenbergh у меня в гостях, и я наливаю ему чай... а это не чай, а желчь... Он смотрит строго и говорит: «2 недели раньше надо было»... Я просыпаюсь и утверждаю уже: «У нее перфорация пузыря, немедленно оперировать». С сыном (русский офицер)

[1] «Остро» (*нем.*).

мы вызвонили Dr. Klinkenbergh и тот, до трогательности, откликнулся. Я все ему рассказала до мелочей и прибавила, что больной необходимо, на мой взгляд, вливание раствора соли, т.к. она не пила ничего днями. Dr. Klinkenbergh сам ездил за бензином, сам заказал автомобиль... это было в 2 ч. дня — наш разговор, а в 5 ч. больную уже привезли в Утрехт. Это был последний день перед штурмом[449]. Через 2 дня, я с опасностью для жизни и великим трудом ехала домой. В Утрехте должна была найти телефон (тогда их имели еще врачи) и дать знать домой, чтобы выслали лошадь. Пошла, конечно, к Dr. Klinkenbergh'у. Он выбежал восторженно-возбужденный с криком: «Я говорил, что хотел бы работать с Вами как лаборанткой... теперь хочу назвать Вас *моим коллегой!*» Я, оказалось, совершенно точно «поставила диагноз» Dr. K[linkenbergh] уверял, что это очень трудный диагноз. Он, благодаря моей безаппеляционности, заказал и вливание соляного раствора и больной тотчас же могли дать влагу. Он оперировал ее мастерски, отыскав за бешеные деньги какой-то очень хороший наркоз, как раз... на одну операцию. Старушка выжила. Сын ее... сперва с резервом слушавший мои хваления D-r'у Klinkenbergh'у, — схватил мои руки и благодарил в слезах, повторяя: «Это не врач, — это золото, золото»... Dr. K[linkenbergh] сказал, что это мелочь, то, что он сделал, что для русских, которых он любит за их душу, он готов на гораздо большее. Затем он еще бывал у нас, среди разгрома и суеты военной, в восторге рассказывал о больной, Сережу уверяя, что это не он — Dr. K[linkenbergh], а «вот сестра Ваша спасла ее»... Я послала ей вишен уже, через 8 дней она могла встать. Dr. K[linkenbergh] сделал чудо!

И вдруг... старушка, слышу, скончалась.

Dr. K[linkenbergh] чуть не плакал. Оперировать больную 75 л., лежавшую 2—3 дня с животом, полным желчи, ничего не евшую даже, ослабшую, после транспорта в 90—100 километров... Оживил ее, спас... И вот..! Оказалось, что больницу, где она лежала, потребовали немцы под госпиталь и всех больных должны были в течение 12 часов убрать. Dr. Klinkenbergh сам просил властей хоть одну комнату пока оставить для тяжело-оперированной... Его и не слушали, сказав: «Krieg ist Krieg»[i]. Старушку повезли куда-то чуть ли не на телеге, т.к. все уже было реквизировано для войск. Она металась дорогой, и поднялся жар. Умерла от слабости, просто от жара. Klinkenbergh долго

---

[i] «Война есть война» (*нем.*).

был под влиянием этого. Его поразило мое решение так круто взяться за больную, наперекор и даже тайно от местного врача, настойчиво утверждая необходимость операции. Если бы не военные события, то следовало бы расчистить гнездо, где она лежала, т.к. там ее просто оставляли умирать, чтобы разграбить ее очень шикарные вещи. Что частично и случилось уже. Помню, как на мое предложение звонить хирургу, обрезали меня: «Оставьте, пожалуйста, это не хирургический случай»...

Но интереснее всего то, что когда она уже скончалась, Dr. K[linkenbergh] пришел к нам и стоял точно так, как у меня во сне и сказал: «2 недели раньше бы оперировать... она бы уже ходила»... Мне даже жутко стало. Какие странные бывают вещи. Все это тогда крутилось вместе: и фронт, и бомбардировки, эти впечатления от больной, штурм страшный, — вроде смерча, скосивший массу деревьев, сбивший яблоки и груши. Так помню все живо. Я привезла из отпуска спокойные нервы и тетрадь с акварелями. Перерисую для тебя — пошлю. Так дивно было. Я целыми днями лежала в лесу, в вереске, слушала пчел и стрекотанье сороки... какой был воздух... Я боялась думать о Париже... не читала газет... знала сердцем, что ты будешь невредим. Вечерами сидела под звездами в пол-ной тишине. Дом стоит на пригорке, кругом только вереск — лиловый ковер и леса. Чудесно. Все было странно с этой больной дамой: эти места, где жила она, хорошо были знакомы доктору, т.к. он сам там провел отпуск накануне и мне еще советовал тоже туда ехать.

Теперь я была 5—6 дней у Елизаветы снова... но как-[то] иначе... Ты не можешь, конечно, составить из моих отрывков представления о всем положении. Не было и речи о моем посредничестве между супругами (настолько-то и у меня есть жизненного опыта), — было серьезнее. Мне только в минуту откровенности Юрий доверил, что и к нему у нее отрицательное отношение. А причина в болезни, и ее надо лаской ли, теплом ли, хитростью ли просто увезти на отдых, пока она не стала душевнобольной. Причин было достаточно для ее болезни: голод, полный дом нахалов-беженцев, постоянные налеты-реквизиции немцев, сожжение целой деревни (около их) и увод ± 700 человек, из коих возвратились 13! — полумертвыми от истязаний и умерли уже на свободе. Много, или почти все были знакомые моей золовки. Весь этот кошмар переживали отрезанные от всего мира, там, в вереске и лесах. У них даже сломанные велосипеды взяли. Масса была провокаций и т.п. И затем бои в Veluwe, т.е. в их вереске-то. Ни подвалов, ни убежищ, а

просто на милость Божью сидение одетыми, ожидание смерти. Она стала скелетом, ничего не хочет, кроме уйти из жизни. Такой реакции я насмотрелась у многих здесь. Голод-то ведь действительно не тетка, а он у нас тут был жуткий, не то, что в «Солнце мертвых», а, пожалуй, и похуже: не надо было никакой политической установки для увода, истязания, расстрела, сожжения, — а просто достаточно было решения немцев столько-то деревень оцепить и дать своей волюшке разгуляться. Брат моей прислуги был схвачен по дороге в церковь и ни за что, просто потому, что решено было мужчин той деревни угнать, — взят как заложник. Его истязали до отказа и теперь он без одного легкого и без одной почки в 22 года!* Все это отразилось, и не могло не отразиться на населении. И именно теперь выходит все наружу, как черные пятна плесени на наших стенах после воды, — только теперь выходит. Все почти, так или иначе, пережили нервный шок. Елизавета, как сильно надорванная и физически (она каждое утро, в 4—5 ч., ходила сама рубить дрова в лес), — мы не могли ее ничем почти поддержать, т.к. были отрезаны, только гороху и масла один раз удалось послать, — она сильно потрясена. Теперь их гонят опять из дома, — они же были тоже беженцы с 42 г., с побережья, а теперь им надо обратно. У нее сил нет на переезды. Вот я и была, просто подбодрить, коечем помочь. К отцу их свозила, тот им свой дом отдал, чтобы не (опять) в кучу с другими идти. Сняла в Shalkwijk'e ей комнату и в начале октября жду ее сюда для отдыха. Говорила и с врачом. Мужа ее тоже надо было развлечь, — он как сыч один в их несчастьи и изголодался без единого русского словечка. Ни церкви, ни души родной. Для них обоих необходимо на несколько недель отдохнуть и друг от друга. Трудно в письме. Здесь-то это общее явление после этих замечательных 9 мес. осады. Они же под боком в Arnhem'e живут. Нагляделись и начувствовались. Ну, целую, Ванёк. Оля

100

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

25.IX.45

Дорогая моя, светлая, душа-Ольгуночка, твои последние 2 письма — радость, свет мне, перечитываю и переживаю

* Тот факт, что это теперь кончилось — уже достаточная причина для радости и благодарностей Богу. Не знаю, писали ли у Вас о голландских ужасах, — они собственно неописуемы.

их. Чувствую, что жива душа твоя, прошла через ад, и он не коснулся ее чумным своим угаром. А сколько всячески надломлено, сломлено и заражено! Сердце — было тебе щитом, живое, страдающее о всех и за вся сердце. Это — самая моя большая радость за эти тяжкие години. Сильная душа твоя живит и свое жилище, ты — слава Господу! — здорова, слышу — поешь, бодра, крепка... Буди, буди и впредь. Милая, голубка... что же ты не отвечаешь, — а я так жду! — чтО последнее из «Путей» получила? Надо мне, чтобы дослать все. Теперь можно заказным, бандеролью. Эти две недели... — боли оборвались, я могу писать, — я прорабатывал последнюю треть 2-й книги романа. Поверишь ли? Последняя глава меня истомила: чуть не 7—8 редакций-вариантов! А всего в ней 5 стр. Кончил, установил. Как только получу ответ — немедленно отправлю тебе. Думаю, что с 201 страницы у тебя не имеется дальше. Никогда так горячо, — «до дрожи!» — не желал так, как ныне, завершить «Пути»! Чувствую, что «крушение» — а это так и есть — «погром Духа в мире» — гонение на Высшее в мире... (все пережитое, дикое!) — повлияет как-то и на дальнейшее развитие работы... — ты это почувствуешь. Не могу по мелям влачиться... взыскует дух высот, по ним томится, хоть я и бренный... Помоги, Господи! К концу жизни глубже постигаешь, какая огромная ответственность на писателе. Если уж и «творчество» сникнет, офабрикуется... — что же останется!? Разумею под «творчеством» — все от духа, — Вера — во главе. А «провал»-то и есть [в] этом «гонении», умерщвление, и — умирание. В твоих письмах я встретил ободряющие черты жизни: не оскудевает еще человеческое сердце. Башмачница... (твое предыдущее письмо) — это уже эпическое..! Хирург... — !!! — Господи, еще жив Дух твой в мире! А ты, Оля..! Склоняюсь перед тобой, восхищаюсь тобой, горжусь тобой, пою тебя... сердце твое благословляю. Вами, такими, стояла и все еще стоит Жизнь. Жив мир?! ...

Чудесно ты описала — показала «праздник». Вижу все. И — тебя! Довольно ужасов! Умоляю: наполни дневник! все воссоздай. Необходимо. Бездарные журналисты и прочие «герои» — дают лишь «грязь», «плесень», вонь... — надо давать правду, — пусть запытанную, изнасилованную, растленную жизнь, а не скверный и себялюбивый «репортаж». Помнишь, сколько раз советовал тебе «взять центром темы ферму»! Видишь, что может получиться?! ... Эпопе-я... «Распинаемой Жизни», трагедия-мистерия, ибо все пронизывается борьбой двух

извечных сил: Неба и ада. Оля, я говорю с болью: сделай. Твое сердце поведет тебя, твоя мера укажет — как. Не спеши. Скоро только — лишают жизни. Все творческое требует глубокого, долгого дыхания. —

Сколько всего, в мыслях!.. не хватит сил сказать. А что видим? Читаю газеты... частью и иностранные, швейцарские. Ничего! пустыня. Выхолостились. Ну, кажется, камни возопиют... а «писцы» по мели, в тине и грязи плещутся. Будто все «вечные вопросы» живьем зарыты, про-биты, искалечены... брошены, как падаль в «общие ямы». Новое «На пеньках» писать?.. Дыхания уже нехватит, голос сорван... кляп воткнут в глотку...

Как существую? Никак не существую. Взираю. А прочее — о чем тут думать? Я знаю, родная, твои тревоги, думы... Мой «быт» — прежний, лишений нет, да я и не считаюсь с этим. Ни-чего не посылай мне, все есть. Вот, из Холливуда получил отличную посылку, да куда же мне?.. Помаленьку растрясываю. А то вдруг... 4 — из Швейцарии. Там ведь у меня и издательства есть... и свое. И — читатели, как ни странно ныне! Вспоминают..! На свете, воистину, страшно. Не «бомбы», не «бухенвальды»... а: почему это?! Вот.

Ну, так можно до беспамятства «задаваться». Оставим.

Чудесно, что — в музыке ты, рисуешь, пишешь. Пи-ши. Буду рад, если пришлешь как-нибудь твой акварельный цветок. Вереск! Совет: оставь и думать — писать статью в газеты. Не твое это дело — «злоба дня». Воздержись, прошу! Долго объяснять. Ты не журналистка. А что напишешь — не для «оберток» и подтир. Боже избави тебя думать — ехать на родину, хотя бы на один день! По-мни: Боже избави. Пронзишься. Не делай больно мне... — это добьет меня, мое. Мало было ужасов? надо пополнить, чтобы сердце разорвалось?.. Помни: поезд слетел с путей, и теперь прыгает по шпалам, в судорогах, чтобы свалиться в прорву! Это же так ясно... — только еще толчок — и... никакие S.O.S. не помогут. И сие скоро будет, близится. Такая «серия», счастливая выпала... — и так будет до... конца-небытия или — до... Пришествия, либо м. б. послед-него Откровения. Ведь так ясно, что выхода нет из рокового тупика! Бессилие. Устроение Жизни потугами ума, расчета, — и только этими средствами... привело и дальше еще приведет... — к смерти, концу. Дожить до... «уколов»! до такой «химии»..! Заставлять врачей..! А немецких врачей не надо было и заставлять... не всех, понятно... но — «первую песенку зардевшись поют», а там — распо-ются!

М. б. и бывшие сослуживцы по клиникам и лабораториям... — жили такой «химией»? И будут еще поигрывать на гитарах и «рвать струны»? Тебе не странно, что нигде не слышно о «конгрессах педагогов международных»? а!? ... философов и моралистов? а? Папа лепечет нечто... а, ведь, на какой ка-федре-то!.. Кажется, деятели протестантизма оказались на некоторой высоте, в сравнении с прочими церковниками... а уж о близких и не говорю: авиацией увлекаются, *поле-тывают*, *а другие пере-ле-тывают*. Знай крепко: ничего не изменилось. Близится пора, когда опять начнут поливать грязью «эспас жеографик»[i] и «исторический нонсенс», этих «кочевников без истории, культуры...» это «историческое недоразумение». И какой-нибудь обсосанный хлыщ задаст тебе вопрос: «а скоро ли вы, сударыня... станете настоящей... "иностранкой"?» М. б. близко время, когда все будет потеряно, что ныне округлилось. Потеряно... подлинно, исторической..! Помни: «уже секира у корня дерева лежит...»[450] Вспомни «О рыбаке и рыбке»...

Опять я съехал на «пред глазами». Довольно. Не прими эти пени за ворчанье старика, всеми и всем недовольного: это — давно болевшее, ныне — ан фламасьо[ii]. Еже писах — писах. Вот оно, настоящее-то, обмолвленное Грибоедом: «горе от ума»! Ну, если бы уж от... глупости! А то ведь от «точного расчета! Отнято «сердце» — и уже не в силах вернуться к — «будьте, как дети»[451]. Утеряно и воображение. «Прометей»... без штанов! Промотавшийся «прометей»! Полез за огнем, схватил и... прогорел. Врачи со шприцами, митроносцы с самолетами, боги-Салманассары[452] с... циан-кали! и... что еще? Это ли не бедлам всесветный?! И вокруг всего этого — журналисты-юбиляры, и орет все-лгун XX века — радио, и «разлагается» атомический всемертвец. В былое время такой «ансальб»[iii] завершался или потопом, или серным ливнем, тонула Атлантида... — все-таки масштабчик космического представления, а ныне... — капсюль с циан-кали, — тарантелла людоедов на морде своего Вождя с его метрессой[453] под гром рукоплесканий... чертям тошно! О-пять 25! Будя. — Могу ли доверить девице Б.[454] твои духи — душистый горошек? Истомил он меня. Мысли кипят, а руки в кармашках, — вот и делай вывод, как я живу. Темка: выбрать заповедник, какой-нибудь приятный островок. Поискать днем с огнем

---

i «Географическое пространство» (*от фр. espace géographique*).

ii Здесь: воспалившееся (*от фр. enflammé*).

iii «Комплект» (*от фр. ensemble*).

мудрых воспитателей... ну, хоть даже 19 века... чистых девушек... *Таню, Лизу... штук пяток подвижников «живой* жизни», ст. Варнаву, Амвросия Оптинского, еще там... с полсотни Арин Родионовн... и сотни три-четыре трехлеток, Ванёнков и Олёнков... и — «оставить их в покое», вне промететчиков... лет так... ну, на *15—20. Была бы закваска.* Ведь миллионы тратились на зоологические сады! Почему не рискнуть? Такая бы милая выставка была чудесных «старосветских помещиков»![455] В назидание издыхающему потомству. Скостить бы годков двадцать... написал бы преинтереснейший фантастический роман. В развлечение заскучавшему потомству творцов газовых шамбров и фу-ров[i] для «жареных баранов», — по рецепту Полифема XX века...

Но пока «жизнь жительствует»... — дыши, молись, «играй, дитя, не знай печали...»[456] забудь о страшном сне... и — согревай озябших жаром сердца, но... «не уезжай, голубчик мой...»[457].

Ах, Олёк... горько мне, родная... По-думай, ско-лько всего — на-смарку. Окинь воображением: ка-кие были дости-же-ния! Ведь, бы-ли!.. Какие чувства, думы, песни, упованья, взлеты, образы... по-двиги!!! ... не «рекорды», а — восхождения! Дочего красив был человек!.. И все это не в архив сдано, а... промотано на ветер! вывернуто, вы-вихнуто, о-плевано и всячески растлено..! Вот как твою любимку-птичку... дикий-Фриц там, или как еще... для сме-ха... м. б. ткнул в глазок цыгаркой... Как твою «Жанну»... Что я говорю!.. Десятки миллионов испепелили, отравили, сгноили, истомили... и все сие «покрыли»... капсюлькой с циан-кали! Правда, и х, гноителей, жестоко покарали... браво и хвала! Но... дальше?.. Мы — в тупике?.. Дорог не видно, тьма.

Бросил читать газеты. Да, Голландия — мно-го испытала, страшно испытала. Но... забыли, что испытала Святая Русь!.. Сему нет слова. О чем тут говорить? Прошло... было — поросло быльем. Твержу себе: «читай, осел, Экклезиаста!»

Прости, голубка, за «отходную». Я тот же... ищу устоя — и не нахожу. Томлюсь. Твои письма, когда светла ты, когда они наполнены тобою... твоей душой, твоими всеми чувствами... когда я узнаю в тебе — родное, дорогое мне, дар Божий... — приносят воздух, я дышу, живу...

Целую дорогой твой образ, светлая. Будь же светла — наперекор всему! И — моему «ворчанью». Крещу тебя, голубка. Твой В.

---

[i] Печь (*от фр. four*).

101

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

30.IX.45

Милый мой Ванюшечка,

К дню твоего рождения шлю тебе мои самые душевные приветствия и прошу у Бога для тебя и душевного мира и уюта житейского и здоровья, здоровья! Обнимаю тебя ласково и нежно. Будь тих, покоен, радостен и светел, как в этот день, так и во все время.

Солнышко мое, Ванёчек, не сетуй, что пишу не так часто, как бы хотелось мне, — меня задергала жизнь, — столько всяческих прорех оказывается всюду. В приходе у нас тут пастор женился, — я, кажется, тебе писала о своем участии в этом торжестве. После того, как во время наводнения этот пастор нас прямо выручил, принеся 3 пары резиновых сапог (до паха), т.к. обыкновенные сапоги были слишком коротки для высоко поднявшейся воды, и вообще после его большого участия словом и делом в нашем несчастном тогда положении, — мне невозможно было остаться пассивной, тогда как даже католичка-докторша (здесь очень остро настроены друг против друга католики и протестанты), единственная представительница интеллигенции Shalkwijk'ской, проявила большую активность. В эти дни я была совсем забита делами свадьбы, а вчера просила и сестра пастора и для <u>ее</u> свадьбы, 10-го окт. помочь, взять на себя <u>все</u> руководство по устройству праздника на 40 человек. Я отвиливала, но они так бедны и так ничего не имеют, что мой отказ будет равняться провалу ее «пира». Ну, посмотрим. Сегодня в церкви протестантской было впервые богослужение с уже женатым пастором и по сему случаю другой служивший за Shalkwijk'ского как бы чествовал новобрачных, а сам новобрачный потом обратился с речью к пастве, благодаря всех. Я не знала, куда мне провалиться, когда он закончил вдруг свою начатую речь... «У меня не хватает слов благодарности за прием, оказанный нам, это не забудется нами никогда, этим положено начало легкой и приятной работы в приходе... за все это я хочу здесь выразить мою горячую благодарность в первую очередь... mevronw Bredius, которая к моему удовольствию как раз здесь присутствует...» Я никак не ожидала такого окончания фразы. Прелестна его молодая жена (22 г.), очень как-то девственна. Я с удовольствием ей оказывала теплый прием, т.к. она очень издалека.

Мой «адрес» вышел превосходно, и одно мне только досадно, что эту прелестную акварель (я не часто и не легко себя хвалю) я должны была отдать. Это первая моя действительно художественная работа. К нам приходило много народа, некоторые прямо спрашивали: «а... можно эту картину посмотреть и подписать». Я не знаю, оценил ли ее по достоинству пастор... она прекрасна. Очень чиста, легка... воздушна. Такова, к какой я стремлюсь всегда. Наметила еще себе работу. Как только будет время, так и начну. Ах, время, время! Очень, очень хочу писать. Тем масса... Желания тоже, и бодрости. Ах, как я стол украсила для молодых. Это тоже была картинка. Горничная меня спросила: «Вы так, наверное, часто уже украшали? Учились?» А я люблю такие безделки. Молодая-то прямо чуть не заплакала, когда комнату увидала, всю белую, как невесту. Ленты и белые букетики на них, как гирлянды, спускались из-под потолка, и все это перевивалось тончайшей зеленью, нежно-нежно. Я не могу все описать, но было чудесно. Народ валил к окнам, чтобы только заглянуть на украшение. А ты, наверное, поворчишь на меня за новое амплуа? На днях получила письмо от Dr. Klinkenbergh из Davos'a, где он уже больше 2-х мес., — пишет, что И. А. его пригласил к себе в Цюрих, и что он там будет. Теперь м. б. уже Dr. K[linkenbergh] возвратился сюда, — жду вестей. Видимо И. А. все же не совсем безразлично наше существование и заинтересовало его повидаться с «очевидцем». Есть слабая надежда на письмецо. И. А. совсем еще не написал после освобождения. Ну, doctor ему все рассказал, наверное. Он нас тоже и в воде видал и тяжелобольного Арнольда навещал, когда я чуть не вплавь к нему приходила и оставалась ночевать, а утром уходила за почти километр варить обед. Что это был за кошмар: ни воды для питья, ни грелки для Ара, ни уборной...

Уход за больным был почти невозможен. Прямо за домом, за хлевами вода доходила до подмышек... Представляешь себе, куда выливать «отбросы»? Это была целая сложная проблема. А он лежал с $\pm$ 40° и чудом увернулся от воспаления легких, уже начиналось что-то. Чтобы врачу пройти к нам, надо было ему как-то перебросить сапоги. Некоторые ездили на лодках, но это не избавляло от сложности войти в дом. Я писала тебе, что одна корова сдохла от последствий воды, а теперь еще одна больна тем же. Того и гляди, что всех переберет. Ну, да что скот. Вот люди... Из 140000 евреев остались только 23000 в Голландии — остальные избиты и уморены в лагерях. В городах,

разрушенных вроде Arnhem'а, народ живет в руинах, без стекол и с пробитыми стенами, а иногда прямо в сараюшках куриных или среди камней в пещерах. Я пошлю тебе фотографию Arnhem'а, — это жуть. Его зовут: «мертвая красавица с глубокими глазами». Мы ждем волны беженцев снова, т.к. невозможно людям жить в таких условиях. Теперь здесь «чистят» деньги. Каждый из нас имеет только 10 гульденов на руках, а остальное блокировано. Не знаю, что и как будет. Не думаю, чтобы пострадавшим были даны ссуды для восстановления хозяйства или хоть какое-либо возмещение убытков... Это будет очень тяжелый год, без всяких заработков. Меня пугает сырость. Все у нас покрывается плесенью, пухом. Рояль испорчен, орган-гармонию уже увезли для просмотра — тоже испорчен. А топлива не предвидится. Еще ровно ничего нет. Дрова, которые еще были на дворе, куда-то угнало водой. И кому и для чего это проклятое затопление было нужно??

На днях получила посылку от золовки из Америки[458]. Всего она насовала, и даже странно было некоторые вещи видеть... вспоминать, что и вправду ведь они когда-то и у нас бывали... Например: крем для лица ночной и для дня, зубная паста «колинос»... даже сапожная вакса была у нас в продаже предана забвению, — купить нельзя было, еще какие-то остатки тянулись из запасов. Миндаль, изюм... мыло туалетное... чудесная мыльная пудра... Спрашивает: «Чего тебе еще прислать, пиши, я все вышлю».

Чего? И ничего не надо и все надо! Смотря по тому, откуда посмотришь... С точки зрения нормальной человеческой жизни у нас ничего нет, и не знаешь, с чего начать, если вот такие вещи на память приведут, как кремы и миндаль. А с военной, с рабьей... все есть для жизни, абсолютно все. Ходить можно и на деревянных подошвах с бумажными верхами, а руки натирать не кремом, а суррогатом глицерина. А без чая и без кофе ведь тоже жить можно. Углеводы не только ведь в сахаре, но и в хлебе... А хлеба достаточно. Если не вспоминать удобства, так и забыть их, можно и обойтись без них. Потому не знаешь, чего просить.

Еда у нас прекрасная, даже роскошная, если взять еще американские посылки с кофе и чаем. Хлеб, сыр, масло, солонина, молоко, яблок мало, но груши есть. Кое-какие овощи есть. Мыло дают, вчера уже настоящее Sunlight. Чего же надо больше? Сахару понемножку, но его и в Америке не дают больше, — по 200 г на 2 недели. Но, знаешь, мы так отвыкли, что он так и остается нетронутым — бережем, что ли... не знаю. Меня тревожит судьба наших преж-

них друзей в Берлине, от них ничего, не знаю даже, живы ли. Хотелось бы послать им что-нибудь съестного. Зима будет ужасная, как обещает Эйзенхауэр[458а]. Хотелось бы тоже деткам русским помочь. В наших газетах иллюстрированных была статья о тысячах, десятках и сотнях тысяч несчастных русских сирот. Как бы я хотела их пригреть. О них подробно писали, — Господи, какое зверье эти поганые изверги-немцы, как они истязали ребят *до*школьного возраста даже. Не все, конечно, были звери, я не сужу их всех огульно, были и приличные. Я вообще против разжигания страстей и всегда умеряю пыл и у других, ибо... если разжигать, то зло будет бесконечно родить новое зло. Как-то надо суметь поставить крест и попытаться полюбить людей за все страдания, иначе нельзя жить. Но иногда холод пробегает, как услышишь о бесчеловечности. Бессмысленная бесчеловечность из садизма... вот ее так трудно простить. А как бы хорошо было все это забыть. Как хочется уехать куда-нибудь и отдохнуть. Хотя я чувствую себя неплохо. Ах, если бы тепло и свет... и досуг... Но я знаю, что всякое положение дается нам со смыслом и надо только уметь понять его и свое назначение. Я обычно после понимаю. — Моя музыка чуточку подвигается, я все-таки протащила уроки даже и сквозь отчаянную зиму. И писать и рисовать тоже, в е р ю(!), — буду! Целую тебя, солнышко, в день твоего рождения. Твоя Оля

Цветочки — только символы цветов тебе — новорожденному!

102

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

5.X.45

Милый мой Ванюша, дорогой мой именинничек, с Днем ангела тебя поздравляю, солнышко мое, и прошу Господа тебе послать благословение Свое, здоровье и радостную волю к твоему труду. Как я счастлива, что ты так хорошо можешь работать, несмотря ни на что. Очень жду «Путей Небесных». Неужели ты уже приступил и к 3-ей части!? Я очень хочу работать. Чувствую как-то большую зрелость (что ли?), смелость и охоту, нежели в те годы, но время..! У нас безнадежная суета, как одна знакомая иностранка говорила: — «суетоха». Сегодня опоросилась (час тому назад) свинья 14-ью малышами! А молока опять нет, как было в апреле, когда вода заливала. Сию секунду был доктор и дал

ей шприц чего-то. Кошечка тоже больна, ночевала не дома, а наутро признаки отравления будто. Всякой-то гадости в этом году полно. Препогано теперь: начинаются холода, масса народу без крова, боюсь, не хлынули бы опять эвакуированные. На вторую такую встрёпку уже и сил не хватит. Сидим все без денег, т.к. все блокировано правительством. По голландским правилам всегда так было, всякая замужняя женщина не имеет права без письменного согласия мужа ни цента взять из банка со счета, даже будь весь капитал жены, а не мужа. Правда, муж тоже не может взять без согласия жены, если деньги положены на ее имя, но жена ни в каком случае не может самостоятельно распорядиться капиталом. На сберегательной книжке нельзя иметь больше 3000, а «в чулке» нельзя держать по налоговым соображениям. А вот теперь все дамы, не служащие где-либо, даже карты для деблокированных денег не получили, а получают наравне с детьми от отца семейства. Скучно. Сейчас у всех только по 10 гульденов из той сотни, которую пока 8 окт. дадут по карте, а остальное у государства. Мои деньги неизвестно когда разблокируют. Всю иностранную валюту надо было сдать на учет тоже. Одним словом никак нельзя ничего получить на руки. Конечно, на все необходимое достаточно, но скучно, скучно... Мечтаю, что Dr. van Cappellen мне поможет уехать на курорт для почки. Как бы я хотела уйти в работу. Не знаю, что меня больше влечет — кисть или перо... Как я захвачена бываю тонкой акварелью. Ах, если бы из моего Shalkwijk'ского угла куда-нибудь в мир выглянуть, посмотреть хороших художников... побыть в мире искусства. Сейчас ничего невозможно, даже съездить в другой город почти невозможно. Ну, подождем, нельзя же все сразу и так уж быстро мы оправляемся, если вспомнить, что еще в мае сидели без воды (в воде) даже. Все время до освобождения нельзя было ничего купить для рисования, если не состоять в «камере культуры»[459], а там можно было быть только с окраской национал-социалистической, дав какую-то подписку. Мне кое-как иногда удавалось в одном магазинчике у приказчика доставать то бумаги, то (даже) красок, просто из личной симпатии, как-то дала ему яиц для оперированного (Dr. Klinkenbergh'ом, конечно) ребенка, а главное потому, что я русская.

Благодаря этому дяде кое-что нарисовано. Можно ли посылать рисунки? Я бы хотела тебе послать акварельку свою... безделку. Ванюша, напиши, как у тебя с питанием. О. Дионисий говорит, что у вас во Франции хуже с едой, чем у нас. На днях едет в Париж Толен, постараюсь его ух-

ватить и послать что-нибудь тебе. «Девица» Беатриса не едет, кажется, — делает глупости и бегает за одними штанами, да еще женатыми. О. Дионисий едет тоже в Париж, но, зная твою нелюбовь к нему, не посылаю его к тебе, а предоставляю на твое усмотрение найти его или нет, — точно еще он сам не знает, когда поедет, но ты о его приезде можешь справиться у отца Андрея Сергеенко[460], Medon (S. et O.) 7 av. Alexandre Guillemant. Ванёк, я твои духи все берегла и берегу, не душиться же было в таком вертепе как это у нас тут было всю зиму. Душистый горошек, в натуре, обожаю... но зачем же ты еще и еще шлешь? Какой верно чудесный аромат?! Ванёчек, а когда же я тебе-то хоть что-нибудь смогу послать?! Бывает ли у тебя старушка Анна Васильевна? Хорошо ли она за тобой ухаживает? Напиши обо всем. Мнение Меркулова о «там» такое же, как у тебя, от личного свидания? Мне это все очень интересно. Недавно читала подробно о детях безродных... Какая их тьма... Я понимаю твой совет не пускаться в путешествие... я сама о многом так же думаю, как и ты, и только потому еще и не сделала попыток к поездке. Конечно, теперь трудно путешествовать, но все же не будь рассудочных соображений, я полетела бы с восторгом, влекомая чувством. Ванечка, «Свет не без добрых людей», и у нас их именно больше, чем где бы то ни было. Только человеческое сердце меня влечет, в него верю, хочу верить.

[На полях:] Мама и Сережа тебя тоже очень сердечно поздравляют и шлют поклоны.

Сырость пронизывающая: даже вверху — вся одежда в шкафу в плесени.

Обнимаю тебя, моя радость, в день св. Иоанна Богослова и всегда. Твоя Оля

103

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

25 сент./8 окт. 1945

Сегодня День ангела моего светлого Сережечки! — как мне тяжело, Олюша... горько. И, будто, и примиренно, как-то, порой, — не знаю, что и сказать, трудно выразить. Да, он — со мной.

Дорогая, светлая, добрая моя Олюша, девочка ты моя дорогая... Отвечу сперва на твое письмо от 17.IX, полученное 24. А, чтобы не забыть, скажу: последние дни я бросил текущую работу и правил последнюю треть «Путей Небес-

ных», чтобы дослать тебе, хоть этим, моим, делиться с тобой. В субботу, 6-го окт. я, наконец, собрался в Сен-Женевьев, на могилку. По пути на вокзал отправил тебе — было 9 ч. утра, — рукопись, с 201 по конец — 294 страницу. М. б. ты получишь в мой День ангела! Сейчас занят правкой, основной, всей рукописи. Решил хоть часть работы — всей! — окончательно завершить, и вижу, как много правки. Я очень строг к себе, нельзя иначе. Был на могилке, служили панихиду, как всегда — и в память сЫночки. Чудесный был день, почти жарко. Бедная могилка... давно не был, но она не запущена, уход всегда. Только бедно убрана, одни бархатцы, цветы церковные. А какие бегонии там!.. На будущую весну, если буду жив — всегда так заканчивал Толстой! — попрошу убирать краше, Оля любила светлые краски, белые цветы... и — лиловые, голубые... — гелиотроп, например.

Вернулся, — удивительно — свежий! А пришлось туда и обратно, где раньше возил автобус, пешком до 10 км. Береза — не узнал, красота. Нет, не сменю крест дубовый с накрытием на каменный, как огромное большинство. Кладбище — до 1000 могил. Теперь увеличивают. Церковь кладбищенская[461] — прелесть, возвели ограду, характер храмика — новгородской стройки, колоколенка-звонница, отдельно. Две краски: белая, основная, и голубая — куполок. Место — ровень. Видно издалече. Это Женевьевское кладбище — усыпальница русской эмиграции, «отборной», к сожалению, — дорого! Да... встретишь в романе — из твоего письма... — вскочило! и очень кстати. Спасибо, дружок. Это — о «рае»... и о «докладе о "рае"»[462].

А теперь к твоему письму.

Но сначала... — милая, дай обойму тебя... получил твое ко дню рождения. Напишу отдельно. В самый день, 4, получил, с открыткой[463]. И там — цветочки. Поцеловал, нежно, чутко. Это было мне — светом! Истинно.

Боли мои прекратились, писал тебе. Сплю вот плохо, — думы, мысли, порой отчаянность. Узнаю тебя — именно так и могла ты, и только ты, Ты. Говорю о вызволенных тобою от немцев. Геройка ты... — и воздастся тебе за душу твою живую, за большое сердце. Да, ты чудо совершила. Ты — спасла. Их истребили бы злой погибелью, сатанинской утонченностью истязаний. Я, в страстности, был неправ, был жесток... моя рана не закрыта: миллионы русских людей замучены, как и мой мальчик... и я знаю, — кем. Но не думай, что я ношу зло в сердце. Я не мог бы отмщать. Спасла! «Посылает ставить свечку... в

Ольгин день». Так спасенный, я каждый бы день молился. Странное — посылать — ставить свечку! Почему это «посредство»? Почему не с открытой душой — возблагодарить Бога! Он — Един. —

Досада, не могу сахару тебе послать! В швейцарских посылках — для Франции — допущен 1 кг, а для Голландии, в разных посылочных бюро — только 225 г! остальное то, что у тебя есть. Сегодня написал переводчице[464] — непременно изыскать и послать. Она мне выслала пакет прейскурантов, — колбаса, свинина, рыба. Ни соли, ни рису. С Толеном не хочу канителиться, он нечуток, и всегда дает знать о себе, когда уже на отбытии из Парижа. Ни разу не мог его захватить. А у меня для тебя духи, «Душистый горошек», — взгляну на него, и вздохну. Больше 3 лет ждет. Теперь и не купить, пожалуй. Ну, с кем послать тебе?! Достал бы и шоколаду для тебя. С кем? М. б. — опять таможенные строгости?..

Ах, милая... я рад, что ты бодрая, так и надо, понимаю. Ты тоже — спасенная. Так и считай. В тебе — радость жизни. Мое — все прожито. И к концу — видеть ад! Видеть падение, — это же почти крушение всего, во что верил... нет, идет к умиранию Духа. Ясно. Да, есть добро, в людях, но оно сникает, оно на пути умирания, исчезания. Причина? Я писал. «Умишка», «расчет», кому место служебное должно быть в жизни, на 2 плане, стал бездушным властелином, душит сердце. Мудрость — другое, не «ум». Править жизнью должно сердце, умное сердце, — Мудрость: вера, любовь... весь комплекс, составляющий Дух. А он — в загоне. Гениальный символ в книге Бытия: «древо познания добра и зла» и «древо Жизни». «Если вкусишь — смертию умреши»[465]. Какая глубина-тайна! как верно. Вкушают лишь от «познания». Смешно! Горе от... ума! Можно договориться до фамусовского: «Уж если зло пресечь, собрать все книги бы да сжечь!»[466] Это, конечно, парадоксально, абсурд. «Книги», конечно важны и нужны, но при них должен быть страж: «умишка, знай свое место!» Перечитай чеховский «Дом с мезонином». Там дан убийца Жизни: хладная Лида. Она убила Мисюсь... — всю прелесть Жизни[467]. Возвращаясь из Сен-Женевьев, я видел копны на лугу... гусей, огненный свет заката. Я до слез почувствовал красоту человеческого труда, естественного... — добывают в поте лица хлеб. И в красоте это делают, и видят красоту Божию, и живут ею, пусть даже не сознавая. Но наш мужик — сознает красоту, он трудится, как поэт. Да, милая... знаю, видал. Есть теперь стра-

ны — богатые! — где это уже не существует, а... «фабрики пшеницы». «Пота» нет уже... радоваться? Нет, надо плакать. В Канаде, например ферма... — «фабрикация хлеба». Ни петушка, ни овцы, ни гусей, ни деревца... ничего. Фабрика. И «фермер» удивится, если ему сказать — ду-рак ты! деревяшка, алтынник! все свел к машине... Идиоты... не нашли средства согласовать красоту с освобождением человека от непосильного труда. Но вот нашли, средство — уничтожать миллионы в миг. Прогресс? Да, дьявола, автомата, робота. Надо — не ужас ли?! — уничто-жить все машины! Довести человека до «изначала», и начать уже верный путь устроения. Иного теперь пути излечения не найти. Поздно. Отравлено все, умишком, расчетом. Опошлено, обуднино. Гаснет воображение, гаснет Дух. Не будет никакого возрождения: не может быть. Абсурд, скажешь? Сам знаю, что абсурд. Но дожили и до абсурда. Вдумайся. Вот почему я так хотел, чтобы ты дала жизнь фермы! живой фермы, святого труда: радостей и болей. Ну, в 3 книге, если Бог даст сил и дней, наверное это отзовется. Попытаюсь воспеть гимн всему — от Господа — человеку. Отпою Красоту. «Со святыми упокой...» Ты права: надо быть бодрым, «надо собрать на весы все крупинки Добра». «Нельзя ретироваться». Теперь особенно, да. Дай же Бог тебе сил — найти — где и как ты можешь быть полезной. Везде, где будет твое сердце. Нет, родная, ты не «философствуешь»: это — истинное в тебе, оно должно быть в каждом. Ты же творила благое, знаешь, в чем дело. Продолжай. Но не раскидывайся на многое. Сосредоточивайся в одном. Говорю о творческом в тебе.

И. А. Ильин — сужу по последнему письму[468], — тяжело все переживает. Почти в отчаянии, утрачивает способность — видеть смысл. И приходит к тому же, что и я: надо все пронизать... сердцем! Наши письма разминулись. Они — одно.

Понимаю тебя: «бойни нет»! оттого и радостна. Но... — прости, не хочу омрачать тебя, но не могу закрывать глаза: «бойня» есть. Не стану распространяться. Читаешь газеты? свободны они? Читала, что говорилось на парижском конгрессе социалистов[469], травайистов, синдикалистов? Миллионы — томятся, в тисках. А десятки миллионов зарыты...

Все относительно: ты радуешься: «керосин давали»! Вот, до чего можно довести человека! Будет рад и лошадиному копыту. Жалко твою «Жанночку», но... ..!

Это кошмар — ваше житие с «казармой» почти в публичном доме. Да, ты писала напомнить о разговоре с солдатами из эшелона под бомбардировкой. Напоминаю!!!!!!!!! Как ты все вынесла, не «сорвалась»?! Понимаю: как мышки сидели в этом чаду. Но ты могла бы смирить и взбесившегося тигра. Да, тигра... но не... беса. Какое счастье, что могла запастись силами в вереске, гостя. Это Бог дал. Ясно. Благодари, до слез благодари: Его промышление. Есть оно! Знаю. Имею опыт. Есть.

Да, случай со старушкой — чудо. Ты — чудесна. И сон твой... Чудесен и хирург. Ах, как хотел бы я говорить с ним! Если бы умел. Он говорит по-французски? Понимает по-французски? Хотел бы написать ему, сжать его руку, и этим до-сказать несказанное. Да, вот — служитель Правды, Добра. Святая «белая ворона» среди чертей, змей, бешеных псов. Храни его Господь!

Какой рассказик ты написала, — «напели пчелки»? Пришлешь? Нет, ты редко отзываешься на просьбы. Когда-то просил я «картинку», ты меня и понудила... писала об «акварельках», кто-то написал «Татарник»? чертополох..? Ты пишешь скетчи, акварельки, даришь. Конечно, это твое право.

Да, ты могла бы — уверен — быть отличным, первоклассным врачом. Вот такие-то... — святые люди. Но ты, — к счастью — не врач: ты бы истекла кровью, сердце твое: ты истерзалась бы больными, истомилась, изошла страданьем. Надо носить броню... у нас с тобой ее нет: обнаженность сердца, без «сумки». Всегда пронзено. У тебя, думаю, в тысячу раз сильнее эта «пронзенность», хотя и у меня достаточно. Я не мог бы быть врачом. Прочти «Последний выстрел», как я, терзаясь, прикончил ястребка. Не прикончи его, я бы... не знаю.

Да, хорош «пансиончик», вроде «Бухенвальдского»! Что за бесы проклятые! Откуда они такие?!! И все эти — эс-эсы..? Атрофия «духа», сердца, — как размагни-тились-то!.. И это будет расти!.. От Шиллера к... Хитлеро-Химлеру и прочим! Почему? Да ясней же ясной копеечки — почему. Утрачен — Дух. Без Него — смерть, вселенская «шамбр-а-газ». Впрочем, я уже образами давным-давно все выложил... — и в «Лике скрытом», и в «На пеньках»... и в «Это было»... — во всем моем. И. А. все нашел в работе обо мне. Ты ее знаешь? Стой, я вышлю тебе его «лекции» о Шмелеве. Ты мне вернешь, они — единственны у меня. Должны были войти в книгу его, — так и не вышла книга[470]. И не выйдет — долго. После

меня, может быть. Это для меня — не важно. Эх, не надорвись, Ольга... как «Мери»... — «выполняя долг». Страшусь за тебя, за твое здоровье. Сырость — ужас, яд для тебя. Не могла ли бы ты, на холодное время перебраться... где топливо, тепло, покой? Если бы тебе понадобились... Да что говорю... у тебя, конечно, найдется возможность «спасти себя» для тебя же, твоего «дела» во-имя Господа, во имя — Света. Ах, как хорошо, в летний жаркий день, в солнце, в *вереске!.. Да если бы и сосны еще...* Я люблю вереск... осенью под ним много рыжиков... Оля, родная... как я хочу природы Божией!.. думать, вбирать... — и — отдать в образах все! Господи, дай мне сил пропеть Тебя! *Это я* мог бы в «Путях». Я только начал «песню»... — сколько не допето..! Как я жду моей «фермы» — «Уютова», его «песни»... монастырей... светлых людей!.. Как я хотел бы «пойти на богомолье», как моя Даринька... Я вижу тебя в вереске, я слышу пчел и сорочье стрекотанье... я слышу, как солнце дышит теплом и смолой... дышится солнцем — во всем. Как все дивно, какая гармония... — о, цветы... их мир — тайна, да, символы того «там-там»... да, права ты. О сем должно быть в «Путях», я думал о «симфонии»... писал. Ах, цветы какие были в скиту Оптинском!.. ка-кие цветы!.. Какая краса — женских *обителей!.. Надо детей воспитывать, держать в цветниках!* и — петь им: «вся премудростию сотворил еси...»[471] Только тогда обновится человечество. А при фабриках пшеницы — ни-когда! Только животный страх помешал применить газы, не гуманность, конечно: страх. Не нравственное начало, а рабье. Страх, ярмо, бич. Тьфу!.. Что бы сталось с миллионами... когда «с газу» стали бы отваливаться кусками, разваливаться «оболочки» — телА?! Есть такие газы, у гадов, — у всех есть... вытекают глаза, разжижается мозг и течет... — и газ течет... Газ — и — «Хвалите имя Господне»[472]... и вереск под солнцем... и иволга... — «хрустальная водичка»... льется... Какие противоположности! И ведь все это могут люди понимать... и — совмещать?! ... Воистину, Диавол обмолвился, сознательно: «будете, как боги»[473]... — знал: как бесы. Читай Библию! Там много «наростов», но много и «откровений». Жаль, у меня нет с нормальным набором, а — библейского общества, мельчайший набор, трудно читать долго. — Бедная твоя золовка! Теперь я понял. Да, надо вдумчиво отнестись. Нет, не сравнивай голод в «Солнце мертвых» — там был ад. Что я не помер? Помер бы... еще бы один месяц — и померли бы... Бог помог. Оля, худшей

муки, как наша, в Европе разве только в Аушвицах и Бухенвальдах... да и то... относительно. Надо было бы тебе видеть, что я видел!.. Ну, не стану возражать... у вас был тоже ад, кошмар. Где это живет твоя Елизавета? что это, где — Велюве? ее местечко, вереск-то... от тебя — куда? близ какого города? Да, еще вопрос, ответь: ферма ваша — где, Схалквейк? От Утрехта — куда? К западу или к востоку? 12 километров, помнится..? далеко от Рейна?

О Голландии у нас почти ни-чегошеньки не писали! у нас больше о «своем» пишут, или поют, себя. Ах, милая... устали глаза глядеть... устали уши слышать, устало сердце... вытерпливать. Бедная твоя Елизавета. Понимаю. А ты представляешь себе, — или я плохо это дал в «Солнце мертвых»..? ожидание ночи... когда... и т.д. Нет, не читай, не перечитывай, — нельзя теперь. «Хватит» — как ты иногда говоришь. Да, еще... но это до другого письма... что вот «губу разъело»... Хорошо, точно. По поводу сему я напишу тебе, как пастор «отличился». А ты все тоже... отличаешься. Понимаю, это твоя потребность, *милая истинная художница!* Но не может тебя хватить — на все. Очень жалею твою Елизавету — так вижу все. Ты умеешь — сказать. Ольга, помни: грех твой незамолимый — «уйти от себя», зарыть талант. Нельзя так... Помни: гений ничего не создаст путного, если не будет работать. Всякое гениальное создание состоит из: 20 процентов вдохновения гения и — 80 — работы и упорной воли! Ты, м. б. гениальна. Молю: сосредоточься на одном, по твоему выбору. Остальное — играй, как на отдыхе, чем угодно. Хоть полюби глазно, как... кого-то... заглазно. Но — отдайся, одному отдайся, вся. Тогда — будет итог. Я вижу: по твоим письмам, что ты можешь, и ско-лько! Поверь мне, я не слепец, не глухой, не ту-пой. Ты... отрицаешь — Духа! Прости, родная детка, ты — детка еще... а я старик, и — имею опыт. Много потрудился, нажил право понимать дело. Если бы ты видела, как я бьюсь, порой, над страницей... — имею волю перемарывать до 20 раз, чтобы «поймать» синюю птицу. Гений наш, Пушкин... дал 18 вариантов... «Жил на свете рыцарь бедный»... Выше сего гения мир не знал. Т.е. мир и теперь не знает, ибо Пушкин — непередаваем. Я его только начинаю постигать. Он неисчерпаем. И он — на 80 процентов — труженик. И если бы ты смогла дать «ферму» — это было бы — гениально. Да, это была бы, для тебя, му-у-у-ка-а-а..! знаю... но она нужна, во имя Добра. Служи.

Я восхищаюсь тобой, пою тебя душой, я чту тебя, моя благая, моя чуткая. И молю Господа дать тебе сил и воли. И — главное — здоровья. Поберегись. Как ты будешь зимой... ?! Уезжай, вздохни: ты имеешь право на это. Ты его дорогой ценой купила. Ты уже завоевала высокую «обитель». Т а м. Ты... я так чту тебя, что вот, слезы вскипают... Свет, не меркни! Не тай, не гасни. Тебе необходим у х о д. Окрепни. Тогда начнешь вплоть работать. Знаю, хозяйство... но какое же теперь... хозяйство?! *Хотя бы* — пока. Переживи холода не в плесневеющем доме, в черных пятнах, с въевшейся «нечистью». *Эти* «пятна» — могут ввинтить такой ревматизм, что... знаю я случаи. Тогда — калека. Сырость — злей мороза, жары, полуголода. Да, как витамины? Если достаешь морковь, пей сок. Натирай, выжимай, и пей — с молочком. Это даст тебе си-ли-щу! Я проделал опыт: 3 недели — пил по стакану. Чудеса. Вот почему приехал «свежий» из Сен-Женевьев. Только поэтому. А почти день не ел. Съел на могилке одно яичко и сухарик.

Да ты упряма... никогда не послушаешься, хоть кол тебе теши на голове! Ты — пушкинская «кобылица»... и узды вот нет... необузданная ты... как тебя немец не сглотал?! А как твои амстердамцы и гаагинцы? Все целы?.. Ты помнишь — писал тебе когда-то об адвокате[474], у которого сын был убит на войне, под Бельфором, единственный? Еще тот адвокат сравнил женщину — с котлеткой. Он все же был, думаю, чище... хоть и «любитель». Так вот, его сглотали. Был он у меня в последний раз в январе 44-го. А недели через три я узнал: захвачен, и в гестапо должен был — растерялся? — признать, что он — с «бабушкой»..., т.е. — еврей. Угрозили. «Пять минут на размышление!» Сознался. Провокация была. Мог бы отпираться... — с д а л. Выслали. Ни слуху... — про-пал! Сожгли или — провели через «газ». Мне больно за него. Он был очень... ну, деликатный, воспитанный. И добрый. И моего скульптора — неудачно меня лепил — Синаева-Бернштейна[475], старика 80 л. — угазили, конечно. Н а д о было — высылать... Его работы есть в музее Александра III. И — сколько замучено! Ну, устал. Целую дорогую. Крещу. Твой Ваня

104

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

11.X.45

Ах ты, крутилка дорогая, Олюшка! Сегодня лишь получил твое «ангельское» письмо, писано 5-го, почтовый

штемпель — 8. Так «в мой День» был — «случаем» — ограблен. Ну, ты тут ни при чем, твое сердечко у меня на ладони. Целую. Благодарю. Передай маме — Мария Александровна?[476] когда она а-менЕнница? — сердечный поклон мой, благодарение и пожелания не заплатить дорого за «пятна», — яд это злейший. И Сереже — ме сантиман и ремерсьеман[i]. А тебе — *немедленно!* — убираться от «пятен». Они — смотри! — могут тебя убить. Я не смеюсь. Это наизлейший я д!!!!! Берегись, умоляю! — немедленно беги, куда угодно, — на все месяцы холодов. Поросята и без тебя будут дохнуть, и с тобой тоже. Уж успокой сердце свое: представь, что еще продолжается рабство, и ты спасаешься. Этот год придется сбросить с хозяйственных счетов. Так и знай и покой себя. У-моляю! В пансионе ты будешь работать «во-имя»! Пиши и рукой, и кисточкой, и пером, и... сердцем! Лучше — пером-сердцем, не откладывай, бери пример с меня: я работаю. По горячему следу пиши — о ферме, это «легче» — всего. Хоть и трудно душе. Дай мне слово, что уедешь лечиться. Иначе ты пропала! Вбей себе в милую твою головку, мой цветок живой! И ты увидишь, как эта пустая трата будет огромным для твоей души богатством. Ты завоевала все сверх-права на это, мой герой, свет ты мой нежный, спасающая! Сжимаю тебя, кошечку, в объятиях, как... всю мою! Пусть платонически. Ольга, как я тебя жажду... — идиот! Что со мной?! Я могу гимн петь, любить... безумно-молодо и страстно. Идиот... стыди-ись, идиот! Но и невинный: все мое к тебе, в тебе... пить тебя хочу, вы-пить... о, безумец! Ольга... ты понимаешь... как я тебя хочу..? я шепчу тебе хочу... всей, телесной, безумствовать хочу, перелить в тебя всю любовь, всю нежность... всю силу... есть, представь, и так это ясно, что есть! И ты бы почувствовала это... и отдалась вся. О, бесценная!.. о, бабочка живая, женщина... красавица... умница, гениальница... — ты и в страсти, уверен, гениальна... можешь дать чудного вина, и опьянить. Должно быть это мой последний порыв греха... пройдет... Но как бы хотелось, чтобы он не прошел!.. чтобы я хоть раз имел тебя..! и — точка.

Пастор, конечно — пастор, не пастырь. Конечно, неудачно поступил. Нельзя было о таком — в церкви! Да, *это* могло плохо отозваться, в слабых душах женщин! завистью... «губу разъело», да, здорово ты... в первый раз

[i] Мои наилучшие пожелания и благодарность (*от фр. mes sentiments et remerciement*).

слышу. Главное: ну, поблагодари при всех за твое «служение» в бедствии... — и то это лучше бы частно, письмом, что ли... А то... — «в своем деле», убрала комнаты им, приняла... а-а... Ну, глуп он, несчастный... судьба обидела: должно быть из семьи бедной, ничего не видал. А зло посеять мог.

Сама, дурочка, напиши «посажёному отцу», он сто-ит того! Не жди. Тут нечего считаться. Ты добрая, рыбка... Как хочу ласкать тебя!.. Весь горю тобой, весь тянусь...

Сейчас отправил авионом[i] открытку переводчице, чтобы выслать немедленно тебе посылку — «богатую», разыскал; там хоть 1 фунт сахару. Вот состав: для Голландии: 2 фунта Шпейзефет[ii] — что такое? по словарю — «питательное» что-то, «кушанье», «сладкое», ну, должно быть какая-то дрянь туманная, не один, а 2 фунта. 1 фунт рёсткафе[iii], хорошо, не жарить! 1 фунт молочной пудры[iv]... тебе ненужно, но можно для кухни, нелишнее, кисель там... блян-манжэ... или тебе мыться, на манер нероновой Поппеи[477]. 1 фунт сыру... — дай Бог — сливочного! 1 фунт САХару!!! — слава Богу, а то все 200 г. 1 фунт ри-су! — а печатают райсу, ладно, пусть «райсу», американская посылка, значит — райсу, как бы из рая. Пол-фунта какао, — пей — не жалей! Четверть фунта чаю. 7 унций — дураки! — шоколаду... зато — швейцарского! ладно. 5 с полтиной унций, а пишут «онц», — пöкельфлейш[v], болваны! — соли бы лучше дали. И 5 пакетиков буйонвюрфель[vi]... ну, ладно, дрянь порядочная, но можно есть. Просил Мадам Др. Р. Б. Кандрейю — Ревекка Бернгардовна, — ишь какая! — Кандреиа, так и пишется, по авиону — немедленно дать заказ, в твой адрес. Хорошо, если не раскрадут, у нас случается, и в таком случае надо принять хоть *«остатки»*, а то все пропадет, если отказаться: я так отказался раз, а все — за страх и риск получателя, следовательно — кукиш с маслом. Главное, обрадовало меня, что шоколадка есть для малютки, пососать... ты лю-бишь, девочка, шоколад! Ах, как бы я был счастлив — послать тебе кило-два! Да это вояжеры твои — нет хуже. Сам я в Медон не поеду, к о. Денису, — убеди его, чтобы он ко мне за-

---

i Самолетом (*от фр. avion*).

ii Столовый жир (*от нем. Speisefett*).

iii Жареный кофе (*от нем. Röstkaffee*).

iv Порошок (*от фр. poudre*).

v Солонина (*от нем. Pökelfleisch*).

vi Бульонные кубики (*от нем. Bouillonwürfel*).

ехал. Я у него был. И он все равно откажется взять что-либо. Знаю я его. Эта дура Б[еатрис] — ее бы в казарму, для «успокоения»... — да она дорогой потеряла бы духи... Толен... — нет, не поеду... безнадежно. Если он заедет, я могу напоить его чаем с вареньем и вручить духи и чего-нибудь. Мне — ничего не посылай, все есть, сверх, и питаюсь я, обильно. Только, без тебя, в глотку не лезет. Ну, даже красная икра есть, американская! Правда, она, кажется, дороже веса бриллианта. Но я не отказался, чтобы «поправить аппетит». Со-лящая, стерва... но я кладу 3—5 «рубинов» на здоровый мазок масла, и... с чаем! Старушка доковыливает ко мне дважды в неделю, хромает, ноги зверски болят, мешает мне писать, жалобами на боли. Хочу ее устроить в Русский дом.

Вчера читал малой компании первые 4 гл. 2-й ч. «Путей»... взяло. И слава Богу. Так взяло, что... видел слезы. Был у меня о. Иоанн Шаховской, едет в Америку, просил «для издания» книгу-две. Пока еще не вырешено, но обещал ему «Пути» и 2-ю кн. «Лета Господня». Здесь безнадежно. Здесь скорей курочка бычка родит, чем книга родится. Да, еще в Испании, м. б. что-нибудь сделает о. И[оанн].

Благодарю, ласточка шелковая, за твое поздравление, — напиши мне нежное письмо. Приласкай. Счастлив безмерно, что ты бодрая, хочешь жить и работать. Что толку — про себя я — мучиться судьбами человечества! Не исправишь его судьбу... Что тебе писал «о мире»... м. б. удастся выложить в статьях... в Америке! О. И[оанн] там будет издавать что-то... для внедрения православной культуры и православного Лика России. Еще раз: не думай о далеком путешествии, — в лучшем случае — разочарование и болезнь от «видений», в худшем — свалишься там, — и хорошо, если попадешь в больницу... Оля... отчаянное положение... одичание! разгром. У простых людей такое «вырывается из уст...»! Пойми: даже... у простых. Родная, неси в сердце святое... храни... *вызывай воображением, как аз грешный*.

Но довольно... Во мне столько нежности к тебе, я оголодался... и теперь все во мне слилось в — тебе. Да, хоть издалёка поцелую... «нахолостую». «А кУму не сенца... — хотелось бы мясного... да... "про запас" Лиса — ни слова!..»[478] А-а-а-а... запас-запас... да не про нас. Вот идиот!.. Молодая душа... дурацкая... чего думает..! Акварельку пришлешь... — поцелую миллион раз, до «расцеловки»... до... разъятости... до... — обмиранья.

Чудесны цветы... — мне Юля привезла... — но ты лучший из всех... Дурка, душись, все духи вылей на себя! Для тебя я ездил искал, «вырывал»... а ты... хранишь. Изволь для меня, — !!! — душиться до головокружения. «Душистый горошек» все томится, слышу — шепчет: «хочу... вылиться на девочку Олю... на ее нежное тельце... на ее головку... умную... а ты меня держишь в ящике, где белье... чистое, правда, но в ящике! распакуй, мне душистому, душно!.. я люблю солнце и женские глаза...* я был когда-то бабочкой... порхал по ветерку, покачивался на своей шероховатой ножке... я хочу отдаться... — ишь, чего захотел! — е й... пусти меня... вы-пусти... и я так задышу... задышу... — это моя песня, моя молитва!..» Ольга, да скажи тем идиотам, кому-нибудь, — пусть кто-нибудь заедет. Жду, когда бы можно было послать пакетом.

Ольгуличка, как люблю!..

Твой идиот В.

Что за день! 4 часа, сколько солнца. На воле — до 20. Мой лимон растет, и пальмочки.

105

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

19.X.45

Родной Ванюша, не знаю, с чего и начинать. Ежедневно и ежечасно рвалась тебе писать, но... захваченная рукописью твоей, хотела писать ее закончив... Получила 10-го окт. ... Спасибо, спасибо, спасибо!!!! Неотрывно, как и первую часть, я ее так, ткнувшись на свою постель (ибо как схватила у почтальона, так и «удалилась в келию»), и, просидев на краешке, запоем и читала, забыв все... Я нахожу, что II ч. прекрасна. Ты все чего-то куксился, что... «не длинно ли»? Ни малейшего чувства о длинности не возникает. Прекрасно. Я довольна всем... ходом, рамкой, красками, не говоря уже о содержимом. Оно... выше похвал. Именно это глупое слово «довольна», — (пусть не покажусь тебе заносчивой) выражает тут хорошо мое чувство относительно всего «прикладного». Я часто думала: как будет то или это... воображала себе... Превосходно ты Дашеньку «растишь», и Виктор — мой любимец, хорош. Очень верно, не поспешно, но очень последовательно его прозрение, вос-

* Ка-ков! А я и еще что-то, — душку, душу, сердце, и... — жгучесть чудесной.

хождение за Дари. Это трудно, рискованно было давать?? Ах, как ты там о грибах и прочем... Ваня, Ваня... Ты сам живешь и чувствуешь с ними, в них. Как рада я, что Виктор именно пошел за Даринькой. Не знаю почему, — нравится он мне с самого начала. Я еще больше тебе напишу, конечно, о романе, перечитав еще и еще... Вся эта неделя сплошь эмоции такого высокого калибра. В воскресенье вдруг забежал Dr. Klinkenbergh, — только что вернулся из Швейцарии, ехал к умирающей его приятельнице. Передал всем нам по письму от И. А. ... Сережи не было дома, и до вчерашнего вечера мы не могли еще узнать, что в его письме стояло. Читали друг другу, наслаждались, толковали, перечитывали. В среду Dr. Klinkenbergh заехал специально рассказать о своем свидании с И. А. и просидел вечер. Он по-юношески взят Иваном Александровичем, как-то влюблен в него, не мог связно рассказать, перебивал сам себя. Привез мне 3 книги его... самых-то хватающих сердце. Все на немецком языке... Klinkenbergh читал их уже в Швейцарии, — обворожен, бия себя в грудь, вскрикивал, что обожает русский народ, что от общения с такими людьми, он стал богаче духовно, стал лучше и чище. Это такой-то сам святой! Он удивительно прост, доступен даже слишком. Хамы наступить ему на ноги смогут. Что-то его И. А. обо мне расспрашивал и о всех. Не знаю что. Dr. Klinkenbergh сказал: «я все рассказал, что знаю». Dr. Klinkenbergh преувеличенно хорошего мнения обо мне, это напрасно, я ценю больше объективность, а он создает какие-то свои убеждения о моей «доброте». Он приехал к нам от умершей только что его... не знаю, кто она ему была... во всяком случае, друг. Он прекрасно говорит по-французски, и если бы ты ему написал, то, уверена, он был бы рад. Только не упоминай ничего об умершей, что ты о ней от меня слыхал, — в Shalkwijk'e и то уже достаточно ему было горько от всяких замечаний и недомолвок по ее и его адресу. Мне было бы неприятно, если бы он и во мне увидал «кумушку». Я ему о тебе говорила, какой ты исключительный писатель. Он тоже, как и ты, советует мне работать над писанием.

Ванёк, Ванёк, опять ты за подарки! Душистый горошек обожаю, но... зачем ты?.. Толен на тебя произвел лучшее впечатление[479], чем ты ждал? Я же тебе уже о нем писала, что за зиму увидала его ближе (еженедельно ездил ко мне за провизией) и узнала с другой стороны. Фася недалекий, хоть и милый человек. Она его ничуть не понимает и всем, даже малознакомым сразу же представляет: «Мой муж

очень добрый, всем помогает, но... знаете, у него ужасный нрав и т.п.». Этим летом он признался мне, что живет в вечной тревоге за Фасю, т.к. только он знает диагноз врача. У нее падучая, и она сама не должна этого знать. Только режим и покой могут ее спасти от частых припадков. Он боится панически, чтобы какой-нибудь профан-врач не бухнул ей об эпилепсии, т.к. очень хороший специалист от этого велел ее беречь. А Фася беззаботно утомляет себя ерундой и болтовней, стремясь вечно выискивать новых и новых врачей. Русские ее друзья бывают обычно долго и во всякое время и потому, естественно, вызывают раздражение мужа. Он, конечно, голландец, со всеми присущими им, и нам чуждыми, свойствами, но он любит ее очень, вечно озабочен ею, и, кроме того, он застенчив. Оттого и его неуклюжесть. К, нам, и ко мне в частности, он очень мило относиться стал с зимы, стараясь отблагодарить (сверх платы) всем, чем только мог.

Фася его совершенно не знает, и когда-то увлекалась пустеньким музыкантиком... Часто плакала, чувствуя себя под «гнетом» мужа. Он строго ей запрещает нарушать режим, для здоровья ее, а она видит в этом только его безграничный деспотизм.

Ванёчек, твои советы мне удрать от сырости я понимаю, но это невозможно.

Все наше житие держится только беспрестанными заботами о хозяйстве меня и мамы. Никого мне не найти, чтобы заменить нас (ибо я не смею и думать взвалить все на маму), — прислуги избаловались легкой жизнью донельзя. В Голландии нет такого угла, где бы топили вдоволь. Электричество дают так мало, что один вечер с радиатором лишил бы нас всех света. Я все время думаю о хорошей прислуге, чтобы освободиться, но, увы, это только мечта пока. Ведь все сами: и стирка, и шитье, и чинка (!!), ужасная чинка одежи (!) все на мне. Когда сама не стирала, а брала девчонку, то все белье воняло мылом, и я его потом перестирывала. Кроме того, массу тратят всего. Что взять с наймита?

Зимой все будем сидеть у одного стола под одной лампой. Не мыслю себе возможным работать. О ферме писать мне кажется интересным и заманчивым. Начала бы тогда издалека: как мы вообще на нее попали. Промысел и чудо Божие было. И хотела бы чуточку дать общего здешнего быта, чуточку семьи и родовых фанаберий, о сусальных типчиках-«героях» в павлиньих перьях и т.д.

Потом у меня целая серия рассказов давно уже просятся наружу. Назвала бы «Натюрморт». О здешних «мертвецах». Наши жадно ждут всего «о загранице». Надо им знать правду. Выздороветь кое от чего и поучиться коечему тоже. Но когда, когда? Когда возьмусь за акварель тебе? Безумно сама хочу. «Для» Dr. Klinkenbergh'a давно один рассказ писать хотела, и тоже не могу собраться. Вернее, из его рассказов вычерпнула тему. У меня гостит моя золовка. Порой жалею ее, порой злюсь. Все они горя не видали, оттого и бесятся с жиру. Отчасти... Ее усталость я понимаю и за нее жалею, но есть и другое. Блажь. Они жили близ Arnhem'a и Apeldoorn'a. Возьми карту Голландии и ты увидишь, где Garderen, а если его не пометили, то смотри, приблизительно, м. б. стоит Stroe или Putten? Последний почти целиком сожгли немцы. Мы живем между Utrecht и Culemborg. Shalkwijk длинная деревня, вдоль канальчика и тянется на 4—5 километров... Ее, противоположный нам, конец упирается в реку, Leek, собственно продолжение того же Рейна. От Утрехта 12 километров на юго-восток должно быть, или больше на юг.

Нас залили рейнской водой. Осень в этом году не золотая. Листва скрючилась и падает какими-то серо-грязными обрывками на землю. Этого очаровательного золотого туманца над водой не было и нет. А я так любила в светлое сентябрьское утро сквозь осиянный розовым солнцем туманец видеть золотую сетку. Даже каштаны, всегда такие красивые, как-то очень затрапезно оголились.

Но представь: на полупогибшем моем жасмине, где появились в 2—3 местах несколько листочков, вдруг вылупились бутоны цветов! Как жизнь берет свои права! Как это трогательно и мило. Ах, как предвкушаю твои гимны всему в чудесных твоих «Путях Небесных»! Лучшей книги я не знаю.

Обнимаю тебя, мое любимое солнышко. Твоя Оля

[На полях:] Умоляю тебя, Ванюша, не шли мне ничего из съестного и сахару не надо! У нас все есть!!!!

Если моя американская золовка пришлет мне фильмы[i], то снимусь в русском костюме для тебя.

[i] Пленка (*от нем. Film*).

14 — 11249

106

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

14.XI.45

Дорогая моя Олюша, прости: всего было — мешало написать тебе. Недели две болел, — режим нарушил, валялся. Но, главное, снова перерабатываю и переписываю «Пути». То, что у тебя, это лишь «черновое», я торопился слать тебе, боясь всего, — а теперь жму и влагаю, так что разбиты главы, добавляю, яснее вижу — что надо. Глав выйдет не 27, а свыше 30. Теперь, отделано и переписано нерушимо свыше 100 стр. 2 недели чинилась машинка, было много корреспонденции, срочной. Когда все будет закончено — 2-ая часть — пришлю тебе, но ты мне верни, т.к. у меня всего 2 экз. — из-за бумаги и — нетерпения. На днях ты должна получить посылку — без возражений! — нового состава — типа «Вашингтон», т.к. прежний состав изменен, — это очень часто теперь в обществе, которое посылает по заказу Швейцарии. Но там почти все стоящее.

Получил нововышедшую книжку из Швейцарии — «Ам Меер» — «На морском берегу», по издательским условиям — с купюрами, маловажными. Как-нибудь соберусь — вышлю. Моя переводчица парижская[480] очень затянула работу с переводом, а ее ждут в Швейцарии — ознакомиться. Опять канитель с фильмованьем, — надоело мне все это, особенно когда я весь в работе над «Путями». Это хорошо, т.к. я с этой — «правки» — какой уже! — с разбегу — в 3-ю часть! Такой характер: не могу отходить, иначе охлаждаюсь, и надо долго «включаться».

Страшно мешает — должен сам себе все готовить, для питания, — старушка — два раза в неделю всего. Это моя му-ка! Снова, на зиму, разделил квартиру, ючусь в половинке, чтобы согреться. Холод — яд мне. Тревожусь за тебя и — негодую — на тебя же! Смо-три... сырость все в тебе может сломать. Хоть на 3 холодных месяца уезжай в тепло. И начни писать. Мне надоело об одном и том же... Нет, все не так: совсем не надо начинать с «адама»... — о ферме: как «мы приехали» и прочее. Чушь! Тогда начинай уж с прабабушки... Надо — начать «в ходу»... ферма живет... и дальше, кусочками, можно вписывать, что потребуется. Пример: как начал я «Солнце мертвых»... Главное — живая жизнь «фермы»... а «ферма» — это как бы символ — для тебя, внутренней, — а уж плевать, как читатель поймет. Понимающих — 1 процент, всегда! Ты

не сознаешь еще, какой тебе про-стор! — в этой работе. Обо всем можешь говорить... вплоть до «тупиц и скряг жизни». Т ы — л ю б и, о чем пишешь, страдай вместе со всем. Когда втянешься — увидишь, как л ю б и ш ь и заставишь полюбить и со-страдать. Мелочей нет для жизни — все о д и н а к о в о, до сгорающего в огне прутика! Ты «фермой» можешь дать т а к о е опустошение человека, и такое его — наполнение! Камень и — с е р д ц е! Я уже все вижу... И если бы я хоть в одну десятую знал «технические», т.е. бытовые условия ваши, и не было бы у меня «Путей», я дал бы «ферму»! Не разбрасывайся. — Чудесно твое отношение к людям. В частности, хотя бы к этому свекру... Иначе бы ты не была О л е й. И плюй на все злыдни. Оставайся собой. И будет прекрасно. — Горе мое, боль... — снова испортилась машинка! Не вскакивает «язычок», через который протянута лента, не прыгает, не поднимает ее, и рычажок с буквой — бьет в пустое место! Что за досада! Насколько опять я выбит из колеи! Сейчас должен идти к переводчице, она [мне] носила чинить к своему мастеру! Это ужас для меня. Я заболею снова...

Спешу с письмом. Ивик завершил на днях Sorbonne, с отличием, — и — для меня нежданно! — уже «professeur» в Collège Jean Baptiste Say[481] — одном из лучших парижских коллежей, — читает математику, физику и химию. (3 дня в неделю только, пока «выгоняет» 7—8 тыс. фр. в месяц.) Вот, 2-ю неделю — учит в гимназии, (это редкость, сразу — в Париже! без всяких «связей»). И не может расстаться с университетом: теперь в свободные дни слушает «атомическую физику» и «теорию вероятностей» — его тянет н а у к а, ч и с т а я, — хочет после в Америку, там много богатейших лабораторий, институтов... Это для меня — радость в пустоте дней. Ах, машинка!.. Ну, что мне делать? Ладно, никакому черту не удастся сбить меня с пути к «Путям Небесным». Лишь бы «живая машинка» не сломалась! Милая, не буду писать твоему доктору... подумал: за-чем, может принять за непрошеную навязчивость. К чему ему мое славословие? Он не нуждается в этом. И перо препоганое! Не твое: твое «мажет», надо править отдать, а это — ку-да ехать! А как я «въелся» в «Пути»! — Теперь — остынет...

Прости за сумбурное письмо, я раз-б-и-т!.. У меня (мой малый «обиход»!) погибли вышедшие финиковые пальмочки (грел их на радиаторе и поджег им корешки!) Но лимончик — хорош. Ну, теперь уйду весь в чтение до машинки. 3 день болей нет. Нет, теперь я весь буду в режиме. Но —

самое мне необходимое... — яйцо — не достать теперь... — нигде. До Рождества. Целую. Твой Ваня

В комнате +15. А какой счет мне подадут за электричество! Жгу — прогорю — зато руки не гусятятся. Не ленись писать мне и — всем. Жду радостей — твоих акварелей. Давно жду.

Духи-то... хороши — как? И какая там «бутыль»! — чушь.

107

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

29.XI.45

Мой дорогой Ванюша, наконец-то я получила от тебя весточку. Я совершенно измоталась, ожидая ее и недоумевая, что с тобой случилось. Я хотела подождать еще 1—2 дня и написать кому-нибудь с просьбой сходить к тебе и узнать в чем дело. Я устала ждать. Измучилась. Ты злой, нехороший, — я понимаю, что ты ушел в работу, но хоть одно слово в открытке ты бы мог черкнуть. Я больше 5 недель ждала. Теперь волнуюсь за твое здоровье! Ванёчек, берегись! Я не сержусь, хоть и ворчу. И слово «злой» — больше так, для ласки. Какая обида, что у тебя яичек нет и достать трудно. Я хотела с Толеном послать, но его жена сказала, что т.к. он аэропланом летит, то его багаж очень ограничен, да и боятся мужчины возиться с такими хрупкими предметами. Я уже с ним по этому поводу и раньше говорила, даже мое крашеное, пасхальное не хотел взять. Досадно. У меня есть еще десятка 2 яиц, от старых кур с лета, а новые еще не начинают, — поздние из-за воды. Обычно начинают нести молодки уже с октября. Но мы сами почти никогда не едим яиц (я их терпеть не могу), — я бы все их тебе с радостью послала!! Дают ли у вас яичную пудру? Здесь ее давали — очень вкусно можно ее в разных видах кушать. Прошу тебя очень, очень не высылать никаких посылок через Швейцарию. У нас «жить стало легче, жить стало веселей».

Серьезно: дают и сахар, и конфекты, и масло, и соли немного, и спички, мыло, рыбы немного, мяса чуточку и хлеб чудесный белый. Т.к. у нас урожая не было, то мы тоже по карточкам получаем. Хлеба достаточно. Скверно то, что коровы начнут телиться только с конца марта — значит всю зиму без молока. Все из-за воды. Они до половины лета глодали пастбище голодное за 7 верст от дома.

Ни о каких их «свадьбах» нельзя было и думать. И то еще чудом одна в марте будет. Фруктов нет совсем, но это все пустяки. Из Америки мне золовка прислала витамины, — глотаю. У нас теперь все, все есть. Ничего не шли. Даже шоколад дали! Dr. Klinkenbergh говорил, что он в Швейцарии из 7 дней недели — 2 голодал. Очевидно как чужестранец. Ни единой конфетки не мог купить, только видел их в витринах. Кстати о нем: конечно, Ванюша, не тебе ему «похвалы» писать (тут дело не в том: «нужны ли ему твои хваления»). Не в похвалах дело, и я никогда так не понимала твое движение ему писать. Просто я считаю, что кусочки золота в современном мусоре должны как-то соединиться воедино. И ты, и И. А., и Klinkenbergh — вы золото, и мне радостно было бы (да и не обо мне тут даже речь), за общее благо, принципиально было бы чудесно, если бы такие люди духовно соединились бы в единый слиток. Я глупо пишу и не могу выразить того, что хочу сказать и думаю. Но ты поймешь. На днях было письмо от И. А. и вот слова о Klinkenbergh: «Клинкенберг превосходная личность с автономным стоянием, чистым сердцем и глубоким созерцанием. Не хотелось расставаться с ним. Это Вам его Бог послал». И это, конечно, все верно.

Я его давно не видела — он больше не ездит в Shalkwijk после смерти его друга — сестры милосердия. Он хорошо, сердечно и честно относится к нашему. Без зависти и злопыхания, как большинство.

Получил ли ты мою мазню акварелью? И что? Или настолько ничто, что и не пишешь? То дерево, что тебе послала, давно меня привлекало, и оно у меня включено в несколько тем. Не знаю, почему оно влекло меня... Не знала, а вот сегодня знаю: его срубили! Вот как нужно не терять момента даже и с деревом... может уйти. Странно... отложи я, так бы и не вышло ничего. Точно так же в 43 г. я с ума сходила по тополям старым и всюду их совала. Их тоже очень скоро после того срубили.

Эх, жизнь! Так вот и все в ней!

Я очень хочу писать, как никогда, но и как никогда загружена всяческим. Я очень трудоспособна все это время, очень, внутренне настороже, нервна, но так загружена. И все как-то тоже нужно. Хотела снять комнату в городе. Куда там. Все забито. Да и холодище. Теперь мы в погоне за топливом. Дров всюду ищем. Ваня, и сама бы бежала от сырости, но пойми, н е к у д а! Здесь нет квартир, ни Hotel'ей, т.к. масса разбито и масса занято канадцами[482]. Знаю, что вредно тут жить. Ты даже и не представишь, как

у нас сыро. В столовой обоев уже не видно почти — сплошь разные фигуры плесени. Электричество очень скудно. Я не могу рисковать перерасходом и быть отрезанной. У нас ведь скот во дворе — туда не мало идет энергии. Нельзя остаться без света. Фонарь (безопасный) за прошлую зиму так «износился», что его нельзя жечь, да и нечего. Нет карбита, его сожгли мы в доме в ту зиму. Мне жутко ждать зимы и думать о холодах... Гостит свекор — предобрый старичок. Ездим по докторам. Боюсь, что серьезно с ним. Кажется, грудная жаба. Мне искренне его жаль. Подумываю и сама показаться сердечному специалисту, — я неважно себя чувствую. Так хочу отдыха. В день похорон приятельницы Dr. Klinkenbergh'а я нарисовала одну безделку. Ее видел Dr. Klinkenbergh. Настаивает, чтобы работала, советует также отдать в журнал мои немецкие безделки, когда-то данные ему. И вообще, твердит: «работайте, работайте»! Когда и где? Ах, время, время!

Целую тебя. Твоя Оля

Посылаю одновременно письмо, отданное было девице Беатрисе[483]. Она не поехала и прислала его и мой подарочек тебе обратно.

Сожги его, т.к. Б[еатриса] больна «тифоидом».

108

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

15.XII.45 4 ч. дня

Дорогая моя, голубушка Олюша, — и виноват перед тобой, — когда еще получил твои чудесные этюды-акварели! — и — без вины виноват! Оля, родная, я так болел все эти недели, так был беспомощен и так — одинок!.. Надо знать все, как я тяну дни... И никого не смею винить, — все так придавлены трудностями сей исказившейся и почти все и всех исказившей жизни. Надо еще радоваться и дивиться, что сохранились еще люди — человеки... Ночами я сидел, корчась от болей, зажав рот, чтобы не... выть. Теперь, благодарение Господу, мне лучше, вот уже дня два боли оставили меня, я чувствую охоту есть, я много ем... т.е., для меня-то много, — я, вообще, умерен в пище, хоть и «кулинарю» в иных рассказах. Старушка заболела, и я один за все-провсе. И Меркулов заболел, и Юля — добрая душа — не может навещать чаще раза в неделю. В воскресенье, 9-го, только что зашел доктор, со мной вдруг стало плохо... он едва довел меня до постели.

До обморока не дошло, но такое состояние, будто меня опрокинули, в голове и шее — что-то не то... слабость... и — получувствие. Он дал мне пилюльку «солюкамфр», — я давно не принимал, а мне надо ежедень... Сказал — «оголодание, так нельзя». Сам знаю, но когда были боли — я не мог питаться, а чай и сухарики с куском сахару. Ушел он, а я оправился, стал топить печку, выпил чаю... зашел он уже ночью, возвращаясь с бриджа, нашел меня хорошо, и просидел до 2. Без него я мог даже наскоро, на решетке, сделать [чуть] бефштекс, — есть страшно хотелось. Теперь ем... будто в порядке, — так что «хочу писать», — а это у меня «знак отпущения». Все было заброшено, как и я. О, если бы ты знала, *как я жил эти последние 2—3 года!..* И еще писал, и ско-лько!.. Знаешь, бывают дни, когда я хочу выть, выить... плакать неслышно — когда никаких болей нет, — жалеть себя. Оля, милая... не знают мои читатели, как, в каких страданиях, в каких тяжких условиях жизни многое написано за эти последние годы. И знать им не надо. А эти дни я уже как бы оставил всякую надежду, что вернусь к работе. А сколько нужда грозила!.. ведь я же 5 лет ничего не мог заработать... а заграничные гонорары были закрыты... Не будь Юли — и... меня бы не было. А когда можно стало снестись с Швейцарией, меня спас дорогой друг Иван Александрович и — посылки, уже на мои деньги, — а то добился... А теперь все это минуло, вдруг меня вспомнили совсем чужие, шлют... а я раздаю, слава Богу, — куда же мне-то... я как курочка ем-то... Теперь на все есть и будет... — мое. И в самые острые дни не сожалел, что дважды отказался продать литературные права и дать на искажение «Чашу».

Ну... всего было. А ско-лько... се-рдце-то вынесло!.. нервы. Один я знаю... Ну, довольно. Никому не писал больше месяца, даже по делам очень срочным...

Целую благодарно-нежно за твой подарочек — за акварельки. «Яблоня» — прекрасна, имеет свое «лицо». Молодец-Оля, дарование тебе дано, работай. И другие два этюда — очень недурны, мягки... «вымученности» не чувствую, вода отлична и дали — нежны... У тебя — душа, ты мно———гое — !!! *можешь* создать. Но не бросай «слОва»... пи-ши! Почему-то мне чувствуется нечто «зимнее», чуть снежистое, где домик за каналом, против... топольков? Или — туманность это?.. Ну, целую ручку твою... и глаза твои. Молодец-Олёк! От сердца говорю... Вставлю в рамки, буду ждать... цветка.

У меня все же — маленькая радость: Ив мой — блестяще закончил университет... — с отличием, как бы магистр по физике и математике с химией, дорога открыта, к высокой науке — «на подлинного ученого», — уже «профессор» лучшего колледжа в Париже, — это же редкость, сразу, в столице, — и безо всяких «дэмаршей»![i] — отличием, занят три дня в неделю, отказывается от частных уроков, — масса просьб! — а недавно за партой сидел! — слушает в Сорбонне особые курсы... русской словесности и — теории вероятностей... — урывает у отдыха, а зарабатывает за 20 час. в неделю в колледже достаточно. Девочка — удивление!

Иван Александрович — истинный друг, большое сердце! Ско-лько он сделал для меня!.. и все время заботится... понуждает и американцев — моих читателей, хочет найти в Америке издателя для русских изданий моего писания — здесь мертво-безнадежно, нет бумаги, ни-чего... даже электричество не дают в течение трех четвертей суток! Вот и живи...

Пришла ли тебе американская посылка, заказанная еще 17 октября! Я получил «датскую», по заказу цюрихских американцев-читателей... — ну, что я поделаю! Правда, масла у меня было мало... — а оно главное... яиц нет, но будут... вдруг открылся один русский читатель-шофер, — далеко от Парижа, уже два раза привозил по пятку... теперь куры бастуют. А яйца для меня — но лишь свежие, а лежалых я не могу... да они и бесполезны — все. Меркулов, с глубоким бронхитом и больной ногой, все же приковылял и принес вчера жиго[ii]. Я сдерживаю слезы, когда думаю нежно об Иване Александровиче. Оля — он — единственный во всей эмиграции, первый, столько создавший в нашем национальном, исконном... Я долго думал и прихожу к заключению: он — воистину — гениален! Вижу, какие итоги... по людям вижу, по себе вижу... как он заряжает! Он даст... о, Господи, помоги, — «о религии!» как — никто до него. Выпускает давно созданное — о трех писателях — Бунин, Ремизов, и — твой верный. Он весь в отдаче себя. И как же счастлив, что ему помогает указанное мною средство[484] — экстракт ясеневого листа. И головная боль ку-да лучше. До чего он нежен ко мне! Это Господь дал мне счастье узнать его. В письмах он — исключителен. У меня огромное собрание всяких

---

i «Хлопоты» (*от фр. démarches*).

ii Жаркое из баранины (*от фр. gigot*).

писем... — но его письма — не письма, а непринужденность, острота, точность, яркость, — и какое постижение искусства! слова!.. Он, он мне дал добрую половину веры в творчество мое... ведь я, — признаюсь тебе, — весь в сомнениях, всегда мне мало, всегда недостаточно — в моем.

Знаешь, мне срочно надо чуть ли не шести лицам писать... — тебе первой пишу, чуть избавившись от болей. И как же хо-чу работать! Но... Оля, уже на склоне дней... только бы закончить «Пути»... Не кори твоего Ванюшу, — ведь ему иногда, с болями, в холоду, приходится в очередях стоять за молоком, да полуфунтом подходящей рыбки... и жаться от холода и боли. Но теперь я и дров достал... и почти все есть... лекарств иных не найду... Ну, Господь с тобой. Оля, беги от сырости и холода... ты можешь найти средства... уезжай в Швейцарию, там в санатории или на частной квартире перебудь зиму... Иначе — можешь погубить себя. Сделай это! Против «кровоизлияний» — помни! — витамин К — в конопляном масле, конопле, в свиной печенке, в ее жире, в томатах. Он еще мало — до 38 г., был изучен. Достань отличное исследование: «Ле витамин»[i], составители М-м Люси Рандуан и Анри Симонэ, изд. 39 г. Про-чти!

Спешу отправить, не выправляю описок. Обнимаю тебя, дорогая моя, всю-всю нежно вижу и благословляю.

Твой Ванюша

109

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

5/18 декабря 1945

Дорогая Олюшенька,

Вечером, часов в 6, когда был доктор, получил твое письмо, от 13.XII[485]. После его ухода прочел. Сейчас, канун дня свят. Николая, истомленный, (не мог пойти в церковь), отвечаю тебе, — ночь, 11 ч. 20 мин. Мне горько было читать. Как же ты быстра на заключения, как неправа! Пойми: я сильно болел, и не мог сидеть у стола, не мог и в постели читать... И — почти один. Да. Старушка не ходит: м. б. и больна, а м. б. и не может, в другом месте

[i] «Витамины» (*от фр. les vitamines*).

ей — выгодней. Я давал ей, как другие, 20 фр. час, но она по вторникам возится часов 6—8, а по пятницам — 4. И это — без кухни! без хождения за покупками. Мне ищут; но я туго привыкаю к людям, а интеллигентную «даму» брать не хочу, стесняюсь. Ну, ладно. Ты забыла, как года 3—4 тому не захотела смотреть на ландыши... а я как заботился послать! Послал и еще что-то, «маленькие гостинчики» тебе... — и ты весь свет Праздника омрачила себе и мне. Ты жалела после... и меня жалела. И вот, теперь опять не пожалела, не захотела сказать себе: «а, м. б. — не может написать?..» А я мечтал, я выбирал по кипе проспектов из Швейцарии, что лучше... что приятней. И остановился на посылке американской под № «Вашингтон». Не было сахару, (и я не мог найти) но там должен быть мед и апельсиновое варенье и шоколад. И вот, ты отвергла все. Заказ был дан 17 окт.! Мне писали — придет через 5—6 недель. Пришло через 8. Нет, мне не посылай, (да еще в [посылках]!) я терпеть не могу молочной пудры, у меня вон, целый килограмм! Получил через Данию целую «колбасную лавку» — есть не могу, конечно, и сыр — и — это да! — отличное сливочное масло — целый килограмм. Получаю... достаточно. 5 дней нет болей, но сегодня сел на чай и сухарики. Юля — трогательная забота — разрывается: она живет за 35 верст от Парижа. Меня навещает, старается всем облегчить трудности бытия моего. Читаешь русско-парижские газеты? Их две, мало чем разнятся. Поют. Порой — доносят. Там неприязнь злая к писателю[486]. В переломное время (острое!) полезла из всех щелей озлобленная мелкота, ни йоты не давшая (ни в чем!) и сразу — за подвыванье! Не стану писать, об этом можно (и нужно) не говорить даже. Дошло до того, (ползанье на брюхе) что даже, говорили, и там стошнило... и, — говорил Ремизов, и многие[487], — что «погрозились»: «не касаться... это — русский писатель!» М. б. ... — не знаю точно. Сводили счетцы за все: и за мою «российско-национальную» линию во всем творчестве. Грызли ногти, что писатель не дал ни слова, ни буквы против Родины. Он, творил Лик России, той, которую, как теперь видно эту, могилу! — хотели раздавить и — зарыть в «общей яме». У меня есть данные, как бешено принимались (врагом) даже этюды из «Лета Господня». Такой России — им не надо. Скажу: Господь изволил мне — быть и — петь. Тебе не видно рвов и волчьих ям. Я тоже их не видел, но

я знал, что я не только «лишний» для планов оккупанта, но и... ... Было два острых положения... Оставим.

Так вот. И во всем том хаосе и дьявольщине, когда нельзя было поручиться ни за один день или ночь, я продолжал «Пути», до 24-го авг.[488], когда засвистели пули мимо окон. Пережито... довольно. М. б. мои длительные и повторные *боли язвы* — итог. И вот, к этому итогу от нЕлюди, от дьявольщины... — ты, невольно, невдумчиво, добавляешь... Я не корю тебя, я понимаю: ты замучена. Уезжай! При чем — девизы?![489] Доехать — дадут по закону (у тебя медицинское свидетельство) — для лечения и восстановления сил. А там ты найдешь «девизы» сняв с пальца или ушка, или шейки... Candreia тебе пособит, (ты спасла еврейскую семью!) *посажёный отец* — *тоже*. (Они не общаются!) Господь с тобой. Я уже писал (15-го) — акварели прелестны. Ваня

[На полях:] На самые важные — деловые — запросы — не мог отвечать строчкой! Ивану Александровичу не писал 5 недель, а получил от 29.XI.

Последнее слово: беги от холода и сырости, которые могут убить тебя. Что толку — свалишься? Чем облегчишь хозяйство? В Швейцарии продлят пребывание. Помни, Оля: что-то во мне, что велит так советовать, просить. Твоя воля.

110

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

21.XII.45

Бесценный мой, родной, дорогой Ванюша!

Сегодня письмецо твое от 15-го дек., а вчера от 16-го было[490]. Только теперь знаю, что ты болел. Я вся в тревоге за тебя. Ванечка, что это было: сердце или желудок?

Я уже неделю тому назад сговорилась с Валентиной Дмитриевной Грондейс[491], чтобы она завезла тебе посылочку. Сегодня иду к ней. Условились так: я принесу ей все, что у меня имеется, а она скажет, что может взять. Она очень мила и тебе берет охотно. Рада этому случаю несказанно. Ваня, как ножом режет сердце мысль, что ты в трудностях [сущий] дарил мне такие безумные подарки... Не могу думать об этом. Зачем? Я знаю твое сердце... Какая дикая жизнь: писатель твоего масштаба стоит и дрогнет в молочной очереди! Господи, Господи!

Очень хочу во Францию. Все сделаю, чтобы приехать. Это теперь не утопично. С моей почкой могу поехать в Виши, тем более что германские курорты недосягаемы. Я походила бы за тобой, а ты бы только сам себя знал, и никаких очередей и печек. Милый мой Ванечка, не говори об «уходах», — ты знаешь, как это мне больно... Голубчик ты мой родимый! Сегодня в 3 часа еду во дворец Суздейк для передачи подарка принцессе Юлиане[492] и ее детям. Я писала тебе, что в день капитуляции Голландии[493], май 1940 г., у меня остались 2 апельсина (еще из свободной страны). Я символически посадила зерна их со словами: коли вырастет, — все придет в норму и не погибнем. Выросло деревцо. Династия Голландии ведь «Ораны»[494] или Оранье. Я написала целую историю (кратко) от руки в альбом о всем том, что происходило вокруг этого деревца, иллюстрировав акварелями. Это была адская работа. Удалось хорошо. Вчера сняла на 20 гульденов копий с альбома. Деревцо «украшает» лучший цветочник. Сегодня иду, т.к. получила от секретарши уведомление, что подарок благосклонно будет принят. Ты осудишь? Это не подлизывание, а «ледокол»... мне это нужно. Мне нужно для косного окружения голландского пробить себе путь к занятию «картинками» и «писанием». Иначе — «блажь Ольги». Королевский дом — святыня для Бредиусов-старших. Если там одобрили, то святотатство не заниматься «талантом». Очень красиво вышло... Мне стыдно было рассказать об этом Dr. Klinkenbergh'у, например, — боялась, что тоже за подлизывание сочтет. А он расстрогался, увидев все и сам, несмотря на занятость дикую свою везет меня в Суздейк. Я, говорит, счастлив помочь в этом деле. Он не ярый «двороpoклонник».

Все в восторге от акварелей. Я, зазнавшейся и на нас, русских, как на «дерьмо» (прости слово) смотрящей, молодежи, тоже рада заткнуть критиканский рот. Жаль, что ты не увидишь. В следующем письме все опишу подробно. Я изустала, — гость-свекор больной, и до этого все время народ, и хозяйство, и эта работа. Свекор 100 гульденов дал на издержки с деревцом и готов мне квартиру для занятий снять. Вот видишь? Оля не глупая. Целую, родной мой. Пиши, умоляю тебя. О посылочке я уже писала. Целую тебя за нее. Может мне кое-что из нее тебе послать?

[На полях:] Я получаю из Америки от золовки тоже. Не шли мне ничего. Обнимаю тебя, солнышко. Твоя Оля

Рада, что И. А. так хорош к тебе. Он сильно постарел, судя по словам Doctor'а.

111

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

30.XII.45

Мой родной Ванёчек, солнышко ласковое, голубочек мой милый, скоро и наше Рождество Христово. Хочу, чтобы ты встретил этот светлый день радостно, бодрым и здоровым. Поздравляю тебя, мой дорогой, с этим Праздником, молюсь с тобой и за тебя... Хочу в церковь, но наш настоятель (игумен) назначил обедню в 10 ч. утра и на мою просьбу начать в 11 (как всегда прежде и бывало) ответил, что это для гаагчан неудобно. А мы, встав в 5-30 утра, сможем, благодаря неудобному автобусному сообщению с Утрехтом, только к 11 ч. в лучшем случае поспеть. Меня зло взяло на какую-то косность, на это халатное отношение. Ведь мы больше 1 1/2 лет не были в церкви. Им неудобно, а кто спрашивал о том, удобно ли было мне днями возиться с посланными о. Дионисием за едой всю эту зиму? Мы через «не могу» все-таки делали все для них, я лично выматывалась окончательно, т.к. их приезжало (без предупреждения) почти всегда двое на 5—7 дней. А тут-то ведь его прямой долг позаботиться о иногородней пастве. Ибо так же как мы, и другие многие не будут в состоянии поспеть. Ну, довольно. Но нет радости ехать туда, устать до отказа, высунув язык прийти к м.б. запертым дверям церкви. Допустить только, что к поезду опоздаем из-за нашего автобуса. Домой притащимся только вечером... надо все готовить и т.д... А там, видите ли, гаагские хозяйки заинтересованы пораньше отделаться от церкви, чтобы *для себя* день устроить подлинней. Я зла. Ты поймешь.

Напиши, солнышко, как ты живешь? Была ли у тебя Грондейс? Удалось ли ей тебе привезти то, что я послать могла? Я наслаждаюсь твоим чудесным вареньем из посылки. Только не посылай ничего больше, и ни-ни с Грондейс!!!! Нашли ли тебе прислугу? Как хотелось бы мне к тебе добраться! Это не так же невозможно. Для Франции (имея курорт Виши в виду), мне нетрудно получить визу и девизы. Швейцария дает визы на 1 мес., я могла бы попросить Dr. Klinkenbergh'а похлопотать *для моего здоровья* полу-

чить тоже визу и попытаться получить девизы. М. б. я смогу устроиться и иначе: в Амстердаме есть одна семья, живущая на средства родных в Цюрихе. Я бы могла им заплатить здесь и жить у их родственников в Цюрихе. Так сказать у «подножия» Ивана Александровича! Сейчас, однако, не могу все взвалить на маму, т.к. она очень страдает от ревматизма. Она работала и работает не меньше моего. Я морально не могу этого допустить — отдыхом своим ее еще больше загонять. Ищу прислугу хорошую — это безнадежно видимо. М. б. удастся иметь для себя комнату для занятий (1—2 дня) в неделю, в доме, только что (25-го дек.) умершего дяди моего мужа[495]. Тогда я бы начала для себя работать. Там, кажется, есть и топливо. Это не в Утрехте, но в Zeist'е, т.е. рядом с Утрехтом, сообщение очень удобное, — трамвай через 10 минут ходит. Летом дивно — сад большой, терраса и т.п. Хочу заняться всем, что горит, а иногда и жжет в душе. У нас сырость феноменальная: испортился телефон — оказалось, что от сырости — взяли его сушить. Но ничего не сделать. Еще, слава Богу, что тепло пока. Кажется, ночью будет мороз. Топим иногда только к вечеру. Совсем нет дров, а угля «кот наплакал». Мы все деревья, которые можно было, за эти зимы войны припалили. А природа все же идет к лету: гусыня вчера положила первое яйцо — а они это делают только для витья гнезда (не как куры). Куры бастуют — поздно высиделись из-за воды. Одна старая курица начала нестись, а молодочки не обновились, кроме одной.

Молоко перестали поставлять, — скоро перестанут доить. До конца марта ни единого теленка. Корму нет. Мы все потеряли от воды, а вместо поддержки от государства, видим одни налоги. Мой свекор должен 15000 платить. Ему ничего не остается, надо продавать собственность, чтобы эти деньги найти для налога. Арнольду надо давать 2000, а заработную плату рабочим подняли ±50%! Надо продавать 2—3 коровы и м. б. лошадь, чтобы протащиться зиму. Почву после воды очень трудно привести в норму — масса уходит денег рабочим. Дерут, дерут, а чем кончится? А рабочие всюду бастуют. Ну, довольно. Целую тебя, мой Рождественский Ванюша.

[На полях:] Если ты празднуешь этот Новый год, Ванёчек, то поздравляю тебя! Главное, будь здоров!!!!

Посылаю тебе «лапку» с моей елочки.

112

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

10.I.46

Дорогая моя, еще спасибо за питанье, сыр еще ем, он хорош, жирный, но для меня несколько солоноват-остер, да и целую глыбу ты! Поражен великодушием В. Д. Г[рондейс], я передал ей для тебя давно хранимое яичко с гербом российским, а на днях были Карташевы, с ними послал — просить В[алентину] Д[митриевну] взять для тебя: «амбрози сэлест»[i], — сам выработал, в течение 4 мес. «Только для избранных». Смакуй помаленьку. Еще: два «селюкрина» и 1 — антигриппал, — его теперь не готовят. *Немедленно* прими. Селюкрин храни от сырости крепко! Принимай же! — укрепит. Хотя... ты безумная, если не покинешь «могилу» — отраву сыростью! Ехать во Францию — в неуют и нехватку всего... Бессмысленно. Истратишь уйму, и ничего в возмещение... кроме меня? Я предпочту выждать, когда свидимся в лучших условиях. Езжай же в Швейцарию. Черт знает, в какой хомут влезла! М. б. и бельецо — не твое? — а — уже предназначено правнучке какого-нибудь троюродного дедушки?[496] Черт знает! Тьфу, окаянные. Противно думать... И все-таки поезжай. Нужно будет — устроится, т а м, на месте. Ручаюсь. Сказал — твое дело дальше. Именно, умываю руки.

Сударыня, Вы что же..? В письме 21 — «еду в 3 ч. ... в... напишу все подробно»[497]. И — ни гу-гу. А что же было? к а к о в прием? — ни звука. Мне начинает казаться, что это было... в твоем воображении. И слава Богу. Только и отписала, что: «был чин железнодорожный...» и «кто-то прослезился»[498]. Эти «слезы» надо смотреть в микроскоп... — туземные-то. Итог не по «адскому труду»! Ты меня не ознакомила ни с идеей работы, ни послала мне снимков... — ты же писала: истратила на фотографирование! Где же? почему м е н я обошла? Кажется, я был всегда чуток к вашей милости... находил волю переписывать для тебя... к о е - ч т о?.. Так ты мне «заплатила»!! Не поделилась планами, ни-чего... — это уж — «вас не касается»? Или — смутила думка, — не одобрю?! Почти что угадала, но — «почти», — я же ниче-го не знаю. Не стану же я думать, что ты... вся «апельсинная»!! Ты, милая, — вся — грешневая! И под каким же о р л о м рождена! И... —

---

[i] «Небесная амброзия» (*от фр. ambroisie céleste*).

вспомни же Солнце наше! — Пушкина: «Служенье муз не терпит суеты»[499]. Подумать — 26-летний писал! Это из его «19 окт. 1825 г., на лицейскую годовщину». И все же... меня ан-ти-ри-су-ет... как тебя отчехвостили. Смеюсь. Какавой угостили? апельсинами? И так... — «малые связи». Истинно — связи... они часто связывают душу.

Изволь мне прислать «акварельки», и — идею. Иначе... — я тебе пришлю, как делают хохлы... — «тыкву» или «гарбуз». Да... я, м. б. забыл в рождественском письме[500] просить тебя передать поздравление — искреннее! — маме и братишке. Догадалась передать, а? Когда-то они меня то-же поздравляли... но теперь правда, не до сего.

Твоя гусынюшка — молодчинка, знает свое призвание. Пожми ей от меня лапку, умнице. Она — «по закону», в дружбе с естеством, и не знает ни про «ледоколы», ни про «атомное»... Ты тоже, большей частью умница... но... вдруг и сорвешься и со-врешься... Поцелуй гусыню в головку и погладь.

А вот Денис-Лукавый... я же тебе предрекал, что сей фрукт... у него и кличка от «кривизны»[501]... Это уж с роду так, такая заквасочка: ловчиться. От папеньки... ухитрившегося «быть полезным» некоей морской «державе», приютившейся в горах нейтрала. Он ей кораблики как-то «оснащал», хлопотал... «Ласковый теленок»... и проч. И: «блажен кто свой челнок привяжет к корме большого корабля». А поп Дениска еще на школьной скамье сидел, а уж планы строил... «доказать себя»! Теперь доказал: ухитрился попасть в валютную местность, — значит — питается от богатых яслей господ своих. И от тебя попитался... а потом и... хвост в зубы. Ну, о такой «мушиной точке» не стоит... Напитался — и в тарелку, сплюнул. Отказать в таком законном, в таком... святом!.. Манера хамская...

Прошу: имей терпение, если не приходят письма: значит — прий-дут! Я — дорожу каждым часком... я столько болел... я столько работал!.. но столько дней — недель провалялся!.. Переработка... «поднятие икон»[502] — страница превратилась в 5! 12 глав — В 21! У меня все так. Посылая тебе «литературные письма», я торопился, боялся... — ну, «все оборвется»! Это были, оказывается, «наметки»... Теперь 160 стр. переписаны окончательно. Ох, какая же работа!.. но я люблю «бороться с матерьялом», преодолевая косность его и ха-ос. Пишется «впрок», и, кажется не увижу в печати...

Нет издательств наших, на иностранных языках появится раньше... — какая несуразность. Да чужие чтители ничего не поймут. Ведь самый богатый язык в мире... в сравнении с нашим... невнятный и бледный лепет, при всей своей «точности» хваленой. Пойми: язык народа — по размаху и глубине духа его! Ну... какой-нибудь Маас, Рона даже... и — Волга-матушка... А у меня в работе дошло дело до... петуха![503] Почему поет петух — единственно, петух ночью... трижды?! Такой вопрос стал головоломкой навязчивой для В[иктора] А[лексеевича]. И Д[аринька] разрешает сей вопрос... «колумбовым яйцом». И что удивительно! Мой «бросок»... «определение» Дариньки[504] — совпал с концепцией Карташева![505] «Я гО-ды таил сие... я могу вам про "петуха" три часа читать... это мое — открытие... и вот... героиня ваша... — ляп!..» Он даже побледнел от... изумления. Но это пока моя «тайна»... как-нибудь прочтешь... Я писал тебе: перешлю окончательную редакцию профессору в Цюрих, и попрошу его послать тебе, а ты — мне. У меня только два экземпляра.

От И. А. почему-то не было мне письма к Рождеству — не болен ли..? Хотя был от него «воздушный привет» за один рассказ... потрясший... и не простой привет, а с «начинкой». Но... по-французски, и в десятка полтора строк[506].

Эх, как не стыдно тебе: заворотила мне из посылки моей — тебе!.. Я и не стал есть — роздал, кому треба. Это вот... за это вот... ну, Господь с тобой. Я, было, раскатал все... и «деревцо», и... «не ваше дело»: ...да одумался... по-рвал. Не хотел делать тебе — м. б. и несправедливо, горечи... нежность и ласковость покрыли все это... и я рад, что так. Кто Богу — не грешен, царю не виноват? «Люби, покуда любится... Терпи, покуда терпится, Прощай, пока прощается... — И... Бог тебе Судья!»[507]

Поблагодари же великодушную Валентину Дмитриевну Грондейс. Она посидела у меня с четверть часика, я предложил ей чаю с горячими лепешками... только что старушка пекла... — и чаю не пила, куда-то метнулась... Она, ведь, тормошистая... Теперь ко мне... — писал я тебе? — еще 3 дня в неделю ходит одна дама, так что пять дней на неделе я обслужен, хоть в лавчонки не ходить... В молоке купаюсь, полтора литра в день, 1-й режим — вы-слу-жил! — зато отняли многое... весь хлеб, например. Из 6 присланных яиц — 4 помялись и были выпущены в банку, и я сварил молочную яичницу... из «яичницы». А сыр ем и раздаю, во имя твое.

Скучное пишешь ты... налоги, убытки... ну и надо плюнуть на ферму... не закабаливаться же до... гроба. А ты вот сколько в хомуте-то прыгала... — знаю, все вижу... И зачем все это... было?! Не увидала ты настоящей твоей «вехи»! Твой «путь» уже намечался перед тобой... ты от него отвернулась... Это было... 10 лет тому... почти. А м. б. и это не «путь»... Все очень просто, когда «оглядываешься»... Если бы мы с тобой говорили... мно-гое сказал бы... и о тебе сказал бы... нашел бы слова... а в письме выйдет не то, не так, вскипишь... ты, ведь, ох какая кипучая! Да и есть в тебе одна «занозишка»... — вырви ты ее, прошу, ради Бога... и — «во спасение души». Нет, не напишу слОва... не то выйдет. Одно скажу: я всегда пишу тебе полным, раскрытым сердцем. Таков мой ндрав. Я, как цветочек... — чуть почувствую немножко тепла, солнца — тянусь... И не вижу, а тянусь...

Ну, Господь да хранит тебя, дружок Олюша. Помни: никто так не понимал, так не вникал в тебя... так не... ... ... Спасибо и тебе за иные миги... давно их не ощущаю... да и то сказать: вынести такую «марку», на протяжении 6 с половиной лет... не видя... — это лишь с огненным воображением можно... то-лько. Жить... видением... — можно миг, а не го-ды... «Привычка» многое стирает, «разъедает»... — притерлось, свинтилось. Разболталось... — так? Не хочу это видеть в твоих письмах... это твое (яко бы) «это уж мое, и Вас не касается...» — меня тяжело толкнуло... Но... я уже поднимаюсь над этими «толчками»... Жизнь, думы... — выучили. И — главное — труд.

Целую. Твой В.

113

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

24.I.46 г.

Ванюша мой дорогой, 22-го и 23-го твои воздушные письма[508], — 5—6 дней в пути все же были. Но если они хоть на 12 ч. раньше были, чем обычные, то все же имело очень большой смысл. Я уже заклеила тебе ответ на последнее твое с еще большими «царапками». Рада, что не послала, лучше быть в ладу. Мне было бы самой больно. Но не могла так оставить, тебя оставить думать, что я подхалимствую. Самое главное, родной мой: конечно, я «грешневая» и никакая другая никогда и быть не могу.

Как рада я, что ты бодр. Но, однако, все по порядку: ты хочешь «тему» — «идею», как ты говоришь. Ничего не было особенного, — это *не* творческое, не замена фермы и вообще никак не искусство. Ну, как прикладное м. б.

Видишь ли: когда в 1940 буквально у меня под окном поставили пулеметы, и мы бежали в последний момент, — много нам пришлось пережить. Я же еще была больная. В сказочной одной ферме, ночью мы, ожидая чуть ли не взлета в воздух, узнали, что... Голландия капитулировала. Я хорошо представляла себе уже тогда, что это с собой принесет. На обратном пути домой в сияющий майский день мы то и дело натыкались на рыдающих женщин, — о павших мужьях и сыновьях. Дома услышали в радио все о капитуляции, а в Англии играли гимн Голландии — еще одна жертва. Мы были убиты... Все было растрепано, уже шмыгали солдаты.., а на буфете у меня лежали, как ни в чем ни бывало, 2 апельсина, — купленных еще до войны. Я взяла один из них, и тут же вынула зернышки и посадила их с загадкой: «Коли вырастут, то не все еще погибло, и вышибутся немцы». Ох, как я их по Берлину хорошо знала, особенно когда они «заткнули рот» И. А.[509] только потому, что он звал нас остаться честными русскими. И всю их гадость ежечасно глотала...* Ну, томы бы писать об этом, как они Россию (не Сталина) ненавидели. Без стыда прямо тогда говорили. Одним словом — занятие Голландии было новой катастрофой, хоть и маленькая она, но все же еще какая-то пядь земли под ними. Зернышки проросли. Деревцо выросло и видело все, все, что кругом происходило. Многие знали о моей «загадке» и о его «ответе», — спрашивали: «Что же Вы сделаете с ним»? Я шутила: — «Королеве отдам, — ведь по деревцу выходит, что она вернется»... После освобождения многие вспомнили. «Ах, чепуха...», — говорила я. Но деревцо надо было привить... Я стояла перед ним и думала о том, сколько за эти годы лежало в этой «загадке» — в «ответе». И передо мной прошло все... а чего только не было. У нас много чего еще «кипит» и «варится», весы еще не пришли в равновесие. Многие подхалимы разжигают страсти, и нет гаже «белоризных» неких, которые сами-то, однако, ничего и не делали больше, как только берегли свои ризы. Много злобы, зависти, главное, и т.п. вместо любви-то. Хирург наш правильно сказал: «Взять бы резинку, да и стереть, наконец, все то, чем сейчас злопыхают». Сам он деятельно помогал

---

* лично я ничего плохого не испытала, а обида вся на их отношение к нашим исконным ценностям. Не субъективная обида.

против немцев, видит вещи как они суть. А вот подлецам, обычно чего-то все надо. И какое непрощение. Подобная же злоба идет и на крестьянство. И затирают его. И так хочется всем им правду сказать. А сколько ведь все вместе пережили — радовались бы, что Бог свободу дал и жизнь. Нет, все иголками друг друга колют. За то, что у соседа на 1 [cent] больше, а у третьего больше, чем у 2-го. И т.д. Забыли как в голод и нужду друг от друга зависели. Ну и много чего. Как протащились мы последнюю зиму — Бог знает. А кто забудет замерзших младенцев?

Много фотографий печатается в журналах о том, как жили маленькие девочки-принцессы нидерландские в Канаде[510] вдали от родины. Мне пришло в голову запечатлеть то, что мы в то же время пережили... Ведь повседневного угла, угла у печки никто им не показал. И вот, больше как дневник сперва, для себя:

I. Через полукруглое окно Бюнника виден цветущий сад... в нем солдат, прицел, орудия, грузовик... Краткое описание того, что было в 1940. Без единого слова преувеличения... Кратко, конспектно... Все равно все знают. Бегство и ночь... ароматная... сказочная ночь... Тишина капитуляции.

II. Блюдо с 2 апельсинами.

III. Разрезанный сочный плод, горшочек с землей и рука, опускающая зерно.

IV. Описание «прелестей» оккупации. Краткие факты... Без употребления «ужасно», «страшно» и т.п. Ожидание «ответа» зернышка. Наконец-то, когда почти не под силу — росточек с 2 листочками.

V. Подход к последней зиме. Голод и застывшие руки, стучащие в стекла о корочке хлеба. В сумраке утра, холодного и жуткого грохотом стрельбы слышит апельсиновое деревцо вздохи и стоны голода... Оно дрожит листочками от взрывов, оно алеет в зареве пожара, сожженной виллы (SS спалили против нас). Оно задыхалось дымом, когда все мы с 38-ью эвакуированными и 4-мя немцами все ютились у коптящей печурки. Тут же сушились пеленки и штанишки, тут же сушились и мокрые сапоги солдат. Голодные люди-беженцы и голодные солдаты... Часто делились друг с другом тем, что имели. Грохот пушек... уход в смерть, проклятие Гитлеру и... иногда еще гордость им. Всякие бывали.

Это была 5-ая картинка — «у печки».

И, наконец «потоп» — деревцо осталось стоять на окне, видело себя и в луже в комнате и через стекло, за окном.

И это была 6-ая картинка. Жутко вспомнить эту воду — воду — воду и больше н и ч е г о...

Голод был нестерпимый, — я не могла спать, представляя горожан, знакомых и чужих... Мы были отрезаны от них. По карточкам не давали уже ни единой корки... Как они жили?

И вот... летят самолеты-бомбовозы... Помощь!?!? Никто не верит. Я описала очень кратко живописную картинку ранней весны, мы по лестнице тащим только что вылупившихся гусеняток, грузимся в лодку... Крики испуганной гусыни в майском сыром воздухе, писк детенышей, плеск воды о лодку, и этот гул вверху....

Мы едем мимо окон в лодке, слезы в глазах... избавление голодающим... Они не умрут... И... «вода сбывает!!» — орут люди. В окне мое деревцо... молчаливо дало свой ответ. Я благодарю его и на 7-ой картинке оно «во весь рост» такое, каким я его отдала. Я прощаюсь с ним, в надежде, что оно будет и цвести и нести плоды. На первом заглавном листе — орнамент и заглавие: «апельсинное деревцо — символ и залог». М. б. плохо перевела. Это не точно. Нарисовано очень тонко, акварелью в альбоме.

Копии не удачны. Я хочу восстановить для себя и тогда тебе пошлю. А так только испортишь представление. Переживания бедствий описаны коротко, но ярко. По прочтении их не сможет никто найти в сердце своем какой-либо упрек на исстрадавшийся народ*. И еще: город должен помнить, сколько страдали мы в деревне за них душой, сколько отдавали своего и себя, нельзя теперь, забыв все, плевать в колодец. Да и вообще-то перед лицом смерти тогда все, все, и солдаты-то те же, враги-то сами какие несчастные были они... И только и ждали ведь конца. Все, кто прочитали, были растроганы и все говорили, что принцессе будет радостно прочесть именно такое, увидеть, что так переживалось. И не думай, что какая-нибудь тенденция. Нет, только чистая правда. Из сердца, без прикрас.

Когда я для себя наброски сделала, я еще не знала, отдам ли кому-нибудь. Сознаюсь — толкнуло и еще одно — ведь на мои занятия искусством смотрит кое-кто, так, вроде как на блажь. Конечно, мне наплевать, да только трудно себе путь пробить. У меня гостил свекор очень долго

---

* и м. б. многое в этом свете поймется и простится, и злоба, и зависть, и все то, что опрокидывает чашку весов.

и очень долго золовка, которая от нежелания о себе или о других темах говорить, обычно со всеми перемывает все о других и в частности много обо мне с своими домыслами и догадками. Если я час у себя писала, то: «а... писательница?» и сейчас же по всей родне...

Что вот, мол, в такое-то время какой роскошью [занимается]. Ну и не злостно, а так уже выходит. И тотчас спрашивает: «Покажи! Что такое?» Ну, я и сделала, и показала. И теперь, благодаря старику, мне дана отдушина. Он уверен, что я, конечно, могу что-то, если у двора принято, и столько отзывов.

Это все трудно описывать. Расскажу лично, все поймешь. Тут же — Китай![511]

Ко двору я проникнуть не стремилась. Я из одной застенчивости бы не пошла. Главное было не похвала и признание мне. Для меня это не нужно. Я хотела очень, когда все так хорошо правдиво удалось, — чтобы в королевской семье увидели наши уголки. Все, что честно, правдиво, не может принести дурной плод. Сейчас трудное время, если Они в эти тяжелые дни согреются сердцем, и это отразится на нас же, то это только хорошо. Это было общее впечатление. Пусть маленькие девочки оставят на память, — когда вырастут — будут м. б. вспоминать.

Ты понимаешь, что для этого мою грешневость забывать не пришлось. Я, между прочим, им и сказала, что я «грешневая». И, вообще, в высшей степени все с достоинством.

Я сообщила секретарше, что хотела бы то-то и то-то послать, — склонны ли принять. Ответ секретарши, что с удовольствием примут. Я отвезла сама, но могла бы послать и по почте, — не будь деревца. Мы с доктором сообщили привратнику, а тот нашел, что лучше, если мы сами во дворец отнесем. Так и сделали, там сдали секретарше. Очень вскоре получила от имени принцессы Юлианы написанное ее камергером (от руки) благодарственное письмо, в котором подробно описывалось то, что послано, с кратким содержанием альбома, и сообщение о том, что Ее Высочество с большим интересом ознакомилась со всем этим.

Вот и все. Ты видишь — никаких связей.

Повторяю — это не было в моих планах — как-то выделиться или выскочить, выворотить кишки и т.п.

Между прочим, доктору я ничего не говорила, а только его экономке передала альбом, сказав, что я потом зайду за ним. Когда зашла — он мне сказал: «Знаете, я читал и думал, что этот альбом Вы должны бы были дать королеве». Видишь?

Я тебе никогда не говорила, что это «мое дело». Но я только м. б. думала, что: как бы ты не думал про это, — я-то знаю, что я хорошо поступила. И это ты тоже бы сказал, если бы смог все прочесть и познакомиться. Конечно, я все сделала очень красиво. Цветочник сделал сказку из корзинки с деревцом, как и подобает для дворца.

Я пошлю тебе акварели, когда воспроизведу их. Некоторые из видевших хотели бы, чтобы я издала книжкой. Но после подношения это, конечно, невозможно. Между прочим, королевский двор здесь очень демократичен и прост в обращении с подданными. Мой муж был вначале против подношения — он очень скромен — но, ознакомившись, нашел очень уместно. У меня не было неприятного осадка, и я не чувствовала, что тут «подлизывание». Я бы себе этого не позволила. Да какое же это искусство?

Относительно моей поездки пока нельзя и думать, — я опять больна. Жестоко простужена. Но, кажется, уже проходит. Не дают девиз. Надо докторов за бока, м. б. дадут на лечение. Не хочется пускаться в путь до тепла. Страшно нос высунуть в холод.

Ванюша, письмо все сплошь о деревце вышло — а я и не успела приласкать тебя!.. Как хочу тебя увидеть и так о многом поговорить. Мы неисчерпаемо долго можем говорить... о всем. Какая чушь: «герой романа». Я же так люблю и знаю твое сердце. Вечное, оно и вечно ю н о. Я серьезней, чем ты думаешь. Иной раз это заметно, что ты меня легче представляешь. Письмо мое, запечатанное для тебя, оставлю лежать. Потом прочтешь, чтобы знать, как больно было Ольгуне, что ты ее несправедливо обидел. И гусыней... зачем? Как ты это... самое-то такое... затронул... Не надо. Больно. Ну, Господь да сохранит тебя бодрым и здоровым. Скоро еще напишу. Целую. Оля

[На полях:] Спасибо, Ванечка, за посланное с В[алентиной] Д[митриевной] — я еще у нее не была из-за нездоровья, но целую тебя заранее.

Сожги письмо, т.к. у меня здоровый грипп.

114

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

18.II.46 Утро, 10-40

Только вчера вскрыл и прочел твое письмо от 24 янв., полученное 31. Долго же шло оно! но сейчас рассмотрел почтовый штемпель — и вижу, что 28! Итак, оно проспало

у тебя 4 дня! Вот как... Мои письма, самолетом, не летели, а плелись... так сказать ползли, «самоплётом». Больше 3 недель я не мог ни писать, ни читать, — залился кровью правый глаз, воспалился и сильно болел. Все я видел «в розовом свете»... пребывая в отчаянии. Это мой «рабочий» глаз: левый видит на расстоянии в 2—3 сантиметра! Глаз когда-то был остро ушиблен, писал тебе... И вот, — очевидно, от разогретой печки — слева от меня, когда я за письменным столом, нагревшийся, он простужался, когда выйдешь в коридор... — и до-простудился... Я часами лежал, стиснув зубы, с компрессом, пускал свои капли... — и все это на почве общей простуды. Вот, только со вчерашнего дня могу читать — без боли, глаз поочистился... Этим и оправдан мой такой поздний ответ на твое письмо. А ты..? Или ты пробуешь играть со мной «в перетяжки»? кто кого победит... молчанием? Ты пишешь, что тебе лучше — грипп твой проходит... И вот, — больше 20 дней — молчание... Побеждай, — только что же из сего может получиться..?

Никогда я не судил тебя за «подношение» и — тем более — не называл твой шаг подхалимством. Это уж ты накручиваешь. Напрасно. Я лишь досадовал, зачем это «метанье бисера»...[512] зачем таким путем пробивать лед... льдышек?! И... мое предчувствие, кажется, оправдывается... моя тревога уже перешла в... острую обиду за тебя. Ка-кой же это — прием?! ... и какая тут — «демократичность»?! Знаешь, милочка... в нашей Державной России так бы не поступили. Ни-когда. Там... именно, принимали, раз давали согласие принять дар сердца. Мы знаем исторические акты... Когда мужик-купец Губонин подносил царю Александру II группу «Крестьянин» — из серебра, выражение благодарности за освобождение... — царь обнял его и трижды поцеловал. И знаю я, если бы писатель русский посвятил царю достойное и — поднес в дар... — после дворцового контроля, — он получил бы аудиенцию. (Вспомни: Пушкин — и Николай I.) Пекарь Филиппов получал ее — и рукопожатие — за... калач, за «крендель». И так искони было. А тут... — такое трогательное, такое — «от сердца» — говорю, даже и не видя! — тут... Господи... после таких терзаний..! и так тонко... — почему ты смеешь судить себя так строго, говоря — «не искусство это»?! — выразить... это, конечно же самое сокровенное искусство... это же — поэма горя! — ограничиться письмом, — хотя бы от руки! — но... камергера... т.е. ...

лакея..? а?! ибо все эти каммер[1]... — это — челядь, смерды в мундирах!.. — и я остро оскорблен за тебя. Я не сомневаюсь, что ты держала себя с достоинством: ты и чудесно-чисто горда, ты и чудесно умна!.. и ты слишком от плоти и души России... Как тебе могло в сердце войти — упрекать меня, что я здесь вижу... дурное?! Я лишь предчувствовал... возможность обиды для тебя! И только. И все же — браво! Ты же невиновата за невоспитанность души других, за... легкосердие... за... просто, невнятицу их восприятий. Это же — другого состава лю-д-цы... и другой крови, да еще с начинкой опустошения условностями и искривлениями во взглядах на мир и людей, и их страдания. Я предпочитаю — «просто апельсины». Но твои акварельки, не видя их, я и сейчас целую...

Милая, ты не поняла, или не совсем верно поняла... «Гусыня»... что я просил пожать ей лапку..? Да потому, что люблю пернатых... что вижу в делах гусыни следование здоровому инстинкту, «против всего»! за счастье, что есть неизменяемое... устойчивое в шатущейся основе жизни... — что я в гусыне и ее акте чувствую... наступающую весну!.. и что для гусыни нет нужды что-то «пробивать»... От этих чувств легкости на душе я и писал тебе: погладь ее по головке, пожми ей лапку... А ты..!

Опять, как и... всегда, ты пишешь о поездке и возможности свидеться... — «нечего и думать»... Ну, да... старая история. Раз нечего — ну... и нечего. И точка.

Я много болел эту зиму. «Пути Небесные» — II кн. — завершены окончательно. 48 глав, 308 стр. Что работы положено! Ты скоро получишь копию и вернешь мне, у меня только один экземпляр останется. 1 книга сдана французским издательством в набор. Печатаются в Швейцарии на немецком языке избранные мной рассказы Чехова с моим предисловием. «Ам Меер» — получает отличные отзывы. И, как эхо, швейцарское издательство получило запрос о праве издания из Нью-Йорка и дало мой адрес. М. б. попросят. Так у меня всегда, «самотеком». Я пальцем не шевелю, ле-нив. Не добиваюсь. Надо — придут сами. «Ам Меер» — пошлю тебе, издана с выпусками, — потребовал так принятый формат книжек «библиотеки для юношества». Я не противился, напротив — пусть будет читабельней. Все равно, при новом русском издании сам сделал бы сокращения. Просят — «еще». Пошлю что-то... если

[1] Комната (*от нем. Kammer*).

найду время «стянуть», м. б. — «Рваного барина»[513], — ты, кажется, его не знаешь, единственный у меня московский экземпляр[514] — редкость. Из детства.

Новые мои читатели — «певцы» — подпали под очарование «Путей»... (читали 2 раза — и... «унесены») и поднесли мне увеличенное фото, которое видели у меня — «в бекеше»[514а]. Вот, посылаю. И добавляю — профильный портрет, «лучший», 25 года! Был приложен ко французскому изданию «Человека из ресторана». У тебя, помнится, есть «паспортного размера»?

Ты не забыла моего письмеца — «от печки», — о «гроздочках ягод» — в акварельках? Нарисуй-ка, хотя бы с... открыток, что ли... Мне о-чень нужно. Я, конечно, был бы счастлив получить «апельсинное»... но... ты так туга — для меня! Я послал тебе с Валентиной Дмитриевной — был полубольной — что под руку попалось. Главное — лекарства. Как нашла мою амброзию? когда делал — о тебе думал... Еще раз: твой сыр — чудесный. Как писал, Карташева даже корочки сжевала!..[515] Прислали мне из Португалии... — отвратительный. Из Дании был куда лучше. Но твой — экстра. Я люблю сыр, только не могу острого... люблю свежий, чуть сладковатый — «грюйер»[i]. И — швейцарский — он же и «грюйэр». Вообще — мягкие сыры, не тощие. Если у тебя будет оказия, купи для меня немного! не больше — ни-как! — фунта! Есть для тебя отличный шоколад... — из Португалии! — не с кем послать...

Ну, Господь с тобой. Я уже отвык от ласковых, согревающих писем... всему предел, как и теплу сердца.

Столько нежности — вот сейчас — почувствовал к тебе, — испугался... бунтующей всего нежности..! Смешно и — грустно. Вижу тебя через мою Дарью... чувствую тепло дыханья... — тепло полей хлебных, летней душистой силы... Целую.

Твой Иван — и как можешь назвать...
ах, время-время!..

Получил очень интересное письмо из Флориды — от Г. Д. Гребенщикова[516], неожиданность! Молодец он, с женой. Сколько работал, всячески!.. и как внедрял в американцев величие русского имени! служил России! Это целая поэма... Эпическое — Одиссео — Илиада... Пробил пути. Теперь — профессор в американском колледже, читает, по-английски (а то ни в зуб толконуть не мог, приехал в Америку 22 года тому!) — лекции русского языка,

---

i «Швейцарский сыр» (*от фр. gruyère*).

истории литературы и изящной словесности — вообще. Жена — мастер печатного дела, высокой квалификации, тоже преподает это мастерство — там же. Без гроша — ныне владеет чудесной усадьбой в штате Кентукки, в 200 км от Нью-Йорка. Какой же коттедж, в 10 комнат, возвел!.. Воистину, кулачищами и умом пробил дорогу. Сибиряк, с Алтая, из бедности. Мой литературный «крестник»[517]. В с п о м н и л... — н е з а б ы в а я. С упоением читал его «борьбу». Теперь даже «доктор философии» какого-то индусского университета. Вот, что делает русский человек — щепка в мировом океане! Главное — крепит уважение к России.

И. Ш.

Напиши тотчас же как здоровье. Как сырость. Какая t° в доме? Я тревожусь, — последствий всего неуклада твоего.

115

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

16.II.46

Дорогой Ванюша,

Все жду твоего письма, но, увы... надо видимо сказать себе твоими словами: «значит придет, если не пришло». А между тем думаешь и то, и это, и главное, здоров ли ты? Мы все переболели гриппом. Я не писала давно за множеством забот, вот и из-за гриппа, и всякое иное и опять было чуть-чуть не затопило водой, на этот раз природным потопом. Вода стояла опять уже на дворе, как накануне нашего весеннего бегства. Пока Бог миловал, но многие думали, что мы под водой, судя по тревожным радиосообщениям. Получаю письма с вопросами, как у нас. В доме сырища ужасная. Одна комната не жилая. Испортился телефон от сырости. От новой воды опять оказалась залитой пшеница, кажется, не так много и не так долго, м. б. оправится. Никаких работ нельзя делать. А немцы и после войны еще гадят: чтобы избежать разлива у себя прорыли дамбу на голландской границе. Оттого у нас и безумствовала вода.

Я совершенно больна душой от всех разоблачений на Нюрнбергском процессе[518]. Неужели, неужели все правда? Что же это за люди? Мне жутко. А если все правда, без сгущения, — разве не страшно жить? Нет, только единицы еще несут в сердцах Бога. Какая всюду гниль! Я болею и своим, хочу узнать, что там. Я не нахожу покоя и знаю, что жить так, как пребывала до сих пор, не могу.

Получила (давно) от И. А. превосходные книги, — не могу начитаться. Ты знаешь: «Das verschollene Herz», «Die ewigen Grundlagen des Lebens» и «Wesen und Eigenart der russischen Kultur»[519]. Последняя особенно мне ценна. В ней все о субстанции русской души. О той самой субстанции, про которую можно сказать: «das ewige russische»[i]. Через века и лета пройдет она, эта наша субстанция, через огонь, медные трубы и всяческие режимы и останется такой же. Что-то надо делать, как-то надо «воспитывать» своих. Как?

Из встреч, из наблюдений, я уверилась в том, что нашим не достает знания, вернее, познания себя самих, и сознания гражданского долга, моральных устоев; надо поучиться различать добро и зло и твердо знать, что ты выбрал. У них смятка, слушают то того, то другого, а сами не знают, что надо. Надо знать свои силы. От малых знаний, объективных знаний, у них: то «мы их шапками закидаем», а то «куда уж нам»... Никто так не одарен в мире, как наш народ, никто так не чуток, никто так не умеет молиться, любить и верить... И никто так не неудачен, как мы. Единственной верной почвой для нас являются истины твоих идеалов и И. А. На вас обоих должно всходить тесто, такие дрожжи — лучшая гарантия нашего будущего, лучшая прививка против... всего. Никто тогда не страшен. Если бы можно было перебросить туда твое и И. А.

Неужели я умру, не сделав ничего родному народу? И неужели мне нельзя туда? Если бы можно, то я бы поехала. Я ничего не боюсь. Я знаю, что сидеть здесь я не могу. Не собираюсь навсегда туда, но хочу сама все знать.

М. б. мне это и возможно.

Недавно мне пришлось слышать снова: «русские едят свечи, а казаки ели в 1812 г. детей». Ваня, я не могу это слышать. У нас есть общество: Голландия—Россия, — культурно-историческое изучение нас! Я хочу, безумно хочу прочесть им о нас. Но стоит ли метать бисер? В это общество меня направил мой сердечный специалист. Это серьезные люди — хотят честно знать все о нас. Я не сплю иногда ночи и уже чувствую себя перед пюпитром, и вижу их сытые лица... западноевропейские лорды. Как хорошо я все составила... Да что, что они о нас знают. Как смеют касаться нас. Ваня, меня интересует твое мнение о Достоевском, о его «Дневнике писателя»; мне не нравится его порой задирательский тон. Он явно себе противоречит, по-

---

[i] «Вечно русское» (*нем.*).

моему. Но я боюсь высказывать эти впечатления, не святотатство? Я очень ценю Ф[едора] М[ихайловича], я в восторге от его всей русской установки. Но я всегда слишком чувствительна к субъективному отношению к вещам и не выношу такого отношения, — независимо от кого оно исходит. М. б. я не понимаю, но мне кажется, что в своем дневнике он часто противоречит. Напиши. Иногда он, помоему, «лукавит». М. б. я не права, но какое-то такое чувство отчего-то возникает. Но он замечательно верно видит наше, все наше. Какой большой человек.

На днях хочу ехать в Амстердам, чтобы поговорить с одной швейцаркой относительно «девиз» для меня в Цюрихе. Попробую получить визу в Швейцарию, — тогда поеду через Париж. Надо торопиться, т.к. весной у нас много работы. Уже теперь началось. Не знаю, как я вырвусь, но очень хочу.

Хочу увидеть И. А. и обо всем поговорить, так много всего. Его книга — кристалл, через который играет само солнце. И. А. всегда стоящий на высоте, — теперь, в этой книге достиг каких-то уже предельных высот. Как он зрел! Не мне это говорить, в моих словах хвалы он не нуждается, конечно, но все же не могу молчать. Какой чистый он человек.

Я рада, что вы, оба такие удивительные — друзья.

Ванюша, если ты занят работой и потому не пишешь, то, хоть и больно, но терпимо, а если злишься, то... не надо! Будь милый! Я почти что окончила мои «иллюстрации» к апельсину и сразу пошлю тебе для ознакомления, а ты мне их пошли тоже заказным обратно. Хочу для себя, на память о том, что было.

У нас очень болен о. Дионисий, поскольку знаю от Енакиева, вызван из Medon'a о. Андрей[520], и должен был прилететь на аэроплане, чтобы причастить больного. Не знаю, что теперь с ним. Хотела поехать и отвезти ему чего-нибудь из деревни, но раздумала. Я сама очень устала, а поездка в Гаагу для нас целое мучительство в нетопленом вагоне, битком набитом, и ехать надо уже с 1/2 8-го утра, — до 5 ч. вечера без «притыки» в Гааге. Я пожалела себя. Эгоистка. Кончаю, Ванёк, уже поздно. Пиши! Целую. Оля

[На полях:] Вышли крокусы уже в саду.

Ванюшечка, как ты меня тронул твоей посылкой с В[алентиной] Д[митриевной]! Мне даже снилось, что я печаточку с Пушкиным вдавливала в воск, чтобы сохранить. Ах, ты мой милый «ликерщик». Спасибо, Ванюша!

116

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

6.III.46 9 ч. вечера

Голубочка-Олюша, вчера к вечеру получил твою «трубку» с акварелями, а сегодня отослал, в 4 ч.! И чего ты начинила письмо злым дураком-почтарем![521] Гоголевский «Шпекин» хоть глуповатый простак был... а этот... — к черту! Твои рисунки... Нежные, чистые, тонкие... — несомненно талантлива ты! Но без текста они — ребус, и не знай я смысла всего, — не мог бы разгадать. Жду твоего русского текста. Знаешь что... — м. б. так нужно, по твоей мысли? — они, думаю, мало дадут и с текстом: нет лЮда! Одна, данная тобой, фигура голландского — ? — солдата, в 1-м рисунке как же оживляет! А то — пустыня. И — молчание. М. б., говорю, так и нужно. Но где же — все?! Очевидно, — в тексте. И все же чувствуется провалец... — как бы «вырваны листы» из пьесы. Но почему в 1-м рисунке — оглоданные деревья? Май... цветенье... на боковинке агава в цвету... — красивая! — там — водная гладь, без конца, — это отлично чувствуется... и... «тенёта». Это прекрасно по мысли, рисунок как бы символически выражает — томление, узы... Не возражу. Скажу: и оглоданные деревья хороши. «Рука» — хороша в сгибе и от кисти... — несколько великовата, но — с остальным — в пропорции. «Два апельсина» предполагал не в полной голости, а в спокойном лежании, на буфете (как ты писала в письме), пусть в — пустоте... но — в энтэрьере[i]. Так, как дано, — постно, нечуткие ничего не уразумеют. Я-то чую твою сдержку художника! Но... т е-то... ?! — «вышние»-то... — что поймут?.. Им надо разжевать и в рот положить. Вот, про «бисер»-то писал. От комнаты с дымящей печью, с бельецом... с аккуратно сложенной солдатской «выкладкой»... веет чу-уть... — не слышу «казармы», бельецо уж очень чисто и порядливо висит... — Нет, Олюша, надо бы грязи, неуюта, голоты, «вверх ногами» бы все!.. Где же страдание-то?.. Я понимаю, как это трудно... Надо бы, чтобы жизнь, «выдерживающая», едва дышала... му-ку надо! Понимаю, это невозможно рисунками... или — надо десятки рисунков... Талантливо, да... техника у тебя несомненная, и текст, м. б., многое пополнит. Идея — чудесна... но — не внимут! Ах, родная

---

[i] Интерьере (*от фр. intérieur*).

моя, тут только слово в силах... — тут нужна эпопея... и когда я просил тебя о «ферме»... — я это и разумел. Но это и не ушло. Очень хочу знать твой текст. И потому не смею делать окончательного вывода. Одно: ты глубока, внутренняя, чутка... — и ты можешь овладеть и — дать. И еще больше утверждаюсь: да, ты поторопилась, повинуясь чудесному в тебе чувству — сердцу! И потому так мне досадно за все. Ты выше и достойней, чем о тебе посудят. Чистота твоего душевного движения недоступна, — не говорю о массе, — и «элите» недоступна, — ты русская душа — художник! «Угри» — для жратвы и накоплений. Отлично вступление-орнамент, богатая техника и вкус, — превосходно! Необходимо, чтобы во всех рисунках присутствовало деревце, а в комнате с камином и бельецом его нет. Ведь оно всего зритель и всегда — возможная жертва... Нет, не для «угрей» это...

Ты запрашивала о «Дневнике писателя». Да, страстный Д[остоевский] может быть и противоречит иногда себе... но ведь во всех романах он многолик и — противоречив. А в полемике — всегда страстен... Я не имею под рукой его «Дневника», но главное помню. По-моему, от всего «Дневника», — не говорю о его вкрапленных в «Дневник» «рассказах», как «Бобок» или «Кроткая» или «Мальчик у Христа на елке»[522]... — от всего «Дневника» доселе ярка и важна — и будет жить — Речь о Пушкине. Остальное — злободневное. Романы его не совершенство: они — великое искусство, страстно захватывающее, но не высшее искусство. Это — опыты его, — в его душевной лаборатории, — не отстоявшееся вдохновенное... и потому не от Пушкина, не от Толстого. Те — певцы, а он — пророк, и страстный, и потому смутен. Всегда после чтения его романов — да и статей — тяжкий осадок, как после кошмара. Он ставит себе задание, всегда. Страшно субъективен, горяч, сам в себе бунтует. Все его «герои» — он, — все, и женщины его. И всегда — проблемы! Всегда вопрос, возмущение, бунт. Мучается и мучает. Решает... — и его «герои» — его мысли, им облеченные в плоть. И потому они — нереальны. Возьми «Идиота»... — задание: а ну-ка, что сделает в жизни, какое влияние на людей?.. «если я выпущу персонаж — "дитя"»? Исходя из... — «если не будете, как один из малых сих... если не будете, как это дитя, не войдете в Царство Небесное»[523]. Но «дитя»-то — ненормален, от клиники... «падучник», юродивый, блаженный... Искусство имеет дело с нормой, с человеком, который может быть на сто голов выше среднего человека,

но это должен быть не пациент патологической клиники. Более высокое достижение, где тоже «дитя» — «Братья Карамазовы», там — Алеша... Достоевский не завершил своего, он рано кончился. Его «Преступление и наказание» при всех достоинствах иных жизненных положений — про-вал! Никто не поверит в перерождение Раскольникова. Соня — да, само естество. А Раскольников — неврастеник, мятущийся, — сам Федор Михайлович. Бушующий внутренний, сокрытый, мир человеческих страстей и мыслей... — его показывание — вот, что дал Д[остоевский] — болезненное в человеке. Иное — просто гениально, по мыслям, по «взрывам»: возьми хоть «Легенду о Великом Инквизиторе». В Достоевском — мятущийся общечеловеческий и — главное — русский хАос! А искусство — преодоление хАоса, облечение в форму, по слову — «да будет!» Творе-ние. И подлинное произведение высшего искусства — всегда подымает душу, поет ей, баюкает, ласкает, манит прекрасным миром. Это не значит, что оно дает что-то ясно ощутимое. Оно дает — живое, лица, дела, картины... — а в душе слагается что-то, родится прекрасный, манящий, неопределимый часто... образ: происходит наполнение души, душа обретает новое ощущение, новое богатство, и не знаешь, как назвать это новое, и что оно: чувствуешь, что одарили тебя... ты — познал чувствами, сердцем — не рассудком, никогда рассудком! — то, чего не знал... От Достоевского никогда такого не почувствуешь.

Достоевский — лишает, а не дает. Он перерывает души, взрывает в них хаос, и потому тревога после него и томленье. Если это «искусство»... — то — мучительное, мучающее... — мытарства. В Достоевском привлекает массы — особенно европейцев... что? Трагическое, страшное в человеке, бунтующее... а никак не мучающие его, Достоевского, думы, тревоги, мысли, вопросы... а — скандал жизни, дерзанья, до кощунства. Не его, — Достоевского, — кощунства, о, нет, конечно, а каждого из нас, в каждом из нас способность к переступлению дозволенного. Это поджигает. И для масс Достоевский — так упрощенно понимаемый — конечно — яд, поджиг, толканье: а, могу переступить? Мо-гу! Идиотики не постигают, что Д[остоевский] мучается этим «могу»... и раскапывается — почему я — такой? Но — рок! — он не вполне все высказал художественно, так рано, 60 лет! — умер. Какие у него были планы!.. «Карамазовы» лишь первая ступень — почти узренного пути... Такова Воля Господня. Как и с Пушкиным... как и с К. Леонтьевым[524]... Не дается... Я благо-

словляю Господа, что дано было хоть «Чашу» сотворить... «Богомолье»... «Лето Господне»... Но дастся ли завершить «Пути»? Сомневаюсь... Хотя и теперь, две книги, уже нечто, ибо показано восхождение, — особенно — II книга. Ты много нового найдешь и... м. б. приласкаешь твоего Ванюшу. О, как было трудно!.. дальше — легче будет. Виктор Алексеевич уже почти готов. В этом-то и был самый гвоздь! Я знаю, *чтО* дано мне было дать русскому человеку. Все яснее вижу, убеждаюсь... Иные книги из сих стали — своими у многих. Ждут II кн. «Лета Господня», «Путей»... На днях один культурный русский человек, бывший царский эмигрант[525] явился ко мне... «посмотреть на меня»... И вдруг сказал, когда я заметил — зачем он себя беспокоил, — он принес мне каталог одной русской редкой библиотеки... — «Да как же... ведь вы для меня с женой... — Бог!» Я сжался и попенял ему... — зачем это... кощунство? И перекрестился. Потом он объяснился: «Вы сохранили для нас Россию. Вы ее творите в нас». Обжигающее безумие. Ты думаешь, мне это приятно было? Нет, мне было дико и — тяжко. Но я счастлив и пою Его, что дал мне силы творить... В «Чаше» — как там ни судить ее — я удостоен был дать — на нашем навозе два непостижимо-редкостных чистых цветка... две лилии... — Илью и Анастасию... Подумай: как, на чем они выросли?! И — увяли... от чего увяли?! ... Я дал «Богомолье»... Помнишь ли ты статьи о нем и «Лете» — Ивана Александровича Ильина? «Православная Русь» и «Святая Русь»[526]. Если нет, я вышлю тебе — освежить в памяти. Если не помнишь, я пришлю тебе. Иван Александрович понял все, разгадал, раскрыл до глубины все. Самому мне открыл. И, м. б., этим заставил продолжать. Я все сделал. Или — почти все. И потому — «Ныне отпущаеши...» И какая скорбь, что я не могу дать их читателям! II книга «Лета» лежит втуне. Нет издательства, а у меня нет средств издать хотя бы 1000 экз. Скоро появится Французское издание 1 кн. «Путей»... — уже вторая корректура... но что мне это! Что возьмут иностранцы? Только — амурное и «экзотичное». Они и «метели» не почувствуют, а ведь метель занимает почти все!..

Как мне грустно, что мы так и не свидимся и не почувствуем — глаза в глаза — друг друга... не скажем, не выскажемся о многом... Правда, мы хорошо понимаем друг друга. И можем вообразить высказывания...

Глаз мой, слава Богу, прошел. Я часто получаю посылки, из разных стран. Вот вчера, сразу, две посылки с плать-

ем... бельем... — из Лос-Анжелеса одна, от «Обществ русских женщин». Хороший костюм, халат, бельевой комбинезон, и... пакет — фунт... гре-чневой крупы, называется французскими литерами — «Каша». Чай, какао, манная... Я порой завален, и раздаю кому могу, кому надо... — это укрепляет мою веру в благостное в людях. До слез. Нет, жив Господь! Хоть на глазах — ад... Олюша милая... нет России!.. Бойня и каторга. Ничто не переменилось... М. б., еще *хуже*. Обман и ложь бесовская. И страшнее еще, что остатки будут развеяны... ибо бесы все сожгут... предадут... Я не верю ни в какие сладкие демократичные слова «штампованных демократов»... страшащихся России... Сознательно заменят Россию большевиками... лишь бы с ней покончить... И нечего утешаться, что Россия собрана: все может разлететься! — дымом удушливым. Да и помимо «третьих»... — еще одно поколение... — и что останется! Такой России мне не надо. Что толку! Земля-то? мне важно, кто на ней, и — как на ней. Если попадешь в Швейцарию, не стесняйся: ты всегда можешь располагать там 1000 швейцарских франков, потом расплатишься. И надо если — больше. Я, было, подумывал, не пустить ли мне это на издание — это дало бы тысяч 140 французских франков. Но страшусь сесть на мель, при безработице, да еще на старости лет. Негде печататься по-русски. Жил эти годы на переводах, главным образом. Особенно эти полтора года. Что мне даст* французское издание «Путей»? Вряд ли что... не надеюсь, что книга будет иметь ход-успех. Кому ее полюбить?! Если бы Америка взяла, Англия... — но я, как всегда, сам никогда не искал и не ищу: всегда шло само.

Милая... ты очень даровита... прошу, в последний раз: дай «ферму», как я давал Крым, «Солнце мертвых». Это — надо. Там все выложишь... И не смущайся, как писать. А... — как напишется... Возьми формой — как бы «журнал», «записи»... — какая свобода тебе! Все дашь. И «угрей», и тину, и — свет в человеке... И — зверя... Ты умна. Тебе ведомы движения человеческого сердца. А это — почти все, что надо. Тут и почтарь вскочит. И — гусынька, и твоя птичка... и «сапожищи», и страстишки... и взрывы, и смерти... (и — «весь свет»). Пусть хоть «мемуары» останутся об этом пред-апокалипсическом... Начни же. Не теряй, пока свеже... не заслоняй, выскажись, и себя обнаружь. Не разбрасывайся, не затеривайся в паутине житейской. В 1 рисунке у тебя удивительна — даль...

* Получил пустяшный аванс в 25 тыс. фр., но это... на 4—5 мес., я очень скромно живу, да и посылки помогают.

безбрежность..! Ты божественно талантлива... ты — для далей и неба! И голость деревьев у тебя — изумительна, обглоданность, мертвое в них*. Как оно чувствуется!.. И... вода... — водная пустыня... я очень внял!.. Но — *повторю* — твой драгоценный «бисер» не по зубам, не по душонкам ни-кому из угрей... м. б. — редким, *только. Нельзя овладеть всем, дать все...* в какие-нибудь дни, недели... — ты поспешила. За-чем?! ... Не смею тебя корить, Бог с тобой. Знаю одно: из самого высокого и чистого исходила... — иначе ты и не могла. Блажени чистые сердцем...[527] Ты — чистая. И я преклоняюсь перед тобой, и нежно, благоговейно целую твою руку, и гляжу в сердце твое. Любуюсь тобой.

Милая моя дружечка, не томись, не раскидывайся... собери себя и храни! для доброго и светлого делания... Какого? Что мы знаем! Советую тебе — вздохни, оглядись... отдохни. Тогда найдешь в себе. Из встречи с Иваном Александровичем многое уяснишь... О себе и не мечтаю... Я никуда не двинусь... поздно. Не соберу себя для начала 3-ей кн. «Путей»: так, почитываю разное... вот, Леонтьева... — да мало искусства... Феофана Затворника, письма...[528] — глубоко и явственно... но... душа не готова к принятию... я же очень требователен к форме... а рассуждения... закрыто для них сердце. Да и все знаю. Лучше Евангелия не скажешь. Хочу «Откровение» перечитать... В газетах... о, хлам и грязь... и тошно. Все то же... зло и кровь... и... и накал на злое. И полное бездорожье... И как же летят кумиры!.. Французский герой... д-Г... — где он?! Безвыходно, под надзором... не у дел...[529] И что будет... — черт не разберет. А у вас вон открытки скоро будут величиной в конфетную бумажку... — шилом море нагревают. Проигрались все игроки. Все без штанов. Я завален корреспонденцией. Скоро появится Чехов швейцарский с моим отбором и предисловием. М. б. к Пасхе. Кажется, оставлю пока 3 кн. «Путей», а снова возьмусь за переписку и отделку «Лета Господня» 2 кн. *У меня только один* экземпляр. Надо привести в окончательный порядок. Это займет два—три месяца. Делать — так делать. Ты скоро получишь окончательные «Пути» от Ивана Александровича[530]. Он пока не пишет, болела Наталья Николаевна. Должно быть откладывает ознакомление до «отдыха», собирается ехать на воздух. Пишет: «нас отправляют...» Кто? доктора? или — друзья-американдеры? Эти американдеры и мне нет-нет и при-

---

* У тебя очень нежны краски.

шлют посылку... но это меня всегда смущает. Я вежливо отклонил их готовность «во всем мне быть полезными», они присылали — писал тебе? — друга из американского нашего посольства здесь... — я поблагодарил: «не в вашей власти дать мне, в чем нуждаюсь... свободы говорить, печатать...» Правда. Я всегда шел своими ногами... так, Бог даст, и дохожу свой путь. Ив на прямой дороге, профессорствует в колеже, готовит себя к ученой карьере, продолжая слушать и в Сорбонне, знакомится с учеными. Девчонке его 2 г. 4 мес. — пре-ле-стна! болтает и по-русски, и по-французски. Жива, как мушка. У-мница!.. крепенькая, глазастенькая, синеглазка. Давно не видал ее. Никуда почти не выхожу, разве за молоком. Старушка ходит два раза в неделю. Иногда сам стираю... — для отдыха! отвлечься. И — сам себе готовлю. Как это скучно! Иногда — довольствуюсь чаем с сухарями-маслом. — Отвратительный сыр прислали в датской посылке, подгнил даже. Твой — мечта. Но твоего фунт не пропустят, посылки ведь не дозволены. Почему не глотнешь амброзии? Она не вредна тебе. Это же чистый сок черной смородины, сахар и солнце. Спирт — натуральный от броженья, минимально. Великий Пост, мефимоны, а меня и не тянет в церковь, хо-лодно! У меня топят, и я избавлен от печурки. Получил от докторши Крым свидетельство на режим № 1 и каждый день 1 1/2 литра молока, творог делаю и пью кофе со сливками. Ем и яйца (утром — главная еда), всего у меня вдоволь, — раздаю. Скажи, если будет кто из Голландии, что прислать тебе? Шоколада вот давно нет, но у меня много какао и сахару. Совсем опять кончились апельсины и лимоны (Испания!) А я так люблю рисовый суп с лимоном! Я, ведь, порой, гурман и [лимонник]. Фото — старая — профиль — самая удачная — так похож. Юля ее очень любит. Ну, Господь над тобой, дружочек. Целую тебя, акварелька! Твой Ваня

[На полях:] (Продолжено 7.III в 4 ч. дня.) После большого, небывалого, снегопада — туманно и холодно. Солнца не вижу больше месяца — двух.

Послал вчера тебе и «Am Meer» — с приемлемым, для других, надписанием. Надо было кой-что сократить — требовал формат серийного издания, 80 стр. Напиши, должно быть перевод лихой?

117

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

21.III.46

Мое бесценное сокровище, Ванюша,

Спасибо, голубчик, тебе за письмо от 18-го III[531]. И ты, конечно, прав, но, что я могу сделать. Куда я ткнусь. Ни за что не смей предлагать мне твои сбережения в Швейцарии. Да и не хочу я туда. Я м. б. достану самое обыкновенное разрешение на девизы для поездки в Виши для почки. И чудесно. Буду во Франции, у тебя. Я не паду тебе бременем, устроюсь в гостинице, устрою все как надо. Вчера были с мамой у сердечного специалиста для мамы. У нее (пока что, до окончательного рассмотрения электрокардиограммы) оказалось небольшое расширение сердца и неважный пульс. Маму тоже доконала жизнь и условия. Сережа ничего сделать не может. Он не на службе, т.к. кроме всякого рода «чисток» и «экзекуций» ничем «возрождающаяся» страна не занята. Никто ничего не строит. Кроме того, С. уже и раньше неоднократно и серьезно разговаривал с тем, кому бы обо мне позаботиться надо. А там... «добрыми намерениями ад вымощен». Да, это м. б. дитя. Не хуже. Хочет и... не может, т.к. сам тоже жертва... Да, да. Не могу углубляться. Когда-нибудь после. У меня на руках в данный момент свекор, приехавший с сильнейшим ишиасом, не мог повернуться в постели. Теперь лучше, но он только тут и оттаивает, не могу же его выгнать вон! Но они все, конечно, никак н е ц е н я т. Хамы все здесь. Особенно в отношении нас, русских. Моя золовка, вместо того, чтобы быть благодарной, что отца выхаживаю, — еще камушки швыряет за «сильную русскую сферу» у нас в доме и даже на масленице не явилась с мужем, прислав записку, что в нашей «русской сфере» отсутствие одного голландца и не почувствуется, и что мы вероятно после блинов «поляжем все с открытыми ртами, разевая их как обезьяны». Ну? И это после всего того, что я для них осенью сделала. Она, кроме того, жила у меня 5 недель. Вот и пожалей. Да и вообще это вечное утверждение, что мы только в еде и кулинарии. А просто она и ленива и жадна для гостей, а мы дураки — хлебосолы. А ну, ее. Но она зловредна. Свекра (м. б. по зависти и ревности) на меня настрачивает[i] и очень порой гадковато. А все очень

---

[i] Так в оригинале.

просто: мужа (русского) разлюбила, только и смотрит, кому бы на шею кинуться, вот и стало все русское плохо, а прежде-то: «Святая Русь» и т.п. И все-то, все только — эротика...

Ну, к ..... ! Для Поста Великого не помяну.

Боженька м. б. и вступился за меня: придется лечь и отдохнуть, т.к... опять беда: будут делать маленькую операцию ноги. Я уронила на ступню тяжелую чугунную плиту с печки и разбила палец большой. Вчера за одно с мамой заходила к Dr. Klinkenbergh'у. Тот настаивает на операции пальца, т.к. под ногтем какое-то постороннее тело образовалось. Ноготь уже с одной стороны отодрался сам. Была дикая, звериная боль, когда зашибла. Как только пройдет это острое повреждение, — надо резать.

Назначил было на 25-ое, но я не могу, — 26-го со стариком надо ехать. Несколько дней надо будет пролежать. Я рада покою. Только мама измучается. Будет резать Dr. Klinkenbergh.

Скажи, Ваня, как котируется у вас голландский гульден и, вообще, котируется ли? Спроси кого-нибудь. Мне это очень важно. Я имею в виду не девизы. С 1-го апреля начнут принимать почтовые пакеты для Франции, но пока только торговые. Обещают скоро и остальные. Я тогда обязательно пошлю тебе сыру. С какой же радостью.

Ванёк, кухарки не найти «ни за какие коврижки». Вот всю зиму бьюсь — ищу свекру человека, тогда и сама вздохну. Нет, никого нет. Не знаю и не вижу конца его гощенью у нас. А ведь не высадишь больного старика на беспомощность. И сижу вот, боюсь, день изо дня в Shalkwijk'е. В дыре этой. Dr. Klinkenbergh всякий раз твердит: «Не для Вас это, не для Вас». А когда спрошу: «Но что же делать?» — «Не знаю... само придет когда надо, решится, но Вы не для Shalkwijk'а». Его я тоже не видела с Рождества до вчера. И никто теперь не бывает у нас. Только вот «гости-людоеды». А для души... никого. В церкви не бывали, и не соберешься.

Да и не тянет в это кликушеское сборище. Очень хочу уехать, — и только во Францию, чтобы отдохнуть духом. Конечно, у вас то же, что и всюду, но чужая яма хоть неизвестна. А сытая Швейцария мне омерзительна всегда была. Ну их к ..... Подумаешь, оградились... Когда Dr. Klinkenbergh там был, то из 7 дней в неделю 2 жестоко голодал, и ни разу, как иностранец, не смел купить шоколаду. Гады! Они все на вымирание обречены. Все сгнили. Паршивцы. В их руках и Библия-то какой-то привкус принимает. Отши-

бет. Я-то ведь варюсь в этом. Швейцарцы совершенно то же, что и голландцы. Недаром их туда и тянет. Там они дома. Жадность и скупость.

Кандрейя тебе испортила «Am Meer». Я и не ждала иной критики И. А. Ваня, можно мне на пробу твое перевести. Пошлю И. А. на суд. Почему ты мне не поручишь. Не веришь в «домашнего пророка»? Я бы это с радостью сделала и без всяких гонораров от издателя. Если бы только суметь! Конечно, следует все ее переводить тому, для кого это язык родной, но ведь Кандрейя тоже не немка. Да и не русская. Ну, позволь попробовать только. А? «Пути». Хоть чуточку. Я ведь твой размер, весь твой ритм сохраню. Надо тонкости языка знать. Вот по-голландски бы как, например, можно было перевести «в Тулу самовар везти» — «Eulen nach Athene bringen» (т.е. сов везти в Афины). А у Кандрейи так бы и стояло: «die Theemashine nach Tula bringen». И сидит читатель, выпучив глаза, на Theemashine[i] и на Тулу.

Ну, будет.

Ванёчек, я огорчена очень твоим состоянием. Почему ты так? Пиши же с Богом «Пути» III ч., тогда ты оживешь. Как бы я хотела к тебе, чтобы обо всем поговорить вдоволь среди этой пустыни. В церковь сходить, хор послушать. И снова и снова тебя!

Не тянет меня Швейцария, нет. К И. А. ведь не постучишься на огонек, а поездка с такими трудностями, знаешь, только для того, чтобы на 1/2 часа зайти по заранее назначенному плану и послушать И. А. ... конечно, тоже очень заманчиво, но... холодновато после всех этих лет. И. А. знает правила приезда в Швейцарию и знает, что и С. и я собирались. И ни звуком не обмолвился, что, дескать, чего же проще: «я приглашаю». Хотя бы для проформы только!

Не надо. Но понимаешь, что холодновато. И не только слушать хочется, но и высказаться. Ты — сердце.

Ну, родной мой, кончаю. Тревожусь за окончательный диагноз маминого сердца. Обнимаю. Будь здоров. Оля

[На полях:] Мама тебе кланяется душевно (проходит мама как раз и говорит: «Привет и сааамый-то сердечный»). С. в отъезде.

Как Юля?

---

[i] Самовар (*нем.*).

118

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

30.III.46 1 1/2 дня

Получил сегодня, милая Олюша, нужную тебе справку: бумаги[1] — 29 французских франков, колечко — 6 тыс. 300 — 6,5.

Что твоя нога? сердце?.. — изволь все сказать. Господи... дочего же ты избилась, изорвалась! — поистине — «на бедного Макара все шишки валятся!» Под кем трещит, а под тобой — ло-мится! Не постигаю, чего же смотрят, кому в прямой долг смотреть?! ... Не понимаю и таинственного для меня значения сорвавшегося твоего — признания? — «А. — сам жертва». Мо-жет быть... но все же в итоге — «битый небитого везет»! Почему ты пишешь (про И. А. И.), что не написал тебе — «приглашаю»? Да м. б. он <u>и не может</u> пригласить? Это не значит, что он отказался бы <u>содействовать</u> твоему приезду. Ну, советами, справками, рекомендацией (виза) и т.п. М. б. он и «пригласил» бы, если бы имел дом, квартиру с комнатой для гостей, материальную обеспеченность и... душевную независимость, что главней всего. Между нами: а ты не учитываешь возможной сдержанности... из-за «семейных» соображений? Я полагаю (не зная точно), что воздействие на него Натальи Николаевны — очень велико. Ты, прелестная, у-ч-т-и — все. Свои качества, свой дар нравиться... (это же так!) устоявшийся и х уклад, (за десятки лет спелись-то они ка-ак!). Я Н[аталью] Н[иколаевну] <u>не</u> знаю, но чую, что она владеет ключом, (хотя бы клю-чиком!) к неведомому нам с тобой миру И. А.! Делиться «ключами» — старинной ключнице... с кем-то другим, несомненно более сноровистой в обращении с ключами... вряд ли охота, если бы даже и учла только 1% (риска) возможной утраты (пусть на несколько дней!) ключей... Думаю, что она, конечно, зело ревнива... — и вовсе даже не в прямом смысле отношений мужчины и женщины (возраст-то!), а... — во многих [испрямленных] смыслах. М. б. уже 1/2 часа живой беседы его с другой — для нее уже — пронзающее остреё, хотя бы И. А. был абсолютно забронирован. В эти годы, т.е. стареющие «ключницы» особенно на-чеку и, обычно, приписывают себе, что это, благодаря им, — такой блеск в ими управляемом (человеке и его

---

[1] Т.е. кредитные билеты.

«хозяйстве»), что без них — все пропало бы. Никогда не скажут, но, наверное, сами искренно сему выводу радостно — и с торжеством — поклоняются[i]. Ты же сама кое-что ощущала... — помнишь, писала о прогулке, или как провожал тебя И. А. (и это у него вырвалось). Теперь он постарел (оставаясь попрежнему блестящим, м. б. еще спелей играющим соками ума и духа), но это (ему лет 60—62?) опасный возраст, когда срываются. Захоти — ты бы его уложила на обе лопатки и даже [метелки], — подмела бы! Хоть я и не видал тебя — и с трудом воспроизвожу воображением... твою «физику»... Химию-то твою о-тлично знаю. «Химия — это вещь», как говорят бердичевцы. Ты бы давно «палок наломала», «лучины нащепала»... и свою голову сломала (о другой голове уж не говорю) если бы... была «бесстыдна», дерзка, дерзающа. В тебе есть напор, но... на миг, ты сейчас же поддашься на «рефлексы», а их у тебя — сколько угодно! Нет — так-надумаешь, ибо ты в основе, чисто-религиозна. Ты целомудренно-скромна (хоть можешь и цапаться, ох как!), не рвач в жизни, не Наташа Ростова, (вся — sexe![ii]), а скорей улучшенное издание Сони... («Война и мир»). Порывы Наташи — все с подпочвой пола, до ужаса! Вот, перечитывая, чуть ли не в 6-ой раз за свою жизнь «Войну и мир» — вижу — и провалы Толстого вижу. И его «спутанность», и его — подчас — «топтанье», при всей его сверхталантливости. Будь в тебе 1/10 от Наташи (у тебя много общего с ней, но не в половом: — чувство красоты, природы, parfum vital..,[iii] — ты бы, при своем уме, (Наташа очень не умна — умом... богата эмоциями, в чем ты ей никак не уступишь...)) — ты бы, говорю, все ноги себе переломала и со многих головки посняла!.. Так вот, сие-то... вумная Н[аталья] Н[иколаевна] (да и И. А.) рази не чухают?! а?! ... Вот и не кори, а... понимай. Я в Дариньке пытался наметить идеал женственного... но она у меня лишь эмбрион... — ей расцветать придется. Только не успею (да м. б. и не одолел бы!) ее «расцвести». Она непохожа (знаю!) ни на какой женский образ во всех литературах.... но она, все еще, в завязи, еще не налилась.

Эх, сколько бы поговорил, да спешка, еще надо письма, деловые... Жду со дня на день французских «Путей»... Эх,

---

[i] В оригинале: покланяются.

[ii] Пол (*фр.*).

[iii] Жизненный аромат (*фр.*).

хотя бы тень успеха! Не верю, не верю. Хоть чуть бы стукнуть в мертвые души французов, в тупик, что ли, поставить... показать: вот это наше... что, ндравится, а?.. Да ведь перевод, м. б. даже перетаск... волоком, — тень от тени.

Ну, родная моя Ольга, целую-обнимаю... Прошу: возьми ровный ритм, храни же силы свои, не разменивай злата на черепьё!

Твой Тонька, он же и Ванёк

Ох, время-время! Скинуть бы хоть годов 15!.. А время-то долдонит свое: «видит лиса молоко, да... рыло коротко». Хотя у лисы оно вовсе не коротко.

Твой В.

Изволь написать о твоих точных, а не бредовых планах. Помни: «под лежачий камень и вода не течет». И еще: не ты, а чтобы жизнь тебя — боялась! Надо быть с ней и — чуть хотя бы — дерзковатой. А то любая галушка — в чужой ротик (хоть и твоя!) Помни, глупышка! Хоть я и сам такой же... потому и летят все галушки — мимо. И сколько же их простегало так! Не жалею, ну их... в иной галушке и начинка-то... чужая кровь, чужая слеза!.. Сохрани Бог.

Вдумайся во все, что писал тебе в последнем письме, от 28.III[532]. Мне уже ни во что не верится из твоих «бросков» и хотений. Приучён так, тобой же... — не верить. И еще раз скажу: если ты заикнешься — «не смей мне предлагать...» — говорю о том, что тебе экстренно или случайно может тебе понадобиться... — ты меня обидишь и расстроишь. Все. Точка.

И. Ш.

119

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

8.IV.46

Дорогой мой Ванюша, спешу тебе хоть несколько словечек черкнуть из своего кавардака. Вчера я только 1/2 7 утра заснула, т.е. в 1/2 7-го приняла сонное, а всю ночь пролежала. Старик все еще на моих руках, но, кажется, все-таки уедет. 5-го или 6-го получила письмо И. А. с «благословением» меня на перевод «Богомолья». Предлагает даже прислать нужные для сего книги. Прислал свой портрет последний. По-моему (тебе на ушко говорю) неважный. Как ты его находишь? Письмо очень хорошее, и И. А. очень трогателен ко мне. А я совсем расклеилась. Просто не могу боль-

ше. И Пасха на носу. Пост идет, а мне лба перекрестить некогда. Вчера мой любимый праздник был[533], а я как муха бродила.

И вот что! :::: Не удивляйся!

С 15-го апр. из Голландии свободный (без виз) выезд во Францию. Я решила этим воспользоваться. Сегодня же достаю себе новый паспорт, а м. б. и старый еще годится. Еду хлопотать о деньгах с помощью и Капеллы[534], и Клинкенберга.

И думаю, что скоро буду у тебя. Я решила, — и это так именно и нужно, — остановиться или в Hotel'e, или, у меня есть одна возможность быть у некоей Madame, дочь которой у меня долго была в очень неприятное для нее время. Это та самая Beatrice, о которой тебе писала. Она живет в Голландии с женихом, которого хотя и выпустили на свободу, но он сидит без гроша. Я могла бы с ней рассчитаться в Голландии. Мамаше ее я уже написала 4-го об этом. Посмотрю, что выйдет. Это было бы даже и при бездевизьи выходом. Если я тебе стала бы обузой, то могла бы и вовсе не показываться.

Кроме того, все же хочу и в Виши, моя почка все еще ведь загадка.

Ванечка, ты как-то мне и в отношении И. А. сказал: «Помни, ведь гости — людоеды». Я не могу быть людоедом у тебя!

Не надумывай себе никаких смущений. Все чепуха. Я так жду — не дождусь тебя увидеть и обо всем наговориться. И о переводах твоих[i].

Вообще масса всего. Ну, да ты сам так же чувствуешь! Иной раз я боюсь, что неприятен тебе мой приезд, — вспоминаю, как горячо ты отсоветывал мне это и еще ссылался на всякие неудобства. Ты иногда писал, что стеснен и встречей самой и т.п. Но, Ваня, милый мой, родной, хороший, ты же знаешь меня. Прошу тебя не считать меня ни «людоедом», ни «татарином». Я так хочу приехать. Я все сделаю для этого. Из моего последнего резервишка сил рвусь.

Пишу — и вот твое письмо от 4-го[535]. Не дочитываю, т.к. спешу отослать. Вижу, что ты тревожен. Ванечка, у меня еще есть воля, я приеду! — Если ты не рассердишься.

Dr. Klinkenbergh'у я ничего никогда не говорила (из тех же побуждений, что и ты пишешь), он сам сказал. Видит. Да и не трудно видеть.

---

[i] Подчеркнуто И. С. Шмелевым.

Ничего не хлопочи о Сереже[536], ни в каком случае. Все потом расскажу. Прошу. Никаких разговоров с Квартировыми и Нарсесяном!

Ты не понял о «бездомье».

Напиши мне, есть ли в Париже такси? И как к тебе добраться с вокзала? Спешу отправить. Целую. Оля

Не волнуйся за меня.

P.S. — Это цветки — прюнуса[i] моего, — впервые зацвел!

Приеду, приеду! Только здоровой остаться, и все подготовить для мамы.

[На полях:] Сию секунду еще письмо маме от ее приятельницы*[537] — у нее готова для меня комната. Оказывается, мама уже давно ее спрашивала. Видишь — добрый знак, все сразу! Еду. Но буду сперва у тебя. К тебе еду.

Милый мой, родная душа, Ванёчек. Не гони меня. Я тебе не помешаю!

[Приписка на конверте:] Сообщи фамилию парижского уролога, это мне необходимейше! Ты писал, но мне это очень долго отыскивать.

120

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

[23.IV.1946]

Дорогой и милый Иван Сергеевич!

Чтобы Вы не волновались, пишу тотчас же, как сошла с поезда[538], сейчас 5-30, жду автобуса домой, который пойдет лишь через час. Очень волнуюсь о Вас. Как Вы? Здоровы ли? М. б. лежите, м. б. и открытка эта пролежит у двери, но надеюсь, что Ваши добрые друзья придут навестить Вас, и эту писульку тоже найдут. Заказала телефон домой, жду. Не волнуйтесь за меня. Будут натурально тяжелые дни, м. б. не будет минутки писать Вам, потому и сообщаю теперь же, что я уже в Утрехте. Перемен будет у нас много. М. б. придется переезжать в родовое имение — там разгар работ — надо хозяйский глаз. Арнольд, вероятно, наследник. Это мои думы и соображения.

Узнала сию секунду подробности — старичок скончался от эмболии сердца в больнице. Заболел в четверг же, т.е. в

* Милая дама. Пишут, что плакала от радости «Олиньку» увидеть. Меня она знала 16 лет. Ее дочь мы крестили. А теперь ей около 20 л. Не видались [1 сл. нрзб.].

[i] Слива (*от лат. prunus*).

день моего отъезда. Ар был около него, читая Библию ему и выяснив все, вполне любовно, и расстались не только как отец и сын, но как два друга.

Мама называет такую кончину идеальной. Ар очень убит, не хотел меня вызывать, зная как мне трудно. Сказал, что если бы не так ушел отец, то всю жизнь бы страдал. Крещу Вас, родной. *Все* сделаю, чтобы оправиться и приехать.

[На полях:] Светло вспоминаю дни в Париже.

Напишите мне тотчас, как Вы себя чувствуете.

Сижу тут[539].

121

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

29.IV.46 г.

Милый и дорогой Иван Сергеевич,

Сегодня Ваше письмо[540]. Какой ужас, что Вы так больны. Я очень за Вас страдаю. Вы должны очень беречься, т.к. это не шутка. Как же Вы должны были перемогаться все это время, а я-то и не догадалась. Конечно, потому Вы и «разговенье» так не по-Вашему «вяло» провели, а я-то, глупая, еще обижаться вздумала. Не знаю, что теперь лучше. Сегодня заказала билет на прямой поезд 7-го мая. Думаю, что лучше не откладывать. От M-me Первушиной письмо, она ждет меня тоже. Я думаю лучше не останавливаться у Вас. Не из-за меня, а для Вас. Вам хлопотливо. Я буду приходить к Вам, коли хотите. Что говорит доктор: когда можете поправиться? Если Вы считаете мой приезд 7-го мая несвоевременным, то телеграфируйте немедленно. Я тревожусь и за маму — у нее был (да еще и есть) тяжелый ишиас. Чуточку лучше. Но домашние провожают меня, а откладывать, думаю, невыгодно. Оттяжка и для отдыха мамы, да и дел впоследствии будет много. Не буду торопиться к приезду американцев, хочу оттянуть, а то не вытяну. У Первушиных на природе. А Вы, надеюсь, тоже скоро оправитесь. Жду ответа от Вас. Если не ехать, то телеграфируйте.

Я устала. Пишу с мыслью, что м. б. кто-нибудь Вам прочтет эту писульку, если у Вас все еще болит глаз.

Крещу Вас, родной, будьте здоровы. Ваша Оля

122

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

2 мая 46   2,30 дня   Четверг Фоминой недели

Большое солнце. — Ты в нем! Ты — во всем, для меня, моя нежная, моя светлая! И все — для меня — в тебе, в Тебе, только. Это я крепко познал теперь. Аминь.

Олюнчик-родная, какая радость мне твои два письма сегодня![541] Одно тревожное — за тебя, о тебе, — силы твои, здоровье, страшусь надрыва в тебе, который — страшусь — мог бы закрыть от тебя возможную, как последствие всего, слабость, вдруг скажущуюся! Спаси Бог. Как же я счастлив, что я не чужд тебе, теперь, когда ты увидала меня во всей моей неприглядности... когда я как бы себя утратил... ибо я почти утратил себя, не тот был наши — смутные — и пресветлые дни встречи. Я был уже не в себе, с первого же дня, пятницы... и мало сознавал это. Еще со среды чувствовались болезненные волны в голове, справа, как бы «уколы» грозящейся болезни... Что это было? М. б. я, — за несколько дней пред тем, перебирая старые письма архива... — и чего-то стережась! — загрязненными руками касался глаза, лица... м. б. простудился, моясь в кухне в Вербное воскресенье? или на улице,.. — не знаю. Но было жестоко-погрозившееся — потом, уже в разгоравшемся пожаре, который, Милостью Божией и удивительным чутьем и знанием Клары Крым был остановлен. Ведь я в ночь на Св. День — горел! не зная температуры... И то, что меня выплескивало желчью, показывает на грозившее мозговое заболевание... Ты, твое явление, удержало меня на ногах и в сознании... — и эти наши дни — которые я видел и не сознавал... — как сон... с прорывами света. Ведь я не всем собою тебя сознал! И теперь, перебирая все в освежившейся памяти, содрогаюсь... я даже не похристосовался с тобой яичком!.. Но я каждый миг хранил Тебя... ты была в моей душе, во всем мне. Ты была светом, который мешал надвигавшейся тьме во мне. И Ты меня удержала, я это знаю. За-держала... на пороге. О, счастье мое, о свет мой! Будь же благословенная, Светлая! Ты прелестна. Ты — все. Без тебя не могу... не живу. Не буду, не хочу. Не смею — быть. Но я и не хочу решительно, чтобы ты снисходила и жалела. Не хочу быть «ухоженным», «жалким». Вот почему я всегда «отмахивался»... — я не мог допустить, чтобы ты узнала мою жалкость, мою, условную хотя бы, неприбранность, неубранность и беспорядочность житейского обихода. Я хотел

бы остаться для тебя тем же уверенно владеющим своим наружным бытием, каким я сознаю себя — и поселе — в полной силе и власти в творческом труде, где я — я, крепкий, стойкий, прибранный и приглядный, знающий, что и для чего, и во-имя чего тружусь, иногда вдохновенно! Потому что берегся я дать твоим чутким чувствам зрелище неприятное, отталкивающее — видеть житейскую мою, порой, беспомощность и неприглядность. Я хотел быть в твоих глазах — таких, и душевных — нетронутым, свежим... — во всем — и в бытии, и в творчестве. И вот, так случилось... — и — маленькой радостью даровано мне было уберечь тебя от вида моей распластанности в недуге... на волоске все висело... до 9 ч. вечера 22-го — 22!!!!!!! — помни, 22 июня 36? — когда свет ушел[542]. Все — для меня — зна-ме-на-тельно! Я увидал весь узор — предопределенный — во всем, до мелочей. Вду-майся... цветок ты дивный! И я... — весь в тебе! — я не нашел ни слов, ни сил, ни сознания! — сказать, показать тебе, что Ты для меня! И... Ольга! — я в этом не виноват, я плачу, вспоминая... я как лунатик... бродил... около тебя... вдруг приходя в себя, вдруг — сознавая, кто со мной... Сном ты ко мне влетела, сном — пропала... И в церкви, и в Святую Ночь... — как скованный, но влекомый твоею силой... О, этот понедельник!.. когда я депешу[543] — полоску эту — принял за пневматичку..! Мог и забыть о ней. И люди, которых я не видел... только — шумы. И только — твоя Душа — во всем. Вот та сила, которая Милостью Господа, меня держала... чтобы я не упал, не обнаружил — отсутствия моего в людях... И трескотня болтовни Вигена... когда я валялся бессильно в своей «нише»... чувствуя, что сейчас эта святая сила оторвется от меня, с болью для меня, с кровью для меня — навсегда! Это — стоянье-шатанье у *пропасти*. Теперь я вхожу в себя и сознаю все. О, счастье... ты вернешься! Ольга моя, солнце мое живящее, ты вернешься.

Уже пятый день не бывает Крым, уже неделя — нет жара, я ем, — сплю вот только плохо... но я уже пятый день работаю. Как вчера удалось мне дать новое в очерк «Покров»! Какой свет увидел я и схватил! Вчера весь день в работе... одиннадцать страниц! Переписка и выправка, с добавками, в «Лето Господне», 2 ч. Делаю две копии. Надо. Открывается возможность издания заграницей... письмо И. А. И. — «гоните»![544] Со дня на день жду французских «Путей Небесных». Оля, «Лето Господне» — милость Божия мне. Никто бы не закрепил так — Рос-

сии! Знаю. Знаю, как Пушкин, за полгода до конца — познал, что он оставляет своему народу и создал свой «Памятник». Мне суждено было — «Чудною Властию»[545] — да, повторяю слово Гоголя! — сознательно!!! — петь через Русь — Ее, наше, единственное. Теперь я это вижу, сознаю. Не гордыня это, а жуткое и смиренное сознание... — «вот, Господи, другие пять талан»[546]. «Твоя от Твоих». И потому я не покладаю рук. Но... если бы не помощь, Его, через заботу и чуткость-вдохновенье Крым, что бы могло быть?! Знаю. Ведь на полголовы, до макушки... распространилось уже. Теперь отпали струпики... Что это было?! Еще не знаю. Крым — писал тебе — сразу же, вакцинацию! подряд 3 дня. И — оборвала. За-ли-ла. А то — сгорел бы... знаю. Помнишь... я едва мог выпить чаю, ночью... и три дня — чай — сухарик. Через усилие! И так возжелалось лимонов, апельсинов! Мне достали, — о, какая жадность!.. какой восторг!! ... А тебе... Тебе!.. я не принес цветочков даже!.. — дремал. Не приласкал тебя. И — не смел, и не сознавал, но ни секунды не уходила Ты из меня!.. всегда с тобой, и во сне — с Тобой! Как мы с тобой где-то спешили-странствовали, куда-то шли... искали... путалось. Не вспомню. Одно: так близка никогда не была ты мне! Одно с тобой. Неразрывно, не-отделимо. Это было в ночь на 28 апр. Все минутки — сейчас вот! — чувствую тебя, держу тебя. Ольгуленька... нет, мама твоя — может быть у меня только родным и дорогим человеком... не — заботой, не гостьей. Другом радостным. Только. Про-шу: не вьючь на себя ничего, никакой утвари мне не вози! прошу. Для меня всего довольно. Не смути меня. Как могло тебе прийти в сердце, что ты — несвоевременна?! Я ждал тебя и буду ждать, как возвращение около меня прошедшего, чуть коснувшегося Дня Христова! Верни мне Его, Оля! — я поклонюсь Ему, я исцелую ножки твои, родная детка! Я склонюсь пред Тобой, мой Свет! Ты мне святое. Ты больше всех моих воображений-воплощений тебя. Ближе. Не жалей меня жалостью, а — жалей лаской, верой в меня. Олицетворившийся сон. Оживи же, воплоти же его! И — оживу весь я. Я почти здоров. Только 12 дней не мыл лица, и это для меня ужасно. Не выходил. Была 3-го дня Юля. Она сильно болела, больше 40 градусов. Исхудала. Ждет, очень! тебя. Мы, Бог даст, везде поедем... я хочу дышать, пить весну, все в цвету, ждет глаз моих... я хочу дышать, чрез тебя! всем. Я... люблю тебя, Оля. Это я знаю, как люблю... до — боли!.. до сладкой боли!!!

Как никогда в воображеньи. А — так тихо и бурно-просто, и так чисто-человечно. И тело твое люблю... чистоту твою люблю и слышу. И нежно приникаю... склоняюсь, поклоняюсь.

Только бы ты была в силах приехать... и быть свежей и сильной, здоровой, радующейся на все Господне, на все земное через тленность нашу. Но оно и тленность претворит в высокое-нетленное... в святую красоту. У меня много ландышей... а я... тогда... в одури... принес тебе лишь попавшиеся на глаза незабудочки... бедные мои... постные... больные... Они еще много дней стояли в вазе с твоими гиацинтами. Незабудки Святой и Великой — страшной, страстнОй Пятницы-Голгофы! Но в них, Оля, была сила моей любви... моего тайно-бурного смятенья! Я не забуду этого дикого моего восклицания — на твое — О-ля!.. «вот-так — та-ак... ! ...» Мне страшно это восклицание, хотя в нем выразилось все потрясение моего смятенья... моей неизъяснимой — уже больной — радости. Поверь, сердце мое, по верь мне. Тебе никогда не скажу неправды. Ты известила И. А. — написал он, спрашивая — «приехала О. А.?»[547] — что едешь в Париж, а мне не написала, как я просил. Ты упала молнией и ты пропала... А я так и оставался — в приглушенности. Вне сил моих.

Теперь только правый глаз, хоть безо всякой боли, кровавит... залит. Но это не «рабочий». Я все время делаю глазам «ванночки» из «оптрекса», — успокоительного. И — пускаю свои обычные капли, в правый. Чувствую глаз в слезе. М. б. надо поставить на висок баночку, как раз сделала Крым — для оттяжки? Жду ее. Она совсем успокоилась и не была, как писал, 4 дня — пятый, с субботы. Знает, что — прошло. Достала мне гречневой крупы. И — горе мое! — решительно отказалась от платы! Это меня подавляет. Я стараюсь навязать ей из «посылок». У меня навалено — чего — не знаю. Раздаю. Ем чудесный твой сыр, сало... Ходит ко мне каждый день мой бедняк безработный Ивонин[548], — помнишь, говорил тебе о его детишках — один — мой крестник. Он все делает. Ем овощной суп, салат, масло. Сколько ты ма-сла мне!.. Ты — безумная, — все же есть у меня! И деньги, и все. Твои — 700 гульденов — в зеленой тетради, на книжной полке. Я осведомил друзей, чтобы знали, на всякий случай. И — 800 французских франков. Н е коснусь. У меня достаточно, и всегда могу иметь. Я не желаю знать «вещей». Они для меня — лишь средство, а я привык к малому, ибо большое для меня только — всегда! — мой труд сладкий и — те-

перь — все замещая из живых — все закрывая, — Ты, Ты только. Молодец ты! что заказала поезд на 7-е. Кто тебя встретит? в котором часу — не знаю. Если поздно, — ко мне, прямо ко мне! Поздно в Бельвю[549]. И мне больно, что ты хочешь быть в н е меня. Да, больно. Я передал все Первушиной. Нюстрин[550] была, говорил с ней из тьмы, приспущ[ены] жалюзи. Она какая-то была тревожно-смущенная. Первушину чуть различал, что-то светло-русое?.. — дама. Не смущайся, останься у меня, надо будет — пропишут. Но я не смею связывать-принуждать тебя. Найдешь лучшим — остановись в отеле, хорошем, рядом, на рю Моруа, против нашей улицы. Отель «Рояль-Версай». М. б. найдем №. Вместе сходим. Там — все удобства и порядок, и чисто, очень. Знаю, жили знакомые. 2 мин. от меня. Но мне досадно обдирание. Такой развал во всем, и алчность. Да, на воздухе — лучше. Но отдаленность. И какие еще люди они? Хорошо ли ты знаешь их? Были, м. б., но... т е п е р ь?! ... К Нюстрин — ни ногой! Тебя там в ы ж м у т, возможно. Ты так открыта, так доверчива, так чиста, и все собой меряешь. Только, думаю, — хочу верить, — во мне не ошибешься: я — т в о й, п о тебе, того же затора. Плюнь на заботы «дня». Но меня тронуло — о кобылке... — всегда-все — ты! Не знаю адрес Вигена, он нужен мне для Ивонина. Для меня — ничего не нужно мне, Ты — и все, сверх-все. Тебе необходим полный отдых, остынь от «горячки». Тогда найдешь себя и — из-себя. Серов — лечи он меня — в с е запустил бы! — он — «спрохвала», т а к... «пройдет». Конечно, никакой бы вакцинации. Знай одно и успокойся: четвертый день работаю, до упаду. Неразумно? Душа разрешила, а я ее слушаюсь. Как тебя. Я счастлив-радостен, что не вызвал в тебе отталкиванья. Этого страшился. Мы совсем ничего не сказали друг другу. Я, с одурелости... ч и - т а л тебе! Разве т а к надо?! Надо — в с е. И, Бог поможет, — мы в с е восполним. Сколько хочу поведать, р а с к р ы в а т ь тебе, из сердца! из у м н о й души! ... полубезумной. Сто-лько живу, теперь, горю... н е с у в себе, для тебя. Читал бы тебе Тютчева, Пушкина. А это верно: «Ночевала тучка золотая...» и — «в путь пустилась... р а н о. Но... остался влажный след в морщине... Одиноко... он стоит... Задумался глубоко... и тихонько... пла-чет он... в п у с т ы н е»[551].

Но — выпрямимся! Поглядим в глаза!.. Бодрость, упованье! Олёк-ласточка, обвиваю тебя сердцем, его с в е т о м во мне. Т ы — всем очарованье. Так я — и о себе — высказал Юле, и она поняла и приняла свято, нежно. Знай это. Я

часто сбивался — «Юля!..» — Но, ведь, только она так меня знает. Она — чиста и добра непреложно. Она — понимает мое очарование. И оно — оправдано в ее глазах. Впо-лне. Так и знай. Очарование — светлое — тобою. И мне ни-как не стыдно, и не стеснительно. Но она — ни-чего другого не знает. И не будет знать. Того сближения душевного... Она твердо знает, что все наше — по иной воле. Оно — даровано... м. б., молитвой. Оно — освящено высоким чувством, и... неприглядностью, и сиротством жизни моей. Она знает, что это мне — как дар сокровенный, вымоленный. Что это по воле той, ее Оли... Я даже не открыл тебе закрытую фотографию усопшей Оли, снятую через 3—4 часа по кончине... Она у икон. Мне не пришло на мысли, как многое. Я только после увидал все «провалы». И как же скорбел! Я никогда не открываю. Ты увидишь... — и — поразишься: «уснула». И — какое светлое, какое живое лицо! какое — юное!! ... О, не тот портрет — больной... о, не тот!.. А когда перед «накрытием»... в белых лилиях... И я вскрикнул.... — «Царица!..» Ты увидишь... Это она сама позволит. До-зволит. Ибо взгляд твой — чистый и святой, — любящий, я знаю. Благоговейный. Перекрестясь, я позволю себе открыть — чистую — чистой. Ибо это — мое, во мне, живило меня, вело, держало, выпрямляло. Оно, тленное еще, земное. И — спасало. От многого. И я — не сбился. Только — через Нее. На этот светлый и покойный Лик — можно только молиться. Это — укрытая икона. По-мни, верь мне. Мы — земные, пока... она — небесная. И она доселе возносит за меня моленья. Знаю. И ты знаешь. Она и мальчик. Это — там. Здесь — волею непостижимой — ты. Благодарю Тебя, Господи! Не отринул. Хоть и не заслужил я... лишь — пытаюсь.

Если успеешь, дай знать, когда приходит «Этуаль дю Нор»[i]. Я наведу справки в отеле. Или — потом?.. Ты скажешь. Так ты нужна мне! так — желанна!..

Трудно глазу, хоть и не болит, но залит, мягко, как в воде. И — не просматриваю письма. Поцеловал твои цветики. Благодарю. После письма вымой руки спиртом. Хотя м. б. это и не опасно. Не знаю. Крым нет 5-й день. Серов навещает. Почту не смотрю. Ах, раззява, не дал тебе в дорогу купленных — для тебя же! — бананов хотя бы. Ни-че-го! Пустой был — не был. И — не виноват... Я болтался без сил — в полусознанье. И — пытался — держаться... Гос-

---

[i] «Звезда Севера» (название экспресса, *от фр. Étoile du Nord*).

подь с тобой, мой Свет, покой, опора и оплот. Крещу, благословляя. Целую, Оля! Твой Ванюша 5 час.

Кто опустит письмо?.. Пошли, Господи, Меркулов уже был, и другие. Зашел бы кто.

123

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

11.VI.1946 Вторник 4 ч. дня

Солнце мое, свет мой! Оля!.. Я повторяю, я пью это чудесное — Оля — живу и томлюсь им сладко. Для меня все ушло — с тобой[552]. Я в пустоте, во тьме... я не хочу видеть дневного света, — мой свет, Свет — светит в ином, где-то... Но он же и во мне, и ничего другого никакого света не надо мне. Какое истомленье! как остро почувствовалось одиночество, до пустоты даже во мне самом... О, чУдная... О, моя вечная Оля, — как же ты мне открылась! Все — в тебе... Все — через тебя беру, все — ты. На всем у меня — ты. Ты заполнила все во мне, и я ничего уже — без тебя — не воспринимаю. Деточка бесценная, чистая, мудрая, глубокая, — и вся — боль, и вся — радость, и вся — свет... Нет сил, ни мысли... — нет тебя, и во мне иссякло мое. Но это лишь ощущение, преходящее... Тобой все будет расти, твориться. Ты меня одарила огромным, новым. Как же ты многолика, чудо-сердце мое!.. Нет слов.

Вернулся — в тоске смертной. В полдень — твой дар прощальный — о, на срок, только на срок — прощальный! — твои цветы. С ними как бы вступила ты, твое дыханье я услыхал, слышу, — в розоватых-нежнейших гляйолях, в розовом милом цветке — шапках... — о, нежная! Я плакал... Какая ты!.. Ты... вся ты... и всё — ты... Не могу без тебя, не могу... не хочу быть, жить... все потеряло смысл. Как одолею это?.. Не знаю. Не хочу думать... Жду... Чего жду? Не знаю. Чего мне ждать?.. Зачем увидел, узнал — так — тебя?.. Это не отчаяние. И если нужно, чтобы все мое, во мне, — рухнуло, истаяло... — пусть, — я счастливый, единственный во всем мире! — и я все отдам, все размету в себе, ото всего отвернусь и... окаменею... — пусть! — только бы ты повторилась во мне, только бы было то, что было... а оно было, и я не повторю — «зачем я увидал тебя?! ...» Увидал — и огромную, чудесную жизнь видел, — ты все во мне умножила и осияла...

Вот, 4 ч. дня, ты проехала полдороги, — все дальше уходишь от меня... — и в с е бессильно: ты — живая — во мне, ты, вечная, утвердилась в душе и сердце — и теперь ты — навеки моя, во мне... Как полыхает сердце!.. Я как в безумии, в бессилии слышать и видеть все, что в н е тебя. Я утонул в тебе, во всем твоем, неизъяснимая, прекраснейшая в мире! Оля... Ольга... Нет слова у меня, все п р и т у п и л о с ь, приглохло, как ты пропала... Все — будто сон, — и не вспомнишь, и вдруг — все на миг видишь, и весь я — в и с с т у п л е н и и... в стонах. О, это не скажешь, нет. Это лишь взглядом... как ты в н я л а этот мой в с е сказавший тебе взгляд — в metro... Ты п о н я л а в с е: и ослепительный свет во мне, и боль, и мольбу... О л ь г а!.. приди, вернись! Оля, без тебя жить не буду, иссякну. Вечером зайду к Меркулову. Какая дивная гортензия! Какие нежно-розо-палевые шпажинки!.. Нежная твоя душа в них. Я их целую. Они мне шепчут — Ваня... Бросаю — кто-то из St-Geneviève, зачем-то... Оля, губки дай, дивный твой рот, т о м я щ и й... ах, Оля!.. Твой В.

[*На полях:*] Будь сильна! Будем верить и напрягать волю — жить! Как нежно-чутко, как безумно-страшно обнимаю тебя в с ю!

Я тебе подарю н о в о е. Оно родится.

Я в смятении, все спуталось. Могу только — Оля, Оля... Оля... Это — пройдет и я найду себя.

124

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

12.VI.1946 2-45 дня Солнце... в просветах.

Но во мне — нет солнца, Ольга моя... ты, солнечная, закрыла его собою, ты увела его, и я не могу жить, я окаменел, я жду твоего с в е т а. Девочка... как сладко я томлю себя твоею лаской, которую ты отняла у меня, т а к ослепив, в с е заместив собой и — в с е отняв! Я страдаю, считаю эти истомляющие минуты бесплодно текущего, бессмысленного бытия в пустоте... Я не нахожу мыслей, слов, чувств, чтобы найти себя — в тебе... Ты у в е л а меня от меня, ты — безвинная — так горько меня опустошила, т а к безоглядно открыв мне себя, так овеяв твоею неизъяснимостью, дивонька моя... о, где же сила моя, чтобы высказать, ч т о со мной?! ... Я только тобой живу, я стараюсь вызвать в себе твой голос, твои движенья, твое дыханье,

твой зов ко мне. Какое богатство страданья тобою... какая жгучая горечь утраты... Цветы твои меня томят и будят, и я сквозь слезы смотрю на них. Ушла... и все отняла. Я не знаю, что делать мне, куда уйти от себя, от боли о тебе, от мучительной, неутолимой тоски... Оля, это больней пережитого в страшные годы, это — казнь мне, — за что?! ... Получить такое счастье — и утратить. Лучше бы совсем не видать тебя!.. — вот почему — бессознательно — отклонялся я от встречи с тобой... Я знаю, что теперь я буду опустошать себя, бесплодно тоскуя... — не могу без тебя, это не жизнь надеждами, а пытка... Ну, не могу больше... не хочу ускорять свое уничтоженье... — пусть само исходит, пусть не томит и тебя мой плач сердца. Буду тешить себя призрачностью, отражением текучей жизни дня... — это тебе приятней, чем мои стенанья. Да... вчера ночью я позвал тебя... я забылся и поднялся на постели, прислушиваясь к твоему дыханью. Я хотел тихо пойти к тебе... безумный. И схватился за грудь, где была невыразимая тоска... хуже, чем в первые дни июня 39, когда взывал о конце. И не мог плакать, облегчить боль... только одно — «Оля... приди...» — и сознание, что ты не придешь... м. б. никогда не придешь...

Я следил, как бежало время... — она в Утрехте... в этом проклятом болоте, где все отнимает ее от меня, берет ее у жизни, душит ее... и нельзя помочь ей, вырвать из этой ямы, из этой проклятой опустошимости!.. Столько не спето тебе, не прошептано, не дано мною!.. я знаю это. Моя ласка не нашла и бледного выраженья того, что во мне. А во мне — чувствую — огромное! — и так сгинет.

Ну, буду сказывать тебе о вчерашнем дне...

Как пьяный бродил, лежал на кушетке, окаменевший. Но я не был «у себя». Снова меня брали другие, рвали сердце, плели вокруг эту постылую паутину быта. Я отзывался, храня тебя в себе, видя и чувствуя лишь тебя. Меня никак не обрадовало принесенное известие — принес совершенно посторонний, накануне приехавший из Сен-Женевьев, — что «Пути» вышли, он видел в витринах центра. Вид книжки приятный. Затем явился пресловутый Брайкин[553], отнявший у меня с час. У него узнал телефон окулиста Прокопенко[554], которому позвоню и условлюсь о визите к нему. Затем Юля — «как вы, дядя Ваня?» Очень нежно говорили о тебе. Затем уже в девятом часу был я у Меркулова, чтобы поблагодарить за помощь тебе в отъезде и вдруг, меня нашла у них — ! — о, напор! — Эмерик с женихом и принесла мне — показать! — мою книжку, попро-

сить «омаж»[i] для какого-то иезуита-критика[555], связанного с издательством моим. Книги не дала, в пятницу мне пришлют мои 50 экз. Ольгунка... вот мое интимнейшее теперь смотрится из-за стекол витрин книжных магазинов... уже начинают касаться моего... что? примут в душу?.. Книга вышла 10-го. Я с горечью подумал, почему мне не доставила она — я бы принес ее твоему сердцу. Так все скрутилось... и твой отъезд, и моя боль, и книга — мое дитя... и пустяки дня... и во всем этом ты нетленно, о, какая боль о тебе! Ольга... я не могу и не стану жить без тебя! не могу... мне все постыло. Ты отдала мне свое сердце, а сама ушла... ты идешь мимо своей жизни, ты жертвуешь ценнейшим — призрачности. Если бы посмотрела в душу мою!.. — ужаснулась бы, как она вся изранена, не будет целенья ей... так лучше уж уйти... не быть... у меня нет надежды... меня вознесло обманчиво-чарующим сном, чтобы швырнуть и разбить.

В 10 я был дома, — какая же пустыня, темень! Я лежал с часами в руке, думал, следил... — вот, приехала... и мне стало страшно. Истомленный, я скоро впал в забытье, чтобы вздрогнуть и проснуться... — и застонать жалобно — О... ля..! приди же, я так одинок, я покинут, я опять в бездонном горе и хочу не быть... И знаю, сколько еще во мне..! сколько силы и огня, и творческого воображения!.. для тебя, Оля... — и я не шевельну мыслью. Я как-то должен выйти из тьмы моей, моего горя. Если до осени не увижу тебя, моя сила, моя жизнь... — я убью себя... если не случится чуда. Мы сплавились душевно, ты необходима моему творческому напряжению... и ты, истомив невольно меня — покинула. Я знаю, ты страдаешь... зачем эти бесцельные страдания?.. Ты своей детскостью, открытостью людям... — влечешь всех. Вчера Мария Михайловна[556] вдруг вымолвила это... — «нам скучно теперь...» Это как у меня в «Именинах»[557] — после неурочного пенья соловья... всем стало сладостно-грустно... И еще добавила — «все влюбились». Что мне теперь делать?.. Не знаю. Ксения Львовна — милая, да, пусть... но она не может ничего осветить во мне. Обмануть себя, подменить ее душевностью твою Душу?! ... обмануть себя..? У меня, утром отъезда, и на вокзале она будто подтянулась, ей как бы захотелось жить и нравиться. И этот цветочек у сердца... Обмануть себя?! ... Попытаться обвеять себя ее лаской? Я знаю... я мог бы засветить, даже зажечь ее... но — к чему?.. Звезду в

---

[i] «Дань уважения» (*от фр. hommage*).

небе подменить — елочной, пусть с блеском даже?.. Она миллионной доли не знает, что поет во мне, что я лишь начал петь тебе... Ведь ты же не знаешь всей моей силы... она раскрывается туго... Как я лелею тебя, как хочу чаровать, дать тебе всю любовь мою! Ты не все в ней знаешь! Ты лишила и меня, и себя высшего огня в ней... и того, что этот огонь зажег бы во мне... осветил во мне для тебя. Я это слышу в себе, я знаю, что ты от меня взяла лишь отсветы.

Да, консьержка сказала о тебе — «трэ жантий...»[i] Я добавил ей от себя «за доброе отношение к тебе». Это н у ж н о. Будь уверена, что — думаю — все смотрят на наши отношения — в о з в ы ш е н н о. Так и надо, ибо эти отношения в сущности своей — удивительно чисты и высоки! Для меня ты — вся моя, моя жена, моя девочка светлая, моя нежка, моя... — в с е моя. Моя молитва — чтобы ни единой тенью не омрачалась ты! все во мне к тебе — нежная и чистая забота и любовь, до боли... до страха чем-нибудь омрачить свет в тебе. Бесценная, неиспиваемая, недопетая... Твое дыханье... как пью его, как вызываю в себе дыхание твое, твоего прекрасного, в с е г о! Я тычусь лицом в твою подушечку... Я не смею ее касаться, я ее убрал... храню... — для чего?.. не знаю. Закрыв глаза я вызываю твои черты... твои жаждущие губки... пью их воображеньем, ловлю эти линии рта, у губ, эти «уголки»... ресничкн, брови... милый лобик... щекочущие локоны твои, прелестная!.. я схожу с ума, я не могу... я проклинаю, — зачем философ[558] лишил меня тебя? не показал... дав мне лишь подделку. Оля моя... я не соберу сил, напора в себе, чтобы дальше петь тебя, дать тебе из сердца-воображения — мою ласку слов-образов... а во мне их — бездна! Что бы нашел я в себе!.. — я с л ы ш у. Никто никогда т а к не жил сердцем и огнем образов!.. Я, единственный, по тебе и для тебя. Ты не обманулась... ты это разгадала... и ты н а ш л а, сердцем ища меня, нашла меня. Вопреки в с е м у. Ты упустила время... но время — лишь условность. Не во времени, не в его власти отнять меня у тебя. И есть мгновенья — большие самой вечности. Как я слышу свои быстрые шаги... свое исканье тебя!.. этот рот, как возбуждает... — как влечет, до потери всего во мне!.. Оля... девочка... мученица... отнятая у меня моя сила... — во-имя ч е г о!.. кого!

Что мне делать, чем жить, без тебя?.. зачем явилась ты?.. Ну, пытаться забыть тебя? перестать писать тебе?..

---

[i] «Очень хорошенькая» (*от фр. très gentil*).

отвыкнуть?.. сгореть в этом томленьи бесцельном, бесплодном?! ... Нет, лучше бы умереть, не чувствовать... Я превозмогал себя перед людьми, и иссушал себя, обманывал себя, томил и подавлял себя, повиновался тебе, страшась боли твоей. Зачем?!!! ... Теперь я мечусь бессильно... кляну свою чистоту к тебе... лучше бы сгореть в тебе, сгореть в живом огне... Господи, помоги... я на краю сил, я отчаялся... противны мне мои высокие напряженья в творческом... — к чему?! ... Храня себя, ты была безжалостна ко мне... ты не дала мне всего сердца, всего... что в тебе. У Данте был идеальный мир, стихийная вера... надежда — там..! У меня нет этого, этой веры... я все скомкал, смял в себе... Нет, я стисну душу, я вырвусь из твоего очарованья... я соберу последние силы, чтобы замолчать и снова найти себя. Я долго не буду писать тебе... м. б. совсем не буду. Я — или найду себя, или — перестану. Оля, дай губки... Я исстрадался. Вчера я не ел почти, ничего не хочу, истаять хочу. В.

125

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

13.VI.1946 12 ч. дня

Оля!.. Ольга моя, Ольгуна... неназываемая, о, как хочу огненно обнять тебя всю!.. Я — в сладком полубезумии, как в те возносящие дни чудесных Твоих «ячменей», весь пою, Тебя, моя Светлая, пою и пью, Тебя... в те дни, когда умолял — «будь моей женой-дружкой, моей всей, и дневной, и ночной, чудеска!..» Звучит во мне, сочно, мощно, мой голос, Тебя молящий, грудной, сочный, мужской, сильный зов-песня, Тобой, единственная, вызванный к жизни... Как прекрасна, Ты, возлюбленная безумица... я слышу твое земное желанье, — такое понятное мне, такое влекущее... — «ну, поласкай меня, как ты умеешь»... Оля, я чувствую Тебя, всю тебя, нежная, рыбка-Оля... Как ярко во мне то, утреннее троицкое, льнущее, свежее-свежее, в трепещущем холодке, тельце... о, женщина, дитя, в страстном расцвете всей твоей женской прелести! Оля, Ольга... приди!.. Я не могу без Тебя... ты свет и воздух, и сила, и зов-моленье... — нет жизни без Тебя, вне Тебя!..

Сегодня я плохо спал, весь в Тебе... в тревоге за Тебя... что с Тобой. Это — 3-ье письмо со дня твоего отъезда. Я невыразимо страдаю, чудесно, весь взят Тобою. Все у меня в хаосе, заброшено, застыло, все закрылось... Я грежу, я

создаю такие безумные картины! — страстно поют они в мятущемся, истаивающем сердце, в моих «верхах» и «низах»... — вся ты во мне! Пусть моя огненность перельется в тебя и обожжет мученьем — страстного порыва ко мне! Какую силу слышу в себе — для Тебя, для песен о Тебе!.. Везде у меня — твое дыханье... О, какое утро Твоего Рожденья! Ры-бка!..

Силы в себе найди, крикни — «не могу больше!» Мучителю всей твоей жизни крикни — «не могу, не хочу так, хочу воли, жизни, света, солнца, — всей силой своей хочу!.. моя жизнь бесплодна, уходит, убивает душу мою такая жизнь рабыни, обманутой невольницы!..» (как ты меня влечешь и топишь!..) Оля... я вижу тебя в южном солнце, на синем море, под синим небом, всю южную, всю вьюжную... вижу — всю виноградную мою Олю, мою детку, радостно поющую Его, создавшего и меня, и все... Оля, приезжай, мы встретимся где-то на Юге, — хоть бы месяц, безоглядно, с Тобой, одной Тобой, всей!..

Сегодня буду у глазного доктора. Вчера был Серов, с 9 вечера до 1 ч. ночи... Прочел ему (страстно) 2-ю половину «Марева»[559]... Спорил идиот о... браке, и я его распластал... Идиот, сознает, что провалил Жизнь, и — резонерствует, как жалкий (и завистливый) школьник. Я сказал — вот, Ее цветы, мне, цветы короткой разлуки. Он — только обвел глазом... — ни слова!.. Но я, я, я, завоевал эти цветы, завоевал всем жаром моим, своей силой, дарами во мне, Господом данными. Как хотел я глазами, глубоким взглядом (в metro) все тебе сказать, что во мне, — всю мою тоску-боль и весь свет во мне, Тобою, прекрасная, возженный!

Ольга... от тебя все еще ни строчки... Ты не послала мне с пути, а я пишу 3-ье письмо, я кричу к Тебе... Замолкнуть? сойти с ума?.. Мне больно, я себя убиваю, тебя не слыша... Спаси же меня — от меня, спаси собой! Мне страшно. Нет покоя... Я не живу. Лучше — не быть, чем так. Ваня

Твоим полотенцем я утираю глаза. Мне не лучше.

126

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

[11.VI.1946]

Мой милый Ваня, мой, — карасик!

Пишу из вагона. Дома Парижа закрывают дали, — тебя... Смотрю в небо, — оно и над тобой, оно всюду. Свет-

лое небо. Солнце и голубизна, и белые «перины» облаков. Смотрю, смотрю и чую под этим небом тебя. Глаза застилает, жжет... Едва удерживаюсь, помня твое «крэпко, Зёрзик». И еду-еду. Мелькают косогоры, поля, зелень берез, маргаритки (ромашки), колокольчики. И потому что так все мелькает, сечет глаз — все мигаю. Больно.

Закрываешь глаза, тебя хочется вызвать.

А вот переменилось: тучи, — дождик стегает, сечет иголками по стеклам, сбегает змейками по раме, собираясь в капли. Смотрю и силюсь удержаться. Помню «крэпко».

Почти не верю, что несусь в другую от тебя сторону. Сон? Нет — явь. Но я и сплю. Дремлю. Вспоминаю в дреме себя утреннюю, — тоже в дремке. Помнишь? И вчера заснула под колыбельную твою. Помнишь? У меня нежность даже к пакетику с вишнями из Парижа, что принесла Ната[560]. Потому что он оттуда, где ты. В сумочке лежит план Парижа, буду мысленно ездить, как делала это в мою там бытность.

А вот и снова солнце, был и Антверпен.

Мы едем-едем.

Смотрю на изумрудик на пальце, и на другую «слезку». Не могу почти что помнить «крэпко».

А ты как? Тебе плохо? Цветы мои тебе уж дали? Или забыли в магазине, как я просила? Хотела тебе привет свой в них оставить. Гортензия долго стоять будет. Ее, когда отцветет, посади у Юли, будет цвести все годы. Вот ты верно у стола своего, а... меня и нету. Не могу подойти, как бы хотела. А так вот близко. И так все вижу... Ну, что же: «крэпко, Зёрзик»!

Целую как умею. Оля

127

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

12.VI.46

Дорогой, родной Ванюша, вот я и в Shalkwijk'е. Доехала хорошо, хотя вначале была разочарована тем, что не оказалось вагона-ресторана, а в Pulman'ских вагонах все было занято. Ни в Брюсселе, ни в Антверпене ничего не было на вокзале. Но дело обошлось очень хорошо: я угощала соседку по купе вишнями, т.к. она хотела пить, и она меня бутербродами, и мы были обоюдно довольны.

На бельгийской границе был очень подробный контроль багажа, должны — были все выйти из вагона. А на голландской стороне еще того больше: буквально каждого

обыскивали в кабинке, и мужчин, и женщин, конечно, порознь. Поезд увели на другой путь и тоже обыскивали. Подобный контроль был за все это время впервые и явился полной неожиданностью даже и для персонала. Благодаря сему поезд пришел с опозданием. У меня ничего не отобрали, все довезла хорошо. Я писала тебе из поезда — мне было тяжко... плакала, тосковала, иногда усталая и истомленная дремала. На перроне в Утрехте были Сережа и Арнольд. Ждал автомобиль. Дома все очень парадно, был сервирован стол как для праздника рожденья. Всюду цветы и огромный торт из кондитерской (заказала мама). Мама веночком уложила розы вокруг моей тарелки. Жарились пирожки. Меня очень тронула эта встреча мамы. Вопросы, расспросы, рассказы. У меня... все во мне спутано и как-то так... как еще никогда не бывало. Не найду тона и роли. Но помогают всяческие посторонние рассказы... Ложимся около $2^{\underline{15}}$ ночи. И ничего не говорю... Слышу какие-то странные звуки... не понимаю, отнимаю голову от подушки... Слышу плач. Ар плачет. О чем? Об отце? Он очень худой. Мне работник рассказывал, что «господину тоже бы не мешало куда-нибудь уехать, а то они прямо чахнут».

Утром в 7 ч., не будя меня, он уходит и просит маму собрать ему еду на 2 дня. Уезжает к сестре по делам, но только в ее дом, т.к. самой ее дома нет. Как он там будет хозяйничать, не знаю. Я встала и захватила его еще до его отъезда, предлагала то и другое, говорила об обычном, текущем. Он разбитый какой-то.

Сережа сказал, что это так все время.

Ты чуткий и поймешь, как все это мне отзывается. Я уезжала сегодня по делам в Утрехт, к Грондейс и еще в другие места. Вызвала телеграммой Жуковичей[561] на завтра и должна буду связаться с голландкой, едущей в Париж. Все это спешно. Все это текущее заматывает время, втягивает, несет куда-то, но душа так страдает. Думаю о тебе и не знаю, как и что ты? Жду письма. Жду узнать все, все о тебе. Лилии стоят дивно в вазе, — ничуть не повяли. По всей комнате дух томящий от них. Мне легче, что я пока предоставлена сама себе. Я не найду никак позиции. Мне тяжело. Да ты все поймешь. Разбирала вещи. Все, все так болезненно напоминает недавнее, бывшее. Как все трудно. И я должна все время себя сковывать, чтобы не распуститься, не испортить себе всего сразу. Помню твой завет быть осмотрительной... У Сережи все неопределенно и тягостно очень. Он не верит в какую-либо благоприятную разрешенность этой путаницы. Надо сделать целый ряд пу-

тешествий и шагов и в этом направлении. Я думаю еще и о детях Ивонина: м. б. хорошо было бы их взять с Ксенией Львовной к нам. Они бы с ней объяснялись по-французски, и она же бы могла их взять обратно. Ничего наверняка не могу сказать пока, т.к. надо еще многое взвесить, но это так вот само подумалось. Не отчаивался бы Ивонин, — как-нибудь пристроятся малютки. Я должна поговорить с Аром, надо все согласовать с американскими гостями. Но, если я захотела, то думаю, что и проведу. У нас совсем нет фруктов. Дикие цены на ягоды — почти невозможно покупать — продают по 100 грамм. Представляешь себе, какие цены. Ну, все это неважно. И я вся не в этом. Пишу же о сем оттого, что все тебе пишу. И все смятенно[i] во мне както, смущено. И помню твои слова и доводы и стараюсь себя поставить на должную позицию... Сейчас гроза. Уже 11 часов. Думаю о тебе. Помнишь, как условились? Или ты забыл? Был ли ты у доктора? Что с глазом? Я упрекаю себя в том, что замотала тебя, что ты так баловал меня. Это стоило тебе массу сил. Ты так беззаветно все только для меня делал, что мне даже стыдно. Ах, мне за многое стыдно. И ты поймешь меня. Знаю. Нет, это не сущность моя такая. Это какой-то срыв. А лучше бы быть ровной, нежной, мягкой. Ты поймешь. Я почти не спала сегодня и потому какая-то неприкаянная сегодня. Завинчивала, закручивала день. Сейчас вся с тобой. Ну, как же ты? Как? Как хочу увидеть тебя, очутиться в милой квартирке твоей. Ты написал мне?

[Поверх текста:] Все это не то, что надо сказать, все второстепенно. Заговариваю сама себя. А как мне больно и томительно без тебя!

[На полях:] Обнимаю тебя нежно и крещу, и целую. Олёк

Пока нет ничего от тебя — вся в томленьи неизвестности, не могу писать.

Нет, не могу сдерживаться, — как горько, как больно мне! Думаю о тебе, о всякой мелочи, о всякой малости. О, как переживаю всякий шаг в метро, эту последнюю поездку нашу. Как все вижу... Твои глаза. Помнишь? Ах, знаю, ты все помнишь!

Ваня... Ваня! Ванечка, Ванюша мой... Иванушка! Я плачу, не могу сдержаться. Начала письмо, помня твое «крэпко». И вот не могу.

---

[i] В оригинале: сметенно.

Тебе понравились цветы мои? Что ты делаешь? Все хочу знать! Пойди с глазом к врачу!

Ах, если бы хоть Юля пришла к тебе. Или Меркулов.

Пишу им сегодня. Благодарю. Они мне все дороги, т.к. твои друзья. Кланяйся и Серову. Ваня, Ваня. У меня нет слов. Трудно разбирать вещи из чемодана. Они все какие-то н а ш и с тобой стали. Я знаю, ты все поймешь. Но будем крепки. Да, да.

Я хочу творить. И как же я сама во всем виновата! Ваня, слов у меня нету для тебя, и ты это поймешь тоже и простишь мою смуту. Сегодня будут Жуковичи. Ах, зачем я бегала по Парижу, теряла время?! Ваня, Ваня мой, светлый мой, родной, любимый. Как хочет душа простора!.. Ты все знаешь и все поймешь! Обнимаю тебя нежно, ласково, светло. Ольгуна твоя

128

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

14.VI.46

Вот, Оля, уже 4-й день, как ты уехала, а от тебя, о тебе, — ни слова. Мне трудно, горько. Я нашел твою карточку при цветах... — «кусочек сердца»[562]. Только — «кусочек»?.. Остальное — кому? Я не принимаю «кусочки», я милостыньки твоей н е прошу. И померкли твои цветы. Дарят, от любви, дар, да... но не разглашают об этом всем... (этим дар растлевается!) И дар твой — *уже не дар*, а какое-то подчеркиванье: «вот, смотрите, к а к одаряю!» Это то же, что показывать на людях, как целуются... Меня это резнуло: до меня знали и Юля, и Меркулов, и, конечно, Первушины... Что с тобой?! Где твоя скромность, твоя чуткость? Это лишило твой дар всей прелести, и я не хочу видеть цветы, «недевственные». Это все то же повторение с л е з на людях: «И. С. меня обидел»... Чем?! Что о с в е т е в тебе сказал, о твоей окрыленности..? ... Ч т о ты со мной *в ы д е л ы в а л а*, *как обращалась!.. издевалась!..* (5-ое июня![563]) И — з а ч т о?! ... Давала не любовь, а подделку, — делая из меня и моей любви... — ч т о?! ... Как я корю себя! негодую, т е п е р ь. Я должен был требовать от тебя всей полноты чувства — или же совсем отказаться от проявлений любви. Мне больно теперь и горько-горько...

Я долго не буду писать тебе, — или совсем не буду. Я душевно и с т о м л е н. Все эти 5 недель ты ж и л а с а м о л ю б о в а н ь е м, с а м о у п о е н ь е м, с а м о - у д о в л е т в о р е н ь е м... Я был лишь средством, поводом для се-го, —

предметом. Сегодня простая деревенщина, моя А[нна] В[асильевна] сказала вдруг: «зачем О. А. Вас так огорчила, так ни за что очернила на людях... убежала и плакала в кухне, твердила — И. С. меня оскорбил! Нет, она очень гордо понимает о себе». Я сказал-крикнул: «молчите, это вас не касается!» Но мне больно было это вдруг услышать. Вот сужденье совсем *простого человека*. Пусть мы не встретимся больше... — это, больное, останется горечью. Я видел от тебя много ласки, счастья... (?!) любви, но странной любви, — но не простой и чистой любви, а какой-то больной любви. Я душевно заболел ото всего этого... Не такой любви я ждал, не на такую имел права. Я тебе все сердце отдал, а получил... кусочек, кусочки... Ты не можешь, ты не умеешь брать счастье. Ты вся — в страхе, и этот страх извращает и ранит твои чувства ко мне. Нельзя трепать любовь, влачить ее на чужих глазах и делать чужих зрителями (и осуждающими) самых сокровенных движений сердца. Это — м. б. последнее мое письмо.

И все же я (надеясь, что в тебе еще есть светлое ко мне чувство), я сообщу тебе и о себе.

Я все эти 5 недель (и в болезни!) старался быть достойным нашей любви. Я иногда срывался, бунтовал, оступался, да. Но все, что я делал, — я делал, чтобы стать для тебя дороже, ближе, лучше, ценней и привлекательней. Вспомни вечер дня твоего Рождения... Но я даже и такой черточки не забыл, как, в театре, ты сказала: «я пройдусь немного...» (после 1-го акта) и ушла со спутниками, даже и мимоходом не бросив: «а Вы не хотите пройтись со мной?» Я остался один, в духоте... ждать. Так ты угостила меня театром. Ты утоляла жажду, не подумав нисколько, что и «мой Ваня» м. б. нуждается в утолении... Довольно.

Был у глазного доктора. Глаз... будто бы чуть воспален (радужница), зрачок его сужен, сравнительно с правым. Пустил атропин. Разрешил работать. Сказал, что это последствия рожистого воспаления, и отсюда стЯженье на лбу и у глаза... это может длиться. Это — «след работы стрептококков... явление нередкое». Велел по 1 капле атропина в день до увеличения зрачка.

Была некая *графиня*, просила от имени некоей русской (за французом) г-жи Ражо, дочери Льва Чернова[564] (эс-эра) разрешения на перевод и издание «Лета Господня», а графиня попытается иллюстрировать. Мне все надоело. Я ка-

менею. Ты меня доканчиваешь. Вот почему я уклонялся от встречи: предчувствовал словно.

Оля, я люблю тебя. Но как же я весь изранен. Нет, ты не дорожишь мной. Я для тебя лишь «забавка», — вдумайся, и увидишь по всему твоему обращению со мною. О, как мне больно!

Прости, что я огорчил тебя, но я не могу таить в себе правду — хотя бы и о тебе: горькую правду. Господь да хранит тебя. Я сохраню лучшее из моей любви, не решаюсь сказать — твоей. И. Ш.

Знаю: ты никогда не будешь моей, не придешь ко мне. Ты будешь жить с полутрупом и сносить все, до... Он позовет тебя, и ты всему подчинишься.

129

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

15.VI.1946 Суббота, 12.30 дня

Облачно, но во мне — нависло, тучи, тучи... — моей Оли нет... не будет? Тогда — и ничего нет, — не быть, лучше, лучше не быть. Истаяла душа, не могу без тебя, Оля моя. Зачем я тебя увидел... всякую, — и во всем свет для меня, через тебя свет, и — жизнь.

Оля, любимая, нежная... как хороша ты, тихая, кроткая... вся — любовь!

Ночь сегодня, под 15-ое, — без сна, до 4-х ч. Я встал, закурил. Ночь. Во мне — ночь. Я силился унять жгучие мысли. Вчера я послал тебе злое письмо. Переплеснуло во мне. Отнесла А[нна] В[асильевна] на почту... Я схватился, но письмо уже в ящике. Хотел послать маме депешу — перехватить письмо. И — испугался: а если... прочтет?.. Оставил. Дай губки, дай, Олёк, твой ротик, весь... и, молю, — зачеркни в сердце это письмо — отчаяние. Ты в круженьи дня сего, а я... Оля! Это почти возврат дней июня 1936 г. ... — я все потерял, нет тебя... Вот почему я уклонялся от встречи: я предчувствовал, какая будет пытка. Она пришла. Моя 2 месячная болезнь... — она отступала при тебе. Теперь она все обострила, я все обостряю в себе. Что же, еще, на семилетие... до конца?! ... Я убью себя, без тебя, мне теперь не нужно ничего. Когда-то, лет 9 тому, ко мне пришла кн. Кантакузен[565], поэтесса, моя почитательница, красавица-женщина... и сказала, вся бледная: «Я знаю, что для Вас значит — женщина, ее ласки... как это надо для вдохновенья... Позовите меня...

не любите меня, а просто — если я не противна... хоть минуты забудьтесь мной... я отдам Вам всю себя... я вся — для Вас...» Она была очень страстно-красива... Я отвел глаза. И не ответил ни слова. Взял ее руку и сказал: благодарю, найду в себе силы работать без ласки... Ласка — ушла. Ласка для меня — когда душа сливается с другой. Где, в ком найду это — мою, для меня, — душу?.. А тело... его много здесь... Для меня все кончено. И вот, — Ты, чудесная... единственная — Ты! Ты потянулась ко мне, нашла меня, и я нашел тебя... И не получил тебя. И тебя — нет. Всей Тебя. И теперь, узнав, я не могу жить и писать собою. Ибо меня уже нет во мне: я — в Тебе. Ты меня отняла от меня. Я опустошен, я каменею.

Оля, молю: прости мне письмо от 14-го. Это не я: это тьма моя. Я, светлый, нежный, поющий... — в тебе, Оля. А здесь я — выпитый. Болезнь обостряется, я весь во власти злого тлена. Сегодня я лежал над твоим... розовым... теплом. Я искал дыханье твоего тельца, твоего дыханья... О, утро Троицына дня! Рыбка, выплеснувшаяся, прильнувшая, прохладная, теплеющая, нежная... вся — цветок, небывалый, живой... моя награда — за все! Оля, не могу без тебя, тобой наполнен, полон и — опустошен. Оставлен. Увяла во мне березка — Праздника. Ушел Св. День. Какие будни! Какой мрак. Я истомлен, я ничего не вижу, не хочу... — Ты только — Жизнь. Пусть даже Ты — сжигающая меня, пронзающая страшным огнем, вспыхивающим порой в тебе... но только ты, всяческая, мятущаяся, будоражная, неожиданная, неправая, жестокая... — и Ты только. Пусть такая только, но и такую хочу, не могу без Тебя, без всякой... Так ты слита, срощена со мной. Я — очень личный, не покорный, не терпеливый, гордый, злой... — но я весь твой, в тебе, и только бы не без Тебя, любой! Я так внял тебя, так влил в себя!.. Сколько я хотел все передать тебе, всего себя, всякого себя, в тех глазах, в том взгляде, в metro, тогда..! Ты все поняла. И в этом — «крэпка, Зорзик», в этом последнем крике к Тебе, на вокзале, в последний миг... я вложил все, всю душу, всю надежду, все ожидание невозможного пусть... только бы ты была, ждала... собрала силы жить!.. Я удержал слезы, я сдавил сердце... Сколько было дней!.. и как мало мы взяли друг от друга!.. Лучшее — это когда я мечтал, обнимая тебя... и видел тебя... и в хлебах, и в купальне, и над речкой, и в утренней спальне, и в яблочном саду, и в осеннем закате, на ря-

16 — 11249

бине... — и всегда Ты, все и во всем — Ты. А сколько несКазанного, неУзренного, и ненашептанного Тебе!.. Какая боль... — я ни словечка, сам, не пропел тебе, не перелил в Тебя — из «Путей», первых и вторых... Ведь ты так и не услыхала моего голоса в «Путях»... А он — особенный, такой нежный, такой... весь из Тебя... — особенно в 2-ой части! И ни ты не просила, ни я не... дал, не навязался... А сколько раз хотел. И думал: это, сам я, не могу предлагать, просить... Это... — только, если она попросит, если любит... И ты не намекнула. Ты разбилась на кусочки в Париже, между всеми... и я получал осколки, щебенку твою... и призрак твоей любви, остатки... Отсюда — мой бунт, и моя, невольная вина перед тобой, упреки, — все боль моя. Когда я люблю, я хочу всего, как я отдаюсь — весь. И наше неравенство во внешнем, в облике, — ты еще молода и прекрасна, а я на склоне, — всегда терзало меня. Но я знаю, что иногда я молодел до... юности... Я мог чаровать... и я помню, о, как помню 9-го вечером! — я расцвел, я сказочно омолодился тобой — для тебя!.. Я почувствовал, как я покорял естество свое и — слушавших меня. Эта молодая душа горько (и сладко) обманывала меня. Но она не всегда жила, и в театре я (так мне казалось) стал для тебя лишним, и ты забыла меня. М. б. ты и стыдилась меня... и хотела уйти, оставив меня с твоей шляпкой. Был острый миг: я хотел убежать из театра — ткнуться в свою постель и рыдать... Но... твоя шляпка... но — твоя тревога — где он? — когда бы вернулась ты на эти поганые стулья на галерке, где я задыхался в зловонном испарении дыханий сотен тысяч за десятки лет, налипших всюду, — тревога твоя, — ты непременно бы кинулась искать меня... этот «скандал» — сдержал меня, и я смирился... Но вот, это вспыхнуло в письме 14-го, и воображение распалило меня. Прости — пойми. Девочка моя, сила моя, жизнь, свет, голенькая моя рыбка... Оля, моя тихая Олюша... все лучшее в тебе, — к нему взываю: не вменяй мне злого-случайного во мне! Я знаю, как тебе тяжко. Оля, живи своей любовью, последним светом в твоей жизни! Такой уже не будет, как не будет для тебя другого — такого — Вани. И потому не ищи «лица», «формы», «позиции»... Неси, носи смело эту любовь: она — дар тебе от жизни, она — милость Господа. Чего стыдишься?! ... Любишь любимого, любящего? Слезы А. ... А мои..? мои бессонные ночи, мои пустые дни. Что, кого терял А.? — получеловек? Никого. Он получил не по праву — Тебя, девственницу... Ма-

ло?.. И сунул ее в футляр и в хомут. Всю твою молодость обрек на круженье по кругу водокачки... переливанья воды... — по своему безответственному, болезненному капризу-произволу. Во-имя чего?! ... А ты, отвыкшая от свободы дыханья... — стыдишься, ищешь скрыть, что начала дышать, любить?! ... Вдумайся, выпрямись, наконец, и будь сильна, крепка! Смотри человеком... женщиной, наконец, а не трепещущей рабыней. Сле-зы тебя берут! А ты... мало ты пролила*-лила слез? Трогали они, — что они изменили. А. — эгоист на-редкость. Пусть все пропадет, — только бы не его «призраки» — мысли, без воли, формы, содержания... — больная рутина! Таких не жалеют. Их лечат, да. Но им не отдают в жертву лучшее на земле — Жизнь, любовь...

Разорвал конверт, потому что не сказал самого важного. Ты пишешь: «Я встала и захватила его еще до его отъезда, предлагала то и другое... (что? могла и себя предложить в... спутницы?..). В этом твоя ошибка, если не больше... — твое признанье зависимости (?!) и раболепства. Ты скажешь — «нет: приличие, соблюдение супружеского долга»... Неправда это. Это — инерция, твоя робость и ложно понятая совесть. Он демонстративно показывает небрежение к тебе: через несколько часов по твоем прибытии... уезжает от дома, от тебя! А ты, уставшая с дороги, собачкой бежишь за своим господином и хозяином, «предлагаешь то и другое...» как бы умилостивляешь... — «да, я виновата, господин мой... но, видите, я стараюсь быть и покорной Вашей воле и... капризу». Так он и принял. И уехал, как бы отшвыривая пинком свою собачку. Все — гадость. Ты не должна была вставать, ибо он не смел так гадко проявлять себя! Замученная болезнями, непосильным трудом, подлым обращением с тобой, бранью и побоями, ты, один раз за эти подлые 9 лет, уехала вздохнуть... на 5 недель! а этот эгоцентрист и неврастеник... нагло (и подло) показывает: «вы мне и не нужны... у меня дела поважней вас... и вот, я безразличный к вам, уезжаю». А ты, покорная этому подлому и глупому капризу, бежишь, навязывая себя, свои услуги! Оля, выпрями себя! Твердо и смело заяви: «вот Вы как демонстрируете... подло и глупо. Я Вам не жена, я вам не служанка. Я — сама! Жить с Вами не хочу и не буду. Я должна обдумать и решить мое. Я девять

* А мои слезы..? моя боль? — чем измеришь? Так — отмахнешься? А мои утраты, удары? а моя боль — за тебя?! ...

лет работала на Вас. Предъявите Ваш с ч е т. Я предъявлю свой. Я р а з р ы в а ю». Вот как надо по п р а в д е.

Мне все еще не доставили французских книг, а они уже продаются, их читают в Париже, и Елизавета Семеновна купила. Так обычно: автор всегда последний. Хотя Эмерик болтала: в пятницу пришлют Вам 50 экз.

Вчера нашел под дверью пакетик, без марки, кем-то подсунутый, а я не выходил из дома: я лежу камнем, не хочу ничего, не ем: Ты, ты, ты мне нужна, только ты! Разорвал... Письмецо от арх. Владимира, от... 27 мая[566]. Очевидно, кто-то привез из Ниццы:

Дорогой во Христе Иван Сергеевич,

Не откажите принять скромную лепту от почитательниц таланта Вашего — скромных тружениц-учительниц в г. Ницце. С глубоким уважением Ваш арх. Владимир

27.V.46

Лепта — 1300 фр. У меня стиснуло сердце. Как могу я принять?! — лепту! Не смею. Но не смею и не принять. Я ее возвращу десятерицей. И — сколько так!.. Вот почему я хотел бы в с е раздать. Господи, как я счастлив — и как же н е с ч а с т е н!

[На полях:] Получил два твоих письма — с пути, и от 12-го.

Я все жду стуков-звонков... — тебя жду... как взмывает сердце! как сжимает его болью!

Как обнимаю тебя, как нежно ласкаю мою единственную, Тебя, Ольга моя — вечная моя. Ваня

О, как ты необходима мне, Оля!.. Приди, согрей меня. Я болен, очень...

130

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

21.VI.46 Пятница 10 ч. вечера

Оленька-ясочка, нежная красочка... вижу всю гибкую, с страстной улыбкою, всю — в опьянении, всю в упоении... Оленька нежная, Оля безбрежная... вся белоснежная, вся — неизбежная! Ольга-купавочка, гордая павочка... Оля истомная, страстная-томная... Оля-молодочка, легкая лодочка... вся в колебании, вся в уповании... Оленька пылкая, Олечка мылкая... в пену взбиваешься, в душу вливаешься... Ольга цветочная, Ольга неточная, Оленька умная, дико-безумная! Дай же мне губочки, страстные любочки... Оля метельная, розово-тельная. Оля прекрасная, нежно-ат-

ласная, Олечка истова, пылко-неистова! Оля-голубонька, кроткая любонька... с тайной улыбкою, ластишься рыбкою... Олечка грёзочка, пьяная розочка. Крутишься мушкою, дай же на ушко я... нежными вздохами, страстными охами — что-то скажу тебе, наворожу тебе... «будь же послушною, жгучею, душною!.. Дай — обойму тебя, дай же — у й м у тебя!..» о, неуемная, о, недоемная!.. о, моя девочка, дивная Евочка... о, ты, ночнушечка, гулька, кукушечка... травка, былиночка, в солнце пылиночка, знойносмолистая, терпкая, мглистая... страстно ты любишься, стонно голубишься. Небо ты светлое, небо лазурное... Оля несметная, Олечка бурная... Как же обнять тебя, как заласкать тебя?.. как же понять тебя?.. как же... п о я т ь тебя?!! ...Сказка ты страстная, песнь любострастная, дай — пропою тебя, дай, опою тебя... дай же, упорная, будь же покорная!.. станешь ты бабочкой, горькой купавочкой... станешь молодочка... где твоя л о д о ч к а..? В травку осочную, влажную, сочную... челн мой врезается, мнет-лобызается... губки целуются, милки милуются... Олечка-Олечка, где твоя воличка?.. В страстном лобзании, в мощном слиянии, в сладком борении, вся — в покорении. Олечка-ясочка, страстная красочка, вся ты разъятая, смятая, взятая... лодочка шепчется, томно трепещется... дремой окутана, грезой опутана... О, моя пленница, о, веретенница!.. тайной улыбкою, пьяною, зыбкою губоньки погнуты, ямочки вогнуты... Как же прекрасна ты, как же вся страстна ты!.. Челн не колышится, лодочке дышится... в неге купается, в снах улыбается. Зори сливаются, в небе играются... розовым светом любви изливаются. Лодочке дышится... челн не колышится: спят обоюдные, грезы их чудные, солнце ласкается, нежно касается, — тайны исполнены, спят, непробудные... всем преисполнены грезы их чудные... Счастье великое, счастье чудесное!.. кроет их сны покрывало небесное.

А? Недурно? Ливнем вылилось. Тебя з а ж е л а л о с ь. Вот, как ты будишь, зажигаешь, богатишь. Так и я бы на тебя действовал — для творчества.

Прости, Ольгуна, спелось во мне — тебе. Так и писалось, как выливалось. Не стану править. Это любовь спела тебе, тебя. Получишь и — потянешься. М. б. в самый-то срок получишь, как краситься будет лодочка... числа 24-5. Вспомнишь Ваню, пылкого все еще, все еще не остывшего. О депеше ты знаешь. В бурном бореньи, вулкан выкинул свою лаву и... спохватился. Стоило это мне бессонной ночи. Послал письмо и — ужаснулся![567] Я знал, что письмо авио-

ном пойдет завтра утром, т.е. в пятницу. Решил, прибегу на почту и захвачу его. Это вспыхнуло во мне, когда я был дома, почта уже закрылась. Так и ждал утра, боялся заснуть. Сегодня, в пятницу бросился на почту, еще была заперта. Когда открыли, спросил письмо. Оказывается, уже в мешках, приложены печати. Нет, Оля не должна получить этого дикого письма! И дал депешу на маму. Если бы пять тысяч спросили за депешу — все равно, послал бы. Но взяли только 230 фр., с оплатой ответа в 10 слов. Пустяк. Я уверен, что мама исполнит мою мольбу. И возвратит мне письмо. Я — сбесился, жаркий, как перемучился! Простила? Прости, родинка моя. Ни-когда не укорю. Очень я замучен. Был у Крым. Давление все еще высокое, но меньше — 17. Дала пока мазь — унять зуд во лбу и у носа, — нестерпимый, страшной силой воли не даю себе воли чесаться. Клара находит необходимым анализ крови, нет ли в ней мочевины, что такое давление. Мое обычное — 14. Назначит впрыскиванье — м. б. мышьяк, я хорошо его принимаю. Олюнок, я в ужасе от тебя! Так работать! 16 часов!! Что же, хозяин не понимает? не может взять для разделки мясника-колбасника, заплатить 15—20 гульденов? Все на тебе?! Хорошо же «выпрямление хребта»! Ты ло-ма-ешь себе хребет. Берегись: может бурно развиться грудная жаба. Я знаю это по Оле. Что же с тобой делать?! Кажется кончу тем, что напишу твоему «камертону» исчерпывающе резкое письмо, французское, — это гнусность — так явно убивать женщину, исполненную творческих сил! Оля, вдумайся. Я изнемогаю в страхе за тебя. Не мучай меня. Умоляю: приезжай скорей, все кинь. Как я буду беречь тебя, буду всем — планомерно, тешить твою жажду, все увидим, Бог даст. Мне еще не доставили книг. Я вырвал у Эмерик и послал тебе, первой, а сам без книги. М. б. пришлют завтра. Волнуюсь о «приеме» романа. Никогда так не волновался. Мне нужно — для нас. Была еще раз Юля, привезла ягод. Как спешно ты исчезла. Рынок ломится от ягод, фруктов, овощей. Дешевле стало. Варил, сам, персики. Боли дуоденаль — утряхиваются, сейчас, слава Богу совсем нет. Клара говорит — надо почистить печень. Да я же никогда не пил, и диету держу! Купил артишоков, я люблю их, очень, для печени отлично. И дешевле все из зелени. Салат латю люблю, купил. Теперь я все за все про все. За работу не принимаюсь. Надо еще корреспонденцию очистить. Прости за несколько «страстное» письмо. Ты, девочка, все поймешь. Не тормошись, без Вани. Как я жду тебя! Как вижу!.. На всем ты, твое дыханье. Целую одеяль-

це — тебя. Любуюсь чашечкой. И синей. И твоей «купелью». Пока ничего из твоего не разбито. Рад твоей крупе. Старуха сварила кашу мне, но у ней выходит мазней. Ты отлично варила. Надо, очевидно, меньше воды. Юля просит рецепт крема пирожного, очень. И я. Купил сегодня эклер, съел с молоком две штуки, но, кажется, это на сахарине, что-то горчит. Буду жрать овощи и все вареное — ягоды. Это я при тебе чем-то переборщил, осел. Оля, молю, не убивай себя работой, я мучаюсь. Оль, не могу жить без тебя, все постыло. Оля, я так огромно тебя люблю! я хочу быть с тобой, не тебя хочу, а с тобой жить, быть. О, как ты по мне! Я огневой, с. с., ты огневая, детка. Но мы сладимся, притремся, я всю волю соберу. Девочка, как хочу поездить с тобой, с тобой все увижу, а то я ничего не хотел. Оль, я хочу писать. Ты мне даешь силы. Правда, я много сил отдал тебе, — знаешь, — но я вхожу в норму. Вот сон только плох, от волнений за тебя. Отсюда мои жгучие письма. Каюсь. Кажется, задушил бы тебя любовью! Так и не прочитал тебе ни главки из 2 ч. «Путей»! Горько мне. Но все же, навязывая себя, я прочитал тебе кое-что. Оль, приедь! Это ты так писывала... — приедь! — и это хорошо, народно. Так вот — приедь! Как же будем любиться! Осенняя моя любовь, и все же — жаркая. Оль, не упускай дней, все же мы, живя, — на скате. Не воротишь. О деньгах не тревожься, будут. Только доедь сюда! Прямо ко мне. Я тебя никуда не выпущу. Я не стану тебе надоедать, — я же всегда работаю, когда и не сижу за столом. Ты будешь вольная птаха, я так в тебя верю! — но глупо же уделять Серовым, пустышкам, — по 4—5 часов, два раза! У меня отнято, — лучше бы ты в Лувре их провела. Сейчас много художественных выставок в Париже. Очень бы хотел — забыл, а лю-блю! — в цирк с тобой съездить. Люблю так отдыхать. А ты? Да, да, знаю. Посылаю тебе редкий портрет[568], единственный — тут я довольно полный, а с хохликом — похож на отца. И очень «глазастый». Этот портрет я подарил Оле, в 27 г. Шлю тебе, ты сделаешь с него снимок и вернешь мне. Только, жаль, выцвела фотография. Еще шлю бумажку депеши — с Ольга Шмелев, нашел-таки[569]. Все минутки с тобой. Сегодня видел во сне тебя и покойную Олю. Будто мы все вместе, — и так хорошо! Завтра служу панихиду[570], здесь. Будет Зеелер. Это самый верный мой. А[лександр] Н[иколаевич][571] добрый и вел себя с достоинством, — прочие — хамье. Не давали последних минут нам быть вместе. Я Серову отпел-таки. Покраснел. Зачем чернили меня в моем отсутствии, клеветали? Но

сказал в меру, без раздражения. «Почему берете на себя роль римского «цензор морум»? — наблюдателей нравственности? Почему наврали о дураке-гордеце Родионове?»[572] Досадую, что ты срывалась и раскрывала наше интимнейшее. Лучше всех поняла нас Юля. Поверь. Она трогательно заботится. И всегда это. Она — чистая. Она понимает, что лучшей жены для Дяди Вани как ты, нет. Оль, как хотел бы видеть тебя за мольбертом или у стола! Ведь это наш воздух, Оля. Как бы мы подпирали друг-дружку! И как бы нежно любились!.. Оль, я вовсе не похотлив, — я — только тебя жажду, как женщину-жену. Знаешь, зачем. Я бы не утомлял тебя дикими ласками, мы остались бы чистыми, детьми. Будем чистые-чистые, как небесная синева! Будем в естестве! крепки, даже порой и страстны, но это нужно. Я понимаю, мне в мои годы нельзя растрачиваться. Но ты не укорила бы меня. Ты бы меня насыщала и собой, и — кормленьем. Но я не позволил бы тебе торчать в кухне. Мы наладили бы все. И так распределили время, день, — на все бы хватило. Как хочу везде с тобой, все смотреть, только с тобой одной. Как бы наполнялись! Как бы молодели! Как бы находили радости, наши, ценнейшие! Бывали бы в концертах, театрах, лучших фильмах... И молились бы, Олюша. Так хочется чистоты всякой, в искусстве и жизни. С тобой, одной тобой. Как бы вечерами сидели, и на ночь тихо-тихо молились! Всем бы радовались, как дети. Я так люблю все хорошее, чистое, питающее душу! Оля... как я нежно-сладко люблю тебя. Не думай, стишками тебе страстно написалось. Просто — петь тебя хочется, а «лодочка» и «челн» — ты понимаешь — кожей написалось, тленным во мне. Но я о-чень пою в тебе женщину, красоту земную... дыханья твоего хочу, запаха кожицы твоей, потика твоего, женщина моя, Ольгуна! Льну к тебе всей силой, всем воображением. Как ласкаю!.. Ночью я почувствовал, что ты в комнате, спишь... Тихо позвал — Оля... И — больно мне, нет тебя со мною. Оля, когда услышу твои шажки, стуки в дверь — звонок действует! — звоночки, три. Ах, Оля... Всей полноты в тебе хочу-жду. Я найду много ласки в себе, — само найдется, вызванное тобой же. Оль, я сейчас посадил бы тебя в провальное кресло, сел у ног и положил бы голову на коленки тебе, и искал бы головенкой в с ю тебя, твою глубинку-серединку, «лодочку». Дышал бы ею... смотря тебя в глаза. Оль, я не разжигаю тебя, я вливаю в тебя свое большое чувство жизни. Ах, как хочу обедать с тобой, дружно-светло, уютно... брать кусочки с твоих губок! Оль, я не

могу без тебя... ты так взяла всего меня. Приручила. Да, я и люблю, и привык к тебе. Сростился, спаялся. Живу только тобой, моя ясочка, моя овечка, киска, рыбка... цветик божий. Уже 12 ч. ночи.

22.VI 12 ч. дня

Оля, не могу без тебя, истаю. Оля, приедь, найди поводы для Парижа: крестница выходит замуж, семейная у них сложность, необходимо твое присутствие... Сережины дела... моя болезнь, что угодно... ты умная, ты сумеешь обосновать. Оля-Оля, молю тебя, устрой, приедь! До отъезда к тебе Первушиной, с ней и воротишься. 13 часов только нас разделяют... Я все сделаю для тебя, чего хочешь, только приезжай... Пойми, я страстно живу тобой, страстно, как никогда хочу писать... Оля, я напишу для тебя чудесное для тебя... глубоко наше... — я так весь взят! горю тобой. Пишешь: «ты меня зажег». О, нет: нельзя зажечь пламя, оно опалило меня и я горю... Оля, как хочу с тобой смотреть картины! вникать через тебя, все брать через тебя! жить тобой... Оля, отзовись на мою мольбу, приезжай. Сегодня я неимоверно поднят! мне светло. Я жду тебя. Проснувшись я звал тебя, будто ты тут... так радостно звал, — «можно к тебе? я тихо прильну, под твою спинку, я не пророню ни словечка, я буду счастлив одним твоим теплом, твоим дыханьем, тобой — тут». О, сколько света было в сердце, когда я позвал — О-ля..! И верил, верил — ты здесь... Этого не передать, голубка. Как я тебя целую... как вижу тебя!.. Ты... так живо — стоишь передо мною... лежишь... на ножках черные шелковые ажурные чулки... высокие, до половины ляжек... — о, как люблю так! — розовое и черное... на тебе черного шелка тонкая-тонкая рубашечка... ты ее чуть подняла и смотришь на свои ноги... ты подняла ее выше... лодочки... и видно грудку из-за сникшего кружевного края... и все тело твое, розоватое, в перламутре, светится через тонкий шелк... Это так действует на меня... так влечет, так бурно обжигает... это твое «дэсу»[1]... веет духами, нежными, дыханием твоего тела... я немею, я молюсь на тебя, на божество в тебе!.. я приникаю к тебе, я ищу губами через прозрачный шелк ямочку на чреве, тот завиточек... какие сильные бедра у тебя! какие ноги!! ... какая в них сила, пьянящая сила страсти!.. как они обнимают, не пускают уйти, хотят... этот изгиб в коленях... как он томит... зовет...

[1] «Женское белье» (*от фр. dessous*).

Оля, никто не шепнет тебе так, как я шепчу, пою тебя!.. Поет во мне песнь любви... я не знал, что во мне песнь такая... ты ее вызвала из меня любовью, силой красы твоей. Ольга, ты моя часть, доля моя неотрывная... тобой, тобой творится во мне... родится через тебя! Ведь все, что писал о любви — лишь предчувствование тебя было! Ангельский свет и сила прекрасного земного. Оля, приеды! зажгись, обезумей от слов моих, опались огненностью моею!.. томись сладко, томись — тянись... Я буду тебе покорен. Видеть тебя хочу, слышать твоей дыханье... Оля!

Твой, о, дочего же т в о й!.. Ваня

[На полях:] Как я хорошо спал (часов 6), Клара дала успокоившее мазанье лба. С каким голодом ел! На твоей салфетке, будто ты тут. Давно не бывало такого утра. А сегодня памятный, но уже будто и с в е т л ы й день — день моленья. В 4 1/2 пойду в церковь. Вань

Чуть — тихо боль, и сколько света!..

131

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

21.VI.46

Дорогой мой Ванюша, собираю силы писать тебе. Какую смятенность, боль, горечь до физической болезни несут лишь твои письма с бесконечным обвинительным актом. Пусть он продиктован твоей любовью. Я знаю, что ты любишь. Из этого твоего потока бунта и ласки во мне выкристаллизовывается в душе одно — нельзя так! Моя душа противится и этим гимнам, — скорбь твоя, и ласка мне — так связаны земным. От земного. Мне неприятно это. Что-то нецеломудренное тут, именно в таком бунте, душа не хочет, не может принять.

Я внутренними глазами, душой своей вижу четко и больно свои ошибки. Я виновата во многом, но не в том, чем винишь ты, и знаю, что их бы не повторила. Вот мое интуитивное, без рассудка, нутром. Я в своей всей сути ничуть не огненная. Ты м. б. не поверишь. Все это и оказалось не по силам мне. Ты меня истинную-то так и не узнал. Я скорблю за тебя. Я знаю, как тебе тяжело, потому что и мне не легче. Я все это знаю. Переживаю. Ты вот что крепко держи в сердце:

Я люблю тебя, душа моя живет тобой, хочет, *как* никогда еще до сих пор жить твоим и *творить*...

Пойми также и еще одно, что вся я — *несчастная*. Так несчастна, как ты ни разу себе не вообразил. Ну, как ты сможешь сыпать соль мне в раны? Разве я не мучаюсь и не страдаю. Как оскорбил ты меня призывом Ксении Львовны[573]. Продумай хорошенько сам! Не хочу корить, чтобы не делать тебе больно, да и все равно ничего не поправишь. Ты меня больно этим хлестнул. Знай это!

И еще: ты много не знаешь из моей жизни, и как художник увлекаешься создаваемыми тобой картинами. Ты Ксении Львовне подносил обстановку нашей жизни, совершенно ее инсценировав по-своему. Прежде всего, знай, что моя мама со мной, человек умный и мудрый, и любящий меня. Мама бы тоже возмутилась вмешательству Ксении Львовны. И к чему она мне? В чем она должна меня убедить? Я не девочка. Я все знаю. Я мучаюсь, как никакой Ксении Львовне не снится. Что она скажет мне? Решить и сделать могу только я сама. И что и как решить? Моя жизнь с Аром — очень сложная история, ее начало было филигранно-тонко, и знай: я виной всему. Не он. Это не честно было бы перед Богом. Он не решался жениться, он считал себя недостойным, — много и другого было, о чем я писала.

Отними раздражение твое против него и увидь, что *я* виной этой запутанной жизни. Мне трудно с тобой говорить на эту тему, особенно в письме, — ты делаешь свои выводы, — ты — личен. Как уйти мне от Ара и уйти ли — дело моей совести, к тому же с ним приходится считаться как с несчастным человеком. Ты же абсолютно ничего о нем не знаешь! Когда гонят из дома прислугу — то и то это не значит — выбросить негодную тряпку, хозяйка (приличная) считается с человеком в своей служанке. Не усмотри в моих словах «адвокатства» за А. Я дошла до того, что боюсь тебе писать. Да, боюсь. Ты все вывертываешь. А вот честно, как перед Богом сказать если — так я страшусь твоей такой любви. Зови меня слабой, ничтожной, не выросшей до тебя, но я вся скомкалась тобой, я загнана, забита. Я не смею самостоятельно дышать, — боясь тебя вызвать на новый бунт! Это открытие очень больно коснулось моей души. Зачем ты так?!

Как хочу целомудренной, тихой, нежной любви. Она без срывов. Она терпит, для нее не страшна разлука. Ты знаешь, видал меня живую, — и вот я радостно бы пошла на эту дивную тихую любовь. В ней мы бы нашли счастье. Бунты же от красных маков, от огней, от всего того, что не любит душа моя. Мне чуется, что эта твоя бунтующая не-

покорность неугодна Богу. Молиться о помощи можно только, уйдя от бунта и огней.

Не надумывай невыносимости: мама, я, Сережа, мы ведь все не без головы. Ты унижаешь не одну меня, призывая свидетелей. Ты бунтами своими сорвал во мне все. Как бы страшилась я теперь быть в Париже. Да, да. Ты говоришь только о моих срывах, — а вспомни, чем они были вызваны! В такой атмосфере я бы никогда не начала творить. Ты — собственник и очень личен, и *очень, очень* горд, ни капли не смиренен. Я внутренне (так вот сейчас ощущаю) знаю, что для искусства я бы должна была стоять одна. Без никого. В жизни ничто не рубится с плеча, никогда. И эту проблему надо мне (не Ксении Львовне) решить спокойно.

Одно знай, что, чтобы ты ни говорил, а моя любовь к тебе и глубже и полнее и цельнее твоей ко мне. Она очень чиста, при всех и других нюансах. Ты знаешь, как я и при молодости и при живости моей тебя люблю и... не позволяю растекаться моей большой любви от разлуки. Она очень велика и *вечна*. И при такой любви не может быть понятия о... «прелюбодеянии»[574]. Тебе даже видимо не понятно, как это я остаюсь девственницей! Какая глупость — твоя тревога за спальню! Какая мелкая монета!

Что делают эти бунты с душой моей! С любовью моей к тебе! Сколько срывается лепестков...

Ох, Ваня, ты бьешь меня даже «прелюбодеянием». Ты подумал ли, что ты мне сказал? Нет, я не грешна ни в чем из твоих обвинений. Я взяла в 1937 г. на себя крест с Аром, во имя тоже ведь чего-то (писала тебе). Обещала ему поддержку, обещала доказать собой, что есть святое в женщине. Вспомни. Я не выполнила этого обещания. Я увидала Тебя — Солнце, и разве виновата, что оно, это солнце меня так всю залило. Я не могла молчать и сказала тебе. И ничего не крала ни у кого. Ты говоришь об измене тебе... О, нет. Это также (нет еще меньше, гораздо меньше), не измена, как твоя связь с Евгенией[575]. Моя совесть — чутка. Тут я ничуточки не грешна. Мне мучительно до боли, до полного отчаяния пользоваться всеми удобствами, помощью (а в настоящий момент все и всё в его семье поставлено на ноги, чтобы помочь Сереже, положение которого очень неважно). Зови меня слишком щепетильной, дурой, кем хочешь, но я не могу переменить себя и обмануть. Я все время страдаю. Твои обвинительные мне письма доканывают меня. Я рвусь в конфликте. И вместо того, чтобы спокойно, слушая совесть и разум, разрешить проблему, я, сломленная

твоим вихрем, лежу бессильно и плачу. Ты думаешь, что страдаешь один, — как ты забываешь меня в этом.

А у меня до того дошло, что я сама для себя уже ничего не хочу. Я не хочу только быть причиной страданий других. Все убили во мне твои письма: мою нежность, мою чуткую настроенность к творчеству, — я вся была к нему готова. Скорбь мою о тебе я так тянулась излить в искусстве. Я легко и свободно уже обговорила для себя все возможности этого труда*. Я думала, конечно, приехать еще в Париж. Но как бы я хотела быть там *иначе*.... Быть самой собой. Ты закрываешь глаза на Олю тихую, на всю мою сущность... О, как второстепенно для меня ночное. А ты все в нем... ты все о нем... я для тебя в каком-то южном преломлении.

[На полях:] Еще одно: ты делаешь мне всякую встречу с твоими друзьями невозможной, всякий «вход» к ним. Обещал с Серовым ничего не говорить, а теперь? Не можешь удержаться? Это получается: приехала О. А. и всех перессорила, все добрые отношения подорвала и даже старушку А[нну] В[асильевну] возмутила гордостью. Ну, делай, выставляй меня на [*порицания*]!

Хочу идти к сердечному специалисту, т.к. с сердцем все не лучше.

Благословляю тебя и молю пощадить себя. Оля

Peltenburg[576] едет во вторник — с ней тебе капли от стянутости лба и т.д. — должно быстро помочь. По 2 капли 3 раза в день. Она очень поражена 5000 в неделю, которые с нее спросила Е. А. Бернацкая[577]. Для Голландии это дикая цена.

Ну, Господь с тобой, милый, родной Ванёк, не мучайся! Целую тихо.

Я в представлении твоем — женщина тех же истоков, что все эти Елизаветы Семеновны, Эмерик и им подобные. Пойми, что мне более свойственно быть аскетом. И в силу страстности моей именно. Никого никогда не «зову». Никогда не «оголяюсь». Вижу как ты меня не понял. Да я и сама м. б. тому виной.

О чтении: я, постоянно, всегда (не только в Париже) отношусь к чтению твоему особенно. Вспомни, как робко я

---

* Т.к. мной А. мало интересуется, мне легко бы удалось совершенно отойти к искусству, уехав даже из дома. Вот тебе плюс от этого «хладного» отношения. Я спокойно бы ушла в труд, и само собой решилось бы многое. Еще одно обо мне: чем заманней мне мое личное счастье, тем труднее морально уйти от обязательства долга. М. б. поймешь? Надо эти два вопроса как-то отделить друг от друга, уничтожить зависимость.

тебя попросила прочесть вечером 9-го. Я почти не решалась. Я боялась тебя утруждать, утомлять. Когда ты в 1942 читал, я металась потом, узнав, как ты утомился и у меня где-то в рефлексах даже остался страх перед чтением.

Я из скромности не просила, а ты что выдумал и еще несколько раз об этом повторил!

132

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

30.VI.46

Мой дорогой, любимый мой Ванёчек!

Как я тоскую, как я полна тобой! Вчера особенно думала о тебе: так светло, радостно, возносяще, хотела все время писать тебе и вот как тогда, в 1939-ом — оттягивала радость эту. Вся собиралась в струнку. Не могла удержаться и в пятницу пошла в Wickenbourgh. Туда, где тобой так ярко, еще в полу-неведении билось сердце. Так потянуло туда, где переживала дивные моменты любви твоей, где в ячменях, сиявших золотом, думала о тебе. Все переменилось там: сама дорога заперта, — я перелезла через забор, — вот и канал, такой синий, темнее неба, и эти дали... серебряные дали. Какие краски. В парке запустение. Развел [дегенерат] (сынишка владельца) курятник. Все изгадили куры и... козы... Дерут деревья. Вышла к опушке... там земляничник и много-много ягод. Лесных, душистых. Полежала на берегу канала, в солнце, на ковре из клевера. Подумала: не найду ли четырехлистник? И сразу же, без искотни и увидала крошку. Шлю тебе[i].

Много чувств и мыслей, видений, вызвала эта прогулка. Вернулась вечером, страшно устала. Не могу так далёко.

Сердце переливалось как-то, перебои что ли. Устала. Всю ночь виделось, родились картины, хотелось тотчас же писать. Утром вчера хотела писать тебе, но не могла прогнать образы, толпой в меня теснившиеся, просящие воплощения и исхода. Писала, сделала наброски, очень удачно, только эскизы для масла. Чудесно удалось, именно то, что волновало. Давно. Эти краски мне удалось «взять» и передать д у ш у неодухотворенной твари. Хотела скорее, скорее кончить, чтобы положить к ногам твоим. Тебе работала, думала и жила тобой. Между этой работой набросала вишенки тебе. Теперь поспевает смородина. Возьму и ее

---

[i] К письму приложен лист клевера.

для тебя, надеюсь. Только бы быть здоровой. Никогда так не хотелось мне работать, как теперь. Всячески. Моя золовка-американка видела мои рисунки и читала текст альбома (с оранжевым деревцом). Она меня удивила тонкостью художественного понимания. Ее замечания были очень метки, улавливала мое. Сказала (она очень талантлива как художница), что у меня очень оригинальное, меткое видение предмета и большая сила изображения, выявления сути. Техника нужна, и ее, конечно, надо брать опытом, трудом, но она, как выразилась золовка — «дело — наживное, а вот imagination[i] и expression[ii] — не купишь».

Однако, после чтения кое-чего на языках ей понятных, она мне сообщила: «Я, по скромному моему пониманию творчества словесного, думаю, что не ошибусь, если скажу, что у тебя главное — в Слове. Мне кажется, что тебе необходимо сосредоточиться на одном, на главном, оставляя второе вторым, в данном случае живопись, для часов отдыха». Она мне дала много приемов техники для живописи, очень много интересного. Букет твоих лилий чудесен, — его она посоветовала взять маслом и именно по очень интересному методу. Он живой. Я дрожу при мысли о том, что м. б. очень скоро уйду в заветное. О, если бы скорее получить машинку! Не полагаюсь на Ксению Львовну, ибо она многое хочет, но мало исполняет. Сговорюсь тогда с американскими гостями, не вышлют ли они русскую машинку. С моим переездом в Woerden дело решенное (если все будет благополучно, если не расхвораюсь). Буду там только работать. Обед пусть мне дают те бабы, которые там ведут хозяйство. Ни разу даже не загляну в кухню, для себя-то одной это так неважно. И все-таки очень хочу не бросать живопись. Ну, хоть немножечко, хоть в придаток к написанному, хоть обложку для своей книги... когда-нибудь. Во мне слишком много всего, что просится наружу — и образы, и краски, и слова, и чувства. О, какую вижу картину красок... Этот, с ума меня сводящий синеватый свет!.. Никогда так не бывало: даже чисто внешне, прежде бывало, я на кусочках рисовала, — боялась как бы больших размеров... знаешь вроде того, как боишься идти через большую площадь! А теперь — хочу все больше, больше, не умещается на обычных размерах, хочу все взять и дать из того, что вижу. И так много вижу... О, неохватно. И такая это мука — терзаться с двух концов — образы и краски. Мне не

[i] Воображение (*фр.*).
[ii] Выразительность (*фр.*).

хватит жизни. Нельзя ее терять. Жалею, что пригласила Ксению Львовну — она мне помешает. Никого не хочу из гостей и ничего не хочу. Хочу только работать. Американцы меня не касаются. Меня теперь все берегут с сердцем. Но Ксению Львовну все же *жду*, хотя бы для машинки. Увидала перед собой молодой месяц! — Как тогда у тебя... *когда были гости*. С *милой* Н. А. Расловлевой[578] я тогда говорила. Тихий, милый, ласковый образ. Привет ей от меня. Самый нежный... чудесный, тонкий, душевный привет! Я 2 раза писала Меркуловым. Не знаешь, получили ли они? Ирине черкнула, так, из приличия. Хочу очень Юле написать, но как ее адрес? Юлю целую нежно и обнимаю. Ивану Александровичу Ильину надо бы писать, но не — мо-гу! Полна, полна песней, которую должна пропеть без помех. Ты-то поймешь меня и это чувство. До физической боли в сердце хочется высказаться, дать жизнь тому, что готово войти в мир. Ваня, как же больно мне — ты все о самом-то искаженном, не моем — ну, неужели ты мог этим диким словам поверить, тому, что говорила я в Булонском лесу? А о Пушкине ты сочинил, — *я так не говорила*. И никогда не порочила твоего творчества. Ты меня тогда довел до «истерики» душевной несправедливой укоризной, всем твоим бунтом. Но не хочу об этом.

Я очень счастлива, что Эмерик хорошо, или даже отлично перевела «Пути Небесные». Читал ли их Зеелер? Как я жалею о своем незнании французского языка теперь! Мне необходимо иметь 2 книжки «Путей Небесных» без посвящения. Думаю, что возможен большой заказ в Голландию и не исключена возможность издания на голландском языке, конечно, если *ты* бы хотел этого. У меня оказалось знакомство с крупным издательством. Как только получу от тебя — так и пойду. Только ты никому пока ничего про это не говори. Прошу!

Возвратили ли тебе Брайкин и Первушина книги? Помню, что они взяли у тебя «Пути Небесные». Я хотела бы очень, чтобы они прошли по Европе, твои чудесные «Пути». Все больше и больше убеждаюсь в их исключительности. Восхищаюсь, преклоняюсь. Какая Эмерик счастливая! Увенчать такой вещью литературу для французов. Участвовать в этом дивном прославлении тебя! Мне всегда кажется, что ты мне не доверяешь в переводах. Ты отклонял меня и от «Богомолья», ссылаясь на мою усталость, и от иллюстраций «Лета Господня». А вот теперь кому-то отдаешь. Или на тебя графский титул так действует? Я не могу, конечно, вклиниваться, врезываться в плеяду твоих

переводчиков и иллюстраторов. И из самолюбия порывалась тебе сказать: «что переводить с предварительным контролем Ивана Александровича не хочу!» Ведь не предложил бы ты никогда ни Эмерик, ни Кандрейе таких условий! Ну, а мне можно. Я сама по себе бы попросила И.А. судить меня, т.к. перевод твоего творчества скверно или плохо, или недостаточно, или посредственно, одним словом, всячески, кроме «в совершенстве» — было бы мне самой святотатством. Ну, хорошо, не буду. Переведу для себя и для тех, кому хочу дать познать наше. А иллюстрации... у меня немало видений и вИдений. «Лето Господне» являлось мне живым, я его осязала. Именно это и нужно для живописца. Ты оборвал (помню!) — «и не пытайся»! Ну, хорошо, не для тебя. Для меня только! Увидала... в четверг это было... стояла под деревом, свешивались тяжелые ветви, сквозились на солнце еще молодые листья, лилось, колыхалось золотом и парчой, шло, пело, пестрило ситцами. И видела *центральный пункт* всего Ее... все заслоняющую собою, Светом ярким... И видела твой «Ход крестный»[579]. Ну, да, — стояла на погосте католическом в Shalkwijk'е, смотрела на их «ход» в процессии праздника «Тела Господня»[579a], а видела свое. Не была душой тут. Была у себя. И так видела, что вот бы только взять и написать. Я маленьким Ваней стояла и так необыкновенно увидала.... сквозь ветки, сквозь эту зелень, м. б. сквозь лопушки, где он сидел с Таней?.. О, это бы не была лубочная картинка. Техника? Ее бы выправили те, кто это понимает.

Но, — будет! Получила письмо от Ксении Львовны и от Николая Всеволодовича[580]. У них «вихрь» по словам обоих. Он — очень сердечен, мил, положителен и основателен, — она вся в *«дико», «ужасно», «страшно», «божественно»*, «чудесно», но тоже очень мило пишет. Оба пишут, каждый в своем жанре, что у них целый день сидел художник-скульптор, объяснял, что он у меня нашел и сожалел, что не докончит портрета и не смог высечь из мрамора. Благодарил их за знакомство его со мной. Николай Всеволодович писал: «Hernandes[581] все мне втолковывал, что такие женщины на миллионы — одна по силе их содержания духовного и выявления этой силы». Он видел это в чертах лица, по словам Н[иколая] В[севолодовича]... Тот уверял меня в таланте к живописи и заклинал не бросать кисти. Не знаю... Я обожаю и кисть. Это не главное, мое серьезное, глубокое — то, не сделав чего, не могу умереть — Слово. Но как жаль бросить мечту о картинах. Я набросала тут недавно цветы — они вышли нисколько не

хуже Ирининых. А она ведь училась. Я не училась. Какая мука. Но я знаю, что если брошу кисть, то потеряю многое в себе. Должна же дать я этих птиц, черных, закрывших солнце, отразившихся и потонувших в вечности вод... Этих птиц с искаженными злобой человеческими головами!?

И эти провалы окон в «убитом» доме, где нет жизни, — есть только призрак жизни — старуха в черной шали — с провалами глаз, невидяще вперившихся в вечернюю зарю... Прости, я заболталась. Целую тебя очень нежно и крещу. Думаю о тебе. Оля

[На полях:] Спасибо тебе, родной, за 2-ую книжку «Путей Небесных». Ты что, хотел ее [умеренным] посвящением зачеркнуть гимн предыдущей?

И, правда, мне больно было читать эти высокие слова о себе, и почему-то думать, что они в насмешку сказаны. Как же так можно писать той, о которой думаешь, как о поносящей Пушкина и твое?

Чувствую себя — ничего! Как ты????

Гортензия повяла оттого, что стоит слишком на солнце. Это с ней бывает. Надо хорошо полить. Напрасно срезал шапочки.

133

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

6.VII.46 10 ч. вечера

Родной Ванюша мой!

Милушка, светленький, ласковый мой Ванёк! Так тоскливо мне сегодня, — все время хочется вздохнуть. Ты ли тоскуешь, или м. б. от физического сердца эта тоска. Бывает. А с утра было хорошо, легко. Я радовалась, упаковывая тебе мой набросок с могилки О. А. Вчитываюсь, вдумываюсь в твое письмо, и мне становится все больнее и больнее. Какой ты неуемный. Боже мой, разве можно в такие приходить состояния! Это ты вместо светлого-то моления за усопшую твою так бунтовал. Ванечка, да сохранит тебя Господь от подобных состояний! Мне очень, очень больно от всего этого. Ты и меня как-то делаешь соучастницей этих темных твоих движений. А я ничего не могу. Я бы при всех моих трепыханиях и желаниях, при всей напряженности воли, не смогла бы сейчас к тебе поехать. Я так устала. От чего? От «отдыха» в Париже. Не от тебя, не обидься, но от всего этого темпа. И потом, подумай, у меня не было никакого своего угла. У тебя я любила оставаться, но всег-

да я засыпала с мыслью: «Не проспать бы того момента, как будут приходить люди...» Не было никогда и нигде возможности сознанья: «Коли захочу — могу пролежать весь день». А так часто я этого инстинктивно хотела. У Первушиных бы еще туда-сюда, но и там были свои неудобства. Я уезжала из дома со словами: «Я так измучена всеми годами, что отдохнуть могла бы только у себя». Ты так и написал, что еду «к себе». Я от тебя так и приняла, но это не было так. Ты часто сам в своей квартире не «у себя». И мне сейчас еще больше хочется покоя.

Прочти мои письма перед Парижем. То состояние теперь еще усилилось. Прибавилось беспокойство о тебе, доходящее до болезни. Я как-то панически боюсь этих моих состояний, вспоминая серию моих болезней в 42—43 годах. Я все свои болезни ставлю, безусловно, в связь с тогдашним моим душевным тупиком. Но теперь я еще горю желанием писать. У меня небывалый приток сил к работе. Я только и жду отъезда гостей из Woerden'а, чтобы уехать самой туда.

Впрочем, отъезд золовки, как человека очень и очень художественно одаренной — мне и не очень желателен. Она мне много дала практических советов в живописи и дала бы в дальнейшем еще больше. Сама она сделала колоссальные успехи в Америке. И главное, что ее «видение» сходно с моим. Это я еще в 1934 г. занесла у себя в записки. Прислать хотела все необходимое из Америки. Она в ужас пришла от моей бедности красками (материалом) и вынужденности работать не так и не тем, чем и как нужно. Хотела бы я безумно хоть 2—3 месяца в хорошую школу. И все теперь так трудно. Наши сумасшедшие финансовые реформы всех сделают нищими и никому не помогут. Кажется, придется работать для заработка, чтобы приобрести независимость для искусства. Никто не смеет снимать порядочных сумм со счетов. Ну, ничего. Это все не так важно, т.к. я еще и в школу-то не собираюсь на деле, а лишь в желаниях. Если бы написала то, чем живу (и м. б. для чего живу), — то все бы поставила на карту, чтобы издать. И хорошо издать. Вижу оболочку даже. Сама бы ее дала. Дала бы, Ваня, не бойся, не плохо! Вижу ее, эту книжку-сборник рассказов, всю через мой (особенный) синеватый, голубовато-сиреневый свет... Сквозь цветы... доверчивый ребенок, дитя, умученное бессердечным веком. Если не сердце, то плаксивый сентиментализм современника все же примет это и м. б. даже прольет слюнявую слезу, не поняв того, что всякий из них и сам — соучастник. О, да! Лик скрытый! Все за одного и один — за всех! Я открываю вот

сию минуту, как никогда ярко, что в моем (еще не родившемся на бумаге, но давно живущем во мне) бьется то же, что и твое сердце! Ты увидишь.

Иногда мне кажется, что все это было, и сама не знаю, где мой вымысел и где явь. Недавно, рассказывая «американцам» о некоторых дикостях нашего времени, я чуть-чуть не рассказала им мой собственный рассказ, веря в тот момент сама, что это — быль. Я не рассказала, вовремя спохватившись. Но сердце мое билось как сумасшедшее в творческой радости, осознав, уже плоть моей мечты. Ты понимаешь. Я должна сейчас же, не медля, начать работать. И буду запоем. Знаю. Но надо покой. Я очень сомневаюсь в том, что Ксения Львовна привезет мне машинку. Досадно. Я так нервна, что не могу себя заставить писать пером. Но придется. Никого не буду видеть, уйду вся в работу. Т.е. так вот хочу, а что удастся — Бог весть. «Американцы» не докучают. Она очень измучена сама: большая художница в вечном заряде и задерганная повседневным. Урывает для работы 2—3 часа во время сна ребенка[582]. У нее есть чудесные работы. Особенно детские портреты и картины материнства. Ребенок ее восхитительный, нежнейший, умный, ласковый, льнущий, не по возрасту понятливый. Мне много дала эта девочка, много тепла. Чего-то давно забытого. Захотелось писать «вид и человека», с какого-то времени мне портреты не стали удаваться. Давно, в России, я рисовала только портреты, и меня интересовал только человек. Теперь я отдалась вся только природе, — человек не удавался — все портреты жестки. Я их *боялась*. Несомненно, какой-то внутренний «срыв», ожог на человеке. В этой девочке я вижу столько милости, нежности, приветливости в отношении каждого, что при всем желании жесткого не может быть найдено. И у меня появилась смелость снова начать портрет. Но, по правде говоря, зажжена-то я не этим. Это только схватить хочется. То, что для будущего будет необходимо, а болею-то я желанием писать. О, машинка, машинка! М. б. устрою с Америкой. У меня новость — с недавних пор непреодолимое желание писать (живописно) в очень больших размерах. Прежде было наоборот. Хочу во всю стену, кажется, и то не уберется. Ах, как вижу!! Какие краски!

И если напишу эту книжку... (ах, если бы написать!) — то в сердце одна мечта — своему народу. Только им! Когда-нибудь будет.

Ах, как бы я иллюстрировала мой роман! Я говорю «мой роман», т.к. он уже живой. Мне нечего придумывать.

Они все живут. Я так все вижу, что даже вот эти мелочные, мещанские пальцы, пальчишки моей Эльзы вижу, и как она встряхивает только что остриженной головой, а la garçon[i] и гремит дешевкой браслеток, рассказывая скользкий и *такой* немецкий анекдот. Даже где она стоит, вижу и обстановку их комнаты «салона», т.к. «салон» по их понятиям обязательно должен быть у «порядочных людей». И так далее. Вижу и слышу моего милого Сергея Лаврентьича. О, как вижу, в том, в чем видала его, и в чем создала сама. И эту последнюю танцульку... «im Freien»[ii], такую саму по себе пошленько-немецкую, но так много обещавшую «ему» — и так все у него взявшую, открыв глаза на то, что «ее» уже нет. Ах, а эта теннисная площадка, впервые обновленная весной, в чудесном Dahlem'е, где только виллы и особняки, куда она, моя Вера, попала ранним утром на работу. Эти праздные забавы богатства и эта ограбленность молодой жизни по другую сторону сетки забора. И Kurfurstendamm весной с продавщицами фиалок и первые столики на террасах, и весь этот праздный, шатающийся богатый Берлин, толкающийся, снующий, несущийся, жадно берущий свое и не свое, струящийся мимо нее, не вкусившей ни радости, ни досуга, ни простора жизни. И даже не осознавшей, не имеющей времени на осознание того, что могло бы быть иначе. О, не так как эти пресытившиеся Kurfurstendamm'цы — те обожрались и упились... И все это разом поймет моя Вера и поймет, что те — обожрались, сожрав и ее долю. Но не пугайся — никакой «морали» скучной и никакой тенденции... Это было бы ужасно. Ну, увидишь. Но когда же?! Когда же?! Когда!?

Ваня, почему ты озаглавил: «Завет прощальный»[582a]. Почему прощальный, и как это понять? На прощанье мое с Парижем, т.е. с тобой, при отъезде из Парижа? Мне не хочется такого заголовка. Как будто бы у тебя больше никаких «заветов» для меня и не будет... Мне это больно. Я не люблю слово «прощай» ни в каких вариантах. Вообще... ах да что там! Ты так огорчаешь меня! Я очень за тебя страдаю. И как бы хотела тебя радостно почувствовать, чтобы с легким сердцем взяться за труд. Писать буду для тебя! Только так и смогу. Тебе, будто тебе рассказывая. Как была бы счастлива знать, что пишешь и ты. Теперь о ином: как Ивонины? *Что* у детей? Я не оставляю мысли их взять к себе, если поедет Первушина. Я бы как-нибудь раздобыла

---

[i] Под мальчика (*фр.*).

[ii] «Под открытым небом» (*нем.*).

денег для билетов. Теперь у меня мало расходов, могу все возможное снять для них со счета. Напиши тотчас же. Надо кое-что узнать из формальностей. У нас они бы отпились молоком. Сейчас его много. Масло, творог (дивный), сметана. Хлеба вдоволь. Во имя тебя — крестного Колиного — сделаю радостно. А заодно бы и научила их по-русски, да и молиться тоже. Пусть Ксения Львовна их привезет и отвезет, да и позанимается с ними, благо у нас никаких развлечений от скуки нету. Но об этом ты пока никому не говори. Сообщи мне только о состоянии их дел и здоровья. Как адрес Юли? Рецепт торта я подробно описала Марии Михайловне Меркуловой. Это так скучно, что м. б. ты для краткости возьмешь просто у нее, если она не уничтожила. Я не люблю кухню, а к тебе в письмах — сугубо. Целую и крещу. Оля

[На полях:] У нас еще цветут жасмин и розы. Распускаются липы.

Пришли мне хоть 2 книжки «Путей» без автографа. Мне надо.

Привет Эмерик, коли она молодцом перевела тебя!

Я мечусь и покою себя. Как же ты? Как глаз?

134

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

12.VII.1946 8 ч. вечера

Предыдущее письмо[583], большое и светлое — опущено сегодня в 4 ч. дня. Это — вдогон.

Девочка светленькая моя, жизнь моя, Оля моя... В сумеречном душевном состоянии, взял я твои последние 3 письма[584], перечитал, и вот что скажу: голубка! умница, дар ты бесценный мой... Ты пишешь — как дышишь... свободно. Отлично дала (а ведь как кратко!) твою прогулку в то старое поместье, где в 41 году... только ждала, только предчувствовала радость, что любишь, радость, что тебя уже любят... твой любимый писатель Шмелев, ныне — просто и верно — твой Ваня, Ванёк, Тоник... Дивно дала, чутко, мастерски! — все, в нескольких строчках!.. У меня сердце вспорхнуло и защемило сладко. Прошлое... («и много переменилось в жизни для меня... и сам, покорный вечному закону, переменился я...»[585]) — Помнишь Пушкина? (его ночная поездка, дорога в Тригорское..?) Ольга... такое же чувство испытал я, читая Тебя... — большое сердце.

Спешу, волнуясь, — и — кляксы сажаю. Ты смогла дать, заставила меня пережить. Ты многое можешь! М. б. — все. Ты стала мудрей, глубже, смелей (главное!) тоньше. Ты — повторю тебе — художник Слова (будешь бо-ольшая!) м. б. и краски. Но, главное — Слова! Ольга! Я поцеловал 4-листничек. Он тебе — дался сам. Пусть «курятник»... — поместье стало, но в тебе — сон светлый! Я все увидел! вспомнил. И, главное, тебя, на заре, в окне... — «звезды глубоко тонут и в прудочке»... Ах, девчурка! дочего ты большая, мой дар, мне, найденный, талан! Смело, благословясь! — благословляю. Ты — помни — настоящая! И все эти письма, все в них — *отлично, легко*. Ты *поешь, легко*. И эти 1 1/2 странички мечты о романе, и твоя горячность и боль (боль Веры твоей) — ты все несешь, и как мне такое знакомо. Ты — подлинная, цыпонька! И как я хочу зацеловать тебя! Но тут я серьезен, я свято-правдив, я не дерзнул бы так говорить тебе — кривя душой, обмануть!

Как светло волнуюсь и сажаю черные кляксы! Все во мне вдохновенно дрожит, радостью за тебя! Ты можешь, ты — должна! Но помни: никогда не пиши в сильном волнении и, тем более — спешке, иначе будут «кляксы»! А вот так, покойно, как писала «Ячмени» (яшная ты моя!) как сейчас читал — лезла через забор... (всю видел) солнце... земляника... *Так*. Отлично дала, как стояла под деревом, и — свето-тени, и синее, и ситцы... (!!) ах, ты, умница! — что сказала, Ольга! — все можешь. Но надо окрепнуть. Да, Оля, так и надо, будто любимому говоришь, шепчешь, которого нельзя же обманывать. Тогда всех «обманешь»: все поверят в творческие Твои, тобой созданные образы! Чудеска! Да разве Ваня твой мо-жет обмануться?! ... ошибаться?.. В чем-угодно, только не в этом: да, да, да: подлинная, творящая! О, ты сделала огромные успехи, ты — окрепла, насыщена, (не замечая того!) — вот Итог дум, страданий, любви... терзаний... срывов, ласканий, моих тебе песен... за эти 7 лет! Да. Они, эти 7 лет — недаром. Но, Оль, если были мы бережней... как бы насытила ты эти 5 недель — не меньше этого 7-летия. Верь мне, Оль. Любимую... единственную... — могу ли, дерзну ли обмануть?! Все у тебя. И живопись не уйдет, — как отступление, отдых, разгон, трамплин. Все можешь. Не спеши только. Распределяй, цени время. И «Богомолье» переведешь. Без контроля, к черту! Когда сама найдешь нужным, — запросишь, по своей волюшке. Оля — пиши тогда, когда успокоишься (как эту прогулку в

Wickenburgh[i]) — и найдешь все. Этот твой 4-листник я целую. Я его выну, наклею, вставлю в особую рамочку, повешу к Святому. Ах, как бы вот сейчас, светло хотел сесть у твоих ножек и прижать голову к твоей груди, и смотреть в глаза твои и гладить лобик твой! И вливаться глазами в эти губки, в твой покоряющий и влекущий рот!.. рот, не ротик. Свежий, сильный и какой же полный особых чувств и мысли... Рот твой, желаний!..

Ольга, истинный художник! — если удержишь м-е-р-у, найдешь «покой и волю». Читай, вчитывай себя в Пушкина! Какое у тебя издание? Напиши скорей. Я хотел бы послать тебе... лучшее, если найду. Какое счастье творить! Какое счастье любить! Но какое же безмерное счастье, когда и любимая, и любящая — созвучна, творит! И так все постигает, как и ты, когда — рОвня, того же жита! Люблю, так же — больше, чем тогда... в 41! Оля — ты моя, вся. Оля будем вместе — в чудесном мире! Оля, я сейчас послал пневматик той пианистке[586]: уезжаю, не приходите — пришлось по требованию врача уехать на отдых. Ну, ее, к черту! Я хочу чтобы ничто не мутилось во мне. Только ты — чистая, вся во мне.

[На полях:] Белый цветочек — от доброй Юли, — я посылаю его тебе, — знак чистоты творчества твоего. Взял его со священной полки, у икон.

Раздраженный никогда не должен говорить о важном. Так и писать: никогда в повышенном волнении, а в светлом.

Оля, верь мне! Мы будем вместе петь, «веленью Божию послушны»![587]

Как счастлив, что могу, и вправе, по совести так сказать тебе, мой дар!

Оля, пиши, не думая, что пишешь для печати! Никогда, забудь. Тогда больше свободы и — себя, воли твоей и покоя!

Я все тебе написал с полным сознанием ответственности, без запала. Пусть ты — все во мне, но в этом я хладен, и уравновешен: ты — настоящая! Я никогда не ошибался в тебе. Ваня

Твой всегда, вечно Ваня, Тонька, безумец, и ровный, думающий, тебя хранящий Ванёк, Ванёчек, Ваничка. И. Ш.

[Приписка на конверте:] 2 книги шлю, помимо издательства. Брошено в ящик на почте 12.VII.46 в 9 ч. вечера. Побежал сам.

---

i В оригинале описка: Woerden.

135

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

14.VII.46

Ванюша, радость моя, светик, как бы хотелось тебя обнять ласково, пригреть и отогреть, чтобы с тебя сошла корочка злобы, которую чую в твоем молчании. Милушка, ты ведь не такой, ты мой ласковый, нежный и ты любишь и понимаешь и жалеешь Олю. Если бы я была около тебя и ты бы увидел мою нежность к тебе и ласку и правду быть чутким, то ты бы внял мне и заплакал радостно, изжил бы свою злость на меня. Ты не пишешь мне и пытаешь меня. За это время ты несомненно уже получил и мои ягодки и березку с крестом, и мой «реверанс» тебе[588]. И ни звука. Ну, не важно, не важно. Я ласково глажу тебя и целую сердечко. Вчера видела сон: ты, О. А. и я. Ты меня коришь чем-то, чем-то мною сказанным и тобой злостно истолкованным. Я отчаянно несчастна, т.к. не могу доказать тебе, что ты не прав. Доведенная до крайнего огорчения, говорю О. А.: «Ну, скажите Вы, как объективный свидетель, ну что я могу сделать?» И она спокойно так: «Да, это часто у него так бывает, Вы не огорчайтесь и знайте для себя, что Вы — правы, в этом и есть для Вас утешение, а я это так хорошо понимаю».

Я оборачиваюсь к О. А. и говорю в слезах: «О. А., успокойте его Вы! Вы знаете, что я не виновата!» И проснулась. Мне тягостно, что от тебя нет писем. Э т и м ты ничего хорошего не достигаешь. Конечно, я не велика птица, но все же для моего-то чувства больно, что не могу начать работать. Ты не даешь мне. Пока кончаю.

15.VII.46 Два твои письма от 11.VII[589]. Я в отчаянии. Когда же кончатся эти уколы. На главное ты *не* ответил: как реагирует твоя болезнь на капли. Ты только приписал: «Перестал принимать капли и стало лучше». Но это же у тебя от злого — «хуже, мол, стало от твоего лечения!» Я давно заметила, что все мое тебе — плохо. Меня бесит это твое упреканье за театр. Спроси, пожалуйста, Ксению Львовну, как трудно мы достали билеты и как я просила ее купить «для И. С. с а м ы й лучший, хоть за 1000 фр.». Не веришь — не надо! Будет!

И еще: что это такое «амурничаешь»?[590] Как тебе не стыдно?! Вот раз навсегда:

Не говоря о себе лично (т.к. у тебя видимо сложилось свое мнение обо мне!) — касательно д-ра Клинкенберга вообще: это прекраснейший и чистейший человек, которого я чту, и люблю свято его труженическую чистую душу.

«Амурничать» — никак к нему не приложимо. И ко мне он относится помимо всяких этих низеньких чувствиц. А в частности и в данном случае почему о нем не пишу: — потому что он в Швеции.

Это объяснение дано тебе, однако, не для реабилитации себя (этого не сделала бы из уважения и к нему, и к себе), но только для того, чтобы показать тебе, как ты можешь толковать на свой лад. И так все! Ваш Париж с его грязненьким подходом ко всему презираю. В кафе в Утрехте[591], где я одна сидела, — бывают даже монашки, когда им надо ждать автобуса. Все как-то погано!

Мне стало противно от всего того, чем ты меня все время обдаешь. И еще: «Ты ему (доктору) конечно показала мою книжку с посвящением?» *Твое* посвящение во французской книжке ведь нисколько не отвечает всему тобою сказанному в письмах, посланных одновременно с книжкой. Никаких моих «высот» ты не видишь, да и нет их, видимо. И к чему все это. Не хочу разбирать твое письмо дальше. Можно далеко зайти, а я не хочу этого. Но скажу только, что говоря о победе над злым, ты на самом деле продолжаешь злобствовать. И чего ты о моем здоровье... Я должна беречься, что и делаю. Никто мне лежать не прописывал. Dr. Klinkenbergh до своего отъезда (я его видела накануне отъезда) в Швецию сказал мне на мои жалобы касательно сердца, что это чисто нервного характера ухудшение, что надо главным образом быть внутренне-спокойной. Был удивительно заботлив. Нет, ты его сущности никак не почувствовал и не понял. «Амурничать» с ним и в голову бы никому не пришло, при всем его шарме. Он святой для меня. Без ханжества. Я бы очень дорожила его дружбой со мной, но и этого быть не может, т.к. он сверхзанят. Все эти дни я была занята малюткой, которая получила ангину, ты конечно замашешь на меня опять руками. Но я не хочу себе в этом отказать. Я наслаждаюсь любовью этого ребенка и была (хоть призрачно) счастлива. Как обожаю я детей. Эта крошка прелестна, сверхмила и ласкова. Милая, кроткая, умница, не по годам ее разумница. Ангелочек. С ужасом думаю о том, что завтра уедут. Как она вся чудесно пахнет. И какое наслаждение ее приветливый голосок певуче позовет меня, и вся она засветится улыбкой. Я спала с ней в одной комнате. Она долго молчала проснувшись и только когда пошевелюсь — тихонечко позовет «О-йга». Эти ножонки, ручонки, все ее существо милое. Ну, довольно. Дети Ивонина устроены. Хорошо. Дай Бог, чтобы поокрепли. Что же у твоей Анны Васильевны? Чем она больна? Слава Богу, что нашлась ей замена[592] хотя бы на 1 день пока. И кажется

совершенно по рецепту И. А. Нечего смущаться ее элегантностью[593]. Большому писателю не грех убрать комнаты и элегантной даме. Конечно она не имеет отношения к советскому «делегату»[594]. Да ты же *справиться можешь*, кто прислал. Сколько стоит твоя французская книжка? Я должна иметь несколько экземпляров — м. б. смогу заказать через мать Беатрисы, отдав ей стоимость здесь. Но мне надо знать цену. Не исправляй дела с переводом «Богомолья» — я твое отношение к себе знаю. Поручи это кому хочешь. Мою радостную охоту к этому, мою мечту ты разбил сам. Достаточно хлестать меня. Мне все эти Ксении Львовны просто стали противны.

Как ласково рвалось к тебе сердце. Как обидно опять ты оттолкнул. Господь с тобой. Оля

[Приписка поверх текста:] Это письмо закрыто моим сердечным 16.VII.46. Милый мой Ваня!

16.VII.46

Ванёчек-*золоточек*, певучий голосочек,
сизый голубочек, крылатый мотылёчек!

Сегодня твои 3 письма[595] и одно мозаичное из них. Ах ты воркотунчик мой! Все же шлю мое карандашное[596] тебе. Там я грустила и огорчалась тобой. Радостно и легко поставлю крест на всяческих обидах и обидках. И ты так, да? Ах, знаешь хорошо было в душе как шла в мой зачарованный Wickenburgh. Ячмени посеяны, но по другую сторону. Они еще зеленые. Набирают силку. Усатики. Теперь дожди, холодно. А до воскресенья стояла жара. Чудесно было. Я ходила в моем красном платье, а то надевала белую русскую кофту. Знаешь? Муж золовки делал цветные фотографии. Если вышло хорошо, то пришлю тебе. Он конечно яркий «из наших», но мог бы быть как таковой хуже. Ты знаешь, Ваня, если Ксения Львовна не возьмет машинку, так я просто закажу в Америке, новую. Чего биться с репарациями. В Голландии ужасны всяческие мастера. Ничего бы для меня не было приятней как писать на твоей машинке, но и как-то даже страшно, святотатно. Я бы сейчас хотела начать «Богомолье». Для этого есть латинская машинка у нас. Ее только что починили.

Не можешь ли ты узнать, м. б. можно просто почтой заказным пакетом послать машинку. Она ведь старая. Ну пусть что-нибудь возьмут пошлины! Ванюрочка, спасибо тебе за высланные книжки. Я когда их получу, сразу же обращусь куда надо. М. б. «Пути Небесные» переведут на голландский язык[597].

Пусть пройдут они по Европе.

Пока не забыла: Madame F. N. Tholen, Wilhelminapark 56, Utrecht. Она кажется не говорит по-французски. Но м. б. я и ошибаюсь. Эмерик — молодчина!

Что говорит Зеелер. Кланяйся ему, пожалуйста, от меня и скажи, что это особенно почтительный поклон за его отношение к тебе. Вернула ли тебе Ксения Львовна книгу? А Брайкин? Что он все еще болтается к тебе? Ах, эти посетители! Как дорого время и как его мало. Ванёчек, хочу начать читать хороших немецких мастеров слова, для «Богомолья». Это очень важно. Есть удивительно сочные «языки». Например люблю Stephan Zweig'a и его брата (?) Arnold'a Zweig'a. До чего сочно и красочно. И все в области чувств и внутреннего. Это ничего, что Zweig еврей — и пусть его сюжеты напоминают бунинскую литературу, хотя они никак не порнографичны. Мне это не важно, — важно богатство и меткость слов, удачная передача чувств и действий в слово. Все равно как можно на полотнах больших художников учиться писать. Я читала всех немецких классиков, включая даже Lessing'a и Klopstock'a[598]. Скучный «Laokoon»[599] осилила.

Grillparzer'a[600] взяла тогда для экзамена. Kleist'a[601] изучала. Не говорю о Гете и Шиллере. Последнего люблю больше. Они в стихах не так много дадут, да и не современны. Много у них еще остатков высокопарных, того, что в обыденной жизни уже заснуло. Zweig — больше современен. Хорош Joseph Ponten[602], не люблю Thomas Mann'a. И вот когда так перебираю, хочется почитать именно Zweig'ов. И вообще побольше хорошего немецкого слова. Тогда само идет оно в руку. Просила уже (12.VII) И. А. послать мне пособия для перевода. Хотела бы сделать обложку для «Богомолья», с той техникой, которую мне преподала золовка должно выйти божественно. (Они сегодня уехали. Мне до слез жаль девчурку. Я ее очень полюбила. Ах, как полюбила. Она болела и ночами, вся разметавшись в жару, все же тихонько позовет «О--йга». Душенька моя. В воскресенье будут ее крестить, а 25-го улетают домой.) Хочу попробовать обязательно и для «Куликова поля» эту же систему. В рисунке я гораздо стала зрелее. Чувствую. Ты находишь, что и в слове? Золовка, читая мое голландское подношение с оранжем[i], обращала мое внимание на некоторые места, которые я сама как-то даже не осознала. А так, — само сказалось-написалось. Например: «никто не знал куда они (беженцы) идут, никто не знал что ожидает их в будущем». — Золовка: «Вот если бы это посредственность писала, то, уве-

---

[i] Апельсин (*от нем. orange*).

рена, сказала бы так: "никто не знал куда они идут и что их ожидает впереди". И никакого впечатления бы не получилось. Это твое повторное (без "и") никто — ярко передает то, что надо».

Затем: «ласковые звезды сквозь пустоту каштана». Это после канонады, взрывов, сумасшествия, и вот в ночь капитуляции эта какая-то зловещая тишина... И эти «ласковые звезды». «Потрясающе, Ольга!» Ночь эта у меня дана хорошо, сама знаю. «Звезды» только кусочек. Там больше есть. Никто мне не показал этих мест, а я сама в каком-то как бы трансе написала, но не видя. Ведь не знаю же я, например, — объективно, какое у меня лицо: красиво или уродливо. Оно такое свое, что не разберешься. Скорее всегда угнетена, видя отрицательно. Так и работу. Плюсов как-то и не видишь. Она меня уверяла, что даже на чужом языке у меня есть ряд «потрясающих» оборотов, таких, какие бы даже хороший голландский писатель мог себе пожелать. «Он бы стал искать их, надумывать, чтобы быть метким и — ...странно Ольга, но так — оригинальным. Ты в чужом тебе языке страшно оригинальна, как бы опытна в каком-то особом, твоем стиле». Меня это заинтересовало, ибо это не пустые похвалы, а некий разбор и... читателя уже. Значит как-то доходит. До той, кому это было дано — не дошло, конечно. Она — корова. Я окрылена и воодушевлена твоими письмами сегодня. От полноты души и сердца тебе говорю спасибо! Это так мне благостно. Хочу очень скоро начать. Еще один рассказик вдруг родился. Из детского. Твоя Ольгуна ведь всегда глупка была. Ах, как тяжело расставалась. Как уже за сутки переживала разлуку.

В субботу брали меня на воскресенье домой (военное время) из института. Бежишь бывало в 4 ч. в субботу, ног не чуешь... Поужинаем — а я все время «мамочка, можно?», — кусочка бывало не возьму без этого «можно?». А после уныние уже защемит сердце. Ночью-то и грустно уже. Не спится. А в воскресенье часочки считать. Вот как-то в марте было... Льдышки длинные у труб водосточных висели. Особенно они мне запомнились, хрустко так сколола я одну, придя веселенькой в субботу. Сколько рассказов, поцелуев, обниманий. До захлёбу. Не знаешь с чего и начинать-то. После обедни в воскресенье так грустно... тает чуть на улице, кап-кап с крыши. Стою и смотрю на льдышки, как они тают, уходят, плачут. «Да чаво Вы, барышня, пойдемте мороза лепить...» — подхватывает меня Саша, в шутку теперь всегда «барышней». Мы лепим снегурку и мне кажется, что время отдаляется... пока-то слепим, обедать... чай... и только потом идти туда... Столько еще этапов. Но вот

слепили... Как приятно катать снежные комья, как легко налипает влажный снег, какую дивную мы слепили снегурку. «Обедать, Олюша!» — Ох... обрывается в сердце. Одним этапом меньше. Не ем, глотаю слезы. «Да что ты, ведь только одна неделька, да в четверг-то я ведь приду к тебе...» Не то все это... Ах, уходить. Опять туда. Тоска наваливается, тяжелым камнем. И я сама не знаю, что тут такого безысходного в том, что надо идти туда. Тоска, тоска.

Чай тоже быстро приходит. Мне ни до чего, и даже рябинового варенья не надо. «Мамочка, милая, дорогая, золотая, бриллиантовая ты моя... (шепчу я ей в слезах мои *обычные причитания*) не могу я, мамочка, не могу. Ах, какая счастливая Саша, все, все, кто остается, кто тебя каждый день могут видеть». Я плачу, реву — рёвом, не слушая никаких увещеваний. Сашенька в дверях — хочет понести мой чемоданчик, я чую не видя (сижу уткнувшись в мамино плечо). Она конечно сердобольно качает головой и делает маме молчаливые знаки. А потом она нарочито веселым и бодрым голосом скажет какую-нибудь прибаутку и потянет меня за косы. «Погоди, Саша, я только к снегурочке схожу». Я бегу туда во дворик, что перед самым маминым окошком и бросаюсь на шею к снегурке. Ее мне не стыдно, и она меня конечно понимает. На нее смотреть будет мама, каждое утро и каждый вечер. А я... я уйду. «Милая, дорогая, золотая, бриллиантовая моя», — шепчу я снегурке, думая о маме...

Вишу на неохватном круглом стане снежной моей подружки, и она *кажется* мне такой милой, ласковой и... теплой. Помню это чувство, как зашедшиеся от снежка губы обманывались ощущениями и не различали что холодно и что тепло. «Олюшенька, идти надо! — да что это Вы? Плакать-то зачем же?» — «Ах снегурочка моя, милая моя... Ах, Сашенька...» Лепечу и сама не понимаю. Долгий, казалось, путь. Молча. Нет у парадного крыльца льдышек-сосулек — стаяли. И становится еще тоскливей от этого сравненья — и их не будет... *Проходя мимо дома соседей* слышу гаммы... как и в субботу... все то же. «Ах...» — вздыхается. И хочется все больше и больше вникать в это горькое и будто «причитать», и плакать.

«Ах, мамочка, они, они вот тут играют... и будут и *завтра...»* Обрываюсь и глотаю слезы... — «Ну что же такого, да перестань, и в самом деле будто горе какое. Ну постыдись». Но я не могу уже и «стыдиться». И почему-то особенно трогают мое сердце эти ледяные сосульки, стаявшие

за день, ушедшие, как и я. О, сколько раз переживались эти чувства в разных вариантах. Но помню однажды... мы встретили священника. И Сашенька засмеялась: «Пути не будет... погодите, еще вернемся!»

Чудом мне тогда истинным показалось это, но ведь и впрямь вернулись: что-то попортилось в банях, где нас всегда после дома мыли и велели приводить «завтра».

Все забывалось тогда, и почему-то эта лишняя ночь-подарок не была такой тягостной, как перед ней прощальная на воскресенье... Целый вечер...

Целая длинная ночь у мамы!

Ванечка, ты получил или нет мой рисунок к 22 июня? И мой «реверанс» тебе. Четыре строчки. Как ты нашел? Смородинки мои мне ничего — нравятся. У черной тебе что-то не нравится, по-моему? Я нахожу, что они лучше красных. Листва-то замятая как характерно. И то, да не то, — как и в натуре: — лист у черной и тот, — да не тот, что у красной.

Я конечно далеко не довольна ими, но все-таки ничего. Довольна я никогда своим не бываю. Но что-то в ягодках есть, что меня с ними мирит. А в могилке — нравится береза. И эта нежность мне удалась, по-моему. А?

Спасибо тебе за фотографию. Ты очень на ней хорош. И похож. Мне хочется с себя портрет написать, не фотографию... Сижу в комнатке моей, где висит твой портрет. Любуюсь. Милый, светлый, хороший Ванёк. Будь ласковым, тихим, радостным. Будь в миру, с собой. Конечно же Ольгуна тебя любит. Ты это знаешь. Отлично. Не разжигай в себе того, чего нет и не было. Я не понимаю откуда ты только все берешь. И что ты крутишь ерунду с Златицей, Светлатицей, или как ее? Ну, пусть ходит за тобой, верно она захвачена тобой. А ты Олю разогревать: «Чудесная блондинка, краситься ей не надо. Какое имя! Какие глаза!» Все «какое, какое!». Но что ты этим хочешь? Уверить меня, что тебя она зацепила? Ведь все равно не поверю. Хотел подразнить Ольку. Не надо. Не в том наше! Ну, увлекся если бы?! Больно было бы, но м. б. это тебе надо как художнику для новых искр? Я спокойна, Ваня, т.к. знаю, что и мое, и твое выше «черных чулок», и т.п.

Они (чулки) потому меня и задеть не могут. Ну, до следующего письма! Обнимаю тебя, очень нежно и голублю. Оля

[*На полях:*] У тебя впечатление, что капли не помогли? Напиши мне! Это очень хороший *доктор*. Что у Вас делается в Париже с эмиграцией? Напиши!

Как фамилия Юли?? Напиши же! Novgorod-Seversky?

136

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

21 июля 1946 Если вскроешь до Ангела, очень прошу — отложи чтение письма до полудня «Дня св. Ольги».

Светлая моя Ольгуна, всю обвиваю лаской. Весь с тобой, милый Ангел, празднично озарен. Сегодня и я тобою именинник, — Иван-да-Ольга! Вижу цветок наш — Любка-Василек. Нет такого?.. Но я-то вижу, слышу... Поле, луговинка на опушке березняка. Сросшиеся, родные цветы, — дурманность томная — и полевое, чуть хлебное, — Любка-Василек. Как всю тебя вбираю, милая ночнушка-любка!

Только будь здорова, сильна, — так это важно для работы, зрелой, светлой.

Прелестная, дай — тихо поцеловать тебя, святая именинница, мой Ангел!

Тобой весь полон, тобой томлюсь... Как чудесно-тонко написала ты — «ДОма»! Дочего же богата твоя душа! Как хорошо — сосульки... это нечувствие для губок — снега... дочего же все — глубоко..! душа какая, как сумела, умница, чудеска!.. как переживаешь твою тревогу, твое горе, дитя чудесное!.. Это не «бросок», не проба: это очень глубокО-психологический рассказ, большой, хотя и малый по размеру. Я — в восторге, целую твою руку, твое сердце.

О, как ты мне дорога... бесценная!.. Хочу гореть тобой, — в работе, в высшем. Слышать тебя хочу, твое дыханье...

Для тебя, моя Богиня,
Я хотел бы стать Зевесом...
Если б ты была пичужкой, —
Был бы я зеленым лесом.
Станет Олечка голубкой, —
Буду сизым голубочком...
Но сегодня ты — Святая, -
Буду светлым Ангелочком.
Всем с тобою стану, Оля...
Все по силам, я — художник,
Нет предела, весь я воля,
Я — что травка-подорожник.
Подорожник... — он художник:
Все следочки слышит, знает,
Все пылинки собирает.
Только — горе-подорожник!

По дорогам много пыли...
Подорожник — чтО острожник:
Ско-лько пыли... — горькой были!..[603]
....

Но — мимо, мимо...

Работай смело, твори... — сотворится, Живым Хлебом! Господь с тобою. Мо-жешь, ты сильная, ты — дар. Ты — вся своя, — Ты. Ты — дана, задана, для Жизни.

Посылаю тебе, мой Ангел-Ольга, светлые стихи, — в День Твой. Я распелся. Ты меня распела. Это — Wickenburgh'ская страничка, наша. Буду счастлив, если она ответит на твою чудесную страничку — «Прогулка в Wickenburgh». Кланяюсь тебе, волшебная... Нашептало сердце, — светлая моя Ольгуна. Вот, прими:

Оле — в День ангела, 24.VII.1946
Июль 1941 — Июль 1946

Над Wickenburgh'ом ночь и сон,
Но в сердце — свет и ликованье.
Ты помнишь, Оля, трепетанье,
И робкий шепот — «любит о н...»

Ты помнишь влажное дыханье
Прудов и парка. Звездный ход.
И сердца радостный полет,
Его восторг и замиранье.

Ты помнишь... — башенка белела,
Ночного часа сонный бой,
И воздыханье — «ди-вный... мой...»
О, как душа твоя горела!

Я помню... — весь в томленьи, ждал
ПисьмА, где бисерные строчки...
С каким восторгом я внимал —
«...глубОко тонут и в прудочке».

Про звезды говорила ты,
Прозрев любовью тайну эту:
Нашла глубокую замету
Небесной, Высшей, Красоты.

Предела нет Господней Воле,
Число и мера в Нем — одно:
И Млечный Путь, и тропка в поле,
Звезда ли, искра... — все — равно,

17 — 11249

Все у Него в безмерном Лоне:
Твоя любовь, и ты сама —
Звезда Любви на небосклоне,
Светляк — и Солнце, Свет — и тьма.

«ГлубОко тонут...» Так любовь,
Угаснув здесь, — сияет в Небе:
Так зерна, брошенные вновь,
Истлевши — возродятся в хлебе.

Любовь, застывшую в крови,
Мы вознесем живой на Небо, —
И зарожденное в Любви
Створится для живого хлеба.

Ив. Шмелев

20.VII.1946
Париж

Тебе, мой Ангел... сердце спело, ты в нем пела, девочка моя, моя Творица! Помни: не в воспылании пиши, — остынув, в полной воле, «в восторге светлого волненья». Как тобою полон, светел, весь! Сейчас не могу текущее. Пишу особо, не мешая с непреходящим. Дай же руку, — поцелую светло. Как счастлив я, что ты — такая! что нашла себя. Работай. Вместе, дружки, — ты, я.

Светись, голубка. Всегда с тобой, в тебе.

Ангел мой, Ольгуна!..

Твой всегда —

Ваня

Сейчас посылка от тебя, — «память St-Geneviève». Ди-вно, Ольга! Какое светлое! какая мера — во всем! какая чистота, какая нежность, все благоговейно, и как же просто!.. Совершенство. Нет больше слов. Благодарю, преклоняюсь, весь.

Ольгунка! Как чудесно твое четверостишие, — раздолье!.. как просто, сильно. Вижу... О, это — «разольюсь»!..

Ольга! величие, и свет, и — счастье: ты — такая!..

Твой, беспредельная... Твой Ваня

Ив. Шмелев

21.VII.1946
Париж

137

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

27.VII.46

Ванёчек родной мой, — сегодня дивные твои письма (от разных Bourdon, Aimee и т.д.)[604]. Как неосторожно: а ну как такое да и впрямь на 11, Claud Lourrain подадут, как ты указываешь?!

Ванёк, я в восторге от Wickenburgh'a. Подчеркнула тебе места меня потрясшие[605]. Я еще напишу. Не могу словами, — так все это прекрасно. Дивно, дивно... Только обещай: если любишь меня, никому не читай, хоть и понимаю, что это трудно. Но если прочтешь, — то это значит бросишь наше самое чудесное на базар. Обещай! Умоляю. Вот тебе: на деле докажи, что любишь. Зачем ты мою мазню показываешь? Мне стыдно. Люди из уважения к тебе не противоречат, т.к. ты сверх меры меня хвалишь. Ксения Львовна мне ни гу-гу. И к Ангелу ни строки. Ее последнее письмо было деловое. Не пойму, почему она ничего не пишет о ходе ее визы*. Эмерик трогательна, хотя она конечно и для себя старается. Но это же понятно. Да и судить нельзя. Молодец, что хорошо перевела. Я хочу очень скоро, на днях, уйти в работу. А пока не теряю времени и кое-что рисую. Лилии мои (на большом листе) натуральной величины, все 7 — очень мне нравятся. Думаю подобие им: т.е. они же, но по новому методу прокладываю фон и оставляю только рисунок белым. Должно получиться очень интересно. Затем есть у меня идея одна, кое-что сделала. Хочу маслом. Хочу себя попробовать**. И Пушеньку, когда получу фотографии — она слишком жива — подвижна в натуре, нельзя уловить. Ее мать тоже ни разу ее не могла схватить. Подумай, они [до сего дня] сидят в Амстердаме — их водят за нос, видимо аэроплан не в порядке. Но мы уже распростились. Сегодня я была на одной картинной выставке. Какая дребедень творилась в послевоенные годы (1914—1918), что-то вылупится теперь?? Право, смелость даже берется, как поглядишь на всяческую бездарь. Ведь я работаю-то урывками, а это все — профессионалы. Относительно машинки я спрашивала... «Да... чинить, конечно чиним, но это плохое дело, если Вы с починки начнете». Вот что сказали. Советовал покупать новую в Америке. А

---

* От Наты ни единого письма...

** сама вчера не думала, что сегодня почти закончу автопортрет. 28.VII.46.

наши американцы не очень берутся. Посмотрю чего добьется Ксения Львовна. Она может ее отдать в багаж и за мой счет отправиться на вокзал на автомобиле, а здесь я ее встречу тоже на автомобиле. Но почему-то я на нее не рассчитываю. Пока что я займусь переводом «Богомолья». И хоть чуточку (на пробу) «Въезд в Париж». Для И. А. От него ни звука. Жду не дождусь, когда уйду в работу. Свойственнички раздули морды, т.е. по-за спин действуют. Знаю от Енакиева, который их насмешки слыхал. Вернее не их, а одного флюнта[606], который однако говоря так, видимо рассчитывал найти подходящую почву. А мне и на руку: отойду от всяких их приемов и однако время выгадаю. Никого не позову больше. Пошли к черту! При разделе себя гнусно показывают, а т.к. я их насквозь вижу и то, как они своего брата (витающего) облапошивают, то и злятся на мои глаза. Хотя пока что про раздел я еще ни слова не сказала. Но не побоюсь, если надо и сказать смогу, что жулят. Им поперек горла, что не они получат имение. Как мелки люди. Меня эти «черепки» никак не волнуют. Задевает только то, когда так ползуче хотят тебя дурой обвести. Ну, этого-то я не потерплю и скажу, что вижу их насквозь.

Да, люди, люди! Ничего нет приятней, как сказать гадость про подобного себе или учинить ему неприятность. Ты вот пишешь, что А[нна] В[асильевна] перекрестилась, а эта же А[нна] В[асильевна] не постыдилась наврать на меня, что я тебя «порочила». Она же врет. Ее даже и духу-то и не было уже, когда я в ванной комнате (одна будучи) сказала идиоту Серову. Мне эта же самая А[нна] В[асильевна] совершенно другое пела. Вот и разбери. Но мне наплевать на нее. Это к слову. Интересно, до какой поры Меркуловы еще «любят», и когда они начнут находить мои пороки? Серов-то уже наверное клеймит и сейчас. Его видимо не было в церкви в Ольгин день. Ты ничего не пишешь. Конечно, мне не надо было с ним никак говорить. Он же оскорбил меня, сказав это: «Мы, друзья, знавшие О. А. — оскорблены». Надо мне было хорошенько оборвать его на этом. Нет, я знаю, на что он зол: ты одобрял уход его «Марго». Вот он и не может переварить. Да, ну его к шуту! Не понимаю, как эта вся ерунда привертелась к письму, когда я даже ничего и не думала в этом направлении.

28.VII.46 Сегодня кончила лилии (но бумага плохая, тонка слишком — не эффектно), крючит бумагу. В 7 ч. уже была за работой, начала даже не умываясь. Это у меня так всегда. Запой! — Боюсь, что теперь ухну с головой и не достать меня. На все — наплевать. Могу не есть — не пить.

Так было давно-давно 16-ти лет, когда начинала рисовать в школе.

28.VII.46 Ванёчек мой дорогой, сегодня запоем рисую. Только к столу на несколько минут выходила, мама и готовила. А я как обалделая за мольбертом. Да, да, за настоящим мольбертом! Писала маслом (впервые!) свой портрет. Пока что... ничего. Глаза и вообще верх недурно. Очень недурно. Рот как будто начал удаваться. Мне самой нравятся некоторые эффекты, пятна, передают удачно кожу, мой тэн[i], что-то такое мое. Глаза живые. Пишу в натуральную величину. Масса удовольствия. Единственное, что плохо — это выражение напряженности в работе передаешь невольно и портрету. И это взглядывание в зеркало... часто теряешь направление, увлекаясь чем-нибудь отдельным. И меняются пропорции. Себя писать очень трудно. Моя жесткость в портретах все еще не избыта. Отчего она, не понимаю. Пейзажи и цветы у меня, напротив, очень нежны, мягки.

Что-то надо уловить и усвоить. Сегодня за портретом думала о тебе, о письмах твоих, о стихах твоих... о тебе... о тебе. И захотелось что-нибудь тебе послать на радость. Шутя, буквально в 5 минут, вызвав в памяти то, что думаю, ты зовешь «восковкой-любкой» — бросила на бумагу. Мне представилось, что они именно на твоей серо-фиолетовой хороши должны быть. Как ты их находишь? Это то, что ты имел в виду? Надпись в «форме», т.к. ты конечно кому-нибудь показать захочешь, как и ягодки. На земляничке ты сам подставил «те» к «прости» — «за бездарь». Ничего, что в «форме»? Мне чудятся эти обе свечечки, и лиловенькая, и дурманная, очень свежими, сорвать хочется. Стебельки сочные. Помнишь? Я-то их в последний раз девочкой 10—12 л. видала. А вот живут в памяти. Если портрет не испорчу, а хоть по меньшей мере таким же закончу, как он получается, то в рамку вставлю. Я до болезни хочу работать. Буду в «перемены» рисовать тебя из сердца, а все главное время для работы, пока не выйдет. М. б. несколько дней не смогу много писать. Вот сейчас у меня глаза просто режет от 14 ч. рабочего дня. А оторваться не могла. Сейчас уже 12 ч. ночи, а так хочется поболтать с тобой. Я знаю, что гораздо лучше могу кистью теперь, нежели год тому назад. Портрет пишу прямо краской, без рисунка предварительного. Это я подсмотрела у скульптора эту манеру. Чище выходит и интересней. Пишу себя в русской блузе.

---

[i] Цвет лица (*от нем. Teint*).

Ванюша, не шли бумаги (я получила коробку американской), — а то я буду слать обратно. — Ах, Тоник, Тоник... Ну, ты поймешь о чем я... какие искры, какой пожар. И правда, что бумага и почта загорятся. А ты пойми меня! Какой странный удел! Я не старуха ведь и полна еще жизни и силы, и все время так должна себя держать. И я знаю, что так для чего-то надо. Ах, Ваня, ты в суете и каком-то дурмане, так и не угадал меня подлинной. Только однажды... чуть-чуть я рассказала тебе о моей сути. О том, как я представляла себе любовь, какой я ее хотела. То было детство и ранняя очень юность, но «сердце и душа не стареет», и я по сию пору в главном такая. В моем аскетизме я нахожу великий смысл. Я знаю, что собираю себя для большого, для большего. Ты превосходно выразил то же в «Wickenburgh'e». Если бы я была рыба, то и цены бы не было тому, от чего я берегу, отнимаю силы, сосредотачивая их для другого. Ах, да ты поймешь. Как я болезненно иногда ищу красоты в чистоте. Как я нашла тебя в «Неупиваемой чаше». Именно ради этой чистоты... Отступления-уступки... Это именно у-ступки-ступеньки, на которых я или топчусь на месте, или спускаюсь по той лесенке, которой хочу пройти вверх. Я никогда такой не бывала и не бываю, какой ты меня видел. Можно бы очень жалеть об этом (что показала искаженный духовный образ), если бы я не уверена была, что ты поймешь. Я очень много мучилась и в страданиях как-то созрела. И это ты тоже наверное поймешь. Теперь я переполнена до краев волей к работе. Мне только капельку тишины. Иногда даже не хочу приезда Ксении Львовны. Помешает. Теперь тоже много мотивов и для красок. Богатство! А еще от Парижа сколько осталось! Ждет череда.

И я всегда знаю, когда «зрею». Тогда для всего — и для красок, и для пера. Это чувствуется. Напиши мне точные слова Зеелера. Дамы — мне мало значат. Сегодня мне снилась какая-то тетрадь, и кто-то сказал: «это "Няня из Москвы" в переводе каком-то». И так волновалась ночью, что проснулась. И вот, ты сегодня мне о «Няне» пишешь[607]. Ванёчек, и за что ты только меня любишь?! Мне даже страшно. Я недостойна. Нет, не думай, что я плохо к тебе, или недостаточно хорошо, как бы ты хотел, но просто: для тебя нету достойных. Как я рада, что тебе по сердцу моя березка. И как я быстро ее вынула из себя. Так и хотела, чтобы светло тебе было при думах о покойной. Как ты решил с иллюстрацией «Лета Господня»? Дал согласие? Сегодня видела много картин Пикассо[608], — прекрасных

тоже. А что с ним теперь? С ума спятил! Одну — ваза на фоне синем (О, каком!!!) с розоватыми, блёклыми цветами, — могла бы скрасть, кажется.

Я помешалась на определенном синем цвете! Как бы я его хотела передать! В Париже все-таки масса чего посмотреть художнику! В моем «журнале для хозяек» идет серия статей о Париже под названием «Из страны мечты». Когда читаю и смотрю на иллюстрации, — то сердце заходит... Думаю, как и у тебя. Так же как когда мчалась с Porte de St. Cloud. Каждый раз... О, это вовсе не «телесная влюбленность». Нет, нет. Я тебя душой ценю выше, больше, полнее, когда ты — Илья. О, не [конец], нет конечно. Ну, пусть дорогой Тоник... он очень чистый!

Я люблю Виктора Алексеевича... тоже. Я всех твоих люблю, — они чисты. Вагаевым бы не увлеклась. У него слишком блестяща внешность, всяческая. Это мне всегда как-то мешает. Предубеждение, что ли. Вагаев был бы мне незрел, слишком еще «бродивший». Но Виктора люблю. Тебя — писателя я душой нашла в «Неупиваемой чаше». Ее я первую прочла. Я потрясена была тогда. И утешена. Я увидела свет в грязной жизни. И помню, сказала: «Значит есть же такое, чего я искала, и даже теперь, среди грязи, т.к. Шмелев наш современник». Ты дал мне силу верить в существование чистоты. Тобой дал. И м. б. скольким, скольким... И теперь Ванюшечка, я трепетно люблю твои чистые движенья ко мне. Как я тобой счастлива таким! Мне так радостно... Я понимаю и конечно «прощаю» и другие письма. Но то — *не* главное. Через него я прохожу. Другим, вечным — дышу и живу. Обнимаю, твоя Оля

[На полях:] 29.VII.46 утро Письмо от Ксении Львовны.

Ванечка, голландская таможня не позволяет ввоз вещей свыше 25 гульденов. Или надо доказать, что я не вхожу ни в какие денежные обязательства принимая такой подарок. Хочу просить Ксению Львовну заявить, что это не подарок и не покупка, а временное одолжение, пока ее муж не выпишет ее в Америку.

Надо, чтобы ты заверил, что мне эта машинка необходима для работы, а не как объект продажи.

138

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

3.VIII.46

Ванёчек, беспрестанно думаю о тебе. Сегодня сны... всю ночь тебя искала. Приехала будто к тебе в Париж... огром-

ная квартира, полна людей. Художники, критики, журналисты... Кто-то пишет портрет какой-то. Где же И. С.? У ... (не помню, у кого сказали, но по чувству — будто у Карташевых, что ли, или Меркуловых). И я тебя все жду и жду. Звоню по телефону, маскируя перед публикой, что будто сообщить хочу о коротком замыкании в твоей квартире. А короткое замыкание случилось будто в каком-то автомобиле, где ехал... жеребеночек. Звоню... подбираю французские слова... Тебя там уже нет. Ты у «тети». Какой тети? Юли? Звонить хочу Юле... но разве у нее есть телефон? Ищу ее №... роюсь в письмах, не нахожу... мучаюсь. Как бывает во сне. Один из художников должен мне окончательно сказать, могу ли я писать или нет... Он видел уже какой-то мой рисунок. Встречает меня в коридоре и кричит: «Работайте же! Работайте!» А я боюсь и замираю его спросить о моих способностях, и вдруг осеняет мысль: «Да он же видел уже мои работы...» Вчера перечитывала твои письма, многое оттуда, но все же и под впечатлением сна. Все время светло грущу о тебе. От тебя сегодня книжки... «Солдаты», «Иностранец». Я очень рада. Спасибо. Когда прочту, послать заказным? У тебя это единственное?

Но не было писем. Но ты же все светлый, милый? И не пишешь просто так почему-то. Не в бунте же? Я боюсь бунтов. Какое дивное у меня к тебе чувство. Береги его! Не царапай! Вчера работала все присутственные часы в библиотеке, первая пришла и последняя ушла. Я в отчаянии от «Богомолья». Перевела за 3 часа в библиотеке и 3 ч. дома всего 2 1/2 странички, да и то не набело. У тебя невероятно русский язык, да еще с такими оттенками, как Василий Васильевич и Горкин. Все-таки, при самом гениальном переводе аромата твоего не будет. Не может быть. Прелесть «Богомолья» именно в этом аромате. И я спрашиваю себя: «Да поймут ли иностранцы это?» Это все *нам* дорого и ценно и понятно, а они? Нужно, чтобы этот аромат был передан, и чтобы им пришелся еще по вкусу. Иначе, — что останется от чудесного «Богомолья»? Я переведу все же несколько страниц для И. А., чтобы он судил меня на будущее для твоего. М. б. понятнее им было бы «Марево»? «Въезд в Париж» (полезно!!!), «Два письма»? Я отделаю несколько страниц набело и пошлю. Мне необходимы пособия, — невозможно трепаться в библиотеку каждый день, — масса уходит времени, и устаю. С 1/2 1-го до 1/2 7-го из дома, а работала только 3 ч., — остальное в пути. М. б. И. А. вышлет словари. Здешний словарь безумно старинный — до-

потопные выражения, а современного нет. Мне не хочется откладывать и своего. Боюсь состариться. Жизнь так коротка. Сегодня почему-то представилось: — если я умру, то ты даже и к похоронам бы не поспел с визой. Так все волокитно. И ведь никто ничего не знает. Попытаюсь для Ксении Львовны достать поскорее визу. Ванёк, когда она поедет — то мне ничего не посылай. Красок у меня теперь много акварельных, а масляных наверное и у вас нету. Мне нужен акварельный фирнис[i]. Но это не так важно. Ванечка, как нежно я о тебе думаю! Очень, очень нежно. Вспоминается мой приезд к тебе... второй... Помнишь, Юля была и, кажется, Брайкин? Помню все, все. Как Юля мне чай сготовила... мы с тобой пили. Кажется долго говорили. О звонке к Dr. Головину[609], помню. Помню дождь был, а меня вез французско-голландский дипломат в машине. Везло так тогда. А сейчас в состоянии высшей восприимчивости... сны... чудные... Вчера сон: попала в Данию или Швецию... массу шоколада и колбас вижу. Думаю: это и это надо купить... Набираю всего, а деньги?.. Голландские. Смотрю, у меня масса каких-то чужих бумажных денег... и все похожи на почтовые марки с изображением шведского короля[610], которого я, к слову сказать — не уважаю. Дурак старый с голыми коленками в теннис носится. Проснулась и думаю... странно... с чего это Швеция?

В почте утренней же... вижу мне с... точь в точь маркой моего сна... с королем шведским Dr. Klinkenbergh написал. Он массу там работал по операциям (это его вакат), а в свободное время, «когда был один, читал из очень особенной книги Ивана Шмелева. Удивительно большой талант. Но все же насколько подлинник прекрасней должен быть такого перевода. Я нашел много глубоких мыслей в этой исключительной книге»*. Я сужу (и в голландском тексте это еще ярче), что Эмерик, хоть и похвалена всеми, все же не дала того, о чем писал ты: «дала меня, — облекла только во французскую обложку». Dr. Klinkenbergh, владеющий французским языком как своим родным, очень интересовался прочесть именно во французском переводе, и говорил мне еще раньше: «Я сразу учую, как переведено, не имея даже понятия об оригинале». Видимо, чувствуется все же перевод. Он пишет мне об этом вопросе специально, т.к. мы об этом говорили. Меня очень занимало, как она тебя под-

[i] Лак (*от нем. Firnis*).

* Перевожу точно его слова. «Читать из книги» — показывает большее, нежели просто «читал книгу», — так они о Библии говорят.

несет французам. Но, попробовав переводить тебя, я вижу, как это трудно. «Пути Небесные» не так трудны, как «Богомолье», — они хоть частично написаны «обыкновенным» языком (хоть и сверх-гениальным твоим), а ведь «Богомолье» все сплошь — русский[1] колорит, да еще горкинский. Но все же трудно было и ей, безусловно.

Я боюсь, что у меня вообще ничего не выйдет. И не хочу терять времени и для своего. Я должна начать. Посоветуй (ты опытен), с чего начать? Рассказы? Из серии ли клинической, или военной, или из детства в «Заветный образ». С романом погожу. Скажи скорее!! М. б. сперва схватить рассказы. Набить руку? Но душа горит больше иным. Портрет мой почти кончен. Сходство есть. Мама и Арнольд находят, что «это совсем я, только серьезна очень». Мама сегодня долго перед ним сидела, и потом пришла вниз ко мне и сказала: «Ты знаешь, ничего больше не трогай у портрета, — он очень хорош. Это не для похвалы». Арнольд вчера тоже: «В конце концов это получился замечательный портрет. Ты его вделай в раму». — Спросила: «Можно такое показать кому-нибудь — скажем в гостиной повесить?» — «Безусловно...» — Арнольд занимался искусством — он много понимает в живописи, видит недостатки. И очень строг ко мне, всегда смотрит с улыбкой (как мне кажется) на мои вдохновения. Не знаю, но просто как часто у своих не бывает пророков. Мама тоже так, по-моему, смотрела. После Парижа очень поощряет работать. Заболел Сережа, лежит в моей комнатке. Это единственный уголок, где он может лежать. А так-то он спал в гостиной. У меня нет опять рабочего уголка. Сижу напритыке. Я сама его уложила туда, т.к. ему доктор велел строго лежать. У него тоже ангина. Наверное, еще наследие Пушинки. Жар. Лежит и читает тебя. Ах, как я полна тобой... Если бы знал ты... Почувствуй. И никогда не сердись... Ты никогда не встречал ни у кого в жизни того, что во мне. Это так светло и высоко! Ольга Александровна любила тебя. Я знаю. Я не касаюсь ее памяти, но думаю, что эта моя симфония высшей любви, влюбленности, сознание сего (это только у созревших), причем отнюдь не прозаическая трезвость при этом. И при всей этой напряженной влюбленности в тебя — высшая точка чистоты чувств, — думаю, эта симфония редкость. Понимаешь: О. А. была влюблена в тебя девочкой-подростком — тогда не могло

---

[1] В оригинале подчеркнуто волнистой линией.

еще быть такой зрелой оценки... Был сильный захват чувств, было, думаю, жадное (с тобой только так и могло) упоение любовью, потом, когда пришла глубокая, зрелая любовь — прошла юная влюбленность. У меня же как-то странно: и 17-летняя девочка и зрелая женщина, и... аскет... Да, весталка. Но с каким отвержением всего... весталка. Какое горение души... Ни для какой Весты[611] так не служили девы, как служит тебе моя душа. Все мое огромное чувство должно пропеть тебя... О, Ванечка мой, не сердись никогда... как ценно все то, чем живем. «От Череповца до Белозерска... бывало едешь-едешь...»[612] Мне кажется, что все во мне: и Париж, и Череповец, и Белозерск, и Мценск... как он мне снился. Я почему-то уверена, что буду там. Поедем, Ваня! Весь мир нас не любит, наше. Не правительство наше, а все наше. И чем мы лучше, тем больше нас не любят. Как хочу туда. Безудержно. Ваня, я так туда хочу! О, если бы! Поехал бы ты? Неужели нет? Юля смотрит и чувствует совсем как я. Ты ее ценишь. На меня ты сердишься, когда я так, а вот она тоже так думает. Там слишком много дорогого, чтобы ото всего отказаться, только из-за головки. Она не вечна, а «остальное», главное-то, ведь вечно. Я хочу служить только нашему. Хочу туда ехать. Мне так хочется стать независимой от всех условностей жизни. Надо деньги для поездки. Я думаю, как бы мне с пользой заняться живописью. Прикладным? Зарабатывать, чтобы не быть связанной в поездках. Так неудержимо, неуемно хочу туда! Если бы автомобиль. И так из страны в страну... ты бы поехал со мной? Но сперва работать, работать!

«Богомолье» (хотя бы пробно), — письма наши переписать. Но главное начать свое. Я думаю, что обложка для «Куликова поля» должна быть отдана «Богомолью», а для «Куликова поля» — иное. Для «Неупиваемой» у меня созрела тоже «рубашечка». Дивно должно быть. Все же внешний вид много дает читателю. Тебе понравится — знаю. Жаль, что так мал формат.

Ванечка, голубочек мой, как полно тобой мое сердце... Как голублю тебя. Ласкаю... Ванечка, будь всегда светел, радостен, будь уверен в Ольгуне. Ванечка, солнышко мое, светик мой... так радостно-грустно мне при мысли о тебе. Поцелуй Юлю от меня... Привет Меркуловым... Зеелеру. Этих чувствую как друзей твоих, верных. Хочу им сделать радость, дабы отразилась она и на тебе через них. Меркулов сам — чистый-честный, положительный. Он тебе — стена для твоего чудесного, тонкого мира в шумах и брыз-

гах повседневщины. Я очень ценю его для тебя. Держись за них. Зеелер — верный, четкий. Ему кланяюсь. Очень чутко люблю Н. А. Расловлеву — *голубиная душа*. Ах, ресничка упала* — возьми ее. Я плачу. От тонкой-тонкой тоски-радости по тебе. Милый мой Ванёк, радость моя, свет жизни моей. Ландыш ты мой, звенящий тонко. *Колокольчик* ласковый, наших полей. Голубой лучик вечернего часа... люблю этот свет... Ванечка, я так высоко тебя люблю. Если бы я была в постриге и так бы вот чувствовала, как сейчас, то и то бы душа моя чуткая не нашла бы и тени греха. Это — высшая песня сердца, самая чудесная симфония того, что создал Господь. Обнимаю тебя очень ласково, и радостно, и грустно-нежно. Твоя Оля

Благослови меня на труд. Я серьезно начинаю. Благослови. Так и пришли мне Благословение. Оля

[Приписка на конверте:] 8 ч. вечера — уже прочла «Солдаты» и «Иностранца». Непередаваемо взволновали «Солдаты». Во многом узнаю тебя. Предельно ярко. Мучаюсь, грызет червь, как после «Это было». Преодолею. Все вижу.

4.VIII Писем нет неделю — волнуюсь...

139

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

5 авг. — на 6-ое — 46 — 12 ч. 30 ночи

Оле (Ольге Александровне Бредиус-Субботиной, к подаренному ей мною рассказу-сказу моему «Куликово поле», со всеми авторскими правами на рассказ этот).

Ив. Шмелев
6 авг. 1946
Париж

Вот, Олёночек, — твое — «Признание», довесок к отданному тебе «Куликову полю».

Признание

Голубка чистая... моя родная Оля,
В предчувствии тебя, творил я тот рассказ...
Нет, не рассказ то был, а некий странный Сказ,
Мой робкий Сказ, — про... что? Про «Куликово поле»!

* Это ресничка прикреплена лаком для ногтей. Светлая ресничка, не черная.

Творил его в ночи, — и плакал, одинокий,
Утратив в с е мое — Россию и семью.
Творил, томясь, в чужой ночи глубокой,
Но кто-то — н е з е м н о й — провидел боль мою.

Она — ты помнишь, да? — отражена и в «Поле», —
В душе смиренного... и в той душе — д р у г о й,
Горящей, трепетной, сердечно-светлой Оли...
Прозрение мое я утвердил тобой.

Я помню эту ночь и страх-благоговенье:
О Преподобном я, земной, дерзал сказать...
Творил — и чувствовал, как будто, дуновенье..? —
Не Он ли укреплял меня на то дерзать?..

И я дерзал, творил, — и сотворилось «Поле».
Тянулись мутно дни, — и скорбь вернулась вновь.
О, эта скорбь и боль... такой не знал я боли,
Она сжигала все, во мне стенала кровь.

И сердце крикнуло: «возьми... меня... к себе!..
Я страшно одинок!.. Нет, не могу я доле..!» —
О н а у с л ы ш а л а: ты написала мне,
Из чуждой стороны, моя — другая Оля.

О н а в н у ш и л а так, — ты в это веришь, Оля:
Ты мне на боль мою твоей отозвалась.
И стал твоим[i] мой Сказ про «Куликово Поле», —
И боль моя с твоей в святой любви слилась.

4—5 авг. 1946 (ночь)
Париж Ив. Шмелев

[На полях:] Вот, Оля, семь строф, пометы наши: 1939—1946 гг. «Куликово поле», помнится, писалось в феврале—марте 1939 г. В июне, твое письмо, написанное 9.VI. Мой «крик» — 5—6 июня. Письмо твое, посланное по адресу «Возрождения», лежало там, могло и пропасть, что бывало не раз, и было переслано мне в возрожденческом конверте, — получил его 21—22 июня 39 г. Наша «встреча» висела совсем на волоске... Прими. Целую руку, написавшую мне, и благодарю Господа и е е, услышавшую мое отчаяние.

Твой Ваня

NB Можешь издать его, к о г д а угодно, для ч е г о угодно, — во имя кого-чего угодно. С «Куликовым полем» нельзя ни-чего объединять. Но я должен этот сказ просмот-

[i] В оригинале подчеркнуто разреженной чертой.

реть, ничего не добавляя. Он должен сохранить свой лик 1939 г. февраль—март. И.Ш.

Исполнение этого стихотворения в чтении — трудное: надо взять очень отчетливо-медлительный ритм, как бы в глубокой думе и грусти. Тут близко и к поминовенному молению, и к возрастающему просветлению, как бы — «Слава в вышних Богу», но все равно — тон чтения — вечерний... несколько как бы и усталый. Благоговейный, во всяком случае.

«Куликово поле» подвергнется мною (незначительно, правда) чистке: главным образом где следователь-рассказчик говорит о большевиках, уроки музыки... Ну, я пересмотрю, все прикину... Работы 1—2 дня. Я для тебя перепишу его, установлю точный, окончательный текст, ничего не добавляя, он должен сохранить вид, как к весне 39 г. Только кое-что выну, именно — чтобы не очень лез в глаза подлый прах большевизма, — мне претит дура-любовница комиссара, учившаяся музыкам![613] Но неземное... — неприкосновенно. Пусть будет, как было до нашей встречи. И. Ш.

Вот теперь, написав (немалый это был труд, хоть и скорый!) стихи, еще резче, явнее вижу, как была неслучайна встреча наша: все точно, все было руководимо, начиная с того дня, когда мне, осенью—зимой 1938 г., рассказал основу этого сказа, у могилки покойной жены моей Ольги Александровны, в St-Geneviève de Bois, Павел Александрович Васильчиков, года через 1 1/2 после этого сообщения скончавшийся. Он погребен в 2—3 метрах от моей могилки. Ему нравилась березка наша, и на его могилке посажена березка, теперь мощно разросшаяся.

Ив. Ш-в

«Вика»[614] твоя замечательно жива, вольна... без лака, а?..

Есть лак? Напиши, какой, фабрику!

140

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

7.VIII.46 Середа 9 вечера Только что была Юля. Сегодня, с легкой руки Эмерик, — посетители! — и деловые, и «просто так».

Ольгушка, не могу оторваться от тебя, весь в отдаче... Да, не забыть: в стихотворении «Марево»[615], в 3 строфе 1 стих, замени: «Так знойный свет» — вместо — «день». Ка-ак я тебя люблю!.. — все больше, глубже, отчаянней... — если еще можно «больше»! Ты вся — ласка,

вся — облекание... это какое-то истаивание, исход любовью — у меня к тебе. Свет! Пил твое письмо сегодня, от 3-го. — Не забыть: «Солдаты» — оставь себе, верни лишь, заказом, «Иностранца» — единственный оттиск. — Ольгуна, дай прильнуть к тебе... Сегодня, весь день, — хоть и с посетителями, — с тобой. Только с тобой. Сердце захолонет так трепетно... вот, ты здесь... слышу, со мной. Душа твоя. Ты, вся, незаменимая, «неизбежная». Где слова — для тебя, только для тебя? Что это?.. — пере-любовь? перевлюбленье? — Это сверх-любовь. Нельзя больше... нет дыханья. Господи, какое счастье так нести любовь! и — какая м У-к а, пусть сладкая. Ты так расширилась во мне, так заполнила... так опоила собой — тончайшим вином любовным! — кружится голова. Прекрасная! Вся... до реснички, — целовал ее!.. ка-ак!.. — тебя, всю, целовал, до исступленья! Со страшной силой вернулись августо-сентябрьские дни 41 г. — обновленные, насЫщенные новым, лучшим, глубочайшим! Ценнейшим, что познал и познаю в тебе. Дружка, жена... почти... Нет, не любовница!.. жена... священная для меня, ставшая для меня святой... — любовью, через любовь. За эти годы, за эти последние 2—3 мес. ты так наполнилась! ты плещешь в меня непостижимым чувством — ты поешь во мне!

Если бы ты была здесь!.. не шептать, а только бы возле тебя быть, дышать тобой, слышать, как дышишь!.. Я так благоговейно к тебе... неизъяснимая! Едина со мной твоя душа... о, как едина! до — чуда. Ты... кто ты мне?.. Почему ты — все?.. Не знаю.

Надумщица в снах... ну, и головка у тебя — безумкаснушка! Ты уже получила мое заказное письмо[616], — там мно-го!.. но всего — ни в каких письмах нельзя. Не расстрачивайся, — молю! — на поездки по библиотекам. Это надо как-то иначе. И не бойся, не осложняй работу над «Богомольем» — а проще и вольней, — твой же мой язык, наш! Так и валяй, будто мне по-немецки рассказываешь, от сердца! Не старайся. Это — как учась на велосипеде или плавать: покойно, — и выйдет. Ты, ведь, с огромным воображением: ты и воплотишься во всех, только — немецким словом. Уве-рен, что сразу найдешь все. Не старайся ходить, а ходи, не думая. Так и пишется все. Душой, а не «чердачком». Ах, глу-пка!.. упустила дни-дни... парижские... — сколько бы с тобой пооткрывали! Всего. И не думай, «поймут» ли. Перелагай, забыв — для кого. Нет, ничего больше не касайся, только «Богомолье». Когда почувствуешь, что ткнулась в сте-

ну... — оставь. Не езди в общественную библиотеку! Чушь. Не томи сердца, не расточай дней. Состариться — не бойся: ты никогда не состаришься: ты — душа живая, Олюлька-живулька. Не панихидься... — не помрем до срока: слишком у нас много не сказанного, не сделанного. Так и верь. Но как же ви-деть тебя хочу! Хоть 1—2 денька!.. Чтобы мне — в Голландию — надо еще нансеновский паспорт выбирать (у меня просрочен). Тебе — скок — и Париж, и Буало. И Ваня. И — никто не знает! Теперь — огражу себя. Разменялся для других — слишком. Вышел — «на дешевку». И ты. А сколько дря-ни!.. недостойны и взгляда твоего. Ты все переоценила, всех... только вот Юлю еще не оценила в полноте. — Буду искать акварельный фирнис. Какие масляные, напиши! №№, цвет, фабрику. Дознаю. — Слушай... ты меня всего взмыла, напомнив о приезде... 7 мая! О, как помню! — чай пили!.. — тебя я пил, Оля... счастье туманное пригубливал.

Сны твои... до короткого замыкания и жеребенка в автомобиле! Еще увидишь носорога в детской колясочке! Ты все можешь...

Тот, интервьюер, — по Эмерик![616a] — признался, что понял ошибку ихнего (ныне их «бог»!) — 83 л. Paul Claudel'я (сверх олимпийца!)[617]: тот понимал и давал: «смысл христианства — страдание». Нет: «Пути» дают «пути» иные, подымают... до Света Радости... да, через — и — «страдание». Хочу писать большую статью. Очарован «Чашей». Он, оказывается, не только литературный хроникер большой вечерней газеты (даст туда к [сему], когда будут проводить книгу в Париже): он и «литературный директор» какого-то другого книгоиздательства. Судьба «Чаши» на весах. Сегодня вдова переводчика — Монго[618] (старая «кубышка») была, едет в Швейцарию, где готов договор о «Чаше». Я затормозил, требую новых условий: Эмерик молит — ей переводить: «я вас узнала "Чашей"!..» Ладно, если д-р Klinkenbergh — искренний. Думаю — он-то в силе — понять. Но к а - а к он может чувствовать — как в оригинале?.. Конечно, оригинал недосягаем. Сравни: старый цыган кричит (2 раза!) «зелень злая!..» (я то вижу и слышу — и д а ю!) А Эмерик... — «Poison!» — «яд!» — только и всего!! Один плевок что может дать!.. Так и все. Но, милая, Эмерик — гений, в сравнении с вообще — переводчиками. И оценена. Сообщала: один ученый писатель (историк, что ли) не может читать романов, особенно больших: три раза бросал «Анну Каренину» — на первой четверти. Так и не читал. Но он — давний знакомый семьи

Эмерик, француз. Про-чи-тал «Пути Небесные» — «и изумился». М. б. и врет Эмерик... Юля, сегодня: старик — агроном, русский, 84 л., в St. Remy — я его знаю: весь и посейчас в своем саду и огороде, очень рассудочный «петровец-разумовец»... — сунула Юля ему русскую книгу. Вчера. Сегодня приносит: «по-тря-сен, весь... за всю жизнь такого не читал. А всех классиков читал... Как вчера в 6 ч. вечера сел — так и — до 3 утра, всю, не прерывая... и забыл, где я...» Этот уж не соврет. Я знаю его. У-мный, но... разумный, от дней студенчества. И вот... — насытился... Ну, я его увижу, повытяну, чего увидел — все-то. Или — Бога почувствовал?..

Оля: мой совет — начинай свое или «детским», или — «Заветным образом». Пока. Надо — расписаться.

Счастлив, что автопортрет удался. При-шли хоть снимок! (и цветные фото! — американец снимал!) Как больно снимать со стенки! Выгорят?.. Сниму... упрячу. Буду навещать. — Да, никогда не встречал в жизни того, что в тебе! да!!! Ты — единственна. Неповторима. Как и я (для тебя). Ты — художественно-зрелая, для Любви. М. б. и для — любви... Во всяком случае — для нежности, предельной. Если ты в ударе (не в угаре). Но и в угаре — ты — особенная. Для меня (каких бы лет я ни был, с 16!) — ты, и дневная, и ночная, — всех кукушек и кукушищь мира перекукуешь. И ка-ак!

— Ты и Мадонна, и Венера, — Ты — Чаша Жизни и — champagne[i]... — Но, для промера, где же... м е - р а?.. — И небо в звездах? — и... campagne (поля)!? ... — Порой тиха, порой раздолька, — В тебе игры — со всех широт... — Но для меня ты только Олька, — По=рой, по=рой... — твой вздох и... рот. — О, этот рот в извиве губок..! — О, этот вздох и — ох, в груди... Ты вся — огнем пьянящий кубок, Ты вся — молитва, вся — «при-ди-и!..» — Ты и стремнина, и лагуна, — И ручеек, и водопад... — Но ты во всем — моя Ольгуна, — Всему, всему в тебе я брат. — Ты не жена и не невеста, — Моя ты, да? и твой я, да? — Мы оба из того же теста?.. — Чего ж и мерить нам тогда! — Ты улыбнулась, мой Олёчек?.. — Ты улыбну-лась... как я рад! — Играй, журчи, мой ручеечек, — Греми и падай, водопад!

Прости, гулька, за эти стишки — «Без мерки», — так, выскочило сейчас, — очень я — весь с тобой. Ты верно говоришь, и как искренно и глубоко-пронизанно любовью. Да, твоя «симфония высшей любви, влюбленности, созна-

---

[i] Шампанское (*фр.*).

ние сего (это только у созревших), причем отнюдь не прозаическая трезвость при этом... и при всей этой напряженной влюбленности в тебя — высшая точка чистоты чувств, думаю, что эта симфония — редкость». Я сознательно выписываю из твоего письма. Ты права. Я такую любовь, такую полную, переживаю впервые. Да, с тобой, Оля, у меня и зрелая, большая любовь, и юная влюбленность! Как верно ты определила. Тогда (в сомнительной жизни)... когда перестал замечать любовь (она была, большая, но не чувствовалась ясно) влюбленности уже не было. Теперь — я писал тебе — я снова, и трепетно-жадно, жарко влюблен в тебя (больше, чем не видя тебя, в 41 г.), я жду тебя, я сгадываю о тебе — любит? не любит? И знаю: да, да, да, лю-бит! И я весь полон счастья, юного, свежего, розового, голубого... Да, Весталка... Но знай, Оля: весталки служили (ночами (чуть не написал — ногами!) (клиторизм!) жрИцам и даже жрецам (Верховному)). Все очень сложно (в моих чувствах). Я понимаю тебя, я чту тебя, и твое высокое меня волнует несказанно. И потому — еще раз! — прости за «Без меры» (это Тонька сбаловал, ей-ей!) — мою игру. Были весталки, но... весталов не было (а все «свисталы», крутились округ весталок). Сколько было «закланий» и сожжений за сие этих бедных «обрекшихся»! У Тацита[619], кажется, и статистика дана, или — у Т. Ливия?[620] Ходили слухи, что сама богиня Веста — майскими ночами — (а м. б. и апрельскими, мартовскими, в Риме — теплынь) накрывшись синим пологом (как бы покровом ночного неба) ходила на свидание (к Юпитеру, понятно! — к верховному жрецу (по рангу!))... — т.е. главная Весталка — жрица. И тогда, из соседней когорты приходили легионеры... (без ленточки Почетного легиона) и вот, весталки забывали, что недалеко Тарайская скала-круча над Тибром[621], и... крутили. Конечно, были исключения... «римские Оли»... — чу-дески!.. Я бы им слагал латинские стихи — и какие! Я отлично владел латинским, и с 1-го класса сочинял «пустяки». Подражая стихам преданий... Хочешь вспомню? «Corpus in corpus — Gonum est opus» (но это не мое, а предание). Значит (простишь?) — «Тело в тело — хорошее дело». Есть и куда хлёще. Я сочинял невинные, светленькие, про курочку и петушка... например «Gallus galinam amaverat — galina gallo non daverat». Это во 2-м кл. За сие — сидел 2 ч. после уроков, и то за «ловкость в латинском языке». Поняла? Gallus — петух. Galina — курочка. Amaverat — любил. Non — не, daverat — прошедшее от do (настоящее), dedi (прошедшее),

datum (супин), dare (infinitiv — давать). «Ловкость в языке» — (сознательная) ошибка поэта, который считал (?!), что глагол *do* спрягается по 1-му спряжению. Do, dovi и т.д. а do-то глагол неправильный. Надо было, кажется dederat. Но тогда бы не получилась рифма. Ну, я нарочно. Поняла? Петух курочку любил, а курочка петуху не ... «daverat». Потом меня латинист года два все тягал, а ну-ка, «daverat»? Пока я, в 5 кл. не поднес ему сочиненную metamorphos'у (на манер Овидиевых) строк в 50 — без единой ошибки! — «превращение гимназии в... цирк»! Описал подробно, как рушились стены гимназии, а учителя облачались в доспехи для бега на колесницах, а ученики... их судили. Причем латинисту был присужден Золотой (лавровый) венок. За сие мне — было поставлено — 6! шестерка! (небывалый балл!)

Я все понимаю, Олюнка, в твоем толковании любви. Но это очень... одностороннее понимание (твое-то!). Вот — как *я* толкую любовь. Чего я хочу? Твоей души, твоей глубинной сущности, с ней сближения, слияния. Я — земной, как и ты — земная. Наши души закрыты телесной оболочкой. Инстинкт внушает мне: слиться с душой, почувствовать ее можно полней всего, ярче всего — самым тесным сближением с любимой. В этом сближении-пароксизме как бы сближение самих душ наших... и оно происходит (в высшем достижении!), когда, бессознательно, но чувственно для нас! — (инстинктом!) происходит обмен-слияние сил жизненных... соков наших! (ты понимаешь?), и в итоге — зачатие, дитя. Дитя и есть осуществившееся слияние душ: душа нового, общего (двойного), существа содержит в себе уже две души — как одна, новая, сложная. Там, есть же оно — там! — этого слияния тел не будет, нет необходимости. Там — души свободно сообщаются, сливаются, проникают одна — [в] другую. Это высшая степень радости и счастья. Оно, общение, — постоянно там. Это общение — слияние происходит непрестанно. Только ощущения сего — иные, более могучие, чем земные, более высшего душевного наполнения. Но есть, очевидно, и еще более высшая ступень — слияние душ и зачатие новой (3-ей) души — духовной, (небесное дитя) — в лицезрении и восприятии — постоянном восприятии! — божественного! — тут-то и есть любовь в Духе, — самое крайнее приближение к Богу. Через себя, через свои пределы, — не перескочишь! На земле — по-земному. И земное, если в любви творится, даст огромное наслаждение. Gallus galinam amaverat, sed (но) galina gallo non «daverat»!.. Напрасно. Снесенное при

таком «non» яичко — бесплодно. Вот наказание курочке, которая не дает... Ну, и не создает... цыпку. Знаешь ли... — то, что ты так страстно начинаешь пытаться творить, а я... пою... — это есть результат хотя бы некоторого нашего сближения (телами). Но когда сближение полное, то и последующий подъем творческих сил — огромней! И это творящие в искусстве постигают почти бессознательно: они хотят много любить... и часто перелюбливают, беспорядочно, растрачивая себя, перескакивают с одной лошадки на другую... — в итоге часто, бесплодие творческое. Лишь — взрывы. Для творчества нужно обновление любви, но не беспорядок. Обновление — нахождение нового — в любимом — любимой. Ты теперь и представить себе не можешь, как бы ты светло и чисто *горела* (*не сгорая!*) (мною чуть обожженная, но от меня — получившая!), как бы легко творила, если бы не была этой galin'ой, которая — «gallo non "daverat"»! Ты была бы полна творчески-плодоносящей силой. Наши «эссенции»[1] слились бы в тебе и все перееродили!.. М. б. была бы создана и новая душа, слитная, — пусть в земной оболочке! Я именно этого и хотел, и для себя, и для тебя, голубка. Я зная, как это мощно содействует творческому акту (всякому). И — здоровью тела, и здоровью — души. Мне не стыдно это писать тебе: я не отделяю тебя от себя. Я как бы себе это говорю: так ты близка и дорога мне, так ты — вся во мне! И так это — чудесно, и так, в любви, подымает и благородит все в человеке! Ну, оставим... тебя!..

Да, ты верно пишешь: мир нас, русских, не терпит. Он знает, насколько мы сильней его духовными дарами. И завидует, и страшится. Тем более, что искаженная большевизмом, Россия действительно, для него, мира, страшна — страшна разнузданной мощью своего духовно-дьявольского потенциала! Я весь — Россия, но я не поеду туда, к этому дьявольскому игрищу. Тебя я понимаю... Но ты не представляешь себе всего. Вчитайся в мое «Марево» — и в прозу, и в стихи, — как я люблю и тоскую. С тобой я на край света готов, но не туда... — ибо там и твоя, и моя погибель. Там нет духовного творчества, возможностей для него. Там все — затычка дыр, по плану бесов. Там тебе не дадут свободы. Да, Россия — вечна, и Она — будет! Но сейчас Ее нет. Какая ты еще детка!.. на автомобиле!.. Первый же хам со знаком НКВД — возьмет этот автомобиль, а тебя — изнасилуют, и пошлют куда захотят, и на что захо-

---

[1] «Сущности» (*от фр. essences*).

тят. Вот, теперь, у нас, в Париже, секретный циркуляр по «Союзу патриотов»[622]: каждый член Союза обязан (!) под угрозой (смерти!) выслеживать в эмиграции врагов Советского Союза, вести «записи», для сообщения кому следует, и за каждую голову указанного невозвращенца назначена плата в 5 тыс. фр.! Вот, к какому разврату ведет советская власть! — в Европе!.. Что же там-то?! ... Здесь готовят палачей. И есть г-да — действующие уже. И есть — жертвы. Этот «циркуляр» опубликован в № 3 «Свободного голоса»[623] (с великим трудом появляющегося листка оппозиции (Карташев, Мельгунов[624]...). За 7—8 мес. вышло лишь три номера, тощих, т.к. дан приказ всем типографиям с русским шрифтом — не принимать заказы на печатание! Под страхом... ты понимаешь?..

Да, верю в тебя, и знаю, что ты дашь чудесные «рубашечки» книжкам. Теперь «Куликово поле» — твое, полностью. Шей на него рубашечку. Прилагаю письмо о дарении, — это храни, как документ.

Как ты чудесно-нежна ко мне! Я тебя все время чувствую, словно ты возле меня... душа твоя меня зовет, ищет. Оля — я с тобой, всегда. Я тебя ищу, зову.

Теперь о Меркулове. Ты страшно ошибаешься. М[еркулов] в моем житии — никакой! Он эти 3—4 мес. является на 5—10 мин. раз в неделю и даже реже. Я его переоценивал. Он, буквально, ничем не облегчает мне бытия житейского. Да я и не нуждаюсь в его присутствии. Я теперь точно знаю: все, что им делалось (о, пустяки!) — делалось ради собственного его тщеславия. Он никогда, ничем не поступился. Смешно ты пишешь: «он тебе стена (!), для твоего тонкого мира в шумах повседневности»! Да он — самая-то повседневность и есть! Я, я его еще чем-то моим — невольно — освежал, а ему — плевать, знаю. Все они — серота, возятся в мусоре, а ты вздумала восхищаться! Да еще за что-то *радовать*! *Не делай* сего. Это — смешно, а мне даже и обидно. И он такой же клеветник и зубополоскатель. Я знаю, что они (оба: и М[ария] М[ихайловна]) лгали на Юлю! Они ни о ком, никогда не сказали доброго слова! Я не слыхал: только плохое! Да, да. Я давно разочаровался. Юля среди всех этих «друзей» (это условное выражение, = «добрые знакомцы») — святая. Бог с ними. Я из миролюбия не отвертываюсь от них. Это — гнилое болото. В лучшем случае — приличные обыватели. Ничего от них, для души, нельзя ждать, а как предметы для наблюдений — они тоже ничто, не нужны. Никогда ни одной оригинальной мысли, своей, ничего. А[лександр] Н[иколаевич] — сравнительно

еще из лучших. Вчера он меня раздражил, но я не подал вида. У меня были по издательскому делу (о «Чаше»). Застали как раз, минутой позже, у меня А[лександр] Н[иколаевич]. Он, оказывается пришел — «должок получить». И он, в присутствии постороннего, все же, уходя, пошептал мне — «должок»... 178 фр. ..! У меня не было мелких, с тысячи не мог сдать. Ушел. И вот, сейчас явился — «должок получить». Я ему отдал, опять не подав вида. Ты видишь — каковы они. Обманута была и Юля: она думала, что А[лександр] Н[иколаевич] каждый день приходит ко мне и чем-то облегчает меня. И была поражена. Оля, поверь, это все — сор, от которого мне трудно. Я терплю, потому, что я буду совсем один, если плюну на них. Я, я не раз сам брал для М[еркулова] — молоко, по воскресеньям. Когда он уезжал в церковь, а молока еще не привозили. Бывало, он, беря себе продуктовые карточки, предлагал взять и для меня — и брал. Последние 3 мес., когда я болею, он и это перестал делать. Они все привыкли ко мне, и мое им уже *не* импонирует — привычка. Я для них — как все. Помнишь, из Эзопа?[625] «Лиса, не видев сроду льва, с ним встретясь, со страсти осталась чуть жива... Потом опять ей лев попался, но уж не столь ей страшен показался. А в 3-ий раз лиса, потом — и в разговор пустилася со львом»[626]. А в 4-ый м. б. и на хвост ему напис... Так-то-с... Зеелер — вот, единственный порядочный, верный, чтит служителей искусства! Но он завален домашним, «за все». Но он делает для меня много, и, действительно, может быть другом верным. Когда гады пробовали меня поливать грязью, — вот эти — «советские патриоты» и прочая св-чь, он много сделал, пытался... писал и в Америку, и здесь остепенял кого надо, ибо старались меня изобразить «врагом Израиля». Это теперь о, клеймо!.. И мне много портили, я писал тебе: и в Америке, и в Швейцарии, и в Париже. Меня хотели лишить (с благославления и молчаливого согласия Бунина!) что называется «огня и воды» (римское выражение), Зеелер за меня копья ломал. Благородно показала себя и Тэффи[627]. Остальные собратья — «нейтралы». Расловлевы — чистые[628]. Наталья Александровна — светлая. Нет, недостойны Меркуловы никакой «радости» от тебя, «дабы отразилось это и на мне». Напрасно, милая. Я протестую. Я не могу им простить перемывание ими перед тобой «60 л. костей». Они — лжецы! Они всегда готовы позлословить и делать добро чужими руками. Юля... — я знаю, только я! много сделала для Дяди Вани, во имя ли Оли, во имя ли моих качеств. Без нее — как бы

я мог, когда нельзя было получать из Швейцарии, моего же заработка сбереженного, а раз, когда мне перевели 500 швейцарских франков, официально, через «office de change», я одним ударом потерял на этом около 35 тыс. фр.! Меркуловы любят очень считать в чужих карманах*. Своего не шевельнут. Знай его. Умирай я с голода — мне м. б. кинут корку, да и ту возьмут из помойки. Это — мещане чистой пробы. Ну, радуй их... Если так... — тогда уж я никогда ничего не приму от тебя, — мне будет горько=уравняла!

Родная, прости мне эту грязноватую страничку... М. б. я и сам виноват: я слишком быстр бываю, и впечатлителен, как и ты: и если мне окажут внимание на грош — я ломаю рубли, как и ты.

Благословляю тебя от всего моего сердца на святой труд твой. Я чту тебя. Твори, благословясь, благословленная!

Целую мою Олю, мое дитя.

Твой Ваня

Прилагаю деловое письмо о дарении тебе «Куликова поля». Ванька

Оля, Олюшечка, голубка моя, моя девочка!.. как я вижу тебя, как вспоминаю!.. Троицын день — твое рождение!.. О, всю бы тебя засыпал цветами!.. всю бы нежно обласкал... «как ты умеешь»! — О, я бо-льше умею, я нашел бы еще, еще... творчески нашел бы!.. знаю. Мы — нашли бы... новую душу... *сделали* бы дитя!.. любовь — творит чудо. Но... прости... я раздражаю тебя... томлю... Но я сам так сгораю... так томлю себя — тобой!.. Ты и не воображаешь... что это?! ... Это ты, ласка твоя, нежность твоя. Строчки бисерные твои входят в меня страстной лаской... Я словно руки, губы твои слышу... и такое пылкое воображение во мне, что я... почти с тобой... я вскрикиваю и задыхаюсь, в страстной любви... я слышу тебя, как чудесно и страстно дышит твое тело... я всю тебя слышу, знаю!.. Ольга!.. дайся... Оля... О, моя глупая galina!.. Я вспоминаю... пустой двор... вижу, как пышная курочка — после петуха — встряхивается... и понимаю, как даже и она взволнована случившимся... как-то нервно принимается клевать... и петух — тоже... весь в волнении. Меня это иногда тревожно возбуждало. Да. Я вид-ел... за куркой — женщину!.. Дикое какое ощущение!.. И быстро уходил, чтобы не видеть дальше... Это бывало после моей усиленной работы, творческой... так раздражало присутствие молодой бабенки тут же, — я был уже женат, это

* (и в твоем сосчитали!)

было в поместье матушки... когда я долго сдерживал себя, весь взятый мыслями и образами работы... а во мне начинало кричать томление... Но быстро проходило. Не часто я был страстен... Зачем я пишу тебе?.. Но ты для меня — я сам.

[На полях:] Оля, я сейчас та-ак хочу тебя!.. — до жертвы жизнью, всего себя тебе отдать!.. Ольга, я хочу тебя! Оля, я хочу всю тебя! во мне горит... я бы обжег сейчас твою «лодочку»!

Олюлька, хочу тебя вот сейчас... изломал бы тебя, упрямку! До стона — хочу тебя, только тебя, одну тебя!.. Я часы не оставлял бы тебя, замучил бы... молодку-курочку!

Во мне такая огненность... до цинизма и до... моления тебе! Я пью твой сок. О, со-чная какая!.. си-льная! вишня! Раздавил бы...

Прости: я знаю, что раздражаю в тебе ночное... но, Оля... пойми же, как я-то мучаюсь, хотя тебя! Ты, *одна* ты мне необходима. Все другие — отвратительны, клянусь.

141

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

8.VIII.46

Ну, что я с собой поделаю, когда я так вижу!.. Ну, побрани... но ведь тут и твоя вина, — безвинная, правда. Грешно быть такой — манящей. А я очень приманчивый... — всегда такой был... и всегда эти ноги, сокрытые, влекли. И стыдно, а... следил, как там движется... А тут, к тому ж... воображение... Ну, и выходит... раздражение... Разве я виноват, что могу совлекать все мысленно?

И потому так люблю и чрезмерно узкие, и слишком свободные, вольные юбки!.. Опять — признание.

Сколько их сделал я тебе!.. Но сколько еще не сделал! Не о себе, здесь нет тайн, а как многое воспринимаю... в тебе... как о тебе томительно мечтаю, моя весталка! К «весталке»-то и тянет... к вратам заказанным утраченного рая...

Отвори, отвори... —
И твори, и твори... —
От меня получивши творило.
И, познавши восторг,
Из тебя что исторг,
Будешь часто шептать — отворила...

Последнее — извини! Ну, что, если ты меня так распела!.. Надо же быть справедливой, Ольгуночка... Так вижу.

Их игра...

Весталочке

Красавица моя, роскошка,
Какие плечи, бедра, ножка...
Пересказать тебя нет слов,
Ты вся из любострастных снов.
Ты манишь негой и очами,
Движений бойкостью, плечами,
Извивом розового рта...
Ты — Ольга, — и всегда не та.
Изменчива, как свет и тени.
Какие дивные колени!
За тонкой тканью вижу их,
Все выраженья ног твоих.
Они скромны — и так заманны,
Так раздражающе туманны,
В уют свой негою манят,
Тянуться к тайному велят.
Они и бойки, и покорны,
Тихи и огненно-задорны,
Но если... только... захотят... —
Раскроют рот — и поглотят.

Тонька

8.VIII.46
Париж

Посвящается самой зрелой,
самой сочной и самой сладкой
грозди, № 1-ый — таков вкус
Тоника

ПЕТУХИ[629]

Из недавно найденного, при раскопках на Буало, пергамента. По-видимому, из считавшихся утраченными «Метаморфоз» Овидия. Разобрал и перевел Тоник

Вечер марта, в храм весталок
Залетел шалун-Амур
А весталки в эту пору
Загоняли на ночь кур.

Затревожились весталки —
«Сестры, где-то тут... Амур..?»
А старуха заорала —
«Загоняйте, дуры, кур!»

Кур загнали — и за прялки,
Стали прясть и цокотать,
А шалун своею стрелкой
Ну, легонько щекотать...

Взволновалися весталки,
Груди томно поднялись,
И нетронутые щечки
Нежным цветом занялись.

Напряглось и что другое, —
У весталок та же стать, —
Не сидится за работой,
Так и хочется скакать.

А мальчишка, с храма Весты,
Стрелкой, стрелкой... — «Ха-ха-ха!..
Все-то курочки — невесты,
Почему без петуха?..»

Шалунишке не сидится,
Лук потуже натянул,
Выбрал девочку покраше —
И, нацелившись, метнул...

«Ох, весталочки-сестрицы...»
Вся пылая, говорит, —
«Ах, не знаю... что со мною..?
Все, как полымем, горит..?»

Баловник — другую стрелку,
Третью... пятую... метнул...
Завершив игру старухой,
Улыбнулся — и порхнул.

Что тут сталось!.. Все весталки
В *страстной пляске*... — «ха-ха-ха!..»
А старуха завопила —
«Эй!.. скорей мне... петуха!..»

Покраснел за Тибром месяц,
Поглядел, прищуря глаз...
А на жертвеннике Весты
Огонек давно погас.

Поднялось над Римом солнце,
Засмеялось — ха-ха-ха..!
А в курятнике, в оконце,
Слышат... — восклик... петуха!..

Полетели куры с криком...
Нет, не куры, — петухи!
А девчонки к ним навстречу... —
Охи, визги, хи-хи-хи...

Обнимают, прижимают,
Руки плещут... хи-хи-хи!..
Разыгравшихся красоток
Обвивают петухи...

Даже старая старуха
Ухватила петуха!.. —
Ведь довел шельмец-мальчишка
До такого-то греха!
....

В тот безумный час разгула,
Сея топ, и бряк, и звон,
Шла когорта с караула,
Вел ее центурион.

Метким глазом Митридата
Оценив сей дар богов,
Он скомандовал — «ребята,
Ну-ка, сбросим петухов!..»

Миг — и все иное стало:
Вскрики, вздохи, томный стон...
Знамя римское блистало,
И блистал центурион.

Грозди сочные давили,
Жали кипрское вино...
Буйно лили, жадно пили... —
Доставали в чашах дно.

«Стройся!.. смир-рно!.. честь героям!
Марш!..» — и снова бряк и звон.
И пошла когорта строем,
Впереди центурион.
....

Плохо спал ту ночь Юпитер,
Все Юноне докучал, —
Укорял ее за плутни —
И взаимно получал.

Подлетел гонец-Меркурий:
«Встань, отец богов... петух!..
Веста..! вечная невеста..!
У нее огонь..! потух!..»

«Ни черта не понимаю!..» —
Загремел Юпитер в гром.
И, чтоб мысли прояснило,
Повелел гремуче — «р-ром...»

Принял, крякнул, — прояснило.
Смотрит — Ве-ста..! взгляд потух...
«О, Великий!.. дай защиту!..
Осквернил... меня... пе...тух...

Ты ласкал меня когда-то...
И сейчас волнует кровь...
Вспомни-вспомни, мой любезный,
Нашу прежнюю любовь!..»

Поглядел Юпитер, хмурясь,
И потер себе щеку, —
След ночной, понятно, бури-с... —
Слышит вдруг — ку-ка-ре-ку-у!..

Что т-такое?! ... А Юнона, —
Ей балушки да смешки,
Зна-ла Весту-всеневесту... —
В смехе зубки: — «Пету-шки..? !..»

Так невинно, как бебешка,
Озирая Рим, реку...
А совсюду, что долбежка,
Все глушит — ку-ка-ре-ку-у!..

Понял все Юпитер ноне,
Кто в сей смуте виноват,
Погрозил перстом Юноне —
«Квос аго..!»* — а все — «виват!..»

«Возвратись в свой Храм, о, Веста!
Твой огонь я сам зажгу...
А погаснет, Всеневеста,
Вновь, тобою, разожгу».

Положил всем суд примерный, —
Справедлив всегда он был, —
И Юноне благоверной,
И себя не позабыл:

«Петухов зажарить вмеру,
Безобразие убрать,
Нам не в очередь Венеру,
А мальчишку отодрать».

---

* «Я Вас..!»

И когорте дал награду,
Дабы доблесть поощрять:
«В марте, каждую декаду,
Всех весталок навещать».

Тоник-?-?
9.VIII.46
Париж

10.VIII.1946 11 ч. вечера — наш час

Вот, прелестная Ольгушка, нечто тебе «классическое», для приятного развлечения в легкий час. При всей остротце содержания, пределы пристойной целомудренности не перейдены (но это было очень трудно: первые наброски были голы) надеюсь. В этом-то и вся трудность. Ты оценишь уровень искусства. Конечно, это — искусство. В самом центре «поэмы», — обрати внимание, — римское! Ты слышишь «бряк и звон»?.. Видишь, как давят на вино грозди... В пятнадцати строках дана эпическая картина, — не правда ли? Да и, вообще, в этой «метаморфозе» довольно жизни и много сочности. Писал не без удовольствия, с подъемом и даже... жадно. Но это тебе понятно: ты знаешь, что такое «подъем». Виновница этой «тонькиной шалости» — одна особа, отлично тебе известная. Когда Тонька переполнен, он балуется, ища выхода «образам». Но это не значит, что его — Тоньки — прототип занят теми же образами... Отчасти разве. Вот это-то «отчасти» чуть задерживает, пока не охладится. Понятно, все время (дня полтора, урывками), как творилась игривая поэмка, этот шельмец-мальчишка (воистину — мальчишка все еще!) жил в обаянии некой прелестной... — именно — прелестной цели № 1. И, конечно, участвовал в красочной картине — давильни виноградной, и, конечно, — как, по всем правам, центурион, — выбрал для себя гроздь сочнейшую и сладчайшую — № 1. И — поверь — достал дна чаши... — словесного дна словесной чаши... — воображением. И, конечно... ...лил, пил и осушал полной мерой.

Какая радость — творить! Какое счастье — творить, любя! Какую же гроздь видел и жал! Какой сок пил и лил! — но... как центурион, в полном самообладании и в полном сознании ответственности за... строй — порядок покорной ему когорты! Этот мальчишка Тоник (порой он сливается с шалуном — Амуром) — препродувной. Но он все-таки славненький мальчишка, и за что, в сущности, его драть?! Старшие куда хуже. И разве виноват он, что награжден — кем? — такой бойкой и меткой стрелкой?

Лучишка его — сердце, а его стрелка — песня сердца и, часто, молитва, моление сердца. А г р о з д и... — он совершенно тут ни при чем! Не им эти грозди выращены... но он знает, умнюшка, что если созрела гроздь, ее надо жать на вино и выпить... выпить во славу Давшего эту гроздь.

Вот тебе маленькое послесловие к поэмке-метаморфозе.

Дай же губки, моя прелестная, сочная гроздь моя!.. выпить тебя хочу, всю, всю...

Недуг мой все то же, то же... Я предоставлен самому себе. Эту неделю и старушка не заходила. Ты представляешь..? У меня — полный — «черт ногу сломит»! А ты говоришь М[еркулов] — «стена, защищающая от повседневщины»! Нет у меня такой защиты.

Твой Тоник. Целую.

142

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

11.VIII.46

Ваня светлый, нежный и страстный, мой необычайный друг! Сию минуту жгу мое письмо тебе, написанное в сумбуре от твоего страстного большого письма. (8.VIII.46)[630]. Я опьянела, опьянилась им, этим сладким ядом. И начав свое письмо мольбой тебе — «не писать так», не опаивать меня опиумом, — кончила сама та-ким, что сама смутилась и вот жгу. Скажу тебе открыто (но со сдержкой теперь) — я вся была ответом на твое все там. Ты поймешь. Я не фарисейка и не моралистка, я просто — я. И не буду говорить о том, что «забита, уязвлена» твоими, как ты пишешь «голостями». Нет, я честно тебе скажу, что упивалась именно ими. Как сладостным ядом. Всем... И... мучилась. И долго мучилась. Я выбилась из колеи и попала на какую-то мель. Барахталась на ней как рыба без воды и усилиями воли, не без муки, вскочила опять в свою волну. Ты все поймешь, — потому и пишу тебе прямо (что сладостно пила твое все, вплоть до твоих давнишних еще х о - - - и й, т.к. от сумасшедшей любви к тебе все мне у тебя понятно и... приятно) — ты поймешь, как меня эти «циничности» будили, ты их сам назвал циничностями. Вдали от тебя я испытала что-то неописуемое, доселе незнаемое. Не буду описывать, чтобы не заражать тебя новым зарядом. И вот взвесь все, учти, что я как пьяная, все же и в этом состоянии писала тебе: «Умоляю, пощади меня, не пиши мне так, не давай этого яда!» Это все равно, что курящий опиум молит-

«Возьмите это наслаждение от меня!» Молила, писала, а сама — «еще хоть один разок, первый и последний» — опаивала тебя своим дурманом. Тут же писала: «Завтра буду плакать от этого пепла и осадка, который останется — знаю». А плакала уже сегодня. Мечусь. Ну, что я с собой сделаю. Я не могу делать такое обычное для других женщин — без страдания. Знаю, что сойдясь с тобой вплотную, я бы подписала себе смертный приговор. Ну, не бросилась бы м. б. под поезд, не умертвила бы плоть (хоть *она*-то именно и заслужила бы), а как-то бы себя внутренне уничтожила. Я предельно наслаждалась твоим всем, знаю, что ты и кто ты. И все твое — все по мне. Не стыжусь, хоть и смущаюсь тебе признаться, что и сама отвечала и жила тем же, о чем писал и ты. Вот суди меня. Рвалась к тебе, звало все во мне тебя, просило тебя. И тут же страдала от знания (о проклятое сознание!) «запретного плода». Сейчас, вечером (утром переживала сильнейшую бурю страстной любви безысходной к тебе) уже разбита, несчастна, как будто бы потеряла мой кумир. Я не могу тебе этого объяснить. Ну, представь, если бы Анастасия вдруг «забылась». О, я не она — святая, но поверь мне (именем папы заверяю) я болезненно ищу чистоту.

Когда-то (пошляк) доктор-немец (Димитрий) спросил меня: «Что бы сделала эта глупая русская девочка, если бы Микитка (его так звали все) научил ее настоящей (!) любви?» Я тогда, не задумываясь, из нутра сердца сказала: «Я бы ничего не сказала, я не стала бы жить». Это потрясло и пошляка этого. Рассказываю только потому, чтобы ты поверил в искренность этих слов моих, действовавших на пошляка, о котором и писать противно — здесь. Так же я и теперь к этому отношусь. Ты, Иван (хочу тебя именно таким большим именем) меня взял со всей моей волей, со всем... Я забылась. Я потерялась. Пойми! М. б., м. б. я отдалась бы тебе целиком... не знаю... В таком состоянии как вчера и сегодня утром... О, как я страдала, стараясь найти себя. И знаю, по тому, как я в угаре-то будучи уже страдала, предчуя «расплату»., знаю, как бы я уничтожилась после всего... ты знаешь, после чего. Я не прячусь от тебя. Я вся у тебя в сердце, ты знаешь меня. Я молила в бредовом письме (вот его пепел) наряду с любовным бредом, предельно-откровенным, м. б. по своему и красивым, — наряду с ним молила: «не надо так, Ваня». Писала «Олька—Ваньке». И как мне за это стыдно... Вот сейчас... я чую как в этом «Тонька—Ванька» — утопало мое большое — «чудесный мой, вечный мой ИВАН». Скучно, да и не в

состоянии я писать о здоровье сейчас, но я и физически больна от этой борьбы. Даешь ты «Марево», именно марево, маня источником, не давая напиться. Ты скажешь: я предлагал тебе и напиться, и как еще... Да, но знай — это моя смертное питье. Знай это. Ничем тебя не упрекаю. Люблю тебя и сама, сама ведь жадно пила хоть слова о любви... Ну, чего же таиться?! Но помоги мне. Я тебе мою святую говорю правду: н е буду жить, коли перейду... черту. Много уже уступок — отступок — оступок я сделала, но знай, страданием от неполноты я как-то себя очищаю еще перед с о б о й. О, не думай, что я сознаю себя виновной перед кем-то. Нет, это оставим. Все передо мной слишком серьезно. Я, главное, — перед собой как-то не могу существовать. М. б. ты поймешь. Я не могу объяснить, что это такое. Скажу и еще: я очень, почти непереносимо хочу тебя видеть, как друга, душевную часть свою... Очень это необходимо. Но это должно состояться только в том случае, если каждый из нас будет за себя уверен, что не сорвется. Ты скажешь: очисти все, приходи совсем. Вот это то и есть, что я перед собой этого не могу решить. Пойми, что тут не «положение» и не «расчеты». Не оскорбляй этими мыслями ни себя, ни меня. В любви, в отношениях я исхожу только из внутреннего. Читала акафист преп. Сергию. И... не могу. М. б. нужна какая-то зрелость, которой у меня еще нет. Я почти больна от этих вопросов. О, к чему это сверхчувствительное чувство долга. Не перед кем-то, а абстрактно. Последние 5—6 дней плохо себя чувствую... сердце. Голова кружится. М. б. потому так все тяжело. И еще: мне нутром чудится, что мы с тобой не должны, — будь я даже свободна, — сходиться. Почему? Не могу точно ответить. Какой-то этикой чувствуется это. Не в годах дело (ты можешь так подумать), — я с тобой вся открыта... Мне эта разница не мешала бы, — ты такой, узнавший жизнь и все в ней, мне (м. б. кто-нибудь назовет патологично) есть еще желанней, еще сладостней... не в этом дело — но зная себя, зная мою реакцию на эту... близость... уверена, что развенчалось бы многое. Не уверяй меня в обратном. Я себя знаю. Я помню, как после первого поцелуя (мне было 20 лет!) мне все, все стало горько. А я того-то любила, или так казалось. Созрев, я м. б. несколько приблизилась к женской норме, но верь мне, что всякий раз, я после моего тебе: «как умеешь», мне было невыносимо тяжело. Непонятно, неуяснимо, будто чего-то жаль. Никогда не было ничего подобного, как после первого поцелуя в 20 л. — (конечно, не противно), но всегда — жаль. Како-

го-то моего потерянного рая жаль. Я не говорила тебе об этом никогда. Это слишком мне знакомое чувство. Так бывает всегда и после праздников, после бала... не знаю, что это. «Зачем это было?» — встает в душе. Ты поймешь м. б. меня. Поймешь, что не из-за недостатка любви это. Я предельно в тебя влюблена, опьянена. Сожженное письмо сказало все так, как никто бы не сказал... но если бы я его послала... Боже, как бы я страдала. Нет, ведь у Надсона[631] (пусть он из маленьких) есть тоже — «поцелуй — первый шаг к охлажденью»[632]. Я поправлю: не к охлажденью, нет, м. б. и к еще большему горенью, к сгоранью... Я люблю тебя и потому только слова твои даже меня уводят, берут... (иначе они были бы неприятны) заставляют забывать себя. И чтобы ты не думал о недостатке любви — сквозь стыд открываю тебе... как я на эти твои ласки в письме тянулась. Ну, сознаюсь. Что же мне делать. Знай все! Очень тебя понимала, принимала, неотрывно читала, даже не ревновала к твоим желаньям в прошлом чужих женщин, — мне любо было тебя таким знать, желалось, чтобы у тебя была тогда радость, утеха и с молодайкой, и с бабенкой. Понимаешь? Я очень ревнива, а тут, вот разберись, психолог. Ну, одним словом — пила ароматы «любок» с тобой, как бы через тебя. И твоим и жила... Ты бабу х - - - л, ну и я как-то это принимала. Так пойми же, как мне самой-то тягостно... и при всем том вот знаю, что нельзя. Ты опытней, ты зрелее, ты выше меня — помоги мне и не буди меня очень сильно. Знай: разбудить — разбудишь, ну, прейду... и отойду. Знаю, что прежней меня, Оли, вольной души не будет. Вечное мое — сгорит. Я знаю это, Ваня. Не пишу тебе такого конца, как в сожженном — это безумие. Но целую тебя нежно... розово... не совсем красно. Очень ласково целую, как мама и как невеста. Милый... Ваня. Все горит во мне чудесным. И слезы, слезы. Письма твои получила от 8.VIII, но без делового о «Куликовом поле». Не смогу уйти снова в творческое. Ты взбил меня. Прошу — из любви ко мне, пришли это письмо мне обратно! Очень прошу.

Обнимаю и целую очень.

Оля, Ольгуна своего Ивана, а не Олька

Курю 2-ую папиросу подряд — затягиваюсь до головокружения, чтобы забыться.

Ты понял меня? Если не понял, то поставь на мое место Анастасию... Она бы так же чувствовала. Но не думай, что я списываю с нее. Это мне только сейчас пришло в голову — пиша письмо вспомнила Анастасию. Ты думаешь я сама-то очень сильна? И разве не больно мне (земной) про-

сить не давать мне «волшебный яд»? Ты все знаешь. О, бесценный мой Ваня. Да, сознаюсь, — жалею, что не встретила тебя раньше, и не только в 1936 г. — но и давно-давно. Хотя тогда, я тоже была такая, еще «мимозней». И не взяла бы я тебя от О. А. Знаю. Хоть ты и брал других, как эту... Евгению. Я не пустила бы тебя к себе от О. А. — я очень чисто и чутко берегла и чужое. Все лучше так, как было... Я не опущу глаз перед памятью О. А. Но... 36-ой год... Неужели ты бы меня заметил? Я ведь на первый взгляд неприметная, Ваня. А тогда я о тебе думала... и не посмела подойти к убитому таким горем. Почему И. А. нас не познакомил? А м. б. ... женись мы тогда, — было все обычно и... буднично... Ваня. Бывает... И не было бы «Божественной комедии» Данте Алигьери, если бы Беатриче ему варила суп и сидела рядом его... обыденной супругой. Кто знает!..

Пиши мне. Как я жду почты. О, если бы снова начать хоть рисовать. Я разбита от дум и вопросов. *Снился опять* Париж...

От тебя зависит, приеду ли я еще. Ты теперь все знаешь. Не могу писать об обычном. Я вся полна тобой, мой неизреченный Иван. Ванёчек, миленький, ласковый, родной мой... Ах, Ванечка... Понял ли ты меня???? Ответь! Жду.

Письмо верни. Обязательно. Ты сам просил меня взять все письма. Это никому не должно попасть на глаза. У тебя они все по столу разбросаны. Иногда я пугаюсь: а вдруг ты их кому-нибудь читаешь? Нет? За последнее время я много рисовала. Не могу оторваться. Все о тебе... Брось о мелочах — о людишках. Конечно, все мелкота, но все — Божии подобия и потому снисходить надо, у всех душа, Душа! А[лександр] Н[иколаевич] не плохой, м. б. лучше многих! потому я так. Не гневайся. Я люблю тебя не гневным. Ах! как ты любить умеешь! Иногда мне думается, многих знал из женщин. Это не в укор. Я ничем тебя не могу корить. Люблю тебя превыше всяческих упреков. Даже ревность заглохла в этом огромном чувстве любви к тебе. Знал — ну! знал. Значит, Ване так надо было, радовало его. Ну, язычником был немножко. Ты мне о «Женьке» рассказал — и она мне какая-то будто... (хоть и занозой) нечужая стала. Женька Ване сладкую отраву давала...

Ты открываешься мне новый в этих «любках» — с молодушкой[632а]. Так и вижу тебя. Горячий ты... Папашенька. Папашеньке твоему не попрекну, что любился. И хотела бы быть сама без таких мучительных подходов. Но никто не знает, как переживал каждый из вас свой «угар».

И все же скажу, что наше с тобой... многое бы утратило от этого полного пламени. Себя я знаю. Я не пережила бы потускнения моего рая с тобой. Как прекрасна и как тяжела жизнь. Будь тих ко мне и ласков. Приласкай меня... твою дочурку-Олю, твою маму, твою невесту, твою подружку. Люблю тебя. Не устану повторять это. Ванечка мой светлый... будь всегда хорош к Оле.

Как я тебя обожаю. Как люблю твой голос. Как все твое мне драгоценно. А писатель ты... О, Ваня. Как наслаждаюсь снова «Богомольем». Хочу идти с тобой на «Богомолье». Уйти от искуса... от твоих других... чар. Они жгут...

Когда получишь письмо, поцелуй девушку в ветре. Я почувствую. Обнимаю тебя, как ленточкой обвиваюсь вокруг тебя. Целую и молюсь за тебя.

Оля

Пришли обратно и «обложку» для «Неупиваемой чаши» — я называю «обложка», если тебе нравится, если нет — сожгу.

12.VIII.46 Сегодня уж и за это письмо себя корю, но все же посылаю. Смущена. Очень.

143

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

14.VIII.46

Только что послала тебе, Ванёчек дорогой, свое из самого сердца письмо, с просьбой не быть таким пылким, как получила твое «волеизволение» и приложенный лист со стихами. Ты теперь знаешь, как я отношусь к твоим жарким письмам. Не стану повторяться, но еще раз скажу: не надо так. Сущность, исключительная и чистая, забивается всем этим, и мне... не по себе. Меня это больше не «зажигает», а наоборот — как-то нехорошо зацепляет. Я, например, совершенно органически не переношу двусмысленностей, анекдотов, всего, чем касаются люди отношений к женщине. Однажды со мной был прямо припадок гнева, когда один молодой человек рассказал (по их мнению очень невинный) анекдот. Не хочу твоего сличать с подобным, но какая-то жилка начинает пробиваться, делает как бы обобщение. Я страшусь этого. Я не выношу ничего, чтобы хоть как-то соприкасалось с понятием о разврате. Потому-то всегда искала в мужчинах только чистой любви. Я же тебе

говорила о своей мечте о любви в письмах. Помнишь, я не знала, какой она может быть и в письмах.

За «Куликово поле» твое я тебе написала официальную благодарность, но моя неофициальная еще гораздо больше. Ее не выразить. Ты знаешь, как я отношусь к «Куликову полю». Мне необходимо приняться вплотную за работу. Мой «Заветный образ» очень на высоких нотах. Сверх-чист. И я должна быть его достойной. Моя Tilly в отпуску — сижу без прислуги. Дела больше, но не устаю. Мама очень помогает во всем. У нее постоянная головная боль. Боюсь, нет ли чего в голове. Гомеопат дал тебе 2 средства: одно для глаза (от чеса), другое — для сна. Я написала на коробочках, как их принимать. Но оставь пока все другие аллопатические лекарства. А как теперь с налитостью в глазу — «плаваньем» будто?

Ваня, несколько слов о Карташеве: я его деятельность, будь она активна ли, пассивна ли, — очень порицаю. Все эти появляющиеся «документики»[633] и слухи — надо очень строго проверить. Ты мне можешь не верить, но я *знаю* факты, которые меня очень вразумили в этом отношении. Совершенно между нами: И. А. не чист тоже в этом. Я считаю фабрикацию слухов и документов во всяком случае, на какую бы цель они ни были направлены — гнусностью. Не считаю возможным в письме этого касаться явственней, но клянусь тебе всем для меня святым, поднимая руку для присяги, что названное мною (уважаемое мной лицо) занимается (сознательно) распространением таких «документов». Не по слухам, а из фактов знаю. Никто не должен сего знать. В другом, в своем, он должен оставаться на пьедестале. Карташева я куда ниже И. А. ставлю. И после того, чему я сама была свидетельницей у И. А., — допускаю всяческое и у К[арташева]. Если не сознательно выдумывает сам, так бесконтрольно распускает подсунутое. Он и ему подобные, как злые враги, портят *все* тем, кто собрался возвращаться домой. Допусти хоть на миг, что правительство без задней мысли открыло двери. Допусти, (ну если не веришь, то хоть гипотезой допусти) и что же такое правительство будет делать после поднявшейся всклоки? Что сделало бы царское правительство? Разве не сидели всюду жандармы? Теперь, после стараний нагадить своим и после снюхиванья со всякой иностранной шушерой, все эти Анастаски[634] и свора (а это свора — я знаю его попов, ныне архиереев — один[635]: ловчий — бывший кельнер в «Медведе» в Берлине, до последнего дня любовником был одной девки, которая у нас жила на квартире в тяжелое время),

Карташев и ему подобные — сделали то, что не три, а *33 сорта лагерей еще пооткрывают. Как в деле церкви не* дали эти с.с. спокойно осмотреться, так и в ином. Пока все это не умолкнет, — не может быть эволюции. Кучка эмигрантов, теряющих почву из-под ног, сбивают наспех *клику-свиту* себе. Допускаю, что теперь и слежка, и т.п. Это объяснимо, сами эмигранты поддерживают пламя революции. Если у тебя в нарыве все время собирается гной, то врач и реагирует все время на это, а коли уймутся лейкоциты — оставит тебя врач в покое.

В последнее время мир так на нас ощерился, что нам надо держать свое крепко. Русское правительство сдало все свои прежние посты — признает даже пресловутый панславизм?[636] Славянство объединяется. Идет все гигантскими шагами. Вот эти Карташевы с их «Свободным голосом» не что иное как шавки на слона. Все, чего они добьются, — это выстрелов по своим же собратьям. А церковь бросят в новый раскол. Да, очень возможно, что появятся лагеря, но они будут ответом на тех, кто не перестал мутить. В Голландии со мной никто не «церемонится» как с русской, и я знаю западно-европейское отношение к нам. Не к советской власти, а к России. Это надо помнить. Сталинская головка в данный момент защищает интересы страны. Прочти, пожалуйста, стихи Симонова[637]. Там все — от Руси. И Вера! Народ верит, вырвал себе наконец это право исповедания[638]. Власть дала это, видя, что оппозиция церкви пала и она им не страшна. А г-н Карташев думает по-своему перевернуть!? У нас вон поп-Дёнка бабий монастырь открыл у себя в доме. Да тут только одна надежда на плетку из Москвы. И будет. Довольно мы шушукались с заграницей. Теперь, когда они все скалят зубы против нас... нет, теперь мне с души прет быть с ними вместе. Пишу тебе все это, чтобы молить тебя воздержаться вступать с такими людьми в полемику и выражать свое мнение. Тебя очень хотят использовать. Твое имя. Помни мое предупреждение и в 1941 г.! Надо спокойно выждать. Никак не реагируй. Погоди. Я — нутром знаю, как и тогда, где должна быть моя душа. Каждое слово имеет значение — за каждое несем ответ. Я не могу примириться с фабрикацией документов. И после того, как (недавно) столкнулась с этой нечестностью — мне погано все это. Не слушай никого. И Анастасий, и... И. А., чуя, что останутся за бортом, — сбивают себе свиту.

Я отвечаю за то, что говорю. Если бы Анастасий был истинно-духовный — его бы рвало от такого типа как поп-

ловчий (развратник, окончивший богословский факультет в *университете немецком* в Берлине!, еле читающий по-славянски, циник, вряд ли в Бога-то верующий), а он его в архиереи поставил, — только потому, что одному без архиерея неудобно! Г а д ы! Не им судить о других. Анастаска за немцев был, ему бы на осине болтаться, а не на амвоне глаза закатывать. Отвратно служит. Знаю его. Умоляю тебя на коленях — не соучаствуй никак в этой и подобной им клике. Потом пожалеешь. Карташев м. б. и верит даже (если честный, то по рамольности[1] своей) всему, за что ратует. Но не надо для этого и прочим быть рамоли?! Не ходи сам в Россию, если не хочешь, но не гадь тем, кто почему-то думает иначе. Ведь теперь *опять* к эмиграции будет мерзкое отношение. А каково будет тем, кто вернется? М. б. и ничего не будет, м. б. правительство назло этим квакалам ничего не сделает. Роль эмиграции за границей кончена. Пора убедиться. Зачем же начинать новое амплуа — предателей своего отечества. Знай: всякие коалиции с другими державами *в данный момент — это предательство*. Потому и молю тебя: никак не соучаствуй. Потому тебе и открываю, как великую тайну (меня очень потрясшую) о «чистоте риз» И. А. Если у таких, как он, находится подобная чертовщинка, — то что же с другими-то? Кто же тогда рот заткнет таким типам, как все эти Сорокины[639] и т.п.? Теперь *только*: сиди и молчи! Приглядывайся, а главное, прислушивайся к голосу совести. Если бы я жила в Париже, — то обязательно бы попыталась взять русское подданство. Ибо — овцы и козлища. Все острее будет разделение. Не с Западом же мне?!! О нет. Но это мое мнение, я никому не навязываю. А в документы и слухи не верю. А не диво, если и поднимут плетку над всей этой шушерой. Сидят в лагере противника и воняют — гады! Карташа, за одно его присюсюкивание к Анастаске, — презираю! Ванечка, прости жесткости, но я очень волнуюсь всегда своим. За тобой именем твоим многие охотятся. Держись. И еще: убирай куда-нибудь мои письма, не оставляй их лежать на столе. Обещаешь? Целую Ванечку. А на «Тоньку» чуточку грожу — пальцем!

Молюсь за тебя. Оля

[1] Здесь: глупости (*от фр. ramolli*).

144

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

17.VIII.46

Светлая моя Ольгуна, голубка нежная... как вознесен был я твоим письмом!.. Читал-перечитал его, вби-рал! Все, все понимаю в твоем, и — многого не постигаю. Да — и нет. Письмо совершенно исключительное, по силе и красоте чувства. Глубокое, наполненное тобой, твоим... всем тем, что влечет к тебе, что давно завлекло и потопило — в тебе. Прелестная... Не могу не повторять еще и еще: ты — огромна в тонкости и глубине — и чистоте! — чувственной любви. Ты сильна и ярка в слове. Ты — зрелая, ты — вся готовая к творчеству словом, живым, берущим душу словом! Дня три тому я перечитывал твои письма, из первых, самых первых по отъезде из Парижа, одно — карандашом — с дороги... Удиви-тельные письма! Суди сама (ты, конечно, забыла?) — Вот как ты дала мне картину дождя (11 июня, в вагоне)... «А вот переменилось: тучи, — дождик стегает — сечет иголками (!) по стеклам, сбегает змейками (!), собираясь в капли... Смотрю — и силюсь удержаться. Помню — «крэпко». (Все письмо (наспех!) удивительное по силе выражения, по чувству. А ты-то и не думала, что пишешь, для чего). Вот так-то и твори, чудеска. Вот этого-то — «иголочки секут-стегают по стеклам» — я ни у кого никогда не читал. И сам не определял так — «иголочки». — А эти «иголочки» — точней точнейшего! Мало тебе? И ско-лько такого у тебя в письмах, если вдумчиво вглядеться!.. Но я отступил...

Да, самое тебе главное, о чем просила.., — это связано как раз с написанным.

Оля моя, дружка моя... всем чистым сердцем, от всей любви к тебе — дружке — ровне — моей дочурке, моей чистой девочке-невесте, моей любимой, моей женщине несравненной, моему верному другу — сестренке, — говорю: Оля, благоговейно, весь в уповании, благословляю тебя на светлый, великий, святой путь писательский, на путь художественного, творческого труда, — во Славу Господа, на радость и опору людям, — смело и безоглядно пиши. Что и как хочешь. Сердце услышит. Благословляю, познавший и муки, и радость труда сего. Благословляю твое сердце, твою горячую головку, умную-умную... твою руку: крепко держи перо. Благословляю и целую нежно, мудрая, горячая, пылкая, жадная до Жизни-Красоты, до Жизни-Чистоты... О, каким сердечным восторгом благо-

словляю тебя!.. И как сейчас весь — в тебе, с тобой! Любящий нежно, влюбленный страстно, преклоняющийся, взирая в милые глаза, в это дивное, родное, — все родное! — лицо твое. Да перельется творческая сила моя, — от творческой силы во мне! — в тебя! Благословенно да живет в тебе, моя... о, как любимая!..

Я все понимаю, да... И — многого не постигаю. Но... постигну?.. Буду краток (твое письмо неисчерпаемо!). Да, ты такая. Знаю, верю. Не понимаю: зачем же ты... выходила замуж?! ... Ведь все же в себе знала, жаждала чистоты... любви святой, небесной. (Это мне понятно, я вижу эту любовь и сам к тебе — поверь! — весь с такой же чистой и о, какой чудесной любовью!) И — вышла... даже за чужого?! ... Ведь отдалась же, телесно... — ка-ак, без любви? — даже — прости — бережешь реликвию!.. Как это примирить со всем тем, что мне пишешь? Скажешь, м.б.: пожалела человека... Ну, а меня не жалеешь? Или я — грязный?.. Оля, я тебе сказал всю правду: я знал, кроме жены, лишь одну... глупую, ненужную, сразу — после того — и выпотрошенную до пыли (во мне-то!). Тут, как после, за «Киевом» в Москве (в гостинице) и у меня (в пустой летней квартире) — была лишь забавка, простое гигиеническое упражнение... не любовь, ни-как! Ску-ка... Ибо в ней не было и порошинки от дорогого мне — душевной чуткости, ума, сердца, творческого... уносящего или лаской, или — новизной непознанного, или не было нежнейшей отдачи себя, понимания, заботы... жизни тем же, чем жил и я... И никогда не говори мне, что я знал женщин. Нет. Я знал лишь одну. Тебя — теперь — другую, все наполнившую во мне, на все — отклик твой. Ты — я. Я — ты. Это я знаю. И потому надо было, чтобы мы нашли друг друга. Чудо? Да. Но оно было нужно, оно было дано. Поверь, я все приложу из сил моих, чтобы ты была покойна, и работала, и чувствовала себя хоть чуть счастливой. Я люблю тебя. Это не огонь мой, это длится 7 лет... Это закрепилось твоим-моим свИденьем. Несмотря ни на что. Я был в болезни (и теперь все ужасный «чёс»!), и я терпел и вытерпел многое, — не по силам... часто одинокий, как и раньше. И я понял, как я тебя люблю! Как ты мне дорога. Как я не могу без тебя. Не только люблю: я влюблен, (в любви-то) — страстно влюблен в тебя. Что сталось бы, если бы я получил тебя — всю?! Если бы ты отдалась мне, как жена моя?! Не как женщина только... Вижу: любовь, влюбленность, — для меня — стала бы (если это только возможно!) еще огромней, глубже... Безразлично: дали ли

бы мы друг другу дитя... без-раз-лично. Ты до того по-мне, вся, вся, и земная, и духовная... с этим богатством в тебе, с твоими творческими возможностями, для меня — бесспорными..! — клянусь тебе! — со всеми неровностями-взрывами (как и во мне), что земная любовь с тобой явилась бы красотой-прибавкой к любви, заманкой, замкОм для чувства, крепью его, — это сливание с тобой, этот обмен всего в нас, смешение. Я-то себя знаю. Я все же очень волевой, и нравственное чувство для меня не слово. Я мог переступать, но я не переступил через любовь, не разбил ее (тогда с О. А.). Да, физические хотения гасли... (это сложно, надо говорить, и я скажу тебе)... но нежность, благодарность, жаленье... и воспоминания розовых дней первой любви во мне не отмирали. И она знала это. И потому — почти зная, чувствуя мою неверность, (я не сказал ей, ни-когда!) она все простила. И хотела нравиться, быть всегда прежней... Ах, Оля.

Теперь судьба послала мне тебя, — свет последний, и — скажу — совершенно необычайный в моей жизни...

Не разжигаю я в себе похоть... — ты так владеешь мною, зовя меня (так и слышу в себе, в теле, и оно слышит и так отзывается). Смотри... 11-го (и 10-го) VIII — ты томилась, рвалась ко мне, письмо, ты его сожгла... ты, ведь, отдавалась мне, меня хотела, знаю я... Я это чувствовал! Толкнутый твоим письмом (от 3-го?) где ты писала, что можешь быть весталкой, я в думах о тебе (я все звал тебя, почему-то, лежа на диване (твоем), стал думать о весталках... об Овидии (его «Метаморфозах») и — прошептал первые строчки: «Вечер марта, в храм весталок...» и т.д. Меня завлекло, я сел к столу (10-го вечером). — и, все зовя тебя, написал все почти. Нет, начал 8—9.VIII. 10-го все было закончено. И я сел 11-го писать тебе. Я горел, сгорал... я видел тебя... я брал тебя. И всю половину ночи я был с тобой. Тебе это передалось, как мне — твое. Что (!) я написал! Там было так все обнажено, с такими подробностями (до бесстыдства!), я так раздевал тебя, я так ласкал тебя, я так оглаживал и касался, так пил тебя... что весь был в пламени. Я почти имел тебя. И был наказан (?!). Ночью — я должно быть видел тебя во сне, звал, — был с тобой. Я проснулся (было часа 4) в ночь на 11, на воскресенье. Со мной случилось давно не бывшее... — случившееся впервые со мной 14-летним... (это я дал намеком, очень прикровенно) в «Истории любовной» (конец 143 стр., нарочно утром нашел!). Я был весь... плавал... в «любовной» отдаче! Я та-ял, в сладости, изнеможении и горько-

горько, и нежно-нежно, с такой любовью и с таким стыдом я повторял — «О-ля... Олюша... Ольгуна... прости меня». Это невольно, во сне, без моей воли (не подумай, что я с а м довел себя!) — случилось, эта «непроизвольность». Я написал тебе, утром 11-го все. И как я воображением был с тобой... все ласки... и какая была ты... в чем... я видел твои ноги в черных ажурных чулочках — до живота почти... И как я... всю тебя ворочал и все видел... Прости, но я здесь только схему даю... В письме бы-ло..! ... Я прочел его, и мне так стало стыдно, так страшно... — я изорвал письмо (12 стр.) в клочки, оно — в печурке, под бумажками, зажгу все. Еще не успел. Я не посмел послать такого письма, страшась оскорбить тебя, хотя... ты мне — я сам. Но бывает же и перед собою стыдно. Ну, я не мог послать. Послал лишь «метаморфозу». И то ско-лько смягчил в ней! А первый вариант был почти что непристойный. Не посмел. Я тотчас же воссоздал мою Олю, мою девочку чистую... и... (вот, поверь!!! — а ты мне в последнем дивном письме твоем велела это именно, только вчера узнал! и сделать!) почему-то нашел твое фото (маленькую, «девушку в ветре» (Клянусь нашей любовью!)) и стал целоваться!.. Я и сегодня, перечитав твое письмо (я его тебе верну, но позволь на 2—3 дня задержать, упиться!) опять целовал «девушку в ветре»! Ну, что?.. У нас мысли пронзают нас, летят к нам... взаимно. И вот, сейчас, я снова хочу видеть тебя и пить тебя. Но я буду тихий, нежный, светлый... я совладаю с собой. Но не могу не ждать, не могу не видеть тебя... Я покорюсь... Сейчас написалось, а вчера ночью складывалось... я вскакивал и черкал начерно:

Прости... — ?

Прости меня, моя родная,
Что отемнил твою мечту,
Что в ласке смел коснуться д н а я,
А не вознес на высоту.

Зато теперь, прося прощенья,
Бесстрастно сам себя сужу
И, в воздаяние отмщенья,
Себя на казнь я присужу:

Отныне о любви к чудесной
Ни слова не скажу, ни-ни!..
Держи себя в границе тесной,
В любви высокое цени.

Ведь для беспутного земного
Высот затеряны ключи,
И нет ему пути иного:
Таись, томись — и замолчи?..

И я послушно покоряюсь...
Но в памяти томит одно:
Да в чем же пред собой я каюсь?..
Что увидал любви лишь дно?! ...

Видала д н о и ты, дружочек,
Прознала сердцем тайну ту,
Что небо в звездах и прудочек
Любовь возносят в высоту.

Очами девственно внимала
Что звезды светят и на д н е,
И как же чутко понимала... —
Что не мутнеют там оне!..

(Оле — Ваня 17.VIII.46 Париж)

Скажи — да? не мутнеют? да?! ... Нет, Ольгуна, не мутнеют. Наши звезды и на д н е не замутятся: они — любовь, сильная, светлая, высокая, и — пусть и до земли снисходящая — всегда б о л ь ш а я, ибо опорой ее — наше общее, и наше искусство — от Господа. Все освящает любовь такая.

Я весь с тобой, жив тобой. Ликую тобой, прелестная, высшая моя, чистая всегда, во всем — для меня. Дна нет в нашей любви, не будет и подонков. Для нас, в нас, в нашей земной любви — неба отраженье, Оля. И вот, я как будто нарушаю «суд свой». Нет. «Да в чем же перед собой я каюсь?! ...» Увидал любви лишь дно..? Нет, Оля. Ты не вся права: д н о я видел, любви-то... но и т а м блистали звезды! Да, я в тебе вижу, — пусть как женщину тебя люблю порой — н е б о. Так свято и смотрю в него, пусть до головокружения! О, как люблю и как возношу тебя! 3 часа. Хочу послать скорей. Сегодня еще опять этот инженер — советский агент?..[640] в 5 ч.

Оля, твоя обложка — великолепна! Целую тебя и ее. До чего чутко-глубоко! до чего нежно, чисто! Я пошлю ее через несколько дней, дай любоваться. Целую ручки твои, глаза твои, моя светлая художница! Дивно. Гениально в з я т о. Тонко. Свежо, ново... Все гениальное — просто, а никто бы т а к не дал! Всю тебя целую. О, как нежно. Светло. Чисто... И знаю, что снова и снова буду гореть... Но я

ухожу в работу, закончить надо переписку «Лета Господня». Спешу.

Твой вечный Ваня (только иногда — Тонька). Не оскорбилась на «Петухи». Дано, как у Вергилия или Овидия, Катулла... — с «аттической солью». Пределы меры художественной, кажется не перейдены. Просто — отдыхал...

Твой Ванёчек

Му-ка мне это хозяйство! Свожу к наималейшему. Все есть в запасе, при моей нетребовательности и режиме. Сыт. Посылок наслали — раздаю. Скажи, чего бы те послать? УзнАю на почте — можно ли? — бананов те пошлю. Ты, грызунок, любишь их жевать. Оля, чего хочешь, ну? Пошлю. Оля, если бы ты была здесь, я бы молился на тебя-земную! Ольгуна, поверь мне, — ничем не омрачу, в обручи скую себя! Ах, каким бы филе барашка кормил, сам на раскаленной сковороде делал, у-мею! Теперь можно вольно покупать, и без тикетов, ну, дороже, но лучше и дешевле, чем у Vita по черному рынку. Какими бы бифштексами, — огонь! Кормил бы тебя! Проснулась — кофе-чай принес бы моей принцессе, моей нежке, — только бы писала кисточкой, пером! Ж и л бы тобой, очарованьем!.. Служил бы тебе, моя малютка, чтобы ты в о з р а с т а л а! Все передал бы тебе, что сам нашел... все сказал бы, почему и как. Всегда влеклись бы к миру мысли, образа, песни, красок, — вечного, а не к дохлятине! Наши души были бы всегда *обновленЫ, свежи*, готовы к восприятиям, созданиям... как я все это люблю!.. Воображали бы, жизнь умножили!.. в з л е т а л и!.. Ах, моя Олёль... как ты прекрасна, как можешь быть нежна-чудесна!.. Девочка в ветре... о, милая!.. Сама (представь) вдруг в руки мне далась!.. а сколько не видел ее (это маленькое твое фото!)! Разве не дивно это?! ... Наши воли передаются и вещам, не чУдно ли?! ...

Сейчас ем твой бисквит — ломтик, нашел! Он еще вкуснее, [1 сл. нрзб.], чем бывает свежий. Больше недели ем, с большой чашкой молока... 2-ое к завтраку. Да-а... те два пакета не картофельная мука, а крем!.. Попробовал (писал я?) молочный кисель варить... что *такое — желтоватый*?.. Чудесный крем. Мне надолго хватит. И сухарей... — всего ты мне наслала, нежная моя, заботка. Прошу тебя: не смей слать больше! Ваня сыт. Поверь. Мне так мало надо. Возьму баранины, к спине, рулетик, с косточкой... сварю, два дня ем, а заплачу франков 60—70. Картофель — дешевый, мно-го. Каждый день пью морковный сок, это берет 15 мин. Сок сто-лько дает сил! Вот и разгораюсь, и м е ч т а ю, и зову... А люблю так чисто, тихо, светло, кроткий я

с тобой, Ольгуна... Так чисто думаю, бережно храню тебя в сердце, как дитя. Ищу Чехова, атлас цветов... Най-ду! Не верю в поездку Ксении Львовны. Был у нее только раз. Открытка от нее, от дочери. Живет в елках. Зачем это тебе?! ...Взбудоражит. Правда, она покорливая... м. б. и не стеснит. Главное — машинку чинить взяла. [Приедет] — я ей внушу... Ах, не оторвусь. А сейчас этот еще, навязался, а-гент. Ну, я с ним краток, сумею выпроводить без засидки.

Мне ни-кого не надо: с тобой, всегда... Ты во все влилась, твой оранжевый плат — вон он, милый, Олин. Так все и вспыхнет — взгляну... Все, все... Твое мохнатое полотенце храню. Целую: Оля спинку вытирала. Как ты дорога мне, птичка!.. Одеяльце... как бережно... как согревает — Оличкино тепло! О, родная, вся — близкая, своя, моя... Никогда бы не был тебе в скуку... — сколько есть думать, говорить с тобой, творить! Олюна, ми-лая... как я скучаю!.. Надо уйти в работу, не могу, тоской излучаюсь... Буду жить «Маревом»... Дай губки...

Ваня

Господь да будет с тобой. Буду молиться.

[На полях:] О, как весь — к тебе! Вот она, любовь!.. Ол... гу... на... душка!.. ...

Мне очень трудно без тебя!..

Два вторника и две пятницы старухи нет. В то воскресенье Юля была, убрала все. Я для себя — за все.

Твое письмо (священное!) верну дня через 3—4 и обложку — тоже священную!

Оля — ты моя и любка, и незабудка, и вся — чудеска-цветик! О, благодарю мою дружку, мою дочурку, мою... ... ..!

145

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

6/19 авг. 1946 г. Преображение Господне

Дорогой друг Олюша, при сем возвращаю тебе для хранения твой ответ[641] о принятии в дар от меня — рассказа «Куликово поле». Я рад, что сегодня как раз празднование Преображению Господню, — да будет Свет Его и на Россию нашу излит, да будет Ее Преображение! Да свершится чудо!.. Будем верить.

Голубка, будь покойна. Я ни во что мятущееся дней сих вокруг мало всем нам *ведомого, творящегося на Родине* и здесь, не вмешиваюсь, даже и газет не вижу, оберегая зрение, еще не оправившись от болезни. Слышу многое, про-

тиворечивое. Знаю, делая сопоставление и выводы, что там — тьма продолжается, — тьма и удушение свободы духа народного. Там — великое страдание. Знаю, что иным — и тем, и другим, — желательно втянуть меня и как-то использовать. Сохраняя силы для творческой работы, не смею отдаваться текущему, столь туманному и столь изменчивому. Знаю, что мое участие ничего не изменит в положении, ничему не поможет. Такое «бездействие» часто меня смущает... но мне помогает сознание, что пытаюсь своим трудом служить неизменному в родном нашем, служишь так, как внушает совесть и сознание должного.

Не хочу судить других — и душевно мне близких — лишь по слухам. Советую и тебе, дружка, не гореть напрасно, а — работать, как велит тебе сознание творческих — и больших! — твоих сил и возможностей. Не мутись, о-ставь.

Ваню не суди за его порывы... «Метаморфоза» его — отдых — забавка... — что тут особо грешного?! ... И тут есть блеск и пение. Шутить иногда полезно. Так, «с солью», шутил и Пушкин, (отдыхал!) и такой «богоискатель», как Вл. Соловьев... и многие из немногих больших русских писателей. Иногда, в «шутках», в «отдыхе»-то, проскочит и нужное — стоящее... Вот, создалось-пропелось (для тебя!) — «Марево», — цену ему я знаю. Знаю, что и в шутливых «Петухах» («Весталках») есть мастерство и певучая легкость.

Живу всякую минуту тобой, моя чудесная. Восхищен, как же ты растешь (как выросла!), и в глубину, и в высоту. И никогда не откажусь от счастья (пусть для одного меня) любить тебя — по-моему! Но постараюсь тебе не навязывать... постараюсь, если тебе это полезно, и совсем не писать тебе — или крайне редко. Сегодня, благословясь, — в работу.

Пусть, хоть не надолго, и со мной соизволит произойти Преображение. Этот То-ник..! Я все-таки люблю его, этого чудесного шельмеца-мальчонку!.. Право, не такой уж он негодник, а?.. У него сердце есть, а это — главное. Ты иногда хоть кусочками его разглядывай... — почитывай порой страничками... Вчера был у меня вернувшийся из Рима генерал Д. И. Ознобишин, мой друг и умный читатель... Много понаслышал от него... Ах, Оля-Оля... не знаешь многого ты... как выдавали русских людей на лютую казнь... Десятки тысяч казаков выдали англичане[642] (в начале немного выдавали и американцы, потом остановились)... Побито-показнено — ско-лько! [Кравт][643] — писатель повешен в М. Так называемая «трагедия под

Удино»[644] (где по границе шли казачьи станицы)... Сколько покончили самоуб......м! Надо знать. В Америке вышла книга бывшего народного коммиссара Кравченко[645], (комиссара с времен войны), командированного Советами в Америку и — оставшегося! Ка-кое разоблачение! Причем тут «документики»! Книга Кравченко произвела взрыв! Чуть ли не в миллионе экземпляров, по-английски. Парижский «Carrefour»[646] (католический..?) начал ряд статей-выдержек из этой книги. 1-ая в № от 15 авг., четверг, хочу достать. Объявлены следующие «Suite»[i]. Это еженедельник. Я тебе постараюсь выслать. Был у меня в субботу тот — инженер... Все добиваются, требуют... — а, плевать: я — «крэпка», в сём отношении. О-ля... помни: там хуже, чем было раньше даже... там нечем дышать и простому народу, всей Руси! Напряги воображение. Нельзя свою тягу-страсть к Ней брать за основу оценки и ею, как покровом, накрывать зияющую язву! Нельзя затыкать уши от «слухов»... — слухом земля полнится.

Есть, как во всем, ловчилы и дрянь, особенно в таком, берущем. Но неужели ты думаешь, что все обманываются?! ... Нет, голубка... 41-ый и твои предупреждения — *тут* не доказательство. Или ты убеждена, что одна ты не можешь обмануться? Ты — горячая, ты страстная, во всем... особенно в судьбах родного! Потому-то так и люблю тебя, — страстно! — и ценю, и чту. Ты *умна*. Но ты и — нередко — «опрометь-стремига». У, какая... горячка-страстка!.. Оля, я о-ч-е-н-ь люблю тебя, я выстрадываю тебя... я — одинок.

Ну, довольно нУда... Я, ведь, и — хоть чуть — закален. Терплю. Кто, *кто* — ? — возле меня?! ... Ни-ко-го. Всегда один. Юля... да что же она-то мо-жет?! ... Ну, раз в неделю заглянет... «Стена, закрывающая от повседневщины» — с неделю и не видел его... — да и зачем он мне?! ... А то с горестями приходит, а то — со сплетнями... Вчера два генерала (другой — председатель Главного [управления][ii] Союза инвалидов, ген. Кальницкий[647]) сидели... 4 часа! Ну, Ознобишин по крайней мере (ему 77 лет) мне — «первый визит», приехал 2 дня тому... и м. б. будет мне очень полезен... м. б. и в издании... (*очень* богатый, Казачий музей в Париже — его создание, знаток картин; его «коллекция» главная, хранится в Брюсселе при Военном бельгийском музее[648]) — это бывший царский военный агент в Париже,

---

[i] «Продолжение» (*от фр. suite*).
[ii] В оригинале слово пропущено.

был женат на иностранке-миллионерше, много делал для русских. Придется ехать к нему — на обед, в четверг, его рождение... Ох, не люблю двигаться — для сего. Да и не люблю смотреть на людей с точки зрения выгоды. Нет, а просто генерал очень трогателен... любит русского писателя. Сам пишет «мемуары», видал многое, лицеист (Пушкинского лицея), генштабист, очень культурный, понимающий искусство. Твоя «рубашечка» о-чень захватила! Оля, у-мница, как ты чутка — художница! Такую-то и люблю, несу в сердце. Любить такую женщину..! — Господи, какое великое счастье даровал мне!.. Светлая девочка моя!.. Сколько — в этом — для меня! — слове девочка!.. Вся — нежность и свет.

Твой Ванёк

Получил лекарство! Благодарю, целую лапочки твои, сероглазка. Ка-ак всю целую! Оля, какое счастье так любить!.. Ты — жизнь мне даешь. Ваня

Юля потрясена твоим истолкованием «лилий», «Чаши»! Залюбовалась. Хоть строчку черкни ей. Она тебя полюбила! Она пытается все — для меня. Но что она может, живя так далеко?! ...

146

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

21.VIII.46

Сердечко мое, дорогой мой Ваня! И вчера и сегодня рвалась писать тебе на твои редкие письма. И вот вчера я металась — хлопотала что-нибудь наладить с посылками для моей тети[649] в Берлин. Она голодает, думаю, что похуже твоей знакомой художницы-миниатюристки[649a]. Лежит 8 месяцев с флегмоной ноги. Дают по карточкам на месяц 1 кило овощей! — а без карточек — ничего не достать. Она — добрая душа, чудесный человек. Как будто что-то наладится. Из Голландии запрещено ведь посылать в Берлин. Я все время под впечатлением ее письма. Она у предела, дальше — некуда. А сегодня возилась с овощами. Мама сняла все бобы и я оказалась перед необходимостью их все заделывать в банки. Мне это не *по душе, особенно сегодня*, т.к. все рвусь тебе писать. Сидела и думала о тебе, разбирая зелень. Ах, Ваня, Ваня! Не знаю, с чего и начать. Ну, что значит «простить» — простить или не простить можно, например, того, кто обидел, ударил другого. А тут... тут я только предостерегала, чтобы ты сам не оказался «битым»,

т.к. знаю, что царапины на чувстве моем к тебе — были бы тебе хуже ударов. Я просто сказала: «осторожно: тут может стать трещинка!» Понял? Я понимаю тебя. Я нисколько не сержусь. Но, впрочем, чуточку сержусь за то, что читал «петухов» Юле. Н е л ь з я. Ни в каком случае. Люди (и даже Юля) всегда с особым интересом нащупывают такое. *Прошу: если любишь* — не выноси на базар. Но не хочу ворчать, я вся тихая и ласковая сейчас. В Преображенье я была в церкви... был чудесный день после ливней (между прочим катастрофально положение жатвы — все сгнило от дождей, у нас во 2-ой раз все погибнет!). Я ехала и так мне было светло, так радостно думать о тебе. Я все спрашивала себя: «Что бы это такое могло быть?» Да, я тоже поражена совпадением наших переживаний. Я верю, что передаются мысли. Это было удивительно. Нет, не жалей о моем сожженном письме. Право, так лучше. И свое мне сожги, не держи под печуркой до той поры, пока любопытный глаз не украдет твою тайну. Сожги это письмо. Обещай!

Ванечка, к слову о глазах: прошу очень — убери все мои письма, чтобы не валялись по столу!! Хорошо?

Да, мне предстоит тебе написать очень сложное, трудное письмо, если мы коснулись некоторых вопросов. Я хочу верить, что ты поймешь. Ванёчек, ты не вполне меня понял в большом письме. Видишь ли: чувство сожаления (например, после бала) это не сожаление о уже прошедшей радости, — совсем нет, это чувство осадка, перегара, сознание будто сделано было что-то, что ненужно, лишне, суетно. «К чему»? Ведь не объяснить же чувство тоски при виде чего-нибудь очень красивого. Я до страдания это испытываю. Я не знаю, что это такое. После любовной радости у меня эта тоска достигает чрезвычайных размеров до какого-то самоуничижения. Ни от каких-нибудь укоров разума, — нет, я даже не могу уловить никакого аргумента. А просто вот — тоска. Ну вот в сумерки бывает тоска. Ты знаешь? До слез. Я очень люблю этот час, но всегда почти тоскую. «Петухи» я (не обижайся), не перечтя 2-ой раз, подальше убрала. Я знаю, что они многое погубят. Тебя не упрекаю и очень хорошо понимаю. Я сама очень восприимчива и знаю, как это бывает.

И вот ты спрашиваешь: «Почему же ты вышла замуж?» Я *все* тебе скажу. Все, хоть это очень трудно и мучительно. Постарайся, дружок, меня понять: начну с детства. И как же тяжело этого касаться! Только при моем отношении таком к тебе и могу все открыть. Ты же оцени все как надо и пойми и... забудь...

Как-то раз зайдя на чердак наших служб во дворе, я стала рыться в ящиках, ища дощечки (что ли) для рисования и вдруг... среди хлама и старых бумаг мне бросается в глаза тетрадь с надписью: «Оля Субботина». Чья рука? Кто писал? Почему О. С.? Открыла... Это был дневник моего светлого, моего святого отца. Он начал его с самых первых дней моего существования не на свете еще даже, а... у мамы. Первые дни ее беременности и роды. Его торопливые, полные отчаяния строки, когда мама мучилась родами. Его муки, упреки себя. Подумай: упреки, что: «вдруг уйдет она, и я, я виной». Так и стояло. Дальше шли дни, недели, месяцы моей жизни. И наряду записки самые интимные его, как мужчины, гасившего в себе все, что от земли. Сережи не было 4 года... почему? Не касаюсь сего, не кощунствую даже мыслью и догадками. Но в дневнике он пишет в одном месте: «Как я убит, как слаб, как я ничтожен... и как сильна плоть. Как обещал я себе не повторять того и вот случилось... Но я люблю ее так свято, чисто, глубоко... для чего же э т о?» У него было много мучений, много стремления вознести свое чувство до неба, жить бесплотно. Когда я читала, — руки у меня дрожали и гнулись колени, будто я украла что-то. Но т.к. ничего, кроме еще большего преклонения, не вызвали эти признания, — то я не мучилась. Память же об отце стала недосягаемо-прекрасной. Я в исступлении шептала: «Никого не хочу, никогда не выйду замуж, если не найдется такой, как папа!!» Если бы ты знал, какой культ был у меня в душе к памяти папы! Так я росла. О тетрадке никому не сказала. Уезжая из Казани, я ее закопала на чердаке. Дом сгорел. Я до 21 г. не подпускала ни одного к хотя бы невинному поцелую. Мне, когда уезжали, сделал предложение один милый молодой человек и просил на прощание поцеловать в щеку. Я до того возмутилась, оскорбилась. Чувствовала как мечта разбита. Отказалась и отказала ему.

Сколько их было... претендентов. Покойный отчим звал их «скальпами» и написал даже стихи под акафист «Ольге-скальпоносице». Конечно, он даже и догадаться не мог, почему я их гоню — никто не походил на тень даже папы. Ни во сне, ни наяву меня никогда не тревожили «мечтания». Я была вполне цельна и целомудренна, в мыслях и помыслах. Потому, когда я (давно) согласилась стать невестой одного несчастного, запугавшего меня самоубийством в случае отказа, — потому я и написала: «Беру на себя крест, я так несчастна, но значит такая моя судьба, назначенная от Бога — спасти человека». Не буду всего касать-

ся, ты фабулу моей жизни знаешь, но многое теперь м. б. поймешь иначе. Всякий раз, как были встречи и конечно неминуемое разочарование — я была буквально больна. Не за толстомясого же «Никитку» я страдала тогда, нет, но за разбитую свою мечту и еще... этот «Никитка» при всем своем цинизме и оскорбительной вольности, с которыми он подошел к «глупенькой русской девушке», при всем этом меня задевшем и оскорбившем, каким-то образом расшевелил во мне самой какую-то «тягу» — еще неосознанную мной, неопределенную тягу женщины просыпающейся. Я помню, как я испугалась, именно ужаснулась этому ощущению от его пожатий моих рук (не больше) и потом в вагоне (я тебе рассказывала) его вольные разговоры и касанья колена, меня возмутившие, убившие, все взорвавшие в ненависть и негодование. Вернувшись домой, я слегла и пролежала 3 дня без еды. Приехавшему Максу-идеалисту[649б], как и я, рассказала о хамстве доктора и спросила: «Скажи, Макс, — есть чистые мужчины?» Он с жаром: «Да, Оля, есть, я такой же, как и ты, и есть еще конечно». Но это была только одна сторона моих страданий — самая главная была иная, которую никому бы не сказала — это то, что мимолетно как-то было приятно, — я не могла себя понять, не могла себя простить.

Я презирала себя и думала даже, что не стою своего отца. Я мучилась несказанно. А искушение все шло. Помнишь, я тебе говорила о своих чувствах в горах? В цветах? Потому и запомнила и помнить до смерти буду, что не прощу себе этих томлений. Я ненавидела себя. Я хотела даже сорваться со скал. И все же все было так скромно! — Не виновата же я в том, что всякое чувствование, даже чуть-чуть чувствование я фиксирую умом и мучаюсь. С детства я не мыслила жизни без ребенка, без детей. Я болезненно любила их. Конечно узнала, что дети не под капустным листом находятся, и вот потому-то и возникла у меня мучительнейшая проблема брака. Одно время, когда мне казалось, что второго папы нет и не найду, — я думала сойтись (на срок, до уверенности, что будет дитя) с каким-нибудь человеком честным, здоровым, верующим. Не видаться с ним, не жить, не любить, а просто выбрать отцом дитя с условием никогда больше не встречаться, так и писала в дневнике: «Чтобы не развратничать». Это были дикие мысли. Одно сумасшедшее желание иметь дитя. Хотела, зажмурившись, кинуться в омут с отвращением, как принимают касторку. Но это, конечно, чепуха. Пишу лишь для иллюстрации себя и своих чувств. В дневнике стояло у

меня: «Тот, кто не захочет жить со мной как с сестрой, не будет моим мужем, т.к. это не настоящая любовь, а похоть. Такого мне не надо». Американец, в каком-то страшном сплетении разговора сказал — как-то выразил, что он в женщине ищет прежде всего мать и сестру, что разошелся с невестой потому, что она хотела быть только женщиной, не понимала его, смеялась над его наивностью. Поймешь, м. б. почему я среди грязи (особенно в медицинском мире) так поразилась этим его светом. Я всей душой потянулась на этот свет. Все было между нами очень чисто. Я не столько была влюблена в него, сколько душевной думой полюбила его душу. За то, что он такой, мне непротивно было бы (так думала) иметь необходимую для дитя близость. Что чувствовал он — не знаю.

Он был очень сдержан, но мне показалось, что ему я была заманна и иначе, — он молчал, но так я думаю. Доминирующее в его чувстве — была чистая дружба. Когда с ним порвалось, его женитьбой на обычной кукле... Сам поймешь, что я испытала. Вскоре же узнала, что Макс-идеалист одну за другой портит девочек-сестер в больнице. Меня охватило омерзение. Я часто думала о всем этом, не имея никого, кто бы дал ответы. Я хотела идти в монастырь, но это меня не удовлетворяло. В клинике постоянная трактовка о «жизни пола», цинично, просто, нагло. Я запретила в лаборатории эти разговоры и однажды выгнала, назвав свиньей, старшего врача. Был скандал. Дошло до шефа, который меня оправдал и заставил того извиниться. После этого со мной вел шеф разговор: «притворяюсь я святой или действительно такая? Если я действительно даже во сне не мечтаю о физической любви (так и сказал), то я — ненормальна». Подумай, прибавь ко всему этому почти что на протяжении 5 лет с интервалами часто с год, — приставания Никиты и всегда утверждения, что я «страдаю комплексом», а не нормальная здоровая девушка. Мне говорили даже, что это опасно и т.п. Невольно я думала об этом. Помню, в Лейпциге, я была проездом в Баварию, — встретил на вокзале меня Никита (узнал, что я выйду в Лейпциге — была ярмарка) и... будучи совсем в моем духе... паинькой только сказал: «Живите, Олечка, как хотите, Ваше дело, — но все это болезнь Ваша». Я не спала всю ночь. И вот (поверь) без единого движения плоти (была совершенно спокойна) я разумом хотела перейти наконец черту, которая меня так пугает.

Я всю ночь боролась сама с собой, завидую иным девушкам, живущим просто, — решала и перерешала. И... утром

ушла на обедню. Там меня нашел Никита и сказал: «Я так и знал: мучились всю ночь сомненьями, и куда же, как не в церковь. И Вы правы... Вы 100 раз правы, милая чистая девочка!» И ничего никогда после того не говорил. Вот пойми и разберись. Я мучилась в этом глупом мире, боролась одна и все-таки осталась на своем, у пьедестала моего кумира. Но ты видишь, как все сложно.

Я вовсе не такая святая. Какая еще была борьба. Модный свет, в смысле современный, да еще медицинский — не убедили меня ни в чем. Я знала, что я совершенно нормальна, но не могла уйти от образа отца. Понимаешь, Ванёк? Я пишу сравнительно кратко. В действительности же было все куда сложнее. Вся эта теория Фрейда[650] и ему подобных. Книги, доклады, даже разговоры дома иногда... Я терялась разумом, но никогда не терялась инстинктом. Когда ушел Жорж, я была повержена в отчаяние — я не понимала, как он так мог. И опять: «Да есть ли такой, как папа, — не вымысел ли он, которому я служу?» Я плакала у аналоя перед Рождественской всенощной, и встав и пойдя назад, увидала сочувствующие мне глаза незнакомца. Это был Арнольд. С первых же дней я узнала от него, что он ищет в жизни. Чем и кем для него была его мать, — только ее образ ищет он в мире. Дальше — я даже не из слов его узнала, а все его существо выразило, что он гонится за чистотой так же, как и я. Не стану повторяться, — ты знаешь его драму и его отвращение к женщинам (во мне первой он примирился с образом женщины и матери). И не то, чтобы я его пожалела (как ты сказал), а я изумилась сходности наших переживаний. Я нутром угадала, что он не будет докучать мне т е м, что мне претило. Но он не из тех, что по немощности лицемерят. Просто (теперь-то знаю — это благодаря его нервозной болезненности) не занят этим — живет иным. И когда он мне сказал, что «либо Вы, либо никто на всю жизнь» — я совершенно это поняла, т.к. знала, чего он ищет, и что было во мне. Меня как-то сразило это открытие такого в нем, такого сходства исканий. Тогда я не могла всего понять и углубиться, не учла его болезненности так, как надо бы. Знала, что он бы надломился от отказа моего. И опять поняла как Знак Свыше. Веришь? Понимаешь? На мой вопрос: «хотите остаться мне братом?», — с восторгом: «больше, чем кем-либо иным!» Можно назвать меня дурой? Ведь мне было 33 года. И вот только тебе скажу (уничтожь письмо это!) мы оставались братом и сестрой 6 месяцев после свадьбы. И прекратили это братство, исходя из разума... «надо же

стать как все». Помню, почитав книжку Freud'а подумали, что это неверно. Особенно, если желать детей. Нельзя так совершенно «отходить» друг от друга.

Я не считала себя морально-правой противиться. Нет, без отвращения, и без страсти... случилось это. И потому что без страсти... не было и мутящей тоски, о которой я писала. Ничего не было. Я бывала нежна, ласкова, но поцелуи никогда не вызывали желаний. Я не могу тебе всего объяснить. Не думай, что я без любви, цинично отдавалась. Совсем нет. Арнольд (надо же быть справедливой) очень чистый и очень объективный человек. Этим он меня привлекал всегда. У него много благородства при всех недостатках. Вообще это верно, что сказал Dr. Klinkenbergh: «К Вашему несчастью он (Арнольд) слишком хороший человек, и потому Вам все еще тяжелей». (Эти слова без единого повода с моей стороны!) У нас было много общего во взглядах. Ты пойми: ни один русский (кроме того сумасшедшего) не подошел ко мне. А все те, кого я встречала — были такая пыль. Моя ошибка была всегда — какая-то готовность закласться в жертву, искание оправдания своего существования и т.п. Тут тоже, я как бы не осмелилась отвратить от себя данное знамение мне, — как я тогда думала. И эта встреча в храме... тоже как-то действовало. И как-то так непосредственно на мой взрыв: Господи, да неужели все такие? Близко знавшие меня чуяли, что я очень высокие требования ставлю и все еще верю в идеалы. Смеялись. А я никогда не жила трезво. Ну, вот теперь ты понял? Дрожжи-то мои давние. Оттуда, с пыльного чердака. Как бы завет моего папы. По натуре моей, Ваня, я не холодная. Ну, да что там, ты все знаешь. Я все, все понимаю. Я все могу чувствовать. Когда это пришло? Все-таки от постоянных касательств с жизнью в клинике. Там было все так голо — просто. Там я-то была — патологична. И вот потому-то я и вправду начинала терзаться: да кто же прав? Ну перейти? Понимаешь? Так все это сложно. Я не хотела жить после слышанных вольностей от Димитрия-Никиты. Как-то, по-своему он ценил мое целомудрие. Говорил после, что многое благодаря мне пересмотрел. Ну, вот...

Теперь, когда всякое горение — только для себя услада, никакого ребенка у меня быть не может (не сможет по здоровью) — мне все это претит. Да, я все, все ощущаю. Я страдаю, я ведь куда зрелее Оли прежней, и я конечно все-таки обшаркала свой идеал... но все же... если бы ты знал, как я рыдала на Bellevue... по-моему однажды Николай Всеволодович слыхал. Наутро он меня очень чутко спраши-

вал, хорошо ли мне? Я до смерти мучилась. Ах, это неназываемо, беспредметно. И вовсе я не хочу казаться тебе какой-то святошей, мимозой. Я грешная, простая, сама многому виной, но что же я сделаю, если я так устроена, что страдаю.

Я часто завидую женщинам без вопросов. У них все проще. Ты упрекнул меня как-то, что я в 43/44-ом еще как-то была женой Ара. Как это все неверно и жестоко. После операции моей я долго переживала мое инвалидство. Ар утешал меня. Он думал, что я оплакиваю свою женскую приманность? М. б. так думал. Так это понятно. Вот так все и было... Я могу совершенно уходить из жизни. Жить без оболочки, не желая этой оболочки[i]. Но ты меня влечешь и будишь. Я не упрекаю. Я только поясняю. Мне кажется, что ты обижен, когда пишешь, что можешь и не писать вовсе. Ты знаешь, как мне это будет больно... Очень больно. Я так верю, что ты все поймешь. Конечно, мне горько, что я не устроила жизни, как следует. И ничего не получила из того, что ждала. Конечно, таких, как мой отец и нет. Он был очень светел. Я не могу всего передать, но, Боже мой, как был он устремлен ввысь. Какой полет. И он такой же горячий, как я, весь страстный, весь очаровательный и красивый. Что были искушения, — я знаю: он дивно пел, и вот записал: «Не смею петь арий любимых, — они волнуют, мешают молиться». Ну, довольно. Много бы я могла тебе сказать. Но если ты поймешь, то уже понял и из того, что сказано.

Рада, что тебе понравилась обложка с лилиями. Они из твоего мне букета. У меня много всего в голове и сердце. Твое «Прости» — конечно прелестно. Но как и ты, и я сказала — прощения тут не при чем. Я не сержусь, и ты меня не обидел. Я, только боясь порчи прекрасного, предупредила. А это прекрасное как мое, так ведь и твое же! И еще: все это тебе и вредно. Если я совсем разбита от этих писем, то что же с тобой-то? «Наказание» тебе — по-моему разве наказание? Разве не был ты хоть на короткий срок как-то освобожден от томленья? Я не знаю, но думалось, что да. Тебе стыдно было? Почему, милый? Хотя я понимаю, понимаю. Вот это то же самое, о чем и я пишу. После такого всегда осадок. Никакой конечно вины. Но какая-то тоска, не по себе. Я понимаю. Но не винти себя! Не воображай! Сознаюсь тебе: «петухи» меня как-то обижают все-таки. Именно это «давили». Будто ты вместе с этими воинами по-

---

[i] В оригинале: оболочкой.

смеялся над «святым» весталки. Мне это больно как-то. И еще оттого, что посвятил мне.

Ванечка, утихни! Помнишь, как ты писал: «моя квартира будет тебе храмиком...» Как я ценю это. Как жаль, если это ушло. Ты все время в гореньи. Я боюсь за твое здоровье, родной. Все в тебе и у тебя понимаю, дружок. Ничем не попрекну*. Но не надо усиливать пыток воображением. Вот сейчас пишу, и толкнуло что-то. Думаю: наверно 11 часов и Иван думает. Посмотрела на часы: точно — 11 часов. Ты опять горишь? Зовешь Олю? Ну, успокойся! Я всегда с тобой. Ой, чую как ты сейчас со мной... С чего так сердце бьется. Ваня, Ваня... Ну, утихни. Пойди спать. Пойди один спать. Без мечты об... весталке. Я поцелую тебя очень нежно и тааак любовно-чисто. Милый Ваня... Ласковый... и будь братик! Милый. Целую. Твоя сестренка Оля

Люблю, люблю тебя. Горячо, нежно. Люблю. Пиши!

Эх, — Ванёк, Ванёк. Твоя Оля — Паша Тоника.

[На полях:] Я тебе все снова описала для ясности, как я вся была жертвой *всегда* одного устремления и... разочарования. Только потому пишу.

Ты обещай мне сжечь письмо — эту мою исповедь тебе. Ты должен!

Если тебе не трудно, — м. б. пришлешь металлическую коробку из-под сухарей?

Ванёчек-голубочек... так милой хочется быть к тебе. Ласковой, нежной. Люблю, очень люблю.

Пиши мне. Живу твоими письмами...

Люблю Ваню. Но Тонька должен быть пай! Ванечка, иди спать. Один! Да?

[Поверх текста:] Сожги письмо! Это важно!

[Приписка на конверте:] Лучше прислать это письмо обратно, а не жечь. Во имя В. светло работаю. Спасибо, от души спасибо за благословение. Об этом пишу особо. Полна мыслей о светлом, любимом В.

147

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

28.VIII.46

Голубонька Ольгуна, с 20-го августа я был в «пожаре» и негодовании — за все. Я написал 7—8 больших писем, рвал, мучился... Прочту — и жаль всего, а главное — тебя! Писал и плакал... О, какое страдание! Все поднялось, ярко встало, что было, — и эти, особенно «разметан-

* И меня это и мучает, и травит-манит. Ну, что же? Я откровенна.

ные 5 недель Парижа». Это пренебрежение мной, моим, — всем, что со мной, во мне. Затем — новые приемы — [позы], это опущенное забрало Девы Железной. Это — «брат и сестра», небесная любовь... Сегодня перечитал последние твои письма, укоры, обвинение в «разврате» за «метаморфозу» — и это твое, благодарю за искренность! — признание... и этот поганый Фрейд... Так все поднялось... Я написал тебе... решительное письмо: все кончить. Еще эта твоя брань-хула на церковников... — я никакого отношения не имею, но меня отвратило, что такое — из уст твоих. Подобное свойственно лишь самой разгульной коммунистке! Что ты написала! 3 страница!! а на 1-ой — укоры мне. Даже угроза: «образуется трещина» (в отношениях наших!). Вот как!.. За «Петухов»-то?! Я все написал, 6 стр., решил послать через 3—4 дня. Вдруг — твое письмо[651]. Как мне тебя жаль стало... и всего нашего! Я решил — пусть, один буду в целом свете, но зато я сберегу дни — дни для работы. Эта «любовная история», — я все написал! — столько у меня отняла! Что, что я получил!? Терзанья, боль, пренебрежение, до хулы на мое творчество.

Ты помнишь... Я ничего не коснулся в письме. Я отложил его: мне стало страшно... гроба. Да, тебе передались мои метанья, мои ужасные страдания этих дней 20—28. Ты тосковала. Ты навестила меня. Да, это было «удушение» (твой сон!)[652] мое — мои муки эти! И это 2 — падение давления, — почти смерть. Я прочитал твое письмо — и не мог решиться послать. Вчера я написал едкое стихотворение «Увенчание любви» (по поводу Фрейда и «рейда»). Злое. Сохраню, пока, не шлю. Твои письма убраны, будь покойна. О «Чаше» (обложка) напишу тебе мою волю, — сохрани. Скажу Юле. Обложку шлю отдельно: она — к чистой «Чаше» — и я не хочу мешать ее с преходящим и давящим.

Знай, Ольга: я люблю тебя *не* на-ветер, не «по настроению»: я знаю все твои недостатки (мно-го!), но я чту твои достоинства и твой дар, и твое сродство со мною. Да, люблю, себе на муку. Безнадежно, безутешно. «Небесной любви» — нет ее: она в большой и полной Любви. Вот такой я люблю тебя. Я измучен, всем. Я — один. С будущей среды будет кто-то приходить, была сейчас Юля. Я все должен делать, и я ни-чего не могу делать. Я, кажется, не ем, так — чай, что придется. Я сгораю. Плевать. Только бы кончить «Лето Господне» — переписать. Письмо от чудесного И. А., которого ты оклеветала. Бог тебя прости. Он — весь чистый. Ты ни-чего не знаешь. Питаешься советской печатью, по-

га-ной. Не пиши мне о «делах», я ни-чего не хочу знать. Маме отпишу и пошлю ей «справку» (по выверке арх. Владимира, точно. Прислали — просили — для Голландии).

У тебя «дело Церкви» — на 5 минут. Люди страдают, а вы в советскую дудку-гадость дудите! Пойми: ад там! Убийцы и слуги дьявола. Ты прекраснодушием твоим — твоим порывом (ты порывиста к добру — и часто делаешь зло! — порывом!) все скрашиваешь. Знаю: ты — чистая. О, как знаю.

Если бы ты была здесь! Я упал бы у твоих ног, положил голову (как она томит меня, мысли... и это 5-й месяц сжатие и раздражение!) на твои руки и — заплакал бы, неслышно, сердцем... Как одинок я, когда не работаю! Я чувствую, как я слабею (сердце), — все во мне перегорело... Оля, я не вынесу доле... Я так измучен. Но я люблю тебя, несмотря на твои извивы, упреки, угрозы, хулу... Ты меня запинала... — даже издалёка. Ты ласковая, да... Но я заметил: чем больше я тебе дарю ласки, — ты закусила удила — несешь!.. Я до сих пор не знаю, дошло ли до тебя посвящение рассказа «Марево». За 10 дней до посыла стихов «Марево» ты писала: «Неужели ты хочешь посвятить мне "Марево". Я так безумно люблю его...» Я послал тебе два «Марева», и оба посвятил тебе. Посвящение рассказа на листе, где стихи. Не дошло. Ни звука, ни намёка, что знаешь о посвящении. Что это... пи-нок! «Ми-мо», так, выскользнуло. С тобой такое часто. Я не писал тебе. Но все слагалось. У меня так всегда: накапливается, до разряжения. Так все и собиралось. Я должен был избавиться. И вот — письмо, (я долго, ночами взвешивал, кусал подушку!). Написал. Сегодняшнее письмо твое... — я заплакал болью, любовью, жалением. Я понял (знал!) как тебя люблю. И — остановил.

Эти стихи — ответ оскорбленного писателя — Тоньки. С него спрашивай. Шмелев Иван чуть в тени. Ольга, помни: другого Вани никогда не будет, такие не повторяются. Ольга, в веках, разбилось на 2 половинки живое ядрышко — Тайна Господа... и вот две эти половинки... чудом! — нашли одна другую. Так я слышу. Оля, жизнь — Тайна. Не склоки попов, не дьявольское действо большевиков... это все пыль... — а Жизнь — Тайна и Святое. И надо уметь эту святую тайну слышать, ее движение — в Жизни. Это — отчасти — делает — чистое Искусство. Конечно, не шутливое Искусство... но оно тоже искусство — Тоньки, рождающегося, как бы Творца. Это — отдых, игра.

Олёк, я тебя люблю — и потому страдаю. Писать тебе буду мало. Ва

Feminis ultra pudicis dedico*

ОТВЕТ

Ему и больно, и смешно,
А мать грозит ему в окно...[653]
А. Пушкин**

Прошу вернуть «метаморфозу».
Грозящий палец понял я:
Смутил стыдливую мимозу
Смешок игривый бытия.
Пристойны келье (NB)***[654] чистой девы****
Лишь воздыханья о грехах,
Канона постного распевы,
А не стихи о петухах.
Но у меня иное чувство:
В искусстве смелом нет греха,
Пусть будет даже то искусство —
Шутливый стих про петуха.
Да хоть у Пушкина, к примеру,
Возьму — «Нет, я не дорожу...»
Иль — «Леда»[655]... — ну, какую меру
К его стихам я приложу?..*****
Искусство? грязь?.. Грозящим пальцем
Тут ничего не изменить:
Не станет же Искусство смальцем
От непосилья оценить!******
Сегодня, — «Лодочка» — чудесно!..
А завтра, — «Петухи» — разврат!
И все — в одной душе совместно:
Какой тут строй?.. и где тут лад?! ...
Я не умею лицемерить:
Сегодня — так, а завтра — нет.
«Всегда одним мерилом мерить
Одно и то же!» — мой ответ.*******

---

* Женщине сверх целомудренной посвящаю (здесь и далее к стихотворению примечания И. С. Шмелева).

** Ну, понятно: «Вот бегает дворовый мальчик...» и т.д. Ш.

*** NB: ясно, что все перепутал, и говорит о Паше — в келье!

**** Понятно, он ни-че-го не знает, о Фрейде? о «Фрейде»? Путая, очевидно, со своей Па-шей! Это как бы продолжение его упражнений... стихотворных. Неисправим!

***** И все-то зна-ет!.. Почему «Прозерпину» не помянул — ? Там куда хлеще и голей, хоть и напечатана в академическом издании!

****** Нет, ка-ков! Все тот же, как был 16-леткой, за-ди-ра.

******* Как высокомерно! Тонька остался верен этой «maxim'e»!

«Метаморфозу» мне верните,
как непристойное, *для вас*.
Вино сивухой не зовите —
И пейте обиходный квас*.

Тонька

24—26 авг. 46
Париж**

Обоснование:
Из письма[656]:

«Я не развила мысли о твоих гениальных любовных гимнах — "*лодочка*". Они именно гениальны».

Из открытки[657]:

«"Петушков" не принимаю всерьез... За "Петушков" грожу пальцем».

Из другого письма:

«Я органически не переношу двусмысленностей... Я не выношу ничего, что бы хоть как-то соприкасалось с понятием о разврате».

(и как он узнал эти «выдержки»?! ...)
Помета:
В сравнении с откровенной «лодочкой», — «Петухи» прикрыты в меру (знает!!!), требуемую искусством, и могут быть напечатаны. «Лодочка», пусть даже и «гениальная» (а, ведь, он прав, Тонька!), — ни в каком случае!

Тонька ——————— *удостоверяю подлинность* — Ш.

Ну, до чего же я-зва!..
Тонька — мальчуган, и потому на «вы» (для пущей язвительности — «вы»-то!)

Т.

И не О. А., а — Ольке-рОвне. Она была глу-пая, тогда... когда писала письмо?..
Тоничка посылал — он и просит. И — настойчиво, — такой упрямый, в достижениях и порывах, до... *«пылающей головы»*. И какой же знаток латыни! Ш. должен давно бы забыть!..
Последнее примечание Ш.: по-моему, не надо возвращать Тоньке, а то еще напечатает, — неуемный.

---

* И знает, шельма, что такое — «обиходный квас»!
** И как он, Тонька, попал в Париж — в 46! Неувязка? Чудо? Или он в кого перевоплотился?..

148

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

ПОСЛЕДНИЕ СТИХИ

УВЕНЧАНИЕ ЛЮБВИ

Она рвалась к любви небесной
От темных мук земной любви,
Томилась прелестью телесной,
Но побеждала бунт крови.
Бессильны были все попытки
Дорожку в рай ей показать,
Но не избавила от пытки
Сама святая благодать.
Головоломную проблему,
Как отыскать спокойный рейд
И подобрать ключи к эдему —
Ей разрешил жидочек Фрейд.
Он доказал, что есть рефлексы,
И вот от них-то бунт в крови,
Но можно разрядить комплексы
Одним усилием в любви.
Любя свою мечту безумно,
Признав, что прав волшебник Фрейд,
Решила действовать разумно —
И обрела спокойный рейд.
На рейде якорь опустила,
Сказав прости святой мечте,
Флажок на мачте опустила
И стала жить, как все — те, те...
И идеал любить небесно —
Покинут и, в забвеньи, пал?
Нет, обретаются совместно
И тот, и этот идеал.
Душа-душой... но есть же тело!
Об этом долго говорить...
Душе до тела есть ли дело?
Ее призвание — парить.
Уступку сделав правде Фрейда,
Храня незримо свой полет,
Она порой взлетает с рейда,
Светла, чиста, как горный лед.
На рейде все благополучно, —
Опущен якорь, дремлет флаг...

Как в нашем мире все созвучно!
Как много в жизни тайных благ!..

1.IX.46
Париж

Надеюсь, что хоть э т о — стихи! — «не соприкасается с понятием о разврате»?! ...

И. Ш.

В зависимости от содержания твоего ответа — на в с е, я пошлю свое п о с л е д н е е письмо. Я все пересмотрел, все учел, и, как ни тяжело мне, я обязан принять и исполнить уже почти решенное, уже высказанное в письме. Письмо ожидает отправки. Ни на что нет у меня сил отвечать. «Груши» во мне ничего не вызвали. Листва — хорошо. Да груши — самый неблагодарный предмет для художника naturemorte.

Сегодня сниму все твои картинки, — выцветают, писала ты. Сложу в папку, сохранны будут.

Спасибо. Да, «груши» неудачны (тяжелые «бутылки») и даже отражение листа на щечке правой груши — совершенно как мазок, а не рефлекс. Очевидная спешка, — и потому такая явная неудача.

Ш.

Поверь, — пишу бесстрастно, с этим (оценкой) я никогда не шучу, и мое «настроение» тут непричастно.

149

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

2.IX.46 11 ч. 45 ночи

Безнадежно-бессильно сокрушаюсь, Оля, что послал тебе сегодня, в 5 ч. дня письмо со стихотворением «Увенчание любви». Но... не вернешь, депешу — не дерзаю, — воротить. Да, порыв... н е д о л ж н ы й. Знаю: ты страдаешь с в о и м, а над страданием не смеются. Это непростительный мой грех. Я сознал его. Сожги эту злую и скверную шутку. Это — боль крикнула во мне, а я не задушил ее... В с е силой сердца и совести постигнув, истираю: не было от меня тебе издевки: это — от всего во мне больного, злого, все превозмогшего. Видит Бог: каюсь, целуя твои руки, твои чистые глаза, мученица... Прости. Если можешь. Нет, я не пошлю тебе последнего письма, — да укрепит меня Господь во свете, да просветится мрак мой... да смилуется надо мною и пожалеет!.. Мне очень... непереносно. Только Он видит. Я изнемо-

гаю. Можешь? — зачеркни. Те, первые, — от Тоньки... Там — правда. В стихах нет ничего развратного. Все — от многого: уколов и укоров, и угрозы: «м. б. трещина!» — твои слова в последних письмах. Все это накопилось и — взорвало. Мои нервы измотаны. Сил нет.

Вот, случайно, узнал только что. Раз 4—5 в 1945—46 январь бывал у меня советский офицер, фронтовик[658]. Очень культурный. Два высших училища, филолог между прочим. Очень религиозен. Церковник. Всю войну прошел. Всю Россию видел. Талант, умница. 37 л. Сибиряк. (Все пишу только тебе, помни!) Знает и современную и классическую литературу — нашу и европейскую. Сам — писатель (пока критические этюды, очерки). Друг (был) Нестерова. Я тебе писал о нем. Как — в побывку в Москве — был в Румянцевском музее. Ему показали роскошное издание — «Похороны Патриарха Сергия». Сказали — не увидите нигде: это — товар экспортный. Так вот, он все видел. Самое — последнее. Здесь он был «выпускающим» «Вести с Родины» (все по [телефону] из Москвы) — для Запада, эмиграции. Оттуда берут советские подвывалы и зазывалы, коими ты питаешься. Он знает всю правду о Церкви. И обо всем. Меня он особенно чтит, узнал до войны по старым книгам, и на фронте, захватывая русские города у немцев, находя в разбитых библиотеках книги. Чего не хватало, здесь доставал у русских библиофилов, платя щедро. Сказал мне все обо мне: «Для всей России, но не теперь... Вы, вообще, неприемлемы: по Вашим книгам воссоздают нашу Россию. А учат ее забыть». Все уступки — случайны, вынуждены... — и уже отбираются. (Показал № «Литературной газеты» с речью председателя всесоюзного Союза писателей[659].) Это был последний его приход ко мне: в конце января. Каждый день ([праздники] его видел М[еркулов] на Daru)[660]. И вот, 3—4 месяца — про-пал он... Никто не знал. Он бывал у писателей... у [главных]. Показывал мне образок нательный, благословила его мать-старушка (он сибиряк). И вот, сегодня, узнаю: был в Париже временно Алданов. Уехал Алданов сообщил: тот — в New-York'e!! Пишет книгу... Ви-дишь? Это сознательный русский интеллигент, новой формации — весь советской школы. Я много от него слышал, даже оспаривал его: не верилось. Он говорил с горечью: «как мало, как криво знают здесь!..» Приходил в негодование и называл «изменниками» и врагами народа про-советчиков. О каких страданиях народа поведал! Ско-лько прошел (в походе) колхозов, сколько слышал... все взял на сердце... Пла-

кал! — видя, как страдают. И вот — не мог, ушел. Чтобы сказать правду. Теперь вспоминаю грусть в его глазах (он очень красивый, сильный!), чистый ликом, прошел всю безбожную программу (37 л. ему, при-кинь!). И — мать оставил. Ибо — у него другая Мать, Великая. Не себя спасая, он смерть ви-дал! Для — Нее! И когда я думаю о нем теперь — и вспоминаю, что ты писала мне о Церкви, что я знаю, что пишут гады, продажная св-чь, [перекрашеные]... подонки, до игры б.... до хождения в полпредство Маклак[ова]... и прочее... — я так ярко вижу, где правда. Там весь народ (не пристроившийся к пирожку) неслышно стонет... — ведает все инстинктом.

Прошу: ты взрослая и можешь жить своим суждением, конечно; но хоть мне-то не пиши, и не надрывайся, не хули достойных. Все не без греха. Но жива Жизнь, когда, пусть безнадежно, идя на риск, борются за правое дело.

Оля, прости Ваню. Он очень мучается.

Твой Ва

Господь с тобою.

Я сейчас вызвал в памяти...

Если бы ты была здесь! Я помню, как благоговейно подходил к тебе, ты отдыхала... в полумраке... брал твою руку... слышал, как ты дышишь. Как я любил тебя, Оля!.. Ты не замечала моих глаз, слез в них, слез счастья, нежности, любви...

И вот, недавно, лежа на кушетке, все еще мучимый и болями, и горем моим (за-чем послал?!) я вызвал в памяти тебя. Я услыхал тебя. Твое тепло. Твой вздох, тихий, ровный... Живой!.. О, я не одинок... Это — ты, моя Оля, другая, по-новому повторенная, усложненная... но любящая, нежная, сердечная... я не одинок...

Теперь — о, как одинок!..

Как пусто, как страшно мне... Как бесцельно. И как безвольно!.. и безнадежно.

Зачем все это... было?! ... Лучше бы да-вно уйти. Ждать нечего. ЕЕ мне не видеть, не дождаться. Она будет, м. б. еще краше, еще выше духовно, чище... и — вся — в своем, природном...

«Вся снеговая-голубая...»[661] (эти стихи чаруют буквально всех, кто слышал. Сегодня читал уж литераторам — (между прочим милый Вадим, сын Л. Андреева[662], 43—45 л., а я его видел в Райвола в Финляндии у отца 10-летним. Он — поэт). Были зачарованы... до глубокого, долгого молчания. У меня выступили слезы...)

Оля. Я очень истомился, никогда так. И все, и ты (наше), и боли, — ведь 5-й месяц! Этот жуткий зуд. М. б. надо бром? Доктор-[1 сл. нрзб.] сегодня сказал: раздражение лицевого нерва, бром должен прекратить в 10 дней. Но мне нужен особенный бромосодержащий препарат. Что скажет Krymm, которая не является. А то действует на ulcere duodenum. Оля. Мне больно, что тебя так обидел. Я все зачеркнул!! Клянусь! Ваня

150

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

3 сент. 46

Дорогой мой и любимый Ваня!

Потому что любимый — потому и буду писать обо всем — иначе — закрылась бы просто.

Я не могу больше выносить того, что ты со мной делаешь. Я не смею молчать и не говорить тебе о том, что ты совершенно не прав. Неоднократно ты поминаешь о 5 неделях в Париже! Заклинаю тебя Господом Богом: ты же *знаешь* сам, что ни одно слово этих упреков не верно. Не только часы, но секунды все дня я думала только о тебе, будучи в Париже... Знай это и замолчи, — перестань корить! Что делать мне, — я в отчаянии, я плачу, я в упадке — что делать мне, — если все лучшее во мне, мои добрые порывы так отражаются на окружении. Ты знаешь, — ты не можешь не знать, что я только и живу твоим. Как можешь ты так плевать в чужую душу? Да это ты, ты, который всю «испинал» меня. Я клянусь перед Богом, что никогда не посмела бы даже подумать о пинках. Я страдаю невыносимо от того, что создается безнадежность. До того страдаю, что не хочу жить! Все упало во мне: я не могу (и не буду, конечно) писать, т.к. не умею выражать себя, самое заветное, самое сильное. Выражаю его так, что ты, самый чуткий, понимаешь наоборот. У меня сбиты крылья. Я в упадке крайнем. Но что тебе до сего? И не надо заниматься мной. Я *не* «закусила удила», — пойми, пойми, что я мучаюсь. Сколько раз и как я должна тебе сказать, что предпочла бы самой *не* быть, только бы не мучить других.

Никто не может прыгнуть выше себя. Я не виновата, что я такая несуразная. Если ты этого никак понять не можешь, то хоть поверь мне на слово и в память твоего сына не бей меня незаслуженно. Я в последний раз тебе говорю, что я ни разу даже в мыслях тебя *не* «пинала». Как это больно мне. *Ты* — да. Ты чего мне только не бросал в

19 — 11249

душу! Но я не хочу перебирать все — я не сержусь, мне не до этого. Я несчастна. У меня нет сил. Никаких. Ты не ценишь и не дорожишь светлым. Тебе надо перцу — а то не вкусно. О фактах: «Лодочку» я поняла точно так же, как и «Метаморфозу», но это был экспромт, меня он как таковой и поразил, — как вспышка, как «скачок в сторону», единичный. «Петухи» и некоторое другое явилось уже чем-то, что устанавливало целый ряд этих «скачков», и получался бы уже сплошной «бег в стороне», по боковой дорожке. От сего-то я и предупредила. Всякую же твою резвость в искусстве, конечно, ценю, но тут говорило во мне Олино — Ване, а не читатель писателю. Пушкинская «Леда» — не мне. И Юле — «Петухи» тоже не ей. Понятно? Ибо от нечего сказать мне (больного) выдумываешь всякую обиду. Если бы хоть 1/100-ую твоего я — тебе сказала! Конечно, я — пешка только в жизни, а ты король, но и у пешек есть души. Не могу больше писать. Я очень обижена тобой, а главное не вижу просвета, т.к. все эти 7 лет все одно и то же. Тебе радостно меня мучить. О «Мареве» я восторженно писала тебе. Поищи — найдешь.

И. А. прислал маме письмо, с просьбой размножить *его* (*им сочиненный* пасквиль на духовенство Евлогия) ее рукой или машинкой (чтобы не знали читатели, что от него) и послать по данным им, И. А., адресам в Гамбург, а те люди разослали бы дальше по Европе как письма, пришедшие из России, как *отголосок* оттуда на Евлогия. Я ничего не клеветала. Одумайся, как легко ты оперируешь такими утверждениями. Не я это виновата в том, что и такой маститый, как И. А. — делает ошибки. Это я не [расписала] подробно тебе, т.к. считаю лучше молчать. Но — знай! Фабрикация слухов и документов — для меня одинакова в оценке, кем бы она ни была сфабрикована. Нельзя быть личным. А *ты всегда* во всем мне оппозиция, очень субъективен ко мне. И всякая посредственность хвалится тобой только в пику мне. Вспомнилось как ты нарочито хвалил художницу-иконописку. А ведь не по заслугам, ибо триптих-то никудышный. А как цеплял ты ею меня! И Ириной Серовой! Этакой-то рыбой! Для меня И. А. всегда великий, но на ошибки глаз не закрываю.

Я не могу продолжать письма, т.к. нет смысла перетрясать все *твои обвинения*. Я не могу разбить себе голову об стену. Ты глух ко мне. Но вот знай: я перед Богом говорю: ты выдумываешь на меня! А в остальном — да будет тебе твоя совесть судьей!

Я виновата в ином: я увлекаюсь чувством, я бездумна. Я не должна была ехать в Париж. Но неужели ты упрекнешь меня в этом?? Зная себя, я могла только вся заковаться, если уж моя жизнь была мной самой так глупо решена в 1937. Но говорить тебе ни о чем нельзя, — ты моего самого потаенного — о папе не оценил и не понял. Ты что-то о... Фрейде... выискал. Как недостойно и... странно. Фрейд — тут такое маловажное. Только штрих к той современной обстановке, в которой я зарабатывала кусок для себя и семьи, в которой варилась всю лучшую часть своей жизни и не замазалась ею *ничуть*. Ты хлещешь меня за то, что сволочь вилась вокруг, а я как белая ворона, несмотря ни на что ставила их на место. Завися от них, без прав на жизнь, я все-таки их ставила на место. Те, кто меня знали, — ценили не так, как ты. Ты живешь на Boileau укрытым от современной Европы. Попробовал бы в немецкой больнице поработать в роли молодой девушки... ассистенткой... Они же официально звали нашу профессию «medicinische Halbwelt»[i], — в противовес врачам — «medicinische Welt»![ii] И получалась сальная игра слов. Кое-кто охотно понимал намек, из девок. А мне как больно, что ты-то как раз меня к этим стервам приравниваешь. Я чистой, чистейшей прошла через этот ад. И ты не смеешь хоть намеком что-то выискивать. С чего ты Фрейда выискал? Это из всего-то письма... О чем? Я тебе самое святое, сокровенное поведала, а ты так? Больше мне не о чем в таком случае писать.

Никто «под советскую дудку» не пляшет — я разделяю власть и народ. В данный момент ощерился весь мир на русский народ — на нашу землю. Я делаю выбор русского человека. Все остальные точки зрения считаю неверными. Ты можешь считать неверной — мою, но каждый свободен в выборе мнений. И скорее буду русской коммунисткой, чем английской монархисткой. Но этого не надо, нечего и говорить. Не задевает!

Я не говорю уже о твоих (по-твоему, видимо, совершенно естественных) обычных уколах мне. Этот намек на «квас». Все это м. б. и так, но не думаешь ли ты, что именно таким образом оскорбишь особенно больно, ибо бьешь безоружного, его же оружием!?

Но довольно. Мне невыносимо больно от того, что ты конечно сам страдаешь. Но я не в силах ничего сделать. Ты выдумываешь, а в твоей фантазии кто же волен? Простой

---

[i] «Медицинский полусвет» (*нем.*).

[ii] «Медицинский свет» (*нем.*).

случай с оперой в Париже: ты его разукрасил так, что действительно как будто бы тебя тяжело оскорбили. А что было-то? Я днями бегала за билетами, (тобой же руганная за отлучки), без знания языка. Не получила ничего, кроме этого дрянного места, хотя просила Ксению Львовну взять по 1000 фр. за место (спроси ее — умоляю!), хотела тебя именно как следует пригласить. Я была смущена, но т.к. ты же — свой, не остановилась, ибо мне *очень* хотелось послушать хоть одну оперу с тобой. Твои упреки выходят из всяких рамок болезненности и бьют нестерпимо. Но как хочешь. И так все! Я пошлю тебе сегодня заказным «Куликово поле», хотя оно уже в окончательной редакции. И «Иностранца». Я ничего больше не могу ни писать, ни рисовать. В груди «кол». «Метаморфозу» не пошлю тебе конечно обратно — это детское: — «на Вы» и т.п. Перевод «Богомолья» пошел было хорошо, но теперь ничего не делаю. Завтра еду с доктором в Вурден за фруктами на автомобиле, — а то бы, вероятно, и завтра проплакала. Dr. Klinkenbergh был у нас с визитом в субботу — говорил только о тебе. Раскатал твою Эмерик (тоже ведь за нее меня хлестал — помню. Только я-то не выдумываю, а факты имею!) Сам спросил: «А что значит "ogarok"»?[663] И когда объяснила — «как можно так неряшливо переводить?» У тебя и Златка — богиня, если меня помучить надо. А если бы я так?

Я так тоскую, так прибита, что не рада жизни. Я, наверное, нестоящий человек, я никому не нужна. Зачем, зачем я родилась? Жить-страдать, все время страдать, для того, чтобы с ужасом в душе ждать смерти! Я сознательно рада, что не имею детей! Зачем связывать к жизни такие же жертвы?

О, как мне нестерпимо тягостно.

Все, все плохо. Я испортила жизнь и свою, и чужие жизни. Я проклятая какая-то, — к чему ни прикоснусь — увядает.

Меня дома не понимают. Искусство мое — им — забавка, провождение времени. Вижу. Не с кем поделиться. Мама обожает Сережу — вся в нем. Я — между прочим. М. б. и любит, но мы так различны, что она тянется к нему.

[На полях:] Ванечка, одумайся, обратись к Богу. Я хорошо к тебе! Но очень страдаю.

Ну, Господь с тобой. Я не сержусь, я убита. Оля

Вчера у нас страшный случай: въехал молочник с автомобилем в канал (что нарисован у меня), — утонул — 24-летний красавец-жених. Под водой все гудел, звал. А 20—30 человек на берегу были бессильны. Наш работник вытаскивал. Все это в 2-х шагах от нас, на том самом

месте, где я рисовала картинку, что у тебя. И от этого события тоже такой гнет на душе. Ехал за нашим молоком для фабрики. Собирал на грузовик и по деревне.

[Приписка на конверте:] Между прочим: о Фрейде читала по настоянию И. А., очень считавшегося с его теорией. И. А. очень многое из нее именно сам выводит. Плохо себя чувствую, не поеду завтра с доктором. Откажусь.

151

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

20.IX.46

Ванюша мой, солнышко, милый глупыш, задира и драчун, но все же хороший мой!

Сегодня день твоего рождения. Ты получишь цветы, я была у другого блумиста[1] и сказала, что их конкурент поставлял дрянь, потому и беру их в надежде, что они сумеют послать лучше. Сказала: — это большой, известный писатель, вот Вы имеете с хорошим именем предприятие и, очевидно, знаете в своем деле толк, — скажите мне, на какую сумму Вы могли бы достойное выбрать такому лицу? Он назвал. Я удвоила и сказала: если теперь он все же получит дрянь, то знайте, я уйду из Вашей клиентуры и не буду молчать, т.к. этакое было бы нечестно.

Он очень расшаркивался и обещал. Я заказала розы особенно красивые здесь «зальм-клер» — т.е. розово-золотые или, если их нет, то чайные, если и их нет, то что-нибудь иное, например, корзину с глоксиниями. Но не знаю, что пошлют. У нас на ту сумму подали бы роскошно. Магазин «Avrora», посылавший до сих пор, — протестантский, и безусловно представитель его в Париже тоже протестант. Я взяла теперь католика, думая, что в католической стране больший выбор среди католиков — их больше. М. б. Baumann всего один на Париж из протестантских блумистов. Не знаю. Но очень огорчусь, коли опять изгадят.

Обнимаю тебя все же цветами моими и прихожу душой к тебе сегодня в них! Молюсь о тебе и прошу всего, радости, света, здоровья, что тебе надо в жизни! Как прошу Бога! И вот о другом — таком горячем.

Я вчера кончила этюд к «Чаше». Акварель. Горю послать тебе. Слушай: если у меня не выйдет, то ни у кого не выйдет. Это говорю твердо. Я скромна обычно, но тут было

---

[1] Цветочник (*от нем. blume*).

бы фальшиво поддаваться этой скромности, надо объективно смотреть. «Чашу», как и все твое, я несу в душе так, как ты давал. Никто не знает тебя и не понимает как я. Это просто факт, а не хвальба, такой же факт, как то, что у меня длинный нос. Кому нравится, кому нет, но факт. Русское все — моя сущность, моя боль, моя жизнь (брось о «советской ячейке» — я знаю все, все терроры и сексотов, там ад, но нельзя делать то, чего жаждут англо-саксы. Я не приемлю ничего из дел советских, но живу Россией, а она жива в нашем народе. И будет об этом. Не обижай меня этикетками). Я горло перерву тому, кто «клюквой развесистой» стал бы кормить иностранцев, да еще в связанности с «Чашей». Понимаешь? Пе-ре-рву!

Я встала на точку зрения иностранца и поняла, что им надо. Они должны увидеть то, чего не знают, о чем ты пишешь, чтобы не исказилось у них представление о нас. Кто как не я сможет им сказать: «смотрите, вот это так выглядит, о чем вам говорит великий мастер». Какое счастье, что я могу рисовать! Я дам (не из-за денег, а из души!) им *maximum* русского колорита и покажу неведомое так, что они полюбят его и очаруются им.

Обычно дают тушевые иллюстрации. Это — провал для «Чаши». Что получится с ярмаркой, с ношением иконы без красок? Я сделаю так, что они сами захотят краски. Художники, за деньги работающие, считают часы потраченные и дают вот то, что стоит в «На морском берегу». Наброски в 5 минут. Нам надо здесь иное. Да, мои иллюстрации будут отдельные картины. Пусть так. Я работаю, не считая ни сил, ни часов. Горю, пишу душой.

По-моему, издать «Чашу» необходимо *иллюстрированной*. Только тогда ее поймут целиком. Они же ничего не знают, не видали. Я считаю нужным: ярмарку, ношение иконы, роспись храма (мальчик Илья), затем Илья сдает работу (встреча с Ней).

М. б. коляску и Илью за кустами (но это не обязательно). Икону в монастырской трапезной и мужика исцеленного м. б. Но не знаю.

Я считаю, что Лика иконы, самою «Неупиваемую Чашу»[664] нельзя касаться. Только один человек мог бы на это рискнуть. Это — ты. Ибо никто, точно не знает, кроме тебя. Коверкать же нельзя ни в коем случае. Лучше оставь загадкой. Любовные моменты, сколь чарующи они бы не были, я ставлю как иллюстрации — на 2-ой план. Они — общечеловечны. Для оживления книги, если издательство захочет, можно. В них тоже много чисто-нашего, но все мо-

менты чувств каждый читатель воспримет все равно по-своему. Я считаю, что *очень ответственно* показать верно наш быт, нашу суть. Это я никому не отдам. Знаю: застилизуют, изгадят. А я то облазила с детства все это и сколько же подползала под образа. Ярмарку шлю на днях тебе. Тотчас же верни заказом! М. б. покажешь только Ксении Львовне. И *тотчас* же мне отпиши: как ты видишь ношение иконы? Несут ли ее девушки на руках или 4 мужика на носилках на плечах? Носят ли еще какие иконы или ее одну? Есть ли хоругви, крест и фонарь, обычные при кресте. Ход? Духовенство сзади? Для ознакомления с нашим, могучим, можно бы все это дивно дать, но мне милее представлять икону одну Е Е, несомую 2-мя девушками. Не знаю. Но пожалуй для неубогого крестного хода надо бы дать *все* как бывало тоже. Всяко ведь носили. Есть ли монашки? М. б. пустить 2—3 с тарелочкой «на храм Божий»? Икона в киоте или нет? И еще: как она выглядит: чашу в руках держит или руки воздетые?[i] Скажи тотчас. Я страдаю, что не знаю этого, а то бы уже писала. Сейчас же пиши мне. Слышишь!? А то я остыть могу. Такого у меня не было. Ваня, будь осторожен с переводилческой интригой. Мне трудно судить, кто прав, но зная Эмерикшин «напор» — боюсь не крутит ли она. Она ведь у «Павуа»?[665] Попроси навести справки стороной, хоть Зеелера. Обязательно пришли мне *тотчас* же перевод Монго. Я дам его прочесть (не доктору, увы — он уехал, болен, и я боюсь — серьезно!). Дай Эмерик на пробу перевести страниц 10 и дай сличить, сличи сам. Ведь передо мной не стыдились на пробу предлагать переводить из «Богомолья» и на суд И. А. дать? А ее боитесь? Тут же большее зависит от их интриг. Я никогда не думала, что Эмерик тебя как женщина околдовала (тут, ни вода, ни вино — ни при чем), она напором своим и... нахальством тебя... «оболтала», твои слова! Оболтала. Она же при мне выхватывала у тебя *права* на «Чашу», а ты и не заметил сего. Я никогда не заикнулась об этом, а она — очень просто. Я знаю, что она у тебя все вырвет, коли захочет. Ты очень личен в оценках и сам того замечая[ii] написал: «Монго раскатал бы д-р К[линкенберг] и был бы прав»[666].

Значит на «раскат» переводчика вообще ты согласен, но если это коснулось Э[мерик], то можно даже за это выбросить как тряпку и 7-летнего верного друга? Я не хочу ссориться, но этим показываю тебе как она тебя околпачивает.

---

[i] В письме рисунок О. А. Бредиус-Субботиной.
[ii] Так в оригинале.

Что Юля говорит? Я не хочу никого задирать, ибо Монго даже не знаю. Но будь осторожен. И помяни мое слово: соглашайся с «Павуа» и не увидишь как своих ушей перевода «lux»[i], даже если пообещает. Их тоже оболтает Эмерик. Она знакома там с кем-то и упросит: скажите, что издадите lux, а потом что-нибудь «не выйдет». Она способна. Остерегись. Не хотела бы об этом мусоре в этом письме. Тотчас же отпиши мне, молю! Я хочу, рвусь работать.

Целую тебя очень нежно и ласково.

Оля

[На полях:] «Чаша» должна, должна быть пояснена слепцам иностранным. Вся наша красота не только дана тобой, но и глазам их преподнесена. И... мной!

Не за деньги, — их не надо.

Душой, сердцем пишу. Не дай же ради интрижек переводчиц всему пропасть. Я застыну тогда.

Я покажу даже лица молящихся, — этого они тоже не знают!

Еще раз обнимаю тебя и очень жду ответа, мне эти дни потерянные в ожидании! Хочу писать.

Все время о тебе думаю. Брось все раздражающее. Мне Эмерик кажется только в отношении твоего творчества опасна. Иного я не думала. А за творчество я съем кого хочешь и потом палец в глотку себе суну. Берегись и не отдавай бездумно ничего из своего. «Чаша» должна быть иллюстрирована.

[Поверх текста:] Скорей ответь!!

[Приписка на конверте:] Письмо шлю вместе с картинкой. Не могу ждать. Умоляю скорей ответить на вопросы и как картинка? М. б. покажешь кому, кто понимает. Всё технически несовершенное может быть исправлено; но основа мне нравится. Это же все наше. И краски как чисты! Ваня, это первое мое «дитя», которое жаль отдать. Я его люблю, впервые это. Обрати внимание на перспективу. Лужок[ii] удался, по-моему? Я не заполнила первый план народом, дабы не развлечь слишком зрителя. Слишком много мелочей было бы в ущерб содержанию. Потому все наполнение, гульбу и т.д. даю в лужке. А тут случайные, то, что типично. Но и с тобой согласно. Вдали чувствуется село, видна церковка. У тебя тоже так. Ванечка, я так нежна к тебе. Милушик мой!

---

i «Роскошного» (*фр.*).

ii В оригинале описка: ложок. Далее исправление не оговаривается.

152

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

26.IX.46 9 вечера Был очень теплый день, летний, солнце. Окна и сейчас настежь.

Олюшечка-голубка, завтра с этим письмом шлю тебе «Ярмарку». С болью расстаюсь с твоей картиной. Вот что: не хочу, не считаю нужным для тебя мои ответы. Ты сама сделаешь, как учуешь. Скажу лишь обще, приглядевшись к картине твоей. По-моему, не надо выписывать лица, а лучше давать намеки их — «пятна». Не в лицах дело, а в общем лике (духе, характере) иллюстрации, в позах, движении. В этой «ярмарке», например, могут быть очень спорны лица «гусляра», молодухи с начерненными бровями, — она заняла много места, отвлекает. Как чудесны «тылы» нарядных девок-баб! Почему врата монастыря закрыты? Настежь надо! Рябины все же хороши! Свободное место луговины перед монастырем могло быть гуще занято — пусть невнятными фигурами, ларями, лежащими людьми, игроками в «три листика»... Совсем нет животных — лошадей, — торгашами. Правда, «ярмарка» внизу, слева... в с. Рождествено. Несоразмерно мала палатка — лампадная с пьяным у — прекрасной — ! — березы. Не чувствуется «гулянья» — где-то должны быть «качели», карусели, «качели — доска на бочке»... «Гусляра» представляю иным: старик, непременно с длинной бородой или «смятой» — мочалкой, хоть «козлом», не расчесанного, как «ямщик», — он напоминает «ямщика»! — не в сапогах, а в лаптях, либо даже в валенках или «котах». Вижу его: худое лицо, «лик», щеки ввалились, голова — лысый! — закинута, — он, будто частично слепой, значит — «бельмы»... И, Боже храни! — не надо «выписки» лица! — а «пятнышко» и «поза», движенье... пусть лишь намек на него. Вот «тылы» баб нарядны! Как они говорят! Ты дала им такое положение, что видишь их лица, чувствуешь, чем заняты... Непременно у «врат», открытых, монашку, столик, с тарелочкой... но все это «мутно» дать, намек лишь... И по «дорожке» — нищих!.. — пятна их. Не надо напряженной «выразительности», и потому режет глаз бутылка, торчащая из кармана. Вот, как отлично «ломко» пьяница бежит — великоват?! ... — надо «засЫпать» площадку, дать людность, пусть и не здесь ярмарка. Гусляр одет под ямщика! Бедней его надо, тощей, голова «редькой», что ли, — слепец, и — вдохновенный! — горе, бельмами... Я поражен твоим богатством, — так вообра-

зить! Ты на редкость мастер, и какое чувство краски! Какой свет и тепло — вся картина! Удивительная береза!

Забудь, что даешь — для публики! давай — для себя, для меня!.. — вот, тогда почувствуешь свободу, размах. Ни малейшего смущения, оторопи, связанности. Никого не слушай. В твоих условиях, дать так — это же чу-до! Что ты мо-жешь!.. — и дашь. Из тебя, прямо, прет. И пущай его прет. Как же ты легко рожаешь! Ну, баба... — ну, диво... Не кипи! — запенишь. Почему в селе крыши белые? где же «солома»? Или это — балаганы торговцев? Странно — ни одной лошади у возов! Где-то хоть — временную — коновязь! С каким вкусом березу поместила! Старик, лысину потирает — хорош! но шапка будто приплена. Должны еще отдыхать на луговинке, валяться... Монастырь хорошо, но пустынно, эти закрытые ворота. Надо «ручейки-намеки» тропок... как всегда, — мы — бездорожники, плешинки надо... Но я детально уж... прости. Я восхищен ансамблем. Тепло — и — воздух, погожий сентябрь! Голубков не вижу... хоть грачика... — пятнышки. Но я уж тебя затормошил... Ты виновата, разлакомила... — ка-кая ты! О, Ольгунка, если бы могла ты представить, что у меня в душе! Как ты дорога мне! Как ты меня, благоговеющего перед искусством вдохновенным, заполонила, *пленяешь*!.. Я готов ножки твои целовать и — ручки! И сердце твое, твою вдохновенность. Я хочу, чтобы «Чаша» стала твоей! Ты ее вновь, по-своему, рождаешь. Ты сама все найдешь, что надо изобразить, до-образить. И потому не могу, не хочу говорить о «несенье Иконы». Конечно, Лика нельзя дать, и я его не вижу, не знаю. Нести — кому? Да, две девушки... в светлых ситцах. Икона ведь невелика. Сумеешь укрыть Лик? Важно — тянет Она к себе, и ее сила — в направленности, в устремлении к Ней — толпы. А подробности... — что хочешь. Хоругви необходимы, конечно. Все — в Ней! Она — центр. Но дать экстаз... — это же — сверхтрудно.

Не спеши, все будет. Не пенься. Работа долгая, не хватит огня. Надо медленно, тихо теплиться. Жар — внутри, перельется тихо в картины. «Чаша» — тихая, без пены. «Виденье Ильи-мальчика» — невозможно, сил нет. Я и сам не вижу. Чудесно дать — как Арефий расписывал... и — Ильюшка тут. И сцена — И[лья] сдает работу росписи — и м. Трудно, да. Этот упавший цветок! И самоувер барин. Вот такие же будут твои ценители — снобики. А ты будь Ильей и ею. Трудно. Но ты — все, в тебе — все. Как я чувствую по этой картине... как ты меня чув-

ствуешь, чуешь... — любишь. Чисто. Да, и я — чисто — тебя. Оль, если бы ты была здесь! Знай, голубка, я и вздохом себя не выдам. Как на икону буду... взирать, молиться.

Помни: или ты, или — «Чаша» не появится — при моей жизни — в иллюстрациях. Но надо сделать, чтобы и после — не появлялась, помимо тебя. Только тебя хочу в «Чаше». Так и сказал «Коробочке» Монго. Критиков много будет. Черт с ними. Издателям нужны имена! А мы им дадим не имена, а — Искусство. Ну... не дадим. А ты не покинь работы. Не смеешь, теперь. Во-имя... нашей дивной «встречи». Во-имя того самого святого и чистого, что в нас живет. Юле очень понравилось, но она боится высказаться до — дальнейшего. Меркуловы — захвачены. — Родным, что дала. Бесспорно: ты — ма-стер! Помни. И держись. Дай свое. Как хочешь, не считаясь ни с чем. Никому я не показывал больше. Спешу отправить, а то ты скулить будешь. Мне жалко расставаться. Ты меня осветила... взяла. Я, создававший — создавший — «Чашу», — понимаю же что-то?.. И я говорю — ва-ляй! Это тебе великий искус. Он будет с последствиями, важными. Ты так — по-новому — срастила меня с собой! Влюби-ла... ты, новая Оля. Оля — творящая. Какое счастье! Я сращивал тебя с собой, до-лго, через свое. И понимаю теперь, что за сила песни творческие, песни о родном, — родной.

Если бы ты была здесь! Как смотрели бы мы многое... картины... — и как бы я вслушивался в тебя! Как мы сливались бы... — или пополняли друг друга! Только это — подлинная жизнь. Как подлинна жизнь верующих. Мы — верующие, в нас вяжущее. И отходит на малый план — тело, тленное... страсти. Я страстно, да, люблю тебя, но это — сотая доля меня для тебя. Это — конфетка: нельзя жить конфеткой. Она — только — «между прочим». Я обхожусь — и всегда обходился, мог обходиться — без!

Розы твои... о, милые летчицы! Они сегодня уже блекнут. 7 дней! Я сегодня впервые не подрезаю кончики, не меняю воды, чтобы не тревожить, — осыпятся. Они засыпают. Но и сейчас они прекрасны. Пахнут, чу-уть. Дивился, как ты заказывала. Ну, нату-ра! широкая ты, люблю. Сам такой же.

Я за эти шесть дней переработал-переписал — шесть глав «Лета Господня» — кончил «Радуницей». Остается девять. Их хочу кончить в 12 дней, к Ангелу. Тогда я м. б.

за «Пути». Оставил все письма. Только — тебе. Ты — жизнь мне, без тебя не могу.

Устроен по хозяйству. «Плаксина»[667] оказалась на месте. Хорошо, быстро. И не дороже старухи. 4 дня в неделю — вторник — 3 ч., четверг, пятница, суббота — по 2 — по 30 фр. час. Выйдет на 300 фр. — 200 дороже старухи, но она за час делает больше, чем та за 5. Ты метко оценила. Слава Богу, избавился от этой впустую суетливой. Она мне претила с того часу, когда посмела говорить о... тебе, что писал. Я уж и забыл. Эта — бедная женщина, очень некрасивая, но делает все чисто, все умеет, говорит по-французски, все может купить, а мне надо много дыр заделать. Натирает жестянкой пол, купила мастики. Стало похоже на жилье. И стряпает быстро. Приходит в 10 утра. Сама по лавкам. Я ей даю молока, делюсь. Достала мне свежих яиц, — я их по одному ем, боюсь печени. Зуд н е проходит. Чешется ужасно порой. Но ночами стихает, сплю. Вынужден подниматься в 8—9, чтобы сделать туалет, помыться — шею! — и напиться чаю. Потому *дня больше, и я могу* без помехи работать. Старуха меня измучила «незнайством». Всюду пиши ей записки. Сегодня поел по-человечески, сделала отличные котлетки, на два дня. Всегда спросит — что сготовить. Котлеты сжарила в пять минут! Это Юля помогла найти. Все говорят — отменно честная. Так что я теперь ухожен. Сво-бо-ден! А старушка — являлась в 2 — в 4 ч. — зимой-то, уже темень, и она тыкалась... а я ходил по лавкам. Чисто у меня, слава Богу. Погода стоит хрустальная, теплая.

Господи, что с твоим доктором Клинкенбергом? Мне грустно, мне жалко, мне противно за себя. Напиши ему, что я всей силой сердца желаю ему полного выздоровления. Оля, я не злой, я — сумасбродный, только. И я всегда каюсь, кляну себя. Сколько я обижал тебя... Оля... — я готов для тебя на все. Страдаю порой — и светел. Нервы мои разбил недуг, бессильна Крым. Долдонит — диета... Да что же, ничего и не есть? Не было охоты эти дни, второй день хочу есть. Осторожно сегодня съел одну рубленую котлетку с макаронами. Яйцо утром. Довольно хлеба подсушенного, бе-лого. Зеелер достал и Юля. Хорошо — печки пока не топлю. Но теперь новая фам-де-менаж — будет. Запас у меня большой. Что с твоими бумажками?! Отпиши. Могут тебе понадобиться, прие-дешь!!!!! — да, да... ?! Поверь, молиться на образ твой будет Ваня. Оль, как я отделал «Лето Господне»! Ведь — впрок! Писал — купался... Теперь — тяжкие главы, 9.

Ксению Львовну не вижу больше месяца. Очевидно, не поедет к тебе?.. И ни звука от нее. Будут на днях у одного чудака-художника — Зеелер так зовет. Он — верующий и мистик. Какую-то «ауру» в лицах видит. Он, больше, хороший архитектор. Заявился ко мне... — давно собирался, а моего знает лишь «Богомолье» — и — унесен. Будет фотографировать меня, хороший фотограф. Приедет за мной. «Я голый, в пиджаке...» — заявил, — «но у меня Вы все таки узнаете, какой я... как художник». Погляжу. Некто — Морозов[668]. Выставлялся в важном салоне, по его словам. Увидим. Я ему тебя не стал показывать, не зная его. Знает Первушиных.

Скажи, очень прошу: хочу тебя полакомить... что ты любишь из сластей? Хочу тебе миндаликов, изюма, сушеных фруктов — м. б. банан, если найду. Про-шу. Ты будешь жустрить, работая, девочка моя, белочка... — робкая и — дерзкая девчонка! Лю-блю. Вот такую, как ты вся, — люблю. Живу тобой. Не узнал бы тебя — что я был бы... и был ли бы?! — не представляю. Ты нашла меня и заставила жить. М. б. я еще напишу что путное. О, «Пути»! Слышишь порой — не веришь. Есть — оглушенные — особенно — шенныЯ. Одна какая-то говорила, что первые две главы — перечитывала три раза! Правда, это старушка-швейцарка[669] — к 80! Юля ее наградила. Но она — очень литературная, вся в чтении больших, только. Но поглядим, что выйдет. На днях подписал договор о «Чаше» для «Павуа», получу аванс. Деньги у меня есть, Швейцарию не тревожу. Жду Чехова, на днях.

Да, вот приходит в мысли... Думаю, полезно было бы тебе — в Гааге, конечно, пересмотреть в публичной библиотеке — изящные издания иллюстрированные, — больших — литературных — произведений. Есть же там! Ты вглядишься, многое черпнешь. И — наших русских иллюстраторов. Билибин, вряд ли что даст, но — надо. Кто еще? Не люблю Добужинского[670]. Серова[671] разыщи — не клеветника-идиота и «злыдни»[672], а Серова! У него найдется и из красок. Бенуа... я его мало принимаю. Лансере..?[673] Кустодиева? Не люблю «лубка» — как у него — подделка. Кажется, отличные красочные иллюстраторы-акварелисты — английские художники? Разыщи. Вглядись, чем берут. Иона[674] посмотри. М. б. у тебя в фамильной библиотеке есть что? Не пожалей времени. Чтобы не мотаться, не найдется ли в Гааге, где остановиться, на 2—3 дня. Ну, в отеле! Надо. И надо беречь силы. Не мотайся. Посоветуйся с серьезными художниками. Ты должна быть во все-

оружии, жить в художественном воздухе. Немедленно напиши, едет ли другая, Полуплаксина[675], из Бельвю, к тебе? Я не хочу ей писать. Она обещала известить, а ничего, утопла.

По-мни, Олюночка: не подробностями наполняй картину, а характером. Движением. Сколько ты воображения тратишь на выписку! Надо — мазками намекать... — а для сего — чувствовать себя свободной.

На много твоих ??? — не ответил. Да и трудно.

Всю благословляю, душку твою целую... моя небывалая девочка! 65 стр. переработал-переписал в 6 дней! Сверх — для меня — рекорд. Да еще при этой поганой почесухе! Иногда — горит. Всю лелею, всю целую... — чисто, моя хорошка, моя белочка нежная, тепленькая... Как же мне пусто без тебя!.. «Неупиваемая чаша»... на ко-го — ? я ее оставлю?!! ... Нет, в пустоту не кину! — это знаю. Не смею.

Хочу тебе отдать... — мучаюсь этим, ду-маю... Кто управит Ее?! ... все — ???

Ну, пора спать. Рано поднялся, и завтра надо встать к 9 хоть. Не люблю я неубранности своей. Не доверяю никому трогать постели. Только тебе мог бы доверить. Ты — для меня — я сам. Ты так близка мне, Оля... — та-ак родна!.. так — вся, будто, от меня. И ни-когда бы и тебе не дал — из благоговения к тебе — коснуться моего, неприбранного обихода. А сам... как бы был счастлив — все, все, все для тебя делать, как слуга. О, весенняя моя, вся лазурь-свет.

Молитва моя ты, Оля... тихая, колыбельная...

Господь да хранит тебя, направит, осенит! Только бы ты была здорова, дитя золотое! огненная, горячка. Не перекипай, про-шу. Страшно за тебя! Ты хорошо сказала: «когда бежишь, в беге... только ветер в ушах...» — да, верно! Но... сердце ни с чем не считается, пусть это будет сверх вдохновение. Оно слишком колотится. Пожалей его, и оно одарит тебя чудесными дарами — оно же: великий Дар. Не томи его. О, как нежно люблю, как весь в тебе, тобой жив.

Твой Ваня

Напиши прямо, как — Ване! Счастье для меня это. Не лишай. Непременно отпиши.

153

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

28.IX.46

Дорогой Иван Сергеевич, посылаю заказную брошюру.

Простите меня, но я не могу писать. Перечитайте мои самые последние (2) письма[676], вспомните Ваше все на них и, я надеюсь, — поймете меня и мою сорванность и вследствие ее — разбитость. Я ответила Вам большим письмом, но не посылаю его, зная, что ежели оно вызовет «полемику» — я ее не выдержу больше. Работала я из последних сил душевных и физических, моля Вас, хотя бы обманно, поддержать во мне творческий порыв до конца работ. Случилось иначе. Я не могу ни послать письма, ни тем более писать новое. Скажу здесь только суть: не рассчитывайте на мои иллюстрации. Я не работаю больше ни над ними, ни вообще. Да, я вся разбита. Я сожгла мою лучшую работу[677] — Илья у иконы, мальчик-Илья и только случайно уцелела уже готовая — видение Ильи — глаза в небе. Я все кончила — краски и прочее убрала даже с глаз долой. Теперь это неважно, но я удивилась, почему Вы не дали картинку M-me Монго? Это же прямая цель.

Но все это уже не нужно. Я не могу писать письма. Тон мой здесь — только открыточная форма — больше ничего. Ввиду г-жи Плаксиной, прошу все мое убрать со стола, дабы не любопытствовала. Забудьте мое баловство и кистью, и пером. Я переживаю вновь берлинское «сожжение кораблей»[678] в море искусства. К чему?

Свой автопортрет тоже сожгла. Все уничтожу. Не сетуйте на меня. Как художник вы м. б. меня поймете, если захотите быть объективным. Я не знаю, когда еще напишу. Не обижайтесь. Я очень страдаю. Кровно, кровно страдаю. И ярко жжет это вновь: «свинья под дубом»[679]. Эмерик — дуб!

154

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

1.X.46 9-30 утра Солнце

Сейчас твоя дикая открытка! Ольга, сумасшедшая, что с тобой?! Я совершенно остолбенел. Что ты крутишь? — не понимаю. Я бережно храню мою радость — в тебе, я хочу, чтобы только ты воплотила «Чашу», я

посильно пытаюсь дать тебе указания, мое мнение, я счастлив, что ты работаешь... я верю, что твоя работа над «Чашей» навечно спаяет нас... а ты — жжешь все?! Почему я не дал м-м Монго твою «Ярмарку»? Да разве я могу доверить чужому человеку, да еще неясному мне по целям, твою, дорогую мне и тебе работу?! Никогда!.. Я мог лишь сам, не выпуская ее из рук, показать издательству, но я хочу, чтобы издательство поняло все, чтобы оно увидало целое, а не кусок, который и ты сама не можешь считать законченным?! Ты — дура, вот тебе!.. Я взбешен, я убит тобой. Молю тебя, очнись, глупенькая моя и гениальная девочка!.. Я все эти дни был в одурении от счастья, что ты нашла себя... а ты... — это же разбитость твоя болезненная окрашивает все так!.. Я тебе писал подробно 27-го и вчера[680]... — что я хочу видеть в твоей иллюстрации! Ты не дури с важнейшим, пойми, что это, твое, — навсегда! Ты должна сковать себя, ты должна, как ко св. Причастию, готовиться, а ты вообразила, что одним порывом все одолеешь! Вду-майся же!.. Я не хочу, чтобы мою Олю, мое единственное святое в сей жизни, посмели задеть каким-нибудь идиотским — а, м. б. и верным замечанием, что это «не подойдет»! Ты должна бить «кулаком», ты должна вся отдаться, чтобы все закончить, все выразить!.. Мы должны говорить, как творцы, свято и чутко, сверх обычной меры! Ведь «Чаша»-то — твоя! Только тебе я могу ее вверить! Брось раздражение, самоуверенность: никогда художник любого искусства не должен чувствовать, что он всего достиг! Да я разве мог бы показать издательству, даже иностранному! — «Ярмарку» подмонастырскую, если в картине запертый монастырь?! Да нас тогда одним этим замечанием осмеют, и мне это было бы так же непереносно, как и тебе. Я, я — могу и смею все говорить тебе! ведь мы же — одно, я будто себе говорю! Никому не доверю, никому не покажу неоконченного твоего, как не стану — и никогда не делал — публично читать рассказ незавершенный, несовершенный! Если бы ты знала, сколько я редакций провожу, когда пишу!.. Твоя «ярмарка» меня полонила теплом и светом, родным, — взяла... я гордился тобой! но рисковать, твоею ценностью рисковать, давать кусочек твоего, частичку работы! — издательству, чтобы получить отказ! Да как я через Монго могу это делать? Пой-ми, родная, не могу я влезть в ее душу, тем более, что она не добилась от меня разрешения на издание перевода ее покойного мужа, перевода, как мне говорил покойный профессор французский — славист! — Жюль

Легра[681], серого и плоского! Монго черт знает что могла бы выкинуть со мной, с тобой. Я берегу тебя, а ты — мне такие открытки шлешь!.. Ты вчи-тайся в мои письма: только ты, *горячка* (и гордячка!), могла так оценить все! Что ты-то со мной выделываешь! Я месяцы не работал, и только вложился — хвать, меня по башке! Чумовая Ольга, образумься же, наконец! не дергай меня!.. Ты должна, перекрестясь, работать, — не скакать с кистью, а творить терпеливо, упорно, все преодолевая, все время со мною в полном согласии, любви к нашему труду, — я же не могу себя отделять от тебя в этом, как и во всем. Мы должны оба быть достойными нам дарованного! А ты воображаешь, что — одним порывом всего достигнешь. Тебе нельзя делать замечаний? да для чего же ты меня спрашиваешь, мне посылаешь? Ведь «Чаша»-то мною создана, как же без моего суждения для нее работать тебе?! Ты оголтелая какая-то. И что за выверт, — опять эта Эмерик, опять «дуб»?! ... Да брось передо мной-то хоть ломаться?! Ты же знаешь Ваню, как и он тебя. Мне больно. Зачем ты сожгла автопортрет?! Это безумие? Ты мне хочешь рот завязать?! ...Зачем сожгла из «Чаши»?.. Ну, что мне делать?!. Ты всего меня взбила сейчас, оглушила... убиваешь! Если бы мы жили рядом: мы покричали бы и все разрешили, объяснили бы и поняли друг друга. Теперь же я дни должен ждать, много писать тебе... чтобы расчистить эти заросли. Или не чувствуешь, что злая сила хочет опять нас оглушить и все спутать?! Ведь для зла «Чаша» — за-рез! для всех чертей, большевиков — воплощения Зла — и для самого Черта?! ... А ты перекрестись, призови Свет на помощь, вспомни о муках и труде твоего Вани!.. Он весь — с тобой, только и живет тобою!.. Я писал тебе: от 16-го сент., 18, 20, 23, 24, 27, 30..![682] И это во время неустанной работы!.. Грех тебе так мучить Ваню!.. Чего ты хочешь? Чтобы нам отказало издательство, толкнув нам в нос наши недочеты?! (Помни: давай мне миллионы, я никому, кроме тебя, не дам иллюстрировать!) Нет, я хочу ихнюю погоню за «именами» сломить, я хочу, чтобы ты воссияла, по пра-ву! И добиться вместе совершенного! Или ты так самоуверена, что думаешь: что бы ты не дала, все — совершенно?.. Люди годами работают... а ты и слышать не хочешь моих — пусть не бесспорных! — возражений и советов?! Я вместе с тобой хочу все обдумать. И я решил, что «Чаша» или совсем никем не будет иллюстрироваться, или — только тобой! Да все бы авторы — высуня язык побежали бы на такое предложение! это же — высшая от-

мета — увидеть себя в «де люкс», да еще иллюстрированным «именем»! мне дорога только ты! пойми же, пылкая!.. Поймешь, и тебе будет горько, что так вскипела, и так — ни за что! — меня бьешь!

Перечти мои письма! хотя бы два последних! Тобой дышу, тобой живу... — то-лько. Да еще «Лето Господне»! Вот, через 5 дней кончу, освобожусь. Олюша, щади свет, нас греющий и возвышающий! не взмывайся? Что нам с тобой считаться?! Зачем ты как бы чужаком меня считаешь, чинишься со мной?! ... Мы же — одно, родная... нас Господь связал... разве на худое?! ... Я тебе все сердце открываю, я до слез взволнован и сникаю... — не надо сего! Лучше не пиши, когда смута в тебе. Я многим погрешил перед тобой! да... но и ты, разве ты не погрешаешь?.. Я молю тебя: Оля, нам надо видеться и любовно-нежно обо всем переговорить, душа в душу... Я хочу укрепить тебя. Но ты будешь ли права, если будешь корить меня за то, что, любя и ценя тебя, я буду говорить тебе то, что кажется мне необходимым. От верного друга — и больше, чем друга, а дружки, — безмерно тебя любящего, можно ждать только правды! Не возгордись, не считай себя непогрешимой в оценке себя. Помни: все, гениальные самые, разве сразу достигали вершины творчества? Все томились, совершенствуясь, ища. Я твой старший, познавший опыт творчества. Я не живописец, но я могу судить верней иного живописца: я достиг верной меры, пытая себя в своем искусстве, — искусстве образа. Олюночка, родная, найди силы обрести покойную устойчивость и смирение. Не убивай меня. Ты пере-работала и утомилась. Отсюда эта нервность, раздражение, недовольство собой и мною. Голубка, будь тихой, кроткой, любящей. Не попирай нашего ценнейшего. Попрать его — радость дьяволу, только. Я весь дрожу, весь подавлен. Но я овладею собою. Ольга, Оля... девочка моя чистая, не кипи, не сгорай. Я подавлен, что ты так быстро меняешься в настроениях. Жечь, комкать... разрушать!.. Это — дьявольщине на руку. Не нам, не нашему чувству. Ведь любишь меня, как и я тебя?! ... Я все жертвы приношу, принесу, лишь бы ты была — ты, светлая моя и радостная, творящая! Только такая ты — вся, по мне. Мне ничего в жизни не нужно: моя работа, твоя работа, ты — сама. Только, и это огромное счастье. Милая, вот стою перед тобой, Ваня твой, на коленях, и светло смотрю в тебя! Оля моя — работает, всею силой, не изнемогая, не изнуряя себя, веря в себя, веря своему Ване! Голубка, успокойся, вдумайся, вчитайся в мои письма. Не отходи, не

рви кровную и духовную связанность нашу, наше — друг для друга, и через это — для многих. Никто меня не собьет с моей дороги, не оторвет тебя от меня! меня от тебя. Оля, будь разумна. Необходимо нам увидеться. Тебе это легко сделать, мне — трудно. Мне нужны визы, нансеновский паспорт, — он просрочен. Это дело долгих недель, месяцев! Оля, приезжай, голубка. Нам надо говорить, все обсудить о «Чаше». Ведь твоя она. Ты увидишь... — и как будешь счастлива, что она наша, для многих-многих.

Я не могу больше писать, я все сказал, всю душу открыл тебе. Ну, будь же тиха, окрепни духом. Что за малодушие, отыскивать поводы, чтобы все швырнуть! За-чем ты сожгла?! ... Господи, как это горько. Но и это поправимо. Ты все несешь в себе. Не разбивай моего мира, я в работе. Оля, я люблю тебя и горжусь посланным мне счастьем, — последним.

Не правлю описки, нет сил, ни времени (исправил, разорвав конверт). Пощади Ваню.

Обнимаю и согреваю тебя, сердечко твое.

Твой, всегда твой, Ваня

Не буду писать тебе, пока не узнаю от тебя, что ты опять ты, моя дружка, неизменная моя! для твоей работы необходимо, кроме огня и порыва, — выдержка, сила, воля, — терпение. И никогда не самоуверенность! Помни это. Я знаю все это — по себе. Ва

[На полях:] Писал тебе о неправильной оплате заказного с иллюстрацией, а через 1/2 часа получил с почты просьбу о доплате (14-ти фр.). Но ско-лько — еще не буду на почте. М. б. и прав «Шпекин»![683]

Твои розы, сухие, берегу, на столе.

1.X.46 Разорвав конверт, приписываю, вдумавшись:

Я-то думал, покойный, работает она!.. А ты сбрендила? всякий пустяк, всякая залетевшая в твою головку мысль — малая! — способны тебя сбить с дороги?! ... Не думал я... и горько мне все это, такое непонятное, — для меня! Где твоя гордость, сила, которые я предполагал в тебе? Нет, так не работают в искусстве! так — лишь балуются и покоряются капризу. В искусстве, как и во всем важнейшем, выстра-дывают! завое-вывают! Не ожидал от тебя... Да соберись же с духом, будь стро-га к себе. Понуждай себя. Так лишь можно тешить праздно-болтающих, а не творить. Так — можно лишь пустячки, для прогулки по искусству, делать, баловать себя легкими — самоудовлетворяться. Сты-дно, Оля!.. Дурно. Оля!.. Возьми себя в железо, заставляй, если, действительно, хочешь сотворить

стоящее. Тебе давались, шутя, малые дела... ты писывала «скетчи», этюдики... Нет, ты работай! борись, добивайся... и не ставь себя на первое место во всем: на первом месте должно быть — достижение, пыта-ние себя, ис-кус!.. Вот что такое искусство. И ты мо-жешь, я знаю, что ты можешь. Но когда надо поднять трудное, тут не палочками орудуют, а рыча-гом! Ты им владеешь. Так поверь же, что ты владеешь, и бейся, добивайся! А не хнычь, не капризь, не обвиняй меня, — я тут ни при чем. Зачем жечь? труд?? !!! Или ты его не считаешь за труд? Что ты, девочка-пятилетка?.. Ты же-нщина, — и должна быть столь же сильна и волева, сколь ты одарена, сколь ты прекрасна! Послушай же меня, я не болтун, и не снобик, и не гулящий с улицы! Я — мастер, и знаю, что такое мастерство, и как его выполняют, терпя, жертвуя. Мой Илья не пример тебе?.. Постыдись же, слабовольная. Это в тебе нервы ослабли, неврастения, — отдохни... но не складывай рук, оружия! Оля, умоляю тебя, опомнись. Во имя Правды и Красоты, и — Света! Стыдись!.. Я тебе готов душу отдать, весь для тебя... но ты покажи, что это не прихоть — твоя работа. Нельзя хотеть все сделать — мигом. Труд, упорство, воля, гордость... — вот что надо. Главное — «рычаги» творческие, которые у тебя бесспорны! Ну, я больше не могу писать. Я и подавлен, и огорчен, и зол, зол... я киплю досадой — какая слюнтяйка!.. дряблость какая..! и это моя Оля, которую я знаю! По-ду-май, какие возможности открываются!.. Подумай, сколько ночей за эти полвека работы я провел в сомнениях и борениях, и как я стал писателем... разве я имел <u>такие</u> возможности, как ты?! ...Перечитай же, «Как я стал писателем», как я отходил, как я искал себя... и всегда один, без связей, без культуры... — ведь, серенькая была семья наша! — ни струйки «художественного воздуха»! ни библиотеки фамильной, ни традиций... Перечитай «Историю любовную», — в чем я рос! Но я искал, — при всем моем «слабоволии», и я нашел. Как меня не признавали! как щипали!.. — а я шел и шел.., веря в себя и — с помощью Господа!.. И я вышел, я все опрокинул, и всех победил! В России все было в критике и в журнальном мире у евреев, и они меня терпеть не могли! считая «квасным националистом». И я всех их опрокинул, дав «Человека из ресторана»! И они съели свои губы, зажали свои глотки: им уже нечего было пикнуть.

Я говорю после великого о-пыта!.. Бери пример с меня, бери пример со многих, — признанных всеми и канонизи-

рованных, — я еще живой, — сколько они пытались, к а к достигали, боролись и побеждали!..

Ну, довольно. У меня нет слов, сил... охоты... бить в пустую дверь! Не слышишь... — твое дело. Я все сказал.

Последнее: я тебя люблю, ценю, верю в тебя и... прошу: образумься!..

Целую тебя, дорогая безумица, безволька!

Целую и — верю, что ты возьмешь себя в клёпки.

Твой Ваня

155

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

5.X.46

Дорогой мой именинник,

С Днем ангела тебя! Да будет он, как и последующие дни, радостен и светел! Заказала цветы, но не знаю, доставят ли. В том магазине, что послал к рожденью, я узнала, что они не заказ «Fleurop'y» дали, а просто послали в аэроплане из Голландии. Была там, и они мне отказали в посылке еще раз, т.к. их якобы оштрафовали и они потерпели убыток. Я не удивляюсь тогда, почему розы были хороши. Они голландские, а здесь они чудесны, как и всякие цветы. Осенью тут глаз не оторвать. Шеф магазина действительно постарался. Молодец! Ты назвал мне отправлявший магазин в Амстердаме — это самый первый в стране. Теперь они утверждают, что и Fleurop'ом нельзя, но мне кажется, что они не состоят в нем — не видала «медальона». Заказала в другом. Посмотрю, что выйдет.

М. б. к рождению получил ты бисквит. Он очень был втиснут — не было коробочки. Я послала только его, масло и на пробу лепешечек, т.к. все тебе не угождаю. Боюсь я тебя. Вообще я очень гнусно себя чувствую. Сегодня (была у адвоката по делу с выселением из имения жильцов) ездила в город — еле вернулась, такая усталость-разбитость, боль в сердце. Всю грудь разломило. И воздуха нет. Да еще на горе-то заболела Tilly, — очень боюсь, что дифтерит. Звонила врачу, — тот сильно подозревает, завтра пришлет результат исследования. Ужасно, если так. Бедных Жуковичей топят окончательно. Я пробую пробраться к нужному министру, но мало надежды на помощь кого бы то ни было. Еду 8-го вечером и останусь на 9-ое в Гаагу на службу на Иоанна Богослова и повидаю их. Им буквально жить нечем. Он с его дивным голосом (лучше Шаляпина!) про-

сился наемным работником у Ара. Мы не смеем допустить этого. Я и С. дали ему денег, а я хлопочу устроить ему закрытый концерт. М. б. что и выйдет. Но надо мне обегать всех, кто монету может гнать.

Поймала, как зайца, одного очень влиятельного профессора[684], была им принята, выслушана и кое-что обещал сделать. А вчера, когда спросила одного судью: «Как думаешь (это кузен А.), профессор .... может что сделать?» — «Ну, это же самый главный человек у нас, нет инстанций, где бы он не был влиятелен, но не думай даже о нем, ибо... не достанешь до него, безумно занят, никого не принимает». — «А я уже была!» «Что???? У профессора... ?? Ну, это чудо из чудес!» А министру, который нужен делу, Арнольд в голодную зиму давал пшеницы, когда тот еще не министр был, а простым смертным умолял о хлебе. Мы тогда собрату-интеллигенту от своего рта отдали. А ну-ка, что он сделает? О, если бы Бог их спас. Ж[укович] близок к крайнему. Он уже потерялся, уничтожился, изверился. Как я хочу ему помочь. Его родня в Париже возмутительные шляпы. Равно, как и Виген — только языком болтает. Сереже толком не ответил даже. Они представить себе не могут, какая у нас волокита, как всех мучают. Ну, будет. Ванюша, будь светел. Господь с тобой. Обо мне не думай — не волнуйся и... пока ничего не надо об искусстве. Мне больно это. И нету сил. Нет охоты. Не поминай! Нельзя насосом вкачать хотя бы тягу к творчеству, не говорю уже о вдохновении. Но я с тобой согласна — м. б. я утомилась душой. Но погоди тормошить. Я и[i] думать не могу писать, ни пером, ни кистью.

Обнимаю тебя очень ласково. Оля

P.S. Ванюша, прости почерк — трудно писать. Устала.

7.X.46 Только сейчас могу послать, т.к. надо сдавать *открытым* на почте из-за того, что пересылала публика деньги. Подвернулось воскресенье, и вот — жди.

156

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

15.X.46

Ванюша мой родной,

Отвечаю на твои несколько писем, которые я нашла дома, вернувшись из Гааги, и еще вчера пришло одно[685].

---

[i] В оригинале: ни.

Ты знаешь, как я могу отнестись к твоему, да еще такому дару, как «Чаша»[686]. Но все же я не решаюсь ее принять. Это слишком много. «Чаша» твоя заветная. Смею ли ее принять в дар? Ты, наверное, хотел меня этим утихомирить и заставить уйти в свое? Но разве нужны такие жертвы. Мне стыдно, что ты решил даже «Чашу» мне отдать. Подумай! Благодарю тебя за это движение, но чтобы принять ее, я должна знать, зрелое ли это твое решение. Напиши. Мой упадок — не каприз. Я совсем разбита. М. б. это усталость. И потому твоя отдача «Павуа» «Чаши» и через это отказ от de lux в другом издательстве — так на меня подействовал, что я все бросила. Я тебе писала: «если ты даже отдашь "Павуа", то не сообщай мне, пока не кончу, дабы я не сорвалась». Помнишь? Я это в себе чувствовала. Твоя же критика н и к а к не холодила. Я критику объективную очень ценю. И, напротив, похвалы меня никогда не обманывают, если я их не заслуживаю. Меня просто сейчас ничто не интересует касательно моих «талантов». И рада я забыться другим. Вот хлопочу о Жуковичах. Им очень безотрадно и, боюсь, — безвыходно. Хочу устроить ему концерт среди богатых знакомых, закрытый. Завтра еду хлопотать к одной даме, предварительно подмаслив ее. Считаюсь с возможностью главного взноса от нас же, но тогда Ж[укович] не будет этого знать и пойдет все под знаком его заработка. Он великий талант, не хуже Шаляпина. Чудесный человек, как и его жена. Эти дни у меня на хлебах 14—15 человек рабочих-молотильщиков. Едят в 9 ч. утра, в 11 кофе, в 12 обед (и какой!), в 4 ч. чай и в 6 ч. вечера ужин. Два дня уже молотят, — погода пока что благоприятная, нет дождя. Сегодня начали уже с 7 ч. утра. Работают вовсю. Остался еще 1 стог, авось сегодня окончат и завтра уберут двор.

Трактор старый — работа идет все же хорошо, только бы он не сломался. Оставляют только посевное жито, которое предписано держать до весны в колосьях, не обмолоченным. Жаль, — приятней было бы обмолотить все сразу. Сережа тоже увлекся общим артельным делом и скидывает с 2-мя другими снопы. Очень интересна вся эта работа. Тут же и прессуется солома. Арнольд и еще 1 работник укладывают тюки наверху во дворе, а остальные 14 распределились у машины и по тасканью мешков и тюков. Каждый мешок должен быть взвешен, так что и весы тут же. Без перерыва работает это чудище — трактор-молотилка.

На твое последнее письмо[687], мой золотой, скажу тебе: к чему ты наворачиваешь? Откуда это видно, что я тебя подо-

зреваю в «навязывании» книг? Это нехорошо и скучно. Мне досадно, что к посылке был приложен счет. <u>И это все</u>. Ты-то тут при чем? С цветами же обстоит так: т.к. в Голландии цветы очень хороши и дешевле, чем в Париже, то многие занимались пересылкой их по воздуху для спекуляции под видом частных заказов. И потому это запретили: «Fleurop» мог до сих пор переводить заказы, но теперь и это запретили, и мой заказ тебе не подали, хотя денег мне еще не вернули. Спрошу. Отсюда, например, можно во все страны посылать луковицы тюльпанов и т.д., за исключением Франции и Англии. Потому же. Большая идет спекуляция. Мои розы посланы были под сурдинку, потому я и попала на замечание. Но это все уже урегулировал магазин, заплатив штраф. Всякую мелочь, которую я посылала, я должна была прéдставить письменно в министерство, и только получив разрешение, могла послать. Розы шли <u>без</u> оного. Понял? Через французскую границу шло безумно много контрабанды, как писали в газетах. Оттого и строгости. Если ты ничего не имеешь против, то я просто отошлю книги обратно в издательство, объяснив отчего. Те экземпляры, которые я просила (и ты выслал их) я хотела дать в издательстве, что и сделала. До сей поры их читают. Я была там и мне сказали, что «Пути Небесные» читают еще и под-директора[i], увлеклись видимо. Что они решат, — я не знаю. Я глупо сделала, что на вопрос, могла ли бы я же их и перевести (т.к. им <u>это</u> именно интересно), я смущенно сказала, что не считаю себя достаточно на высоте. Я могла бы им найти отличных переводчиков, в моем соучастии. Их не так интересовала продажа книг от «Павуа», как свое собственное издание. Но посмотрим. Я жду. Один экземпляр у меня, один дала доктору, — вот и все. Я предложу еще в издательстве завтра, если удастся поехать, как предполагаю, и потом от тебя жду ответа — могу ли послать обратно, в случае, если здесь не возьмет издательство. М. б. я смогу Ксении Львовне деньги дать, если бы только голландские гульдены можно было устроить. Вот это деловое.

Ты знаешь, я так устала. Несколько дней еле бродила, сердце никуда было. Задыхалась от нескольких шагов. М. б. нервы. Жукович трогательный — собрался бежать к одному художнику для уроков мне, чуть не разорвал меня (он очень выразителен) за то, что не привезла ему показать рисунков. А когда узнал, что их уже и нет, то застыл, окаменев. Он очень измучен, несчастен, мне жаль его стало, и

[i] Заместитель директора (*от нем. Unterdirektor*).

я больше для того, чтобы отвлечь от их собственных несчастий, не стала кочевряжиться и объяснила ему свое состояние. Сказала еще: «Я чуточку пробовала иллюстрировать "Неупиваемую чашу"». «Да, дайте же, Бога ради хоть идею-то, ну, как Вы эту композицию разрешили?» В миг появилась бумага, пастель, уголь, все, что хотела бы. Я вспыхнула и буквально дрожа, в 10 мин. дала ему схему «Ярмарки». Он молчал, смотрел, а потом взял мою руку и сказал: «Вот что, О. А., дайте мне слово, что Вы будете работать, и... не бросайте так небрежно своего... да я смело это утверждаю — своего творчества, ибо это — творчество...» Он не видел красок, я дала только схему, но был в восторге. Я сама того не знала, что одолела большую трудность. Ж[укович] поражался уменью разрешить «сложнейшую в данном случае задачу композиции». Он безусловно одобрил то, что на первом плане «Русь трезвая», а в луговине... «там гульба». Его поразил «воздух». Береза вызвала восхищение своей уместностью и явилась ярким выражением нашей природы, не бросаясь в глаза. Он все разобрал, умело, как сам художник. Потому... я «Ярмарку» не сожгла. Ж[укович] выпросил ее тогда отдать им. Он ее не видел в оригинале. Пока она спрятана «с глаз долой». К художнику же я его упросила не ходить. И он понял. Д-р Klinkenbergh болен. Я не знаю, что у него. Неловко навязываться. Сказал: «Я заеду как-нибудь к Вам, чтобы подробно поговорить о Вас, о таланте Вашем». Но все же мне придется взяться за кисточку — хочу для Жуковича нарисовать программы, — привлечь публику, дать особый, тонкий оттенок концерту. Его жена сказала маме: «Ах, какой рояль, было бы пианино, ведь это же род милостыни»... Я все сделаю, чтобы она, эта милая, умная женщина увидала, что это не так. Если выйдет с залом завтра (если поеду), то в перерыве устрою я чай с вкусным, тонкий, со вкусом чай. Ж[укович] отдохнет в перерыве, а публике дастся возможность в уютной сфере заинтересоваться артистом, что очень и очень для них (Ж[уковичей]) важно. Билетов не будет, вместо них я вручу простую, но со вкусом нарисованную программу. Закажу роскошные цветы, такие, какие ему бы поднесли на подиум настоящего концерта. Не из собранных денег. Не одним хлебом жив человек, а человек искусства и подавно. Если бы удалось. Завтра потащу шпек[1] и яблоки (чудесные!) моей знакомой. Сегодня уговорилась, что м. б. приеду. Она ждет. Они музыкальны и «любят» меня, как

[1] Сало (*от нем. Speck*).

уверяют. Квартира в центре интеллигентного Утрехта, есть инструмент. А главное — 2 комнаты en suite[i] и хозяйка не дрожит за ковры и стулья. Обожает шпек, — замаслю ее. Приглашу тогда и того профессора, который хлопочет за Жуковичей, почетным гостем. О, если бы удалось. Хоть 200—300 гульденов. Ему и то хлеб. Вот этим пока и живу. M-me Ж[укович] — стала скелетом и старухой. Ужас. А у него порок сердца. И это — величайший талант. Я возмущалась и возмущаюсь дамами Парижа, которые не стыдились тебя, великого русского писателя допускать ходить по очередям и сидеть в неубранной квартире. Я покажу им на примере, как надо и даже тогда, когда властями запрещена всякая помощь. Гады не постыдились у тебя из сбора %% брать за устройство чтения. А Родионов! Позор! Я не более парижанок располагаю досугом и средств у меня лично нет никаких.

Я до сих пор у мужа ни цента не взяла на Жуковичей, но ручаюсь, что если дама даст квартиру — то устрою отлично. Любую парижскую русскую посади на мое место, и она завоет от дел. И прикинь: у меня очень мало знакомств в замкнутой Голландии. Если бы я жила в Париже — то не такое бы твое устроила чтение, шаркнув[ii] всех процентщиков. Но что-то завтра с дамой?

Вижу уже свои программки. Дам стильно-русское. Сколько раз я была в комитете по устройству шикарнейших русских балов в Берлине. Знаю, что любит публика. Дал бы Бог для несчастных людей!

Милый мой Ванёк, я очень горда, почтена, обрадована, счастлива твоим даром — «Неупиваемой чашей», но не дерзаю так вот ее и принять. Ты это продумал?

16.X Молотьба кончилась, — осталось только ячмень обмолотить весной ранней (на семена), сейчас увезли и машину. Собираюсь в город по делам. Обнимаю тебя, родной мой. Оля

157

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

21.X.46 — 8.X — день кончины отца моего. И другой день кончины — обманутого счастья. Как странно...

---

[i] Смежные (*фр.*).
[ii] *В оригинале:* шаркнут.

Твое последнее письмо, Ольга, оскорбило меня. И не только последнее, от 15—16, а и все за этот месяц, да и раньше. Изменился твой тон, даже и твой словарь. Я это очень чувствую, и нахожу причину... О сем — после.

На мои пять писем, с 8—11, — 10-го послал два![688] — ты ответила, одним, и в этом письме — на три четверти о... Жуковиче! Все письма, вот уже больше 2 мес., — Ж.., Ж.., Ж... — прожужжало уши. «Голодной куме все хлеб на уме». Ты «развлекаешься» или — «у...-ся?» а? Тогда надо о сем сказать ясно, а не крутить. Но и об этом — ниже.

Твое «поздравительное»! ко Дню ангела!.. — швырнула огрызок — на! «От избытка сердца уста глаголят»[689]. Чувство? — Вот, точно, списываю: «Дорогой мой именинник, с Днем ангела тебя! Да будет он, как и последующие дни — ! — радостен и светел!» Все?! Все. С прописи? с «письмовника»? Ты — меня не поздравляла: ты меня еще и еще — оскорбляла! Оскорбила. Швырок. Дальше в этом письме — о цветочниках, — «усталость — разбитость» — «дело о выселении жильцов» — в «поздравительном, ко Дню ангела»! — «боль в сердце, всю грудь разломило, и воздуха нет». Это повторяющийся во всех письмах мотив. И расшибаешься в лепешку — для Ж.[i] И опять, в поздравительном же — о Ж., о хлопотах, о предположительной поездке в Голландию — для Ж. — «больше Шаляпина, лучше!» о концерте, о министре, профессоре... — для Ж. Больная, швырнувшая мою «Неупиваемую», швырнувшая «Богомолье»... Все — «к черту»! Теперь — Ж.! Полписьма о Ж.! — «поздравительного», где «имениннику», — «дорогому» — полторы строчки. Вот анализ именинного письма. Суди сама хотя бы о... неприличии так писать и — кому?! Отношения наши еще не были порваны. Не оскорбление это? Если нет, тогда... что же это?! ... Заключение письма — «прости почерк — трудно писать». Еще бы не трудно! Теперь поройся и найди мое поздравительное письмо. И — сличи. Все. Какой же вывод? Об этом — ниже.

Итак: на мои пять — последовало, от 15—16 окт. — новое оскорбление, письмо... «богатого» содержания, «с подъемом». Побывала в Голландии, обивала пороги у Ж., давала «сеанс рисования», — это вбив-то «осиновый кол», как писала мне снова и снова оскорбляя меня, после всех моих усилий, уговариваний, моих жертв силами сердца! Да, так легко отказалась от «зарока», перед чужими людьми! Не стыдно? Где твоя гордость?.. Поехала «пла-

---

[i] Здесь и далее в письме сохранены сокращения оригинала.

каться», — рассказала «о своем душевном состоянии». Так. Повторение Парижа. «Оби-дели меня!» К Рафаэлю приехала, просить ободрения? благословения?.. к Леонардо?.. Как будто. Ж. ободрил и укрепил. Я был бессилен, за 5—6 лет ничего не мог с тобой, — швыряла мне! — а тут, в 10 минут — все! «Чуть меня не разорвал» и т.д. — «он очень выразителен»... — ?! «Взял мою руку...» — посмел? и ты позволила?! И — «дайте м н е — ! — слово...» Кто то говорит — Леонардо?.. Репин?.. И «робкая», «ученица»... «вспыхнула — ?! — и, буквально дрожа, в 10 мин...» и т.д. Свершилось чудо. Ну, я не стану цитировать о «суждении», восторге, «творчестве» — «Да это же... творчество»!.. Как глубоко! «Во-здух!»... — как проникновенно!.. Театральные, конечно, избитые жесты, словечки пустозвонкие, какими, бывало, пятиклассники «судили» в «Третьяковке»! И — да здравствует искусство!.. Победил, растопил лед... и — отогреть?.. Сожгла, плюнула в «Неупиваемую», в меня плюнула... — моя же Она!.. — И... «выпросил»! Вот как?! ... Пишешь так — значит: согласилась отдать «Ярмарку», потребованную у меня для... сожжения. Взяла у меня и отдала... — кому?? ..! По праву, да? Твое... но и мое. От моего. Там и моя доля. Там мое — тобой насилуемое мое — авторское право! Я, я тебе предложил попробовать... иллюстрировать. Ведомо тебе, что у художников и писателей — тайна их новый труд?.. а? А тут, рассказав, что сожгла, ознакомив с «душевным состоянием»... — утешили! — сразу и... предала, меня, мое, наше! — отдав выпросившему. Плюнула на «Чашу» и... стала рисовать «программки», для... — Ж. Не оскорбление, а? Тогда — что же? шутка?.. так, смеясь. И мне пишешь, что... «он все разобрал, умело, как сам художник». «Потому... я "Ярмарку" не сожгла». А почему ты знаешь, что «умело»? а, м. б. — неумело?! Раз ты говоришь «умело» — и «потому не сожгла», — как же ты раньше не знала, есть хорошее в твоем этюде или нет? Открыл глаза тебе... — и потому не сожгла. Или потому не сожгла, что обещалась отдать?! А почему же мне-то не предложила, вместо того, чтобы жечь-то?.. ведь тут и мое! все — от меня. Я дал картину... — я знаю: мое слово может давать картины, и какие!.. Читай об этом у моих — глубоких и тонких критиков! Ты взяла из моего и отдала... чужому. Это н е оскорбление?! ... «Чуть не разорвал меня... он очень выразителен...»*, хватал за руку, требовал дать

* Нахален? У театральщиков — обычный прием.

слово, насказал столько глубочайшего, тебя потрясшего... — о «композиции»..! — а тут как раз ровно никакой композиции!.. Ты понимаешь ли, что такое «композиция» в живописи, как и в художественном произведении слова?! Нет, вижу, что ты совсем этого не понимаешь. У меня сохранилась выписка, как писал И. Н. Крамской[690] Суворину[691] о... «композиции». Вот: «Слово композиция — слово бессмысленное, которым любят швыряться малограмотные. Композиции нельзя научиться, пока художник не научится наблюдать и сам замечать интересное и важное. С этого момента только начинается для него возможность выражения подмеченного — по существу; и когда он поймет, где узел идеи, тогда ему остается формулировать, и композиция является сама собою, фатально и неизбежно, именно такою, а не другою»[692]. Ты — я знаю — считаешь, что я «суконное рыло» в живописи. Тебе и в голову не пришло, что большой писатель, который видит свою идею и умеет ее, этот «художественный предмет» облечь в соответствующую словесную и образную ткань, всегда тонкий аналитик жи-во-писи! И ты ни-когда мне не верила. Ну, верь «знатокам», швыряющим затрепанные словечки «всезнаек» и гимназистов. Я тебе сказал о «Ярмарке», но не все. Я указал, что в ней есть... для моего глаза, зоркого глаза, ведь я же знаю свое-то! Тут нет «ярмарки». Нет. Ты не дала «Ярмарку»! И не дала никакой идеи, никакого «художественного предмета». Ты дала лишь чуть «жанра» — бытовые сценки, и — без жизни! Ты расставила фигурки. И ни-чем не соединила их, не объединила! Ты дала отлично баб, березу... — я писал тебе. Но ты не дала «картины». Это — эскиз. И бабы у тебя — превосходны... да я же писал. И о «закрытых воротах»... Бабы идут в монастырь, а ворота закрыты! Ворота закрыты, а по обеим сторонам — ни-щие и никого, в сущности, народу нет! Чего же им сидеть тут?.. А-а... не стану говорить, «знатоков» слушай. Учиться, работать ты не хочешь. Ты довольствуешься ахами прохожих при искусстве. Довольствуйся. Но не оскорбляй меня! Ты не смела тащить на базар наше!.. мешать с пылью всю мою «Неупиваемую» тебе мною доверенную!.. Ты должна была работать над ее воплощением в красках, линиях, общем колорите... и в красочности, — это же разные понятия. Ты могла советоваться со знатоками. Но не швыряться тем, что тебе вполне не принадлежит. Ты могла сжечь, но сперва ты должна была и об этом меня запросить. Ведь я же тебе поверил, доверил! — как же не запросить-то?.. А ты у меня взяла и от-

дала... — кому? прохожему. Помни: «взять у... и бросить псам»![693] Ты это сделала. И теперь ушла в творчество программок. Твое дело. Все немощи кончились, вдруг! В лепешку расшибаешься... — и расшибешься. Подняла на себя великий труд, для — Ж. А сколько перевела из «Богомолья»? Ведь это не показное, не питает тщеславия. Это только п о с л е оценивается, это не мишура, не вспышка. Как настоящее творчество, а не попрыгушка около него. Ну, твое дело, ка-тись!..

Ты изменила тон писем, нашла иной словарь. Уже нет о чувствах... нет — «люблю», нет всего, что было... Теперь — «я так хорошо к тебе!..» С какого языка? Что это за мимикрия?.. И это — сознательно. Я знаю. Я немножко хоть, и про-видец. У меня большой душевный опыт. Потому я большой и писатель. Художники всякие есть... в Париже — 40 тысяч художников, и до 60—80 тыс. «писателей». Но есть Художники и есть Писатели. Единицами они считаются, только. И вот, на одного из последних-то ты и плюнула. Осыпала оскорблениями. И на его творчество.

Не шуми о себе. Не кори «парижских». Да, немного делали для меня. Но делали. А ты в свой приезд... тоже, делала, когда я болел. Да и теперь болен. Ты облегчала мне жизнь... я помню. Вот тут у меня, в сердце. И — знаю! — в твоей совести. М. б.

Теперь — в лепешку, для — «прохожего». Ибо он же для тебя — кто? Едва знакомый, — и такой уход! Все. Во всех письмах! Только одно жжжжжжжжжжж. Прав был доктор Клинкенберг — отводивший твой «сверх трепещущий» разговор[694]. Он видел то, что вижу и я. Он — чуткий. А ты о-чень прозрачная. Ты пороги обивала в Гааге. Не намозолила глаз «жене»-то, «старухе»-то?.. Смотри... даром это не проходит. И твое расшибанье — видят. Или — у-видят. Твое дело. Но... надо прежде покончить с нашими отношениями. Выяснить — и отрезать. Свободней будет тебе и мне. И — честней. Чи-ще.

Подашь «роскошные» цветы... на по-диум, как на больших концертах? Вся горишь, предвкушая славу. Будешь «пояснять» Ж. Мадам конферансье. Ты и мне то-же... «роско-шные»... ну, правда, «не как на больших концертах»... помню. Без программок обошлось. Писатель с голоду не умер, — поддержали читатели. И не кори их. Не кори тех, кто спасал меня, когда все было блокировано. Езди, проси, навязывай, спасай... Дело доброе помочь известному певцу, не спорю. Но... ме-ра, ме-ра!.. и не «очертя

голову», и не на-показ. А главное, нельзя во всех письмах ко мне склонять на все лады... жжжжжжжж! Стыдно, Ольга. Гадко. Ты ездила помолиться за меня... между прочим. Но поехала-то ты не для сего. Ты знаешь. И ты даже не написала мне, что помолилась: не до этого. Ты даже в поздравительном письме не спросила, «а как ты, здоров *ли?..»* Не до сего. Теперь новая «забавка» — Ж. Калейдоскоп продолжается. Сколько тратится сил! Подумать... — в каждом письме... — сердце болит, грудь ломит, я раздавлена... не могу больше писать, должна лечь... — и — перпетуум-мобиле. И это начало только. Какое же тут занятие важным делом, трудом!

«Богомолье» — оставь. Не по тебе оно, в таких бросках. Оно требует благоговения и покоя. Как и «Чаша». Займись несчастным Ж. Вглядись в совесть-то!.. Она тебе скажет все. Или уже флирт, — пусть невинненький, пока... или «лавры дешевые»... фимиам летучий. Ты падка на фимиамы. Я тебе 5—6 лет писал, искру Божию хотел выбить... все был готов отдать, лишь бы ты нашла настоящую свою дорогу... — все напрасно. Как обманулся я!.. и как же ты меня поносишь, про-носишь!.. на базар потащила!.. «душу открываешь» — кому?! ...

Теперь — к «Чаше»... о, какой горькой для меня! Ты права, заглянув в себя, в совесть твою. Да, ты неспокойна*, и потому ты не можешь принять мой дар. Я поступил — каюсь, — нечутко к тебе. Я не должен был так испытывать тебя, налагать тяжесть на тебя. Я хотел все отдать, только бы оживить тебя, для светлого труда твоего. Прости. Я как бы навязывал себя тебе. Связывал... и поставил тебя в душевное затруднение. Ты — да, — не можешь принять такого дара. Понимаю. Теперь понимаю, понял. Нельзя. Прости меня. Верни мне мое «заявление» тебе. Оно, впрочем, не оформлено, т.к. я случайно — видит Бог! — пропустил — кому! Это не правовой документ. Верни. Теперь я встревожен и за свои письма к тебе. Верни. Твои — у тебя, ты их забрала. Остаток, около 80, я верну тебе, когда получу мои. И нам надо рассечь нашу спайку. На-до. Да, бесповоротно. Это теперь так ясно. Все расползается... и виной этому ты. Да для тебя это, думаю, теперь уже и не трудно: ты стала давно отходить от меня. Пойдем своими путями. Мне уже недолго, видно... И не молись за меня. Тяжелы будут мне твои молитвы. Найди другое такое вот сердце. Я неровен, я

---

* «смущена».

горяч, я страстен, я вскипаю... но я и умел прощать, я шел всем своим — к тебе. Я возносил тебя, пре-возносил... и я ошибся. Во многом. Ты — хладная душой. Все — миг, вспышка... самообман. Да, вот оно, марево-то — обман!

Горько мне, тяжко мне. Я тебе про «могилку» писал[695]... крест-то католический — не ответила. Не написала даже, что и «Ярмарку» получила... думал — сожгла. А она — вон ку-да-а!.. попала-то!.. как раз по адресу. Стала уж раздавать меня, от меня, так, в миг... — «вы-просил»! Как награждаешь-то!.. Едва знакомого. А «родного-то писателя»... душу всю которого познала!.. который так пел тебя, тебе... — смертельно оскорбила, оскорбляла... Спроси, чутко вопроси совесть свою... Я умолял тебя приехать, хоть на несколько дней... я хотел много объяснить тебе, обсудить все, и о «Чаше»... — — *«у меня сил нет доехать...»*

Сейчас твое письмо, от 18[696]. Оно не меняет дела. Все — то же. Расшибаешься в лепешку. Какая энергия кипучая! На сотню «картинок» хватило бы. Снованье, упрашиванье, программки, закуски, шпеки... комплименты... умасливанье... истолкованья программы... сборы денег, — Господи!.. — на это, на такое — сил хватает. На стирку даже 200 штук!.. на приемы, на визиты... трата сил, средств... все — дым коромыслом! Зато: слава, восторги... и... — за спиной-то... ползет в вашей дыре другая «слава»... Ну, катись. Отказалась приехать... А труд, какой? Сесть в поезд и сидеть до Парижа. Нет, теперь очередная «новинка». Не даст это тебе ни счастья, ни покою. Даст — угар, *зло*. Я вижу. Поздно будет — и ты увидишь.

Я примирился с мыслью о разрыве. Я буду долго страдать... знаю. Может быть и не выдержу. Буду пытаться найти себя в работе.

Теперь, прощаясь с тобой, скажу от всего сердца: Господь с тобой, Ольга. Не судил Бог нам понять и признать, у-знать друг друга, хоть я и мучитель, но старался добиться этого. Это не в моей власти. Перед тобой я чист. Я не хочу теперь всмотреться в душу, что там осталось... — больно. Что же смотреть на пепел, на осадок горечи и боли — через тебя. И через мою величайшую ошибку в жизни! Но я благодарю тебя за светлые дни, которые выпадали мне, часы, минуты... — за все благодарю, Оля, — тебя, и Бога... — и видит Он — нет у меня злого на тебя. Будь здорова, найди себя... если можешь. А у меня уже ничего нет, одно одиночество, полное теперь... как тогда.

Я возвращаю тебе и твои «картинки», мне больно смотреть на них. Ты их тоже... раздаришь... А «могилку» сожги... я не могу. Она — чужая. Ты не запомнила, что Крест — православный на ней, на настоящей-то могилке. Хотя у тебя, помнится, есть снимок[696а], когда-то посылал. Да и на обороте ты допустила неуважение... Сожги, мне легче будет. Не отдавай никому. Да кому нужна она, чужая?..

Пришли счет. Я сделаюсь с издательством. Мне за эти книги ничего не надо. Оставь их себе, отдай бедным, что ли... Пусть хоть это будет... «поминками».

А твои... деньги — что мне с ними делать? М. б. передать Ксении Львовне? Мне не надо. Пишешь — «для тебя». Нет, *не для меня*. У тебя есть опека, найдутся желающие.

Прости меня: я уже не отвечу больше, ни-когда. Ты меня — всего — *не* знаешь. Всю жизнь был у меня упор — в работе, для работы; но есть он и для важнейшего в жизни, кровного. Мое сердце не будет уже биться тобой, замрет. Всю волю напрягу — и не отвечу. Вспомнил — октябрь! Самый тяжелый месяц, в жизни, — умер отец. И вот — сердце умрет.

Больше не свидимся, и обман кончится.

Ив. Шмелев

22.X.46 Утро

Ночью я чуть забылся, на 2—3 ч. Много я передумал, переощутил... Нет, я не нашел покоя, не мог найти и возражений против написанного вчера. Напротив, мне еще ясней стало все. Да, ты вся переменилась в чувствах ко мне, если только называть чувством — правдой, любовью истинной, то, что ты высказала мне в письмах лучших и ярчайших дней нашей «встречи». Лучше бы совсем не было ничего!

Ты, укрываясь болезнью, отказалась приехать, чтобы совместно обдумать священное для меня, — я думал, увы! — что и для тебя, — дело облачения «Неупиваемой» в колоритность и красочность! — это разные понятия — колоритность и красочность. Я надеялся дать тебе указания, вместе с тобой найти самое важное, — идею, «художественный предмет» «Чаши», и это дало бы тебе путь к выражению в линиях и красках — композиции. Ты могла приехать — и не захотела. А мотив для поездки был повелительный и — правдивый. Если бы ты любила меня, ничто не могло бы тебя остановить. Смотри, какую «космическую» энергию проявляешь ты ныне, расшибаясь в лепешку, для... призрака. Ты отмахнулась от подлинного, чтобы служить надуманному тобой. Ты меня оскорбляла,

унижала, оплевывала — открыто и с-глазу-на-глаз, лично и в наигранных письмах. Но не одержала «победы», не сорвала с меня «скальп» на память, в удовлетворение твоего мелочного тщеславия. Слава Богу, я еще почти цел. Но сколько огня моего ушло на тебя, ско-лько ты отняла у миллионов моих читателей! Я, — не отдай я столько сил на томы писем к тебе, — создал бы несколько новых трудов, меня достойных! Ты их сожгла, не рожденные. Этот твой грех ты не изгладишь ничем. У меня нет уверенности, веры в тебя, что ты не станешь открывать кому-то моих высказываний в письмах к тебе. Отныне тебе не верю. Ты склонна, очень склонна к «мишурной славе», хотя бы твоею ложью купленной. Жестокое говорю? да, жестокое, но верное. Ты меня до того оскорбила, что я потерял власть над собой и не могу сдержаться, хотя мне и стыдно, и постыдно писать так тебе. Я вчитался в «поздравительное» письмо твое. Ка-кая бесчувственность, какое опустошение сердца и ума даже... и какое безвкусие! из «Письмовника»! И к этим полутора строчкам «поздравления» — наворочено столько трухи!.. а ведь и трех месяцев не прошло с моего насыщенного восторгом и сильным чувством к тебе письма к твоему Дню! Да ведь из омертвевшего сердца разве вытянешь каплю жизни и правды?! И я все понял. И стыд опалил меня. Стыд за тебя и за меня самого: как же я слеп был и как рассыпал бисер — в пустоту!

Едва знакомый мог вернуть тебе и волю, и радость, и — надежды! Ты — «взялась за кисточку» — рисовать «программки». Ри-суй, мечись... — это будет недолго длиться. Ты не можешь ничего создать: для созданий в искусстве нужна большая воля, вера, выдержка, — глубокое и длительное дыхание. У тебя есть дары от Господа, но ты пренебрегла ими, ты поиграла ими, спеша и мечась, тщась тщетно все одолеть в минутку! Ты безнадежна, это так ясно мне, теперь — ясно. Всмотрись в себя, в совесть, оставшуюся в тебе, — и ты поймешь.

Я послал тебе обрывок из «воспоминаний», набросок «русской души» простецов[697], по-своему чтивших, — чутьем! — великое родной жизни. Я дал тебе «пустячок», дал «горечь» и «горький юмор» над бедностью незадачливой жизни люда русского... — воспетую простецом-шутником. Ты ни словом не обмолвилась, даже хоть из приличия не нашлась упомянуть... Ильин — тот, конечно, понял[698] — и оценил, что показал я этим «пустячком», почему-то последние дни меня томившим. Не заикнулась даже, на миг не остановила на нем души. Ты же совсем в

другом... и во лжи... во лжи, даже самой себе. Да, права твоя мама... — помнишь, писала мне ты? — «меня считают лгуньей»?! Да, это болезненная ложь, от... — ее психиатры называют «неврастеническая». Ты полна ею. Ты очень склонна выдумывать, обманывать, веря, что говоришь правду, — обманываться.

Ты всю жизнь обманывала... себя. И — других («Поеду» умасливать даму — «шпеком»! — Благородно.) Я вижу многое, чего ты и не подозреваешь... — что ты чувствовала, и что ты делала за эти 3—4 месяца! И как началось это... ты знаешь — что. Ты все время хочешь обжечься — и боишься. Да, тут применимо положение чтимого твоего Фрейда... — «комплекс», половой комплекс: ты в этом не удовлетворена, и изобретаешь суррогаты. Ты кружишься вкруг огня. Но это твое дело... Скажешь — «что за ревнивец, чего надумал!» Нет, тут не ревность, а — оскорбление всего святого во мне. Ты не ответила и на указание твоей ошибки... с Крестом. Так, мимо. Ты не нашла в душе крупицу великодушия, благородства... — отозваться и на шестистишие мое — моей святой Усопшей. Там я сказал всю правду. Да, Она всю жизнь хранила меня и подарила родному народу меня, принося себя в жертву. А ты... все эти 7 лет расточала меня и мое. Так ценила, любила. Бездушная, пустодушная. Вся — полная собою. Только собою. Теперь пожнешь «лавры», дешевенькие... но и это для тебя — победа. Но она же мгновенно обратится в позор и поражение для тебя. Над тобой посмеются (как и в броске твоем с «апельсином»), и — чувствую — уже смеются. И доктор Клинкенберг — видит и знает это. А если не знает — у-знает. Но он не посмеется, он пожалеет, как я жалею. Но я бессилен. Ты не замечаешь, как во всех последних письмах твоих — да и не только в них — одно только извивается красной нитью — я, я, я, я, я ж-ж-ж-ж... ... Слепец только не увидит... По-зор!

Ты осмеяла и опозорила мое творчество. Ты издевалась над святым во мне, над моим идеалом русской женщины! Ты обозвала Дариньку, созданную мною, — ее же нет еще, и она где-то... — крича мне — «она же ду-ра! пустышка... выдуманная!..» Ну, насмейся — уже насмеялась! — и над «Чашей»! Ты способна. Как же не наплевала, когда отшвырнула ее, ударила по ней, как неразумный ребенок бьет кулачком ушибшую его игрушку. Но ты же не ребенок... Не ты ли кричала — «твой Пушкин, твое "Солнце"... просто, бездарь!..» Ну, да... ты была в мгновенном потемнении... Но с «Чашей»-то?.. Ну, да, тоже «потемнение»...

только от ослепившего тебя света «величайшего таланта», «погибающего ге-ния»! Тешь себя.

Мое решение бесповоротно: я сознательно порываю с тобой всякое общение, я отныне тебя не знаю. Я хочу охранить себя, для должного. Для многих. Этот разрыв ты переживешь легко, как прежние. Только теперь уж не сотворится для мира «необычайный, никогда так не написанный роман-трагедия». Его погубила — ты! его пожрет огонь. Я сожгу мои письма, ты их обязана мне вернуть. Ты сожги свои. Заклинаю тебя — сожги. Не вынуждай меня на непростительные меры, я за себя не поручусь... Я хочу все стереть, без остатка. Сегодня же я посылаю тебе все твои рисунки. И твой автопортрет. Мне — боль это и злое напоминание о моем преступлении: так гадко обмануться! Ты — да, да, да! — ты — именно, злая гололедь! Темная сила владеет тобой — тобою творит зло в мире. Ты много его посеяла. И еще посеешь. Но это уже — последний посев... он скоро прервется. Я так отравлен тобой, что если бы было там... — я бы и там не узнал тебя. Я вытравлю все из души, что связано с тобой. Вот как ты меня разожгла, как отравила злом. А я никогда не бывал таким. Ни-когда! Клянусь! Теперь — пока я не охладился — я готов на самое ужасное. Без сожаления, без оглядки. Я не могу уже обратиться к Господу, молиться... ты меня так изранила и истравила, что я, должно быть уже не оправлюсь. Ты убила меня, скверня святое мое, во мне...

Избавь меня от твоих денег. Телеграфируй К[сении] Л[ьвовне] распоряжение. Эти твои — понадобятся для авторитета-«забавки». Он лишний раз войдет в наигранный и бездарный оперный раж и «схватит твою руку», а ты «вспыхнешь и задрожишь», от счастья. Избавь! Эта К[сения] Л[ьвовна] до сих пор не зашла, а уже октябрь кончается. Я хотел с ней послать нужное для тебя, но теперь — бесцельно.

Не посылай мне ничего, кроме моих писем, — верну. С «Pavois» сам сделаюсь. А вырученные деньги за книги — если продадут — отдай кому захочешь: я не приму. Теперь меня давят попадающиеся на глаза из твоей рухляди и вещей... — как от них мне избавиться?.. Все твое причиняет мне боль и стыд: Ксению Львовну я не хочу мешать в это, а то бы послал твои фотографии.

И. Ш.

158

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

18.XI.46

Дорогой Иван Сергеевич!

Невероятно, невыносимо трудно мне писать Вам, т.к. не знаю в какой форме и каким обращением к Вам писать, чтобы не явиться вторгающимся и нежелательным, неприемлемым элементом для Вас, после упрека за то, что «отняла Вас у миллионов», после того, что Вы «не знаете меня больше» и не хотите никакого напоминания обо мне. Думаю, что обычной формой письма читателя, по-прежнему Вас ценящего, я не оскорблю Вас. А писать Вам я должна, и именно потому, что никто не знает, что может произойти в жизни и кто из нас кого переживет. Дело Ваше, как примете Вы слова мои, но мой долг сказать Вам, что обвинения Ваши *все* — несправедливы. Решительно все. Я тщательно проверила все. Я, как это мне ни[i] было больно, и изучила письма Ваши и беспощадно разобрала всю себя. О последнем (о себе) писать не хочу — это Вам, после Ваших утверждений — бесполезно. Но знайте, что я так дальше, не сказав Вам моей последней, заканчивающей письмо фразы, моей правды, — жить не имею сил. Вот что:

Чувствуйте и думайте, как хотите, расценивайте меня по-своему, негодуйте, если не можете иначе, но знайте, что люди и «второго разряда», и ниже, как все мы грешные, не отмеченные Богом, не состоящие в рядах Вашем и таких как И. А. И., — чувствуют и переживают сердцем и душой точно так же, как и вы оба. И все же в моей душе горит одно желание — сказать Вам:

Не надо зла, перед Вечным и Высшим в нашей жизни, пусть отойдет все это темное, не отходите, не отстраняйтесь от Света, знайте, что душа моя готова принять свет Вашей души, и я протягиваю Вам мою руку. Не для тщеславия и т.п. определений Ваших, но во имя высшего лучшего в нас людях.

Если Вы не хотите — это Ваше дело, но без того, чтобы Вам не предложить это — я не могу жить. Вот все, что я могу. Иначе — не могу. О. Б.-С.

---

[i] В оригинале: не.

159

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

23.XI.46

Олюша-голубка, сейчас твое заказное письмо[699]. Спешу, не прочитав еще всего письма, чтобы фам-де-менаж могла бросить на почте, т.к. я не выхожу, холод, и я недомогаю, — спешу сказать тебе, от всей правды во мне — поверь же! — я прежний к тебе, весь прежний, нежный, горький... — Оля, ничего не было! — т.е., не было правды в моих безумствах! Или ты еще не знаешь меня?.. Безумствовал, в отчаянии... как я раскаиваюсь, что столько горечи бросил тебе, бедняжка!.. Забудь, забудь... и прости. Сердцем и разумом прости: все от зла во мне, от обступившей меня тьмы.

Я ценю и чту тебя, я верю в тебя, в твой дар Господень. Не страдай, — и я же преступник перед тобой! Я не смею сказать — «люблю»... — но я знаю, что не могу без тебя, не могу утратить тебя, — пропал я тогда, нет цели жить. Голубка, плачу о тебе, как жалею!.. Ну, забудь! На 21 видел тебя, будто смотрю в окно, и в ночи вижу: твой багаж, на тележке... «Оля приехала!..» Жду... весь замер. И вот, будто лежу... и слышу оклик — «Ваня!..» Спрашиваю, а сердце замерло: «кто это?» И слышу твой голос-шепот: «да я же... ну, кто же может быть?! ... я, около тебя...» И ты... приблизив лицо к моему, дышишь в меня... и я чувствую твою душу... она входит в меня с твоим дыханием... — и я так счастлив!.. Ты вернулась ко мне, я знаю. И — проснулся, в радости и боли. А вчера, лежу в темноте на кушетке, и вдруг так крепко поверил, что ты приедешь, сейчас приедешь! Смотрю на часы, на светлый кружок их, — без четверти 9 вечера. Поезд пришел, и сейчас ты позвонишься... О, какая радость, и какая боль!.. Знаю, что это самообман.

Оля, не могу писать, спешу... Но знай же: я безумствовал, я поверил, что ты меня совсем не любишь... — отсюда все. Ты бесценно-дорога мне, ты моя жизнь, Оля... последняя ее страничка... Ты же знаешь мое воображение: оно воспламенилось и жгло, сжигало меня... Я весь твой, весь прежний, весь, весь, Олюша, Ольгуна... Я помню — во сне твои слова: *«я же твоя Ольгуна...»* Оля, прости, за все. Я так несчастен!.. Но ты не изменишься ко мне, нет?.. Целую твои ножки, светлая... Прислали «Чехова» из Швейцарии. Только один экземпляр, другой пропал, не заказной... жду еще. Пришлю тебе. М. б. — есть надежда! — будут изданы

по-русски обе части «Лета Господня». Решается вопрос. Пока не могу сказать всего. Пришлю и отзыв о «Чехове» в моей выборке из — 4 «Нейе Цюрих Цейтунг». Книга идет «нарасхват». Отзыв прилагаю[700], Ильин прислал[701]. Оля, — прости, но я не могу не сказать, хоть шепотком, — «я весь твой, навсегда... я не могу без тебя». Я — клянусь! — ни на миг не утратил веры в тебя, в твое богатство! Я люблю тебя... — люблю так, как ты можешь позволить. Благословляю тебя. Молюсь за тебя. Оплакиваю свой грех. Если бы ты знала все уклоны человеческой души! Как бесновался Достоевский в своей любви к сестре Софьи Ковалевской[702], какими упреками осыпал ее!.. — из ревности. Это чувство он в совершенстве постигал. Перечти его любой из романов, особенно его «Идиота». Ка-ким ужасным может быть человек!..

Я пошлю тебе — о себе, что недавно послал Ильину[703]. Он — оценил. Ах, Оля... этот страшный месяц — что пережил я! этот ужасный «октябрь».

Целую твои пальчики, моя бедная девочка, мною измученная. Твой Ваня — только тобой и жив... Спешу. Крещу. О, как болею тобой, как боюсь за тебя...

Вечно твой — Ваня. Оля, прости меня, окаянного. Я же был без ума!

Ваня

Я тебе много пошлю, я все время жил тобой.

В.

160

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

28.XI.46

Дорогой мой Ванюша, получила твое письмо со стихами[704] и книжку Чехова, спасибо, спасибо! До твоего письма, я писала тебе и как раз на тему, что у тебя «уже давно против меня [грейтелось]». Да, это ты и подтверждаешь. Но не пошлю письмо, хоть там как раз и указываю на неправильность недовысказывания с моей стороны, т.к. остается осадок. Но все же не шлю. Не надо. Я устала, хочется поставить точку. О «прощении» говорить не к месту. Ты же видишь, что я никакой обиды не несу на тебя. Мать наказывает ребенка, и, из «воспитательного урока», еще все делает вид, что сердится. Я этот метод воздействия никогда не находила верным. Сама так никогда не поступаю, да по характеру своему и не могла бы. Твои обвинения мне я

проштудировала тщательно и точно, ведь месяц времени-то был[705], и я их, конечно, вобрала в душу. Мучилась больше тем, что знала душой, как должен же страдать ты и еще больше от бессилья это прервать. Ты же решительно мне все пути закрыл, замыкая фразой о том, что мне не замолить греха в отнятии твоего внимания на меня, что это должно кончиться, чтобы я не смела ничем о себе напоминать. Ну, кончим об этом. Скажу только о себе. Так, как страдала я («пустодушная» и «бездушная» «гололедь»), вряд ли кто страдал. И душевно и физически. Никого и ничего не могла видеть, ни с кем говорить. А когда доставало сил, бежала из дома под тем или иным предлогом. Но сил не было. На письмо Ксении Львовны[706] я не могла ответить и *только недавно* послала ей 2 строки, чтобы она не сочла с моей стороны за дутье. Не хотела ее приезда и не хочу сейчас. Упадок нервов пришел сейчас. Больная балерина при всей любви к танцам не может танцевать. Так и я, — при всей моей абсолютной необиженности на тебя — взлететь еще не могу. Все придет, как только позаживет все. Я не хочу этим «кокетничать», но говорю чистую правду. Было бы наигранностью, если бы я писала, полная восторгов. Я, Ванюша, — кляча. Ведь еле тяну. И еще одно меня очень обсекает, — я страшусь тебе писать *все*, как думаю, как чувствую, как вижу и что делаю. Ты почти за все меня бранил. А писать просеивая — не могу, претит, не захватывает. Я тебе писала все как есть у меня в жизни, ну, о заботах, делах, — о всем —, *тебя это оскорбило*. Ведь по заказу никакой поэт не пишет. Я могу (и очень) написать нежнейший гимн тебе, но не тогда, когда задергана жизнью. И вовсе не потому, что «труха» тебя вытесняет, а потому, что человек ограничен в своих силах и возможностях. Теперь я никогда не смогу раскрыть рта (к примеру только) о Жуковичах, о церковных делах, о моих житейских заботах — «трухе». Ну, и думаешь: «пиши-то пиши, да не записывайся о "трухе"». Я так не умею. Отношения людские только тогда гармоничны, когда люди — вровень. Я не о толпе говорю, а о друзьях. Ты говоришь, что я тебе вровень, а на деле это *не* так. Я это выверила. Ты не даешь мне самостоятельно мыслить. Не обижайся. Это так. Во время войны я замолчала о политике, чувствуя, что иначе будет крах у нас, теперь также замолчала о церкви. И самое-то главное — ты совершенно не знаешь, как я думаю. Ты прежде моих слов, уже утверждаешь: «ты с "бесами"». А между тем, я по существу и в этом вопросе то же, что и ты, только последовательней. Было бы другое, если бы ты, не злясь на

меня, предоставил мне думать так, как думаю, можно и спорить, можно протестовать, но с уважением к мнению друга. Ты и во мне эти же чувства нетерпимости подозреваешь, когда их нет. Я не ценю огульных похвал моих работ. Мне это неинтересно. Понимаешь? Куда ценнее заявление Dr. Klinkenbergh — «мне портрет не нравится». И я с величайшим вниманием хочу точно знать п о ч е м у. И вникаю, и учусь. Твои замечания, когда они беспристрастны — очень ценны. Я многое учла из сказанного тобой, но согласись, что когда ты сегодня ругаешь портрет на все корки, а завтра его хвалишь, то я не беру ни то, ни другое. Я пришлю, если хочешь твое суждение о нем, и ты сам улыбнешься. Ты страстен, и я понимаю, как это получилось. Конечно, не от незнания твоего, а именно страстности, пристрастности.

Что я «все в минутку» — неверно. У меня есть этюды — скучнейшие ландшафты по 6—7 экземпляров-вариантов. И все из-за одного только эффекта. На фимиам я не падка. Ты тут не прав. И самое твое горькое для меня: «тобою насилуемые, мои авторские права». Это гвоздем сидит в сердце. Это так чудовищно, так грязно, и так — неправда. Какой же мразью я тебе тогда казалась. Что ты думал тогда? Конечно, у тебя это в одержимости было, — верю, знаю и по-ни-маю м. б. но ведь и в одержимости надо этакое забрать в голову. «Что у трезвого на уме — то у пьяного на языке?» У меня есть мое объяснение этому. Но не хочу писать, — м. б. после. Для себя я уверена, что это так. Знаешь, а о «комплексе» — не надо этих объяснений. Ты же знаешь, что это не так. Жукович для меня среднеполое существо, никак меня не захватывающее. Да и вообще, это никогда не ставилось мной во главу угла. Ты просто все еще меня не знаешь. А что Вы с И. А. люди первого порядка, так это факт. Не отрицай. Но душа-то моей Тилли даже совершенно так же от обиды возмутится, как и дражайшего Ильина. И ведь безразлично, что швырнуто в физиономию: Мадонна — Рафаэлю, или плохо выбитый коврик моей Тильке. Обида *субъективная* — одна и та же, для души-то. Это объективно иначе, а моя Тилли так же заплачет и от коврика. Мои акварельки я в физиономию получила молча, а ты взбесился от своей собственной фантазии об «отшвырнутом» «Богомолье». Ванёчек, не сердись, но лучше сказать. Хочу тебе сказать о переводах: с неделю—две[i] тому назад появилась книга «Рассказы А. П. Чехова»

[i] В оригинали: неделю — 2.

на голландском языке. Я купила. Чудесная обложка, все в его духе. Принесла домой и после ужина, не сходя с места до 2 ч. ночи все прочла, в слезах. Т.е. что-то непостижимое — этот перевод. Были избраны его произведения о любви: «Поцелуй», «Скучная история», «Душечка», «Верочка», «Дом с мезонином» и «Дама с собачкой»[707]. А[нтон] П[авлович] во весь свой рост и во всем своем очаровании встал передо мной без малейшего искажения. *Чудесное* вступление переводчицы[708], указывающее ее чуткость и вкус. Я тотчас же начала розыски ее. Не хотела тебя посвящать прежде времени, но уже не вытерплю: я узнала, что она молодая (38 л.), интересная женщина, талантливейшая переводчица. Мне сказали: «M-me Bredius, Вы должны с ней увидеться, это очень важно!» Мой план заинтересовать ее твоими переводами. Каждое собственное имя русское она отличила ударениями, — читатель не ковыряет наши фамилии. Я в упоении, в восторге от этой дамы, от ее чуткости, от ее таланта. Я должна ее найти. У меня уже много сделано к этому. Я вообще, — если бы силы — влилась бы в наилучшие круги искусства. Мой Dr. Klinkenbergh старается в этом тоже, поскольку ему позволяет время. Он очень занят. И даже когда маму чуть было не повез местный другой врач на операцию, сказал: «хоть и срочно, но я всю ночь занят, оперирую». Мама теперь ходит, но очень осторожна. У Dr. Klinkenbergh'а есть по-моему некоторое ясновидение: когда и доктор, и Сережа ему звонили о маме, он сказал: «ничего, не пугайтесь», а когда врач предложил в машине маму уже в больницу перевести, чтобы м. б. ночью же оперировать, он тоже сказал: «нет, я сам буду завтра в 5 ч. вечера». В это воскресенье был на 7 мин., но маму даже не осматривал: сказал: «м. б. и не надо будет операции». Пока-то спеха нету, но все же м. б. лучше бы было. Не знаю. Все это меня тоже выбило из колеи. Вчера узнала, что «Пути Небесные» почти все проданы в магазине. Должен был другой тоже заказать. Мое самое твердое мнение: никто, никогда не может перевести вещь хорошо *не* на родной язык. Не сердись, но у Эмерик только потуги. М. б. не так мерзостно, как гадит (именно гадит) Candreia, но и не захватывает, не дает автора. Не может. Как бы ни знала язык. Потому, только потому, я ничего не буду переводить ни на голландский, ни на немецкий. Для голландского только Aleida Schoot. Она гениальна. Она пушкинского «Пророка»[709] перевела чудесно! Сама я слышала декламацию. Читая Чехова по-голландски, я не чувствовала, что это чужой язык. Candreia *изгадила* Чехова. Я не могла

долго найти имя переводчицы, не знала, кто перевел. И только сказала: «Господи, как небо от земли эти два перевода». Мне вообще-то немецкий язык совершенно — свой, голландский же с некоторым усилием, но в чтении Чехова было иначе. Schoot я читала без малейшего напряжения, как по-русски, заливаясь слезами. С Кандрейей, точно по русской гати ехала. Все кишки вытрясло, д . . . мо! И тебя переломала на свой лад. Запретить надо. Чего издатель-то смотрит? Моя мечта сделать другое. Но погожу об этом. Ты меня минуткой меришь, а это сов-сем не так. Ты, милок, меня не знаешь. У меня побольше твоей Эмерикши напор. «Пути Небесные» должна была переводить француженка. Да, да. Только. Чуткая француженка. Об иллюстрации забудь. Иллюстрировать можно только себя. Я закончила намеченное мной для «Чаши», «урок», себе просто. И теперь перейду к своему. Как только пройдет одно дело, о котором тебе напишу тоже. Я боюсь тебе теперь обо всем писать. Ты бранишь меня. А как хочется свободы общения с тобой. Только тогда я могу быть собой, и ласковой и нежной. А из щели — нельзя. В муках и страданиях октября—ноября я пропустила сроки и не приготовила к Рождеству рассказ в католическом журнале, о чем говорил Dr. Klinkenbergh.

Мое «Маленькая девочка видит звезды». Жаль, опять до следующего года. Мне очень нужно Aleid'у Schoot. Ох, как нужно! Подумай: на книге большими буквами «перевод A. Schoot», когда я спросила: «дайте полистаю, каков перевод...», то продавец сказал только учтиво: «перевод A. Schoot, — вот здесь», и указал на имя. Я к стыду ее не знала. А продавец добавил: «У нас книгу берут специально благодаря этому имени, — оно же за себя говорит... заметьте, всегда прекрасный выбор переводов... всегда со вкусом». Верно! Божественно перевела Чехова. Тебя на голландский должна перевести или она, или никто. Нечего д-----ть-то. Я добьюсь. А кто знает, м. б. мы здесь издадим «Чашу» de luxe? Но мне не надо этой чести, иллюстрировать ее. Я не достойна. Я еще мало могу. Но смогу, м. б. Обложка к Чехову ни к чему! Возмутительно. При чем тут Нестеров? И при чем это лицо? Нет, *без* вкуса. Хочу, и *должна* иметь написанное И. А. И. о тебе. Должна, требую! Это мне необходимо! Пришли. Верну. О твоих стихах могу написать горы. Я поражаюсь, откуда у тебя, такого необычайного писателя-романиста, такой стих. Будто ты всю жизнь стихи писал. Как же ты одарен! Я поражаюсь. До того прелестно. До того глубоко и легко. До того красиво! Звучно. Я в восторге. А что «Иван-Великий»? Они мне не

соизволили ответить, хоть и деловое было. Правда, страдая, я и ему не писала. Не могла. Что у меня с сердцем? Никто не знает. Боль, одышка, шумы, когда лежу, будто что льется в груди. Часто «дрожь» какая-то по сосудам, холодом и жаром. Такое бывало давно. Нервы тогда были. И всегда устала. Сердцем устала. Чувствую, как оно устало. Сердцебиения никогда не бывает, не курю, бросила разом. Ну, Ванёк, Господь с тобой! Молись, не забывай Бога. Я все та же. Отойду и — запою, тебе и другим. Обнимаю. Оля

[На полях:] Господь да будет с тобой! Будь здоров. Я все осилю и хочу работать. Я буду, если буду жить.

Голубок, не тревожься. Я все та же Оля. На днях пошлю тебе посылку с луковицами для могилы О. А. Надо скоро посадить, тогда весной зацветут.

161

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

18.XII.46 Морозы. 1 ч. дня

Хоть и отапливают хозяйские радиаторы, а все же подтапливаюсь печуркой, к вечеру.

Ольгуночка, милая... как ласковы твои письма! — согрели меня. Как прекрасна твоя душа! какое сердце!..

Посылка твоя — растрогала. Не нагляжусь на курточку, на безрукавку — легка-воздушна! — целую твои золотые ручки. Благодарю маму, поцелуй ей за меня руку.

Твоего куличика — кекса? — еще не коснулся, нельзя еще. Хотя язва поутихла, слава Богу, боюсь испортить, работать надо, а то пустота душе. «Пути» так выправил, что сам ахнул: сократил на 30 процентов! Видала?.. И никак не жаль, напротив... Теперь начну переписывать, что займет недели три.

С изданием «Лета Господня»[710] вырешится к половине января. В издательском комитете всякого жита по лопате, есть и враги. Ну, Бог не выдаст — свинья не сожрет, не страшно. Бу-дет издано!

Программа концерта[711] составлена превосходно, лучше нельзя. Очень зерниста. Ты молодец! Я — поверь! — счастлив твоим успехом, иначе и быть не могло. Ты чаруешь. Чаруй, милая, во славу Божию. Прекрасно, что твой горизонт раздвинется, нельзя влачить жизнь в углу: ты не для сего. Ты богатейше одарена, и это всеми чувствуется. Блистай. Влияй. Во славу имени русского. Только не изнашивайся, про-шу! Н е разбрасывайся. *Жду* твоего рассказа,

всем сердцем, со всей доступной мне прямотой подойду к нему. Будь смелей и свободней, и — стро-гой к себе.

Благодарю, родная Ольгуночка, за хлопоты о Ване. Не переобременяй себя! Все придет в свой срок. Конечно, мне было бы приятно, если будет переводить г-жа А. Схот, — если сердцем примет то или то. Чувствую, что ты верно ценишь ее: твой художественный вкус тонок, остер. З н а ю. Ты — многогранна, художница. Уж в этом не могу обмануться. Ты — е с и. И сделаешь вверенное тебе. Но и для искусства надо быть здоровой, а если и нездоровой — так в особом смысле: не как мясники здоровыми бывают. А чтобы чуть и г р а л н е р в.

Все, что ни делаешь, все у тебя достойно, сердца своего слушаешься. Молодец, любуюсь, счастлив. Покоряй и влияй. Отлично было бы, если бы ты подружилась с А. Схот: она, несомненно, *Божией Милостью, раз так принимает* н а ш е, особенно — Пушкина! Гаршин[712] конечно, лишь нераскрывшийся цветок, совсем молодым оборвал дни свои, кинувшись в пролет лестницы. Первые лишь шаги делал... и вещи его — почти все — «на поставленное задание». А тэз[i]. Лучшее — «Красный цветок». Недурно — «Четыре дня». «Надежда Николаевна»... — так, малокровно. А «Молотобоец», (?) ... — дань времени. Почему облюбовало его голландское издательство?! ... Лучше бы нечто из Лескова. Например, «Соборяне»[713], — но непременно, *очень* сократив.

За д-ра Клинкенберга... — печалюсь. Но он — сильный, мудрый, благостно-примиренно принимает посылаемые испытания.

Болею за тебя, ты так нуждаешься в тепле, всяческом. В холоду ты, нежная пичужка. Ах, Олюша, как горюю за тебя: ни тепла, ни угла. Я не дождусь, когда солнце пойдет на лето. Почес мой не проходит. Будто уж и привыкаю, хроник. 8 месяцев! Пишет сегодня И. А.: «Вижу Вашу жизнь не житием, а подвигом, и братски приветствую Вас, да поможет Вам Господь. Крепко держитесь, никакими печатными неудачами не огорчайтесь»[714]. — Очевидно, на мои сетования, что пока неясно с изданием «Лета Господня» — «Вы уже вошли в историю России и русской литературы: Ваши труды у ж е строят будущее». Пусть так, но одиночество так гнетет... и недуг меня истомил.

Согрели меня твои ласковые слова... голубка! осветили твои заботы.

---

[i] На тему (*от фр. a these*).

От нас можно посылать почтой посылки не более 2 кило. Пошлю раздельно. Напиши: у меня есть вязига, мне нельзя есть пироги с ней, хочу тебе послать. Можно?.. Отличный сделаете пирог, особенно если рис есть и найдется консервированная семга или лососька. Про-шу прямо ответь, а то... что мне с ней делать? Оставлю и себе шматочек. Ночь мочить, потом варить, до прозрачности-мягкости, только не до «киселя». Пропустить через котлетную машинку, — топазики будут, россыпь: рубить сечкой в корытце — тоже хорошо.

Завтра, м. б. пошлю, придет фам де менаж. Я не выхожу, злюще ветрено, пронзает. Теперь хоть некоторая охота к еде. Расклеился я здорово, все это след острых чувствований-переживаний. Сказалось. Как не хватает мне тебя!.. Поверь, я чисто, нежно люблю тебя, светло! Буду счастлив, когда ты побываешь у А. Н. Бенуа. Мно-го воспримешь. У него совершенно никому неизвестные альбомы-акварели Петербурга.

«Онегина» я тебе послал, совсем, рад был, что хоть это нашел. Это здесь редко можно найти. Ах, напрасно ты так скоро — я виноват! — возвращаешь Ильина обо мне. Я тебе возвращу на время, Ильин еще не требует.

Как я счастлив, что ты вернула мне доверие, поняла Ваню. Поверь, я не так уж нестерпим, — я будоражен, только. И я кляну себя, что так писал — не я!! — тебе... сожги эту ложь, это безумство. Ты — вся чистая, вся светлая, вся глубокая, вся — творческая Оля. Единственная. Это знаю.

Болею — уголка нет у тебя... о, как чувствую это!

Верю, что Кандрейя все изгадила, и не понимаю, как не видят издатели! Хотел бы я, чтобы А. Схот — если знает немецкий — прочла «На пеньках», в переводе Артура Лютера[715]. И «Солнце мертвых», в переводе Кэт Розенберг[716]. *Не* для перевода. Хотя Ван Вейк очень хотел, чтобы «Солнце мертвых» было переведено. «На пеньках» приоткрыла бы для А. Схот — Шмелева. Любил покойный «Николай Васильевич» (ван Вейк), — так его русские звали, — русскую литературу! Артур Лютер перевел «Пути», теперь надо переслать его рукопись для швейцарского издательства[717]. Пошлю сперва «Губеру и К°» во Фрауэнфельде французское издание, для ознакомления. А там, если одобрят издание, поищем способа переслать из Германии — пока только письма можно.

Благодарю за луковки, еще не переслал, жду сегодня Юлю. Мышьяк тотчас же остановил, как получил твое

письмо[718]. Сделано было 9 уколов, из 24: Я знал что нельзя глотать... и подозревал, что и уколы — все равно. Но так хотелось отравить «зону»! Хотя я не уверен, что — «зонА»... (?) М. б. воспаление поверхностных лицевых нервов. Но, главное, заняла точный район: аккуратно правую сторону лба!

Если бы ты была здорова! Думаю, что у тебя сердечный невроз. О, милая! Как я любуюсь тобой... как ты горишь за мои работы!.. как старалась показать меня!.. Я знаю, что мой язык труден, и не все мое — для всех. Это твоя огромная, многогранная душа может так брать. Ибо ты — истинная, вся — художник. Ты так отменно описала твое посещение А. Схот[719]. Вижу. Проф. ван Вейк чувствовал, любил Шмелева. Делал представление Нобелевскому комитету. Было бы хорошо, если бы А. Схот прочла Ильина. Если хочешь — *пошлю и о* Бунине.

Не смущайся, что ты «по-Шмелеву» даешь, стиль-то! Это, просто, лишь кажется тебе. У тебя — свое, все. Я же читал тебя! Значит, очень наши души похожи: ты искренна: если выходит, как тебе кажется, по-Шмелеву — значит, так поет твоя душа. Иначе, значит, нельзя. Ты — живешь изображаемым. Не смущайся.

Если будешь в Париже, пойдем к Бенуа. Он кстати недалеко живет, 5 мин. на автобусе, у моста Мирабо, от нас ходит № 62. Как досадно, что не можешь уединиться! Эти кварт[ирные] к[омна]ты! Но вы же можете через адвоката представить: 10 комнат — парочке, когда владельцы без помещения! Что за чушь?! Прислать тебе «Чашу» голландскую? Напиши. Можно издавать. Уверен, Козлова[720] имела в виду, что «Чаша» была написана, когда не было защищено прав на нее (в 18 г.), Россия не примкнула к женевской литературной конвенции[721]. Потому и гонорар мне она (К[озлова]) выслала — грошовый. Да я менее всего интересуюсь гонорарами. Пусть без него. «История любовная» может быть по душе голландцам. В отличном, конечно, переводе.

Милая, поверь: мечта моя, чтобы ты, ты, ты... живописала «Чашу». Она — твоя, Олюша, и я тебе пошлю все права. И буду просить тебя — принять ее в свое обладание и в свое сердце. Только тебе могу ее оставить. Не тревожься моим физическим состоянием. Я скриплю. И кто знает, сколько еще буду скрипеть. Я быстро выпрямляюсь. Ты же видела, в Париже, как я был бодр!.. Я — на нервах живу, и, Слава Богу, цел... недуги мои... — итоги всего. Очень бы я хотел, чтобы д-р Клинкенберг узнал «На пеньках» и

«Солнце». Он много возьмет, для души. Знаю. Он — художник сердцем, он — большой — духом: он, познавший до предела физическое строение человека, — верующий! Ясно, какой он большой. Как я чту и люблю таких. Ты *не могла* обмануться, ты — «лейденская баночка», чуть электричества — и листочки разошлись, схватили! Ты вся — электра. О, чуткая... Как я тебя почувствовал, через письма, — и не обманулся! Ты для меня — заветная.

Нет, милая, я верю, что Ж[укович] достоин твоих хлопот. Ты права. Помощь чистому в творческом, — служение, долг. И я всем сердцем желаю, чтобы кончились гнусные мытарства, для певца. Но подлостью ныне мир стоит, — и удивительно, что не рушится. Прости меня, но ты и сама виновата, что я так воспринял, так криво. Я всегда за тебя дрожу, чтобы и пылинка тебя не задела. Понимаешь, Оля..? Ты — так выделена *для меня, из всех!*

Оля, я очень скорблю, что нет у меня «Ярмарки»... — она так светла... солнечна, она — удалась тебе, несмотря на *многие* изъяны. Чего ты хочешь?.. Мастера не вдруг стали великими. И я не сообразил, что нельзя предъявлять к тебе предельных требований. Такое — чую — не по силам и сложившимся мастерам. «Ярмарка» — огромная же картина!.. А ты ее в день—два дала.

На днях мне принесли мою книгу, изданную в Москве (писал, кажется, тебе), пятый томик, «Волчий перекат»[722]. Там: «Волчий перекат», «Виноград», «Росстани», «Весенний шум». И что же? Эту книгу я в декабре 14 года послал Леониду Андрееву, на его присыл мне — писал тебе? — 24 томов полного собрания сочинений издательства «Просвещение»[723]. Написал, на ней: «Леониду Николаевичу Андрееву, признательно, Ив. Шмелев. Москва. 14 дек. 1914 г.». Послал в Финляндию, на его дачу, на Черной речке, в Куоколо. И вот, мне ее принесли... в Париже, через 32 года! Как говорили римляне: «Габент суа фата либелли»[i]. «И незаконные (даже) имеют свою судьбу». И сколько же просили за нее? Тысячу франков. Я не взял. Зачем мне?.. Говорят, — для вас — 1000, уже дают полторы. Я предлагал обменять на Бунина «Роза Иерихона», с его надписанием мне. Нет, «это не то», говорят. Ушла книга. Свою подпись я знаю, к чему мне? Правда, этого 5-го тома нет у меня, замотали.

---

[i] «Книги имеют свою судьбу» (*от лат. «Habent sua fata libelli»*).

Очень благодарю тебя, дружок, но нет: не думай устраивать чтения обо мне. Как можно, в переводе, пусть отличном, дать писателя?! Конечно, можно было бы надергать странички в лучших переводах: А. Лютера, К. Розенберг, А. Схот... — но это лишь — отражения!.. нет, целую твое сердце, мысли... — нет, это не музыка, не пение... это — слово, и ты понимаешь, что такое слово, в чем сила его. В образе, вызываемом понятными звуками родной речи (всякими ассоциациями, «эхо»...). Пропадет, не дой-дет до сердца. Можно читать иностранную книгу, но слушать... — правда, меня в Германии давали иногда по радио, в «кусочках». Но ведь в радио все сходит. Прислать «На пеньках»? И — «Солнце мертвых»? — по-немецки. И по-голландски — «На пеньках»? Воображаю, что наляпала Козлиха! Она куда без стеснения, чем Эмерик. Эта крикунья глаз опять не кажет. Накричала... отбила женевское издательство. Да мне плевать на деньги, нужды нет, обеспечен на месяцы... и бу-дут. А досадно.

Вверяю тебе полную «карт-бланш»[i]: что хочешь делай со всем моим, только не иссякайся. Только тебе все вверяю. Одной. И был бы счастлив — все отдать тебе: ты — верная, ты чистая, ты — любящая. Ива я, во имя покойной, не обижу, часть оставлю, чтобы не судили меня.

Я уверен, что на тебя все придут, если бы устраивать, успех будет, но я воздержусь. Если Бог судит, если я окрепну, если найду воли, я сам приеду в Голландию, и сам прочту, — часть — по-русски, часть по-французски, часть — по-немецки... — ты меня выправишь в произношении, по-французски я могу прилично, — и тогда мы вместе поделим успех, который бу-дет. Сумеем вместе выбрать. Нет, голубка, не надо, ни-как не соглашусь навалить на тебя такую заботу. Храни себя, это мне — радость.

Язва куда лучше, приструнил ее диетой, ух-какой... и уже пять дней нет уколов мышьяка. Теперь только бы оставила меня почесуха, ставшая почти привычной. Хорошо, ночью тоже спит, шельма. Финики еще не продают, к февралю это... тогда каждый день буду посылать тебе. А пока — жуй бананы и миндалики. Завтра отправлю первые 2 кг пустяков. Сардинки пошлю, всем по сардинке! Чудесные, лучшие португальские. И пряник, который ждет больше месяца, ты его оттеплишь в печурке. И грецких орешков. Но всего по малости. Сахару, жаль, не дозволяют, тикеточное!

---

[i] «Полная свобода действий» (*от фр. carte blanche*).

Не кривись, а будь послушной Олечкой и скажи, просто: «Ваня, пошли мне то-то и то-то...» — это будет мне высшей лаской от тебя. А то — «один миндалик, как символ»! Чушь. Я рассерчал. Но я тут же и поцеловал тебя, назвав — «глупая девочка...» — я от всего сердца, ведь...

Целую мою Ольгуну.

Твой Ванёк

162

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

19.XII.46

Ванёк, от тебя нет обещанного письма, и я страшно волнуюсь. Ты болен? Лучше бы не писал, что «завтра пишу тебе». Мама больна, но теперь, слава Богу, лучше, жара нет, но кажется будет прострел, а это тоже мучительно. Холодище зверский, — сегодня первый день без N.O. ветра, стало хоть возможно нагреть комнату, где сидим. С замиранием сердца, робея перед твоим судом, шлю тебе первые страницы рассказа. Я бы не так хотела, но пока, видимо, не могу еще так, как хочу. Буду работать. Вот:

Заветный образ
(рассказ старого художника)

До отъезда в «Новый Свет», устроенного мне новыми «ценителями моего искусства» — участниками A.R.A[724], — оставались двое суток, два томящих пустотой дня.

Верно для того, чтобы эту пустоту скоротать и заполнить, я безотчетно как-то пошел туда, с чем были связаны все лучшие годы моей жизни, — с лишком 30 лет.

То был сырой мартовский день в ветре. Снег буйно таял, лило с крыш, хлестало каплями за ворот.

Помню, как за углом, — последним, из-за домов рвануло мне навстречу бешеным напором, как препираясь с ветром, глотал я воздух... тот... свой... родимый воздух... Хлопал, надувался, рвался плакат огромный: «ВХУТЕМАС»[725] — над тем, что было мне — Святыней, Храмом.

На белом мраморе ступеней талые ошлепки с сапог, с подшитых валенок, лиловыми слезами растекался карандаш с какой-то намелко изодранной и тут же разметанной бумажки. Дверь, — разлетаясь, схлапываясь, и снова разлетаясь, щедро впускала их — обшмыганных и серых...

«служителей искусства», — туда, что прежде молчаливо охраняла своей зеркальной гладью.

В фойе, на месте прежней швейцарской будки стояла клетка какая-то, из тесу.

— Извиняюсь, товарищ, Вы не из Главполитпросвета? — высунулись ко мне оттуда русые кудряшки и носик пуговкой.

— Нет?.. Ужасно... так сверх-срочно, а заданий нету! — Вокруг нее теснились, шумели, чего-то получали.

Услышал дальше, пробасило:

— Это здешний... профессор бывший. —

Подумалось: в каком же это смысле «бывший»?

Конечно, я не обольщался и сознавал себя давно здесь, в этом «храме» каким-то... антикварным стулом — нелепостью среди «модной» обстановки парвеню[1].

По старому воспоминанью (средь молодых был кой-кто и из моих) еще считались с моим существованьем... передвигали «старинный стул» в пределах модной обстановки... так, чтобы на глаза поменьше попадался.

Я был в комиссиях, каких-то секциях и подотделах, но не преподавал. Стоял, как бы на очереди, чтоб быть потом снесенным на чердак... под пауков и плесень...

Обошел все мастерские, от приготовишек до... ателье выпускных. Все было пусто, нещадно дымили наскоро поставленные железки. Кишело людом только в экспонатных залах, в фойе и коридорах... Прошел сквозь них... и вышел снова в ветер. Он гнал меня теперь стремительно, подталкивая в спину.

Гудело в проводах, хлестало полотном плаката... рябило воду по серо-льдистому дну лужи.

— П-под плесень! В п-паутину! — отлично сделали американцы, — уговорили... Н-не дамся! — Кажется, я вслух сказал чего-то... прохожие глазели.

— Немного времени потратил на «прощанье»... «бывший»... да... здесь я — бывший! —

Вдруг кто-то меня тронул, робко... еле ощутимо.

— Простите, я узнала, что Вы уезжаете... извините, что я Вас беспокою... — забегая вперед, придерживая беретик, вынырнула предо мной фигурка. Кого ей? Ошиблась? Я смотрел должно быть на нее сурово.

— Тихомирова Нина, студентка из Основной... мне очень хочется спросить Вашего совета... если, конечно, это можно...

---

[1] Выскочка (*от фр. parvenu*).

Она показала на свою папку.

— Если Вы... — порывом ветра сорвало ее фразу, — мы огибали угол. Говорить было невозможно, — ветер срывал дыханье. Я предложил зайти ко мне — невозможно же в этом вихре рассматривать рисунки.

Такой обычный в былое время спрос у меня советов, сегодня удивил меня чрезвычайно. Мнение «бывшего» профессора молодому поколенью, работавшему под знаком футуризма, кубизма... всяческого «изма»?

Девушка, видимо, робела, жалась к стенке, заметно волновалась. Она мне показалась вдруг какой-то удивительно знакомой... будто я ее часто где-то видал и раньше.

— Я не хочу Вас задерживать, профессор, — лепетала Нина. Видел как она искоса оглядывала чемоданы, ящики, всю мою предотъездную укладку.

А какое-то смутно-далекое воспоминанье настойчиво старалось пробраться в память и подсказать мне наконец... да почему же так она мне знакома?

И вдруг я понял... это сходство... Леонардовские лики! Я вспомнил на конкурсе одну из младших... Ее! Хотел просить ее позировать... да так и не собрался.

Во взгляде что-то, неуловимое, как тайна...

Мне стало жаль ее, запуганную моим негостеприимством и я, мгновенно прогнав суровость, сказал ей просто... что-то вроде того: «Да перестаньте же смущаться... садитесь — поговорим... И... в чем же дело? Это?» — я показал на папку.

— Да, посмотрите... и скажите честно, могу ли я.... не теперь, конечно, я когда-нибудь после, научившись... создать то, что должно быть создано <u>прекрасно</u>. Вы когда-то сказали мне, обходя ателье с комиссией по ремонту помещений, и увидя <u>случайно</u>, как я... мажу, что мне нужно много работать, но что <u>это</u>... стоит... что... (я не смею повторить этого), но Вы тогда так и сказали, что есть в этом моем... что-то от Вашего... — Она задохнулась, остановилась... ждала.

Передо мной лежали рисунки углем наших извечных naturmort'ов, знакомые горшочки, вазы, акварельки пестрых платков, брокатов[1], прошедших через все решительно мастерские в различных комбинациях и видах.

Мне показалось, что Нина слегка вздохнула, — охнула, чуть-чуть привстала, — когда я взял ее большой лист конкурсной свободной темы... Я без труда узнал на нем в осен

---

[1] Парча (*от нем. Brokat*).

нем золоте ограду здешнего костела. Сквозь поредевший клен, на фоне голубого неба и серости каменного храма, — прекрасно изображена Мадонна... белый мрамор. Закинув скорбно голову назад, вперивши взор к кресту на храме. *Так горестно-*бессильно *опустила,* сжавши, руки. Хороши были нюансы красок, настроение, в безмолвном мраморе недвижном — движенье... сердца... Я любовался, не глядя на ошибки. Их было много... Технически тут все было ошибкой.

— Ах... это не так... очень плохо... — она вся подалась вперед, щипала пальцы, трепыхалась...

— Это не то, что я хотела... не вышло...

А я смотрел и думал: какие лица были у комиссии, принявшей конкурс при виде вот такой Мадонны? Странная идея... Я высказал ей это. Она молчала. Боролась в себе с какой-то мыслью. Потом взглянула невероятно смело, бойко даже и сказала: — Вы — все должны узнать... чтобы Вы поняли... Можно? Я ее подбодрил.

— Вот тут, — протянула она мне серую тетрадку и снова робко, умоляюще добавила — пожалуйста, прочтите! — Тут все... И Вы — единственный, к кому мне можно обратиться. Вы знаете, как у нас... в Школе... Для меня отъезд Ваш очень много значит... Нас несколько таких... без всякого руководства... Вы понимаете? — щеки ее пылали, она встала уходить и все чего-то медлила, хотела что-то еще, не находила слов как будто.

(Продолжение следует)

Отвратно пишет ручка. Ну, что мне делать? Ни пера, ни машинки. Раздражает. И холод, и теснота, а писать так хочу. Прошу очень — пришли обратно, ибо мне невероятных трудов стоит переписка с черновика. Я в этом месте сделала поправки — значит снова переписывать. Пришли, дружок, обратно. Чувствую — ты будешь бранить. Не знаю за что — но думается так. Ты меня всегда бранишь. Обнимаю тебя, соколик.

Всего тебе доброго! Будь здоров. Целую нежно.

Оля

[На полях:] Очень нежна к тебе... думаю так светло о тебе и ласково.

Жду скорей ответа — как ты нашел?

Ты будешь бранить м. б. за форму, а я не могу иначе — рассказ будет целиком от Нины, а это как бы «введение».

P.S. Мне необходимо было дать обстановку, в которой заглыхала Нина, этим кратким введением — рассказом художника, я избавляю читателя от описаний обстановки. Этой «главой» кончается почти что роль художника. Все главное от Нины. Не <u>очень</u> бранишься?

163

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

27.XII.46

Ванёчек, спасибо тебе, родной мой, за посылки — 5 шт.!! Прямо от «Деда Мороза» к Р. Х.! Но какой же этот теплый и горячий даже «Мороз»! Спасибо, Ванёк! А сегодня я тебе послала «елочку». Зажги свечки и вспомни Олю! А вот тебе продолжение, но не помню, где остановилась? Кажется, словами: «...не находила слов как будто»?

— Желаю Вам всего, всего хорошего... Если бы знать, как все будет в жизни!.. ... Счастливого пути... И много, много успеха... там...

Я дал ей руку и пожелал ей также всяких благ в ее грядущей жизни.

— А... как же я узнаю?..

Наконец выговорила она томившееся, видимо, на сердце.

— Что?.. Ах, Вашу тетрадку! Я посмотрю еще и... почитаю...

— И, знаете... — перебила она меня, оживившись... — если... прилично, если Вы найдете, что я способна для того, к чему... о чем тут все написано... — ткнула она пальчиком в тетрадку, — то Вы просто на последней страничке напишите одно только слово, «да», — и если нет, то — «нет». И я пойму и буду знать... Хорошо? Можно?

— Отлично. В квартире останутся мои родные, я распоряжусь, чтобы Вам выдали все Ваше, когда Вы сюда зайдете.

Она смущенно улыбалась, чуть уловимо... т а й н о й... леонардовских полотен. С этой улыбкой она и вышла. Мне стало интересно, что хочет мне она поведать, — эта новая «Мадонна Лиза» XX столетия, и я открыл тетрадку.

«Долго думала я, <u>как</u> объяснить мне Вам себя и вот решила, что должна рассказать все с самого начала. Только тогда все будет Вам понятно.

Еще с самого детства, как только себя запомню, — всегда я была занята каким-нибудь видом "рисованья", от как

ракулек карандашами, до водяных красок, и, как мне передавали, — еще чуть лепечущим ребенком карабкалась к отцу с обычной просьбой: "папа, кукоку маиньку писа..." и мы "писали" и куколок маленьких, и цветы, и животных, и все то, о чем рассказывали сказки.

Помню, как горько плакала я, когда не удалась мне роза, — было мне должно быть тогда лет 6, и отец утешал меня, что можно изобразить дикую розочку — шиповник: пять лепесточков и желтое сердечко венчиком. Я успокоилась, но затаила в себе... добиться же и подлинной, прекрасной розы. И казалась она мне тогда пределом всех моих мечтаний.

Светло и радостно, как лучезарный сон, проходило мое детство. Пасмурная ли осень, суровая ли зима, — все несло свою, особенную прелесть, все было мило в нашем ласковом уюте.

А уж весной-то... бывало, мы с братишкой захлебывались от восторга, услышав первые, грохочущие по мостовой, колеса. И какую радость несли нам сборы на лето в деревню к деду! В долгожданный день отъезда, с утра уже, мы малыши стояли у решетки сада и... звонко кричали вслед мчавшимся лихачам, зазывая их везти нас поскорей на пристань. Какая радость была плыть по Волге... кормить с родителями звонко-крикливых чаек, сбегать на пристанях, чтоб наспех купить то ягод, то каких-то особенных, — казалось, — колобушек. Тормошиться, спешить — "не опоздать бы"... Гудки парохода, уборка сходней и... снова плыть в чудесном, радостном... до новых мест, к новому счастью...

Потом мы ехали на тройке от К. до деревни, верст 5 лугами и лесом. Как пахло хорошо: и дегтем, и лошадьми и кожей от коляски. Уткнешься носом и... захлебнешься этим радостным и новым.

Зеленью пахло, цветами, лесом... Едешь-едешь...

Издалека уже виднелась колокольня сельской церкви. Не сиделось... Как дождаться?!

На бубенцы сбегались толпой деревенские мальчишки закрыть поскорей воротца, чтобы тут же и распахнуть их перед тройкой и получить за то свою награду.

Мы узнаем их всех, неистово кричим, швыряем леденцы и пряники. Хочется выпрыгнуть и подбежать скорее к дому. Подкатывали лихо — разом осаживая тройку. И бубенцы, и смех, и крик мальчишек, прицепившихся сзади на рессорах, и лай дворняжки "Соловейки", — все сливалось в едином гуле. И долго еще бывало поют в ногах от

езды "мурашки", а голоса кажутся глухими после бубенцов и криков.

Поцелуи, ахи, охи, удивленья: "как выросли-то, — не узнаешь!" Открыты окна, двери, вносят чемоданы, из кухни тянет чем-то вкусным, сдобным, медом... Все разом спрашивают, рассказывают, смеются, и снова целуют и обнимают друг друга.

За чаем мне не терпится, бывало... давно [грейтится]... "Бабушка, а клушка будет?" — "Есть, есть, двенадцать только что вылупились из яичка". И, казалось, не дождаться заветного "завтра", когда сразу все можно обежать и все увидеть!

Тихая ночь в деревне, ни шумочка... Не сразу и заснется в такой тиши с дороги, на новом месте... И во сне-то все едешь-едешь...

Все это бывало ежегодно, а казалось, — будто бы вечно... — до того страшного, что пришло вдруг и все перевернуло...

Мне было неполных 10 лет, когда заболел отец. Никто не мог сперва определить его болезни, а после нас отделили, искололи прививками руки и даже ноги. В доме появилась сестра и вместе с мамой неотлучно была у больного.

Мы — дети, ничего не знали, что это все означало и каждый вечер, и каждое утро громко кричали через все комнаты свой привет отцу.

Однажды, когда кухарка Таня давала деньги соседке за купленного петуха, я услыхала, как та сказала: "Нет, нет, потом отдашь, зараза у вас..." и швырнула петуха через забор со связанными крыльями и лапками. И мы узнали, что у отца оспа. Помню, как приходил священник и причастил его, и в тот же день приехал из Москвы специалист доктор. И вдруг меня пронзило беспокойство, предчувствие чего-то... тоска и ужас. Стало страшно...

Я бросилась в кухне на колени и перед образом кричала, как в исступленьи: "Бог, Боженька, милый Боженька, Ты должен спасти нам папочку!" Я билась об пол, кричала, плакала, молилась... Выскочила сестра и замахалась: "Да уймите же ребенка. Ему там все слышно!.."

Кухарка толкла в ступке миндаль на молоко, — (только его еще мог принимать тяжело больной отец), — а братишка ел жмыхи, так... ручонкой прямо... Все помню... Вот сестра вошла еще раз и что-то пытается кивком головы объяснить кухарке... Я не понимаю, но вся в нее впиваюсь, стараюсь разгадать и замираю от какого-то предчувствия, страха... А она... берет меня за плечи и, отводя в сторону,

к печке, дует, шипит серым теплом в ухо: "Твой папа умер". Эти три слова. Я их и сегодня слышу».

[На полях:] Ванёк, если празднуешь Новый год, — то шлю от всей души тебе добрые пожелания. Будь здоров.

Целую, Ванёк, тебя и еще, и еще благодарю за роскошные дары! Заголовок «Чаши» я бы дала иначе: «Onuiputtelijke Kelk»[726]. Спроси M-lle de Haas.

Целую и жду писем. Оля

Пришли обратно — у меня нет копии.

[Приписка на конверте:] Очень волнуюсь отчего нет писем. И делаю вывод, что мой рассказ негоден.

164

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

5.I.47—6.I
23 дек. — 24 дек. 47

Дорогая моя Олюша, голубка, да пребудет Господь с тобой!.. С праздником Рождества Христова поздравляю тебя всем сердцем. Милая гуля, будь здоровенькая и бодрая, не томи себя сомнениями, волю собери и не отступай, работай с верой, не падай духом! Всего добьешься. Говорю твердо, верю в тебя. Знаю я хорошо сомнения, до сих лет. Перебори их. Искусство — всегда испытания, всегда сомнения: не сомневаются и не страшатся его (искусства!) лишь бездарные. О твоем «Заветном образе» напишу тебе, когда все узнаю. О частностях не могу в письме, — надо уйму писем, — только в личной беседе можно. Пиши! и — не оглядывайся, а — вглядывайся. По 2-м отрывкам ничего нельзя сказать, иначе шарлатан буду. А я к тебе сознательно и уважительно подхожу, — всерьез.

Отрывки пошлю на днях, особо.

Болею, все то же, зуд...

Zona ли... — Бог ее знает. Стягивает (как и при тебе) над бровью и боровинку носа, к уголку правого (моего) глаза. И — зудит (терпимо). Ночью не слышу. Как бы омертвение покровов. Целую тебя за желание помочь в болях моих. Пришлешь от гомеопата средство — точно выполню.

Я устал. Не выхожу. Только по необходимо важному. Морозы. У меня сравнительно тепло. Работаю, снова переписываю «Пути». Из 135 стр. прежнего выжал, со вставками 75 страниц! Ку-да ярче, живей. А совершенное лишь у Господа. Ты ничего не пишешь, как провела западные

праздники. Что с тобой? Почему плакала 1-го?[727] Больно мне. Скажи, приникни... — хочу радостной тебя.

И. А. не кори, все с недостатками[728]. Да ты и ни при чем, виноват я. Я послал тебе весь труд его, дня 3 тому[729].

Навещал Виген с женкой и ее сестрой[730]. Хочет угостить оперой. Юля — заботлива. Сегодня была Ксения Львовна, принесла цветы и гостинчика, трогательна. Получил приветы из Мюнхена: да, все новые читатели... слава Богу. Значит, мое что-то делает в сердцах. Вижу все больше. И это дает упор, хотя в работе я всегда был упорен. Теперь — еще строже к себе. Художница из Холливуда[731] — писал тебе — удивительно умно и сердечно высказалась[732], и я вспоминаю твое первое письмо.

Милая гулечка, возьми себя в крепкие руки. Почему не пишешь о сердце, о здоровье? Прошу, скажи.

Писал: венгерка и фуфаечка чудесны, как раз! Нарядный я. Обо мне голландском — только когда будет повод. За-чем посылаешь деньги издательству? Не посылай, я сочтусь, мне зачтут в авторские экземпляры. И не утомляй себя хлопотами обо мне, — все придет в свой срок.

Почему плакала? У тебя нет оснований говорить, что твое начало мне не по душе. Могу судить лишь о целом. И говорю: пи-ши!

Я переписываю «Пути» с охотой. В Мюнхене предлагают издать 2 ч. «Лета» по-русски, но я отклоняю: м. б. здесь на днях вырешится.

Ольгуночка, помолись за меня и за себя!.. Я хочу твоей молитвы. О, как хочу, чтобы ты была радостная, девонька милая! Не спрашивай издателя о «Путях». Не надо, я не хочу навязывать... — пусть — само, как всегда было.

И — будет. Рано ли, поздно ли, если стоит того. Никогда себя не обольщаю. Нет. Две книги послал — м. б. эти переводы тебя удовлетворят.

Ну, дай д-ру Klinkenbergh'у: для постижения нашего русского горя. Если дойдет до его сердца (и ума, а он, конечно, и умен) хорошо: он влиятелен, и поделится воспринятым со многими. Это не для меня, повторяю, а для — постижения русской казни, мученичества. На «Козлиху» плюнь. Я узнал, что — д-мо, не перевод. Предоставь полную свободу выбора и суждения о моем — А. Схот. Дойдет до нутра — будет переводить. Но знай: я очень ценю твою заботу, и счастлив, что ты — такая как я тебя узнал, — любишь мое, и понимаешь предельно-чутко. Исследование И. А. — редкостное. Ум, точность, чу-тье

Он понимает Искусство. Да. Бунина очень верно дал. Бунинская «Лика» — (II ч. «Жизни Арсеньева»[733]) — провал. Только что [прочел] — и поразился, как же его надо судить!

А на И. А. не серчай. Слабости человеческие... Да-а... что поделаешь.

Гулечка, прости, я устал... о-чень устал твой Ваня. Вот и в церковь не иду, не могу... полулежу... Но вечером (сейчас 6 ч.) — попишу...

Целую тебя и благословляю. Не унывай: стыдись глупая... все имеешь, все умеешь... — делай!

Я тебе послал цветочек.

Приняли заказ (2 или 3-го). Сам съездил.

Вспоминай обо мне. Я — всегда. Только эти дни сетовал: совсем о себе не пишешь... где-то — вне. Помни: не унывай. Передай маме: целую ей руки и — с Рождеством Христовым! И Сережу.

Да будет новое Новолетие — благостным, благотворным для тебя. Только бы ты была здорова! Напиши — и не забывай. Я очень тоскую. И — покоряюсь горестной судьбе. Да, вот и склон. Но творческая сила, слава Богу, не иссякла. А это уже — много.

Целую.

Твой Ванёк — верный. А маленькие по 1 кг посылки потому, что можно почтой лишь до 2 кг. Но в 2 кг почему-то 500 фр., а по 1 кг 70—80—90. Черт знает! Как появятся финики и апельсины [1 сл. нрзб.] — пошлю! Ты финикоешка. Ты — апельсинная. И конфеты пришлю.

165

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

12.I.47

III. Продолжение «Заветного образа»

Не помню, что было дальше... Говорили, что я рванулась с воплем к маме, нашла ее и все открыла ей... Она не знала, — ее удалили, сказав, что у больного обморок тяжелый... И тут — все кончилось, что было прежде... и началось ужасное, томящее... Началось — горе.

Не могу и сейчас вспоминать всех подробностей страшного того вечера... грубых гробовщиков, вломившихся к нам ночью в дом «снять мерку» и даже закуривших... ни всех последующих приготовлений и событий.

Нас взяла к себе хозяйка дома. Как-то утешала, что-то говорила... а потом... позвали «посмотреть на папу и проститься». Он лежал убранный на столе в зале, где все было завешено белым.. Я вошла и увидала сразу его всего... До жилок на руке... и бросилась к этой ручке, никто не мог удержать меня (боялись передачи) и я порывисто прижалась к ней губами, не понимая, не сознавая ничего... видя перед собой только ЕГО, любимого папу... Мертвящий холод прошел от той руки до самого сердца, и с этим холодом вошло в меня, впервые в жизни, все полное сознание беспощадной, неумолимой смерти...

Я отскочила от стола и громко и бессмысленно твердила все одно и то же: «Нет, не хочу, не надо, не надо, не надо...», и не могла заплакать. Какое-то проходило время, служились панихиды... Запаивали гроб... Шипели оловом; резко и дико стучали по цинку молотком заклепщики; Потом перевозили гроб в другой город... хоронили... И говорили все, то: «тело», то «покойный»...

Папы не было больше; — и сознание этой утраты захватило все мое существо... сцепило... сдавило его и не выпускало из своей власти.

Я утратила всякое восприятие, всякое осязание жизни, как будто бы смерть очертила вокруг меня свой заколдованный круг... загородила от меня жизнь и все, что в жизни...

Когда мы возвратились из похоронной поездки снова в квартиру, — дезинфекция была закончена, но каждый угол пахнул ею и напоминал все о том же...

Никто не занимался нами. Мать была уничтожена, убита... Когда она уезжала в город по делам и хлопотам, — мы оставались с Таней, большей частью в кухне, где томилась вся деревенская родня кухарки. В отличие от прежней Парасковьюшки, Таня нам была совсем чужая... как и этот город, в который мы переселились только за 1/2 года до кончины папы. На кухне же я услыхала однажды рассуждение: «За самой-то таперича глядеть да и глядеть надабна, — намедни так заумерла, аж я испужалася...»

«Заумерла»?.. Я не слыхала раньше такого слова, но чуяла в нем все то же страшное... неумолимое — смерть...

С тех пор я непрестанно трепетала, боясь пробыть минутку вне близости мамы. Когда мне удавалось, я убегала за ней тихонько в незнакомый город, прячась за дома и будки... Не спала ночи, прислушиваясь к ее дыханью; замирала, слушая рассказы Тани о «напрасной смерти»

купца, «окарачившагося в бане», мучая себя воображением и страхом...

Когда пришла весна, — мы, как и прежде, — только без НЕГО, — поехали к деду.

На палубе белого большого парохода стояли молча... Наверное и тогда летели так же крикливой стайкой чайки... не помню... мы их не кормили...

О НЕМ не говорили, но каждый конечно думал...

Вместо тройки, за нами выслали одну лошадку, за ямщика же везла — баба. Убого.

Шла мобилизация, — всех угнали; но все это так совпало, что казалось будто и не могло быть иначе, после того, как с НИМ ушла вся радость. Останавливались в дороге кормить лошадь и сидели в чайной, где был кто-то нашей вознице кумом.

Сидели долго... пока выотдыхается кобылка.

Прежде останавливались в новом доме, в особой «чистой горнице», на полчасочка... Лошадей просто перепрягали.

В чайной нас отвели к окошкам, в уголок... А «горницы чистой» не оказалось. Кругом шумели мужики, курили, плевали на пол. Только чайники пузатые в розанах и с крышечками на медной цепочке были точь-в-точь, как там, в красивом доме... и от этого было тоже больно... От прочих гостей нас отличили, и чай принесла сама хозяйка: рыжеватая, в засаленном фартуке на большом крутом животе, бледная, в желтых пятнах на щеках и под глазами. Она долго стояла и рассматривала нас поочередно... Гладила по головкам, видимо заговорить хотела... А я вся сжалась, в ожидании ставших обычными — «сироток».

— Ай папушничок-от не ндравитца? — обратилась она к братишке. —

— Ишь ты, какой хорошой, бо-ольшой... хозяин будешь... мамоньке в подмогу... — кинула она взгляд на маму. —

— Ись-пить надыть... Неча делать... Вона какие молодыи да ладныи... у нас вона в прошедчем году на масленой Коську-Кудряша из пролуби выташшили... ка-ак молодухате убивалась... страсти... А чаво поделать-ту? Повыла-повыла, скоронила, да и за роботу взяласа... А таперича, вона, отбою от мужичья нету. Складная баба, чево и говорить... Сама и пашет, и боронит, и огороды городит... Ста-атная, румяная... Ну... а до Вас далеко... Эдакие красотки не кажный день урождаютца... Не во вдовах засиживатца экимте...

Всю меня пронзили эти слова хозяйки, заколотилось сердце, задурманило голову, слабостью и дрожью пробежало в ногах.

А мама... смотрела без жизни перед собой... Куда-то в воздух... Слышала ли она ее? Или нет? Хозяйка заговорила с возницей, бесцеремонно выпытывая у нее все подробности о нас, — приговаривая, покачивая головой и ахая... Она, как муха от меду, не могла, казалось, никогда отлипнуть... и все стояла... и стояла...

Мне хотелось оттолкнуть эту бабу, выскочить в окошко, или закричать неистово... на целый мир: «Да замолчи же, наконец! Не терзай маму!»... И только сказалось робко и тихонько: «Мамочка, когда же мы наконец, поедем?»

Снова ехали мы через поля, леса, луга... овражками... пригорками... где прежде, бывало, останавливались «поразмять ножки» — и насбирать цветов: огромных ромашек, колокольчиков, клейких липок красненьких, кашки... всего, что цвело буйным цветом, манило, радовало... звало... а то, бывало... «гриб! гриб!» — кинешься... и сорвешь поганку.

«Рано ешшо грибам-те» — скажет кучер — «а ету шваркни об березу головой... дай, дескать, мне гриб б о р о в о й!»

Швыряли поганку, радовались кукушке, — отсчитывали годы... шумели, ехали в смехе дальше...

И в т у поездку, конечно, были и цветы наверное, и поганки, и солнце... была у кого-нибудь и радость... была жизнь... Но я не видела этой жизни.

К ночи только, в прозрачных июньских потемках въехали мы в село. Подобралась кобылка шажком к навесу. В тихом воздухе было слышно, как кто-то в доме крикнул: «никак приехамши?!» От долгого сиденья бегали в ногах мурашки... и ныло сердце... Плакать будут?.. Спрашивать?.. Надрывать душу...

Дед крепкий, сильный молча обнял маму, нас... и стал возиться с лошадью...

Бабушка... маленькая, худенькая... обхватив маму, беззвучно тряслась у нее на груди. Не было проронено ни слова... За ужином дед подробно рассказывал о том, как трудно было найти лошадь, о полевых работах, о новостях села, соседей... Никаких вопросов о нашей жизни... Только о дороге... не устали ли? Как ребятки?

Боялись коснуться главного... И в том, что бережно что-то обходили, — была тоже мука.

Спать пошли в ту же комнату со светлыми обоями в ромашках — белых и лиловых.

Все то же... Та же в углу старинная Казанская в кованого серебра ризе, с лампадкой в херувимах... Только не хотела я и не могла молиться... Сил не было подумать об этом новом... тягостном... «за упокой».

Крестилась на сон бездумно, без молитвы, в тоске со сжатым сердцем...

О раму одного из окон билось какое-то большое насекомое, тукалось в потолок потом, и долго снова по окошкам. И делалось от того тоже тошно, — будто и мне самой не было исхода.

Ни петухи на селе, ни соловей в лугу за бочагами — ничто не радовало, не проникало в душу... Все это — такое когда-то близкое, любимое... жило... существовало где-то, но оставалось от меня далёко, не проникало через кольцо, заковавшего меня «круга».

В комнате было тихо... так, как бывает, когда не спят, но хотят казаться спящим. И я знала, что не спит и мама...

Чтобы лучше слышать что там... в большой кровати, я поднялась с подушек и, свесив голову через край постели, впивалась слухом в тишину ночи, боясь пошевелиться занемевшим телом.

И ни единый затаенный вздох оттуда не пропустила я в ту долгую, мучительную ночь...

Здесь, где не было ни доктора, ни даже той... роковой сестры, казалось мне, что только я одна знаю и несу заботу и страх о маминой здоровье.

Бабушке сказать? Но надо было бы тогда всего коснуться... и снова все всплывало болью и не было сил на то, чтобы высказать...

Шло лето, — но не хотелось видеть ни солнца, ни полей, ни первой землянички... Были, верно, и цыплятки, — мне их тогда не надо было... Ненужным казался радостный и шумный приезд родных из Питера. Все было мне тогда и больно, и лишне, и неинтересно... Все разговоры были скучны.

Только тогда, как принимались бабы пространно и подробно рассказывать о смерти или болезни кого-нибудь в округе, — хотелось точно все узнать... Хотелось мне узнать, как это бывает, когда уходит из человека жизнь...

В то лето повесилась в сарае на вожжах одна кликуша, молодая баба... А муж ее (бывший официант какого-то московского ресторана), стоя на дворе у нас раскачивался с визгливым воем, и, хлопая себя по ляжкам, рассказывал

без конца про жену, все повторяя одно и то же... И рассказ его, и удавленница (которой «и на кладбище теперь не будет места, — как падаль где-нибудь зароют» — говорили старухи), и сам он с трясущейся серьгой в одном ухе — все мне казалось чем-то необычайным, сверхнесчастным... и... очень жутким.

И несмотря на это, рассказ об удавленнице притягивал все мое внимание.

— Но почему она умерла? Как? — спрашивала я каждого, кто слушал эти рассказы.

— Ну, удавимшись, значит, — ясное дело! — поясняли мне женщины.

— Ну да... но что же тогда бывает? — хотелось мне знать.

— Чему бывать-ту? Сунумши, значит, башку в петлю, да и... тово... Нечистый, значит, попутал... таперича ей и каюк...

— Да, нет, я не о том... — я не могла им объяснить, что мне хотелось знать о непосредственной причине смерти... И еще... о том последнем миге, с которым перестает быть человек и начинается... «тело»...

— Ну, как ты не поймешь, Аннушка,.. вот она в петлю...

— Ну, знамо-дело надеть ее, петлю-ту затянуть... чтобы...

— Да не про то я... — ну, затянулась петля, а что с человеком? Она задохнулась? Да? Но как она перестала жить?..

— Да отвяжися ты от меня.. я те в петлях не бывамши, почем я знаю...

Не было ответа на мои думы и в домашнем лечебнике, который я изучала, но понимала только наполовину.

Я не могла бы точно определить, чего я больше всего боялась для моей мамы... Но я была уверена, что страшная смерть неумолимо и неизбежно стоит за нами, готовая всякий час отнять у нас и мать. И что никто и ничто не в силах будет нам помочь, как и тогда — никто не спас отца.

Сначала, вспоминая его болезнь, я по утрам незаметно касалась губами маминого лба — нет ли жара, — но, прочитав лечебник и убедившись, что множество болезней протекает и без жара, — не находила себе ни на минутку успокоенья, я то и дело справлялась у нее робко, еле сдерживая волненье (чтобы не встревожить): «Мамочка, как ты себя чувствуешь?» Никуда не отлучалась, выдумывая всевозможные предлоги, чтобы остаться в ее близи.

Самым мучительным временем дня — был вечер после ужина, когда детей укладывали спать, а взрослые, и с ними мама, оставались еще внизу для разговоров. Надо было перетерпеть по крайней мере, время, пока заснет братишка... Как только сонный он начинал сопеть, я осторожно выбиралась из кровати и кралась через темный дом, изучив все скрипевшие половички, на лестницу... Там, на излюбленной моей ступеньке, совсем рядом с комнатой, где сидели большие, отделенная от них только занавеской, — оцепенело притаившись, просиживала я часы, не пропустив ни единого слова.

Взрослые говорили больше о том, как лучше устроить жизнь мамы, где жить, где нам учиться...

Наступали ли паузы, и там молчали, отодвигал ли кто-нибудь шумно стул, или падало что-либо в комнате у старших, — я замирала... и в краткие мгновенья успевала видеть самые страшные картины. Мне казалось, что маме дурно, и вот они все замерли... и потому так тихо... вот двинули стулом, — значит, спешит кто-то к ней... заметили... Упало что-то? Что? Кто упал? Еще не слышно их, они все замерли, но вот сейчас они поймут то, чего давно страшусь я... чем мучаюсь... Они поймут, заплачут... все зашумит... смешается... И кто-нибудь... опять мне скажет... те страшные... неумолимые три слова...

Сердце разрывалось на части, колотилось, меня било, как в лихорадке, ноги слабели... рубашонка липла от пота к холодной спине... И когда в комнате вставали, чтобы расходиться, — откуда брались у меня силы, чтобы как можно поскорее и незаметно убрать ноги со своего тайного поста? Взвиваясь вихрем через две ступеньки и мчась сквозь темноту большого дома, порой я еле сдерживалась от крика, вообразив, что кто-то гонится невидимый за мной неслышно... и вот-вот схватит меня за пятки... плечи...

И долго, уже лежа в постели, я не могла утихнуть и согреться, унимая щелкающие зубы, в жаркую летнюю ночь...

Однажды, сидя на ступеньке, я услыхала, как дед говорил о том, что я больна, что надо меня показать доктору и... «вообще взять в руки».

[На полях:] Ванёчек, дорогой мой, — прошу: не шли, пока все не прочтешь, обратно. Читай целиком. Но сбереги, у меня нет копии, выправленной.

21 — 11249

166

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

1.II(!).47

Покончил — в отделку — и со 2 кн. «Лета Господня» — «Ныне отпущаеши...» Если не свалюсь — ввалюсь в 3 кн. «Путей Небесных».

Книгу И. А. Ильина надо направить ко мне. Последние дни — лежу и думаю, весь раздавленный непосильной работой (до полуобмирания): О. А. Бредиус-Субботина владеет правами на «Куликово поле»... — думает ли она порой начать пробу..? — чуть иллюстрировать и издать... — по-русски. Пора, самая пора... — и книга легкая: карманный формат, изящно... — и пошло бы и в [«зонах»]?[734] Эх, беден автор, а то бы... Так и не видать ему — ни-чего..! — при жизни...

Я скоро отучусь писать письма... — оту-чай. Да и о чем ТЕПЕРЬ пи-сать. И. Ш.

«Душе моя, душе моя... Восстани, что спиши?»[735] Конец... О Zon'е — [1 сл. нрзб.][i]. Исписался.

167

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

2.II.47

Дорогая Олюшенька, в открытке писал без обращения: спешил, да и раздражен был приступом поганой zon'ы... — и досадую, что писал и о «Куликовом поле»... Чушь, конечно. На это у тебя нет средств, при всем желании. Но ты — верю — глубоко и тонко смогла бы придать «сказу о чуде» — от твоей души... пусть немного — заставки, концовки, «рамочку» (для страничек), вот[ii]: как давалось в старину (французский молитвенник), или изящное издание «Фомы Кемпийского»[736]... — видел когда-то... во Франции, кажется, музей Клюни. И — обложки. Издать — надо: всего 60 тыс. типографских знаков, страничек 62—64 (как раз 4 печатных листа малого формата). Конечно, на соответствующей бумаге (как-бы карманное издание) размера молитвенника. Буду пытаться. Станет (тысячи две экз.) тысяч 60—70. Конечно, окупится, и еще даст что-то. Глав-

---

[i] Фрагмент письма оторван.

[ii] В письме дан схематичный рисунок.

ное, не тяжело технически, хотя иллюстрации сильно удорожат.

С «Летом Господним» — думаю (еще не имею точных данных) — вышло, судя по словам Вигена. Он ведет важную и глубоко захватывающую работу с молодежью русской (от детей...). Сейчас был у меня, показывал план будущей увлекательной работы: все группы будут создавать «Кремль»... — со всеми подробностями. Тут — всякого мастерства!.. А вокруг «Кремля» — галерея картин (панно?!) — вся история России. Это удачнейшее вовлечение русского молодого поколения в национальное! Я в восторге. И семья Вигена — жена и ее сестра — ки-пят! Постараемся привлечь сочувствующих (деньги, деньги!). У меня есть планы... надавим. Заинтересуем А. Н. Бенуа (и старое Санкт-Петербурга). Все эпохи, начиная ab ovo[i] Руси. Вот где бы ты развернулась, загорелась. Я указал на готовый у Расловлева сценарий фильма — чудесно! Все святое наше!

Лучшего придумать нельзя, как эту «историю Родины» сработанную силами, начиная от детишек. Поле для творчества, бужение воображения, познание России, укрепление сознательной, знающей любви к ней. Протянем руку к Швейцарии... Это не то, что гальванизировать чужаков, — хоть голландцев взять. Тут надо создавать чистых русских людей... — чудесный прием воспитания! Так я почувствовал сегодня, как можно и надо ценить труд светлый — во-имя..! Именно, во-Имя родного, самого дорогого в нас. Тогда никакой тоске не омрачить дни... Да, Виген живет — достойно и радостно. Вот она закваска И. А.! Я все время думаю о тебе, что бы ты вложила, как бы светилась!.. Как это важно!! ... Я весь загорелся. И теперь борюсь — продолжать «Пути Небесные».

Чудесное письмо от ген. Ознобишина. Он умоляет меня — беречься... не лишать радости миллионы родных читателей. Увлечем и его. М. б. летом, если не изменит все состояние здоровья, поеду с молодежью («христианской», по русской линии, *не* американской) в Швейцарию и проделаю путь до суворовского «Чертова моста» — показать швейцарский поход Суворова![737] Вот — наглядное внедрение в юные души — подвига! — во-Имя. Чудесно! Я ободрился, освежился от посещения Вигена. Ах, светлый человек!.. Как прекрасно, Оля, жить родным!.. и создавать преемственность... И представь: идею сего подала рус-

[i] С самого начала, с зародыша (*лат.*).

ская женщина, оттуда!.. — зажгла душу. Бьются, ищут денег, чтобы она работала, жила... На 1 мес. *пока есть*... 2000 французских франков!.. Но... дано слово, найдет. Поеду и *зажгу генерала*, других... За это, на это просить не стыдно, все что смогу — попытаюсь делать. Слышу легкость в себе, бодрость — к творчеству — надо ценить дни... Помоги, Господи! Во-Имя Твое, во-*Имя Ея*!..

Олюночка, я после правки (и ка-кой! не узнаешь...) «*Путей Небесных*». Уже завершил новую выправку «*Лета Господня*»!.. Рабо-та-ал!.. Два дня, как отдыхаю, и потому смог заделать два пакета — завтра пошлю — тебе, маме и Сереже. Сладкого. Фиников посылаю еще. Бретонский пакет «хруста» — рассыпался в основном... укладывал-подавил — и он «хрустнул» — как в порошок! Не посылаю.

Ты почти не пишешь, и я не знаю, как проводишь дни, и где ты. Говела... что так часто? Как моя Домна Панферовна... От меня отвыкаешь?.. Ну, что же — значит так тебе надо. И меня отучишь от себя. Что же... М. б. и лучше, чем гореть *впустую*.

Получил лекарство — спасибо. Попробую... не знаю по-голландски, как принимать: думаю: 1 раз в 10 дней по 1 коробочке в воде?.. Ты не написала, — торопилась?

Дай имя и фамилию и адрес золовки. И ответь, — как я ей обязан. Тебе *обязан*? — Да. С чего бы ей слать мне? Стоит в глазах «Куликово поле»... Выберу день, поеду к ген. Ознобишину и прочту ему, и, глядя по впечатлению, изложу ему «идею» — «Кремля» и «Истории России». И скажу о бедности великого начинания. Не будет стыдно. Убедился: с какой *готовностью* отозвался на мое письмо о горестном положении в Риме одной семьи[738] (не русской, а сербской!): он все сделал, тронет огромные связи... уже распорядился (племяннику — камергеру Папы) — выдать из оставленных в Риме средств (на свои нужды) — временную поддержку. Она (из семьи) — русская, prima-ballerina белградского Королевского балета... пляшут в балагане, и на улице... кончила институт в Белой церкви...

И что пишет о Шмелеве!.. умоляет меня беречь себя... «для миллионов родных читателей». Он знает все мое, в книгах. У него в библиотеке почти все, что смог он [достать] — из переводных. Он читает на 5 языках. После Коковцова[739] — Председатель Объединения бывших воспитанников Александровского Царскосельского (Пушкинского) Лицея. В Риме у него — человек 7 друзей-лицеистов, с огромными связями в Ватикане, а раньше — у короля. Постараюсь отыскать в Италии мою переводчицу Елену Кон-

стантиновну Григорович[740] (она и художница) — перевела «Чашу». Целую тебя, родненькая, Господь с тобой. Ты ни слова о себе, о здоровье. Как мама? Вот бы Сережа в Париж!.. и он вложился бы в живое дело!.. А о тебе уже и не говорю. Как нужна ты Жизни! — русской жизни!! ... — и вот, это болото... «Плавать бы тебе, Илья, по большому морю!..»[741]

Да благословит тебя Господь и Пречистая на светлый, радостный труд сердца!

Твой верный Иван

Рукопись И. А. — шли *мне*. От него очень насыщенное письмо[742]. Я и ему, за работой не писал, так вложился: не видно дней, не чувствую морозов. До Пасхи — 69 дней!..

До Масленицы (без блинов, конечно [1 сл. нрзб.]) — две недели. До Чистого Понедельника — 21 день. Только между нами: *м. б.* будет чистая газета[743] (пока недельная!). Ни-кому! Редактором — Владимир Феофилович Зеелер. Решится сегодня. Так и затаи. Господи, помоги. Для «Лета Господня» ищут бумагу нужного формата. Из Германии от митр. Анастасия — с гарантией — будут издавать «Богомолье» и «Лето Господне» — через знакомых. Раз здесь издают — отклоню.

[На полях:] Нужно 1 (хотя бы) экземпляр «Богомолья», дают 3 тыс. франков (расходов).

У меня только 2 экз. — отказал, конечно. В библиотеке мои книги «не ночуют». Ищут «Няню из Москвы». Виген выпросил — читать — для женки. Дал, пока что.

Кажется, переиздадут «Пути» — все время спрашивают, все больше.

Зеелер нашел мне (случайно!) в хламе Земгора (?) там издавали в 1920 г.[744] — два экземпляра «Чаши», грязные.

[Поверх текста:] Исцеловал твой цветок азалии! Пил его.

168

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

31.I.47

Дорогой Иван Сергеевич!

Пишу хоть несколько слов, чтобы дать о себе весточку (большое письмо надо обязательно сдавать лично, а почта открыта очень неудобно и далеко). Я совершенно заледенела. Вчера еще не могли и печку топить, т.к. потек деготь

из труб и в течение 15—30 минут, как-то «раздуваясь» от жара, забивая этой сухой «пеной» весь дымоход железки. Сперва мы вытаскивали дымоход и чистили, но потом не хватало никаких сил. Затопили большую комнату. Там невозможно натопить прилично и сидели только у печки. Деготь и там тек, но из-за иного устройства трубы, прямо по изразцам камина, на ковер, на все, что попало. Руки мои уже безнадежно отмыть, как бы я хотела. Все измучались. Угля нет, а от сырых дров и негодных труб образуется деготь и душит нас собой. Никогда так не ненавидела зиму, как теперь. «Книга» И. А. меня совершено необычайно (до корней души) захватила. Она мне *очень* многое дала, как и каждому, и как особливо мне. Она мне раскрыла одно очень важное в моем, то, чего я сама *не* заметила, т.к. писала бездумно. Он очень верно о муке и скорби, о страдании и просветлении. И прав бесконечно, что читать его книгу нельзя было кусочком. Весь предмет был бы скрыт. Я в большом восторге. Шмелев — венец, а прочих необходимо было *тоже знать*. То, что о Шмелеве прекрасно, но мне ничуть не ново. Он просто поставил Шмелева на свое место, указал на него читателю. Кому послать рукопись: И. А. или Вам? Я жду этого ответа. Меня волнует очень Ваше здоровье. Пишите же Вашему закоченевшему и измучившемуся другу!

Крещу Вас. О.

169

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

2.II.47

Дорогой Ванёчек — друг мой!

От тебя нет писем. Ты отошел... не думаешь обо мне. А мне так грустно по тебе... Так тоскливо. Сейчас уже глубокий вечер... играет радио тихонько, и я ловлю ухом то Бетховена, то Шуберта, то Шопена. То... вдруг французское*, и тогда защемит тихонько сердце и «вспомню» сердцем еще лишний раз воздух Парижа... как и все эти волнующие названия улиц, metro, avenue[1] и т.д. Как ты переносишь зиму? Эти холода изводят. Я писала, что у нас прямо печ-

---

* Нарочно поставила на Париж, чтобы из твоей близи слышать. Помнишь, у тебя играло радио, а я дурачилась и напевала ерунду?

[1] Проспект (*фр.*).

ная катастрофа, не хочу останавливаться на всем этом... сажно-дегтевом. А знаешь, по утрам, в морозном выскалившемся солнце — поют птички... И вечером, совсем по-весеннему сегодня чирикали воробьи. Вчера был первый теленочек... тоже «весеннее занятие». Я в отчаянии от зимы. И страстно жду лета. Ванёк, как жду добычи машинки... Хоть эту работу смогу сделать. У меня от своего «труда» руки опускаются. Да и невозможно что-либо делать в этих условиях. Ты прости, что не откликнулась на твое желание иметь «Ярмарку»... Как бы объяснить тебе?.. Я покончила с «живописью». Я долго болела, да и теперь еще мне больно обо всем думать. Не знаю, что тут причиной было (или есть?), вернее поводом — т.к. причина одна: бездарность моя. Не надо больше о том... «Ярмарка» у меня. Никогда я ее не отдавала, никому. Т.е. одна «Ярмарка», другую и третью — сожгла. Но, пойми: я закатила ее, чтобы не попадалась на глаза. Какое-то конвульсивное движение души толкнуло меня еще со всем барахлом к Люси[745] (та, что иллюстрирует). И хотя там, выше всех моих ожиданий, услышала массу одобрений, и хотя ночь ту, после визита, почти не спала, а все видела как надо... И хотя еще несколько дней после того жил какой-то «заряд», — все оборвалось. Я много боролась с тем, что вошло в меня осенью. И начинала было снова, но... все ушло... Я натаскивала себя на «волю работать», а веры в себя, в свое нет. Я не могу ее вернуть. И я не так глупа и тщеславна, чтобы чужие похвалы меня могли «окрылить». Я очень страдала. И сейчас нелегко. Слезы все время кипят на сердце.

Меня удивляет, насколько ты не знаешь меня! Пишешь: «ты опять где-то». Я так мало похоже на других живу, так нигде, кроме своего нутра, что мне страшно и обидно это читать от тебя. Ни единого момента из дня я не расточаю. Если она ни во что не вылилась, то во мне-то кипит работа... Я столько думаю и столько иногда страдаю... Но как прав И. А.! Как блестящи его выводы! Как верны! Мне он много дал опоры и как бы дал ключи к уразумению себя, не в смысле искусства, а в общем. Как ключевая вода — кристально ясен ум его. Какая точность. Люблю такую точность. Такую деловитость. Но она у него всегда не без тепла. И это чарует[746]. Для тебя эта его книга — медаль. Мне-то это не новость, но скольким это полезно! Я дала себе урок: перепишу наши письма и привезу их тебе. Хорошо? Но приеду только для работы, радостной, светлой. Страшусь и не хочу трагедий и мук. Не достало бы и сил, ни душевных, ни физических. Здоровье мое... неважно. Всю

ночь не спала от безумной боли в груди. И сердце... ах, все вздохнуть хочется... и... не могу. Я вся — обнаженный нерв. Ну, ничего... Так было всегда... так и будет... И больно как, когда читаю вот из прежнего твоего... из писем... твое «мужичка» мне, в противовес «миллионерше» Анне Семеновне, «умеющей себя вести с "хулиганами голландцами", испортившими ее владенья». Читала и себе не верила... как ты мог... Да и не только «стопудовая Аня», а и ее «возвышенная»-то сестрица... за что же ими меня колоть было? Эта «караимочка» — Бог с ней, — видела я и ее, и все ее «аксессуары». Напыщенность... Ну, Бог с ней! Но обидно. И знаю, что крестный путь будет эта переписка. Как часто ты там «бил» мое сердце. Увидишь! Но все равно... как нежно думаю о тебе. Как тоскую. Обнимаю тебя, светик мой. Оля

[На полях:] Сейчас играет «Radio Paris» Римского-Корсакова «Не счесть алмазов в каменных пещерах»... (песнь Индийского гостя «Садко»)[747]. Чудесная скрипка.

В спальне — 3—4°С. Сплю как эскимос.

Мне больно от твоего молчания. Ты забыл меня?

170

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

4.II.47

Мой неоцененный, родной, любимый Ванюша!

Что с тобой? Твоя «ощипанная» открытка (у нее ± часть была оторвана, выщипнута) от 1.II.47 меня ввергла в уныние, в тревогу, в тоску за тебя... Ты переутомлен. Но ты еще и раздражен на меня. Без обращенья, без привета пишешь ты. Все эти дни я особенно вспоминаю тебя и каждую мелочь, связанную с тобой. Откуда у тебя эти нотки: «да и о чем теперь писать?» Я не знаю, что тебя наводит на все это? И что значит это «теперь» курсивом? Ты отходишь душой от меня? Отчего? Что сделала я? Бог с тобой, — ты как бы накликаешь тьму... А ты ведь само... «просветление»... Зачем, родненький? Помолись, позови Господа! Ты устал. Получил ли ты порошки? Один на 10 дней: т.е. в 10 дней 1 раз принять один порошок.

О «Куликовом поле» думала ли? Я (ты знаешь) как о нем думала и думаю. Если бы можно было издать! Какое издательство могло бы издать по-русски с распространением в «зонах»? Ты можешь мне назвать? Я бы постаралась

это устроить. Но в Германию я ничего не смогу переслать — туда и почта-то ограниченно принимается. М. б. частями можно было бы или с «оказией». Сколько бы могло стоить издание «Куликова поля»? Если бы можно было, то я все сделала бы к этому. Об иллюстрировании... мне больно, но я не могу. Я писала тебе на днях о своей боли. М. б. ты забранишься... Ну что же — это твое дело. Я не могу выдавить из своей души волю к этому, наподобие сока из лимона. Долгое время я пыталась себя превозмочь, но поняла, что то было искусственно и фальшиво. И не могу больше. Я не умею и не могу себя выразить рисунком. Это я поняла и с большой болью. Не бранись, а пойми, и если не можешь пожалеть, то хоть не брани. Возьми для этого твою почитательницу художницу-карикатуристку. Она чутка. И по твоим словам «точно так же, как я написала» тебе. Что же искать дальше?! Ей и книги в руки. Меня ты вычеркни с «художественного счета». Я — не могу. Не умею. И не верю в себя, несмотря ни на что, и на то, что «Люси» меня очень веско поощряла, уверяя, что у меня очень хорош и рисунок. Называла эскизы «уже готовыми», «лучше многого, что выставляется» и т.п. Но все эти фразы ничто в сравнении с собственной оценкой, своего собственного нутра. Я очень мучаюсь. И н е н а в и ж у живопись, страстно и жгуче. Мучительно ненавижу, как когда-то, когда убежала из школы и бросила. Мной (т.е. м о и м, моей тягой к искусству) никто не занимался, никто и не спросил «почему»? Я просто ушла и все сожгла. Я бросилась в статистическую перепись, чтобы куда-то уйти. Групповым начальником статистиков-«переписчиков» был у нас некто Васнецов (студент) — вятич. Помню, как меня одно это имя терзало, напоминая моего любимого живописца, нашего чудесного Васнецова. Он был его дальней родней. По студенческим зачетам знал, что я сдавала анатомию у того же профессора, что и он (он был медик) и был удивлен, почему я не хожу на занятия в художественную школу. Это был очень замкнутый, серьезный и наверное «волевой» человек. Помню, как моя подруга (Оля Воскресенская!![748]) от меня тихонько показала Васнецову один из оставшихся у нее моих рисунков — голова ангела. Все остальное я изничтожила у себя. Я в такое впала бешенство и на тихонькую Олю, и на «нахала» Васнецова, что поссорилась и с тем, и с другой. Потом я узнала, что Васнецов не возвратил Оле ангела и наколол у себя над столом, находя его «очень духовным». После того я была одержима ненавистью к живописи и, приехав в Берлин на следующий год,

поступила только из протеста к миру искусства, в институт на коммерческий факультет! Я не люблю и чужда всякой коммерции. И потому и пошла... Дико? Нужда материальная заставила меня зарабатывать рисовальным ремеслом. Знакомые, видя все те безделушки, сделали мне заказы на некоторые вещи от *себя. Бранили*, заставляли «работать». Один старый немец посылал в школы для рекламы и мод (!!). Заворошили, зацарапали по больному... И я все бросила. Только однажды: на благотворительный бал в пользу ученых я не могла отказать (т.к. отчим был в числе этих «ученых») в рисовании программ и... со слезами, с мукой... сделала огромное усилие. 10—15 передала я их в комитет, но ни одна не была пущена в продажу. Их оставили себе... в комиссии. И снова те же разговоры... Никто даже и не подумал о том, как они меня мучили. Впрочем, тот медик-музыкант *(я давно о нем писала)*[749] понял, что можно так все сжечь и нельзя длить эту пытку... Я ушла в медицину — никому бы и в голову не пришло, что до лаборатории было что-то совсем иное, чем я единственно жила. Была хорошая, м. б. даже *отличная* лаборантка. В Голландии ни разу не соскользнула на старое. И вот почему-то в несчастный 1944 год взялась. Запоем... Это не было радостной отдачей души искусству. Не знаю, что это было. Потом после Парижа снова, с еще большим запоем, до изнеможения... Все это «судороги». Я хочу это вырвать с корнем. Было письмо от Наты Первушиной[750] с восторгами моей мазней. *Я* резко *(и даже грубо)* прекратила ее излияния и запретила ей возвращаться к сему. Она умолкла вообще. М. б. обижена?! Пусть. Я измучена. Запас материалов для живописи, которые я в своем «опьянении» покупала всюду, где могла, — без жалости уничтожу в пепел. Пишу все это, чтобы ты понял меня, как мне *тяжело душевно*. Дайте мне забыть мои провалы, мой позор, все то, что меня делает смешной. Я буду ремесленником, если это было бы необходимо, но не хочу дерзать прикосновенностью к искусству. Да и жизнь прошла. Ах, не хотела тебе писать о грустном... хотелось бы приголубить тебя, приласкать, утешить, ободрить... Забудь обиды жизни. Есть много света, прекрасного. *Я стараюсь уйти в него*. Олюша твоя очень много сама мучается, но не хочет на этом останавливаться. Ты — такой большой, достигший такого могучего. Всеми признанный, стоящий на своем пути. Всегда любимый. Ты всю жизнь был счастливый... Хорошо, — я плохая, ты встречу со мной крестом своим назвал, — но *твоя* усопшая всю жизнь была твоим счастьем. Много ли людей так жили?

Как разбита, изодрана в клочья моя жизнь. И все же: «Тебя благодарим... *Господи!*»[751] *Мой родной, светлый* Ваня, гуленька, радость моя... Обнимаю. Оля

[На полях:] Вся жизнь из клочьев, обрывков... и сама никому не нужна!

Выпал снег, — Толен боится ехать на автомобиле в Гаагу. Значит, пока и машинки нет.

Этот лист случайный, последний из той коробки... от 1940—41 гг. ...

171

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

8.II.47 11 ч. вечера

Я неспокоен, Олюша, — меня приводит в отчаяние твое отчаяние! — что за вздор!.. «Не могу», «противна живопись», «бездарна», «не нужна»... Это — не ты, какой чувствую тебя и в и ж у, — это преходящее, (ты очень восприимчива к среде, к условиям, они властвуют над тобой). Этот волчий холод — да еще в жилом доме, для больной (ты не оправилась! ты измочалена!) — конечно, отрава и угроза: *какая при таких условиях работа, да еще ки-стью...* не только пальцы, — мозг стынет, сердце западает, и все кажется беспросветным.

Надо изменить это, если хоть малейшая есть возможность. На отдалении, я бессилен. Я могу лишь вопиять, молить... Но на минутку вдумайся: если бы раз-Рафаэль, раз-Леонардо, раз-Пушкин начал и свой чудесный путь воплями и отчаянием... — их, будь они в миллион раз одареннней, не было бы, так бы и свалились в яму безвестно. Все требует усилия воли, упорства... и — веры, инстинктивной в е р ы в с е б я — от всякого делателя, от сапожника до — Моцарта. Изучение пушкинской «лаборатории» («кухни», говорят), показывает, что, при великих гениальных взлетах своих, Пушкин р а б о т а л, у п о - р н о, упрямо, въедался в творимое (предносившееся ему неясно) зубами, умом, волей, глазом, — духом... — всем в нем. Ход его нам известен. По первоначальным его стихам кто мог бы угадать будущего Гения? А он сам — ч у я л себя! И восходил, и восшел! Что мне убеждать тебя!.. — я уже сотни страниц исписал «доводами»... — ну, брошу. С болью, с отчаянием. Что меня влечет к тебе, с в я з а л о? Прекрасное в тебе? да?.. Да, но... какое прекрасное?.. Дары в тебе таящиеся, которые я вижу. Как давно прочувствовал я з е р н о в

тебе, — «с птички», в открытке: «я да птичка». Кон-чено, есть! — для меня стало бесспорным. «Видать сову по полету, красну девицу — по косе, добра-молодца — по с-пле». *Я тебя* — твой полет — увидал по «птичке». Я потом раскрыл все твои богатства, и ты влюбила меня в себя. Я полюбил твое сердце, твою исключительную одаренность. И я — поверил в тебя. Эта вера во мне непоколеблена. Я жду. Вот как И. А., прочитав «Солнце мертвых», писал мне[752] (я тебе послал копию его письма)[753] — «Я жду», — и дождался, его предвидение оправдано, так и я жду, и еще менее, чем И. А. могу обмануться: ибо ты и твое — мой воздух, мое искусство. Сегодня я отправил ему большое письмо[754] о сем (не о тебе!). Я жду. Что за подлое перо и гнусная бумага! Это какой-то рок: не могу добыть пера по руке (твое давно снова испортилось и спит), жду — авось из Америки пришлют в гонорар за работу для сборника в Сан-Франциско[755].

Оля! Это письмо — будет мое последнее письмо об искусстве. Больше о сем писать не стану: зажмусь, стиснусь, все забуду, весь уйду, до издыхания, в работу, но уговаривать... доказывать... — это же, наконец — печально, смешно, это уже... черт знает что такое! Какой-то *больной* ребенок, около которого выплясывают и папа с мамой, и няньки, и доктора... и кошки!.. А он — орет, неведомо с чего! — не ест кашку!.. Ну, я тебе ни доктор, ни мамка, ни нянька, ни кошка...[i] Будя с меня. Ты — трусиха, гордячка, («ах, меня осмеют!.. не вынесу!..»). С больными такими и доктора не связываются. Просто, тебя в стоячее болото тянет. Ты обсиделась в н-ж-ке и «обыкла г-ну!» — по словам Пушкина — жене[756], писал тебе. Ну, и обыкай. А мы, еще не свалившиеся, будем продолжать свою работу. Тебе подает руку писатель неподдельный, не трюкач, не гоняющийся за «бенгальщиной» и юбками... за «сла-вой»: а русский писатель, сознающий высокую свою ответственность перед Богом, Родиной, народом, отшедшими его учителями и вождями. А ты — и его не слушаешь, ты — и ему не веришь. И его не щадишь, никак не ценишь, слово его ни в грош не ставишь! При всем моем упорстве, я больше не могу продолжать эту «детскую сказочку про белого бычка»! Не к лицу. Мне плевать, кто и что тебе говорит о тебе: я верю, только своему нюху. Я знаю цену «похвалам». Хвалят, исходя из разных побуждений. Различай. Тебе пред-

---

[i] Так в оригинале.

ставился случай не-частый: встретиться с Бенуа, в дружеской обстановке, после моей (будущей) беседы с ним, если позволишь. Без твоего согласия я не пророню о тебе ни слова. Э т о т *не* покривит суждением и думой, верю, хоть и не видал его. Слы-хал о нем. Верю, что неведомая мне Люси — говорит правду: что ей ты и — от тебя?! ... Или — твой бывший враг — твоя золовка, если в ней есть искра. Это ты знаешь, ты — ч у т к а я. И как ты (о, пе-рышко-о!..), при такой чуткости, не вдумаешься, не поймешь, ч т о же меня-то заставляет говорить то, что я говорю тебе — о тебе?! ... Понравиться?.. Прошла пора таких пустых желаний, — мне н и ч е г о от тебя не нужно, как от женщины. Люблю в тебе — т е б я, подлинную, какую в и ж у, люблю в тебе то, что близко моему сердцу, моему миру. Мы можем задираться по пустякам, но в деле творческом... ни шуток, ни задору: тут — уже почти священное. И ты капризно и легкодумно его пинаешь... Больше не могу, устал. Пора ложиться, иначе я разобьюсь. Целую. Ваня

172

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

18.II.47

Мой родной, светлый Ванюша!

Все эти дни я, как оглашенная печатаю нашу переписку — «роман в письмах». И вот тебе пишу, чтобы видел — какую мерзкую смогла достать бумагу. Пока что я взяла для «набело» из запасов Арнольда, и беру эту лишь для копии, но, конечно, ее не хватит. Сижу с утра и до 12—1 часу ночи, так что больную мою руку разломило с непривычки. Безумно медленно идет, и я не представляю, как я все осилю. Я за 3 дня дошла только до виккенбургского периода. А ведь с ним-то только и начинается! Скажи, не оставить ли твои письма целиком? Т.е. без того, чтобы их переписывать? По крайней мере те, что на машинке были?

Я подобрала бы их по порядку, вкладывая в отпечатанное мной теперь. Прочтя все вместе, мы могли бы сделать осторожную выборку и тогда переписать. *Как ты думаешь*? Мы не ленились писать друг другу.

То-мы выйдут!!! Ах, сколько там души и сердца! Ваня, как я пела! себя не узнаю... И как же все... прозрачно! Ты не мог не отозваться... И помню, помню, каждую строку свою припоминаю и то дивное, что их диктовало!!

Эх, перечти — увидь, как ты не прав, меня укоряя. Какая ВЕРНОСТЬ, Ваня! А ты мимо и ее частенько проходишь.

Я все сделаю, чтобы себя вогнать «в мерный круг» и пребыть в творчестве. Я «не кривлю ножки» и обещаю тебе «быть пай». Но теперь я ушла в переписку и не могу ее оставить, т.к. машинку получила на самый краткий срок. Напиши тотчас же, что думаешь об оставлении твоих писем машинных? Иначе я опасаюсь не успеть перепечатать и необходимого, т.е. всего, что от руки было.

В субботу послала для твоей караимки на твое имя лекарство.

В банке все еще ничего не узнала касательно перевода для «Павуа». В книжном магагазине наконец спросила, что с твоими «Путями». Они мне их отдали... скоты даже не разрезали! А морочили, что «один прочел, и будто бы другой читает»! Гады!!! Ну, значит, и не стоят они «Путей», коли — беспутки! Видела мельком доктора K[linkenbergh'a], как он переменился!

В довершение всего еще заболел его ассистент, сломался автомобиль, так что всюду пешком, сам все еще болен, и подыхает его собачушка.

Сказал, что все к нам собирается и, если достанет автомобиль, то будет на той неделе. Дам ему твои книги. Холод у нас собачий.

И конца не видно. Уголь — (последняя порция на эту зиму) — все еще не выдают. Видно к лету копят!! Топим только дровами, чуточку достали коксу и торфу. С домом в Вурдене дело дрянь, — надо начинать настоящую тяжбу! Прислуги настоящей тоже найти не могу. А я серьезно собираюсь в Париж работать и должна для этого обеспечить дом и хозяйство. Очень хочу с тобой работать, Ванёк!! Все постараюсь подготовить для этого. Милый мой, светленький Ванечка! Не будем только ссориться!? Не надо. Так хочется гармонии с тобой! Ведь как еще издавна все я тянусь к тебе «поговорить о много-гом» — была у тебя, а что получилось? Того, что было — не должно быть, родной! Я и не хочу, и не могу! И, знаю, — ты — тоже! Светом хочу заполнить наше общение с тобой и радостно творить! Милый, родной мой, светлый мой... глупышечка умненький... Мой чудесный, мой любимый ИВАН, мой ВЕЛИКИЙ... Как воображаю себе уют твой. Милые комнатки... лампадочка... и Кремль... и пышная красавица за самоваром[757]... Все люблю. Как работа

Вигена?? ... Ах, мой дорогой Ванёк! Обнимаю тебя и очень думаю о тебе, светло и ясно.

Твоя Оля

Не пишу много, т.к. опять должна стучать. Устала страшно. Родной мой... Целую. Оля

[На полях:] Ты *писал*, что «Павуа» тоже издаст de lux![758] Я отыщу! Сперва — просто, а потом «de lux»! В этом же у меня и весь спор с тобой был! Ну, это уж не поправить, так что и говорить нечего!

19.II.47 Пишу тебе сегодня письмо об очень важном[758a]. Нельзя все «с маху», должна вся собраться для письма. Крайне важно. А это спешу послать.

Прошу: отнесись ко мне с доверием дружеским. Иначе мне трудно писать о важном. Я верю, что ты поймешь меня. Сегодня же написать постараюсь, — оставлю все дела. Обнимаю. О.

173

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

19.II.47

Дорогая моя Ольгуночка,

Пишу кратко, — очень я заработался, устал. Сегодня отправляю тебе «Куликово поле», в новом списке, очень развернутом, в 1 1/2 раза.

С неделю проработал. Это — окончательно, так и прими — свое. Сними (для себя или для меня) оттиск машинкой, у меня всего *1* экз. Прости, что затрудняю. Если не удосужишься, (я тебя не тороплю) верни мне, прочитав, — после перепишешь, а я — не в силах. Надо бы 2 копии мне сделать. Да не мог найти бумаги. 2-ой оттиск послал сегодня же И. А. Ильину. Сам — безо всего.

Молись, чтобы свет Господень озарил тебя! Твое последнее закрытое письмо[759] меня подавило, я написал тебе. Сегодня, твоя открытка[760] — осветила надеждой. О-ля! Благостно, чисто отнесись к работе. Я жду, я верю, что ты найдешь волю — хотя бы не широко — дать обложку — заставку-кайму — (одну!) для главок, заставку и концовку (как и «рамочку» пограничную). «Куликово поле» надо выпустить чистым, и оно будет выпущено! Я напишу в Германию. Но я не теряю надежды в этой (важной для моего духа) книжечке связать твое со своим. Это пишу тебе в последний раз: больше не помяну. Боюсь заболеть: начал-

ся насморк, плохо. Я все берег уголь и дрова — вот ты придешь, и вечерами не топил печку, когда охлаждались радиаторы отопления. — Вот, м. б. и простудился.

Я тебе написал большое письмо, дня 3—4 тому...[761]

Переезд твой в Woerden... это должно быть — после Пасхи?..

Я болел душой о тебе, как ты леденеешь... — и — из-за чего!..

Тебе надо работать душой, сердцем, а не разматывать силы — на преходящее, пожирающее дух. Ты сама понимаешь...

Господь с тобой. Неужели мне суждено — утратить веру в тебя?! ...

Это было бы ужасно. Нет, это не должно быть, не может быть.

Целую тебя, светик мой Оля.

Твой Ванёк

Скажи: ешь ты гречневую кашу?

Прямо, у меня много гречневой крупы. Пошлю тотчас же, как получу — да. Должна любить! Ты вся — гречневая. При-родная наша!

Ва

174

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

[4.III.1947]

Мой дорогой Иван Сергеевич! Пишу открытку, — чтобы только хоть голос Вам подать поскорее. Всю неделю в трепке и разгоне, — затраты сил — всяческих — куда больше, нежели результатов. От Вас нет ни звука. Вы не согласны со мной, — и потому молчите? «Куликово поле» я сразу же села читать, несмотря на очень поздний час, и просидела до ночи глубокой. Я его очень люблю, — Вы знаете. И не знаю, которое лучше: старое или это? Не могу сказать. Меня поразило его начало. Мы же с Вами совершенно солидарны. Вся разница только в том, что я уже вижу то, чего мы ждали и что наступило. А Вы, как бы еще не решаетесь поверить. Я умереть могла бы за эту Правду, т.к. знаю, что Великое происходит, и ему нельзя мешать. Вы — думали так же. «Куликово поле» — все у меня в сердце. Я с радостью стала бы работать для его «одеяния». М. б. (в новом) чуточку рассудочен следователь. И кажется порой: не сам ли автор ищет для себя поддержки в вере. Но, впрочем —

разве это плохо?! М. б. следователь слишком придает значение всему «материалу» — и само чудо раскладывает на «составные» части. Но не знаю, плохо ли это? Это только мое рассуждение. В первой редакции субстанция духовная поглощает все рассуждения следователя. А м. б. для большинства как раз эта материя и нужна?! Письмо Ваше — удивительно![762] Я скоро напишу. Очень поглощена заботами (гнусно все!) и перепечаткой. Измотана совершенно. Но пишу. Хлопочу о собственной машинке. Письмо от госпожи Гелелович[762a]. Будьте такой милый, передайте ей, чтобы не сетовала, если не смогу ради формальной учтивости ей ответить.

Я загружена всем. Визит к доктору и лекарство стоили ± 11 гульденов (никаких прочих расходов я не хочу присчитывать). Их пусть она передаст Вам. Жду ответа из Амстердама на запрос о пересылке «Павуа». Надеюсь, что удастся. Из музея ничего не слышала о Мадонне[763]. Придется ехать, видимо. Но сию минуту и помыслить не могу. Я — перезанята.

С «Куликова поля» Вы сняли посвящение? Да? Очень прошу, пришлите мне мой рассказ.

Вы хотели, чтобы я переписала «Куликово поле». Да? Жду ответа. Обнимаю. Оля

Совершенно исчезла машинная бумага. Попытаюсь из Америки.

175

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

[11.III.1947]

Дорогой Ваня, твою бесприветную открытку[764] я оставляю без критики. Тебе ведь оказывается многое дозволено в отношении меня. —

«Куликово поле» я пошлю на днях же, — я перепечатывала его, и оно почти готово. Хотела облегчить тебе этим. Очень обескуражена и расстроена тем фактом, что мой рассказ, видимо, пропал. Я очень прошу тебя немедленно сделать заявку на почте в Париже, что заказное письмо (то, где *1 и 2* отрывок рассказа) мной не получено[764a]. Почту принимаю всегда я сама. Рассказ мне крайне нужен, и я очень встревожена, что случилось с ним. Посмотри еще раз у себя, — я его *не* получала. Жду с каждой почтой давным-давно, — не сумасшедшая же я, чтобы его «забрасывать».

Акварели, тобою швырнутые мне в лицо[765] — совсем иное дело. Там боль. Я не могу их касаться*. Очень прошу справиться на почте в чем дело. Когда ты послал 1 и 2 отрывок? Ты же делаешь пометки в дневнике о почте.

Пишу на вокзале. Все эти дни в гонке. У меня ни прислуги, ни квартиры, ни разрешения на переезд-въезд в Вурден. Тут и на 10-терых хлопот достанет. А тут еще подвернулась поездка в Гаагу — по приглашению (личному) министра «Искусства и науки» на торжество в честь дядюшки Монакского (Bredius). Мы — единственные представители молодых Бредиусов. Меня это все треплет. Но, хотя, — что значу я?

«Куликово поле» целиком мною понято. Это ведь за меня решается о том, как я думаю и чувствую. И без меня ставится моя вера в Бога и в народ наш на политиканскую платформу. Чисто внешне — я бы считала своим долгом сказать: обрати внимание на то, что 7 ноября нынешнего столетия — праздник революционного октября, и кооператив не мог быть открытым. И еще: не был ли в то время еще НЭП[766], — тогда выдач таких тоже не могло быть. Касательно нутра, — я писала много, но после твоей брани не хочу ничего говорить. Мне очень больно и тяжело. Я думаю, что всякую пакость, брошенную обо мне кем попало, — ты бы стал взвешивать. У тебя нет веры в меня. И не было.

Господь с тобой.

О.

Веселые цветы — совсем не по настроению[767].

176

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

18.III.47

Ванюша мой дорогой, какой чудесный день... весна пришла вчера после штурмовой ночи... Как бесились борющиеся силы... я не смыкала глаз — дом содрогался, подавался под напором бури. Фонарик в прихожей качался при запертой двери и колокольчик звонка дрожал и тоненький издавал звук... Ураганом дрожала и выла ночь, и небо не успевало закрыться тучами — так их гнало... А на утро... пришла она — ласковая и в ослепительном, теплом солнце.

* но знаю отлично, где они.

И все проснулось: ожили голые деревья в веселых свистах дроздов, гомозящихся стайками в ветках, гладенькие, блестящие скворцы «журчат» на крышах, подняв головки к небу, распушив шейки... и вздувшаяся вода в канале бурно гонит лед.

Зимы как не бывало... Какой бурный, какой же страстный переход!! На душе тревожно и взволнованно, и радостно, хотя и мутно все пока у нас. Я в отчаянии от переезда и от того, что опять я бесприютна и не смогу работать. Кажется нашла прислугу, но далеко не то, что искала. И еще не наверняка. Я не могу никого и найти, т.к. нет и прислуге угла! Где же ей жить-то?! Увидим. Я решила ничем себя не волновать, т.к. все равно ничего не придумаешь...

Мне трудно сказать тебе, что я тогда-то и тогда-то начну рисунки к «Куликову полю» в этом неустройстве, но я стремлюсь к этому и обещаю тебе взяться за эту работу со всей любовью. Но почему ты не отдаешь Бенуа? Если такой известный художник хочет, то я считаю себя недостойной, и еще: ты не пожалеешь после? Если хочешь, чтобы я, — то я радостно берусь.

Не в укор тебе, — а по дружбе: мне больше чем больно, что ты куда-то затерял мой рассказ. Я его не получала. Напряженно ждала его от тебя и знаю, что ты его не выслал. Ничто никогда даже в войны не пропадало, — куда же ему деваться? Посмотри у себя хорошенько, — м. б. ты его вынул и положил куда? Я все еще хочу верить, что ты его найдешь, — для меня катастрофа то, что его нету, и ты поймешь почему: — у меня нет никакой копии, даже черновика. Я все переделала и послала все тебе. Поищи, дружок... Ты же сам знаешь, как это больно... М. б. в декабрьских письмах? Отрывки были вписаны прямо в письма, в текст, — потому м. б. их ты сразу и не находишь.

«Куликово поле» я тебе вчера послала с приложением перепечатанного мною, а себе оставила розовую копию[768]. Прости, если плохо напечатала, — я в машинке еще новичок.

Если я смею, то скажу тебе от сердца, что думаю о рассказе. Чудо дано тобой прекрасно, беруще, художественно и благоговейно до слез... Ты-художник всегда мастер, всегда хозяин того, что хочешь дать. Само по себе чудо так прекрасно тобой дано, что... мне мешают рассуждения словоохотливого следователя. Он слишком много напирает

на то, что без напора было бы убедительнее. Его рассуждения как декорации — загромождающие сцену, саму природу. Душа ждет, напряженно ждет... а он... все говорит и... расчленяет. Тонкое, чуткое художество загораживается... какой-то... публицистикой что ли...

Это чудесный рассказ, и я бы ничего не сказала, будь автор не ты... Мне жаль, что такое тонкое твое и редко-прекрасное как-то затушевывается. М. б. я ошибаюсь, — тогда прости... Говорю то, что чувствую.

Подумай сам: событие на Куликовом поле так велико и неоспоримо, что все ссылки на авторитетность и какие-либо бумажки, заверяющие самого следователя, просто лишни и даже вредны.

Вдумайся: при таком-то важном... и профессор с его заботливой женой лишь от-тяжка от главного. Читатель ждет уже, чует уже, а болтливый профессор все еще затягивает и... разжижает.

И многие слова о народе в устах следователя... не им, не словам убедить в том, о чем он говорит.

Чем больше ты — художник, — тем убедительнее твое творенье. А следователь — публицист. Он слишком много говорит и уводит внимание от чуда.

Об условиях жизни при «нэпе» ты все узнай верно. Пайки академические выдавали, совершенно верно, но это были совершенно другого рода выдачи. Их мы получали тоже, как вид жалованья ученым и давали 1 раз месяц в день выдачи жалованья. Главным образом мясо, масло, сахар, — это были богатые пайки, а не пшено. Во время «нэпа» в 23 г. мы свободно покупали все, что хочешь и в Москве, и в Казани. В Москве накупили такой колбасы и булок, что в поезде немцы головами кивали и удивлялись такой роскоши. В Москве мы увлекались различнейшими сортами булочек, калачей и т.п. Олечка не могла «жевать корочку», если «нэп» еще был.

Я не знаю точно, когда упразднили «нэп», но надо это узнать.

Ванечка, при таком-то Господнем чуде... к чему ссылки следователя на Ключевского? Твой художественный опыт с чудом не нуждается в этих точках над «и», — они снижают, умаляют великое. Таково мое восприятие, а верно ли оно — суди ты. И прости, если я глуплю.

Больного я не коснусь тоже, но не причисляй меня к «падшим», как ты сказал. Я сердцем чистым и душой болею, а не политиканствую и мне больны твои определе-

ния моего мира. Но оставим это. Все будет идти так, как Богу угодно.

Мне хочется тебе привести только несколько слов из «Журнала Московской Патриархии» о Владыке Сергии Пражском, ныне Венском[769].

«...Георгий Григорьевич (Карпов)[770] обменялся также визитами с Владыкой архиепископом Сергием, который готовился к отъезду в Вену — месту нового своего назначения.

После посещения Владыки Сергия Георгий Григорьевич с удовольствием рассказывал нам о русском гостеприимстве этого почтенного иерарха Православной Церкви».

И дальше:

«Рано утром на пражский аэродром съехались представители государственных учреждений и общественных организаций, чины Советского посольства во главе с послом В. А. Зориным[771], духовенство Православной Церкви и среди них: Владыка Елевферий[772], Владыка Сергий, о. протоиерей Крачмар[773] и другие.

Никому не хотелось верить, что уже настал час расставания с нашим дорогим гостем.

И поэтому каждый полным сердцем присоединился к словам г-на К. Чермак[774], который в ответ на прощальное приветствие Георгия Григорьевича просил его в самом недалеком будущем вновь пожаловать в Прагу...

Б. Л. Черкес
Член епархиального совета чешской
Православной Церкви».

Ванюша, что же это с твоим почесом? Это кошмар какой-то!!! Господь да будет с тобой! Не сердись на меня, если глупо пишу о «Куликовом поле» и прости!!

Обнимаю тебя ласково и нежно.

Оля

Хочу давно спросить: что с луковицами цветочными? Если не посажены, то надо скорее сажать, а то останется один путь — на помойку. Жаль. Это самое лучшее было куплено. Пусть Ю[лия] А[лександровна] позаботится.

177
И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

21.III.47

Милая Олюша, перерыв все, — и сколько дней! — нашел в «копиях» пакет, где, с письмом от 5.I.47, оказались отрывки твоего «Заветного образа». Слава Богу. Как это могло случиться?.. Очень просто, при моей в то время подавленности. Написав письмо тебе, — к Рождеству! — и вложив отрывки, я заклеил и... отложил — задумался. Вспоминаю: решил не посылать того письма, чтобы не огорчить тебя. Заменил. Но смута во мне осталась, я, очевидно, думал, что отрывки послал... — и забыл, в смуте сунул пакет в вороха, — у меня все вверх дном. Потому и не было отмечено в тетради, — целая полоса без отметок! — не нашлось и квитанции. Слава Богу, с души свалилось. А ты, небось, всякое надумывала... чу-ю.

Посылаю и мой экземпляр (с рукописью на оборотах) «Куликова поля», твой оставил себе, выверен, — спасибо. Приложил, заменив, «дополнения». Твои замечания... По существу, (вне этого рассказа!), они справедливы, в теории, но не для сего «рассказа». Моя цель была иная, — есть иная. Это, ведь, в сущности, не столько «рассказ» — беллетристика, сколько — более или менее художественное «исповедывание» — важного для русской души. Я, просто, почувствовал, что хочу быть свободней... открытей... Дело не только в «чуде»... — а и в исторической и нравственной обстановке, — эпоха! — при которой, в которой это чудо проявилось. Дело и в попытке изображения надрыва страждущей национальной, русской, — в данном случае — интеллигентской души, души оглушенной, опустошенной, не оплодотворенной верой вообще и — в свое, родное, в «духовную мощь нашу». Мне необходимо было это вскрыть и показать. Эпоха исключительная, и переживания — ох, как же исключительны! Нельзя было бы мне ограничиться голым изображением «чуда». На какую почву упало оно? ..! И я должен был заставить русскую душу — в данном случае — интеллигентов — раскрыться, пустоту и жажду свою показать — жажду упования и наполнения... показать смуту, поиски оплота, вечного, незыблемого, на силе национальной души построенного. Отсюда — глубокая заинтересованность «рассказчика», личная. Необходимо было подготовить «орошение души чудом». Отсюда — необходимость сцен — «Иова», беседы — о, сколь важной! — с профессо-

ром на лавочке, экскурс в «апокалипсис» и историю. Ведь эта работа — исповедывание национальной сущности, зазвучавшей и в опустошенных, казалось, душах. Я должен был сделать это не «мельком» — слишком это важно! — раз представился такой случай! — хоть чуть, коснуться такого огромного, — нашей национальной трагедии, которая не может быть разрешена без вмешательства свыше. И вот — оно: в лике выразителя нашей и духовной, и человеческой-просто, и исторически-государственной сущности — более яркого выразителя, носителя — нет! не вижу. Таким его признал народ, Сердцем — чудо преп. Сергия! Он несет в духе своем — все наше, как в искусстве слова — Пушкин и прочие большие. Только ли святым был — этот сын Неба? Нет, не только: он был и и русский человек, пастырь, участник родной истории, человек масштаба государственного, защитник и предстатель за Русь Православную — в земной жизни. Учитель нравственного русского порядка, русской Правды. Антипод — потомков — русских неверов-интеллигентов. И вот, от него — свет. Его — народ — чует, несет в душе. Здесь — его воспринимают, с каким усилием и потом восторгом — русские бывшие никакие, безнациональные... — суд приходящего в себя следователя над самим собой! Мне кажется, что этот суд, «многоглаголание»-то, по-твоему, здесь необ-ходи-мы — иначе — обмелел и не дал бы важнейшего — рассказ. Как преподобный не только — Святой, небожитель, но был при жизни — русским, духовным учителем и водителем Князя[775], его крепителем, так и мой рассказ, — не только художественный — в основе-то! — но и ведущий рассказ, оздоровляющий, напоминающий... вскрывающий главнейшую сущность нашу! И потому мне тесно было в узких — сухих тогда! — чисто «художественных рамках». Так я почувствовал. И сильней чувствовал, с годами, слыша голос — ответственности. Пусть рассказ затронет не только чувства многих — сколь мало знающих русских читателей! — особенно — оттуда! — но и мысли: пусть покажет, чем жив русский человек. А услышанное мною о «чуде» — просто краткий отчет оттуда — может быть даже очевидца! — из «случаев», как например «обновление» куполов, икон, — раздвинулся во мне, и все эти годы потаенно ширился и углублялся. Мало — «чуда», как бы оно ни было разительно. Надо больше: во-имя чего — чудо, для кого — чудо? заслужено ли чудо? не для «сушек» же подается чудо! Оно подается по заслугам. Чудо, конечно, произошло не для Среднева —

он и есть — «среднев», — н е для его выпрямления, это между прочим. Чудо дано — для верующей у ж е души, и, очевидно, для готового испытаниями принять возрождение следователя... — оттого-то он так и вскипает, при всем его «анализе». Чудо ради ведущего тяжбу с Богом русского тронувшегося «Иова», который — «за всех и за в с я»! Чудо дается вот для этой «четы», лучших русских людей — из интеллигентов — связанных такой чуткостью и нежностью друг с другом — «такого и в народе много»! Да это был бы огромный про-вал — выкинь я эту сцену, для ускорения с «чудом»! Помнить надо: тут дается — все время — изображение процесса возрождения, и кипучие и укорительные слова «следователя» — не «публицистика», а наболевшее, ветхое, что надо сбросить. Чудо дается для этих мужиков с кнутьями, ж д у щ и х!..

Чудо дается «по заслугам»... Чудо дано и для тех, лучших из искавших, что терлись под стенами Лавры!.. — Булгаковы, Розановы, и проч.[776] Чудо, наконец, явилось для н а р о д а — символ! — как явление лесному дозорщику! — простому сердцу, — для т а к о й России, во-имя такой России, для такой интеллигенции, — хоть и путем мучительным неверия продиравшихся к в е р е! У русских интеллигентов, лучших — ! — само неверие даже принимало содержание как бы их «в е р ы неверия»! — до страстности — отсюда мучительные колебания, искания, пытания, падения, до самоубийств, и — обращения! Пример Булгаков! Как раз только что выпущены в свет его «посмертные» «Автобиографические заметки»[777] — очень знаменательные места там, те что читал, читаю, важно для «Путей»! Говоришь — «Куликово поле, т о событие так велико и неоспоримо, что все ссылки на авторитетность и какие-либо «бумажки» следователя — излишни и даже вредны». Что это?! ... Обмолвилась? Куликово поле — было — в веках! Важно, как обстоит теперь, что люди русские, достойны ли они н о в о г о Куликова поля — ч у д а?.. Сам следователь ведь все время о с е б е, — себя щупает — «а ты, как?.. ты-то достоин, можешь приять, достоин ч у д а?» — а через себя щупает с в о и х, и — вместе с профессором — исследует н а р о д: «а *он* к а к? достоин приять чудо, ж и т ь о т ч у д а и — с а м... может сотворить чудо?! ...» А что же это за пустое провождение времени — поведать, даже очень рельефно и художественно выпукло, т о л ь к о... о «чуде»?.. Не стал бы писать. Чудес в Четьях-Минеях — и в прошлом — сколько угодно!.. Тут прощупывание психологически-художественное нужно, и оно происходит,

только ты не вдумалась в него и, в нетерпении «добежать до чуда» — говоришь — «ах, когда же кончится... эта — "публицистика"»! Нет, Оля: я все примеряю, о-чень внимательно, и когда мне надо — не щажу, безжалостно вышвыриваю — вот, из «Путей» — больше 100 стр. выхерил. Моему духу, моей внутренней мере «голого чуда» не надо, пусть попы пишут о сем. И вот, исследуя самого себя, следователь, а м. б. и аз, — да, беря в подкрепление себе и читателям — , особенно — массовым — и «бумажки», — вечные слова-мысли. Великих наших. Я содрогнулся, прочтя, что, по-твоему, — сцена с милой четой — лишнее! Ты доброго ученого, — несомненно чистого, называешь «болтливым». Стыдно. Он большевикам именно таким и покажется. А чуткому читателю он — важен. И в его старушке ты увидала только «заботливую жену»...*777а Что с тобой, откуда такое короткодушие и презрительность?! — ах, скорей к «чуду». Меня поразила твоя... нечуткость. Всякий может, конечно, промахиваться, ошибаться, я — тоже. Но не на таком. Тут все ясно. Содержание «Куликова поля» — огромное, — внутреннее-то его значение, — и я жалею, что у меня уже нет времени наполнять его. Ты могла бы подобное — о «болтливости»** сказать и в отношении «На пеньках»! Уж там ли не «болтливость», а никто не посмел этого сказать. Ибо и там — о важнейшем. А в «Куликовом поле» — о самом важном — о — возрождении, о возвращении блудных сынов в отчий дом!.. Только потому и произошло чудо, что — его достойны. Господь давно мог бы потрясти человечество своим чудом — и обратить! Нет ты за-слу-жи-и!.. приготовься — и получишь: да еще вы-страдай себе чудо обновления! А то, разве трудно было бы Преподобному — оказать себя... публично? да еще в массовой бы манифестации!.. Но это подходит лишь для «вершочками меряющих» все. От чуда — ярчайший свет в душу — души — и при этом ослепившем свете должно многое открыться. По теме рассказа мне не до сего, я лишь чуть намекнул на последних полутора страницах... Мне неважно что читатель

---

* Почему у тебя так *усохло* сердце?.. Или это — временное, «по настроению» и от раздражения, как и наивное возражение: «не могли выдавать *в "праздник"*»..! А вот и выдали! Так надо было — для документа — для чуда!.. Где же твой вкус? Это же — помимо всего, главного, — буколики! — Или — не видала таких? Это же — интеллигентские «Филемон и Бавкида» Овидия, «Старосветские помещики» Гоголя!

** Где — о важном и священном, — там нет «болтливости»: и болтают на базарах, да — с трибун.

«ждет», — разные бывают читатели, пусть его ждет: мне важно самого читателя подготовить к сознанию, что он именно готов для приятия чуда, а что он нетерпелив — картинку чуда увидеть! — это — мимо. Да разве я мог пройти мимо «Иова»? мимо «четы»?! ... мимо мужиков с кнутьями? мимо простолюдинов, которые так наивно хотят «прикрытия» этого — «в неопрятном положении»! Чуткость-то какая! жаленье! «Да он не вредный». Вот ради таких-то — и тех же красноармейцев, «дающих хлеб», и творится чудо. «По народу ходит»! — вот для таких-то. Ибо Господь готовит сосуд — Россию-мученицу — для своих ЧУДЕС! Она должн-А быть достойна. Но она должна вы-жить... и ей подается укрепление.

Разные бывают читатели, бывают и нетерпеливые... — многие ли сумели прочесть и понять «Кроткую»? «Записки из подполья»?..[778] о, сколько непрочтенного, непосильного, которое никогда не прочтется, как надо. Я не о тебе говорю: ты чуткая,.. но тут ты впадаешь в теоретическое, прыгая от трамплина «теории искусства», самой по себе — верной. Я сто раз отмерю, — один — отрежу. Я могу погрешать, да, как все... — но тут я не вижу оступки, ни-как. Мне важно, — не разжевывая, конечно, — захватить в полон мно-гих, малоискушенных. И для таких-то — как и для себя, коря себя! — «болтает» следователь, себя приуготовляя, себе толкуя. Схватив «случай "Куликова поля"» я не мог пройти мимо главного, чтобы «ускорить». Иначе я, выплескивая из корыта воду, выплеснул бы — дитя! Нет, оно мне о-чень дорого, я плачу — сердцем — над ним, и потому я так, порой, неистово-непримирим. И никогда не примирюсь, никогда бесовское божьим не назову! У меня — чутье, я его слушаю... Я могу ошибаться, но работаю над стекающим в душу, и если вижу правду — всегда готов отказаться от прежних заблуждений. Но бес далеко и остро воняет. В нем не прошибешься.

Писал ли тебе: И. А. — а он очень прям и требователен, знаю: он ни тени замечания не сделал, напротив: «три дня видели преподобного, до слез...» «Простота и убедительность повествования — первоклассны»[779]. Оставим о «классе» — я ставлю «точку», когда ничто меня не тревожит, или когда я смогу учувствовать тревоги. Но в этом «повествовании» — именно! — «сказ» — порой — особой трудности мне не встретилось, это не «Пути»...

Из «Журнала Московской Патриархии» — не приводи мне, все знаю и уже не читаю. Бумага все стерпит, да тут кроме хваления обер-прокуроров бесовской выделки — ни-

чего. А о Сергии я тоже знаю, он — чистый. Ну, не хватило силы на исповедничество? суди его Бог. Он и там будет чистый, пока потерпят. Но о сем не в письме, что знаю...

30-го должен читать в Казачьем музее на литературно-музыкальном «дне», в 4 ч., для церкви[780]. Надеются собрать тысяч 70. Собрано уже для покупки владения — до 900 тысяч, надо еще 700. С американских посылок как-то накопили и дачами из Швейцарии. Разве писал, что Бенуа хочет... знаю: Б[енуа] охотно согласится. Но я хочу, чтобы ты, хоть ты и не взяла «Куликово поле» во весь рост, — желая «меньшего». Главное-то и не приметила! — И. А., видимо, удивлен, что ты спрашивала у него адрес Ремизова[781] — ?! — Р[емизов] парижский житель! — почему — так окольно?.. или — что смущает? Твое право, пиши, но — одно: не в связи с книгой И. А.: она была доверена только мне и, по твоей просьбе, через меня, — тебе. Никто больше о ней не может знать. Таково условие. Но м. б. я и ошибаюсь и ты — для другой цели. М. б. хочешь оказать нравственную поддержку, выразить сочувствие? Твое дело и право. Но почему — справлялась и у И. А.? Он так и пишет. Очевидно, не пришлет: «он перешел на сторону мучителей, а почему и зачем он это сделал, это мне безразлично»[782]. Я не видал его с I декабря — и не увижу; его дело — его, мое — мое. М. б. и из — «юродства». М. б. и трагедия... — там-то он, вообще, как писатель не нужен, курить он не может. Да и «загораться»... — он сырой. Я... могу воспламеняться, очертя голову, но теперь я стараюсь быть «хладным». Свое я по-своему люблю, как скажет сердце на — 20 процентов, рассудок на 10, и «подсознательно»-интуитивно на... все остальные 70. Так всегда.

Получил трогательный поклон от «Просветительского фонда имени Ивана Кулаева»[783] — из Сан-Франциско и... приношение в 50 долларов, Ильин только что извещал — 100[784]. Не знаю... Приветствуют «верного Знамени», — трогательное письмо-авион. Им — для юбилейного сборника «День русского ребенка»[785] — 15-й сборник, страниц в 300 — «ин кварто»[i] — по 2 доллара, с многими иллюстрациями. Дал им недавно — гратис[ii], конечно, — «Говенье». Восторг! — новое авион-письмо. Там же пойдет статья Ильина[786] — «Иван Сергеевич Шмелев». И еще его две

---

[i] «В четверть» (издательский формат, *от лат. in quarto*).

[ii] Бесплатно (*от фр. gratis*).

* По их просьбе.

статьи о России — пути ее, и «О гонениях и свободе Церкви»[787], помимо массы многих статей — совсюду. Дела-ют дело! И — 15 лет, начали, выпустив сборник в 100 экз., каждый год ширились, и вот — ныне, кажется — 1500. Не хватает! Это — в Америке-то, где 1000 тираж за редкость: прежние русские денационализировались.

Нет, не по времени, передумал: н е надо рамочки, (на странице это очень осложнит печатание и удорожит), ни концов, ни заставок: только — обложку: или — заставку — арабеск — одну и ту же для каждой главки (с новой страницы!) и — м. б. о д н у — концовку: ка-кую?! ... — не соображу. Ты найдешь...

Сейчас ищется, кто может дать деньги. Потребуется тысяч — 60—70. Тираж — не более 1500 экз. Важно — на добротной — чистой бы бумаге! И что такое 60—70 тыс. теперь!

«Voies Celestes» — взято испанским издательством[788], только что узнал. Из-за [1 сл. нрзб.] все еще нет гонорара от итальянского издательства и с Севера... Есть слух — м. б. позовут в Соединенные Штаты, но... ку-да мне! Отклоню. Теперь за «Пути». 2-ая посылка из Холливуда, в пути — 3-я — ну, что я поделаю?.. — ч и т а т е л и. Говорю, в душе: «награди, Господи, за меня». А у меня и книг нет — послать. И купить негде — нет. Набирают «Лето Господне» огромный том, страниц около 500. Болезнь — то же... будто полегче? Лечусь сам 23-й день — «ясеневого экстракта», капли. Еще один доктор подтвердил диагноз Веретенниковой[789] — «маленькая (?!) экземочка-раздражение, дня 4 не умываться, т.к. полотенцем, утираясь, раздражение». Заметил: как дожди — почёс ярей. Ревматическое? простудное?.. Ну, ясень. 25-го приму 6-ой порошок. Плохо сплю. Сегодня, ночью, в 4 часа, встал, (очень — мысли! и — порой — негодование!) и пришло в голову, — увидел Евангелие «божественным загадать». Криком души напрягся, загадал — где на какой странице — о С у д ь б е России! — и открыл... Луки, гл. I, стихи 57—71[790]. — !.. — да-а-вно не загадывал, не помню. Всю душевную силу собрал: Господи, укажи мне, изнемогла душа!..» — И вот. У п о в а ю. Бу-ди! бу-ди!.. Да... и м. б. — «время близко». Кто что может знать? — у тебя хорошо вышло начало письма — о в е с н е — и переход от бури, — и — буря!.. Помни, — п р о щ е!.. И не растекайся — гони рассказ так, чтобы взять читателя сразу, за-ма-нить! В.

Господь с тобой. Я тебя н е жду.

Я написал тебе очень жестокое письмо, по поводу твоей «критики»... — и заменил этим. Зачем я буду строго судить тебя?! ... Ты не вгляделась, не вдумалась.

Досылаю моюкопию, с «добавлением» — новые «загромождающие декорации» и «болтовня».

Но разве в письме все скажешь!

Надо говорить. А этого уже не придется.

Ну, хоть куцым ограничусь.

Ш.

[На полях:] Итак: очевидно, «Куликово поле» до твоей души не дошло. Значит, я ошибся в твоем «потенциале»?

Луковицы — уже недели 2 — отправлены с оказией в Сен-Женевьев — к садовнику. Спасибо. Посадил себе — два крокуса. А. А. мне нечего отвечать: на чествования что скажешь?.. Теперь — будя. И прошу: не заикайся и ты, — в пу-стую! Придет час — само проявится, все. Какая правда: вражье лепко, а Божье крепко.

178

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

28.III.47

Пишу тебе — ласковому моему дорогому, любимому моему Ванюше, пишу от самой глубинной моей, самой чистой сути души моей.

Оставь злость на меня, посмотри в сердце твое и мое, и ты увидишь, как ты был неправ, и почему смогла я, любящая тебя светло и верно, — так написать тебе вчера[791]. Я не хочу касаться всего того, но скажу только, что ты меня предельно оскорбил, смешав с пакостью[i].

И зачем ты делаешь это, — ведь не можешь же ты не знать меня!

Все устремление души моей — исканье лучшего и правдивого в этом мире. Не смешивай меня с непотребным!

Не перечитывай вчерашнее письмо мое, — оно все из боли невыносимой. ПРАВ-ДА у нас с тобой общая, та правда, что будет стоять в веках, и далеко после нас.

Во имя этой святой правды я протягиваю тебе свои руки. «Куликово поля» я никогда не «взрывала». И разве могло это быть!? Что ты!!

Я глупо, м. б., по-обывательски писала тебе о нем. Ведь оговорилась же тотчас же, что только потому и пишу так,

---

[i] Помета И. С. Шмелева: ? (Ни-ко-гда!).

что твой рассказ должен быть в каждой мелочи совершенен, дабы никто не мог к нему подкопаться. Разве я умалила его??!

Ты сам накрутил и поверил твоему же.

Разве тебе не знакомо это, когда у близких, дорогих людей все особенно тщательно рассматриваешь: — нет ли погрешностей, дабы это любимое существо кто не посмел зацепить?

Поверь же мне, — прошу тебя — раз и навсегда, чтобы и себя не мучить, и меня не иссушать и не испепелять.

Чего ты о Ремизове накрутил-надумал! Ты сам такой жалостливый, — неужели ты не подумал о таком простом?

Но ты во всем всегда сперва предполагаешь скверное во мне!

Откуда это??

Мне очень больно! Но сквозь эту боль, еще больше чем она, горит во мне к тебе чувство нежности и желание сказать тебе: Ванечка, оставь больное! Грех, Ванюша, накликать на себя несчастность. И не искушай Господа!! Мне всегда не по себе от всех твоих «клянусь»... Не пребывай в злобе!

Не рисуй себе картин не существующих обо мне! И будет гораздо легче и благостней у тебя на душе.

Абсурдно ведь: ну, неужели ты всерьез поверил, что я могла бы Ремизову писать какое-то «браво»?

Почему ты мой религиозный вопрос ставишь в политическую плоскость!?

Оставим это, голубчик, нежный мой Ванёк! Милушка, душа родная... Ванечка, успокойся! И, хоть Господа попроси, чтобы Он — Всевидящий — показал тебе Олю, какая она есть на самом деле!

Как бы я хотела тебя согреть и успокоить... показать тебе свою душу! Мне очень горько, и это чувство горечи залило всю меня... но еще сильнее, должно быть, чем личная обида, — горит во мне другое чувство... это то самое святое, чистое, светлое, Искра Божия, которая не позволяет водвориться тьме.

Милый мой, хороший Ваня, будем же хранить эту искру! Ведь только ею и следует жить!!

Ты отлично знаешь, что для меня не было и нет писателя выше, лучше, гениальней тебя. К чему же это: «свинья не съест!»?

Оставим эти, ничего не стоящие фразы, но столько — очень стоящего — губящие!

Никогда и никто так меня на заполнял до краев души всякими обидами, как ты, которому я отдала всю душу...

Оставь это!

Все в мире идет круговым порядком, и все возвращается на себя.

Ты не несчастлив в жизни, если так легко отсылаешь от себя верного твоего друга. А ты отталкиваешь его!

И где-то в какой-то правде это не может остаться без следа!

Когда бы ты мог увидеть всю ту неправду, которую ты за эти годы бросал мне, и ту невыносимую боль, вытекавшую из нее, — то ты, — справедливый и чуткий, — ты содрогнулся бы от того, что ты делал!

Я не несу на тебя зла. Мне только нестерпимо больно. И я прошу тебя: всмотрись в себя и в меня.

Увидь же, хоть на короткий миг Олино сердце и — уверуй!

Кончаю... Не хочу касаться ничего, что доставило боль.

Благословляю тебя любя. Нежно, благоговейно и прошу Господа снизослать на все бурное тишину!

Обнимаю тебя всем сердцем. Оля

Ванечка, родной мой — просветлись и будь благостный и тихий к Оле.

Мне невыразимо тяжело!

179

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

12.IV.47

Святая и Великая Суббота 3 ч. дня. Солнце, — тепло, — говорят: я лежу, очень слаб.

Сегодня ты приобщаешься, родная Олюша, — и я светло и радостно тебя поздравляю. Христос Воскресе!

Вот уже 10 дней я не выхожу, большую часть дня лежу. Так мне плохо — давно не было, особенно в такие Святые Дни. Что же... — надо принимать все. Это — какое же маленькое если думать о тех, там!.. А я все последнее время не могу (да и не хочу!) забывать, заслонять собой, своим...

Все у меня, — во мне, — плохо. У-п-а-д-о-к. Причины?.. Не стоит их исчислять, что толку! Вот — итог, с ним и надо считаться, как с сущностью. А у меня нет воли даже и «считаться». Есть — и изживай, до дна.

Валила меня и — с-в-а-л-и-л-а... — и выполненная (слава Богу!) работа. Но в ней-то моя единственная радость. Это + = плюс в жизни. И — огромный. Значит, не все уж плохо.

Теперь... — частности.

Увы, я не смогу и в церкви быть... Я буду лежать один. Вот, сейчас, превозмогая себя, я хочу написать тебе, чтобы убрать некоторые «соринки». Главным образом, ради других, чтобы не быть случайной — и неповинной — причиной загрязнения их сущности. Об И. А. ... Мои «домыслы» об адресе Р[емизова] ты приписала ему! Это неверно. И я снимаю эту «соринку». Он всего только и писал мне:

«Не знаете ли, что это... О. А. просит у меня адрес Р[емизова]?.. Что за... странность?!»

Понятно: «что за странность?!» Р[емизов] живет в Париже, он — русский писатель. Другой русский писатель, знающий Р[емизова], — в Париже, с ним всегда в переписке... а запрашивают адрес через иную страну, у лица, который с Ремизовым более года — и ты это зна-ла! — никакого общения не имеет?! Это я, *я* приводил, в недоумении, свои «домыслы» — вопросы (почти что — как бы себе (обращаясь к тебе)) ставил эти ??? ... Пусть я согрешил этим, но тут — только я, а *не* И. А. Поставь себя на мое место...

Ясно.

О «вопросе», в связи со «старым политиком»[792], я не хочу писать тебе: все это будут лишь «домыслы». Слишком много — и впустую! — было брошено сил на всякие домыслы! Довольно. Я отошел от сего. Безоглядно.

Я рад, что ты взялась за живопись. Очень рад. Работай. Чувствуется, что в тебе к живописи больше воли и внутренних побуждений, тяги, чем к слову. И слушай себя. И не смущайся. Слово не уйдет. По своей нервно-порывистой и напряженной структуре душевной, ты — пи-сатель! — долго будешь душевно гореть, и слово *не* уйдет от тебя: ты, очевидно, для него, недостаточно наполнена. — Словом! — самый трудный, самый сложный вид Искусства! Слово — требует от творящего им — всего творца, *всех* его сил душевно-духовных! огромного, полновесного заряда и наполнения: переполнения. Говорю, конечно, о высоком искусстве Словом, не о «техническом навыке»... Словом могут поигрывать почти все... *но* творить словом (ни «звука», ни краски!?!) сочетанием «слов» — дается очень-очень немногим. Забавляться словом (как в музыке «Чижиком») легко, как и забавлять, творить им... — подвиги вдохновение. Это — как и Вера. Как исповедничество. Ты это далеко не вполне себе представляешь!.. Вот, пример, тобой данный: о «Заветном образе» ты часто писала мне, как о твоем «за-

ветном», тебя обстоящем... И что же?! Оказалось (да, оказалось!) что ты даже с этим, тебя «обстоЯщим», — обошлась так легко!.. Да, легко. Ты, отправив мне «отрывки», — оказалось, отправила все! Только *этим* можно объяснить твою «тревогу», твой «крик», твою непостижимую настойчивость, вплоть до... почти — угроз мне!.. — Найти, вернуть, «немедленно!» — «Что ты сделал (?!) с моей рукописью?!» — и проч. Ты мне готова была... грозить, клясть меня! (и — уверен, кляла в сердце!) Что это значит?! ... Так дорожить своим творчеством... и... так работать?! «Смаху», «начисто», — это — ответственное-то!.. — не оставить черновиков! (Ты так и писала: «у меня нет черновиков»). Ты даже не потрудилась оставить ко-пии! Нет, так *не* работают — и так не дорожат! Все — очень легко. И при этой «легкости»-то — так проявлять себя в отношении ко мне! Хотеть моего заключения о работе, («о-чень» хотеть) — и так голо, так гру-бо, так непозволительно резко и властно — требовать... возврата!.. Это — неприлично. Особенно, после всей нашей переписки в течение 8 лет! После — всего!

Кто я — в твоих глазах?! ... Чу-жак, даже еще меньше... — почти враг. Я не говорю о себе-писателе... — нет: только — как о твоем «корреспонденте», («друг») — ведь не жулик же я, не «совсем безразличный», «никакой»..? А я уверен, что ты навоображала — Бог знает что! Утаил? Скрыл? Потерял?.. м. б. «сознательно потерял»? Чтобы сделать больно, «насмеяться»?.. Предполагаю лишь. Но если хоть частичка всего этого тебе приходила в мысли... — то какого же мнения ты обо мне?! ... Но это — личное. А мой вывод об отношении твоем к твоему творчеству таков: «очень все легковесно». Нет, ты не захвачена, ты — несерьезна. И в этом я убедился за дни твоего бытия в Париже. Так обходиться со мной... — то клясть, то грозить, то «преграждать», то обвинять, то — требовать... — то... — нежить, то приласкивать, то молить о просветлении, то взывать к чистоте, к братству, к дружбе, к тихости...; — то — обещать, заверять — и все это так, будто ничего не случилось!.. Нет, так легко принимать все... я не могу. Я не ветер, который носит и аромат цветов, дыханье горных далей, и... пыл, и гарь, и дым и... хуже!.. Я не склад — для всего, не свалка. Я не только просто «корреспондент»... — я еще и личность, и ты знаешь — кто и для чего, и во-Имя чего я жил, живу... А вот, оказалось что я — для тебя — чужак и почти никто. Безликий NN... — так, прохо-дящий. Ко-

22 — 11249

торого не замечают. Но так даже с «проходящим» не обращаются... — особенно после *очень* многого и *очень* важного.

Не укоризнами сыпать в тебя хочу: правду сказать тебе хочу. Говорю это сегодня, в канун Светлого Христова Дня, — не лгу. И ты прими эту правду, как *правду* мою, не как укоризну.

Если ты приедешь, если я еще буду жив, или буду в силах говорить с тобой и слушать тебя, я тебе все скажу (что в силах сказать), и многого надо будет коснуться. Распутать — и распутаться. Для меня, по крайней мере. Искренно скажу: теперь во мне нет прежнего непреоборимого желания тебя увидеть, как было до твоего 1-го приезда. И это ты, ты... (я лишь из-за твоих «реплик» — тут повинен) ты все делала, (и до-делала!) чтобы выжечь из меня это «непреоборимое», повелительное желание-жажду увидеть тебя!.. Ты меня под-секала, ты сама вынимала, выса-сывала себя из моей души. Так я вижу себя, свое, — в отношении тебя, к тебе, тебя ко мне.

Ты знаешь, что я — не только «я», но и я, давший от сокровенного во мне — открыто, явно, реально, давший, созидавший, создавший — этого не закрыть.

И это тебе извечно.

И вот, при всем этом — *так*..!

Какой же вывод?! ...

Очень больной, — по крайней мере — для меня. Думаю (и хочу верить), что и — для тебя (в светлые минуты, хотя бы, когда ты опоминаешься).

Не для укора сказал тебе все это: для прояснения всего — в наших отношениях, в нашей связанности душевной. Не смотря ни на что, эта «связанность» — есть, да, чувствование ее — и во мне, и в тебе...

Прости же, прими эти мои последние признания. Я должен был высказаться. Не укором, а моей, — м. б. и больной правдой. Мне больно писать это. Но и замолчать этого я не в силах. Я могу частично сгущать, обострить... но сущность — верна. Ты совестью твоей, твоею чуткостью (они взывают в тебе в лучшие твои миги) — признаешь это.

Дурного, темного — не питаю к тебе, говорю перед Богом, в Его Светлый День. Я хочу тебе счастья (*высокого*), я хочу, чтобы ты обрела себя.

Больше у меня нет сил. Я должен лечь.

Господь с тобой, дорогая Олюша, Оля моя... — мне очень больно было так говорить, но я не могу не сказать. И

все, что я тебе говорил за эти 8 лет, я старался говорить, слушаясь сердца — правды, иногда, даже очень часто, — в огненности и страстности. Но это ты понимаешь — почему. Если бы ты была мне безразлична, «просто так»... — я бы ни-че-го не говорил тебе.

Твой — истинно! — Ваня

Вот, случайно пропущенная белая страница... — она пригодилась, для заключения.

Многого, затронутого тобой в последних письмах — нет сил касаться. В частности, твоего приезда. Твоя воля. Как — тоже твоя. Могу лишь заметить: остановиться в Bellevue... — опять утомительное снование, потеря сил, дерганье, потеря времени. Тихий отель — самое лучшее: *независимость*.

«У меня» — нет, не говорю даже, и ты понимаешь, почему: помимо всего... этот «проходной двор»!.. Это ужасно. Тогда было ужасно, теперь — кошмар. Нет, и не касаюсь. Но останавливаться у К[сении] Л[ьвовны] — после того, как в течении месяцев не писали друг другу, — это же недопустимо, ты поймешь, вдумавшись. Да, я искренно скажу: для меня (да и для тебя!) лучше нам не видеться больше. Просто, физически лучше: у меня не достанет сил душевных да и физических — «быть на струне». Лучше не встречаться. Больно, да... — правду говорю, но — лучше. В.

Твои пасхальные цветы — прекрасны, светлы мне! Они — последние.

180

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

17.IV.47 вечер

А я так вот непреодолимо хочу тебя увидеть, мой родной Ванечка... Читаю твое горькое письмо и... что же мне остается? Как бы хотела походить за тобой. Нет, не для раздражений (всякого рода) стремится душа моя к тебе! Ласково и тихо хочу обвеять тебя заботой. Ты устал, друг мой. Ты предельно устал. Я боялась этого чтения. Помнишь, как долго ты страдал тогда тоже после чтения?! Ангел мой, Ванюша, золотко, тихий мой светик... Я не пойду вразрез с твоим желанием и не приеду, если ты этого не хочешь. Но как мне горько от того. Ах, как горько! Я тоже вся утомилась. И дохожу иногда до отчаяния. Так хочу покоя, досуга и... работы по сердцу. Тишины хочется.

Да, Ксения Львовна не отвечает. Я думаю оттого, что влезла в «драму». Я страшилась бы суеты Парижа и всего того, что рвало мою душу. Ты никогда меня еще не видел такой, какая в самом деле. То ты представлял меня неизмеримо лучшей, то... Но не хочу этого касаться. Я мира и тишины хочу между нами. Только этого. Порой... теперь все чаще, думается, не уйти ли мне в монастырь. Но, увы, — их нет, — разве в Сербии только? Что даст мне жизнь в этом суетном миру, что дам я ей? М. б. ты прав, — и я поверхностна и ничтожна. Жизнь очень коротка. Я сильно отклонилась от того, что «единое на потребу»[793]. Я не дала, и не дам детей своей родине, — чужой стране и не могу, и не хочу давать. Процвести пустоцветом? А душа-то?! Мне больно сознавать свою непригодность. Никакого художника из меня не выйдет. И это не «под настроение», — это же мой постоянный «Leitmotiv»[i]. Проследи. Я очень хочу подойти душой ребенка к Господу, чтобы без вопросов и «но» постигнуть самое Высшее. Надо очень много работать над собой. Мне, кажется, нет другого выхода, и я чаще и чаще думаю уйти из мира.

Я живу и рвусь в нем давно, ища покоя, давно — «инокиней» в том смысле примитивном, что обычно отличает монахинь. Для отречения от жизненных «радостей» у меня совершенно достаточно и зрелости, и силы. Ты будешь смеяться, а м. б. отбранишь меня даже. Но я всегда, с детства думала об этом. В дневнике масса об этом.

Вчера вечером, нежданно, и без усилий воли, — я видала Ее, ту, как в «Заветном образе». И до чего же ясно! Лик Ее менялся. Непостижимо: я видела переходы этих черт, — они на глазах переливались в иные формы, но всегда одинаковые по содержанию и всегда прекрасные. У меня часто бывает так, когда перед сном закрываю глаза. Вот сейчас хочу и не могу вызвать, а тогда... само, бездумно виделось. Только встать и запечатлеть. Но я знаю, что никогда не запечатлею ни пером, ни кистью. Никогда и нигде, ни на чьих полотнах я не видывала Ее такой. И если бы я стала писать рассказ, то все бы там переменила. Люси сказала мне: «Подумай, как бы бедна, несчастна была ты, не имея твоего дара...» А я не понимаю вот этого... И мучаюсь тем, что не понимаю ее слов, т.к. наоборот: я много страдаю от этого «дара». Не будь его, — не было бы и этих часто невыносимых мук, страдания и тоски по невоплощенному. Он мал, этот «дар», его не достает для выполнения тех обра-

---

[i] «Лейтмотив» (*нем.*).

зов, которые зовут и требуют. «Дар» как будто только для того, чтобы «показать» и дать «увидеть», «заманить» и... бросить в пучину отчаяния и бессилья. О, если бы быть тупицей, без крупиц этого «дара» — насколько они «счастливей»!

Что скажешь ты?

И для чего же жить? Что дам я при «расчете» с Господином?[794] Я иногда в смятеньи от этого. Ах, как трудно все, Ваня!

Многое трудно. Не думай, что жизнь моя легка. Ты знаешь, — оказалось, что старушку-то ту употребляют оружием интриги[795] против меня же!? Дико? Да, да... Вот и пожалей. Ее облапошили для того, чтобы через нее влезть в имение и прижимать меня в правах хозяйки. Вчера узнала и написала письмо нахалу-мальчишке (брату Арнольда), что называется «мордой об стол». Дико, дико... Слов не найду. Старушка... что же... выжила м. б. из ума. А всетаки противна она мне стала. Давно идут интриги. Но мы думали, что с нашим выездом просто само по себе все прикончится; — так нет же: у старушки, помимо моего хозяйства, обосноваться «гнездышком» желает. И все под флагом «мы так любим родовое гнездо, что жизни вне его не мыслим». Игра на чувствах брата и т.п. До хамства полного доходит, вплоть до распоряжений относительно того, какого вероисповедания должна быть моя девчонка, дабы старушку не коробило от католички. Я сильно «хлопнула дверью». Но на все это нужны нервы и нервы. Я должна бы их вышвырнуть из дома, но, Боже мой, — какой вопль об «оскорбленных чувствах к родовому дому»... А ведь никто и не бывал прежде там! Довольно о хамах.

Вот и пожалей. Поверь! Я расследую точно, как произошли события со старушкой. Сама ли она (как меня уверяют близнецы), или же те к ней привязались и поставили ее в дикое положение. Если сама, она, то значит сверхгадина. Тогда знаю как она стоит в моих глазах. Предстоит большой «бум». Но все это не важно. Я очень, очень взволнована тобой. Что мне сделать, чтобы снять гнетущее с тебя?! И эти болезни! Ванечка, Ванечка, как непосильно больно мне твое!

Иногда кажется мне, что не осилить следующего дня, — так я измотана, и так все в вечном трепете и думах о тебе.

Милый, родной Ванюша, побереги себя и пощади меня! Сил у меня больше нет тебя уверять в своем самом прекрасном к тебе. Ты ничему не веришь.

Все во мне болью звучит, во всех извивах души и сердца. И ты, и искусство, и мое устремление к Богу, и жажда покоя, и эти мешающиеся под ногами «булавки» жизни. И нет ответа, и как же я устала! Обнимаю тебя, радость моя, солнышко мое. Целую. Оля

[На полях:] 20.IV Сегодня уже 20-ое, а письмо лежит. Писала его ночью с 17—18, и не смогла 18-го докончить. Вчера же — дикость «наша», — только до 12 ч. можно сдать на почте, — я зарвалась утренними делами, и вот лежит письмо до завтра! Это дикость: сдавать открытым у почтаря.

20.IV Плохо себя чувствую — хоть ложись. И сердце, и слабость, и вообще несказуемо — мне не можется.

Адрес мой после 1-го мая: «Batenstein». Woerden. Pays-Bas.

181

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

23.IV.47

Ванечка мой родимый, болезный ты мой!

Неизъяснимое беспокойство гнетет меня все это время. Все бросила, хоть и рвут меня на части — и мастера, и упаковщики, и перевозчики, и новые хозяева фермы, и просто разный люд в связи с переездом, вплоть до старьевщиков (ибо и они у дверей звонятся), — все бросила, пишу тебе, чтобы умолить тебя дать мне знать, как ты. Умоляю тебя — напиши же! Я страдаю от неизвестности. Я непрестанно думаю о тебе. Иногда доходит до того, что хочу все оставить, так вот среди разгрома и броситься в Париж, чтобы узнать, что же такое с тобой?! Мне очень тяжело. Я и физически себя чувствую нехорошо. От меня теребят все, все силы, и все ждут и того, и другого. Нас будет кишеть целая масса людей (в Woerden'е), в доме, и это все на моих плечах — урегулировать без обид и недоразумений. Четыре разных вероисповедания будут, и это при здешней конфессиональной накаленности! Надо ко всем найти подход. Но сколько надо на то силы. А я — вся в рассеянии, т.к. думаю только с тревогой о тебе. Я вся — нерв, болезненно-взволнованный твоим состоянием и неизвестностью. Ванечка, пожалей же Олю, — черкни, хоть словечко! Ах, как бы я улетела в Париж, не будь этого переселения! Мама еще заболела. Сильнейшая, видимо, простуда. Вся она расклеилась. Еле двигаться сегодня стала. Встала потому, что и от

лежанья все болеть стало. Я умоляю ее беречься, а она не может стерпеть, что я на все разрываюсь. Завтра надо ехать в Woerden с прислугой, чтобы подготовить въезд. Боже мой, какой (!) въезд! В 2 1/2 комнатах надо ютиться. Запоздавшая весна требует рабочих рук на полях, а поэтому стоит и работа с моим «домиком», куда надо было провести электричество, и наши работники должны были копать землю для кабеля. Теперь все на полях. Всюду компликации[i]: даже с кошками; не смейся, — в Woerden'е есть (мой же) кот, дикий, злой, а с нами едут старый наш «основоположник» (тот, который мне уши сосал) и молоденький, чудесный, его сынок, кошка и котеночек (тоже котишка). Бой будет, — выживет туземец наших пришельцев. И об этом надо думать. М. б. его надо кастрировать? Клока начинает клохтать, сажать надо на яйца, и это нам очень кстати, т.к. цыплята, которых мы должны получить в мае по «тикетке» из инкубатора, — куда лучше бы себя чувствовали, бегая за настоящей маткой, и нам хлопот меньше. Надо сажать, а где? В Shalkwijk'е пробудем 10 дней, а без себя в Woerden'е уморят. Поеду завтра и с курицей в мешке. Попытаюсь ее там посадить.

Пишу тебе всю эту мелкоту, зная, как ты все это любишь, м. б. и отвлечешься немножко. Живое, пусть даже кошки, — живут и требуют к себе внимания, и хочешь — не хочешь, а вот думай о них! А так мне все это трудно... Так ноет сердце по тебе, Ванёк. Ну, почему ты мне не пишешь? Родненький ты мой, неоцененный ты мой, дорогой, милый Ванечка! Обнимаю тебя очень нежно. Твоя Оля

После 1-го мая адрес: «Batenstein». Woerden.

182

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

25.IV.47 10 вечера Был вполне летний день

Теперь ты уже получила, родная моя Ольгуна, письмо, последнее 23-го[796]. Или получишь завтра. Это нашел только что, запирая дверь на ночь, — никто не придет! — глянул на случай за дверь, (не звонила консьержка в 5 ч., так положила) — ан — письмо, а впотьмах и не разберу — от кого. Твое! Спасибо, голубка. Предыдущее, от 18—20, было ласковое, и мне сразу полегчало. И это, — милое! Сегодня я впервые за эти 24 дня простуды, тяжелой, поел с охо-

---

[i] Сложности (*от нем. Komplikation*).

той (я теперь почти бросил мясное) овощной суп, сметанный, — вот 1/2 ч. тому, а «неизвестное» письмо ждало на столе... И вот — сладкое мне. Целую твою ручку, — и она сладкая. И кашель, слава Богу, сильно убыл. T°, конечно, нормальная, да я за эти дни один-единственный раз и мерил. Не люблю, что толку!

О тебе вот... Да, путы-петли, — и с одного вола сто шкур. Да тут, при всем горении, и лучинке душевной не зажечься. Го-рько. И — мне горько и... обидно. А тебе..! Это какой-то дьявольский «Ноев ковчег», где, кажется, сто пар нечистых на одну тройку чистых (а кой-в-чем и «с крапинками»). И с чего, от-ку-да эти четыре вероисповедания? 4-ое — пантеисто-буддисто-атеисты?.. Хо-рош букет. Это еще неважно; важно, что, очевидно, дрянцо-людишки. Это — похуже дикого-злого кота. Те, когда нажрались требушины, хоть успокаиваются. А твой род (соковчежники) «изгоняется только молитвою и постом»[797]. Спасением твоим (прерываемым, понятно) явится «домик», где ты создашь достойный твоей души, воздух. И за это — слава Богу. Свали с себя «хозяйство» на чьи-то законные плечи. Отряси «прах». Хозяйство может быть и отдыхом, когда оно — не рабство, не навяза.

Кошачий вопрос — дело кошачье, пусть издерутся... — и к чему такой зверинец?! Э-того не хватало. Того «сосуна», конечно, к ветеринару, — да верней бы — дать ему верного «кали кауст»[i]. Цветы, какие, подумаешь... — цыплятам — берегись! А ведь это си-мвол вашего «ковчега». Отличный этюдик можно дать, — и с каким ю-мором! лёгко, остро. Я бы написал, урвал часок... — для взрослых детей: «Гитлера» надо выкласть, если не «за хвост да в воду». Вообще, коцонки — самое неблагодарное: мира других для них не существует: «только — Я». Кастрация, кажется, умеряет эту самость, «аз»-ость.

Изволь написать Елизавете Семеновне (она вернулась, кто-то из родных приехал из Румынии — но, конечно, опять откатит в train-bleu[ii]), иначе она, просто, «забудет». Ты не забывай. И у тебя есть повод — законный ответ на ее благодарение за лекарство: ведь было же? и ты ей не отписала? Вот и отпиши. А то пропадет без пути, [бедным] лучше на это помочь, по-мни.

Твое предвидение оправдалось: до сей поры контракт на «Чашу» «Du Pavois» со мной еще не подписало: легкомыс-

---

[i] Едкий калий (*от фр. caustique*).
[ii] Голубой экспресс (*фр.*).

ленная болтушка слишком самоуверенна. На днях я напишу сам директору издательства (я, ведь, для себя не люблю двигаться). Но теперь мне это уже надоело. Тем более, что А. Mongault еще недавно твердила: «давно бы получили из Швейцарии 50 тыс. авансу». И я ей ультиматнул из-за этой поганки!.. Она ловко умела до-ни-мать: я для нее и ее жениха «Иверскую» просил, за их родственницу в Риме (ген. Ознобишина), и он был очень любезен: все для меня устроил (с переводом в Аргентину через UNKA, через своего colleg'у Александровского лицея — Мясоедова[798]). Я же и стал как бы «обязанным». Поймала меня на «словечке»: вырвалось у меня о генерале, вернувшемся из Рима, — «большие у него связи». И — пристала. А я стесняюсь отказывать, тем более что — беженцы из Югославии, а жена — беженка — русская. Теперь хочет эта сорока себя с женой перекинуть в Аргентину — и поет, что одно Ваше письмо протоиерею (глубокому старцу) Изразцову[799] («знает и чтит Вас!») — все откроет: диктатор Perron[800] слушается прот. Изразцова «как учителя». Вот и вертись. А я... если я могу что, то не могу отказывать... ну, совесть, что ли... И вот, теперь, (все эти недели) как мучительное видение мне — что — там! Ну, если мои глаза так даны, что я все вижу!.. слышу стоны... — и я томлюсь, Оля. Я кипел все эти годы, с 17-го, — и лишь с «Богомолья» я затихал...

Ах, что за историю на днях рассказал мне кн. Трубецкой[801] — правду! — о случае в Москве... (связанном с преп. Серафимом)[802] — по рассказу (ее родственнице) одной коммунистки, русской, и не остервенелой, бывшей при антирелигиозном музее. Как глубокий старец, в лаптях, 3 года приходил с мешком и выкладывал на пол у «экспоната» — ворох еловых лап и сосновых сучьев «с батюшкиного леску»... Тряхнуло и коммунистку! Но *что* это за свет! что за жемчужина!.. Я должен о сем написать, сжато и крепко. Нет, далеко не изжит «нравственный запас»! Пешком, с-под Сарова... Искал и нашел (!) батюшку.

Чудо сердца и — благодарения. Чудо — верности. Всего не упишу. Сам скажу. Вот, что дает силу жить и ждать. М. б. — не долго.

Целую тебя, голубка, будь бережлива в растрате себя... *на что*. Когда у тебя есть важнейшее — что и во имя чего, кого. Я думал и думаю о тебе. Я тебя жду, светлую, тихую. Преступное безумие — все наше (так данное!) развеять злом, поддаться злому. Нет, надо рас-

тить свет в нас. Мы волею Его — можем быть «детьми света». А посему — и должны быть. Дай твои глазки. Ваня

[На полях:] Крещу, Господь да укрепит тебя, и просветит.

Милая Олюша, очень прошу тебя: не изматывайся! Помни, что это «домашнее» — пыль жизни: есть у тебя — высшее! Не для себя прошу: для тебя, для твоих лучших возможностей и света-счастья.

Ведь жалеть будешь... а силы могут сдать вдруг! вот и покажи волю. А меня пожалей — после себя: главное — ты — ты.

183

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

12.VI.47

Неоцененный мой Ванюша,

Только сегодня твой привет мне — «новорожденной». Грустно было мне быть 9-го без твоей улыбки, хотя бы письменной. Знаю, что это забастовки ваши[803] виной тому, но все же было так грустно, пусто, одиноко.

Твое письмо от 6-го[804] не дало света. Мне больно за тебя. Конечно, это — шпана, травящая тебя[805]. Я могу себе представить этих «господ». Еще и до твоей жалобы на эти безобразия, я тревожилась, что они могут быть.

Ты поймешь теперь осторожного И. А. Он всегда был, есть и, наверное, будет таким. Всегда со «страховкой». Тебя всегда стараются втянуть всюду, где твоим именем хотят гарантировать успех.

А ты же выше всего этого. Неминуемо втягивают тебя в дрязги. Это больно и горько. Для того ли ты на земле? Оставь эту грызню на тех, кто большего ни создать, ни дать не могут.

От людей, по твоему же определению, — дружески к тебе настроенных, я слышала в Париже, как они говорили о твоих проявлениях себя в дни и годы оккупации: «Ну, зачем он в политику втягивать себя давал? Караимы, например, — затеяли служить благодарственный молебен и огласили, что и И. С. Ш. с ними... Он-то пришел, а те — в кусты...»

Этот факт помнят, конечно, и не только «друзья». И никто истинного твоего движения не поймет, а пристегнут[i]

---

[i] В оригинале: пристягнут.

к общей «гребенке». Они же все — мелки, мелки и мелки. Елизавету Семеновну, — прости, — я не извиняю.

В свое время мне самой собрались вынуть почку и уже повезли в клинику, и только чудом этого не случилось. Но это не дало бы мне права пренебречь всем* и забыть обязанности. Подумаешь, как трудно для сей дамы из своей лавчонки послать тебе привет. Поручить послать, т.к., конечно, у нее кто-то стоит за прилавком. Ты всегда подобных ей извиняешь. Почему? Она не добрая и не положительный тип в жизни. Сразу я это почувствовала. Мне ее денег не нужно, пусть она их себе оставит в таком случае. Но и я *ей* не обязана ездить по докторам и от всего своего полного недосуга (только я-то не кичусь этим) тратить целый день на поездку в Arnhem. Возьми карту и посмотри, что это за путешествие было. Я не считалась по мелочам, но ведь кроме доктора и лекарств, мне надо было как-то проехать туда и истратить тоже на проезд. Это я ей не посчитала, но вижу, что с такими особами все надо ставить в строку. Иначе они не понимают. Но довольно. Не за себя я ворчу, а за то отношение к тебе, которое она проявила.

Ты получил мою «Любку»?[806] Она не по вкусу вышла, «сконструированная», а не живая. Но они еще отдали мне свое последнее дыханье. Чудесное.

Я вся в работе, поскольку время урываю.

Прислугу хочу гнать. Стервоза. Целая серия рисунков совсем не в моем прежнем стиле. Я увлекаюсь точной передачей. Влюблена в «винтики», маленькие частицы мироздания. Взяла травы в цветении, ирисы водяные, ирис садовый, лилии, шиповник, «желтики» с одуванчиком, сорную травку с фиолетово-синими цветочками, похожими на глоксинию. Последняя удалась чудесно, брошена была ветка на одном поздравительном письме, случайно. Жаль было отсылать.

Хорош одуванчик-фонарик. Вчера, отыскивая для «Куликова поля» «моделей», нашла наконец то, что нужно (терновник) и увлеклась. Получился не набросок, а премилая картинка. Я люблю их теперь, моих «деток» и не могу с ними расстаться. И знаю, что могу «живописать». Для «Куликова поля» сделала пока что набросок: наверху старинный крест (не в ярко очерченных контурах, а выявленный светом на фоне темного неба), покоящийся нижним концом в чаше-блюде — формы раковины, очень плос-

---

* да еще таким, как т ы. Понимает ли Е[лизавета] С[еменовна], кто ее друг и не за честь ли себе должна бы полагать иметь возможность хоть мелочь для него сделать??

кой, — с той и другой стороны, изогнув длинные, «элегантные» шеи приникают клювами к этой чаше две райские птицы. Из чаши ключами бьется влага, — вода живая, — и ниспадает звездочками к низу. Эти звездочки, хоть в одиночку, но все же достигают и самого долу, и светят даже там, где (у основание орнамента, внизу) колючий терн, переплетаясь, душит белую лилию, которая ничуть не задушенная, гордо и чисто несет свою чудесную головку, сливаясь с ниспадающими перьями райских птиц.

Терновник с жестокими шипами, без единого листа внизу, овитый у подножия гадом — змеей, превращается вверху в нежный шиповник, и чаша с крестом покоится на благоуханных ветках его. Краски уже поют в душе. Только бы справиться! Не будет громоздко. Постараюсь выдержать все в стройных линиях и тонах. Сегодня письмо от M-me Катениной[807], очень любящей тебя, — просит сказать тебе, что она ежегодно перечитывает твои «Лето Господне» и «Богомолье», и все новое и новое открывается ей. «Ликует и скорбит душа и горит благодарностью автору». Она же спрашивает меня, не говорил ли мне мой великий друг И. С. Ш.: о том, что во мне писательская искра Божия? Чтобы я созналась, что наверное говорил? И если нет, то она, хоть и не талант и не авторитет, но говорит мне это. И требует, чтобы я писала.

Она делает выборки из моего письма ей, называя их «мастерскими». И спрашивает, сознаю ли я сама свои силы?

Нет, я не сознаю их. Я не знаю, почему. Что мне делать?

И... взята я живописью. Я обожаю этот вид искусства, не могу его бросить. Мои знакомые все, в один голос находят большой шаг вперед в этом направлении и главное за последний мой бездеятельный период. После шока, данного тобой. Ландшафт отвернулся от меня, закрылся малыми, незаметными созданьями, которые взяли мою душу... Мне безумно хочется дать свою сказку в иллюстрациях. Много вижу всего... Недавно явилась мне бабочка... она поворачивалась ко мне со всех сторон, трепыхалась... позировала. Бесконечно много форм видела я. И все с закрытыми глазами. Это редко бывает... но когда бывает, — я так счастлива. Мне очень хочется к тебе, чтобы согреть тебя и приголубить. Но сейчас я так захвачена, что не могу подумать, как бы я могла уйти от работы. Напиши, что ты бы хотел для «Куликова поля». И как? Как хочу тебе послать из моих последних работ. Но не могу — все мне это нужно. И

не могу также расстаться с ними. Есть желающие купить их. Но не хочу, не могу. Ты нашел Лютера для перевода «Богомолья»? Как это хорошо. Кончаю. Еду в клинику навещать жену работника, — вчера у нее родилась девочка.

Удивительная женщина, — в противовес мужу. Он — дурень. Ее сынишка 1 1/2 л., хоть и с рыльцем свиненка и чумазый, но все же такой миленький. Я с ним часто наслаждаюсь, когда урву минутку. Он очень любит меня и всегда перестает плакать, когда я подхожу, поворачивает лапенками мое лицо к себе и целует сотни раз в губы. Ни с кем так он не делает, даже с матерью. М. б., ждет лакомства, которое получает.

13.VI.47 Всю ночь сидела над этюдом к «Куликову полю» и измазала. Но зато знаю, *как* надо. Переделаю. Сейчас везут мебель в хатку мою. Жду, когда смогу там работать. Девка моя, почуяв, что недовольна ею, стараться стала. Но не знаю, оставлю ли. А кругом хамство. Всего и не пересказать. Ты получил письмо мое с рассказом о комиссии?[808] Вчера еще добавка была. Гадость! Обнимаю тебя, радость моя. И жду светлого письма. Плюнь на крикунов и безобразников, хоть и знаю, что трудно это.

Господь с тобой! Никто из этой шпаны и мизинца твоего не стоит! Крещу тебя. Оля

[На полях:] Продолжаю 16-го; письмо так и не отправила, т.к. запоем работала над рисунком. Посылаю тебе его одновременно заказным. Как можно скорее верни обратно, — он мне нужен для работы.

Как ты находишь? Работала до «песку в глазах», до полного утомления, без перерыва, а... не все так, как видела душой. Если в принципе тебе по душе, то буду трудиться еще и еще, пока не достигну. Ответь и вышли рисунок поскорее!

Ванёчек, не обращай внимания на хамов, да не смутится дух твой!

Всем, кто видел рисунок — безумно нравится, но я не ликую. Я видела лучшее. И уверена, что тебе — *не* понравится. Ты давно в «оппозиции» против всего моего.

184

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

21.VII.47

Дорогая моя Олюшенька-Ольгуночка, вот уже 9-й День ангела твоего, с той поры, как сошлись — так чудесно-странно! — п у т и наши... И я все тот же к тебе, как —

знаю — и ты ко мне. Мы можем — страстные — взрываться и колоться, но это лишь наносное-преходящее, а внутренне наше не ранено, — ни-че-му не достать его! Сохраним неповрежденным, нетленным. Да будет!

Чудесно тебя люблю, ценю, дорожу тобой, твоей любовью-дружбой. Все в этом — только наше, совсем особенное... — м. б... — наверное даже! — ни с кем не совершавшееся. И это нашло выражение в нашей неповторимой переписке, в этих горах писем... — в этой сказочной россыпи чувств, слов, мыслей!.. Это редкий пример — дар — для многих-многих. М. б. придет время, когда будут изучать их... и как «литературный материал», как «редкостное проявление любви» — вклад в будущее искусство, в науку — «любвографии»... — и как «исторический документ»...

Нежно тебя целую, и сердце шепчет тебе, мое сердце, такое истомленное... — Ольгуночка, моя светлая, моя рвущаяся в тенетках... будь сильна, будь внутренно покойна, будь всегда в вере, что ты дана Жизни, одарена от Бога, и тебе надо выполнить назначенное тебе. Ты — на своей дороге. У тебя — единственная твоя дорога: творческая! В день твоего ангела, святой, ставшей Святой — Мудрой Ольги, «равноапостольной», как назвала Церковь, — и по праву!.. — учти то время жестокое, естественно жестокое! — и ты почувствуешь, — КТО — Она! И как мало о ней написано!.. Так вот, в этот твой ангельский День — Света — память Дня св. Ольги — память российского Дня Света! — я всем сердцем хочу — чудесного и священного света тебе, твоему сердцу, всему творческому в тебе! Да просветится разум твой и сердце твое — и воспылают вдохновенно! Умей, найди силы отметать «пыль», влачащихся в пыли дней... — ибо ныне влачатся дни... — в пыли, и крови, и грязи... А в твоей — местной жизни... — эта пыль сорит душу, сердце, очи!.. и закрывает солнце... в твоем трудном существовании! Отметай, преодолевай, Олюша!.. храни дни, как-то найди силу «закрываться» от этой отравляющей и омрачающей пыли!.. Знаю, трудно это, но... призывай Бога!

Да, молись, просто и жарко — «Помоги!.. дай мне Свет Твой!.. да исполню Волю Твою!» ЕЕ призывай, их, всех, — близких нашему духу, наших Великих Святых! Им ничто наше не чуждо! Они — ныне — всему причастны. Желаю тебе здоровья, душевного покоя и творческого. Пиши, рисуй, что хочешь, помня: все требует огромного труда, помимо горенья, вдохновенья.

Будь бодра, радостна — Серафимовой радостностью. Как бы хотел я этого тебе, себе!.. Я много страдал и страдаю от душевной подавленности, силюсь выгребаться...

Ю[рий] Ф[едорович] посетил меня[809], 11 июля, передал твой чудеснейший кекс. Целую тебя благодарно, заботливая моя. Твой привет сей был мне в большую радость. Ю[рий] Ф[едорович] — оставил очень доброе во мне чувство. Он — пусть с маленькими недостатками — много выше ему подобных, культурней, богаче... — Переписка* с фон Мекк Ч[айковского][810] — суховата и бледновата... — трудно одолевается. Меня разочаровала. Ч[айковский] — умен, лиричен и..! — порой, странен... — до... выпрашиваний. Многое тут — туман. Мекк — сушка... головная какая-то «любовь»... верней, преклонение, обожание... но — рассудочное. Она — «фиш-ауге»[i]. И — «наседка»! Но, благодаря ее заботам, Россия получила от Ч[айковского] много дивного. Не было бы, м. б. без М[екк] «Пиковой дамы»[811]... и последних симфоний...

Ч[айковский] — ты знаешь — был урод... в сексуальных отношениях. И, думаю, М[екк] это знала. И даже это не помешало ей — боготворить Ч[айковского]. Его свадьба — кажется, была для отвода глаз, ходили скверные слухи... надо было «закрыть» рты. Отсюда — дикая траги-ко-медия. И смерть Ч[айковского] кажется произошла — в Клину — не от холеры. М. б. — самоубийство... или — отравление, кем-то. Мрак...

Твое дело, работай и над «Лан!.. — ды-ши!..» — да стоит ли?.. Пока жду чего-то, медлю с изданием «Куликова поля» — а мог бы и сейчас пустить. Что ты дашь? какую обложку? Твой проект очень тонок... малодоступен... за-уряд-читателю, а его — 99 процентов. Мне нравилось простое, первое... — помни: надо дать сердце «Куликова поля» — как-то должна чувствоваться «Лавра», как символ Руси и Благодати. Концовка... — ну, какой-то живописный заключительный арабеск в конце книги. Как ты-то — не знаешь? Зна-ешь!.. Не мне разъяснять тебе.

18 послал тебе маленький гостинчик, что мог найти. И — тогда же — красные розы. Про-сил магазин!.. не спутать, не жаться. Обещали... В этих розах посылаю тебе — весь мой свет, моего сердца к тебе. Черкнул в магазине два слова[812], под глазами... — но ты и в них найдешь меня, мое большое чувство к тебе и к тому, что в тебе. Ю[рий] Ф[едорович] сказал о «хатке» — дивно! Я рад, лишь бы дали

---

* думаю, в переводе она сильно сжата.

[i] «Рыбий глаз» (*от нем. Fischauge*).

тебе покой. Два дня — 12 — вечер по 14 вечер — был у Юли, гулял — часа 3, на горы! — и 14 весь день — лежал-читал. Зуд все то же. Нет помощи! Знаю, это — раздражение поверхностных нервов, как следствие «рожистого воспаления». Ведь ночью успокаивается совсем, а когда разговорюсь или пишу-читаю — почти не слышу! Хоть бы Господь снизошел... никто мне не поможет. И средство 3 гомеопата — ничего не дало. Но почему-то я верю, что кто-то нащупает!..

Никак не могу — к 3 книге «Путей»! Но — м. б. переломлю безволие и жуть. А тут еще м. б. придется начать судище с мошенничеством шведского издательства — самого крупного, — издавшего в 20-х годах «Человека»[813]. Я уличил его в... мошенничестве! Процесс — на 100 процентов — выиграется. М. б. и без процесса, если издательство пойдет навстречу. Дело только что всплыло. Я забыл об издании, с 28 г.! Долго рассказывать.

Олюша, верю тебе, твоему большому чувству ко мне. Верю в тебя!!! Я к тебе — неизменен, только я истомлен, всем... я — у с т а л. И мне будто и жить не хочется... Надежды нет увидеть тебя... Если можно, дай — и скорей — обложку хоть только! — и начертай Ив. Шмелев — тут без точки, и Куликово поле... Трудно, да... Но ты реши... Нет — выйдет без обложки. Важно — дать своевременно. О мелких злобах дней моих не стану писать, засыпать «пылью», — и без сего много у тебя «пыльного», засыпана с головкой.

Надо скорей послать письмо, к сроку, — м. б. 24-го получишь. Дни влачатся. Есть много — сказать, но важного чего — нет. Скорблю о России. Близятся сроки... но — ч т о?.. Темно.

Голубка, нежно тебя целую, — светись, ты же — для Света. Не поддавайся «кривящему» зеркалу... Все — забудь. От нас — не станется... но с нами самими может статься: запыляемся!.. И другим — пылим.

Оля, милая... г д е ты?! ... Как — вдруг затоскую, затомлюсь... Говорю о с в е т л о м общении, о плодотворном, для обоих. Глазки, ротик твои целую. Дай же руку, — и вот тебе — м о я. Твой Ванёк

185

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

8.VIII.47

Спешу, дорогая Олюша, дать знать: твои рисунки получены, — был удивлен: *не* заказным послала! Воровство — сплошь, — всё воруют. И — все.

Позволь задержать *2—3* дня: хочу показать, выслушать суждения, — в смысле применимости (только: работа очень нравится мне!) к обложке. Для общего читателя, скудного для глубокого постижения, — лучше с «Лаврой». Птицы — [1 сл. нрзб.] прелестны! — можно было бы — не на обложку, а — на следующий лист. Но только надо заполнить поле (в «Лавре») — занимающее почти половину обложки, — зияет пустынно! Тут можно символично... — но что?! ... Подумай. Я не могу — что?! ... Буду вдумываться. Не надо спешки: «Куликово поле» м. б. (?!) будет печататься издательством «Православная Русь»[814]. У меня многое пересматривается, но об этом можно только лично. Между нами: я почти решил[815], о чем уже писал: да! Не буду «ломиться», не буду и отмахиваться: пусть как бы — ведомый, не противящийся. Там мне м. б. откроются большие возможности говорить полным голосом и подвести итоги. Материальная сторона меня не тревожит: я, кажется, найду друзей... и большого читателя и слушателя. Работаю над «языком», и — пишу. На «Пути Небесные» много охотников. Написал чудесному — еп. Николаю Охридскому[816]: его слово о Владимире Святом[817] — меня озарило. Я был счастлив узнать, что он — в Сан-Франциско! Это — человек огромной культуры (помимо богословского разностороннего образования, он окончил Оксфордский университет, Берлинский теологический) — и — весь в русской культуре. По сравнению (меткому) одного ученого нашего — он — для Сербии то, что для России — Пушкин. Вчера я послал ему авионом.

Его «Слово» о св. Владимире может быть будет (?) воспроизведено в «Русской мысли». Читаешь ли ты ее (там много недочетов, но она — нужна), видишь ли? Она неуклонно растет. Я вхожу в сотрудничество — в «Православную Русь»[818], которая поразительно растет! За 5—6 мес., едва, — 2500 экз.! 800—1000 расходятся в Европе. Я хочу большей аудитории. Дам ряд статей о моем «credo» — итог, — ясный, — моего миросозерцания. О «пути» жизни, о России, — все, что прикровенно-образно розлито в моем художественном творчестве. Вопрос о моем пути... — должен скоро вырешиться. И. А. Ильин ответил: *да*[819]. *То же и К[арташев], и [Зеелер]. Но это — лишь* для самых верных. Пока — полный молчок. Знай. Решен томивший меня вопрос — об авторских правах: кому вручить — для прочной, достойной и большой цели. Я — нашел. И — сделаю. Ив — не годится: он — весь во «французском мире», и в заблуждении о нашем. Я его

не могу и не хочу обойти, в память ее... — но он может рассчитывать лишь на «условную поддержку». Моя цель — просвещение на основе Слова, Св. Слова. И — помощь сирым и слабым. Мои «Лето Господне» и «Богомолье» (помимо некоторых других) — фонд на много лет, если откроется свободная Россия. Книги станут «настольными», — для всех. Это не самомнение: это уже есть, здесь. Их бытие составит солидный фонд. Переделаю завещание ибо я нашел «субъекта права», правомочного, верного и — непреходящего. Это редкость в нашей брошенности: у нас нет — для нас и будущего: правового «юридического лица», — правопреемника.

Когда ты узнаешь все (но это можно лишь в личной встрече ясно и полно знать!), — а я тебе объясню все, — ты, — не мыслю иного! — скажешь: «да, Ваня... только так!», «как я рада!..» Ибо ты всегда рада — доброму. Ты вся — на благое. А что может быть более благим, как не Свет для темных, как не забота о бедных! как не попечение о сирых?! ... Так, Олёк? Господь внушил мне, искавшему, как я обязан распорядиться. Тогда моя жизнь — оправдана: сделал — «по Слову Твоему, Господи», — как сумел. Да, Оля?.. Данный мне «урок» надо — сдать, а плата моя... — мое сознание: пытался, ленивый раб... — «вот, Господи, суди... как сумел». О, если бы!.. Ах, как хочу все сказать тебе!.. И еще раз скажу: ты была послана мне — в радость и — в укрепление. Благодарю за это — Его. Я — грешный, слабый... но, поверь, я умею отделить тленное от непреходящего. А в наших отношениях — много было света. Не будем его мутить. Будем — великими «дружками». Так, Ольгуночка?.. Да, да, так.

Я полагал, что «швейцарское издание» — для издания на шведском языке![820] Что за странность?! Я благодарен К. Т. Жуковичу... — но мне нужен шведский (!) издатель. На новом правописании — не согласен, хоть осыпь златом! Я знаю исконность верного закона знака «ъ» — и многого. Это — святотатство. Надо совсем не знать духа — лика нашей великой речи в письменности, а слово — «Бог» — постыдная незавершенность без «ъ». Новое правописание — как часто — сжирает (или ломает) смысл! Для стиля, например, оно, прямо, нестерпимо... хлѣбъ — хлеб... ..! что это за... хлёб?! ... путаница — миръ и міръ! — все — мир. Иди-о-ты! Я приведу со-тни «идиотизмов». Это — растление слова — мысли! ради чего? «Упрощения» и «облегчения» (?!) безграмотных кретинов. Если

ты не в силах этого одолеть — на что ты в-силах?! ... Правописание, как и язык, как и выговаривание (знаки препинания!) творится, а не надумывается. Мы знаем, кто это выдумал и для чего. И почему. Те, кому слово наше — чуждо и тёмно. Наш язык родился от древне-славянского, освящен церковно-славянским. Он растет и облекается плотию, закономерно. И каждое изменение должно быть естественным, должно рождаться. Это делает сам народ, — и жизнью, и, через людей письменных, — их вдохновением, их служением, их — искусством. Учись, всегда, языку!.. Ты обязана! По-мни. В чем сомневаешься — иди к исследованию, проверке: это — долг! Не смеем мы коверкать молитвы: так и в языке: не смеем, — хоть и невольно, — кощунствовать над словом. Русская грамматика всегда должна быть под рукой.

Да, твои «птицы» — чистота — девственность. Но они очень тонки... Удивительно нежны краски... Я буду настаивать — высоко-художественно их воспроизвести! В Америке это достижимо. А потому — не надо спешить. «Куликово поле» — должно выйти — очень чистым. Думай!.. Ты — одолеешь. Размер (лишь предполагаемый) — 18х12 сантиметров. Число строчек на странице: 24, — думаю. Число «знаков» в строке — 38—40, а м. б. и 36. При таком расчете книжка составит — около 120 стр., считая и титульные страницы — около *6*, без обложки. Одна титульная, после «вкладки», что за обложкой, с заглавием (титулом), еще — допустим — «птицы», дальше для «надписания» (с повтором, без упоминания автора — заглавия (посередине).

Шведский издатель мне очень нужен, но... — шведский, в переводе. Не думай: не за prix Nobel[i] тянусь... нет! ищу большего эха, для своего. А деньги — не мне. Славы, для себя — не ищу: ищу — согласности, ищу — отзвука, более широкого. Это — путь русского духа — влиять. Только это меня влечет и радует. Ты-то мне поверишь. Да, Оля?.. И еще раз — К[онстантину] Т[арасовичу] жму руку. Безумец, как же я ошибался! Вот что значит — не владеть собой. Ибо сам я — не такой, как бываю вне себя. Ты, думаю, не скажешь — нет. И, частью, вина — на тебе (не корю!), на твоей спешности в передаче мне твоего состояния; вина и в непроверенном изображении словесном. В твоем — «впопыхах». Не

---

[i] Нобелевская премия (*фр.*).

корю. Ибо я-то — главный виноватый: я спешно, «впопыхах» — воспринял, — и еще поспешней — отозвался.

Здесь «слухи», часто полоумные, как, вообще, «слухи». Что только надумывают! Но это дергает. А мне это очень мешает. В свободном «воздухе» — о, я бы все изменил! Пойми, я хочу надышаться! Я вставал бы — в 6, ложился — в 10. Я бы увидел новое и — по-новому. Хотел бы видеть Аляску... остатки русского стана... леса, глушь. Там у меня есть читатели... и корреспонденты. Некий миссионер — орловец-монах о. Герасим[821]. Какие письма писал! Живет с медведями. Ах, какая там «первозданность». Туда, конечно, авионом. И если бы случай переместиться, — да, «по воздуху», в один день. Мечтается — жить не в обители, а лишь — рядом. Хотел бы видеть Ниагару, Канаду... озёра... — найти (есть!) — совсем по природе — Русь. Ты еще не знаешь, что дано, задано, — и как выполняется это заданное обителью Св. Троицы. Выпиши «Православную Русь». Вот адрес: Holy Trinity monastery, Jordanville, N. Y. — USA. 4 доллара — на год, на 24 №№. И — забудь, что это «анастасьевская юрисдикция»: это — подвиг! великому делу — служение. Я *все* знаю. Если бы ты знала «житие» арх. Виталия-Печатника!..[822] он — все! Это — верный последовать — апостолам. Его нерв — слово, печать. Он под покровом, — руководим! — преп. Иова-Печатника, Почаевского[823]. Ему за 70. Католики в Польше отбили ему одно легкое, водили на расстрел. Что за сила духовная! Я любовался его «житием», и сколько раз хотел — написать о нем! — большое, и — давно! Он спит на голых досках, не более 3 ч. в сутки... ест — не знают, что ест и когда. Но по энергии — «неразряжающийся аккумулятор». Он как бы — в промышлении. *Надо знать*. Лично я его не знаю. Меня он знает. И это он, его желание — найти (и уверенность, что найдет!) русского мецената, который, без всяких обязательств с моей стороны, дал бы средства — выписать меня и дать необходимые для меня «удобства». Хотя бы на год. Но я — не «бесприданница». Все было бы возмещено. Там я мог бы выступать перед русскими (и не только!) слушателями, — разъездно. И — завершать мое.

Дорогая, целую тебя, лелею... Ты, Оля, нужна мне, духу моему. Тихая и светлая. Надо все — во-Имя. Ты — для сего. Дай же губки, дитя мое... Твой Ваня

[На полях:] Твой удивительный «кекс» питал меня, радовал и облегчал мне бытие в течение 3 недель! Съем ломтик с твоей большой чашкой молока — целое блюдо, без

забот. Мяса я уже не ем, только раза 2 на неделе — ветчину. А то все — кашицу гречневую и — [подобное], яйцо, варенье, — трудно с хлебом — ужасный, кукурузный. Но с большим трудом достают пухлый хлеб, что давали канарейкам. Чудесно! Пока, слава Богу, с 22 июня — не отзывается ulcere. Но зуд — есть, томит...

Получил и 2-ую открытку[824]. Но как ты скупа, на письма! А я... ты видишь, — при огромной занятости... очень много переписки. Но и — работаю.

186

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

11.VIII.47

Дорогой мой Ванюша,

Твое письмо ошеломило и приглушило меня. Я не могла ничего из себя выслушать, ничего придумать, осознать и сообразить. Совета давать в подобном никто, по-моему, не может. Но ты и не ждал его от меня, по крайней мере. Конечно, имей я к тому малейшую возможность, — я могла частью только советовать, разрешив трудности со стороны французской экономики. Частью тебе было бы легче. И как мучительно мне сознавать, что я бессильна в этом. Ты м. б. и не представляешь этой именно моей муки... Всегдашней и давнишней... В остальном же... в главном — я ничего, ровно ничего не могу сказать. Да и что бы я сказала, если бы даже ясно и твердо знала этот ответ? Ведь для меня означает твой отъезд — разлуку навсегда... Это я знаю и всем моим существом чувствую... И многое еще другое чувствую и из того письма, и из последнего.

Конечно, м. б. мне должно бы быть лестно, что своим сообщением ты равняешь меня с Ильиным... Но, нет, Ваня, тут этого у меня не может быть. У меня только боль... Эту боль я не смею ставить во главу угла, если дело идет о твоей жизни, как это изображаешь ты, — но от этого мне еще тяжелее.

Твоя, подводящая итоги нашему чувству, «отповедь» мне — она мне очень больна. И продумав все, ты поймешь почему. Равно как и то, что ты отнимаешь у меня свое доверие к «литературной заботе». Ты такой словесной любовью одеваешь все это твое новое, что невольно думается, как мне говорили еще в клинике: «Когда дают слишком лестную аттестацию уходящему служащему, — знайте, это только "Trost zeugnis"» (т.е. утешительное свидетельство), позолота пилюли.

И ты это сам отлично поймешь. Но это все не важное... Самое больное — это все то, что должно с тобой решиться. Я онемела и я молчу. Я ничего не смогу сказать.

И И. А., если не злой, то несчастный — твой гений. Сам он ни в какой не попал переплет. И «К[арташев]» и «З[еелер]» так легко за тебя решают.

Мне многое бы хотелось тебе сказать. И трудно, и ответственно, ибо не хочу н и - к а к о г о «нажима». А быть только «в разуме» я тут не могу. И не дать воли сердцу я тоже не смогу, коснувшись таких вопросов вплотную. Но впрочем ты все, и главное, и не главное решал до моего ответа. Возьми хотя бы историю с «Неупиваемой чашей». И я оказывалась в своей интуиции права.

Не думаю, чтобы разумно было мне стремиться в Париж. Для чего? Видеть пепелище когда-то очень красивого храма?* — Лучше сохранить прекрасное твоего чувства ко мне — в душе и не разорять его. Проститься перед отъездом? Навсегда проститься? — У меня не достанет сил. Я себя знаю. И вот, сравнивая себя и твое спокойствие, — вижу, что у тебя все ушло.

Для тебя это лучше, легче. А обо мне не стоит говорить.

Спасибо тебе за быстрое известие о получении рисунков. Одновременно высылаю еще набросок. Но все мне кажется ненужным.

К. Т. Ж[укович] говорил об издателе в Швеции на русском языке. Как же тогда был бы разговор о новой орфографии?? Ты не вчитываешься в мои письма, даже в местах, тебя касающихся.

Иллюстрацию «Куликова поля» ты обязательно поручишь кому-нибудь т а м. Знаю. Ты, как водяные травки, имея корни (и большие) все время перемещаешься и не остаешься «верным» одной почве. Со мной это у тебя в бесчисленных вариантах было. Ну, Господь с тобой! Крещу тебя и обнимаю. Оля

187

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

21.X.47 Вечер

Получил, дорогая моя Олюша, и твое ласковое (и грустное!) письмо, как раз 9-го утром[825], и твои розы, — увы, они задохлись, только 4—5 роз могли раскрыться! Прине-

---

* Видеть твой отход от меня, твой теплый хлад?! Не о преходящем говорю, а о светлой душевной любви. У тебя ее ко мне нет!

сли их мне, около полудня 13-го, в понедельник, а посланы были, судя по штемпелю на бланке цветочного магазина в Woerden, — 9-го! Да ныне здесь хаос[826], дней 10 не ходило metro, ни автобусы... должно быть провалялась посылка. Родная моя, я знаю, — ты всей душой хотела осветить лаской мой День ангела. Целую тебя голубка. А я и кончики цветочных стеблей подрезал, и воду менял: нет, бутончики были еще очень туго свернуты, и у ослабевших за 4—5 дней лежки очень закутанных в газетные листы (до 5—6 заверток!) — не хватило сил — расцвести. Вон они, сухие, неожившие!.. Твоя ласка — так и не расцвела вполне. В здешней, очень тревожной, жизни, когда все ждут, что будет... все туземцы, — а о нас что же говорить!.. — трудно уйти в себя, в творческую отрешенность от «дня сего»... — и я знаю, что нет у меня «подъема», силы — писать «Пути Небесные», — самое неотложное. Надо переменить «воздух». Он — не по мне, не — для душевного уюта, — не могу. Значит... — ? Да, надо переменить воздух. Как и когда осуществится... — не могу сказать точно. Материальная сторона вполне налажена. Виза будет. Дело за мной... — надо лишь выправить бумаги. Это может взять — месяц..? К весне может быть — все, самое нежданное, когда уже будет поздно. Значит... — надо, теперь же. Мне нужно хотя бы год—два — закончить «Пути Небесные». Делаю я — не очертя голову, все взвесив... — и складывается так, что необходимо ехать. И на дорогу, и месяца на 4—5 жизни там, — уже имеется, не считая моих писательских ресурсов. На отъезд я смотрю — как на «поездку»: захотел — вернулся. Квартира останется за мной. Обратная виза — будет. Оттуда — все советуют и даже торопят. А я... — все еще медлю... Виденный мною сон как бы говорит образно: особенной спешки — тревоги — нет. Суди сама. На мой зов к дорогим отшедшим — «помогите решить» — вижу — будто где-то тут пожар, вижу в каких-то щелях язычки пламени, прошу Олю и Сережу... — они со мной, около... — вызвать пожарных... а Оля — никакого желания послать Сережу за пожарными!.. — будто она не считает этого (огня-то!) чем-то опасным! И Сережа (среднее, между им и Ивиком) будто стесняется идти, (он не любил всяких казенных учреждений, смущался даже ходить по лавкам!) не двигается. Тогда, будто, я сам вызвал. Кто-то смотрит (будто французский пожарный) на язычки огня в щелях... — и тоже ничего не предпринимает!.. — И я проснулся. М. б. для текущих дней, недель — осложнений и опасности не предсто-

ит... Но — не дожидаться же, когда предстанет когда уже нельзя будет двинуться.

Ждать в неопределенности — и не работать — томительно и бесплодно: для меня каждый бесплодно пропавший день — невозвратная потеря. И это ты знаешь. Завтра поеду — насчет Nansen passport[i]. На это уйдет м. б. 2 недели. А там увижу. М. б. в начале декабря..? Говорят, ждать придется парохода... — не знаю. Решил — водой. Не знаю... Я всегда — даже перед недельными поездками — весь в волнении. А в мои годы... — будто и не осилить. А меня знающие и уверяют: спокойней, чем в metro едете. А там — меня устроят, знаю. Будет так, как Господу угодно будет. Надо если, — будут и силы, и Водитель. Завален корректурой «Лета Господня», мно-гим завален.

И несколько дней провалялся, — не было воли за молоком ходить. Теперь famme de ménage — только 2 раза в неделю, да и то — для меня только: она получила место консьержки, за мать, (мать ее — француженка), и ей затруднительно отлучаться. «Хозяйство» убивает меня, раз-бивает. Нет, надо бежать от этой неустроенности: надо дорожить отпущенными мне днями... Там — в этом отношении — буду в уходе, близ Обители.

Помолись обо мне, пожелай сердцем, чтобы все вышло так, как лучше для меня, для моей работы... — я верю в твою молитву, в твое родное благословение!

Горестно мне, что и твоя жизнь проходит не так, как тебя достойно: это бремя «забот дня сего» — какая это безнадежность! Беспомощно смотрю, как бесцельно падают дни твои... — отсюда и твоя тоска, твоя подавленность: ты не находишь ни воли, ни условий — для достижения одной — и точной! — цели, (в творчестве!), которая наполняла бы и красила жизнь твою. Вон, ты и в Париж не находишь сил поехать. А ведь так легко! И какие пустяки тебе мешают: девизы! А много тебе надо? Твое — у меня есть, хватит тебе на месяц.

Ну, тебе видней. — Мой недуг — продолжается. Krymm все еще «очищает» мою печень — ! — А я вот уже 1 1/2 мес. — ни мяса, (больше 5 мес.!), ни яичка... Но я не слабею, слава Богу. А «зуд» не убывает, раз-дра-жа-ет. Порой — нестерпимо, давит и на правый глаз. Насчет «Spermin'a» — ты ошибаешься: в мои годы — он лишь пополняет необходимое для организма, для его tonus'a: выде-

[i] Нансеновский паспорт (*фр.*).

ление в кровь элементов эндокринных желез. Я дней 10 принимал и чувствую себя спокойней и сильней, не так устаю. «Возбуждений» — никаких — не ощущаю. Это — не «омолаживание»: это лишь помогает «равновесию», укрепляет. Будь я лет на 10—15 моложе — другое дело. Мне сказал опытный доктор, русский, старый, бывший ассистент проф. Захарьина[827]: «Вам, И. С., (он мой читатель) не хватает в крови спермина... как и мне, знаю. Только тут, в Париже, не найдете». Мне выслали из Швейцарии, доктор тамошний, он же и биологист — прислал мне итальянский препарат (он знает «Spermine» Пэля, но говорит, что его запасы в Германии — исчерпаны), и пишет: «ручаюсь за действительную тождественность с препаратом Poel'я». Да, и аппетит лучше, и лицо говорят, свежей стало. А то я утратил всякую волю — а-па-тия! Потому и завалили меня всякие срочные дела, и мало писал тебе.

Целую, крещу тебя, родная моя деточка, — не забывай очень одинокого Ваню твоего! Если бы ты вернула себе творческие радости, в живописи ли, в писательстве. Господь да будет с тобой! да укрепит тебя.

[На полях:] Здесь совсем нельзя достать белого хлеба, сухарей чистых, стало совсем плохо. Твои были хороши, только не рассыпались. Попробую написать в Швецию, там есть чудесные: Knackbrod![i]

Как-то угощали Карташевы — галеты, белые, рассыпчатые! Им прислал из Швеции русский батюшка: можно оттуда посылать эти «квеке-броды». Я бы оплатил хотя бы посылкой международных почтовых купонов! У тебя не найдется никого в Швеции? Недели две я без хлеба, — или почти без хлеба. Попробую написать узнав адрес священника. — И вот такое-то положение — и где же?! — В Paris!!! в XX веке.

Вот, ку-да докатились! — это — при «всемогуществе-то» человека! XX-го века!!! При всех «завоеваниях» ку-ль-ту-ры!!! ... Вду-маться-то..!

«Центр Мира», — и белого сухаря не достанешь.

Ку-да же дальше-то?! ... — Не-куда.

---

[i] Хрустящий хлеб (*от нем. Knackbrot*).

188

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

Суббота, 22.XI.47

Дорогой, любимый Иван Сергеевич!

На сей раз — Сережа будет передатчиком этого письма и маленького гостинчика Вам. Завтра он собирается выехать в Париж и в ближайшие же дни будет у Вас. Спасибо Вам за ласковое письмо последнее[828], — оно меня очень обогрело. В мыслях я отвечала Вам на него, но так сильно была простужена, что не могла собрать себя для письма. И суеты у нас много было. Вечерами никак не могла превозмочь усталость и валилась в постель камнем. Слава Богу, стало у нас теплее, даже очень тепло, хоть и дождь. А то наверху, под крышей было спать невозможно, и моя постель стояла в единственной, общей комнате, загромождая собой все пространство. Сережа расскажет о невыносимых условиях и «законах», вурденовских инстанциях, задавшихся, очевидно, целью над нами издеваться. Конца-края не видно этому и неизвестно, когда же мы останемся хозяевами в доме. Душой я собираюсь в Париж, чтобы увидеть Вас, но практически не знаю, когда осуществлю это желание. М. б. к русскому Рождеству Христову. Или у Вас будет безумный холод, и я Вас стесню? Ксения Львовна писала на днях, что очевидно я уже не приеду, т.к. всюду и у всех в Париже будет зимой невозможно холодно. И еще одно: когда-то вокруг Рождества должен быть в Голландии издатель, желавший со мной познакомиться, вернее с моими рассказами. Надо все привести в должный вид и очевидно ему их прочесть. На днях об этом спрашивал меня Жукович. Я могла бы приготовить рассказа четыре. Времени совсем нет, а с болезнью еще и охота ушла, — голова трещала. Опять пропустила много времени. Закончила картинку-акварель к маминым именинам, — вышло очень недурно. Ее я впервые вделала в рамку, — это уже настоящая «картинка». Гости хвалили. И — главное — мне нравится. Впервые. Живопись меня все же очень захватывает и страшно интересует. А теперь — голые деревья, ярко выявляющие свою структуру, как-то особенно пленяют. Очень хочется рисовать. Я много, много лучше могу в этом году, чем в прошлом. Несравненно! И это дает и силы, и «кураж». Жалко, что в «хатке» нельзя из-за холода заниматься.

Я с нетерпением буду ждать вестей от Сережи о Вас. Как Ваше здоровье? И как Ваши планы с Америкой? Неужели Вы все же соберетесь? Мне не верится. Но это не

значит, что я делаю тот или иной нажим на Ваши решения. О своих чувствах не говорю...

Имеете ли Вы сведения от И. А. И.? И не могли ли бы Вы его спросить, получил ли он диски Жуковича и как их нашел? Никому из нас И. А. больше не пишет ни строки. Я пред ним ровно ничем не провинилась и не понимаю его молчания.

Будьте такой милый и передайте, пожалуйста, с Сережей мой последний рисунок к «Куликову полю», оставшийся еще у Вас вместе с картонной трубочкой. Мне хочется все иметь вместе у себя. А шиповник сожгите — он очень плох. У меня несравненно лучшие теперь работы. Когда приеду в Париж — привезу показать. И Вы сами убедитесь в этом. Кончаю.

Обнимаю Вас. Оля

189

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

15.XII.47 Понедельник

Дорогая моя Олюшенька,

Я почти на отъезде в Женеву. Все в порядке, предположено, с генералом Ознобишиным, — его машиной, 26-го, утром. Оттуда извещу. Это — этап, к дальнейшему, в Америку. Повелительно надо: завершить «Пути». Там все налажено. Не знаю еще, через Францию ли... — как сложится, и каким путем. Положение очень чревато, здесь: все может статься так, что нельзя будет через Париж... Чувствую, что назревает развязка — всему. И надо быть осмотрительным. Здешний «воздух» — насыщен, и если случится самое важное, будет поздно отбыть. На поездку смотрю не как на отдых, а как на возможность закончить труды мои. Здесь я рассредоточен, падают дни в пустоту. Ты это понимаешь. Благослови меня, твоего Ванюшу. Здесь были случаи покушений, во время забастовки, хоть и не было в газетах... Мы намечены и обречены, в случае их «победы». Мой отъезд все, все признает разумным шагом. Разве я уехал бы, не будь всего, толкающего?.. Мне нужен воздух Обители, тишина, труд... Пока все шло как бы самотеком... как бы Веленьем, — до мелочей. Писать обо всем — сложно.

Родная моя, благословляю тебя за все то счастье, которое ты давала мне — давала своим великим чувством любви. Без тебя, без встречи с тобой, не знаю, как и жил

бы я... — ты послана была мне. Знаю. И забудь все грехи мои в отношении тебя. Все невольные обиды. Я люблю тебя громадно. Я ценю тебя, — только, должно быть, не мог всего этого обнаружить. Трудись, родная, в твоих искусствах. Ты одарена. Только бы дано было тебе найти досуг, творческий покой. Знаю, что ты не забудешь меня: ведь Океан не может нас разлучить. М. б. случится, что ты приедешь на дни в Женеву. Проститься. Ты приедешь, родная моя... если найдешь силы. Сейчас здесь как бы «трэв де конфизери»[i], как говорят французы. А что дальше будет..? Ведь если начнется война, будет сметена и Швейцария. И твоя страна.

Меня мучает твоя — невольная? — неправильная для меня ориентация в церковном вопросе. Любовью к народу, верой в него ты закрываешь трагическое. Вду-майся. На отношениях с Иваном Александровичем — поставь крест. Он не может принять все — в вас — легко, как я. Это его право. И мои попытки объяснить ему твое — напрасны. Его — надо забыть. Так я понимаю его последнее письмо[829]. Не пытайся... — забудь. Из разговоров с Сережей я почувствовал, что это в вас неизлечимо. Жизнь все покажет. Я никак не был задет, что С. даже прислуживал в патриаршем храме[830]. Неважно это... — другое важно: соблазн. Те переступили через кровь умученных. Ну, оставим.

Я хочу остаться для тебя твоим верным Ванюшей, и чтобы ты для меня оставалась до конца — прежней Олей. Останься, мы связаны душевно крепко. Если я не всегда мог показать тебе, кто ты для меня, — моя вина, моя разбитость и горячность. Благодарю за все, за все... — сколько света дала ты мне! и сколько укрепления, отдыха от пыли жизни!

Голубка моя, Господь с тобой да будет!

Мой — предполагаемый адрес... — Отель Мирабо, 4, рю Кандолль, Женева. Пиши на ген. Ознобишина, мне.

Monsier le General D. Osnobichine pour Mr. J. Chmeleff, Hotel Mirabeau, 4, rue Candolle, Geneve, Suisse.

Передай мое «прости» маме и С. Благословляю тебя. Целую.

Твой Ванюша

Ты не права: все, что получал от тебя, — посылки и подарки — всегда принимал радостно и благодарно.

Твой всегда Ва

---

[i] «Перемирие» (*от фр. trêve de confiserie*).

Адрес Юли: Madame J. Gentillhomme, 332, av. De Couberten, ou coin de la rue de la Digue, St.-Remy-les-Chevreuses, (S. O.), France.

190

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

27.XII.47 4 часа дня Hotel Mirabeau, 4, rue Candolle, Geneve, Suisse, мне (chamber 10)

Дорогая моя Олюночка! Сегодня, с 1 ч. дня — в Женеве. Весь путь был под знаком Благоволения. От погоды до — таможенного досмотра. У меня даже не раскрывали. Даже предложили войти в автомобиль, чтобы не быть на холоду. Я — в шубе и шапке. Это тоже действовало. Еда и дорога (ночевали в Bourg), в 120 км от Женевы, и здесь — сверх похвалы. Мое самочувствие — отличное. Аппетит. Спал с 10 вечера до 9 утра. Очень хочу писать. Как осяду прочно — вольюсь. Прочти «Православную Русь» № 20, — ка-ак [унижают] publicité[i]! В «Русской мысли» № 38 — мое воззвание о радости [детям][831]. «Вы не откажете». В рождественском № — «Рождество в Москве» — вновь проработанное.

Здесь дочка С. Горного, танцовщица, и ее муж[832] — театральный декоратор, русский, и [отец с матерью], С. Горный[ii]. Ее гастроли. Мы ехали в отличной машине, средняя скорость 90 км — полный покой. В воскресенье пойду в церковь и узнаю, где можно бы найти комнаты и стол, недорого и в полной тишине. В отеле, конечно, мне будет дорого, но пока я не истратил ни гроша. Да это меня и не смущает: мне хватит на 4—5? месяцев здешней очень дорогой жизни. Все относительно. Заработок будет! Я приехал для чистой работы — и Господь все устроит. Очень был бы рад видеть тебя! Как только вошел — в комнату теплую! повесил фото — крымское — моих отшедших и твою «головку». И поставил кивотик с Божьей Матерью — Олин. Ее благословение отца. Мне на границе дали на 7 дней тикет 1600 г хлеба и 2 л — молока, но я возьму медицинское свидетельство, а все (и сливки) можно, говорят, и так. Сахару сколько хочешь. Я хорошо ем, спал вчера в Bourg с 10 до 9 утра. Погода вчера — солнце целый день! Сегодня — ледяной дождь. Но я очень крепко одет. Клюю носом

---

i Общественное мнение (*фр.*).

ii Так в оригинале.

после обильного завтрака. Пил дорогое вино! Пока ни малейших болей. Думаю о тебе нежно и — зовуще.

Напиши скорей! Меня никуда не тянет, только — к покою и работе. Да, я должен добиться до Америки и стать там вплотную. Газет и смотреть не хочу. Обнимаю нежно-нежно. Ты, вся, со мной. И — во всех ликах. И женщины любимой, подруги светлой. О, как хочу тебя! О, как хочу!!! Всю. Твой В.

[На полях:] Как бы я тебя заласкал!!!

Весь в тебе, горю тобой, до задыханья!

191

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

31.XII.47 6-30 вечера

Дорогая моя Олюна,

5 дней в Женеве все еще в pension'е Mirabeau[833]. Приискивают мне подходящее пребывание, — в русской ли, швейцарской ли семье... — не знаю. Pension Mirabeau — дорогой (сравнительно) — 15 швейцарских франков сутки. У меня отличная комната, тепло, все удобства. Еда — чудесная, ем я втрое, чем в Париже, и теперь вижу, что там я *не* доедал. Пока — здоров... — ? Меня не дергают. Генерал Ознобишин удивительно внимателен и очень тактичен, — джентльмен. Но я люблю стоять на своих ногах. Машинка еще в дороге, в большом чемодане. Еще не знаю, поеду ли через Францию — как сложатся события. В Paris мы (активная часть эмиграции) были «под ударом» — совершенно точно. Было покушение (стреляли из винтовки в окно, в 3 этаж, с противоположной стороны, по секретарю газеты — Полянскому[834], совсем для большевиков ничтожному в смысле активности: идет следствие и власти запретили опубликовать). Пуля (мимо) попала в металлическую раму на стене и упала, деформировавшись. Если бы хоть на 2—3 дня коммунисты овладели частью Парижа даже, — уничтожили бы многих: все было у них расписано. Ну, Бог помог покинуть Париж и Францию. Здесь тихо, — мне будто снится сон... — все дни, будто, праздники. Я непривычен к сему... Узнал, что С. Горный, на днях писавший мне из Лозанны, — очутился в... Мадриде! Звонила его дочка Людмила, балерина (она вышла замуж за некоего Алексея Ширяева, театрального декоратора). Сообщила, что мои письма из Парижа и Женевы она тотчас переслала в Испанию. Очевидно, уехал за 1—2 дня до моего приезда.

Л[юдмила] будет у меня (она живет в Лозанне, но приезжает в Женеву 2—3 раза в неделю — давать уроки танцев). Многое расскажет, важное. — Я думаю, что Испания для С. Горного — лишь этап: м. б. все они махнут в Южную Америку. Странно: недели 3 тому я думал об Испании, как этапе. Приехать туда можно лишь с транзитной визой, т.к. Франция не имеет сношений с Испанией и неизвестно, как хлопотать о визе. В Мадриде спасся от агентов Тито[835] «жених» Эмерик (был в правительстве ген. Михайловича[836], расстрелянного), и срочно вызвал Эмерик. Было как раз во время забастовок. Она в два дня умчалась, с сынишкой, бросив все дела. Оттуда легче — в случае войны — в Америку. М. б. придется мне — когда узнаю все, — переждать в Испании, где мне надо устроить издания, получить песеты («Пути» под veto[i] католической цензуры, но издательство просит заменить их другим романом). Это одно. «Du Pavois» срочно затребовало от меня книги (русские) по требованию голландского ихнего агента mr. Stivenson'а[837] (?) — для Испании. Я перед отъездом выслал 3—4 книги — издательству «Du Pavois». Теперь вижу, что мне надо наладить для Испании и Латинской Америки — издание «Солнца мертвых» и еще сборники «Каменный век», «На пеньках», «Про одну старуху». Это надо. М. б. мне придется отсюда добиться визы в Аргентину (для транзитной в Испанию), иначе французы могут не позволить перейти испанскую границу, скажут: в Америку Северную можно ехать из Швейцарии. Ну, словом, пока всего не узнаю — решить не могу. Видишь, какие у меня пути? Все продумаю, посоветуюсь.

И. А. еще не видал, написал ему, должен был получить вчера мое письмо. Жду известий. Я не поеду в Цюрих, устал, да и что же швыряться деньгами, кои невелики. М. б. дождусь здесь теплых дней (только бы не «жарких»!) Тучи сгущаются, — чувствую. Все может быть. Беззаботность неуместна. Большинство и не сознает «положения на краю». Что-то скажет Иван из Zollikon'а? Он, думаю, знает многое, от Bareiss[838], — они видные члены американской колонии.

1 января 1948 10 ч. утра

Дорогая моя голубка Оля! Вот и Новый год — 48!!!! Да сохранит тебя Господь: чтобы не болела, а радовалась в бесспорном твоем творчестве — в слове, в красках, и — чудес-

---

[i] Запрещением (*фр.*).

но! — в полном — любви и доброты отношении к людям. Да будет в чутком твоем сердце всегда Образ Божий и его отражение в человеке. Родная моя... — какая во мне нежность к тебе! Какие светлые, чистые думы о тебе! Твоя милая «головка» — свет и радостность — со мною. Так и пойдет со мною во всех путях, сужденных еще мне. Со мною и твое — шершавое — полотенце, твое мыло — плоское-круглое.

Я так и не коснулся его все эти 20 мес. Со мною и твоя-моя голубенькая чашка (малютка). Другая осталась на иконной полке, как и «елка». Как дорого мне все твое, — священное для меня! О-ля, как я хочу писать!.. жду-жду, когда осяду прочно. Не знаю, я, м. б., ускорю свой отъезд в Америку, — чего тянуть! Твои письма упакованы и крепко убраны: в сундуке, который был мне послан — прямо в конечный пункт. Я с ними не расстанусь. Вглядись в события: они очень чреваты. Пожар может — и невдолге! — охватить Европу[839]. Надо просить Бога — послать разумение и путь. Подумай о себе и своих... Ждать ли неведомого и страшного?! Тебе лично, думаю, ничто не угрожает, но... могут связать дух твой и руки, и «перепоясать»[840], — и повести против твоей воли, — в непотребное для духа твоего. А своим — невольным — бытием там ты никак не облегчишь участь всего родного тебе! Если бы судил Господь мне завершить земной путь с тобой, при тебе, на глазах твоих! Как ты необходима мне! И м. б. я — тоже, необходим тебе. Ты мне послана в утешение, во укрепление, — так верую.

Даже в здешних газетах — явная тревога. Здесь не знали, что Франция (Париж) висели на волоске в дни (ноябрь — начало декабря) забастовок. Теперь постигли, после речи Шумана[841] на конгрессе его партии (NRP) — только что читал «Journal de Geneve», 30.XII. Смотри: перед глазами всего мира король Михаил Румынский — «отрекся»[842]. Судьба его решена: судьба нашего Государя. Пожар может заполыхать на Балканах. И — разольется всюду. О Голландии пишут, что и она попала уже в план Советов. Несомненно, как и Дания... а там — главное поле войны — Париж, Франция. Может прийти — ужасное. Пусть на срок, но за этот срок — «последний бой» — за мир! — мог все испепелить. Надо быть предусмотрительными. От встречи с Иваном Александровичем и дочерью С. Горного я жду уяснений многого. А пока — молю Бога — дать разумение, как мне идти, когда и куда. Не о спасении личном думаю: о выполнении мне отпущенного: покой и воля, и —

работа! Если бы — с тобой рука-в-руке! сердце-к-сердцу. Укрепляя — и радуя — друг-друга. Рядом с моей работой всегда — дума о тебе, о твоей судьбе. Ты для меня сила душевная, как, м. б., и я для тебя. —

Скоро мне предстоит быть на «елке» и сказать детям и родителям о «самом важном». Не о политике, не-эт... а о жизни, о радостях чистых Жизни и о путях достижения, исходя из этого чудесного символа: елка, Христово деревцо — с вещами-символами. Уже — просят, очень. И я не в праве отказать. Но я не дам себя — утомлять и отвлекать от главного. Будь покойна, я не опрометчив и буду очень сдержан. На ход мировой жизни я, конечно, не могу никак повлиять, но мой долг — творить родное в душах и — во-Имя Божие, поскольку есть во мне силы. Мне не раз — и здесь — говорили: «вы не знаете, кто и что вы для нас». М. б. Это меня никак не обольщает. Я делаю слишком мало. Да, кое-что давал... но я сознаю, что теперь пришел последний час *до* делать начатое. Мерно, достойно и сознательно. Пытаться влиять, укреплять упования и помогать сознанию — кто и что все мы, Россия наша — для нас и мира. Это я буду пытаться делать, сколько будет воли, умения, дара. Непрестанно взывая: «помоги, Господи!» Ты мне дашь сил и воли и — порыва. Ты, только, — в земном. По Воле Вечного. Прильни ко мне сердцем.

Олюна моя светлая, чистая, достойная. И — чутко-мудрая. Я не убегаю, не отдыхаю, не праздную свободу... — я, просто, стараюсь различить «вехи» пути моего, по Его Воле. Работать в Его винограднике[843]. Пусть — как раб ленивый, но не лукавый[844], пытающийся идти на голос Господина моего[845]. Помоги мне молитвой, участием, всеми мыслями твоими, родная моя.

Жизнь здесь — очень дорогая. Я прошу едущих в Париж и возвращающихся оттуда кое-что привезти мне. Со мной есть и французские деньги, около 4 тыс. фр. (право мое провезти — 4 тыс.) Здешних у меня, если все учесть — до 2500 франков швейцарских. Курс твоей монеты еще не мог узнать: гульден, конечно, котируется. Отношение швейцарского франка к доллару: 4,32 — к 1 доллару: доллары очень окрепли. На дорогу в Америку у меня вполне хватит. И там — месяца на 4—5. Но предстоят еще издания: за «Лето Господне» еще причитается до 65 тыс. французских франков. Да еще с 4—5 книг заграничных.

Мне важно быть в Испании: лично договориться о 3 книгах и получить. 2 — в Германии. 2 — в Италии. Надо добиться американско-английских изданий. «Куликово

23 — 11249

поле» — выйдет в 48, [1 сл. нрзб.], — с нового года пойдет, в 7—8 №№, — в «Православной Руси», где в рождественском № было напечатано «Рождество в Москве». Оно выходит в рождественском №, 7 января, в «Русской мысли». Шубу, кажется, не стану продавать: нужной может оказаться.

Ну, голубка, — нежно тебя целую и ласкаю. Все признают, что центр русского рассеяния перемещается явно на З а п а д! Вот где ход — Сереже. И — тебе, милочка.

Удивительная встреча с проф. Волошиным[846], видным физиком: он вчера уехал — в Париж, и вызовет телеграммой Yves, для важного разговора. Какое-то большое изобретение, подписал договор со здешним крупным промышленником (что-то в области синема, какой-то аппарат, — в области з в у к а. Перспективы — по его словам — великие). У него здесь квартира. Завтракал у них, и они меня одарили... сластями. Как жду тебя! Решись — хотя бы проститься. Весь твой, в е с ь... о, дорогая! Твой Ванечка

Привет маме и С. в праздник Рождества Христова.

[На полях:] Жду твоего письма — к нашему Рождеству!!!

Зуд ку-да лучше. Пока болей в ulcer'е нет, после м. б. 6 уколов — (надо еще 6 пикетов[i] нового средства)!

1.I.48 4 ч. После завтрака и отдыха

Го-споди! Воистину, у Христа за пазушкой. Так покойно! Но как же это..? — все, будто, праздники. Я отвык ж и т ь, е с т ь, а тут — все готово, и пальцем не шевельну! Дико это. Не могу оторваться от общения с тобой хоть бы в этом письме. Ольгуночка, если бы увидеться! Ты конечно, будешь писать — трудно, не дадут валюты... — все надо преодолеть, и я — весь в твоем распоряжении, не смущайся. Ты здесь станешь центром русской (и не только!) колонии. Кто знает, м. б. ты и мой «вечер» организуешь, — и не один. Хотел бы сказать о Пушкине, о Чехове, и — прочесть — чисто уж литературный м о й вечер. Во всех отношениях полезно. Ты можешь чудеса творить, девочка моя чи-стая! Тогда сюда приехал бы Иван-Цолликонский, и, думаю, Mrs. Charlotta Bareiss, и, м. б. Candreia. В Лозанне — мой верный читатель проф. Руднев[847], известный хирург. И есть немало швейцарцев, знающих по-русски. Заработали бы, помимо ж е р т в ы, на двоих. Ведь ты же, душевно — часть моя, как я — часть твоя. Да? Любуюсь на твою «головку» — ра-достная! Пиши мне, пи-ши! Мне без

---

[i] Здесь: уколов (*от. фр. piquet*).

тебя — пусто-пусто! — ныне как никогда еще. М. б. Юля проберется сюда — выступать. Но это пока — для меня — представляется очень трудным. Она мне наладила здесь уплату в швейцарских франках за мои парижские деньги от издательств, по благоприятному (думаю) курсу.

Олёчек, губки твои... глаза твои!.. — как я их вижу! Обнимаю тебя и целую, шепча сердцем: Оля, любимая... с Рождеством Христовом тебя братски и вечно-влюбленно приветствую. И да будет Новолетие нам — во свет и в надежды! Только бы ты была здорова и не отрывалась от Вани твоего. М. б. скоро расстанемся и уже не свидимся на земле..?

Оля, голубка, светик... люблю тебя и жду тебя. Прости страстные слова прошлого письма: вырвалось! — как бы от возбуждения, опьянения дорогой, свободой, — тишиной. Ну, и едой! Все возбуждает — и твой рот... я пьянею...

Твой, и ты — моя? да? Будь же!!

Твой грешный Ванёк

[На полях:] Отдам чинить твое стило.

Как бы ты блеснула своей красотой! нарядом! *вкусом*... И я увидал бы тебя новой! новую тебя!

Со мной и твой синий свитер и на мне дивная твоя фуфайка.

192

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

5.I.48/23.XII.47 Тот же pension Mirabeau

Родная моя, светик — Олюночка, обнимаю тебя в родимый наш, лучистый Праздник Рождества Христова, — о, чудесная, моя девочка, радость моя! Всю-всю тебя ласкаю, всю нежно целую, самую близкую мою... самую дорогую в моей неуютной жизни. Как одинок я... как далёка ты, хоть, будто, и не изменилась даль. Я унес тебя из Парижа в сердце, и так нежно храню!.. — ми-лая!.. Как тянусь к тебе..! ах, Оля... Новый год. Если бы он открыл нам колыбель нашу!.. Господь да сохранит тебя — и меня — в сердцах и чувствах, и думах наших!..

О-ля, как мне недостает тебя, до задыхания... вот сейчас, когда я тебя так ярко вижу, слышу твое дыхание.

Я все еще временно здесь, мне ищут подходящее «гнездо»... и так трудно это. Страшусь богемности, приставаний,

надоедных разговоров. Тянут прочесть «на елке», и я бессилен отклонять. Конечно, никакого «вечера чтения» устраивать не буду. Это я опрометчиво писал — звал тебя.

Прости за страстный вскрик в 1-м письме, сорвалось так. Я тебя чисто люблю и чисто зову. Ибо я люблю тебя — твое сердце. Я знаю — оно живет хоть немного мною. Я радуюсь, что ты в своих рассказах, живешь... и — в красках живешь. Это красит и освящает нудную волынку беспокойной твоей жизни.

Отлично, что хочешь писать «клинические дни»[848] от 1-го лица: так свободней, — не бойся, ты сумеешь дать самое важное в твоем восприятии. Ах, как я был бы счастлив, если бы мог смотреть на тебя, пусть — без слов. Да, я совсем одинок. И зачем принесло меня сюда? О, как здесь постыло-серо! И так раздражают окна, заваленные шоколадом и сластями, пти-фурами[1]... ворохами булочек и всей жратвой... Еда в отеле слишком обильна и соблазнительна (после моего недоедания в Париже, там я завтракал часто в 5—6 ч. забывая, что давно время). 3-ий день, как я перешел на молочно-растительное, страшась заболеть. Начались-было ненормальности, но не было болей. Теперь — в порядке. Скорей бы добраться до постоянного уклада, вблизи Обители. А то — как нудный вечный праздник, без радости! — валятся дни. Пишу письма, все деловые. Конечно, ни в какую Испанию я не поеду. Там, говорят, и еды нормальной нет, и страшно дорого. И — неустроенно. «Порядок»-строй здешней жизни меня раздражает, когда вдумываешься в наше. А беспорядок, пустота и чуждость страны, где не понимают языка, еще более будет раздражать. Если бы не вечная «тряска» и ожидание — «вот, случится», — во Франции, я не уехал бы. А теперь я как бы — в пустоте. И потому еще острей — без тебя!.. Скорей бы полоняла работа!

И. А. весь декабрь недомогал, все еще лежит: и давление крови, и сердце, и подавленность... Он страшно мнителен, — «доктор бывает через день»! Видимо, переутомился и — недоволен всем. Я к нему не поеду, — дорого. Да и не хочу ломать путину — и я устал. Очень много осталось в Париже всяких «хвостов», недоделанного. Господи, когда смогу тихо думать... молиться... писать... на месте? Очень здесь сыро, туманно, — мразливо.

Несмотря на людей — я одинок. Юля переслала твое письмо. По-мни: она никогда, ни за что не прочла бы твое-

---

[1] Мелкое печенье (*от фр. petits fours*).

го письма! Не знаю, как распорядиться с квартирой, — пишет: холодно в St-Remy приедем на несколько дней. Квартиру она сумеет хранить и оплатить: есть верные люди, и квартира — всегда в моем распоряжении. Там — все осталось. Оля, не забывай меня, Ванёнка твоего, — тобой и держусь. Ты — еси, и я — есмь. Как ты мне дорога, нужна. Была танцовщица Людмила (Горная) с мужем, принесла русский торт. Несмотря на «успехи» — мне трудно. Она за перелет отца и матери в Мадрид должна была уплатить больше 1000 швейцарских франков — около 100 тыс. французских франков или 250 долларов. Там его брат Сергей[849], уже лет 10, что-то в фильмовом деле — и коммерция. Людмила — совсем не хорошенькая, но молодец, что борется за жизнь. Здесь она дает уроки танцев — балетных. Оба приятные, он художник-декоратор, продает картины, но они мне непонятны... [supreme[i]]-импрессионные. Наворочено!.. — но видимо, из его внутреннего «мира».

Горный уехал туда, ибо здесь и дорого, очень, и после продления «sejour»[ii] (3 мес.) еще на 3, — дальше оставаться будет нельзя. Через него сыщу Эмерик, мне надо добиться моего издательства, многое выяснить. Издательство — в Женеве — «Du Rhon» — помнишь, Эмерик отбила-то! — давно лопнуло. Так что, думаю, — и хорошо вышло. «Чаша» найдет свой путь. Мне нужно издать «Солнце мертвых» и другое — для Южной Америки (латинской). Вот, на склоне жизни, пришлось путешествовать... но я спокоен: Господь укажет путь. Все равно, в Париже я не мог бы и помимо «тряски»: с месяц я не видел капли молока, ни белого хлеба (хорошо, что Стокгольм прислал, через одного нашего священника это!) Получил огромное заказное письмо (avion) из Норвегии от русского моряка[850] — очевидно, коммуниста, по поводу моей статьи «1147—1947»[851] («Русская мысль»). «Открытое письмо писателю Ив. Шмелеву». Что за сумбур!! Чушь!.. Дикари. Очень почтительное письмо, (и, в общем, грамотно) по «мысли» — хаос. Зовет идти в ногу с народом (!) — отвергает «чудо» и плетет невнятицу: все строит... мозг! Наделяет этим мозгом — не святостью! и преп. Сергия!.. Ну, околесица на 12 стр. А я слышу, что статья его задела. Просит ответить на норвежский адрес (не его!). Шлет привет от родной

---

[i] Здесь: крайне (*фр.*).
[ii] «Пребывания» (*фр.*).

Москвы. Как у них все «набекрень»! И — Пушкин — мозг. Не отвечу, ибо нечего ответить на... сумбур.

Ольга, — не могу без тебя. Ты мне для души нужна, — как радость, как живящий воздух. Твоя женственность согревает и придает сил. Хотел бы, чтобы ты вечным другом оставалась во мне. Без тебя — я совсем бы — до крика! — осиротел.

Оля, Олюша.... Ты страшно сложна, но такая, м. б. и особенно дорога. Напиши мне больше о себе, — как же ты дальше-то быть думаешь? В той же неопределенности «бездорожья» и «бесцелья».

Ску-чно мне, ничего не хочу смотреть, и нечего здесь смотреть. Мой умерший — увы! — мир — как же богат в сравнении со здешней мелочишкой и скаредством серой жизни. Да провались она, со всем своим порядком и рассчетцем! Тьфу. Странно: но не стану тебе писать о сем: это могу бы тихо в ушки твои шепнуть! Я вяну... я хочу движения, а не беганья, по рельсикам, как все здесь. Я разлива хочу, стихии... О, если бы — многое там — по-другому! Во Христе! В чистоте! без насилий и крови!.. Я хочу пошептать тебе, девочка... чего бы я хотел!.. Если бы довелось мне высказать образно это в «Путях Небесных»!

Оля, мне о многом хотелось бы говорить, и ты поняла бы!

Ну, пиши мне. Верю, что куда-то меня Господь пристроит, как надо. И управит план жизни моей. Во-Имя Его!

Но здесь нет жизни, ни — там, в бедной России, — ужас! но Жизнь должна быть, достойная душевно-духовных сил человека.

Иначе — духовная смерть, здесь, как там — сплошная смерть. В грязи, в крови, во лжи, в голоде, — в ужасе.

Оля, прильни ко мне. Я жду тебя, зову, и не смею тебя срывать, тревожить. М. б. лучше и не приезжать?.. Только — и для меня — лишняя боль расставания. Как обнимаю нежно, прелестная несравненная!

Твой Ваня

193

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

12.I.48

Мой дорогой, любимейший мой Ванюша!

Твоя открыточка[852] болью коснулась сердца моего. Тебе — нехорошо! А я так радовалась, что вздохнешь ты в

удобной жизни... Но понимаю. Хорошо понимаю твои чувства. Швейцария — по духу (или бездушию) сходна с Голландией, — все так говорят. И недаром голландцы с особым удовольствием туда ездят. Не горы же одни их привлекают! Ты там увидишь сердцем сам, как нудна жизнь в подобных странах... А поживи бы ты еще исключительно в их среде, — и ты бы понял многое из моего. Передо мной туземцы, не стесняясь, выражают свои взгляды, считая меня... своею. Поэтому, как никогда, считаю я себя именно в такой среде, — русской. И горжусь. И тем более горжусь, чем больше они нами пренебрегают. Я-то знаю, что их чувства вовсе не вытекают из отношения к советскому правительству... Они не любят нас, как таковых. Это для меня вне всяких сомнений. Их интерес — по силе и возможности как можно больше нас ослабить и стереть, а вовсе не заботиться о благополучии русского народа. Мне лично отвратительно и противно всякое хождение с ними в ногу. Под «ними» разумею всю Европу и Новый Свет. И это мое — вне какой-либо политики. И всякое делание с ними сообща мне неприемлемо. Вот это — основное. Когда ты будешь в Америке, ты сам увидишь и поймешь! Там — шкурничество уже предельное, и все — утроба. В былое время, сам американец, — Кеннан мне это говорил, отплевываясь на все свое. И на носительницу души и сердца — женщину. Но он был слабый. Я сразу его узнала. Он сам не в силах был идти против ветра и для карьеры... многим пренебрег. Я не о себе здесь! Нет, — тогда, видя его «шатания», я отказалась от него. И было верно. Сейчас он уже в самом бурном водовороте. И бьюсь я об заклад, что все это ему (внутреннему ему) и чуждо, и противно. Но оправданий нет. Он — дипломат. И сам же выбрал этот путь! Да, ну, его! Вспомнила потому, что он еще из лучших был, и сам имел же мужество сознать все окаянство своей страны. Боюсь я за тебя, Ванюша. Не отговаривать тебя хочу, — но больно мне. Быть может у Обители — другое. Там м. б. будет русский мир. Так хочу от души тебе покоя и радостной заботы! Так тепло, нежно думаю о тебе! Радость моя, Ванюша! Куда же мне к тебе приехать? В Женеву ли, или на Boileau? Скажи же! Рада, что розы дали тебе радость. К сожалению я была связана условиями с Швейцарией, — не больше, чем на 19.00 гульденов. И не могла тебе приписки сделать, т.к. шло по телеграфу, чтобы вернее к Р. Х.! Просила лучших, красных роз... Какие получил? Ванюша, ты не смущайся, бери хорошее от каждого момента! И в pension Mirabeau, конечно, есть же свои плюсы! Не думай о

ген. Ознобишине — ему-то, верю, это в радость! Устрой свой мир, пиши... И отдыхай. Ведь это же так нужно! Сегодня я закончила свой «Натюрморт» — рассказ. Но кажется не прекращу менять и «чистить». И думается, что до окончательной точки еще далеко. Очень заряжена... хочу тотчас же взяться за другой рассказ: «Диана». И... мечтаю привезти их все к тебе... на суд. Сережа опять в Париже. Уехал на автомобиле... по большим делам. Если удастся, то... он — молодцом будет. Огромных размеров дело. Дай бы Бог! Была я на вечере Beatris, — чудесно она танцевала. А всю последнюю неделю мучилась я мигренью, даже лежать пришлось. И все время была во сне. Отчаянное состояние. Сегодня первый день, что я опять сама-собой. Давно так не бывало: будто не была на земле, а в каком-то мире сна. Потому и тебе давно не писала. Зато сегодня вся горю желанием работать. Сейчас же принимаюсь за машинку. И... очень манит меня мой следующий «цикл»... клинический. А все еще и с первым не управлюсь. Еще два образа-этюда просятся на сцену. Надо. Рисунки замолчали. Пока уснули. Я рада, т.к. могу всецело отдаться моим рассказам. Целую тебя, мое солнышко и обнимаю нежно. Оля

[На полях:] Зачем тебе нужно знать где Woerden? *Не* напишу, т.к. предполагаю, что ты послать чего-то хочешь. Не надо, мой дружок! Я знаю, как ты ко мне!

Зачем ты обо мне так лестно отзывался? Мне неловко.

194

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

9.I.48

Светлая Ольгуна, ты необычайна, единственна! Целую сердце твое. Это Рождество стало для меня таким лучезарным — Тобою, моя радость! Розы твои — сама ты. Они девственно-свежи и сегодня, — на третий день Рождества. Вон они, ж и в ы е, яркие, — в полной силе, между двойных рам. Они освещают меня, и вся комната — твой свет.

25 дек. (7 янв.), без 20 мин в 10 ч., когда я, выпив кофе, это petit dejeuner[i], — с 2 теплыми булочками, медом, маслом, отличным молоком, собирался ехать в церковь (5 мин. от меня tramway[ii]), девушка принесла цветы — твой

[i] Утренний завтрак (*фр.*).

[ii] Трамвай (*фр.*).

ранний поцелуй, — во — Имя Света Разума... и — Сердца. Сияли розы, и все кругом. Я сейчас же сказал — обрезать кончики и поставить в вазу. Хрустальная ваза как раз поместилась между рамами. В комнате очень тепло и сухо, и розы быстро истомились бы, если бы не это укрытие — влажность-свежесть. И вот они живут. И я живу ими — тобой. Я понес эту жизнь во мне — в церковь, весь праздничный и обновленный. И этот день Рождества был для меня весь наполнен счастьем, сознанием — что ты со мною. Голубка Оля, — нет слов у меня: они утонули в сердце, и я несу их чутко-нежно, — священно.

Эти рождественские цветы твои осветили, кажется, весь pension. И я не мог удержаться, чтобы не сказать на восхищение видевших: «это привет к Рождеству Христову — писателю от самой чуткой русской женщины!»

Мой друг генерал Ознобишин не мог скрыть своего восхищения. И я, в неудержимом чувстве, сказал: «если бы мой друг Olga была здесь, она покорила бы и закрыла всех своею неизъяснимой красотой сердца, ума и... всего, что в ней, в телесном и душевном образе!»

Я знал, что весь я сиял и был «в ударе» — весь этот День Рождества. После обедни обедал у настоятеля — человек 15 — и... был оживлен — пел соловьем! И... кажется, очаровал всех[853]. Да. В 5 ч. были с генералом на семейной елке у Ю. И. Лодыженского[854], правой руки Dr. Theodor'a Auber'a, председателя Комитета международного по осведомлению мира — что такое большевизм[855]. И там я — пел. Была груда подарков, и я получил образ-репродукцию из коллекции кондаковского собрания.

В это воскресенье будет большая елка (для взрослых, в 3 ч. — для детей), где я буду минут на 20 читать из «Няни».

Ты как бы влила в меня силы. Вчера, после обеда-ужина в pension'e прошел слух, что черт унес-таки грязную душу всеубийцы — Сталина. Точно еще не знаю, сейчас 9 ч. утра, газет не видел еще.

Не могу оторваться от тебя. Никакого «вечера» делать не собираюсь, а писал тебе — чтобы завлечь тебя. Свидимся ли?

О, моя радость! моя голубка, моя сила и свет! Да будешь ты благословенна! Преклонившись, целую твои руки.

Твой Ваня

Сейчас еду по делам: в банк, получить по чеку (девизному, для путешествия, все еще не взял, не осуществил свое

право на 150 швейцарских франков). Еще — получить tickuets d'alimentation[i], и здесь они: на хлеб, сахар, масло, молоко. Отдал в починку твое стило и еще... надо. О, какая ты! И как я счастлив, что ты еси!

195

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

13.III.48 Суббота, 5 ч. вечера

Дорогая моя Олюша, уж не знаю, как и быть... как бы безвыходность. И в этом — крайнем! — случае к тебе прибегаю. И стеснительность некую чувствую, в праве ли я так делать... — вдруг пришло в голову! Выхода не вижу, но... и при этой «безвыходности» — смущен. Вот в чем дело. Цюрихские «связи», через Ивана Великого, через его американских друзей миссис и мистера Барейс, людей очень состоятельных, — оказались бессильными. Дело в том, что «гостевая», туристическая, виза ныне сведена к 3 мес. Могут там, в Америке, продлить ее на столько же, вместо недавнего срока — 6 мес. плюс 6 мес., продления. И я решил хлопотать о постоянной визе. Ибо по истечению срока «гостевой» визы, — 3 мес. плюс еще 3 мес., — мне бесповоротно пришлось бы уезжать, в Канаду или в Мексику, на какой-то срок, и снова хлопотать о... туристической визе. Вот я и положился на Ивана Александровича и его друзей. Послал ему документы, «ручательства» — афидевиты[ii], и он просил Барейсов похлопотать. Мистер Конрад Барейс лично был у цюрихского генерального американского консула, от которого зависит выдача постоянной визы... «афидевиты» признаны исключительно надежными, «блестящими», — от Пушкинского фонда[856], от Общества св. Владимира[857] и от моего нью-йоркского издателя Дёттен[858]. Но... генеральный консул ничего тут не может. Мистер Барейс беседовал с ним «целый час»... — ничего не вышло: русская квота заполнена, закрыта на... полтора года. Я родился в Москве и потому ко мне могла быть применена только русская квота, хотя я и «нансеновец»... ныне, как я сказал, закрывшаяся. Генеральный консул сказал, что «туристическую визу» мне должен выдать женевский консул. Но это меня не устраивает. Я напи-

---

[i] Талоны на питание (*фр.*).

[ii] Поручительство (*от фр. affidé*).

сал в монастырь, епископу[859], прося содействия. Но боюсь, что и тут ничего не выйдет. Остается мне — или вернуться в Париж, или — проситься в Канаду, куда едут Земмеринги. Да еще — поедут ли? Что я буду делать в неведомой Канаде? Мне важно, для моей работы, быть вблизи Обители. И вот, скрепя сердце, обращаюсь к тебе, голубка. М. б. это моя отчаянность?.. И я смущен, удобно ли это для тебя... — попробовать, если ты это сможешь, написать Дж. Кеннану? Он — ныне — очень, кажется, влиятельный и ценит русскую культуру... Дело в том, что представителей Церкви, — они же просвещению служат! — впускают помимо квоты, как и ученых, если перерыв их деятельности — ученой! — не больше двух лет. Писатели не имеют такой льготы... хотя — кто же больше, чем они, — если это подлинные писатели, — служит культуре?! М. б. это поможет Дж. Кеннану в его хлопотах — если он, конечно, пойдет навстречу твоей просьбе, — о выдаче мне постоянной — или хотя бы длительной! — визы? При влиянии — все возможно. Я же не окажусь для американцев — «нежелательным»? М. б., если ты признаешь возможность написать Дж. Кеннану, — адреса я его не знаю, — дело устроится? Поверит же тебе — твоему ручательству за мою благонадежность, Дж. Кеннан?! Ну, если это сверх твоих сил — тогда я не смею тебя просить... как-нибудь обойдусь и короткой визой, закрыв глаза на будущее... Возвращаться в Париж не хочу: я уверен, что пройдет месяц—другой, и мне все равно придется, уже с большим риском, оттуда уезжать: чувствую, что война неизбежна. Мне надо уезжать отсюда, и как можно скорей. Предчувствие такое во мне.

На днях, дней 6 тому, я писал тебе большое письмо[860]. Просил тебя приехать, если можешь. Справлялся сам в банке — гульдены — 65 швейцарских франков — за сотню. — Дня три тому — 66 фр. 68 сантимов. До конца марта все комнаты в Мирабо заняты, ныне автомобильная выставка, все везде занято. Если приедешь, извести, чтобы я удержал для тебя комнату, заблаговременно и на точный срок! надо тут заранее нанимать. С апреля Волошины бросают квартиру, т.к. мать сняла квартиру в горах, где будет жить с больным сыном, — санатория закрывается для ремонта. Так что тебе придется в отель, в удержанную по заказу комнату. Видеться с тобой и проститься — мне душевно необходимо! Получу ли постоянную визу, нет ли... все равно двинусь, хоть с «гостевой» — на-ура. А там видно будет. М. б. к осени — в Россию. Так мне видится. Вот, голубка, моя докука к тебе. Другого пути не вижу,

не знаю. М. б. — если захочешь ты, — все удастся? а м. б. я ошибаюсь: м. б. там — слишком формально все. Что Бог даст. Ты сумеешь написать, как надо. Прости, что так прошу, о — таком. Не насилуй себя... Я все время отбрасывал эту мысль, но вот сейчас, — будто толчок мне! — вскочил с постели и пишу... прошу.

Как жду письма от тебя!.. Почему так забыла?.. Оля, надо нам проститься, приезжай... м. б. и не свидимся больше... Ну, как тебе Бог на душу положит. Если решишь написать в Америку, узнаешь хоть в Гааге адрес Дж. Кеннана, а то прямо пусти — на Вашингтон, что ли, авионом... — найдут.

Вот и сейчас колеблюсь — посылать ли это письмо. Спрашиваю сердце... — оно отвечает... — «да». М. б. и обманывает..?

Твой В.

Смущенный, все же шлю: как трудно мне просить для себя — тебя даже!

196

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

17.III.48

Дорогой мой Ванюша,

Прости, что давно не писала, — я предельно, до изнеможения измучена нервно. Всего и не описать. Возня с работником ужасная. Он и хам, и нахал, и жулик и.... подхалим, когда ему это нужно. Уперся и не уходит, а Арнольда таскают по разным комиссиям, где всюду друзья и кумовья работника. Здесь кошмарное засилье подобных типов. Рабочие ограждаются, с ними носятся, правительство перед ними пресмыкается, а они хамят. Все эти «полицейские» меры выселения не по нашим характерам. А при всем том надо жить с ними вместе самым тесным образом! Ну, довольно!

Ж. Кеннану я напишу, если ты думаешь, что это тебе поможет. Но одно горе: в Голландии его адрес не известен. М. б. мне еще можно было бы попробовать съездить в Rotterdam, там есть тоже консульское отделение, — но в ближайшие дни я вся в трепке и разгоне. Еще волокита с мамиными бумагами, — срочная, так что завтра с этим делом должна начать возиться. Был на дому сегодня чиновник, но не застав меня дома, назначил на завтра. Будь такой милый — спроси в женевском консульстве, не знают

ли адрес Ж. Кеннана? В Швейцарии он скорее м. б. известен. И тогда пиши экспрессом мне. Я не жду слишком многого от Ж[оржа] К[еннана], т.к. в аналогичном случае в 1938 году, он ничего не смог сделать, ссылаясь на то, что в Америке даже для самого Президента закон не делает исключения. Попытаться можно, но я не льщу себя надеждой. Все это очень грустно с тобой выходит! Неужели тебе этого заранее не узнали приглашавшие тебя туда?! Неосмотрительно. У меня душа болит, как подумаю о всем этом.

О приезде к тебе думаю сердцем, но разумом не вижу пока что возможности. Все эти недели будут сверх-напряженны. Я уже с кошмаром просыпаюсь, не имея нервных сил выдерживать всю эту атмосферу. Но все же я делаю все шаги к тому, чтобы смочь поехать. Ищу деньги в Швейцарии, т.к. отсюда мне ничего не дадут провезти. Ты справлялся в банке о курсе, но это не столь важно: ведь в банке меняют только то, что я привезу по разрешению. Меня интересовало другое: можно ли продать частным образом деньги? Вспомни Париж и мою беготню. Или в Швейцарии банк меняет не по паспорту, а вольно? Это необходимо знать. Я пытаюсь войти в контакт с швейцарцами через газету, но не знаю, что выйдет. Тут иногда бывают заинтересованные лица.

Итак, мой милый, — всем сердцем стремлюсь, но не знаю, что выйдет. Жду очень скорого ответа с адресом Кеннана и тотчас напишу ему. А писать на-ура довольно рискованно. В Америке не разыскивают*[860а]. Сейчас ночь, я валюсь от усталости. Только бы пережить этот гнусный период! Обнимаю тебя. О.

197

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

24.III.48

Думаю, что права ты, милая моя Олюша: ответит Американец «на законном основании», ибо все «оксиденталли»[i] — законники сугубые, когда треба себя не беспокоить. Что же, это логично. И все же, если найдешь возможным,

---

* Но если и ты не узнаешь его адреса, то буду писать на Вашингтон, с указанием, что при Маршалле.

[i] Здесь: «кисляи» (*от фр. oxydant*).

попытайся... есть зацепка и за закон: служители культа — духовенство, и ученые — вне квоты. М. б. можно пристегнуть сюда и писателей? Ку-льту-ре служат! Впрочем, не настаиваю, не смею. Вряд ли буду хлопотать о «гостевой» визе: пройдет 3 мес., и пришлось бы на... Ку-бу! т.е., для меня, оказаться дураком... в кубе! Адрес — найдут особу в Вашингтоне, не горошина в стогу сена! И еще раз: загадай на совесть... и как ответит, так и поступи.

Нет у меня надежды... и, видимо, поворачивай лыжи на Париж. А там мне совсем плохо, нет ни молока, ни белых сухарей. Да... и горе там: Ивана Ивановича свезла Юля в психическую больницу... размолол его Париж, вы-вихнул. И, вообще, письма из Парижа, от всех, — сплошь «данс макабр». Смерти, смерти... Жду письма из Америки от епископов[861] и друга одного... да нет, не будет утешения.

Меняют здесь без всяких условий, давай только. Да вряд ли ты и приедешь, по письму слышу: вся ты в бытовых тяготах, и хладно, тревожно-смутно твое письмо. Будто ты вне меня. Что же, это тоже логично: ты меня всего узнала, дальше — лишь 2-ое издание...

Грустно мне, до горечи, что дни твои текут так бесплодно, в беличьем колесе. Доколе же, Господи?! ...

Я здесь влачусь... жду у моря погоды, и весь размокроподился: живой мысли не ощущаю, и нет «волнения» охлажденного, для работы. Здесь, у русско-швейцарцев, полное безразличие к... родному. Ошвейцарились..? Влачатся, забыв об упованиях. Да и таких-то кот наплакал... — не о «ди-пи»[i] говорю: этих и не видал, где-то в лагере... — да и есть ли они? Здесь жизнь сытно-покойная, только и заботы — «держать нейтрал». До поры все это...

Не чаю, что свидимся. Становь на мне крест. Тошно на белый свет глядеть.

26.III —

Продолжаю... — Узнал, как писать адресовать: Сверху:

Private — (личное) —

Mr. George Kennan. State Department. Washington. Etats-Unis[ii]

---

[i] «Депатриированные» (*от фр. depatrial*).

[ii] Мр. Джордж Кеннан. Государственный Департамент. Вашингтон. Соединенные Штаты (*англ., фр.*).

Попытай сердце, — м. б. ответит — да? Тогда приведи хоть такие доводы: почему настоятельно прошу прочной визы: и трудные бытовые условия во Франции, — ни молока, ни хлеба..! — но, главное, нет спокойных условий для завершения литературной работы. Нужен, мол, православный монастырь, а в Европе его не найти. Соединенные Штаты Америки — единственное место — благоприятное. Но ты сумеешь сжато дать понять и мой ранг писателя, и дух моего творчества: о России, о ее духовной сущности, о русском народе. Ведь все мое — о национальном нашем. Ты знаешь это. Этим и объясняется, что мои книги вызывают интерес у мирового читателя, переведены на свыше 20 иностранных языков[i] — более 50 книг. На английском языке — 4[862]: «Солнце мертвых», «Это было», «Неупиваемая», «История любовная». Содержание главных книг, более половины, — связано с эпохой большевизма, с его воплощением не только в русской жизни... — возьми — «На пеньках»! Дело идет о судьбе (ах) человечества... — так и отмечала критика, и Редьярд Киплинг[863], никогда не писавший писателям, — терпеть не мог, как сообщал мне мой переводчик-англичанин, — почувствовал желание написать мне по поводу «Это было», — а я и не посылал ему книги. Таким образом я мог бы явиться как бы «экспертом» в «русских делах» — для гг. иностранцев. Дж. Кеннан и состоит в Департаменте иностранных дел — «по русским делам». Да, хотел бы я осветить, — если бы меня запросили! — многое в сем вопросе, в чем до сей поры путаются и путают политики... — явился бы предстателем за Россию! Нашел бы данные: почему Россия нужна миру, и как! — к а к!! — надо поступать — а ведь им придется решать это! — с русским народом (это упрямая подмена России — бесами!). Нашел бы, как надо, сознавая чутко свою ответственность. Разве это не довод для того, чтобы внимательно отнестись к моему домогательству о визе?.. Ты, если найдешь возможным, — для себя! — напишешь и все представишь, как можно верней и убедительней, ты умная. М. б. мы и послужим как-то — Ей! Но, повторяю, ради Бога, не вынуждай себя писать, если не лежит душа: я обойдусь, что-нибудь сам придумаю... попытаюсь...

10 и 11 апр. предположены мои выступления в Берне: I, — для небольшой группы, 15—20 человек, — просили, очень, прочитать «Куликово поле». Оно печатается в

---

[i] В оригинале описка: яз. яз.

«Православной Руси», со 2-го № — сего года, кусочками. Будет печататься до мая. И. А. пишет мне, — это не часто от него: «Как прекрасно Ваше "Куликово поле" и как обидно, что оно идет кусками... и все обрывается..!»[864] 2-ое чтение одиннадцатого апреля — публичное, человек на полтораста. Здесь совсем мало русских! И эти полторы сотни — с приезжими из разных концов Швейцарии. Буду читать из «Няни», «Богомолья», «Лета Господня». Материально это даст сущий пустяк, конечно. Отказаться не хватило духу. Дважды приезжали. Много есть еще писать тебе, но... я загружен письмами, и задавлен душевно... делаю страшные усилия — написать. Болезнь моя — нестерпимый зуд — кажется, еще хуже. Мучаюсь. Говорят — «невралгия кожных нервов...» — если бы твой гомеопат дал средство! Этот недуг, вот 23 месяца, изводит меня... И почему-то я верю, что от тебя, через тебя! — придет исцеление!..

Целую тебя, голубка, жду — м. б. свидимся? — Твой В.

198

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

6.IV.48

Дорогой Ванюша,

Эти дни я писала Ж[оржу] К[еннану], — не знаю, дойдет ли до него это письмо без точного адреса, да и очень хорошее извинение это для неответа. Я и с этим считаюсь.

Советую тебе самому лично еще ему написать (George Frost Kennan), сославшись на мое письмо, но не давая понять, что тебе что-либо известно о наших бывших взаимоотношениях. Я и сама не «взывала» к его сердцу, обходя прежнее. Ты понимаешь, что это для меня невозможно. Я делала упор на твою значительность и величину, сказав, что в положительном смысле ты вполне «их». Сам ты эту статью можешь еще лучше развить.

Не дивись и не серчай, что письма мои смятенны; не удивительно, потому что живем, как таракан на жару. Все в эти недели должно решиться с квартирой. Я считаюсь с возможностью дело проиграть, т.к. комиссия по жилищному вопросу никакой инстанции *не* подчинена и, состоя из друзей нашего хама, подтасовывает карты. М. б. придется буквально брать с боя, занимая скорее мебелью и запирая двери. При таких условиях мне невозможно пока уехать из

дома. Но я очень хочу и как только будет можно приеду. Как долго ты там пробудешь?

Напиши мне обязательно, почему Ивана Ивановича пришлось поместить в психиатрическую лечебницу? Что с ним случилось? Обязательно напиши, т.к. меня это очень интересует. Не любопытство. Надо бы осторожней с такими помещениями быть. Иной раз как раз там-то и калечат восприимчивые души!

Я до того задергана, что иной раз за себя боишься, — нервы сдают и чуть-чуть не истеричкой станешь. Каждый день новая пакость. До такой степени могут люди не иметь ни самолюбия, ни чести. А весна идет. Вчера, плюнув на все, до 4 ч. делала набросок с пруда и ивы[i], покрывшейся «пушком», залитых розовым светом. Чудесная картина. Плохи у меня глаза. Много ли поработала, а сегодня боль. Как только поосвобожусь, поеду в Velp к гомеопату, спрошу о тебе. Но ты ведь ему не веришь, как и все, что от меня, критикуя. Как между прочим было с Гелелович? Я так от нее ничего и не слыхала. От сей светской и воспитанной дамы, шокированной рассказами о сельской простоте. Сей миллионерши, не считавшей за нужное послать в счет своего долга посылочку любимому писателю.

У нас серьезные предложения ехать в Южную Америку. Арнольду предлагают войти в голландскую компанию по разведыванию опытных полей там, для разведения семян. Хотят поручить своему голландцу. Там целое поселение. Я ничего еще не знаю, как решу.

В Северную Америку никогда бы не двинулась, — ее так же раскатают при случае войны, как и любое другое место. А в их миллионах можно задохнуться. Вся эта материальщина мне претит. Разве что в русской Обители ты не коснешься всей этой мерзости, а так... очень уж там все «маммонно». Пока кончаю. Бегу на почту и по делам. Обнимаю. О. Не забывай меня письмами! Мне сейчас очень трудно!

Открыла конверт, чтобы приписать главное: дай Жоржу сведения из паспорта, точно, так, как это запрашивают для визы.

[Приписка на конверте:] Джорджу я сказала, что Вам известно о нашем знакомстве из моего замечания по поводу газетных статей последнего времени.

---

[i] В оригинале: ивой.

199
И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

11.IV.48 Воскресенье

Дорогая моя Олюша, спасибо: по твоему совету, написал G. К., послал еще и английский экземпляр «Солнца мертвых». Ну, что Бог даст, а надежды на благоприятное мало у меня... Что и м русский писатель! А, м. б., и не прав я, не уповая. Нет, я далеко не и х, и ты это должна знать. Только в одном схожесть: в решительном отвержении коммунизма, как системы, организующей человеческую жизнь. Там, где сплошь ложь, насилие, отрицание свободы, отрицание духа, — не может быть ничего доброго. Я совсем — не их (американцев), если они притязают на Россию, сознательно заменяю коммунизм — Ею. Об этом дал понять и в письме, никак, конечно, не подчеркивая, что и адресат может так ошибаться, — напротив...

Благодарю, милочка, за твою помощь: знаю, что нелегко тебе писать... — и с благоговением принимаю твое душевное усилие.

Ивана Ивановича разболтал Париж. За эти 12—15 лет он уже 4—5 раз был в больнице. А тут — сам просил, чтобы Юля его поместила. Им овладела навязчивая мысль, что он один теперь, с моим отъездом, является... «опорой семьи», — и бессилен. В St-Remy он жил в тиши, писал стихи... а тут — встречи с «приятелями», волнующие разговоры о современности... — ну, толкнули, конечно, выпить... а это для него — срыв: ему абсолютно нельзя ни капли, и в St-Remy он мог еще устоять. Он, в сущности, ребенок, чудесная душа, — мягкий, чуткий. Мне так жаль его! 3 недели нет от Юли ни строчки, и я ничего не знаю. Она писала, что он буйствовал, и теперь, в больнице (убежище св. Анны, казенное) — бредит. Ночами плакал, все сознавая, что теряет себя. «Помогла» развитию его болезни и Юля: устроила его чтение публичное (читали артистки), было хорошо принято, но Ивана Ивановича ударило, что «Русская мысль» не отозвалась ни строчкой. А не отозвалась потому, что Юля поступила неосмотрительно, дав объявление и в про-советскую газетку «Русские новости», где дали 2—3 строки в хронике о предстоящем «вечере». Нельзя так не разбираться, при нашей обостренности положения, — стараться черпать из двух столь разных источников. Такая «обывательщина» ныне особенно недопустима. ВСЕ это и послужило толчком. Конечно, и мой отъезд: у Ивана Ивановича могло создаться

представление о сиротстве, хотя мой отъезд улучшал ихнее положение: отапливаемая квартира, посылки, продолжавшие поступать, — все в их распоряжении. Оба они меня искренно любят, и отъезд мой как бы лишал их душевной поддержки...

А я... я негодую на себя: надо было оставаться в Париже, терпеть и недостаток молока и хлеба, ну, продолжать выстрадывать. А что *я* здесь!? Работать не могу, en passant[i], — всегда так. Эти почти 4 мес. — бесплодны! Никакого душевного уюта — одна растрата сил. Хотя бы обогатился — душевным опытом! Пу-сто-та. И сознание — конца. И дела литературные — запущены: до сего времени «Лето Господне» — не вышло, все еще — «в брошюровке»! Конечно, тут еще — на поездку-то! — толкнуло предчувствие войны, — так казалось: вновь переживать бомбардировки, уныние — и возможность переворота! Пусть бесы захватили бы власть на неделю только: гибель была бы неизбежна, вывоз в Москву, суд... — об этом все так и говорили. Словом, сгустилось все — и толкнуло. И всем этим неустройством я раздавлен. И не прекращающийся мой недуг: вот уже 2 года неотступно, — сил моих нет. Хуже, хуже... — ну, как же тут работать! Не знаю, — и никто не знает, а я был у 7 врачей — в Париже и здесь — и никакой пользы. Здесь, известный окулист ничего не мог сказать. Дал драже «Becozime», на базе витаминов B1, B2, B6... — 100 драже, — принял уже 20 шт. — ровно ничего. Возможно, что у меня экзема, сухая... нервная, что ли?.. Последняя надежда, что м. б. твой гомеопат нащупает! Ве-рю. Напрасно говоришь, что я все — от тебя — критикую. Я же знаю твое большое сердце. И — преклоняюсь. Да, эта Гелелович — пустота, и еще с претензиями. Ну, какая она — миллионерша! — едва живут. Это ее сестрица — да. Каюсь, уезжая, я и не простился даже.

Восхищаюсь твоею стойкостью: ты — подлинная, если в таком хаосе еще рвешься к творческой работе. Ох, ка-кой зуд! — глаз вырвал бы!! О, какая му-ка! И как я буду публично читать?! ... Милая, ты — подлинная, да, да!.. Дай Бог сил тебе. М. б. решишься ехать в Южную Америку — там окрепнешь. С испанцами наши хорошо уживаются, там нет этой бешеной погони за долларом, этой горячки... — и ты м. б. встретишь лучшие условия. Мне рассказывали, что одна русская, попавшая на Кубу, — те же «испанцы»... — совсем слабая художница-любительша, делала выставку

---

[i] На проезжей дороге (*фр.*).

картинок, и все расхватали! — а она только — как говорят, — «мазилка», «чуть-чуть». Она — в восторге от Кубы, т.к. должна была уехать, виза была лишь на 3 мес. Теперь выписывает из Америки мать, служащую в ONU[i]. Подумай, голубка, — война, конечно, будет: что ожидает?! Будет куда страшней — 1940—45. Олюша, не подвергни себя возможным страшным испытаниям! Пока есть возможность, решись и покинь страну, — что ты можешь потерять? Новое увидишь, ты молодая, сохрани и себя и свои возможности, решись! Боюсь за тебя. Пишу — и думаю: нет, не решится. А уехавшие — Д. П. — как рады, что ушли... — и новое крепит в них надежды. Ты воспрянешь духом, обновишься. Знаю, как это не легко ломать жизнь... — но это лишь так кажется: м. б. как раз в этой перемене — и есть созидание новой и лучшей жизни! Ско-лько у тебя явится свежих впечатлений, ско-лько красок! О, какие цветы увидишь ты!.. Решись, родная. А я... — что говорить обо мне... — стою у края... Но знай, до последнего вздоха — о тебе, молитва и благодарение.

Спасибо тебе за великую радость встречи на грустном пути моем... Как скрасила ты мое существование! как согрела лаской, сердцем, заботой!.. О, милая, друг мой верный, любимая...

Твой Ваня. Господь да направит и да сохранит тебя!

В.

Как я одинок здесь! Оля, как пусты дни мои!.. С утра я начинаю ждать ночи — забыться.

200

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

[1.V.1948]

Христос Воскресе!

Трикратно христосуюсь с тобой, дорогой мой Ванюша и от всего сердца желаю, чтобы Праздник светлого Христова Воскресения отозвался в душе твоей большим светом и радостью, наполнился бы ты до краев этим светом и долго бы еще его нес в себе!

Вчера я телеграфом заказала для тебя «живых вестников», чтобы они передали тебе мой пасхальный привет. Я

---

[i] ООН (*фр.*).

думаю, что этим путем лучше, — не будет риска, что прежде времени увянут, как это однажды случилось. Не знаю, что тебе доставят, — я просила лучшее из этого богатого сезона.

Здесь все есть, что только хочешь: и лилии, и ландыши, и амариллисы (чудесные), и гвоздики, и розы, и пасхальные цинерарии с азалиями всяческих сортов. Пышные комнатные рододендроны, причудливые орхидеи. И чего-чего только нет. Тюльпаны уж и в счет не идут, равно как и всяческие примулы. Много экзотического, пестро-красивого, но мало напоминающего нашу Пасху. У меня стоит азалия последнего крика «моды» — с аршин высоты, — выглядит деревцом на прямом стволике, увенчанном сплошной шапкой цветов. В саду же — рай земной: яблоки еще в цвету — все залито белой пеной. А перед домом на фоне воды пруда цветут в траве (в лунках) группочки тюльпанов разнообразных цветов и форм. Ива кудрявится над ними, спускаясь до самой воды. В огромной клумбе — «всякого жита по лопате». Маревом наполнен сад, дымка окутывает раскинувшиеся в зеленом пушку деревья, уводит, скрывает дали, делает на земле сказку. Тепло сегодня и висит в воздухе влага от где-то прошедшей грозы. Изредка погромыхивает вдали... парит, тянет всякую травинку из земли, насыщает воздух весенним ростом. Мы с мамой вспоминаем русскую Страстную неделю с печальным звоном... с приготовлениями, как церковными, так и бытовыми к Великому Дню. А потом ночью... густой колокол... Дрожью колыхающий землю удар... радостный, могучий... И потом, той же ночью чудесный «красный звон»! Кто забудет его? Кто не отозвался бы на него слезами, услыша снова!?

Мы без говенья в этом году. Большинство не идут и на заутреню в церковь. Мы с мамой все же решили быть в субботу и на заутреню, не достаивая до конца, дабы не быть вынужденными встретиться с настоятелем. Он — скверный тип.

Но не хочу сейчас об этом. И о нашем тяжком бытии за эти дни не хочу писать, дабы — «и ничто же земное в себе да помышляет...» На той неделе я заболела было от нервной нагрузки и лежала, — было очень скверно (сердце и мигрень), а потом, слава Богу, прошло. Я устала только. М. б. что и выйдет с домом... Но ни о чем этом гадком не хочу и думать в своем пасхальном письме к Ванюше, которого обнимаю тепло и нежно. Оля

201

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

6.VI.48 Женева

Поздравляю тебя, милая моя Олюша, с днем твоего рождения, — таким памятным мне!.. Так хочу, чтобы ты светилась, радостная, надеющаяся, что все в твоей жизни наладится, как надо, и ты не напрасно явилась в мир!.. Многое в этом зависит и от твоей воли. Только бы дано было тебе постигнуть путь твой!.. — много у тебя к сему задатков.

Желаю тебе душевного покоя, равновесия, мудрости... и — здоровья! Чувствую, как же необходимо тебе вздохнуть, от-дохнуть! Думается, что поездка твоя в Швейцарию не пройдет впустую: ты осмотришься, отойдешь от путаницы и бесцелья, в которых живешь. Это — совсем бесцельное круженье... во имя чего?! ... А дни текут...

Да, нам надо о многом переговорить и передумать... Расхождение наше?.. — сплошное недоразумение. Церковный вопрос..? Никакого расхождения. Я так же, как и ты, вижу... — да, народу, волею Божией, открыта Церковь... и он хоть сколько-то получает, для укрепления. Но разница наших взглядов касается лишь внешнего, хоть и важного. Я никак не могу принять, что уже «ворота Лавры отворены, и лампады затеплены...» Нет сего. Только дозволено... до срока. Это — не победа, а до-пущение. Но, вдумайся: — кто возглавляет!.. — Богом ли благословенный? Тот, кто в послании пастве именует — кого?! — «избранником Господним»!..[865] Ты — умна. И ты не можешь не понимать, какое же здесь извращение Правды, какое же кощунственное осквернение и извращение Ее!.. Ну, все ясно. Сделай же вывод, — единственно возможный, — и ты увидишь, в чем наше расхождение.

И еще, об отношении к тебе И. А. Он мне написал, как бы прося: «напишите О. А., чтобы забыла обо мне...»[865а] Понимаешь ли ты, в каком это смысле принять надо?! ... Заверяю тебя, — я понял. В связи со смыслом его письма и в связи со всем, что мне известно. Его слова никак не означают, что он как бы «прерывает все» с тобой. Нет и нет, — я знаю. А вот, какой смысл сего: он связан подпиской здесь, что не будет заниматься политикой... иначе... — как он писал, что «едва терпим, вишу на волоске»... — большие для него неприятности. Он знает в каком вы «трагическом тупике»... и делает вывод, что его «имя» у вас на мыслях и в разговорах, и опасается, что его «философско-религиозные» статьи могут раскрыться, в разгово-

рах-то ваших... раскрыться для нежелательных ему лиц противоположной ориентации... враждебной даже! — могут невольно для вас раскрыться и — навредить и ему, и — делу. Он, очевидно, — и — думаю — неверно! — представляет себе возможность некоторой идеологической связи между вами и — врагами, — он сугубо осторожен! — и потому-то и просит за-быть и о его существовании... — т.е. совсем не упоминать о нем. Так я и истолковываю. И уверен, что так это и есть. И потому думаю, что было бы очень кстати с ним встретиться и разъяснить это «недоразумение». Но это — в твоей воле. Я не настаиваю. Я хочу лишь снять «соринки» с твоих к нему отношений и с его — к тебе.

Вчера я послал тебе авион-экспресс[866]. Думаю, что теперь тебе будет все ясно. Я все время мучаюсь недугом — этим ужасным раздражающим... «зудом»! Никакого облегчения. Никто не поможет... 3-ий год! Как трудно при этом всецело уйти в работу!.. Я все еще надеюсь что К[еннан] как-то укажет вице-консулу в Женеве — исход. А м. б. там сочтут возможным распространить и на меня право вне-квотно получить въездную постоянную визу... и цюрихский генеральный консул известит меня... Нет — придется вернуться в Париж. Это, с отчаяния, что не добьюсь визы через К[еннена], толкало меня просить генерального консула — включить меня в лист ожидающих нормального порядка, и — выслать документы... Но пока я ничего не предпринимал, ожидая...

Итак, ты не сможешь быть ни на одном из моих «чтений»? К июлю все — т.е. «чтения» мои — завершится. Об издательских планах писал тебе. Ничего еще не выяснилось, жду ответов из разных мест.

Господь с тобой, хорошая моя Олюша! Я верю крепко, что ты глубже всех знаешь меня, веришь в меня и — любишь твоего Ванюшу, порой сумбурного, но — всегда открытого и прямого — к тебе. Светом останется, — до последней минуты сознания, — наша во многом благостная для нас обоих... — встреча: девять лет ей, на днях.

Твой неизменный Ваня. Нежно тебя целую, светлая моя!..

202

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

7.VI.48 8 утра

Одурел, милая... ночь не спал, потому и спозаранку...

Вот что, дорогая моя Ольга... — одолели мысли. Вчера опустил тебе письмо к рождению, а вынут его только сегодня в 9-15 утра — вчера проглядел.

Да мысли-то но-чью пришли, голову разворотили... Но — на случай опоздания — еще и еще поздравляю и целую нежно мою бесценную!.. Но дело важное, вот какое. На днях буду читать для «Горной здравицы для детей», в Leysin[867]. Весь сбор пойдет туда, к полу-святым, а м. б. и святым Марфо-Мариям, моим горячим по-читательницам... — всех — себя отдают этому важному — святому! — делу помощи нашим обездоленным детям, гибнущим во Франции и Германии от чахотки... от — го-ло-да!.. Надо спасать «остатки»... И — бу-дем спасать, сколько в нас духу есть. Да, милая. Я киплю... И изменил программу чтения, дабы привлечь больше слушателей, «Куликово поле» — для толпы, хоть в 50 чел. — трудное для приятия. А потому читаю три вещи: «На святой дороге», где «кунают» охальников... «Крещенье»[867a]... и — из «Няни». Три «отделения», две «перемены». Две, ибо тут-то ты мне и нужна, голубка, — попытаться сорвать побольше. Каждый швейцарский франк — нужен! Чтение предполагается на 17 июня.

Просьба к тебе: не откажи, голубка, дать «программы» — акварельки! В них твой Ваня сам внесет «содержание», от тебя треба только «краски». Я уж наметил несколько «жертв». Ну, генерал, конечно... одна докторша, к которой толконусь сам, еще пять—шесть «жертв». Но я буду говорить перед чтением, буду ра-зо-гре-вать... Первое — скажу: «вот, там... — пальцем к столику "сбора"... — акварели талантливейшей русской художницы... — такой-то из Голландии, — по-мощь святому делу! возьмите сердцем!.. — сколько оно вместит... а я заполню программой, и будут реликвии о... вашем движении душевном... некоторые акварели, надеюсь, пойдут на горы, к больным... и дети узнают, что есть люди, которые о них заботятся... — в этом и воспитание». Словом, я прошу тебя... Не ужасайся... дай легко, просто... — как душа твоя скажет и выполнит. Хоть по одному цветочку! Ну, м. б. милую березку нашу... Я надеюсь, что будут русские швейцарцы, унесшие из России свет, доселе в них живой, и они возьмут твои чудесные акварельки. Для них очень, думаю, подходит — нечто наше, как бы историческое... от Москвы. Ну, от Кремля, что ли... Но что я тебе внушаю, ты сама вороха раскроешь, своею чуткостью!.. Только, прошу, не думай, не напрягайся... а легко-легко-

легко!.. — о, ты можешь это, знаю... м. б. даже у тебя найдутся готовые..? — Оля, милая моя... я томлюсь всем этим... я сумасшествую... — в башке новый роман... мучает меня... и я сегодня не мог заснуть. Сейчас побегу на почту, а потом попробую заснуть, т.к. я не сомкнул глаз. Не знаю точно, сколько продастся... но, думаю, хоть 8—10 штук! Кроме того, будут заказаны мои фото, штук 100, — и для Цюриха, ибо про-сят!.. с моими автографами... — сделают в размер карт-посталь[i], с портрета с бородкой, профиль, — старого! — приложения к французскому изданию «Человека из...» Это — лучший мой портрет, вчера генерал Označ Ознобишин твердил, он же и закажет. Твою акварель он, несомненно, купит. У меня намечены жертвы, штук 15. Я постараюсь в слезы их вогнать проникновенным словом... — ибо — н а д о! М. б. ты дашь еще — «пучок землянички», как бы из «На святой дороге»! М. б. — «Троицу» попробуешь? Чуть-чуть..? — «свечу пасхальную»? М. б. — «е л к у»..? М. б. зимнюю речку..? — для «Крещенья»? нет, не хочу, не смею тебе советовать... ты — с а м а — во сто раз лучше меня сделаешь-найдешь! Ты чудесно даешь цветы... как ты дала березку — для — помнишь? — «Неупиваемой чаши»..? — о, Господи!.. Олюшенька, милая, родненькая моя... как мне надо, чтобы ты приехала!.. Мы тогда «Куликово поле» вырешим!.. — в м е с т е, светло, духовно-чисто, — я взглядом страшусь тебя коснуться... Ну, у меня силы иссякают... я так у-стал!.. Но горю, все горю.

Я хочу завершить жизнь свою горевую — и светлую! — смиренно, покорный Воле Господней. Помоги же мне!..

Во второй половине июня я должен читать в Цюрихе. Там уж Барейсы — если будут в Цюрихе — купят твои! твоИ акварели. Ты пришлешь мне — или сама привезешь? — несколько листиков. Но к 17 надо спешить, и я боюсь, что, если ты согласишься, можешь не успеть доставить. А потому прошу — пошли пар экспре[ii]!.. Это вызовет расходы, но тебя не остановит. Тогда я смогу получить хоть в канун, числа 16.

Не красней, не смущайся... — а легким сердцем... — и вдохновенье тебе поможет. Ведь — для детей!!! ... для сирот, для погибающих!.. С каким трудом налаживается «горная здравица»!.. Без копейки началось... только благодаря самоотвержению полу-святых, тоже бедняг... — делается дело. Докторша, одна из них[868]... ей 60 лет... она

[i] Почтовая открытка (*от фр. carte postale*).
[ii] Экспрессом (*от фр. par exprès*).

поло-ви-ну заработка, — она без «прав», но работает по санаториям, — отдает, сердце свое кладет... Другая — жена профессора[869], тоже под 60! — рвется от больного сына, — гения!.. изобретателя, получившего первый приз в Америке за «амплификатор»[i], для синема!.. — первый приз за экспонаты от Франции! — так она мучается больным сыном, — ему 39 лет! — у него оба легкие поражены и нельзя пневмоторакс!.. — она всю себя отдает — де-тям! Я учусь на их подвиге. Вот, Оля, жизнь этим и стоит, да... и к черту все разногласия, эту труху дней наших... — иди, делай живое дело, твори подвиг!.. И тогда жизнь светится, и тогда душа наполняется... — и Го-споди!.. — до чего же теплеет сердце!..

Ми-лая... ты мне после, если осилишь, — для моего, платного! — чтения сделаешь, можешь и плюнуть на мое-то... но для детей ты не откажешь, знаю тебя, моя — о, конечно, святая... вся русская, вся — сердце, вся чудесная!.. — Итак: не откажешь... и пошлешь так, чтобы пришли к 17!!!!

А там... что Бог даст... Хоть бы 300 фр. добыть, а м. б. ...чудо совершится..? — сердце расширится..? Я уж постараюсь... — растрогаю. Бог поможет... Ну, нежно целую тебя, свет мой. Бегу на почту... Еще, еще — дай тебе Бог сил, здоровья, радостного Дня... и — упований, уверенности, что просветится жизнь твоя... — бу-дет, чем жить духовно!.. Обнимаю...

Поздравляю с драгоценной Новорожденной — твоих — маму и Сережу. Что же он забыл меня, не напишет? а?!! Как бы хотел, чтобы ты была здесь... Знаю, что всех притянешь, чудесный магнит!.. — очаруешь... генерала — и подвигнешь его на... жертвы!.. Это — надо. Для родного дела, для — жизни!..

Твой неизменный — весь горящий — Ванёк

9 ч. утра — бегу на центральную почту!

203

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

13.VI.48

Дорогой Ванюша, урывая секунды, пишу тебе. Спасибо за добрые пожелания ко дню моему. В ответ на второе твое письмо я не теряя минуты, села за работу и не отрывалась

---

[i] Усилитель (*от фр. amplificateur*).

от нее до сего дня, отставив даже свое «рождения празднование». С утра, не разгибаясь, до темна сидела над программами. Не было лучшей бумаги, но ехать в Утрехт было бы роскошью — расточением целого дня. Шлю тебе сегодня 10 шт., — больше не могу. У меня же ремонт!! Я должна перетаскиваться из комнаты и в комнату. И вообще трепка предельная.

А теперь о главном, и прошу серьезно и с уважением вникнуть:

Я делаю эти программки только *для тебя*, ни в каком случае не желая своего сопричастия и соучастия в каком бы то ни было деле анастасьевцев. Это чтение устраивают прихожане анастасиевского толка (с о. Леонтием[870]).

Спрошу тебя: если бы в Париже г. Каллаш[871] или Лосский[872] устраивали вечер в пользу туберкулезных детей, и митрополит Серафим попросил бы меня помочь им[873]. А я бы обратилась к тебе с просьбой прочесть что-либо на этом вечере... что бы ты сказал?? Для меня Анастасий — под судом находящийся иерарх, запрещенный, смутьян. А ты еще собираешься вслух объявить мое имя в связи с программами. Я настоятельно прошу-требую, чтобы, если ты будешь предлагать эти программы в Женеве, никаким полсловом не было обмолвлено мое имя. Я даю эти программы *тебе*, не желая знать, куда ты их дальше передарил. И это — самое крайнее, на что я иду. Мое желание — дать их для твоего чтения в Цюрихе, а если *ты* так определенно хочешь их пустить на это чтение, то сделаешь это самолично, без моего к тому желания. Я просто закрываю глаза, куда ты их определишь. Потому никаких объявлений о «художнице в Голландии» — быть *не* может!

Я не хотела сперва посылать их к сроку, но делаю это, дабы ты не подумал, что я из лености или из невнимания к тебе просто «опоздала». Потому шлю, но полагаюсь на твою совесть, что ты меня никак не сопричтешь к о. Леонтия начинанию. Детей страдающих о-чень много... Но не дал бы ты ни гроша на... например сирот Сталинграда? А я бы с радостью дала. И не глядя ни на что, т.к. не власть, а *их* отцы умирали за мою Родину. А отцы «швейцарских» детей «д. р.» — входят в коалицию с врагами моей Родины. У Анастасия много денег из Америки. Не сердись на меня, — так чувствую.

Письмо Ж. Кеннану я все же (и без задержки!) послала, сохранив копию. 9-го июня не было никого, даже Сережу «отставила», — сидела за рисунками. Ты, конечно, наверное удивишься: «чего так долго делать?», для тебя «разбросать» цветочки, «бросить» тот или иной мотив... Но это не так. Если «блинами» печь, — то одно, но если хоть чуточку

приличное дать, — это: другое. Вышло у меня далеко не то, что бы хотела. Да и знаю, что тебе все равно не угожу. Никогда еще и ничем не угождала. Всегда горечь. Ты не оценишь ничего из этого: ни этой спешки-горячки по одному твоему приказу, ни того, что я все бросила в самую трудную у нас пору... Ты, мне кажется, даже не представляешь, к а к о е время я переживаю. Люди вчуже-то поражаются, как еще я тяну. Для меня у тебя особая мерка. Все — плохо у меня. Я не смогу конечно быть ни в Женеве, ни в Цюрихе к этим срокам. В Цюрих все равно бы не поехала. А о том, как И. А. ко мне относится, — я не думаю, т.к. мне это абсолютно безразлично.

[*На полях:*] К сожалению, я не смогу тебе наверное послать цветов в Женеву... для этого надо в Утрехт, а я прикована сейчас к дому. Обнимаю тебя, солнышко. Желаю успеха. Оля

Перешли папку мне обратно, она мне очень нужна: картона здесь нет.

204

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

16.VI.48
3 ч. дня Geneve

Оля,

Только что взял с почты-таможни пакет с акварелями (десять картин). Чудесно-нежное! Глубокий поклон за подвиг-жертвенность!

Верю: движение сердца в е р н е й, полней и г л у б ж е слов, доводов. В с е понимаю. В с е б у д е т исполнено т о ч н о и бережно. Глубоко растроган, хоть и — б о л ь н о. Но и — с в е т л о. Все мы — в ошибках; но в р е м я исправит и укажет. Время — то же познание. Да будет!

Подробней отвечу после 17-го. Делаю — сверх сил, — последние дни недомогание, упадок сил, — м. б. сдали нервы. Да и боли... Благодарю. Жизнь да обрадует! Она умеет — втайне — п л а т и т ь. И. Ш.

205

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

18.VIII.48

Милая Олюша,

Прибегаю, в отчаянии от недуга, от этих ужасных «почёсов» глаза, правого, за глазом, округ глаза, — лоб,

правая сторона носа, висок... — усиливающихся всегда перед и во-время непогоды, — теперь даже и ночью... — и это 3-й год!.. — со 2-го дня твоего приезда в Париж. Это, думаю, и на нервной почве, и простуда... Никто, ничем не может мне помочь. Я был, кажется, у 8 докторов-докторш... — ни-чего! Ни витамины, ни мази, ни... — все впустую. Один мудрый определял: «невралгия кожных нервов». Ясная, установившаяся погода... — легче. И вот, со стесненным сердцем... — ибо я уже много раз взывал к *тебе! — вынуждаю себя — ! — снова просить тебя: сама не* езди, а напиши твоему гомеопату, что я тебе написал. Я верю, что он найдет средство, а я строго последую его предписаниям. Правду сказываю: уже стеснительно тебя молить... — ты уже совсем безразлична ко мне. Но в таком и чужому человеку нет — по-моему! — духу отказать. М. б. ты и не откажешь мне?.. Не для меня надо: для моей работы. Ты и моей работой уже не трогаешься, никак и ничего и знать-то о ней не хочешь. А я работаю... и много. Ты уже где-то... не по сю сторону, где страдают, и не по ту — «железного занавеса», где сугубо страдают, а как-то нейтрально... Ты сейчас же протестуешь... знаю. Но ты и сама себя не знаешь. Устала ты и обезразличилась..? Ну, оставлю. Ты — другая. И о докторе я обращаюсь к тебе, как лишь... к обычной читательнице, чуть знакомой... — такое у меня ощущение.

Ты ничего ясного не ответила и на мое предложение художественно оформить будущее издание «Куликова поля». Ты никак не определила своего отношения, — а — та-ак, мимо... А мне надо решать с этим. Отклонишь — скажи ясно, и я почту себя свободным решать. Я тебе все сказал, и указал «буквы» заглавные. И просил о заставочках. Обложка... нет, я не настаиваю, обойдусь без нее. Я уже ожегся на «акварельках», проглотил обиду... — про-шло! Как-то помогло доброму делу... — ты вон и детишек-то поделила... — думал ли я когда, что так себя проявишь?! Правду говорю: у меня пропадает воля писать тебе. Ты — утонула... я тебя уже не слышу. Думаю, что спешка «печататься» — ошибка[874]. Нельзя слушать доводы «любителей»: надо осторожно делать первые шаги... Вдумайся: не пустое ли это «поползновенье»?

Нельзя «играть в искусство». Ну, твое дело. Ты легко самоудовлетворяешься. Искусство — великое пытанье... до страданья. А не тяп-да-ляп. Я тебе писал о твоих дарах, но я и советовал — быть строгой к себе. Ну, твое дело.

Ты снова скажешь — «охлаждаешь», «парализуешь волю»... Нет: я хочу выбить подлинную искру в тебе, я повторяю: «надо уметь терпеливо учиться», не поддаваясь соблазну, всегда — не доверяя себе и — дилетантствующим. Ты стала избегать — спросить и моего мнения о твоем. Ты... боишься моего суждения? Восхищенная своей неудачной — решительно неудачной! — сказочкой с... «Лан» — дышем... ты почувствовала себя почти напрасно-обиженной, когда я тебе написал, что надо переработать... — я помню. Но я помню также, как я отмечал иные твои этюдики, хотя бы «Яичко». О, какая огромная работа нужна — стать писателем подлинным! Ты прошла мимо моих советов и содействия, — твой приезд в Париж — пропал, в этом отношении. А ты могла бы кое-что узнать. Ну, это отошло...

Мне снова отказали в туристической визе, — и в Париже, через И[льину][875]. Без указания мотивов. Теперь для меня ясно, кто тут «работает» и — чем: те, клеветой[876]. На днях я поставил вопрос ребром, и уповаю, что клевета будет опрокинута. Как — это мое дело. За право личной свободы, моей, бьюсь я.

К[еннан] из Вашингтона — никак не отозвался. Даже не ответил мне: это определяет емкость души. С сухостоя не собирают плода. Но я не складываю рук, я добиваюсь моего права ходить по свету. Думаю, что снова писать такому — безнадежно, как — от мертвого ожидать дыханья. Мне досадно, что я и тебя невольно поставил перед «невежливостью», не перед обидой... нельзя обижаться на комариный укус.

Я неспокоен, и мое письмо может показаться тебе суховатым, растрепанным. Ты извинишь меня, хочу верить. Ожидать тебя сюда — не надеюсь. Ты уже давно вне меня, вне моего. Это мне вполне ясно. Итак: последняя просьба о средстве гомеопата. Уж прости за докуку... — последнюю.

Твой В.

206

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

29.XI.48 Женева

Милая моя Олюша, едва в силах писать. Лежу. Эти 2 мес. лежу по 18—20 ч. в сутки. То крайняя слабость, то напряженное дрожание в руках-ногах. Почти все время го-

ловокружение, как легкое онемение. Теперь хоть аппетит возвращается. 5 суток закупорился кишечник. Теперь прошло. Внутри — как паровоз под парами — мелкое дрожание. Никакой охоты — ни читать, ни писать. Но ночами — много дум. Мучила бессонница, не спал по 2 суток. День в ночь, ночь в день. 6 недель аккуратно принимал гомеопатические крупинки. Не только ни-чего, а, думаю, это еще ухудшило общее состояние и усилило язву. Крупинки оставил. Докторша (русская швейцарка), отличная, назначила уколы против язвы (larostidine) — 15 уколов. Сделано 11 пока. Болей нет. Лучше с язвой. Только вот странно сушит во рту. Еще назначены — уколы «Pernaemon» (вытяжки из телячьей печонки, голландское средство) — 2 укола в неделю. Сделано пока — 3. Одна ампула в 2 [centimètre cube] будто бы содержит субстанцию 1 кило телячьей печенки! Это — для восстановления питания. Словом, я — ни-ку-да! И гнетет неопределенность. Визы не дали. Ни-куда теперь не хочу, только — в свою квартиру, на Boileau. Я уже распорядился: никак не сдавать квартиру! Я ее держу вот 11 мес. Она меня съедает. За эти 11 мес. я истратил на все свыше 3 тыс. швейцарских франков, т.е. более 300 тыс. французских. Долго так не могу. Все гонорары за издания в Париже съедает квартира и налоги. Здесь месяц обходится 240—250—260 франков швейцарских. Что же мне тут?! Возвращаюсь, что Бог даст, в начале марта. Так и написал Юле. Она бьется. Я не могу жить здесь, на отшибе, все запустил. А временами так хочется работать. Надо закончить скорей, все. Написать письмо — большое усилие, а и на свет Божий не хочется смотреть. Если бы ты поняла мое физическое и душевное состояние, ты бы не пеняла бы, что не пишу тебе. Ни-кому не пишу, даже деловых писем. Все стоИт! Очертело. Помирать хочу у себя. До-воль-но! Многое во мне рушится, страшно написать. Сам все рою, подрываю... самое основное! Трагедия!.. Не уйму своего — «Скальпеля», ре-жу... да еще себя задорю. И все летит... Страшно! Кто же это писал все мое?! За меня?.. Другой я?.. Ты ужаснулась бы моего «оголения». Бо-га в себе рушу! И — не страшно. Страшно, когда думаю: что же останется-то?! ... А тут, как нарочно, читатели шлют признанья! Если бы они знали!.. О, как одинок я!.. Но — терплю. Вот, и ты... — кто, что я тебе?! ... Но я уже привык. Так, один и завершу путь. Конец близко. И мне совсем все равно — дальше. Нуль? Пусть. Да, кажется, и нет ничего, кроме обмана. Самообмана. Люди изловчились на этот «самообман», привыкли. Но я его разоблачаю

в себе. Неужели я разломаю и «Пути»? Они — тоже самообман? Искренний, но... самообман. Мигами вижу, что ни во что не верю. И — плевать. Не могу иначе, значит. Я поставил резко-прямо вопросы Карташеву... и — получил... ужасающее письмо: он должен был раскрыться — и — ничем не мог прикрыть «голоты своей».

Иван Цолликонский... тот... отшутился, пессимистическим афоризмом-софизмом[877]... — не-че-го ответить! Возится со своей депрессией, давлением. — У лучших нет ничего! Что же говорить о..? Вера детская?.. Она мне не-нужна!.. Сколько лжи накручено! назолочено пилюль! Я пойду до конца. Все раскромсаю в себе. Не смогу найти? Значит — этим и утрусь. Вот те и «образ-подобие»!..[878] Прощай, сказки!..

Прости, не могу, устал. Если будет воля — окончательно-то не порывай... с... «пришедшим» к ZERO... хуже: к полному опрокидону*.

Живи, дерзай, если можешь. В.

И все-же — я для чего-то тянусь... лечусь...

207

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

4.XII.48

Дорогой мой милый Ванюша,

Твое письмо упадочное я получила вчера и все время нахожусь под его давящим впечатлением. Хочется только одно верное сказать тебе: призови Господа, сходи в храм, выпей воды святой и будь благостен.

Сомнения всех обуревают в той или иной степени, они могут мучить, измучивать даже душу. Искание свойственно всякому, и кто им не был одержим? Это приходит и родится в самой душе ищущей, но бывает и другое: дьявольское искушение. И это страшнее. Я боюсь, что у тебя последнее. Когда ищут, добиваясь правды сами по себе, то могут утомляться, могут страдать, но нет того, что я с ужасом почувствовала в твоем письме: какого-то «бесчинственно-озлобленного озорства». Не сердись, но такое от письма впечатление. И это НЕ ТЫ! Не ты так думаешь, не ты так и пишешь. Это «он» радуется, что задел-таки твою богоносящую душу. Ты м. б. скажешь, что я шаблонна, но, нет, это именно так и есть. Дьявол избирает себе с большим на-

* но небытия — не страшусь. При-нял.

слаждением именно таких, как ты. Даже иереев во время совершения Таинства Евхаристии. Это же известно. Самого Христа искушал дьявол! И еще одно важное: по себе знаю, не говорила тебе, как и никому, кроме исповеди, — а именно, что в такой протестантской стране как Голландия, с их оголенным рассудком и вылущенным сердцем, с их бесцеремонной реформацией[879] и почти что оплеванием Креста (да, да), с их издевкой над почитанием икон и т.п., я как нигде тяжко страдала одно время самыми нелепыми мыслями. Я сама, как бы уловив волны атмосферы их, почуяла, что это от окружающей меня сферы. Швейцария — то же самое. Ты какой-то «антенной» души поймал эти волны. Мне это очень понятно. А дьявол радуется.

Ты пишешь: «лучшие не знают, что ответить». Кто и почему «лучшие»? Карташева я не знаю достаточно, но к Цолликонскому в вопросах веры никогда бы не обратилась как к авторитету. Он же только голова. Меня очень часто коробило и коробит от его религиозной установки. Ведь он только трактует О вере, О любви, О жертвенности, О подвиге и т.д. и т.д., но *сам* никогда не исполняет ничего из своих рецептов. Он поставил себя на особое в мире место, далеко над всеми людьми. Ему — Бог, не тот Бог, что учит Церковь, а Бог — соравный. Да, да! Уже не говорю о том, что он «раб Божий Иоанн», — о, нет, но он даже и не «сын»[879а]. Иван Цолликонский мнит себя «со-Богом». Нет более жуткого для души, как гордыня. А Цолликонский — олицетворение ее. Спрашивая у него о вере, ты должен был бы знать, что у него-то вся его вера — одно его собственное построение ума, разумная вера, тогда как в деле веры говорит только сердце. В Голландии, как и во всей Европе (я всю свою Родину вижу в Азии) сердце давно пропало. Их религия ничто иное как «учреждение рук человеческих», норма жизни, рамки в помощь к полицейским мерам воздействия на мораль народов. Там все иссохло. Верит ли И. А.? Не знаю. Но знаю, что он будет трактовать о вере, так же, как трактовал о сочиненных им же «гамбургских письмах», одурачивая простяков доверчивых, в числе коих, впрочем, долго была и я.

У этой умной, большой головы с значительным привеском в мозгу можно спрашивать о всяких философских построениях, но в деле веры.... он будет «жонглировать» своим рассудком. Каждому дано свое.

Нам не дано познать рассудком Божество и Его тайну, но так же не дано и доказательство Его небытия. Детской

веры тебе «не надо», как ты пишешь. Это твое, конечно, дело.

Я бы с горечью сказала, что с течением лет она, эта чудесная вера, поистерлась, но мне этого только жаль! И если можно было бы ее вернуть, то никогда бы от нее не отвернулась.

«А я еще себя задорю...» Это, Ваня, *не* искание Бога и правды, это — озорство (прости меня). И избави тебя от этого Господь! Это именно от нечистого. Не обращай внимания, проходи мимо, как мимо лающей собаки, — утихнет. Это мне о. Василий[880] сказал. И успокоил. Что касается меня, то я *знаю*, что есть Бог и Его Святой Промысел. До жути и до душевного опаления я это переживала. Последнее — после операции. Это мой опыт. Для меня несомненный. И за это одно, я благодарна, что операция была, и что через нее мне открылось. Со дна отчаяния, без всякой потуги с моей стороны, без призывания этого опыта, — я была только пришиблена и ни о чем особенно духовном не думала, так что «самовнушения» быть не могло, — меня посетил Господь. Я не хочу касаться этого, т.к. такое нельзя говорить. Я для себя знаю. И в жизни... если вглядеться, — все было Его водительством. Это не фраза.

«Небытия» и я бы не страшилась. Уйти в небытие совсем не так уж страшно. Наркоз — и ты ушел, и все пропало... Но после смерти будет ведь не то... Именно не небытие ужасно, а то, что будет. И оно будет. Я знаю, душой и сердцем знаю. По непрервавшейся связи с папой знаю, что будет. И по многому другому. Я не прислушиваюсь к рассказам непроверенным о «чудесах» и т.п., ибо это о-чень опасно, но *есть*, есть вещи, которых обойти нельзя. Я отцу своему покойному, праведнику верю. И знаю от него, что бывало. Жутко становится, когда вот так столкнешься с живым и непреложным подтверждением Бога, пребывая в своей нечистоте. Папа не был ни истериком, ни мистиком, о слышанном и виденном он никому не растрясал, но сам знал, и те, кто мог и должен был принять.

Я не хочу и не стремлюсь ничего из области веры коснуться разумом... это все равно невозможно. И к чему? Разум же «открыл», разверз пучину. Подумай! Сердце, любовь и вера не открывали атомных бомб (во всяких смыслах). Разуму дано разрушать.

Для того, чтобы познать Бога нужен какой-то свой духовный опыт (если детская вера уже ушла), а остальное все — не нужно. Веришь, почувствовал, что Он, Единый и Благостный твой Создатель? — И приклонись к Нему. И

прошепчи: «Верую, Господи! Помоги моему неверию!»[881] И правда же не важно, что тебе Цолликонский на прочее ответит и сколько херувимов усадит на острие иглы. Такие разумники этим занимались (во смущение неискушенных душ). И разве можем мы себе все объяснить и все представить?! Оставь, не все ли равно, как сотворялся мир, как был изгнан Адам из рая, и был ли рай, и где, и что нас ожидает... Все познаешь. Все раскроется. Все истина, ибо *ОН* — есть! Не думай, и не кромсай себя. Ты не найдешь ответа. Уму ответ не дан. Только сердцу.

Карташев и Цолликонский — лучшие, по-твоему. Кто эту лучшесть смерил? Я знаю лучшего, действительно лучшего. Профессор богословия, философ[881a], не меньше цолликонского Ивана... И в Вере — камень. Вот он был «лучший». И как он ставил душу метущуюся на свое место. Умнейший, образованнейший, с неколебимой верой. Всегда я на него смотрю душой. Разве чета он нам — невеждам в духовном смысле! Ах, да разве их мало!

Какое построение ума не разлеталось? Примеров много: теории о формах Земли, о ее верчении, о том же атоме. И кто знает, не рушится ли и астрономия, не полетят ли и прочие науки? Давнишние учения. Дарвин[882] шумел, — теперь его опрокинула биология. А уж почти что были мы хвостатыми. Возьми у разума свой скальпель и благостно проси помочь Господа! Этим начала, этим и кончаю! Господь с тобой! А я к тебе все та же Оля! Жаль, что бросил лечение. Ухудшение есть доказательство того, что попало в точку. Я тревожусь твоей болезнью и всей твоей мукой. Обнимаю. О.

P.S. Прочла на днях один голландский роман, специально купила эту книгу, как «гениально изображающую жизнь голландскую и быт». Так стояло в каталоге, который мне присылает регулярно издательство. Так и называется: — «Голландская драма».

Взяла, чтобы проверить себя, свои впечатления, чтобы не «просыпаться» в своих писаниях.

Прочла. До ужаса подтвердилось все, что своим горбом познала. Какая бездна, какая гибель. И почему?

Потому что ушла самая животворящая сила из жизни их — любовь и вера. Все герои церковны, Библию знают наизусть. До геройства помогают ближнему, но... не из любви, а по долгу. Все — долг. И Бог у них не благостный, а карающий, какой-то деспот. И Библия какая-то страшная книга. И всюду и везде страх. Страх греха. И всюду о грехе, и всюду желание праведности, но... не по горячности

сердца, а потому, что так Библия велит, закон, долг... Все осознанно, все оформлено, все в рамках. И эту суть Голландии (а с ней и прочих стран) никто не осознает, не окунувшись в ее толщу, живя только в эмиграции.

Нет непосредственности сердца. И так во всем: в быту, во взаимоотношениях молодых людей, в браке, в религии. Стремясь к совершенству (из страшной гордыни) герой кончает поджогом воспитавшего его дома и сгорает в нем и сам. Характерно, что они здесь все ненавидят ту «клетку», из которой произошли. Все хулят свой дом, родителей... Хулят и пожирают сами себя. И все это под знаком мрачной религиозности. Кальвинизм им на каждом шагу зудит: «недостоин», «то нельзя», «другое не смей», «кара Божия» и т.п. Их мрачность духа сказывается на всем быте и не может не отражаться и на других. Что может прийти в душу, когда (из книги) старушка вечера проводит с «кофейным огоньком»* — (это не больше того света, что отбрасывает поддувало самовара) и передумывает в тысячный раз Библию о своем несовершенстве. Они угрюмы, молчаливы, замкнуты. А Цвингли[i][883] разве был лучше?

Материала у меня для работы масса, но возможностей почти нет. И душевной и физической. Я тоже не на высоте. Не знаю, что и делать. Страдаю от того, что не делаю. Душа же моя размотана, и вся я разбита. Много проблем, много забот. Ну, да что обо мне-то! Голубчик, будь же здоров и бодр.

208

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

9.XII.48

Дорогая Олюша, пишу п о к а, — надо. Пошлю заказное, — чтобы сказать: чудесно письмо твое! В с е я знаю, но ты вложила ум сердца. Верно, четко об Иване-Цолликонском. Лучше нельзя. И это знаю (случай с электрической лампадкой), но ты остро отметила. Под богословом разумею покойного А. А. Овчинникова. Дорог мне твой личный опыт, я тебе верю. Я тоже имею свой опыт. Мне лучше. «Срыв» мой мне ясен: обдумывая 3-ю ч. «Путей» я должен был воплотиться в атеиста доктора Ловцова, у с в о и т ь его апологетику «небытия» Б . . . . — и — зара-

* Из долга экономить центы. Вся жизнь их — неприятный долг... Обязанность.

[i] В оригинале: Свингли.

зился! Но главное: я обессилил, от недоедания (отсутствие аппетита) до головокружений. Теперь хочу работать. Ты меня освежила мыслью и сердцем. Ты — чудесно излилась. Теперь знаю: скучал по тебе, и это ухудшало все во мне. Письмо отличное. Напиши о здоровье, что делаешь. Это несбыточно... но как бы хотел тебя увидеть! Меня окружили заботами... и это смягчает мое полное одиночество. Сколько накопилось писем, сколько планов! Хочет приехать навестить Милочка Земмеринг, из Мюнхена. До скорого письма. Твой бедный В.

209

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

12.XII.48

Ванюшенька мой дорогой, спасибо тебе за открыточку, известившую меня, что как будто бы душевный твой «срыв» к концу пришел. Дай Бог, чтобы и здоровье твое улучшилось. Я была у гомеопата, но он не дал никаких указаний, потому что ты его лекарства оставил и принимаешь другие. Будем верить, что хорошая докторша тебе поможет. Я лично очень верю в гомеопата, и после сильного обострения всех симптомов у себя, продолжала принимать крупинки, т.к. это обострение часто бывает как указатель на то, что диагноз правильный. О своем здоровье не хочу писать и тратить время, т.к. все явления не что иное как все продолжение причин, вызвавших когда-то и болезнь почки. Все дело в крови, и в этом направлении доктор и работает. За последнее время по крайней мере хоть мигреней нет, а то я очень страдала ими опять, как раньше. Из отпуска своего я вернулась совсем больная, а теперь лучше. Но об этом так скучно. Все мое существо занимает, вернее мучает, разрывает, манит и влечет искусство. Я очень страдаю от того, что не работаю, или почти не работаю, боюсь «дерзать», страшусь, что смогу дать только уродство вместо прекрасных образов, живущих в душе и сердце. Но главное, главное-то и не это даже!

Я снова рвусь на части между двумя силами, которые меня тянут в разные стороны: это перо и кисть. Мне было покойно летом и осенью, когда я, как я сама выражалась, — «была в отпуску у живописи». Охота к ней «спала», и я мечтала вплотную писаньем заняться. А вот сейчас не могу больше и кажется первое, что начну, это запоем рисовать. Именно рисовать, углем, карандашом, мелом. Меня зовут формы. Это чистое несчастье для меня...

Все, что хотела высказать словом и не высказала из-за суеты, недостатка покоя, времени и прочих внешних причин, — все это требует своих прав, мучает меня, лежит на сердце. А я, как пьяница, или игрок, отдаюсь моей другой страсти. Да, живопись моя страсть. И вот теперь за месяцы «забвения» ее, она с новой силой схватила меня за ворот. Случилось это как-то невзначай: издательство прислало каталог книг, — средь них 2 о живописи, указатель «для будущих художников» техники акварели, а другая — масляных красок. Я заказала их. И вот не в силах больше ждать. Все, все мне стало ясно, я многое увидела из этих книг. Вся душа моя предана акварелям, автор книги меня совершенно окрылил, дал новые возможности, иное укрепил, я нашла подтверждения своим нащупываньям в потемках. Другой автор дал массу ценных указаний, общих сведений, заразил всем тем в живописи, что можно сравнить с настройкой оркестра перед поднятием занавеса в опере. Или с запахом театра для артиста.

Еще увидела я тоже, что много я зрелее тех, для кого писаны эти книги. То, что местами там «разжевывается», мне все уже родно, знакомо, уже во мне. Они много говорят о том, как важно художнику «видеть». А я так вижу, так вижу все... И оттого-то мучаюсь, что видимого-то слишком много, а я стою на месте! Ты понимаешь? Цвета и краски я так вот будто в руках держу... Эх! А время так уходит. И как это возможно совместить, чтобы работать красками и словом!? Да еще львиную долю «досуга» отдавать хозяйству, — картошке и штопанью чулок!?

И знаешь, самое страшное для сознания то, что я совершенно уверена, что в живописи ничего своего не скажу, что вся работа только *одно* чистейшее наслаждение в процессе самой работы. И вот для этого-то самонаслаждения я и краду скудные часы от своей другой работы, в которой (знаю) могла бы кое-что свое сказать. Пытка мне это терзанье.

Для одной моей работы необходимо прочесть кой-что о футуризме. И знаю, что коль начну, — *опять* застряну. Как-то ехала в поезде с мамой, — против нас две девочки школьницы. Одна хорошенькая с остренькими черными глазенками. Другая... ах, эта другая! Нет, не красавица, но все в ней обаятельно, от разреза глаз до тонких розовато-белых пальцев. Она чуть золотисто-рыжеватая с чистейшим тэном. Глаза удлинены особенным каким-то «волнистым» разрезом. Они зеленоватые, за длинными темными ресницами. Брови очерчены не ярко, но придают лицу особенную какую-то нотку. И рот! Немного полная нижняя губка, не яркая, но полна еще детской свежести и задора. Нежные,

маленькие ушки... И совершенно «божественные» руки. Ах, какие пальцы. Когда она касалась ими пышных волн волос, — нельзя было оторваться глазами. Я кажется ее смущала своими наблюдениями, но мне безумно хотелось знать, кто она и где живет. Случайно раскрылся ее ранец, и на крышке я успела прочесть имя ее. Сошла в Woerden'е. Представь, я узнала все о ней. Это младшая дочь одного купца (мануфактура). Действительно, есть у нее фамильные черты со старшими детьми, обслуживающими в магазине, но куда им с ней тягаться! А старшая — учительница, говорят, красавица, настолько, что оборачиваются прохожие. Не видала. Почти что непреодолимо хотелось бы написать портрет моей школьницы. Вижу ее в темном бархатном обрамлении (м. б. в зеленом)... с большим тонких кружев воротником... Вижу ее в тонах старинных мастеров... ну, Тициан... Боттичелли[884]... Однажды, идя с собакой в Woerden'е, я почувствовала чей-то на себе взгляд, — обернулась и лицом к лицу столкнулась с ней. Она смутилась и отошла. Я чуть было не предложила ей позировать, но слава Богу, удержалась, не успела, не решилась. По всему городишку пошел бы трезвон о M-me Bredius. Этого еще не доставало. Но как мне хочется! Стоит эта девочка перед глазами. М. б., когда «пройду» технический курс масла, — все-таки отважусь. Но жаль бывает ждать. Как и в писании, от долгожданья бледнеет образ. Уходит непосредственность и свежесть. Лучше всего работать свежо, сразу, «под шампанским». По крайней мере у меня так. Я все хочу тебе послать законченный один рассказ, т.е. пока что законченный. М. б. я его еще перекромсаю. Не утомит тебя, если пошлю? Ты так перегружен, но мне бы очень хотелось узнать твое сужденье. Черкни, тогда пошлю. Очень жду твоего письма. Если не очень утомительно, то пиши ради Бога чаще.

Ванюша, ты пишешь в открытке: «под богословом разумею покойного А. А. Овчинникова». Это об И. А. Я не поняла этой фразы. Думаю, что ты неверно представляешь себе моего отчима. Он был человеком целиком зависящим от сердца. Умный и способный, он был вовсе не от разума. Для всех в высшей степени доступный, всех считавший «прекрасными людьми», действовал он всегда по первому порыву сердца, что нередко ему стоило и разочарований и неприятностей. Одним словом — антипод И. А. И. Мой отчим был очень честен в своих взглядах, убеждениях, исканиях. И найдя то или иное, открыто и исповедывал. Был прям и часто поэтому резко говорил правду, никогда не желая кого-либо задеть или обидеть.

Ну, дорогой мой, неоцененный Ванечка — светик, будь же бодр, поправляйся! И напиши (не утруждая, впрочем, себя) твоей О.

Господь да поможет тебе во всем!

Обнимаю. Оля

Прости, милушка, что письмо задержалось, — не выходила из дому и была целиком занята.

210

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

31.XII.1948 Женева

Родная моя Олюша, я все еще немного слаб, хоть и принимаюсь за писание.

С Новым годом — тебя, Александру Александровну и Сережу. Да будет он вам во всем благоприятным! А тебе, особенно, — здоровья и покоя душевного. От всего сердца. Я перечитываю твое письмо, о моем «бунте». Этот «бунт» — от моего, временного, перевоплощения в атеиста, при обдумывании 3-й ч. «Путей Небесных». Невольно стал невером, усваивая апологетику невера. Так часто со мной... Недуг мой, «зуд», — невыносим... — 32 мес.!

Думал о твоем последнем письме. Слава Богу, ты живешь в творческом воздухе. Понимаю твои колебания. Но — помню: надо выбрать. Думаю, что твоя главная тяга — к краскам. Отдайся им. Это не помешает тебе, в свободный час, писать и словом-образом. Если будут деньги, пошлю тебе некоторые книжки-иллюстрации одной русско-швейцарки[885], оказавшейся моей читательницей, как вся ее семья. Она звала меня к себе, во Fribourg, но мне трудно, часто лежу. Олюша, возьми крепко себя в руки, (выбирая путь: слово или краски) и следуй им. И не бойся петь: ты юна, у тебя в запасе лет 30—35. — По-мни, что ничего не утрачено. Но и не откладывай.

Теперь я знаю, что меня спасла от смерти (незаметной) одна здешняя докторша — русско-швейцарка, вовремя, помимо меня, позванная. Я бы уснул, незаметно: предельное истощение, предельная анемия. Истощение, почти что не было никакой охоты к пище. Сердце едва прослушивалось. Ныне я крепну. И уже — пробую писать. Более 3 тыс. страниц корректуры и верстки. Я работал, лежа, в полубессознании, не чуя, что — схожу на-нет. Опоздай лечение дней на 7—10, — было бы невозможно поставить на ноги. В мои годы такое состояние слабости — бывает роковым. Ну, было-кануло. Не спрашивая меня, пригласила

докторшу жена одного русского ученого, живущая — пока — здесь же, у mr. A. Risch, моя верная читательница[886]. Она же мне готовила (теперь она мечется по Ривьере французской, отыскивая sanatorium для своего сына — безнадежного tuberculeux[i] (39 л.)). Это — Святая. Швейцария мне кое-что дала — узнать исключительных людей, себя отдающих другим — несчастным. Так, на моих глазах возникла здравница, для сирот в забросе[887]. Она, маленькая, на 8—10 чел., делает великое: дети-заморыши — крепнут, на глазах, за 2 мес. набирая до 6 kg, цветут. И я счастлив, что мог хотя немного помочь, читал публично[888]. И — ты, родная моя.

Да благословит тебя Господь! Милая, — очень прошу — не тянись что-то послать мне: это очень трудно. Да и все есть у меня. А цветы — через 3 дня гибнут. Ты пошли мне как-нибудь цветок, тобой сотворенный, — я буду праздничный. Тебе я послал — 21-го еще — маленькую посылку, сладкого. Погрызи, думая обо мне.

Обдумываю статью о Достоевском[889], заказанную цюрихским издательством. Работа ответственная. От Ивана Цолликонского — давно ни строчки[890]. Как ты в е р н о его изобразила! Ты писала: из «"лучших" я знала одного, (богослова) человека крепкой, как камень, веры...» Я и подумал, что говоришь о проф. А. Овчинникове. Твой папа был тоже — крепчайшей в е р ы. И он — «лучший». Слава Богу, ты получила радость — узнать л-ю-дей, крепких, Православных. И твой духовный опыт — богатый. Я во многом согласен с тобой. Но «черта» не хотел бы чувствовать в моем «бунте», хотя... о н — думаю — реальней реальности. О н ныне воплотился дерзновенно. Мог и мое зацепить. Но ч т о я — для него, — мошка! И на зуб не возьмет. Хотя... как-нибудь помешать «писку» моему. Ему ныне — велика трапеза, во всех народах, и, главное, в их вождях. Мир — в трагической — безысходности. Вот и 49-й — 7x7, пифагоровы «семерки». Чем разродятся? Думаю — еще продлится разложение.

К теплым дням думаю — в Paris. Довольно «дорог». Да и сил не хватит: много у меня пожирает сохраняемая парижская квартира. А там — что Бог даст. Невесело пишут оттуда, все п о л з е т. Но уже давно все сие. Бывшие здесь у меня дни — уныния предельного: такое одиночество! И — недуги, особенно «з у д». Попробовал penicill'ином. Никакой надежды свидеться с тобой... Но ты не забудешь меня,

---

[i] Туберкулезный больной (*фр.*).

нет? Скоро смогу послать тебе 2 ч. «Путей Небесных», «Богомолье» (1-ое издание) у тебя есть. 2-ое без изменений.

Слава Богу, день прибывает. Но я-то — убываю. Сего не минуешь. Слава Богу, душевно-духовные силы еще свежи. Могу думать, воображать.

Господь с тобой. Вспомни, глядя на елочку. И у меня, кажется, будет... и я вспомню. Поздравляю тебя, роднушечка, с Праздником Рождества Христова. Да будет в Нем — Свет душе твоей. Твой Ваня

211

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

10.I.49

Милый мой, родной Ванюша,

Ну, к чему ты так балуешь меня! Сегодня твой пакет со сластями. Спасибо, солнышко! Но, не делай этого, — у нас сласти свободны и сняты с пайка. Как ты провел Рождество? Как твое здоровье? Я о тебе много, много думаю. Ужасно, что ничего не в силах сделать. Я всем сердцем у тебя, но какой в том толк! Спасибо, что милые люди заботятся о тебе там. Получил ли ты вовремя мой привет тебе? И что они принесли? Я просила корзину с гиацинтами или белую сирень. По нашим масштабам мне показали очаровательные вещи, но по пути, конечно, все это распылится по карманам посредников. Была ли елочка у тебя? И кто были из друзей? Хотя я никого там не знаю.

Мы тихо провели праздник, без церкви, — и это очень больно. Поп наш совсем дрянь. Сперва были голландские праздники, потом Новый год, потом свое Рождество Христово, — теперь я дала себе слово заняться трудом. Хочу и верю, что осуществлю, завтра сесть за работу плотно. Сложно это, т.к. холодно. Надо топить комнату, а дров мало, их только пилить еще надо, сырущие. Но ничего. Надо себя присадить, а там само пойдет.

Ванюша, дорогой мой, ты по старому стилю начинаешь новолетие, — от всего сердца желаю тебе всего самого доброго в новом году. Будь главное здоров, об этом всегда молюсь. Радости и сил в работе желаю тебе, потому что в этом твоя жизнь. И устройства жизни твоей молю у Бога. Больно знать тебя где-то в путях, на распутье. М. б. Boileau-то еще приятнее всего, более свое. Но не знаю и ничего не советую. О многом бы хотелось с тобой поговорить.

В эту субботу в самой большой голландской газете[891] была статья под заголовком (буквы коего по 3 сантиметра,

дабы бросились в глаза многоликому субботнему читателю): «Русские не изменились в веках» и подзаголовок: «Ничто не изменилось со времен царизма». В статье приводятся выписки из писем и записок иностранцев с девятисотого года и по сие время, т.е. за 1000 лет. Много гадкого, всего не привести тут, но вот, например, кое-что:

«Русское гостеприимство не что иное, как благовидный предлог лишить иностранца свободы, и даже для самого обеспеченного иностранца эти приемы русских невыносимы. Под видом так называемого гостеприимства русские занимают все время гостя, лишая его свободы действий. С приездом в Россию вы должны с паспортом отдать и свою свободу».

Дальше: «Русские никогда никого не побеждали, предпочитая количественность войска его храбрости и качественности». Еще: «Русские внешне все безобразны». И т.д. и т.п. Все эти замечания делались до 1900-х годов. Только M-me Stael[892] заявляет, что «несправедливо Россию называть варварской страной, и русские — самые хорошие люди во всем мире». Но за это газета и относится к ее словам с легкой иронией. Дескать: «Что же с нее, M-me Stael, и взять?» Отбросив маску неприязни якобы к режиму и коммунизму, газета цинично порочит русский народ и его сущность, как таковую.

Вспомни мои слова в 1946 г. в Париже. Уже тогда кое-кто об этом проговаривался. Помню, как многие из твоих знакомых тогда готовы были бы отшатнуться от Запада, да только не решались мне поверить и все уверяли: «Да что Вы! Не может быть!» За помощь Маршалла[893] наши лижут пятки у Америки. Помоев и всякой нечистоты вылито на Россию масса. На все и на всех. Смысл тот: «При царях были дикарями, да и теперь не лучше». Каково? Нет, милый Ваня, с ними мне не по пути!

[На полях:] Много я передергалась, читая эту статью. И нельзя сказать: «Пусть собаки лают». Нет, этот лай очень вредный. Вот еще погоди, чем г-жа Козенкина[894] мир удивит, закончив свои «мемуары» под крылышком только что принятой ею католической веры. Стряпня идет грязная.

Не хотела всего этого касаться, да очень уж больно. Но Бог Правду видит! Вырождающиеся нации, передвигающиеся на ходулях и ходулями золотого тельца поддерживающие свое величие, лопаются со страха и зависти, глядя на молодой, здоровый и сильный народ, стоящий косой саженью на собственных ногах. В этом все. Послушай одну только музыку англо-американскую, и тебя стошнит. Все — декаденство и уродство. А наши песни... Обнимаю. Оля

12.I Вся в работе. Работаю по 9—10 час. в день!

212

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

20.I.1949

Дорогая моя Олюша, твои рождественские цветы получил 6-го, в канун Праздника. Благодарю, милая, светло принял. Ты спрашиваешь, что принесли. Горшочек обливной, в нем три розовых гиацинта (из одной луковицы, после отцветения, показался-было еще цветок, но не набрал силы и уснул). В горшочке было 2—3 веточки «спаржи», что-ли, и обвязан был горшочек узенькой белой лентой, в бантик. Чтобы ты имела представление точное, — раз ты об этом просишь, — поясню еще: здесь хороший гиацинт стоит 2,75—3 фр. Ты совершенно права, что «по пути» расхватают посредники большую часть ассигнования заказчика. Это — ясно. Вот почему, чтобы ты не удручалась разочарованием, что твое искреннее желание — послать лучшее, — может и не оправдаться в итоге, — я просил тебя не посылать. Правда в прошлое Рождество, когда я только что приехал, принесли чудеснейший букет пунцовых роз... Но это случается редко, — удача-то заказа. Торгаши везде — те же — рвут. Но я принял цветы не по их внешности, а по твоему чувству, с каким ты их посылала (заказывала). Благодарю.

Очень прошу тебя сообщить № и дату — и название — голландской газеты, где была статья о «русском народе». Мне это нужно — для внутреннего моего, не для статьи, не для печати. Очень бы хотелось более подробное изложение содержания или — если это возможно? — полный текст, в твоем переводе.

Я отлично *знаю*, как нас все ненавидят (Россию!), боятся, завидуют (?!) и ни от кого не жду добра, тем более от американцев! На все самое гнусное, — не только способны, а — стремятся страстно это самое гнусное проявить, изничтожить, стереть Россию, — что вполне доказано — веками — их отношений к России. Того же мнения, конечно, и ты. То, о чем ниже изложу, не раз делалось во Франции — и это — до-ка-за-но! — что через советских посредников-маклеров (это прием — так называемой «дезинформации»). Но, в данном случае, можно (и должно!) предполагать, даже утверждать, что это — дело «советов». Статья, такая тщательная, — за тысячелетие истории, извращенной, понятно, — явно была заказана (голландская газета, по всей вероятности, и не предполагает; это делается — очень сокровенно!) и... конечно, через посредника

(агентов и денег — у н и х — сколько угодно, на все!) — всунуть в газету.

Иностранец (?!) не станет *так* обстоятельно-фальшиво — и так (да и где они, «русоведы»!) извращенно работать фальшивку (за *1000*-летие! Какое старание-то! Что *до* с е г о — Голландии!). Ты, конечно, улыбаешься и не согласна. Но вду-май-ся — и увидишь, м. б., почему я так предполагаю... Цель какая у «Кремля»? А вот. Уверен, что эта статья уже подана несчастному народу (по radio), размножена, — ее самые гнусные строки. С какой целью? С целью — раздувать ненависть к англо-саксам и, вообще, к «Западу» (и спаять народ с советской властью). И вот, смотри и по-ни-май, советский народ, как на тебя смотрят в с е т а м: тебя ненавидят, презирают, ты — н и ч т о, дикарь, раб, никогда не был победоносным, — ты не человек... — тебя так и хотят сожрать, тебя хотят стереть, исключить из ч е л о в е ч е с т в а... и взять твои — землю и богатства! Ты — животное. И если бы тебя не охраняла Советская власть, тобою признанная, («по здоровому твоему инстинкту»!) — тебя давно бы впрягли в ярмо, тебя изничтожили бы! (хотел Гитлер — м ы не дали!) А теперь ты — первый народ! ты — в такой броне, что никакие атомические бомбы не проникнут... (на них готовь-куй оружие!) мы ведем тебя... (уже раз привели!!) да, через испытания, но — погоди-увидишь! — ведем тебя к славе и торжеству над всем миром! Вот, для чего — в с е. И это уже давно. (Но сия игра в «любовь» — не удастся, уже не удастся.) Да, Россия в страшнейшей трагедии: и внутри, и вне — в-р-а-г-и смертельные, — всей России!.. Только м. б. Промысел изведет Россию из этой пещи огненной[895]. Запад... — я его всегда ненавидел, за его похоти и злые помыслы в отношении России... — не меньше, чем ты, Олюша. Ты это найдешь в моих книгах: «Няня из Москвы», «На пеньках», в «Russie» (во «Въезд в Париж»), в «Солнце мертвых», еще, еще... Н и к о г д а не уповал на него (м. б. единственный раз обманулся, внутри, в письмах к тебе, — н е в печати! — когда почти верил (ненавидя!!), что «Маляр» воспользуется благоприятной конъюнктурой и — поможет стереть б о л ь ш е в и з м! Обманулся, жестоко). Я, внутри, всегда — и теперь — в е р ю в План Господень — и в Россию: Она, и только она (!) с а м а выйдет из ада!!!

Сама реши вопрос, — слову ли, живописи ли, — отдаться в с е ц е л о. Я много, в нашей переписке, писал тебе об этом. Я рад, что ты взялась за работу. Дай тебе Господь в о л ю! Я должен буду вернуться около 15 марта: так сло-

жились дела и — сроки разных виз и нансеновского паспорта. 3 недели не знал, что творится в Париже, у Юли: м. б. Иван Иванович окончательно сошел с ума?.. уплачен ли terme[i] с отопления (15 января! До 20 000 французских франков), хоть я и распорядился и обеспечил. Или — Юля больна, или... ни-че-го не придумаю. Запросил срочно.

Мне еще продолжают — пикеты. «Зуд» — боль-чёс и тяжесть в правом глазу — та же, если не хуже. Пока еще не применяли «уколы» penicillin'ом. Сейчас какое-то новое средство для укрепления сил и уколы (раз в неделю) huile de foie de morue[ii] с особенными витаминами, — говорят, удивительное, «почувствуете, будто расцвели»! Н-не знаю, только 1 раз сделано, а надо — не-де-ли... очевидно месяца 2. Мне, в общем, лучше, в смысле укрепления, я пишу: за последние 3 недели дал IV—V—VI главы «Записок неписателя»[896]. Жду выхода «Богомолья» и II ч. «Путей». Надо писать статью о Достоевском для цюрихского немецкого издания «Идиота». От Ивана Цолликонского да-вно нет ни строки. Впереди — все смутно. И лично, и «исторически». Но жизнь, — пусть и в относительном покое, — на полустанке — мне уже трудна, во многих отношениях.

Ну, голубка, Господь с тобой. Будь сильна, здорова, — и в возможном душевном равновесии. Не покидай работы — для духа твоего, родная! М. б. пришлешь хоть 1—2 рис., которыми восхищаются (из голландского быта!). Буду рад. М. б. свидимся в Париже. Перед отъездом — поговею здесь, до масленицы, начинающейся 28 февраля.

Целую и бла-го-сло-вляю.

Твой Ваня

NB: Не в интересах Запада и Америки — ныне — так оскорблять народ, в их интересах — отрывать его от Советов.

Вчера, 6/19 января, — очень тяжелый день: память рождения Сережечки, и Юля, всегда помнившая этот день и день на-ше-го Нового года — ни строчки! Очевидно, нечто трагическое. Но все же... эти — «полусознательные» 13 мес. в Швейцарии — прошли не впустую для меня! Много видел — много передумал: о-пыт. А... для чего?! ... — не знаю, пока.

Когда я не писал тебе в октябре—ноябре — и части декабря — я был вне жизни, в полу-сне от предельной слабости: моя «свеча» погасала.

---

i Плата за три месяца (*фр.*).

ii Рыбий жир (*фр.*).

213
О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

27.I.49

Дорогой мой, милый Ванюша!

Спасибо тебе за письма! Не забыл еще Олю. Но и тяжко же стало мне после прочтения этих грустных писем! И самое тягостное во всем то, что я-то тоже ничего не могу сделать, чтобы облегчить твою одинокую жизнь! Тебе м. б. не верится, как это так быть может, но если бы ты все, все знал!! От многого мне приходится отворачиваться, отказываться и только потому, что я не госпожа своей жизни! Кто поймет это? Думаю, что — никто из русских, потому что у русских все — иное. Я никому и не пытаюсь объяснять или рассказывать. То, что я, лично я, не все иметь могу, как бы хотела (не материальное только имею в виду), — н е горе! Я давно уже себя переключила и научилась в своей «натуре» находить многое. Но ужасно, когда в силу этой моей урезанности, создается какая-то фальшь. Я, вдвинутая в неприсущее моей натуре, — д о л ж н а выявлять себя не тем, что я есмь на самом деле! Моя невестка (молоденькая жена брата А.) точно так же чувствует и страдает. Она много бывала в других странах, не типичная голландка, Голландию не любит, — потому и видеть все это может. Но, довольно! В конце концов, я часто говорю: «Что же, не могу я каждому о себе навязывать... да и не поверит никто... пусть думают, что хотят... Бог видит и знает! И это — главное!» Но бывает и трудно, т.к. все же живешь среди людей.

Относительно газетной статьи, Ваня... Постараюсь ее тебе перевести, — огромная уж она очень. Да и не поспеть за ними, — в эту субботу новую статейку подали, специально в расчете на субботнего многочисленного читателя. В этой говорится: «Русский национализм опаснее коммунизма».

Не хочу вступать в дебаты с тобой по поводу твоих на этот счет предположений, но скажу только то, что все это написанное и не удивительно для меня и не ново. Уже в 46-ом году голландцы мне прямо заявляли, что сделали ошибку, поставя в войне карту на союз с Россией против Германии. Они прямо говорили, что Россия Западу более чужда, чем Германия.

20-го сентября 47-го года на свадьбе Кеса (брат А.), сидящий со мной один известный аристократ, по профессии судья, спросил меня: «Ну, а как с панславизмом?» — раз-

говор был длинный. Он уверял меня, что спокон веков русские стремились к завоеванию всего мира, к «орусифицированию» вселенной. На мои протесты он начал в качестве авторитета приводить Достоевского. А потом закончил: «Нет, мы должны бояться и остерегаться русских, их "духа", их славянской души!» Я спросила: «Чем же плохи мы?» «Кто же говорит, что "плохи", — заметил он, — оттого, что именно н е плохи, а пленительны, со всех их шармом, с их песнями, с их непосредственностью м о л о д о г о народа... они опасны нам, как песни русалки. Наш народ должен рано или поздно понять, что опасаться нам надо н е коммунизма, как такового, ибо он во всех странах свой есть, и против него есть в каждой стране свое противоядие, — нет. Опасны нам р у с с к и е... Сейчас об этом не говорят, пока что нападая на коммунизм... победа на фронте соткала новый ореол русскому герою... Но это поймут когда-нибудь и отважатся, несмотря на ореол победителя, указать на истинную опасность».

Музыканты играли по просьбе молодушки русские песни, кто-то начали просить меня что-нибудь спеть. Я чуточку, под сурдинку подпевала, другие подхватили, и все голландцы вдруг проснулись. Фурор был колоссальный, все вопили, требовали еще и еще, дирижер подавал очаровательные вещицы из русского репертуара. Мой сосед победно улыбался, а когда я снова вернулась на свое место, сказал: «Вот Вам блестящее подтверждение моих слов! Убедитесь сами: никакой большевистской пропагандой Вы т а к у ю публику не соблазните, а вот... славянской душой, песней... всем таким н е в и н н ы м с виду русские и покоряют мир! Поняли теперь мои мысли?»

С полгода тому разговор с моими «друзьями» в Утрехте.

«Америке необходимо для спасения мира в мире найти для России вождя, центр, вокруг которого бы можно было объединить русских сорвать власть. И нельзя считаться со средствами, — задача слишком серьезна!»

Он много кричал о том, что мир должен понять, какая угроза нависла над ним, и снова теми же словами, что и аристократ сыпал о панславизме и т.п. ерунде!

Наконец, я его спросила: «Почему же Европа не поддержала в свое время ни Колчака[897], ни Врангеля?[898]»

Он выпучил глаза и, знаешь, что ответил?

...«Ольга, я думал, что ты умнее, кому же тогда было выгодно? Т о г д а было приблизительно то, что теперь: Россия начинала расти и панславизм рано или поздно распространился бы повсюду. Т о г д а для Европы спасением яви-

лась ваша революция. Для того, чтобы внести равновесие в мире теперь необходима снова революция. Ты пойми, что советская власть уже установившееся правительство, чтобы его свергнуть, надо новую революцию! Надо всю Россию разделить на отдельные части и неустанно следить за тем, чтобы она не укреплялась!»

Он говорил очень много, не стесняясь, цинично-откровенно, я не могу теперь дословно передать всего, но за смысл и некоторые даже дословности отвечаю и даю мое честное слово, что ничего не передергиваю.

К концу разговора я еще только спросила его и его жену, более мягкую, чем сам:

«Ну, отбросьте какое бы там ни было правление, отбросьте даже мысль о какой-то определенной стране, посудите объективно, — разве такой огромной стране нельзя желать хотя бы выхода в море?» — «Правительство тут ни при чем, пойми ты ради Бога, оно мне не мешает, а "объективно" судить я не могу, т.к. знаю, что речь о России, России, которая нас голыми руками заберет. Пусть там все прекрасно, но я хочу оставаться голландцем, а не становиться русским! Сталин мне более приемлем, как реалист, рационалист, чем всех покоряющий Достоевский! И я тебе правду говорю, что для Европы будет куда хуже после смерти Сталина, если националистические настроения в России не изменятся и курс будет взят еще более в этом направлении». Эти слова точны! Вот ей-Богу!!

Ты пишешь: «Какая стать Голландии порочить прежнюю Россию?» Очень просто: наши здесь излизали Америку и Англию где только могли, готовятся вовсю к «западному блоку»[899], надо и массы народные подготовить. Не так-то просто, все почти каким-либо путем столкнулись с русским за войну и все поголовно из них в восторге от русских! Если пасторам* еще кое-как удавалось удерживать восторги своей паствы, запрещая «увлекаться коммунизмом», то остальная-то молодежь прямо заявляла: «чтобы о русских не рассказывали пасторы, мы сами их знаем и никому не поверим, когда их ругают!» Это приходилось слышать сплошь и рядом. Теперь печать не оспаривает хороших русских черт, не называет их «варварской[i] бандой», «скотом» и т.д. Они делают тоньше: ...«Гостеприимство? — есть, пожалуйста, но вы его не поняли, а вот, пожалуйте, что двести лет назад такая-то известность изволили сказать по этому поводу...»

---

* в Голландии вся жизнь диктуется фактически церквями.
[i] В оригинале: варваровской.

Здешнее население надо подготовить им к враждебности в отношении России, именно к Народу, тому самому народу, которым в с е здесь восторгались после войны и убивать который не так бы легко было заставить. Это неслучайно, что трактуется о гостеприимстве и о храбрости, что дескать русские сами-то ни одной войны не выигрывали... Это нарочно, чтобы о р е о л победителя сорвать, т.е. то самое, что еще так на памяти у всех было. В газетах часто делаются якобы невзначай пинки в бок России. Например, расписывают ужасные картинки выселения немецкого населения из областей, ушедших к Польше[900], тут же мимоходом замечая, что... «все, мол, эти ужасы потому, что Россия с ее захватнической тенденцией позаботилась о таком наделе. Описывается что-либо, сеющее затруднения, и тотчас же как-нибудь Россию вклеят. А никто не говорит больше о том, как тех же поляков немцы гнали!! ... Сволочи!! Я-то знаю, — у нас знакомые видели и пережили! Но о сем позабыть надо, ибо немцев тоже использовать собираются против России.

Я не понимаю, чему ты удивился в газете... я же тебе еще в Париже про это говорила. Теперь только голландцы стали откровенней, и частные разговоры переползают в печать!

О «советских агентах» смешно и думать, — здесь никогда[i] не примут ни на какой общественный пост того, кто не только Советам сочувствуют, а хотя бы только Америку робко критикуют! Это — факт! Слежка колоссальная, что не трудно в малюсенькой стране. Ты и представить себе не можешь, как тут «чистят»! Тем более такая газета, как наша («Algemeen Handelsblad») и никаких[ii] «агентов» не подпустит. В Голландии это абсолютно немыслимо. Да и к чему? Советское радио и не подумает обратить внимание на сей лай, — иначе всю программу только этим занять можно, — почти каждый день новое. А в Америке-то чай что делается! Нет, Ваня, это Запад сам по себе и сам для себя действует! Я тебе не все еще из разговоров пишу. Они же прямо, без обиняков говорят, что им надо! Это мы считаем неприличным и потому немыслимым так откровенно завидовать и потом гадить своему ближнему и возводить на него клевету и ложь, а у них — другое мерило! Пойми ты это! Вы все живете в эмиграции, а не в тех странах, на тер-

---

[i] В оригинале: никого никогда.

[ii] В оригинале две первые буквы даны разрядкой.

ритории коих находитесь. Вы не знаете иностранцев, применяя к ним свои мерки. А у них все другое! Но, да что об этом! Когда-нибудь увидишь! Цолликонский м. б. и знает, но для его фальшивок удобней делать вид, что «заблуждается». Он делает подлость, вводя многое множество добрых людей в соблазн! А таких, как ты он науськивает, прячась за них... Я, мол, тихо сижу, это Шмелев выражает свои мысли, а я паинька по всем швейцарским законам! Цолликонский со множеством людей в контакте, и ему-то многое раньше других открывается. Не может быть, чтобы не видел он американского обмана!! Не может этого быть! Но видимо ему — выгодней пока что не замечать! Я-то очень хорошо знаю, на какие компромиссы шел этот православный философ! Тогда я не удержалась и спросила его, как это он может... Они дали «мудрый» ответ... Теперь я все вижу! Не обманет! А сколько еще слепо за ним идут! Ну, да Бог с ними!

Помнишь, как я писала тебе о Гитлере? То же окажется и со всеми прочими и западными, и заокеанскими, — один черт!!!

Теперь все еще гаже даже оголяется, уж без дипломатических тонкостей, а прямо. Прошу тебя письмо никому не давать, а сам поверь, что из сердца, кровью тебе пишу. И о, если бы тебе открылось! Открылось бы омерзение всего того, что еще машет мантильей, прикрывая уже только на половину свое русофобское существо! У нас в Голландии, где никаких русских организаций нет, говорят откровенно, а в Париже эмигранты все еще уверяют себя самих и скоро м. б. начнут и иностранцев-то уверять, что те, последние, их только и желают спасти, привезя на золотом блюде в «освобожденную» от советов Россию! Да иностранцы-то хохочут над этим! Как хохотал и Гитлер. Но никого не переучишь, и ничему не поверят, не стукнувшись лбом.

Обнимаю тебя, мое солнышко. Оля

Ванюша, я очень волнуюсь о твоем здоровье. Сама эти дни неважно. С деткой ничего не выйдет[901]. Да и лучше, быть может... Все так трудно. Пришлось бы мне одной и самой нести всю ответственность как материальную, так и моральную, а какой мой фикс?[i] Но не в этом даже... У него есть наследственная болезнь. Я не решилась.

---

[i] Капитал (*от нем. fix*).

214

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

21.III.49

Мой дорогой Ванюшенька,

Не можешь ты себе представить, до чего грустно мне и одиноко без общения с тобой! Отчего молчишь ты? Пишу тебе и плачу. Горько мне... Забыл ты меня или совсем я стала тебе безразлична!? Откликнись же, голубчик! Как ты чувствуешь себя? Я ломаю голову и не могу придумать, что с тобой, а всякие ужасы так и лезут в мысли. Остаешься ты еще некоторое время в Женеве или уже собираешься в Париж? И как там все будет?

М. б. ты рассердился на меня за предпоследнее большое письмо?[902] Но я так болею тем, что происходит в мире и не могу видеть вещи иначе, чем они мне представляются. В какое несчастное мы живем время!

Если бы мы могли говорить, а не писать, то, уверена, — поняли бы друг друга.

Мне так тягостно и одиноко на душе, что ничего не могу делать. Не могу работать. Да и все последние недели не могла. И это тоже гнетет. И больно, что не с кем поделиться тем, что уже написала. Я спрашивала тебя о рассказе, но ты не ответил мне, хочешь ли его иметь. И вообще мне не с кем поделиться, — ты умолк и отошел от меня... Ах, Ваня, Ваня, почему это? Все это время я плохо себя чувствую, — последние дни жестокая мигрень. И сейчас голова как оловом налитая, а сердце ноет, как в тисках.

Завтра день смерти папы. Какой это всегда грустный и тягостный день. И как жестоко, что он (папа) нас так рано оставил. Как необходим он был мне. Я вся от него, — он понял бы меня наверное во многом. Сколько бы дать мог моей душе. Стегает дождь по стеклу и холодно, стекла отпотели... и мне холодно, хотя сижу у печки. Дрожу мелкой дрожью, и слезы мешают писать. Как мало радостного в жизни. И никому-то в общем живешь ненужной. Как есть — никому. Да, впрочем, это и не ново: «нет такого существа, который был бы незаменим в мире»[i]. Это уж старая истина.

Но все же пока живешь и дышишь, ждешь какого-то тепла, участия... Какой-то фикции того, что ты кому-то дорога и нужна. Но, оставим и это...

---

[i] Так в оригинале.

Надо, видимо, прежде всего научиться сковать сердце свое железом, обручами его стянуть, чтобы не рвалось слишком много и не открывалось.

На мирской рынок любви и состраданья нельзя, видимо, слишком много выбрасывать из себя любви, а то «собьешь на нее цену» и получишь за свои алмазы — гроши. Жить скрытным эгоистом должно быть легче, хотя я этого не умею.

Прости меня за минор. Все это последнее не к тебе относится, а так, мысли только.

Мне очень тягостно и грустно. Я жду, что ты отзовешься, Ваня!

Обнимаю тебя.

О.

215

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

[24.III.1949]

Милая моя Оля, вернулся в Paris — 16-го III в изнеможении, после месяца повторившейся болезни. Без помощи доброй души, ходившей за мной, не смог бы выехать, до того ослаб. Для меня, слава Богу, все было сделано, уложено, — вплоть до посадки в поезд. Здесь, по сей день, лежал (7 дней) влежку. Сегодня — 1-й день встал. В Женеве поговел. Сейчас мне трудно писать. Твое большое письмо было очень хорошо: о хозяйстве, о буре[903]... Хотел ответить, — не было сил. Все у меня очень сложно, дольше жить в Женеве — не было средств. За год я много работал и 4 месяца болел. Не отдыхал. И потому — болел. Плохо питался, по небрежности: и только благодаря уходу и заботам добрых людей — особенно Волошиной, — она убита безнадежным положением единственного сына (tuberculose, 42 года), и, в своем горе, ходила за мной, больным, и выходила, — я мог чуть оправиться и вернуться к себе. Всего не напишешь, что было со мной. И все же — я не покладал рук. Понимаю твое отчаяние — лишиться церкви. В Женеве самое дорогое — храм и настоятель. Жаль было покидать. Мно-го чудесного испытал. Поездка была во многом мне полезна. Господь с тобой. Напишу — как только буду крепче. Твой В. Я не забыл тебя.

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

5.VII.49 Geneve

Милая Олюша, «Слово о Пушкине»[904] прошло отлично, зал был полон донельзя. Приехал я сюда 28.VI к вечеру, жил в Hotel Mirabeau со всеми удобствами. Конечно, замотался с приглашениями и, сколь мог убегал в обширный парк на берегу озера, где и передыхал от разговоров. Завтра с вечерним — 22-30 возвращаюсь в Париж. У-стал. Сегодня выслал иллюстрированную сказку «Любаву»[905], — самой художницы не мог отыскать, где-то она на отдыхе, в магазине не нашел ничего ее, а ген. Дмитрий Иванович Ознобишин охотно уступил мне свой «авторский» экземпляр, как увидишь. Может быть что и порадует тебя. Здесь немыслимо отдыхать, надо куда-нибудь в глушь забиться, а то растратишься. Единственный отдых был — урвешь 1—1 1/2 [часа] — на озере, в одиночестве. А уехать одному, — несвычно, мало знаю страну, да ведь везде отельная жизнь. Напиши, когда думаешь быть в Париже. Там — пекло, а здесь все же с озера освежает и дня три дула «биза», (норд-ост?) Ну, м. б. до скорой встречи. От чтения в Bern'е — отказался. Иван Великолепный все, будто бы, болен, в Женеву не поехал и отписался мне[906] — почему? — на Париж..? Будь здорова. В.

217

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

9.VII.49

Дорогой мой Ванюша, спасибо за открытку и чудную книгу, которую я тоже сегодня получила.

Я рада, что ты опять дома. И очень счастлива, что Пушкинский день прошел так хорошо! Что ты читал? Ты так скупо мне о себе пишешь.

У нас все это время было очень напряженно: дело в том, что Сережино начинание, о котором он никому даже и не говорил, подходило к своему завершению. Он за 15 месяцев окончил голландскую Высшую техническую школу в Дельфте[907] по специальности водостроение — этой типичной голландской науке. Не слушал лекций и не посещал школы, только по книгам и одолженным диктатам[i] он за эти 16 месяцев сделал то, что по словам профессоров не

[i] Здесь: конспектам (*от нем. Diktat*).

каждый голландец мог сделать. Позавчера был последний экзамен (ирригация Индии), а вчера он получил диплом со всей помпой, представ перед коллегией 25 профессоров, выслушав речь декана, обращенную к нему единолично. Сам он (измотанный до отказа) в визитке и полном параде держал тоже речь. Даже педели[i] школы всякий раз увидя его, восторгались и удивлялись, как это он экстерном может учиться и сдавать зачеты без единого провала. Теперь он инженер-путеец берлинского Шарлоттенбурга[908] и водный инженер Дельфта. Дельфт славится «просеиванием» учащихся. Нечего и говорить, какая у нас радость! А до этого мы за него перемучились. Сам он под конец совсем не верил, что пройдет из-за усталости. Его берлинское ученье только в маленькой части облегчило ему, т.к. Дельфт — особая специальность. Все эти годы С. ничего не зарабатывал и потому так безумно торопился, сократив 6 лет за 16 мес. Ему профессора пошли только в том навстречу, что зачли Шарлоттенбург для кандидатских экзаменов. Теперь он хочет заняться у нас легкой физической работой и уже сегодня обкашивает траву в саду и парке. А на рояле в столовой в трубочках лежат его оба диплома, — а сколько всего за ними! Сколько трудов, лишений, нервов! Ну, Слава Богу!!!! Когда поеду я на отдых — ничего точно не знаю. Девизы обещали в августе, но подтверждения я еще не получила. В нашем хозяйстве сейчас тоже «нерва» — из 30 кандидатов на пост садовника-управляющего надо выбрать лучшего. Все они являются, проводят целый день, их надо кормить и т.д. Кроме того, только что прошел сенокос: каждый день ужин для 4—6 рабочих. Заботы эти на моих плечах. Да у прислугиной матери еще родилась 9-ая девочка, и моя Вилли помогала 9 дней дома. На все разрывались тут я да мама.

Ягоды поспели, надо заделывать их в банки на целый год. И рвется душа к своей работе, а еще больше оттого, что никак не засядешь за эту работу. Я не пойму, как мне из этого выпутаться. Роман я начала все же[909]. Порой горячо, порой, беря себя в руки (и это плохо). Скоро начнется главное.

Ты обязательно должен просить сюда визу. На пути из Франции я возьму тебя с собой. Осень тут дивная, чаще лучше лета. Теперь у нас холодище. Дней через 10—15 твой костюм будет готов[910]. К Сереже собирается товарищ из Парижа, некто Шитов[911], ему-то я и хочу поручить передать тебе костюм. Сама не решусь везти новую мужскую вещь.

---

[i] Школьные сторожа (*от нем. Pedell*).

Жаль, что ты не дал № конфекции[912], — им не достает все же некоторых данных: например, — длина от шеи до талии и т.п. И это смерить может только специалист. Но обещали сделать. Это первоклассный салон. Ты все же возьми себя в руки и сходи в консульство! Здесь ты вполне отдохнешь в тишине и уходе. Работать можешь в моей хатке, — кстати, ее недавно сфотографировали для газеты, как одно из самых красивых мест в Woerden'е. Посылаю[912а]. И м. б. тебя заманю?!

«Любава» мне не знакома в русском тексте.

Иллюстрации очень хороши по технике, — но мне мешает их схожесть с Билибиным. Я очень люблю Билибина, но именно его, особенность эту его письма. Когда же является еще подражание Билибину, то это уже другое, в смысле оценки оригинальности автора. Я понимаю, что для иллюстрации сказки соблазнительна манера Б[илибина], но все же не плагиат ли это в какой-то мере? Орнамент ее — местами *копия* Билибина. Или она считает, что это неотъемлемое русской сказки? «Баба-яга» слишком цветуща и красива. По-моему у Яги острый подбородок вперед, нос — крючком, седые космы, «костяная нога», а тут в лапотках дебелая баба. И избушка уж очень хорошо и крепко слажена, и нет таинственности вокруг, а скорее «уютное» местечко. «Там на неведомых дорожках следы невиданных зверей... избушка там на курьих ножках стоит без окон и дверей...»[913] Этот неповторимый пролог дал навсегда и увековечил нам представление о «Бабе-Яге» и всем том, что ее окружает. И у меня лично никаких иных представлений нет и быть не может. Красивость этой «Любавы» — мешает моему представлению по Пушкину, и я даже не хочу смотреть. Но краски очень хороши! Интересны и технические приемы... орнаментика. Кое-чему в этой области можно и должно поучиться. И я тебя очень благодарю! Я же, при всей своей «взятости» Билибиным, напрягаю все силы к тому, чтобы не впасть в подражание ему. Этим летом я мало рисовала, — только с дюжину эскизов сорной травы: крапива, глухая крапива, кукушкин цвет, какие-то безымянные былинки. Мне советовали их выпустить серией для календаря как «Золушки природы». Целью было — показать незамечаемую и попираемую их красоту. Некоторые из них равны орхидеям. Только надо увидеть и показать другим. Мыслей и порывов у меня много — только времени нету. Роман мой горит раной в душе. Все чего-то другого хочется, — лучшего. Полней, звучней, ярче, так чтобы резало и заставляло «резаться» и казниться. Ну, кончаю. Будь здоров, ангел. Обнимаю. О.

218

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

13.VII.49 Париж

Дорогая моя Олечка, — дней 5, как вернулся из Женевы, где провел дней десять, с 22.VI. Последние дни там проводил, уединясь и отдыхая, в Parc du Lac, в этой «Perle»[i] Женевы, где раньше не бывал. Сидел за столиком ресторана на высокой площадке, пил холодный «grapefruit»[ii] — знаешь, напиток из желтых полу-апельсинов, и дышал раздольем озера Леман... Какие сосны, дубы, липы!.. и как чудесно играли белочки, рядом. Это место показала мне, лечившая меня зимой так заботливо, докторша Флорен, полушвейцарка-полурусская, свозила меня туда, урвав часа два от работы. Жил гостем у Д. И. Ознобишина, в Hôtel Mirabeau, и для меня подавали режимное, — чудную рыбу и вареную курочку, и все такое, доступное. Было оказано много внимания. Но вот что случилось. Я забыл в Париже свое «Слово о Пушкине»!.. — сунув в портфель совсем другое. Поздно было затребовать: через день — выступление. Ну, 1/2 дня 29-го июня набросал, как сумел, 1-ю ч. «Слова»... плюнул... — «а, сойдет, "предмет"-то в руках». 2-ю ч. — пробеседовал, и вышло интимно и захватно, а — главную часть — много стихотворений Пушкина — в памяти... Никогда еще такого не бывало. Можно судить, до чего рассеян. Конечно, многое опустил, очень, порой, важного, м о е г о, продумал за ско-лько лет! От приглашения в Bern и Цюрих отказался, — устал, и надо — уж срочно! — написать большую статью о Достоевском для цюрихского издательства: ответственная работа, — хочу и попытаюсь сделать! — дать [изображение] Достоевского в моем истолковании... Редакция предоставила мне свободу выбрать размер статьи (к новому изданию по-немецки «Идиота»), после очень большого успеха моего «нахворт»[iii] о Чехове — через 3—4 мес. все издание Чехова было исчерпано! Критика (вся, более 60 журналов!) признала единодушно, что <u>такого</u> Чехова мы не знали, автор статьи совсем по-новому осветил его...

Ну, так вот: я Достоевского попытаюсь тоже «осветить» — для западных идиотов. А заодно и... Россию, ее

---

[i] «Жемчужина» (*фр.*).

[ii] «Грейпфрут» (*фр.*).

[iii] «Послесловие» (*от нем. Nachwort*).

мир, ее душу! ее... исключительность. Все сделано... в голове, — надо выложить, как наличность. Да надо и заработать. Так что я дней 12—14 прикую себя. «Кончил дело — гуляй смело». А меня еще тянет в Пиренеи, вспомнить Capbreton... отдохнуть. Волошина уже недели 3 у сына... на днях едет туда опять. Я... не знаю, когда смогу. Там чудесный сентябрь. И часть октября. Жизнь, пишут, недорогая, масса рыбы (знаю, прекрасной) и птицы (вдвое дешевле Парижа).

Довольно о себе. Успех Сережи меня вознес! Это и наш успех, русский успех..! А это всегда возносит. Браво. Молодчина! Обнимаю. Поздравляю всю троицу, вкупе. Будет ему триумф! Сладкого отдыха! Знаю, что такое — это, очень хорошо знаю. Аттестат зрелости я взял в самую злую пору строгостей, — какое-то чудо случилось, я другим тогда занимался: любовью, юной. Тоже и с выпускными экзаменами в университете: диплом 1-й степени, при моем почти полном непосещении университета — а товар лицом показал, да еще при каком «оке» из Питера, председатель испытательной комиссии... заслуженный проф. Таганцев[914], действительный тайный советник — знаток-слава уголовного права! И он сам меня до-прашивал, а я еще с ним... поспорил, дав свою теорию-формулу кражи! Ждали грома, а... — был шелест нежного ветерка: «а-тли-чно! А теперь, г-н бывший студент, сейчас же берите лихача и... в Сокольники!.. вы зелены, как ярь-медянка!» Так что — знаю, *что* одолел Сережа. Это, для экстернов, да еще за 16 мес. вместо 6 лет — да еще на чужом языке... — чу-до! Поцелуй его, и целуй все до... обморока и слез! Браво, Россия! «Шествуй, на славу нам!»[915] Это же ответ (да, да!) на помои и пакости подлой европейской печати (и не только — европейской). Это — и мой праздник.

Вода и «хижина тети Оли» — отличны, и заставляют думать о... что в воде. Есть ли там что-нибудь для рыбоуда?.. Мечтаю половить в Nive, около Байоны. Не разумею, когда смог бы очутиться в Woerden'e..? Если бы найти там — кусочки родного! в природе. Ну, до 25—28.VII проваландаюсь над изображением Достоевского. (Жизнь, творчество и русская литература, ее особливость). О, сколько хотелось бы сказать. Дам страниц 45—50, (Чехов — только 22 страницы). Да и сего мало!.. — но надо сказать многое и важное — в малом объеме! Значит, чи-стка! И заманно, и жутковато: за Россию буду говорить, и говорить — автори-тет-но, насыпая западным дуракам и подлецам. Швейцария — страна зело робкая, а посему надо

уметь подать. Робкая (в смысле оглядки на некоего, сидящего в Bern'е[916]). Иначе редакция издательства не рискнет. Значит, вдвойне трудно.

Вот ты и именинница, на-днях, — как и победитель? да?! Ну, сперва его: за ангела и за победу над... дьяволом!.. Ибо дьявол всячески старался напакостить, а мамина-то молитва и твоя (уверен!) — вознесли над погаными кознями и завистями. И-так: бо-ольшого плавания «болотному инженеру». Так, бывало, прозывали в России межевиков. Но тут — посерьезней: это для мира — уникумы! И спрос на таких из США... да и совсюду, где нет воды, и где ее слишком. Огромнейшая область! и — какое же сочетание: путейский и — водяной.

Значит: греби и с земли, и с воды, и даже — из-подводы!

Светло и свято ликую. А ты все это состязание отменно изобразила! Быть бы тебе — и адвокатом, и прокурором!!! Что же до твоих больших 2-х последних писем[917] — о девушке, о конюшем, о тревожной ночи, о... — я все вижу. Эти письма сверх-отличны. Насыщены — и сами по себе, свои. И потому могут служить — для всех.

Жаль, что, при спешке, не мог достать еще книжку иллюстрированную Валей... До... (чертова фамилия, не вспомню). Надо от нее выписать, из Фрибурга. Да она куда-то укатила, — по словам генерала Ознобишина — «шалая бабенка». Да, конечно, влияние Билибина... но если бы ты знала все ее работы, — особенно берут краски! Необычные комбинации. По ее словам, она уже отплевывается от влияния Билибина. Недостатков масса... Баба-Яга — ты права — ни-ку-да! Это нянька ряженая, пужать ребят, а те не боятся. Ты права: ни духа — тайны, глуши, таинственности, что манит в сказке. Ее (художницу) надо обламывать. Жаль, я не видал ее: сказал бы правду, кстати, — она и ее семья — мои читатели.

М. б. не смогу написать тебе ко Дню ангела.

Целую, благословляю-крещу на подвиги. Не отступай. Ты можешь удивительно писать художественную прозу!..

Пишешь и в красках очень талантливо, но, думаю, словесное мастерство (без думы о нем) тебе очень близко и достижимо в совершенстве. Только... помни, главное: никогда не надо думать, что пишешь для печати: для себя, для внутреннего твоего преизбытка (и разрядки!) пишешь. И не загадывай никогда никакой темы: лишь чу-уть ощути в себе нечто — и не вдумывайся: само выльется, да так, что и не ожидаешь. Ве-рно говорю. Ну-дить себя сверх сил не

надо, но и отлынивать — тоже не надо. Знаю, как в твоих условиях все сие трудно. Но надо уметь хотеть. Что Сережа и показал так блестяще.

Нежно целую мою дорогую ангела-именинницу. Да будут дни твои светлы и мудры, как твои глаза и сердце.

А я здорово-таки устал. Написал Ю[лии] А[лександровне] письмо: отныне не позволю перешагнуть порог ее сумасшедшему и вымогателю. За ним надо следить в-оба. Если она упустит его, и он заявится, не впущу, а будет шуметь — придется позвать полицию. Он систематически крадет у меня все: книги, марки, серебро, чай (особенно!), требует денег на билет в St-Remy — все ложь! Взял привычку: как Ю[лия] А[лександровна] навестит меня, чтобы прибрать квартиру и уйдет, он, через 1/2 ч. заявляется. Говорю — «ушла»... «Ну, я устал, дайте, чаю... дайте припасов (все у Юли есть, а чаю ему не дают, т.к. с чаю он бушует), дайте на билет, на хлеб...» Зна-ет, что я не выношу его присутствия, на этом играет: «все, мол, даст, только бы меня спровадить».

Я раза 3—4 давал, — но, поняв, считает меня за дурака, что он крадет все, до дорогих мне вещей... я, наконец, на днях написал решительное письмо Ю[лии] А[лександровне] — «помни, вызову полицию... а с тобой, его всегда старающейся извинить... — порву окончательно всякие отношения». Буквально, выживают из Парижа. До того мешают работе, что прихожу в отчаяние. Верно чувствовала Оля: не выносила его, — он — полусумасшедший вымогатель, шантажист. И как, когда он был сравнительно здоров, могли складываться у него хорошие стихи!? ... Нет, он грязен, гадок, это чудовище...

Нет, развяжусь с ними, даже если придется бросить Париж. Кажется, и ее скоро возненавижу. Нельзя быть (делать себя!) такой слепой, прикрывая и извиняя животное. Все в доме были в панике, когда они без меня жили в моей квартире. В St-Remy — тоже. Раз его уже избили, и он поприутих... Полиции он боится. Если его начнут брать, он будет отбиваться, и его будут бить. Ю[лия] А[лександровна] очень ловка: она умеет как-то его высвобождать. Дождется, что он натворит непоправимое. А сколько он делал и добывал, злоупотребляя моим именем! Дознавал — выкрадывал адреса (я уехал в дек. 47 г. — в спешке и многое не убрал, — только твои письма упрятал сокровенно!) и писал всюду, выпрашивая, говоря, что я «их поставил своим отъездом в критическое положение!»

Теперь я ни-чего для них не сделаю. Все посылки, которые шли мне в мое отсутствие, получали они. И — деньги даже... Словом Ю[лия] А[лександровна] — сама, правда, мученица, — меня доездила с этим шантажистом. А сдать его в сумасшедший дом не решается!.. Но она должна, вынуждена по каким-то своим делам оставлять его одного на даче, а он... занимается бросаньем денег на билеты в Париж и обратно, да еще вымогает... Ну, думаю, после моего письма (сил не было терпеть!) она обидится, и на время оставит меня в покое. Мне не мила стала и моя квартира — и я, наконец, вырешу, что мне делать. Теперь я совсем один. Но это лучше: с голода не помру, допишу о Достоевском и — куда-то уеду. Мария Тарасовна Волошина мучается моим положением, но она сама — с разрывающимся сердцем: сын безнадежен.

Ну, прости, коснулся и болей... Будь здорова, дорогая. Твой верный Ваня

219

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

26.IX.49

Дорогой мой дорогулечка-дружочек, только сейчас смогла сесть за письмо[918]. Как Вы себя чувствуете?[919] Все время думаю о Вас. Ради Бога черкните, или попросите кого-нибудь дать мне весточку о Вашем здоровье. Благодарю Вас за радость, которую Вы доставили мне своим согласием пробыть со мной в Esbly. Я так много получила от Вас духовной поддержки и нового подъема к работе. Ваши обе статьи живут в моей душе светом. Чудесно «Приволье»[920]. Я много думаю о Вашем творчестве. О, если бы, хоть чуточку иметь от Вашего... Но это дерзостно, и я не смею так говорить.

Доехала я благополучно до Rotterdam'a и даже с возможностью поспеть на последний поезд в Woerden. Правда, пассажиры моего купе были несимпатичны — все время пускали сквозняк, беспрерывно жрали как скоты и разваливались так, что приминали меня совсем в угол. В Rotterdam'e же был такой ливень, какого я в жизни не видала. Но т.к. времени до поезда на другом вокзале было мало, я все-таки кинулась под дождем к такси. В один миг я была вся насквозь промочена, даже волосы под шляпой, даже кожаный чемодан внутри промок. К моему ужасу, такси не могло сдвинуться с места — дефект из-за воды. Перескочила в другое. Проехав несколько метров, этот

автомобиль тоже сломался из-за воды. Гудел-гудел, еле дозвался какого-то шофера, который меня взял дальше. Перескакивая из одной машины в другую и третью, я вымокла до отказа. В поезде местного следования открыла чемодан и, вынув одежду, переоделась в уборной. Приехала в 12 ч. ночи в Woerden. Арнольд все время ходил меня встречать к 3-м поездам, и к этому последнему тоже выехал. Но мы разминулись, — я прошла не по лестницам для пассажиров, а (по особому разрешению) прямо по полотну к выходу. Взяла автомобиль и благополучно прибыла домой. Арнольд был в отчаянии, куда же я пропала, он по словам мамы, меня ждал как [2 сл. нрзб.][i]. Только в 1 ч. бухнулась в кровать, как [1 сл. нрзб.] Все воскресенье было очень [2 сл. нрзб.] с утра уехала в Гаагу. Теперь жизнь идет нормальным ходом. Дома сразу же масса [1 сл. нрзб.] и всяческих дел. С той недели [2 сл. нрзб.] работник — новый садовник на 1—2 недели. Без меня отмолотили, маме здорово досталось. Было 11 человек 3 дня у нее на руках, не считая семьи. Сию минуту получили телеграмму — у моей невестки родилась дочь (до срока), все в порядке. Но значит, мне надо будет туда ехать не 6-го, а раньше. Я ей обещала. Вот и закрутилось колесо. Я очень благодарна всем, кто был ко мне внимательным: и супругам Волошиным, и Вере Димитриевне[921], и милым Меркуловым. У меня очень теплое чувство к А[лександру] Н[иколаевичу] и М[арии] М[ихайловне]. Постараюсь как можно скорее послать луковицы Карским[922]. Они были так трогательны к Вам, и так мне помогли. Кроме того, я нашла у себя в сумке еще подорожники от Марьи Фоминичны. Дидук всех тут очаровал по фотографиям. А какой чудесный он в жизни! Мне скучно без него! Дорогой Иван Сергеевич, белье, которое было на диване для меня, я отнесла в ванную комнату, — это кажется Юлии Александровны. И еще одна просьба: я забыла резиновую надувную подушечку (она не моя, и я должна ее возвратить) или в кухне, или в столовой. Если это не очень дерзко, то м. б. Марья Тарасовна будет такая милая мне ее послать. И не забудьте, что у Карских остались Ваши носки. Буду ждать от Вас с нетерпением вестей. Поправляйтесь и будьте Богом хранимы!

Обнимаю Вас Ваша О.

[На полях:] Я бы хотела, чтобы Александр Николаевич Меркулов не оставлял посещать Вас, — это такая добрая бескорыстная душа.

---

[i] Здесь и далее письмо повреждено.

Уничтожайте мои письма, — они лежат на произвол судьбы. Я пишу, и мысль, что их будут читать все, кому не лень, не оставляет меня.

220

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

30.IX.49

Дорогой мой, солнышко ясное, любимый Иван Сергеевич!

Вот и день Вашего рождения, — как светло, как душевно я думаю о Вас. Дай Бог Вам радостно и в добром здоровье начать новый год Вашей жизни, дай Бог всего, всего, что дает силу и радость жить! Как жаль, что только за несколько дней каких-то я должна была Вас покинуть и не могу встретить и провести этот Ваш праздник вместе с Вами. Я каждую минутку думаю о Вас, о всем том, что мы с Вами думали и говорили. Пересказываю и маме с Сережей все, что нового узнавала от Вас. О «Человеке из ресторана», о его возникновении и спасении Вас в трудное время. Я помню все душой моей, все, все, что Вы говорили. Как ценно мне это, как невыразимо ценны Ваши указания и советы в литературной работе. Я думаю о Вас, о Вашей светлой душе, о Вашей творческой радостности и бодрости, несмотря на недуг. Как горели Вы, когда читали мне свою статью! Чудесную статью.

А «Приволье»... О, как благодарна я Вам, бесценный мой друг, за эти дни духовного насыщения. Каким чудесно-светлым чувством овеяно для меня местечко Esbly!..

Маленькое, пригородное местечко, с пыльным вокзалом... А помните прогулку нашу среди старых яблонь? И цветы лиловые... и сколько солнца. Я так хотела бы, чтобы Вы туда поехали.

Не могу писать... слезы падают на очки, скатываются и на бумагу. Слезы тихой радости и грусти. Я мало дала Вам за эти 2 недели. А сколько хотела душой! Такая уж я... душа вся рвется, полна через край... и нет терпенья, нет покоя... и вечный трепет и нервность.

Вчера была у нас совсем осень, густой туман все закрыл и липко проникал всюду. Деревья набухли, намокли его сыростью, и слышно было в вечерней тишине, как шлепались в пруд невидимые капли. Ушли все дали, казалось, что нечто липкое и непроглядное заполнило собой весь мир, оставив минимум пространства вокруг тебя, не боль-

ше, чем длина протянутой руки. И на душе было стесненно, она была как бы загнана, придушена этим туманом. И было грустно и тягостно, — хотелось все время вздохнуть... А сегодня солнце, и все опять иное. Все радостно и светло. Птицы поют и щебечут неуемно, и кажется будто еще лето.

Милый, дорогой Иван Сергеевич, берегите себя, следуйте совету доктора, — он мудрый, с опытом и конечно хочет искренне Вам помочь. Почему Вы отклонили фитинг? Вы что-нибудь ощущаете от него? Это же хорошее средство?! Хорошо, что бросили курить. Нет минутки в дне, чтобы я не думала о Вас. Как мне грустно, что не можем непосредственно переписываться[923]. Дай Бог, чтобы Вы скорее окрепли. Письма же мои, пока Вы так еще слабы, уничтожайте, мне нестерпимо знать, что они валяются на «большой дороге». Сердечный привет Марье Тарасовне. Когда зайдет Александр Николаевич или Серов, то им тоже привет. Обнимаю Вас от всего сердца, крещу и целую. Ваша все та же О.

[На полях:] На днях посылаю посылочку М. Ф. Карской, чтобы напомнить ей о Вас. Я рада буду, когда узнаю, что Вы под ее опекой, в чудесной тишине, где Вы, — не сомневаюсь, — начнете 3-ью часть «Путей». И радостно начнете.

Я *буду* писать. Продуманно, серьезно, так, как учили Вы меня.

221

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

[13.X.1949]

Дорогая Ольга Александровна[i],

Я все еще болею, большая слабость. Ем достаточно. Болей нет. Удручен затрудненностью пищеварения. Часа через три—четыре после принятия пищи рвота с жгучей жидкостью, водой, которая обжигает горло, но пищи нет. И это бывает раз в три—четыре дня. Последние три дня не было. Кажется не худею. Большая подавленность, раза два в день встаю, но через час—два от слабости должен лечь. Сон плохой. Голландское средство не применяют — [нету мышц], — а принимаю globiron (кровь в ампулах) 6 ампул в день. Прописала Крым. Глубоко благодарю за богатую посылку, очень тронут. На именины были друзья, но мне

---

[i] Письмо продиктовано И. С. Шмелевым М. Т. Волошиной.

было тревожно и утомительно. Мария Тарасовна привезла пироги. Она устроила мне хорошую хозяйку, [почтенную]. Все чисто, все вовремя. Ем с охотой. Ваше душевное состояние и Ваши трудности меня удручают. Благодарю за Ваши заботы. Светом в эти дни — для меня родная участливость доброй М[арии] Т[арасовны] (я не хочу этого писать, но И. С. требует).

Сердечно целую. Ваня[i]

[На полях:] [Сердечный привет Вашей маме].

222

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

8.XI.49

Милый мой дорогой, родной Иван Сергеевич!

Непрестанно думаю о Вас, и днем и ночью. Мне очень тяжко не иметь от Вас весточки. Последняя открытка М. Т. В[олошиной][923а] была мало утешительна: «по временам поташнивает»... когда же это кончится? Но что значит «поташнивает»? Мутит только или же опять выбрасывается жидкость? Как счастлива я была бы получить письмецо Вами самим написанное, но, конечно не через силу. Этого я никак не хочу. У меня нет слов, чтобы выразить мою тревогу о Вас. Я не могу ничего делать. Дома масса всяких забот. Арнольд у предела своих нервных сил. Его затрепали. Вчера он почти плакал и не мог спать. Ложится около 2—3 ч. ночи, а встает уже в 6 ч. утра. Сам должен пахать, т.к. с работником — отцом моей Вилли, случилось несчастье: сперва даже не знали, что собственно. Он кончил пахоту и в 12 ч. дня должен был идти обедать. Ар только что его оставил, а то вместе с ним работал. Приходит к дочке и просит у нее воды, а сам дрожит и еле на ногах держится, прижимая к щеке платок. Из-под платка ручьями кровь. Говорит, что упал и больше ничего не знает и не помнит. Дочка не видала его раны и послала его скорей домой. Но мне сказала, что ее отец как пьяный, ничего толком сказать не мог. В воротах у выхода его встретил Арнольд, — платок уже не скрывал рану, и Ар отшатнулся, увидя огромную, зияющую рану, располоснувшую всю сторону от виска до подбородка. Кровь льет ручьем, а края раны так разошлись, что доктор, к которому Ар его отправил, должен был взять самые большие защипки, чтобы наложить

[i] Написано рукой И. С. Шмелева.

шов. Врач сделал предположение, что было покушение на жизнь этого рабочего, и кто-то его полоснул ножом, кроме того явно было легкое сотрясение мозга, в силу которого он ничего не помнит. Позвали полицию. Точно все обследовали, еще раз были у доктора и у самого пострадавшего, и пришли к выводу, что Фонк был ударен лошадью в тот момент, когда нагнулся взять поводья, упавшие во время открывания воротец. Лошади были с ним и к обеим маткам подбежали жеребята, а те, видимо чего-то испугались, м. б. хлопка воротец, или жеребята спугнули. Теперь явно, что был не только разрез, но и удар, и обозначается по опухоли сорт удара. Фонк лежит, очень страдая и будет еще недель 6 лежать. Масса гною, жар и боль. Но удивительно, как еще он жив остался. Постепенно он пришел к нормальному сознанию.

Кроме того, у нас отвратительный судебный процесс и другой перед носом. И избежать их нельзя. Необходимейший ремонт дома (виллы) потребовал 3500 гульденов и это безумно подрезывает Ара. Фрукты больше не сваливают на кучу, т.к. открылся экспорт в Германию[924], и цены чуточку выше. Но на фрукты в этом году дефицит[i]. Вся надежда на коров. Несколько дней тому назад вдруг заболели 2 лучшие коровы, как раз после того, как их поставили на ту самую полосу, где только что умерла овца (помните, мне писали). Это страшная зараза, и мы думали, что опять эта болезнь. Иногда от нее вымирают целые стада. Прямо думать было жутко. Но, слава Богу, оказалась простуда благодаря внезапному холодному туману после сильной жары. Порядочно испугали они нас. У Арнольда ни секунды покоя: вчера он мне сказал, что с наслаждением бы убежал из Batenstein'а, где кроме неприятностей и убытков ничего нет. И в самом деле, лет 15 не поддерживался дренаж почвы и не было никаких починок: все мосты надо заново чинить, все ворота (железные), заборы, пруды чистить, не говоря уже о постоянных ремонтах домов и домишек. Последние надо бы было просто снести, но нельзя из-за квартирного недостатка. Живет в этих хибарах жулье, а все им надо: и свет, и воду, и крыши и печки чинить. Мне надо быть тоже все время начеку, чтобы как-то поддерживать равновесие мужа. А сама я вся тоже истрепана. Вчера были целый день у одного большого дельца, имеющего между прочим ферму. Осматривали эту ферму, все нововведения, много говорили. Он вполне понимает отчаяние Арнольда.

---

[i] Убыток (*от нем. Defizit*).

Ему безумно нравится Batenstein, но он тут же добавил, что вся эта роскошь (прошлого столетия) стоит так дорого, что на одном поддержании ее можно прогореть. Они с Арнольдом долго обсуждали все возможности, где и как можно выкрутиться. Ведь все эти пруды и парки для налогов не просто угодье, а luxus[i], с которых дерется втрое. Прибыли же никакой. Они съедают доходы с других отраслей только. Тот делец сделал открытие, что для дохода хорошо откармливать свиней по контракту с правительством. У него своя лесопилка и свое дерево — хлева не дороги. А нам опять тысячные расходы, чтобы поставить хлева. Не знаю на чем решили. Все это трепанье Арнольда меня сильно нервирует, отвлекает от работы и я вообще в постоянном беспокойстве за его нервность. Вечно рыщет по приведению в порядок мерзких происков подлецов. Ну, довольно.

На днях я была приглашена на Фауста[925] (из Цюриха труппа), и хоть очень устала, все же не смогла отказаться. Было очень хорошо. Хотелось бы подробней поговорить об этом, но утомлять Вас не хочу. Gratchen была обаятельна. Интересно было следить за мыслью Гете и угадывать его самого в Фаусте. На сцене очень многое ожило и приняло плоть и кровь, что в чтении ускользало. Фауст шел целиком, без пропусков. Хорош был Фауст, Мефистофель же слишком толст и стар, хотя и известный Бассерман[926].

Неповторима Гретхен! Какая непосредственная детскость, и как при этом понятна и ненадуманна ее страстность к Фаусту... Как все последовательно, как естественно и понятно... И все внешность ее, ее голос и пение... Любая певица могла бы позавидовать передаче настроения того, о чем поется, и того где и как поется. Последняя ее сцена в тюрьме тоже очень хороша. Ничуть не переиграна. Мефистофель, хоть и известность, — театрален в этой сцене, а Фауст деревянен. Гретхен же очаровательна в своем безумии, отчаяньи и любви.

Но, довольно. Все, что я вижу, слышу, переживаю, все не целиком захватывает меня, т.к. я все время в трепете за Вас. О, Господи, исцели Вас скорей. Обнимаю Вас и благословляю. Завтра Вы именинник.

Ваша О.

Пусть кто-нибудь черкнет о Вас. М[ария] Т[арасовна] уехала, конечно. Как у них?

---

[i] Роскошь (*от нем. Luxus*).

223

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

17.XII.49

Милые и дорогие Иван Сергеевич и Марья Тарасовна! Наконец-то я сама могу нацарапать вам свой привет. Как здоровье дорогого Ивана Сергеевича? Даже в дни моего самого большого мучения[927] я все время думала о нем. У меня оказалось совсем другое, что думал доктор. Тотчас же должны были дать очень глубокий наркоз и, перевернув вниз головой, раскрыли всю полость живота. Доктор осмотрел решительно все внутренности вплоть до желудка, и вынул пять разных вещей: маленькую опухоль (из-за которой я пришла), 3 однородных очень больших опухоли и аппендикс, т.к. одна из опухолей приросла к нему. Операция считается очень большой и серьезной, но несмотря на это уже на 3-ий день меня вынесли из постели и посадили в кресло, и так каждый день. Для легких, чтобы не было застоя крови. Это было почти сверх сил, но необходимо. Боли были страшные, особенно от рвот, длившихся сутки. Я часами не могла проснуться и только чувствовала как мускулы живота сокращаются в адской боли для рвоты. Состояние было гораздо тяжелее прошлой операции. Теперь, слава Богу, все приходит в норму, но доктор не торопится меня отпускать домой. Швы не все еще сняты, т.к. огромный разрез. М. б. сегодня снимут остальное. Умоляю М[арью] Т[арасовну] написать о И. С. Писать мне очень, очень трудно. Целую. О.

224

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

22.XII.49

Дорогая страдалица Олюша, читал твою открытку и был потрясен! Да смилуется Господь и восстановит вполне твое здоровье! Уповаю, молюсь. Вчера привозили ко мне, недостойному, Царицу Небесную Курско-Коренную[928]. Я все еще лежу, очень слаб. Но набираю вес. Аппетит есть. Ем теперь почти все. Встаю на 1/2 ч. — 1 ч. Весь в мечтах посетить тебя. Но до сего еще далеко. Во время операции[929] думал о тебе. Был совсем спокоен, ни капли страха! Все было закрыто от меня Волею Господа. Перед самой операцией заснул часа на 4. А я был на волоске от смерти. Все

прошло под знаком благоволения Господа, даже на хирурга действовало, и он был в восторге от удачи! А все в клинике считали, что через 2 дня я кончусь. Все было опрокинуто и все случилось молниеносно. T° — не поднималась ни на 0,1 *выше нормы*. Почки «работали» идеально, до 2 литров в сутки. «Все в Вас молодо» — сказал хирург... «vous etes notre malade gentill»[i] — сказал он же, «о подобной операции я мечтал как об идеале!» Напиши скорей о себе. Мария Тарасовна шлет сердечные пожелания полного здоровья. Чудесна наша судьба: оба — р е з а н ы е! Молю Бога сохранить тебя. Трудно писать лежа. Родная, крещу тебя. Хочу церкви, стать полностью православным. Привет маме. До конца твой В.

225

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

[5.I.1950]

Дорогой Иван Сергеевич!

С Рождеством Христовым поздравляю Вас и шлю мои самые душевные пожелания всего доброго, а главное здоровья. Также и чете Волошиных мой сердечный привет! Я все так же ползу улиткой по тропке к выздоровлению. Послезавтра жду докторшу интернистку и в зависимости от совета Klinkenbergh'а решу вопрос с санаторием. Сегодня был оттуда ответ, что место есть и не так уж безумно дорого. Обнимаю Вас. Оля

Очень досадую, что ничем не отмечаю Рождество Христово для Вас. Лежат конфекты Вам, но некому хлопотать с посылкой. Мама уж задергана. Душой я с Вами.

226

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

17.I.50 Париж 53 дня по операции, 43 дня по твоей.
До чего же наши судьбы — общи, как мы дружны!

Дорогая моя Олюшечка, я так стосковался по тебе! мое сердце, прямо, переполнено нежностью к тебе, такой кроткой ласковостью, такой тихой любовью, такой светлой-светлой!.. Пиши мне открытой душой, не на Вы, это коробит... теперь я всегда сам смотрю свою почту, уже недели

---

[i] «Вы наш славный больной» (*фр.*).

три, как не в постели, и каждое твое письмо тотчас же убираю и запираю. О родненькая моя! Напиши, как ты себя чувствуешь, как прибывают силы, как в душеньке у тебя? Думаю, что ты отдыхаешь в санатории. Если еще нет, Олюша, поезжай, голубка... окрепнешь, соберешь себя!.. Как я хотел бы с тобой уехать в Ланды, в Капбретон... Я оправляюсь, начал очищать свою корреспонденцию... — вороха за 5 мес. !.. Вес, явно, прибывает, мясо наращивается. Не взвешивался, но, думаю, кило 6—7 прибавил. Ем теперь все. Слава Господу, нет ни тошнот, ни изжоги, ни кислотности. Ем и щи, и мясо, и пироги, и икру... аппетит хороший. Все говорят, что я помолодел и даже... похорошел!.. лет 20, говорят, скинули. Правда, мне в клинике сказал хирург: «у вас все органы — молодые, теперь можете через полгодика... — не раньше! — писать... склероза нет, сердце очень хоро́шее (ну, сравнительно!), оно и помогло вам уйти от почти верной смерти»... — «Сознаюсь, я боялся, что операция не удастся... худшее предполагал, а она идеально удалась, о чем я только мог мечтать!..» Не знал, милый чудак, кто был у него невидимым ассистентом!.. Олюша, я вынес огромный духовный опыт изо всего, что со мной было, и — главное — нет смерти! Я мысли о ней не чувствовал, а только: «интересно, а дальше — что?» Под ножом, при местном наркозе, причем чувствовал лишь отражения болей, я думал о тебе, как увижу летом тебя, как буду все есть, что 3 декабря н. ст. должен быть дома, — это на 8-й-то день!.. канун Введения, дата для меня важная. И только раз помолился — призвал преп. Серафима: «ты однажды помог мне, помоги, родной... мне надо закончить "Пути Небесные"». Было как-то радостно под ножом! А все ждали катастрофы, как я узнал после. Говорят, во время операции, продолжавшейся 58 мин., мне сделали вливание физиологического раствора, я не слыхал, задремал? Только звон инструментов слышал. И — ни одного слова, все происходило молча. Когда услыхал — «фини»[i], — переспросил. «Фини». Но еще хирург возился надо мной, должно быть зашивал живот. «Довольны мной, доктор?» — «Вполне! вы — молодец, как жен-ом![ii]»... А три часа тому, когда Юля на заре привезла ему рентгеновский снимок, он сказал: «кут-кэ-кут[iii]... я вынужден тотчас же оперировать, каждый час — смертелен, понимаете..? два

---

[i] «Окончено» (*от фр. fini*).

[ii] Молодой человек (*от фр. jeune homme*).

[iii] Во что бы то ни стало (*от фр. côute-que-côute*).

грамма мочевины в крови!.. не могу ни за что ручаться... надо было бы дней десять укреплять его, а я мог сему уделить лишь 30 часов!» Удивительный молодец дал мне кровь, гигант-гвардеец. М. б. это очень помогло, освежило. И потом пошли чудеса. Зарубцевание шло быстро, на 5 день не было и следа красноты. На 4 день — разрешили, как исключение-награда, кофе с молоком, на 5 — два полусырых бифштекса в день. На 8-ой день — как редкость небывалую, как мне сказали, меня отпустили, в амбюлансе[i], домой, — 3 дек., канун Введения. Швы снимали у меня на квартире, 8 дек. С каким наслаждением я выпил две чашки кофе со сливками и съел чуть ли не полфунта сливочного масла, а перед сим, еще в клинике, чудесный бифштекс!.. И стали меня питать. Стали приходить посылки, деньги... — о-чень отозвался мой верный читатель. Кстати: Зеелер, после многих хлопот, удачно разменял присланные тобой деньги, по курсу 79. А то все давали от 50 до 70. Это черный рынок, произвол. Официальный курс — 94, но банки требуют голландский паспорт и доказательств права иметь голландскую валюту на руках, иначе официальный размен невозможен. Он мне принес 7900 фр. Благодарю еще раз. Прошу тебя: не собирай для меня, я обеспечен достаточно, могу поправляться без тревог, не думая о заработке, меня не забывают и, м. б., состоится соглашение об авторском праве с Толстовским фондом[930]... Запрашивают, от одного американского издательства, книги для издания на англо-американском языке. Думаю дать, с моим предисловием, «Человека из ресторана» — как раз исполняется 40 л. его жизни, с моим введением: «история этого романа». Американское издательство найдет в нем существенное для рекламы: I — этот роман спас жизнь автору, 2 — за этот роман автор получил небывалый гонорар и проч. Как раз только по-английски не переведен[930a] роман, м. б. так и надо было... м. б. будет иметь успех..? Выдержал испытание временем: знаю, что он и ныне читается, будто только что написан. Это потому, что нравы остались те же, — ресторан — жизнь, да еще и похуже... и социальный вопрос, поставленный романом, — путем ли насилия — революционно или нравственным совершенствованием решается вопрос о социальной справедливости, — все еще не решен, все еще ста-вится... а для России решен совсем не в пользу насилия... В Америке нравы, думаю, куда грязней, чем в свое время у нас. И слова Скороходова — для Америки —

---

[i] Машине скорой помощи (*от фр. ambulance*).

будут очень кстати!.. Дал бы Бог!.. Поверь, голубка: не гонорар меня тут занимает, главным образом, а... — воздействие своим трудом на жизнь!.. никогда не лишнее — ткнуть в нос обществу его преступление. Гонорар же — дело второстепенное. Запросил меня о книгах Толстовский фонд, поддержавший меня в беде и поддерживающий... я жду решения правления на мое предложение принять мои авторские права: некому мне передать в наследство мои права! нет достойного наследника, который озаботился бы судьбой книг моих. Это меня очень заботит. На тебя возлагать такой ответственный и сложный труд не смею — все я взвесил, и ты можешь судить, как меня это заботило, когда повезли меня в клинику! — все висело на волоске. Олюночка, я страшно тоскую по тебе!.. я хочу видеть тебя, держать твою ручку, смотреть в твои любимые глаза... Я молюсь о тебе, да избавит тебя Господь от недугов и сохранит! Верь, Олюночка: ты должна жить, и ты будешь жить! уповай, молись!.. Когда я тебя увижу?! ... Как хочу этого!.. Напиши о себе, как ты себя чувствуешь, как поправляешься, как в санатории, удобно ли, что читаешь, как кормишься, все, все... Скорей бы приходила теплая пора!.. не дождусь. Солнца хочу и — церкви!.. Хочу, окрепнув, продолжать «Пути Небесные». Надо торопиться. О-ля... на тоненьком волоске висела жизнь моя... — только теперь все узнал. Никто не верил в благой исход! даже сам известный хирург, Масмонтей!.. И так все обернулось!.. Спокойствие не обмануло меня: Господь отсрочил мой отход от земной жизни. Я еще не готов, и я должен выполнить урок. Так я верю.

Как нежно, светло думаю о тебе! Спасена и ты, родная моя, светик мой. Сегодня узнал, что Толстовский фонд прислал мне еще 65 долларов. Крепнет надежда, что мы заключим соглашение о литературных правах. Как я был счастлив, — принять Пречистую!.. — это было 21 дек. Я тогда еще лежал. Мои глаза наполнились слезами благодарения и умиления... Ах, как хочу помолиться в укромной церковке!.. не на людях... с тобой хотел бы вместе говеть!.. Олюночка, если бы это случилось!.. Как хочу быть чистым и более достойным!.. я же знаю, какой я плохой православный... Оля, что бы бы-ло, если бы я попал в Америку!.. — верная гибель. И вот, вышло все так, по Воле Господа, — м. б. по молитвам моих отшедших. Была у меня, еще до моего решения переменить врачей, в октябре или начале ноября Мария Фоминична Карская, внезапно застала меня неприбранным, я чуть не падал от слабости... а она, милая, курила и тараторила... — и потом пошло

стремительно: я, увидав себя в зеркале, ужаснулся... — тень моя. И потом — чудо... чудо Милосердия Господня. Ах, Олёчек... какой мне у-рок!.. и как наглядно!.. Есть Бог и нет смерти!.. Я слышу, как во мне бьется и вскипает творческая волна, скорей бы за работу!.. но — пока мне запрещено.

Молю тебя, напиши о себе, все, все, твои письма храню бережно, будь покойна!.. Как ты давно не пишешь... а я завален корреспонденцией и могу едва одно—два письма в день писать, по нескольку строчек, а большей частью — открытки.

Обнимаю тебя, родная моя, и нежно смотрю в твои добрые и, порой, радостные глаза. Господь да сохранит тебя! Когда лягу в постель — молюсь за тебя, как умею. Напиши поскорей, очень тоскую по тебе, не зная, что с тобой.

Твой неизменный Ваня (Ив. Шмелев)

227

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

28.I.50

Милый и дорогой Ванечка!

Прости, что я так долго не отвечала на твое милое письмо. Я никуда не годилась все это время. Самое ужасное это то, что я не могла совладать с головой: мысли не было, памяти не было (и еще нет), охоты ни на что не было. И при всем этом — никакой концентрации, ни на чем. Даже картинки смотреть было трудно. Теперь лучше. Да и не удивительно при таком уходе. Самое чуткое отношение. Теперь в доме еще жильцы появились — старый господин (астма) с своим молоденьким слугой-шофером вместо сына, и старая сестра, бывшая директриса психологической экспертизы для сбившихся с пути девушек. На днях будет еще одна сестра для поправки здоровья. Изредка ко мне приезжает кто-нибудь из домашних или золовка. С 19-го наступили холода, и к несчастью дует холодный ветер. Я-то в тепле, а вот наши, наверное, мучаются, т.к. ветер стоит как раз со стороны маминых комнаток. Я все время думаю о маме, — ей нелегко. Продолжаю 29-го — сегодня тут рожденье хозяйки, так что мы все в «параде». И настоящий-то у нас «Ноев ковчег». Я радуюсь, что у тебя бодрое состояние духа. Так именно это и должно быть. Слава Господу! Так же точно было и со мной после моей первой операции. И совершенно обратное теперь. Все, как будто, у меня внутри вынуто. Никакой духовной сущности. Трудно на чем-ни-

будь остановить мысль и страшно, именно страшно мыслей о искусстве. Когда я думаю о своей работе, — мне нестерпимо. Все равно, как бы вероятно было у ослепшего художника или оглохшего композитора. Я взяла сюда все свои вещи для проработки и.... ничего не могу. Рисунки тоже тут, но я также ничего не могу. Правда, хожу гулять, когда не слишком холодно. И начинаю видеть красоту. Впервые была «уязвлена» рдевшими пурпуром и золотом березами. Они, кудрявыми и хлесткими ветками, своим кружевом ходят в морозном небе. И как горят на заре! Масса тут дятлов, — трудятся — тукают и тукают себе без устали, откидывая сильную головку.

Белочки резвятся, и целыми стаями летают сороки, стрекочут, какую-то войну между собой ведут. Должно быть подбираются парами к весне. Есть и зайцы. Все это живет и гомозится прямо в саду, вокруг дома. Хотя и дом-то стоит собственно в лесу. «Искать» прогулок не приходится — они все тут вот, под рукой. Идеальное жилье для творческого труда. Ах, что же это со мной?! Вчера было письмо от одной дамы, полное ласки и утешения, что ее муж после одной операции тоже с 1/2 года не годился. На мое несчастье, Dr. Klinkenbergh сам пациент. И то, сразу же, как встал (на 13-ый день) явился к нам в Woerden (18—20 km), чтобы меня поддержать. За эту болезнь я так много видела внимания, что мне даже порой неловко, — невозможно всем ответить тем же. В данный момент я — сырое яйцо в вате. Весь дом вокруг меня крутится. Хозяйка приказывает полную тишину, когда я удаляюсь наверх спать. Радио закрывают, все ходят в туфлях и говорят шепотом. Комнату выбрала тоже самую лучшую и поместила других жильцов так, чтобы не мешали. И спрашивает часто: «Что бы для Вас сделать? М. б. скушать что хотите?» Полная предупредительность... Ах, какое скучное письмо. И мыслей нет. Прости.

О Криволае?[931] — Он старается производить впечатление русского человека, но на самом деле в своем буржуазном житии совершенно оголландился. Я мало с ним знакома, но от других (многих) слыхала, что он сухой и расчетливый эгоист, чуть не ростовщик. Порой бестактен и бесчувственен. Машинкой его я пользовалась ровно 4 недели и более чем хорошо за нее заплатила, а выпросить ее стоило мне больших трудов, только потому, что твоим именем просила, и ему было неприлично отказать на мою формулировку просьбы. Его страсть — собирание картин русских художников и книг. По возможности даром или по дешевке.

О его скупости ходят анекдоты среди русских гаагчан. Торгуется с жидами, чего никто тут не делает. С «супругой» своей, вернее с женой одного голландского доктора, у которой живет на квартире, хамит неприлично, не стесняясь даже посторонним присутствием. А она — милая дама. Ходячая, всем известная тайна, что он сожительствует с ней. Нет, мне такой тип человека противен, и я его не считаю русским. Да, кажется, он и голландское подданство взял. Я ему спешно возвратила машинку и купила свою собственную. Так что, говоря тебе, что я работаю на его машинке, он просто наврал. Ну, Ванёк, будь здоров! Господь да сохранит тебя! Обнимаю тебя и крещу. Не забывай меня, — черкни, хоть немного! О.

[На полях:] К сожалению, ни одного из рекомендованных Шахбаговым лекарств достать не могла. Если бы он меня лечил, то, знаю, — давно бы пошло на улучшение. Массу от него внимания видела тоже.

Dr. Klinkenbergh после своей операции помолодел лет на 10—15 и посвежел. Всем нам бросилось в глаза. Как-то «бравурно» он влетел. Таким его не знаю. М. б. для «рекламы» хирургии.

228

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

[13.IV.1950]

Дорогой Иван Сергеевич!

Я очень тревожусь о Вас — на Пасху не было от Вас «Христос Воскресе». Здоровы ли Вы?? Умоляю Вас или кого-нибудь, кто около Вас, черкнуть мне, хоть строчку! Неужели Вы опять больны? Я очень устала за 2 недели без всякой помощницы. Теперь есть девушка, но я сама страшно устала и не могу пока что ничего делать. Но это пройдет. Черкните же о себе!! Обнимаю Вас. О.

Получили ли посылку?

229

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

7.IV.1950
Великий Пяток

Христос Воскресе, дорогая Олюша, с принятием Святых Христовых Тайн поздравляю тебя, мой чистый светик, да будет тебе и душе твоей — во укрепление!

Я все еще влачусь, и, из-за шаткой погоды, не выхожу. Это убивает меня, я снова худею, т.к. больше месяца нет охоты есть: насилую себя. Должно быть в крови есть известный % urine, рот сухой, надо анализы (дал выделения), а главное: нет воли!

Пишу только тебе, вынуждая себя. Я забыл (усталость!) просить тебя — ничего мне не посылать, я ничего не ем, посылки раздаю. Мое меню: утром — кофе с молоком, немного хлеба, масла; в 2 ч. обед — чуть салата, рыбку, апельсиновый сок; вечером чашку молока с хлебцем. Ни разу в церкви! Себе в тяжесть, жить не хочется. Все же, чтобы не надоедали, дал очерк[932] «Русской мысли». Словом, ни-ку-да я! Прости, нет сил... Часами лежу, окна открыты...

Нет для меня весны. Самое светлое — что ты оправляешься. Берегись, не пересиливай себя.

Как пусто и уныло все во мне!

Спасибо еще, что нет нужды. Больше 50 писем без ответа. А надо писать, благодарить. Читатели не оставили меня без помощи. Какое-то общее недомогание... Как надоело это! М[арии] Т[арасовны] не вижу больше месяца. Большей частью один. Тоска... Скотина я: Бог меня воздвиг (чудом), а я... — в унынии. Очевидно, надо что-то бодрящее.

Обнимаю тебя и христосуюсь. Милая, крепни, светись... ну, помолись за меня, я это почувствую. Маме — Христос Воскресе!

Твой, недостойный, ибо не ценящий Божию Милость...

Ваня

Я о-чень одинок...

Но, бодро, бодро: Христос Воскресе!

Воистину Воскресе, родная моя Олюша.

230

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

26.IV.50 г.

Дорогой мой Ванечка!

Очень меня огорчило твое письмо пасхальное, полученное много спустя праздника. Чего только я не передумала! Ах, как мучительно знать о таком твоем упадке духом! Как жаль, что ты не поговел. То светлое состояние, пришедшее после чудесного выздоровления, надо было бы беречь. У нас тут страшный холодище — шел снег и град с ветрищем, так что цвет груш и яблонь очень попорчен. Конечно, при такой погоде тебе надо беречься и не выходить. Но, думает-

ся, что свежий воздух полезен был бы. Сама я мало пользуюсь окружающей природой. Сперва слаба была, а потом сбилась с ног без прислуги (до того, что даже было испугалась). Теперь есть девчонка, но такая ветрогонка и нахалка, что не знаешь, что лучше: иметь ее или нет. Но все же лучше, чтобы она за сором и грязью ползала, чем мне убивать себя. Я все еще не окрепла, как бы хотелось. О своей работе, хоть и думаю, но сесть за нее не могу. А когда пробовала, то приходила в отчаянье — все плохо, все вымучено, не ладится! Меня это убивает. И устаю я, и голова не та, что была раньше. Да и нервность ужасная. А тут еще была тревога: Арнольд нашел у себя в животе припухлость (на глаз прямо видно) и боль. Был вчера у Klinkenbergh'a, — оказалась грыжа паховая и еще выше — фурункулчик, который уже лучше. Пока что операцию Klinkenbergh не счел обязательной, но через 4—6 недель, если не пройдет или не станет заметно лучше, — будет резать. Не отходят от нас болезни. Арнольд очень устал, чувствует себя скверно, да еще получил прострел в спине. Погода адская. Ну, поживем-увидим. Но нервы все время в напряжении. Конечно, грыжа — не серьезная болезнь, но при его профессии очень мешает и м. б. опасной, т.к. не убережешься в сельском хозяйстве. Случись, что ночью телится корова — надо ему, забыв свою грыжу, возиться и, конечно, сколько-то напрягаться и надсаживаться[i]. Всегда м. б. ущемление. У него странно: — она почти никогда не входит и все время болит, как зуб. Ну, скучно все это! Я, конечно, ни о каких поездках не думаю — слишком слаба, и дома у меня нет настоящей помощницы в этой девке. Мама уже и за зиму измучилась, все делая за меня. Теперь она тоже очень устала и мучается болями то тут, то там.

Но, все это так неважно в сравнении с твоим состоянием... Что дали анализы?

Обнимаю и молюсь. О.

Меня нервит, что я ничего не делаю. Между прочим за мое отсутствие кто-то стянул один из 3-х ключей от «хижины» и постоянно там бывал, чему свидетельствуют вся измятая и сбитая постель (диван) и масса окурков на тарелочке; обрывки черного меха от дамского пальто и монета на полу. Все это мне очень противно. Мех такой я сама подарила бывшей прислуге на воротник ее пальто. Она? Ключи висели у нас в комнате. С любовником? Или ее сестра-нахалка (шаталка с солдатней), одолжившая ее паль-

---

[i] В оригинале: надсажаться.

то? Но кто же все-таки стянул ключ? Мама, очень любившая Вилли, не хочет допустить мысль о ней, а я думаю определенно на нее. Она пожелала быть сестрой милосердия и быть «барышней». Мне она противна. А в «хижину» не хочется идти!

231

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

10.VI.50[i]

Дорогой мой, родной Иван Сергеевич!

Я не знаю, что и думать о Вас, — целую вечность не имею ни строчки и не знаю, как Вы и что с Вами. Тревожусь очень, особенно после того, как и 9-го не имела Вашего привета. Пишу в расчете, что если Вам самому не до писем, то м. б. кто-нибудь черкнет мне хоть строку о Вас! Очень прошу! Должно быть, у Вас не бывает добрая Марья Тарасовна? Хотела сегодня послать телеграмму с оплаченным ответом, но не решилась тревожить Вас — телеграммы всегда сперва пугают, прежде чем их прочтешь. Голубчик, попросите кого-нибудь мне написать 2 слова. Но как мне это больно писать, исходя из предположения, что самому Вам писать почему-то трудно.

Если не получу ответа через неделю, то пошлю телеграмму Александру Николаевичу Меркулову. Но дома ли они летом?

О себе не знаю, что писать, — вся полна тревогой о Вас. Начала работу и надо много трудиться, но волнение о Вас не дает покойно работать. Свой день я не праздновала, и очень стремлюсь вообще от всего и всех отойти для работы. У нас тоже частенько недомогания. С операцией Арнольда еще не решено, — узнаем на будущей неделе. А сейчас он опять с бронхитом. У мамы тоже частенько болит то то, то другое. О себе ничего уж не говорю, — дойти до прежнего состояния, дооперационного все еще не удается. Главное — сердце. Меня уговаривают где-нибудь тут опять отдыхать, но я не могу и подумать о жизни вне домашних удобств, т.е. непринужденной жизни. Всюду надо как-то привыкать и применяться к обстановке, а на это у меня нет сил. Писать мне трудно, но хочу работать, надо работать. Время летит, а я ничего не сделала путного. Очень хочу покоя, тишины и уединения. Даже как-то снилось, что я всем

---

[i] Описка О. А. Бредиус-Субботиной: 10.V.50.

своим знакомым написала «круговое» обращение с пояснением, что на визиты и чаепития не могу, не смею тратить время. А все так стремятся сюда. Еще ни разу не работала у себя в «хижине». Да еще открытие: бывшая девица грохнула машинку и спрятала ее, а теперь я ее нашла в совершенно разбитом виде. Не знаю, смогут ли починить. А здесь нет с русским шрифтом.

Читаю сейчас огромный труд И. Грабаря о Репине в 2-х больших томах[933] с 300-ми еще никому неизвестных рисунков и с перепиской. Очень интересно. Вышли книги в 1949 г. в Москве и Ленинграде от Академии наук. Очень интересно, с дневником и записками Стасова[934] и многих художников. Я очень люблю творчество Репина и с наслаждением читаю. Подарил мне эти тома Сережа, — они были единственным экземпляром в Голландии. Масса всего интересного узнаешь о великом художнике. Попутно и о других: Кустодиеве, Верещагине[935], Васнецове, Шаляпине, Щепкиной-Куперник[936], Крестовском[937], Чуковском[938] и др. Даже о футуристах, к которым Р[епин] относился отрицательно. Много о Рембрандте, Веласкесе[939], Рубенсе, Тициане и Рафаэле, Эль-Греко[940], но более восторженно о Веласкесе. Франс Хальс «наш»[941] тоже превозносится, а я его не выношу. Масса интересных мыслей.

11.VI[i]. Кончаю сейчас, в 7 ч. утра. Встала рано и чтобы не будить никого, вылезла в окно, вошла со стороны двора в дом и поработала уже. Господь с Вами! Пишите, дорогой! Обнимаю. О.

232

И. С. Шмелев — О. А. Бредиус-Субботиной

9.VI.1950 Париж

Продиктовано Иваном Сергеевичем Шмелевым

Дорогая моя
Ольга Александровна,

Я очень слаб и с трудом держу перо, все ждал, что сам напишу, а сил все нет.

Приветствую от всего сердца день Вашего Рождения.

Пошли Вам Господь благоденствия и душевного мира.

О себе я пока не знаю, чем болен. Лечение д-ра Антуана от избытка uree дало отличные результаты: вместо 0,70 те-

---

[i] В оригинале: 11.V.

перь 0,27. 12-го меня повезут к нему. У меня непонятная слабость. 3 месяца бронхит (?).

Временами, во время еды острый насморк и, главное, я все худею, но болей нет нигде.

Эти дни жары отняли все силы, 3 месяца нет аппетита, насилую себя, но яйцо съедаю охотно.

8 месяцев без воздуха.

Из своей норы, вот уже три дня, перешел в большую комнату. Нет сил даже думать. Если Антуан не укажет лечения, которое может помешать уехать на воздух, меня отвезут в тихое место (Мария Тарасовна). Я в тревоге, почему худею, я почти так же слаб, как в Esbly. Простите такое горькое письмо, желаю Вам здоровья и... здоровья. Все мои планы гаснут, я почти в отчаянии.

Нежно целую —

Вашу руку[i].

О, как мне скорбно!

Ваш всегда Ив. Шмелев

Привет маме. Помолитесь!

---

[i] Далее рукой И. С. Шмелева.

Из истории семьи Субботиных

Краткий очерк истории родов Субботиных и Груздевых, жизни родителей О. А. Бредиус-Субботиной, позволит читателю более полно узнать ту среду, в которой происходило формирование характера будущей героини романа И. С. Шмелева.

Ольга Александровна Бредиус-Субботина принадлежала к старинному роду угличских (Субботины) и костромских (Груздевы) священнослужителей. Хроника рода Субботиных на протяжении почти двухсот лет открывает целый пласт жизни уездного русского духовенства. Фамилия «Субботин» — это отчество от нецерковного мужского имени «Субота», нередкого в России в XV—XVIII вв. Первый документально известный представитель этой фамилии — священник Андрей Субботин, родившийся в середине XVIII в. За ним следуют четыре поколения потомственных священников, служивших на ярославской земле: Иоанн (1781—?), Аполлос (1809—1884), Александр (1832—1907) и тот, о котором повествуют многие страницы этой книги — протоиерей Александр Субботин[1].

Отец будущей писательницы Александр Александрович Субботин родился 27 февраля 1876 г. В то время его отец был священником Богоявленской церкви одноименного женского монастыря г. Углича.

Окончив Ярославскую духовную семинарию (1897), Александр Субботин поступил в Казанскую духовную академию. Особенностью Казанской академии было ее Миссионерское отделение, на котором преподавались восточные языки, этнография, история ислама, буддизма, изучалось

---

[1] Более подробно о родственниках О. А. Бредиус-Субботиной см.: Добровольский Г. Ф. О роде Субботиных на ярославской земле. Ч. 1—2. М., 2003; Он же. Возвращение // Встреча. 2004. № 2. С. 34—37.

старообрядчество. В издаваемом академией журнале «Православный собеседник» печатались материалы деятельности Вселенских и Поместных соборов, памятники древнерусской литературы («Стоглав», произведения Иосифа Волоцкого, Максима Грека). Профессора академии переводили на восточные языки книги Ветхого и Нового Завета, Православный катехизис, составляли богослужебные руководства для русских миссионеров, направляемых в восточные страны.

Во второй половине XIX в. в системе высшего духовного образования трудились выдающиеся ученые-богословы и историки церкви. Среди них можно назвать профессора Казанской духовной академии П. В. Знаменского, автора многочисленных исследований и учебников по истории Русской Церкви, его коллегу профессора И. С. Бердникова, специалиста в области церковного права. Преподавали в Казанской академии и университетские профессора. К их числу относился историк А. П. Щапов (1830—1876). Профессор Знаменский писал о нем в своей «Истории Казанской академии»: «Щапов пронесся над академией каким-то мимолетным метеором, который блестел и освещал предметы фантастическим, и, пожалуй, фальшивым светом; но свет от него все-таки был яркий, и для людей внимательных успел осветить впереди длинную дорогу, которой прежде было не видно»

Особое внимание Устав академии обращал на развитие «высшего образования для просвещенного служения Церкви» ! 2; что способствовало повышению в академиях уровня богословской науки. Была существенно расширена программа преподавания. Помимо Священного Писания и богословия, преподавались и светские предметы: философия, логика и психология, история, педагогика, литературоведение, древние языки, и обязательно — хотя бы один иностранный язык.

«В Казани папа учился в Академии у митрополита Антония (ректор), его очень любившего», — упоминает в «По-

---

[1] Цит по: Флоровский Г. В. Пути русского богословия. Вильнюс, 1991. С. 371.

[2] См.: Федоров В. А. Русская Православная Церковь и государство. Синодальный период. 1700—1917. М., 2003. С. 110.

вести жизни» О. А. Бредиус-Субботина[1]. Действительно, в 1895—1900 гг. ректором Казанской духовной академии был Антоний Храповицкий, впоследствии один из кандидатов на патриарший престол и митрополит Русской Православной Церкви за рубежом. Антоний Храповицкий был яркой фигурой: ученый и публицист, сторонник независимости Церкви от светской власти и реформы духовного образования. В 1896 г., во время работы в Казанской академии, он писал: «Современный пастырь должен быть хозяином в воззрениях века на все стороны бытия и жизни, должен ясно сознавать их согласие или несогласие с учением христианским, должен уметь дать оценку всякой философской идее, хотя бы вскользь брошенной в модной повести или журнальной статье, и потому не сетуйте, если ему подробно раскрывают системы Канта и Конта. Верьте, что и этого мало для его дальнейшей деятельности... Как приблизить к Церкви жизнь и занятия богословских студентов? Должно возбудить в них религиозную и богословскую самостоятельность... Вот, пусть бы радетели церковности, вместо поругания академии, ее профессоров и студентов, вместо усиленного отыскивания ересей в их сочинениях и проступков в их поведении, указали способы ко введению этого условия...»[2].

Ректор академии был ненамного старше своих студентов. В 1897 г. (время поступления в академию А. А. Субботина) ему 34 года. Он — в начале своего пастырского пути, полон энергии и планов. Легко понять то огромное влияние, которое будущий митрополит имел на студентов. «Мы жили, согретые его любовью и лаской. Он, впервые может быть, для многих из нас, раскрыл нам смысл православного пастырства, как любовного и самоотверженного приятия в свою душу своей паствы, переживания с нею вместе всех ее горестей и радостей, всех испытаний, искушений и падений своих духовных чад...» — вспоминал один из его учеников[3].

---

1 И. С. Шмелев и О. А. Бредиус-Субботина. Роман в письмах. Т. 1. М., 2003. С. 264.

2 Цит. по: *Флоровский Г. В.* Пути русского богословия. С. 425—426.

3 Там же. С. 428.

В 1900 г. А. А. Субботин получил степень кандидата богословия, и через год — ученую степень магистра[1]. Эта скупая фраза говорит о многом. Все обучение в духовных академиях было рассчитано на 4 года. В течение трех лет студенты проходили полный курс общеобразовательных и специальных дисциплин. Успешно окончивший третий курс студент представлял «квалификационную работу», на основании которой ему присваивалась степень кандидата богословия. На четвертый курс академии допускались только студенты, получившие все отличные оценки. Здесь, под руководством профессоров, лучшие студенты академии готовились к преподавательской деятельности в духовных семинариях. Студенты сдавали магистерские экзамены и работали над диссертацией, только после публичной защиты которой могли получить ученую степень магистра богословия. Значит, Александр Субботин учился не просто хорошо, а блестяще.

После окончания духовной академии в жизни А. А. Субботина происходит резкий поворот. В 1901 г. магистр богословия, любимый ученик Антония Храповицкого (тогда уже епископа) становится... надзирателем во Втором епархиальном общежитии Ярославской духовной семинарии. Что заставило его так поступить? Об этом умалчивают письма его дочери, не могут ответить и «архивные справки» — они точно фиксируют рождение и смерть, службу, приобретение имущества, но бесполезно искать в них сведения о внутреннем мире, мотивах тех или иных поступков.

Однако уже через год Александр Субботин оставляет эту службу — гораздо более его интересует преподавательская работа. Сначала — в Черниговской духовной семинарии (1902), далее — в Угличском духовном училище (с марта 1903), и затем, в мае 1903 г., А. Субботин становится пре-

---

[1] По данным ЦГА Республики Татарстан: «В 1901 г. по окончании курса в Казанской духовной академии [А. Субботин] получил ученую степень кандидата богословия и звание магистра» (НА РТ. Ф. 80. Оп. 1. Д. 2867. Л. 7, 17, 24, 25, 29, 39—46; Д. 2956. Л. 15, 20, 23). С этим расходятся данные ГА Ярославской области, в справке которого нет упоминания о присуждении А. Субботину звания магистра (ГАЯО. Ф. 142. Оп. 1. Д. 73. Л. 6—7; Д. 76. Л. 5—6; Д. 79. Л. 5—6; Д. 81. Л. 3—4). См. также: [Писарев Н. Н.] А. А. Субботин. Казань, 1914.

подавателем гомилетики Ярославской духовной семинарии, которую сам он окончил всего семь лет назад.

Возвращение в Ярославль связано не только с работой. 16 июля 1903 г. Александр Александрович Субботин вступает в брак с Александрой Александровной Груздевой, учившейся в Ярославском училище для девиц духовного ведомства.

Александра Александровна Субботина происходила из не менее древнего рода. Ее отец, Александр Михайлович Груздев (1845—1916), родился в семье потомственного священника в селе Баран, в двух верстах от старинного города Судиславля. В древности эта местность называлась Осецким станом, располагалась на важном тракте из Костромы в Галич. Административно-религиозным центром здесь издревле было село Никольское-Баран, получившее название по старинной церкви Николая Чудотворца. Церковь была построена на возвышенности, напоминающей своими очертаниями бараний лоб. В XVI в. село принадлежало дьяку Разрядного приказа Выродкову, одному из ближайших сподвижников Ивана Грозного. К этому же времени относится первое упоминание в грамотах Осецкого стана.

Завершив положенное обучение в семинарии (1868) и прослужив год учителем латинского языка в Макарьевском духовном училище (1869), 20 сентября 1870 г. Александр Груздев был рукоположен в священники своей родной церкви. Через три года отец Александр стал исполняющим обязанности благочинного по девятому Костромскому округу. Еще через четыре года (1877) он был утвержден в этом звании. Отец Александр был возведен в сан протоиерея 29 июля 1908 г., в 1914 г. награжден орденом св. Владимира IV степени. О. А. Бредиус-Субботина была очень точна в автобиографической части своих писем: именно отец Александр — строгий дедушка-благочинный, персонаж ее воспоминаний и рассказов.

24 мая (9 июня) 1904 г. в семье Субботиных родилась дочь Ольга. Через год, 5 октября 1905 г. Александр Субботин был рукоположен в священники храма Нерукотворного Спаса в Рыбинске. С этим храмом связана вся жизнь семьи Субботиных.

Вот как описывается деятельность о. Александра в «Епархиальной хронике»: «Храм наш двухэтажный, вели-

чественный и красивый, выстроенный 40 лет назад [1861. — *Г. Д.*] потомственным почетным гражданином Михаилом Александровичем Григорьевским <...>

По первоначальному проекту предполагалось сделать храм одноэтажным, а внизу [в полуподвальном этаже. — *Г. Д.*] устроить место для могил строителя и его супруги, и церковные кладовые. <...> Не рассчитывая на большое стечение богомольцев, [строитель. — *Г. Д.*] отступил от этого плана. И для зимы он устроил храм в нижнем этаже, несколько углубив его в землю. <...> В будние дни или когда немного в нем молящихся, именно в этот полусветлый храм хочется пойти и не на виду у людей излить пред Господом свою душу, отягощенную горем и грехами.

Но в праздники он теряет все свое благолепие — приходится стоять в страшной тесноте и духоте. К концу богослужения в церкви стоит туман. Большинство свечей гаснет, остальные чуть-чуть мерцают. И тут богомольцам уже не до красоты церковных служб — скорей бы выйти на свежий воздух, а некоторых зачастую выносили в обморочном состоянии. <...>

Поступивший в октябре 1906 г. [по другим сведениям, в 1905 г. — *Г. Д.*] в наш храм настоятелем священник о. Александр Александров Субботин своим благоговейно торжественным служением <...> увеличил число богомольцев. На первом же году своего служения, испытав все неудобства зимнего храма, он обратился к приходу с предложением приноровить для зимнего храма величественный летний, устроив в нем отопление. <...> Сердечное горячее слово о. настоятеля <...> о любви и усердии к храму сделало свое дело! На его призыв откликнулись известные и неизвестные лица, состоятельные и небогатые. Желаемая сумма очень быстро собралась. <...> Все были живо заинтересованы, во-первых, устройством теплого храма, во-вторых, устройством дома для церковно-приходской школы на средства Попечительства. <...>

Желая возможно скорее достичь намеченной цели, о. Александр увеличил этот капитал, внеся свое крупное пожертвование. Решили, имея такой капитал, строить небольшое деревянное строение [для школы. — *Г. Д.*]. Но прихожане, видя крупную жертву и горячую неутомимую энергию своего духовного наставника, сами увлеклись его

благими стремлениями, и, кто чем мог, старались оказать свою помощь. <...> И, в конце концов, с помощью Божией и добрых людей, выстроили не маленькое деревянное здание, как предполагали, а каменное двухэтажное...»[1].

24 октября 1911 г. состоялось освящение храма. Дело жизни о. Александра было завершено. Через месяц о. Александр стал заведующим Рыбинской церковно-приходской школой. В 1913 г. он издал книгу «Пастырский призыв к единению на дела христианской любви — семь поучений женам церковно-приходского попечительства настоятеля Спасской церкви Рыбинска». 2 сентября 1913 г. о. Александр в последний раз совершил таинство крещения в Спасской церкви.

В жизни о. Александра вновь происходит резкая перемена. В 1913 г. он оставляет построенный им храм и подает прошение начальнице Казанского Родионовского института благородных девиц о назначении его на должность настоятеля церкви во имя св. мученицы царицы Александры и законоучителя института. Его прошение было удовлетворено.

Немногим более полугода продолжалась его деятельность на новом месте. 24 февраля 1914 г. за три дня до своего 38-летия он скончался. Заупокойная литургия и панихида были совершены 26 февраля в институтской церкви. Газета «Казанский телеграф» 28 февраля 1914 г. писала: «...Неожиданная, преждевременная смерть, беспощадно скосившая молодые силы отца Александра, поразила всех знавших и глубоко уважавших его... Служба в Институте была для о. Александра святыней, в которую он влагал всю свою любовь, свое сердце, свою душу...». По настоянию прихожан Спасской церкви города Рыбинска, о. Александр был похоронен у стен построенного им храма. «Гроб не несли, а передавали через головы, — это была несколькотысячная толпа плачущих людей»[2], — напишет через четверть века его дочь.

---

[1] Цит. по: Добровольский Г. Ф. О роде Субботиных. Ч. 2. С. 84—92.

[2] И. С. Шмелев и О. А. Бредиус-Субботина. Роман в письмах. Т. 1. С. 35.

К сожалению, и сейчас мы знаем об о. Александре очень немногое. Почему один из лучших выпускников Казанской духовной академии стал скромным надзирателем епархиального училища? С чем связан перевод о. Александра в Казань? Далеко не на все эти вопросы могут ответить архивные данные. Но только обращение к первоисточникам, изучение документов и писем может помочь нам шаг за шагом восстановить реальные события: представить себе историю семьи, оставившей след на ярославской земле, а с изданием этой книги — вошедшей в русскую литературу. Без знания истории этого рода невозможно понять, почему именно Ольга Субботина привлекла внимание такой яркой личности, как русский писатель Иван Шмелев.

Г. Ф. Добровольский

Примечания[1]

1

Ед. хр. 18. Л. 31, 32. Письмо, машинопись.

1 *...ты угадала — слышал твое письмо у доктора...* — 22 мая 1942 г. О. А. Бредиус-Субботина писала: «А я так уже истомилась! Вчера дошла до того, что Серову написла! Мне это очень было трудно, зная как он не любит письма! И плохо написалось. Ваня, откуда это берется, объясни Христа ради: вообразила я, что больше ничего от тебя не получу, что не любишь меня, что уходишь. <...> То я тебя больным видала!» (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 70. Л. 53—55).

2 *К.* — имеется в виду Екатерина Дмитриевна (фамилия не установлена), с которой И. С. Шмелев познакомился в Праге в 1937 г.

3 *Академик Любинский М. Б.* — сведений о нем нет.

4 *...справки о поездке...* — намереваясь поехать в Голландию, И. С. Шмелев обратился за помощью к заместителю председателя Управления делами русских эмигрантов во Франции Павлу Николаевичу Богдановичу.

5 *«Мери»* — кличка лошади из одноименного рассказа И. С. Шмелева (1907).

6 *«Тамань»* — одна из пяти повестей, входящих в роман «Герой нашего времени» (1838—1840) М. Ю. Лермонтова (1814—1841).

7 *...как образец рассказа.* — в письме Я. П. Полонскому от 18 января 1888 г. А. П. Чехов отмечает, что «Тамань» доказывает «тесное родство сочного русского стиха с изящной прозой» (Чехов А. П. Письма. Том 2: 1887 — сент. 1888. М., 1975. С. 177).

8 *«Драцена Грандиоза»* — в шутливом прозвище использовано название тропического кустарника (Dracaena grandioso).

9 *Ну, помнишь, как у Гоголя, — Маниловы?* — супруги-помещики, персонажи поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые души», отличавшиеся склонностью к витиеватым выражениям.

10 *«Облегчить нос посредством платка».* — неточная цитата из 8 главы «Мертвых душ», в которой описаны нравы дам города N: «Никогда не говорили они: "я высморкалась", "я плюнула", а го-

---

[1] Все письма публикуются по оригиналам, хранящимся в: РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3.

ворили "я облегчила себе нос", "я обошлась посредством платка"» (Гоголь Н. В. Мертвые души. М., 1982. С. 146).

11 *«Как я встречался с Чеховым»* — цикл рассказов И. С. Шмелева. Впервые был опубликован в газете «Возрождение» (1934. 29 июля — 16 сент. № 3343, 3364, 3392).

12 *«Свадьба»* — пьеса А. П. Чехова (1889—1902).

13 *«...обременяющее душу, — для чего?..»* — фрагмент из рассказа И. С. Шмелева «Веселенькая свадьба» (См.: Шмелев И. С. Собр. соч: В 5 т. М., 1998. Т. 2. С. 329).

14 *...«и благословен плод»... сердца твоего!* — И. С. Шмелев перефразирует слова тропаря «Богородице Дево, радуйся...» («...И благословен плод чрева Твоего...»).

15 *...пиши «Лик»...* — план своего будущего рассказа О. А. Бредиус-Субботина изложила И. С. Шмелеву в письме от 28 марта 1942 г. (Т. 1. Письмо № 170). Рассказ под заглавием «Заветный образ» был написан в 1946—1947 гг.

16 *...твоя гортензия!* — в канун Троицы (26 мая 1942) И. С. Шмелев получил цветок от О. А. Бредиус-Субботиной.

2

Ед. хр. 18. Л. 45, 46. Письмо, машинопись.

17 *...с каким-то провожатым...* — личность не установлена.

18 *...Серова-интуитивиста.* — С. М. Серов имел репутацию хорошего диагноста. Именно он, в отличие от других врачей (Аитова, Чекунова), поставил правильный диагноз болезни О. А. Шмелевой — ишемия сердца.

19 *...было две тысячи лет тому...* — речь идет о Рождестве Христовом.

20 *...в «роковых минутах»...* — образ из стихотворения Ф. И. Тютчева «Цицерон» (1830).

21 *...«самораскрывании Бога и его Воли».* — в основу историософских взглядов И. С. Шмелева легли идеи В. С. Соловьева и его последователей. Трактовка истории как постепенного процесса «обожения» человечества («сближение тварного с Творцом») тесно связана с идеей о диалектическом развитии самого Божества. Осмысление мировой войны (революции) как «апокалипсиса истории» связано также с философскими построениями Н. А. Бердяева и русских символистов.

22 *...со светильниками бодрствовать...* — образ из евангельской притчи о неразумных девах (Мф. 25, 1-13).

23 *...«божественная трагедия»...* — отсылка к «Божественной комедии» (1307—1321) Данте.

24 *...сообщение о родственнике-инженере...* — имеется в виду С. А. Субботин. Приобретение авторских прав было использовано как официальный предлог для обращения в Управление делами

русской эмиграции во Франции с просьбой о разрешении деловой поездки в Голландию.

25 *...как было с 1-ой частью...* — во время работы над первым томом романа И. С. Шмелев публиковал завершенные главы в газете «Возрождение» (март 1935 — июнь 1936).

26 *...будет ли в Париже издаваться газета.* — в годы оккупации в Париже был разрешен единственный орган русской печати — еженедельная газета «Парижский вестник» (14 июня 1942 — 12 августа 1944). Газета издавалась Управлением делами русской эмиграции во Франции и поддерживала оккупационный режим. В этой газете были опубликованы главы романа «Лето Господне» («Именины», «Торжество»), рассказы и статьи И. С. Шмелева («Голос совести», «Чертов балаган», «Певец ледяной пустыни», «Почему так случилось», «Рождество в Москве»). Несмотря на то, что указанные произведения не имели политической направленности, их публикация была воспринята как сотрудничество писателя с нацистами. Впоследствии Шмелев был вынужден объяснить свою позицию, опубликовав в газете «Русская мысль» (1947. 31 мая. № 7) открытое письмо «Необходимый ответ». См.: Шмелев И. С. Собр. соч. Т. 7 (доп.). С. 553—555; переписка И. С. Шмелева и А. Л. Толстой // Диаспора. 2002. № 4 (публикация В. Н. Сахарова).

3

Ед. хр. 71. Л. 24, 25. Письмо, рук.

27 *Свояк...* — имеется в виду Корнелиус Бредиус, деверь (брат мужа) О. А. Бредиус-Субботиной.

27a *Ты получил с них фото?* — вероятно, речь идет о фотографии, присланной О. А. Бредиус-Субботиной в письме от 2 июня 1942 г.: «Посылаю фото: чтобы убедить, что поправилась. Толстушка стала. Да, вот опять бы не сдать! Лошадка же "выдра" с голодного пайка зимы» (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 71. Л. 8, 9). Фотография находится в Российском Фонде Культуры (Фонд И. С. Шмелева. Свидетельство о дарении 1053).

28 *...поняла... многое из твоих писем.* — далее О. А. Бредиус-Субботина иносказательно (письма цензурировались) ведет речь о России, Сталине и Гитлере. Впервые этот прием использован в письме О. А. Бредиус-Субботиной от 8 июля 1941 (Т. 1. Письмо № 28).

29 *...письмо от жены «кавказца»...* — упоминается письмо от Инги Шахбаговой с припиской Е. Шахбагова от 1 июня 1942 (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 153. Л. 1).

4

Ед. хр. 18. Л. 56, 57. Письмо, машинопись.

30 *Еженедельника...* — имеется в виду берлинская газета «Новое слово».

[31] *...о статье Г[орянского]...* — имеется в виду статья В. И. Горянского «Возвращение троянского героя» (Новое слово. 1942. 18 января. № 5); Валентин Иванович Горянский (наст. фам. Иванов, 1888—1949), журналист, прозаик, поэт, драматург. В эмиграции сотрудничал в журналах «Иллюстрированная Россия», «Сатирикон», газетах «Новое слово» и «Парижский вестник».

[32] *...в словаре Даля.* — И. С. Шмелев упоминает «Толковый словарь живого великорусского языка» (1863—1866) В. И. Даля (1801—1872), включающий в себя диалектные, заимствованные и устаревшие слова и выражения.

[33] *«забельшить»* — «Нехотя запрятать, запропастить, заторить, заподевать, засунуть, заложить, прибрать, не помня куда, спрятать так, что и сам не найдешь. Растратить или извести, промотать» (Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1994).

[34] *«Крестный ход»* — рассказ, вошедший в книгу «Радости» автобиографического романа «Лето Господне». Впервые опубликован в газете «Возрождение» (1939. 6 января. № 4165) с посвящением Н. К. Кульману.

[35] *...будут на чтении митрополиты...* — имеются в виду митр. Западноевропейский Евлогий (Георгиевский) и, вероятно, митр. Серафим (Лукьянов), глава Западноевропейской епархии Русской Православной Церкви за рубежом.

[36] *...«пойду, погляжу, как на моей земле люди живут...» — говорит Горкин.* — в тексте романа эти слова произносит другой персонаж — старик-богомолец Пресветлый (Шмелев И. С. Собр. соч. Т. 4. С. 169).

[37] *...«А жить уж нам трудно стало...»* — см. роман «Няня из Москвы», гл. XXVII (Шмелев И. С. Собр. соч. Т. 3. С. 90).

[38] *...«Идем самыми страшными местами...»* — указан фрагмент главы «У креста» романа «Богомолье» (Шмелев И. С. Собр. соч. Т. 4. С. 453—457).

[39] *Растяпа доктор бо-ится... сказать два слова...* — О. А. Бредиус-Субботина поручила С. М. Серову сказать слова признательности И. С. Шмелеву на литературном вечере и от ее имени подарить цветы.

[40] *Про-сит приятель.* — вероятно, речь идет о Дмитрии Ивановиче Ознобишине.

[41] *Домна Панферовна* — персонаж романов «Лето Господне», «Богомолье».

[42] *Ирина... Таня... у Литвинова...* — герои романа И. С. Тургенева «Дым» (1865—1867).

[43] *...«по всей Руси великой»...* — цитата из стихотворения А. С. Пушкина «Я памятник себе воздвиг нерукотворный» (1836).

[44] *«Нургет»* — имеется в виду повесть И. С. Шмелева «Под горами» (И. С. Шмелев называет произведение по имени главной героини).

[45] *...штандартное...* — словечко героини романа «Няня из Москвы» Дарьи Степановны Синицыной.

[46] *...«для песен и молитв»...* — неточная цитата из стихотворения А. С. Пушкина «Поэт и толпа» (1828).

[47] *...«пока не требует поэта»...* — цитата из стихотворения А. С. Пушкина «Поэт» (1827). Далее перефразированы строки: «В заботы суетного света / Он малодушно погружен».

[48] *...карточка «здоровенькой» Оли.* — речь идет о фотографии О. А. Бредиус-Субботиной после болезни. См. примечание 27а к письму № 3.

[49] *...33 г.?* — серия фотографий О. А. Бредиус-Субботиной (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 120. Л. 1—4; один из снимков находится в Российском Фонде Культуры. Фонд И. С. Шмелева. Свидетельство о дарении 1053).

5

Ед. хр. 19. Л. 4, 5. Письмо, машинопись.

[50] *...все писатели нашей зоны...* — по соглашению о перемирии от 22 июня 1940 г. Франция была разделена на две зоны: оккупированную и неоккупированную. Оккупация распространялась на северные районы страны, включая Парижский, и на Атлантическое побережье Франции. В ноябре 1942 г. была оккупирована вся территория Франции. На творческом вечере И. С. Шмелева присутствовали Б. К. Зайцев, Н. Н. Берберова, Н. А. Тэффи, А. В. Карташев, И. Д. Сургучев.

[51] *Борис Зайцев* — Борис Константинович Зайцев (1881—1972), прозаик, мемуарист, переводчик, автор статей и воспоминаний о И. С. Шмелеве. В 1941—1942 гг. жил в пригороде Парижа Бианкуре. С 1945 г. председатель парижского Союза русских писателей и журналистов.

[52] *...матрос Бебешин...* — герой рассказа И. С. Шмелева «Орел» (Возрождение. 1926. 12 сентября. № 467).

[53] *Ирина...* — имеется в виду Ирина Сергеевна Мамонтова, дочь С. М. Серова. См. примечание 203 к письму № 53 (Т. 1).

[54] *Офис рюс...* — имеется в виду Управление делами русской эмиграции во Франции, организовавшее творческий вечер И. С. Шмелева.

[55] *...иду к другому доктору...* — в дальнейшем упоминается как доктор Очан.

[56] *...бесы...* — здесь: большевики.

[57] *...помочь и в поездке...* — в течение 1942—1944 гг. И. С. Шмелев неоднократно обращался в Управление делами русской эмиграции во Франции с просьбой оказать содействие в получении визы в Голландию. Писателю дали понять, что в этом случае он должен передать в газету «Парижский вестник» произведения, более соответствующие направлению издания (т.е. против СССР). Шмелев отказался и визу в Голландию не получил. Об этом см.: Шме-

лев И. С. Необходимый ответ // Собр. соч. Т. 7 (доп.). С. 553—555. Также см. примечание 26 к письму № 2 (Т. 1).

58 *...не пиши мне о «семейных делах»...* — имеется в виду положение СССР.

59 *Я не мог добиться права ехать...* — в 1941 г. И. С. Шмелев пытался получить разрешение посетить лагеря советских военнопленных (см. письмо от 25 ноября 1941 г. (Т. 1. Письмо № 80)), в котором ему было отказано. О своем намерении посетить лагеря советских военнопленных И. С. Шмелев писал также Р. Г. Земмеринг 1 декабря 1941 г. См.: Сорокина О. Н. Московиана. М., 1994. С. 304.

60 *...держусь точки зрения Бисмарка...* — Отто Эдуард Леопольд Бисмарк фон Шёнхаузен (1815—1898), германский государственный деятель, князь, в 1871—1890 рейхсканцлер Германской империи. Инициатор русско-австрийско-германского соглашения («Союз трех императоров» 1873, возобновленного в 1881 и 1884 гг.). В 1887 г. заключил с Россией «договор перестраховки», в конце 80-х годов выступал против намерения германских военных кругов начать превентивную войну с Россией, считая, что война с Россией была бы чрезвычайно опасна для Германии.

61 *...фон дер Гольцем... — не недавним...* — речь идет о Рюдигере фон дер Гольце (1865—1946), немецком генерале. В январе 1919 г. организовал в Либаве (Лиепая) армию, в которую входили германские, латышские и русские части, занял Ригу. В июне 1919 г. потерпел поражение. Один из организаторов милитаристских реваншистских союзов, в 1934—1939 гг. руководитель союза офицеров резерва.

62 *...его, должно быть, предком.* — имеется в виду Кольмар фон дер Гольц (1843—1926), германский генерал-фельдмаршал (1911), военный историк. Участник австро-прусской (1866) и франко-прусской (1870—1871) войн.

63 *...верно сказал знаменитый Кляузевиц...* — Карл Клаузевиц (1780—1831), военный теоретик и историк, прусский генерал. Разработал положение о связи войны с политикой: «Война есть продолжение политики иными средствами». Автор патриотического документа группы военных реформаторов (Шарнхорст, Гнейзенау, Бойен) «Три символа веры» (февраль 1812), в котором выдвигалась идея народной войны в союзе с Россией против наполеоновского государства.

64 *...посажёный... отец...* — имеется в виду И. А. Ильин.

65 *...Дуван... сын артиста Дуван-Торцова...* — речь идет об известной в эмиграции семье крымских караимов, братьях Семене Эзровиче Дуване (городской голова Евпатории, см.: примечание 529 к письму № 126 (Т. 1)) и Исааке Эзровиче Дуван-Торцове. И. Э. Дуван-Торцов — актер, режиссер, антрепренер. Играл в пражской труппе Московского художественного театра, основал театр «Маски». Дети С. Э. Дувана: Анна (в замужестве Будо),

Елизавета (в замужестве Геделович), Иосиф (?—1954). Сведений о сыне И. Э. Дуван-Торцова найти не удалось.

66 *...Паулу..?* — имеется в виду Паула Вессели (Paula Wessely, 1908—?), австрийская киноактриса.

67 *...тирада монахини под сараем...* — фрагмент главы «У креста» романа «Богомолье»: «Уж заночуйте у родителей Преподобного, — говорит нам монахиня, — помолитесь, панихидку по родителям отслужите, схимонаху Кириллу и схимонахине Марии. И услышит вашу молитву Преподобный» (Шмелев И. С. Собр. соч. Т. 4. С. 455).

68 *...без «украшений»...* — на оккупированных территориях евреи должны были носить нашитые на одежду желтые шестиконечные звезды. Вопрос об «антисемитизме» И. С. Шмелева нуждается в научном исследовании с привлечением дополнительных источников. Личная трагедия в значительной степени определила отношение писателя к целому народу (Сергей Шмелев был арестован комбригом III стрелковой дивизии Райманом и расстрелян по приказу Бэлы Куна). Тем не менее, И. С. Шмелев неоднократно высказывался против преследований евреев нацистами (см. письма И. С. Шмелева от 26 декабря 1942 г., 25 сентября и 8 октября 1945 г., №№ 19, 100 и 103 в настоящем издании). К сожалению, указанные источники гораздо менее известны, чем многочисленные негативные высказывания И. С. Шмелева.

69 *...«И звэзда с звэздою говогит!»* — искаженная цитата из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Выхожу один я на дорогу...» (1841).

6

Ед. хр. 19. Л. 9, 10. Письмо, машинопись.

70 *...твое письмо (19.VI)...* — речь идет о письме О. А. Бредиус-Субботиной от 19 июня 1942 г. (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 71. Л. 40, 41).

71 ... с *Радуницы...* — (Радоница) день поминовения усопших, вторник на Фоминой (следующей за пасхальной) неделе.

72 *...на высоте Демерджи...* — речь идет о горе Демерджи (св. Георгия) в окрестностях Алушты.

73 *...не в его ли «Дьяволе» это..?* — И. С. Шмелев приписывает Л. Н. Толстому свой собственный художественный прием, использованный им в набросках к рассказу «Кошкин дом» (1924). (См.: Шмелев И. С. Собр. соч. Т. 6 (доп.). С. 251). В повести «Дьявол» (1889) упоминаний о запахе «нового ситца» нет.

74 *«Если кто взглянет на... жену — — — в сердце своем»...* — неточная цитата из Нагорной проповеди: «...Всякий, кто смотрит на жену с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем» (Мф. 5, 28).

75 *...помнишь мои «буковки»... в открытке?* — имеется в виду фраза из письма И. С. Шмелева к О. А. Бредиус-Субботиной от 3 июня 1942 г.: «...я бы, кажется, всю тебя выпил, — такая

жажда до тебя! к[а]к я т[ебя] х[очу]!..» (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 18. Л. 40).

76 *...я ...выбрал бы — в т о р о е...* — в стихотворении А. С. Пушкина «Нет, я не дорожу мятежным наслажденьем...» (1830) противопоставлены образы чувственной и целомудренной возлюбленной. Далее И. С. Шмелев комментирует последнюю строку стихотворения «И делишь, наконец, мой пламень поневоле!».

77 *Преп. Серафим благословил.* — И. С. Шмелев считал, что исцеление произошло по молитве преп. Серафиму Саровскому. См. примечание 48 к письму № 16 (Т. 1).

7

Ед. хр. 72. Л. 13, 14. Письмо, рук.

78 *...безумное письмо...* — письмо О. А. Бредиус-Субботиной от 4 июля 1942 г. (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 72. Л. 7, 8), которое И. С. Шмелев назвал «солнечное откровение». На конверте помета: «это письмо никак не для печати! (хотя бы и имело историко-литературный интерес). Это воля О. А. Субботиной и моя. Ив. Шмелев». В соответствии с волей писателя письмо не публикуется.

79 *...сцена у дверей лачужки Ильи, зимой...* — фрагмент главы XVII повести И. С. Шмелева «Неупиваемая чаша».

80 *...не знаю имени ее.* — личность не установлена.

81 *...фильм один ее «Элен».* — «Helene» (1936), режиссеры Жан Бенуа-Леви (1888—1959) и Жан Эпштейн (1897—1953).

82 *..Ал. Ал. Зорина.* — возможно, речь идет о русской драматической актрисе Ольге Александровне Зориной (ур. Пашковской).

83 *...я ее не видела лет 10.* — О. А. Зорина не могла сыграть Анастасию в предполагаемой экранизации повести «Неупиваемая чаша», т.к. умерла в 1927 г.

84 *Ольга Чехова* — имеется в виду О. Л. Книппер-Чехова.

85 *«Maskerade»* — «Маскарад» (1934), режиссер Уильям Форст (1903—1980).

86 *«Episode»* — «Эпизод» (1935), режиссер В. Райт.

87 *«Der Spiegel des Lebens»* — «Зеркало жизни» (1938).

88 *Леандер* — Зара Леандер (Leander, наст. имя Зара Штина Хедберг, 1907—1981) — немецкая актриса, артистка оперетты.

8

Ед. хр. 72. Л. 25, 26. Письмо, рук.

89 *«Празднословия не даждь ми!»* — из молитвы св. Ефрема Сирина «Господи и Владыко живота моего...».

90 *...«и не осуждати брата моего»...* — из указанной выше молитвы.

91 *«Утешителю...»* — здесь и далее цитируется молитва «Царю Небесный...».

9

Ед. хр. 72. Л. 30, 31. Письмо, рук.

92 *«И кто примет одно таковое дитя... соблазн приходит».* — Мф. 18, 5-7.

93 *«Таковых есть Царствие Божие».* — Мк. 10, 14.

93а *...вот и вокзал, а там, за полотном, и кладбище.* — повторяя художественный прием И. С. Шмелева, О. А. Бредиус-Субботина сделала героями своего первого рассказа реальных лиц (семья Субботиных, К. П. Никольский (?—1927)) и дала точное описание г. Рыбинска сер. 1900-х гг. Рыбинский вокзал был построен в 1904—1905 гг., архитектор С. И. Минаш (1877—1945). В рассказе упоминается Георгиевское кладбище (известно с XVII в.) и расположенный у кладбища храм. Вероятно, это или церковь вмч. Георгия (1790, перестроена в 1877—1885, закрыта в 1930), или церковь Вознесения Господня (1908, в 1929 передана общине обновленцев). После Великой Отечественной войны церкви вмч. Георгия и Вознесения Господня возвращены РПЦ.

94 *«Боже, помилуй мя грешного!»* — молитва священника во время чтения Великого покаянного канона преп. Андрея Критского.

10

Ед. хр. 72. Л. 35, 36. Письмо, рук.

95 *«И аз, недостойный иерей, прощаю и разрешаю»...* — слова священника при отпущении грехов.

96 *...моя «дульцинея...»* — имеется в виду горничная О. А. Бредиус-Субботиной (Тилли, «трамбовка»).

11

Ед. хр. 72. Л. 52. Письмо, рук.

97 *...друг из Берлина.* — в дальнейшем упоминается как Виктор Викторович.

98 *В сентябре?* — 24 сентября день св. Сергия и Вакха, именины С. И. Шмелева, сына писателя.

12

Ед. хр. 20. Л. 8. Письмо, машинопись.

99 *...снова «зигзаг», Олюша...* — в первых строках письма И. С. Шмелев отвечает на письмо О. А. Бредиус-Субботиной от 22 июля 1942 г. (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 73. Л. 1, 2).

100 *...эта «агава» к твоему Дню...* — от имени И. С. Шмелева О. А. Бредиус-Субботиной был подарен цветок агавы.

101 *...письма, от 30.VI, заказного, на маму?!* — упоминается письмо от 29 июня 1942 г., отправленное 30 июня на имя А. А. Овчинниковой (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 19. Л. 17). На конверте помета О. А. Бредиус-Субботиной о получении письма: 4.VII.42.

102 ...*30 июля заказное, на маму.* — упоминается письмо И. С. Шмелева О. А. Бредиус-Субботиной от 29 июля 1942 г. (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 20. Л. 1, 2).

103 ...*Н. Я. Данилевский, автор знаменитой книги...* — Николай Яковлевич Данилевский (1822—1885), публицист и социолог, автор книги «Россия и Европа: Взгляд на культурные и политические отношения Славянского мира к Германо-Романскому» (1869).

104 *Шпенглер* — Освальд Шпенглер (1880—1936) — философ, теоретик культуры, автор книги «Закат Европы» (1918—1922).

105 *«Красота есть... духовная сторона материи...»* — вероятно, И. С. Шмелев имеет в виду следующий афоризм Н. Я. Данилевского: «Бог пожелал создать красоту и для этого создал материю» (Данилевский Н. Я. Россия и Европа. СПб., 1888. С. XXVIII).

106 ...*жена одного очень видного человека...* — вероятно, речь идет о Ксении Васильевне Деникиной (1892—1983), жене генерала А. И. Деникина. В 1924—1927 гг. Деникины были соседями Шмелевых по даче в Капбретоне. К. В. Деникина — автор воспоминаний о И. С. Шмелеве. Письма Шмелева Деникиным хранятся в Бахметевском архиве Колумбийского университета (США).

107 ...*в сборнике «Знания».* — «Знание» — товарищеское книгоиздательство в Петербурге, организованное в 1898 г. К. П. Пятницким. В 1900 г. в число пайщиков вошел М. Горький, в конце 1902 г. он возглавил издательство, вокруг которого объединилась группа писателей. «Сборники товарищества "Знание"» выходили с 1904 г. Произведения И. С. Шмелева неоднократно публиковались в этих сборниках. Повесть «Под горами» была опубликована в № 31, 1910 г.

13

Ед. хр. 20. Л. 26, 27. Письмо, машинопись.

108 ...*Маринина тетка...* — сведений о ней не найдено.

109 *«Седя на санех»...* — из «Поучения» Владимира Мономаха (1053—1125). В трактовке Д. С. Лихачева «Незадолго до смерти». «Поучение» написано около 1117 г., внесено в Лаврентьевскую летопись под 1096 годом.

110 ...*муч. Роману...* — И. С. Шмелев не уточняет, какого именно мученика имеет в виду старец. Скорее всего, это особенно почитаемый в России князь Роман Рязанский (убит в 1270 г., день памяти 19 июля) или дьякон из Кесарии Палестинской, замученный в 303 г. за проповедь среди отступивших от Церкви (день памяти 1 декабря). Это может быть также мученик, убитый в Риме при Валериане в 258 г. (день памяти 23 августа) или Роман, убитый в Самосате в 297 г. (день памяти 11 января).

111 ...*не Сладкопевцу...* — Роман Сладкопевец (кон. V — нач. VI в.), автор песнопений и духовных гимнов («Дева днесь», «Душе моя, душе моя, возстани...»).

112 *...продолжение очерка «Крендель»...* — в завершенном варианте 2 часть главы «Именины» названа «Празднование».

112а *«Смотрины»...* — в письме от 7 июля 1942 г. О. А. Бредиус-Субботина писала: «Ох, жду гостей... еще неизвестных мне... каких-то очень важных. Желают со мной познакомиться. Не люблю такие "смотрины". Сегодня велела чистить сад, двор, — вылизать, чтоб ни сучка, ни задоринки у "русской дикарки". Сама возилась. Маникюр — никуда» (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 72. Л. 19, 20).

112б *«...сперва в Швейцарию...»* — И. С. Шмелев отвечает на письма О. А. Бредиус-Субботиной от 22 июля и 4 августа 1942 г. (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 73. Л. 1, 2; 9, 10). Во втором из упомянутых писем О. А. Бредиус-Субботина писала: «Совершенно ненужно и неуместно твое замечание о Швейцарии — у меня к И. А. совсем особое отношение — это воистину мой духовный отец. И только!» (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 73. Л. 10).

14

Ед. хр. 73. Л. 26, 27. Письмо, рук.

112в *Обратно!* — письмо было возвращено И. С. Шмелевым О. А. Бредиус-Субботиной 29 октября 1942 г. Конверт и записка И. С. Шмелева о возвращении письма находятся в РГАЛИ: «Посылаю тебе письмо с рассказом о "Яйюшке". Он — чудесный. Мне *жаль* расставаться с письмом. Но ты... *пришлешь?*» (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 22. Л. 11, 12).

15

Ед. хр. 21. Л. 9. Почтовая открытка, рук.

113 *...еще раз — об Александрушке...* — первый отзыв об очерке О. А. Бредиус-Субботиной «Яйюшка» И. С. Шмелев отправил в почтовой открытке от 27 августа 1942 г. (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 21. Л. 5). Из-за недостаточной оплаты открытка была возвращена отправителю. Открытка была отправлена повторно в письме И. С. Шмелева от 28 августа 1942 г. (№ 16).

16

Ед. хр. 21. Л. 6. Почтовая открытка, рук.

17

Ед. хр. 21. Л. 13, 14. Письмо, машинопись.

114 *...твое письмо 25—26...* — упоминается письмо О. А. Бредиус-Субботиной от 25—26 августа 1942 г. (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 73. Л. 36, 37).

115 *...как у Эртеля...* — Александр Иванович Эртель (1855—1908), русский писатель.

116 *«Семья Гардениных»* — имеется в виду роман А. И. Эртеля «Гарденины, их дворня, приверженцы и враги» (1890).

117 *...18 вариантов «Жил на свете...»!* — стихотворение А. С. Пушкина «Жил на свете рыцарь бедный...» (1829). Наиболее известны 4 варианта стихотворения: черновой, беловой 1 редакции, беловой с поправками 2 редакции, беловой сокращенной редакции, включенный в драму «Сцены из рыцарских времен». Возможно, И. С. Шмелев имеет в виду не самостоятельные варианты стихотворения, а замены отдельных слов. См.: Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: В 16 т. М.—Л., 1949. Т. 3. Ч. 2. С. 730—736.

118 *Были в детском лагере...* — имеются в виду летние лагеря, которые устраивали эмигрантские детские организации: Национальная организация русских разведчиков, созданная в 1925 г. полковником П. Н. Богдановичем с целью военно-патриотического воспитания детей эмигрантов; Организация разведчиков (до 1941 г. Всероссийская национальная организация русских скаутов), которой руководил О. И. Пантюхов; Национальная организация витязей, основанная Н. Ф. Федоровым в 1934 г.; Русский Сокольский Союз, организованный в 1921 г. в Праге (в 1921—1923 гг. назывался гимнастическим обществом «Русский Сокол»).

119 *Владимир Соловьев* — Владимир Сергеевич Соловьев (1853—1900), поэт, критик, публицист, философ.

120 *...его «опыты в художественном творчестве».* — имеются в виду сказки из цикла «Десять политических, или невинных сказок», написанных И. А. Ильиным в 1930-е гг. (см.: Ильин И. А. Собр. соч.: Переписка двух Иванов. Т. 3. М., 2000. С. 434—467). Автор планировал опубликовать их в газетах под псевдонимом Петр Стрешнев.

121 *...«могий вместити...»* — Мф. 12, 34.

122 *...стояли бы в тихой церковке...* — упоминается церковь Успения Богородицы в Сен-Женевьев де Буа. Архитектор — Альберт Александрович Бенуа (1888—1960). Освящена митр. Евлогием в 1939 г. См.: Носик Б. М. На погосте XX века. СПб., 2000. С. 14—16; Смирнова Н. Достопримечательные русские церкви и кладбища. Paris, 2001. С. 168—171.

123 *О «Лике»... писать от «мужчины»...* — в одном из вариантов рассказа повествование ведется от лица героя (профессора Художественного училища). В завершенном рассказе (1946—1947) первая часть ведется от имени рассказчика, вторая от лица главной героини.

124 *О нервах я не понял: «я от vagus'а... а ты?»* — в письме от 25 августа 1942 г. О. А. Бредиус-Субботина указала тип своей нервной системы: «Я — "vagus betont", т.е. подчеркнута, выявлена, обозначена vagus'ом, от betonen — подчеркивать. Betonung — ударение, но в смысле подчеркнутости, акцента. Большинство людей с "Habitus astenicus" — vagus betont» (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 73. Л. 36, 37).

125 *«Именины»* — глава из II части «Радости» романа И. С. Шмелева «Лето Господне». «Именины. Преддверие» впервые опубликованы: Возрождение. 1940. 26 апреля. № 4233; «Именины. Торжество»: Парижский вестник. 1943. 30 января. № 30.

18

Ед. хр. 74. Л. 19, 20. Письмо, рук.

19

Ед. хр. 22. Л. 1, 2. Письмо, рук.

126 *...твое письмо, от 18.X... от 17-го.* — имеются в виду письма О. А. Бредиус-Субботиной от 17 и 18 октября 1942 г. (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 74. Л. 37, 38, 44).

127 *...15-го в открытке...* — почтовая открытка И. С. Шмелева от 15 августа 1942 г. (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 21. Л. 55).

128 *...влиять на кровотечение (Гр. Распутин)...* — Григорий Распутин (Григорий Ефимович Новых, 1864—1916), обладая даром гипнотического воздействия, останавливал кровотечение цесаревичу Алексею, страдавшему неизлечимым заболеванием крови (гемофилия).

129 *...согласился печатать свои статьи.* — в письме от 29 сентября 1942 г. И. С. Шмелев сообщил, что берлинская газета «Новое слово» предложила ему опубликовать избранные главы романа «Солнце мертвых». И. С. Шмелев предполагал напечатать не опубликованные ранее «Туман» и «Панораму», а остальные предложил выбрать О. А. Бредиус-Субботиной (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 21. Л. 39, 40).

130 *«Чудесное ожерелье»* — глава из романа «Солнце мертвых», во время Второй мировой войны была опубликована в берлинской газете «Новое слово» (1942. 22 ноября. № 475).

131 *...я не доволен заглавием...* — позднее рассказ был включен в цикл «Заметы» под названием «Врешь, есть Бог...» (Русская мысль. 1947. 17 мая. № 5).

132 *...сын Троцкого...* — более вероятно, что речь идет о старшем сыне Л. Д. Троцкого Льве Львовиче Седове (1906—1938). Член РКП(б), с середины 1920-х гг. активно занимался политической деятельностью, вместе с отцом в ссылке (Алма-Ата) и эмиграции (Турция, затем Париж). Участвовал в создании IV Интернационала, редактор журнала «Бюллютень оппозиции», издаваемого Л. Д. Троцким. Скончался 16 февраля 1938 г. в парижской клинике при невыясненных обстоятельствах. Возможно также (учитывая возраст героя рассказа), что речь идет о его младшем брате Сергее Львовиче Седове (1908—1937). Инженер, профессор Московского технологического института, автор ряда трудов по термодинамике и теории дизеля. В 1935 г. арестован, приговорен к 5 годам ссылки, в 1937 г. расстрелян.

26 – 11249

[133] *...писатель Вересаев...* — Викентий Викентьевич Вересаев (наст. фамилия Смидович, 1867—1945) — прозаик, поэт-переводчик, литературовед, друг И. С. Шмелева. Именно к нему в 1921 г. обращался писатель, пытаясь узнать судьбу сына. См.: Волкова Н. Б. «Последний мой крик — спасите!» (Подборка писем И. С. Шмелева к В. В. Вересаеву) // Встречи с прошлым. М., 1996. Вып. VIII. С. 165—194.

[134] *Петр Гермогенович Смидович* (1874—1935) — революционер, советский государственный деятель.

[135] *...«бить лежачего».* — И. С. Шмелев имеет в виду преследования евреев нацистами.

[136] *...сохранен Господом — ч е р е з одного читателя.* — О. Н. Сорокина указывает, что в 1920—1921 гг. прибывшие в Крым после октября 1917 г. были увезены в Ялту и расстреляны. В конце 1920 г. (возможно, в январе 1921 г.) И. С. Шмелев был вызван на регистрацию в штаб большевиков в Алуште. Комиссар отпустил писателя, не внеся его в расстрельные списки. См.: Сорокина О. Н. Московиана: Жизнь и творчество Ивана Шмелева. М., 1994. С. 127.

[137] *...д-р Аксенов...* — О. А. Бредиус-Субботина писала И. С. Шмелеву 31 октября 1942 г.: «Ванёк, еще одно: д-р Аксенов — редкомилый человек, но как врач — хуже нуля. <...> Умоляю тебя всем святым ничего не принимать, что он пришлет, без совета с твоим доктором. Аксенов верующий, милый человек, дивная поддержка у постели умирающих, но никогда не целитель. Если бы ты все о нем знал! Он пустяков не знает, живет медициной того столетия. Он из интеллигентной (в лучшем смысле) части эмиграции — "притча во языцех", как профан. Многих он отправил на тот свет из наших знакомых» (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 74. Л. 50).

[138] *Была на бегах?* — в письме от 17 октября 1942 г. О. А. Бредиус-Субботина упоминает о том, что играла на ипподроме (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 74. Л. 37, 38).

20

Ед. хр. 22. Л. 22, 23. Письмо, рук.

[139] *...эта открытка...* — имеется в виду почтовая открытка О. А. Бредиус-Субботиной от 4 ноября 1942 г. (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 75. Л. 3).

[140] *...писал 29-го X...* — упоминается письмо И. С. Шмелева от 29 октября 1942 г. (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 22. Л. 6, 7).

[141] *...быть на чужом веселье со своим горестным сердцем.* — в почтовой открытке от 4 ноября 1942 г. О. А. Бредиус-Субботина пишет: «Какая мука мне: должна с такой тоской идти на свадьбу — у соседей, звали, нельзя отказаться» (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 75. Л. 3).

142 *...II-й том моих сочинений...* — имеется в виду издание: Шмелев И. С. Рассказы. Т. II. СПб.: «Издательское товарищество писателей», 1912.

143 *...после был переиздан, причем я исключил рассказ «Иван Кузьмич».* — Шмелев И. С. Под небом. Рассказы. М., 1917. И. С. Шмелев не совсем точен: рассказ «Иван Кузьмич» (впервые опубликован: Трудовой путь. 1907. № 12) был включен во II т. его сочинений (С. 3—45) и не вошел в издание «Под небом».

144 *...(Елизаветинский институт в Москве)...* — женское учебное заведение для дворянства, купечества и духовенства. Основан в 1825 г.

144а *...письмо 5.XI.* — упоминаемое письмо находится в РГАЛИ (Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 75. Л. 5, 6).

21

Ед. хр. 75. Л. 14, 15. Письмо, рук.

144б *...проф. Руднев...* — Сергей Михайлович Руднев, хирург.

145 *...до письма твоего...* — упоминается письмо И. С. Шмелева от 5 ноября 1942 г. (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп.3. Ед. хр. 22. Л. 15, 16).

22

Ед. хр. 22. Л. 42, 43. Письмо, машинопись.

146 *«Кот в сапогах»* — сказка из сборника «Сказки моей матушки Гусыни...» (1697) французского поэта и критика Шарля Перро (1628—1703). И. С. Шмелев неточен — героя сказки называют marquis de Carabas (маркиз де Караба). *Фортинбрас* — имя одного из персонажей трагедии У. Шекспира «Гамлет».

147 *...один витебский русский помещик...* — вероятно, речь идет о И. А. Белоусове. Иван Алексеевич Белоусов (1863—1930), поэт, переводчик, участник литературного объединения «Среда». См.: Белоусов И. А. Литературная среда. М., 1928. С. 184—187. Письма И. С. Шмелева И. А. Белоусову находятся в РГАЛИ (Ф. 66. Оп. 1. Ед. хр. 321). Письма И. А. Белоусова к И. С. Шмелеву — в РГАЛИ (Ф. 1198. Оп. 1. Ед. хр. 12) и НИОР РГБ (Ф. 387. Карт. 9. Ед. хр. 31).

148 *...Ильи Львовича Толстого...* (1866—1933) — старший сын писателя Л. Н. Толстого. В 1914 г. семья Шмелевых провела лето в Оболенском (дачное место недалеко от г. Малоярославец). См.: Сорокина О. Н. Московиана: Жизнь и творчество Ивана Шмелева. С. 95; Черников А. П. Лики жизни. Калуга. 2002. С. 29—31.

149 *«Марево»* — рассказ И. С. Шмелева (Впервые опубликован в сб.: Про одну старуху. Париж, 1927).

150 *«Волчий перекат»* — рассказ И. С. Шмелева (впервые опубликован: Современный мир. 1913. № 12).

151 *...племянник Любимов.* — Никанор Никанорович Любимов (1893—1943?), сын старшей сестры И. С. Шмелева Софьи Серге-

евны (в замужестве Любимовой). Вместе с Сергеем Шмелевым учился в артиллерийском училище, преподавал в Артиллерийской академии в Ленинграде, затем в Москве. После 4 февраля 1943 г. пропал без вести. О Н. Н. Любимове идет речь также в письме И. С. Шмелева к И. А. Ильину от 23 марта 1943 г. (Ильин И. А. Собр. соч.: Переписка двух Иванов. Т. 2. С. 300). По версии О. Н. Сорокиной Н. Н. Любимов вместе с группой советских офицеров сдался в плен, проходил специальную подготовку в секретном ведомстве, был арестован гестапо. См.: Сорокина О. Н. Московиана: Жизнь и творчество Ивана Шмелева. С. 306—307.

152 *Деспотули* — Владимир Михайлович Деспотули (1895—1977). С сентября 1934 г. главный редактор газеты «Новое слово». Во время Второй мировой войны редактировал пропагандистские издания для населения оккупированных территорий СССР. С сентября 1944 г. за сближение с НТС (НТСНП) был отстранен от редактирования «Нового слова» и находился под домашним арестом. При взятии советскими войсками Берлина был арестован. 11 лет находился в заключении в СССР. В 1955 г. вернулся в Берлин.

153 *«Утро помещика»* — рассказ Л. Н. Толстого (1856).

23

Ед. хр. 75. Л. 33, 34. Письмо, рук.

154 *...«майоратного» имения В. ...* — имеется в виду поместье Вурден (Woerden), в 1942 г. принадлежавшее отцу Арнольда Бредиуса. О. А. Бредиус-Субботина называет это имение «майоратным», т.к. после смерти отца (1946) оно перешло к старшему сыну, минуя других родственников.

24

Ед. хр. 75. Л. 44, 45. Письмо, рук.

155 *...мои 2 письма к тебе вернули...* — имеются в виду письма О. А. Бредиус-Субботиной от 27 ноября и 2 декабря 1942 г., возвращенные отправителю цензурой из-за неразборчивого почерка (об этом упоминается в почтовой открытке от 12 декабря 1942 г.: РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 75. Л. 42). Письма не были отправлены повторно.

156 *...письмо А. Н. Меркулова...* — указанное письмо не сохранилось. В РГАЛИ находятся письма А. Н. Меркулова к О. А. Бредиус-Субботиной за 1949—1950 гг. (Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 106. Л. 1—12).

157 *...о Жорж-Санд.* — Жорж Санд (настоящее имя Амандина-Люси-Аврора Дюпен (Дюдеван), 1804—1876), французская писательница, романистка.

158 *Семейные дела...* — О. А. Бредиус-Субботина продолжает иносказательно писать о событиях в России.

[159] *...примириться с мачехой...* — вероятно, подразумевается управление оккупированными территориями.

[160] *...дома многие срыты до основания.* — установление зон эвакуации было связано со строительством линии Зигфрида, на которой немецкие войска закрепились после открытия второго фронта.

[161] *Мой друг...* — см. примечание 97 к письму № 11.

25

Ед. хр. 23. Л. 6. Письмо, рук.

[162] *...correspondent a Paris вашего утрехтского...* — имеется в виду Андре Боман (André Baumann), владелец цветочного магазина в Париже.

[163] *...печатаюсь с [НТСами]...* — в годы войны НТСНП назывался Национально-трудовой союз. О НТСНП см. примечание 14 к письму № 4 (Т. 1).

[164] *Посылаю тебе «Михайлов день».* — письмо с началом рассказа «Михайлов день» (декабрь 1942 г.) было задержано при пересылке, окончание рассказа перепечатано И. С. Шмелевым в письмах от 9 и 21 января 1943 г. (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 23. Л. 38, 39 и 43, 44).

[165] *...(слова жены его).* — Елены Константиновны Цветковской (1880—1943). Об этом И. С. Шмелев сообщает более подробно в письме Р. Г. Земмеринг от 2 января 1943 г.: «...по словам жены писателя Зайцева <...> за несколько дней до кончины, Бальмонт читал — в какой раз! — "Лето Господне". Его вдова говорила: "Читал вслух, но как-то по-особенному, ИНАЧЕ, чем обычно. Обычно-то он все скандировал, ДЕЛАННО все читал, свое и чужое". <...> Немирович-Данченко. Василий Иванович — умер под 90 было, — в день смерти читал "Богомолье". <...> Митрополит Антоний, в последние дни, перед кончиной, приказывал келейникам читать ему "Богомолье"...». Об этом см.: Бонгард-Левин Г. М. Из «Русской мысли». СПб., 2002. С. 99.

[166] *...другого племянника моего...* — вероятно, речь идет об Александре Никаноровиче Любимове.

[167] *...потеряет сына... и жену...* — семья Н. Н. Любимова оставалась в СССР. По данным Ю. Т. Лисицы (Ильин И. А. Собр. соч.: Переписка двух Иванов. Т. 2. С. 557) семья Н. Н. Любимова не пострадала.

[168] *...прилагаю письмо к маме.* — письмо И. С. Шмелева к А. А. Овчинниковой от 29 декабря 1942 г. находится в РГАЛИ (Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 55. Л. 1).

[168a] *...блюдешь чистоту риз своих?* — неточная цитата из Евангелия (Мф. 22, 11-14).

26

Ед. хр. 23. Л. 6. Письмо, рук.

169 *... в твоей открытке...* — упоминается открытка О. А. Бредиус-Субботиной от 24 декабря 1942 г. (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 75. Л. 51).

169а *...«Торжество».* — вторая часть главы «Именины». Более позднее название — «Празднование». См. примечение 125 к письму № 17.

170 *...«Черствые именины»...* — в окончательном варианте книги «Лето Господне» за «Именинами» следует глава «Михайлов день», повествующая о праздновании именин Горкина.

27

Ед. хр. 76. Л. 13, 14. Письмо, рук.

171 *«...днесь... боголепно славословят...»* — из кондака на Рождество Христово.

172 *...тоже Ольга...* — О. А. Розанова, дочь протоиерея Алексия Розанова.

172а *...письмо ... от Елизаветы Семеновны...* — письмо Е. С. Гелелович от 14 декабря 1942 г. не сохранилось.

173 *Марианна* — сведений о ней не найдено.

28

Ед. хр. 23. Л. 28, 29. Письмо, машинопись.

174 *...двоюродной сестре...* — имеется в виду Клара Абрамовна Крым, врач, двоюродная сестра Пастаков.

175 *«Слава в вышних Богу...»* — из Великого славословия на Всенощном бдении.

176 *«Певец стихий и ледяной пустыни»* — первоначальный вариант названия статьи И. С. Шмелева о творчестве И. И. Новгород-Северского «Певец ледяной пустыни», впервые опубликованной в газете «Парижский вестник» (1943. 23 октября. № 71).

177 *...прочел свой рассказ.* — имеется в виду рассказ «Рождество в Москве».

178 *«С нами Бог...»* — песнопение Великого Повечерия. Далее (до слов: «...придет срок...») И. С. Шмелев приводит финал рассказа «Рождество в Москве».

179 *...испепелил знамение Рождества в Москве — Храм Спасителя.* — храм Христа Спасителя построен на месте бывшего Алексиевского монастыря по проекту К. А. Тона (1882). Разрушен в 1931 г., восстановлен в 1995—2001 гг. О строительстве в Москве «церкви во имя Спасителя Христа» (позднее — кафедрального собора) было объявлено в дополнении к рождественскому манифесту Александра I (25 декабря 1913 г.) в честь изгнания из Москвы *наполеоновской армии.* См.: Идеология и памятники: Судьба двух

храмов Христа Спасителя... // Сироткин В. Г. Вехи отечественной истории. М., 1991. С. 10—11.

29

Ед. хр. 76. Л. 29, 30. Письмо, рук.

180 *...открытка от 11-го.* — открытка находится в РГАЛИ (Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 23. Л. 33).

181 *«M-me Bovary»* — роман Г. Флобера «Мадам Бовари» (1856).

30

Ед. хр. 24. Л. 4, 5. Письмо, рук.

182 *«Масленица в Москве»* — глава романа «Лето Господне». Более позднее название — «Ледяной дом».

183 *...это фамилия литературная!* — настоящее имя И. И. Новгород-Северского — Ян Пляшкевич.

184 *О «репейнике-татарнике»! ... Возьми «Хаджи-Мурат» Толстого...* — в повести Л. Н. Толстого «Хаджи-Мурат» (1896—1904, опубл. 1912) история Хаджи-Мурата предварена описанием куста репейника «того сорта, который у нас называется "татарином"».

185 *...в соляной столб обратишься.* — библейская история жены Лота (Быт. 19, 24—26).

186 *...ее деревенские романы.* — вероятно, имеются в виду сельские повести Жорж Санд: «Франсуа-найденыш» (1847), «Маленькая Фадетта» (1848).

187 *...в «Elle et lui».* — «Elle et Lui» («Она и Он»), роман Жорж Санд, в котором описывается история любви писательницы и Альфреда де Мюссе.

188 *«La Confession on d'un enfant du siècle»* — роман А. Мюссе «Исповедь сына века» (1836), отразивший взаимоотношения автора и Жорж Санд.

189 *...«Историю моей жизни».* — мемуары Жорж Санд (1854—1855).

190 *«Индиана», «Валентина», «Жак»* — романы Жорж Санд. «Индиана» и «Валентина» написаны в 1832 г., «Жак» в 1834 г.

190а *...чудесное фото... к изданию ... «Человек из ресторана».* — упоминается фотография И. С. Шмелева в профиль. Фотография была отправлена О. А. Бредиус-Субботиной в письме от 10 марта 1943 г. На обороте надпись: «Ив. Шмелев. Paris, 1943. Марта 10-го» (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 116. Л. 9). Ю. А. Кутырина датирует фотографию 1926 г. (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 2. Ед. хр. 6. Л. 1). И. С. Шмелев не точен, в библиографии Д. М. Шаховского (Paris, 1980) упоминается следующее издание: Garçon!.. — Paris, 1925. Те же данные приводит О. Н. Сорокина. См. библиографию в издании: Сорокина О. Н. Московиана. Жизнь и творчество Ивана Шмелева. М., 2000. С. 380.

31

Ед. хр. 76. Л. 47. Письмо, рук., карандаш.

191 *«Именины»* — рассказ был перепечатан в письмах к О. А. Бредиус-Субботиной с 1 по 9 февраля 1943 г. (РГАЛИ. Ф. 1198. Ед. хр. 24. Л. 15, 16, 21, 22, 27, 32, 33, 37, 38, 42, 43).

192 *...этого «писка» Василия Васильевича...* — фрагмент главы «Именины» («Празднование») романа «Лето Господне» (Шмелев И. С. Собр. соч. Т. 4. С. 203).

193 *...от слов «живоглотов»...* — упоминаются эпизоды из той же главы (Шмелев И. С. Собр. соч. Т. 4. С. 207, 209).

32

Ед. хр. 25. Л. 1, 2. Письмо, рук.

194 *...надо быть у Великого Князя...* — имеется в виду Владимир Кириллович Романов.

33

Ед. хр. 25. Л. 21, 22. Письмо, рук.

195 *...как вчера писал...* — имеется в виду письмо И. С. Шмелева от 22 марта 1943 г. (РГАЛИ. Ф. 1198. Ед. хр. 25. Л. 16, 17).

196 *...портрет акварельный...* — имеется в виду портрет И. С. Шмелева работы художника Я. Я. Калиниченко (1917), подаренный писателем В. Ф. Зеелеру.

197 *...с Лучинушкой...* — имеется в виду Люсьен Лекомт. Шмелев стал ее крестным отцом и посажёным отцом на свадьбе с Ивом Жантийомом.

198 *...Лавуазье...* — Франсуа Лоран Лавуазье (1743—1794), французский химик, один из основателей термохимии.

199 *...закон сохранения «материи»!* — имеется в виду закон сохранения веса (массы) вещества, который был сформулирован М. В. Ломоносовым (1711—1765) в 1748 г. и им же экспериментально подтвержден в 1756 г. на примере обжигания материалов в запаянных сосудах. Широкое применение этот закон получил в трудах Лавуазье, который сформулировал его в 1789 г.

200 *...научно-поставленную лабораторию.* — М. В. Ломоносов в 1748 г. основал при Академии наук химическую лабораторию, в которой ставил научные опыты, проводил практические занятия со студентами и читал лекции.

201 *Открыл атмосферу на Венере.* — в 1761 г. М. В. Ломоносов установил, что планета Венера окружена атмосферой.

34

Ед. хр. 77. Л. 12, 13. Письмо, рук.

202 *...про палец написал.* — 25 марта 1943 г. И. С. Шмелев писал: «Пишу с трудом, нарывает палец, средний, на правой руке, — от хозяйства? Наколол, что ли, как... морю его в кипятке, легче.

Другой день. М. б. заморю, до полного нарыва — рассосет? Так неприятно» (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 25. Л. 26, 27).

203 *«По небу полуночи ангел летел»...* — первая строка стихотворения М. Ю. Лермонтова «Ангел» (1830).

204 *...особенно его об олене.* — имеется в виду стихотворение И. И. Новгород-Северского «Олень смарагдовый» (сб. «Заполярье», 1939), перепечатанное в письме И. С. Шмелева от 1 февраля 1943 г., наряду с другими стихотворениями из этого сборника («Шаманы», «Голубые божки») (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 24. Л. 9, 10).

35

Ед. хр. 25. Л. 31, 32. Письмо, рук.

205 *...последнее твое письмо...* — имеется в виду письмо О. А. Бредиус-Субботиной от 16 марта 1943 г. (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 77. Л. 1, 2). Письмо от 8 апреля (№ 34) было получено И. С. Шмелевым позднее.

206 *...как переносил свою болезнь Паскаль.* — Блез Паскаль (1623—1662), французский философ, писатель, математик и физик. Много и плодотворно работал, несмотря на слабое здоровье.

36

Ед. хр. 77. Л. 16, 17. Письмо, рук.

207 *«И ничтоже земное в себе да помышляет...»* — из песнопения литургии Великой Субботы «Да молчит всякая плоть человеча и да стоит со страхом и трепетом, и ничтоже земное в себе да помышляет...».

37

Ед. хр. 25. Л. 50, 51. Письмо, рук.

208 *Поспел лишь к «Иже Херувимы...»* — т.е. к началу второй части литургии (литургии верных).

209 *...или — 19-го?* — в письме от 19 апреля 1943 г. И. С. Шмелев просит О. А. Бредиус-Субботину прислать ему «хотя бы маленький этюдик» (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 25. Л. 45).

210 *«Воскресни, Бо-же..! ...»* — «Воскресни, Боже, суди земли, яко Ты наследиши во всех языцех» (Пс. 81, 8) — аллилуарий литургии Великой Субботы.

211 *...как Мария — в пути ко Гробу...* — имеется в виду Мария Магдалина (Мф. 28, 1-8; Мк. 16, 1-8; Лк. 24, 1-12; Ин. 20, 1-18).

38

Ед. хр. 26. Л. 1. Письмо, рук.

212 *...«Бебе» прочитал «Верую»...* — начальные слова Символа веры, обязательно читаемого при крещении.

[213] *...в свою церковь, на Michel-Ange...* — соборный храм в честь иконы Знамения Божией Матери, в 1927—1945 гг. в юрисдикции Русской Православной Церкви за рубежом (единственный храм РПЦЗ в Париже), затем Константинопольского Патриархата. В 1943 г. храм располагался по адресу: 65, rue Michel-Ange, 16-e (община арендовала помещение, ранее храм находился на rue d'Odessa, затем (с 1937 г.) на rue Boileau).

[214] *Евангелие от Матфея — о Воскресении.* — на литургии в Великую Субботу читается Мф. 28, 1-20.

39

Ед. хр. 77. Л. 20, 21. Письмо, рук.

[215] *...умер брат любимый...* — речь идет о Дмитрии Александровиче Груздеве. См. примечание 32 к письму № 9 (Т. 1).

[216] *...узнать о смерти С. В. Рахманинова...* — С. В. Рахманинов умер 28 марта 1943 г.

[217] *...Оля...* — вероятно, О. А. Розанова.

40

Ед. хр. 77. Л. 24, 25. Письмо, рук., карандаш.

[218] *...от Великого Понедельника...* — письмо И. С. Шмелева от 19 апреля 1943 г. (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 25. Л. 45).

[218а] *...уроки живописи у Фальк'а.* — вероятно, О. А. Бредиус-Субботина имеет в виду Р. Р. Фалька. Роберт Рафаилович Фальк (1886—1958), живописец, театральный художник. С 1928 по 1938 г. жил во Франции.

[218б] *Ты напрасно обиделся за конфеты...* — 16 февраля 1943 г. О. А. Бредиус-Субботина писала: «Конфеты такая редкость, — кушай ты их сам! Я целую тебя за желание послать и побаловать Ольгуну, но подумай и о себе» (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 76. Л. 43, 44).

41

Ед. хр. 26. Л. 5, 6. Письмо, машинопись.

[219] *Последние письма, 5-го и 6-го...* — имеются в виду письма О. А. Бредиус-Субботиной от 3 и 6 мая 1943 г., отправленные 6 мая. Письмо от 6 мая в настоящем издании не публикуется (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 77. Л. 28, 29).

[220] *...получила ли фото в письме от 11-го марта...* — имеется в виду письмо от 10 марта 1943 г. См. также примечание 190а к письму № 30.

[221] *...писал 7.IV...* — И. С. Шмелев не совсем точен: письмо датировано 8 апреля (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 25. Л. 31, 32).

[222] *...писал... 10-го IV...* — указанная открытка не сохранилась.

[223] *Тут ...хлыстовство — радение, тут — Гр-распутинство.* — молитвенные собрания хлыстов назывались «радениями». Об особен-

ностях молитвенного ритуала хлыстов и возможной связи Григория Распутина с сектой см.: Эткинд А. Хлыст (секты, литература, революция). М., 1998. С. 585—637.

224 *...Иоанна Лествичника.* — Иоанн Лествичник, преподобный VI в. Наиболее известное сочинение — «Лествица райская», в котором иноческая жизнь представлена как путь непрерывного восхождения по «лествице» духовного самосовершенствования. Вероятно, И. С. Шмелев имеет в виду дополнение к ней («К пастырю»), которое особенно популярно в монастырях.

225 *...посвятить в «хлыстову богородицу»...* — женщина, считавшаяся в секте хлыстов земным воплощением Богоматери. См. также примечание 223 к данному письму.

226 *...после «Плача Богоматери»...* — канон, читаемый во время Малого Повечерия в Великую Пятницу.

227 *«Вампука»* — «Вампука, невеста африканская», опера В. Эренберга (1909).

228 *...статью Бальмонта: «Шмелев, кого никто не знает».* — И. С. Шмелев не точно приводит название статьи К. Д. Бальмонта «Шмелев, которого никто не знает» (Сегодня. 1930. № 345).

229 *...твою открытку!* — имеется в виду почтовая открытка О. А. Бредиус-Субботиной от 2 мая 1943 г. (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 77. Л. 33).

42

Ед. хр. 77. Л. 39, 40. Письмо, рук.

230 *«...с ближним своим на пути».* — Мф. 3, 25.

231 *...опухоль в правой груди и подмышкой...* — опухоль оказалась злокачественной, летом 1943 г. О. А. Бредиус-Субботина перенесла хирургическую операцию.

43

Ед. хр. 26. Л. 14, 15. Письмо, рук.

232 *«Господь мя пасет и никто мя лишит!»* — неточная цитата из Псалтири (Пс. 22, 1): «Господь пасет мя и ничтоже мя лишит» (совр. рус. пер. — «Господь — Пастырь мой; я ни в чем не буду нуждаться»).

233 *«Солдаты»* — незавершенный роман И. С. Шмелева. Первые главы романа опубликованы: Современные записки. 1930. № 41—42.

234 *«Иностранец»* — отдельные главы романа были напечатаны в журнале «Русские записки» (1938. Апрель—май. № 4, 5) и в ежемесячной газете «Русский инвалид» (1938. Май. № 115). После смерти И. С. Шмелева Ю. А. Кутырина опубликовала незавершенный роман отдельным изданием (Париж, 1962).

235 *...отвез на дачу племянницы...* — дача Ю. А. Кутыриной находилась в Сен-Реми (332 Avenue Coubertin, St. Remy-les-Cheuvreuse, S.O.).

[236] ...*«склона дней».* — неточная цитата из стихотворения Ф. И. Тютчева «Последняя любовь» (между 1852 и началом 1854).

44

Ед. хр. 77. Л. 48. Письмо, рук.

[237] ...*удивительный доктор...* — в дальнейшем упоминается как доктор Клинкенберг (Klinkenbergh).

45

Ед. хр. 26. Л. 34, 35. Письмо, рук.

[238] ...*письма с рассказом «Трапезондский коньяк»...* — письма от 8 и 11 июня 1943 г. (РГАЛИ Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 26. Л. 24, 25, 29, 30).

[239] *«Чудесный билет»... «Губить пойдут — а мы спасемся!»* — слова повествователя из рассказа «Чудесный билет»; впервые опубликован в сб.: Про одну старуху. Новые рассказы о России. Париж, 1927.

[240] ...*к этой «Holer'e»...* — И. С. Шмелев обыгрывает фамилию г-на Holer, у которого в Париже останавливался И. Толен, муж Ф. Н. Толен.

[241] *Дари погребена в Шамордино.* — Дарья Ивановна Королева (1858—1899), послужившая прототипом главной героини «Путей небесных», похоронена возле церкви в деревне Руднево Козельского района Калужской области, в четырех километрах от Шамординской пустыни.

[242] *Вчера была у меня пожилая дама...* — Ю. А. Кутырина в статье «Пути небесные» сообщает о «старенькой даме А. В. Р. из богатой в прошлом московской семьи» (см.: Заметки к третьему ненапечатанному тому // Шмелев И. С. Собр. соч. Т. 5. С. 471).

[243] ...*Перлова...* — Сергей Васильевич Перлов (ум. 1910) — известный московский чаеторговец. На его пожертвования построен Казанский собор, трапезная, мастерские и другие здания в Казанской Свято-Амвросиевской Шамординской пустыни.

[244] ...*в Шамордине...* — Казанская Свято-Амвросиевская Шамординская пустынь, женский монастырь в 20 км от Оптиной пустыни, на берегу реки Серены. Обитель устроена по благословению преп. Амвросия Оптинского в усадьбе, пожертвованной его духовной дочерью, бывшей помещицей, монахиней Амвросией (Ключаревой) в 1884 г. В 1923 г. монастырь был закрыт как «рассадник контрреволюции». Монашеская жизнь в нем возобновилась с 1990 г.

[245] ...*слепая монахиня (игуменья?)...* — по сведениям, которые привела Ю. А. Кутырина в статье «Пути небесные» (Шмелев И. С. Собр. соч. Т. 5. С. 469), слепой была вторая игуменья Шамординской обители Ефросиния (Розова), управлявшая монастырем до 14 апреля 1904 г.

46

Ед. хр. 26. Л. 46, 47. Письмо, рук.

246 *...эти «открытия» разных «ям»...* — захоронения жертв массовых репрессий времен Гражданской войны и 1930-х гг.

247 *...святого убиенного короля — Александра!* — И. С. Шмелев имеет в виду Александра I Карагеоргиевича, убитого в Марселе хорватскими националистами. См. примечание 478 к письму № 106 (Т. 1).

248 *...веймарцы...* — имеется в виду Веймарская республика, учрежденная в Германии в результате ноябрьской революции 1918 г. Республика фактически прекратила свое существование в 1933 г. после установления в Германии фашистской диктатуры.

249 *...(Национальный комитет в Париже)...* — основан на съезде Русского национального общества (лето 1921) под председательством А. В. Карташева, издавал журнал «Вестник национального комитета».

250 *«Камо пойду от Духа Твоего...»* — Пс. 138, 7.

251 *...пошлю письмо и в нем начало «Под горами».* — рассказ был перепечатан в письмах И. С. Шмелева от 17, 19 и 21 июля. Письма от 17 и 19 июля находятся в РГАЛИ (Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 27. Л. 1, 2, 6, 7).

47

Ед. хр. 77. Л. 54, 55. Письмо, рук.

48

Ед. хр. 27. Л. 11, 12. Письмо, машинопись.

252 *...наши «добрые люди древней Руси», как называл Ключевский...* — «Добрые люди древней Руси», речь В. О. Ключевского, прочитанная в пользу пострадавших от неурожая в Поволжье (опубликована в 1892 г.).

253 *...врач Гинденбург из Минска... в «Дневнике писателя»...* — доктор Гинденбург (1793—1877), минский врач и акушер, оказывавший материальную поддержку неимущим (в том числе и евреям) и умерший в нищете. Ф. М. Достоевский посвятил ему главу «Похороны "общечеловека"» в мартовском выпуске «Дневника писателя» за 1877 г.

254 *...бомбардировки Рима...* — с 10 июля по 17 августа 1943 г. англо-американские войска вели боевые действия по освобождению о. Сицилия, которые сопровождались бомбардировками основных промышленных центров Италии.

255 *...«Легенды о Великом Инквизиторе».* — речь идет о главе «Великий инквизитор» романа Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы». Эту главу стали называть «легендой» после литературно-критической статьи В. В. Розанова (Легенда о Великом инквизиторе Ф. М. Достоевского. Опыт критического комментария. Русский вестник. 1891. № 1—4.

49

Ед. хр. 78. Л. 1. Письмо, рук.

256 *...промежуток в моих письмах.* — последнее письмо было отправлено О. А. Бредиус-Субботиной 10 июля 1943 г.

256а *...аресты врачей...* — более подробно об арестах О. А. Бредиус-Субботина пишет 6 сентября 1945 г. (письмо № 98).

50

Ед. хр. 78. Л. 4, 5. Письмо, рук.

257 *...именинное письмо и за вчерашнее, от 12-го...* — имеются в виду письма И. С. Шмелева от 17 июля (№ 49) и 12 июля 1943 г. (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 26. Л. 43).

258 *Оценку твою дяди В. ...не знаю точно.* — речь идет о фрагменте из письма И. С. Шмелева от 12 июля 1943 г. «Из Б[ерлина] неопределенные вести о некрасовском дяде В. Говорят, что стойко себя ведет, достойно. Слава Богу. От племянника давно нет вестей. В мае он виделся в Б[ерлине] с дядей».

259 *«Милость мира»* — возглас священника перед освящением Св. Даров в завершающей части литургии.

259а *...письма: ее, ... сестры... и Пустошкина...* — перечисленные письма не сохранились.

51

Ед. хр. 78. Л. 8, 9, 12. Письмо, рук.

260 *Продолжение и окончание* — рассказ «Ландыши» был отправлен в двух конвертах, поскольку разрешенный цензурой объем письма не мог превышать двух листов.

52

Ед. хр. 27. Л. 16, 17. Письмо, рук.

261 *«О рыбаке и рыбке»* — сказка А. С. Пушкина (1833).

262 *...наш «мудрователь словечками» Ремизов.* — в своих произведениях А. М. Ремизов (1877—1957) часто прибегал к «хитрослови», словесным «узлам и закрутам». Свою книгу «Мышкина дудочка» (1953) писатель назвал «словесными опытами-копытами».

263 *Вергилий* — Публий Марон Вергилий (70—19 гг. до н. э.), римский поэт.

263а *«Свет во тьме»* — окончательный вариант заглавия «Свет. Из разорванной рукописи» (опубликован в сб.: Свет вечный. Париж, 1968).

53

Ед. хр. 78. Л. 15, 16. Письмо, рук.

54

Ед. хр. 27. Л. 31, 32. Письмо, машинопись.

264 ...*«универсальная библиотека Реклама»*... — серия книг, выпускавшаяся немецким издательством Philip Reclam в Лейпциге.

265 *«Голос зари»* — рассказ И. С. Шмелева (опубликован в сб.: Свет разума. Париж, 1928).

266 ...*диктовал моему Сережечке*... — события относятся к началу марта 1920 г.

267 ...*книжка «О смерти» — адвоката Андреевского*... — Книга о смерти (Мысли и воспоминания). Т. 1—2. Ревель—Берлин, 1924; автор книги — Сергей Аркадьевич Андреевский (1847—1918), поэт, литературный критик, юрист.

268 ...*Гиппиус Зина*... — Зинаида Николаевна Гиппиус (в замужестве Мережковская, 1869—1945), поэтесса, литературный критик, прозаик. С 1920 г. — в эмиграции, с 1921 — в Париже, где организовала литературные «воскресенья» общества «Зеленая лампа». Несмотря на многочисленные разногласия с И. С. Шмелевым, в письме к нему высоко оценила «Богомолье»: «Непередаваемым благоуханием России исполнена эта книга. Ее могла создать только такая душа, как Ваша, такая глубокая и проникновенная Любовь, как Ваша...» (цит. по письму И. С. Шмелева И. А. Ильину от 30 марта 1935 г. Ильин И. А. Собр. соч.: Переписка двух Иванов. Т. 2. С. 37—38). См. также: Сорокина О. Н. Московиана. М., 1994. С. 291—292.

269 ...*приятельницу Юли*... — личность не установлена.

270 ...*атаманом гр. Граббе*... — граф Михаил Николаевич Граббе (1868—1942), генерал-лейтенант. Командовал лейб-гвардии Сводным казачьим полком. Атаман Войска Донского. Адъютант вел. кн. Владимира Александровича.

271 «...*чтоб встать он из гроба не мог*». — строка из V строфы стихотворения М. Ю. Лермонтова «Воздушный корабль» (1840).

272 *Галина Кузнецова* — Галина Николаевна Кузнецова (1900—1976), поэтесса, прозаик, мемуарист. Эмигрировала в 1920 г., в 1926 г. познакомилась с И. А. Буниным, став его литературной ученицей и «удочеренной любовницей». С мая 1927 г. по апрель 1942 г. жила в семье Буниных в Грассе. Автор книги «Грасский дневник», воссоздающей жизнь Бунина и его ближайшего окружения в эмиграции. «Дневник» содержит ряд отзывов о творчестве И. С. Шмелева.

273 ...*с сестрой публициста-философа Степуна*... — Федор Августович Степун (1884—1965), философ, писатель, критик, мемуарист. Его сестра Маргарита, оперная и эстрадная певица, встретилась с Галиной Кузнецовой в 1933 г. С 1942 г. М. А. Степун и Г. Н. Кузнецова жили на вилле в Каннах, а затем в Германии, в семье Ф. А. Степуна.

274 *«Ве-ра-а..!»* — Вера Николаевна Муромцева-Бунина (1881—1961), жена И. А. Бунина.

275 *Рассказ был напечатан в «Русском богатстве»*... — рассказ И. С. Шмелева «Под небом» был напечатан в № 10 за 1910 г.

[276] *Короленко* — Владимир Галактионович Короленко (1853—1921), прозаик, публицист. С 1894 по 1918 г. работал редактором в ежемесячном литературном и научном журнале «Русское богатство».

[277] *...в письме от 23 июля...* — И. С. Шмелев не точен. Имеется в виду письмо от 21 июля 1943 г. (№ 48).

[278] *...письмо от 11.VIII — (штемпель)...* — указанное письмо датировано 9 августа 1943 г. (№ 53).

[279] *...послал... два с рассказом...* — письма И. С. Шмелева от 14 августа 1943 г. с рассказом «Свет во тьме» находятся в РГАЛИ (Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 27. Л. 21, 22, 26, 27).

55

Ед. хр. 78. Л. 24, 25. Письмо, рук.

[280] *...наш рыбинский праздник* — праздник иконы Нерукотворного Спаса, храмового образа церкви, в которой служил отец О. А. Бредиус-Субботиной.

[281] *...Dr. A. A. Brediusa...* — Абрахам Бредиус (?—1946), директор гаагского музея Мауритцхебе, искусствовед, крупнейший специалист по живописи Рембрандта. По сведениям, сообщенным О. А. Бредиус-Субботиной в письме от 30 декабря 1945 г. (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 81. Л. 38), профессор А. Бредиус умер незадолго до своего брата, 25 декабря 1945 г.

[282] *...Рембрандта...* — Рембрандт Харменс ван Рейн (1606—1669), голландский живописец.

[283] *...кн. Багратион с дочерью...* — вероятно, имеется в виду княжна Нина Александровна Багратион-Мухранская (1902(?)—1972), с 1921 г. жившая в Ницце.

[284] *Война 1939 г. ...* — речь идет о Второй мировой войне.

[285] *...у Билибина...* — Иван Яковлевич Билибин (1876—1942), русский художник, график, декоратор.

[286] *...старушка...* — сведений о ней нет.

[287] *«Суета сует, все суета»...* — Еккл. 1, 2.

[288] *...твое письмо от 22-го...* — упоминается письмо И. С. Шмелева от 22 августа 1943 г. (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 27. Л. 36).

56

Ед. хр. 27. Л. 42. Письмо, машинопись. Адрес отправителя: Au coin de la rue Digue et de l'avenue de Coubertin, St. Remy-les-Chevreuse, S. O.

[289] *...пожар в переулке (разворочено кладбище)...* — упоминается ул. Claude Lorrain и кладбище d'Auteuil.

[290] *...с 20-го авг.!* — в этот день И. С. Шмелев получил почтовую открытку, датированную 12 августа 1943 г. (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 78. Л. 19).

[291] *...от 23 авг. и еще, 26... простая открытка...* — имеются в виду письмо и почтовая открытка И. С. Шмелева от 22 и 25 августа

1943 г., которые он датирует днем позже (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 27. Л. 36, 40).

291а *...твои письма запакованы, и я сдам их в более верное место.* — И. С. Шмелев нумеровал письма О. А. Бредиус-Субботиной (за период с 9 июня 1939 г. по 21 января 1944 г. — 270 писем) и отмечал на конверте дату получения. Впоследствии письма были переданы на хранение А. В. Карташеву.

292 *...бомбами затронуты... Зайцев — в прошлом году...* — Б. К. Зайцев написал очерк об англо-американской бомбардировке Парижа (см.: Зайцев Б. К. Десять лет // Собр. соч.: В 5 т. М.: «Русская книга», 2000. Т. 9 (доп.). С. 274—275).

293 *...Брешко-Брешковский...* — Николай Николаевич Брешко-Брешковский (1874—1943), прозаик, журналист, литературный и художественный критик, киносценарист. В 1920 г. эмигрировал в Сербию, в 1921 г. переехал в Париж, в 30-х годах жил в Берлине. Погиб во время бомбежки 23 августа 1943 г.

294 *...«пора, мой друг, пора...»* — начальные строки стихотворения А. С. Пушкина «Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит...» (1834).

295 *...твое было от 21.VIII.* — указанную открытку И. С. Шмелев получил 31 августа 1943 г. (РГАЛИ. Оп. 3. Ед. хр. 78. Л. 19, 22).

57

Ед. хр. 78. Л. 31, 32. Письмо, рук.

296 *...в последних числах августа...* — имеется в виду письмо от 29 августа 1943 г. (№ 55).

297 *...письмо об этом?* — имеется в виду письмо О. А. Бредиус-Субботиной от 4—6 сентября 1943 г. (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 78. Л. 28).

298 *...невеста... Кеса.* — младший брат А. Бредиуса Корнелиус женился 20 сентября 1947 г. Сведений о его невесте нет.

58

Ед. хр. 27. Л. 46, 47. Письмо, машинопись. Адрес отправителя: Au coin de la rue Digue et de l'avenue de Coubertin, St. Remy-les-Chevreuse, S. O.

299 *...«возвращается ветер на круги своя»!* — Еккл. 1, 6.

300 *...Соломон Давыдыч... записал.* — И. С. Шмелев следует номинальному авторству и приписывает каноническую книгу «Экклезиаста» царю Соломону («сын Давидов», Еккл. 1, 1). Точное авторство не установлено, книгу приблизительно датируют III в. до н. э.

301 *...в дни временного «ухода» оккупационных войск...* — вероятно, И. С. Шмелев имеет в виду действия партизан, так как Евпатория была оккупирована с 31 октября 1941 г. по 13 апреля 1944 г.

302 *...подворье недалеко...* — имеется в виду Свято-Сергиево подворье в Париже (93, rue Crimée, 19-e).

59

Ед. хр. 27. Л. 53, 54. Письмо, машинопись. Адрес отправителя: Au coin de la rue Digue et de l'avenue de Coubertin, St. Remy-les-Chevreuse, S. O.

303 *...получил от Меркулова твое письмо.* — имеется в виду письмо О. А. Бредиус-Субботиной от 9 сентября 1943 г. (№ 57), которое было отправлено на адрес А. Н. Меркулова (11, rue Claude-Lorrain, Paris, 16-e).

304 *...считает себя... «стариком» и «отшибком»!* — эпизод из романа И. С. Тургенева «Дворянское гнездо» (1859).

305 *...«болдинский» период у Пушкина...* — осенью 1830 г. холерные карантины задержали поэта в Болдине на три месяца. За это время были созданы «Повести покойного Ивана Петровича Белкина», «Маленькие трагедии», последние главы «Евгения Онегина», «Домик в Коломне», «История села Горюхина», «Сказка о попе и о работнике его Балде» и около 30 стихотворений.

306 *...годами пишут... — ...«Евгений Онегин»...* — А. С. Пушкин работал над романом с 1823 по 1831 г.

307 *...по одной—двум «сказочкам»-притчам, мне когда-то посланным...* — в письме от 30 августа 1935 г. И. А. Ильин предложил И. С. Шмелеву высказать свое мнение о посланной ему сказке «Жертвенная овца» и ее возможной публикации (Ильин И. А. Собр. соч.: Переписка двух Иванов. Т. 2. С. 95—96). При жизни И. А. Ильина из десяти сказок были опубликованы две: «Вонючая гора» (Возрождение. 1935. 2 ноября) и «В дураки» (Русский голос. 1935. 1 декабря). Рукопись сказок находится в архиве И. А. Ильина в Мичигане (Courtesy of Special Collections, Michigan State University Libraries).

308 *...правды ему не сказал...* — в письме И. А. Ильину от 25 сентября 1935 г. И. С. Шмелев дает свой отзыв на сказку: «С игривым любопытством стал читать про «Жертв<енную> овцу» — и съел ее за 2 минуты, косточки только хрустнули. Мало! Шпарьте их и в хвост, и в гриву! Здорово. Не жалейте **подливки**! Вы може-те, и зле-й» (Ильин И. А. Собр. соч.: Переписка двух Иванов. Т. 2. С. 98).

309 *...у Герцена — «Некуда»...* — И. С. Шмелев не точен: роман «Некуда» (1864) написан Н. С. Лесковым.

310 *«Что делать?»* — роман Н. Г. Чернышевского (1863).

60

Ед. хр. 78. Л. 46. Письмо, рук.

311 *...письмо от Шахбагова...* — письмо не сохранилось.

61

Ед. хр. 79. Л. 2, 3. Письмо, рук.

312 *Прилагаю карточку... после операции.* — имеется в виду фотография О. А. Бредиус-Субботиной в группе с А. А. Овчинниковой и

С. А. Субботиным. На обороте надпись: «Конец июля 1943 г. Я после операции. На руках все кошачьи детки. Тебе, милому имениннику! Как найдешь ты теперь Ольгуну?» (РГАЛИ. Ф. 1198. Ед. хр. 79. Л. 1).

62

Ед. хр. 28. Л. 16, 17. Письмо, рук.

313 *«Царица небесная»... писал тебе.* — 12 октября 1943 г. И. С. Шмелев писал: «Но теперь — самое важное: Оля, светик, мне, недостойному, было явлено... знамение! Я был потрясен и укреплен. Это по Ее молитвам. Бомбардировка была 3-го сент., 2-го я вечером, как всегда, сорвал листок календаря Инвалидов — стало — 3 сент. Так и осталось до... 10 окт.! 10-го я оборвал все с 3 сент. по 11-е окт. Не читал. Решил бросить. Потом, часа через 2—3, вспомнил: надо выбросить. И — мысль! а что из моего было за эти 5 недель? Начал просматривать, откладываая с пачки — назад. Ни-че-го! Остался последний листик — на 3-ье сентября! И что же..? — Мое! "Царица Небесная"! И какой отрывок!! ... "Плавно колышась, грядет Царица Небесная..." (начало стр. 89 "Лета Господня" 23 — (двадцать три) строчки, кончая: "... — все под Ней. Она — Царица Небесная"» (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 28. Л. 11, 12).

313а *С. В. Яблоновский-Потресов* — Сергей Викторович Потресов (1870—1953), журналист, литературный критик, поэт, переводчик. В 1901—1917 гг. был сотрудником редакции московской газеты «Русское слово». Эмигрировал в 1920 г. Один из авторов сборника «Памяти И. С. Шмелева» (Мюнхен, 1956).

314 *...Светлану Рышкову-Офросимову...* — сведений о ней нет.

63

Ед. хр. 79. Л. 7, 8. Письмо, рук.

64

Ед. хр. 28. Л. 21, 22. Письмо, машинопись.

315 *...написал тебе 18-го...* — имеется в виду письмо И. С. Шмелева от 16 октября 1943 г. (№ 62), отправленное 18 октября.

316 *...до 3 ноября...* — 3 ноября 1943 г. И. С. Шмелев получил письмо от О. А. Бредиус-Субботиной от 25 октября (№ 63).

317 *...я писал 8, 13...* — имеются в виду письма от 7 и 12 октября, датированы И. С. Шмелевым по дню отправления (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 28. Л. 6, 7, 11, 12).

318 *...проф. ...Даршкевича...* — вероятно, И. С. Шмелев имеет в виду профессора Ливерия Осиповича Даркшевича (1858—1925), известного невропатолога, с 1917 г. преподававшего невропатологию в Московском 1-м Государственном университете.

319 *...«Дамасский» эпизод...* — Деян. 9, 3-5; 22, 6-8.

320 *...блестящую карьеру на службе у Синедриона!* — Деян. 9, 1-2.

321 *...до Павла Федорыча Карамазова...* — И. С. Шмелев имеет в виду одного из героев романа «Братья Карамазовы»: вероятно, это или Федор Павлович Карамазов, или его сын Павел Федорович Смердяков.

65

Ед. хр. 79. Л. 21, 22. Письмо, рук.

322 *...твое долгожданное письмо...* — вероятно, имеется в виду письмо И. С. Шмелева от 5 ноября 1943 г. (№ 64), полученное О. А. Бредиус-Субботиной 16 ноября.

323 *...от 23-го, с приложением Вигена...* — вместе с письмом И. С. Шмелева от 23 ноября 1943 г. (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 28. Л. 26) в конверт было вложено письмо В. Нарсесяна к С. А. Субботину. Это письмо не сохранилось.

324 *...в Художественно-историческом институте...* — вероятно, О. А. Бредиус-Субботина имеет в виду Королевскую Академию изобразительных искусств в Гааге.

325 *...узнав о Ивикиной дочке...* — Екатерина-Ольга Жантийом (род. 1943), дочь И. Жантийома и его первой жены Л. Лекомт.

326 *Чудная вещь это у Бунина.* — рассказ И. А. Бунина «Роза Иерихона» из одноименного сборника (Берлин, 1924).

66

Ед. хр. 28. Л. 30, 31. Письмо, машинопись.

326а *...год тому, прописал французский врач.* — И. С. Шмелев писал об этом 26 октября 1942 г. (письмо № 19).

327 *...«мыслящий тростник»...* — из «Мыслей» (1670) Блеза Паскаля: «Человек — всего лишь тростник, самый слабый в природе, но это мыслящий тростник. <...> Но если бы Вселенная его уничтожила, человек все же оставался бы более достойным, чем то, что его убивает, ибо он знает, что умирает, тогда как о преимуществе, которое над ним имеет Вселенная, она ничего не знает». Цит. по: Августин Аврелий. Блез Паскаль. Лабиринты души. Симферополь, 1998. С. 213—214.

328 *...Черчилле...* — Уинстон Леонард Спенсер Черчилль (1874—1965), премьер-министр Великобритании в 1941—1945 и 1951—1955 гг.

329 *...о Рубенсе...* — Питер Пауль Рубенс (1577—1640), фламандский живописец.

330 *...последнего письма, 24 ноября...* — имеется в виду письмо И. С. Шмелева от 23 ноября 1943 г. (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 28. Л. 26).

331 *...эти последние!!* — имеются в виду письма от О. А. Бредиус-Субботиной от 25 октября (№ 63), 7 и 15 ноября (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 79. Л. 12, 13, 17) и 29 ноября (№ 65).

[332] *...кричал на меня Горкин — в последних главах.* — фрагмент из романа «Лето Господне», глава «Кончина» (Шмелев И. С. Лето Господне // Собр. соч. Т. 4. С. 373).

[333] *...виолончель Брандукова...* — Анатолий Андреевич Брандуков (1858—1930), русский виолончелист, с большим успехом концертировавший в России и за границей. С 1921 г. профессор Московской консерватории.

[334] *...Айхенвальд (матери певицы Большого театра)...* — сведений о ней нет.

[335] *Ведь это — 1916!* — И. С. Шмелев сообщил О. А. Бредиус-Субботиной неверную дату рождения — 1877 г. (вместо 1873). Далее он называет «условную» дату своего 39-летия (возраст О. А. Бредиус-Субботиной в 1943 г.).

67

Ед. хр. 28. Л. 35, 36. Письмо, машинопись.

[336] *«Ты — сам: живи один...»* — неточная цитата из стихотворения А. С. Пушкина «Поэту» (1830), в оригинале: «Ты царь: живи один».

[337] *...кажется, «Русские записки».* — сборник очерков И. С. Шмелева «Суровые дни» публиковался в 1914—1916 гг. в журнале «Северные записки».

[338] *«Чужой крови»* — рассказ И. С. Шмелева, впервые опубликован: Настольный народный календарь. М., 1919.

[339] *...«кто это старчески кашляет там, за стеной?»* — неточная цитата из стихотворения в прозе И. С. Тургенева «Как хороши, как свежи были розы...» (1879). В тургеневском тексте слова звучат так: «Кто это кашляет там так хрипло и глухо?»

68

Ед. хр. 79. Л. 25, 26. Письмо, рук.

69

Ед. хр. 79. Л. 30, 31. Письмо, рук.

[339а] *...твое последнее письмо!* — вероятно, имеется в виду письмо И. С. Шмелева от 10 декабря 1943 г. (№ 67), отправленное им 15 декабря. Следующее письмо И. С. Шмелева к О. А. Бредиус-Субботиной датировано 31 декабря 1943 г. (№ 70).

[339б] *...университетская церковь...* — вероятно, имеется в виду церковь муч. царицы Александры (Римской) при Казанском Родионовском институте. О. Александр Субботин был назначен настоятелем церкви в 1913 г.

70

Ед. хр. 28. Л. 40, 41. Письмо, рук.

[340] *...а твое — 23.* — речь идет о письме О. А. Бредиус-Субботиной от 17 декабря 1943 г. (№ 68).

[341] *...послал последнее — 15.XII.* — имеется в виду письмо И. С. Шмелева от 10 декабря 1943 г. (№ 67). См. примечание 339а к письму № 69.

[342] *«Тогда считать мы стали раны...»* — строка из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Бородино» (1837).

[343] *Скоро они прочтут «Рождество в Москве»...* — рассказ И. С. Шмелева «Рождество в Москве. Рассказ делового человека» был напечатан в «Парижском вестнике» 8 января 1944 г. (№ 81).

[344] *...перейти на н о в у ю орфографию.* — «Парижский вестник» перешел на новую орфографию 11 декабря 1943 г. (№ 78).

[345] *«Рождество Твое, Христе...»* — рождественский тропарь.

71

Ед. хр. 79. Л. 35, 36. Письмо, рук.

[346] *Вера* — героиня автобиографического романа О. А. Бредиус-Субботиной. Роман не был завершен.

72

Ед. хр. 79. Л. 40, 41. Письмо, рук.

[347] *...что слышим ...часы!* — имеется в виду первая часть воскресной службы, предваряющая литургию.

73

Ед. хр. 28. Л. 45, 46. Письмо, рук.

[348] *...твоего «соблазна единого от малых сих»* — Мф. 18, 6.

[349] *...(Пушкин, «Воспоминание»)...* — стихотворение написано в 1828 г.

[350] *...беседе как бы с чертом.* — речь идет о замысле рассказа «Почему так случилось» (впервые опубликован: Парижский вестник. 1944. 15 и 22 апреля. № 95—96).

[351] *...в «Карамазовых», «Кошмар Ивана»?* — имеется в виду IX глава 11 книги романа «Братья Карамазовы» (1878—1879) «Черт. Кошмар Ивана Федоровича».

74

Ед. хр. 79. Л. 45. Письмо, рук.

[352] *«...дает им Отец Его на небеси».* — неточная цитата из Евангелия (Мф. 18, 19).

75

Ед. хр. 80. Л. 1, 2. Письмо, рук.

[353] *...писания Никифорова-Волгина?* — речь идет о сборниках рассказов Василия Акимовича Никифорова-Волгина (1900—1941) «Земля именинница» (1937) и «Дорожный посох» (1938), сюжеты которых связаны с жизнью духовенства и судьбой Православной Церкви в России.

354 *«...спят в них галки...»* — цитата из главы «Рождество» романа «Лето Господне» (Шмелев И. С. Собр. соч. Т. 4. С. 99).

355 *...«вспыхнуло крестом...» на куполе, в Пасху.* — неточная цитата из главы «Пасха» романа «Лето Господне». В оригинале: «В черном небе алым крестом воздвиглось» (Шмелев И. С. Собр. соч. Т. 4. С. 61).

356 *...об отце Иоанне...* — вероятно, имеется в виду о. Иоанн Шаховской (см. письмо № 70).

76

Ед. хр. 29. Л. 1, 2. Письмо, машинопись.

357 *...у Трубецкого Евгения...* — Евгений Николаевич Трубецкой (1863—1920), религиозный философ, правовед, общественный деятель.

358 *...в его работе... об «иконе»...* — имеется в виду очерк Е. Н. Трубецкого «Два мира древнерусской иконописи» (М., 1916).

359 *...иконописец привязал кого-то к дереву...* — в указанном очерке Е. Н. Трубецкой пишет: «Эта фигура олицетворяет тот преобладающий в человечестве средний, пограничный тип, которому одинакова чужда и небесная глубина, и сатанинская бездна. Не зная, что с ним делать и как его рассудить, иконописец так и оставил его прикованным посередине к пограничному столбу» (Трубецкой Е. Н. Три очерка о русской иконе. М., 1991. С. 65).

360 *...сама Виктория!* — королева Великобритании (1819—1901), правившая с 1837 по 1901 г.

361 *...императрица М[ария] Ф[едоровна]...* — Мария Федоровна Романова (1847—1928), супруга Александра III и мать Николая II.

362 *...от одной читательницы... ее мужу...* — сведений о них нет.

363 *«...и дар невольный умиленья...»!* — неточная цитата из стихотворения А. С. Пушкина «Ангел» (1827 г.), в оригинале: «И жар невольный умиленья».

77

Ед. хр. 29. Л. 21. Письмо, рук.

364 *...рассказ, который ты получила, думаю.* — рассказ «Почему так случилось» был перепечатан в письмах И. С. Шмелева от 24 и 25 января 1944 г. (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 29. Л. 6, 7, 13, 15).

78

Ед. хр. 29. Л. 27, 28. Письмо, машинопись.

365 *...твои два, от 22.I.* — имеется в виду письмо О. А. Бредиус-Субботиной от 21—22 января 1944 г. с припиской от 22 января (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 80. Л. 1—2). Второе письмо не сохранилось. Утрата ряда писем О. А. Бредиус-Субботиной связана с тем, что с февраля по май 1944 г. И. С. Шмелев перестал нумеровать ее письма, отмечая на конверте дату получения (за пе-

риод с 9 июня 1939 по 21 января 1944 г. — 270 писем). Нумерация возобновилась с письма О. А. Бредиус-Субботиной от 23 мая 1945 г. На конверте помета И. С. Шмелева: «Нумерация вновь с № 1, (после возвращения Оле прежних ее писем ко мне, отданных для переписки). И. Ш.» (РГАЛИ. Ф. 1198. Ед. хр. 80. Л. 20). Об этом см. также письмо И. С. Шмелева от 10 марта 1944 г. (№ 79) и примечание 388 к указанному письму.

366 *...«Смысл русской иконописи».* — вероятно, И. С. Шмелев имеет в виду очерки Е. Н. Трубецкого «Умозрение в красках» (1915) или «Россия в ее иконе» (1918).

367 *...дала «сказочку о двух братьях!»* — здесь и далее И. С. Шмелев отвечает на второе письмо О. А. Бредиус-Субботиной от 22 января 1944 г. Письмо не сохранилось.

79

Ед. хр. 30. Л. 30, 31. Письмо, машинопись.

368 *...«Няню»... изданную во Фрауэнфельде.* — имеется в виду издание «Die Kinderfrau. Roman. Autorisierte Uebersetzung aus dem Russischen von R. Candreia». Frauenfeld und Leipzig, Verlag von Huber & Co., 1936.

80

Ед. хр. 31. Л. 46, 47. Письмо, машинопись.

369 *...без даты... а еще... датированное 2-м марта!* — письма не сохранились.

370 *...Пашу Разгуляеву...* — главная героиня рассказа И. С. Шмелева «Марево».

371 *...как жена одного из «праотцев»...* — И. С. Шмелев обыгрывает инициалы Руфи Бернгардовны Кандрейи (Р. Б. К. — то есть Ребекка (Ревекка), мать Исава и Иакова).

372 *...насчет «чечевичной»-то похлебки?* — имеется в виду библейский эпизод с продажей первородства (Быт. 25, 27—34).

373 *...«монизм» Геккеля!* — Эрнст Геккель (1834—1919), немецкий естествоиспытатель, один из основоположников социал-дарвинизма. Геккель сводил природу к единому материальному началу. Для распространения своего мировоззрения в 1906 г. основал «Союз монистов».

374 *...статья «Русское христианство»...* — впервые опубликована в журнале «Путь» (май—октябрь 1936).

375 *...труд о русском христианстве...* — вероятно, речь идет о работе над трактатом «Воссоздание Святой Руси» (Париж, 1956).

376 *«Основы искусства» — книжка его!* — речь идет о книге И. А. Ильина «Основы художества» (1937).

377 *«Плач Ярославны»* — ария из оперы «Князь Игорь» (1890) А. П. Бородина.

378 *...гнездо убийц-либераторов...* — вероятно, имеются в виду партизанские действия участников движения Сопротивления.

379 *...Забелина — «Быт русских царей».* — имеется в виду «Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетиях» (1862), первый том книги «Домашний быт русского народа в XVI и XVII столетиях» русского историка Ивана Егоровича Забелина (1820—1908).

380 *...«Путь», журнал под редакцией Бердяева...* — «Путь. Орган русской религиозной мысли», журнал, выходивший в Париже в 1925—1940 гг. Редактором и вдохновителем журнала был Н. А. Бердяев (1874—1948). В журнале публиковались философские и литературно-критические статьи, а также статьи на религиозные темы.

381 *Проклятье версальское — вот причина.* — имеется в виду Версальский договор (28 июня 1919 г.), который официально завершил Первую мировую войну. Договор был заключен между Англией, Францией, Италией, США, Японией с одной стороны и Германией с другой. Согласно этому договору в Германии отменялась обязательная военная служба, вооруженные силы были ограничены 100-тысячной сухопутной армией, военно-морской флот должен был быть передан победителям. По Версальскому договору Франция вернула себе Эльзас и Лотарингию, получила часть германских колоний и также право на репарации.

382 *Из-за... «польского коридора»?* — «польский коридор» или Данцигский коридор, наименование в 1919—1945 гг. полосы земли, полученной Польшей по Версальскому договору и дававшей ей доступ к Балтийскому морю.

383 *Помнишь того адвоката...* — имеется в виду О. С. Трахтеров. См. примечание 208 к письму № 53 (Т. 1).

384 *Его теперь нет в Париже...* — О. С. Трахтеров погиб в 1943 г. в концентрационном лагере Освенцим. В письме от 8 октября 1945 г. (№ 103) И. С. Шмелев приводит другую дату — январь—февраль 1944 г.

385 *...Алданов... Теперь он в Америке.* — Марк Александрович Алданов (Ландау) (1886—1957), прозаик, мемуарист, философ. Эмигрировал в 1919 г., жил в Париже и Берлине. В июне 1940 г. после капитуляции Франции уехал в Ниццу и оттуда в Нью-Йорк. С 1947 г. жил попеременно во Франции и в США.

386 *...восхищался «Богомольем» моим!..* — по свидетельству А. В. Амфитеатрова (Возрождение. 1936. 13 февраля) М. А. Алданов высоко оценил «Богомолье»: «умел... проникнуться "глубиною душевности", которою вводит оно своего читателя в "тихий свет вечерний" трогательной, чистое Божье небо отражающей красоты».

387 *Я бы пейзаж дал...* — в иконе Андрея Рублева «Троица Ветхозаветная» (нач. XV в.) присутствуют необходимые атрибуты иконописного канона (в композицию включены жертвенная чаша, дерево, палаты Авраама и др.). В византийской иконографии в композицию иконы включались также другие подробности (пейзаж, Ав-

раам и Сарра, сцена заклания тельца, приготовление угощения и др.).

388 *...еще у меня на столе штук 7.* — вероятно, именно эти письма О. А. Бредиус-Субботиной не были включены в нумерацию и впоследствии утрачены.

389 *«Два чувства дивно близки нам...»* — незавершенное стихотворение А. С. Пушкина (1830).

81

Ед. хр. 32. Л. 1, 2. Письмо, машинопись.

390 *...тебе 13-го.* — имеется в виду письмо И. С. Шмелева от 12 марта 1944 г. (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 31. Л. 52, 53).

82

Ед. хр. 32. Л. 50, 51. Письмо, рук.

391 *...у Знамения, рядом...* — имеется в виду соборный храм в честь иконы Знамения Божией Матери (65, rue Michel-Ange, 16-е). См. примечание 213 к письму № 38.

392 *...прилагаю листик церковный.* — к письму приложена церковная записка «О здравии болящей Ольги» (Л. 52).

83

Ед. хр. 80. Л. 6. Письмо, рук. Оригинал не сохранился. Письмо публикуется по черновику. Повторные фрагменты сокращены.

393 *...твои письма от 20.III...* — имеются в виду письма И. С. Шмелева от 16 марта (№ 80) и 18 марта 1944 г. (РГАЛИ. Ф. 1198. Ед. хр. 32. Л. 6, 7).

394 *...с рассказом «Петровками»...* — имеется в виду глава «Петровками» из второй части романа «Лето Господне» («Радости»), опубликованная отдельно под названием «На Москва-реке» в газете «Сегодня» (1934. 1 апреля).

84

Ед. хр. 80. Л. 7—9. Письмо, рук. Оригинал не сохранился. Письмо публикуется по черновику. Повторные фрагменты сокращены.

85

Ед. хр. 32. Л. 50, 51. Письмо, рук.

395 *«Нотр Дам де ля Гард»* — рассказ И. А. Бунина, посвященный И. С. Шмелеву (Возрождение. 1925. 17 октября); *В книге его...* — рассказ вошел в сборник «Солнечный удар» (Париж, 1927).

396 *Отдельной книжкой, с ее обложкой.* — отдельное издание «Куликова поля» с художественным оформлением О. А. Бредиус-Субботиной осталось неосуществленным, хотя в сентябре 1948 г. издательство YMKA взяло у писателя текст для печатания.

[397] *Посвящение — ей.* — в окончательном варианте рассказа (февраль—март 1947) посвящение О. А. Бредиус-Субботиной отсутствует.

86

Ед. хр. 35. Л. 31, 32. Письмо, рук.

[398] *...в главе 9-ой «Аллилуиа»!* — в окончательном варианте гл. XIV.

[399] *В шестопсалмие включил... 50-й псалом!* — в шестопсалмие входят 3, 37, 62, 87, 102 и 142 псалмы.

[400] *...21 гл. ст. 15—25* — евангельский текст вошел и в окончательный вариант главы, хотя цитата была сокращена (Ин. 21, 15-17). См.: Шмелев И. С. Собр. соч. Т. 5. С. 318—319.

[401] *Посылаю.* — в июле—августе 1944 г. И. С. Шмелев пересылает О. А. Бредиус-Субботиной варианты глав второй части «Путей небесных».

87

Ед. хр. 80. Л. 18, 19. Письмо, рук.

[402] *...месяцы нашей разлуки...* — в связи с военными действиями переписка была прервана. Последнее письмо И. С. Шмелева было отправлено 15 августа 1944 г., О. А. Бредиус-Субботиной 20 августа 1944 г.

[403] *С сентября месяца...* — после того, как 6 июня 1944 г. была произведена высадка войск союзников в Нормандии, в Западной Европе был открыт второй фронт. В начале сентября немецкие войска оставили Францию и Бельгию и укрепились на линии Зигфрида. С 17 по 26 сентября на территории Нидерландов была проведена наступательная операция. За 10 дней союзные войска продвинулись на 80 км в направлении Эйндховен, Арнем (Арнхем), но, понеся большие потери, прекратили наступление. С конца сентября 1944 по начало февраля 1945 г. линия фронта находилась около г. Арнем (Арнхем). 8 февраля как часть Маас-Рейнской операции вооруженных сил союзников началось наступление 1-ой канадской армии, которая к 20 апреля освободила всю северо-восточную часть Голландии. 4 мая был подписан, а 5 мая вступил в силу документ о капитуляции всех немецких вооруженных сил в Голландии, на северо-западе Германии, на немецких островах Северного моря, в Шлезвиг-Гольштейне и Дании.

[404] *Почти все население мужского пола жило нелегально...* — 25 июля 1944 г. в Германии была объявлена «сверхтотальная» мобилизация.

[405] *...нас затопили 17-го апреля водой...* — немецкие войска при отступлении взорвали шлюзы.

88

Ед. хр. 37. Л. 11. Письмо, рук.

406 *Все эти долгие месяцы...* — 25 июля 1944 г. началось наступление союзных войск в Северо-Западной Франции. К 19 августа передовые отряды 3-ей американской армии приблизились к Парижу на расстояние 20 км. В Париже началось вооруженное антифашистское восстание (19—25 августа). Командование немецкого гарнизона в Париже получило приказ Гитлера, который требовал Париж не сдавать, а в случае отступления превратить город в груду развалин. Но к 24 августа антифашисты почти полностью освободили Париж, блокировав части немецкого гарнизона. Вечером в столицу вошли первые танки 2-ой французской бронетанковой дивизии. На следующий день немецкий гарнизон капитулировал. Одновременно союзниками осуществлялись военные операции на юге страны. К середине сентября 1944 г. была освобождена почти вся территория Франции.

407 *...по просьбе одного швейцарского издательства...* — имеется в виду издание: Anton Tschechow. Meisten novellen. Herausgegeben von Iw. Schmeljow. Zuerich, Manesse Verlag, 1950.

408 *«На морском берегу»* — имеется в виду издание: «Am Meer. Autorisierte Uebersetzung aus dem Russischen von R. Candreia. Einbandentwurf von Giovanni Mueller». Zuerich, Evangelischer Verlag A. G. Zollikon, [1945]. (Stern Reihe. Eine Jugend Buecherei. Band 20.)

409 *Ни в какие Каноссы... не ходил и не пойду.* — выражение «пойти в Каноссу» означает идти с повинной к своему победившему врагу.

410 *...письмо от посажёного отца...* — речь идет о письме И. А. Ильина от 18 марта 1945 г. (Ильин И. А. Собр. соч.: Переписка двух Иванов. Т. 2. С. 303—304). И. С. Шмелев не совсем точен, в письме указано: «Nous avons eu des nouvelles de Madame Olga le 14 Fevrier: la vie etait bien defficile, mais tout le mond allaite bien». (Мы получили новости от мадам Ольги 14 февраля: жизнь была очень трудна, но все благополучны (*фр. искаж.*)). В тексте сохранена орфография И. А. Ильина.

411 *...богатые американцы в Цюрихе...* — речь идет о мистере и миссис Конрад Барейс, друзьях И. А. Ильина и почитателях таланта И. С. Шмелева.

412 *...друг из посольства...* — имеется в виду А. Лейн, один из заместителей атташе США в Париже.

413 *И. А. зовет в Швейцарию.* — И. С. Шмелев не точен. В письмах от 18 и 19 марта (Ильин И. А. Собр. соч.: Переписка двух Иванов. Т. 2. С. 304—305) И. А. Ильин сообщает о состоянии финансовых дел И. С. Шмелева в Швейцарии и их общих знакомых (семья Барейс, А. Лейн, Р. Кандрейя).

89

Ед. хр. 80. Л. 22. Почтовая открытка, рук.

[414] *...послала с оказией... письмо...* — имеется в виду письмо от 23 мая 1945 г. (№ 86), направленное по адресу: [Serg]. Smirnoff, 11 Canal de Brasseurs, Anvers.

90

Ед. хр. 80. Л. 24. Письмо, рук.

[415] *...твое... письмо от августа 44 года.* — за этот период сохранились 2 письма И. С. Шмелева: от 11 и 15 августа 1944 г. (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 37. Л. 1, 2, 6, 7).

[416] *Мое мне вернули... в августе...* — имеется в виду письмо О. А. Бредиус-Субботиной от 20 августа 1944 г. (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 30. Л. 13, 14).

91

Ед. хр. 37. Л. 17. Письмо, рук.

[417] *...твое письмо из Anvers, открытку из Schalkwijk'a.* — имеются в виду письмо от 23 мая (№ 85) и открытка от 10 июня 1945 г. (№ 87).

[418] *...тебе послал 12.VI...* — упоминаются письмо (№ 88) и почтовая открытка И. С. Шмелева (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 37. Л. 15).

[419] *...надежда (наступление англичан!)...* — имеется в виду наступление союзных войск в Голландии во второй половине сентября. См. примечание 403 к письму № 87.

[420] *Многое было минировано.* — при отступлении немецкие войска должны были взорвать город. См. примечание 406 к письму № 88.

[421] *«Да будет воля Твоя»*! — слова из молитвы «Отче наш» (Мф. 6, 10).

92

Ед. хр. 80. Л. 28, 29. Письмо, рук.

[422] *...через Смирнова...* — упоминается Сергей Смирнов, через посредничество которого в мае—июне 1945 г. осуществлялась переписка И. С. Шмелева и О. А. Бредиус-Субботиной.

93

Ед. хр. 37. Л. 26, 27. Письмо, машинопись.

[423] *...по-французски открытку...* — упоминается почтовая открытка от 27 июля 1945 г. (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 37. Л. 25).

[424] *...недавно сообщил Ивану Чудесному в Цюрих...* — о средстве против головной боли И. С. Шмелев сообщил И. А. Ильину в письмах от 22 и 23 июля 1945 г. (Ильин И. А. Собр. соч.: Переписка двух Иванов. Т. 2. С. 324—326).

425 ...*«скачет, лая впопыхах»*. — строка из стихотворения А. Н. Майкова «Сенокос» (1856).

426 *Не знаю, где... Эрнст Вихерт...* — в 1938 г. Эрнст Вихерт был арестован и на 2 месяца заключен в концлагерь Бухенвальд, после чего ему было запрещено печататься. С 1948 г. жил в Швейцарии. См. примечание 624 к письму № 150 (Т. 1).

427 ...*«Я сделаю вас свободными»*... — И. С. Шмелев приводит цитату из своей статьи «Пути мертвые и живые»: «Христос учил: "Я сделаю вас свободными"!» (Шмелев И. С. Собр. соч.: Т. 7 (доп.). С. 328), перефразируя слова Христа, обращенные к ученикам: «Познаете истину, и истина сделает вас свободными». И далее: «...Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете» (Ин. 8, 31—36).

427а *«Древо познания»... «древо Жизни»*. — Быт. 2, 9.

428 *«Дом с мезонином»* — рассказ А. П. Чехова (1896).

94

Ед. хр. 80. Л. 34, 35. Письмо, рук.

429 ...*Беатрис (Ирина) Шлюссер*. — сведений о ней нет.

430 ...*об атомной бомбе*. — 6 и 9 августа 1945 г. США сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки.

430а ...*«Я защищал Севастополь...»* — оборона Севастополя продолжалась с 30 октября 1941 г. по 4 июля 1942 г.

431 *Играю все-таки на рояле...* — о своих занятиях музыкой О. А. Бредиус-Субботина сообщала в письме от 7 июля 1944 г.: «Бросила музыку! Сейчас отправила письмо учителю. Нет смысла. Я совершенно больна и 2—3 ночи до дня с уроком музыки уже не сплю, кошмары все о музыке. А с невероятной радостью начала учиться, — проснусь — и радостно: "а внизу меня ждет рояль"! Но я так волнуюсь (что ли?), что не могу играть. Одна когда, то хорошо идет, а с учителем — один скандал. Последний урок — был пыткой. Пальцы липли к клавишам. Я все, самое простое, проигранное давно уже, не могла играть. Одни ошибки. Отчего? Массу готовилась. Но согласись, что подобные уроки отнимают охоту. И еще, если бы, не ночи полные кошмаров! Мой «ком» в горле не проходит. Я вся нерв, и при том больной. Для меня омерзела музыка. Рояль я закрыла и ноты спрятала. Мне больно учителя старика (очень бедного еще) обидеть. И я мучаюсь. Мои все меня ругают, воображая, что я скромничаю. А я страдаю не меньше их. Но учиться так я не могу! Проигранные мной одной без единой ошибки 2 листа, являются на уроке для меня непроходимой трущобой. И я знаю, что теперь кончено. Я уже панически боюсь этих уроков. Мне совестно мучить терпение старого учителя. И все, все! Я бросаю н а в с е г д а!» (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 80. Л. 10, 11).

95

Ед. хр. 80. Л. 38, 39. Письмо, рук.

432 *...после немецкой открытки...* — имеется в виду почтовая открытка О. А. Бредиус-Субботиной на немецком языке от 7 августа 1945 г. (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 80. Л. 32).

96

Ед. хр. 37. Л. 31, 32. Письмо, машинопись.

433 *...10, июля — ко Дню ангела...* — указанное письмо находится в РГАЛИ (Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 37. Л. 21).

434 *От тебя: 12, июня... и ... немецкая открытка.* — имеются в виду письма О. А. Бредиус-Субботиной от 23 мая (послано через Антверпен (Анвер)), [16] июня и 20 июля 1945 г. (№ 87, 90, 92), а также почтовые открытки от 10 июня (№ 89) и 7 августа («немецкая открытка») 1945 г. (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 80. Л. 32).

435 *...Книга Судеб.* — образ из Апокалипсиса: «И видел я в деснице у Сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную семью печатями» (Откр. 5, 1).

436 *...«если имеешь веру с зерно горчичное...»* — Лк. 17, 6.

437 *«...как Отец ваш небесный совершен есть».* — Мф. 5, 48.

438 *...Феофан-Затворник... (человек глубоко образованный и большого ума)...* — святитель Феофан Затворник (в миру Георгий Васильевич Говоров, 1815—1894), епископ Владимирский и Суздальский, автор многочисленных трудов духовного содержания. Окончил Киевскую духовную академиию, магистр богословия, профессор, а затем ректор Петербургской духовной академии. Основные труды: «Слова и поучения» (СПб., 1859, 1868), «Путь ко спасению (краткий очерк аскетики)» (СПб., 1868—1869).

439 *«...он одним чирканьем когтя мог бы испепелить весь мир».* — об этом И. С. Шмелев также писал И. А. Ильину в письме от 22 августа 1945 г. (см.: Ильин И. А. Собр. соч.: Переписка двух Иванов. Т. 2. С. 331).

97

Ед. хр. 37. Л. 36, 37. Письмо, машинопись.

440 *«...Я вышел рано, до звезды...»* — строки из стихотворения А.С. Пушкина (1823).

441 *...в виду связанности с «Дарю»...* — имеется в виду собор св. Александра Невского в Париже (12, rue Daru, 8-e), с 1945 г. находившийся в юрисдикции Московского Патриархата. См. также примечание 443 к данному письму.

442 *Зеньковский* — Василий Васильевич Зеньковский (1881—1962), религиозный философ, историк философии, психолог и церковно-общественный деятель. Был рукоположен в священника митрополитом Евлогием в марте 1942 г. Автор книг «История русской

философии», «Русские мыслители и Европа», «Основы христианской философии».

443 *...в честь прилетевшего ...митрополита Николая.* — имеется в виду митрополит Крутицкий и Коломенский Николай (Ярушевич, 1892—1961). В 1914 г. окончил Петербургскую духовную академию, в 1917 г. защитил магистерскую диссертацию, в 1919—1922 гг. наместник Александро-Невской Лавры, с 1922 г. епископ Петербургский, в 1935 г. получил сан архиепископа, после присоединения к России Западной Украины и Белоруссии был назначен экзархом этих территорий, в 1941 г. возведен в сан митрополита Киевского и Галицкого, в 1944 г. назначен митрополитом Крутицким и Коломенским. Митр. Николай был руководителем Отдела внешних сношений и Издательского отдела Московского Патриархата. Поездка митр. Николая во Францию в 1945 г. (24 авг. — 5 сент.) связана с присоединением к Московской Патриархии евлогианских приходов: в ноябре 1944 г. (после освобождения Парижа) митр. Евлогий написал патриарху Алексию о желании пересмотреть свой статус и восстановить связь с Московской Патриархией. В марте 1945 г. планировался его приезд в Москву, который не состоялся ввиду болезни. В результате поездки митр. Николая к Московской Патриархии было присоединено 75 приходов. Торжественный прием в честь митр. Николая состоялся 3 сентября 1945 г. в посольстве СССР во Франции (79, rue de Grenelle). На приеме присутствовали митр. Евлогий (Георгиевский), митр. Серафим (Лукьянов), арх. Владимир (Тихоницкий), архимандрит Мефодий (Кульман), прот. Евграф (Ковалевский), Н. П. Афонский, В. Н. Лосский. М. А. Каллаш, члены правления Союза советских патриотов.

444 *...очень чутко отозвался...* — вероятно, речь идет о письме И. А. Ильина к И. С. Шмелеву от 2 июля 1945 г. (см.: Ильин И. А. Собр. соч.: Переписка двух Иванов. Т. 2. С. 314—317).

445 *...«покой и воля»!* — цитата из стихотворения А. С. Пушкина «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит...» (1834).

446 *«Вереск» — в «Сидя на берегу»..?* — очерк И. С. Шмелева (Возрождение. 1925. 20 сентября. № 110).

98

Ед. хр. 80. Л. 42—45. Письмо, рук.

447 *«Силы небесные поколеблются».* — Лк. 21, 26.

99

Ед. хр. 80. Л. 47—49. Письмо, рук.

448 *...в субботу (15-го)...* — имеется в виду письмо И. С. Шмелева от 5—6 сентября 1945 г. (№ 97).

449 *...последний день перед штурмом.* — 17 сентября 1944 г. началась наступательная операция союзных войск на территории Голландии.

100

Ед. хр. 37. Л. 41, 42. Письмо, машинопись.

450 *...«уже секира у корня дерева лежит...»* — Мф. 3, 10.

451 *«...будьте, как дети».* — Мф. 18, 3.

452 *...б о г и — Салманассары...* — Салманасар — имя пяти древних ассирийских царей. Наиболее известны Салманасар I (1280—1261 гг. до н. э.) и Салманасар III (858—824 гг. до н. э.).

453 *...своего Вождя с его метрессой...* — имеются в виду Адольф Гитлер (1889—1945) и Ева Браун (1912—1945).

454 *...девице Б. ...* — вероятно, имеется в виду Беатрис Шлюссер.

455 *...чудесных «старосветских помещиков»!* — образ из повести Н. В. Гоголя «Старосветские помещики» (1835).

456 *...«играй, дитя, не знай печали...»* — И. С. Шмелев неточно цитирует стихотворение А. С. Пушкина «Адели» (1822). В оригинале: «Играй, Адель, / Не знай печали».

457 *...«не уезжай, голубчик мой...»* — имеется в виду романс XIX в. «Не уезжай ты, мой голубчик!». Автор романса неизвестен.

101

Ед. хр. 81. Л. 1, 2. Письмо, рук.

458 *...золовки из Америки.* — речь идет о Верру Бредиус (в замужестве Mrs. R. S. Hitschmann), переехавшей в США (штат Нью-Йорк).

458а *...Эйзенхауэр.* — Дуайт Эйзенхауер (1890—1969), военный и политический деятель, верховный главнокомандующий экспедиционными войсками западных союзников в годы Второй мировой войны, в 1953—1961 гг. президент США.

102

Ед. хр. 81. Л. 7, 8. Письмо, рук.

459 *...«камере культуры»...* — Имперская палата культуры Германии (Reichskulturkammer), создана в 1933 г., находилась под контролем Министерства народного просвещения и пропаганды. Регистрация в палате была обязательна (нерегламентированная творческая деятельность считалась уголовным преступлением).

460 *...у отца Андрея Сергеенко...* — Андрей Александрович Сергеенко (1902—1973), родился в Киеве, эмигрировал, в 1926 г. окончил юридический факультет в Праге, в 1928 г. рукоположен в священника и назначен митр. Евлогием в приходской храм в Медоне (см.: митр. Евлогий (Георгиевский). Путь моей жизни. М., 1994. С. 437). В 1931 г. окончил Православный богословский институт св. Сергия в Париже, в 1939 г. вступил добровольцем в санитарную часть Французской армии. В 1945(?) г. перешел в юрисдикцию Московской Патриархии, редактор журнала «Вестник Западного православного экзархата» (1947). В 1948 г. вернулся в СССР, преподавал догматическое, пастырское и нравственное богословие в Ленинградской духовной академии, в 1958—1966 гг. служил

приходским священником (Иваново, Горький, Александров), с 1966 г. преподавал в Московской духовной академии, профессор, магистр богословия (1969). См.: Профессор протоиерей Андрей Сергеенко (некролог) // Журнал Московской Патриархии. 1974. № 2. С. 27—29.

103

Ед. хр. 37. Л. 50, 51. Письмо, машинопись.

461 *Церковь кладбищенская...* — имеется в виду церковь Успения Богородицы в Сен-Женевьев де Буа.

462 *...встретишь в романе... и о «докладе о "рае"»...* — в письме от 25 августа 1942 г. О. А. Бредиус-Субботина приводит слова своего знакомого немца: «...Если бы после смерти и попав на небо, мы увидели 2 двери с надписями: на одной — "Рай", а на другой "Лекция о Рае", то наш народ пошел бы во вторую дверь...» (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 73. Л. 36, 37). И. С. Шмелев почти дословно воспроизводит указанный фрагмент во второй части романа «Пути небесные» (Шмелев И. С. Собр. соч. Т. 5. С. 401).

463 *...твое ко дню рождения... 4, получил, с открыткой.* — имеются в виду письмо и почтовая открытка О. А. Бредиус-Субботиной от 30 сентября (№ 101) и 2 октября 1941 г. (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 81. Л. 5).

464 *...написал переводчице...* — имеется в виду Р. Б. Кандрейя.

465 *«Если вкусишь — смертию умреши».* — Быт. 2, 17.

466 *«...собрать все книги бы да сжечь!»* — неточная цитата из комедии А. С. Грибоедова (1795—1829) «Горе от ума» (1825), явление 21. В оригинале: «...Уж коли зло пресечь: забрать все книги бы, да сжечь».

467 *...у б и л а... всю прелесть Жизни.* — в письме изложена основная мысль статьи И. С. Шмелева «Мисюсь и Рыбий глаз. Письмо о русских женщинах» (Русская мысль. 1947. 19 июля. № 14).

468 *...сужу по последнему письму...* — имеется в виду письмо И. А. Ильина от 9 сентября 1945 г. (Ильин И. А. Собр. соч.: Переписка двух Иванов. Т. 2. С. 352—355).

469 *...на парижском конгрессе социалистов...* — вероятно, И. С. Шмелев имеет в виду съезд Французской социалистической партии, который состоялся 12 августа 1945 г.

470 *...так и не вышла книга.* — И. С. Шмелев имеет в виду книгу И. А. Ильина «О тьме и просветлении. Книга художественной критики», работа над которой была завершена в 1939 г. Книга была опубликована только в 1959 г.

471 *...«вся премудростию сотворил еси...»* — Пс. 135, 5.

472 *...«Хвалите имя Господне»...* — Пс. 134, 1.

473 *...«будете, как боги»...* — Быт. 3, 5.

[474] *...писал тебе когда-то об адвокате...* — имеется в виду О. С. Трахтеров, см. письмо И. С. Шмелева от 10 марта 1944 г. (№ 80).

[475] *...Синаева-Бернштейна...* — имеется в виду Леопольд Бернштейн-Синай (1867—1944), скульптор, учился живописи в Вильне, затем скульптуре в Париже у Родена и Далу. Погиб в концлагере Дранси (Франция).

104

Ед. хр. 37. Л. 55. Письмо, машинопись.

[476] *...Мария Александровна?* — И. С. Шмелев ошибается: мать О. А. Бредиус-Субботиной — Александра Александровна Овчинникова.

[477] *...на манер нероновой Поппеи.* — Поппея Сабина, в первом браке жена римского всадника Марка Сильвия Отона, с 62 по 65 гг. — вторая жена Нерона.

[478] *«...да... "про запас!" Лиса — ни слова!...»* — строки из басни И. А. Крылова «Волк и Лисица» (1816).

105

Ед. хр. 81. Л. 14, 15. Письмо, рук.

[479] *Толен на тебя произвел лучшее впечатление...* — в письме от 15 октября 1945 г. И. С. Шмелев пишет: «Был с ним наилюбезен, и он ничего, не тюленистый, скорей даже приятный» (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 38. Л. 1).

106

Ед. хр. 38. Л. 5. Письмо, машинопись.

[480] *Моя переводчица парижская...* — имеется в виду Элен Эмерик, переводчица произведений И. С. Шмелева на французский язык.

[481] *...Collège Jean Baptiste Say...* — вероятно, имеется в виду Ecole Jean-Baptiste-Say (Институт промышленности и коммерции), основанный в 1873 г.

107

Ед. хр. 81. Л. 25, 26. Письмо, рук.

[482] *...занято канадцами.* — территория Голландии была освобождена 1-ой канадской армией.

[483] *...письмо, отданное... Беатрисе.* — имеется в виду письмо О. А. Бредиус-Субботиной от 13 августа 1945 г. (№ 94).

108

Ед. хр. 38. Л. 9. Письмо, машинопись.

[484] *...указанное мною средство...* — И. С. Шмелев сообщил рецепт в письме И. А. Ильину от 23 июля 1945 г. (см.: Ильин И. А. Собр. соч.: Переписка двух Иванов. Т. 2. С. 324—326).

109

Ед. хр. 38. Л. 24. Письмо, рук.

485 *...твое письмо, от 13.XII.* — упомянутое письмо О. А. Бредиус-Субботиной находится в РГАЛИ (Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 81. Л. 28).

486 *...русско-парижские газеты...* — имеются в виду газета «Русский патриот» (с марта 1945 г. «Советский патриот»), которая выходила с 1944 г., и еженедельная газета «Русские новости», выходившая с мая 1945 г. *Там неприязнь злая к писателю.* — т.е. обвинения И. С. Шмелева в коллаборационизме, распространявшиеся вплоть до 1948 г. (писателю вменялось в вину сотрудничество в газете «Парижский вестник» и участие в благодарственном молебне по случаю освобождения Крыма от советских войск летом 1942 г.).

487 *...говорил Ремизов, и многие...* — в защиту И. С. Шмелева выступили Г. П. Струве, К. В. Деникина, А. В. Карташев, В. Ф. Зеелер, Н. В. Борзов и др. (Об этом см.: Сорокина О. Н. Московиана. М., 1994. С. 333—336.)

488 *...до 24-го авг. ...* — с 19 по 25 августа 1944 г. в Париже происходило антифашистское вооруженное восстание.

489 *...девизы?!* — платежные средства в иностранной валюте, при помощи которых осуществляются международные расчеты: чеки, векселя, иностранные банкноты (*от фр. devises*).

110

Ед. хр. 81. Л. 32. Письмо, рук.

490 *...вчера от 16-го было.* — упоминается письмо И. С. Шмелева от 16 декабря 1945 г. (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 38. Л. 19, 20).

491 *...с Валентиной Дмитриевной Грондейс...* — сведений о ней нет.

492 *...принцессе Юлиане...* — Юлиана Луиза Эмма Мария Вильгельмина (1909—2004), с сентября 1948 г. по 1980 г. королева Нидерландов. С 1890 по 1948 гг. в Нидерландах правила ее мать королева Вильгельмина, с 1980 г. ее дочь Беатрикс II (род. 1938).

493 *...день капитуляции Голландии...* — 10 мая 1940 г. немецкие войска вторглись на территорию Голландии, 13 мая правительство бежало в Лондон, 14 мая голландские вооруженные силы капитулировали.

111

Ед. хр. 81. Л. 38. Письмо, рук.

494 *Династия Голландии ведь «Ораны»...* — династия Оранские-Нассау, к которой принадлежали штатгальтеры (1572—1795), а затем короли Нидерландов (с 1815). В 1795 г. власть штатгальтера Вильгельма V была свергнута (во главе государства находился брат Наполеона Бонапарта Людовик). В 1815 г. королем был провозглашен сын Вильгельма V Оранского.

495 *...дяди моего мужа.* — имеется в виду проф. Абрахам Бредиус, коллекционер произведений Рембрандта. См. примечание 281 к письму № 55.

112

Ед. хр. 38. Л. 33. Письмо, машинопись.

496 *...правнучке какого-нибудь троюродного дедушки?* — И. С. Шмелев отвечает на письмо О. А. Бредиус-Субботиной от 27 декабря 1945 г., в котором говорится: «...те [драгоценности], о которых ты пишешь, — не существуют. <...> Моего лично ничего нет, а то маленькое, что от мамы, я бы никогда не выпустила из рук <...>. Из родовых бредиусовских есть кое-что, но это у меня лишь в пожизненном использовании, а не в собственность. После моей смерти по описи должно перейти по мужской линии к младшему» (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 81. Л. 35).

497 *«...напишу все подробно».* — фраза из письма О. А. Бредиус-Субботиной от 21 декабря 1945 г. (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 81. Л. 32).

498 *...«был чин железнодорожный...» и «кто-то прослезился».* — фразы из письма О. А. Бредиус-Субботиной от 27 декабря 1945 г. (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 81. Л. 35).

499 *«Служенье муз не терпит суеты».* — цитата из стихотворения А. С. Пушкина «19 октября» (1825).

500 *...в рождественском письме...* — письмо И. С. Шмелева от 3 января 1946 г. (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 38. Л. 28).

501 *...кличка от «кривизны»...* — И. С. Шмелев обыгрывает фамилию о. Дионисия — Лукин.

502 *...«поднятие икон»...* — имеется в виду глава XIX второго тома романа «Пути небесные».

503 *...у меня в работе дошло дело до... петуха!* — И. С. Шмелев имеет в виду главу XXVI «Почему?». Эта глава вызвала наиболее резкую критику И. А. Ильина. См.: Ильин И. А. Собр. соч.: В 10 т. Т. 6. Кн. 1. С. 365.

504 *...«определение» Дариньки...* — слова героини романа об отречении ап. Петра (Ин. 18, 25—27): «...Вдумайся, и тогда поверишь. Тут не для одного апостола Петра, а для всех. С того страшного часа, когда Петр сознал свой грех... петух напомнил ему. <...> С того часа, когда ночью кричит петух, всем должно помниться, что случилось тогда» (Шмелев И. С. Собр. соч. Т. 5. С. 358).

505 *...совпал с концепцией Карташева!* — в работе «Ветхозаветная библейская критика» (Париж, 1947) А. В. Карташев давал следующую трактовку чуда: «Истинные чудеса не чудовищны и не безмерны (это признак лжечудес): они скромны, они истинны и большей частью зримы только очами веры и не существуют для неверующих и посторонних» (С. 42). И. С. Шмелев был знаком с основными идеями этой работы до ее издания, т.к. она была на-

писана на основе речи А. В. Карташева, произнесенной в феврале 1944 г. в Свято-Сергиевском институте в Париже.

506 *...по-французски, и в десятка полтора строк.* — речь идет о письме И. А. Ильина от 18 декабря 1945 г. (Ильин И. А. Собр. соч.: Переписка двух Иванов. Т. 2. С. 366) о рассказе «Почему так случилось», пересланном И. А. Ильину в письмах от 28 августа и 30 августа 1945 г. (Указ. соч. Т. 2. С. 334—352).

507 *«...И... Бог тебе Судья!»* — заключительные строки из стихотворения Н. А. Некрасова «Зеленый шум» (1862).

113

Ед. хр. 81. Л. 46, 47. Письмо, рук.

508 *...22-го и 23-го твои воздушные письма...* — имеются в виду письма И. С. Шмелева от 15 и 16 января, посланные авиапочтой (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 38. Л. 35, 43, 44).

509 *...«заткнули рот» И: А. ...* — в 1933(?) г. от И. А. Ильина (в то время профессора Русского научного института при Берлинском университете) потребовали активного участия в антисемитской пропаганде. После отказа он был уволен из университета. С 1933 по 1938 г. И. А. Ильина неоднократно вызывали на допросы в гестапо. В 1938 г. ему запретили печататься и выступать публично. В июле 1938 г. И. А. Ильин бежал в Швейцарию. Ему было разрешено поселиться в Цолликоне с условием отказа от политической деятельности.

510 *...принцессы нидерландские — в Канаде...* — королевская семья в эмиграции (1940—1945) жила в Англии, а затем в Канаде.

511 *Тут же — Китай!* — имеется в виду строгое соблюдение церемоний.

114

Ед. хр. 38. Л. 49, 50. Письмо, рук.

512 *...«метанье бисера»...* — Мф. 7, 6.

513 *«Рваного барина»* — рассказ И. С. Шмелева. Впервые опубликован: Родник. 1911. № 5—6.

514 *...московский экземпляр...* — рассказ вышел в Москве отдельным изданием (издательство С. Курнин и К°, 1913).

514а *...фото ... «в бекеше».* — бекеша — верхняя утепленная мужская одежда типа сюртука со сборками в талии и разрезом сзади. И. С. Шмелев имеет в виду фотографию «москвича» (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 116. Л. 8); *...профильный портрет, «лучший»...* — об этом см. комментарий 190а к письму № 30.

515 *...даже корочки сжевала!..* — 15 января 1946 г. И. С. Шмелев писал: «Весь твой сыр доел. Чудесный, Карташиха прошлый раз даже корку сгравила, — до чего хорош!» (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 38. Л. 35).

516 *...от Г. Д. Гребенщикова...* — Георгий Дмитриевич Гребенщиков (1882/83—1964), прозаик, публицист, драматург. Друг

И. С. Шмелева. Автор рецензий на его произведения (Это было. Последние новости. 1923. 11 марта). Письма Г. Д. Гребенщикова к И. С. Шмелеву находятся в Российском Фонде Культуры (Фонд И. С. Шмелева. Свидетельство о дарении 1053). Эмигрировал в 1920 г., в 1924 г. переехал в США. Получив в конце 1930-х гг. звание профессора русской истории и литературы, Г. Д. Гребенщиков преподавал эти предметы в колледже Южной Флориды.

517 *Мой литературный «крестник».* — в статье «Как много в этом звуке...» Г. Д. Гребенщиков писал: «...Впервые я встретил Шмелева в Крыму, в то время там жил и Сергеев-Ценский, <...> а поодаль в Алуште большой писатель Константин Тренев. Всех их трех я навещал, подтягивался возле них, т. к. я был молод и только выходил в люди» (Памяти И. С. Шмелева. Мюнхен, 1956. С. 58—59).

115

Ед. хр. 81. Л. 49, 50. Письмо, рук.

518 *...на Нюрнбергском процессе.* — судебный процесс над группой руководителей нацистской партии и Вермахта в Международном военном трибунале (Нюрнберг, 20 ноября 1945 — 1 октября 1946). Суду были преданы: Г. Геринг, Р. Гесс, И. фон Риббентроп, В. Кейтель, Э. Кальтенбруннер, А. Розенберг и др. В ходе судебного заседания были рассмотрены многочисленные письменные показания и документальные доказательства.

519 *...«Wesen und Eigenart der russischen Kultur».* — имеются в виду следующие книги И. А. Ильина: Das verschollene Herz. Ein Buch stiller Betrachtungen. Berlin, 1943 (русский вариант книги под названием «Поющее сердце. Книга тихих созерцаний» был издан Н. Н. Ильиной в 1958 г. в Мюнхене); Die ewigen Grundlagen des Lebens. Zuerich, 1939 (русский вариант «Путь духовного обновления», букв. «Вечные основы жизни»); Wesen und Eigenart der russischen Kultur. Drei Betrachtungen. Zuerich, 1942 («Сущность и своеобразие русской культуры. Три соображения»).

520 *...о. Андрей...* — имеется в виду о. Андрей Сергеенко.

116

Ед. хр. 38. Л. 54, 55. Письмо, машинопись.

521 *...злым дураком-почтарем!* — 25 февраля 1946 г. О. А. Бредиус-Субботина писала: «Сегодня отнесла на почту 1 фунт (больше нельзя) тебе того, что ты хотел. Не успела дойти до дому, как звонит почтарь: "что у Вас в посылке?" — Коробочка. — "А что в коробочке?" — Для чего это Вам, разве нельзя посылки посылать? — "А я не знаю... Что у Вас там?" Меня взбесило, — этот почтарь во всем всегда был нахал и "с.с.". Я говорю: "там письма и рисунки". Он, конечно, щупал и чувствует, что я не то посылаю. Свернул тогда на почтовые тарифы: с письмом или без оного. Любопытство и наглость. Он у меня с писем иностранных марки без спроса склеивает и такие ободранные конверты достав-

ляет. И всегда безумно интересуется Парижем... кто там у меня... Даже однажды в 1942 г. предложил: "у Вас такая корреспонденция с Парижем, что я Вам отказываюсь всякий раз выписывать квитанции, вот Вам книга для заказных". А когда мужу надо посылать бывало заказные для себя, то говорил: "у M-me есть... книга,.. впишите и Вы в нее для удобства..."». (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 82. Л. 1).

522 *«Бобок», «Кроткая», «Мальчик у Христа на елке»* — рассказы Ф. М. Достоевского, первый — 1873 г., второй и третий — 1876 г.

523 *«...не войдете в Царствие Небесное».* — неточная евангельская цитата (Мф. 18, 3).

524 *...с К. Леонтьевым...* — Константин Николаевич Леонтьев (1831—1891) прозаик, литературный критик, публицист, философ. Последние годы жизни провел в Оптиной пустыни, где принял тайный постриг.

525 *...бывший царский эмигрант...* — личность не установлена.

526 *«Православная Русь» и «Святая Русь».* — статьи И. А. Ильина «Православная Русь. "Лето Господне" Шмелева» (Возрождение. 1935. 18 апреля. № 3606) и «Святая Русь. "Богомолье" Шмелева» (Возрождение. 1935. 2 мая. № 3620).

527 *Блажени чистые сердцем...* — Мф. 5, 8.

528 *...почитываю... Феофана Затворника, письма...* — вероятно «Письма о христианской жизни» (1862) или «Письма к разным лицам о предметах веры и жизни» (1882). И. С. Шмелев писал И. А. Ильину 12 января 1946 г.: «В час отдыха вбираю кое-что из славных писем Феофана-Затворника... и — внимаю, и... — нахожу своим!» (Ильин И. А. Собр. соч.: Переписка двух Иванов. Т. 2. С. 378).

529 *Французский герой... д-Г... не у дел...* — имеется в виду Шарль де Голль (1890—1970), французский государственный, военный и политический деятель. После прихода к власти правительства Петена (16 июня 1940 г.) выехал в Лондон, где основал движение «Свободная Франция», примкнувшее к антигитлеровской коалиции. С ноября 1943 г. председатель Французского комитета национального освобождения. Сразу после окончания войны предпринял ряд мер, направленных на установление во Франции президентского режима правления. Столкнувшись с трудностями в осуществлении своих планов, в январе 1946 г. ушел с поста главы правительства.

530 *...получишь окончательные «Пути» от Ивана Александровича.—* И. С. Шмелев отправил И. А. Ильину 2 том «Путей небесных» двумя частями 7 и 12 февраля 1947 г. Об этом см.: Ильин И. А. Собр. соч.: Переписка двух Иванов. Т. 2. С. 381.

117

Ед. хр. 82. Л. 11, 12. Письмо, рук.

531 *...от 18-го III.* — письмо находится в РГАЛИ (Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 38. Л. 58, 59).

118

Ед. хр. 39. Л. 5, 6. Письмо, рук.

532 *...в последнем письме, от 28.III.* — имеется в виду письмо И. С. Шмелева от 27 марта 1946 (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 39. Л. 1, 2).

119

Ед. хр. 82. Л. 19, 20. Письмо, рук.

533 *...мой любимый праздник был...* — т.е. Благовещенье, празднуемое 7 апреля.

534 *...с помощью и Капеллы...* — имеется в виду доктор ван Капеллен.

535 *...твое письмо от 4-го.* — письмо находится в РГАЛИ (Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 39. Л. 9, 10).

536 *Ничего не хлопочи о Сереже...* — И. С. Шмелев в письме от 4 апреля 1946 г. предлагал помочь С. А. Субботину в поисках работы во Франции (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 39. Л. 9—11).

537 *...ее приятельницы...* — вероятно, речь идет о Ксении Львовне Первушиной, в семье которой останавливалась О. А. Бредиус-Субботина во время своего пребывания в Париже в 1946 г.

К сноске внизу страницы:

Ее дочь мы крестили. — Наталья Николаевна Первушина («Нюстрин»), дочь К. Л. и Н. В. Первушиных.

120

Ед. хр. 82. Л. 24. Открытка с изображением отеля в Утрехте, рук.

538 *...пишу тотчас же, как сошла с поезда...* — 19 апреля 1946 г. О. А. Бредиус-Субботина приехала в Париж и остановилась у К. Л. Первушиной. 22 апреля она получила телеграмму Арнольда Бредиуса с сообщением о смерти его отца и должна была вернуться в Голландию.

539 *Сижу тут.* — на открытке с видом отеля нарисована стрелка, указывающая часть ресторана.

121

Ед. хр. 81. Л. 13. Почтовая открытка, рук.

540 *Сегодня Ваше письмо.* — вероятно, имеется в виду письмо И. С. Шмелева от 26 апреля 1946 г. (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 39. Л. 20, 21).

122

Ед. хр. 39. Л. 24, 25. Письмо, машинопись.

541 *...твои два письма сегодня!* — имеются в виду письмо от 27 апреля (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 82. Л. 26, 27) и почтовая открытка от 29 апреля 1946 г. (№ 121).

542 *...когда с в е т ушел.* — 22 июня 1936 г. умерла О. А. Шмелева.

543 *...депешу...* — имеется в виду телеграмма от А. Бредиуса (срочный вызов в Голландию).

544 *...письмо И. А. И. — «гоните»!* — упоминается письмо И. А. Ильина от 26 апреля 1946 г. (Ильин И. А. Собр. соч.: Переписка двух Иванов. Т. 2. С. 418).

545 *«Чудною Властию»* — это выражение неоднократно использовано в творчестве Н. В. Гоголя: в лирических отступлениях поэмы «Мертвые души» (1842), статье «В чем же наконец существо русской поэзии и в чем ее особенность» («Выбранные места из переписки с друзьями», 1847) и др. произведениях.

546 *...«вот, Господи, д р у г и е пять талан».* — Мф. 25, 20.

547 *...«приехала О. А.?»* — цитата из указанного письма И. А. Ильина (см. примечание 544).

548 *...безработный Ивонин...* — сын луганского городского головы, участник Белого движения, эмигрант. В апреле 1946 г., потеряв работу, помогал И. С. Шмелеву вести хозяйство. О нем см. письмо И. С. Шмелева к И. А. Ильину от [7 апреля 1946 г.] (Ильин И. А. Собр. соч.: Переписка двух Иванов. Т. 2. С. 411—412).

549 *Поздно в Бельвю.* — пригород Парижа, где жила К. Л. Первушина.

550 *Нюстрин* — прозвище Н. Н. Первушиной.

551 *«Ночевала тучка ... в п у с т ы н е».* — неточная цитата из стихотворения М. Ю. Лермонтова (1841).

123

Ед. хр. 39. Л. 31, 32. Письмо, рук.

552 *...в с е у ш л о — с тобой.* — вторая встреча И. С. Шмелева и О. А. Бредиус-Субботиной произошла [7—8] мая 1946 г. 11 июня О. А. Бредиус-Субботина уехала из Парижа, пробыв в нем около месяца. О повторном пребывании О. А. Бредиус-Субботиной в Париже И. С. Шмелев писал в дневниковых записях (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 3. Л. 3—4). Об этом см. также письмо И. С. Шмелева к И. А. Ильину от 16 июня 1946 г. (Ильин И. А. Собр. соч.: Переписка двух Иванов. Т. 2. С. 426).

124

Ед. хр. 39. Л. 36, 37. Письмо, машинопись.

553 *...пресловутый Брайкин...* — знакомый И. С. Шмелева.

554 *...окулиста Прокопенко...* — сведений о нем нет.

555 *...какого-то иезуита-критика...* — личность не установлена.

556 *...Мария Михайловна....* — имеется в виду Мария Михайловна Меркулова, жена А. Н. Меркулова. В РГАЛИ находится письмо О. А. Бредиус-Субботиной супругам Меркуловым от 4 июля 1950 г. (Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 109. Л. 1, 2).

[557] *...как у меня в «Именинах»...* — *фрагмент главы «Именины»* («Празднование») II части «Радости» романа «Лето Господне».

[558] *...философ...* — имеется в виду И. А. Ильин.

125

Ед. хр. 39. Л. 41, 42. Письмо, рук.

[559] *«Марево»* — рассказ И. С. Шмелева. Опубликован в сборнике «Про одну старуху. Новые рассказы о России» (1927).

126

Ед. хр. 82. Л. 43, 44. Письмо, рук., карандаш.

[560] *...Ната.* — Н. Н. Первушина.

127

Ед. хр. 82. Л. 48—50. Письмо, рук.

[561] *Жуковичи* — Константин Тарасович Жукович, офицер, участник Первой мировой войны и Белого движения; оперный певец (бас). Его жена — Вера Ипполитовна, дочь городского головы г. Киева.

128

Ед. хр. 39. Л. 46, 47. Письмо, рук.

[562] *...«кусочек сердца».* — к цветам, посланным И. С. Шмелеву О. А. Бредиус-Субботиной приложена записка: «Пусть я уеду, но кусочек сердца моего да живет в милой комнатке в этом цветочке. Оля» (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 82. Л. 41).

[563] *...5-ое июня!* — во время прогулки в Булонском лесу между И. С. Шмелевым и О. А. Бредиус-Субботиной произошла ссора.

[564] *...некая графиня, просила от имени... дочери Льва Чернова...* — сведений о них нет.

129

Ед. хр. 40. Л. 1—6. Письмо, рук.

[565] *кн. Кантакузен* — возможно, имеется в виду княгиня Екатерина Александровна Кантакузен (урожд. Нарышкина, 1888—1971), бывшая статс-дама императрицы Александры Федоровны.

[566] *Письмецо от арх. Владимира, от... 27 мая.* — упоминается арх. Владимир (Тихоницкий). В своем дневнике И. С. Шмелев упоминает об отправлении письма арх. Владимиру 26 июня 1946 г. (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 3. Л. 4).

130

Ед хр. 40. Л. 31—32. Письмо, машинопись.

[567] *Послал письмо и — ужаснулся!* — письмо, о котором идет речь, не сохранилось. О посылке и возвращении письма И. С. Шмелев упоминает в дневниковых записях от 20—21 июня 1946 г.: «20.VI Послал Оле прощальное, болезненное для нее письмо. 21.VI Спо-

хватился. Изъять письмо не удалось. Послал депешу Овчинниковой». И 27 июня 1946 г.: «Получил от А. А. Овчинниковой очень мудрое письмо, и свое, обратно, безумное» (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 3. Л. 3, 4).

568 *...редкий портрет...* — имеется в виду фотография И. С. Шмелева с дарственной надписью О. А. Шмелевой: «Милой Олечке Ваня *3/16* авг. *1927 Capbreton» (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 116.* Л. 2).

569 *...депеши — ...нашел-таки.* — приводим текст: Circonstances tiennent soiez tranquilles / Olga Chmeleff (Обстоятельства изменились будьте спокойны, *фр.*) (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 40. Л. 33).

570 *...служу панихиду...* — после панихиды между И. С. Шмелевым и его окружением произошла ссора, связанная с О. А. Бредиус-Субботиной.

571 *А[лександр] Н[иколаввич]...* — упоминается Александр Николаевич Меркулов.

572 *...о дураке-гордеце Родионове?* — Вадим Николаевич Родионов (1890—1963), поэт. Окончил юридический факультет Петербургского университета, в эмиграции был добровольцем русского Красного Креста. Находился в дружеских отношениях с И. А. Буниным и И. С. Шмелевым. Стихотворения В. Н. Родионова были собраны И. С. Шмелевым, в настоящее время хранятся в Российском Фонде Культуры (Архив И. С. Шмелева. Свидетельство о дарении 1053).

131

Ед. хр. 83. Л. 18, 19. Письмо, рук.

573 *...призывом Ксении Львовны. — в письме от 16 июня 1946 г.* И. С. Шмелев упоминал о своем намерении побеседовать с К. Л. Первушиной о своих дальнейших отношениях с О. А. Бредиус-Субботиной (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 40. Л. 16—21).

574 *...понятия о... «прелюбодеянии».* — в том же письме от 16 июня *(см. примечание 573)* И. С. Шмелев писал: «...с признания твоего в авг. 41 г., с твоего "ты" и "Ваня", с твоего завета — вернуть мне Сережечку!.. я мог ждать и верить, что ты принадлежишь мне... И ты изменяла мне, ты — прелюбодействовала — с другим, тебе уже не мужем, не любимым... ты, "неразрезанная книга"!»

575 *...связь с Евгенией.* — об этих отношениях И. С. Шмелев пишет в письме от 22 сентября 1941 (Т. 1. № 46), а также в письме от 17 августа 1946 г. (№ 144 в наст. томе).

576 *Peltenburg...* — Л. Роброк-Пельтенбург, знакомая О. А. Бредиус-Субботиной. В РГАЛИ находится письмо Л. Роброк-Пельтенбург к О. А. Бредиус-Субботиной от 13 января 1947 г. (Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 88. Л. 40).

577 *...Е. А. Бернацкая.* — вероятно, имеется в виду Евгения Михайловна Бернацкая (в замуж. Васьянова, 1875—1963), сестра Всево-

лода Михайловича Бернацкого, двоюродного дяди М. И. Цветаевой *по материнской линии.* О. А. Бредиус-Субботина могла быть знакома с семьей Бернацких через Ольгу Михайловну Бернацкую (1899—1971), художницу, выставки которой проходили в Утрехте и Гааге в 1939 г.

132

Ед. хр. 83. Л. 29, 31—33. Письмо, рук.

578 *...с Н. А. Расловлевой.* — упоминается Наталья Александровна Расловлева, знакомая И. С. Шмелева. В РГАЛИ находится письмо к ней О. А. Бредиус-Субботиной (Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 110. Л. 1—3).

579 *...твой «Ход крестный».* — имеется в виду глава «Крестный ход "Донская"» из романа «Лето Господне».

579а *...процессии праздника «Тела Господня»...* — католический праздник Тела Христова (Festum Corporis Christi), отмечается в первый четверг после Троицына дня. В этот день совершаются торжественные процессии.

580 *...письмо от Ксении Львовны и от Николая Всеволодовича.* — письмо от К. Л. и Н. В. Первушиных не сохранилось.

581 *Hernandes...* — сведений о нем нет.

133

Ед. хр. 83. Л. 40—43. Письмо, рук.

582 *...ребенка.* — имеется в виду Рене («Пушинка»), племянница А. Бредиуса.

582а *«Завет прощальный»* — имеется в виду стихотворение И. С. Шмелева «22 июня 1936 — 22 июня 1946», посвященное памяти О. А. Шмелевой, пересланное О. А. Бредиус-Субботиной в письме от 11 июля 1946 г.: «Крест, голубцом, и у Креста береза. / И Другом присланная роза. / Могилка — мягкая, как и Душа Ее... / Вся — светлая любовь. По Ней печаль моя... / Самоотверженно Она меня хранила — / И мой нелегкий труд России подарила» (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 40. Л. 56).

134

Ед. хр. 41. Л. 1, 2. Письмо, рук.

583 *Предыдущее письмо...* — письмо И. С. Шмелева от 11 июля 1946 г. со стихотворением «22 июня 1936 — 22 июня 1946» (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 40. Л. 53—56).

584 *...последние 3 письма...* — письма О. А. Бредиус-Субботиной от 30 июня (№ 132), 3 и 6 июля (№ 133) 1946 г. Письмо от 3 июля в настоящем издании не публикуется (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 83. Л. 36—37).

585 *«...покорный вечному закону, переменился я...»* — И. С. Шмелев неточно цитирует стихотворение А. С. Пушкина «Вновь я посетил...» (1835). В оригинале: «...покорный общему закону...».

586 *...той пианистке...* — имеется в виду чешская пианистка Славица Златка (1918/19—?), в июле 1946 г. предложившая И. С. Шмелеву помощь в ведении деловой переписки и домашнего хозяйства. На конверте письма к О. А. Бредиус-Субботиной от 11 июля рукой И. С. Шмелева помечено: «Снова написал на ее письмо, Славице Златке, приходить 1 раз в неделю на 2 часа, читать по-французски и говорить о музыке. Справился у кюре прихода: она п о д л и н н а я христианка» (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 40. Л. 58). Об этом см. также письмо И. С. Шмелева к И. А. Ильину от 11 июля 1946 г. (Ильин И. А. Собр. соч.: Переписка двух Иванов. Т. 2. С. 430—431).

587 *...«веленью Божию послушны».* — неточная цитата из стихотворения А. С. Пушкина «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...». В оригинале: «Веленью Божию, о Муза, будь послушна...».

135

Ед. хр. 84. Л. 1—6. Письмо, рук., карандаш, чернила.

588 *...березку с крестом, и мой «реверанс» тебе.* — речь идет о несохранившемся рисунке О. А. Бредиус-Субботиной «Память St-Genevieve» с изображением могилы О. А. Шмелевой, а также стихотворении О. А. Бредиус-Субботиной на рисунке. Отзыв на рисунок и стихотворение см. в письме И. С. Шмелева от 21 июля 1946 г. (№ 136).

589 *Два твои письма от 11.VII.* — письма находятся в РГАЛИ (Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 40 Л. 49, 53—56).

590 *...«амурничаешь»?* — в письме от 11 июля И. С. Шмелев упрекал О. А. Бредиус-Субботину за внимание к доктору Клинкенбергу.

591 *В кафе в Утрехте...* — в том же письме от 11 июля (примечание 589) И. С. Шмелев упрекал О. А. Бредиус-Субботину в том, что она сидела в кафе одна и курила.

592 *...нашлась ей замена...* — имеется в виду возможная помощь И. С. Шмелеву со стороны чешской пианистки Славицы Златки (см. примечание 586 к письму № 134). Впоследствии писатель отказался от ее содействия.

593 *...смущаться ее элегантностью.* — в письме к И. А. Ильину от 11 июля 1946 г. И. С. Шмелев отмечал: «Была еще красавица, кем-то посланная — элеганс! — 28 л[ет], пианистка, **читательница**, чешка-полуполька — Славица Златка! Вся златая и мястно-розовая. Очаровательна. Предлагала — femme de ménage... — "Сл[ишком] элегантны!" — Ну, — улыбка, зу-бы! — переписка, корресп[онденция]...? — Сам. <...> Написал ей, напевая: "не искушай меня..." — приходите раз в неделю читать мне... по-фр[анцузски] и говорить о музыке... — Жаль было отказывать чит[ательнице], но я на-чеку» (Ильин И. И. Собр. соч.: Переписка двух Иванов. Т. 2. С. 431).

594 *...не имеет отношения к советскому «делегату».* — 14 июня 1946 г. к И. С. Шмелеву обратился «Пантелеев» с предложением подумать о возможной публикации его произведений в СССР. В

вышеуказанном письме к И. А. Ильину И. С. Шмелев связывал его предложение с появлением Славицы Златки. О посещении «Пантелеева» Шмелев упоминает в дневниковых записях от 30 июня 1946 г. (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 3. Л. 4). См. также: Сорокина О. Н. Московиана. М., 1994. С. 325—326. Вероятно, речь идет о Б. Г. Пантелеймонове. Борис Григорьевич Пантелеймонов (1880—1950) — писатель, инженер-химик. С 1919 (?) г. в эмиграции. В 1935—1939, 1944—1950 гг. жил в Париже. Был знаком с И. А. Буниным, А. М. Ремизовым, Н. А. Тэффи. В 1945 г. принял советское гражданство, сотрудничал в газете «Советский патриот».

595 *Сегодня твои 3 письма...* — имеются в виду письма от 12 июля (№ 133), 12—13 и 13 июля 1946 г. (РГАЛИ. Ф. 1198. Ед. хр. 41. Л. 6—11, 15—21).

596 *...мое карандашное...* — первая часть письма О. А. Бредиус-Субботиной написана карандашом.

597 *...«Пути Небесные» переведут на голландский язык.* — замысел не был осуществлен.

598 *...Klopstock'a.* — Фридрих Готлиб Клопшток (1724—1803), немецкий поэт. Автор лирических стихотворений, эпической поэмы «Мессиада» (1748—1773), драматических произведений о древних германцах — «Битва Германа» (1769), «Герман и князья» (1784 г.) и «Смерть Германа» (1787).

599 *«Laokoon»* — «Лаокоон, или О границах живописи и поэзии» — эстетический трактат Г. Э. Лессинга (1766).

600 *Grillparzer'a...* — Франц Грильпарцер (1791—1872), австрийский драматург, друг Л. Бетховена. Автор пьес «Праматерь» (1817), «Сафо» (1818), «Волны моря и любви» (1931), «Сон — жизнь» (1834) и др.

601 *Kleist'a...* — Генрих фон Клейст (1777—1811), немецкий поэт, прозаик и драматург. Наиболее известны его трагедии «Семейство Штроффенштейн» (1803), «Пентесилея» (1808 г.), комедия «Разбитый кувшин» (1811), а также новеллы («Михаэль Кольхаас», 1810).

602 *Joseph Ponten* — сведений о нем нет.

136

Ед. хр. 41. Л. 30—33. Письмо, рук.

603 *Ско-лько пыли... — горькой были!..* — сокращенный вариант стихотворения «Подорожник» был послан И. А. Ильину в письме от [3 августа 1946 г.]. См.: Ильин И. А. Собр. соч.: Переписка двух Иванов. Т. 2. С. 434.

137

Ед. хр. 84. Л. 29—33. Письмо, рук.

604 *...от разных Bourdon, Aimee и т.д. ...* — И. С. Шмелев послал 3 письма с вымышленными адресами отправителей: от 24 июля

(Giovanni Tchmelini, 11, Claud Lourrain, apart. 7. Paris, 16-e) и два письма от 25 июля 1946 г. (M-me de Bourdon, 112, av. de Versailles, Paris 16-e; M-me Aimee, 68, rue Michel-Ange, Paris 16-e). Письма находятся в РГАЛИ (Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 42. Л. 6—8, 13—15, 19).

605 *...подчеркнула тебе места, меня потрясшие.* — письмо с подчеркиванием О. А. Бредиус-Субботиной не сохранилось.

606 *...одного флюнта...* — прозвище, данное К. Бредиусу И. А. Ильиным.

607 *...сегодня мне о «Няне» пишешь.* — имеется в виду письмо И. С. Шмелева от 25 июля 1946 г. (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 42. Л. 13—15).

608 *Пикассо* — Пабло Пикассо (1881—1973), испанский художник.

138

Ед. хр. 84. Л. 50—53. Письмо, рук.

609 *...к Dr. Головину...* — вероятно, имеется в виду Сергей Сергеевич Головин (?—1985).

610 *...шведского короля...* — имеется в виду Густав V (Оскар Густав Адольф, 1858—1950), правивший в Швеции с 1907 по 1950 гг.

611 *...для... Весты...* — римская богиня очага; *весталки* — жрицы, давшие обет безбрачия, поддерживали в храме Весты неугасимый огонь.

612 *«...бывало едешь-едешь...»* — цитата из рассказа И. С. Шмелева «Марево» (см.: Шмелев И. С. Собр. соч. Т. 7 (доп.). С. 233).

139

Ед. хр. 43. Л. 1. Письмо, рук.

613 *...любовница комиссара, учившаяся музыкам!* — в окончательном варианте рассказа (февраль—март 1947 г.) И. С. Шмелев сохранил эту сюжетную линию и персонажей («Антошка», «Клеопатра»).

614 *«Вика»...* — имеется в виду сорт клубники «Виктория».

140

Ед. хр. 43. Л. 13—15, 19—21. Письмо, рук. Письмо отправлено в двух конвертах с вымышленными адресами: M-lle Helene Kivini. 40, av. de Versailles, hôtel de Tchepoukha, Paris 16-e; M-lle Darinka—Céleste. 21, av. des Etoiles, Bellevue (s. o.). — М-ль Элен Кивини. 40, авеню Версай, отель «Чепуха»; М-ль Даринька—Небесная, 21, улица Звезд, Бельвю.

615 *«Марево»* — здесь: стихотворение И. С. Шмелева, посвященное О. А. Бредиус-Субботиной. Послано ей в письме от 5 августа 1946 г.: «Вся снеговая-голубая, / В ином краю приснишься Ты, / Иль яркий день чужого мая / Напомнит мне Твои черты... — // Я, весь в плену воображенья, / Воздвигну светлый образ Твой — /

И, верный раб отображенья, / Весь день живу я, сам не свой. // Так знойный день в степях Востока / Покажет марево-обман — / Зеркальный блеск и синь потока — / И вмиг развеет как туман. // Была Ты... да?.. теперь — какая?.. / Все та же ширь, все та же даль? / Вся снеговая-голубая, / Вся — свет и светлая печаль?.. // Пусть Ты совсем другая стала, / Чужая вся, и вся — туман... / Но лишь бы маревом предстала — / Испить чарующий обман» (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 42. Л. 48). Стихотворение датировано 4 августа 1946 г.

616 *...мое заказное письмо...* — имеется в виду письмо И. С. Шмелева от 5 августа 1946 г. со стихотворением «Марево».

616а *Тот, интервьюер, — по Эмерик!* — по просьбе переводчицы Элен Эмерик И. С. Шмелев дал интервью французскому журналисту о своем романе «Пути небесные», публиковавшемся на французском языке. Об этом Шмелев писал О. А. Бредиус-Субботиной 22 июля 1946 г. (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 41. Л. 46, 47).

617 *...Paul Claudel'я (сверх олимпийца!)...* — Поль Клодель (1868—1955), французский писатель и поэт, один из основоположников католического возрождения (неотомизма) в литературе.

618 *...переводчика Монго...* — Анри Монго (H. Mongault) перевел «Человека из ресторана» (Garson!.. Paris: «Gallimard NRF», 1925), «Чужой крови» (Sang étranger // Europe. 1924. 15 juillet. № 19), «Неупиваемую чашу» (L'inepuisable coupe // La vie des peuples. 1925. Décembre. № 68), «Солнце мертвых» (Les soleil des morts // Le Mercure de France. 1923. 15 septembre. № 606). В письме от 23 сентября 1946 г. И. С. Шмелев писал: «Перевод Монго, многие говорили мне, — не Эмерик только! — плоск, сер, совершенно не соответствует нежности и внешнего, словесного, и внутреннего — нежно-душевного, — рисунка поэмы. "Чаша" дэ люкс будет же издана!» (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 44. Л. 52, 53).

619 *У Тацита...* — Публий Корнелий Тацит (ок. 55 — после 120 г.), римский оратор и историк, в своих основных трудах («История» и «Анналы») описывает историю Римской империи от Августа до Диоклетиана.

620 *...у Т. Ливия?* — Тит Ливий (59 г. до н. э. — 17 г. н. э.), римский историк, автор монументального труда в 142 кн. «История Рима от основания города».

621 *...Тарайская скала-круча над Тибром...* — весталки осуждались на смерть за нарушение обета безбрачия (по преданию их сбрасывали с Тарайской скалы или закапывали живыми в землю).

622 *...по «Союзу патриотов»...* — «Союз русских патриотов» был создан в декабре 1943 г. и входил в состав Комитета действия и защиты интересов иммигрантов (КНДИ), который руководил нелегальными организациями, боровшимися с немецкими оккупантами. С октября 1944 г. СРП перешел на легальное положение, состоялось учредительное собрание Союза. С этого времени СРП в основном занимался культурно-просветительской деятельностью.

623 ...*«Свободного голоса»...* — сборники, направленные против просоветских настроений русской эмиграции. Издавались С. П. Мельгуновым с 1946 г. (в 1948—1957 гг. выходили под названием «Российский демократ»).

624 *Мельгунов* — Сергей Петрович Мельгунов (1879—1956), публицист, историк, автор работ по истории Русской Православной Церкви и революционному движению в России XIX—XX вв. Противник большевизма, входил в «Союз возрождения» и «Тактический центр». В октябре 1922 г. выслан из России. В эмиграции продолжал антибольшевистскую деятельность, руководил группой «Борьба за Россию», созданной вокруг одноименного журнала (выходил в 1926—1931 гг.). В годы войны С. П. Мельгунов отвергал возможность сотрудничества с фашистами. В 1949—1954 гг. редактор журнала «Возрождение».

625 *...из Эзопа?* — Эзоп (VI в. до н. э.), греческий баснописец, сюжетами его басен пользовались Жан де Лафонтен, И. А. Крылов.

626 *«...и в разговор пустилася со львом».* — И. С. Шмелев цитирует басню Эзопа «Лев и Лисица» в литературной обработке И. А. Крылова (1819).

627 *Тэффи* — Надежда Александровна Тэффи (урожд. Лохвицкая, в замуж. Бучинская, 1872—1952), прозаик, поэтесса, драматург. Переписывалась с И. С. Шмелевым (копии писем И. С. Шмелева к Н. А. Тэффи находятся в Российском Фонде Культуры).

628 *Расловлевы — чистые.* — упоминаются Наталья Александровна и Михаил Сергеевич Расловлевы. М. С. Расловлев (1892—1987), поэт, писатель, кавалер ордена св. Георгия Победоносца, участвовал в Первой мировой войне. В годы эмиграции служил в Генштабе, также активно занимался популяризацией русской словесности и выпустил четырехтомную хрестоматию русской литературы с XVIII по XX в.

141

Ед. хр. 43 Л. 27. Письмо, рук. Письмо отправлено в конверте с вымышленным адресом отправителя: M-me Petite-Soeur d'Avignon. 14, rue de Sans-Suere, Meudon (s. o.).

629 *«ПЕТУХИ»* — стихотворение приложено к письму И. С. Шмелева (Ед. хр. 43. Л. 31, 32. Машинопись).

142

Ед. хр. 85. Л. 7—9. Письмо, рук.

630 *...от твоего... письма. (8.VIII.46).* — имеется в виду письмо И. С. Шмелева от 7 августа 1946 г. (№ 140).

631 *...у Надсона...* — Семен Яковлевич Надсон (1862—1887), поэт, литературный критик.

632 *...«поцелуй — первый шаг к охлажденью».* — строка из стихотворения С. Я. Надсона «Только утро любви хорошо...» (1883).

632а *...в этих «любках» — с молодушкой.* — об этом И. С. Шмелев писал 25 июля 1946 г.: «Оля, что в тебе за сила, какая ты живая, жгучая, томящая... о, ночнушка-любка!.. дурманная... восковка, отблесная... потому изливающая в ночь... манящая истомой. <...> Я часами лежал средь них... — и — студентом, гимназистом — ждал... кого-то... шелеста в траве, ночь, девки-босоножки, бабы... Однажды... чуть было не... Она уже лежала рядом... кузовок земляники (июнь, начало!), ее грудь высоко так круглилась... помню брови... — совладал с собой... — была невеста... — она потянула мою руку, приложила туда, где ноги сходятся... вся нетерпеливая, горячая... — я вскочил, кинулся в поле... а она... — "Я — ч и с т а я, что вы!.. я — солдатка... не бойтесь!.. красавчик!.." — Помню это — "чистая... красавчик..." После — думал» (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 42. Л. 13—15).

143

Ед. хр. 85. Л. 12—15. Письмо, рук.

633 *...появляющиеся «документики»...* — О. А. Бредиус-Субботина имеет в виду циркуляр, опубликованный в «Свободном голосе» (см. письмо № 140).

634 *...Анастаски...* — имеется в виду митрополит Анастасий (Александр Алексеевич Грибановский, 1873—1965), церковный деятель и богослов, с 10 августа 1936 г. глава РПЦЗ.

635 *...один...* — личность не установлена.

636 *...пресловутый панславизм!* — идеологическое и политическое течение в России (сер. XIX — нач. XX в.), выдвигавшее идеи славянской политической и культурной общности, а также различные проекты федераций и конфедераций славянских народов.

637 *...стихи Симонова.* — Константин Михайлович Симонов (1915—1979), советский поэт, прозаик, драматург, публицист.

638 *...вырвал себе наконец это право исповедания.* — согласно постановлению ВЦИК и СНК РСФСР от 8 апреля 1929 г. «О религиозных объединениях» Церковь была лишена права заниматься просветительской и благотворительной деятельностью, финансовыми и хозяйственными делами. В сентябре 1943 г. состоялась встреча И. В. Сталина с митрополитами Сергием (Страгородским), Алексием (Симанским) и Николаем (Ярушевичем). РПЦ получила разрешение собрать Архиерейский собор, избрать патриарха, открыть духовные учебные заведения. С октября 1943 г. под руководством митр. Николая стал издаваться «Журнал Московской Патриархии». В 1945 г. по секретному постановлению Совнаркома СССР исполнительные органы религиозных организаций получили права юридического лица (возможность заниматься хозяйственной и финансовой деятельностью).

639 *...все эти Сорокины...* — вероятно, имеется в виду А. П. Сорокин, журналист.

144

Ед. хр. 43. Л. 40—43. Письмо, рук.

640 *...инженер — советский агент...* — И. С. Шмелев называет его «Пантелеевым». О первом визите «советского агента» см. примечание 593 к письму № 135.

145

Ед. хр. 43. Л. 49, 50. Письмо, рук.

641 *...возвращаю тебе для хранения твой ответ...* — в письме от 14 августа 1946 г. (№ 143) О. А. Бредиус-Субботина сообщала о том, что отправила И. С. Шмелеву «официальную благодарность» за «Куликово поле».

642 *Десятки тысяч казаков выдали англичане...* — имеется в виду насильственная репатриация 50 тысяч казаков, сдавшихся английским войскам в Южной Австрии в мае 1945 г. Принудительные репатриации проводились на основании заключенного в Ялте (февраль 1945 г.) соглашения о выдаче советских военнопленных граждан, просивших политического убежища у союзников. См.: Толстой Н. Д. Жертвы Ялты. М., 1996. С. 349—350.

643 [*Кравт*] — сведений о нем нет.

644 *...«трагедия под Удино»...* — осенью 1945 г. из военного госпиталя в Удино была репатриирована группа советских военнопленных. См. также примечание 642 к данному письму.

645 *...бывшего народного комиссара Кравченко...* — Виктор Андреевич Кравченко (1905—1966), советский дипломат, невозвращенец, с апреля 1943 г. жил в США. Автор книги «Я избрал свободу» (1947). Покончил жизнь самоубийством.

646 *Парижский «Carrefour»...* — общественно-политическая еженедельная газета, выходившая с 26 августа 1944 г.

647 *...ген. Кальницкий...* — Михаил Николаевич Кальницкий (1870—1961), генерал-лейтенант генштаба, в Гражданскую войну в Добровольческой армии начальник обороны Полтавского района. Эмигрировал в Югославию. С апреля 1927 г. — заместитель председателя Зарубежного союза русских военных инвалидов и заведующий финансовой частью Главного правления Союза инвалидов, с марта 1932 г. — председатель этого Союза.

648 *...при Военном бельгийском музее...* — Военно-исторический музей в Брюсселе (Musée Royal de l'Armée et d'Histoire Militaires).

146

Ед. хр. 85. Л. 20—25. Письмо, рук.

649 *...моей тети...* — вероятно, имеется в виду А. В. Груздева. О ней О. А. Бредиус-Субботина писала 15 ноября и 17 декабря 1941 г. (Т. 1. № 78, 105).

649a *...художницы-миниатюристки.* — И. С. Шмелев писал об этом 6 августа 1946 г.: «... художница, <...> работает миниатюры

<...> Сезон давно кончился <...> Заболела. Потеряла 14 кг нормального веса. Ослабела. Дрожат руки, не могут и "волоска" кисточки твердо держать... ходит пить кровь на бойню. Лучше, но страшно оголодала... просит "у мамы" — у старушки-то! — "мама, дай мне поесть..." с плачем! А у той ничего!» (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 43. Л. 11).

649б *...Максу-идеалисту...* — о нем см. письмо № 111 (Т. 1).

650 *Вся эта теория Фрейда...* — Зигмунд Фрейд (1856—1939), австрийский невропатолог, психиатр, основоположник психоанализа, считал энергию бессознательных психосексуальных влечений основным движущим фактором психики.

147

Ед. хр. 43. Л. 57—59. Письмо, рук., машинопись.

651 *...твое письмо.* — вероятно, имеется в виду письмо О. А. Бредиус-Субботиной от 24 августа 1946 г. (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 85. Л. 28, 29).

652 *...«удушение» (твой сон!)...* — речь идет о сне, который О. А. Бредиус-Субботина описала в письме от 24 августа (примечание 651): «Вчера на утре видела сон, очень яркий: я на rue Boileau, вбегаю в лестницу, и не знаю, на котором я этаже, бегу снова вниз, отсчитываю площадки и так задохнулась, устала, что ноги подламываются. Звоню тебе, а звонок только 1 раз звякнул и больше нет звука. Я стучу... никакого ответа. Я в страшной тревоге, что с тобой, т.к. знаю, что ты дома. Наконец: "Олюша, я сейчас". Сердце так колотилось, что я не могла стоять. Ты открываешь, но у тебя какой-то человек... неприятный, и я соображаю, что это врач. Вся голова у него в бородавках, бритая, с паршами голова. И меня начинает мутить. Он меряет тебе давление (в руке), а потом перетягивает шею и меряет давление там. Мне страшно, что он тебя удушит. Спрашиваю: «сколько?» — «2!» — Я в ужасе, что так низко и мне снова делается плохо. Смотрю на тебя, но ты такой свежий, молодой, чудесные большие глаза. Я говорю: "Ванечка, а глаза-то у тебя ведь больше не болят! Совершенно здоровый вид!" И проснулась».

653 *..А мать грозит ему в окно...* — цитата из романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин» (Гл. 5, II).

654 К сноске внизу страницы:

...говорит о Паше — в келье! — по сюжету романа «История любовная» Паша становится послушницей в монастыре.

655 *«Нет, я не дорожу...»* — стихотворение А. С. Пушкина «Нет, я не дорожу мятежным наслажденьем...» (1831); *«Леда»* — стихотворение 1814 г. («Средь темной рощицы, под сенью лип душистых...»).

656 *Из письма...* — приведен фрагмент письма О. А. Бредиус-Субботиной от 3 июля 1946 г. (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 83. Л. 36).

657 *Из открытки...* — И. С. Шмелев цитирует письмо (почтовую открытку) О. А. Бредиус-Субботиной, приблизительно датируемую

серединой августа 1946 г. (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 85. Л. 18).

148

Ед. хр. 44. Л. 1. Письмо, машинопись.

149

Ед. хр. 44. Л. 6—8. Письмо, рук.

658 *...советский офицер, фронтовик.* — имеется в виду Михаил Михайлович Коряков (1908?—1977), публицист, сотрудник «Русской мысли», *печатался в «Новом журнале»*. О нем см. в письме И. С. Шмелева И. А. Ильину от 11 ноября 1946 г. (Ильин И. А. Собр. соч.: Переписка двух Иванов Т. 2. С. 494—495).

659 *...с речью председателя всесоюзного Союза писателей.* — вероятно, имеется в виду доклад о советской художественной литературе 1944—1945 гг., прочитанный председателем правления Союза писателей СССР Н. С. Тихоновым (1896—1979) на 10-м пленуме правления СП СССР. Доклад был опубликован в «Литературной газете» 17 мая 1945 г. (№ 21).

660 *...видел М[еркулов] на Daru.* — т.е. в храме св. Александра Невского (12, rue Daru).

661 *«Вся снеговая-голубая...»* — начальные строки стихотворения И. С. Шмелева «Марево».

662 *...милый Вадим, сын Л. Андреева...* — Вадим Леонидович Андреев (1902—1976), поэт. В 1919 г. вступил в Добровольческую армию, в 1920 г. эмигрировал в Константинополь, с апреля 1922 г. жил в Берлине, в 1924 г. переехал в Париж. В годы войны В. Л. Андреев участвовал в движении Сопротивления, в 1946 г. принял советское гражданство.

150

Ед. хр. 85. Л. 42—47. Письмо, рук.

663 *...«огарок»...* — Огарок — кличка коня Дмитрия Вагаева в романе И. С. Шмелева «Пути небесные».

151

Ед. хр. 86. Л. 28—30. Письмо, рук.

664 *...самою «Неупиваемую Чашу»...* — имеется в виду один из иконографических образов «Одигитрии». См.: Руднева Е. Г. Иконописная традиция в эмигрантском творчестве И. С. Шмелева // Венок Шмелеву. С. 179—188.

665 *Она ведь у «Павуа»?* — имеется в виду издательство «Pavois», находившееся в Париже. В этом издательстве вышло французское издание «Путей небесных».

666 *«...раскатал ...и был бы прав».* — фраза из письма И. С. Шмелева от 18 сентября 1946 г. (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 44. Л. 45, 46).

152

Ед. хр. 45. Л. 4—5. Письмо, рук.

667 *«Плаксина»*... — в письме от 23 сентября 1946 г. И. С. Шмелев замечает: «Со вторника будет ходить новая менажка, которую я зову "ПлАксина", — очень она скучно-плаксива!» (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 44. Л. 52, 53).

668 *Некто — Морозов.* — сведений о нем нет.

669 *...старушка-швейцарка...* — личность не установлена.

670 *...Добужинского.* — Мстислав Валерианович Добужинский (1875—1957), русский художник, с 1925 г. жил в Литве, с 1939 г. в Англии и США.

671 *Серова...* — имеется в виду Валентин Александрович Серов (1865—1911), русский художник.

672 *...клеветника-идиота и «злыдни»...* — имеется в виду С. М. Серов.

673 *Лансере...* — Евгений Евгеньевич Лансере (1875—1946), график и живописец, жил в СССР.

674 *Иона...* — имеется в виду Огастес Эдвин Джон (1878—1961), английский живописец, мастер реалистического портрета.

675 *...другая, Полуплаксина...* — имеется в виду К. Л. Первушина.

153

Ед. хр. 86. Л. 31. Почтовая открытка, рук.

676 *... последние (2) письма...* — имеются в виду письма от 18 сентября 1946 г. (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 86. Л. 23, 24) и от 20 сентября 1946 г. (№ 151).

677 *...сожгла мою лучшую работу...* — творческий кризис О. А. Бредиус-Субботиной связан с критическим разбором ее живописных и литературных работ в письмах И. С. Шмелева от 11 сентября (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 44. Л. 24—27) и 26 сентября 1946 г. (№ 152).

678 *...берлинское «сожжение кораблей»...* — в Берлине в начале 1930-х гг. О. А. Бредиус-Субботина сожгла все свои художественные работы и решила посвятить себя исключительно медицине.

679 *...«свинья под дубом».* — имеется в виду басня И. А. Крылова (1825). О. А. Бредиус-Субботина ссылается на фрагмент из письма И. С. Шмелева от 11 сентября 1946 г.: «...как ни тряси березу — ни единого желудя не стрясешь для ожидающих внизу...» (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 44. Л. 26).

154

Ед. хр. 45. Л. 11—13. Письмо, машинопись.

680 *...писал подробно 27-го и вчера...* — имеются в виду письма от 26 сентября (№ 152) и 30 сентября 1946 г. (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 45. Л. 8).

681 *Жюль Легра* — профессор Сорбонны, пушкинист. Вероятно, И. С. Шмелев познакомился с ним в феврале 1937 г. на Торжественном собрании, посвященном памяти А. С. Пушкина, организованном Пушкинским комитетом. Среди выступавших были И. С. Шмелев и Жюль Легра.

682 *...16-го сент., 18, 20, 23, 24, 27, 30..!* — письма И. С. Шмелева от 16, 18, 20, 23, 24, 26 (отправлено 27 сент., № 152), 30 сентября 1946 г. находятся в РГАЛИ (Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 44. Л. 41, 42, 45, 46, 49, 52, 53; Ед. хр. 45. Л. 1, 8).

683 *...прав «Шпекин»!* — в письме от 30 сентября 1946 г. И. С. Шмелев замечал: «Да... что это ваш "Шпекин", дерет с тебя? Ты за «картину» заплатила почте — 1 гульден и 65 центов, что, по официальному курсу — гульден-франк — составляет, исходя из 1 гульдена равного 43 фр. — 71 франк! С меня за то же взяли на почте — 14 франков!» (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 45. Л. 8).

155

Ед. хр. 86. Л. 45. Письмо, рук.

684 *...влиятельного профессора...* — лицо не установлено.

156

Ед. хр. 87. Л. 1, 2. Письмо, рук.

685 *...вчера пришло одно.* — имеется в виду письмо И. С. Шмелева от 11 октября 1946 г. (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 45. Л. 40).

686 *...такому дару, как «Чаша».* — в письме от 9 октября 1946 г. И. С. Шмелев передавал О. А. Бредиус-Субботиной приоритетное право на иллюстрирование повести «Неупиваемая чаша» (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 45. Л. 28, 29).

687 *На твое последнее письмо...* — имеется в виду письмо от 11 октября 1946 г. (См. примечание 685).

157

Ед. хр. 45. Л. 41—44. Письмо, машинопись.

688 *...8—11, — 10-го послал два!* — имеются в виду письма от 8, 9, 10 (два письма) и 11 октября 1946 г. (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 45. Л. 25, 28, 29, 32, 35, 40).

689 *«От избытка сердца уста глаголят».* — Мф. 12, 34.

690 *И. Н. Крамской* — Иван Николаевич Крамской (1837—1887), живописец, портретист. В 1888 г. его переписка была издана А. С. Сувориным под редакцией В. В. Стасова.

691 *...Суворину...* — Алексей Сергеевич Суворин (1834—1912), публицист, театральный критик, писатель, издатель. С 1876 г. издатель и редактор газеты «Новое время». Был знаком с Н. А. Некрасовым, Л. Н. Толстым, Ф. М. Достоевским, И. Н. Крамским, А. П. Чеховым, В. В. Розановым.

692 *«Слово композиция... именно такою, а не другою»...* — И. С. Шмелев неточно цитирует письмо И. Н. Крамского А. С. Су-

ворину (Крамской И. Н. Письма 1862—1875. Л., 1937. Т. 2. С. 342).

693 ...*«взять у... и бросить псам»!* — Мф. 15, 26.

694 ...*твой «сверх трепещущий» разговор.* — имеется в виду фрагмент письма О. А. Бредиус-Субботиной от 8 октября 1946 г. (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 86. Л. 50, 51).

695 ...*про «могилку» писал...* — И. С. Шмелев имеет в виду рисунок О. А. Бредиус-Субботиной «Память St-Geneviève». Об этом И. С. Шмелев писал 18 сентября 1946 г. (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 44. Л. 45, 46). См. также примечание 588 к письму № 135.

696 ...*твое письмо, от 18.* — письмо находится в РГАЛИ (Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 87. Л. 6).

696а ...*снимок...* — фотография хранится в РГАЛИ (Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 116. Л. 5). На обороте надпись: «Вот, — могилка Оли в первые дни за [погребением]. Теперь — большой крест. Лампада в фонаре от читателей из Риги, обделано белым камнем, но цветы живые, всегда — береза стала развесистой. Ты верни мне. Июнь-1936 г. или начало июля».

697 ...*набросок «русской души» простецов...* — в письме от 10 октября 1946 г. И. С. Шмелев послал рассказ о купце-канительщике, страстно любившем поэзию А. С. Пушкина (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 45. Л. 35).

698 *Ильин — тот, конечно, понял...* — этот же рассказ И. С. Шмелев отправил И. А. Ильину в письме от 9 октября 1946 г. (Ильин И. А. Собр. соч.: Переписка двух Иванов. Т. 2. С. 464—469). И. А. Ильин в письме от 14 октября 1946 г. ответил следующее: «Получил оба письма...; и то, где Пушкинисты втроем (Сима, Микеша и Тоник) празднуют пушкинскую оргию. Пожалуй, грусти больше, чем смеха» (Там же. С. 469—470).

158

Ед. хр. 87. Л. 24. В конверт вложено письмо от 20 ноября 1946 г. (Л. 25, 26).

159

Ед. хр. 46. Л. 11. Письмо, машинопись.

699 ...*твое заказное письмо.* — имеются в виду письма О. А. Бредиус-Субботиной от 18 (№ 158) и 20 ноября, отправленные в одном конверте.

700 *Отзыв прилагаю...* — к письму приложена заметка из «Новой цюрихской газеты» («Neue Zueriche Zeitung») «Anton Tschechow. Zu Neuausgaben» (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 46. Л. 12).

701 ...*Ильин прислал.* — рецензию на книгу И. А. Ильин прислал в письме от [15 ноября 1946 г.]. См.: Ильин И. А. Собр. соч.: Переписка двух Иванов. Т. 2. С. 495—496.

702 ...*любви к сестре Софьи Ковалевской...* — Софья Васильевна Ковалевская (1850—1891), русский математик, писатель, публи-

цист. Ее сестра — Анна Васильевна Корвин-Круковская (по мужу Жаклар, 1843—1887), русская писательница, участница Парижской Коммуны; в 1865 г. Ф. М. Достоевский сделал ей предложение и получил отказ.

703 *...недавно послал Ильину.* — вероятно, речь идет о биографии И. С. Шмелева, о которой он упоминает в письме к И. А. Ильину от 15 ноября 1946 г. (Ильин И. А. Собр. соч.: Переписка двух Иванов. Т. 2. С. 499).

160

Ед. хр. 87. Л. 30—32. Письмо, рук.

704 *...письмо со стихами...* — имеется в виду письмо И. С. Шмелева от 24 ноября 1946 г. (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 46. Л. 15—18).

705 *...ведь месяц времени-то был...* — в конце октября — начале ноября 1946 г. переписка прервалась. Последнее письмо И. С. Шмелева датировано 26 октября, первое после перерыва 15 ноября. Письма О. А. Бредиус-Субботиной датируются соответственно 23 октября и 18 ноября.

706 *...письмо Ксении Львовны...* — письмо не сохранилось.

707 *...«Поцелуй» ...«Дама с собачкой».* — рассказы А. П. Чехова. «Поцелуй» (1887), «Скучная история» (1889), «Верочка» (1887), «Дама с собачкой» (1889).

708 *...переводчицы...* — имеется в виду Алейда Схот, в РГАЛИ находится ее письмо О. А. Бредиус-Субботиной (Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 103).

709 *...пушкинского «Пророка»...* — стихотворение написано в 1826 г.

161

Ед. хр. 46. Л. 40—42. Письмо, машинопись.

710 *С изданием «Лета Господня»...* — книга И. С. Шмелева «Лето Господне. Праздники. Радости. Скорби» вышла в 1948 г. в издательстве YMCA-Press.

711 *Программа концерта...* — о концерте К. Т. Жуковича О. А. Бредиус-Субботина рассказала в письме от 2 декабря 1946 г. (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 87. Л. 35—38). Программа концерта была приложена к ее письму И. С. Шмелеву от 13 декабря 1946 г. (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 88. Л. 1, 2).

712 *Гаршин...* — Всеволод Михайлович Гаршин (1855—1888), прозаик, автор двух книг рассказов. Покончил жизнь самоубийством. Далее в письме перечислены его рассказы: «Красный цветок» (1883), «Четыре дня» (1877) «Надежда Николаевна» (1885); *«Молотобоец»* — рассказа под таким заглавием у В. М. Гаршина нет.

713 *...из Лескова ...«Соборяне»...* — Николай Семенович Лесков (1831—1895), прозаик, публицист; роман «Соборяне» написан им в 1872 г.

714 *«...неудачами не огорчайтесь».* — цитата из письма И. А Ильина от 16 декабря 1946 г. (Ильин И. А. Собр. соч.: Переписка двух Иванов. Т. 2. С. 523—524).

715 *...в переводе Артура Лютера.* — имеется в виду издание «An den Baumstuempfen. Der Bericht eines ehemaligen Menschen». Deutsch von Arthur Luther. Eckart, 1932.

716 *...в переводе Кэт Розенберг.* — имеется в виду издание «Die Sonne der Toten». Deutsch von Kaethe Rosenberg. Berlin, Fischer Verlag, 1925.

717 *...для швейцарского издательства.* — в библиографии Д. А. Шаховского и О. Н. Сорокиной это издание отсутствует.

718 *...как получил твое письмо.* — 12 декабря 1946 г. О. А. Бредиус-Субботина писала о вреде уколов мышьяка (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 87. Л. 55).

719 *...посещение А. Схот.* — это посещение описано в открытке О. А. Бредиус-Субботиной от 12 декабря 1946 г. (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 87. Л. 54).

720 *...Козлова...* — голландское издательство «Шпигель» (Амстердам) издало в 1926 г. «Неупиваемую чашу» и сборник рассказов «Про одну старуху» в переводе Анны Козловой.

721 *...примкнула к женевской литературной конвенции.* — имеется в виду Бернская конвенция об охране литературных прав (1866), пересмотренная в Берлине (1908), Риме (1928) и в Брюсселе (1948).

722 *...«Волчий перекат».* — Волчий перекат. Виноград. Росстани: Рассказы. Т. V. М.: Книгоиздательство писателей в Москве, 1914. Кроме произведений, указанных И. С. Шмелевым в письме, в книгу также включен рассказ «В деревне».

723 *...издательства «Просвещение».* — книгоиздательское товарищество «Просвещение», основано в 1896 г. в Петербурге, существовало до 1918 г. Издательство выпускало научную, научно-популярную и художественную литературу, а также собрания сочинений русских и иностранных писателей серией под названием «Всемирная библиотека».

162

Ед. хр. 88. Л. 13, 14. Письмо, рук.

724 *A.R.A.* — Американская ассоциация помощи голодающим (American Relief Administration), создана Р. Гувером. Официально деятельность АРА в СССР прекратилась в 1923 г., фактически — продолжалась до 1924 г.

725 *ВХУТЕМАС* — Высшие государственные художественно-технические мастерские, учебное заведение в Москве, создано в 1920 г. на основе I и II Свободных художественных мастерских, в 1926 г. преобразованы во ВХУТЕИН.

163

Ед. хр. 88. Л. 18, 19. Письмо, рук.

726 *...я бы дала иначе: «Onuiputtelijke Kelk».* — позднее О. А. Бредиус-Субботина писала об этом (письмо от 2 января 1947 г.): «Знаешь, как надо по-русски прочесть Козлихино заглавие "Чаши"? — "Никогда не опорожненный бокал!" Даже смысл другой, хоть бы сказала "не опоражниваемая". Я бы сказала "Onuiputtelijke Kelk" — т.е. "Неисчерпаемая, неистощимая Чаша". Kelk — сосуд, употребляемый в церкви для Таинства Причащения Св. Тайн, а ее Beker — сосуд для питья молока, пунша и т.п., нечто, что в форме стакана, но не из стекла, а либо из металла, либо из фарфора или глины. Из таких "bekertje'в" дают ребятам суслить и слюни с соплями туда пускать. Kinderbeker...» (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 88. Л. 23—25). В переводе на голландский язык Анны Козловой заглавие повести «De Nooit Geledigde Beker» (Amsterdam, 1927).

164

Ед. хр. 47. Л. 5—8. Письмо, рук.

727 *Почему плакала 1-го?* — 2 января 1947 г. О. А. Бредиус-Субботина писала: «Вчера, первый день 1947 г. я провела скверно. Мой дух снова упал. Мне очень тяжело. Я лежала весь день и плакала. Я ничего не могу. Я все испепелила». (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 88. Л. 23—25).

728 *...все с недостатками.* — об И. А. Ильине О. А. Бредиус-Субботина писала в указанном выше письме: «Было письмо от И. А., а до того я послала ему Рождественское. Он возмущен, и в претензии и на меня, за то, что его «кусочками» читала о тебе. Давно не получая от него вестей и не пребывая в его сфере, я прямо шарахнулась от его непомерной, нечеловеческой гордыни. Он — по меньшей мере Зевс с Олимпа. Он, пишущий о братстве людей, о любви, о храбрости и доблести, о вере и молитве, — он сам и не брат, и не любит никого, кроме себя и Натальи Николаевны, и не считает ни одно собрание верующих достойным его молитвы с ними, и страшный... трус! Он пишет верные и прекрасные вещи, но сам — как раз обратное тому, о чем пишет. Дышит он только курениями фимиамов. Попробуй, рассерди его... и тогда даже ты, куда более крупный философ!, не говорю уже о твоем искусстве, впадешь в Их немилость. Я чту его за его заслуги, и никогда ни перед кем развенчивать не стану, наоборот — я часто ссылаюсь на него, но душа моя содрогается от его гордыни. Не сердись на меня, но это так!» (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 88. Л. 23—25).

729 *...послал тебе весь труд его, дня 3 тому.* — в письме от 30 декабря 1946 г. И. С. Шмелев писал: «И. А. разнес меня, что без его разрешения послал тебе о Шмелеве. И тут же благостно порешил, с благоволением: "т.к. "акушер" не имеет права дробить ребенка на части... гоните Оле в с е!" <...> И вот завтра погоню в с е» (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 47. Л. 1—2). И. С. Шмелев не-

точно цитирует письмо И. А. Ильина от [26 декабря 1946 г.]. См.: Ильин И. А. Собр. соч.: Переписка двух Иванов. Т. 2. С. 533.

730 *...Виген с женкой и ее сестрой.* — вероятно, речь идет о Евгении Нарсесян. В РГАЛИ находится ее письмо О. А. Бредиус-Субботиной [1948 г.] (Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 104. Л. 1). Сведений о ее сестре нет.

731 *Художница из Холливуда...* — личность не установлена.

732 *...умно и сердечно высказалась...* — в письме от 30 декабря 1946 г. (второе) И. С. Шмелев отмечал: «Сегодня чудесное письмо из Холливуда, пишет русская, художница-карикатуристка — и как тождественно с тобой, со многими, с Ильиным, — говорит о радости и незаменимости для нее "Лета Господня" и "Богомолья". "Эти чудесные книги Ваши для меня — "настольные", не могу без них"» (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 47. Л. 5—8).

733 *...II ч. «Жизни Арсеньева»...* — пятая книга «Жизни Арсеньева» (первые четыре опубликованы в 1930 г.) с подзаголовком «II. Лика» вышла отдельной книгой в 1939 г. («Петрополис», Брюссель).

165

Ед. хр. 88. Л. 32—35. Письмо, рук.

166

Ед. хр. 47. Л. 25. Почтовая открытка, рук.

734 *...пошло бы и в [«зонах»]?* — имеется в виду послевоенное управление Германией.

735 *«...Восстани, что спиши...»* — кондак из Великого покаянного канона преп. Андрея Критского. Читается в понедельник, вторник, среду, четверг первой недели и в четверг пятой недели Великого поста.

167

Ед. хр. 47. Л. 28, 29. Письмо, рук. В конверт вложено письмо И. С. Шмелева от 3 февраля 1947 г. (*Л. 30*).

736 *...изящное издание «Фомы Кемпийского»...* — речь идет о книге «О подражании Христу» немецкого религиозного мыслителя Фомы Кемпийского (ок. 1380—1471).

737 *...швейцарский поход Суворова!* — во время швейцарского похода (10/21 сентября — 27 сентября / 8 октября 1799) русские войска под командованием А. В. Суворова (1729—1800), преодолев исключительные трудности, перешли через Альпы из Италии в Швейцарию; *«Чертов мост»* — мост через р. Рейс в Швейцарии, по которому 14/25 сентября 1799 г. с боем прошли русские войска.

738 *...о горестном положении в Риме одной семьи...* — вероятно, имеются в виду Людмила Горная (дочь С. Горного) и ее муж Алексей Ширяев.

739 *...Коковцова...* — Владимир Николаевич Коковцов (1853—1943), государственный деятель. В 1904—1905 и 1906—1914 гг. ми-

нистр финансов Российской империи. С 1911 по 1914 гг. председатель Совета министров. В 1916 г. глава комиссии по делам торговли и промышленности Государственного Совета. В 1918 г. эмигрировал во Францию. В эмиграции был председателем правления Коммерческого банка.

740 *...Елену Казимировну Григорович... перевела «Чашу».* — Е. К. Григорович перевела на итальянский язык «Неупиваемую чашу» (Calice inconsumabile. Romanzo. Traduzione autorizzata di E. Grigorovich. Milano, Casa Editrice Bietti, 1932).

741 *«Плавать бы тебе, Илья, по большому морю!..»* — слова иконописца Арефия из IV главы повести «Неупиваемая чаша» (Шмелев И. С. Собр. соч. Т. 1. С. 393).

742 *...насыщенное письмо.* — имеется в виду письмо И. А. Ильина от 29 января 1947 г. (см.: Ильин И. А. Собр. соч. Т. 3. С. 18—20).

743 *...будет чистая газета...* — имеется в виду еженедельная газета «Русская мысль» (издается в Париже с апреля 1947 г.). Французское правительство поддерживало просоветскую печать, с направлением которой были не согласны многие русские эмигранты. В. А. Лазаревский (редактор газеты в 1947—1954 гг.) несколько раз пытался добиться разрешения издавать русскую национальную газету, но получал отказ. В 1947 г. ему оказал поддержку Х. Брюне (один из руководителей Католического союза «Французской конфедерации трудящихся христиан»), предложивший издавать газету как орган Католического союза. Первый номер «Русской мысли» вышел 19 апреля 1947 г. В нем был напечатан рассказ И. С. Шмелева «В Кремле на Святой». В этом же номере была опубликована программная статья В. Ф. Зеелера «Наши задачи».

744 *...в хламе Земгора...* — имеется в виду Объединенный комитет Всероссийского земского союза помощи больным и раненым воинам и Всероссийского союза городов (создан 10 июля 1915 г.). После Февральской революции руководящие деятели Земгора (кн. Г. Е. Львов, А. И. Шингарев) вошли в состав Временного правительства. 17 января 1918 г. декретом СНК главные комитеты Земгора были упразднены. 28 февраля 1919 г. в Крыму был образован Временный комитет Всероссийского земского союза, 25 мая того же года приказом ген. Деникина ему были переданы полномочия Главного комитета; *...там издавали в 1920 г. ...* — И. С. Шмелев имеет в виду издание: Неупиваемая чаша. Это было. Чужой крови. Прага: «Пламя», 1924.

168

Ед. хр. 88. Л. 52. Почтовая открытка, рук.

169

Ед. хр. 89. Л. 1. Письмо, рук.

745 *...к Люси...* — об этой художнице О. А. Бредиус-Субботина писала в письме от 16 января 1947 г. (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 88. Л. 39).

746 *...Но как прав И. А.! ... И это чарует.* — этот фрагмент письма О. А. Бредиус-Субботиной был приведен И С. Шмелевым в письме к И. А. Ильину от 8 февраля 1947 г. (Ильин И. А. Собр. соч.: Переписка двух Иванов. Т. 3. С. 28).

747 *«Садко»* — опера Н. А. Римского-Корсакова (1897).

170

Ед. хр. 89. Л. 4. Письмо, рук.

748 *...Васнецов (студент) — вятич... Оля Воскресенская...* — сведений о них нет.

749 *...медик-музыкант (я давно о нем писала)...* — врач, о котором О. А. Бредиус-Субботина писала в «Повести жизни» (Т. 1. Письмо № 110).

750 *...письмо от Наты Первушиной...* — письмо не сохранилось.

751 *«Тебя благодарим... Господи!»* — из молитвы «Тебе поем...», совершаемой во время освящения Св. Даров.

171

Ед. хр. 47. Л. 50—51. Письмо, рук. В одном конверте с первым письмом И. С. Шмелева от 8 февраля 1947 г. *(Л. 49).*

752 *...И. А., прочитав «Солнце мертвых», писал мне...* — речь идет о письме И. А. Ильина от 18 марта 1927 г. (Ильин И. А. Собр. соч.: Переписка двух Иванов. Т. 1. С. 21—22).

753 *...(...послал копию его письма)...* — фрагмент вышеуказанного письма И. А. Ильина (примечание 752) приведен в письме И. С. Шмелева к О. А. Бредиус-Субботиной от 6—7 февраля 1947 г. (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 47. Л. 45, 46).

754 *...отправил ему большое письмо...* — имеется в виду письмо И. А. Ильину от 8 февраля 1947 г. (Ильин И. А. Собр. соч. Т. 3. С. 26 — 33).

755 *...для сборника в Сан-Франциско.* — вероятно, имеется в виду 15 выпуск сб. «День русского ребенка» (Сан-Франциско, 1948).

756 *...по словам Пушкина — жене...* — неточная цитата из письма А. С. Пушкина к Н. Н. Пушкиной от 11 июня 1834 г. В оригинале: «А живя в нужнике, поневоле привыкнешь к <———>, и вонь его тебе не будет противна, даром что gentleman» (Пушкин А. С. Собрание сочинений: В 10-ти томах. Т. 10. М., 1978. С. 178).

172

Ед. хр. 89. Л. 18. Письмо, машинопись. Машинописные письма О. А. Бредиус-Субботиной без рукописных вставок, с незначительной авторской правкой (знаки препинания, исправления букв). В дальнейшем эти особенности не оговариваются.

757 *...пышная красавица за самоваром...* — имеется в виду репродукция картины Б. М. Кустодиева «Купчиха» (1915).

758 ...*«Павуа» тоже издаст de lux!* — об этом И. С. Шмелев сообщал 16 сентября 1946 г. (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 44. Л. 41, 42).

758а ...*письмо об очень важном.* — имеется в виду письмо О. А. Бредиус-Субботиной от 19 февраля 1947 г., в котором речь шла о церковном управлении, а также издании рассказа «Куликово поле» (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 89. Л. 21—22).

173

Ед. хр. 48. Л. 7. Письмо, рук.

759 ...*твое последнее закрытое письмо...* — имеется в виду письмо О. А. Бредиус-Субботиной от 12 февраля 1947 г. (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 89. Л. 8, 9).

760 *Сегодня, твоя открытка...* — имеется в виду открытка от 14 февраля 1947 г. (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 89. Л. 14).

761 ...*большое письмо, дня 3—4 тому...* — вероятно, И. С. Шмелев имеет в виду письма от 8 февраля 1947 г. (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 47. Л. 49 и № 171).

174

Ед. хр. 89. Л. 34. Почтовая открытка, рук.

762 *Письмо Ваше — удивительно!* — имеется в виду письмо И. С. Шмелева от 21 февраля 1947 г. (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 48. Л. 10).

762а *Письмо от госпожи Гелелович.* — письмо не сохранилось.

763 ...*ничего не слышала о Мадонне.* — в письме от 2 февраля 1947 г. И. С. Шмелев просил О. А. Бредиус-Субботину заказать для С. Рышковой-Офросимовой в Амстердамском музее репродукцию с картины Фра Анжелико (Джованни да Фьезоле, 1387—1455) «Мадонна с лилией» (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 47. Л. 28—29).

175

Ед. хр. 89. Л. 40. Открытка с изображением цветов, рук.

764 ...*твою бесприветную открытку...* — имеется в виду открытка И. С. Шмелева от 7 марта 1943 г. (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 48. Л. 29).

764а ...*заказное письмо ... мной не получено.* — О. А. Бредиус-Субботина отвечает на фразу И. С. Шмелева из упомянутой открытки: «...ты неисправимо самоуверенна. — 1-й и 2-й отрывок я тебе давно вернул, по первому твоему требованию, — заказным».

765 *Акварели, тобою швырнутые мне в лицо...* — И. С. Шмелев переслал О. А. Бредиус-Субботиной ее акварельные наброски.

766 ...*не был ли в то время еще НЭП...* — новая экономическая политика была введена в 1921 г. «Постановлением о замене разверстки натуральным налогом», принятым на X съезде РКП(б), и «Наказом СНК о проведении в жизнь начал новой экономической по-

литики» (9 августа 1921 г.). Свертывание нэпа осуществлялось постепенно в 1927—1928 гг.

767 ...*цветы... не по настроению...* — на обороте открытки изображены цветы.

176

Ед. хр. 89. Л. 46, 47. Письмо, машинопись.

768 ...*оставила розовую копию.* — копия рассказа «Куликово поле» хранится в РГАЛИ (Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 2. Л. 1—44).

769 ...*из «Журнала Московской Патриархии»...* — речь идет о статье Б. Л. Черкеса «Пребывание Г. Г. Карпова в Чехословакии», опубликована: Журнал Московской Патриархии. 1946. № 8; ...*о Владыке Сергии Пражском, ныне Венском.* — имеется в виду архиепископ Сергий (Аркадий Дмитриевич Королев, 1881—1952). Окончил Дмитровское духовное училище, Вифанскую духовную семинарию и Московскую духовную академию. В 1907 г. принял постриг, в 1908 г. рукоположен в иеромонаха, в 1914 г. возведен в сан архимандрита и назначен благочинным монастырей Холмской епархии. В 1921 г. рукоположен в епископа Бельского, викария Холмской епархии. В 1922 г. выслан польскими властями в Чехословакию, где сначала был настоятелем приходской церкви св. Николая (Прага), а затем викарием митр. Евлогия. В 1946 г. (после перехода в юрисдикцию Московской Патриархии) возведен в сан архиепископа и назначен архиепископом Венским, в 1948 г. после упразднения Экзархата Московской Патриархии в Средней Европе назначен архиепископом Берлинским и Германским. С 1950 г. архиепископ Казанский.

770 ...*Георгий Григорьевич (Карпов)...* — имеется в виду председатель Совета по делам Русской Православной церкви при Совете Министров СССР.

771 ...*с послом В. А. Зориным...* — Валериан Александрович Зорин (1902—?), советский дипломат, государственный и партийный деятель. В 1945—1947 гг. был послом СССР в Чехословакии.

772 ...*Владыка Елевферий...* — имеется в виду митрополит Елевферий (Воронцов, 1892—1959), окончил Московскую духовную семинарию и Московскую духовную академию, в 1915 г. рукоположен в сан диакона и священника. В 1943 г. пострижен в монахи и рукоположен в епископа Ростовского и Таганрогского. В 1945 г. командирован в Харбин для присоединения русских дальневосточных приходов к Русской Православной Церкви. В апреле 1946 г. назначен архиепископом Пражским и Чехословацким, экзархом Московского Патриарха. В 1948 г. был возведен в сан митрополита. С ноября 1951 г. глава автокефальной Православной Церкви в Чехословакии, с 1955 г. митрополит Ленинградский.

773 ...*о. протоиерей Крачмар...* — Ч. Крачмар, настоятель Пражского кафедрального собора.

774 ...*К. Чермак...* — уполномоченный министра школ, просвещения и культов правительства Чехословакии.

Ед. хр. 48. Л. 43—46. Письмо, рук., машинопись.

775 *...духовным учителем и водителем Князя...* — имеется в виду Дмитрий Иванович Донской (1350—1389), великий князь Владимирский и Московский, духовным наставником которого был преп. Сергий Радонежский.

776 *...Булгаковы, Розановы, и проч.* — В. В. Розанов жил в Сергиевом Посаде с конца августа 1917 г. до своей смерти в феврале 1919 г. С 1904 г. в Сергиевом Посаде жил П. А. Флоренский (1882—1937), к которому неоднократно (до июня 1918 г.) приезжал из Москвы С. Н. Булгаков (1871—1944).

777 *Пример Булгаков! ...«Автобиографические заметки»...* — книга вышла в 1946 г. в Париже в издательстве YMKA-Press. В числе других воспоминаний в книгу включены размышления о. Сергия Булгакова о трех событиях, послуживших толчком к возвращению в Церковь: созерцание Сикстинской мадонны в Дрездене и заката на Кавказе, беседа со старцем в Зосимовой пустыни, смерть трехлетнего сына в 1909 г.

777а К сноске внизу страницы:

...«Филемон и Бавкида» Овидия... — сюжет античной мифологии, использован Овидием в поэме «Метаморфозы».

778 *«Записки из подполья»* — повесть Ф. М. Достоевского (1864).

779 *«...убедительность повествования — первоклассны».* — цитируется письмо И. А. Ильина от 28 февраля 1947 г. (Ильин И. А. Собр. соч.: Переписка двух Иванов. Т. 3. С. 48).

780 *...для церкви.* — 30 марта 1947 г. И. С. Шмелев читал свои произведения в зале Казачьего музея, сбор от чтения пошел в пользу русской церкви в Аньере (См.: Сорокина О. Н. Московиана. М., 1994. С. 329).

781 *...ты спрашивала у него адрес Ремизова...* — об этом И. А. Ильин сообщил И. С. Шмелеву в письме от 18 марта 1947 г. (Ильин И. А. Собр. соч.: Переписка двух Иванов. Т. 3. С. 71).

782 *«...это мне безразлично».* — цитата из указанного письма И. А. Ильина: «Зачем это Ольге Александровне адрес Ремизова? Не дам, не пошлю. Он перешел на сторону мучителей, а *почему* и *зачем* он это сделал, это мне безразлично». В 1946 г. А. М. Ремизов принял советское гражданство (в СССР оставались его дочь и внук), что вызвало крайне негативную реакцию И. А. Ильина. Об отношениях И. С. Шмелева и А. М. Ремизова в этот период см.: Сорокина О. Н. Московиана. М., 1994. С. 324—325.

783 *...от «Просветительского фонда имени Ивана Кулаева»...* — Иван Васильевич Кулаев (1857—1941), благотворитель, миллионер, золотопромышленник, строил в Сибири железные дороги, фабрики, заводы, мукомольни. Почетный член Калифорнийского отдела помощи детям русской эмиграции и Общества покровительства просвещения в Сан-Франциско. В 1931 г. в США был учрежден благотворительно-просветительский фонд им. И. В. Ку-

лаева. Переписка И. С. Шмелева с председателем фонда Н. В. Борзовым находится в Российском Фонде Культуры (Архив И. С. Шмелева. Свидетельство о дарении 1053).

784 *...Ильин только что извещал — 100.* — см. письмо И. А. Ильина от 28 февраля 1947 г. (примечание 779).

785 *...для юбилейного сборника «День русского ребенка»...* — см. примечание 755 к письму № 171.

786 *...статья Ильина...* — статья «Иван Сергеевич Шмелев» (фрагмент книги И. А. Ильина «О тьме и просветлении») была переслана И. С. Шмелеву в письме И. А. Ильина от [6 марта] 1947 г. См.: Ильин И. А. Собр. соч.: Переписка двух Иванов. Т. 3. С. 62—69.

787 *...две статьи о России... и «О гонениях и свободе Церкви»...* — имеются в виду статьи И. А. Ильина «Вера в Россию» и «О религиозной свободе и религиозных гонениях», упоминаемые в письме И. А. Ильина к И. С. Шмелеву от [6 марта] 1947 г. (Иль-ин И. А. Собр. соч.: Переписка двух Иванов. Т. 3. С. 62).

788 *«Voies Celestes» — взято испанским издательством...* — издание не осуществлено.

789 *...диагноз Веретенниковой...* — упоминается врач Елизавета Александровна Веретенникова (1883—1966).

790 *...Луки, гл. I, стихи 57-71.* — рождение пророка Иоанна Крестителя, пророчество Захарии о спасении Израиля.

178

Ед. хр. 90. Л. 4. Письмо, машинопись.

791 *...так написать тебе вчера.* — имеется в виду письмо О. А. Бредиус-Субботиной от 27 марта 1947 г. (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 90. Л. 1).

179

Ед. хр. 49. Л. 20—24. Письмо, рук., карандаш.

792 *...со «старым политиком»...* — псевдоним И. А. Ильина.

180

Ед. хр. 90. Л. 29, 30. Письмо, рук.

793 *...«единое на потребу».* — Лк. 10, 42.

794 *...при «расчете» с Господином?* — отсылка к притче о талантах (Мф. 25, 14-30).

795 *...употребляют оружием интриги...* — в письме от 6 апреля 1947 г. О. А. Бредиус-Субботина писала: «*Много и боли с нашим* въездом: приходится выселять старушку-приживалку из ее комнаты, т.к. иначе вообще бы не въехать было. Выпало на моют долю говорить с ней. У нее есть куда выселиться, но она уже около 50 лет тут жила и, знаешь, как это трудно, особенно одинокой, простой женщине. Не знаю, как это мне пришло в голову, —

сам Господь внушил сказать: "Вы не огорчайтесь и не думайте, что Вам не к кому и обратиться, — если Вы почувствуете, что у Вашей родни Вам не по себе, то скажите мне, как своей (а не соблюдая пустую вежливость — что, мол, хорошо живется), — и если Вам плохо будет там, то мы что-нибудь придумаем, а на время переезда нашего побудьте там "в гостях", так и смотрите!"» (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 90. Л. 12—14).

181

Ед. хр. 90. Л. 33. Письмо, рук.

182

Ед. хр. 49. Л. 31. Письмо, рук.

796 *...письмо, последнее 23-го.* — упомянутое письмо И. С. Шмелева находится в РГАЛИ (Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 49. Л. 27, 28).

797 *«...только молитвою и постом».* — Мф. 17, 21.

798 *...Мясоедова...* — сведений о нем не найдено.

799 *...протоиерею... Изразцову...* — протопресвитер Константин Изразцов (1865—1953), окончил Тверскую семинарию и Петербургскую духовную академию. В январе 1889 г. назначен псаломщиком в церкви при русской миссии в Гааге, по возвращении в Петербург в 1891 г. рукоположен в настоятели православной церкви в Буэнос-Айресе. Построил 16 церквей в Аргентине, Бразилии, Чили, Парагвае, Уругвае, основал русскую школу и библиотеку. В 1922—1923 гг. организовал сбор средств в помощь голодающим в России. Монархист, один из идейных руководителей белой эмиграции в Аргентине.

800 *...диктатор Perron...* — Хуан Доминго Перон (1895—1974), государственный и политический деятель, в 1946—1955 гг. президент Аргентины.

801 *...кн. Трубецкой...* — Сергей Евгеньевич Трубецкой (1890—1949), старший сын Е. Н. Трубецкого. Активный участник антибольшевистского подполья, в 1920 г. приговорен к 10 годам тюрьмы, в 1921 г. амнистирован, в 1922 г. выслан из России. В эмиграции работал в РОВСе, после 1938 г. занимался переводами и публицистикой. В письме от 24 июля 1945 г. И. С. Шмелев рекомендовал его И. А. Ильину (см.: Ильин И. А. Собр. соч.: Переписка двух Иванов. Т. 2. С. 328).

802 *...о случае... с преп. Серафимом...* — далее изложена фабула рассказа И. С. Шмелева «Еловые лапы» из цикла «Заметы» (в сб. «Свет вечный». Париж, 1968). Впервые опубликован: Русская мысль. 1947. 2 августа. № 16.

183

Ед. хр. 91. Л. 15, 16. Письмо, рук.

803 *...забастовки ваши...* — в конце весны 1947 г. во Франции сложилось тяжелое положение с продовольствием, нормы выдачи

хлеба были сокращены. 20 мая объявили забастовку докеры, через несколько дней началась забастовка рабочих на предприятиях, производящих газ и электроэнергию. С 8 по 15 июня бастовали железнодорожники, поэтому доставка писем в этот период была затруднена.

804 *Твое письмо от 6-го...* — в настоящем издании письмо не публикуется (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 49. Л. 44).

805 *...шпана, травящая тебя.* — 24 апреля 1947 г. в газете «Новое русское слово» была напечатана статья, обвинявшая И. С. Шмелева в коллаборационизме, о том же говорилось в советской радиопередаче 25 мая 1947 г. Одним из обвинений было участие писателя в 1942 г. в молебне по случаю освобождения Крыма от советских войск. И. С. Шмелев напечатал в «Русской мысли» (31 мая 1947 г.) статью «Необходимый ответ». Также в его защиту выступила К. В. Деникина, пославшая протест редактору газеты «Новое русское слово» (см.: Сорокина О. Н. Московиана. М., 1994. С. 333—334).

806 *...получил мою «Любку»?* — рисунок О. А. Бредиус-Субботиной был приложен к этому письму. В настоящее время находится в Российском Фонде Культуры (Архив И. С. Шмелева. Свидетельство о дарении 1053).

807 *...письмо от М-те Катениной...* — письмо не сохранилось.

808 *...письмо мое с рассказом о комиссии?* — имеется в виду письмо О. А. Бредиус-Субботиной от 1 июня 1947 г. (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 91. Л. 8—10).

184

Ед. хр. 49. Л. 53. Письмо, машинопись.

809 *...Ю[рий] Ф[едорович] посетил меня...* — имеется в виду Юрий Федорович Енакиев, об его поездке в Париж упоминается в письме О. А. Бредиус-Субботиной от 8 июля 1947 г. (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 91. Л. 26).

810 *Переписка с фон Мекк Ч[айковского]...* — П. И. Чайковский (1840—1893) переписывался с Надеждой Филаретовной фон Мекк (1831—1894) в 1876—1890 гг. Вероятно, И. С. Шмелев пользовался изданием 1934—1936 г. (Чайковский П. И. Переписка с Н. Ф. фон Мекк. М.-Л.: Academia. Т. 1—3).

811 *...«Пиковой дамы»...* — опера П. И. Чайковского (1890).

812 *Черкнул в магазине два слова...* — к цветам приложена записка: «Поздравляю Светлого Ангела! Да будет в с е светло! В. Письмо будет! Le 18 juillet 47. Paris» (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 49. Л. 51).

813 *...издавшего в 20-х годах «Человека».* — имеется в виду издание: Kypare. Stockholm: Albert Bonniers, 1926 (перевод Ruth Wedin Rothstein).

28 — 11249

185

Ед. хр. 50. Л. 8—10. Письмо, рук.

814 *...издательством «Православная Русь».* — издательство Свято-Троицкого монастыря (Джорданвилл, США). См. также примечание 818 к данному письму.

815 *...я почти решил...* — речь идет о предполагаемом переезде И. С. Шмелева в США.

816 *... еп. Николаю Охридскому...* — Николай (Велимирович, 1881—1956) епископ Охридский и Житцкий Сербской Православной Церкви, богословское образование получил в Киеве.

817 *...его слово о Владимире Святом...* — имеется в виду речь «Святой Владимир "Красное Солнышко"», произнесенная епископом Николаем Охридским в 1938 г. по поводу 950-летия крещения Руси (Русское возрождение. 1978. № 4).

818 *...в «Православную Русь»...* — двухнедельная газета, основанная арх. Виталием (Максименко). В 1928—1934 гг. выходила под названием «Православная Карпатская Русь», с 1935 по 1944 г. — «Православная Русь». С отъездом арх. Виталия в США руководителем газеты стал игумен Серафим (Леонид Иванов, 1897—1987). И. С. Шмелев опубликовал в «Православной Руси» очерк «Старый Валаам» (до выхода отдельной книгой), главы из «Лета Господня», «Милость преп. Серафима» (1935. № 1—3), «У старца Варнавы» (1936. № 1), «К православным людям» (1937. № 10). Осенью 1944 г. духовная миссия была эвакуирована вместе с типографией. В 1946 г. миссия переехала в США, разместившись в Свято-Троицком монастыре (Джорданвилл, штат Нью-Йорк). С января 1947 г. возобновилось издание газеты «Православная Русь», преобразованной в журнал.

819 *И. А. Ильин ответил: д а.* — о внешнеполитической ситуации и возможном переезде И. С. Шмелева в США И. А. Ильин писал И. С. Шмелеву 2 августа 1947 г. См.: Ильин И. А. Собр. соч.: Переписка двух Иванов. Т. 3. С. 166—167.

820 *...для издания на шведском языке!* — О. А. Бредиус-Субботина писала об этом 28 июля 1947 г.: «Жукович обещал дать мне адрес одного крупного издателя в Швеции, который очень хочет издавать твое *все*, что должно быть издано. <...> На Константина Тарасовича прямо «навело» такого человека в Гааге. Он — издатель, от тебя в восторге. Безумно хочет издать II ч. "Путей". Только одно: печатать по новой орфографии. <...> Напиши, как твое мнение, и я тотчас же снесусь» (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 91. Л. 30—34).

821 *...о. Герасим.* — сведений о нем нет.

822 *...арх. Виталия — Печатника!..* — имеется в виду архимандрит Виталий (Максименко, ум. 1960), игумен монастыря преп. Иова Почаевского на Карпатах (в 1934 г. переехал в США).

823 *...преп. Иова-Печатника, Почаевского.* — преп. Иов Почаевский (Иоанн Железо, ?—1651), основатель и первый настоятель Поча-

евской лавры. При монастыре была создана типография, в 1618 г. здесь было напечатано «Зерцало богословия» Кирилла Транквиллиона.

186

Ед. хр. 91. Л. 41. Письмо, рук.

824 *Получил и 2-ую открытку.* — имеется в виду почтовая открытка О. А. Бредиус-Субботиной от 5 августа 1947 г. (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 91. Л. 39).

187

Ед. хр. 50. Л. 31—33. Письмо, рук.

825 *Получил... твое... письмо, как раз 9-го утром...* — имеется в виду письмо О. А. Бредиус-Субботиной от 6 октября 1947 г. (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 92. Л. 10).

826 *Да ныне здесь хаос...* — речь идет о забастовках, которые возобновились с сентября 1947 г. 14 ноября 1947 г. правительство Франции отменило субсидии на поддержание низких цен на уголь, повысило цены на газ, электроэнергию. После этого отдельные выступления рабочих переросли во всеобщую забастовку. В газетах писали о «невидимой руке Москвы», которая руководит этими забастовками.

827 *....проф. Захарьина...* — Григорий Антонович Захарьин (1829—1897), врач-терапевт, основатель московской клинической школы. Г. А. Захарьин упоминается в романе «Лето Господне», глава «Горькие дни».

188

Ед. хр. 92. Л. 28. Письмо, рук.

828 *...ласковое письмо последнее...* — имеется в виду письмо И. С. Шмелева от 11 ноября 1947 г. (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 50. Л. 37).

189

Ед. хр. 50. Л. 42. Письмо, машинопись.

829 *...его последнее письмо.* — в письме от 9 декабря 1947 г. И. А. Ильин писал: «На Ваши добрые и сердечные слова о Ваших голландских знакомых я к сожалению не могу дать удовлетворительного, т.е. положительного ответа. Дело здесь совсем не в личных отношениях. Великое межевание не мною выдумано, но меня обязует. С тех пор как Ваши знакомые пренебрегли им и легкомысленно попрали его, я обязан принять все меры к тому, чтобы они знали обо мне как можно меньше...» (Ильин И. А. Собр. соч.: Переписка двух Иванов. Т. 3. С. 211).

830 *...в патриаршем храме.* — имеется в виду собор св. Александра Невского на улице Дарю.

190

Ед. хр. 50. Л. 53. Письмо, карандаш.

191

Ед. хр. 51. Л. 1—5. Письмо, рук., карандаш. Адрес отправителя: pension Mirabeau, 4, rue Candolle, Geneve, Suisse.

831 *...о радости [детям].* — вероятно, имеется в виду статья И. С. Шмелева «Сборники "День русского ребенка". К статье Вл. Зеелера» (Русская мысль. 1947. 22 ноября. № 32).

832 *...дочка С. Горного... ее муж...* — Людмила Горная (в замужестве Ширяева). И. А. Ильин писал о ней И. С. Шмелеву в письме от 2 января 1948 г.: «Людмила в отца: очень практична и все время (деликатно говоря!) "фантазирует". Мягко стелет, ласково поглядывает. Но "сочинительница" — в папу!...» (Ильин И. А. Собр. соч.: Переписка двух Иванов. Т. 3. С. 281); Сергей Горный (Александр-Марк Авдеевич Оцуп, 1882—1949), поэт, прозаик, брат поэта Николая Авдеевича Оцупа. Инженер, в 1908 г. окончил Петербургский Горный институт. Сотрудничал в «Сатириконе», с весны 1919 г. участвовал в Белом движении. В начале 1921 г. С. Горный поселился в Берлине, где входил в литературно-художественное объединение «Веретено». Первая книга, опубликованная в эмиграции, называлась «Янтарный Кипр» (Берлин, 1922). Письма С. Горного к И. С. Шмелеву хранятся в Российском Фонде Культуры (Архив И. С. Шмелева. Свидетельство о дарении 1053); Алексей Ширяев — художник-декоратор, более подробных сведений о нем нет.

833 *...5 дней в Женеве ...в pension'e Mirabeau.* — 27 декабря 1947 г. Шмелев по приглашению Д. И. Ознобишина приехал в Женеву, где пробыл до 16 марта 1949 г. С 27 декабря до марта 1948 г. писатель жил в пансионе Мирабо. О пребывании И. С. Шмелева в Швейцарии см.: Сорокина О. Н. Московиана. М., 1994. С. 330—338.

834 *...по секретарю газеты — Полянскому.* — речь идет о секретаре газеты «Русская мысль» В. В. Полянском. В 1927 г. редактор газеты «Галлиполиец», в 1947 г. был одним из основателей газеты «Русская мысль» и настоял на этом названии газеты.

835 *...от агентов Тито...* — Иосип Броз Тито (1892—1980), государственный и политический деятель Югославии, с ноября 1945 г. возглавлял правительство Федеральной народной республики Югославия.

836 *...в правительстве ген. Михайловича...* — Дража Михайлович (1893—1946), сербский генерал, возглавлял армию четников. В 1942—1945 гг. был военным министром югославского правительства в эмиграции (Англия). Казнен правительством Тито.

837 *...mr. Stivenson'a...* — сведений о нем нет.

838 *...от Bareiss...* — имеются в виду Конрад и Шарлотта Барейсы, друзья И. А. Ильина и почитатели таланта И. С. Шмелева, которые поддерживали писателя денежными переводами и посылками. По просьбе И. А. Ильина К. Барейс хлопотал за Шмелева в Генеральном консульстве по поводу визы в Америку.

839 *Пожар может... охватить Европу.* — И. С. Шмелев имеет в виду возможность III мировой войны и экспансии Советского Союза в Европу.

840 *...связать дух твой и руки, и «перепоясать»...* — Ин. 21, 18.

841 *...после речи Шумана...* — имеется в виду Робер Шуман (1886—1963), французский политический деятель, член партии «Народно-республиканское движение». В 1946—1947 гг. Р. Шуман был министром финансов, в 1947—1948 гг. возглавлял правительство Франции, с 1948 по январь 1953 г. министр юстиции. Созданное при его участии в 1951 г. Европейское объединение угля и стали положило начало процессу западноевропейской интеграции.

842 *...король Михаил Румынский — «отрекся».* — король Румынии Михай (1940—1947). В октябре 1944 г. Румыния была освобождена советскими войсками. В ноябре 1947 г. из румынского правительства были удалены представители либеральной группировки. Оставшись без поддержки, король Михай 30 декабря 1947 г. отрекся от престола. В тот же день была провозглашена Румынская народная республика.

843 *Работать в Его винограднике.* — Мф. 20, 1-2.

844 *...раб ленивый, но не лукавый...* — Мф. 25, 26.

845 *...идти на голос Господина моего.* — Ин. 10, 27.

846 *...с проф. Волошиным...* — Федор Ефимович Волошин (1880—1972), физик, профессор, специалист по точным приборам. В Праге работал в Институте экспериментальной физики Карлова университета, в 1929 г. переехал во Францию, где работал в Метеорологическом институте. В 1937 г. основал в Париже свою лабораторию. Его жена Мария Тарасовна Волошина (1888—1969) впоследствии помогала И. С. Шмелеву по хозяйству, ухаживала за ним после операции в ноябре 1949 г. Позднее они переселились к И. С. Шмелеву, платили часть квартирной платы, поддерживали его.

847 *проф. Руднев* — см. примечание 145 к письму № 21.

192

Ед. хр. 51. Л. 7—10. Письмо, рук.

848 *...хочешь писать «клинические дни»...* — в письме от 2 января 1948 г. (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 92. Л. 37) О. А. Бредиус-Субботина сообщала о своем намерении написать цикл рассказов о своей работе в клинике.

849 *...его брат Сергей.* — сведений о Сергее Ширяеве нет.

850 *...от русского моряка...* — личность не установлена.

851 *...по поводу моей статьи «1147—1947».* — речь идет о статье «800 лет Москве. 1147—1947» (Русская мысль. 1947. 4 сентября. № 21).

193

Ед. хр. 92. Л. 41. Письмо, рук.

852 *Твоя открыточка...* — имеется в виду почтовая открытка О. А. Бредиус-Субботиной от 10 января 1948 г. (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 51. Л. 22).

194

Ед. хр. 51. Л. 18, 19. Письмо, рук.

853 *...обедал у настоятеля... очаровал всех.* — И. С. Шмелев читал свои произведения на обеде у настоятеля православного храма в Женеве о. Леонтия (о нем см. примечание 870 к письму № 203). Вероятно, именно об этом чтении он писал Р. Г. Земмеринг 25 февраля 1948 г. См.: Сорокина О. Н. Московиана. М., 1994. С. 330.

854 *...у Ю. И. Лодыженского...* — Юрий Ильич Лодыженский (1888—1978), врач, в 1920-х — 1930-х гг. был главой Международного комитета «Pro Deo» («Во имя Бога») в Женеве, организации для помощи беженцам из коммунистических стран, руководителем Российского Красного Креста в Женеве, членом бюро Лиги Обера.

855 *...Комитета... по осведомлению... что такое большевизм.* — имеется в виду Лига Обера (Лига борьбы с III Интернационалом).

195

Ед. хр. 51. Л. 41. Письмо, машинопись. Адрес И. С. Шмелева: c/o Rich 15, B-d de George Favon, Geneve, Suisse.

856 *...от Пушкинского фонда...* — имеется в виду Пушкинский комитет, образованный в феврале 1937 г. (к 100-летию со дня смерти поэта). В президиум комитета входили В. А. Маклаков (председатель), И. А. Бунин (товарищ председателя), П. Н. Милюков, М. М. Федоров. И. С. Шмелев присутствовал на первом заседании комитета (26 февраля 1937 г.), выступал на торжественном собрании памяти А. С. Пушкина 11 февраля 1937 г.

857 *...от Общества св. Владимира...* — братство св. Руси имени св. князя Владимира. Создано в нач. 1930-х гг. с целью объединения сил русской эмиграции на основе православия, руководитель митр. Антоний (Храповицкий). Отделения общества находились во всех епархиях и миссиях РПЦЗ. См.: Косик В. Н. Русская Церковь в Югославии (20-е—40-е годы XX века). М., 2000.

858 *...издателя Дёттен.* — имеется в виду издатель Е. П. Даттон (E. P. Dutton).

859 *...написал в монастырь, епископу...* — имеется в виду епископ Серафим, настоятель Свято-Троицкого монастыря в Джорданвилле (США).

860 *На днях... писал тебе большое письмо.* — имеется в виду письмо И. С. Шмелева от 4 марта 1948 г. (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 51. Л. 36, 37).

196

Ед. хр. 93. Л. 6. Письмо, рук.

860а К сноске внизу страницы:

...при Маршалле... — с 1944 г. Джордж Фрост Кеннан работал под руководством Маршалла. Его идеи сыграли значительную роль при подготовке доктрины Маршалла о противодействии советскому влиянию в послевоенной Европе (см. примечание 893 к письму № 211).

197

Ед. хр. 51. Л. 44. Письмо, машинопись.

861 *...жду письма из Америки от епископов...* — И. С. Шмелев ждал ответа от епископа Серафима из Джорданвилла и, вероятно, от епископа Николая Охридского из Сан-Франциско.

862 *На английском языке — 4...* — имеются в виду следующие издания: That Which Happened / Translated by C. J. Hogarth. London—Toronto—New-York, E. P. Dutton & Co., 1924; The Sun of the Dead / Translated by C. J. Hogarth. London, J. M. Dent & Sons, 1927; Inexhaustible Cup / Translated by France Dechtereva. London—Toronto—New-York, E. P. Dutton & Co., 1928; The Story of Love / Translated by Natalie Tsytovich. New-York, E. P. Dutton & Co., 1931.

863 *Киплинг* — Редьярд Киплинг (1865—1937), английский поэт и писатель. В 1924 г. через переводчика Чарльза Хогарта прислал И. С. Шмелеву письмо по поводу его повести «Это было» (См.: Сорокина О. Н. Московиана. М., 1994. С. 197).

864 *«...в с е обрывается..!»* — цитата из письма И. А. Ильина от 24 марта 1948 г. (Ильин И. А. Собр. соч.: Переписка двух Иванов Т. 3. С. 293).

198

Ед. хр. 93. Л. 12. Письмо, рук.

199

Ед. хр. 51. Л. 49, 50. Письмо, рук.

200

Ед. хр. 93. Л. 20. Письмо, рук.

201

Ед. хр. 52. Л. 28. Письмо, машинопись.

865 *...«избранником Господним»!..* — имеется в виду статья митр. Николая (Ярушевича) «Верховный вождь страны и Красной армии»: «И наш народ, с неистощимым мужеством вынося все тяготы, связанные с войной <...> не ослабеет в своей крепчайшей уверенности в конечной победе, потому что армию ведет в бой на врага Иосиф Виссарионович Сталин — любимейший вождь нашего народа, гениальный Верховный Главнокомандующий нашего воинства, Богом поставленный на свой подвиг служения <...>». Далее в статье цитируется телеграмма митр. Сергия (Страгородского) на имя И. В. Сталина к 7 ноября 1942 г.: «...молитвенно приветствую в вашем лице богоизбранного вождя наших воинских и культурных сил <...>» (Журнал Московской Патриархии. 1944. № 1. С. 13, 14).

865а *«...чтобы забыла обо мне...»* — И. С. Шмелев смягчает высказывание И. А. Ильина в письме от 21 марта 1947 г.: «Вашу новую линию на Голландию [письмо написано во время разногласий И. С. Шмелева и О. А. Бредиус-Субботиной по поводу рассказа «Куликово поле»] — поддерживаю морально, духовно, религиозно и политически. Всячески. Перешел межу — вычеркивайся. Только начни припадать, быстро изготовишься» (Ильин И. А. Собр. соч.: Переписка двух Иванов. Т. 3. С. 82).

866 *...авион-экспресс.* — имеется в виду письмо И. С. Шмелева от 5 июня 1948 г. (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 52. Л. 24).

202

Ед. хр. 52. Л. 39. Письмо, машинопись.

867 *...буду читать для «Горной здравицы для детей», в Leysin.* — упоминается детский дом «Жаворонки» в Лейзене, организованный врачом В. Носенко на его вилле «Ниссет». См.: Носенко В. Шмелев и дети. Письмо из детского дома «Жаворонки» в Лейзене (Русская мысль. 1950. Август. № 267); Сорокина О. Н. Московиана. М., 1994. С. 332—333.

867а *«На святой дороге»... «Крещенье»* — речь идет о главе из романа «Богомолье» и главе из романа «Лето Господне». Глава «Крещение» впервые опубликована: Россия и славянство. 1932. 9 января.

868 *Докторша, одна из них...* — в дальнейшем упоминается как Флорен.

869 *...жена профессора...* — имеется в виду М. Т. Волошина.

203

Ед. хр. 93. Л. 41. Письмо, рук.

870 *...с о. Леонтием...* — о. Леонтий (Барташевич, 1914—1956), настоятель православного храма в Женеве, с 1950 г. епископ Же-

невский. В письме И. А. Ильину от 8 марта 1949 г. И. С. Шмелев писал: «Отец Леонтий — один из лучших, — на месте он, как пример!» (Ильин И. А. Собр. соч.: Переписка двух Иванов. Т. 3. С. 382).

871 *Каллаш* — Мария Александровна Каллаш (урожд. Новикова, 1886—1955), сторонница воссоединения РПЦЗ с Московской Патриархией. Сотрудничала в журнале «Путь». Автор книг «Риму или Христу» (под псевдонимом М. Курдюмов, 1927), «Дни примирения» (1946).

872 *Лосский* — Владимир Николаевич Лосский (1903—1958), богослов, сын философа Н. О. Лосского. В 1922 г. семья Лосских была вынуждена эмигрировать. В. Н. Лосский жил в Берлине и Праге, где учился на философском факультете Карлова университета. В 1924 г. уехал в Париж и поступил на филологический факультет Сорбонны, который окончил в 1927 г. В 1931—1940 гг. возглавлял Братство Св. Фотия, главная задача которого состояла в распространении православия во Франции. В годы Второй мировой войны участвовал в движении Сопротивления. С 1944 по 1953 г. читал курс догматического богословия и церковной истории в Французском Православном институте им. св. Дионисия. Основные труды — книга «Очерки мистического богословия Восточной Церкви», «Догматическое богословие».

873 *...митрополит Серафим попросил бы меня помочь им.* — митрополит Серафим (Лукьянов) в августе 1945 г. вернулся в юрисдикцию Московской Патриархии, в августе 1946 г. (после смерти митр. Евлогия) он был назначен экзархом.

204

Ед. хр. 52. Л. 37. Почтовая открытка, рук.

205

Ед. хр. 52. Л. 46. Письмо, машинопись.

874 *...спешка «печататься» — ошибка.* — в письме от 4 августа 1948 г. О. А. Бредиус-Субботина писала о возможности издания ее произведений в Швеции (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 93. Л. 53).

875 *...отказали в туристической визе, — и в Париже, через И[льину].* — упоминается Наталья Александровна Ильина (однофамилица философа), сотрудница посольства США в Париже. Об обращении за помощью к Н. А. Ильиной Шмелев пишет И. А. Ильину [21 мая] 1948 г. См.: Ильин И. А. Собр. соч.: Переписка двух Иванов. Т. 3. С. 327.

876 *...т е, клеветой.* — в июне 1948 г. И. С. Шмелев получил анонимное письмо с вырезкой из нью-йоркской газеты «Новое русское слово», в которой говорилось, что писателю Шмелеву отказано в визе в США, т.к. во время Второй мировой войны он сотруд-

ничал с нацистами. Об этом см.: Сорокина О. Н. *Московиана*. М., 1994. С. 333.

206

Ед. хр. 53. Л. 1, 2. Письмо, рук.

877 *...отшутился, пессимистическим афоризмом-софизмом...* — вероятно, имеется в виду письмо И. А. Ильина от [14 ноября] 1948 г.: «Очень огорчен и удручен Вашим письмом. Сочувствую от всего сердца, ибо сам нахожусь в аналогичном состоянии, хотя недуги и иные. / Давление крови: 215 вверху, 130 внизу; пульс 90; глубокая, ноябрьская и нервная прострация; отвращение к современности, превышающее всякие силы <...> Из этих состояний я понимаю многое: / Напр[имер] 1) почему наши древние предки так ликовали во время зимнего солнцеворота / 2) почему наши мужики «саввятся, и варварятся, и последний грош прониколивают» <...> / 3) почему в ноябре так много бывает самоубийств» (Ильин И. А. Собр. соч.: Переписка двух Иванов. Т. 3. С. 374).

878 *...«образ-подобие»!..* — Быт. 1, 26.

207

Ед. хр. 94. Л. 22—25. Письмо, рук.

879 *...с их бесцеремонной реформацией...* — для кальвинизма характерны упрощенные церковные обряды и таинства, отсутствие монашества, целибата, культа Богородицы, святых, ангелов, почитания икон.

879а *...но он даже и не «сын».* — образ из Евангелия (Ин. 8, 31-36).

880 *...о. Василий сказал.* — вероятно, имеется в виду архиепископ Брюссельский и Бельгийский (Василий Александрович Кривошеин) или о. Василий, служивший в церкви Знамения в Париже вместе с митр. Серафимом.

881 *«...Помоги моему неверию!»* — Мк. 9, 24.

881а *Профессор богословия, философ...* — о нем О. А. Бредиус-Субботина писала 29 декабря 1942 г.: «У меня <...> дядя — муж двоюродной сестры папы, профессор богословия, идейный и идеальный священник» (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 76. Л. 5).

882 *Дарвин* — Чарльз Роберт Дарвин (1809—1882), английский естествоиспытатель, основатель эволюционного учения о происхождении видов путем естественного отбора.

883 *Цвингли* — Ульрих Цвингли (1484—1531), швейцарский церковный реформатор и политический деятель. Активно выступал против обрядовой стороны Церкви, отрицал значение таинств крещения и причащения, рассматривая их как символы. В ходе его реформаторской деятельности из церквей были удалены иконы и мощи святых, закрыты монастыри.

208

Ед. хр. 53. Л. 5. Открытка с видом Монтаны, рук.

209

Ед. хр. 94. Л. 27, 28. Письмо, рук.

884 *...Тициан... Боттичелли...* — итальянские живописцы Высокого и Раннего Возрождения: Тициан Вечеллио (1476 или 1477—1576) и Сандро Боттичелли (1445—1510).

210

Ед. хр. 53. Л. 8, 9. Письмо, рук.

885 *...одной русско-швейцарки...* — имеется в виду Валерия Флориановна Даувальдер, писательница, художник-иллюстратор.

886 *...моя верная читательница.* — имеется в виду М. Т. Волошина.

887 *...здравница, для сирот в забросе.* — имеется в виду детский дом «Жаворонки» в Лейзене. См. примечание 867 к письму № 202.

888 *...мог хотя немного помочь, читал публично.* — в пользу детского дома «Жаворонки» И. С. Шмелев пожертвовал доход с двух своих публичных чтений (в Женеве и Цюрихе). См.: Носенко В. Шмелев и дети. Письмо из детского дома «Жаворонки» в Лейзене (Русская мысль. 1950. Август. № 267); Сорокина О. Н. Московиана. М., 1994. С. 332—333.

889 *...статью о Достоевском...* — статья была опубликована после смерти И. С. Шмелева как послесловие к роману «Идиот» (Zuerich, Manesse Verlag, 1951).

890 *От Ивана Цолликонского — давно ни строчки.* — вероятно, И. С. Шмелев еще не получил писем И. А. Ильина от 22 и 31 декабря 1948 г. См.: Ильин И. А. Собр. соч.: Переписка двух Иванов. Т. 3. С. 376—377.

211

Ед. хр. 94. Л. 35. Письмо, рук.

891 *...в самой большой голландской газете...* — имеется в виду газета «Algemeen Handelsblad».

892 *...M-me Stael...* — Анна Луиза Жермен де Сталь (1766—1817), французская писательница. Автор литературных («Дельфина» (1802), «Коринна, или Италия» (1807)) и философских произведений («Письма о творчестве и характере Ж. Ж. Руссо» (1788), «Рассуждения о Французской революции» (оп. 1818)).

893 *За помощь Маршала...* — Джордж Кэтлетт Маршалл (1880—1959), государственный секретарь США в 1947—1949 гг. 2 апреля 1948 конгресс США принял «план Маршалла», согласно которому страны Западной Европы получили кредиты для восстановления довоенного уровня экономики.

894 *...г-жа Козенкина...* — этим именем была подписана заметка в нью-йоркской газете «Новое русское слово», обвинявшая писателя в коллаборационизме. И. С. Шмелев в письме к И. А. Ильину от 17 августа 1948 г. писал: «Большевики сами сочинили письмо к ним от Казенкиной, подделали и ее подпись. Письма — в деле. Казенкина якобы молила их спасти ее из лап белобандитов» (Ильин И. А. Собр. соч.: Переписка двух Иванов. Т. 3. С. 357).

212

Ед. хр. 53. Л. 12—14. Письмо, рук.

895 *...из этой пещи огненной.* — Дан. 20-24.

896 *«Записок неписателя»* — очерки И. С. Шмелева «Записки неписателя» публиковались в «Русской мысли» (1948. 30 июля. № 68; 1948. 22 окт. № 80; 1949. 9 февр. № 109). О замысле «Записок» как «отстраненной, художественно преображенной автобиографии» см.: Сорокина О. Н. Московиана. М., 1994. С. 332, 337. О работе над ними И. С. Шмелев сообщал И. А. Ильину в письме от 1 января 1949 г. (Ильин И. А. Собр. соч.: Переписка двух Иванов. Т. 3. С. 378).

213

Ед. хр. 94. Л. 41—43. Письмо, машинопись.

897 *...Колчака...* — Александр Васильевич Колчак (1873—1920), адмирал. Участник русско-японской и Первой мировой войн. В 1916—1917 гг. командовал Черноморским флотом. В октябре 1918 назначен военным и морским министром Уфимской директории, через две недели установил военную диктатуру, приняв титул Верховного правителя Российского государства и верховного главнокомандующего. Выдан чехами Иркутскому ВРК и расстрелян.

898 *...Врангеля...* — Петр Николаевич Врангель (1887—1928), генерал-лейтенант. Участник Первой мировой войны. Командовал Добровольческой армией в 1918—1919 гг., из-за острых разногласий с ген. Деникиным уволен (приказ 8 февраля 1920 г.). В 1924 г. Врангель создал Русский общевоинский союз, в сентябре 1927 г. переехал в Брюссель, где неожиданно заболел и скончался.

899 *...готовятся вовсю к «западному блоку»...* — 17 марта 1948 был создан Западный союз (Великобритания, Франция, Бельгия, Голландия и Люксембург). 4 апреля 1949 в Вашингтоне был подписан Североатлантический пакт (НАТО) правительствами США, Великобритании, Франции, Италии, Бельгии, Нидерландов и др.

900 *...выселения немецкого населения из областей, ушедших к Польше...* — в июле 1945 г. по решению Потсдамской конференции

была установлена новая западная граница Польши. К Польше отошли территории к востоку от Одера и Западной Нейсы, а также часть Восточной Пруссии и город Гданьск.

901 *С деткой ничего не выйдет.* — речь идет о ребенке, которого хотела усыновить О. А. Бредиус-Субботина.

214

Ед. хр. 94. Л. 48, 49. Письмо, рук.

902 *...предпоследнее большое письмо?* — письмо О. А. Бредиус-Субботиной от 27 января 1949 г. (№ 213).

215

Ед. хр. 53. Л. 22. Почтовая открытка, рук.

903 *...о хозяйстве, о буре...* — имеется в виду письмо О. А. Бредиус-Субботиной от 3 марта 1949 г. (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 94. Л. 44).

216

Ед. хр. 53. Л. 32. Почтовая открытка, рук. К письму приложена газетная вырезка «Иван Шмелев в Женеве» *(Л. 33).*

904 *...«Слово о Пушкине»...* — 30 июня 1949 г. в Женеве в зале «Нотр Женев» И. С. Шмелев прочел доклад «Заветная встреча. Пушкин».

905 *...иллюстрированную сказку «Любаву»...* — автор текста и художник-иллюстратор сказки Валерия Флориановна Даувальдер. Сказка была опубликована на трех европейских языках (см.: Даувальдер В. Сказки. Иллюстрации автора. М., 1992).

906 *...в Женеву не поехал и отписался мне...* — об этом И. А. Ильин сообщил в письме от 27 июня 1949 г. См.: Ильин И. А. Собр. соч.: Переписка двух Иванов. Т. 3. С. 394.

217

Ед. хр. 95. Л. 17. Письмо, рук. К письму приложена газетная вырезка с изображением Баттенстайна (усадьба в имении Вурден) *(Л. 19).*

907 *...Высшую техническую школу в Дельфте...* — высшее учебное заведение было основано в 1842 г.

908 *...берлинского Шарлоттенбурга...* — Институт железнодорожного транспорта в Берлине.

909 *Роман я начала все же.* — замысел автобиографического романа О. А. Бредиус-Субботиной изложен в ее письме от 29 мая 1949 г. (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 95. Л. 10—13).

910 *...костюм будет готов.* — подарок И. С. Шмелеву от О. А. Бредиус-Субботиной.

911 *Шитов* — сведений о нем нет.

912 ...*№ конфекции*... — номер готового платья в промышленном производстве.

912a *Посылаю.* — вырезка из газеты с видом поместья Вурден приложена к письму О. А. Бредиус-Субботиной от 9 июля 1949 г. (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 95. Л. 18). О. А. Бредиус-Субботина перевела подпись под снимком: «Да, читатель, Вурден красив».

913 *«...стоит без окон и дверей...»* — строки из поэмы А. С. Пушкина «Руслан и Людмила» (1820).

218

Ед. хр. 53. Л. 34—37. Письмо, рук.

914 ...*профессор Таганцев*... — Николай Степанович Таганцев (1843—1923), русский юрист, специалист в области криминологии, представитель классического направления в науке уголовного права.

915 *«Шествуй, на славу нам!»* — И. С. Шмелев цитирует «Боже, Царя храни» — гимн Российской империи (музыка Ф. П. Львова, слова В. А. Жуковского, 1834).

916 ...*некоего, сидящего в Bern'е*... — имеется в виду Генеральный консул США (консульство находилось в столице Швейцарии).

917 ...*2-х последних писем*... — письма не сохранились.

219

Ед. хр. 95. Л. 42. Письмо, рук.

918 ...*смогла сесть за письмо.* — две недели в середине сентября (между 2 и 26) 1949 г. О. А. Бредиус-Субботина провела в Париже.

919 *Как Вы себя чувствуете?* — ввиду плохого самочувствия И. С. Шмелева и постоянного присутствия в его квартире посторонних О. А. Бредиус-Субботина здесь и далее обращается к нему более официально.

920 *«Приволье»* — рассказ И. С. Шмелева, впервые опубликован: Возрождение. 1949. № 5.

921 *Вере Димитриевне*... — сведений о ней нет.

922 ...*Карским.* — в дальнейшем упоминаются Марья Фоминична и Фома Владимирович Карские.

220

Ед. хр. 95. Л. 42. Письмо, рук.

923 ...*не можем непосредственно переписываться.* — из-за болезни И. С. Шмелев не мог читать и писать, поэтому переписка осуществлялась через М. Т. Волошину.

221

Ед. хр. 54. Л. 7. Почтовая открытка, рук.

222

Ед. хр. 95. Л. 48—50. Письмо, рук.

923а *...открытка М. Т. В[олошиной]...* — указанная открытка не сохранилась. Письма М. Т. Волошиной О. А. Бредиус-Субботиной за 1949 г. находятся в РГАЛИ (Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 105. Л. 1—36).

924 *...открылся экспорт в Германию...* — 20 сентября 1949 г. была провозглашена Федеративная Республика Германия и начались интеграционные процессы со странами Европы.

925 *...на Фауста...* — имеется в виду опера Ш. Гуно (1859), либретто Ж. Барбье и М. Карре по драматической поэме Иоганна Вольфганга Гете «Фауст».

926 *Бассерман* — сведений о нем нет.

223

Ед. хр. 96. Л. 14. Почтовая открытка, рук.

927 *...в дни моего самого большого мучения...* — 4 декабря 1949 г. О. А. Бредиус-Субботина перенесла операцию.

224

Ед. хр. 54. Л. 17. Почтовая открытка, рук.

928 *...привозили ко мне ...Царицу Небесную Курско-Коренную.* — икона Знамения Пресвятой Богородицы Курско-Коренная (конец XIII в.). Об этом см. письмо А. Н. Меркулова от 21 декабря 1949 г. (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 106. Л. 7), И. А. Ильина от 4 января 1950 г. (Ильин И. А. Собр. соч.: Переписка двух Иванов. Т. 3. С. 411).

929 *Во время операции...* — 26 ноября 1949 г. И. С. Шмелев был оперирован в частной клинике. Об операции Шмелев писал И. А. Ильину в письме от 4 января 1950 г. (Ильин И. А. Собр. соч.: Переписка двух Иванов. Т. 3. С. 409—411). См. также: Сорокина О. Н. Московиана. М., 1994. С. 339.

225

Ед. хр. 96. Л. 22. Рождественская открытка, рук.

226

Ед. хр. 54. Л. 31, 32. Письмо, машинопись.

930 *...с Толстовским фондом...* — Толстовский фонд был основан в 1939 г. Александрой Львовной Толстой (1884—1979), младшей дочерью Л. Н. Толстого, для поддержки русских эмигрантов. А. Л. Толстая пыталась оказать содействие И. С. Шмелеву в получении въездной визы в США (см.: Сорокина О. Н. Московиана. М., 1994. С. 334—335). В 1949 г. оказывала ему материальную поддержку. Шмелев предложил Толстовскому фонду купить у него все авторские права за ежемесячную ренту в 75—100 долларов, которая выплачивалась бы ему пожизненно, но фонд отка-

зался. Опубликована переписка И. С. Шмелева с А. Л. Толстой (публикация В. Н. Сахарова // Диаспора. 2002. № 4).

930а *...только по-английски не переведен...* — «Человек из ресторана» был переведен на французский, немецкий, испанский, итальянский, голландский, шведский, венгерский, латвийский, сербский, словацкий, чешский языки.

227

Ед. хр. 96. Л. 30, 31. Письмо, рук. Адрес О. А. Бредиус-Субботиной: «Marva hoev», Elspeterweg, 6. Nunspeet (ged) Pay-Bas.

931 *О Криволае?* — в письме от 11 июля 1946 г. (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 40. Л. 53—56) И. С. Шмелев обещал передать с К. Л. Первушиной печатную машинку О. А. Бредиус-Субботиной. Из-за неудачи в январе 1947 г. О. А. Бредиус-Субботина обратилась к П. Г. Криволаю (?—1969) с просьбой одолжить ей печатную машинку для переписки одной из работ И. С. Шмелева. В почтовой открытке от 14 февраля 1947 г. О. А. Бредиус-Субботина сообщала И. С. Шмелеву, что машинка П. Г. Криволая ей доставлена (РГАЛИ. Ф. 1198. Оп. 3. Ед. хр. 89. Л. 14).

228

Ед. хр. 96. Л. 44. Открытка с видом капеллы в Бриссаже, рук. Адрес О. А. Бредиус-Субботиной: «Batenstein» Woerden. Pay-Bas. В дальнейших письмах О. А. Бредиус-Субботиной адрес отправителя не меняется.

229

Ед. хр. 54. Л. 42. Письмо, рук.

932 *...дал очерк...* — имеется в виду очерк «Приятная прогулка. Д. И. Ознобишину», напечатанный в «Русской мысли» (1950. 7 и 19 апр. № 230, 233).

230

Ед. хр. 96. Л. 46. Письмо, рук.

231

Ед. хр. 96. Л. 48, 49. Письмо, рук.

933 *...огромный труд И. Грабаря о Репине...* — имеется в виду издание: Грабарь И. Э. Репин: В 2 т. М.—Л., 1949.

934 *...Стасова...* - Владимир Васильевич Стасов (1824—1906), художественный критик, историк искусства, археолог.

935 *...Верещагине...* — Василий Васильевич Верещагин (1842—1904), русский живописец.

936 *...Щепкиной-Куперник....* — Татьяна Львовна Щепкина-Куперник (1874—1952), русский прозаик, поэт, драматург, переводчик.

937 ...*Крестовском*... — Всеволод Владимирович Крестовский (1840—1895), прозаик, поэт, журналист.

938 ...*Чуковском*... — Корней Иванович Чуковский (Николай Васильевич Корнейчуков, 1882—1969), писатель, литературный критик, мемуарист.

939 ...*Веласкесе*... — Диего Родригес де Сильва Веласкес (1599—1660), испанский художник.

940 ...*Эль-Греко*... — Эль-Греко (Доменико Теотокопули; 1541—1614), испанский художник.

941 ...*Франс Хальс «наш»*... — Франс Хальс (Hals, между 1581 и 1585—1666), голландский живописец, портретист.

232

Ед. хр. 54. Л. 48. Письмо, рук.

Именной указатель

Содержание

И. С. Шмелев и О. А. Бредиус-Субботина

РОМАН В ПИСЬМАХ

Редактор *М.А. Айламазян*
Художественное оформление *А.К. Сорокин*
Технический редактор *В.А. Юрченко*

ЛР № 066009 от 22.07.1998. Подписано в печать 01.06.2004.
Формат 60×90 1/16. Бумага офсетная № 1. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 53,5. Уч.-изд. л. 64,4. Тираж 2000 экз.
Заказ № 11249

Издательство «Российская политическая энциклопедия»
(РОССПЭН)

117393, Москва, Профсоюзная ул., д. 82. Тел. 334-81-87 (дирекция)
Тел./Факс 334-82-42 (отдел реализации).

Отпечатано в полном соответствии с качеством
предоставленного оригинал-макета в ППП «Типография «Наука»
121099, Москва, Шубинский пер., 6